Михаил Булгаков

«Мой бедный, бедный мастер...»

Полное собрание редакций и вариантов романа «Мастер и Маргарита»

Полное собрание редакций и вариантов романа «Мастер и Маргарита»

Издание подготовил Виктор Лосев

Черный маг

Копыто инженера

Вечер страшной субботы

Великий канцлер

Фантастический роман

Золотое Копье

Князь тьмы

Мастер и Маргарита
Полная рукописная редакция

Мастер и Маргарита
Окончательная редакция

Михаил Булгаков

«Мой бедный, бедный мастер...»

Москва ВАГРИУС

УДК 882-3
ББК84(2Рос=Рус)6
Б 95

Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России»

Научный редактор
доктор филологических наук
Б.В.Соколов

Художник
Б.В.Трофимов

В оформлении использованы фрагменты иллюстраций Б.А.Маркевича
к роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита»

Булгаков М.А.
Б 95 «Мой бедный, бедный мастер...»: Полное собрание редакций и вариантов романа «Мастер и Маргарита»/ Михаил Булгаков; издание подготовил В.И.Лосев; научн. ред. Б.В.Соколов. — М.: Вагриус, 2006. — 1006 с.

ISBN 978-5-9697-0364-3

Известный знаток творчества Михаила Булгакова В.И.Лосев реконструировал историю создания одного из самых известных романов XX века. В томе представлены все сохранившиеся важнейшие редакции романа. Каждый из текстов заметно отличается от последующих, каждый по-новому интерпретирует описываемые события и героев «закатного» романа, добавляя к ним новые яркие штрихи...
Представлен в томе и канонический текст «Мастера и Маргариты».
Для любящих творчество М.А.Булгакова чтение этого подробно и со знанием дела откомментированного тома — увлекательнейшее занятие. Читатель проследит эволюцию замысла, увидит, как крепла рука мастера, как преображалось произведение, связанное тончайшими нитями с современной писателю действительностью.

УДК 882-3
ББК84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-9697-0364-3

СОДЕРЖАНИЕ

БОГ ПОРУГАЕМ НЕ БЫВАЕТ

Трудно назвать в русской литературе писателя, который в той или иной форме не коснулся бы так называемой «бесовской» темы. Чаще всего эти загадочные персонажи действовали в сатирических произведениях, но иногда они становились героями сочинений серьезных, трагических. Михаил Булгаков, опиравшийся на творческий опыт Гоголя, Достоевского, А.К.Толстого, Н.П.Вагнера, В.И.Крыжановской-Рочестер и др., сумел придать этой специфической теме свои особые черты, вытекающие из нерадостной действительности двадцатых-тридцатых годов прошлого столетия («Похождения Чичикова», «Дьяволиада» и др.). Писатель смог отразить сложнейшие события своей эпохи в исторических текстах древнейшего времени, прибегая зачастую к тайнописи, которую не всегда можно расшифровать даже специалисту. При этом герои — представители якобы трансцедентной силы — использовались писателем для решения многосложных и разнообразных художественных задач, в совокупности представлявших собой события, реально развивавшиеся в Москве («красном Ершалаиме») и вокруг Булгакова.

В «Мастере и Маргарите», самом великом своем романе, Булгаков причудливо смешал фантастическое и реальное. Здесь персонажи из ада играют ключевые роли.

В романе-эпопее, над которым художник трудился примерно десять лет, Булгаков, по сути, выразил свое отношение к совершившейся в России в ходе революционных преобразований коренной перестройке всех основ народной и государственной жизни. Разумеется, и в более ранних своих произведениях он касался этой проблемы, но делал это не так масштабно.

В «Мастере и Маргарите» оценка новой действительности дана Булгаковым в самой резкой, порой уничтожающей форме. Любопытно, что даже ближайший друг писателя П.С.Попов, ознакомившись с содержанием последней редакции романа, так характеризовал его в письме к Е.С.Булгаковой от 27 декабря 1940 года: «Конечно, о печатании не может быть речи. Идеология романа — грустная, и ее не скроешь. Слишком велико мастерство, сквозь него все ярче проступает. А мрак он еще сгустил, кое-где не только не завуалировал, а поставил точки над i. В этом отношении я бы сравнил с «Бесами» Достоевского. У Достоевского тоже поражает мрачная реакционность — безусловная антиреволюционность. Меня «Бесы» тоже пленяют своими художественными красотами, но — из песни слов не выкинешь — и идеология крайняя. И у Миши так же резко. Но сетовать нельзя. Писатель пишет по собственному внутреннему чувству — если бы изъять идеологию «Бесов», не было бы так выразительно. Мне только ошибочно казалось, что у Миши больше все сгладилось, уравновесилось (Попов сравнивает последнюю редакцию романа с более ранними вариантами, имевшими свои плюсы и минусы. — *В.Л.),* — какой тут! В этом отношении чем меньше будут знать о романе, тем лучше. Гени-

альное мастерство всегда остается гениальным мастерством, но сейчас роман неприемлем. Должно будет пройти лет 50—100. Но... надо беречь каждую строку — в связи с необыкновенной литературной ценностью» (См.: *М.Булгаков*. Письма. М., 1989. С. 533-534).

Важнейшим стимулом к написанию масштабного романа о новой российской действительности, несомненно, послужило богоборчество, ставшее государственной политикой новой власти. Булгаков рассматривал это явление как целенаправленное уничтожение основ тысячелетней русской духовности и государственности. Уже в «Белой гвардии» он пытался заострить внимание на этой проблеме, создав удивительный по художественной силе образ русского интеллигента Ивана Русакова, писавшего для либеральных журналов богоборческие стишки. Но в последующие годы богоборчество в стране стало обретать еще более агрессивный характер, началось массовое истребление духовенства. О реакции Булгакова на эти события можно судить по его дневниковым записям от 5 января 1925 года:

«Сегодня специально ходил в редакцию «Безбожника». Она помещается в Столешниковом переулке... Был с М.С. (Митей Стоновым. — *В.Л.),* и он очаровал меня с первых же шагов.

— Что, вам стекла не бьют? — спросил он у первой же барышни, сидящей за столом.

— То есть, как это? (растерянно). Нет, не бьют (зловеще).

— Жаль.

Хотел поцеловать его в его еврейский нос.

Оказывается, комплекта за 1923 год нету. С гордостью говорят — разошлось. Удалось достать 11 номеров за 1924 год... Тираж, оказывается, 70 тысяч, и весь расходится. В редакции сидит неимоверная сволочь, выходит, приходит; маленькая сцена, какие-то занавесы, декорации. На столе, на сцене, лежит какая-то священная книга, возможно, Библия, над ней склонились какие-то две головы:

— Как в синагоге, — сказал Митя, выходя со мной. Меня заинтересовало, насколько процентов все это было сказано для меня специально... У меня такое впечатление, что несколько лиц, читавших «Белую гвардию» в «России», разговаривают со мной иначе, как бы с некоторым боязливым, косоватым почтением. Митин отзыв об отрывке «Б. гв.» меня поразил, его можно назвать восторженным, но еще до его отзыва окрепло что-то у меня в душе... Ужасно будет жаль, если я заблуждаюсь...

Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника», был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее, ее можно доказать документально: Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены... Большинство заметок в «Безбожнике» подписано псевдонимами.

"А сову эту я разъясню"» (*М.Булгаков.* Дневник. Письма: 1914—1940. М., 1997. С. 85, 87).

В этой записи важно все, но особенно хотелось бы обратить внимание на две заключительные фразы: «Этому преступлению нет цены» и «А сову эту я разъясню». Первая указывает на значение и место данной темы в будущем романе, а вторая — на желание писателя точно указать на те силы, которые сознательно проводили губительную для народа антихристианскую политику.

Весьма примечателен и факт приобретения писателем комплекта «Безбожника». Разумеется, ему он был необходим для творческой работы, для будущего романа (проведенный нами анализ содержания «Безбожника» за 1923-й и другие годы показал, что Булгаков очень внимательно изучил «за-

метки», помещенные в журнале, и использовал их при написании первых глав романа).

Вообще следует отметить: писатель обладал прекрасной личной библиотекой и замечательной коллекцией документов, которые, к великому сожалению, в значительной степени утрачены. Но кое-что все же сохранилось, в том числе и материалы, относящиеся к богоборческой теме. Среди них выделяются сочинения небезызвестного Демьяна Бедного, послужившего одним из многочисленных прототипов Михаила Александровича Берлиоза (ИРЛИ. Ф. 369. №560).

Необходимо особо подчеркнуть, что «вклад» этого плодовитого поэта в оболванивание и растление и без того несчастного народа был огромен. В течение пятнадцати лет он едва ли не каждый день печатался одновременно во всех центральных органах печати, используя почти всегда один и тот же жанр — поэтический фельетон. Сокрушительные удары наносились им преимущественно по «врагам революции», среди которых на первом месте стояла Русская православная церковь. Булгаков внимательнейшим образом следил за его «творчеством». Как справедливо замечает Н.Б.Кузякина, «на протяжении многих лет Демьян Бедный был невольным литературным раздражителем для Булгакова» (Михаил Булгаков и Демьян Бедный // М.А.Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 410).

С окончанием Гражданской войны Д.Бедный направляет свое ядовитое жало против религии. Примером может служить его сочинение «Занимательная, дива и любопытства достойная, силы благочестия и убеждения исполненная и красноречием дышащая повесть о том, как Четырнадцатая дивизия в рай шла» (М., 1923), где поэт глумится и над похотливым попом, и над апостолом Петром, и над целомудренной старушкой Маланьей, и над убиенными кавалеристами... Все представлено в каком-то разгульном смраде, в котором праведная Маланья не может найти пристанища: апостол Петр не пропускает ее в рай по причине девственности: «Хри-сто-ва Не-ве-ста!.. К плоти презрение! А от доктора есть у тебя удостоверение?»

На это развязное сочинение Булгаков ответил прекрасной новеллой о вахмистре Жилине в романе «Белая гвардия», после прочтения которой еще ярче вырисовывается вся низость официального поэта номер один. А в своем дневнике Булгаков сделал несколько прекрасных записей о Боге. 18 октября: «Итак, будем надеяться на Бога и жить. Это единственный и лучший способ»; 26 октября: «В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна только любовь к литературе и была причиной этого... Но не будем унывать. Сейчас я просмотрел «Последнего из могикан», которого недавно купил для своей библиотеки. Какое обаяние в этом старом сентиментальном Купере! Тип Давида, который все время распевает псалмы, и навел меня на мысль о Боге... Может быть, сильным и смелым Он не нужен, но таким, как я, жить с мыслью о Нем легче...»

В русском зарубежье Демьян Бедный стал притчей во языцех — настолько «прославился» своими виршами. Саша Черный, написав о нем такие едкие строки в варшавской газете «За свободу» (10 ноября 1924 г., № 302), видимо, отразил общее мнение эмиграции:

Военный фельдшер, демагог,
Делец упитанный и юркий,
Матросской бранью смазав слог,
Собрал крыловские окурки.

Семь лет «Демьяновой» ухой
Из красной рыбы, сплошь протухшей,
Он кормит чернь в стране глухой,
Макая в кровь язык опухший.

Разумеется, в Варшаве, Берлине и Париже могли так писать о Д. Бедном, но в коренной России даже самые влиятельные и смелые критики ограничивались лишь репликами о том, что в его творчестве — избыток «ненависти ярой, тяжелой, черноземной, низовой, жгучей, густой» *(А.К.Воронский.* Литературно-критические статьи. М., 1963. С. 110). Зато в своем дневнике Булгаков не без удовольствия записал 23 декабря 1924 года: «Василевский [Не-Буква] рассказал, что Демьян Бедный, выступая перед собранием красноармейцев, сказал:

— Моя мать была блядь» (*М.Булгаков.* Дневник. Письма. С. 76).

Эту запись Булгаков наверняка вспомнил в апреле 1925 года, когда в «Правде», главной газете страны, появился «Новый завет» без изъяна евангелиста Демьяна», вызвавший негодование в христианском мире. В результате во многих странах (прежде всего в Англии) был введен запрет на ввоз и продажу газеты «Правда». И тем не менее «Правда» продолжала в течение почти двух месяцев печатать «евангелие Демьяна».

К сожалению, не сохранилось ни дневников писателя, ни его писем за этот период, и потому мы не знаем, как конкретно реагировал Булгаков на чудовищную выходку Демьяна Бедного (напомним лишь его запись в дневнике по поводу богохульских публикаций в «Безбожнике»: «Этому преступлению нет цены»). Но сравнительно недавно был обнаружен в архивах политического сыска документ, убедительно свидетельствующий о том, что «евангелию Демьяна» Булгаков придавал первостепенное значение.

На новый опус Д.Бедного Булгаков обратил свое пристальное внимание не только потому, что в нем нагло выпирало кощунство над Иисусом Христом и над евангельскими повествованиями, но и потому, что автор протаскивал в сознание масс некоторые «идеи», не совсем чуждые русской и европейской интеллигенции, оспаривавшей важнейшие положения канонических Евангелий. Приведем характерный отрывок из демьяновского текста:

«Эли! Эли! Лама савахвани?»
Как этот крик ни поверни,
Выходит одно и то же:
«Боже, мой боже!
Зачем ты меня оставил?»
Евангелист Лука это место «подправил»,
Не обмолвился о крике ни словечком одним.
Евангелист Иоанн, вслед за ним,
Тоже этот крик отчаяния
Оставил без упоминания...
Потому что как же, в самом деле?
Не божья ль душа была в распятом теле?..
Ведь это же ставит под сомнение
Веру Иисуса в свое воскресение!..

В «деле М.А.Булгакова», заведенном на писателя в ОГПУ, сохранилось «Послание евангелисту Демьяну». Оно было изъято у Булгакова во время обыска на его квартире в мае 1926 года вместе с рукописями «Собачьего сердца» и дневниками. В «Послании» содержалась резкая отповедь Д.Бедному. Расходившееся в списках под фамилией С.Есенина стихотворение было

опубликовано в ряде зарубежных изданий и приобрело международное звучание. Так, парижская газета «Последние новости» (15 июля 1926 г.), публикуя «Послание евангелисту Демьяну», в предисловии под названием «Отповедь» отмечала: «Верный господскому приказу, Ефим Придворов, он же поэт Демьян Бедный, написал и напечатал недавно весьма кощунственное произведение, возмутившее не одних верующих, назвав его «евангелием». Придворному поэту ответил поэт независимый, стихи которого, конечно в рукописном виде, приобрели в Москве большую популярность. Распространялись они за подписью Сергея Есенина и в качестве таковых нам присланы. «Есенинское» в них есть несомненно, ему же они легко могли принадлежать по общему духу; вряд ли также кто-нибудь, кроме Есенина, осмелился на такую отповедь; но доказательств принадлежности их ему у нас нет...»

Приведем из «Послания» небольшой, но характерный отрывок:

Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил,
Ты не задел Его своим пером нимало.
Разбойник был, Иуда был.
Тебя лишь только не хватало.

Ты сгусток крови у Креста
Копнул ноздрей, как толстый боров,
Ты только хрюкнул на Христа,
Лакей Ефимович Придворов.

Родственники Сергея Есенина категорически отрицали авторство поэта. Так, 4 апреля 1926 года в «Правде» появилось следующее опровержение сестры поэта Екатерины Есениной: «За последнее время в Москве частным образом распространяются стихи, приписываемые перу покойного брата моего... Что касается «Послания Демьяну Бедному», то категорически утверждаю, что это стихотворение брату моему не принадлежит». Однако такого рода опровержения только укрепляли уверенность: автор послания — Сергей Есенин, что лишь служило росту популярности и покойного поэта, и стихотворения-отповеди. Булгаков, хранивший и изучивший «Послание», был уверен, что его автор — Есенин (и так и считалось вплоть до 1994 года — до открытия некоторых документов в архивах ОГПУ). Но, как свидетельствуют документы, настоящим автором «Послания» был малоизвестный журналист, коммунист (!) Н.Н.Горбачев (см.: Независимая газета. 1994. 29 апреля).

Позже, конспектируя работу Анри Барбюса «Иисус против Христа» (М.; Л., 1928), Булгаков обратил внимание на следующую мысль французского писателя: «На кресте Он просит своего любимого ученика Иоанна заботиться отныне о его престарелой матери; Он восклицает: «Боже мой, Боже мой, за что Ты меня оставил?» Этот крик человеческого сожаления и поражения, в отчаянии хватающегося за библейское воспоминание, крик, который находится в сильнейшем противоречии с мнимой миссией Иисуса как искупителя, крик, приведенный в греческом тексте Марка по-арамейски, так, как воскликнул Иисус, является реальной и мучительной реликвией в поглотивших его столетиях и грозовых туманах легенд: "Эли, Эли, Лама савахвани?"» (с. 134).

Так что не только словесное зловоние богохульства распространял Д.Бедный, но и упорно копал под основы православия, чем, кстати, занимались в то время — под руководством берлиозов — сотни и тысячи черных «доброхотов», сочиняя свои «научные» опусы и «евангелия».

Несомненно, кощунственное «евангелие от Демьяна» послужило для Булгакова решительным толчком к написанию нового романа, о чем свидетельствует и упомянутый нами документ.

Исследователи часто пишут, что Д.Бедный — прототип Иванушки Бездомного. Это вряд ли верно. Д.Бедный был для Булгакова явлением фантастическим, почти неправдоподобным: писатель дивился, что русский народ может породить таких чудищ. Скорее, образ Ивана Бездомного — собирательный, в нем нашли отражение черты многих поэтов: Ивана Приблудного, Александра Жарова и др. Такие же люди, как Демьян Бедный, по мысли писателя, окончательно выбрали свой земной путь, и изменить его они не могут.

Первые редакции романа Булгаков уничтожил (сохранились лишь фрагменты)[1], а Д.Бедный с неубывающей бесовской энергией продолжал печатать свои богохульные вирши. Нет никаких сомнений в том, что попытки возвращения Булгакова к роману в 1930 и 1931 годах, а затем и окончательное возвращение к нему в 1932-м состоялось и по причине все нарастающего в стране богоборчества, в котором Д.Бедный продолжал играть первостепенную роль.

Хуля с возрастающим цинизмом Православную церковь, он сосредоточил свое внимание на храме Христа Спасителя. 31 января 1930 года «Известия» сообщали: в Тифлисе приступили к сносу бывшего военного собора, на его месте будет построена публичная библиотека. Ниже были помещены восторженные стихи Д.Бедного:

Ай да Тифлис! Собор — на снос!
А мы в Москве ужель так слабы?
«Христа-Спасителя» б давно-с...
Библиотечка где была бы!

18 июля 1930 года в «Известиях» было напечатано постановление по строительству Дворца Советов при ЦИК СССР, где объявлялся открытый конкурс на проект дворца и сообщалось, что храм Христа Спасителя будет снесен. Сообщение, разумеется, также было сопровождено восторгами Д.Бедного.

Началось медленное уничтожение храма. Для Булгакова, как и для всех православных москвичей, это было, быть может, самое тяжкое время: на его глазах умирал один из главных центров православия. Хотя писатель и предвосхитил такое событие в ранней редакции романа (Иванушка Бездомный наблюдал с набережной Москвы-реки огромную «рогатую луну» над храмом Христа Спасителя), реальная действительность его потрясла: людей сковал страх, они боялись протестовать — народ окончательно покорился.

Именно это обстоятельство и приводило в восхищение Д.Бедного. Глумливой радости его не было предела. 16 октября 1931 года в «Правде» была напечатана его поэма «Эпоха», где Д.Бедный зафиксировал нравственное состояние «московского народонаселения»:

Ошарашить нас трудно.
«Храм Спасителя» — взять его нынешний вид —
С развороченным куполом и со стропилами,
Даже вид нас такой не дивит.

Обезглавленный, мертвый, немой,
Торчащий под небом осенним бескрестно,
Уменьшается он, исчезает совместно
С его породившею тьмой,

[1] Подробнее об этом см. в комментариях.

Со всею символикой старой, троякою, —
Он грузно осел и стоит раскорякою
Над Москвою-рекой.
И мы не дивимся картине такой.

Булгаков не прощал глумления над духовными и культурными ценностями, выработанными лучшими представителями русского народа в течение многих веков. Православная вера занимала среди них, несомненно, первое место. Поэтому его обещание «разъяснить сову» означало в первую очередь то, что он не забыл дать достойный ответ осквернителям православной веры.

Исподволь зрел у писателя и другой обширный замысел: показать, к чему привели «революционные преобразования» в стране. Первые камушки этой грандиозной идеи были заложены уже в «Белой гвардии», но наиболее яркое воплощение она получила в повестях «Роковые яйца» и «Собачье сердце». В новом романе Булгаков предполагал концептуально оформить свои мысли по поводу «новой жизни», внедряемой насильственным путем.

О своих взглядах на реальную действительность Булгаков довольно откровенно рассказал в своих письмах Сталину, другим руководителям партии и государства, особенно — в знаменитом письме правительству от 28 марта 1930 года. Никто из писателей не ставил так остро перед руководством страны вопросы о цензуре и свободе печати, как это делал Булгаков. Цитируем: «Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, — мой писательский долг, так же, как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если кто-нибудь из писателей задумал бы доказать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода». Называя это свое свойство «чертой творчества», Булгаков указывал, что в тесной связи с этой чертой находятся и все остальные: «...черные и мистические краски (я — мистический писатель), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное — изображение страшных черт моего народа...»

Несмотря на столь откровенное изложение Булгаковым своих политических взглядов, все-таки нельзя не заметить, что преподнесены они в общей принципиальной форме и не содержат конкретики «бесчисленных уродств нашего быта». Между тем писатель был чуток к малейшим проявлениям несправедливости, некомпетентности, хамства («от хамов нет спасения»), политической дискредитации и проч.

Особенно его интересовали оценки происходящих в стране событий со стороны людей, способных самостоятельно выразить свои мысли и чувства. В декабре 1928 года Булгакову был передан конверт с письмом, написанным броским мужским почерком и подписанным весьма интригующе: «Виктор Викторович Мышлаевский». История этого письма неизвестна, но важно отметить: Булгаков хранил его всю свою жизнь. Хранила его и Е.С.Булгакова, а затем — в составе архива писателя — передала на государственное хранение, не оставив, правда, при письме пояснительных пометок. Видимо, Елена Сергеевна не обладала существенной информацией о письме и его авторе. Считая текст письма исключительно важным, публикуем его полностью:

«Уважаемый г. автор.

Помня Ваше симпатичное отношение ко мне и зная, как Вы интересовались одно время моей судьбой, спешу Вам сообщить свои дальнейшие похождения после того, как мы расстались с Вами. Дождавшись в Киеве прихода

красных, я был мобилизован и стал служить новой власти не за страх, а за совесть, а с поляками дрался даже с энтузиазмом. Мне казалось тогда, что только большевики есть та настоящая власть, сильная верой в нее народа, что несет России счастье и благоденствие, что сделает из обывателей и плутоватых богоносцев сильных, честных, прямых граждан. Все, мне казалось, у большевиков так хорошо, так умно, так гладко, словом, я видел все в розовом свете до того, что сам покраснел и чуть-чуть не стал коммунистом, да спасло меня мое прошлое — дворянство и офицерство.

Но вот медовые месяцы революции проходят. Нэп, кронштадтское восстание... У меня, как и у многих других, проходит угар, и розовые очки начинают перекрашиваться в более темные цвета...

Общие собрания под бдительным инквизиторским взглядом месткома. Резолюции и демонстрации из-под палки. Малограмотное начальство, имеющее вид Вотяжского божка и вожделеющее на каждую машинистку. Никакого понимания дела, но взгляд на все с кондачка. Комсомол, шпионящий походя, с увлеченьем. Рабочие делегации, знатные иностранцы, напоминающие чеховских генералов на свадьбе. И ложь, ложь без конца... Вожди? Это или человечки, держащиеся за власть и комфорт, которого они никогда не видели, или бешеные фанатики, думающие пробить лбом стену. А самая идея!? Да, идея ничего себе, довольно складная, но абсолютно непретворимая в жизнь, как и учение Христа, но христианство и понятнее и красивее.

Так вот-с. Остался я теперь у разбитого корыта. Не материально. Нет. Я служу и по нынешним временам — ничего себе, перебиваюсь. Но паршиво жить, ни во что не веря. Ведь ни во что не верить и ничего не любить — это привилегия следующего за нами поколения, нашей смены беспризорной.

В последнее время или под влиянием страстного желания заполнить душевную пустоту или же, действительно, оно так и есть, но я иногда слышу чуть уловимые нотки какой-то новой жизни, настоящей, истинно красивой, не имеющей ничего общего ни с царской, ни с советской Россией.

Обращаюсь с великой просьбой к Вам от своего имени и от имени, думаю, многих других таких же, как я, пустопорожних думой:

Скажите — со сцены ли, со страниц ли журнала, прямо или эзоповым языком, как хотите, но только дайте мне знать, — слышите ли Вы эти едва уловимые нотки и о чем они звучат?

Или все это самообман и нынешняя советская пустота (материальная, моральная и умственная) есть явление перманентное?

Caesar, morituri te salutant[1].

Виктор Викторович Мышлаевский».

На конверте указано: «Здесь. Проезд Художественного театра, 3. Московский Художественный Театр. Автору пьесы «Дни Турбиных» М.Булгакову».

И дата на штемпеле: «15.12.28».

Очевидно, содержание письма импонировало Булгакову: действительно, в нем автор подметил наиболее существенные недостатки нового политического строя и даже предсказал его неизбежное падение в силу сомнительности основополагающих идей.

Пытаясь выявить социально-политическую основу романа, исследователи чаще всего обращаются к его «московским» главам, где писатель с иронией и сарказмом раскрывает некоторые уродливые стороны жизни москвичей, о чем подробнее будет сказано ниже.

Но в «московских главах» автор в меру сдержан, если не принимать во внимание «деятельности» самого Воланда с командой, наводящего в столице «порядок». А самые острые вопросы скрыты Булгаковым в главах «историче-

[1] Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя *(лат.)*.

ских», «древних». Именно в них действуют силы, определяющие сущность и ход событий в... «красном Ершалаиме».

И тут подходим еще к одному чрезвычайно важному мотиву, подтолкнувшему Булгакова к созданию «фантастического» романа. Речь идет, конечно, о травле писателя в прессе, о запрете его произведений, об обыске, допросах и прочих «прелестях»...

О многолетней травле Булгакова написано достаточно много специальных статей. Но лучше него самого сказать об этом никто не смог. Читаем в главе тринадцатой «закатного» романа: «Однажды герой развернул газету и увидел в ней статью критика Аримана, которая называлась «Вылазка врага»... Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор ее предлагал ударить, и крепко ударить, по пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить... ее в печать... Произведения Аримана и Лавровича могли считаться шуткою по сравнению с написанным Латунским. Достаточно вам сказать, что называлась статья Латунского «Воинствующий старообрядец»... Статьи, заметьте, не прекращались. Над первыми из них я смеялся... второй стадией была стадия удивления... А затем, представьте себе, наступила третья стадия — страха... словом, наступила стадия психического заболевания...»

Из письма к Сталину (от 30 мая 1931 г.): «...я хвораю тяжелой формой нейрастении с припадками страха и предсердечной тоски... Причина моей болезни — многолетняя затравленность, а затем молчание...»

Подавляющее большинство написанных Булгаковым произведений было запрещено. Если в письме к К.С.Станиславскому (август 1931 г.) писатель еще возмущался: «Я вечно под угрозой запрещения» (Музей МХАТа. КС. № 7415), то в октябре 1937 года он с горечью сообщал Б.ВАсафьеву: «За семь последних лет я сделал 16 вещей разного жанра, и все они погибли. Такое положение невозможно, и в доме у нас полная бесперспективность и мрак» (РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1 .Ед.хр. 503).

Но более всего воздействовали на моральное состояние писателя обыски, слежки, доносы и допросы. Приведем лишь один пример. 13 января 1927 года осведомитель сообщал своим шефам в ОПТУ:

«По полученным сведениям, драматург Булгаков... на днях рассказывал известному писателю Смидовичу-Вересаеву следующее... Его вызвали в ОГПУ на Лубянку и, расспросив его о социальном происхождении, спросили, почему он не пишет о рабочих. Булгаков ответил, что он интеллигент и не знает их жизни. Затем его спросили подобным образом о крестьянах. Он ответил то же самое. Во все время разговора ему казалось, что сзади его спины кто-то вертится (вспомним ощущение Пилата после разговора с Афранием: «Один раз он оглянулся и почему-то вздрогнул, бросив взгляд на пустое кресло... прокуратору померещилось, что кто-то сидит в пустом кресле...» — *В.Л.),* и у него было такое чувство, что его хотят застрелить. В заключение ему было заявлено, что если он не перестанет писать в подобном роде, то он будет выслан из Москвы. «Когда я вышел из ГПУ, то видел, что за мной идут».

Передавая этот разговор, писатель Смидович заявил: «Меня часто спрашивают, что я пишу. Я отвечаю: «Ничего, так как сейчас вообще писать ничего нельзя, иначе придется прогуляться за темой на Лубянку».

Сведения точные. Получены от осведома» (Независимая газета. 1994. 28 сентября).

Колоссальное и всестороннее давление, разумеется, оказывало сильнейшее воздействие на морально-психологическое состояние писателя. Но он продолжал работать с еще большей энергией, используя при этом и полученные в ходе гонений интересные материалы. Преследования заставили Булгакова ускорить работу над романом. Это хорошо видно из его письма М.Горь-

кому от 11 августа 1928 года (именно в это время Булгаков приступил к написанию основной части романа). В очередной раз он поднял вопрос о возвращении ему изъятых политическим сыском дневников и рукописей и просил Горького о помощи. При этом Булгаков затронул и интересующую нас тему о возможности творческой работы в условиях гонений и преследований. Цитируем:

«Рукописей моих, отобранных у меня и находящихся в ГПУ, я еще не получил... Есть только один человек, который их может взять оттуда, — это Вы. И я буду считать это незабываемым одолжением. Я знаю, что мне вряд ли придется еще разговаривать печатно с читателем. Дело это прекращается. И я не стремлюсь уже к этому.

Я не хочу.

Я не желаю.

Я желаю разговаривать наедине и сам с собой. Это занятие безвредно, и я никогда не помирюсь с мыслью, что право на него можно отнять (выделено мною. — *В.Л.).*

Пусть они Вам — лично Вам — передадут мои рукописи, а я их возьму из Ваших рук.

Я нарочно не уезжал из Москвы, все ждал возврата. Вижу — безнадежно. И именно теперь, когда состояние моего духа крайне дурно, я хотел бы перечитать мои записи за прежние годы.

Я надеюсь, что Вы извините за беспокойство: мне не к кому обратиться...» *(Н.Н.Примочкина.* Писатель и власть. М., 1998. С. 223).

Думаю, что именно травля писателя вызвала к жизни мощный творческий импульс, выразившийся в создании таких удивительных художественных образов, как Иешуа Га-Ноцри, Левий Матвей, Пилат, Каифа и, конечно, Воланд.

Не меньший протест вызывала у Булгакова и глумливая травля, которой подвергались «реакционные» и «консервативные» писатели и драматурги со стороны официальной прессы и сыскных учреждений. Пожалуй, никого не травили так изощренно и ритуально, как Булгакова.

Особенно его поразили допросы, учиненные ему в ГПУ. Именно после вызовов в это заведение у Булгакова зародилась, казалось бы, дикая мысль: «Москва ли это? В России ли я пребываю? Не стала ли «красная столица» своеобразным Ершалаимом, отрекшимся от Бога и царя и избивающим своих лучших сыновей?..» А дальше? Дальше уже работала богатейшая фантазия писателя, соединявшая далекое прошлое с реальной действительностью. За несколько месяцев роман был написан, причем в двух редакциях. Конечно, это был еще не законченный продукт — эпопея последующих редакций, — это было остросюжетное повествование маэстро Воланда о «красной столице» и его «странные» рассказы о «странных» героях. В нем по-особому зазвучала новая для писателя тема — тема судьбы одаренной и честной личности в условиях лицемерия и тирании. Повторим: во время величайших событий истории Булгаков принял ответственейшее решение: он позволил себе сопоставить судьбу Величайшего Правдолюбца с судьбою талантливейшего писателя из «красного Ершалаима». А позволив себе такое, пошел и дальше — стал вносить коррективы в текст романа в соответствии со своими художественными замыслами.

Роман о дьяволе оказался настолько острым по своему содержанию (например, ополоумевший Иванушка, вбегая в «шалаш Грибоедова», вопит: «Бей жида-злодея!»), что писателю пришлось почти полностью уничтожить это произведение в марте 1930 года.

Сохранились отрывки (Булгаков оставил их как свидетельство того, что роман был написан), из которых ясно видно, что в ершалаимских главах отражены события, происходившие в «красной столице» («красном

Ершалаиме»). К сожалению, не сохранился полностью текст главы «Заседание великого синедриона», где, очевидно, узнавались «герои» двадцатых годов. Но, как я полагаю, и из фрагментов видно, что в красном Ерашалиме определяющими силами были Пилат (Сталин) и Синедрион во главе с Каифой (сначала Троцкий, а затем его единомышленники). Существовали и одиночки-философы с пророческим даром (Иешуа Га-Ноцри с единственным приверженцем — Левием Матвеем), имевшие смелость публично высказывать свои убеждения и тем самым влиять на «общественное мнение» и в силу этого подвергавшиеся гонениям с двух сторон, особенно — со стороны Синедриона.

В романе о дьяволе автор явно питает симпатии к прокуратору Пилату (Сталину), черты которого улавливаются во многих эпизодах. Например, из следующей характеристики:

«Единственный вид шума толпы, который признавал Пилат, это крики: «Да здравствует император!» Это был серьезный мужчина, уверяю вас», — рассказывает Воланд о Пилате.

О некоторых иллюзиях писателя в отношении московского прокуратора (а может быть, о понимании его хитрейшей политики) свидетельствует и такое высказывание Пилата: «Слушай, Иешуа Га-Ноцри, ты, кажется, себя убил сегодня... Слушай, можно вылечить от мигрени, я понимаю: в Египте учат и не таким вещам. Но ты сделай сейчас другую вещь, покажи, как ты выберешься из петли, потому что, сколько бы я ни тянул тебя за ноги из нее — такого идиота, — я не сумею этого сделать, потому что объем моей власти ограничен. Ограничен, как все на свете... Ограничен!!»

Весьма любопытно, что, даже объявив Иешуа смертный приговор, Пилат желает остаться в глазах Праведника человеком, сделавшим все для его спасения (сравните с ситуацией, возникшей с Булгаковым в 1929 году после того, как было принято в январе постановление Политбюро ВКП(б) о запрещении пьесы «Бег», когда Сталин неоднократно давал понять, что он лично ничего не имеет против пьесы Булгакова, но на него давят агрессивные коммунисты и комсомольцы). Он посылает центуриона на Лысую Гору, чтобы прекратить мучения Иешуа.

«И в эту минуту центурион, ловко сбросив губку, молвил страстным шепотом:

— Славь великодушного игемона, — и нежно кольнул Иешуа в бок, куда-то под мышку левой стороны...

Иешуа же вымолвил, обвисая на растянутых сухожилиях:

— Спасибо, Пилат, я же говорил, что ты добр...»

И тут важно, на наш взгляд, сделать некоторое отступление и рассказать о складывавшихся отношениях (заочных) между писателем и набирающим с каждым днем силу генеральным секретарем.

Трудно точно определить время, когда у Булгакова стало формироваться отношение к Сталину как к своему покровителю (в личных беседах и письмах писатель избегал этой темы, но в его художественных произведениях она становится одной из основных), однако можно предположить, что произошло это в течение 1927—1928 годов, о чем свидетельствуют следующие факты.

Булгаков не мог не знать, что «путевку в жизнь» «Дням Турбиных» дал именно Сталин, которому пьеса очень нравилась (по количеству посещений вождем спектакль «Дни Турбинных» уступал только «Любови Яровой» К.А.Тренева). Не заканчивались арестом и вызовы Булгакова на допросы в ОГПУ (политический сыск не решался на это без санкции «сверху»). И, наконец, Сталин открыто выступил в защиту «Дней Турбиных» в 1927 и 1928 годах, о чем следует сказать особо.

Напомним: «Дни Турбиных» были разрешены в постановке сроком на один год. По окончании сезона А.В.Луначарский, пунктуально выполняя решение Политбюро, снял пьесу со сцены Художественного театра. После настойчивых заявлений К.С.Станиславского в защиту пьесы вновь состоялось заседание Политбюро, на котором было принято новое решение о продлении срока постановки еще на год. Хотя Станиславский направлял свои письма К.Е.Ворошилову, А.П.Смирнову (секретарю ЦК), А.М.Лежаве (зампреду Совнаркома) и другим партийным и государственным деятелям, всем было ясно, что они действовали по указанию Сталина.

Осенью 1928 года Главрепертком настоял на том, чтобы спектакль был снят. Казалось, противники «Дней Турбиных» теперь-то добьются своего, поскольку Станиславский как раз находился на лечении за границей. Однако Сталин решительно и открыто выступил в защиту пьесы. Об этом сравнительно недавно стало известно из публикации письма А.В.Луначарского к Сталину от 2 февраля 1929 года (см.: Литературная газета. 1993. 25 апреля). В письме наркома просвещения говорилось: «В начале текущего сезона (то есть осенью 1928 года. — *В.Л.)* по предложению Главреперткома Коллегия НКПроса вновь постановила прекратить дальнейшие спектакли «Дней Турбиных», но Вы, Иосиф Виссарионович, лично позвонили мне, предложив снять это запрещение, и даже сделали мне (правда, в мягкой форме) упрек, сказав, что НКПрос должен был предварительно справиться у Политбюро...» Весьма интересно и продолжение письма: «Если разного рода безответственные журналисты и демагогствующие молодые люди пытаются вешать собак на НКП за попустительство в отношении «Дней Турбиных», то НКПрос отвечает на это молчанием и охотно несет во всей полноте ответственность за исполняемое им распоряжение Политбюро...»

Все это свидетельствует о поддержке Сталиным пьесы «Дни Турбиных». Следовательно, у Булгакова были все основания считать покровительство генсека (если не самому писателю, то пьесе) вполне реальным. В то же время Булгаков ощущал все нарастающее давление со стороны ОГПУ, Главрепеткома, прессы. Невольно в его мыслях мог возникнуть четкий водораздел между вождем, с одной стороны, и органами политического сыска, Главреперткома, прессы — с другой.

Воланд по внешности, приемам, манере поведения, да и по некоторым поступкам (искушает Иванушку разметать изображенный на песке образ Спасителя) напоминает «лукавого». Но по существу, по самой своей сути, он — явление сугубо положительное, ибо по ходу действия романа выявляет и наказывает людей, творящих зло. Само его появление в «красной столице» связано с тем, что город этот перенасыщен злыми делами и помыслами. И главной задачей Воланда (в ранних редакциях романа) было уничтожение Москвы (путем сожжения) как средоточия человеческой мерзости. И хотя в последующих редакциях Булгаков смягчает, по цензурным соображениям, свой первоначальный замысел (полное уничтожение города заменяется сначала сильным пожаром, а затем поджогами отдельных зданий), в отношении отдельных персонажей романа писатель даже ужесточает свою позицию: Воланд жестоко казнит руководителя Союза писателей богоборца Берлиоза, шпиона-осведомителя барона Майгеля. То есть казнит тех, на кого, по традиционной логике (в случае если бы Воланд выполнял свойственные ему функции), он должен был бы опираться и действия кого должен был приветствовать. И наказывает Воланд, опять-таки, именно тех, кто действует в этом мире по законам «лукавого»: председателя жилтоварищества взяточника Босого, пьяницу и развратника Степу Лиходеева, лгуна и хама Варенуху, буфетчика-воришку Сокова, авантюриста Поплавского, доносчика Алоизия Могарыча и т.п. А помощники Воланда наделяют Маргариту сверхъестественными спо-

собностями, чтобы она с их помощью смогла устроить погром в жилищах писателей и критиков, ранее беспощадно травивших ее возлюбленного… Словом, Воланд и его «шайка» осуществляют в Москве те действия, которые желательны были… автору романа.

Важно также подчеркнуть, что Воланд высказывает (в разных редакциях романа) такие мысли и соображения, которым можно только удивляться, ибо они указывают на высокие нравственные критерии, по которым «консультант» мерит мир земной. И дело не только в его высказываниях по поводу отдельных отрицательных явлений и персонажей («Рассказывают, что у вас суд классовый?»; «Я вообще не люблю хамов...»; «...достаточно одного взгляда на лицо Хустова, чтобы сразу увидеть, что он сволочь, склочник, приспособленец и подхалим»), но и в обобщающих оценках «московского народонаселения». Частично они содержатся в ответе Воланда на вопрос Берлиоза о правдивости евангельских свидетельств по поводу криков иудеев «Распни его!» в одной из ранних редакций романа. «Такой вопрос в устах машинистки из ВСНХ был бы уместен, конечно, но в ваших!.. Помилуйте! Желал бы я видеть, как какая-нибудь толпа могла вмешаться в суд, чинимый прокуратором, да еще таким, как Пилат! Поясню, наконец, сравнением. Идет суд в ревтрибунале на Пречистенском бульваре, и вообразите, публика начинает завывать: «Расстреляй, расстреляй его!» Моментально ее удаляют из зала суда, только и делов. Да и зачем она станет завывать? Решительно ей все равно, повесят ли кого или расстреляют. Толпа, Владимир Миронович, во все времена толпа — чернь...» Но вот в беседе с буфетчиком-мошенником Воланд задает несколько «интересных» вопросов, среди которых и такой «наивный»: «Скажите, в Москве есть мошенники?» И когда буфетчик на это «криво и горько улыбнулся», Воланд вскричал: «Ах, сволочь-народ в Москве!» И затем в сеансе черной магии (в ранних редакциях — белой магии!) «незнакомец» задает присутствующим в зале главный свой вопрос: «Изменились ли эти горожане внутренне, э?» И чуть позже, когда над «горожанами» уже проведены соответствующие опыты, сам и отвечает на этот сакраментальный вопрос: «Алчны, как и прежде, но милосердие не вытравлено вовсе из их сердец. И то хорошо». Следует заметить, что ответ этот в различных редакциях романа звучит по-разному, смягчаясь последовательно от редакции к редакции, но первоначальный смысл его все-таки сохраняется: «московское народонаселение» нравственно не улучшилось. И об этом же свидетельствует неожиданно проникновенная реплика Воланда после услышанной им просьбы Маргариты вернуть ей ее возлюбленного: «Я никак не ожидал, чтобы в этом городе могла существовать истинная любовь...» Более уничтожающей характеристики главному городу страны и его обитателям вряд ли можно придумать.

Итак, Воланд фактически выступает в романе обличителем пороков, искоренителем зла и защитником нравственности. Можно ли после этого удивляться следующему диалогу между «Неизвестным» и Берлиозом:

«— Должен вам сказать, — заговорил Владимир Миронович, — что у вас недурные знания богословские. Только непонятно мне, откуда вы все это взяли.

— Ну, так ведь... — неопределенно ответил инженер, шевельнув бровями.

— И вы любите его, как я вижу, — сказал Владимир Миронович, прищурившись.

— Кого?

— Иисуса?

— Я? — спросил неизвестный и покашлял: — Кх... кх, — но ничего не ответил».

Вот такого «лукавого», любящего Христа (!), создал Михаил Булгаков. И конечно, такому важному и в высшей степени своеобразному персонажу можно было вложить в уста самые сокровенные свои мысли.

Кстати, и другие герои романа (даже второстепенные) тоже неоднократно высказывают авторские мысли, чаще всего обличительные. Вот идет допрос председателя жилтоварищества Поротого (Босого), уличенного во взяточничестве. Но при этом из показаний Поротого выясняется важная деталь: коммунист-то он липовый, вступивший в партию «из корыстолюбия»... Вездесущий и всезнающий Коровьев, как бы продолжая эту щепетильную тему, дает и другому коммунисту, Степе Лиходееву, удручающую характеристику: «Пять раз женился, пьянствует и лжет начальству». А вот представитель переродившегося духовенства, отец Аркадий Элладов, призывая заключенных добровольно сдавать валюту государству, обосновывает это тем, что всякая власть дается народу от Бога и что Божие — Богу, но кесарево принадлежит кесарю (то есть валюта принадлежит действующей власти). При этом Аркадий Элладов приравнял советскую власть к кесарю, что даже у дремуче темного Никанора Босого вызвало глухое негодование из-за неуместности сравнения. Подобные нравоучительные сценки разбросаны по всему тексту романа, и они, к нашему удивлению, оказываются чрезвычайно актуальными и в наше время (взять хотя бы сцену с фальшивыми деньгами во время сеанса черной магии). Но иногда автор прибегал и к грустно-озорной тайнописи. Так, повествуя о приключениях некоей мадам де Фужере — она «решила поправить свои нервы и для этого съездить на два месяца в Париж к сестре... с которой не виделась четырнадцать лет», — Булгаков в деталях рассказывает о своих попытках выехать в 1934 году в отпуск за границу, чтобы «поправить свои нервы» и повидаться с братьями (проживавшими в Париже), с которыми он не виделся четырнадцать лет. Разумеется, и попытки «мадам де Фужере» окончились полным провалом.

Воланд, как фигура многофункциональная, вытворяет массу антихристианских вещей, делая все наоборот. Писатель, выбрав временем действия предпасхальные дни, тем самым предоставил Воланду широчайшие возможности для проявления своей «дьявольской» сути перевертыша в антихристианской ритуалистике, что особенно хорошо просматривается на великом бале у сатаны.

Но все это придумано, как мы уже отмечали, опять-таки *для* «похожести» — чтобы Воланд хотя бы в чем-то походил на дьявола, хотя, надо заметить, и в этой части Булгаков весьма вольно и своеобразно толкует демоническую ритуалистику, поскольку не она для него главное. Главная задача Воланда, по мысли писателя, — борьба со злом, хотя бы и в рамках формулы: «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

Разумеется, такая идея (гениальная и сомнительная в одно и то же время) могла возникнуть у писателя только в состоянии, близком к отчаянию. И это подтверждается множеством фактов, которые мы уже приводили (травля, слежка, доносы, допросы). И сам писатель не скрывал своего состояния. Обратим внимание на концовку процитированного письма к М.Горькому: «...мне не к кому обратиться...» Чуть позже Булгаков писал своему брату Николаю: «Защиты и помощи у меня нет».

Так где же искать защиту и помощь? Ответ вроде бы дан в романе: «Конечно, когда люди так несчастны, как мы, они ищут спасения у трансцедентной силы...» То есть у выдуманного «спасителя» Воланда... Между тем писатель понимал и ощущал каждый день, что сотворенный им защитник несчастных, вроде бы дьявол, не может победить дьявола подлинного, установившего в России свои порядки. Но отнять у него возможность «разговаривать наедине с самим собою» могла только смерть...

Сбылось предсказание архиепископа Сан-Францисского Иоанна о том, что роман «Мастер и Маргарита» будет в центре внимания писателей, критиков, публицистов и ученых... «О книге Булгакова будут писать, — подчеркивал

архиепископ. — И о ней нелегко будет писать тем, кто станет писать» (предисловие к изданию: *М.Булгаков.* Мастер и Маргарита. Париж, 1967. С. 9).

Мудрый архиепископ намекнул и на причины, которые будут препятствовать ясному и однозначному пониманию содержания романа. Первая из них — воля самого писателя («Михаил Булгаков унес из этого мира тайну творческого замысла своего главного произведения»). Вторая — роман «сложный, с ветвистой, плюралистической тематикой... построен в ключе фантастики, острой сатиры и умной русской иронии». Третья — «острая маскировка автора (вынужденного к этому условиями жизни)». О последней причине архиепископ высказался довольно подробно. Цитируем: «Драма книги — неистинное добро. Среди этой фантасмагории идеократического и обывательского мнимого добра хозяйничает зло... Многочисленны, трагически смешны и нелепы эти слившиеся с бытом людей проделки зла, одурачивающего человечество. Метафизической этой проблеме, обычно скрываемой в обществе, Булгаков дал, в условиях Советского Союза, удобную сатирическую форму, которую можно назвать метафизическим реализмом. Этот большой свой реализм автор должен был, конечно, уложить на прокрустово ложе маленького, обывательского «реализма», переходящего в буффонаду, чтобы сделать хоть немного доступным людям свой замысел» (Там же. С. 8-9).

Современные исследователи творчества Булгакова, воспользовавшись «сложной, ветвистой и плюралистической тематикой» романа, развили такую активность по его толкованию, что иногда просто оторопь берет при прочтении этих толкований. Если верить некоторым многостраничным (и многотомным!) исследованиям, то получается следующая любопытная картина с «ветвистыми» заключениями:

— роман есть классическое эзотерическое произведение, содержание и смысл которого можно понять только с помощью эзотерики текста;

— роман создан под влиянием Корана и в значительной степени отражает его сущность;

— постигнуть роман можно лишь ясновидящим, поскольку это сочинение астральное;

— произведение это антихристианское, так как писатель попытался написать свое собственное евангелие, противоположное каноническим Евангелиям... — и так далее.

В некотором роде уже создана целая «отрасль знаний», покоящаяся на философско-богословском и мистически-демонологическом (преимущественно) подходе к исследованию текста романа «Мастер и Маргарита», которая будет шириться и умножаться, все более превращаясь в явление самостоятельное. Видимо, такова уж сила булгаковского творения (в том числе и «мистическая»), раз она способна вызывать у исследователей и читателей страстную потребность высказать свою точку зрения по поводу замыслов, идей и содержания этого загадочного произведения.

К сожалению, Булгакову приходилось не только скрывать свои идеи и замыслы, но и неоднократно уничтожать великолепные тексты (судя по сохранившимся фрагментам — самые лучшие и политически острые). И делал он это не потому, что боялся быть уличенным в написании астрально-эзотерического или новоевангелического романа, а потому, что понимал: за такую главу, как, например, «Заседание Великого Синедриона» (Иешуа сначала допрашивали в Синедрионе, а затем отправляли к Пилату), где раскрывался механизм политического сыска «красного Ершалаима», ему пришлось бы поплатиться очень тяжко. Не случайно в одном из своих писем П.С.Попову Булгаков с иронией заметил: «Печка давно уже сделалась моей излюбленной редакцией».

Вот почему, на наш взгляд, и самому широкому читателю будет крайне любопытно проследить все этапы рождения романа и прочесть собранные в этом томе наиболее существенные его редакции (разумеется, из тех, что сохранились).

И еще несколько слов в заключение. Сам писатель чрезвычайно редко говорил о целях и замыслах своего романа; Е.С.Булгакова также стремилась не касаться идейной сущности произведения. Ничего не сохранилось и в воспоминаниях близких им людей относительно целевых установок романа. В связи с этим особую ценность приобретает письмо Булгакова к Елене Сергеевне от 6—7 августа 1938 года: «Я случайно напал на статью о фантастике Гофмана. Я берегу ее для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня. Я прав в «Мастере и Маргарите»! Ты понимаешь, что стоит это сознание — я прав!» (НИОР РГБ. Ф. 562. К. 19. Ед. хр. 8).

Так что же так поразило Булгакова и подтвердило его веру в свой роман?

Речь идет о статье И.В.Миримского «Социальная фантастика Гофмана», опубликованной в журнале «Литературная учеба» (1938, № 5). Почти весь текст статьи, хранящейся в архиве писателя, испещрен подчеркиваниями и иными пометами (красным и синим карандашами). Вот лишь некоторые фрагменты, отчеркнутые Михаилом Афанасьевичем:

«Стиль Гофмана можно определить как реально-фантастический. Сочетание реального с фантастическим, вымышленного с действительным...»

«Если гений заключает мир с действительностью, то это приводит его в болото филистерства, «честного» чиновничьего образа мыслей; если же он не сдается действительности до конца, то кончает преждевременной смертью или безумием».

«Он превращает искусство в боевую вышку, с которой как художник творит сатирическую расправу над действительностью».

«Смех Гофмана отличается необыкновенной подвижностью своих форм, он колеблется от добродушного юмора сострадания до озлобленной разрушительной сатиры, от безобидного шаржа до цинически уродливого гротеска».

Особое внимание Булгакова привлекли следующие строки:

«Цитируются с научной серьезностью подлинные сочинения знаменитых магов и демонолатров, которых сам Гофман знал только понаслышке. В результате к имени Гофмана прикрепляются и получают широкое хождение прозвания, вроде спирит, теософ, экстатик, визионер и, наконец, просто сумасшедший.

Сам Гофман, обладавший, как известно, необыкновенно трезвым и практическим умом, предвидел кривотолки своих будущих критиков...»

И еще один штрих, быть может, самый важный:

«Шаг за шагом отвлеченный субъективно-эстетический протест в творчестве Гофмана вырастает в бунт социального напряжения, ставящий Гофмана в оппозицию ко всему политическому правопорядку Германии».

Нетрудно представить Булгакова на месте Гофмана. И тогда понятно, почему писатель выделяет в статье Миримского именно эти места. Перед нами не что иное, как оценка писателем не только главного своего сочинения — «закатного романа», но и всего своего творчества.

Виктор Лосев

ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Виктор Иванович Лосев, один из старейших сотрудников Отдела рукописей Российской государственной библиотеки, почти два десятка лет отдал изучению творчества Михаила Афанасьевича Булгакова по материалам архива писателя, хранящегося в ОР РГБ. Он впервые опубликовал материалы практически всех редакций и черновиков великого булгаковского романа «Мастер и Маргарита». К несчастью, 4 июля 2006 года, за несколько месяцев до выхода этой книги, Виктор Иванович Лосев скончался. Светлая ему память! Тяжелая болезнь не позволила исследователю завершить работу над этой итоговой книгой, где собраны все творчески значимые редакции романа наряду с окончательным, условно-каноническим текстом, который выверен по архивным источникам и отличается от всех ранее публиковавшихся. Этот текст в наибольшей мере соответствует последней творческой воле Булгакова.

Надо также иметь в виду, что Булгаков не успел закончить работу над романом, поэтому любой «окончательный» или «условно-канонический» вариант текста всегда будет результатом работы конкретных текстологов, которым приходится решать ряд творческих задач, которые не успел решить писатель. Можно сказать, что трое текстологов, независимо работая над рукописями романа, создадут четыре различных варианта «окончательного» текста, и в этой шутке будет только доля шутки. По этой причине варианты «условно-канонического» текста, предлагаемые разными исследователями, неизбежно во всех случаях будут носить в чем-то субъективный характер и отличаться друг от друга. В целом же предлагаемая читателю книга дает хорошее представление о том, как менялся замысел и текст романа от первых черновиков до последней правки, вносимой Е.С.Булгаковой под диктовку смертельно больного писателя. Булгаков по мере работы над романом все больше понимал, что публикация его будет посмертной. Поэтому в последних редакциях «Мастера и Маргариты» исчезают многие конкретные приметы времени, исчезают некоторые излишние подробности, в том числе и в ершалаимских сценах. Роман все больше ориентируется на вечные, вневременные ценности и символы.

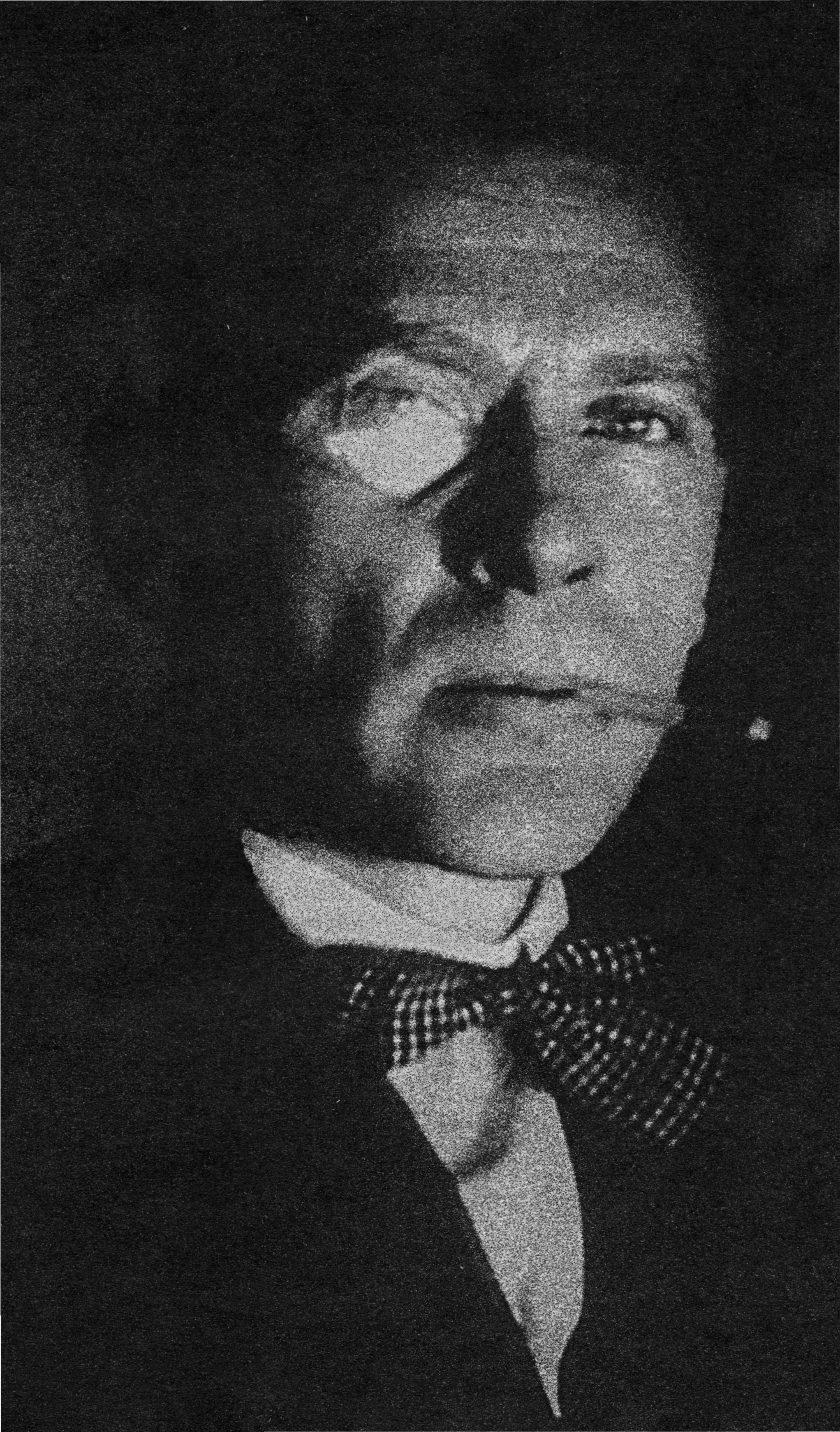
Борис Соколов

Черный маг

Черновики романа

Тетрадь 1

1928–1929 гг.



РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

— Значит, гражданин Поротый, две тысячи рублей вы уплатили гражданину Иванову за дом в Серпухове?

— Да, так. Так точно, — уплатил я. Только при этом клятвенно говорю, не получал я от Воланда никаких денег! — ответил Поротый.

Впрочем, вряд ли в отвечавшем можно было признать председателя. Сидел скуластый, исхудавший, совсем другой человек, и жиденькие волосы до того перепутались и слиплись у него на голове, что казались кудрявыми. Взгляд был тверд.

— Так. Откуда же взялись у вас пять тысяч рублей? Из каких же уплатили? Из собственных?

— Собственные мои, колдовские, — ответил Поротый, твердо глядя.

— Так. А куда же вы дели полученные от Воланда въездные?

— Не получал, — одним дыханием сказал Поротый.

— Это ваша подпись? — спросил человек у Поротого, указывая на подпись на контракте, где было написано: «5 тысяч рублей согласно контракту от гр. Воланда принял».

— Моя. Только я не писал.

— Гм. Значит, она подложная?

— Подложная бесовская.

— Так. А граждане Корольков и Петров видели, как вы получили. Они лгут?

— Лгут. Наваждение.

— Так. И члены правления лгут? И общее собрание?

— Так точно, лгут. Им нечистый глаза отвел. А общего собрания не было.

— Ага. Значит, не было денег за квартиру?

— Не было.

— Были ваши собственные. Откуда они у вас? Такая большая сумма?

— Зародились под подушкой.

— Предупреждаю вас, гражданин Поротый, что, разговаривая таким нелепым образом, вы сильно ухудшаете ваше положение.

— Ничего. Я пострадать хочу.

— Вы и пострадаете. Вы меня время заставляете зря терять. Вы взятки брали?

— Брал.

— Из взяток составились пять тысяч?

— Какое там. По мелочам брал. Все прожито.

— Так. Правду говорите?

— Христом Богом клянусь.

— Что это вы, партийный, а все время бога упоминаете? Веруете?

— Какой я партийный. Так...

— Зачем же вступили в партию?

— Из корыстолюбия.

— Вот теперь вы откровенно говорите.

— А в Бога Господа верую, — вдруг сказал Поротый, — верую с сего десятого июня и во диавола.

— Дело ваше. Ну-с, итак, согласны признать, что из пяти тысяч, полученных вами за квартиру, две вы присвоили?

— Согласен, что присвоил две. Только за квартиру ничего не получал. А подпись вам тоже мерещится.

Следователь рассмеялся и головой покачал.

— Мне? Нет, не мерещится.

— Вы, товарищ следователь, поймите, — вдруг сказал проникновенно Поротый, — что я за то только и страдаю, что бес подкинул мне деньги, а я соблазнился, думал на старость угол себе в Серпухове обеспечить. Мне бы сообразить, что деньги под подушкой... Только я власть предупреждаю, что у меня во вверенном мне доме нечистая сила появилась. Ремонт в Советской России в день сделать нельзя, хоть это примите во внимание.

— Оригинальный вы человек, Поротый. Только опять-таки предупреждаю, что, если вы при помощи этих глупых фокусов думаете выскочить, жестоко ошибаетесь. Как раз наоборот выйдет.

— Полон я скверны был, — мечтательно заговорил Поротый, строго и гордо, — людей и Бога обманывал, но с ложью не дорогами ходишь, а потом и споткнешься. В тюрьму сяду с фактическим наслаждением.

— Сядете. Нельзя на общественные деньги дома в Серпухове покупать. Кстати, адрес продавца скажите.

— В 3-й Мещанской, купца Ватрушкина бывший дом.

— Так. Прочтите, подпишите. Только на суде потом не извольте говорить, что подпись бесовская и что вы не подписывали.

— Зачем же, — кротко отозвался Поротый, овладевая ручкой, — тут уж дело чистое, — он перекрестился, — с крестом подпишем.

— Штукарь вы, Поротый. Да вы прочтите, что подписываете. Так ли я записал ваши показания?

— Зачем же. Не обидите погибшего.

ЯКОБЫ ДЕНЬГИ

Интересно, как никому и в голову не пришло, что странности и вообще всякие необыкновенные происшествия, начавшиеся в Москве уже 12 июня, на другой же день после дебюта м-е Воланда, имели все

один, так сказать, общий корень и источник и что источник этот можно было бы и проследить. Хотя, впрочем, мудреного особенно и нет. Москва — город громадный, раскиданный нелепо, населения в нем как-никак два с половиной миллиона, да и население-то такое привычное ко всяким происшествиям, что оно уж и внимание на них перестало обращать.

В самом деле, что, скажем, удивительного в том, что 12 июня в пивной «Новый быт» на углу Триумфальной и Тверской арестовали гражданина? Арестовали за дело. Выпив три кружки пива, гражданин направился к кассе и вручил кассирше червонец. Хорошо, что бедная девушка опытным глазом увидела, что червонец скверный — именно на нем одного номера не было. Кассирша, неглупая девушка, вместо того чтобы со скандалом вернуть бумажку, сделала вид, что в кассе что-то заело, а сама мигнула малому в фартуке. Тот появился у плеча обладателя червонца. Осведомились: откуда такой червонец малахольный, недоделанный? На службе получил... Любопытные лица. На службе, гражданин, таких червонцев сроду не давали. Гражданин в замешательстве к двери. Попридержали, через минуту красное кепи — и готово. Замели гражданина.

Второй случай вышел пооригинальнее. В кондитерской в Столешниковом переулке купил прилично одетый мужчина двадцать штук пирожных. К кассе. Кассирша в негодовании.

— В чем дело?

— Вы что, гражданин, даете?

— Как «что»? Черв...

Глядь, какой же это червонец! Кассирша злобно возвращает этикетку белого цвета. Написано: «Абрау-Дюрсо, полусухое».

— Что такое?! Ради бога, извиняюсь...

Дает другой, тут уж скандал! Конфетная бумажка «Карамель фабрики Розы Люксембург — "Наш ответ Чемберлену"».

— Прошу не хулиганить!!

Все приказчицы негодуют. Публика смотрит... Господин малиновый, еле выскочил из магазина, но его вернули, заставили заплатить за измятые в коробке пирожные. Он расплатился серебряной мелочью. А выбежавши, швырнул в канавку проклятые две бумажки, причем изумленный прохожий поднял их, развернул, увидел, что это червонцы, присвоил их.

На Мясницкой у почтамта в полдень громко разрыдалась девушка, торгующая с моссельпромовского лотка шоколадом. Оказалось, что какой-то негодяй вручил и так нищей, нуждающейся продавщице червонец, а когда она через некоторое время вынула его из жестяной коробочки, служившей ей кассой, увидела в руках у себя белый листок из отрывного календаря. Потом случаи стали все чаще, и все связаны они были с деньгами. В банке на углу Петровки и Кузнецкого арестовали кассира, потому что, сдавая дневную кассу контролеру, он сдал в пачке, перевязанной и им подписанной, вместо тысячи только семьсот и на триста — резаных по формату лозунгов «Религия — яд, берегите ребят».

В частном галантерейном магазине на Арбате обнаружил хозяин в кассовом ящике вместо четырех червонных бумажек четыре билета в театр на революционную пьесу. Владелец магазина их рвал зубами.

В кассе месткома газеты «Звонок» во Дворце Труда случилось похуже. Там обнаружилась недостача денег в несгораемом шкафу, а вместо недостающих червонцев — пятьдесят штук троцкистских прокламаций самого омерзительного содержания. Секретарь, обнаруживший их, ничего никому не сказал, но уединился в телефонной будке, и через час трое людей в черных куртках увезли прокламации, а с ними двух беспартийных сотрудников «Звонка», неизвестно куда. Случаи превращения денег в черт знает что во второй половине дня стали настолько частыми, что о них тут только расплылся по столице слушок... Из одних трамваев раз двадцать высаживали субъектов, которые развязно протягивали кондукторшам всякий хлам вроде, например, наклейки с коробки сардин «Маяк», как это было на Моховой улице.

На Смоленском рынке на закате солнца в подворотне произошла поножовщина по поводу брюк, купленных за вышедший в тираж лотерейный билет автодора. Человека зарезали с ловкостью и смелостью почти испанской.

Меж тем только один человек во всей Москве в тот же день проник в то место, о котором впоследствии только догадались... Человек этот, конечно, был буфетчик «Варьете». Нужно отметить, что человечек короткого роста и с веками, прикрывающими свиные глазки крышечками, и моржовыми усами был меланхоликом. На лице у него царило не сходящее выражение скорби, и тяжкие вздохи непрерывно вырывались из его груди. Если ему приходилось платить восемь копеек в трамвае, он вздыхал так, что на него оборачивались.

В утро 12 июня, проверяя кассу, он нашел вместо одиннадцати червонцев одиннадцать страниц маленького формата из «Заколдованного места» Гоголя. Мы не беремся описывать ни лицо буфетчика, ни его жесты, ни слова.

Он к полудню закрыл буфет, облачился в желтое летнее пальто, художническую шляпу и, несмотря на жару, в калоши и, вздохами оглашая окрестности, отправился на Садовую. У подъезда «Варьете» он продрался сквозь толпу, причем вздохнул многозначительно.

Через пять минут он уже звонил в третьем этаже. Открыл ему маленький человечишко в черном берете. Беспрепятственно буфетчика пропустили в переднюю. Он снял калошки, аккуратно поставил их у стоечки, пальтишко снял и так вздохнул, что человечишко обернулся, но куда-то исчез.

— Мессир, к вам явился человек.

— Впустите, — послышался низкий голос. Буфетчик вошел и раскланялся, удивление его было так сильно, что на мгновение он забыл про одиннадцать червонцев.

Вторая венецианская комната странно обставлена. Какие-то ковры всюду, много ковров. Но стояла какая-то подставка, а на ней совершенно ясно и определенно золотая на ножке чаша для святых даров.

«На аукционе купил. Ай, что делается!» — успел подумать буфетчик и тут же увидал кота с бирюзовыми глазами, сидящего на другой подставке. Второй кот оказался в странном месте на карнизе гардины. Он оттуда посмотрел внимательно на буфетчика. Сквозь гардины на двух окнах лился в комнату странный свет, как будто в церкви в пламенный день через оранжевое стекло. «Воняет чем-то у них в комнате», — подумал потрясенный царь бутербродов, но чем воняет, определить не сумел. Не то жжеными перьями, не то какою-то химической мерзостью.

Впрочем, от мысли о вони буфетчика тотчас отвлекло созерцание хозяина квартиры. Хозяин этот раскинулся на каком-то возвышении, одетом в золотую парчу, на коей были вышиты кресты, но только кверху ногами.

«Батюшки, неужели же и это с аукциона продали?»

На хозяине было что-то, что буфетчик принял за халат и что на самом деле оказалось католической сутаной, а на ногах черт знает что. Не то черные подштанники, не то трико. Все это, впрочем, буфетчик рассмотрел плохо. Зато лицо хозяина разглядел. Верхняя губа выбрита до синевы, а борода торчит клином. Глаза буфетчику показались необыкновенно злыми, а рост хозяина, раскинувшегося на этом... ну, бог знает на чем, неимоверным.

«Внушительный мужчина, а рожа кривая», — отметил буфетчик.

— Да-с? — басом сказал хозяин, прищуриваясь на вошедшего.

— Я, — поморгав, ответил буфетчик, — изволите ли видеть, содержатель-владелец буфета из «Варьете».

— Не подумаю даже! — ответил хозяин.

Буфетчик заморгал, удивившись.

— Я, — продолжал хозяин, — проходил мимо вашего буфета, почтеннейший, и нос вынужден был заткнуть. . . . .

— Бегемот!

На зов из черной пасти камина вылез черный кот на толстых, словно дутых лапах и вопросительно остановился.

«Дрессированный, — подумал буфетчик, — лапы до чего гадкие!»

— Ты у канцлера был? — спросил Воланд.

Буфетчик вытаращил глаза.

Кот молчал.

— Когда же он успеет? — послышался хриплый сифилитический голос из-за двери, — ведь это не ближний свет! Сейчас пошлю.

— Ну а в Наркомпросе?

— В Наркомпрос я Бонифация еще позавчера посылал, — пояснил все тот же голос.

— Ну?

— Потеха!

— Ага, ну ладно. Брысь! (Кот исчез в камине.) Итак, продолжайте, вы славно рассказываете. Так... Якобы деньги?.. Дальые-с...

Но буфетчик не сразу обрел дар дальнейших рассказов. Черненькое что-то стукнуло ему в душу, и он настороженными слезящимися глазками проводил Бегемота в камин.

— А они, стало быть, ко мне в буфет и давай их менять!

— О! Жадные твари! Но, позвольте, вы-то видели, что вам дают?

— То-то, что деньги совершенно как настоящие.

— Так что же вас беспокоит? Если они совершенно как настоящие...

— То-то, что сегодня, глядь, ан вместо червонцев резаная бумага.

— Ах, сволочь-народ в Москве! Но, однако ж, чего вы хотите от меня?

— Вы должны уплатить...

— Уплатить?!

— О таких фокусах администрацию надлежит уведомлять. Помилуйте, на 110 рублей подковали буфет.

— Я не хочу вам платить. Это скучно платить.

— Тогда вынужден я буду в суд заявить, — твердо сказал буфетчик.

— Как в суд! Рассказывают, у вас суд классовый?

— Классовый, уж будьте спокойны.

— Не погубите сироту, — сказал плаксиво Воланд и вдруг стал на колени.

«Полоумный или издевается», — подумал буфетчик.

— Лучше я вам уплачу, чем в суд идти. Засудят меня, ох засудят, как пить дадут, — сказал Воланд. — Пожалуйте бумагу, я вам обменяю.

Буфетчик полез в карман, вынул сверток, развернул его и ошалел.

— Ну-с, — нетерпеливо сказал хозяин.

— Червонцы!! — шепотом вскричал буфетчик.

Воланд сделался грозен.

— Послушайте, буфетчик! Вы мне голову пришли морочить или пьяны?

— Что же это такое делается? — залепетал буфетчик.

— Делается то, что у вас от жадности в глазах мутится, — пояснил Воланд, вдруг смягчаясь. — Любите деньги, плут, сознайтесь? У вас, наверное, порядочно припрятано, э? Тысчонки сто тридцать четыре, я полагаю, э?

Буфетчик дрогнул, потому что, ляпнув наобум, по-видимому, цифру, Воланд угадал до последней копейки — именно в сумме 134 тысяч выражались сбережения буфетчика.

— Это никого не касается, — забормотал буфетчик, совершенно пораженный.

— Мне только одно непонятно, — продолжал артист Воланд, — куда вы их денете? Вы помрете скоро, через год, в гроб вы их не запихнете, да они в гробу вам и не нужны...

— Попрошу вас не касаться моей смерти, — тихо ответил буфетчик и побледнел, и стал озираться. Ему сделалось страшно, отчего — он сам не знал.

— Я пойду, — добавил он, вращая глазами.

— Куда же вы так спешите? — любезно осведомился хозяин. — Останьтесь с нами, посидите, выпьемте. Бонифаций превосходно приготовляет напиток. Отведайте, э?

— Благодарствуйте, я не пью, — просипел буфетчик и стал пятиться.

— Куда ж вы? — спросил вдруг сзади кто-то, и вынырнула рожа. Один глаз вытек, нос провалился. Одета была рожа в короткий камзольчик, а ноги у нее разноцветные, в полосах, и башмаки острые. На голове росли рыжие волосы кустами, а брови были черного цвета, и клыки росли куда попало. Тихий звон сопровождал появление рожи, и немудрено: рукава рожи, равно как и подол камзола, были обшиты бубенчиками. Кроме того, горб. То есть не то что выпивать с этой рожей...

— Хватим? — залихватски подмигнув, предложила рожа и пододвинулась к буфетчику. Рожа сняла с подставки святую чашу и поднесла ее буфетчику.

— Не пью, — шепотом ответил буфетчик, вдавился в переднюю, увидел на стене громадную шпагу с рукоятью чашей и затем совершенно голую девицу, сидящую верхом на кресле, отделанном черепахой. Увидев буфетчика, девица сделала такой жест, что у того помутилось в глазах. Не помня сам себя, буфетчик был выпущен на лестницу, и за ним тяжело хлопнула дверь.

Тут буфетчик сел прямо на ступеньку и тяжело задышал, глаза у него лезли из-под бровей, хоть пальцами их вдавливай. Он почему-то ощупал себя. И когда коснулся головы, убедился, во-первых, что она совершенно мокрая, а во-вторых, что он шляпу забыл в квартире Воланда. Затем он проверил сверток, червонцы были налицо. Солнце било на лестницу через окно. Гулкие шаги послышались сверху. Поравнялась женщина, брезгливо поглядела на буфетчика и сказала:

— Вот так дом малахольный. Ну, с утра все пьяные, ну, прямо, потеха. Э, дядя, у тебя червонцев-то, я вижу, курочки не клюют? — И вдруг уселась рядом, кокетливо ткнула буфетчика в ребро. Тот пискнул и машинально прикрыл червонцы ладошкой.

— Имею такой план, — интимно зашептала женщина, и буфетчик, безумно глядя ей в лицо, убедился, что она миловидна и не стара, — в квартире сейчас ни одной души, все рассосались, кто куда. Ты мне червончик, а уж я тебя ублаготворю. Водочка есть, селедочка. Я утром погадала, как раз мне вышла амурная постель с трефовым королем, а трефовый король — ты.

— Что вы? — воскликнул трефовый король болезненно и спрятал червонцы.

— Ты думаешь, может, что я проститутка? — спросила женщина. — Ничего подобного. Абсолютно честная женщина, муж счетоводом служит, можешь в домкоме справиться.

— Уйдите, Христа ради, — зашептал буфетчик, поднимаясь на дрожащие ноги.

Женщина поднялась, отряхнула юбку, подобрала корзиночку и двинулась вниз.

— Э, дурбалой, о, дурак, — сказала она, — вот уж, видно, рожна с маслом надо. Да другая бы, чтоб к тебе прикоснуться только, три красненьких бы слупила, а я, на тебе, червонец! А я с генерал-губернатором отношение имела, ежели знать угодно, можешь в домкоме справиться.

Голова ее стала исчезать.

— Пошел ты... — донеслось снизу и стихло.

Поборов усилием жадности страх, буфетчик нажал кнопочку, услыхал, как за дверью загрохотали колокола. Сделав громадные глаза, но решив больше не изнурять себя удивлением, втянув голову в плечи, буфетчик ждал. Дверь приоткрылась, он дрогнул, на черном фоне сверкнуло голое тело все той же девицы.

— Что вам? — сурово спросила она.

— Я шляпочку забыл у вас...

Рыжая голая рассмеялась, пропала в полутьме, и затем из двери вылетел черный ком и прямо в физиономию буфетчику. Дверь хлопнула, за нею послышался взрыв музыки и хохот, от которого буфетчик озяб. Всмотревшись, он охнул жалобно. В руках у него была не его шляпа, а черный берет, бархатный, истасканный, молью траченный. Буфетчик плаксиво пискнул и позвонил вторично. Опять открылась дверь, и опять голая обольстительно предстала перед буфетчиком.

— Вы опять?! — крикнула она. — Ах, да ведь вы и шпагу забыли?

«Мать честная, царица не...» — подумал буфетчик и вдруг, взвыв, кинулся бежать вниз, напялив на себя берет. Дело в том, что лицо девицы на черном фоне явственно преобразилось, превратилось в мерзкую рожу старухи.

Как сумасшедший, поскакал по ступеням буфетчик и внизу уже вздумал перекреститься. Лишь только он это сделал, как берет, взвыв диким голосом, спрыгнул у него с головы и галопом взвился вверх по лестнице.

«Вот оно что!» — подумал буфетчик, бледнея. Уже без головного убора он выбежал на расплавленный асфальт, зажмурился от лучей, уже не вмешиваясь ни во что, услыхал в левом корпусе стекольный бой и женские визги, вылетел на улицу, не торгуясь в первый раз в жизни, сел в извозничью пролетку, прохрипел:

— К Николе...

Извозчик рявкнул: «Рублик!» Полоснул клячу и через пять минут доставил буфетчика в переулок, где в тенистой зелени выглянули белые чистенькие бока храма. Буфетчик ввалился в двери, перекрестился жадно, носом потянул воздух и убедился, что в храме пахнет не ладаном, а почему-то нафталином. Ринувшись к трем свечечкам, разглядел физиономию отца Ивана.

— Отец Иван, — задыхаясь, буркнул буфетчик, — в срочном порядке... об избавлении от нечистой силы...

Отец Иван, как будто ждал этого приглашения, тылом руки поправил волосы, всунул в рот папиросу, взобрался на амвон, глянул заискивающе на буфетчика, осатаневшего от папиросы, стукнул подсвечником по аналою...

«Благословен Бог наш...» — подсказал мысленно буфетчик начало молебных пений.

— Шуба императора Александра Третьего, — нараспев начал отец Иван, — ненадеванная, основная цена 100 рублей!

— С пятаком — раз, с пятаком — два, с пятаком — три!.. — отозвался сладкий хор кастратов с клироса из тьмы.

— Ты что ж это, оглашенный поп, во храме делаешь? — суконным языком спросил буфетчик.

— Как что? — удивился отец Иван.

— Я тебя прошу молебен, а ты...

— Молебен. Кхе... На тебе... — ответил отец Иван. — Хватился! Да ты откуда влетел? Аль ослеп? Храм закрыт, аукционная камера здесь!

И тут увидел буфетчик, что ни одного лика святого не было в храме. Вместо них, куда ни кинь взор, висели картины самого светского содержания.

— И ты, злодей...

— Злодей, злодей, — с неудовольствием передразнил отец Иван, — тебе очень хорошо при подкожных долларах, а мне с голоду прикажешь подыхать? Вообще, не мучь, член профсоюза, и иди с Богом из камеры...

Буфетчик оказался снаружи, голову задрал. На куполе креста не было. Вместо креста сидел человек, курил.

Каким образом до своей резиденции добрался буфетчик, он не помнил. Единственно, что известно, что, явившись в буфет, почтенный содержатель его запер, а на двери повесил замок и надпись: «Буфет закрыт сегодня».

МУДРЕЦЫ

Нужно сказать, что, в то время как буфетчик переживал свое приключение, у здания «Варьете» стояла, все время меняясь в составе, толпа. Началось с маленькой очереди, стоявшей у двери «Ход в кассу» с восьми часов утра, когда только-только устанавливались очереди за яйцами, керосином и молоком. Примечательно появление в очереди мясистых рож барышников, обычно дежурящих под милыми колоннами Большого театра или у среднего подъезда Художественного в Камергерском. Ныне они перекочевали, и появление их было весьма знаменательно.

И точно: в «Варьете» было 2100 мест. К одиннадцати часам была продана половина. Тут Суковский и Нютон опомнились и кинулись куда-то оба. Через подставных лиц они купили билеты и к полудню, войдя в контакт с барышниками, заработали: Суковский 125 рублей, а Нютон 90. К полудню стало страшно у кассы.

В двенадцать часов с четвертью на кассе поставлена заветная доска «Все билеты проданы на сегодня», и барышники, и просто граждане стали покупать на завтра и на послезавтра. Суковский и Нютон приняли горячее участие в операциях, причем не только никто ничего не знал об этом, но и они друг о друге не знали.

В два часа барышники перестали шептать: «Есть на сегодня два в партере», и лица их сделались загадочными. Действительно, публика у «Варьете» стала волноваться, к барышникам подходили, спрашивали: «Нет ли?», и они стали отвечать сквозь зубы: «Есть кресло в шестом ряду — 50 рублей». Сперва от них испуганно отпрыгивали, а с трех дня стали брать.

В контору посыпались телефонные звонки, стали раздаваться солидные голоса, которым никак нельзя было отказать.

Все двадцать пять казенных мест Нютон расписал в полчаса, а затем пришлось разместить и приставные стулья для голосов, которые попроще. Все более к вечеру выяснялось, что в «Варьете» будет что-то особенное. Особенного, впрочем, немало было уже и днем — за кулисами.

Во-первых, весь состав служащих отравил жизнь Осипу Григорьевичу, расспрашивая, что он пережил, осматривали шею Осипа, но шея оказалась как шея — безо всякой отметины... Осип Григорьевич сперва злился, потом смеялся, потом врал что-то о каком-то тумане и обмороке, потом врал, что голова у него осталась на плечах, а просто Воланд его загипнотизировал и публику, потом удрал домой. Рибби уверял всех, что это действительно гипноз и что такие вещи он уже двадцать раз видел в Берлине. На вопрос, а как же собака объявила: «Сеанс окончен»? — и тут не сдался, а объяснил собачий поступок чревовещанием. Правда, Нютон сильно прижал Рибби к стене, заявив клятвенно, что ни в какие сделки с Воландом он не входил, а между тем две колоды отнюдь не потусторонние, а самые реальнейшие тут налицо. Рибби наконец объяснил их появление тем, что Воланд подсунул их заранее.

— Мудрено!

— Значит, фокус?!

Пожарный был прост и не врал. Сказал, что, когда голова его отлетела, он видел со стороны свое безголовое тело и смертельно испугался. Воланд, по его мнению, колдун.

Все признали, что колдун — не колдун, но действительно артист первоклассный.

Затем вышла «Вечерняя Газета» и в ней громовое сообщение о том, что Аполлона Павловича выбросили из должности в два счета. Следовало это сообщение непосредственно за извещением, исходящим от компетентного органа, укорявшего Аполлона Павловича в неких неэтических поступках. Каких именно — сказано не было, но по Москве зашептались, захихикали обыватели: «Зонтики... шу-шу, шу-шу...»

Вслед за «Вечерней Газетой» на головы Библейского и Нютона обрушилась «молния».

«Молния» содержала в себе следующее:

«Маслов уверовал. Освобожден. Но под Ростовом снежный занос. Может задержать сутки. Немедленно отправляйтесь Исналитуч, наведите справки Воланде, ему вида не подавая. Возможно преступник. Педулаев».

— Снежный занос в Ростове в июне месяце, — тихо и серьезно сказал Нютон, — он белую горячку получил во Владикавказе. Что ты скажешь, Библейский?

Но Библейский ничего не сказал. Лицо его приняло серьезный старческий вид. Он тихо поманил Нютона и из грохота и шума кулис и конторы увел в маленькую реквизитную. Там среди масок с распухшими носами две головы склонились.

— Вот что, — шепотом заговорил Библейский, — ты, Нютон, знаешь, в чем дело...

— Нет, — шепнул Нютон.

— Мы с тобой дураки.

— Гм...

— Во-первых: он действительно во Владикавказе?

— Да, — твердо отозвался Нютон.

— И я говорю — да, он во Владикавказе.

Пауза.

— Ну а ты понимаешь, — зашептал Робинский, — что это значит?

Благовест смотрел испуганно.

— Это. Значит. Что. Его отправил Воланд. Не мож...

— Молчи.

Благовест замолчал.

— Мы вообще поступаем глупо, — продолжал Робинский, — вместо того, чтобы сразу выяснить это и сделать из этого оргвыводы...

Он замолчал.

— Но ведь заноса нет...

Робинский посмотрел серьезно, тяжко и сказал:

— Занос есть. Все правда.

Благовест вздрогнул.

— Покажи-ка мне еще раз колоды, — приказал Робинский.

Благовест торопливо расстегнулся, нашарил в кармане что-то, выпучил глаза и вытащил два блина. Желтое масло потекло у него меж пальцев.

Благовест дрожал, а Робинский только побледнел, но остался спокоен.

— Пропал пиджак, — машинально сказал Благовест.

Он открыл дверцу печки и положил в нее блины, дверцу закрыл. За дверкой слышно было, как сильно и тревожно замяукал котенок. Благовест тоскливо оглянулся. Маски с носами, усеянными крупными, как горох, бородавками, глядели со стены. Кот мяукнул раздирающе.

— Выпустить? — дрожа спросил Благовест...

Он открыл заслонку, и маленький симпатичный щенок вылез весь в саже и скуля.

Оба приятеля молча проводили взорами зверя и стали в упор разглядывать друг друга.

— Это... гипноз... — собравшись с духом, вымолвил Благовест.

— Нет, — ответил Робинский. Он вздрогнул.

— Так что же это такое? — визгливо спросил Благовест.

Робинский не ответил на это ничего и вышел.

— Постой, постой! Куда же ты? — вслед ему закричал Благовест и услышал:

— Я еду в Исналитуч.

Воровски оглянувшись, Благовест выскочил из реквизиторской и побежал к телефону. Он вызвал номер квартиры Берлиоза и с бьющимся сердцем стал ждать голоса. Сперва ему почудился в трубке свист, пустой и далекий, разбойничий свист в поле. Затем ветер, и из трубки повеяло холодом. Затем дальний, необыкновенно густой и сильный бас запел далеко и мрачно: «...черные скалы, вот мой покой... черные скалы...». Как будто шакал захохотал. И опять: «черные скалы... вот мой покой...».

Благовест повесил трубку. Через минуту его уже не было в здании «Варьете».

РОБИНСКИЙ СОЛГАЛ...

Робинский солгал, что он едет в Исналитуч. То есть поехать-то туда он поехал, но не сразу. Выйдя на Триумфальную, он нанял таксомотор и отправился совсем не туда, где помещался Исналитуч, а приехал в громадный солнечный двор, пересек его, полюбовавшись на стаю кур, клевавших что-то в выгоревшей траве, и явился в беленькое низенькое здание. Там он увидел два окошечка и возле правого небольшую очередь. В очереди стояли две печальнейших дамы в черном трауре, обливаясь время от времени слезами, и четверо смуглейших людей в черных шапочках. Все они держали в руках кипы каких-то документов. Робинский подошел к столику, купил за какую-то мелочь анкетный лист и все графы заполнил быстро и аккуратно. Затем спрятал лист в портфель и мимо очереди, прежде чем она успела ахнуть, влез в дверь. «Какая нагл...» — только и успела шепнуть дама. Сидевший в комнате, напоминающей келью, хотел было принять Робинского неласково, но вгляделся в него и выразил на своем лице улыбку. Оказалось, что сидевший учился в одном городе и в одной гимназии с Робинским. Порхнули одно или два воспоминания золотого детства. Затем Робинский изложил свою докуку — ему нужно ехать в Берлин, и весьма срочно. Причина — заболел нежно любимый и престарелый дядя. Робинский хочет поспеть на Курфюрстендамм закрыть дяде глаза. Сидящий за столом почесал затылок. Очень трудно выдают разрешения. Робинский прижал портфель к груди. Его могут не выпустить? Его? Робинского? Лояльнейшего и преданнейшего человека? Человека, сгорающего на советской работе? Нет! Он просто-напросто желал бы повидать того, у кого хватит духу Робинскому отказать...

Сидевший за столом был тронут. Заявив, что он вполне сочувствует Робинскому, присовокупил, что он есть лишь лицо исполни-

тельное. Две фотографические карточки? Вот они, пожалуйста. Справку из домкома? Вот она. Удостоверение от фининспектора? Пожалуйста.

— Друг, — нежно шепнул Робинский, склоняясь к сидевшему, — ответик мне завтра.

Друг выпучил глаза.

— Однако!.. — сказал он и улыбнулся растерянно и восхищенно. — Раньше недели случая не было...

— Дружок, — шепнул Робинский, — я понимаю. Для какого-нибудь подозрительного человека, о котором нужно справки собирать. Но для меня?..

Через минуту Робинский, серьезный и деловой, вышел из комнаты. В самом конце очереди, за человеком в красной феске с кипой бумаг в руках, стоял... Благовест.

Молчание длилось секунд десять.

Копыто инженера

Черновики романа

Тетрадь 2

1928–1929 гг.

Войско

Солдаты: шерстяную рубаха, короткие рукава

плащ, панцыри

Пурпурные плащи

Калиги

(панцыря нет)

Легковооруженная пехота

Тяжеловооруженная пе

(короткий меч, копье, панцы

поножи, шлем)

(В пехоте пращники и лу

Кавалерия

Копья, длинные мечи

Войско

Пехота

Легион 6000 человек

Командир — легат

Десять когорт, в каждой 600 человек

Командир — трибун

30 манипул

Шесть центурий (100 человек)

Кавалерия — турмы

Вспомогательные в

Пехота — когорты

В ней центурионы

Кава

Алы

Manipulus

— Гм, — сказал секретарь.

— Вы хотели в Ершалаиме царствовать? — спросил Пилат по-римски.

— Что вы, челов... Игемон, я вовсе нигде не хотел царствовать! — воскликнул арестованный по-римски.

Слова он знал плохо.

— Не путать, арестант, — сказал Пилат по-гречески, — это протокол Синедриона. Ясно написано — самозванец. Вот и показания добрых людей — свидетелей.

Иешуа шмыгнул высыхающим носом и вдруг такое проговорил по-гречески, заикаясь:

— Д-добрые свидетели, о игемон, в университете не учились. Неграмотные, и все до ужаса перепутали, что я говорил. Я прямо ужасаюсь. И думаю, что тысяча девятьсот лет пройдет, прежде чем выяснится, насколько они наврали, записывая за мной.

Вновь настало молчание.

— За тобой записывать? — тяжелым голосом спросил Пилат.

— А ходит он с записной книжкой и пишет, — заговорил Иешуа, — этот симпатичный... Каждое слово заносит в книжку... А я однажды заглянул и прямо ужаснулся... Ничего подобного, прямо. Я ему говорю, сожги, пожалуйста, ты эту книжку, а он вырвал ее и убежал.

— Кто? — спросил Пилат.

— Левий Матвей, — пояснил арестант, — он был сборщиком податей, а я его встретил на дороге и разговорился с ним... Он послушал, послушал, деньги бросил на дорогу и говорит: ну, я пойду с тобой...

— Сборщик податей бросил деньги на дорогу? — спросил Пилат, поднимаясь с кресла, и опять сел.

— Подарил, — пояснил Иешуа, — проходил старичок, сыр нес, а Левий говорит ему: «На, подбирай!»

Шея у секретаря стала такой длины, как гусиная. Все молчали.

— Левий симпатичный? — спросил Пилат, исподлобья глядя на арестованного.

— Чрезвычайно, — ответил тот, — только с самого утра смотрит в рот: как только я слово произнесу — он запишет.

Видимо, таинственная книжка была больным местом арестованного.

— Кто? Что? — спросил Пилат. — За тобой? Зачем запишет?

— А вот тоже записано, — сказал арестант и указал на протоколы.

— Вон как, — сказал Пилат секретарю, — это как находите? Постой, — добавил он и обратился к арестанту:

— А скажи-ка мне: кто еще симпатичный? Марк симпатичный?

— Очень, — убежденно сказал арестованный. — Только он нервный...

— Марк нервный? — спросил Пилат, страдальчески озираясь.

— При Идиставизо его как ударил германец, и у него повредилась голова...

Пилат вздрогнул.

— Ты где же встречал Марка раньше?

— А я его нигде не встречал.

Пилат немного изменился в лице.

— Стой, — сказал он. — Несимпатичные люди есть на свете?

— Нету, — сказал убежденно арестованный, — буквально ни одного...

— Ты греческие книги читал? — глухо спросил Пилат.

— Только мне не понравились, — ответил Иешуа.

Пилат встал, повернулся к секретарю и задал вопрос:

— Что говорил ты про царство на базаре?

— Я говорил про царство истины, игемон...

— О, Каиафа, — тяжко шепнул Пилат, а вслух спросил по-гречески:

— Что есть истина? — И по-римски: — Quid est Veritas?

— Истина, — заговорил арестант, — прежде всего в том, что у тебя болит голова и ты чрезвычайно страдаешь, не можешь думать.

— Такую истину и я смогу сообщить, — отозвался Пилат серьезно и хмуро.

— Но тебе с мигренью сегодня нельзя быть, — добавил Иешуа.

Лицо Пилата вдруг выразило ужас, и он не мог его скрыть. Он встал с широко открытыми глазами и оглянулся беспокойно. Потом задавил в себе желание что-то вскрикнуть, проглотил слюну и сел. В зале не только не шептались, но даже не шевелились.

— А ты, игемон, — продолжал арестант, — знаешь ли, слишком много сидишь во дворце, от этого у тебя мигрени. Сегодня же как раз хорошая погода, гроза будет только к вечеру, так я тебе предлагаю — пойдем со мной на луга, я тебя буду учить истине, а ты производишь впечатление человека понятливого.

Секретарю почудилось, что он слышит все это во сне.

— Скажи, пожалуйста, — хрипло спросил Пилат, — твой хитон стирает одна женщина?

— Нет, — ответил Иешуа, — все разные.

— Так, так, так, понятно, — печально и глубоко сказал, качая головой, Пилат. — Он встал и стал рассматривать не лицо арестанта, а его ветхий, многостиранный таллиф, давно уже превратившийся из голубого в какой-то белесоватый.

— Спасибо, дружок, за приглашение! — продолжал Пилат, — но только, к сожалению, поверь мне, я вынужден отказаться. Кесарь-император будет недоволен, если я начну ходить по полям! Черт возьми! — неожиданно крикнул Пилат своим страшным эскадронным голосом.

— А я бы тебе, игемон, посоветовал пореже употреблять слово «черт», — заметил арестант.

— Не буду, не буду, не буду, — расхохотавшись, ответил Пилат, — черт возьми, не буду.

Он стиснул голову руками, потом развел ими. В глубине открылась дверь, и затянутый легионный адъютант предстал перед Пилатом.

— Да-с? — спросил Пилат.

— Супруга его превосходительства Клавдия Прокула велела передать его превосходительству супругу, что всю ночь она не спала, видела три раза во сне лицо кудрявого арестанта — это самое, — проговорил адъютант на ухо Пилату, — и умоляет супруга отпустить арестанта без вреда.

— Передайте ее превосходительству супруге Клавдии Прокуле, — ответил вслух прокуратор, — что она дура. С арестованным поступят строго по закону. Если он виноват, то накажут, а если невиновен — отпустят на свободу. Между прочим, и вам, ротмистр, следует знать, что такова вообще практика римского суда.

Наградив адъютанта таким образом, Пилат не забыл и секретаря. Повернувшись к нему, он оскалил до предела возможного желтоватые зубы.

— Простите, что в вашем присутствии о даме так выразился.

Секретарь стал бледен, и у него похолодели ноги. Адъютант же, улыбнувшись тоскливо, забренчал ножнами и пошел, как слепой.

— Секретарю Синедриона, — заговорил Пилат, не веря, все еще не веря своей свежей голове, — передать следующее. — Писарь нырнул в свиток. — Прокуратор лично допросил бродягу и нашел, что Иешуа Га-Ноцри психически болен. Больные речи его и послужили причиной судебной ошибки. Прокуратор Иудеи смертный приговор Синедриона не утверждает. Но вполне соглашаясь с тем, что Иешуа опасен в Ершалаиме, прокуратор дает распоряжение о насильственном помещении его, Га-Ноцри, в лечебницу в Кесарии Филипповой при резиденции прокуратора...

Секретарь исчез.

— Так-то-с, царь истины, — внушительно молвил Пилат, блестя глазами.

— А я здоров, игемон, — сказал бродяга озабоченно. — Как бы опять какой путаницы не вышло?..

Пилат воздел руки к небу, некоторое время олицетворяя собою скорбную статую, и произнес потом, явно подражая самому Иешуа:

— Я тебе тоже притчу могу рассказать: во Иордане один дурак утоп, а его за волосья таскали. Убедительно прошу тебя теперь помолчать, благо я тебя ни о чем и не спрашиваю. — Но сам нарушил это молчание, спросив после паузы: — Так Марк дерется?

— Дерется, — сказал бродяга.

— Так, так, — печально и тихо молвил Пилат. Вернулся секретарь, и в зале все замерли. Секретарь долго шептал Пилату что-то. Пилат вдруг заговорил громко, глаза его загорелись. Он заходил, диктуя, и писарь заскрипел:

— Он, наместник, благодарит господина первосвященника за его хлопоты, но убедительно просит не затруднять себя беспокойством насчет порядка в Ершалаиме. В случае, ежели бы он, порядок, почему-либо нарушился... Exeratus Romano metus non est notus...* и прокуратор в любой момент может демонстрировать господину первосвященнику ввод в Ершалаим кроме того 10-го легиона, который там уже есть, еще двух. Например, фретекского и апполинаретского. Точка.

«Корван, корван», — застучало в голове у Пилата, но победоносно и светло.

И еще один вопрос задал Пилат арестанту, пока вернулся секретарь.

— Почему о тебе пишут — «египетский шарлатан»?

— А я ездил в Египет с Бен-Перахая три года тому назад, — объяснил Иешуа.

И вошел секретарь, озабоченный и испуганный, подал бумагу Пилату и шепнул:

— Очень важное дополнение.

Многоопытный Пилат дрогнул и спросил сердито:

— Почему сразу не прислали?

— Только что получили и записали его показание!

Пилат впился глазами в бумагу, и тотчас краски покинули его лицо.

— Каиафа — самый страшный из всех людей в этой стране, — сквозь стиснутые зубы проговорил Пилат секретарю. — Кто эта сволочь?

— Лучший сыщик в Ершалаиме, — одними губами ответил секретарь в ухо Пилата.

Пилат взвел глаза на арестованного, но увидел не его лицо, а лицо другое. В потемневшем дне по залу проплыло старческое, обрюзгшее, беззубое лицо, бритое, с сифилитической болячкой, разъедающей кость на желтом лбу, с золотым редкозубым венцом на плешивой голове. Солнце зашло в душе Пилата, день померк. Он видел в потемнении зеленые каприйские сады, слышал тихие трубы. И стукнули гнусавые слова: «Lex Apuleje de majestate»**. Тревога клювом застучала у него в груди.

— Слушай, Иешуа Га-Ноцри, — заговорил Пилат жестяным голосом. — Во втором протоколе записано показание: будто ты упоминал имя великого Кесаря в своих речах... Постой, я не кончил. Маловероятное показание... Тут что-то бессвязно... Ты ведь не упоминал этого имени? А? Подумай, прежде чем ответить...

— Упоминал, — ответил Иешуа, — как же!

— Зря ты его упоминал! — каким-то далеким, как бы из соседней комнаты, голосом откликнулся Пилат. — Зря, может быть, у тебя и есть какое-то дело до Кесаря, но ему до тебя — никакого... Зря! Подумай, прежде чем ответить: ты ведь, конечно... — На слове «конечно» Пилат сделал громадную паузу, и видно было, как секретарь искоса смотрит на него уважающим глазом...

*** Римскому войску страх не известен *(лат.)*.**

**** Закон Апулея об оскорблении величества *(лат.)*.**

— Но ты, конечно, не говорил фразы, что податей не будет?

— Нет, я говорил это, — сказал светло Га-Ноцри.

— О, мой бог! — тихо сказал Пилат.

Он встал с кресла и объявил секретарю:

— Вы слышите, что сказал этот идиот? Что сказал этот негодяй? Оставить меня одного! Вывести караул! Здесь преступление против величества! Я спрошу наедине...

И остались одни. Подошел Пилат к Иешуа. Вдруг левой рукой впился в его правое плечо, так что чуть не прорвал ветхий таллиф, и зашипел ему прямо в глаза:

— Сукин сын! Что ты наделал?! Ты... вы... когда-нибудь произносили слова неправды?

— Нет, — испуганно ответил Иешуа.

— Вы... ты... — Пилат шипел и тряс арестанта так, что кудрявые волосы прыгали у него на голове.

— Но, бог мой, в двадцать пять лет такое легкомыслие! Да как же можно было? Да разве по его морде вы не видели, кто это такой? Хотя... — Пилат отскочил от Иешуа и отчаянно схватился за голову. — Я понимаю: для вас все это неубедительно. Иуда из Кариот симпатичный, да? — спросил Пилат, и глаза его загорелись по-волчьи. — Симпатичный? — с горьким злорадством повторил он.

Печаль заволокла лицо Иешуа, как облако солнце.

— Это ужасно, прямо ужас... какую беду себе наделал Искариот. Он очень милый мальчик... А женщина... А вечером!..

— О, дурак! Дурак! Дурак! — командным голосом закричал Пилат и вдруг заметался как пойманный в тенета. Он то попадал в золотой палящий столб, падавший из потолочного окна, то исчезал в тени. Испуганные ласточки шуршали в портике, покрикивали: «Искариот, Искариот»...

Пилат остановился и спросил, жгуче тоскуя:

— Жена есть?

— Нет.

— Родные? Я заплачу, я дам им денег... Да нет, нет, — загремел его голос... — Вздор! Слушай ты, царь истины!.. Ты, ты, великий философ, но подати будут в наше время! И упоминать имени великого Кесаря нельзя, нельзя никому, кроме самоубийц! Слушай, Иешуа Га-Ноцри, ты, кажется, себя убил сегодня... Слушай, можно вылечить от мигрени, я понимаю: в Египте учат и не таким вещам. Но ты сделай сейчас другое — помути разум Каиафы сейчас. Но только не будет, не будет этого. Раскусил он, что такое теория о симпатичных людях, не разожмет когтей. Ты страшен всем! Всем! И один у тебя враг — во рту он у тебя — твой язык! Благодари его! А объем моей власти ограничен, ограничен, ограничен, как все на свете! Ограничен! — истерически кричал Пилат, и неожиданно рванул себя за ворот плаща. Золотая бляха со стуком покатилась по мозаике.

— Плеть мне, плеть! Избить тебя, как собаку! — зашипел, как дырявый шланг, Пилат.

Иешуа испугался и сказал умиленно:

— Только ты не бей меня сильно, а то меня уже два раза били сегодня...

Пилат всхлипнул внезапно и мокро, но тотчас дьявольским усилием победил себя.

— Ко мне! — вскричал он, и зал наполнился конвойными, и вошел секретарь.

— Я, — сказал Пилат, — утверждаю смертный приговор Синедриона: бродяга виноват. Здесь laesa majestas*, но вызвать ко мне... просить пожаловать председателя Синедриона Каиафу, лично. Арестанта взять в кордегардию, в темную камеру, беречь как зеницу ока. Пусть мыслит там... — голос Пилата был давно уже пуст, деревянен, как колотушка.

Солнце жгло без милосердия мраморный балкон, зацветающие лимоны и розы немного туманили головы, и тихо покачивались в высоте длинные пальмовые космы.

И двое стояли на балконе и говорили по-гречески. А вдали ворчало, как в прибое, и доносило изредка на балкон слабенькие крики продавцов воды — верный знак, что толпа тысяч в пять стояла за лифостротоном, страстно ожидая развязки.

И говорил Пилат, и глаза его мерцали и меняли цвет, но голос лился, как золотистое масло:

— Я утвердил приговор мудрого Синедриона. Итак, первосвященник, четырех мы имеем приговоренных к смертной казни. Двое числятся за мной, о них, стало быть, речи нет. Но двое за тобой — Вар-Равван [он же Иисус Варрава], приговоренный за попытку к возмущению в Ершалаиме и убийство двух городских стражников, и второй, Иешуа Га-Ноцри, он же Иисус Назарет. Закон вам известен, первосвященник. Завтра праздник Пасхи, праздник, уважаемый нашим божественным Кесарем. Одного из двух, первосвященник, тебе, согласно закону, нужно будет выпустить. Благоволите же указать, кого из двух — Вар-Раввана Иисуса или же Га-Ноцри Иисуса. Присовокупляю, что я настойчиво ходатайствую о выпуске именно Га-Ноцри. И вот почему: нет никаких сомнений в том, что он маловменяем, практических же результатов его призывы никаких не имели. Храм оцеплен легионерами, будет цел, все зеваки, толпой шлявшиеся за ним в последние дни, разбежались, ничего не произойдет, в том моя порука. Vanae voces popule non sunt crudiendo**. Я говорю это — Понтий Пилат. Меж тем в лице Варравы мы имеем дело с исключительно опасной фигурой. Квалифицированный убийца и бандит был взят с бою и именно с призывом к бунту против римской власти. Хорошо бы обоих казнить, самый лучший исход, но закон, закон... Итак?

И сказал замученный чернобородый Каиафа:

— Великий Синедрион в моем лице просит выпустить Вар-Раввана.

Помолчали.

— Даже после моего ходатайства? — спросил Пилат и, чтобы прочистить горло, глотнул слюну: — Повтори мне, первосвященник, за кого просишь?

*** Государственная измена *(лат.)*.**

**** Ничтожные крики толпы не страшны *(лат.)*.**

— Даже после твоего ходатайства прошу выпустить Вар-Раввана.

— В третий раз повтори... Но, Каиафа, может быть, ты подумаешь?

— Не нужно думать, — глухо сказал Каиафа, — за Вар-Раввана в третий раз прошу.

— Хорошо. Ин быть по закону, ин быть по-твоему, — произнес Пилат, — умрет сегодня Иешуа Га-Ноцри.

Пилат оглянулся, окинул взором мир и ужаснулся. Не было ни солнца, ни розовых роз, ни пальм. Плыла багровая гуща, а в ней, покачиваясь, нырял сам Пилат, видел зеленые водоросли в глазах и подумал: «Куда меня несет?..»

— Тесно мне, — вымолвил Пилат, но голос его уже не лился как масло и был тонок и сух. — Тесно мне, — и Пилат холодной рукой поболее открыл уже надорванный ворот без пряжки.

— Жарко сегодня, жарко, — отозвался Каиафа, зная, что будут у него большие хлопоты еще и муки, и подумал: «Идет праздник, а я которую ночь не сплю и когда же я отдохну?.. Какой страшный нисан выдался в этом году...»

— Нет, — отозвался Пилат, — это не от того, что жарко, а тесновато мне стало с тобой, Каиафа, на свете. Побереги же себя, Каиафа!

— Я — первосвященник, — сразу отозвался Каиафа бесстрашно, — меня побережет народ Божий. А трапезы мы с тобой иметь не будем, вина я не пью... Только дам я тебе совет, Понтий Пилат: ты, когда кого-нибудь ненавидишь, все же выбирай слова. Может кто-нибудь услышать тебя, Понтий Пилат.

Пилат улыбнулся одними губами и мертвым глазом посмотрел на первосвященника.

— Разве дьявол с рогами... — и голос Пилата начал мурлыкать и переливаться, — разве только что он, друг душевный всех религиозных изуверов, которые затравили великого философа, может подслушать нас, Каиафа, а более некому. Или я похож на юродивого младенца Иешуа? Нет, не похож я, Каиафа! Знаю, с кем говорю. Оцеплен балкон. И вот заявляю я тебе: не будет, Каиафа, тебе отныне покоя в Ершалаиме, покуда я наместник, я говорю — Понтий Пилат Золотое Копье!

— Разве должность наместника несменяема? — спросил Каиафа, и Пилат увидел зелень в его глазах.

— Нет, Каиафа, много раз писал ты в Рим!.. О, много! Корван, корван, Каиафа, помнишь, как я хотел напоить водою Ершалаим из Соломоновых прудов? Золотые щиты, помнишь? Нет, ничего не поделаешь с этим народом. Нет! И не водой отныне хочу я напоить Ершалаим, не водой!

— Ах, если бы слышал Кесарь эти слова, — сказал Каиафа ненавистно.

— Он другое услышит, Каиафа! Полетит сегодня весть, да не в Рим, а прямо на Капри. Я! Понтий! Забью тревогу. И хлебнешь ты у меня, Каиафа, хлебнет народ Ершалаимский не малую чашу. Будешь ты пить и утром, и вечером, и ночью, только не воду Соломонову! Задавил ты Иешуа, как клопа. И понимаю, Каиафа, почему. Учуял

ты, чего будет стоить этот человек... Но только помни, не забудь — выпустил ты мне Вар-Раввана, и вздую я тебе кадило на Капри и с варом, и со щитами.

— Знаю тебя, Понтий, знаю, — смело сказал Каиафа, — ненавидишь ты народ иудейский и много зла ему причинишь, но вовсе не погубишь его! Нет! Неосторожен ты.

— Ну, ладно, — молвил Пилат, и лоб его покрылся малыми капельками.

Помолчали.

— Да, кстати, священник, агентура, я слышал, у тебя очень хороша, — нараспев заговорил Пилат. — А особенно этот молоденький сыщик Юда Искариот. Ты ж береги его. Он полезный.

— Другого наймем, — быстро ответил Каиафа, с полуслова понимавший наместника.

— O gens sceleratissima, taeterrima gens! — вскричал Пилат. — O foetor judaicus!*

— Если ты еще хоть одно слово оскорбительное произнесешь, всадник, — трясущимися белыми губами откликнулся Каиафа, — уйду, не выйду на гаввафу.

Пилат глянул в небо и увидел над головой у себя раскаленный шар.

— Пора, первосвященник, полдень. Идем на лифостротон, — сказал он торжественно.

И на необъятном каменном помосте стояли и Каиафа, и Пилат, и Иешуа среди легионеров.

Пилат поднял правую руку, и стала тишина, как будто у подножия лифостротона не было ни живой души.

— Бродяга и тать, именуемый Иешуа Га-Ноцри, совершил государственное преступление, — заявил Пилат так, как некогда командовал эскадронами под Идиставизо, и слова его греческие полетели над несметной толпой. Пилат задрал голову и уткнул свое лицо прямо в солнце, и оно его мгновенно ослепило. Он ничего не видел, он чувствовал только, что солнце выжигает с лица его глаза, а мозг его горит зеленым огнем. Слов своих он не слышал, он знал только, что воет и довоет до конца, — за что и будет Га-Ноцри сегодня казнен!

Тут ему показалось, что солнце зазвенело и заплавило ему уши, но он понял, что это взревела толпа, и поднял руку, и опять услыхал тишину, и опять над разожженным Ершалаимом закипели его слова:

— Чтобы знали все: non habemus regem nisi Caesarem!** Но Кесарю не страшен никто! И поэтому второму преступнику, Иисусу Вар-Раввану, осужденному за такое же преступление, как и преступление Га-Ноцри, Кесарь император, согласно обычаю, в честь праздника Пасхи, по ходатайству Синедриона, дарует жизнь!

Тут он ничего не понял, кроме того, что воздух вокруг него стонет и бьет в уши. И опять рукой он потушил истомившуюся толпу

*** О племя греховнейшее, отвратительнейшее племя! О зловоние иудейское *(лат.)*.**
**** Не имеем царя, кроме Кесаря *(лат.)*.**

— Командиры! К приговору! — пропел Пилат, и в стенах манипулов, отделявших толпу от гаввафы, в ответ спели голоса взводных и пискливые трубы.

Копейный лес взлетел у лифостротона, а в нем засверкали римские, похожие на жаворонков, орлы. Поднялись охапки сена.

— Tiberio imperante!* — запел слепой Пилат, и короткий вой римских центурий прокатился по крышам Ершалаима:

— Да здравствует император!

— Iesus Nazarenus, — воскликнул Пилат, — Tiberio imperante, per procuratorem Pontium Pilatum supplicio affectus erit!** Сына Аввы, Вар-Раввана, выпустить на свободу!

Никто, никто не знает, какое лицо было у Вар-Раввана в тот миг, когда его подняли, как из гроба, из кордегардии на лифостротон. Этот человек ни на что в мире не мог надеяться, ни на какое чудо. Поэтому он шел, ведомый за правую здоровую руку Марком Крысобоем, и только молчал и улыбался. Улыбка эта была совершенно глупа и беззуба, а до допроса у Марка-центуриона Вар-Равван освещал зубным сиянием свой разбойный путь. Вывихнутая левая рука его висела как палка, и уже не ревом, а стоном, визгом покрыла толпа такую невиданную улыбку, забросала финиками и бронзовыми деньгами. Только раз в год под великий праздник мог видеть народ человека, ночевавшего уже в объятиях смерти и вернувшегося на лифостротон.

— Ну, спасибо тебе, Назарей, — вымолвил Вар, шамкая, — замели тебя вовремя!

Улыбка Раввана была так трогательна, что передалась Иешуа, и он ответил, про все забыв:

— Прямо радуюсь я с тобой, добрый бандит, — иди, живи!

И Равван, свободный как ветер, с лифостротона, как в море, бросился в гущу людей, лезущих друг на друга, и в нем пропал.

* * *

Чтобы занять себя, Левий долго перебирал в памяти все известные ему болезни и очень хотел, чтобы какая-нибудь нашлась бы таки-таки у Иешуа. Но чахотки самой верной так-таки и не было, да и других тоже. Тогда он, открывая очень осторожно правый глаз, минуя холм, смотрел на восток и начинал надеяться, что там туча. Но одной тучи мало. Нужно еще, чтобы она пришла на холм, нужно, чтобы гроза началась, а когда гроза начнется и этого мало, нужно, чтобы молния ударила, да ударила именно в крест Иешуа. О, нет. Тут было мало шансов. Тогда Левий начинал терзаться мыслью о своей ошибке. Нужно было не бежать раньше процессии на холм, а именно следовать рядом, прилипши к солдатской цепи. И, несмотря на бдительность римлян, все-таки можно было как-нибудь прорваться, добежать, ударить Иешуа в сердце ножом... А теперь поздно.

Так он думал и лежал.

* По приказанию Тиберия *(лат.)*.

** Иисус Назарет по приказанию Тиберия посредством прокуратора Понтия Пилата будет казнен *(лат.)*.

Адъютант же спешился у сирийской цепи, коневоду бросил поводья, прошел сквозь римское заграждение десятого легиона, подозвал центуриона и что-то пошептал ему.

Один из легионеров уловил краем уха слова:

— Прокуратора приказ...

Удивленный центурион, откозыряв, молвил:

— Слушаю...— и прошел за цепь к крестам.

С правого креста доносилась дикая хриплая песня. Распятый на нем сошел с ума от мук к концу третьего часа и пел про виноград что-то. Но головой качал, как маятником, и мухи вяло поднимались с лица, но потом опять набрасывались на него.

На левом кресте распятый качал иным образом, косо вправо, чтобы ударять ухом по плечу.

На среднем кресте, куда попал Иешуа, ни качания, ни шевеления не было. Прокачав часа три головой, Иешуа ослабел и стал впадать в забытье. Мухи учуяли это и, слетаясь к нему все в большем количестве, наконец настолько облепили его лицо, что оно исчезло вовсе в черной шевелящейся массе. Жирные слепни сидели в самых нежных местах его тела, под ушами, на веках, в паху, сосали.

Центурион подошел к ведру, полному водой, чуть подкисленной уксусом, взял у легионера губку, насадил ее на конец копья, обмакнул ее в напиток и, придвинувшись к среднему кресту, взмахнул копьем. Густейшее гудение послышалось над головой центуриона, и мухи, черные, и зеленые, и синие, роем взвились над крестом. Открылось лицо Иешуа, совершенно багровое и лишенное глаз. Они заплыли.

Центурион позвал:

— Га-Ноцри!

Иешуа шевельнулся, втянул в себя воздух и наклонил голову, прижав подбородок к груди. Лицо центуриона было у его живота.

Хриплым разбойничьим голосом, со страхом и любопытством, спросил Иешуа центуриона:

— Неужели мало мучили меня? Ты зачем подошел?

Бородатый же центурион сказал ему:

— Пей.

И Иешуа сказал:

— Да, да, попить.

Он прильнул потрескавшимися вспухшими губами к насыщенной губке и, жадно всхлипывая, стал сосать ее. В ту же минуту щелки увеличились, показались немного глаза. И глаза эти стали свежеть с каждым мгновением. И в эту минуту центурион, ловко сбросив губку, молвил страстным шепотом:

— Славь великодушного игемона, — нежно кольнул Иешуа в бок, куда-то под мышку левой стороны.

Осипший голос с левого креста сказал:

— Сволочь. Любимцы завелись у Понтия?

Центурион с достоинством ответил:

— Молчи. Не полагается на кресте говорить.

Иешуа же вымолвил, обвисая на растянутых сухожилиях:

— Спасибо, Пилат... Я же говорил, что ты добр...

Глаза его стали мутнеть. В этот миг с левого креста послышалось:

— Эй, товарищ! А, Иешуа! Послушай! Ты человек большой. За что ж такая несправедливость? Э? Ты бандит и я бандит... Упроси центуриона, чтоб и мне хоть голени-то перебили... И мне сладко умереть... Эх, не услышит... Помер!..

Но Иешуа еще не умер. Он развел веки, голову повернул в сторону просящего:

— Скорее проси, — хрипло сказал он, — и за другого, а иначе не сделаю...

Проситель метнулся, сколько позволяли гвозди, и вскричал:

— Да! Да! И его! Не забудь!

Тут Иешуа совсем разлепил глаза, и левый бандит увидел в них свет.

— Обещаю, что прискачет сейчас. Потерпи, сейчас оба пойдете за мною, — молвил Иисус...

Кровь из прободенного бока вдруг перестала течь, сознание в нем быстро стало угасать. Черная туча начала застилать мозг. Черная туча начала застилать и окрестности Ершалаима. Она шла с востока, и молнии уже кроили ее, в ней погромыхивали, а на западе еще пылал костер, и видно было с высоты, как маленькая черная лошадь мчит из Ершалаима к Черепу и скачет на ней второй адъютант.

Левый распятый увидал его и испустил победный, ликующий крик:

— Иешуа! Скачет!!

Но Иешуа уже не мог ему ответить. Он обвис совсем, голова его завалилась набок, еще раз он потянул в себя последний земной воздух, произнес уже совсем слабо:

— Тетелеостай*, — и умер.

И был, достоуважаемый Иван Николаевич, час восьмой.

ШЕСТОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

И был на Патриарших прудах час восьмой. Верхние окна на Бронной, еще секунду назад пылавшие, вдруг почернели и провалились.

Иванушка фыркнул, оглянулся и увидал, что он сидит не на скамейке, а на дорожке, поджав ноги по-турецки, а рядом с ним сидят псы во главе с Бимкой и внимательно смотрят на инженера. С инженером помещается Берлиоз на скамейке.

«Как это меня занесло на дорожку», — раздраженно подумал Иванушка, поднялся, пыль со штанов отряхнул и конфузливо присел на скамейку.

Берлиоз смотрел, не спуская прищуренных глаз с инженера.

*** Свершилось *(греч.)*.**

— М-да, — наконец молвил Берлиоз, пытливо поглядывая на своего соседа, — м-да...

— М-да-с, — как-то загадочно отозвался и Иванушка.

Потом помолчал и добавил:

— А что было с Иудой?

— Это очень мило, что вы заинтересовались, — ответил инженер и ухмыльнулся. — В тот час, когда туча уже накрыла пол-Ершалаима и пальмы стали тревожно качать своими махрами, Пилат сидел на балконе, с раскрытым воротом и задрав голову. Ветер дул ему в губы, и это приносило ему облегчение. Лицо Пилата похоже было на лицо человека, который всю ночь провел в непотребном кабаке. Под глазами лежали широкие синяки, губы распухли и потрескались. Перед Пилатом на столике стояла чаша с красным вином, а у ног простиралась лужа такого же вина. Когда подали первую чашу, Пилат механически швырнул ее в лицо слуге, молвив деревянно:

— Смотри в лицо, когда подаешь... Чего глазами бегаешь? Ничего не украл ведь? А?

На коленях Пилата лежала любимая собака — желтый травильный дог Банга, в чеканном ошейнике с одним зеленым изумрудом. Голову Банги Пилат положил себе на голую грудь, и Банга лизал голую кожу приятеля воспаленным перед грозой языком.

Гробовая тишина была внутри дворца, а снаружи шумел ветерок. Видно было иногда, как тучи пыли вдруг вздувались над плоскими крышами Ершалаима, раскинутого у ног Пилата.

— Марк! — позвал Пилат слабо.

Из-за колонны, ступая на цыпочках и все-таки скрипя мохнатыми сапогами, выдвинулся центурион, и Пилат увидел, что гребень его шляпы достигает капители колонны.

— Ну что же он? — спросил Пилат.

— Уже ведут, — ответил Марк.

— Вот, — сказал Пилат, отдуваясь, — вы такой крупный человек. Очень крупный. А между тем подследственных калечите. Деретесь. Сапогами стучите. Впрочем... что ж... у вас должность такая. Плохая должность у вас, Марк.

Марк бульдожьими глазами поглядел на Пилата, и в глазах этих стояла обида.

Затем центурион отодвинулся, услышав сзади себя звук шагов. Пилат очень оживился. Из-за Марка вышла небольшая фигурка в военном плаще с капюшоном, надвинутым на лицо.

— Ступайте, Марк, и караульте, — возбужденно сказал Пилат.

Марк вышел, а фигурка аккуратно высвободилась из плаща и оказалась плотным бритым человеком лет пятидесяти, седым, но с очень розовым лицом, пухлыми щечками, приятными глазами. Аккуратненько положив плащ в кресло, фигура поклонилась Пилату и потерла ручки. Не в первый раз приходилось прокуратору видеть седого человечка, но всякий раз, как тот появлялся, прокуратор отсаживался подальше и, разговаривая, смотрел не на собеседника, а на ворону в окне. Ныне же Пилат обрадовался вошедшему, как родному брату, даже потянулся к нему.

— Здравствуйте, Толмай дорогой, — заговорил Пилат, — здорово. Садитесь.

— Благодарю вас, прокуратор, — приятным голосом отозвался Толмай и сел на краешек кресла, все потирая свои чистые белые небольшие руки.

— Ну как, любезный Толмай, поживает ваша семья? — очень жадно и искренне стал спрашивать Пилат.

— Спасибо, хорошо, — приятно отозвался Толмай.

— В отделении ничего новенького?

— Ничего, прокуратор, нету. Один воришка.

— Слава богу...

Ветер вдруг загремел на балконе, пальмы согнуло, небо от края до края распороло косым слепящим зигзагом, и сразу плеснуло в лицо Пилату. Стало темно. Пилат приподнялся, оперся о балюстраду и вонзил свой взор в даль. Но ничего уже не мог рассмотреть. Холм был виден вдали, но на нем косо лило и движения никакого не существовало. Маленькие черные крестики, которые целый день стояли в глазах Пилата, пропали бесследно. Блеснуло фиолетовым светом так, что на балконе стало видно до последней пылинки. Пилату показалось, что он увидел, как одинокий крохотный черный человечек карабкался вверх на холм. Но погас разрыв, все смешалось. Ударило над Ершалаимом страшно тяжко, и железные орехи вдруг швырнуло по крышам.

Над холмом уже клокотало, било и лило. Три голых трупа там уже плавали в мутной водоверти. Их трепало. А на незащищенный Лысый Череп действительно лез, срываясь ежесекундно и падая, весь в вязкой глине, до нитки мокрый, исступленный человек, левой рукой впиваясь в выступы, а правую не отрывая от пазухи с записной книжкой. Но из Ершалаима его никак не было видно. Все окрестности смешались в грозе.

Легионеры на балконе натянули тент, и Пилат с Толмаем беседовали под вой дождя. Лица их изредка освещало трепетно, затем они погружались в тьму.

— Вот какое дело, Толмай, — говорил Пилат, чувствуя, что под гром ему легче беседовать, — узнал я, что в Синедрионе есть замечательный сыщик. Э?

— Как ему не быть, — сказал Толмай.

— Иуда...

— Искариот, — докончил Толмай.

— Молодой мальчишка, говорят?

— Не стар, — сказал Толмай, — двадцать три года.

— А говорят —девятнадцать?..

— Двадцать три года три месяца, — сказал Толмай.

— Вы замечательный человек, Толмай.

— Благодарю вас, прокуратор, — сказал Толмай.

— Он где живет?

— Забыл я, прокуратор, надо справиться.

— Стоит ли, — ласково сказал Пилат. — Вы просто напрягите память.

Толмай напряг свою память, это выразилось в том, что он поднял глаза к набухшему тенту, и сказал:

— В Золотом переулке в девятом номере.

— Говорят, хорошего поведения юноша?

— Чистый юноша.

— Это хорошо. Стало быть, за ним никаких преступлений нет?

— Нет, прокуратор, нету, — раздельно ответил Толмай.

— Так... Дело, знаете ли, в том, что его судьба меня беспокоит.

— Так-с, — сказал Толмай.

— Говорят, ему Каиафа денег дал?

— Тридцать денариев.

— Тридцать?

...Пилат снял кольцо с пальца, положил его на стол и сказал:

— Возьмите на память, Толмай.

И когда уже весь город заснул, у подножия Иродова дворца на балконе в теплых сумерках на кушетке спал человек, обнявшись с собакой.

Пальмы стояли черные, а мрамор был голубой от луны...

— Так вот что случилось с Юдой Искариотом, Иван Николаевич.

— Угу, — молвил Иванушка.

— Должен вам сказать, — заговорил Владимир Миронович, — что у вас недурные знания богословские. Только непонятно мне, откуда вы все это взяли.

— Ну, так ведь... — неопределенно ответил инженер, шевельнув бровями.

— И вы любите его, как я вижу, — сказал Владимир Миронович, прищурившись.

— Кого?

— Иисуса.

— Я? — спросил неизвестный и покашлял: — Кх-кх, — но ничего не ответил.

— Только, знаете ли, в евангелиях совершенно иначе изложена вся эта легенда, — все не сводя глаз и все прищурившись, говорил Берлиоз.

Инженер улыбнулся.

— Обижать изволите, — отозвался он. — Смешно даже говорить о евангелиях, если я вам рассказал. Мне видней.

Опять оба писателя уставились на инженера.

— Так вы бы сами и написали евангелие, — посоветовал неприязненно Иванушка.

Неизвестный рассмеялся весело и ответил:

— Блестящая мысль! Она мне не приходила в голову. Евангелие от меня, хи-хи...

— Кстати, некоторые главы из вашего евангелия я бы напечатал в моем «Богоборце», — сказал Владимир Миронович, — правда, при условии некоторых исправлений.

— Сотрудничать у вас я счел бы счастьем, — вежливо молвил неизвестный, но ведь вдруг будет другой редактор. Черт знает, кого

назначат. Какого-нибудь кретина или несимпатичного какого-нибудь...

— Говорите вы все какими-то подчеркнутыми загадками, — с некоторой досадой заметил Берлиоз, — впечатление такое, что вам известно не только глубокое прошлое, но даже и будущее.

— Для того, кто знает хорошо прошлое, будущее узнать не составляет особенного труда, — сообщил инженер.

— А вы знаете?

— До известной степени. Например, знаю, кто будет жить в вашей квартире.

— Вот как? Пока я в ней буду жить!

«Он русский, русский, он не сумасшедший, — внезапно загудело в голове у Берлиоза, — не понимаю, почему мне показалось, что он говорит с акцентом? Что такое, в конце концов, что он несет?»

— Солнце в первом доме, — забормотал инженер, козырьком ладони прикрыв глаза и рассматривая Берлиоза, как рекрута в приемной комиссии, — Меркурий во втором, луна ушла из пятого дома, шесть несчастье, вечер семь, влежку фигура. Уй! Какая ерунда выходит, Владимир Миронович!

— А что? — спросил Берлиоз.

— Да... — стыдливо хихикнув, ответил инженер, — оказывается, что вы будете четвертованы.

— Это действительно ерунда, — сказал Берлиоз.

— А что, по-вашему, с вами будет? — запальчиво спросил инженер.

— Я попаду в ад, в огонь, — сказал Берлиоз, улыбаясь и в тон инженеру, — меня сожгут в крематории.

— Пари на фунт шоколаду, что этого не будет, — предложил, смеясь, инженер, — как раз наоборот: вы будете в воде.

— Утону? — спросил Берлиоз.

— Нет, — сказал инженер.

— Ну, дело темное, — сомнительно молвил Берлиоз.

— А я? — сумрачно спросил Иванушка.

На того инженер не поглядел даже и отозвался так:

— Сатурн в первом. Земля. Бойтесь фурибунды.

— Что это такое — фурибунда?

— А черт их знает, — ответил инженер, — вы уж сами у доктора спросите.

— Скажите, пожалуйста, — неожиданно спросил Берлиоз, — значит, по-вашему, криков «Распни его!» не было?

Инженер снисходительно усмехнулся:

— Такой вопрос в устах машинистки из ВСНХ был бы уместен, конечно, но в ваших!.. Помилуйте! Желал бы я видеть, как какая-нибудь толпа могла вмешаться в суд, чинимый прокуратором, да еще таким, как Пилат! Поясню, наконец, сравнением. Идет суд в ревтрибунале на Пречистенском бульваре, и вдруг, вообразите, публика начинает завывать: «Расстреляй, расстреляй его!» Моментально ее удаляют из зала суда, только и делов. Да и зачем она станет завывать? Решительно ей все равно, повесят ли кого или расстреляют. Толпа, Владимир Миронович, во все времена толпа — чернь, Владимир Миронович!

— Знаете что, господин богослов! — резко вмешался вдруг Иванушка. — Вы все-таки полегче, но-но, без хамства! Что это за слово — «чернь»? Толпа состоит из пролетариата, месье!

Глянув с большим любопытством на Иванушку в момент произнесения слова «хамство», инженер тем не менее в бой не вступил, а с шутовской ужимочкой ответил:

— Как когда, как когда...

— Вы можете подождать? — вдруг спросил Иванушка у инженера мрачно. — Мне нужно пару слов сказать товарищу.

— Пожалуйста! Пожалуйста! — ответил вежливо иностранец. — Я не спешу.

Иванушка сказал:

— Володя...

И они отошли в сторонку.

— Вот что, Володька, — зашептал Иванушка, сделав вид, что прикуривает у Берлиоза, — спрашивай сейчас у него документы...

— Ты думаешь?..— шепнул Берлиоз.

— Говорю тебе! Посмотри на костюм... Это эмигрант-белогвардеец... Говорю тебе, Володька, здесь Гепеу пахнет... Это шпион...

Все, что нашептал Иванушка, по сути дела, было глупо. Никаким ГПУ здесь не пахло, и почему, спрашивается, поболтав со своим случайным встречным на Патриарших по поводу Христа, так уж непременно необходимо требовать у него документы. Тем не менее у Владимира Мироновича моментально сделались полотняные, какие-то неприятные глаза, и искоса он кинул предательский взгляд, чтобы убедиться, не удрал ли инженер. Но серая фигура виднелась на скамейке. Все-таки поведение инженера было в высшей степени странно.

— Ладно, — шепнул Берлиоз, и лицо его постарело. Приятели вернулись к скамейке, и тут же изумление овладело Владимиром Мироновичем.

Незнакомец стоял у скамейки и держал в протянутой руке визитную карточку.

— Простите мою рассеянность, досточтимый Владимир Миронович. Увлекшись собеседованием, совершенно забыл рекомендовать себя вам, — проговорил незнакомец с акцентом.

Владимир Миронович сконфузился и покраснел.

«Или слышал, или уж больно догадлив, черт...» — подумал он.

— Имею честь, — сказал незнакомец и вынул карточку.

Смущенный Берлиоз увидел на карточке слова: «D-r Theodor Voland».

«Буржуйская карточка», —успел подумать Иванушка.

— В кармане у меня паспорт, — прибавил доктор Воланд, пряча карточку, — подтверждающий это.

— Вы — немец? — спросил густо-красный Берлиоз.

— Я? Да, немец! Именно немец! — так радостно воскликнул немец, как будто впервые от Берлиоза узнал, какой он национальности.

— Вы инженер? — продолжал опрос Берлиоз.

— Да! Да! Да! — подтвердил инженер. — Я — консультант.

Лицо Иванушки приобрело глуповато-растерянное выражение.

— Меня вызуал, — объяснял инженер, причем начинал выговаривать слова все хуже... — я все устраиль...

— А-а... — очень почтительно и приветливо сказал Берлиоз, — это очень приятно. Вы, вероятно, специалист по металлургии?

— Не-ет, — немец помотал головой, — я по белой магии!

Оба писателя как стояли, так и сели на скамейку, а немец остался стоять.

— Там тшиновник так все запутал, так запутал...

Он стал приплясывать рядом с Христом, выделывая ногами нелепые коленца и потрясая руками. Псы оживились, загавкали на него тревожно.

— Так бокал налитый... тост заздравный просит... — пел инженер и вдруг. . . . .

— А вы, почтеннейший Иван Николаевич, здорово верите в Христа. — Тон его стал суров, акцент уменьшился.

— Началась белая магия, — пробормотал Иванушка.

— Необходимо быть последовательным, — отозвался на это консультант. — Будьте добры, — он говорил вкрадчиво, — наступите ногой на этот портрет, — он указал острым пальцем на изображение Христа на песке.

— Просто странно, — сказал бледный Берлиоз.

— Да не желаю я! — взбунтовался Иванушка.

— Боитесь, — коротко сказал Воланд.

— И не думаю!

— Боитесь!

Иванушка, теряясь, посмотрел на своего патрона и приятеля.

Тот поддержал Иванушку:

— Помилуйте, доктор! Ни в какого Христа он не верит, но ведь это же детски нелепо доказывать свое неверие таким способом!

— Ну, тогда вот что! — сурово сказал инженер и сдвинул брови. — Позвольте вам заявить, гражданин Бездомный, что вы — врун свинячий! Да, да! Да нечего на меня зенки таращить!

Тон инженера был так внезапно нагл, так странен, что у обоих приятелей на время отвалился язык. Иванушка вытаращил глаза. По теории нужно бы было сейчас же дать в ухо собеседнику, но русский человек не только нагловат, но и трусоват.

— Да, да, да, нечего пялить, — продолжал Воланд, — и трепаться, братишка, нечего было, — закричал он сердито, переходя абсолютно непонятным способом с немецкого на акцент черноморский, — трепло, братишка. Тоже богоборец, антибожник. Как же ты мужикам будешь проповедовать?! Мужик любит пропаганду резкую — раз, и в два счета чтобы! Какой ты пропагандист! Интеллигент! У, глаза бы мои не смотрели!

Все что угодно мог вынести Иванушка, за исключением последнего. Ярость заиграла на его лице.

— Я интеллигент?! — обеими руками он трахнул себя в грудь. — Я — интеллигент, — захрипел он с таким видом, словно Воланд обо-

звал его, по меньшей мере, сукиным сыном. — Так смотри же!! — Иванушка метнулся к изображению.

— Стойте!! — громовым голосом воскликнул консультант. — Стойте!

Иванушка застыл на месте.

— После моего евангелия, после того, что я рассказал о Иешуа, вы, Владимир Миронович, неужто вы не остановите юного безумца?! А вы, — и инженер обратился к небу, — вы слышали, что я честно рассказал?! Да! — и острый палец инженера вонзился в небо. — Остановите его! Остановите!! Вы — старший!

— Это так глупо все!! — в свою очередь закричал Берлиоз. — Что у меня уже в голове мутится! Ни поощрять его, ни останавливать я, конечно, не стану!

И Иванушкин сапог вновь взвился, послышался топот, и Христос разлетелся по ветру серой пылью.

И был час девятый.

— Вот! — вскричал Иванушка злобно.

— Ах! — кокетливо прикрыв глаза ладонью, воскликнул Воланд, а затем, сделавшись необыкновенно деловитым, успокоенно добавил: — Ну, вот, все в порядке, и дочь ночи Мойра допряла свою нить.

— До свидания, доктор, — сказал Владимир Миронович, — мне пора.

Мысленно в это время он вспоминал телефоны РКИ...

— Всего добренького, гражданин Берлиоз, — ответил Воланд и вежливо раскланялся. — Кланяйтесь там! — Он неопределенно помахал рукой. — Да, кстати, Владимир Миронович, ваша матушка почтенная...

. . . .

«...Странно, странно все-таки, — подумал Берлиоз, — откуда он это знает... Дикий разговор... Акцент то появится, то пропадет. Ну, словом, прежде всего, телефон... Все это мы разъясним...»

Дико взглянув еще раз на сумасшедшего, Берлиоз стал уходить.

— Может быть, прикажете, я ей телеграммку дам? — вдогонку крикнул инженер. — Здесь телеграф на Садовой, поблизости. Я бы сбегал?! А?

Владимир Миронович на ходу обернулся и крикнул Иванушке:

— Иван! На заседание не опаздывай! В девять с половиной ровно!

— Ладно, я еще домой забегу, — откликнулся Иванушка.

— Послушайте! Эй! — прокричал, сложив руки рупором, Воланд. — Я забыл вам сказать, что есть еще шестое доказательство, и оно сейчас будет вам предъявлено!..

Над Патриаршими же закат уже сладостно распускал свои паруса с золотыми крыльями, и вороны купались над липами перед сном. Пруд стал загадочен, в тенях. Псы во главе с Бимкой вереницей вдруг снялись и побежали не спеша следом за Владимиром Мироновичем. Бимка неожиданно обогнал Берлиоза, заскочил впереди него и, отступая задом, пролаял несколько раз. Видно было, как Владимир Миронович замахнулся на него угрожающе, как

Бимка брызнул в сторону, хвост зажал между ногами и провыл скорбно.

— Даже богам невозможно милого им человека избавить!.. — разразился вдруг какими-то стихами сумасшедший, приняв торжественную позу и руки воздев к небу.

— Ну, мне надо торопиться, — сказал Иванушка, — а то я на заседание опоздаю.

— Не торопитесь, милейший, — внезапно, резко и окончательно меняясь, мощным голосом молвил инженер, — клянусь подолом старой сводни, заседание не состоится, а вечер чудесный. Из помоек тянет тухлым, чувствуете жизненную вонь гнилой капусты? Горожане варят бигос... Посидите со мной...

И он сделал попытку обнять Иванушку за талию.

— Да ну вас, ей-богу! — нетерпеливо отозвался Иванушка и даже локоть выставил, спасаясь от назойливой ласки инженера. Он быстро двинулся и пошел.

Долгий нарастающий звук возник в воздухе, и тотчас из-за угла дома с Садовой на Бронную вылетел вагон трамвая. Он летел и качался, как пьяный, вертел задом и приседал, стекла в нем дребезжали, а над дугой хлестали зеленые молнии.

У турникета, выводящего на Бронную, внезапно осветилась тревожным светом таблица, и на ней выскочили слова «Берегись трамвая!».

— Вздор! — сказал Воланд. — Ненужное приспособление, Иван Николаевич, случая еще не было, чтобы уберегся от трамвая тот, кому под трамвай необходимо попасть! . . . .

Трамвай проехал по Бронной. На задней площадке стоял Пилат, в плаще и сандалиях, держал в руках портфель.

«Симпатяга этот Пилат, — подумал Иванушка, — псевдоним Варлаам Собакин»...

Иванушка заломил картузик на затылок, выпустил рубаху, как сапожками топнул, двинул мехи баяна, вздохнул семисотрублевый баян и грянул:

Как поехал наш Пилат
На работу в Наркомат.
Ты-гар-га, маты-гарга!

— Трр!.. — отозвался свисток. Суровый голос послышался:

— Гражданин! Петь под пальмами не полагается. Не для того сажали их.

— В самом деле. Не видал я пальм, что ли, — сказал Иванушка, — да ну их к лысому бесу. Мне бы у Василия Блаженного на паперти сидеть...

И точно, учинился Иванушка на паперти. И сидел Иванушка, погромыхивая веригами, а из храма выходил страшный грешный человек: исполу — царь, исполу — монах. В трясущейся руке держал посох, острым концом его раздирал плиты. Били колокола. Таяло.

— Студные дела твои, царь, — сурово сказал ему Иванушка, — лют и бесчеловечен, пьешь губительные обещанные диаволом чаши, все-

лукавый мних. Ну а дай мне денежку, царь Иванушка, помолюся ужо за тебя.

Отвечал ему царь, заплакавши:

— Почто пужаешь царя, Иванушка. На тебе денежку, Иванушка-верижник, Божий человек, помолись за меня!

И звякнули медяки в деревянной чашке.

Завертелось все в голове у Иванушки, и ушел под землю Василий Блаженный. Очнулся Иван на траве в сумерках на Патриарших прудах, и пропали пальмы, а на месте их беспокойные коммуны уже липы посадили.

— Ай! — жалобно сказал Иванушка. — Я, кажется, с ума сошел! Ой, конец...

Он заплакал, потом вдруг вскочил на ноги.

— Где он? — дико вскричал Иванушка. — Держите его, люди! Злодей! Злодей! Куси, куси, куси, Банга, Банга!

Но Банга исчез.

На углу Ермолаевского неожиданно вспыхнул фонарь и залил улицу, и в свете его Иванушка увидел уходящего Воланда.

— Стой! — прокричал Иванушка и одним взмахом перебросился через ограду и кинулся догонять.

Весьма отчетливо он видел, как Воланд повернулся и показал ему фигу. Иванушка наддал и внезапно очутился у Мясницких ворот, у почтамта. Золотые огненные часы показали Иванушке половину десятого. Лицо Воланда в ту же секунду высунулось в окне телеграфа. Завыв, Иванушка бросился в двери, завертелся в зеркальной вертушке и через нее выбежал в Савельевский переулок, что на Остоженке, и в нем увидел Воланда — тот, раскланявшись с какой-то дамой, вошел в подъезд. Иванушка — за ним, двинул в дверь, вошел в вестибюль. Швейцар вышел из-под лестницы и сказал:

— Зря приехали, граф Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть. С вашей милости на чаек... Каждую среду будут ходить.

И фуражку снял с галуном.

— Застрелю! — завыл Иванушка. — С дороги, арамей!

Он взлетел во второй этаж и рассыпным звонком наполнил всю квартиру. Дверь тотчас открыл самостоятельный ребенок лет пяти. Иванушка вбежал в переднюю, увидел в ней бобровую шапку на вешалке, подивился — зачем летом бобровая шапка, ринулся в коридор, крюк в ванной на двери оборвал, увидел в ванне совершенно голую даму с золотым крестом на груди и с мочалкой в руке. Дама так удивилась, что не закричала даже, а сказала:

— Оставьте это, Петрусь, мы не одни в квартире, и Павел Димитриевич сейчас вернется.

— Каналья, каналья, — ответил ей Иванушка и выбежал на Каланчевскую площадь.

Воланд нырнул в подъезд оригинального дома.

«Так его не поймаешь», — сообразил Иванушка, нахватал из кучи камней и стал садить ими в подъезд. Через минуту он забился трепетно в руках дворника сатанинского вида.

— Ах ты, буржуазное рыло, — сказал дворник, давя Иванушкины ребра, — здесь кооперация, пролетарские дома. Окна зеркальные, медные ручки, штучный паркет, — и начал бить Иванушку, не спеша и сладко.

— Бей, бей! — сказал Иванушка. — Бей, но помни! Не по буржуазному рылу лупишь, по пролетарскому. Я ловлю инженера, в ГПУ его доставлю.

При слове «ГПУ» дворник выпустил Иванушку, на колени стал и сказал:

— Прости, Христа ради, распятого же за нас при Понтийском Пилате. Запутались мы на Каланчевской, кого не надо лупим...

Надрав из его бороды волосьев, Иванушка скакнул и выскочил на набережной храма Христа Спасителя. Приятная вонь поднималась с Москвы-реки вместе с туманом. Иванушка увидел несколько человек мужчин. Они снимали с себя штаны, сидя на камушках. За компанию снял и Иванушка башмаки, носки, рубаху и штаны. Снявши, посидел и поплакал, а мимо него в это время бросались в воду люди и плавали, от удовольствия фыркая. Наплакавшись, Иванушка поднялся и увидел, что нет его носков, башмаков, штанов и рубахи.

«Украли, — подумал Иванушка, — и быстро, и незаметно»...

Над Храмом в это время зажглась звезда, и побрел Иванушка в одном белье по набережной, запел громко:

В моем саду растет малина...
А я влюбилась в сукиного сына!

В Москве в это время во всех переулках играли балалайки и гармоники, изредка свистали в свистки, окна были раскрыты и в них горели оранжевые абажуры...

— Готов, — сказал чей-то бас.

МАНИЯ ФУРИБУНДА

Писательский ресторан, помещавшийся в городе Москве на бульваре, как раз насупротив памятника знаменитому поэту Александру Ивановичу Житомирскому, отравившемуся в 1933 году осетриной, носил дикое название «Шалаш Грибоедова».

«Шалашом» его почему-то прозвал известный всей Москве необузданный лгун Козобоев — театральный рецензент, в день открытия ресторана напившийся в нем до положения риз.

Всегда у нас так бывает, что глупое слово точно прилипнет к человеку или вещи, как ярлык. Черт знает, почему «шалаш»?! Возможно, что сыграли здесь роль давившие на алкоголические полушария

проклятого Козобоева низкие сводчатые потолки ресторана. Неизвестно. Известно, что вся Москва стала называть ресторан «Шалашом».

А не будь Козобоева, дом, в коем помещался ресторан, носил бы свое официальное и законное название «Дом Грибоедова», вследствие того, что, если опять-таки не лжет Козобоев, дом этот не то принадлежал тетке Грибоедова, не то в нем проживала племянница знаменитого драматурга. Впрочем, кажется, никакой тетки у Грибоедова не было, равно так же как и племянницы. Но это и не суть важно. Народный комиссариат просвещения, терзаемый вопросом об устройстве дел и жизни советских писателей, количество коих к тридцатым годам поднялось до угрожающей цифры 4500 человек, из них 3494 проживали в городе Москве, а шесть человек в Ленинграде. . . . .

. . . .

Вечер страшной субботы

Черновые наброски к роману

1929–1931 гг.

Дорогим Наде и
Андрюше на памя[ть]
Андрюша! Скажи На[де]

чтобы она не хватала
эту книжку [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

23. IX. 1929 г.

ДЕЛО БЫЛО В ГРИБОЕДОВЕ

В вечер той страшной субботы, 14 июня 1943 года, когда потухшее солнце упало за Садовую, а на Патриарших прудах кровь несчастного Антона Антоновича смешалась с постным маслом на камушке, писательский ресторан «Шалаш Грибоедова» был полным-полон.

Почему такое дикое название? Дело вот какого рода: когда количество писателей в Союзе, неуклонно возрастая из года в год, наконец выразилось в угрожающей цифре 5011 человек, из коих 5004 проживало в Москве, а 7 человек в Ленинграде, соответствующее ведомство, озабоченное судьбой служителей муз, отвело им дом.

Дом сей помещался в глубине двора, за садом, и, по словам беллетриста Поплавкова, не то принадлежал некогда тетке Грибоедова, не то в доме проживала племянница автора знаменитой комедии.

Заранее предупреждаю, что ни здесь, ни впредь ни малейшей ответственности за слова Поплавкова я на себя не беру. Жуткий лгун, но талантливейший парнище. Кажется, ни малейшей тетки у Грибоедова не было, равно как и племянницы. Впрочем, желающие могут справиться. Во всяком случае, дом назывался грибоедовским.

Заимев славный двухэтажный дом с колоннами, писательские организации разместились в нем как надо. Все комнаты верхнего этажа отошли под канцелярии и редакции журналов, зал, где тетка якобы слушала отрывки из «Горя от ума», пошел под публичные заседания, а в подвале открылся ресторан.

В день открытия его Поплавков глянул на расписанные сводчатые потолки и прозвал ресторан «Шалашом».

И с того момента и вплоть до сего дня, когда дом этот стал перед безумным воспаленным моим взором в виде обуглившихся развалин, название «Шалаш Грибоедова» прилипло к зданию и в историю перейдет.

Итак, упало 14 июня солнце за Садовую в Цыганские Грузины, и над истомленным и жутким городом взошла ночь со звездами. И никто, никто еще не подозревал тогда, что ждет каждого из нас.

Столики на веранде под тентом заполнились уже к восьми часам вечера. Город дышал тяжко, стены отдавали накопленный за день жар, визжали трамваи на бульваре, электричество горело плохо, почему-то казалось, что наступает сочельник тревожного праздника, всякому хотелось боржому. Но тек холодный боржом в раскаленную

глотку и ничуть не освежал. От боржому хотелось шницеля, шницель вызывал на водку, водка — жажду, в Крым, в сосновый лес!..

За столиками пошел говорок. Пыльная пудреная зелень сада молчала, и молчал гипсовый поэт Александр Иванович Житомирский, во весь рост стоящий под ветвями с книгой в одной руке и обломком меча в другой. За три года поэт покрылся зелеными пятнами и от меча осталась лишь рукоять.

Тем, кому не хватило места под тентом, приходилось спускаться вниз, располагаться под сводами за скатертями с желтыми пятнами у стен, отделанных под мрамор, похожий на зеленую чешую. Здесь был ад.

Представляется невероятным, но тем не менее это так, что в течение часа с того момента, как редактор Марк Антонович Берлиоз погиб на Патриарших, и вплоть до того момента, как столы оказались занятыми, ни один из пришедших в «Шалаш» не знал о гибели, несмотря на адскую работу Бержеракиной, Поплавкова и телефонный гром. Очевидно, все, кто заполнял ресторан, были в пути, шли и ехали в трамваях, задыхаясь, глотая пот, пыль и мучаясь жаждой.

В служебном кабинете самого Берлиоза звонок на настольном телефоне работал непрерывно. Рвались голоса, хотели что-то узнать, что-то сообщить, но кабинет был заперт на ключ, некому было ответить, сам Берлиоз был неизвестно где, но во всяком случае там, где не слышны телефонные звонки, и забытая лампа освещала исписанную номерами телефонов промокашку с крупной надписью «Софья дрянь». Молчал верхний теткин этаж.

В девять часов ударил странный птичий звук, побежал резаный петуший, превратясь в гром. Первым снялся из-за столика кто-то в коротких до колен штанах рижского материала, в очках колесами, с жирными волосами, в клетчатых чулках, обхватил крепко тонкую женщину с потертым лицом и пошел меж столов, виляя очень выкормленным задом. Потом пошел знаменитый беллетрист Копейко — рыжий, мясистый, затем женщина, затем лохматый беззубый с луком в бороде. В громе и звоне тарелок он крикнул тоскливо: «Не умею я!»

Но снялся и перехватил девочку лет 17 и стал топтать ее ножки в лакированных туфлях без каблуков. Девочка страдала от запаха водки и луку изо рта, отворачивала голову, скалила зубы, шла задом... Лакеи несли севрюгу в блестящих блюдах с крышками, с искаженными от злобы лицами ворчали ненавистно... «Виноват»... В трубу гулко кричал кто-то — «Пожарские р-раз!» Бледный, истощенный и порочный пианист маленькими ручками бил по клавишам громадного рояля, играл виртуозно. Кто-то подпел по-английски, кто-то рассмеялся, кто-то кому-то пообещал дать в рожу, но не дал... И давно, давно я понял, что в дымном подвале, в первую из цепи страшных московских ночей, я видел ад.

И родилось видение. В дни, когда никто, ни один человек не носил фрака в мировой столице, прошел человек во фраке ловко и бесшумно через ад, сквозь расступившихся лакеев и вышел под тент. Был час десятый, когда он сделал это, и стал, глядя гордо на гудев-

шую веранду, где не танцевали. Синева ложилась под глаза его, сверкал бриллиант на белой руке, гордая мудрая голова...

Мне говорил Поплавков, что он явился под тент прямо из океана, где был командиром пиратского брига, плававшего у Антильских и Багамских островов. Вероятно, лжет Поплавков. Давно не ходят в Караибском море разбойничьи бриги и не гонятся за ними с пушечным громом быстроходные английские корветы. Лжет Поплавков...

Когда плясали все в дыму и испарениях, над бледным пианистом склонилась голова пирата и сказала тихим красивым шепотом:

— Попрошу прекратить фокстрот.

Пианист вздрогнул, спросил изумленно:

— На каком основании, Арчибальд Арчибальдович?

Пират склонился пониже, шепнул:

— Председатель Всеобписа Марк Антонович Берлиоз убит трамваем на Патриарших прудах.

И мгновенно музыка прекратилась. И тут застыл весь «Шалаш».

Не обошлось, конечно, и без чепухи, без которой, как известно, ничего не обходится. Кто-то предложил сгоряча почтить память вставанием. И ничего не вышло. Кой-кто встал, кой-кто не расслышал. Словом — нехорошо. Трудно почтить, хмуро глядя на свиную отбивную. Поэт же Рюхин и вовсе нагробил. Воспаленно глядя, он предложил спеть «Вечную память». Уняли, и справедливо. Вечная память дело благое, но не в «Шалаше» ее петь, согласитесь сами!

Затем кто-то предлагал послать какую-то телеграмму, кто-то в морг захотел ехать, кто-то зачем-то отправился в кабинет Берлиоза, кто-то куда-то покатил на извозчике. Все это, по сути дела, ни к чему. Ну какие уж тут телеграммы, кому и зачем, когда человек лежит в морге на цинковом столе, а голова его лежит отдельно.

В бурном хаосе и возбуждении тут же стали рождаться слушки: несчастная любовь к акушерке Кандалаки, второе — впал в правый уклон. Прямо и точно сообщаю, что все это вранье. Не только никакой акушерки Кандалаки Берлиоз не любил, но и вообще никакой акушерки Кандалаки в Москве нет, есть Кондалини, но она не акушерка, а статистик на кинофабрике. Насчет правого уклона категорически заявляю — неправда. Поплавковское вранье. Если уж и впал бы Антон Антонович, то ни в коем случае не в правый уклон, а, скорее, в левый загиб. Но он никуда не впал.

Пока веранда и внутренность гудела говором, произошло то, чего еще никогда не происходило. Именно: извозчики в синих кафтанах, караулившие у ворот «Шалаша», вдруг полезли на резные чугунные решетки. Кто-то крикнул:

— Тю!..

Кто-то свистнул...

Затем показался маленький тепленький огонечек, а затем от решетки отделилось белое привидение. Оно проследовало быстро и деловито по асфальтовой дорожке, мимо веранды, прямо к зимнему входу в ресторан и за углом скрылось, не вызвав даже особенного

изумления на веранде. Ну, прошел человек в белом, а в руках мотнулся огонечек. Однако через минуту-две в аду наступило молчание, затем это молчание перешло в возбужденный говор, а затем привидение вышло из ада на веранду. И тут все ахнули и застыли, ахнув. «Шалаш» многое видел на своем веку, но такого еще не происходило ни разу.

Привидение оказалось не привидением, а известным всей Москве поэтом Иванушкой Безродным, и Иванушка имел в руке зажженную церковную свечу зеленого воску. Огонечек метался на нем, и она оплывала. Буйные волосы Иванушки не были прикрыты никаким убором, под левым глазом был большой синяк, а щека расцарапана. На Иванушке надеты были рубашка белая и белые же кальсоны с тесемками, ноги босые, а на груди, покрытой запекшейся кровью, непосредственно к коже была приколота бумажная иконка, изображающая Иисуса.

Молчание на веранде продолжалось долго, и во время его изнутри «Шалаша» на веранду валил народ с искаженными лицами.

Иванушка оглянулся тоскливо, поклонился низко и хрипло сказал:

— Здорово, православные.

От такого приветствия молчание усилилось.

Затем Иванушка наклонился под столик, на котором стояла вазочка с зернистой икрой и торчащими из нее зелеными листьями, посветил, вздохнул и сказал:

— Нету и здесь!

Тут послышались два голоса.

Бас паскудный и бесчеловечный сказал:

— Готово дело. Делириум тременс*.

А добрый тенор сказал:

— Не понимаю, как милиция его пропустила по улицам?

Иванушка услышал последнее и отозвался, глядя поверх толпы:

— На Бронной мильтон вздумал ловить, но я скрылся через забор.

И тут все увидели, что у Иванушки были когда-то коричневые глаза, а стали перламутровые, и все забыли Берлиоза, и страх и удивление вселились в сердца.

— Друзья, — вдруг вскричал Иванушка, и голос его стал и тепел и горяч, — друзья, слушайте! Он появился!

Иванушка значительно и страшно поднял свечу над головой.

— Он появился! Православные! Ловите его немедленно, иначе погибнет Москва!

— Кто появился? — выкрикнул страдальческий женский голос.

— Инженер! — хрипло крикнул Иванушка. — И этот инженер убил сегодня Антошу Берлиоза на Патриарших прудах!

— Что? Что? Что он сказал?

— Убил! Кто? Белая горячка. Они были друзья. Помешался.

— Слушайте, кретины! — завопил Иванушка. — Говорю вам, что появился он!

* Белая горячка *(лат.)*.

— Виноват. Скажите точнее, — послышался тихий и вежливый голос над ухом Иванушки, и над этим же ухом появилось бритое внимательное лицо.

— Неизвестный консультант, — заговорил Иванушка, озираясь, и толпа сдвинулась плотнее, — погубитель появился в Москве и сегодня убил Антошу!

— Как его фамилия? — спросил вежливо на ухо.

— То-то фамилия! — тоскливо крикнул Иван. — Ах, я! Черт возьми! Не разглядел я на визитной карточке фамилию! На букву Ве! На букву Ве! Граждане! Вспоминайте сейчас же, иначе будет беда Красной столице и горе ей! Во... Ву... Влу... — забормотал Иванушка, и волосы от напряжения стали ездить у него на голове.

— Вульф! — крикнул женский голос.

— Да не Вульф... — ответил Иванушка, — сама ты Вульф! Граждане, вот чего, я сейчас кинусь дальше ловить, а вы спосылайте кого-нибудь в Кремль, в верхний коммутатор, скажите, чтобы тотчас сажали бы стрельцов на мотоциклетки с секирами, с пулеметами в разных направлениях инженера ловить! Приметы: зубы платиновые, воротнички крахмальные, ужасного роста!

Тут Иванушка проявил беспокойство, стал заглядывать под столы, размахивать свечой.

Народ загудел... Послышалось слово — «доктор»... И лицо приятное, мясистое, лицо в огромных очках, в черной фальшивой оправе, бритое и сытое, участливо появилось у Иванушкина лица.

— Товарищ Безродный, — заговорило лицо юбилейным голосом, — вы расстроены смертью всеми нами любимого и уважаемого Антона... нет Антоши Берлиоза. Мы это отлично понимаем. Возьмите покой. Сейчас кто-нибудь из товарищей проводит вас домой, в постельку...

— Ты, — заговорил Иван и стукнул зубами, — понимаешь, что Берлиоза убил инженер! Или нет? Понимаешь, арамей?

— Товарищ Безродный! Помилуйте, — ответило лицо.

— Нет, не помилую, — тихо ответил Иван и, размахнувшись широко, ударил лицо по морде.

Тут догадались броситься на Ивана. Он издал визг, отозвавшийся даже на бульваре. Окна в домиках, окаймляющих сад с поэтом, стали открываться. Столик с икрой, с листьями и с бутылкой Абрау рухнул, взлетели босые ноги, кто-то упал в обморок.

В окошке возникла голова фурии, закричала:

— Царица небесная! Когда же будет этому конец? Когда, когда, наконец, власть закроет проклятый «Шалаш»! Дети оборались, не спят — каждый вечер в «Шалаше» скандал...

Мощная и волосатая рука сгребла фурию, и голова ее провалилась в окне.

В то время, когда на веранде бушевал неслыханный еще скандал, в раздевалке командир брига стоял перед швейцаром.

— Ты видел, что он в подштанниках? — спросил холодно пират.

— Да ведь, Арчибальд Арчибальдович, — отвечал швейцар трусливо, но и нагловато бегая глазами, — они ведь члены Описа...

— Ты видел, что он в подштанниках? — хладнокровно спросил пират.

Швейцар замолк, и лицо его приняло тифозный цвет. Наглость в глазках потухла. Ужас сменил ее. Он снизу вверх стал смотреть на командира. Он видел ясно, как черные волосы покрылись шелковой косынкой. Исчез фрак, за ременным поясом возникли пистолеты. Он видел безжалостные глаза, черную бороду, слышал предсмертный плеск волны у борта брига и наконец увидел себя висящим с головой набок и высунутым до плеча языком на фок-марс-рее, черный флаг с мертвой головой. Океан покачивался и сверкал. Колени швейцара подогнулись, но флибустьер прекратил пытку взглядом.

— Ох, Иван, плачет по тебе биржа труда, Рахмановский милый переулок, — сквозь зубы сказал капитан.

— Арчибальд...

— Пантелея. Протокол. Милиционера, — ясно и точно распорядился авралом пират, — таксомотор. В психиатрическую.

— Пантелей, выходит... — начал было швейцар, но пират не заинтересовался этим.

— Пантелея, — повторил он и размеренно пошел внутрь.

Минут через десять весь «Шалаш» был свидетелем, как окровавленного человека, босого, в белье, поверх которого было накинуто пальто Пантелея, под руки вели к воротам. Страшные извозчики у решетки дрались кнутами за обладание Иванушкой, кричали:

— На резвой! Я возил в психическую!

Иванушка шел плача и пытался укусить за руку то правого Пантелея, то левого поэта Рюхина, и Рюхин скорбно шептал:

— Иван, Иван...

В тылу на веранде гудел народ, лакеи выметали и уносили осколки, повторялось слово «Берлиоз». В драную пролетку у ворот мостилось бледное лицо без очков, совершенно убитое незаслуженной плюхой, и дама убитая мостилась с ним рядом.

В глазах у Рюхина затем замелькали, как во сне, огни на Страстной площади, потом бесконечные круглые огненные часы, затем толпы народа, затем каша из автомобильных фонарей, шляп...

Затем, светя и рыча и кашляя, таксомотор вкатил в какой-то волшебный сад, затем Рюхин, милиционер и Пантелей ввели Иванушку в роскошный подъезд, причем Рюхин, ослепленный техникой, все более трезвел и жадно хотел пить. Затем все оказались в большой комнате, в которой стояли столик, клеенчатая новенькая кушетка, два кресла. Круглые часы подвешены были высоко и показывали 11 с четвертью.

Милиционер, Пантелей удалились. Рюхин огляделся и увидел себя в компании двух мужчин и женщины. Все трое были в белых балахонах, очень чистых, и женщина сидела за столиком.

Иванушка, очень тихий, странно широкоплечий в пантелеевском пальто, не плачущий, поместился под стеной и руки сложил на груди. Рюхин напился из графина с такой жадностью, что руки у него задрожали.

Тут же дверь бесшумно открылась и в комнату вошел еще один человек, тоже в балахоне, из кармашка коего торчал черный конец трубочки. Человек этот был очень серьезен. Необыкновенно весь спокоен, но при крайне беспокойных глазах. И даже по бородке его было видно, что он величайший скептик. Пессимист.

Все подтянулись.

Рюхин сконфузился, поправил поясок на толстовке и произнес:

— Здравствуйте, доктор. Позвольте познакомиться. Поэт Рюхин.

Доктор вежливо поклонился Рюхину, но, кланяясь, смотрел не на Рюхина, а на Иванушку.

— А это... — почему-то понизив голос, представил Рюхин, — знаменитый поэт Иван Бездомный.

По доктору видно было, что имя это он слышит впервые в жизни, он вопросительно посмотрел на Рюхина. И тот, повернувшись к Иванушке спиной, зашептал:

— Мы опасаемся, не белая ли горячка...

— Пил очень сильно? — сквозь зубы спросил доктор.

— Нет, доктор...

— Тараканов, крыс, чертиков или шмыгающих собак не ловил?

— Нет, — ответил Рюхин, — я его вчера видел. Он речь говорил!

— Почему в белье? С постели взяли?

— Нет, доктор, он в ресторан пришел в таком виде.

— Ага, — сказал доктор так, как будто ему очень понравилось, что Иванушка в белье пришел в ресторан. — А почему окровавлен? Дрался?

Рюхин замялся.

— Так.

Тут совещание шепотом кончилось, и все обратились к Иванушке.

— Здравствуйте, — сказал доктор Иванушке.

— Здорово, вредитель! — ясным громким голосом ответил Иванушка, и Рюхин от сраму захотел провалиться сквозь землю. Ему было стыдно поднять глаза на вежливого доктора, от бороды которого пахло явно одеколоном.

Тот, однако, не обиделся, а снял привычным ловким жестом пенсне с носа и спрятал его, подняв полу балахона, в задний карман брюк.

— Сколько вам лет? — спросил доктор.

— Поди ты от меня к чертям, в самом деле, — хмуро ответил Иванушка.

— Иван, Иван... — робко воскликнул Рюхин. А доктор сказал вежливо и печально, щуря близорукие глаза:

— Зачем же вы сердитесь? Я решительно не понимаю...

— Двадцать пять лет мне, — сурово ответил Иванушка, — и я завтра на вас на всех пожалуюсь. И на тебя, гнида! — отнесся он уже персонально к Рюхину.

— За что же вы хотите пожаловаться?

— За то, что меня силой схватили и притащили куда-то.

Рюхин глянул тут на Иванушку и похолодел. Глаза у Иванушки из перламутровых превратились в зеленые, ясные. «Батюшки, да он

вполне свеж и нормален, — подумал Рюхин. — Зачем же такая чепуха... зачем же мы малого в психическую поволокли. Нормален, только рожа расцарапана».

— Куда это меня приволокли? — надменно спросил Иван.

Рюхину захотелось конспирации, но врач сейчас же открыл тайну.

— Вы находитесь в психиатрической лечебнице, оборудованной по последнему слову техники. Кстати, добавлю: где вам не причинят ни малейшего вреда и где вас никто не собирается задерживать силой.

Иванушка недоверчиво покосился, потом пробурчал:

— Хвала Аллаху, кажется, нашелся один нормальный среди идиотов, из которых первый — величайшая бездарность и балбес Пашка.

— Кто этот Пашка-бездарность? — спросил врач.

— Вот он — Рюхин, — ответил Иванушка и указал на Рюхина.

— Простите, — сказал доктор.

Рюхин был красен, и глаза его засверкали. «Вот так так, — думал он, — и сколько раз я давал себе слово не ввязываться ни в какие истории. Вот и спасибо. Свинья какая-то, и притом нормален». И горькое чувство шевельнулось в душе Рюхина.

— Типичный кулачок-подголосок, тщательно маскируется под пролетария, — продолжал Иванушка сурово обличать Рюхина, — «и развейтесь красные знамена», а посмотрели бы вы, что он думает, хе... — и Иванушка рассмеялся зловеще.

Доктор повернулся спиной к Иванушке и шепнул:

— У него нет белой горячки.

Затем повернулся к Ивану и заговорил:

— Почему, собственно, вас доставили к нам?

— Да черт их возьми, идиотов! Схватили, затолкали в такси и поволокли!

— Простите, вы пили сегодня, — осведомился доктор.

— Ничего я не пил, ни сегодня, ни вчера, — ответил Иван.

— Гм... — сказал врач, — но вы почему, собственно, в ресторан, вот как говорит гражданин Рюхин, пришли в одном белье?

— Вы Москву знаете? — спросил Иван.

— Да, более или менее... — протянул доктор.

— Как вы полагаете, — страстно спросил Иван, — мыслимо ли думать, чтобы вы в Москве оставили на берегу реки что-нибудь и чтобы вещь не попятили? Купаться я стал, ну и украли, понятно, и штаны, и толстовку, и туфли. А я спешил в «Шалаш».

— Свидание? — спросил врач.

— Нет, брат, не свидание, а я ловлю инженера!

— Какого инженера?

— Который сегодня на Патриарших, — раздельно продолжал Иван, — убил Антона Берлиоза. А поймать его требуется срочно, потому что он натворит таких дел, что нам всем небо с овчинку покажется.

Тут врач вопросительно отнесся к Рюхину. Переживающий еще жгучую обиду, Рюхин ответил мрачно:

— Председатель Вседруписа Берлиоз сегодня под трамвай попал.

— Он под трамвай попал, говорят?

— Его убил инженер.

— Толкнул, что ли, под трамвай?

— Да не толкнул! — Иван раздражился. — Почему такое детское понимание вещей. Убил — значит толкнул! Он пальцем не коснулся Антона. Такой вам толкнет!

— А кто-нибудь еще видел, кроме вас, этого инженера?

— Я один. То-то и беда.

Фамилию его знаете?

— На «Ве» фамилия, — хмуро ответил Иван. И стал потирать лоб.

— Инженер Наве?

— Да не Наве, а на букву «Ве» фамилия. Не прочитал я до конца на карточке фамилию. Да ну тебя тоже к черту. Что за допросчик такой нашелся! Убирайтесь вы от меня! Где выход?

— Помилуйте, — воскликнул доктор, — у меня и в мыслях не было допрашивать вас! Но ведь вы сообщаете такие важные вещи об убийстве, которого вы были свидетелем... Быть может, здесь можно чем-нибудь помочь...

— Ну, вот именно, а эти негодяи волокут куда-то! — вскричал Иван.

— Ну вот! — вскричал и доктор. — Возможно, здесь недоразумение!.. Скажите же, какие меры вы приняли, чтобы поймать этого инженера?

— Слава тебе Господи, ты не вредитель, а молодец! — и Иван потянулся поцеловать. — Меры я принял такие: первым делом с Москвы-реки бросился в Кремль, но у Спасских ворот стремянные стрельцы не пустили! Иди, говорят, Божий человек, проспись.

— Скажите! — воскликнул врач и головой покачал, а Рюхин забыл про обиды и вытянул шею.

— Ну-те-с, ну-те-с, — говорил врач крайне заинтересованный, и женщина за столом развернула лист и стала записывать. Санитары стояли тихо и руки держали по швам, не сводили с Ивана Безродного глаз. Часы стучали.

— Вооруженные были стрельцы?

— Пищали в руках, как полагается, — продолжал Иван, — тут я, понимаешь ли, вижу, ничего не поделаешь, и брызнул за ним на телеграф, а он проклятый вышел на Остоженку, я за ним в квартиру, а там голая гражданка в мыле и в ванне, я тут подобрал иконку и пришпилил ее к груди, потому что без иконки его не поймать... Ну... — тут Иван поднял голову, глянул на часы и ахнул.

— Батюшки, одиннадцать, — закричал он, — а я тут с вами время теряю. Будьте любезны, где у вас телефон?..

Один из санитаров тотчас загородил его спиной, но врач приказал:

— Пропустите к телефону.

И Иван уцепился за трубку и вытаращил глаза на блестящие чашки звонков. В это время женщина тихо спросила Рюхина:

— Женат он?

— Холост, — испуганно ответил Рюхин.

— Родные в Москве есть?

— Нету.

— Член профсоюза?

Рюхин кивнул. Женщина записала.

— Дайте Кремль, — сказал вдруг Иван в трубку, в комнате воцарилось молчание. — Кремль? Передайте в Совнарком, чтобы послали сейчас же отряд на мотоциклетках в психиатрическую лечебницу... Говорит Бездомный... Инженера ловить, который Москву погубит... Дура. Дура! — вскричал Иван и грохнул трубкой. — Вредительница! — и с трубки соскочил рупор.

Санитар тотчас повесил трубку на крюк и загородил телефон.

— Не надо браниться в телефон! — заметил врач.

— Ну-ка, пустите-ка меня, — попросил Иван и стал искать выхода, но выход как сквозь землю провалился.

— Ну, помилуйте, — заметил врач, — куда вам сейчас идти. Поздно, вы не одеты. Я настойчиво советую вам переночевать в лечебнице, а уж днем будет видно.

— Пропустите меня, — сказал Иван глухо и грозно.

— Один вопрос: как вы узнали, что инженер убил?

— Он про постное масло знал заранее, что Аннушка его разольет! — вскрикнул Иван тоскливо. — Он с Пилатом Понтийским лично разговаривал... Пустите...

— Помилуйте, куда вы пойдете!

— Мерзавцы, — вдруг взвыл Иван, и перед женщиной засверкала никелированная коробка и склянки, выскочившие из выдвижного ящика.

— Ах, так, ах, так... — забормотал Иван. — Это, стало быть, нормального человека силой задерживать в сумасшедшем доме. Гоп! — И тут Иван, сбросив Пантелееве пальто, вдруг головой вперед бросился в окно, прикрытое наглухо белой шторой. Коварная сеть за шторой без всякого вреда для Ивана спружинила и мягко бросила поэта назад — и прямо в руки санитаров. И в эту минуту в руках у доктора оказался шприц. Рюхин застыл на месте.

— Ага, — прохрипел Иван, — вот какие шторочки завели в домиках, ага... — Рюхин глянул в лицо Ивану и увидел, что оно покрылось потом, а глаза помутнели, — понимаем! Помогите! Помогите!

Но крик Ивана не разнесся по зданию. Обитые мягким, стеганые стены не пустили воплей несчастного никуда. Лица санитаров исказились и побагровели.

— Ад-ну... адну минуту, голову, голову... — забормотал врач, и тоненькая иголочка впилась в кожу поэта, — вот и все, вот и все... — и он выхватил иглу, — можно отпустить.

Санитары тотчас разжали руки, а женщина выпустила голову Ивана.

— Разбойники! — прокричал тот слабо, как бы томно, метнулся куда-то в сторону, еще прокричал: — И был час девятый!.. — но вдруг сел на кушетку... — Какая же ты сволочь, — обратился он к Рюхину, но уже не криком, а печальным голосом. Затем повернулся к доктору и пророчески грозно сказал:

— Ну, пусть погибает Красная столица, я в лето от Рождества Христова 1943-е все сделал, чтобы спасти ее! Но… но победил ты меня, сын погибели, и заточили меня, спасителя.

Он поднялся и вытянул руки, и глаза его стали мутны, но неземной красоты.

— И увижу се в огне пожаров, в дыму увижу безумных, бегущих по Бульварному кольцу... — тут он сладко и зябко передернул плечами, зевнул... и заговорил мягко и нежно:

— Березки, талый снег, мостки, а под мостки с гор потоки. Колокола звонят, хорошо, тихо…

Где-то за стеной протрещал звоночек, и Рюхин раскрыл рот: стеганая стена ушла вверх, открыв лакированную красную стену, а затем та распалась и беззвучно на резиновых шинах въехала кровать. Ивана она не заинтересовала. Он глядел вдаль восторженно, слушал весенние громовые потоки и колокола, слышал пение, стихи…

— Ложитесь, ложитесь, — услышал Иван голос приятный и негрозный. Правда, на мгновение его перебил густой и тяжелый бас инженера и тоже сказал «ложитесь», но тотчас же потух.

Когда кровать с лежащим Иваном уходила в стену, Иван уже спал, подложив ладонь под изуродованную щеку. Стена сомкнулась. Стало тихо и мирно, и вверху на стене приятно стучали часы.

— Доктор… это что же, он, стало быть, болен? — спросил Рюхин тихо, смятенно.

— И очень серьезно, — ответил доктор, сквозь пенсне проверяя то, что написала женщина. Он устало зевнул, и Рюхин увидел, что он очень нервный, вероятно, добрый и, кажется, нуждающийся человек…

— Какая же это болезнь у него?

— Мания фурибунда, — ответил доктор и добавил: — По-видимому.

— Это что такое? — спросил Рюхин и побледнел.

— Яростная мания, — пояснил доктор и закурил дрянную смятую папироску.

— Это, что ж, неизлечимо?

— Нет, думаю, излечимо.

— И он останется здесь?

— Конечно.

Тут доктор изъявил желание попрощаться и слегка поклонился Рюхину. Но Рюхин спросил заискивающе:

— Скажите, доктор, что это он все инженера ловит и поминает! Видел он какого-нибудь инженера?

Доктор вскинул на Рюхина глаза и ответил:

— Не знаю.

Потом подумал, зевнул, страдальчески сморщился, поежился и добавил:

— Кто его знает, может быть, и видел какого-нибудь инженера, который поразил его воображение…

И тут поэт и врач расстались.

Рюхин вышел в волшебный сад с каменного крыльца дома скорби и ужаса. Потом долго мучился. Все никак не мог попасть в трамвай.

Нервы у него заиграли. Он злился, чувствовал себя несчастным, хотел выпить. Трамваи пролетали переполненные. Задыхающиеся люди висели, уцепившись за поручни. И лишь в начале второго Рюхин совсем больным неврастеником приехал в «Шалаш». И тот был пуст. На веранде сидели только двое. Толстый и нехороший, в белых брюках и желтом поясе, по которому вилась золотая цепочка от часов, и женщина. Толстый пил рюмочкой водку, а женщина ела шницель. Сад молчал, и ад молчал.

Рюхин сел и больным голосом спросил малый графинчик... Он пил водку и чем больше пил, тем становился трезвей и тем больше темной злобы на Пушкина и на судьбу рождалось в душе...

ПОЛЕТ ВОЛ АН ДА

Помоги, Господи, кончить роман!
1931 г.

— Об чем волынка, граждане? — спросил Бегемот и для официальности в слове «граждане» сделал ударение на «да». — Куда это вы скакаете?

— Кота в Бутырки? Прокурор накрутит вам хвосты.

Свист.

...и стая галок поднялась и улетела.

— Это свистнуто, — снисходительно заметил Фагот, — не спорю, свистнуто! Но, откровенно говоря, свистнуто неважно.

— Я не музыкант, — отозвался Бегемот и сделал вид, что обиделся.

— Эх, ваше здоровье! — пронзительным тенором обратился Фагот к Воланду. — Дозвольте уж мне, старому регенту, свистнуть.

— Вы не возражаете? — вежливо обратился Воланд к Маргарите и ко мне.

— Нет, нет, — счастливо вскричала Маргарита, — пусть свистнет! Прошу вас! Я так давно не веселилась!

— Вам посвящается, — сказал галантный Фагот и предпринял некоторые приготовления. Вытянулся, как резинка, и устроил из пальцев замысловатую фигуру. Я глянул на лица милиционеров, и мне показалось, что им хочется прекратить это дело и уехать.

Затем Фагот вложил фигуру в рот. Должен заметить, что свиста я не услыхал, но я его увидал. Весь кустарник вывернуло с корнем и унесло. В роще не осталось ни одного листика. Лопнули обе шины в мотоциклетке и треснул бак. Когда я очнулся, я видел, как сползает берег в реку, а в мутной пене плывут эскадронные лошади. Всадники же сидят на растрескавшейся земле группами.

— Нет, не то, — со вздохом сказал Фагот, осматривая пальцы, — не в голосе я сегодня.

— А вот это уже и лишнее, — сказал Воланд, указывая на землю, и тут я разглядел, что человек с портфелем лежит, раскинувшись, и из головы течет кровь.

— Виноват, мастер, я здесь ни при чем. Это он головой стукнулся об мотоциклетку.

— Ах, ах, бедняжка, ах, — явно лицемерно заговорил весельчак Бегемот, наклоняясь к павшему, — уж не осталась бы супруга вдовою из-за твоего свиста.

— Ну-с, едем!

Нежным голосом завел Фагот... «черные скалы мой покой...».

— Ты встретишь там Шуберта и светлые утра.

КОНСУЛЬТАНТ С КОПЫТОМ

На закате двое вышли на Патриаршие пруды. Первый был лет тридцати, второй — двадцати четырех. Первый был в пенсне, лысоватый, гладко выбритый, глаза живые, одет в гимнастерку, защитные штаны и сапоги. Ножки тоненькие, но с брюшком.

Второй в кепке, блузе, носящей идиотское название «толстовка», в зеленой гаврилке и дешевеньком сером костюме. Парусиновые туфли. Особая примета: над правой бровью грандиозный прыщ.

Свидетели? То-то, что свидетелей не было, за исключением одного: домработницы Анны Семеновой, служащей у гражданки Клюх-Пелиенко. Впоследствии на допросе означенная Семенова Анна показала, что: а) у Клюх-Пелиенко она служит третий год, б) Клюх — ведьма... Семенова собиралась подавать в народный суд за то, что та (Клюх) ее (Семенову) обозвала «экспортной дурой», желая этим сказать, что она (Семенова) не простая дура, а исключительная. Что в профсоюз она платит аккуратно, что на Патриарших прудах она оказалась по приказанию Клюх, чтобы прогулять сына Клюх Вову. Что Вова золотушен, что Вова идиот (экспортный). Велено водить Вову на Патриаршие пруды.

Товарищ Курочкин, на что был опытный человек, но еле избавился от всего этого потока чепухи и поставил вопрос в упор: о чем они говорили и откуда вышел профессор на Патриаршие? По первому вопросу отвечено было товарищем Семеновой, что лысенький в пенсне ругал Господа Бога, а молодой слушал, а к тому времени, как человека зарезало, они с Вовой уже были дома. По второму — ничего не знает. И ведать не ведает. И если бы она знала такое дело, то она бы и не пошла на Патриаршие. Словом, товарищ Курочкин добился

только того, что товарищ Семенова действительно дура, так что и в суд, собственно, у нее никаких оснований подавать на гражданку Клюх нету. Поэтому отпустил ее с миром. А более действительно в аллее у пруда, как на грех, никого не было.

Так что уж позвольте мне рассказывать, не беспокоя домработницу.

Что ругал он Господа Бога — это, само собой, глупости. Антон Миронович Берлиоз (потому что это именно был он) вел серьезнейшую беседу с Иваном Петровичем Теткиным, заслужившим громадную славу под псевдонимом Беспризорный. Антону Миронычу нужно было большое антирелигиозное стихотворение в очередную книжку журнала. Вот он и предлагал кой-какие установки Ване Беспризорному.

Солнце в громе, удушье, в пыли падало за Садовое кольцо, Антон Миронович, сняв кепочку и вытирая платком лысину, говорил, и в речи его слышались имена . . . .

Иванушка рассмеялся и сказал:

— В самом деле, если бог вездесущ, то, спрашивается, зачем Моисею понадобилось на гору лезть, чтобы с ним беседовать? Превосходнейшим образом он мог с ним и внизу поговорить.

В это время и показался в аллее гражданин. Откуда он вышел? В этом-то весь и вопрос. Но и я на него ответить не могу. Товарищу Курочкину удалось установить . . . .

Великий канцлер

Полная рукописная редакция

НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ

В час заката на Патриарших прудах появились двое мужчин. Один из них лет тридцати пяти, одет в дешевенький заграничный костюм. Лицо имел гладко выбритое, а голову со значительной плешью. Другой был лет на десять моложе первого. Этот был в блузе, носящей нелепое название «толстовка», и в тапочках на ногах. На голове у него была кепка.

Оба изнывали от жары. У второго, не догадавшегося снять кепку, пот буквально струями тек по грязным щекам, оставляя светлые полосы на коричневой коже...

Первый был не кто иной, как товарищ Михаил Александрович Берлиоз, секретарь Всемирного объединения писателей (Всемиописа) и редактор всех московских толстых художественных журналов, а спутник его — Иван Николаевич Попов, известный поэт, пишущий под псевдонимом Бездомный.

Оба, как только прошли решетку прудов, первым долгом бросились к будочке, на которой была надпись: «Всевозможные прохладительные напитки». Руки у них запрыгали, глаза стали молящими. У будочки не было ни одного человека.

Да, следует отметить первую странность этого вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее не было никого. В тот час, когда солнце в пыли, в дыму и грохоте садится в Цыганские Грузины, когда все живущее жадно ищет воды, клочка зелени, кустика травинки, когда раскаленные плиты города отдают жар, когда у собак языки висят до земли, в аллее не было ни одного человека. Как будто нарочно все было сделано, чтобы не оказалось свидетелей.

— Нарзану, — сказал товарищ Берлиоз, обращаясь к женским босым ногам, стоящим на прилавке.

Ноги спрыгнули тяжело на ящик, а оттуда на пол.

— Нарзану нет, — сказала женщина в будке.

— Ну, боржому, — нетерпеливо попросил Берлиоз.

— Нет боржому, — ответила женщина.

— Так что же у вас есть? — раздраженно спросил Бездомный и тут же испугался — а ну как женщина ответит, что ничего нет.

Но женщина ответила:

— Фруктовая есть.

— Давай, давай, давай, — сказал Бездомный. Откупорили фруктовую — и секретарь, и поэт припали к стаканам. Фруктовая пахла одеколоном и конфетами. Друзей прошиб пот. Их затрясло. Они оглянулись и тут же поняли, насколько истомились, пока дошли с площади Революции до Патриарших. Затем они стали икать. Икая, Бездомный справился о папиросах, получил ответ, что их нет и что спичек тоже нет.

Икая, Бездомный пробурчал что-то вроде — «сволочь эта фруктовая» — и путники вышли в аллею. Фруктовая ли помогла или зелень старых лип, но только им стало легче. И оба они поместились на скамье лицом к застывшему зеленому пруду. Кепку и тут Бездомный снять не догадался, и пот в тени стал высыхать на нем.

И тут произошло второе странное обстоятельство, касающееся одного Михаила Александровича. Во-первых, внезапно его охватила тоска. Ни с того ни с сего. Как бы черная рука протянулась и сжала его сердце. Он оглянулся, побледнел, не понимая в чем дело. Он вытер пот платком, подумал: «Что же это меня тревожит? Я переутомился. Пора бы мне, в сущности говоря, в Кисловодск...»

Не успел он это подумать, как воздух перед ним сгустился совершенно явственно и из воздуха соткался застойный и прозрачный тип вида довольно странного. На маленькой головке жокейская кепка, клетчатый воздушный пиджачок, и росту он в полторы сажени, и худой, как селедка, морда глумливая.

Какие бы то ни было редкие явления Михал Александровичу попадались редко. Поэтому прежде всего он решил, что этого не может быть, и вытаращил глаза. Но это могло быть, потому что длинный жокей качался перед ним и влево и вправо. «Кисловодск... жара... удар?!» — подумал товарищ Берлиоз и уже в ужасе прикрыл глаза. Лишь только он их вновь открыл, с облегчением убедился в том, что быть действительно не может: сделанный из воздуха клетчатый растворился. И черная рука тут же отпустила сердце.

— Фу, черт, — сказал Берлиоз, — ты знаешь, Бездомный, у меня сейчас от жары едва удар не сделался. Даже что-то вроде галлюцинаций было... Ну-с, итак.

И тут, еще раз обмахнувшись платком, Берлиоз повел речь, по-видимому, прерванную питьем фруктовой и иканием.

Речь эта шла об Иисусе Христе. Дело в том, что Михаил Александрович заказывал Ивану Николаевичу большую антирелигиозную поэму для очередной книжки журнала. Во время путешествия с площади Революции на Патриаршие пруды редактор и рассказывал поэту о тех положениях, которые должны были лечь в основу поэмы.

Следует признать, что редактор был образован. В речи его, как пузыри на воде, вскакивали имена не только Штрауса и Ренана, но и историков Филона, Иосифа Флавия и Тацита.

Поэт слушал редактора со вниманием и лишь изредка икал внезапно, причем каждый раз тихонько ругал фруктовую непечатными словами.

Где-то за спиной друзей грохотала и выла Садовая, по Бронной мимо Патриарших проходили трамваи и пролетали грузовики, подымая тучи белой пыли, а в аллее опять не было никого.

Дело между тем выходило дрянь: кого из историков ни возьми, ясно становилось каждому грамотному человеку, что Иисуса Христа никакого на свете не было. Таким образом, человечество в течение огромного количества лет пребывало в заблуждении и частично будущая поэма Бездомного должна была послужить великому делу освобождения от заблуждения.

Меж тем товарищ Берлиоз погрузился в такие дебри, в которые может отправиться, не рискуя в них застрять, только очень начитанный человек. Соткался в воздухе, который стал по счастью немного свежеть, над прудом египетский бог Озирис, и вавилонский Таммуз, появился пророк Иезикииль, а за Таммузом — Мардук, а уж за этим совсем странный и сделанный к тому же из теста божок Вицлипуцли.

И тут-то в аллею и вышел человек. Нужно сказать, что три учреждения впоследствии, когда уже, в сущности, было поздно, представили свои сводки с описанием этого человека. Сводки эти не могут не вызвать изумления. Так, в одной из них сказано, что человек этот был маленького росту, имел зубы золотые и хромал на правую ногу. В другой сказано, что человек этот был росту громадного, коронки имел платиновые и хромал на левую ногу. А в третьей, что особых примет у человека не было. Поэтому приходится признать, что ни одна из этих сводок не годится.

Во-первых, он ни на одну ногу не хромал. Росту был высокого, а коронки с правой стороны у него были платиновые, а с левой — золотые. Одет он был так: серый дорогой костюм, серые туфли заграничные, на голове берет, заломленный на правое ухо, на руках серые перчатки. В руках нес трость с золотым набалдашником. Гладко выбрит. Рот кривой. Лицо загоревшее. Один глаз черный, другой зеленый. Один глаз выше другого. Брови черные. Словом — иностранец.

Иностранец прошел мимо скамейки, на которой сидели поэт и редактор, причем бросил на них косой беглый взгляд.

«Немец», — подумал Берлиоз.

«Англичанин, — подумал Бездомный. — Ишь, сволочь, и не жарко ему в перчатках».

Иностранец, которому точно не было жарко, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке. Тут он окинул взглядом дома, окаймляющие пруды, и видно стало, что, во-первых, он видит это место впервые, а во-вторых, что оно его заинтересовало.

Часть окон в верхних этажах пылала ослепительным пожаром, а в нижних тем временем окна погружались в тихую предвечернюю темноту.

Меж тем с соседней скамейки потоком лилась речь Берлиоза.

— Нет ни одной восточной религии, в которой бог не родился бы от непорочной девы. Разве в Египте Изида не родила Горуса? А Будда в Индии? Да, наконец, в Греции Афина-Паллада — Аполлона? И я тебе советую...

Но тут Михаил Александрович прервал речь.

Иностранец вдруг поднялся со своей скамейки и направился к собеседникам. Те поглядели на него изумленно.

— Извините меня, пожалуйста, что, не будучи представлен вам, позволил себе подойти к вам, — заговорил иностранец с легким акцентом, — но предмет вашей беседы ученой столь интересен...

Тут иностранец вежливо снял берет и друзьям ничего не оставалось, как пожать иностранцу руку, с которой он очень умело сдернул перчатку.

«Скорее швед», — подумал Берлиоз.

«Поляк», — подумал Бездомный.

Нужно добавить, что на Бездомного иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу, наоборот, очень понравился.

— С великим интересом я услышал, что вы отрицаете существование Бога? — сказал иностранец, усевшись рядом с Берлиозом. — Неужели вы атеисты?

— Да, мы атеисты, — ответил товарищ Берлиоз.

— Ах, ах, ах! — воскликнул неизвестный иностранец и так впился в атеистов глазами, что тем даже стало неловко.

— Впрочем, в нашей стране это неудивительно, — вежливо объяснил Берлиоз, — большинство нашего населения сознательно и давно уже перестало верить сказкам о Боге. — Улыбнувшись, он прибавил: — Мы не встречаем надобности в этой гипотезе.

— Это изумительно интересно! — воскликнул иностранец. — Изумительно.

«Он и не швед», — подумал Берлиоз.

«Где это он так насобачился говорить по-русски?» — подумал Бездомный и нахмурился. Икать он перестал, но ему захотелось курить.

— Но позвольте вас спросить, как же быть с доказательствами бытия, доказательствами, коих существует ровно пять? — осведомился иностранец крайне тревожно.

— Увы, — ответил товарищ Берлиоз, — ни одно из этих доказательств ничего не стоит. Их давно сдали в архив. В области разума никаких доказательств бытия Божия нету и быть не может.

— Браво! — вскричал иностранец. — Браво. Вы полностью повторили мысль старикашки Иммануила по этому поводу. Начисто он разрушил все пять доказательств, но потом, черт его возьми, словно курам на смех, вылепил собственного изобретения доказательство!

— Доказательство Канта, — сказал, тонко улыбаясь, образованный Берлиоз, — также не убедительно, и не зря Шиллер сказал, что Кантово доказательство пригодно для рабов, — и подумал: «Но кто же он такой все-таки?»

— Взять бы этого Канта да в Соловки! — неожиданно бухнул Иван.

— Иван! —удивленно шепнул Берлиоз.

Но предложение посадить в Соловки Канта не только не поразило иностранца, но, наоборот, привело в восторг.

— Именно! Именно! — заговорил он восторженно. — Ему там самое место. Говорил я ему: ты чепуху придумал, Иммануил.

Товарищ Берлиоз вытаращил глаза на иностранца.

— Но, — продолжал неизвестный, — посадить его, к сожалению, невозможно по двум причинам: во-первых, он иностранный подданный, а во-вторых, умер.

— Жаль! — отозвался Иван, чувствуя, что он почему-то ненавидит иностранца все сильнее и сильнее.

— И мне жаль, — подтвердил неизвестный и продолжал: — Но вот что меня мучительно беспокоит: ежели Бога нету, то, спрашивается, кто же управляет жизнью на земле?

— Человек, — ответил Берлиоз.

— Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — но как же, позвольте спросить, может управлять жизнью на земле человек, если он не может составить никакого плана, не говорю уже о таком сроке, как хотя бы сто лет, но даже на срок значительно более короткий. И в самом деле, вы вообразите, — только начнете управлять, распоряжаться, кхе... кхе... комбинировать и вдруг, вообразите, у вас саркома. — Тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме доставила ему наслаждение. — Саркома... — повторил он щурясь, — звучное слово, и вот-с, вы уже ничем не распоряжаетесь, вам не до комбинаций, и через некоторое время тот, кто недавно еще отдавал распоряжения по телефону, покрикивал на подчиненных, почтительно разговаривал с высшими и собирался в Кисловодск, лежит, скрестив руки на груди, в ящике, неутешная вдова стоит в изголовье, мысленно высчитывая, дадут ли ей персональную пенсию, а оркестр в дверях фальшиво играет марш Шопена.

И тут незнакомец тихонько и тонко рассмеялся.

Товарищ Берлиоз внимательно слушал неприятный рассказ про саркому, но не она занимала его.

«Он не иностранец! Не иностранец! — кричало у него в голове. — Он престранный тип. Но кто же он такой?»

— Вы хотите курить? — любезно осведомился неизвестный у Ивана, который время от времени машинально похлопывал себя по карманам.

Иван хотел злобно ответить «Нет», но соблазн был слишком велик, и он промычал:

— Гм...

— Какие предпочитаете?

— А у вас какие есть? — хмуро спросил Иван.

— Какие предпочитаете?

— «Нашу марку», — злобно ответил Иван, уверенный, что «Нашей марки» нету у антипатичного иностранца.

Но «Марка» именно и нашлась. Но нашлась она в таком виде, что оба приятеля выпучили глаза. Иностранец вытащил из кармана пиджака колоссальных размеров золотой портсигар, на коем была составлена из крупных алмазов буква «W». В этом портсигаре изыскалось несколько штук крупных, ароматных, золотым табаком набитых папирос «Наша марка».

«Он — иностранец!» — уже смятенно подумал Берлиоз.

Ошеломленный Иван взял папиросу, в руках у иностранца щелкнула зажигалка, и синий дымок взвился под липой. Запахло приятно.

Закурил и иностранец, а некурящий Берлиоз отказался.

«Я ему сейчас возражу так, — подумал Берлиоз, — человек смертен, но на сегодняшний день...»

— Да, человек смертен, — провозгласил неизвестный, выпустив дым, — но даже сегодняшний вечер вам неизвестен. Даже приблизительно вы не знаете, что вы будете делать через час. Согласитесь сами, разве мыслимо чем-нибудь управлять при таком условии?

— Виноват, — отозвался Берлиоз, не сводя глаз с собеседника, — это уже преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее, конечно. Само собой разумеется, что если мне на голову свалится кирпич...

— Кирпич ни с того ни с сего, — ответил неизвестный, — никому на голову никогда не свалится. В частности же, уверяю вас, что вам совершенно он не угрожает. Так позвольте спросить, что вы будете делать сегодня вечером?

— Сегодня вечером, — ответил Берлиоз, — в одиннадцать часов во Всемиописе будет заседание, на котором я буду председательствовать.

— Нет. Этого быть никак не может, — твердо заявил иностранец.

Берлиоз приоткрыл рот.

— Почему? — спросил Иван злобно.

— Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в тускневшее небо, в котором чертили бесшумно птицы, — что Аннушка уже купила постное масло, и не только купила его, но даже и разлила. Заседание не состоится.

Произошла пауза, понятное дело.

— Простите, — моргая глазами сказал Берлиоз, — я не понимаю... при чем здесь постное масло?..

Но иностранец не ответил.

— Скажите, пожалуйста, гражданин, — вдруг заговорил Иван, — вам не приходилось бывать когда-нибудь в сумасшедшем доме?

— Иван! — воскликнул Берлиоз.

Но иностранец не обиделся, а развеселился.

— Бывал, бывал не раз! — вскричал он. — Где я только не бывал! Досадно одно, что я так и не удосужился спросить у профессора толком, что такое мания фурибунда. Так что это вы уже сами спросите, Иван Николаевич.

«Что так-кое?!» — крикнуло в голове у Берлиоза при словах «Иван Николаевич». Иван поднялся. Он был немного бледен.

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Помилуйте, товарищ Бездомный, кто же вас не знает, — улыбнувшись, ответил иностранец.

— Я извиняюсь... — начал было Бездомный, но подумал, еще более изменился в лице и кончил так: — Вы не можете одну минуту подождать... Я пару слов хочу товарищу сказать.

— О, с удовольствием! Охотно, — воскликнул иностранец, — здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спешу, — и он сделал ручкой.

— Миша... вот что, — сказал поэт, отводя в сторону Берлиоза, — я знаю, кто это. Это, — раздельным веским шепотом заговорил поэт, — никакой не иностранец, а это белогвардейский шпион, — засипел он прямо в лицо Берлиозу, — пробравшийся в Москву. Это — эмигрант. Миша, спрашивай у него сейчас же документы. А то уйдет...

— Почему эми... — шепнул пораженный Берлиоз.

— Я тебе говорю! Какой черт иностранец так по-русски станет говорить!..

— Вот ерунда... — неприятно морщась, начал было Берлиоз.

— Идем, идем!..

И приятели вернулись к скамейке. Тут их ждал сюрприз. Незнакомец не сидел, а стоял у скамейки, держа в руках визитную карточку.

— Извините меня, глубокоуважаемый Михаил Александрович, что я в пылу интереснейшей беседы забыл назвать себя. Вот моя карточка, а вот в кармане и паспорт, — подчеркнуто сказал иностранец.

Берлиоз стал густо красен. «Или слышал, или уж очень догадлив, черт...» Иван заглянул в карточку, но разглядел только верхнее слово «professor...» и первую букву фамилии «W».

— Очень приятно, — выдавил из себя Берлиоз, глядя, как профессор прячет карточку в карман. — Вы в качестве консультанта вызваны к нам?

— Да, консультанта, как же, — подтвердил профессор.

— Вы —немец?

— Я-то? — переспросил профессор и задумался. — Да, немец, — сказал он.

— Извиняюсь, откуда вы знаете, как нас зовут? — спросил Иван.

Иностранный консультант улыбнулся, причем выяснилось, что правый глаз у него не улыбается, да и вообще, что этот глаз никакого цвета, и вынул номер еженедельного журнала...

— А! — сразу сказали оба писателя. В журнале были как раз их портреты с полным обозначением имен, отчеств и фамилий.

— Прекрасная погода, — продолжал консультант, усаживаясь. Сели и приятели.

— А у вас какая специальность? — осведомился ласково Берлиоз.

— Я — специалист по черной магии.

— Как?! — воскликнул товарищ Берлиоз.

«На т-тебе!» — подумал Иван.

— Виноват... и вас по этой специальности пригласили к нам?!

— Да, да, пригласили, — и тут приятели услышали, что профессор говорит с редчайшим немецким акцентом, — тут в государственной библиотеке громадный отдел старой книги, магии и демонологии, и меня пригласил как специалист единственный в мире. Они хотят разбират, продават...

— А-а! Вы — историк!

— Я историк, — охотно подтвердил профессор, — я люблю разные истории. Смешные. И сегодня будет смешная история. Да, кстати, об историях, товарищи, — тут консультант таинственно поманил пальцем обоих приятелей, и те наклонились к нему, — имейте в виду, что Христос существовал, — сказал он шепотом.

— Видите ли, профессор, — смущенно улыбаясь, заговорил Берлиоз, — тут мы, к сожалению, не договоримся...

— Он существовал, — строгим шепотом повторил профессор, изумляя приятелей совершенно, и в частности, тем, что акцент его опять куда-то пропал.

— Но какое же доказательство?

— Доказательство вот какое, — зашептал профессор, взяв под руки приятелей, — я с ним лично встречался.

Оба приятеля изменились в лице и переглянулись.

— Где?

— На балконе у Понтия Пилата, — шепнул профессор и, таинственно подняв палец, просипел: — Только т-сс!

«Ой, ой...»

— Вы сколько времени и Москве? — дрогнувшим голосом спросил Берлиоз.

— Я сегодня приехал в Москву, — многозначительно прошептал профессор, и тут только приятели, глянув ему в лицо, увидели, что глаза у него совершенно безумные. То есть, вернее, левый глаз, потому что правый был мертвый, черный.

«Так-с, — подумал Берлиоз, — все ясно. Приехал немец и тотчас спятил. Хорошенькая история!»

Но Берлиоз был решителен и сообразителен. Ловко откинувшись назад, он замигал Ивану, и тот его понял.

— Да, да, да, — заговорил Берлиоз, — возможно, все возможно. А вещи ваши где, профессор, — вкрадчиво осведомился он, — в «Метрополе»? Вы где остановились?

— Я — нигде! — ответил немец, тоскливо и дико блуждая глазами по Патриаршим прудам. Он вдруг припал к потрясенному Берлиозу.

— А где же вы будете жить? — спросил Берлиоз.

— В вашей квартире, — интимно подмигнув здоровым глазом, шепнул немец.

— Очень при... но...

— А дьявола тоже нет? — плаксиво спросил немец и вцепился теперь в Ивана.

— И дьявола...

— Не противоречь... — шепнул Берлиоз.

— Нету, нету никакого дьявола, — растерявшись, закричал Иван, — вот вцепился! Перестаньте психовать!

Немец расхохотался так, что из липы вылетел воробей и пропал.

— Ну, это уже положительно интересно! — заговорил он, сияя зеленым глазом. — Что же это у вас ничего нету! Христа нету, дьявола нету, папирос нету, Понтия Пилата, таксомотора нету...

— Ничего, ничего, профессор, успокойтесь, все уладится, все будет, — бормотал Берлиоз, усаживая профессора назад на скамейку. — Вы, профессор, посидите с Бездомным, а я только на одну минуту сбегаю к телефону, звякну, тут одно безотлагательное дельце, а там мы вас и проводим, и проводим...

План у Берлиоза был такой. Тотчас добраться до первого же телефона и сообщить куда следует, что приехавший из-за границы кон-

сультант-историк бродит по Патриаршим прудам в явно ненормальном состоянии. Так вот, чтобы приняли меры, а то получится дурацкая и неприятная история.

— Дельце? Хорошо. Но только умоляю вас, поверьте мне, что дьявол существует, — пылко просил немец, поглядывая исподлобья на Берлиоза.

— Хорошо, хорошо, хорошо, — фальшиво-ласково бормотал Берлиоз. — Ваня, ты посиди, — и, подмигнув, он устремился к выходу.

И профессор тотчас как будто выздоровел.

— Михаил Яковлевич! — звучно крикнул он вслед.

— А?

— Не дать ли вашему дяде телеграмму?

— Да, да, хорошо... хорошо... — отозвался Берлиоз, но дрогнул и подумал: «Откуда он знает про дядю?»

Впрочем, тут же мысль о дяде и вылетела у него из головы. И Берлиоз похолодел. С ближайшей к выходу скамейки поднялся навстречу редактору тот самый субъект, что недавно совсем соткался из жаркого зноя. Только сейчас он был уже не знойный, а обыкновенный плотский, настолько плотский, что Берлиоз отчетливо разглядел, что у него усишки, как куриные перышки, маленькие, иронические, как будто полупьяные глазки, жокейская шапочка двуцветная, а брючки клетчатые и необыкновенно противно подтянутые.

Товарищ Берлиоз вздрогнул, попятился, утешил себя мыслью, что это совпадение, что то было марево, а это какой-то реальный оболтус.

— Турникет ищете, гражданин? — тенором осведомился оболтус. — А вот, прямо пожалуйте... Кхе... кхе... с вас бы, гражданин, за указание на четь-литровочки поправиться после вчерашнего... бывшему регенту...

Но Берлиоз не слушал, оказавшись уже возле турникета.

Он уж собрался шагнуть, но тут в темнеющем воздухе на него брызнул слабый красный и белый свет. Вспыхнула над самой головой вывеска «Берегись трамвая!». Из-за дома с Садовой на Бронную вылетел трамвай. Огней в нем еще не зажигали, и видно было, что в нем черным-черно от публики. Трамвай, выйдя на прямую, взвыл, качнулся и поддал. Осторожный Берлиоз хоть и стоял безопасно, но, выйдя за вертушку, хотел на полшага еще отступить. Сделал движение... в ту же секунду нелепо взбросил одну ногу вверх, в ту же секунду другая поехала по камням и Берлиоз упал на рельсы.

Он лицом к трамваю упал. И увидел, что вагоновожатая молода, в красном платочке, но бела, как смерть, лицом.

Он понял, что это непоправимо, и не спеша повернулся на спину. И страшно удивился тому, что сейчас же все закроется и никаких ворон больше в темнеющем небе не будет. Преждевременная маленькая беленькая звездочка глядела между кричащими воронами.

Эта звездочка заставила его всхлипнуть жалобно, отчаянно.

Затем, после удара трясущейся женской рукой по ручке электрического тормоза, вагон сел носом в землю, в нем рухнули все стекла.

Через миг из-под колеса выкатилась окровавленная голова, а затем выбросило кисть руки. Остальное мяло, тискало, пачкало.

Прочее, то есть страшный крик Ивана, видевшего все до последнего пятна на брюках, вой в трамвае, потоки крови, ослепившие вожатую, это Берлиоза не касалось никак.

ПОГОНЯ

Отсверлили бешеные милицейские свистки, утихли безумные женские визги, две кареты увезли, тревожно трубя, обезглавленного, в лохмотьях платья, раненную осколками стекла вожатую и пассажиров, собаки зализали кровь, а Иван Николаевич Бездомный как упал на лавку, так и сидел на ней.

Руки у него были искусаны, он кусал их, пока в нескольких шагах от него катило тело человека, сгибая его в клубок.

Ваня в первый раз в жизни видел, как убивает человека, и испытал приступ тошноты.

Потом он пытался кинуться туда, где лежало тело, но с ним случилось что-то вроде паралича, и в этом параличе он и застыл на лавке. Ваня забыл начисто сумасшедшего немца-профессора и старался понять только одно: как это может быть, что человек вот только что хотел позвонить по телефону, а потом, а потом... А потом... и не мог понять.

Народ разбегался от места происшествия, возбужденно перекрикиваясь словами. Иван их слов не воспринимал. Но востроносая баба в ситце другой бабе над самым ухом Бездомного закричала так:

— Аннушка... Аннушка, говорю тебе, Гречкина с Садовой, рядом из десятого номера... Она... она... Взяла на Бронной в кооперативе постного масла по второму талону... да банку-то и разбей у вертушки... Уж она ругалась, ругалась... А он, бедняга, стало быть, и поскользнулся... вот из-под вертушки-то и вылетел...

Дальнейшие слова угасли.

Из всего выкрикнутого бабой одно слово вцепилось в больной мозг Бездомного, и это слово было «Аннушка».

— Аннушка? Аннушка... — мучительно забормотал Бездомный, стараясь вспомнить, что связано с этим именем.

Тут из тьмы выскочило еще более страшное слово «постное масло», а затем почему-то Понтий Пилат. Слова эти связались, и Иван, вдруг обезумев, встал со скамьи. Ноги его еще дрожали.

— Что та-кое? Что?! — спросил он сам у себя. — Аннушка?! — выкрикнул он вслед бабам.

— Аннуш... Аннуш... — глухо отозвалась баба. Черный и мутный хлам из головы Ивана вылетел, и ее изнутри залило очень ярким светом. В несколько мгновений он подобрал цепь из слов и происшествий, и цепь была ужасна.

Тот самый профессор за час примерно до смерти знал, что Аннушка разольет постное масло... «Я буду жить в вашей квартире»... «Вам отрежет голову»... Что же это?!

Не могло быть ни тени, ни зерна сомнения в том, что сумасшедший профессор знал, фотографически точно знал заранее всю картину смерти!

Свет усилился, и все существо Ивана сосредоточилось на одном: сию же минуту найти профессора... а найдя, взять его. Ах, ах, не ушел бы, только бы не ушел!

Но профессор не ушел.

Солнца не было уже давно. На Патриарших темнело. Над прудом в уголках скоплялся туман. В бледнеющем небе стали проступать беленькие пятнышки звезд. Видно было хорошо.

Он — профессор, ну, может быть, и не профессор, ну, словом, он стоял шагах в двадцати и рисовался очень четко в профиль. Теперь Иван разглядел, что он росту, действительно, громадного, берет заломлен, трость взята под мышку.

Отставной втируша-регент сидел рядом на скамейке. На нос он нацепил себе явно ненужное ему пенсне, в коем одного стеклышка не существовало. От этого пенсне регент стал еще гаже, чем тогда, когда провожал Берлиоза на рельсы.

Чувствуя, что дрожь в ногах отпускает его, Иван с пустым и холодным сердцем приблизился к профессору.

Тот повернулся к Ивану. Иван глянул ему в лицо и понял, что стоящий перед ним и никогда даже не был сумасшедшим.

— Кто вы такой? — хрипло и глухо спросил Иван.

— Ich verstehe nicht, — ответил тот неизвестный, пожав плечами.

— Они не понимают, — пискливо сказал регент, хоть его никто и не просил переводить.

— Их фершт... вы понимаете! Не притворяйтесь, — грозно и чувствуя холод под ложечкой, продолжал Иван.

Немец смотрел на него, вытаращив глаза.

— Вы не немец. Вы не профессор, — тихо продолжал Иван. — Вы — убийца. Вы отлично понимаете по-русски. Идемте со мной.

Немец молчал и слушал.

— Документы! — вскрикнул Иван...

— Was ist den los?..

— Гражданин! — ввязался регент. — Не приставайте к иностранцу!

Немец пожал плечами, грозно нахмурился и стал уходить.

Иван почувствовал, что теряется. Он, задыхаясь, обратился к регенту:

— Эй... гражданин, помогите задержать преступника!

Регент оживился, вскочил.

— Который преступник? Где он? Иностранный преступник? — закричал он, причем глазки его радостно заиграли. — Этот? Гражданин, кричите «караул»! А то он уходит!

И регент предательски засуетился.

— Караул! — крикнул Иван и ужаснулся, никакого крика у него не вышло. — Караул! — повторил он, и опять получился шепот.

Великан стал уходить по аллее, направляясь к Ермолаевскому переулку. Еще более сгустились сумерки, Ивану показалось, что тот, уходящий, несет длинную шпагу

— Вы не смотрите, гражданин, что он хромой, — засипел подозрительный регент, — покеда вы ворон будете считать, он улизнет.

Регент дышал жарко селедкой и луком в ухо Ивану, глазок в треснувшем стекле подмигивал.

— Что вы, товарищ, под ногами путаетесь, — закричал Иван, — пустите, — он кинулся влево. Регент тоже. Иван вправо — регент вправо.

Долго они плясали друг перед другом, пока Иван не сообразил, что и тут злой умысел.

— Пусти! — яростно крикнул он. — Эге-ге, да у вас тут целая шайка.

Блуждая глазами, он оглянулся, крикнул тонко:

— Граждане! На помощь! Убийцы!

Крик дал обратный результат: гражданин вполне пристойного вида, с дамочкой в сарафане под руку, тотчас брызнул от Иванушки в сторону. Смылся и еще кто-то. Аллея опять опустела.

В самом конце аллеи неизвестный остановился и повернулся к Ивану. Иван выпустил рукав регента, замер.

1.VII.1933

В пяти шагах от Ивана Бездомного стоял иностранный специалист в берете, рядом с ним, подхалимски улыбаясь, сомнительный регент, а кроме того, неизвестно откуда-то взявшийся необыкновенных размеров, черный, как грач, кот с кавалерийскими отчаянными усами. Озноб прошиб Иванушку оттого, что он ясно разглядел, что вся троица вдруг улыбнулась ему, в том числе и кот. Это была явно издевательская, скверная усмешка могущества и наглости.

Улыбнувшись, вся троица повернулась и стала уходить. Чувствуя прилив мужества, Иван устремился за нею. Тройка вышла на Садовое кольцо. Тут сразу Иван понял, что догнать ее будет очень трудно.

Казалось бы, таинственный неизвестный и шагу не прибавлял, а между тем расстояние между уходящими и преследующим ничуть не сокращалось. Два или три раза Иван сделал попытку прибегнуть к содействию прохожих. Но его искусанные руки, дикий блуждающий взор были причиной того, что его приняли за пьяного, и никто не пришел ему на помощь.

На Садовой произошла просто невероятная сцена. Явно желая спутать следы, шайка применила излюбленный бандитский прием — идти врассыпную.

Регент с великой ловкостью на ходу сел в первый проносящийся трамвай под литерой «Б», как змея, ввинтился на площадку и, никем не оштрафованный, исчез бесследно среди серых мешков и бидонов, причем «Б», окутавшись пылью, с визгом, грохотом и звоном унес регента к Смоленскому рынку, а странный кот попытался сесть в другой «Б», встречный, идущий к Тверской. Иван ошалело видел, как кот на остановке подошел к подножке и, ловко отсадив взвизгнувшую женщину, зацепился лапой за поручень и даже собрался вру-

чить кондукторше гривенник. Но поразило Ивана не столько поведение кота, сколько кондукторши. Лишь только кот устроился на ступеньке, все лампы в трамвае вспыхнули, показав внутренность, и при свете их Иван видел, как кондукторша с остервенелым лицом высунулась в окно и, махая рукой, со злобой, от которой даже тряслась, начала кричать:

— Котам нельзя! Котам нельзя! Слезай! А то милицию позову!

Но не только кондукторшу, никого из пассажиров не поразила самая суть дела: что кот садится в трамвай самостоятельно и собирается платить. В трамвае не прекратился болезненный стон, также слышались крики ненависти и отчаяния, также давили женщин, также крали кошельки, также поливали друг друга керосином и полотерской краской.

Самым дисциплинированным показал себя все-таки кот. Он поступил именно так, как и всякий гражданин, которого изгоняют из трамвая, но которому ехать нужно, чего бы это ни стоило.

При первом же визге кондукторши он легко снялся с подножки и сел на мостовой, потирая гривенником усы. И лишь снялся трамвай и пошел, он, пропустив мимо себя и второй, и последний вагон, прыгнул и уселся на заднюю дугу, а лапой ухватился за какую-то кишку, выходящую из стенки вагона, и умчался, сделав на прощание ручкой.

Иван бешеным усилием воли изгнал из пылающей головы мысли о странном коте, естественно напросившиеся молниеносно вопросы о коте в кооперативе, покупающем масло, о коте в сберкассе, о коте, летящем на аэроплане.

Его воля сосредоточилась на том, чтобы поймать того, кого он считал главным в этой подозрительной компании, — иностранного консультанта. Тот, проводив взором своих разлетевшихся в противоположные стороны компаньонов, не сделал никаких попыток к позорному бегству. Нет, он тронулся не спеша по Садовой, а через несколько времени оказался на Тверской.

Иван прибавлял шагу, начинал бежать впритруску, порою задыхался от скорости собственного бега и ни на одну йоту не приблизился к неизвестному, и по-прежнему плыл метрах в десяти впереди его сиреневый желанный берет.

Одна странность ускользнула от Иванушки — не до этого ему было. Не более минуты прошло, как с Патриарших по Садовой, по Тверской. . . . . .оказались на Центральном телеграфе. Тут Иванушка сделал попытку прибегнуть к помощи милиции, но безрезультатно. На скрещении Тверской не оказалось ни одного милиционера, кроме того, который, стоя у электрического прибора, регулировал движение.

Неизвестный проделал такую штуку: вошел в одни стеклянные двери, весь телеграф внутри обошел и вышел через другую дверь. Соответственно этому пришлось и Ивану пронестись мимо всех решительно окошек в стеклянной загородке и выбежать на гранитный амвон. Далее пошло хуже. Обернувшись, Иванушка увидел, что он уже на Остоженке в Савеловском переулке. Неизвестный вошел в подъезд дома № 12.

Собственно говоря, Ивану давно уже нужно было бы прекратить неистовую и бесплодную погоню, но он находился в том странном состоянии, когда люди не отдают себе никакого отчета в том, что происходит.

Иван устремился в подъезд, увидел обширнейший вестибюль, черный и мрачный, увидел мертвый лифт, а возле лифта швейцара.

Швейцар выкинул какой-то фокус, который Иван так и не осмыслил. Именно: швейцар, заросший и опухший, отделился от сетчатой стенки, снял с головы фуражку, на которой в полутьме поблескивали жалкие обрывки позумента, и сипло и льстиво сказал:

— Зря беспокоились. Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть. Сказали, что каждую среду будут ходить, а летом собираются на пароходе с супругой. Сказали, что хоть умрут, а поедут.

И швейцар улыбнулся тою улыбкою, которой улыбаются люди, желающие получить на чай.

Не желая мучить себя вопросом о том, кто такой Боря, какие шахматы, не желая объяснять заросшему паршивцу, что он, Иван, не он, а другой, Иван уловил обострившимся слухом, что стукнула дверь на первой площадке, одним духом влетел и яростно позвонил. Сердце Ивана било набат, изо рта валил жар. Он решил идти на все, чтобы остановить таинственного убийцу в берете.

На звонок тотчас же отозвались, дверь Ивану открыл испитый, неизвестного пола ребенок лет пяти и тотчас исчез. Иван увидел освещенную тусклой лампочкой заросшую грязную переднюю с кованым сундуком, разглядел на вешалке бобровую шапку и, не останавливаясь, проник в коридор. Решив, что его враг должен быть непременно в ванной, а вот эта дверь и есть в ванную, Иван рванул ее. Крючок брякнул и слетел. Иван убедился в том, что не ошибся. Он попал в ванную комнату и в тусклом освещении угольной лампочки увидел в ванне стоящую голую даму в мыле с крестом на шее. Дама, очевидно, близорукая, прищурилась и, не выражая никакого изумления, сказала:

— Бросьте трепаться. Мы не одни в квартире, и муж сейчас вернется.

Иван, как ни был воспален его мозг, понял, что вляпался, что произошел конфуз и, желая скрыть его, прошептал:

— Ах, развратница!

Он захлопнул дверь, услышал, что грохнула дверь в кухне, понял, что беглец там, ринулся и точно увидел его. Он, уже в полных сумерках, прошел гигантской тенью из коридора налево.

Ворвавшись вслед за ним в необъятную пустую кухню, Иван утратил преследуемого и понял, что тот ускользнул на черный ход. Иван стал шарить в темноте. Но дверь не поддавалась. Он зажег спичку и увидел на ящике у дверей стоящую в подсвечнике тоненькую церковную свечу. Он зажег ее. При свете ее справился с крючком, болтом и замком и открыл дверь на черную лестницу. Она была неосвещена. Тогда Иван решил свечку присвоить, присвоил и покатил, захлопнув дверь, по черной лестнице.

Он вылетел в необъятный двор и на освещенном из окон балконе увидел убийцу. Уже более не владея собой, Иванушка засунул свечечку в карман, набрал битого кирпичу и стал садить в балкон. Консультант исчез. Осколки кирпича с грохотом посыпались с балкона, и через минуту Иван забился трепетно в руках того самого швейцара, который приставал с Борей и шахматами.

— Ах ты, хулиган! — страдая искренно, засипел швейцар. — Ты что же это делаешь? Ты не видишь, какой это дом? Здесь рабочий элемент живет, здесь цельные стекла, медные ручки, штучный паркет!

И тут швейцар, соскучившийся, ударил с наслаждением Ивана по лицу.

Швейцар оказался жилистым и жестоким человеком. Ударив раз, он ударил два, очевидно входя во вкус. Иван почувствовал, что слабеет. Жалобным голосом он сказал:

— Понимаешь ли ты, кого ты бьешь?

— Понимаю, понимаю, — задыхаясь, ответил швейцар.

— Я ловлю убийцу консультанта, знакомого Понтия Пилата, с тем чтобы доставить его в ГПУ.

Тут швейцар в один миг преобразился. Он выпустил Иванушку, стал на колени и взмолился:

— Прости! Не знал. Прости. Мы здесь, на Остоженке, запутались и кого не надо лупим.

Некоторые проблески сознания еще возвращались к Иванушке. Едкая обида за то, что швейцар истязал его, поразила его сердце, и, вцепившись в бороду швейцара, он оттрепал его, произнеся нравоучение:

— Не смей в другой раз, не смей!

— Прости великодушно, — по-христиански ответил усмиренный швейцар.

Но тут и швейцар, и асфальтовый двор, и громады, выходящие своими бесчисленными окнами во двор, все это исчезло из глаз бедного Ивана, и сам он не понял и никто впоследствии не понимал, каким образом он увидел себя на берегу Москвы-реки.

Огненные полосы от фонарей шевелились в черной воде, от которой поднимался резкий запах нефти. Под мостом, в углах зарождался туман. Сотни людей сидели на берегу и сладострастно снимали с себя одежды. Слышались тяжелые всплески — люди по-лягушачьи прыгали в воду и, фыркая, плавали в керосиновых волнах.

Иван прошел меж грудами одеяний и голыми телами прямо к воде. Иван был ужасен. Волосы его слиплись от поту перьями и свисли на лоб. На правой щеке была ссадина, под левым глазом большой фонарь, на губе засохла кровь. Ноги его подгибались, тело ныло, покрытое липким потом, руки дрожали. Всякая надежда поймать страшного незнакомца пропала. Ивану казалось, что голова его горит от мыслей о черном коте — трамвайном пассажире, от невозможности понять, как консультант ухитрился . . . .

Он решил броситься в воду, надеясь в ней найти облегчение. Бормоча что-то самому себе, шмыгая и вытирая разбитую губу, он совлек

с себя одеяние и опустился в воду. Он нашел желанное облегчение в воде. Тело его ожило, окрепло. Но голове вода не помогла. Сумасшедшие мысли текли в ней потоком.

Когда Иванушка вышел на берег, он убедился в том, что его одежды нет. Вместо оставленной им груды платья находились на берегу вещи, виденные им впервые. Необыкновенно грязные полотняные кальсоны и верхняя рубашка-ковбойка с продранным локтем. Из вещей же, еще недавно принадлежащих Ивану, оставлена была лишь стеариновая свеча.

Иван, не особенно волнуясь, огляделся, но ответа не получил и, будучи равнодушен к тому, во что одеваться, надел и ковбойку, и кальсоны, взял свечу и покинул берег.

Он вышел на Остоженку и пошел к тому месту, где некогда стоял храм Христа Спасителя. Наряд Иванушкин был странен, но прохожие мало обращали на него внимания — дело летнее.

— В Кремль, вот куда! — сказал сам себе Иванушка и, оглянувшись, убедился, что в Москве уж наступил полный вечер, то есть очередей у магазинов не было, огненные часы светились, все окна были раскрыты, и в них виднелись или голые лампочки, или лампочки под оранжевыми абажурами. В подворотнях играли на гитарах и на гармониях, и грузовики ездили с сумасшедшей скоростью.

— В Кремль! — повторил Иванушка, с ужасом оглядываясь. Теперь его уже пугали огни грузовиков, трамвайные звонки и зеленые вспышки светофоров.

ДЕЛО БЫЛО В ГРИБОЕДОВЕ

К десяти часам вечера в так называемом доме Грибоедова, в верхнем этаже, в кабинете товарища Михаила Александровича Берлиоза собралось человек одиннадцать народу. Народ этот отличался необыкновенной разношерстностью. Так, один был в хорошем, из парижской материи, костюме и крепкой обуви, тоже французского производства. Это был председатель секции драматургов Бескудников. Другой в белой рубахе без галстука и в белых летних штанах с пятном от яичного желтка на левом колене. Помощник председателя той же секции Понырев. Обувь на Поныреве была рваная. Батальный беллетрист Почкин, Александр Павлович, почему-то имел при себе цейсовский бинокль в футляре и одет был в защитном. Некогда богатая купеческая дочь Доротея Савишна Непременова подписывалась псевдонимом Боцман-Жорж и писала военно-морские пьесы, из которых ее последняя «Австралия горит» с большим успехом шла в одном из театров за Москвой-рекой. У Боцмана-Жоржа голова была в кудряшках. На Боцмане-Жорже была засаленная шелковая кофточка старинного фасона и кривая юбка. Боцману-Жоржу было 66 лет.

Секция скетчей и шуток была представлена небритым человеком, облеченным в пиджак поверх майки и в ночных туфлях.

Поэтов представлял молодой человек с жестоким лицом. На нем солдатская куртка и фрачные брюки. Туфли белые.

Были и другие.

Вся компания очень томилась, курила, хотела пить. В открытые окна не проникала ни одна струя воздуха. Москва как наполнилась зноем за день, так он и застыл, и было понятно, что ночь не принесет вдохновения.

— Однако вождь-то наш запаздывает, — вольно пошутил поэт с жестоким лицом — Житомирский.

Тут в разговор вступила Секлетея Савишна и заметила густым баритоном:

— Хлопец на Клязьме закупался.

— Позвольте, какая же Клязьма? — холодно заметил Бескудников и вынул из кармана плоские заграничные часы. И часы эти показали . . . .

Тогда стали звонить на Клязьму и прокляли жизнь. Десять минут не соединялось с Клязьмой. Потом на Клязьме женский голос врал какую-то чушь в телефон. Потом вообще не с той дачей соединили. Наконец соединились с той, с какой было нужно, и кто-то далекий сказал, что товарища Цыганского вообще не было на Клязьме. В четверть двенадцатого произошел бунт в кабинете товарища Цыганского, и поэт Житомирский заметил, что товарищ Цыганский мог бы позвонить, если обстоятельства не позволяют ему прибыть на заседание.

Но товарищ Цыганский никому и никуда не мог позвонить. Цыганский лежал на трех цинковых столах под режущим светом прожекторов. На первом столе — окровавленное туловище, на втором — голова с выбитыми передними зубами и выдавленным глазом, на третьем — отрезанная ступня, из которой торчали острые кости, а на четвертом — груда тряпья и документы, на которых засохла кровь. Возле первого стола стояли профессор судебной медицины, прозектор в коже и в резине и четыре человека в военной форме с малиновыми нашивками, которых к зданию морга, в десять минут покрыв весь город, примчала открытая машина с сияющей борзой на радиаторе. Один из них был с четырьмя ромбами на воротнике.

Стоящие возле столов обсуждали предложение прозектора — струнами пришить голову к туловищу, на глаз надеть черную повязку, лицо загримировать, чтобы те, которые придут поклониться праху погибшего командора Миолита, не содрогались бы, глядя на изуродованное лицо.

Да, он не мог позвонить, товарищ Цыганский. И в половину двенадцатого собравшиеся на заседание разошлись. Оно не состоялось совершенно так, как и сказал незнакомец на Патриарших прудах, ибо заседание величайшей важности, посвященное вопросам мировой литературы, не могло состояться без председателя товарища Цыганского. А председательствовать тот человек, у которого доку-

менты залиты кровью, а голова лежит отдельно, — не может. И все разошлись кто куда.

А Бескудников и Боцман-Жорж решили спуститься вниз, в ресторан, чтобы закусить на сон грядущий.

Писательский ресторан помещался в этом же доме Грибоедова (дом назван был Грибоедовским, так как, по преданию, он принадлежал некогда тетке Грибоедова. Впрочем, кажется, никакой тетки у Грибоедова не было), в подвале, и состоял летом из двух отделений — зимнего и летней веранды, над которою был устроен навес.

Ресторан был любим бесчисленными московскими писателями до крайности, и не одними, впрочем, писателями, а также и артистами, а также и лицами, профессии которых были неопределимы, даже и при длительном знакомстве.

В ресторане можно было получить все те блага, коих в повседневной своей жизни на квартирах люди искусства были в значительной степени лишены. Здесь можно было съесть порцию икорки, положенной на лед, потребовать себе плотный бифштекс по-деревенски, закусить ветчинкой, сардинами, выпить водочки, закрыть ужин кружкой великолепного ледяного пива. И все это вежливо, на хорошую ногу, при расторопных официантах. Ах, хорошо пиво в июльский зной!

Как-то расправлялись крылья под тихий говорок официанта, рекомендующего прекрасный рыбец, начинало казаться, что это все так, ничего, что это как-нибудь уладится.

Мудреного ничего нет, что к полуночи ресторан был полон и Бескудников, и Боцман-Жорж, и многие еще, кто пришел поздновато, места на веранде в саду уже не нашли, и им пришлось сидеть в зимнем помещении в духоте, где на столах горели лампы под разноцветными зонтами.

К полуночи ресторан загудел. Поплыл табачный дым, загремела посуда. А ровно в полночь в зимнем помещении, в подвале, в котором потолки были расписаны ассирийскими лошадьми с завитыми гривами, вкрадчиво и сладко ударил рояль, и в две минуты нельзя было узнать ресторана. Лица дрогнули и засветились, заулыбались лошади, кто-то спел «Аллилуйя», где-то с музыкальным звоном разлетелся бокал, и тут же в подвале и на веранде заплясали. Играл опытный человек. Рояль разражался громом, затем стихал, потом с тонких клавиш начинали сыпаться отчаянные, как бы предсмертные петушиные крики. Плясал солидный беллетрист Дорофеин, плясали какие-то бледные женщины, все одеяние которых состояло из тоненького куска дешевого шелка, который можно было смять в кулак и положить в карман, плясала Боцман-Жорж с поэтом Гречкиным Петром, плясал какой-то приезжий из Ростова Каротояк, самородок Иоанн Кронштадтский — поэт, плясали молодые люди неизвестных профессий с холодными глазами.

Последним заплясал какой-то с бородой, с пером зеленого лука в этой бороде, обняв тощую девочку лет шестнадцати с порочным лицом. В волнах грома слышно было, как кто-то кричал командным голосом, как в рупор, «пожарские, раз!».

И в полночь было видение. Пройдя через подвал, вышел на веранду под тент красавец во фраке, остановился и властным взглядом оглядел свое царство. Он был хорош, бриллиантовые перстни сверкали на его руках, от длинных ресниц ложилась тень у горделивого носа, острая холеная борода чуть прикрывала белый галстук.

И утверждал новеллист Козовертов, известный лгун, что будто бы этот красавец некогда носил не фрак, а белую рубаху и кожаные штаны, за поясом которых торчали пистолеты, и воронова крыла голова его была повязана алой повязкой, и плавал он в Караибском море, командуя бригом, который ходил под гробовым флагом — черным с белой адамовой головой.

Ах, лжет Козовертов, и нет никаких Караибских морей, не слышен плеск за кормой, и не плывут отчаянные флибустьеры, и не гонится за ними английский корвет, тяжко бухая над волной из пушек. Нет, нет, ничего этого нет! И плавится лед в стеклянной вазочке, и душно, и странный страх вползает в душу.

Но никто, никто из плясавших еще не знал, что ожидает их!

В десять минут первого фокстрот грохнул и прекратился, как будто кто-то нож всадил в сердце пианиста, и тотчас фамилия «Берлиоз» запорхала по ресторану. Вскакивали, вскрикивали, кто-то воскликнул: «Не может быть!» Не обошлось и без некоторой ерунды, объясняемой исключительно смятением. Так, кто-то предложил спеть «Вечную память», правда, вовремя остановили. Кто-то воскликнул, что нужно куда-то ехать. Кто-то предложил послать коллективную телеграмму. Тут же змейкой порхнула сплетня и как венчиком обвила покойного. Первое — неудачная любовь. Акушерка Кандалаки. Аборт. Самоубийство (автор — Боцман-Жорж).

Второе — шепоток: впал в уклон . . . .

СТЕПА ЛИХОДЕЕВ

Если бы Степе Лиходееву в утро второго июля сказали: «Степа, тебя расстреляют, если ты не откроешь глаз!» — Степа ответил бы томным и хриплым голосом:

— Расстреливайте, я не открою.

Ему казалось, что сделать это немыслимо: в голове у него звенели колокола, даже перед закрытыми глазами проплывали какие-то коричневые пятна, и при этом слегка тошнило, причем ему казалось, что тошнит его от звуков маленького патефона. Он старался что-то припомнить. Но припомнить мог только одно, что он стоит с салфеткой в руке и целуется с какой-то дамой, причем этой даме он обещал, что он к ней придет завтра же, не позже двенадцати часов, причем дама отказывалась от этого, говорила: нет, не приходите.

— А я приду, — говорил будто бы Степа.

Ни который час, ни какое число — этого Степа не мог сообразить. Единственно, что он помнил, это год, и затем, сделав все-таки попытку приоткрыть левый глаз, убедился, что он находится у себя и лежит в постели. Впрочем, он его тотчас же и закрыл, потому что был уверен, что если он только станет смотреть обоими глазами, то тотчас же перед ним сверкнет молния и голову ему разорвет на куски.

Он так страдал, что застонал...

Дело было вот в чем.

Степа Бомбеев был красным директором недавно открывшегося во вновь отремонтированном помещении одного из бывших цирков театра «Кабаре».

Впоследствии, когда уже случилась беда, многие интересовались вопросом, почему Степа попал на столь ответственный пост, но ничего не добились. Впрочем, это и неважно в данное время.

28-летний Степа Бомбеев лежал второго июля на широкой постели вдовы ювелира Де-Фужерэ.

У Де-Фужерэ была в громадном доме на Садовой прекрасная квартира в четыре комнаты, из которых она две сдавала, а в двух жила сама, избегнув уплотнения в них путем фальшивой прописки в них двоюродной сестры, изредка ночующей у нее, дабы не было придирки. Последними квартирантами Де-Фужерэ были Михаил Григорьевич Беломут и другой, фамилия которого, кажется, была Кирьяцкий. И за Кирьяцким и за Беломутом утром ежедневно приезжали машины и увозили их на службу. Все шло гладко и бесподобно, пока два года тому назад не произошло удивительное событие, которое решительно ничем нельзя объяснить. Именно, в двенадцать часов ночи явился очень вежливый и веселый милиционер к Кирьяцкому и сказал, что ему надо расписаться в милиции. Удивленный Кирьяцкий ушел с милиционером, но не вернулся. Можно было думать, что и Кирьяцкого, и милиционера унесла нечистая сила, как говорила старая дура Анфиса — кухарка Де-Фужерэ.

Дня через два после этого случилось новенькое: пропал Беломут. Но за тем даже никто и не приходил. Он утром уехал на службу, а со службы не приехал. Колдовству стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. Беломут, по счету Анфисы, пропал в пятницу, а в ближайший понедельник он появился глубокой и черной ночью. И появился в странном виде. Во-первых, в компании с каким-то другим гражданином, а во-вторых, почему-то без воротничка, без галстука и небритый и не произносящий ни одного слова. Приехав, Беломут проследовал вместе со своим спутником в свою комнату, заперся с ним там минут на десять, после чего вышел, так ничего и не объяснив, и отбыл. После этого понедельника наступил вторник, за ним — среда, и в среду приехали незваные — двое каких-то граждан, опять-таки ночью, и увезли с собой и Де-Фужерэ, и Анфису, после чего уж вообще никто не вернулся. Надо добавить, что, уезжая, граждане, увозившие Де-Фужерэ и Анфису, закрыли дверь на замок и на этот замок привесили сургучную печать.

Квартира простояла закрытой десять дней, а после десяти дней печать с двери исчезла и в квартире поселился и зажил Михаил Максимович Берлиоз — на половине Де-Фужерэ, а на половине Беломута и Кирьяцкого поселился Степа. За два этих года Берлиоз развелся со своей женой и остался холостым, а Степа развелся два раза.

Степа застонал. Его страдания достигли наивысшего градуса. Болезнь его теперь приняла новую форму. Из закрытых глаз его потекли зеленые бенгальские огни, а задняя часть мозга окостенела. От этого началась такая адская боль, что у Степы мелькнула серьезная мысль о самоубийстве — в первый раз в жизни. Тут он хотел позвать прислугу и попросить у нее пирамидону, и никого не позвал, потому что вдруг с отчаянием сообразил, что у прислуги нет решительно никакого пирамидону. Ему нужно было крикнуть и позвать Берлиоза — соседа, но он забыл, что Берлиоз живет в той же квартире. Он ощутил, что он лежит в носках «и в брюках?» — подумал несчастный больной. Трясущейся рукой он провел по бедрам, но не понял — не то в брюках, не то не в брюках, глаза же не открыл.

Тут в передней, неокостеневшей части мозга, как черви, закопошились воспоминания вчерашнего. Это вчерашнее прошло в виде зеленых, источающих огненную боль, обрывков. Вспомнилось начало: кинорежиссер Чембакчи и автор малой формы Хустов, и один из них с плетенкой, в которой были бутылки, усаживали Степу в таксомотор под китайской стеной. И все. Что дальше было — решительно ничего не известно.

— Но почему же деревья?.. Ах-ах... — стонал Степа.

Тут под деревом и выросла эта самая дама, которую он целовал. Только не «Метрополь»! Только не «Метрополь»!

— Почему же это было не в «Метрополе»? — беззвучно спросил сам у себя Степа, и тут его мозг буквально запылал.

Патефона, никакого патефона в «Метрополе» быть не может. Слава богу, это не в «Метрополе»!

Тут Степа вынес такое решение, что он все-таки откроет глаза, и, если сверкнет эта молния, тогда он заплачет. Тогда он заплачет и будет плакать до тех пор, пока какая-нибудь живая душа не облегчит его страдания. И Степа разлепил опухшие веки, но заплакать ему не пришлось.

Прежде всего он увидел в полумраке спальни густо покрытое пылью трюмо ювелирши и смутно в нем отразился, а затем кресло у кровати и в этом кресле сидящего неизвестного. В затемненной шторами спальне лицо неизвестного было плохо видно, и одно померещилось Степе, что это лицо кривое и злое. Но что незнакомый был в черном, в этом сомневаться не приходилось.

Минуту тому назад не могло и разговора быть о том, чтобы Степа сел. Но тут он поднялся на локтях, уселся и от изумления закоченел. Каким образом в интимной спальне мог оказаться начисто посторонний человек в черном берете, не только больной Степа, но и здоровый бы не объяснил. Степа открыл рот и в трюмо оказался в виде двойника своего и в полном безобразии. Волосы торчали во все сто-

роны, глаза были заплывшие, щеки, поросшие черной щетиной, в подштанниках, в рубахе и в носках.

И тут в спальне прозвучал тяжелый бас неизвестного визитера:

— Доброе утро, симпатичнейший Степан Богданович!

Степан Богданович хотел моргнуть глазами, но не смог опустить веки. Произошла пауза, во время которой язык пламени лизнул изнутри голову Степы, и только благодаря нечеловеческому усилию воли он не повалился навзничь. Второе усилие — и Степа произнес такие слова:

— Что вам угодно?

При этом поразился: не только это был не его голос, но вообще такого голоса Степа никогда не слышал. Слово «что» он произнес дискантом, «вам» — басом, а «угодно» — шепотом.

Незнакомец рассмеялся, вынул золотые часы и, постукав ногтем по стеклу, ответил:

— Двенадцать... и ровно в двенадцать вы назначили мне, Степан Богданович, быть у вас на квартире. Вот я и здесь.

Тут Степе удалось поморгать глазами, после чего он протянул руку, нащупал на шелковом рваном стуле возле кровати брюки и сказал:

— Извините...

И сам не понимая, как это ему удалось, надел эти брюки. Надев, он хриплым голосом спросил незнакомца:

— Скажите, пожалуйста, как ваша фамилия? Говорить ему было трудно. Казалось, что при произнесении каждого слова кто-то тычет ему иголкой в мозг.

Тут незнакомец улыбнулся обольстительно и сказал:

— Как, и мою фамилию вы забыли?

— Простите, — сказал Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом, именно: полог кровати разверзся и Степе показалось, что он сию секунду слетит вниз головой в какую-то бездну. Но он справился с собой, ухватившись за спинку кровати.

— Дорогой Степан Богданович, — заговорил посетитель, улыбаясь проницательно, — никакой пирамидон вам не поможет. Ничего, кроме вреда, не принесут и обливания холодной водой головы.

Степа даже не удивлялся больше, а только слушал, мутно глядя на пришельца.

— Единственно, что поднимет вас в одну минуту на ноги, это две стопки водки с легкой, но острой закуской.

Степа был хитрым человеком и, как он ни был болен, однако, сообразил, что нужно сдаваться. Он решил признаться.

— Признаюсь вам, — с трудом ворочая языком, выговорил он, — я вчера...

— Ни слова больше, — ответил визитер, и тут он отъехал вместе с креслом, и Степа, тараща глаза, как младенец на свечу, увидел, что на трюмо сервирован поднос, на коем помещался белый хлеб, паюсная икра в вазе, маринованные белые грибы и объемистый ювелиршин графин с водкой. Доконало Степу то обстоятельство, что графин был запотевший.

Незнакомец не дал развиться Степиному удивлению до болезненной степени и ловким жестом налил Степе полстопки водки.

— А вы? — пискнул Степа.

— С удовольствием, — ответил незнакомец. Он налил себе полную стопку.

Степан трясущейся рукой поднес стопку ко рту, глотнул, а глотнув, увидел, что незнакомец выплеснул целую стопку водки себе в рот, как выплескивают помои в лохань. Прожевав ломоть икры, Степа выдавил из себя:

— А вы что же... закусить?

— Я не закусываю, благодарю вас, — ответил незнакомец.

По настоянию того же незнакомца Степа выпил вторую, закусил грибами, затем выпил третью, закусил икрой и тут увидел, что произошло чудо. Во-первых, Степа понял, что он может свободно говорить, во-вторых, исчезли зеленые пятна перед глазами, окостеневший мозг расправился, более того, Степа тут же сообразил, что вчерашние деревья — это значит на даче у Чембакчи, куда его возил Хустов. Поцелованная дама была не жена Хустова, а не известная никому дама.

Дело происходило в Покровском-Стрешневе. Все это было так. Но вот появление совершенно неизвестного человека в спальне, а вместе с ним и появление водки с закуской — это было все-таки необъяснимо.

— Ну что ж, теперь вы, конечно, припомнили мою фамилию? — спросил незнакомец.

Степа опохмелился так удачно, что даже нашел возможность игриво улыбнуться и развести руками.

— Однако! — заметил незнакомец, улыбаясь ласково. — Я чувствую, дорогой Степан Богданович, что вы после водки пили портвейн. Ах, разве можно это делать?

— Я хочу вас попросить... — начал Степа искательно и не сводя глаз с незнакомца, — чтобы это... между...

— О, не беспокойтесь! Вот разве что Хустов...

— Разве вы знаете Хустова? — спросил Степа возвращенным голосом.

— Я видел его мельком у вас в кабинете вчера, но достаточно одного взгляда на лицо Хустова, чтобы сразу увидеть, что он сволочь, склочник, приспособленец и подхалим.

«Совершенно верно», — подумал Степа, изумленный таким кратким, но совершенно верным определением Хустова. Но тут тревога закралась в его душу. Вчерашний день постепенно складывался из разрозненных клочков, и все же в памяти зияла черная дыра.

Этого незнакомца в черном берете, в черном костюме, в лакированной обуви, с острой бородкой под медным подбородком, со странным лицом, с беретом с крысьим хвостиком решительно не было во вчерашнем дне. Он не был в кабинете у Степы.

— Доктор Воланд, — сказал незнакомец и, как бы видя насквозь все смятение Степы, все объяснил. Выходило со слов незнакомца, что он — специалист по белой магии, вчера был у Степы в кабинете и заключил со Степою контракт на выступление в подведомственном Степе «Кабаре», после чего, когда уже помянутый Воланд про-

щался с уважаемым директором, тут и явились эти самые Чембакчи и Хустов и увезли Степу в Покровское.

И сегодняшний день был совершенно ясен. Увозимый Степа назначил иностранному артисту свидание у себя в двенадцать часов. Иностранный артист явился. Иностранный артист был встречен приходящей прислугой Грушей, которая со свойственной всем приходящим прислугам откровенностью все и выложила иностранному артисту: первое, что Михаил Александрович Берлиоз как вчера ушел днем, так и не вернулся, но что вместо него приезжали двое и сделали обыск, а что если артисту нужен не Берлиоз, а Степа, то этого Степу вчера ночью привезли двое каких-то, которых она не знает, совершенно пьяным, так что и до сих пор он лежит, как колода, так что она не знает, что с ним делать, что и обед он не заказывал...

Тут иностранный артист послал ее в дорогой магазин, велел ей купить водки, икры и грибов и даже льду, так что все оказалось понятным. И тем не менее на Степу было страшно смотреть. Водка, лед, да... привезли пьяным, да... Но самое основное — никакого контракта вчера Степа не заключал и никакого иностранного артиста не видел.

— Покажите контракт, — сказал Степа.

Тут у Степы в глазах позеленело, и было это даже похуже похмелья. Он узнал свою лихую подпись... увидел слова... неустойка... 1000 долларов... буде... Словом, он, Степа, вчера заключил действительно контракт с иностранным фокусником господином Азазелло Воланд. И господин Азазелло Воланд, что было видно из косой надписи на контракте, деньги получил.

«Буде?..» — подумал Степа.

Убедил ли его представленный контракт? Нет. Степе могли сунуть в нос любую бумагу, самый бесспорный документ, и все-таки Степа, умирая, под присягой мог показать, что никакого контракта он не подписывал и иностранца вчера он не видел.

У Степы закружилась голова.

— Одну минуту, я извиняюсь... — сказал Степа и выскочил из спальни.

— Груня! — рявкнул он.

Но Груни не было.

— Берлиоз! — крикнул Степа.

На половине Берлиоза никто не отозвался.

В передней у двери Степа привычно в полутьме повертел номер на телефоне и услышал, как резкий и наглый голос раздраженно крикнул в ухо:

— Да!..

— Римский? — спросил Степа, и трубка захрипела. — Римский, вот что... Как дела... — Степа побагровел от затруднения, — вот чего... Этот тут пришел, этот фокусник Вол...

— Не беспокойтесь, — уверила трубка, — афиши будут к вечеру...

— Ну, всего, — ответил Степа и повесил трубку. Повесив, сжал голову руками и в серьезной тревоге застыл. Штука была скверная.

У Степы начались тяжкие провалы в памяти. И водка была тут ни при чем. Можно забыть то, что было после водки, но до нее? Однако в передней задерживаться долго было неудобно. Гость ждал. Как ни мутилось в голове у Степы, план действий он составил, пока дошел до спальни: он решил признать контракт и от всего мира скрыть свою невероятную забывчивость. Вообще... Тут Степа вдруг прыгнул назад. С половины Берлиоза, приоткрыв лапой дверь, вышел черный кот, но таких размеров, что Степа побледнел. Кот был немногим меньше приличной свиньи. Одновременно с явлением подозрительного кота слух и зрение Степы были поражены другим: Степа мог поклясться, что какая-то фигура, длинная-длинная, с маленькой головкой, прошла в пыльном зеркале ювелирши, а кроме того, Степе показалось, что оставленный в спальне незнакомец разговаривает с кем-то.

Обернувшись, чтобы проверить зеркальную фигуру, Степа убедился, что за спиной у него никого нет.

— Груня! — испуганно и раздраженно крикнул Степа. — Какой тут кот?

— Не беспокойтесь, Степан Богданович, — отозвался из спальни гость, — этот мой кот. А Груни нет. Я услал ее в Воронежскую губернию.

Степа выпучил глаза и тут подумал: «Что такое? Я, кажется, схожу с ума?» Обернувшись еще раз, он изумился тому, что все шторы в гостиной закрыты, от этого во всей квартире полумрак. Кот, чувствуя себя в чужой квартире, по-видимому, как дома, скептически посмотрел на Степу и проследовал куда-то, на прощание показав директору «Кабаре» два огненных глаза.

Тут Степа, чувствуя смятение, тревогу и вдруг сообразив, что все это странно, желая получить объяснение нелепых слов о Воронежской губернии, оказался на пороге спальни. Степа стоял, вздыбив вихры на голове, с опухшим лицом, в брюках, носках и в рубашке; незнакомец, развалившись в кресле, сидел по-прежнему, заломив на ухо черный бархатный берет, а на коленях у него сидел второй кот, но не черный, а огненно-рыжий и меньшего размера.

— Да, — без обиняков продолжил разговор гость, — осиротела ваша квартира, Степан Богданович! И Груни нет. Ах, жаль, жаль Берлиоза. Покойник был начитанный человек.

— Как покойник? — глухо спросил Степа.

Тут незнакомец торжественно сказал:

— Да, мой друг, вчера вечером, вскоре после того как я подписал с вами контракт, товарища Берлиоза зарезало трамваем. Так что более вы его не увидите.

Голова у Степы пошла тут кругом. Он издал какой-то жалобный звук и воззрился на кота. Тут ему уже определенно показалось, что в квартире его происходят странные вещи. И точно: в дверь вошел длинный в клетчатом и смутно сверкнуло разбитое стекло пенсне.

— Кто это? — спросил глухо Степа.

— А это моя свита, помощники, — ответил законтрактованный директором гость. Голос его стал суров.

И Степа, холодея, увидел, что глаз Воланда — левый — потух и провалился, а правый загорелся огнем.

— И свита эта, — продолжал Воланд, — требует места, дорогой мой! Поэтому, милейший, вы сейчас покинете квартиру.

— Товарищ директор, — вдруг заговорил козлиным голосом длинный клетчатый, явно подразумевая под словом «директор» самого Степу, — вообще свинячит в последнее время в Москве. Пять раз женился, пьянствует и лжет начальству.

— Он такой же директор, — сказал за плечом у Степы гнусавый сифилитический голос, — как я архиерей. Разрешите, мессир, выкинуть его к чертовой матери, ему нужно проветриться!

— Брысь! — сказал кот на коленях Воланда.

Тут Степа почувствовал, что он близок к обмороку.

«Я вижу сон», — подумал он. Он откинулся головой назад и ударился о косяк. Затем все стены ювелиршиной спальни закрутились вокруг Степы.

«Я умираю, — подумал он, — в бешеном беге».

Но он не умер. Открыв глаза, он увидел себя в громаднейшей тенистой аллее под липами. Первое, что он ощутил, это что ужасный московский воздух, пропитанный вонью бензина, помоек, общественных уборных, подвалов с гнилыми овощами, исчез и сменился сладостным послегрозовым дуновением от реки. И эта река, зашитая по бокам в гранит, прыгала, разбрасывая белую пену, с камня на камень в двух шагах от Степы. На противоположном берегу громоздились горы, виднелась голубоватая мечеть. Степа поднял голову, поднял отчаянно голову вверх и далее на горизонте увидал еще одну гору, и верхушка ее была косо и плоско срезана. Сладкое, недушное тепло ласкало щеки. Грудь после Москвы пила жадно напоенный запахом зелени воздух. Степа был один в аллее, и только какая-то маленькая фигурка маячила вдали, приближаясь к нему. Степин вид был ужасен. Среди белого дня в сказочной аллее стоял человек в носках, в брюках, в расстегнутой ночной рубахе, с распухшим от вчерашнего пьянства лицом и с совершенно сумасшедшими глазами. И главное, что, где он стоял, он не знал. Тут фигурка поравнялась со Степой и оказалась маленьким мужчиной лет тридцати пяти, одетым в чесучу, в плоской соломенной шляпочке. Лицо малыша отличалось бледным нездоровым цветом, и сам он весь доходил Степе только до талии.

«Лилипут», — отчаянно подумал Степа.

— Скажите, — отчаянным голосом спросил Степа, — что это за гора?

Лилипут с некоторой опаской посмотрел на растерзанного человека и сказал высоким звенящим голосом:

— Столовая гора.

— А город, город это какой? — отчаянно завопил Степа.

Тут лилипут страшно рассердился.

— Я, — запищал он, брызгая слюной, — директор лилипутов Пульс. Вы что, смеетесь надо мной?

Он топнул ножкой и раздраженно зашагал прочь.

— Не смеешь по закону дразнить лилипутов, пьяница! — обернувшись, еще прокричал он и хотел удалиться. Но Степа кинулся за ним. Догнав, бросился на колени и отчаянно попросил:

— Маленький человек! Я не смеюсь. Я не знаю, как я сюда попал. Я не пьян. Сжалься, скажи, где я?

И, очевидно, такая искренняя и совсем не пьяная мольба. . . . . . что лилипут поверил ему и сказал, тараща на Степу глазенки:

— Это — город Владикавказ.

— Я погибаю, — шепнул Степа, побелел и упал к ногам лилипута без сознания.

Малыш же сорвал с головы соломенную шляпочку и побежал, размахивая ею и крича:

— Сторож, сторож! Тут человеку дурно сделалось!

ВОЛШЕБНЫЕ ДЕНЬГИ

Председатель Жилищного товарищества того дома, в котором проживал покойник, Никанор Иванович Босой находился в величайших хлопотах начиная с полуночи с 7-го на 8-е мая. Именно в полночь, в отсутствие Степы и Груни, приехала комиссия в составе трех человек, подняла почтенного Никанора Ивановича с постели, последовала с ним в квартиру покойного, в присутствии Никанора Ивановича вскрыла дверь, вынула и опечатала все рукописи товарища Берлиоза и увезла их с собой, причем объявила, что жилплощадь покойника переходит в распоряжение Жилтоварищества, а вещи, принадлежащие покойному, как то: будильник, костюм, осеннее пальто и книги, — подлежат сохранению в том же Жилтовариществе впредь до объявления наследников покойного, буде таковые явятся.

Слух о гибели председателя Миолита ночью же распространился во всех семидесяти квартирах большого дома, и с самого утра того дня, когда господин Воланд явился к Степе, Босому буквально отравили жизнь. Звонок в квартире Босого трещал с семи часов утра. Босому в течение двух часов подали тридцать заявлений от жильцов, претендующих на площадь зарезанного. В бумагах были мольбы, кляузы, угрозы, доносы, обещания произвести ремонт на свой собственный счет, указания на невозможность горькой жизни в соседстве с бандитами, сообщения о самоубийстве, которое произойдет, если квартиру покойного не отдадут, замечательные по художественной силе описания тесноты и признания в беременностях. К Никанору Ивановичу ломились на квартиру, кричали, грозили, ловили его на лестнице и во дворе за рукава, шептали что-то, подмигивали, кричали, грозили жаловаться. Потный, жаждущий Никанор Иванович с трудом к полудню разогнал толпу одержимых и устроил что-то вроде заседания с секретарем Жилтоварищества Бордасовым и каз-

начеем Шпичкиным, причем на этом же заседании и выяснилось, что вопли несчастных не приведут ни к чему. Берлиозову площадь придется сдать, ибо в доме колоссальнейший дефицит, и нефть для парового отопления на зиму покупать будет не на что. На том и порешили, и разошлись.

Днем, тотчас же после того, как Степа улетел во Владикавказ, Босой отправился в квартиру Берлиоза для того, чтобы еще раз окинуть ее хозяйским глазом, а кстати, и произвести измерение двух комнат.

Босой позвонил в квартиру, но так как ему никто не открыл, то он властной рукой вынул дубликат ключа, хранящийся в правлении, и вошел самочинно.

В передней был полумрак, а на зов Босого никто ни с половины Степы, ни из кухни не отозвался. Тут Босой повернул направо в ювелиршину половину и прямо из передней попал в кабинет Берлиоза, и остановился в совершенном изумлении. За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджачке.

Босой вздрогнул.

— Вы кто такой будете, гражданин? — спросил он, почему-то вздрогнув.

— А-а, Никанор Иванович! — дребезжащим тенором воскликнул сидящий и, поправив разбитое пенсне на носу, приветствовал председателя насильственным и внезапным рукопожатием.

Босой встретил приветствие хмуро:

— Я извиняюсь, на половине покойника сидеть не разрешается. Вы кто такой будете? Как ваша фамилия?

— Фамилия моя, — радостно объявил незваный гражданин, — скажем... Коровьев. Да, не желаете ли закусить?

— Я извиняюсь, что: коровой закусить? — заговорил, изумляясь и негодуя, Никанор Иванович. Нужно признаться, что Никанор Иванович был по природе немножко хамоват. — Вы что делаете в квартире, здесь?

— Да вы присаживайтесь, Никанор Иванович, — задребезжал, не смущаясь, гражданин в треснувших стеклах. — Я, изволите видеть, переводчик и состою при особе иностранца в этой квартире.

Существование какого-то иностранца явилось для почтенного председателя полнейшим сюрпризом, и он потребовал объяснения. Оказалось, что господин Воланд — иностранный артист, вчера подписавший контракт на гастроли в «Кабаре», был любезно приглашен Степаном Богдановичем Лиходеевым на время этих гастролей, примерно одну неделю... прожить у него в квартире, о чем еще вчера Степан Богданович сообщил в правлении и просил прописать господина Воланда.

— Ничего я не получал! — сказал пораженный Босой.

— А вы поройтесь в портфеле, милейший Никанор Иванович, — сладко сказал назвавшийся Коровьевым.

Босой, в величайшем изумлении, подчинился этому предложению. Впоследствии председатель утверждал, что он весь тот день

действовал в помрачении ума, причем ему никто не верил. И действительно, в портфеле Босой обнаружил письмо Степы, в котором тот срочно просил прописать господина Воланда на его площади на одну неделю.

— Все в порядочке, с почтеньицем, — сказал ласково Коровьев.

Но Босой не удовлетворился письмом и изъявил желание лично говорить с товарищем Лиходеевым, но Коровьев объяснил, что этот товарищ только что отбыл в город Владикавказ по неотложным делам.

— Во Владикавказ? — тупо повторил Босой, поморгал глазами, изъявил желание полюбоваться господином иностранцем и в этом получил отказ. Оказалось, что иностранец занят — он в спальне дрессирует кота.

Далее обстоятельства сложились так: переводчик Коровьев тут же сделал предложение почтенному председателю товарищества. Ввиду того, что иностранец привык жить хорошо, то не сдаст ли, в самом деле, ему правление всю квартиру, то есть и половину покойника, на неделю.

— А? Покойнику безразлично... Его квартира теперь одна, Никанор Иванович, Новодевичий монастырь, правлению же большая польза. А самое главное то, что уперся иностранец, как бык, не желает он жить в гостинице, а заставить его, Никанор Иванович, нельзя. Он, — интимно сипел Коровьев, — утверждает, что будто бы в вестибюле «Метрополя», там, где продается церковное облачение, якобы видел клопа! И сбежал!

Полнейший практический смысл был во всем, что говорил Коровьев, и тем не менее удивительно что-то несолидное было в Коровьеве, в его клетчатом пиджачке и даже в его треснувшем пенсне. Поборов, однако, свою нерешительность, побурчав что-то насчет того, что иностранцам жить полагается в «Метрополе», Босой все-таки решил, что Коровьев говорит дело. Хорошие деньги можно было слупить с иностранца за эту неделю, а затем он смоется из СССР и квартиру опять можно продать уже на долгий срок. Босой объявил, что он должен тотчас же собрать заседание правления.

— И верно! И соберите! — орал Коровьев, пожимая шершавую руку Босого. — И славно, и правильно! Как же можно без заседания? Я понимаю!

Босой удалился, но вовсе не на заседание, а к себе на квартиру и немедленно позвонил в «Интурист», причем добросовестнейшим образом сообщил все об упрямом иностранце, о клопе, о Степе и просил распоряжений.

К словам Босого в «Интуристе» отнеслись с полнейшим вниманием, и резолюция вышла такая: контракт заключить, предложить иностранцу платить 50 долларов в день, если упрется, скинуть до сорока, плата вперед, копию контракта сдать вместе с долларами тому товарищу, который явится с соответствующими [документами], — фамилия этого товарища Кавунов. Успокоенного Никанора Ивановича поразило немного лишь то, что голос служащего в «Интуристе» несколько напоминал голос самого Коровьева. Но не думая, конеч-

но, много о таких пустяках, Босой вызвал к себе секретаря Бордасова и казначея Шпичкина, сообщил им о долларах и о клопе и заставил Бордасова, который был пограмотнее, составить в трех экземплярах контракт и с бумагами вернулся в квартиру покойника с некоторой неуверенностью в душе — он боялся, что Коровьев воскликнет: «Однако, и аппетиты же у вас, товарищи драгоценные» — и вообще начнет торговаться.

Но ничего этого не сбылось. Коровьев тут же воскликнул: «Об чем разговор, господи!» — поразив Босого, и выложил перед ним пачку в 350 долларов.

Босой аккуратнейше спрятал деньги в портфель, а Коровьев сбегал на половину Степы и вернулся с контрактом, во всех экземплярах подписанным иностранным артистом.

Тут Никанор Иванович не удержался и попросил контрамарочку. Коровьев ему не только контрамарочку посулил, но проделал нечто, что было интереснее всякой контрамарочки. Именно: одной рукой нежно обхвативши председателя за довольно полную талию, другой вложил ему нечто в руку, причем председатель услышал приятный хруст и, глянув в кулак, убедился, что в этом кулаке триста рублей советскими.

— Я извиняюсь, — сказал ошеломленный Босой, — этого не полагается. — И тут же стал отпихивать от себя деньги.

— И слушать не стану, — зашептал в самое ухо Босому Коровьев, — обидите. У нас не полагается, а у иностранцев полагается.

— Строго преследуется, — сказал почему-то тихо Босой и оглянулся.

— А мы одни, — шепнул в ухо Босому Коровьев, — вы трудились...

И тут, сам не понимая, как это случилось, Босой засунул три сотенных в карман. И не успел он осмыслить случившееся, как уж оказался в передней, а там за ним захлопнулась дверь.

Товарищ Кавунов, оказавшийся рыжим, кривым и одетым не по-нашему, уже дожидался в правлении. Тщательно проверив документы товарища Кавунова, Босой в присутствии Шпичкина сдал ему под расписку доллары и копию контракта, и все разошлись.

В квартире же покойного произошло следующее. Тяжелый бас сказал в спальне ювелирши:

— Однако, этот Босой — гусь! Он мне надоел. Я вообще не люблю хамов в квартире.

— Он не придет больше, мессир, уверяю вас, — отозвался Коровьев. И тут же вышел в переднюю, навертел на телефоне номер и, добившись требуемого, сказал в трубку почему-то плаксивым голосом следующее:

— Алло! Говорит секретарь Жакта № 197 по Садовой Бордасов Петр. Движимый чувством долга члена профсоюза, товарищ, сообщаю, что у председателя нашего Жакта, Босого Никанора Ивановича, имеется валюта, в уборной.

И повесил трубку.

— Этот вульгарный человек больше не придет, мессир, — нежно сказал назвавший себя Коровьевым в дверь спальни.

— Да уж за это можно ручаться, — раздался вдруг гнусавый голос, и в гостиной появился человек, при виде которого Босой ужаснулся бы, конечно, ибо это был не кто иной, как назвавший себя Кавуновым. Кривой глаз, рыжие волосы, широк в плечах, ну, словом, он. К несчастью, Никанор Иванович не видел его.

— Идем завтракать, Азазелло, — обратился Коровьев к тому, который именовал себя Кавуновым.

Что далее происходило в квартире, где поселился иностранный артист, точно неизвестно. Но зато хорошо известно, что произошло в квартире Прокопа Ивановича.

Прокоп Иванович, сплавив с плеч обузу с долларами, вернулся к себе, первым долгом заперся, а в три часа отправился к себе обедать. В доме была общественная столовая, но Никанор Иванович, хоть сам и был инициатором основания столовки, но испытывал какое-то болезненное отвращение к общественному питанию, предпочитая ему индивидуальное, домашнее. И поэтому, ссылаясь на то, что доктор ему прописал особую диету, в столовке нипочем не обедал.

В этот странный день для Никанора Ивановича в его диетический обед вошли приготовленная собственными руками супруги его селедочка с луком, коробка осетрины в томате, битки, малосольные огурчики и борщ с сосисками. Но прежде чем обедать, Никанор Иванович прошел в уборную и заперся там на несколько минут. Вернувшись, он окинул приятным взором приготовленные яства, не теряя времени, заглянул под кровать, спросил у супруги, закрыта ли входная дверь, велел никого не пускать, потому что у Никанора Ивановича обеденный перерыв, вытащил из-под кровати из чемодана запечатанную поллитровку, откупорил, налил стопку, выпил, закусил селедкой, налил вторую, хотел закусить огурчиком, но это уже не удалось. Позвонили.

— Гони ты их! — раздраженно сказал Босой супруге. — Что я им в самом деле — собака? Скажи, чтоб насчет квартиры больше не трепались. Сдана иностранцу.

И спрятал поллитровку за буфет. В передней послышался чужой голос. Супруга впустила кого-то.

— Что она, дура, я же сказал! — рассердился Босой и устремил грозный взор на дверь в переднюю. Из этой двери появилась супруга с выражением ужаса на лице, а следом за нею — двое незнакомых Босому. Первый в форме с темно-малиновой нашивкой, а второй — в белой косоворотке. Босой почему-то побледнел и поднялся.

— Где сортир? — спросил озабоченно первый.

— Здесь, — шепнул Босой, бледнея, — а в чем дело, товарищи?

Ему не объяснили, в чем дело, а прямо проследовали к уборной.

— У вас мандаты, товарищи, есть? — тихо-претихо вымолвил Босой, идя следом за пришедшими.

На это тот, что был в косоворотке, показал Босому маленькую книжечку и белый ордерок. Тут Босой утих, но стал еще бледнее. Первый вошел в уборную, оглядел ее, тотчас же взял из коридора табуретку, встал на нее и с наличника над дверью под пыльным окош-

ком снял белый пакетик. Пока этот пакетик раскрывали, Босой придумал объяснение тремстам рублям — прислал брат из Казани. Однако это объяснение не понадобилось. Быстрые белые пальцы первого вскрыли пакетик, и в нем обнаружились несколько денежных, по-видимому, бумажек непривычного для человеческого взгляда вида. Они были зеленоватого цвета, с портретами каких-то вдохновенных растрепанных стариков. Тут глаза Босого вылезли из орбит, шея налилась темной кровью.

— Триста долларов, — деловым тоном сказал первый. — Ваш пакетик?

— Никак нет, — ответил Босой.

— А чей же?

— Не могу знать, — ответил Босой и вдруг возопил: — Подбросили враги!

— Бывает, — миролюбиво сказал второй в косоворотке и прибавил: — Ну, гражданин Босой, подавай остальные.

Мы не знаем, что спасло Никанора Ивановича от удара. Но он был к нему близок. Шатаясь, с мертвыми глазами, налитыми темной кровью, Никанор Иванович Босой, член кружка «Безбожник», положил на себя крестное знамение и прохрипел:

— Никогда валюты в руках не держал, товарищи, Богом клянусь!

И тут супруга Босого, что уж ей попритчилось, кто ее знает, вдруг воскликнула:

— Покайся, Иваныч!

Чаша страдания ни в чем не повинного Босого (он действительно никогда в руках не держал иностранной валюты) переполнилась, и он внезапно ударил свою супругу кулаком по лицу, отчего та разроняла битки по полу и взревела.

— Ну, это ты брось, — холодно сказал тот, что был в косоворотке, и мигом отделил Босого от жены.

Тогда Босой заломил руки, и слезы покатились по его багровому лицу.

Минут через десять примерно видели некоторые обитатели громадного дома на Садовой, как председатель правления в сопровождении двух людей быстро проследовал в ворота дома и якобы шатался, как пьяный, и будто бы лицо у него было, как у покойника.

Что проследовал, это верно, ну а насчет лица, может быть, и приврали добрые люди.

В КАБИНЕТЕ РИМСКОГО

В то время как происходили все эти события, в громадном доме на Садовой, невдалеке от него, в кабинете дирекции «Кабаре» сидели и занимались делами двое ближайших сотрудников Степы Лиходеева — финансовый директор «Кабаре» Римский и администратор Ва-

ренуха. В кабинете «Кабаре», похожем как две капли воды на всякий другой театральный кабинет, то есть с разнокалиберной мягкой мебелью, с запачканным дрянным ковром на полу, с пачкой старых афиш, с телефоном на письменном столе, — происходило все то, что происходит во всяком другом кабинете.

Римский сидел за письменным столом и подписывал какие-то бумаги. Варенуха то и дело отвечал на звонки по телефону. В дверь часто входили: побывал бухгалтер с ведомостью, как всякий бухгалтер, старый, больной, подозрительный, хмурый, в очках. Приходил дирижер в грязном воротничке, и с дирижером Римский поругался из-за какой-то новой кожи на барабане. Какой-то лысый и бедный человек принес скетч. Автор скетча держал себя униженно, а Римский обошелся с ним грубо, но скетч оставил, сказав, что покажет его Степану Богдановичу Лиходееву. И автор ушел, кланяясь и говоря: «Очень хорошо... мерси...» — глядя слезящимися глазами на директора.

Словом, все было, как обычно, кроме одного: час прошел, нет Степана Богдановича, другой час прошел — нет его.

Приезжали из РКИ, звонили из Наркомпроса, звали на заседание директоров, на столе накопилась громаднейшая пачка бумаг. Римский стал нервничать, и Варенуха стал звонить по телефону на Садовую, в квартиру Степы.

— Ну, это уж безобразие, — стал ворчать Римский, каждый раз, как Варенуха говорил: «Не отвечают».

В три часа дня в кабинет вошла женщина в форменной куртке, в тапочках и в мужской фуражке, вынула из маленькой сумки на поясе конвертик и сказала:

— Где тут «Кабаре»? Распишитесь, «молния». Варенуха черкнул какую-то закорючку в тетради у женщины и, когда та ушла, вскрыл пакетик.

Вскрыв и прочитав, он перекосил лицо, пожал плечами и подал телеграмму Римскому.

В телеграмме было напечатано следующее: «Владикавказа Москву Кабаре Молнируйте Владикавказ помощнику начальника Масловскому точно ли субъект ночной сорочке брюках блондин носках без сапог документами директора Кабаре Лиходеева явившийся сегодня отделение Владикавказе признаками психоза есть директор Лиходеев Масловский».

— Это здорово! — сказал Римский, прочитав телеграмму. Варенуха, моргая, долго изучал листок.

— Самозванец, — решил Римский. И тут же взяв телефонную трубку, позвонил и продиктовал по телефону «молнию»: «Владикавказ Помощнику Начальника Масловскому Лиходеев Москве Римский».

Независимо от странной «молнии» принялись разыскивать Лиходеева. Квартира упорно не отвечала. Мучились очень долго, звоня в служебное время решительно во все места, где могла разыскаться хотя бы тень Степы. Успели проверить сбор и убедились, что выпущенная афиша с именем иностранца резко повысила сегодняшний кассовый приток.

Минут через тридцать после первой «молнии» пришла вторая. Содержание ее было еще страннее:

«Молнируйте Масловскому что я действительно Лиходеев брошенный Воландом Владикавказ Задержите Воланда Лиходеев».

В течение минуты и Римский, и Варенуха, касаясь друг друга лбами, перечитывали телеграмму.

— Ты же с ним утром разговаривал по телефону, — недоуменно сказал лысый Варенуха.

— Какие глупости — разговаривал, не разговаривал! — рассердился нервный Римский. — Не может он быть во Владикавказе! Это смешно!

— Он пьян! — сообразил Варенуха. — А может, это трактир «Владикавказ»? Он из Москвы...

— Граждане! — вскричала раздраженно телеграмщица. — Расписывайтесь, а потом уж митинг устраивайте!

— Телеграмма-то из Владикавказа? — спросил Римский.

— Ничего я не знаю. Не мое дело, — ответила женщина и удалилась ворча. Римский уставился сквозь очки в «молнию». Как ни прерывал его каждую минуту Варенуха восклицаниями, что все это глупо, отмахнуться от телеграммы никак нельзя было, и именно благодаря слову «Воланд». Откуда же, спрашивается, владикавказскому самозванцу известно имя иностранца? Но с другой стороны, человек, который в час дня был в Москве, ни в каком аэроплане, ни при каких условиях к трем дня во Владикавказе быть не может. С третьей стороны, зачем же хотя бы и такой неожиданный человек, как Степа, которого не раз Римский мысленно ругал «балбесом», сорвется в служебный день с места и ринется из Москвы вон? С ума можно сойти!

«Задер-жи-те Воланда, — бормотал, мычал Варенуха. — Зачем? Мистификация». Решили ничего не молнировать в ответ.

Через тридцать минут появилась та же самая женщина, и Римский, и Варенуха даже с мест поднялись. Она вынула темный листок.

— Интересненько... — шепнул Варенуха. На фотографической бумаге отчетливо чернели писаные строчки. Тут Варенуха без чинов навалился на плечо Римскому. Оба жадно бегали глазами по строчкам.

«Вот доказательство мой почерк Немедленно молнируйте подтверждение моей личности Немедленно обследуйте мою квартиру Примите все меры наблюдения за Воландом и задержания в случае попытки выехать из Москвы Лиходеев».

Варенуха был известен в Москве как опытнейший театральный администратор, видавший всякие виды, и кроме того, смышленый человек. Но тут Варенуха почувствовал, что ум его застилает пеленой, и он ничего не придумал, кроме житейской нелепой фразы:

— Этого не может быть...

Римский поступил не так. Он поднялся с места, резко крикнул в дверь: «Никого!» — и тотчас запер дверь кабинета на ключ. Затем, сразу постарев лет на пять и нахмурившись, достал из письменного стола пачку документов и извлек из них все те, на которых были ре-

золюции и подписи Лиходеева. Он тщательно сличал букву за буквой. Извлек три залихватских подписи на ведомостях и одну на чеке. Варенуха, навалившись, жарко дышал в щеку Римскому.

— Без сомнения, почерк Лиходеева, — наконец выговорил Римский очень хмуро. Варенуха проделал все знаки изумления, которые свойственны людям. То есть по кабинету прошелся, руки вздымал, как распятый, плечи вздергивал, восклицал: «Не понимаю!»

Задача Римского была трудна. Нужно было тут же, сейчас же обыкновенные объяснения представить для совершенно необыкновенного события. И Римский сделал все, что в силах человеческих. Он сверился по справочнику и узнал, что от Москвы до Владикавказа... километров. Злобно от напряжения усмехнувшись, Римский представил себе Степу в ночной сорочке, торопливо влезающего в самый-самый, делающий, скажем, триста километров в час аэроплан, и тут же сокрушил эту мысль, как явно гнилую. На таком далеко не улетишь. Он представил другой самолет, военный, сверхбоевой, шестьсот километров в час, и тут же сосчитал, что, ввалившись в него непосредственно тотчас же после телефонного разговора в час дня, Степа за два часа не дотянул до Владикавказа восемьсот километров. Аэропланы разлетелись как дым. В висках Римского закололо. Варенуха же, выпив целый стакан желтой воды из графина, весь в испарине, рылся в справочнике «Вся Москва». Он искал трактир под названием «Владикавказ».

Мелькнула дикая мысль, что, может, не Степа говорил в час дня по телефону с Садовой. Отпала. Степин голос был слишком хорошо известен Римскому. Затем всякая надежда построить логическое здание рухнула. В голове у финансового директора остались только черепки. Штампы на телеграммах фальшивые? Нет, подлинные. В носках, среди бела дня, во Владикавказе? Смешно. Трактир. Пьяные шутки?

В двери снаружи стучали, ручку дергали. Слышно было, как курьерша кричала: «Нельзя!» Варенуха, воспаленными глазами глядя в справочник, тоже рявкнул: «Нельзя! Заседание!»

Когда за дверью стихло, Варенуха захлопнул толстую книгу и молвил:

— Не может он быть во Владикавказе. Он поглядывал на Римского и увидел в своем патроне перемену.

Колючие глаза Римского в знакомой всем роговой оправе утратили как будто бы эту колючесть, и в них появилась темная печаль и очень большая тревога.

— Не может он быть во Владикавказе, — повторил Варенуха.

Помолчали.

— Да, он не может быть во Владикавказе, — отозвался Римский, и даже, как показалось Варенухе, изменившимся голосом, — но тем не менее это писано из Владикавказа.

— Так что же это такое?! — вопросил Варенуха.

— Это непонятное дело, — очень серьезно ответил Римский, — и дело это надо выяснить. — Помолчав, еще добавил: — Но лучше всего, это вторая часть.

— О Воланде?

— Да, о Воланде, — ответил Римский. За спиной его висела афиша. На зеленом фоне ясно виднелась эта фамилия. Афиша сулила . . . .

Двое взрослых и очень деловых людей должны были ответить на дикие телеграммы. Это было им неприятно, но тем не менее отвечать нужно было.

Римский взял трубку телефона и сказал:

— Междугородная? Дайте сверхсрочный разговор с Владикавказом.

«Умно», — подумал Варенуха.

— А, черт, — сказал Римский, вешая трубку

— Что?

— Испорчен телефон во Владикавказе.

Римский позвонил на телеграф и, щурясь, продиктовал:

— Примите «молнию». «Владикавказ Помощнику Масловскому Ответ фотограмму 803 Двенадцать дня сегодня Лиходеев был Москве От двух до четырех он неизвестно где Почерк безусловно подтверждаю Меры наблюдения за указанным фотограмме артистом принимаю Римский».

«Умно», — подумал Варенуха, — тут же додумал: «Глупо! Ведь его не может быть во Владикавказе!»

Но Римский показал, что он еще умнее, чем о нем думали. Именно: обе телеграммы и фотограмму он тщательно запаковал в конверт, конверт заклеил, протянул его Варенухе и сказал значительно:

— Свези, Василий Васильевич, немедленно. Пусть они разбирают.

«Умно», — в третий раз подумал Варенуха и принял пакет.

— Звони на квартиру.

Варенуха взял трубку, и ему посчастливилось.

— Алло! — сказал бас в трубке.

— Мосье Воланд? — ласково спросил Варенуха.

– Я.

— Добрый день. Говорит администратор «Кабаре» Варенуха.

— Очень приятно. Как ваше здоровье?

— Мерси, — несколько удивляясь иностранной вежливости, ответил Варенуха.

Римский, сморщившись, очень тревожно прислушивался.

— Мне показалось, что вы плохо выглядели вчера. Вы берегите себя, — продолжал излишне вежливый иностранец в ухо изумленному администратору, — я не советую вам никуда сегодня ходить. Пусть Римский ходит.

Варенуха вздрогнул от удивления.

— Алло?

— Простите, — оправившись, начал Варенуха, — я побеспокоил вас вот почему... Вы не знаете ли, где товарищ Лиходеев?

— Его нет дома.

— А, простите, он не говорил, куда он пошел?

— Говорил. За ним приехала какая-то дама в автомобиле, и он сказал, что на один час уедет за город, — продолжала трубка.

Варенуха чуть не прыгнул у телефона и замигал Римскому.

— А куда за город? Куда, простите?

— Кататься.

— Благодарю вас, мерси, мерси, — заговорил и закланялся Варенуха, — сегодня вечером, значит, ваше выступление?

— О да. Я помню.

— Всего добренького, всего, — нежно сказал Варенуха и стукнул трубкой. — Он за городом, — победоносно воскликнул Варенуха. — Уехал в машине, и, понятно, машина сломалась.

— Черт знает что такое! — вскричал, бледнея, Римский.

— Да я теперь все понимаю, — радовался Варенуха, — он застрял на шоссе.

— В служебный день, — злобно заговорил Римский, — впрочем, это на него похоже.

— И зря ты молнировал! — сказал Варенуха.

— Но, позволь, — отозвался Римский...

— Мистификация! Мистификация. Я бы этого сукиного сына... Ну что ж, нести?

— Непременно, непременно, — настойчиво заговорил Римский.

Затем друзья условились так.

Варенуха немедленно отвезет куда следует странные телеграммы, а Римский отправляется обедать. К началу спектакля оба будут на месте.

Варенуха прошел по всему зданию «Кабаре», оглянул все опытным глазом и решил нырнуть на минутку в контору в нижнем этаже. Навести там порядок. Он вошел и увидел, что наводить порядок нельзя. В конторе не было никого. И тут же загремел телефон на клеенчатом столе,

— Да! — рявкнул Варенуха, как обычно рявкают в телефон.

— Товарищ Варенуха? — сказал тенор-голос в телефоне. — Вот что. Вы никуда сейчас телеграммы не носите. А спрячьте их. Вообще никуда не ходите.

— Кто это говорит? — закричал Варенуха. — Товарищи, вы прекратите ваши штуки! Мы вас обнаружим! Я вас отдам моментально куда следует!

— Товарищ Варенуха, — сказал все тот же препротивный голос, — русский язык вы понимаете? Не носите никуда телеграммы и Римскому ничего не говорите.

— Вот я сейчас узнаю, по какому вы номеру говорите, и...

Здесь Варенухе пришлось повесить трубку, так как он ясно понял, что собеседник его ушел от аппарата.

— Римский вышел? — спросил Варенуха у курьерши, выходя из конторы.

— Обедать вышли, — ответила курьерша.

— Ах, жаль! — буркнул Варенуха.

Дело в том, что у Варенухи в голове вдруг возникла мысль, что он очень выиграет на этом деле с мистификацией. Вот он сейчас пойдет куда следует, там, конечно, крайне заинтересуются, зазвучит фамилия Варенухи. «Садитесь, товарищ Варенуха... Так вы полагаете,

товарищ Варенуха?..» Интересно (по-человечески говоря) возбудить дело и быть участником в его расследовании. «Варенуха свой парень», «Варенуху знаем».

Администратор, из которого перла энергия, побывал и в кассе и узнал, что вечер будет боевой, — только что кассирша продала два последних места и вывесила аншлаг.

Обойдя, как полководец перед боем поле сражения, все здание, Варенуха вышел из него, но не через главный подъезд, а через боковой, выводящий в летний сад. Варенухе понадобилось проверить, провели ли, согласно его распоряжению накануне, свет в мужскую и женскую уборные. Вот Варенуха и устремился мимо тира, мимо нарзанной будки, жадно вдыхая садовый воздух после душного и испорченного воздуха «Кабаре». Возле выкрашенной в серую краску обычного типа уборной с надписями «мужская» и «женская» было пустынно. Варенуха вошел в мужское отделение и прежде всего поразился тем, что недавно покрашенная заново стена сплошь сверху донизу покрыта непристойными четверостишиями и совершенно дикими рисунками. Словом, нужно было красить заново.

«Ах, какая сволочь, народ», — подумал администратор и заглянул внутрь. Он поднял глаза к потолку и стал соображать, горит ли лампочка, правильно ли сделана проводка. Тут за спиной его послышался голос:

— Товарищ Варенуха?

Администратор почему-то вздрогнул, оглянулся и увидел перед собой какого-то толстяка, как показалось Варенухе, с кошачьей мордой и усами и одетого в клетчатое.

— Ну, я, — ответил Варенуха неприязненно, решив, что этот неизвестно откуда взявшийся толстяк тут же попросит у него контрамарку.

— Ах, вы? Очень приятно, — сказал толстяк и, вдруг развернувшись, трахнул Варенуху по уху так, что тот слетел с ног и с размаху сел на загаженное сиденье. И тут же в уборной появился второй, маленького роста, но необыкновенно плечистый, летом — в зимней шапке с ушами, как опять-таки показалось Варенухе.

Этот второй, будучи, очевидно, левшой, с левой руки развернулся и съездил сидящего администратора по другому уху. Крик «караул!» не вышел у Варенухи, потому что у него перехватило дух.

— Что вы, товарищи?.. — прошептал совершенно ополоумевший администратор, но, тут же сообразив, что слово «товарищи» никак не подходит к двум бандитам, избивающим человека в сортире среди бела дня в центре Москвы, прохрипел: «Граждане!» — сообразил, что и название «граждане» они не заслуживают, и тут же получил тяжкий удар уже не по уху, а по середине, так что кровь из носу потекла по толстовке. Тогда темный ужас охватил его. Ему показалось, что его убьют. Но его больше не ударили.

— У тебя что в портфеле, паразит? — спросил тот, который был похож на кота, — телеграмма? Отвечай!

— Те... телеграмма, — ответил администратор.

— А тебя дважды предупреждали по телефону, чтобы ты не смел никуда с ними ходить? Отвечай!

— Предупреждали, — ответил приведенный к одному знаменателю администратор, чувствуя новую волну ужаса.

— А ты все-таки потопал? Дай сюда портфель, гад! — прохрипел гнусаво второй и вырвал у Варенухи портфель из рук.

— Степу разыскиваете? Ябедник паршивый! — воскликнул возмущенный, похожий на кота. — Ну, ты его сейчас повидаешь.

И тут безумный администратор почувствовал, что стены уборной завертелись, и тут же исчезли и первый злодей, и второй.

БЕЛАЯ МАГИЯ И ЕЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Высоко приподнятая над партером сцена «Кабаре» пылала всеми лампами, и, кроме того, с боков на помост прожекторы изливали резкий свет. Зал, в котором партер окаймлялся ложами, похожими на лошадиные стойла, был освещен скупее, и в шести проходах отчетливо светились зеленые надписи «Выход».

На сцене же, пылающей, как в солнечный летний полдень, происходило то, что можно увидеть только во сне.

Человек маленького роста в дырявом котелке, с грушевидным пьяным носом, в клетчатых штанишках, в лакированных сапожках удивительно ездил на велосипеде.

Выкатившись на обыкновенном двухколесном, он издал победоносный крик, и велосипед его сделал круг, а затем совсем отвинтил на ходу заднее колесо и покатился на одном переднем, причем зал ответил ему коротким аплодисментом.

Затем человек, приветливо улыбнувшись партеру, перевернулся кверху ногами и поехал, вертя педали руками, причем казалось, что он разобьет себе вдребезги лицо. Тут же из-за кулис выехала торжественно блондинка-толстуха, сидящая на высочайшей блестящей мачте, над которой имелось маленькое колесо, и тоже заездила взад и вперед. Встречаясь с ней, человек издавал приветственный крик и снимал ногой котелок.

Затем из-за кулис выехал еще один молодой человек — в блестках по красному шелку, тоже на высокой мачте, наконец, вертя со страшной быстротой педали, выскочил малютка на крошечном велосипедике и зашнырял между взрослыми, вызвав взрыв смеха на галерее и рукоплескания. В заключение вся компания, известная под названием «велосипедная семья Рибби», выстроилась в шеренгу, подкатилась к самому краю сцены и тут внезапно остановилась, как раз в то мгновение, когда публике показалось, что вся она свалится на головы музыкантам в оркестре. Семья испустила победный клич, спрыгнула с велосипедов, сделала реверансы, и гром оркестра смешался

с беглым огнем ладош. Занавес закрыл семью, и под потолком «Кабаре» между паутиной трапеций враз загорелись белые шары. С шелестом и гулом публика потекла из зала. Наступил антракт перед последним отделением.

Единственным человеком во всем «Кабаре», которого ни в какой степени не интересовали велосипедные подвиги семьи Рибби, был Григорий Максимович Римский. Он сидел в конторе театра и был занят тревожными и важными мыслями. Начать с того, что случилась необыкновенная в жизни «Кабаре» вещь: администратор Варенуха не явился на спектакль. Только тот, кто знает, что такое контрамарочный хвост, что такое зрители, а таких всегда бывает несколько человек, которые потеряли билеты, что такое звонки от высокопоставленных лиц с просьбишкой устроить как-нибудь в партер племянника из провинции, — словом, тот, кто знает, каково значение администратора на спектакле, поймет, что значит его отсутствие.

Явившись за полчаса до начала спектакля, Римский и застал волнующийся и назойливый хвост, и растерянные лица служащих и капельдинеров. Первым долгом, конечно, нужно было по телефону разыскивать Варенуху, но сделать это оказалось невозможным, потому что, как на грех, все телефоны в здании испортились. Тогда Римский вынужден был взять на себя обязанности Варенухи и, усевшись в конторе, принять все меры к тому, чтобы пустить нормально спектакль. Он сам ругался с контрамарочниками из хвоста, сам удовлетворил тех, кто заслуживал удовлетворения, и спектакль пошел.

Справиться-то со всем этим можно было. Не это грызло сердце Римского. А то обстоятельство, что Варенуха пропал именно в тот день, когда днем случились такие странные обстоятельства со Степой. И как ни старался Григорий Максимович отогнать от себя какие-то странные подозрения, отогнать их не сумел: лезла в голову определенная чертовщина — невольно ставились в связь исчезновение Степы и положительно ничем не объяснимое неприбытие Варенухи.

Но так как без объяснения ум человеческий обойтись никак не может, то и к вечеру они пришли на помощь Римскому,

И были они таковы: никакая машина под Степой не ломалась, а просто Степа уехал за город, не утерпел и нарезался до положения риз и дать знать о себе не может. Для Варенухи: увы, Варенуха арестован. Ничего другого быть не могло. Последнее обстоятельство привело Григория Максимовича в самое сумрачное состояние. Почему, за что могли схватить Варенуху? Римский еще более постарел, и на небритом его лице появились складки. Он злобно и затравленно косился на каждого входящего, грубил и нервничал. А входили часто, истязали вопросами о том, где Варенуха. Варенуху искали какие-то посетители, Варенуху требовали за кулисы. Положение финансового директора было пренеприятно.

В десять часов вечера в разгаре второго отделения директору доложили, что Воланд прибыл с помощником, и директору пришлось идти встречать и устраивать гастролера. Римский прошел за кулисы и постучался в уборную, где обосновался приезжий.

Любопытные лица под разными предлогами то и дело заглядывали в уборную. Приезжий поразил все «Кабаре» двумя вещами: своим замечательным фраком и тем, что был в черной маске.

Впрочем, свита приезжего также примечательна. Она состояла из того самого длинного в пенсне и в клетчатом, с наглой рожей, и толстого черного кота.

Римский приветствовал Воланда с некоторым принуждением. В голове у директора была форменная каша. Он осведомился о том, где же аппаратура артиста, и получил от Воланда краткий ответ, что он работает без аппаратуры.

— Наша аппаратура, товарищ драгоценный, — ввязался в разговор никем не прошенный наглец в пенсне, — вот она. Эйн, цвей, дрей! — И тут длинный, повертев перед глазами недовольного Римского узловатыми пальцами, вытащил из-за уха у кота собственные Римского часы, которые, вне всяких сомнений, были при Римском во время входа в уборную. Шутовски раскланявшись, клетчатый буффон на ладони подал часы пораженному директору, и тот под восхищенные аханья портного и лиц, заглядывающих в дверь, водворил часы на место. У Римского мелькнула мысль о том, что встретиться с длинным в трамвае было бы крайне неприятно.

Тут загремели звонки со сцены, и под их грохот был выкинут второй фокус почище, чем с часами. Именно: кот подошел к подзеркальному столику, лапой снял пробку с графина, покачнул его, налил мутной воды в стакан и, овладев им обоими пухлыми лапами, с удовольствием выпил. При виде такой штуки даже и ахать не стали, а просто притихли.

Через три минуты с шелестом раздернулся занавес и вышел новый персонаж. Это был пухлый, как женщина, хронически веселый человек в подозрительном фраке и не совсем свежем белье. Весь зал нахмурился, увидев его. Это был конферансье Мелузи.

— Итак, товарищи, — громко заговорил Мелузи, — сейчас перед вами выступит знаменитый немецкий маг Воланд. Вы сами понимаете, — хитро сощурив глаза, продолжал Мелузи, — что никакой магии на самом деле не существует. Мосье Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, а мы все за овладение техникой! Итак, попросим дорогого гостя!

Произнеся всю эту ахинею, Мелузи отступил, сцепил обе ладони и замахал ими.

Публика ответила аплодисментом.

Выход Воланда, клетчатого и кота был эффектен. Черномасочный великан в блистательном фраке с алмазами на пальцах, клетчатый, который теперь в ярком свете лампионов оказался явным клоуном, и кот выстроились перед рампой.

Отшумел аплодисмент. Сеанс пошел сразу же необычно и чрезвычайно заинтересовал публику.

— Кресло мне, — сказал Воланд.

И тут же неизвестно откуда появилось кресло, в которое и уселся Воланд. Публика притихла. Кулисы были забиты народом, кончив-

шие свои номера артисты напирали друг на друга, и среди них виднелось бледное, хмурое лицо Римского.

Дальнейшее поведение Воланда еще более поразило публику. Развалившись в кресле, артист ничего не показывал, а оглядывал публику, машинально покручивая ухо любимого кота, приютившегося на ручке кресла.

Наконец артист прервал молчание.

— Скажи мне, рыцарь, — негромко осведомился он у клетчатого гаера, — так это и есть, стало быть, московское народонаселение.

— Точно так, — почтительно ответил клетчатый.

— Так, так, так... — загадочно протянул Воланд. — Давненько, давненько я не видел москвичей. Надо полагать, они сильно изменились. Город значительно изменился. Это я могу засвидетельствовать. Появились эти трамваи, автомобили...

Публика внимательно слушала, полагая, что это прелюдия к фокусам. На лице у Мелузи мелькнуло выражение некоторого недоразумения, и он чуть приподнял брови. Он счел нужным вмешаться.

— Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, которая значительно выросла в техническом отношении, и москвичами, — заговорил сладко Мелузи, по профессиональной привычке потирая руки.

Тут Воланд, клоун и кот повернули головы в сторону конферансье.

— Разве я выразил восхищение? — спросил артист у клетчатого.

— Нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, — доложил клетчатый.

— Так?..

— Просто он наврал, — пояснил клетчатый и обратился к Мелузи, прибавив: — Поздравляю вас соврамши.

На галерке кто-то рассмеялся, за кулисами разлилось недоумение. Мелузи вздрогнул.

— Но меня, конечно, не столько интересуют эти автобусы, брюки, телефоны и прочая...

— Мерзость! — подсказал клетчатый угодливо.

— Спасибо, — сказал Воланд, — сколько более важный вопрос — изменились ли эти горожане психологически?.. Э?

— Важнейший вопрос, сударь, — подтвердил и клетчатый.

Римского, конферансье, артистов в кулисах охватило полнейшее недоумение, но, как бы угадав их чувства, артист молвил снисходительно:

— Ну, мы заболтались, однако, а публика ждет чудес белой магии. Фагот, покажите им что-нибудь простенькое.

Зал шевельнулся, и тысячи четыре глаз сосредоточились именно на клетчатом.

Тот щелкнул пальцами, крикнул залихватски:

— Три... четыре!

И тотчас, поймав в воздухе атласную колоду карт, начал ее тасовать. Колода развернулась сыплющейся лентой, а потом, фыркнув, перелетела через сцену и сложилась в лапе у кота. Тот немедля соско-

чил с кресла, стал на задние лапы, а передними стасовал колоду и выпустил ее лентой в воздух. Колода с шелестом змеей взвилась над головами, а затем клетчатый, раскрыв рот, как птенец, всю ее, карту за картой, проглотил.

— Класс! — шепнули за кулисами. Кот потряс публику. Из-за этого даже и аплодисмент не вырвался. Жонглеров публика уже видела, но никто никогда не видел, чтобы животное могло проделать такой фокус с колодой.

Тем временем клетчатый воскликнул — ran! — и выстрелил из неизвестно откуда появившегося в руке у него пистолета, а Воланд указал пальцем в партер и сказал звучно:

— Колода эта теперь в кармане у вас. Да, да. Седьмой ряд, место семнадцатое.

В партере зашевелились, и затем какой-то гражданин, густо покраснев, извлек из кармана колоду. Стали привставать.

Гражданин застенчиво тыкал колодой в воздух.

— Пусть она останется у вас на память. Она вам пригодится для покера, гражданин Парчевский. Вы совершенно справедливо заметили вчера, что жизнь без покера представляет собой одну волынку.

И видно было, как в седьмом ряду тот, фамилия которого точно была Парчевский, выпучил глаза и колоду положил на колени.

— Стара штука, — раздался голос на галерке, — они уговорились!

— Вы полагаете? — ответил голос со сцены. — Так вот что: она у вас в кармане!

Скептик сунул руку в карман штанов, но вытащил из кармана не колоду, а пачку червонцев, перевязанную банковским способом. И на пачке той была надпись — «1000 рублей».

— Червонцы, червонцы, — послышались голоса на галерке.

— Это червонцы... — недоуменно улыбаясь, сообщил скептик, не зная, что ему делать с пачкой.

— Разве червонцы хуже игральных карт? — спросил Воланд. — Впрочем, если они вам не нравятся, отдайте их соседу.

Слова Волан да вызвали большой интерес на галерке, но червонцев скептик никому не отдал, а стал ковырять в пачке, стараясь дознаться, настоящие это деньги или какие-то волшебные.

— Сыграйте со мной в такую колоду! — весело попросил кто-то в ложе.

— Авек плезир, — отозвался клетчатый и крикнул, — прошу всех глядеть в потолок! Три!

Тут же сверкнул огонь и бухнул выстрел. В потолке что-то треснуло, а затем меж нитями трапеций, притянутых к куполу, мелькнули белые листки и затем, трепеща и крутясь, пошли книзу. Две тысячи голов были задраны кверху.

Один листок, два, десять, затем дождь стал гуще, и менее чем через минуту падающие червонцы достигли партера.

Листы валили и валили, и червонный дождь становился все гуще. Большинство бумажек падало в центр партера, но некоторые относило к ложам.

Снежный денежный дождь произвел очень большое впечатление на публику. Вначале это было просто удивление, причем головы опускались по мере снижения крупного снега. Затем глаза стали вертеться — следили полет денег.

Когда же червонцы стали падать на головы, колени, касаться рук, глаза насторожились.

Одна рука вытянулась, взяла, другая... Начали рассматривать, мять... А они все сыпались и сыпались.

Беспокойно зашевелилась галерка. Тогда кот отмочил такую штуку: войдя на авансцену, он надул щеки и дунул вверх. Вихрем тотчас понесло бумажки на галерею, которая встретила их гораздо более оживленно, нежели партер.

Гамму чувств можно было точно определить. Началось со внимания, а затем во всех глазах ясно выразилось одно желание — понять, настоящие или нет?

Многие глаза устремились сквозь бумажки на свет огней, и тотчас праведные и несомненные водяные знаки кинулись в глаза. Запах также не вызывал ни малейшего сомнения: это был очаровательный, ни с чем не сравнимый, лучший на свете запах свежих червонцев. С номерами и сериями и многочисленными и солидными подписями.

Настоящие? Тут зловещий блеск показался во многих очах. Вывод напрашивался сам собой: если подлинные, то не попробовать ли... и... и...

Первые движения были стыдливы, вороваты и быстры. Раз в карман, раз в карман. Но потом публика осмелела. Никто не запрещал присваивать сыплющиеся деньги. Многие неопределенно посмеивались, дамы в партере розовели. Видно было, как двое молодых людей снялись из партера и, несколько пригибаясь и имея такой вид, что им нужно отлучиться срочно по нужнейшему делу, отбыли из зала. Один из них, уходя, поймал еще штуки три червонцев.

На галерке произошла суета. Завязался узел. Послышался голос: «Да ты не толкайся. Я тебя толкну, сволочь». И там же вдруг треснула звучная плюха. Публика заохала, глядела на галерку. Там произошла возня и вырос внезапно милиционер. Кого-то куда-то повлекли.

Недоумение от такого фокуса в кулисах и на сцене достигло наивысшей степени. Милицейский шлем замелькал у занавеса. С другой стороны появилась пожарная ослепительная каска.

Мелунчи решительно не знал, что делать, что говорить. Он глядел то на трех артистов, которые теперь уже оказались сидящими в ряд на трех креслах, то на валящийся с неба поток, то на дирижера. Последний же в это время, глядя не на оркестр, а в зал, машинально махал палкой, доигрывая вальс. В публике гудели.

Мелунчи наконец собрался с духом и выступил. «Гипноз, гипноз...» — думал он.

— Итак, товарищи, — заговорил конферансье, — мы с вами видели сейчас замечательный случай так называемого массового гипноза. Опыт научный, доказывающий как нельзя яснее, что никаких чудес

не существует. Итак (тут конферансье зааплодировал в совершеннейшем одиночестве), попросим мосье Воланда раскрыть нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки исчезнут так же внезапно, как и появились!

На лице при этом у конферансье было выражение уверенное, а в глазах полнейшая неуверенность и мольба.

Публике его речь не понравилась. Настало молчание. В этот момент двое исчезнувших молодых людей подозрительной походкой вернулись в партер и, усевшись, тут же занялись ловлей бумажек.

Молчание прервал клетчатый.

— Это так называемое вранье, — заскрипел он, — бумажки, граждане, настоящие!

— Браво! — крикнули на галерке. Публика в партере зашумела.

— Между прочим, этот, — тут клетчатый указал на Мелунчи, — мне надоел. Суется все время, портит сеанс. Что бы с ним такое сделать?

— Голову ему оторвать! — буркнул на галерке кто-то.

— О! Идея! — воскликнул клетчатый.

— Надоел! — подтвердили на галерке.

Весь партер уставился на сцену, и тут произошло неслыханное — невозможное. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем прыгнул, как тигр, прямо на грудь к несчастному Мелунчи и пухлыми лапами вцепился в светлые волосы. Два поворота — вправо-влево — и кот при мертвом молчании громадного зала сорвал голову с исказившимися чертами лица с толстой шеи. Две тысячи ртов в зале издали звук «ах!». Из оборванных артерий несколькими струями ударили вверх струи крови, и кровь потоками побежала по засаленному фраку. Безглавое тело нелепо загребло ногами и село на пол. Кровь перестала бить, а кот передал голову клетчатому клоуну, и тот, взяв ее за волосы, показал публике!

Дирижер поднялся со своего кресла и вылупил глаза. Головы, грифы скрипок и смычки вылезли из оркестровой ямы. Тут в театре послышались женские вскрикивания.

Оторванная голова повела себя отчаянно. Дико вращая вылезающими глазами, она разинула косо рот и хриплым голосом на весь театр закричала:

— Доктора!

На галерке грянул хохот. Из кулис, забыв всякие правила, прямо на сцену высунулись артисты, и среди них виден был бледный и встревоженный Римский.

— Доктора! Я протестую! — дико провыла голова и зарыдала.

В партере кто закрывал лицо руками, чтобы не видеть, кто, наоборот, вставал и тянулся, чтобы лучше рассмотреть, и над всем этим хаосом по-прежнему шел снежный червонный дождь.

Совершенно же беспомощная голова тем временем достигла отчаяния, и видно было, что голова эта сходит с ума. Безжалостная галерка каждый вопль головы покрывала взрывом хохота.

— Ты будешь нести околесину в другой раз? — сурово спросил клетчатый.

Голова утихла и, заморгав, ответила:

— Не буду.

— Браво! — крикнул кто-то сверху.

— Не мучьте ее! — крикнула сердобольная женщина в партере.

— Ну что ж, — вопросил клетчатый, — простим ее?

— Простим! Простить! — раздались вначале отдельные голоса, а затем довольно дружный благостный хор в партере.

— Милосердие еще не вовсе вытравлено из их сердец, — сквозь зубы молвил замаскированный на сцене и прибавил, — наденьте голову.

Вдвоем с котом клетчатый, прицелившись на скорую руку, нахлобучили голову на окровавленную шею, и голова, к общему потрясению, села прочно, как будто никогда и не отлучалась.

— Маэстро, марш! — рявкнул клетчатый, и ополоумевший маэстро махнул смычком, вследствие чего оркестр заиграл, внеся еще большую сумятицу.

Дальнейшее было глупо, дико и противоестественно. Под режущие и крякающие звуки блестящих дудок Мелунчи, в окровавленном фраке, с растрепанными волосами, шагнул раз, шагнул другой, глупо ухмыльнувшись. Грянул аплодисмент. Дикими глазами глядели из кулис. Мелунчи скосился на фрак и горестно улыбнулся. Публика засмеялась. Мелунчи тронул тревожно шею, на которой не было никакого следа повреждения, — хохот пуще.

— Я извиняюсь, — начал было Мелунчи, почувствовал, что теряется, чего никогда в жизни с ним не было.

— Прекратите марш!

Марш прекратился так же внезапно, как и начался, и клетчатый обратился к Мелунчи:

— Ах, фрачок испортили? Три... четыре! Клетчатый вооружился платяной щеткой, и на глазах зрителей с костюма конферансье не только исчезли все кровяные пятна, но и самый жилет и белье посвежели. Засим клетчатый нахватал из воздуха бумажек, вложил в руку Мелунчи, подтолкнул его в спину и выпроводил вон с таким напутствием:

— Катитесь. Без вас веселей!

И Мелунчи удалился со сцены. Под звуки все того же нелепого марша, который по собственной инициативе заиграл дирижер.

Тут все внимание публики вернулось к бумажкам, которые все еще сеялись из-под купола.

Нужно заметить, что фокус с червонцами, по мере того как он длился, стал вызывать все большее смущение, и в особенности среди персонала «Кабаре», теперь уже наполовину высунувшегося из кулис. Что-то тревожное и стыдливое появилось в глазах у администрации, а Римский, тревога которого росла почему-то, бросив острый взгляд в партер, увидел, как один из капельдинеров, блуждающим взором шнырнув в сторону, ловко сунул в кармашек блузы купюру и, по-видимому, не первую.

Что-то соблазнительное разливалось в атмосфере театра вследствие фокуса, и разные мысли, и притом требующие безотлагательного ответа, копошились в мозгах.

Наконец назрело.

Голос из бельэтажа спросил:

— Бумажки-то настоящие, что ли? — Настала тишина.

— Будьте покойны . . . .

ЗАМОК ЧУДЕС

Ночью на 1-е сентября 1933

Лишь только неизвестные вывели из подворотни Никанора Ивановича Босого и в неизвестном направлении повели, странное чувство овладело душой председателя.

И даже трудно это чувство определить. Босому начало казаться, что его, Босого, более на свете нет. Был председатель Босой, но его уничтожили. Началось с ощущения уничтоженности, потери собственной воли. Но это очень быстро прошло. И, шагая между двух, которые, как бы прилипши к плечам его, шли за ним, Босой думал о том, что он... он — другой человек. О том, что произошло что-то, вследствие чего никогда не вернется его прежняя жизнь. Не только внешне, но и внутренне. Он не будет любоваться рассветом, как прежний Босой. Он не будет есть, пить и засыпать, как прежний Босой. У него не будет прежних радостей, но не будет и прежних печалей. Но что же будет?

Этого Босой не знал и в смертельной тоске изредка проводил рукой по груди. Грустный червь вился где-то внутри у его сердца, и, может быть, этим движением Босой хотел изгнать его.

Неизвестные посадили председателя в трамвай и увезли его в дальнюю окраину Москвы. Там вышли из трамвая и некоторое время шли пешком и пришли в безотрадные места к высочайшей каменной стене. Вовсе не потому, что москвич Босой знал эти места, был наслышан о них, нет, просто иным каким-то способом, кожей, что ли, Босой понял, что его ведут для того, чтобы совершить с ним самое ужасное, что могут совершить с человеком, — лишить свободы.

Босой Никифор Иванович был тупым человеком, это пора признать. Он не был ни любопытен, ни любознателен. Он не слушал музыки, не знал стихов. Любил ли он политику? Нет, он терпеть не мог ее. Как относился он к людям? Он их презирал и боялся. Любил смешное? Нет. Женщин? Нет. Он презирал их вдвойне. Что-нибудь ненавидел? Нет. Был жесток? Вероятно. Когда при нем избивали, скажем, людей, а это, как и каждому, Босому приходилось нередко видеть в своей однообразной жизни, он улыбался, полагая, что это нужно.

Лишь только паскудная в десять человеческих ростов стена придвинулась к глазам Босого, он постарался вспомнить, что он любил.

И ничего не вспомнил, кроме клеенчатой скатерти на столе, а на этой клеенке тарелку, а на тарелке голландскую селедку и плавающий в мутной жиже лук. Но тут же в медленных мозгах Босого явилась мысль о том, что, что бы ни случилось с ним за этой стеной, сколько бы он ни провел за нею времени, был ли бы он. . . . .

ПОЦЕЛУЙ ВНУЧАТЫ

Человеческая рука повернула выключатель настольной лампы, и кабинет дирекции «Кабаре» осветился зеленым светом, а окна почернели. Рука принадлежала Римскому. Знаменитый, небывалый еще в истории «Кабаре» вечер закончился минут пять тому назад. Было около 12 часов ночи. Римский чувствовал, что публика еще течет по всем галереям к выходам «Кабаре», он слышал ее глухой шум и плеск, но директор не захотел дожидаться окончания разъезда. Директору нужно было остаться одному, чтобы какие-то чрезвычайной важности мысли привести в порядок и что-то немедленно предпринять. Римский оглянулся почему-то пугливо и погрузился в облупленное кожаное кресло. Первым долгом он сжал голову руками, что нисколько и ничему не помогло. Тогда он отнял руки и уставился на поверхность стола. Сперва он глядел отсутствующими глазами, но затем внимание к ближайшим предметам вернулось к нему. Однако ему до смерти не хотелось бы видеть этих близких предметов. «Ну, конечно, я так и ожидал!» — подумал Римский, и его передернуло.

— Ах, ты пакость, — сквозь зубы протянул он.

Перед ним лежал дожидавшийся уже его запечатанный пакет с фотограммой. Вскрывать, однако, нужно было. И Римский вскрыл конвертик. Фотограмма эта, снятая явно и несомненно с записки Степы, была ясна и осмысленна:

«Вылетел быстроходным Москву буду четвертого утром Проверьте получило ли ГПУ мои телеграммы Наблюдайте Воланда Лиходеев».

Римский вновь сжал голову и заскреб в волосах, но тут какой-то уличный шум привлек его.

Кабинет был угловой комнатой во втором этаже здания, и те окна, спиной к которым помещался Римский, выходили в летний сад, а одно, по отношению к которому Римский был в профиль, на Садовую улицу. Ей полагалось быть в это время шумной. Десятки тысяч народу выливались из «Кабаре», ближайших театров и синема. Но этот шум был необычайный. Долетела милицейская залихватская тревожная трель, затем послышался как бы гогот. Римский, нервы которого явно расходились и обострились, ни секунды не сомневался в том, что происшествие имеет ближайшее отношение

к его театру, а следовательно, и к нему самому, поднялся из-за стола и, распахнув окно, высунулся в него.

Предчувствие было правильно. Совсем близко под собой Римский увидел возбужденно спешащую из парадных дверей последнюю вереницу народу, а несколько поодаль, на широченном асфальтовом тротуаре, обезумевшую даму в одной короткой сорочке, из которой, сияя под фонарями, соблазнительно выпирали ее полные плечи. Сорочка была заправлена в обычные шелковые дамские штаны, на голове у дамы была модная шляпенка, лицо у дамы было искаженное, а платья на даме не было.

Кругом рвалась к даме толпа кепок и дико гоготала, милиционерские шлемы мелькали тут и там, а какой-то гражданин, сдирая с себя летнее пальто, никак не мог от волнения выпростать руку из рукава.

Дама отчаянно крикнула:

— Да скорее же, дурак! — И гражданину наконец удалось сорвать с себя пальто и укутать присевшую от стыда и отчаяния даму.

Но тут же из толпы, которая гоготала все громче и тыкала пальцами, и даже улюлюкала, вырвался какой-то в сорочке, в кальсонах, в лаковых штиблетах и великолепной заграничной шляпе. Он сиганул, как заяц, потерял эту самую шляпу и кинулся в боковую калитку летнего кабаретного сада, но там ему отрезала путь толпа обычных садовых хулиганов. Началась там какая-то кутерьма.

Тут в другом месте закипел другой водоворот. И эта сцена была соблазнительнее предыдущих. Именно: широкомордый и сильно выпивший лихач пытался тронуть с места свою поджарую лошадь в наглазниках, чтобы увезти мужчину, который был совершенно гол. На нем не было и белья. Голый, вертясь как на иголках, одной рукой пытался закрыться газетой «Вечерняя Москва», а другой, в которой была зажата пачка червонцев, тыкал в спину лихача, суля ему громадные деньги. Лихач с дорогой душой увез бы несчастного, но представители милиции преградили путь.

Минут пять понадобилось, чтобы рассеялись возбужденные толпы с Садовой. Полуодетые исчезли, а голого увез на том же лихаче единственный не изумившийся ничему происходящему расторопный милиционер. Последний проявил великолепную находчивость и энергию. Он велел лихачу закрыть фартуком и верхом пролетку, и несчастный голый скорчился в экипаже, как бедный, затравленный толпой зверек.

Римский закрыл окно и вернулся к столу. Директор не удивился происшедшему на улице, да и нечему было удивляться. Не было никаких сомнений в том, что эти раздетые были из «Кабаре» — те самые, которые соблазнились и приобрели вещи в сомнительном магазине клетчатого гаера. Фокус выплеснулся за пределы «Кабаре», но с фокусом Римский примирился, как бы странен он ни был. Вне сомнений, заграничные фокусники применяли гипноз. Последствия сеанса...

— Черт с ним, с гипнозом, — сморщившись, пробормотал Римский и уставился в фотограмму.

Сейчас самым важным для Римского было одно: решить вопрос о том, нужно ли звонить в ГПУ или нет. На первый взгляд и сомнений быть не могло. Когда директора театров залетают во Владикавказ, а администраторы театров исчезают... звонить необходимо. И тем не менее руки у директора сделались как бы деревянными. Почему, почему вы, Григорий Максимович, не беретесь за трубку телефона? Да, это трудно было бы объяснить!

Здание театра начало стихать. Публика покинула его, а затем ушли цепью и капельдинеры. В здании осталась только одна дежурная, пожарный на своем посту за сценой. В кабинет к директору никто не постучал, так как было известно, что Григорий Максимович нередко остается работать в кабинете. Прошли последние гулкие шаги по коридору, а затем стала полная тишина.

Римский курил папиросу за папиросой, морщился и о чем-то думал. Чем больше он курил, чем больше думал, тем больше у него расстраивались нервы. Не только им овладела тоска, но даже и какие-то воспоминания, жгучие, неприятные.

Печальная цепь его размышлений была прервана звонком. Ожил телефон на столе. Тут всякому бы стало понятно, насколько развинтились нервы у директора. Он вздрогнул так, как если бы его укололи в бок. Но оправился и снял трубку. Прежде всего, на его «Да!» никто ничего не сказал, но почему-то Римский угадал, что кто-то есть у аппарата. Ему почудилось даже, что он слышит, как кто-то, притаившись, дышит у аппарата.

— Да... — повторил тревожно директор.

Тут он услышал голос. И голос этот хрипловатый, женский, низкий был Римскому не знаком.

— Пришлю к тебе гонца, — сказала дальняя женщина, — берегись, Римский, чтобы он не поцеловал тебя!

И голос пропал. Римский повесил трубку.

— Хулиганы! — шепнул злобно и страдальчески директор, но никакой уверенности в его голосе не было. Тревога окончательно овладела им. Он пожал плечами, потом пробормотал:

— Надо будет валерианки принять.

А затем добавил веско и решительно:

— Так вот что, Григорий Максимович, — звонить или не звонить? Проверю цепь, — шепнул сам себе Григорий Максимович.

И он проверил ее. Она была такова. Внезапно приехал из-за границы артист, проклятый Степка с ним заключил договор. После этого Степка напился. После этого Степка пропал. Дикие телеграммы. Посылают в Гепеу Внучату, а он пропал. После этого — сеанс артиста, невероятный какой-то. Голые на улицах. Червонцы. Но ведь ясно же телеграфирует Степка. Надо звонить в Гепеу.

Так говорил ум Григория Максимовича, но кроме ума что-то еще было в нем, что не позволяло ему поднять руку к телефонной трубке, и он не мог уяснить себе, что это именно было. Колебания его приняли характер мучений. Когда он почувствовал себя совершенно разбитым, круглые часы начали бить полночь. Последний удар уныло и протяжно разнесся по директорскому кабинету, еще сильнее

подчеркнув ту тишину, которая стояла в пустом театре. Бой часов еще более возбудил Римского, и он принял трусливое решение еще немножко обождать — хотя чего ждать и сколько времени ждать, он не мог бы сказать. Чтобы забыться, развлечь себя, он решил заняться бумагами. Портфель он взял за угол, подвез к себе и вынул пачку документов. Сделав над собой усилие, он принялся за верхний, но что-то мешало ему сосредоточиться. Первое ощущение появилось в лопатках, захотелось как будто передернуть ими. Потом в затылке. Потом общее ощущение: кто-то близко есть и кто-то смотрит. Болезненно поморщившись, Римский отмахнул дым и посмотрел вбок. Там была несгораемая касса и ничего более не было. Он повел глазами вверх. С карниза никто не смотрел. Он вновь уперся глазами в строчку «...сектор искусств в заседании от 15-го сего июня принял резолюцию, единодушно...», и вдруг внезапно и резко повернулся и глянул в окно. Сердце у него покатилось, отнялись ноги.

Прилипши к стеклу венецианского окна, расплющив нос, на Римского глядел Внучата. Смертельный ужас Римского объяснялся несколькими причинами. Первое: выражением глаз Внучаты — в них была странная горящая жадная злоба. Второе, что поразило Римского, — это рот Внучаты: это был рот с оскаленными зубами. Но главное было, конечно, не это все, а то, что Внучата вообще за окном подсматривает почему-то ночью. И наконец, что было хуже всего, это то, что окно находилось во втором этаже, стало быть, пропавший Внучата ночью поднялся по гладкой стене, чтобы подсматривать, или же влез на дерево — липу, толстые ветви которой, чуть тронутые зеленоватым светом луны, отчетливо виднелись за окном.

Римский слабо вскрикнул и невольно закрылся ладонью, тотчас ее отнял и, дрожа, глянул опять и увидел, что никакого лица Внучаты за окном нет, да, вероятно, и не было. Дрожа, стуча зубами, Римский опять вспомнил про валерианку. У него мелькнула мысль тотчас броситься к окну, распахнуть его и проверить, тут ли Внучата, но Римский понял, что ни за что он этого не сделает. Он приподнялся, протянул руку к графину, расплескал воду, хлебнул, потом вытер лоб и понял, что лоб в холодном поту.

Тут дверь стала открываться. Римский взялся за сердце, вошел мужчина, и Римский узнал Внучату.

Директор даже отшатнулся и на некоторое время утратил дар речи. Внучата очень удивился.

— Что с тобой, Григорий Максимович? — спросил администратор каким-то не своим голосом.

Григорий Максимович оправился и произнес:

— Ты меня так испугал... вошел внезапно... Ну, говори же, где ты пропал?

И Римский протянул руку. Но как-то так вышло, что Внучата ее не пожал. Администратор развел руками и воскликнул:

— Ну и ну!

— Ну, ну, — нетерпеливо воскликнул Римский.

— Ну, в ГПУ и был.

— Я испугался, уж подумал, не задержали ли тебя.

— Зачем меня задерживать, — с достоинством сказал Внучата, — просто выясняли дело.

— Ты хоть бы дал знать...

Внучата хитро подмигнул и ответил:

— Дать знать... сказали — «не стоит», — и продолжал: — Ну-с, выяснили нашего дорогого Степана Богдановича.

— Где же он?

— В Звенигороде, в больнице, — торжественно сказал Внучата.

— Позвольте-е! — возмущенно вскричал Римский и сунул последнюю фотограмму Внучате, но тот даже и читать не стал.

— Плюнь и спрячь, — заговорил он, пододвинул кресло и, взяв сложенную афишу, заслонил ею лампу от себя. Римский глянул удивленно, а Внучата пояснил: «Да глаз болит».

Тут Римский всмотрелся и увидел, несмотря на затемненный свет, что левый глаз у Внучаты запух, а под глазом синяк и что весь администратор выглядит очень плохо. Не то что бел, а даже желт, глаза странные, и, что кроме всего прочего, шея администратора завязана черным платком. Заметив, что Римский недоуменно глядит на черный платок, администратор пояснил с некоторым раздражением:

— Да все из-за сегодняшней кутерьмы. В такси садился, высунулся... дверцей шофер и прихлопнул, и глаз повредил, и шею, проклятый, изодрал. — Администратор потыкал в платок пальцем и вдруг так раздражился при воспоминании о неловком шофере, что даже зубы оскалил. Тут что-то стукнуло в голову Римскому, он вздрогнул и подумал, что все это странно. «Как же я?.. Был он в окне? Или не был? Фу, глупости! Не мог, конечно, быть».

«Но тогда... — еще мелькнула мысль, — выходит, что я галлюцинировал?» Необыкновенно скверно и тревожно стало на душе у директора. И, пожалуй, молчание продлилось больше, чем нужно, и пристально и тревожно двое смотрели друг на друга. Римский мучительно хотел спросить — прошел ли Внучата через боковой ход из сада или через главный с улицы... «Спросить?» — резанула быстрая мысль.

И не спросил.

Вместо этого он попросил:

— Ну, рассказывай же.

Рассказ Внучаты был чрезвычайно интересен. В ГПУ обратили необыкновенное внимание на случай с директором «Кабаре» и разобрали его в один вечер. Все выяснили и всех нашли. И все расшифровалось.

Оказалось, что Степан Богданович, находясь уже, очевидно, в умоисступлении каком-то, не ограничился вчерашней попойкой в Покровском-Стрешневе, а начал, надо полагать, по инерции чертить и на следующий день. Так и было, как сказал Воланд по телефону. Степан взял машину и двух дам и, вместо того чтобы отправиться на службу, отправился, имея в машине водку, коньяк, а также Барзак...

— Как, и про Барзак известно? — спросил заинтересованный Римский.

— Ну, брат, видел бы ты работу! — сказал многозначительно Внучата. — Красота! Стало быть, Барзак... расположился на берегу реки...

Римский втянул голову в плечи, а глаза и руки возвел к потолку. «Вы, мол, видите, добрые люди, какого директора посадили мне на шею?»

— ...дам напоил до такого состояния, что просто непристойно рассказывать, сам нарезался до того, что отправился на телеграф зачем-то, свел там дружбу с телеграфистом, напоил и его, а затем стал, шутки ради, «садить», как выразился Внучата, эти самые глупые телеграммы в Москву...

— Это невероятно... — тихо сказал Римский, не спуская взора с Внучаты.

— ...никакого Масловского помощника во Владикавказе нет и не было...

— Но позволь, — вдруг остановил Внучату Римский, — но пометка на телеграммах — «Владикавказ»?..

— Ах, я же тебе говорю, — почему-то раздражаясь до такой степени, что даже вскочил, отозвался Внучата, — напоил телеграфиста, тот печатал вместо «Звенигород» — «Владикавказ»!..

Римский даже глазами заморгал, подумал — «чего он все время раздражается», а вслух попросил:

— Ну, ну, дальше...

— Дальше оказалось лучше... Кончилось скандалом. Обоих арестовали... дам тоже...

Как ни был пышен рассказ Внучаты, какие бы в нем ни красовались авантюрные подробности и лихие приключения с битьем морды какому-то звенигородскому дачнику, с совместным и бесстыдным купанием с дамами на пляже, — этот изумительный рассказ все менее и менее занимал Римского, внимание которого целиком поглотил сам рассказчик. И немудрено. Чем дальше повествовал Внучата, тем страннее становился.

За время своего семичасового отсутствия Внучата приобрел мерзкую манеру как-то не то причмокивать, не то присвистывать губами. Это было очень противно. Кроме того, Внучата стал беспокоен, ежеминутно почему-то оборачивался на часы, как будто чего-то ждал. Хуже всего были глаза, в которых явственно читалась злоба, подозрительность и беспокойство.

Сейчас, рассказывая о том, как Степа с револьвером в руках гонялся по пляжу за звенигородцами, Внучата, возбудившись, вскочил и продолжил речь, бегая по кабинету. Причем в самых неподходящих местах начал как-то припрыгивать, от чего Римскому сделалось вдруг страшно. «Да что он... с ума сошел?..» — помыслил Римский.

Изменения в администраторе, лишь только он вскочил из затемненного угла у лампы, выступили чрезвычайно отчетливо. Кругленького, маслянистого, гладко выбритого Внучаты теперь и в помине не было.

Перед Римским беззвучно пританцовывал, рассказывая чепуху, восково-бледный, дергающийся, осунувшийся человек. В довершение всего Римский открыл еще одну странную деталь: угол рта у Внучаты был вымазан чем-то ржаво-красным, равно как и правый подстриженный усик. Еще один пытливый взгляд и, сомнений быть не

могло, — неряха Внучата, расколотив лицо дверкой автомобиля, не вытер как следует кровь — это она запеклась.

Но было, было еще что-то во Внучате, уже совершенно необыкновенное, но что это именно, Римский не мог понять никак. В то же время ему казалось, что если он поймет, то упадет в обморок. Он морщился, воспаленными глазами следил за администратором, теперь уже мимо ушей пропуская половину того, что тот сообщал.

А тот, покончив со Степой, перешел к Воланду. Степино дело кончилось худо. Когда его схватили за буйство в Звенигороде, оказалось, что надлежит его помещать не в тюремный замок, а в психиатрическую лечебницу, что и было сделано. Ибо Степа допился до белой горячки.

Что касается Воланда, то тут все обстоит в полном благополучии. Приглашен Наркомпросом. Гипнотизер. Совершенно незачем за ним следить...

Тут новенькое что-то приключилось с администратором. Изложив все, что следовало, он вдруг утратил свою раздражительную живость, закрыл глаза и повалился в кресло. И наступило молчание. Множество встречных вопросов приготовил Римский Внучате, но не задал ни одного. Упорным взором он уставился в восковое лицо Внучаты и холодно, решающе мысленно сказал себе: «Все, что сейчас говорил здесь Внучата, все это ложь, начиная с дверцы автомобиля... Степы не было в Звенигороде, и, что хуже всего, сам Внучата и не думал быть в ГПУ!..» Но если так, то здесь кроется что-то непонятное, преступное, странное... Лишь только об этом подумал Римский, как жиденькие волосы с пролысиной шевельнулись на голове побелевшего Римского. Всмотревшись в кресло, в котором раскинулся администратор, Римский понял то необыкновенное, что было хуже окровавленной губы, прыжков и нервной речи. Кресло отбрасывало тень - черные стрелы тянулись от ножек, черная спинка лежала громадой на полу, но головы Внучаты не было на полу, и если глянуть на теневое отражение, то было ясно, что в кресле никто не сидел! Словом, Внучата не отбрасывал тени! «Да, да, не отбрасывал! — задохнувшись, подумал Римский. — Ведь когда он плясал передо мною, тень не прыгала за ним, то-то я так поразился! Но, Боже, что же это такое?»

Римский опустился в кресло, и в это время часы пробили один час. Римский не сводил глаз с Внучаты.

ИВАНУШКА В ЛЕЧЕБНИЦЕ

. . . .

и внезапными вспышками буйства, конечно, не было. В здании было триста совершенно изолированных одиночных палат, причем каждая имела отдельную ванну и уборную. Этого, действительно, нигде в мире не было, и приезжавших в Союз знатных

иностранцев специально возили в Барскую рощу показывать им все эти чудеса. И те, осмотревши лечебницу, писали восторженные статьи, где говорили, что они никак не ожидали от большевиков подобных прелестей, и заключали статьи несколько неожиданными и имеющими лишь отдаленное отношение к психиатрии выводами о том, что не мешало бы вступить с большевиками в торговые отношения.

Иванушка открыл глаза, присел на постели, потер лоб, огляделся, стараясь понять, почему он находится в этой светлой комнате. Он вспомнил вчерашнее прибытие, от этого перешел к картине ужасной смерти Берлиоза, причем она вовсе не вызвала в нем прежнего потрясения. Он потер лоб еще раз, печально вздохнул, спустил босые ноги с кровати и увидел, что в столик, стоящий у постели, вделана кнопка звонка. Вовсе не потому, что он в чем-нибудь нуждался, а просто по привычке без надобности трогать различные предметы Иванушка взял и позвонил.

Дверь в его комнату открылась, и вошла толстая женщийа в белом халате.

— Вы звонили? — спросила она с приятным изумлением. — Это хорошо. Проснулись? Ну, как вы себя чувствуете?

— Засадили, стало быть, меня? — без всякого раздражения спросил Иванушка. На это женщина ничего не ответила, а спросила:

— Ну, что ж, ванну будете брать? — Тут она взялась за шнур, какая-то занавеска поехала в сторону, и в комнату хлынул дневной свет. Иванушка увидел, что та часть комнаты, где было окно, отделена легкой белой решеткой в расстоянии метра от окна.

Иванушка посмотрел с какою-то тихой и печальной иронией на решетку, но ничего не заметил и подчинился распоряжениям толстой женщины. Он решил поменьше разговаривать с нею. Но все-таки, когда побывал в ванне, где было все, что нужно культурному человеку, кроме зеркала, не удержался и заметил:

— Ишь, как в гостинице.

Женщина горделиво ответила:

— Еще бы. В Европе нигде нет такой лечебницы. Иностранцы каждый день приезжают смотреть.

Иванушка посмотрел на нее сурово исподлобья и сказал:

— До чего вы все иностранцев любите! А они разные бывают. — Но от дальнейших разговоров уклонился. Ему принесли чай, а после чаю повели по беззвучному коридору мимо бесчисленных белых дверей на осмотр. Действительно, было как в первоклассной гостинице — тихо, и казалось, что никого и нет в здании. Одна встреча, впрочем, произошла. Из одной из дверей две женщины вывели мужчину, одетого, подобно Иванушке, в белье и белый халатик. Этот мужчина, столкнувшись с Иванушкой, засверкал глазами, указал перстом на Иванушку и возбужденно вскричал:

— Стоп! Деникинский офицер!

Он стал шарить на пояске халатика, нашел игрушечный револьвер, скомандовал сам себе:

— По белобандиту, огонь!

И выстрелил несколько раз губами: «Пиф! Паф! Пиф!»

После чего прибавил:

— Так ему и надо! Одна из сопровождавших прибавила:

— И правильно! Пойдемте, Тихон Сергеевич!

Стрелявшему опять приладили револьверик на поясок и с необыкновенной быстротой его удалили куда-то.

Но Иванушка расстроился.

— На каком основании он назвал меня белобандитом?

— Да разве можно обращать внимание, что вы, — успокоила его толстая женщина, — это больной. Он и меня раз застрелил! Пожалуйста, в кабинет.

В кабинете, где были сотни всяких блестящих приборов, каких-то раскидных механических стульев, Ивана приняли два врача и подвергли подробнейшему сперва расспросу, а затем осмотру. Вопросы они задавали неприятные: не болел ли Иван сифилисом, не занимался ли онанизмом, бывали ли у него головные боли, спрашивали, отчего умерли его родители, пил ли его отец. О Понтии Пилате никаких разговоров не было.

Иван положил так: не сопротивляться этим двоим и, чтобы не ронять собственного достоинства, ни о чем не расспрашивать, так как явно совершенно, что толку никакого не добьешься.

Подчинился и осмотру. Врачи заглядывали Ивану в глаза и заставляли следить за пальцем доктора. Велели стоять на одной ноге, закрыв глаза, молотками стукали по локтям и коленям, через длинные трубки выслушивали грудь. Надевали какие-то браслеты на руки и из резиновых груш куда-то накачивали воздух.

Посадили на холодную клеенку и кололи в спину, а затем какими-то хитрыми приемами выточили из руки Ивана целую пробирку прелестной, как масляная краска, крови и куда-то ее унесли.

Иванушка, полуголый, сидел с обиженным видом, опустив руки, и молчал. Вся эта «Буза...», как подумал он, была не нужна, все это глупо, но он решил дожидаться чего-то, что непременно в конце концов произойдет, тогда можно будет разъяснить томившие его вопросы. Этого времени он дождался. Примерно в два часа дня, когда Иван, напившись бульону, полеживал у себя на кровати, двери его комнаты раскрылись необыкновенно широко, и вошла целая толпа людей в белом, а в числе их толстая. Впереди всех шел высокий бритый, похожий на артиста, лет сорока с лишним. За ним пришли помоложе. Тут откинули откидные стулья, уселись, после того как бритому подкатили кресло на колесиках.

Иван испуганно сел на постели.

— Доктор Стравинский, — приветливо сказал бритый и протянул Ивану руку.

— Вот, профессор, — негромко сказал один из молодых и подал бритому лист, уже кругом исписанный. Бритый Стравинский обрадованно и быстро пробежал первую страницу, а молодой заговорил с ним на неизвестном языке, но Иван явно расслышал слово «фурибунда».

Он сильно дрогнул, но удержался и ничего не сказал.

Профессор Стравинский был знаменитостью, но кроме того, по-видимому, большим и симпатичным оригиналом. Вежлив он был беспредельно и, сколько можно понять, за правило взял соглашаться со всеми людьми в мире и все одобрять. Ординатор бормотал и пальцем по листу водил, а Стравинский на все кивал головой с веселыми глазами и говорил: «Славно, славно, так». И еще что-то ему говорили, и опять он бормотал «Славно».

Отбормотавшись, он обратился к Ивану с вопросом:

— Вы —поэт?

— Поэт, — буркнул Иван. — Мне нужно с вами поговорить.

— К вашим услугам, с удовольствием, — ответил Стравинский.

— Каким образом, — спросил Иван, — человек мог с Понтием Пилатом разговаривать?

— Современный?

— Ну да, вчера я его видел.

— Пилат... Пилат... Пилат — это при Христе? — спросил ординатора Стравинский.

—Да.

— Надо полагать, — улыбаясь сказал Стравинский, — что он выдумал это.

— Так, — отозвался Иванушка, — а каким образом он заранее все знает?

— А что именно он знал заранее? — ласково спросил Стравинский.

— Вот что: вообразите, Мишу Берлиоза зарезало трамваем. Голову отрезало, а он заранее говорит, что голову отрежет. Это номер первый. Номер второй: это что такое фурибунда? А? — спросил Иван, прищурившись.

— Фурибунда значит — яростная, — очень внимательно слушая Ивана, объяснил Стравинский.

— Это про меня. Так. Ну, так вот, он мне вчера говорит: когда будете в сумасшедшем доме, спросите, что такое фурибунда. А? Это что значит?

— Это вот что значит. Я полагаю, что он заметил в вас какие-либо признаки ярости. Он не врач, этот предсказатель?

— Никакой у меня ярости не было тогда, а врач, уж он такой врач! — выразительно говорил Иван. — Да! — воскликнул он. — А постное масло-то? Говорит: вы не будете на заседании, потому что Аннушка уже разлила масло! Мы удивились. А потом: готово дело! Действительно, Миша поскользнулся на этом самом Аннушкином масле! Откуда же он Аннушку знает?

Ординаторы, на откидных стульях сидя, глаз не спускали с Иванушки.

— Понимаю, понимаю, — сказал Стравинский, — но почему вас удивляет, что он Аннушку знает?

— Не может он знать никакой Аннушки! — возбужденно воскликнул Иван. — Я и говорю, его надо немедленно арестовать!

— Возможно, — сказал Стравинский, — и, если в этом есть надобность, власти его арестуют. Зачем вам беспокоить себя? Арестуют и славно!

«Все у него славно, славно!» — раздраженно подумал Иван, а вслух сказал:

— Я обязан его поймать, я был свидетелем! А вместо его меня засадили, да еще двое ваших бузотеров спину колют! Сумасшествие и буза дикая!

При слове «бузотеры» врачи чуть-чуть улыбнулись, а Стравинский заговорил очень серьезно.

— Я все понял, что вы сказали, и позвольте дать вам совет: отдохните здесь, не волнуйтесь, не думайте об этом, как его фамилия?..

— Не знаю я, вот в чем дело!

— Ну вот. Тем более. Об этом неизвестном не думайте, и вас уверяю честным словом, что вы таким образом скорее поймаете его.

— Ах, меня, значит, задержат здесь?

— Нет-с, — ответил Стравинский, — я вас не держу. Я не имею права задерживать нормального человека в лечебнице. Тем более что у меня и мест не хватает. И я вас сию же секунду выпущу, если только вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, поймите, а только скажете. Итак, вы — нормальны?

Наступила полнейшая тишина, и толстая благоговейно глядела на профессора, а Иван подумал: «Однако этот действительно умен!» Он подумал и ответил решительно:

— Я —нормален.

— Вот и славно. Ну, если вы нормальны, так будем же рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день, — тут Стравинский вооружился исписанным листом. — В поисках неизвестного человека вы вчера произвели следующие действия, — Стравинский начал загибать пальцы на левой руке. — Прикололи себе иконку на грудь английской булавкой. Бросали камнями в стекла. Было? Было. Били дворника, виноват, швейцара. Явились в ресторан в одном белье. Побили там одного гражданина. Попав сюда, вы звонили в Кремль и просили дать стрельцов, которых в Москве, как всем известно, нет! Затем бросились головой в окно и ударили санитара. Спрашиваются две вещи. Первое: возможно ли при этих условиях кого-нибудь поймать? Вы человек нормальный и сами ответите — никоим образом! И второе: где очутится человек, произведший все эти действия? Ответ, опять-таки, может быть только один: он неизбежно окажется именно здесь! — и тут Стравинский широко обвел рукой комнату. — Далее-с. Вы желаете уйти? Пожалуйста. Я немедленно вас выпущу. Но только скажите мне: куда вы отправитесь?

— В ГПУ!

— Немедленно?

— Немедленно.

— Так-таки прямо из лечебницы?

— Так-таки прямо!

— Славно! И скажите, что вы скажете служащим ГПУ, самое важное, в первую голову, так сказать?

— Про Понтия Пилата! — веско сказал Иван. — Это самое важное.

— Ну и славно, — окончательно покоренный Иванушкой, воскликнул профессор и, обратившись к ординатору, приказал: — Благо-

волите немедленно Попова выписать в город. Эту комнату не занимать, белье постельное не менять, через два часа он будет здесь. Ну, всего доброго, желаю вам успеха в ваших поисках.

Он поднялся, а за ним поднялись ординаторы.

— На каком основании я опять буду здесь?

— На том основании, — немедленно усевшись опять, объяснил Стравинский, — что, как только вы, явившись в ковбойке и кальсонах в ГПУ, расскажете хоть одно слово про Понтия Пилата, который жил две тысячи лет назад, как механически, через час, в чужом пальто, будете привезены туда, откуда вы уехали, к профессору Стравинскому — то есть ко мне и в эту же самую комнату!

— Кальсоны? — спросил смятенно Иванушка.

— Да, да, кальсоны и Понтий Пилат! Белье казенное. Мы его снимем. Да-с. А домой вы не собирались заехать. Да-с. Стало быть, в кальсонах. Я вам своих брюк дать не могу. На мне одна пара. А далее — Пилат. И дело готово!

— Так что же делать? — спросил потрясенный Иван.

— Славно! Это резонный вопрос. Вы действительно нормальны. Делать надлежит следующее. Использовать выгоды того, что вы попали ко мне, и прежде всего разъяснить Понтия Пилата. В ГПУ вас и слушать не станут, примут за сумасшедшего. Во-вторых, на бумаге изложить все, что вы считаете обвинительным для этого таинственного неизвестного.

— Понял, — твердо сказал Иван, — прошу бумагу, карандаш и Евангелие.

— Вот и славно! — заметил покладистый профессор, — Агафья Ивановна, выдайте, пожалуйста, товарищу Попову Евангелие.

— Евангелия у нас нет в библиотеке, — сконфуженно ответила толстая женщина.

— Пошлите купить у букиниста, — распорядился профессор, а затем обратился к Ивану: — Не напрягайте мозг, много не читайте и не пишите. Погода жаркая, сидите побольше в тепловатой ванне. Если станет скучно, попросите ординатора!

Стравинский подал руку Ивану и белое шествие продолжалось.

К вечеру пришла черная туча в Бор, роща зашумела, похолодало. Потом удары грома и начался ливень. У Ивана за решеткой открыли окно, и он долго дышал озоном.

Иванушка не совсем точно последовал указаниям профессора и долго ломал голову над тем, как составить заявление по поводу необыкновенного консультанта.

Несколько исписанных листов валялись перед Иваном, клочья таких же листов под столом показывали, что дело не клеилось. Задача Ивана была очень трудна. Лишь только он попытался перенести на бумагу события вчерашнего вечера, решительно все запуталось. Загадочные фразы о намерении жить в квартире Берлиоза не вязались с рассказом о постном масле, о мании фурибунде, да и вообще все это оказалось ужасно бледным и бездоказательным. Никакая болтовня об Аннушке и ее полкиловой банке в сущности нисколько еще не служила к обвинению неизвестного.

Кот, садящийся самостоятельно в трамвай, о чем тоже упоминал в бумаге Иван, вдруг показался даже самому ему невероятным. И единственно, что было серьезно, что сразу указывало на то, что неизвестный странный, даже страннейший и вызывающий чудовищные подозрения человек, это знакомство его с Понтием Пилатом. А в том, что знакомство это было, Иван теперь не сомневался.

Но Пилат уже тем более ни с чем не вязался. Постное масло, удивительный кот, Аннушка, квартира, телеграмма дяде — смешно, право, было все это ставить рядом с Понтием Пилатом.

Иван начал тревожиться, вздыхать, потирать лоб руками. Порою он устремлял взор вдаль. Над рощей грохотало как из орудий, молнии вспарывали потрясенное небо, в лес низвергался океан воды. Когда струи били в подоконник, водяная пыль даже сквозь решетку долетала до Ивана. Он глубоко вдыхал свежесть, но облегчения не получил.

Растрепанная Библия с золотым крестом на переплете лежала перед Иваном. Когда кончилась гроза и за окном настала тишина, Иван решил, что для успеха дела необходимо узнать хоть что-нибудь об этом Пилате.

Несмотря на то что Иван был малограмотным человеком, он догадался, где нужно искать сведений о Пилате и о неизвестном.

Но Матфей мало чего сказал о Пилате, и заинтересовало только то, что Пилат умыл руки. Примерно то же, что и Матфей, рассказал Марк. Лука же утверждал, что Иисус был на допросе не только у Пилата, но и у Ирода, Иоанн говорил о том, что Пилат задал вопрос Иисусу о том, что такое истина, но ответа на это не получил.

В общем мало узнал об этом Пилате Иван, а следов неизвестного возле Пилата и совсем не отыскивалось. Так что возможно, что он произнес ложь и никогда и не видел Пилата.

Вздумав расширить свое заявление в той части, которая касалась Пилата, Иванушка ввел кое-какие подробности из Евангелия Иоанна, но запутался еще больше и в бессилии положил голову на свои листки.

Тучи разошлись, в окно сквозь решетку был виден закат. Раздвинутая в обе стороны штора налилась светом, один луч проник в камеру и лег на страницы пожелтевшей Библии.

Оставив свои записи, Иванушка до вечера лежал неподвижно на кровати, о чем-то думая. От еды он отказался и в ванну не пошел. Когда же наступил вечер, он затосковал. Он начал расхаживать по комнате, заламывая руки, один раз всплакнул. Тут к нему пришли. Ординатор стал расспрашивать его, но Иван ничего не объяснил, только всхлипывал, отмахивался рукою и ложился ничком в постель. Тогда ординатор сделал ему укол в руку и попросил разрешения взять прочесть написанное Иваном. Иван сделал жест, который показывал, что ему все равно, ординатор собрал листки и клочья и унес их с собой.

Через несколько минут после этого Иван зевнул, почувствовал, что хочет задремать, что его мало уже тревожат его мысли, равно-

душно глянул в открытое окно, в котором все гуще высыпали звезды, и стал, ежась, снимать халатик. Приятный холодок прошел из затылка под ложечку, и Иван почувствовал удивительные вещи. Во-первых, ему показалось, что звезды в выси очень красивы. Что в больнице, по сути дела, очень хорошо, а Стравинский очень умен, что в том обстоятельстве, что Берлиоз попал под трамвай, ничего особенного нет и что, во всяком случае, размышлять об этом много нечего, ибо это непоправимо, и наконец, что единственно важное во всем вчерашнем — это встреча с неизвестным и что вопрос о том, правда ли или неправда, что он видел Понтия Пилата, столь важный вопрос, что, право, стоит все отдать, даже, пожалуй, и самую жизнь.

Дом скорби засыпал к одиннадцати часам вечера. В тихих коридорах потухали белые матовые фонари и зажигали дежурные голубые слабые ночники. Умолкали в камерах бреды и шепоты, и только в дальнем коридоре буйных до раннего летнего рассвета чувствовалась жизнь и возня.

Окно оставалось открытым на ночь, полное звезд небо виднелось в нем. На столике горел под синеватым колпачком ночничок.

Иван лежал на спине с закрытыми глазами и притворялся спящим каждый раз, как отворялась дверь и к нему тихо входили.

Мало-помалу, и это было уже к полуночи, Иван погрузился в приятнейшую дремоту, нисколько не мешавшую ему мыслить. Мысли же его складывались так: во-первых, почему это я так взволновался, что Берлиоз попал под трамвай?

— Да ну его к черту... — тихо прошептал Иван, сам слегка дивясь своему приятному цинизму, — что я сват ему, кум? И хорошо ли я знал покойного? Нисколько я его не знал. Лысый и всюду был первый, и без него ничего не могло произойти. А внутри у него что? Совершенно мне неизвестно.

Почему я так взбесился? Тоже непонятно. Как бы за родного брата я готов был перегрызть глотку этому неизвестному и крайне интересному человеку на Патриарших. А, между прочим, он и пальцем действительно не трогал Берлиоза и, очень возможно, что совершенно неповинен в его смерти. Но, но, но... — сам себе возражал тихим сладким шепотом Иван, — а постное масло? А фурибунда?..

— Об чем разговор? — не задумываясь отвечал первый Иван второму Ивану. — Знать вперед хотя бы и о смерти, это далеко не значит эту смерть причинить!

— В таком случае, кто же я такой?

— Дурак, — отчетливо ответил голос, но не первого и не второго Ивана, а совсем иной и как будто знакомый.

Приятно почему-то изумившись слову «дурак», Иван открыл глаза, но тотчас убедился, что голоса никакого в комнате нет.

— Дурак! — снисходительно согласился Иван. — Дурак, — и стал дремать поглубже. Тут ему показалось, что веет будто бы розами и пальма качает махрами в окне...

— Вообще, — заметил по поводу пальмы Иван, — дело у этого... как его... Стравинского, дело поставлено на большой. Башковитый че-

ловек. Желтый песок, пальмы, и среди всего этого расхаживает Понтий Пилат. Одно жаль, совершенно неизвестно, каков он, этот Понтий Пилат. Итак, на заре моей жизни выяснилось, что я глуп. Мне бы вместо того, чтобы документы требовать у неизвестного иностранца, лучше бы порасспросить его хорошенько о Пилате. Да. А с дикими воплями гнаться за ним по Садовой и вовсе не следовало! А теперь дело безвозвратно потеряно! Ах, дорого бы я дал, чтобы потолковать с этим иностранцем...

— Ну что же, я — здесь, — сказал тяжелый бас.

Иван, не испугавшись, приоткрыл глаза и тут же сел.

В кресле перед ним, приятно окрашенный в голубоватый от колпачка свет, положив ногу на ногу и руки скрестив, сидел незнакомец с Патриарших прудов. Иван тотчас узнал его по лицу и голосу. Одет же был незнакомец в белый халат, такой же, как у профессора Стравинского.

— Да, да, это я, Иван Николаевич, — заговорил неизвестный, — как видите, совершенно не нужно за мною гоняться. Я прихожу сам и как раз когда нужно, — тут неизвестный указал на часы, стрелки которых, слипшись, стояли вертикально. — Полночь!

— Да, да, очень хорошо, что вы пришли. Но почему вы в халате. Разве вы доктор?

— Да, я доктор, но в такой же степени, как вы поэт.

— Я поэт дрянной, бузовый, — строго ответствовал Иван, обирая с себя невидимую паутину.

— Когда же вы это узнали? Еще вчера днем вы были совершенно иного мнения о своей поэзии.

— Я узнал это сегодня.

— Очень хорошо, — сурово сказал гость в кресле.

— Но прежде и раньше всего, — оживленно попросил Иван, — я желаю знать про Понтия Пилата. Вы говорили, что у него была мигрень?..

— Да, у него была мигрень. Шаркающей кавалерийской походкой он вошел в зал с золотым потолком.

ЗОЛОТОЕ КОПЬЕ

В девять часов утра шаркающей кавалерийской походкой в перистиль под разноцветную колоннаду вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Больше всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все предвещало нехороший день, потому что розовым маслом пропах весь мир. Казалось, что пальма пахнет розовым маслом, конвой, ненавистный балкон. Из недальней кордегардии заносило дымком — легионные кашевары начали готовить обед для дежурного ма-

нипула. Но прокуратору казалось, что и к запаху дыма примешивается поганая розовая струя.

«Пахнет маслом от головы моего секретаря, — думал прокуратор, — я удивляюсь, как моя жена может терпеть при себе такого вульгарного любовника... Моя жена дура... Дело, однако, не в розовом масле, а в том, что это мигрень. От мигрени же нет никаких средств в мире... попробую не вертеть головой...»

Из зала выкатили кресло, и прокуратор *сел* в него. Он протянул руку, ни на кого не глядя, и секретарь тотчас же вложил в нее кусок пергамента. Гримасничая, прокуратор проглядел написанное и сейчас же сказал:

— Приведите его.

Через некоторое время по ступенькам, ведущим с балкона в сад, двое солдат привели и поставили на балконе молодого человека в стареньком, многостиранном и заштопанном таллифе. Руки молодого человека были связаны за спиной, рыжеватые вьющиеся волосы растрепаны, а под заплывшим правым глазом сидел громадных размеров синяк. Левый здоровый глаз выражал любопытство.

Прокуратор, стараясь не поворачивать головы, поглядел на приведенного.

— Лицо от побоев надо оберегать, — сказал по-арамейски прокуратор, — если думаешь, что это тебя украшает... — И прибавил:

— Развяжите ему руки. Может быть, он любит болтать ими, когда разговаривает.

Молодой человек приятно улыбнулся прокуратору. Солдаты тотчас освободили руки арестанту.

— Ты в Ершалаиме собирался царствовать? — спросил прокуратор, стараясь не двигать головой. Молодой человек развел руками и заговорил:

— Добрый человек...

Но прокуратор тотчас перебил его:

— Я не добрый человек. Все говорят, что я злой, и это верно.

Он повысил резкий голос:

— Позовите кентуриона Крысобоя!

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором.

Крысобой на голову был выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что заслонил невысокое солнце. Прокуратор сделал какую-то гримасу и сказал Крысобою по латыни:

— Вот... называет меня «добрый человек»... Возьмите его на минуту в кордегардию, объясните ему, что я злой... Но я не потерплю подбитых глаз перед собой!..

И все, кроме прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который жестом показал, что арестованный должен идти за ним. Крысобоя вообще все провожали взглядами, главным образом, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, — из-за того, что лицо Крысобоя было изуродовано: нос его в свое время был разбит ударом германской палицы.

Во дворе кордегардии Крысобой поставил перед собою арестованного, взял бич, лежащий на козлах, и, не сильно размахнувшись, ударил арестанта по плечам. Движение Крысобоя было небрежно и незаметно, но арестант мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, и некоторое время не мог перевести дух.

— Римский прокуратор, — заговорил гнусаво Марк, плохо выговаривая арамейские слова, — называть «игемон»... Другие слова нет, не говорить!.. Понимаешь?.. Ударить?

Молодой человек набрал воздуху в грудь, сбежавшая с лица краска вернулась, он протянул руку и сказал:

— Я понял. Не бей.

И через несколько минут молодой человек стоял вновь перед прокуратором.

— В Ершалаиме хотел царствовать? — спросил прокуратор, прижимая пальцы к виску.

— Я, до... Я, игемон, — заговорил молодой человек, выражая удивление здоровым глазом, — нигде не хотел царствовать.

— Лгуны всем ненавистны, — ответил Пилат, — а записано ясно: самозванец, так показывают свидетели, добрые люди.

— Добрые люди, — ответил, оживляясь, молодой человек и прибавил торопливо: — Игемон, ничему не учились, поэтому перепутали все, что я говорил.

Потом помолчал и добавил задумчиво:

— Я полагаю, что две тысячи лет пройдет ранее... — он подумал еще, — да, именно две тысячи, пока люди разберутся в том, насколько напутали, записывая за мной.

Тут на балконе наступило полное молчание. Прокуратор поднял голову и, скорчив гримасу, поглядел на арестанта.

— За тобой записано немного, — сказал он, ненавидя свою боль и даже помышляя о самоубийстве, — но этого достаточно, чтобы тебя повесить.

— Нет, ходит один с таблицей и пишет, — заговорил молодой человек, — достойный и добрый человек. Но однажды, заглянув в эту таблицу, я ужаснулся. Ничего этого я не говорил. И прошу его — сожги эту таблицу. Но он вырвал ее у меня из рук и убежал.

— Кто такой? — спросил Пилат.

— Левий Матвей, — охотно пояснил арестант, — он был сборщиком податей, а я его встретил на дороге и разговорился с ним. Он послушал, деньги бросил на дорогу и сказал: я с тобой пойду путешествовать.

— Ершалаим, — сказал Пилат, поворачиваясь всем корпусом к секретарю, — город, в котором на Пасху не соскучишься... Сборщик податей бросил деньги на дорогу!

— Подарил, — пояснил молодой человек, — шел мимо старичок, нес сыр. Он ему сказал: подбирай.

— Имя? — спросил Пилат.

— Мое? — спросил молодой человек, указывая себе на грудь.

— Мое мне известно, — ответил Пилат, — твое.

— Ешуа, — ответил молодой человек.

— Прозвище?

— Га-Ноцри.

— Откуда родом?

— Из Эн-Назира, — сказал молодой человек, указывая рукой вдаль.

Секретарь пристроился с таблицей к колонне и записывал на ней.

— Кто ты по национальности? Кто твои родители?

— Я — сириец.

— Никакого языка, кроме арамейского, не знаешь?

— Нет, я знаю латинский и греческий.

Пилат круто исподлобья поглядел на арестованного. Секретарь попытался поймать взгляд прокуратора, но не поймал, и еще стремительнее начал записывать. Прокуратор вдруг почувствовал, что висок его разгорается все сильнее. По горькому опыту он знал, что вскоре вся его голова будет охвачена пожаром. Оскалив зубы, он поглядел не на арестованного, а на солнце, которое неуклонно ползло вверх, заливая Ершалаим, и подумал, что нужно было бы прогнать этого рыжего разбойника, просто крикнуть: «Повесить его!» Его увели бы. Выгнать конвой с балкона, припадая на подагрические ноги, притащиться внутрь, велеть затемнить комнату, лечь, жалобным голосом позвать собаку, потребовать холодной воды из источника, пожаловаться собаке на мигрень.

Он поднял мутные глаза на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на проклятом ершалаимском солнцепеке стоит перед ним этот бродяга с избитым лицом и какие ненужные и глупые вопросы еще придется ему задавать.

— Левий Матвей? — хрипло спросил больной прокуратор и закрыл глаза, чтобы никто не видел, что происходит с ним.

— Да, добрый человек Левий Матвей, — донеслись до прокуратора сквозь стук горячего молота в виске слова, произнесенные высоким голосом.

— А вот, — с усилием и даже помолчав коротко, заговорил прокуратор, — что ты рассказывал про царство на базаре?

— Я, игемон, — ответил, оживляясь, молодой человек, — рассказывал про царство истины добрым людям и больше ни про что не рассказывал. После чего прибежал один добрый юноша, с ним другие, и меня стали бить и связали мне руки.

— Так, — сказал Пилат, стараясь, чтобы его голова не упала на плечо. «Я сказал «так», — подумал страдающий прокуратор, — что означает, что я усвоил что-то, но я ничего не усвоил из сказанного», — и он сказал:

— Зачем же ты, бродяга, на базаре рассказывал про истину, не имея о ней никакого представления? Что такое истина?

И подумал: «О, боги мои, какую нелепость я говорю. И когда же кончится эта пытка на балконе?»

И он услышал голос, сказавший по-гречески:

— Истина в том, что у тебя болит голова и болит так, что ты уже думаешь не обо мне, а об яде. Потому что, если она не перестанет бо-

леть, ты обезумеешь. И я твой палач, о чем я скорблю. Тебе даже и смотреть на меня не хочется, а хочется, чтобы пришла твоя собака. Но день сегодня такой, что находиться в состоянии безумия тебе никак нельзя, и твоя голова сейчас пройдет.

Секретарь замер, не дописав слова, и глядел не на арестанта, а на прокуратора. Каковой не шевелился.

Пилат поднял мутные глаза и страдальчески поглядел на арестанта и увидел, что солнце уже на балконе, оно печет голову арестанту, он щурит благожелательный глаз, а синяк играет радугой.

Затем прокуратор провел рукою по лысой голове и муть в его глазах растаяла. После этого прокуратор приподнялся с кресла, голову сжал руками и на обрюзгшем лице выразился ужас.

Но этот ужас он подавил своей волей.

А арестант между тем продолжал свою речь, и секретарю показалось, что он слышит не греческие хорошо знакомые слова, а неслыханные, неизвестные.

— Я, прокуратор, — говорил арестант, рукой заслоняясь от солнца, — с удовольствием бы ушел с этого балкона, потому что, сказать по правде, не нахожу ничего приятного в нашей беседе...

Секретарь побледнел как смерть и отложил таблицу.

— То же самое я, впрочем, советовал бы сделать и тебе, — продолжал молодой человек, — так как пребывание на нем принесет тебе, по моему разумению, несчастия впоследствии. Мы, собственно говоря, могли бы отправиться вместе. И походить по полям. Гроза будет, — молодой человек отвернулся от солнца и прищурил глаз, — только к вечеру. Мне же пришли в голову некоторые мысли, которые могли бы тебе понравиться. Ты к тому же производишь впечатление очень понятливого человека.

Настало полное и очень долгое молчание. Секретарь постарался уверить себя, что ослышался, представил себе этого Га-Ноцри повешенным тут же у балкона, постарался представить, в какую именно причудливую форму выльется гнев прокуратора, не представил, решил, что что-то нужно предпринять, и ничего не предпринял, кроме того, что руки протянул по швам.

И еще помолчали.

После этого раздался голос прокуратора:

— Ты был в Египте?

Он указал пальцем на таблицу, и секретарь тотчас поднес ее прокуратору, но тот отпихнул ее рукой.

— Да, я был.

— Ты как это делаешь? — вдруг спросил прокуратор и уставил на Ешуа зеленые, много видевшие глаза. Он поднес белую руку и постучал по левому желтому виску.

— Я никак не делаю этого, прокуратор, — сказал, светло улыбнувшись единственным глазом, арестант.

— Поклянись!

— Чем? — спросил молодой человек и улыбнулся пошире.

— Хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор, причем добавил, что ею клясться как раз время — она висит на волоске.

— Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? — спросил юноша. — Если это так, то ты ошибаешься.

— Я могу перерезать этот волосок, — тихо сказал Пилат.

— И в этом ты ошибаешься. Но об этом сейчас, я думаю, у тебя нет времени говорить. Но пока еще она висит, не будем сотрясать воздух пустыми и бессмысленными клятвами. Ты просто поверь мне — я не враг.

Секретарь искоса заглянул в лицо Пилату и мысленно приказал себе ничему не удивляться. Пилат усмехнулся.

— Нет сомнения в том, что толпа собиралась вокруг тебя, стоило тебе раскрыть рот на базаре.

Молодой человек улыбнулся.

— Итак, ты говорил о царстве истины?

— Да.

— Скажи, пожалуйста, существуют ли злые люди на свете?

— Нет.

— Я впервые слышу об этом, и, говоря твоим слогом, ты ошибаешься. К примеру — Марк Крысобой-кентурион — добрый?

— Да, — ответил юноша, — он несчастливый человек. С тех пор, как ему переломили нос добрые люди, он стал нервным и несчастным. Вследствие этого дерется.

Пилат стал хмур и посматривал на Ешуа искоса. Потом проговорил:

— Добрые люди бросались на него со всех сторон, как собаки на медведя. Германцы висели на нем. Они вцепились в шею, в руки, в ноги, и, если бы я не дорвался до него с легионерами, Марка Крысобоя не было бы на свете. Это было в бою при Идиставизо. Но не будем спорить о том, добрые ли люди германцы или недобрые... Так ты называ. . . . . бродяга, стало быть, ты должен молчать!

Арестант моргнул испуганно глазом и замолчал.

Тут внезапно и быстро на балкон вошел молодой офицер из легиона с таблицей и передал ее секретарю.

Секретарь бегло проглядел написанное и тотчас подал таблицу Пилату со словами:

— Важное дополнение из Синедриона.

Пилат, сморщившись, не беря в руки таблицу, прочел написанное и изменился в лице.

— Кто этот из Кериота? — спросил он тихо. Секретарь пожал плечами.

— Слушай, Га-Ноцри! — заговорил Пилат. — И думай, прежде чем ответить мне: в своих речах ты упоминал имя великого кесаря? Отвечай правду!

— Правду говорить приятно, — ответил юноша.

— Мне неинтересно, — придушенным голосом отозвался Пилат, — приятно тебе это или нет. Я тебя заставлю говорить правду. Но думай, что говоришь, если не хочешь непоправимой беды.

— Я, — заговорил молодой человек, — познакомился на площади с одним молодым человеком по имени Иуда, он из Кериота...

— Достойный человек? — спросил Пилат каким-то певучим голосом.

— Очень красивый и любознательный юноша, но мне кажется, — рассказывал арестант, — что над ним нависает несчастье. Он стал меня расспрашивать о кесаре и пожелал выслушать мои мысли относительно государственной власти...

Секретарь быстро писал в таблице.

— Я и высказал эти мысли.

— Какие же это были мысли, негодяй? — спросил Пилат.

— Я сказал, — ответил арестант, — что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда никакой власти не будет. Человек перейдет в царство истины, и власть ему будет не нужна.

Тут с Пилатом произошло что-то страшное. Виноват ли был в этом усиливающийся зной, били ли ему в глаза лучи, отражавшиеся от белых колонн балкона, только ему померещилось, что лицо арестанта исчезло и заменилось другим — на лысой голове, криво надетый, сидел редкозубый венец; на лбу — смазанная свиным салом с какой-то специей — разъедала кожу и кость круглая язва; рот беззубый, нижняя губа отвисла. Пилату померещилось, что исчезли белые камни, дальние крыши Ершалаима, вокруг возникла каприйская зелень в саду, где-то тихо проиграли трубы, и сиплый больной голос протянул:

— Закон об оскорблении...

Пилат дрогнул, стер рукой все это, опять увидел обезображенное лицо арестанта и подумал: «Боги, какая улыбка!»

— На свете не было, нет и не будет столь прекрасной власти, как власть божественного кесаря, и не тебе, бродяга, рассуждать о ней! Оставьте меня здесь с ним одного, здесь оскорбление величества!

В ту же минуту опустел балкон, и Пилат сказал арестанту:

— Ступай за мной!

В зале с золотым потолком остались вдвоем Пилат и арестант. Было тихо, но ласточка влетела с балкона и стала биться под потолком — вероятно, потеряв выход. Пилату показалось, что она шуршит и кричит: «Корван — корван».

Молчание нарушил арестант.

— Мне жаль, — сказал он, — юношу из Кериота. У меня есть предчувствие, что с ним случится несчастие сегодня ночью, и несчастье при участии женщины, — добавил он мечтательно.

Пилат посмотрел на арестанта таким взглядом, что тот испуганно заморгал глазом. Затем Пилат усмехнулся.

— Я думаю, — сказал он придушенным голосом, — что есть койкто, кого бы тебе следовало пожалеть еще ранее Искариота. Не полагал ли ты, что римский прокуратор выпустит негодяя, произносившего бунтовщические речи против кесаря? Итак, Марк Крысобой, Иуда из Кериота, люди, которые били тебя на базаре, и я, это все — добрые люди? А злых людей нет на свете?

— Нет, — ответил арестант.

— И настанет царство истины?

— Настанет, — сказал арестант.

— В греческих ли книгах ты вычитал это или дошел своим умом?

— Своим умом дошел, — ответил арестант.

— Оно не настанет, — вдруг закричал Пилат больным голосом, как кричал при Идиставизо: «Крысобой попался!» — Сейчас, во всяком случае, другое царство, и если ты рассчитывал проповедовать и дальше, оставь на это надежду. Твоя проповедь может прерваться сегодня вечером! Веришь ли ты в богов?

— Я верю в Бога, — ответил арестант.

— Так помолись же ему сейчас, да покрепче, чтобы он помутил разум Каиафы. Жена, дети есть? — вдруг тоскливо спросил Пилат и бешеным взором проводил ласточку, которая выпорхнула.

— Нет.

— Ненавистный город, — заговорил Пилат и потер руки, как бы обмывая их, — лучше бы тебя зарезали накануне. Не разжимай рот! И если ты произнесешь хотя бы одно слово, то поберегись меня!

И Пилат закричал:

— Эй! Ко мне!

Тут же в зале Пилат объявил секретарю, что он утверждает смертный приговор Синедриона, приказал Ешуа взять под стражу, кормить, беречь как зеницу ока, и Марку Крысобою сказал:

— Не бить!

Затем Пилат приказал пригласить к нему во дворец председателя Синедриона, первосвященника Каиафу.

Примерно через полчаса под жгучим уже солнцем у балкона стояли прокуратор и Каиафа. В саду было тихо, но вдали ворчало, как в прибое, море и доносило изредка к балкону слабенькие выкрики продавцов воды — верный знак, что ершалаимская толпа тысяч в пять собралась у лифостротона, ожидая с любопытством приговора.

Пилат начал с того, что вежливо пригласил Каиафу войти во дворец.

Каиафа извинился и отказался, сославшись на то, что закон ему не позволяет накануне праздника.

— Я утвердил приговор мудрого Синедриона, — заговорил Пилат по-гречески. — Итак, первосвященник, четверо приговорены к смертной казни. Двое числятся за мной, и о них здесь речь идти не будет. Но двое — за Синедрионом — Вар-Равван Иисус, приговоренный за попытку возмущения в Ершалаиме и убийство двух городских стражников, и второй — Га-Ноцри Ешуа, или Иисус. Завтра праздник Пасхи. Согласно закону, одного из двух преступников нужно будет выпустить на свободу в честь праздника. Укажи же мне, первосвященник, кого из двух преступников желает освободить Синедрион — Вар-Раввана Иисуса или Га-Ноцри Иисуса? Прибавлю к этому, что я, как представитель римской власти, ходатайствую о выпуске Га-Ноцри. Он — сумасшедший, а особенно дурных последствий его проповедь не имела. Храм оцеплен легионерами и охраняется, ершалаимские зеваки и врали, — вяло и скучным голосом говорил Пилат, — ходившие за Га-Ноцри, разогнаны, Га-Ноцри можно выслать из Ершалаи-

ма; между тем в лице Вар-Раввана мы имеем дело с очень опасным человеком; не говоря уже о том, что он убийца, но взяли его с бою и в то время, когда он призывал к прямому бунту против римской власти. Итак?

Чернобородый Каиафа ответил прокуратору:

— Великий Синедрион в моем лице просит выпустить Вар-Равана.

— Даже после моего ходатайства, — спросил Пилат и, чтобы прочистить горло, глотнул слюну, -- повтори, первосвященник.

— Даже после твоего ходатайства прошу за Вар-Равана, — твердо повторил Каиафа.

— Подумай, первосвященник, прежде чем в третий раз ответить, — глухо сказал Пилат.

— В третий раз прошу за Вар-Раввана . . . .

...невиновного бродячего философа! Темным изуверам от него — беда! Вы предпочитаете иметь дело с разбойником! Но, Каиафа, дешево ты не купишь Га-Ноцри, это уж я тебе говорю! Увидишь ты легионы в Ершалаиме, услышишь ты плач!

— Знаю, знаю, Пилат, — сказал тихо Каиафа, — ты ненавидишь народ иудейский и много зла ему еще причинишь, но вовсе ты его не погубишь!

Наступило молчание.

— О, род преступный! О, темный род! — вдруг негромко воскликнул Пилат, покривив рот и качая головою.

Каиафа побледнел и сказал, причем губы его тряслись:

— Если ты, игемон, еще что-нибудь оскорбительное скажешь, уйду и не выйду с тобой на лифостротон!

Пилат поднял голову, увидел, что раскаленный шар как раз над головой и тень Каиафы съежилась у него под ногами, сказал спокойным голосом:

— Полдень — пора на лифостротон.

Через несколько минут на каменный громадный помост поднялся прокуратор Иудеи, следом за ним первосвященник Каиафа и охрана Пилата.

Многотысячная толпа взревела, и тотчас цепи легионеров подались вперед и оттеснили ее. Она взревела еще сильнее, и до Пилата донеслись отдельные слова, обрывки хохота, вопли придавленных, свист.

Сжигаемый солнцем, прокуратор поднял правую руку, и шум словно сдунуло с толпы. Тогда Пилат набрал воздуху и крикнул, и голос, сорванный военными командами, понесло над толпой:

— Именем императора!

В ту же секунду над цепями солдат поднялись лесом копья, сверкнули, поднявшись, римские орлы, взлетели на копьях охапки сена.

— Бродяга и тать, именуемый Иисус Га-Ноцри, совершил преступление против кесаря!..

Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце, и оно выжгло ему глаза. Зеленым огнем загорелся его мозг, и опять над толпой полетели хриплые слова:

— Вот он, этот бродяга и тать!

Пилат не обернулся, ему показалось, что солнце зазвенело, лопнуло и заплевало ему уши. Он понял, что на помост ввели Га-Ноцри и, значит, взревела толпа. Пилат поднял руку, опять услышал тишину и выкрикнул:

— И вот этот Га-Ноцри будет сейчас казнен! — Опять Пилат дал толпе выдохнуть вой и опять послал слова:

— Чтобы все знали, что мы не имеем царя, кроме кесаря!

Тут коротко, страшно прокричали в шеренгах солдаты, и продолжал Пилат:

— Но кесарь великодушен, и поэтому второму преступнику Иисусу Вар-Раввану...

«Вот их поставили рядом», — подумал Пилат и, когда стихло, продолжал; и слова, выкликаемые надтреснутым голосом, летели над Ершалаимом:

— ...осужденному за призыв к мятежу, кесарь-император в честь вашего праздника, согласно обычаю, по ходатайству великого Синедриона, подарил жизнь!

Вар-Равван, ведомый за правую руку Марком Крысобоем, показался на лифостротоне между расступившихся солдат. Левая сломанная рука Вар-Раввана висела безжизненно. Вар-Равван прищурился от солнца и улыбнулся толпе, показав свой, с выбитыми передними зубами, рот.

И уже не просто ревом, а радостным стоном, визгом встретила толпа вырвавшегося из рук смерти разбойника и забросала его финиками, кусками хлеба, бронзовыми деньгами.

Улыбка Раввана была настолько заразительна, что передалась и Га-Ноцри.

И Га-Ноцри протянул руку, вскричал:

— Я радуюсь вместе с тобой, добрый разбойник! Иди, живи!

И тут же Раввана Крысобой легко подтолкнул в спину, и Вар-Равван, оберегая больную руку, сбежал по боковым ступенькам с каменного помоста и был поглощен воющей толпой.

Тут Ешуа оглянулся, все еще сохраняя на лице улыбку, но отражения ее ни на чьем лице не встретил. Тогда она сбежала с его лица. Он повернулся, ища взглядом Пилата. Но того уже не было на лифостротоне.

Ешуа попытался улыбнуться Крысобою, но и Крысобой не ответил. Был серьезен так же, как и все кругом.

Ешуа глянул с лифостротона, увидел, что шумящая толпа отлила от лифостротона, а на ее место прискакал конный сирийский отряд, и Ешуа услышал, как каркнула чья-то картавая команда.

Тут Ешуа стал беспокоен. Тревожно покосился на солнце. Оно опалило ему глаза, он закрыл их и почувствовал, что его подталкивают в спину, чтобы он шел.

Он заискивающе улыбнулся какому-то лицу. Это лицо осталось серьезным, и Ешуа двинулся с лифостротона.

И был полдень...

Иванушка открыл глаза и увидел, что за шторой рассвет. Кресло возле постели было пусто.

Часов около 11 того вечера, когда погиб Берлиоз, в городе Киеве на Институтской улице дядей Берлиоза гражданином Латунским была получена такого содержания телеграмма:

«Мне Берлиозу отрезало трамваем голову Приезжайте хоронить».

Латунский пользовался репутацией самого умного человека в Киеве. Как всякий умница он держался правила — никогда ничему не удивляться.

Ввиду того, что Берлиоз не пил, всякая возможность глупой и дерзкой шутки исключалась. Берлиоз был приличным человеком и очень хорошо относился к своим родным. Но, как бы хорошо он ни относился, сам о собственной смерти телеграмму дать он не мог. Оставалось одно объяснение: телеграф. Латунский мысленно выбросил слово «мне», которое попало в телеграмму вследствие неряшливости телеграфных служащих, после чего она приобрела ясный и трагический смысл.

Горе гражданки Латунской, урожденной Берлиоз, было весьма велико, но лишь только первые приступы его прошли и Латунские примирились с мыслью, что племянник Миша погиб, житейские соображения овладели мужем и женой.

Решено было Максиму Максимовичу ехать. Латунские являлись единственными наследниками Берлиоза. Во-первых, нужно было Мишу похоронить или, по крайней мере, принять участие в похоронах. Второе: вещи.

Но самое главное заключалось в квартире. Дразнящая мысль о том, что, чем черт не шутит, вдруг удастся занять в качестве ближайших родственников освободившуюся квартиру, положительно захлестнула Латунского. Он понимал, как умный и опытный человек, что это чрезвычайно трудно, но житейская мудрость подсказывала, что с энергией и настойчивостью удавались иногда вещи и потруднее.

На следующий же день, 23-го, Латунский сел в мягкий вагон скорого поезда и утром 24-го уже был у ворот громадного дома № 10 по Садовой улице.

Пройдя по омытой вчерашней грозой асфальтовой площади двора, Латунский подошел к двери, на которой была надпись «Правление», и, открыв ее, очутился в не проветриваемом никогда и замызганном помещении.

За деревянным столом сидел человек, как показалось Латунскому, чрезвычайно встревоженный.

— Председателя можно видеть? — осведомился Латунский.

Этот простой вопрос почему-то еще более расстроил тоскливого человека. Кося отчаянно глазами, он пробурчал что-то, как с трудом можно было понять, что-то о том, что председателя нету.

— А он на квартире?

Но человек пробурчал что-то, выходило, что и на квартире председателя нету.

— Когда придет?

Человек вообще ничего не сказал, а поглядел в окно.

— Ага, — сказал умный Латунский и попросил секретаря.

Человек побагровел от напряжения и сказал, что и секретаря нету тоже, что неизвестно когда придет и что он болен.

— А кто же есть из правления? — спросил Латунский.

— Ну я, — неохотно ответил человек, почему-то с испугом глядя на чемодан Латунского, — а вам что, гражданин?

— А вы кто же будете в правлении?

— Казначей Печкин, — бледнея, ответил человек.

— Видите ли, товарищ, — заговорил Латунский, — ваше правление дало мне телеграмму по поводу смерти моего племянника Берлиоза.

— Ничего не знаю. Не в курсе я, товарищ, — изумляя Латунского своим испугом, ответил Печкин и даже зажмурился, чтобы не видеть телеграммы, которую Латунский вынул из кармана.

— Я, товарищ, являюсь наследником покойного писателя, — внушительно заговорил Латунский, вынимая и вторую киевского происхождения бумагу.

— Не в курсе я, — чуть не со слезами сказал странный казначей, вдруг охнул, стал белее стены в правлении и встал с места.

Тут же в правление вошел человек в кепке, в сапогах, с пронзительными, как показалось Латунскому, глазами.

— Казначей Печкин? — интимно спросил он, наклоняясь к Печкину.

— Я, товарищ, — чуть слышно шепнул Печкин.

— Я из милиции, — негромко сказал вошедший, — пойдемте со мной. Тут расписаться надо будет. Дело плевое. На минутку.

Печкин почему-то застегнул толстовку, потом ее расстегнул и пошел беспрекословно за вошедшим, более не интересуясь Латунским, и оба исчезли.

Умный Латунский понял, что в правлении ему больше делать нечего, подумал: «Эге-ге!» — и отправился на квартиру Берлиоза.

Он позвонил, для приличия вздохнув, и ему тотчас открыли. Однако первое, что удивило дядю Берлиоза, это было то обстоятельство, что ему открыл неизвестно кто: в полутемной передней никого не было, кроме здоровеннейших размеров кота черного цвета. Латунский огляделся, покашлял. Впрочем, дверь из кабинета открылась и из нее вышел некто в треснувшем пенсне. Без всяких предисловий вышедший вынул из кармана носовой платок, приложил его к носу и заплакал. Дядя Берлиоза удивился.

— Латунский, — сказал он.

— Как же, как же! — тенором заныл вышедший Коровьев, я сразу догадался.

— Я получил телеграмму, — заговорил дядя Берлиоза.

— Как же, как же, — повторил Коровьев и вдруг затрясся от слез, — горе-то, а? Ведь это что же такое делается, а?

— Он скончался? — спросил Латунский, серьезнейшим образом удивляясь рыданиям Коровьева.

— Начисто, — прерывающимся от слез голосом ответил Коровьев, — верите, раз! — голова прочь! Потом правая нога — хрусть, пополам! Левая нога — пополам! Вот до чего эти трамваи доводят.

И тут Коровьев отмочил такую штуку: не будучи в силах совладать с собой, уткнулся носом в стену и затрясся, видимо, будучи не в состоянии держаться на ногах от рыданий.

«Однако какие друзья бывают в Москве!» — подумал дядя Берлиоза.

— Простите, вы были другом покойного Миши? — спросил он, чувствуя, что и у него начинает щипать в. горле.

Но Коровьев так разрыдался, что ничего нельзя было понять, кроме повторяющихся слов «хрусть и пополам!». Наконец Коровьев вымолвил с большим трудом:

— Нет, не могу, пойду приму валерианки, — и, повернув совершенно заплаканное лицо к Латунскому, добавил:

— Вот они, трамваи.

— Я извиняюсь, вы дали мне телеграмму? — осведомился Латунский, догадываясь, кто бы мог быть этот рыдающий человек.

— Он, — сказал Коровьев и указал пальцем на кота.

Латунский вытаращил глаза.

— Не в силах, — продолжал Коровьев, — как вспомню!.. Нет, я пойду, лягу в постель. А уж он сам вам все расскажет.

И тут Коровьев исчез из передней.

Латунский, окоченев, глядел то на дверь, за которой он скрылся, то на кота. Тут этот самый кот шевельнулся на стуле, раскрыл пасть и сказал:

— Ну, я дал телеграмму. Дальше что?

У Латунского отнялись и руки и ноги, в голове закружилось, он уронил чемодан и сел на стул напротив кота.

— Я, кажется, русским языком разговариваю? — сказал кот сурово. — Спрашиваю: дальше что?

Что дальше — он не добился, Латунский не дал никакого ответа.

— Удостоверение, — сказал кот.

Ничего не помня, ничего не соображая, не спуская глаз с горящих в полутьме зрачков, Латунский вынул паспорт и мертвой рукой протянул его коту.

Кот, не слезая со стула, протянул пухлую лапу к подзеркальному столику, взял с него большие очки в роговой оправе, надел их на морду, от чего сделался еще внушительнее, чем был, и вооружился паспортом Латунского.

«Упаду в обморок», — подумал Латунский. И расслышал, что где-то сдавленно рыдает Коровьев.

— Каким отделением милиции выдан? — спросил кот, сморщившись и всматриваясь в страницу.

Ответа не последовало.

— Двенадцатым, — сам себе сказал кот, водя пальцем по паспорту, который он держал кверху ногами, — ну да, конечно, конечно, две-

надцатым. Известное отделение! Там кому попало выдают. Ну да ладно, доберутся когда-нибудь и до них. Попался б ты мне, выдал бы я тебе паспорт!

Кот рассердился и паспорт швырнул на пол.

— Похороны отменяются, — добавил он. И крикнул:

— Фиелло!

В передней появился маленького роста, хромой и весь в бубенчиках. Латунский задохнулся от страху. Он был белее белого. Одной рукой он держался за сердце.

— Латунский, — сказал кот, — понятно?

Молчание.

— Поезжай немедленно в Киев, — сквозь зубы сказал кот, — и сиди там тише воды, ниже травы. И ни о каких квартирах не мечтай. Понятно?

— Понятно, — ответил тихо Латунский.

— Фиелло, проводи, — заключил кот и вышел из передней.

Латунский качнулся на стуле, потом вскочил.

Тот, который в бубенчиках, был рыжий, кривоглазый, косоротый, с торчащими изо рта клыками. Росту он был маленького, доходил только до плеча Латунскому. Но действовал энергично, складно, уверенно, организованно. Прежде всего, он открыл дверь на лестницу, затем взял чемодан Латунского и вышел с ним на площадку. Латунский в это время стоял прислонившись к стене.

Рыжий, позвякивая бубенчиками, без всякого ключа открыл на площадке чемодан и прежде всего вынул из него громадную вареную курицу, завернутую в украинскую газету, и положил ее на площадку. Затем вынул две пары кальсон, рубашку, бритвенный ремень, какую-то книжку и простыню. Все это бросил в пролет лестницы. Туда же бросил и чемодан, и слышно было, как он грохнулся внизу. Затем вернулся в переднюю, взял под руку очень ослабевшего Латунского и вывел его на площадку. На площадке надел на него шляпу. А Латунский держал себя в это время как деревянный. Повернул Латунского лицом к ступенькам лестницы, взял курицу за ноги и ударил ею Латунского по шее с такой силой, что туловище отлетело, а ноги остались в руках. И Латунский полетел лицом вниз по лестнице. Долетев до поворота, он ногой попал в стекло, выбил его, сел на лестнице, просидел около минуты, затем поднялся и один марш проделал на ногах, но держась за перила. Потом опять решил посидеть. Наверху захлопнулась дверь, а снизу послышались тихие шажки. Какой-то малюсенький человек с очень печальным лицом остановился возле Латунского. Горько глядя на сидящего, он осведомился:

— Где квартира покойного Берлиоза?

— Выше, — сказал Латунский.

— Покорнейше вас благодарю, гражданин, — ответил печальный человечек, и тут они разошлись.

Человечек побрел вверх, а Латунский, крадучись и оглядываясь на человечка, — вниз.

Возникает важнейший и неизбежный вопрос: как же так Латунский без всякого протеста вынес насилие над собою со стороны ры-

жего, изгнание из квартиры и порчу вещей и издевательство над чемоданом?

Быть может, он собирался немедленно отправиться куда следует и жаловаться на обитателей квартиры № 50?

Нет. Ни в каком случае.

Латунский цеплялся за перила, вздрагивая на каждом шагу, двигался книзу и шептал такие слова:

— Понятно... все понятно... вот так штука! Не поверил бы, если бы своими глазами не видел, не слышал!

Твердое намерение дяди Берлиоза заключалось в том, чтобы не медля ни минуты броситься в поезд, покинуть Москву и бежать в благословенный Киев.

Но манящая мысль еще раз проверить все на том кисло-сладком человечке, который, судя по затихшему звуку шагов, уже добрался до цели путешествия, была слишком сильна.

Человечек не принадлежал к той компании, которая населяла квартиру покойного Миши. Иначе он не стал бы осведомляться о номере. Он шел прямо в лапы той компании, что засела в пятидесятом номере, а из кого состояла она, Латунский ничуть не сомневался. Репутация умницы была им заслужена недаром — он первый догадался о том, кто поселился в Мишиной квартире.

Дверь наверху открыли и закрыли. «Он вошел!» — подумал Латунский и двинулся вниз. Сердце его забилось сильно. Вот покинутая швейцарская под лестницей, в ней никого нет. Но прежде всего Латунский оглянулся, ища чемодан и другие вещи. Ни чемодана, ни белья на полу внизу не было. Вне всяких сомнений, их украли, пока Латунский спускался. Он сам подивился тому, как мало это его расстроило. Латунский шмыгнул в швейцарскую и засел за грязным разбитым стеклом.

Прошло минут десять томительного ожидания, и Латунскому показалось, что их гораздо более прошло. За это время только один человек пробежал по лестнице, насвистывая знаменитую песню «Гоп со смыком», и, судя по шуму, скрылся во втором этаже.

Наконец там, наверху, хлопнула дверь. Сердце киевлянина прыгнуло. Он съежился и выставил один глаз в дыру. Но преждевременно. Шажки явно крохотного человечка послышались, затем на лестнице же стихли. Хлопнула дверь пониже, в третьем этаже, донесся женский голос. Латунский вместо глаза выставил ухо, но мало что разобрал... Чему-то засмеялась женщина, послышался голос человечка. Кажется, он произнес: «Оставь Христа ради...» Опять смех. Вот женщина прошла и вышла.

Латунский видел ее кокетливый зад, платок на голове, в руках клеенчатую зеленую сумку, в которой носят помидоры из кооператива. Исчезла. А человечек за ней не пошел, шаги его вверх ушли. В тишине приноровившийся Латунский ясно разобрал, что он звонит вновь в квартиру. Дверь. Женский голос. Опять дверь. Вниз идет. Остановился. Вдруг ее крик. Топот. «Вниз побежал». В дыре глаз. Глаз этот округлился. Человечек, топоча подковами, как сумасшедший, с лестницы кинулся в дверь, при этом крестился, и пропал.

Проверка Латунским была сделана. Не думая больше ни о чем, кроме того, чтобы не опоздать к киевскому поезду, легким шагом он вышел из дверей во двор и оттуда на Садовую.

Дело же с человечком произошло так. Человечек назывался Алексей Лукич Барский и был заведующим буфетом театра «Кабаре».

Вздыхая тяжко, Алексей Лукич позвонил. Ему открыли немедленно, причем прежде всего почтенный буфетчик попятился и рот раскрыл, не зная, входить ли ему или нет. Дело в том, что открыла ему дверь девица совершенно голая. В растрепанных буйных светлых волосах девицы была воткнута гребенка, на шее виднелся громадный багровый шрам, на ногах были золотые туфли. Сложением девица отличалась безукоризненным.

— Ну что ж, входите, что ль! — сказала девица, уставив на буфетчика зеленые распутные глаза, и посторонилась.

Буфетчик закрыл глаза и шагнул в переднюю, причем шляпу снял. Тут же в передней зазвенел телефон. Голая, поставив одну ногу на стул, сняла трубку, сказала «алло». Буфетчик не знал, куда девать глаза, переминался с ноги на ногу, подумал: «Тьфу, пакость какая!» — и стал смотреть в сторону.

Вся передняя, как он в смятении, блуждая глазом, успел заметить, загромождена была необычными предметами и одеянием.

На том стуле, на котором стояла нога девицы, наброшен был траурный плащ, подбитый огненно-красной материей. На подзеркальном столе лежала громадная шпага с золотой рукоятью, на вешалке висели береты с перьями.

— Да, — говорила обнаженная девица в телефон, — господин Воланд не будет сегодня выступать. Он не совсем здоров. До приятного свидания.

Тут она повесила трубку и обратилась к бедному буфетчику:

— Чем могу служить?

«Что же это такое они в квартирке устраивают?» — помыслил буфетчик и ответил, заикаясь:

— Мне необходимо видеть господина артиста Азазелло.

Девушка подняла брови.

— Так-таки его самого?

— Его, — ответил буфетчик.

— Спрошу, — сказала девица, — погодите, — и, приоткрыв дверь, почтительно сказала:

— Мессир, к вам пришел маленький человек.

— Пусть войдет, — отозвался тяжелый бас за дверями.

Девица тут куда-то исчезла, а буфетчик шагнул и оказался в гостиной. Окинув ее взглядом, он на время даже о червонцах забыл. Сквозь итальянские цветные стекла без вести пропавшей ювелирши Де-Фужере лился якобы церковный, мягкий вечерний свет.

Это первое. Второе — буфетчик ощутил, что в громадной комнате пахнет ладаном, так что у него явилась мысль, что по Берлиозу служили церковную панихиду, каковую он тут же отринул как мысль дикую. К запаху ладана примешивался ряд других запахов. Пахло отчетливо жженой серой и, кроме того, жареной бараниной. По-

следний запах объяснялся просто. Потрясенный буфетчик увидел громаднейший старинный камин с низенькой решеткой. В камине тлели угли, а некий сидящий спиной и на корточках поворачивал над огнем шпагу с нанизанными на нее кусками....

— Нет! Нет! — перебил он гостя. — Ни слова больше! Ни в каком случае я в рот ничего не возьму в вашем буфете! Я, любезнейший, проходил мимо вашего буфета и до сих пор забыть не могу ни вашей осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета! Да, а чай! Ведь это же помои! Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девица подливала в ваш громадный самовар сырую воду, а чай меж тем продолжали разливать. Нет, милейший, это невозможно!

— Я извиняюсь, — заговорил ошеломленный буфетчик, — я совсем не по этому делу! Осетрина тут ни при чем!

— Как же ни при чем, когда она тухлая! Да, но по какому же делу вы можете прийти ко мне, дружок? Из лиц, близких вам по профессии, я был знаком только с маркитанткой, и то мало. Впрочем, я рад. Фиелло! Стул господину заведующему буфетом.

Тот, который жарил баранину, повернулся, причем ужаснул буфетчика своими клыками, выложил баранину на блюдо и ловко подал буфетчику низенькую скамеечку. Других никаких сидений в комнате не было. Буфетчик молвил «покорнейше благодарю...», опустился на скамеечку. Скамеечка тотчас под буфетчиком развалилась, и он, охнув, треснулся задом об пол. Падая, он подшиб ногой вторую низенькую скамейку и с нее опрокинул себе на штаны полную чашу красного вина. Фиелло засуетился, хозяин воскликнул:

— Ай! Не ушиблись ли вы?

Фиелло бросил обломки в огонь, подставил откуда-то взявшуюся вторую скамейку. Буфетчик отказался от вежливого предложения хозяина снять штаны и высушить их у камина и, чувствуя себя невыносимо неудобно в мокром, сел с опаской.

— Я люблю сидеть низко, — заговорил хозяин, — с низкого не так опасно падать, а мебель теперь такая непрочная. Да, так вы говорите «осетрина»? Голубчик, продукт должен быть свежий. Да вот, кстати, неугодно ли — прошу вас...

Тут в багровом свете, заходившем по комнате от весело разгоревшихся обломков, засверкала перед буфетчиком шпага, Фиелло выложил на тарелку шипящие куски.

— Покорнейше...

— Нет, нет, отведайте, — повелительно сказал хозяин и сам отправил в рот кусок, — Фиелло, лимону.

Буфетчик из вежливости положил кусок в рот и понял, что жует что-то действительно первоклассное.

— Прошу обратить внимание, — говорил хозяин — каков продукт. А ломтик сала, — хозяин потыкал кончиком шпаги в тарелку, — тонкий ломтик! Он нежен в такой степени, что исчезнет немедленно, лишь только вы положите его в рот. Он оставляет ощущение мимолетного наслаждения, желание лимона, вина. Стакан вина?

— Покорнейше... Я не пью...

— Напрасно, — сурово сказал хозяин, — а в карты играете? Быть может, партию в кости?

Буфетчик, мыча, отказался от игр и, поражаясь тому, какие чудные эти иностранцы, дожевал баранину.

— Я, изволите ли видеть, хотел вот что сказать, — заговорил он, чувствуя себя неловко под пристальным взглядом хозяина.

— Я — весь внимание, — поощрил тот гостя.

— Вчера двое молодых людей являются в буфет во время вашего сеанса и спрашивают два бутерброда. Дают червонец. Я разменял. Потом еще один.

— Молодой человек?

— Нет, пожилой. У того трехчервонная бумажка. Опять-таки я разменял. Потом еще двое. Всего дали 110 рублей. Сегодня утром считаю кассу, а вместо денег разная газета!

— Скажите! — воскликнул хозяин. — Как же это так?

— А вы, изволите ли видеть, фокус вчера показывали, — стыдливо улыбаясь, объяснил буфетчик, — а они, стало быть, в буфет... и менять.

— Да неужели же они думали, что это бумажки настоящие? Какая наивность! Ведь я не допускаю мысли, чтобы они сделали это сознательно.

Буфетчик грустно улыбнулся, но ничего не сказал.

— Да неужели же они мошенники? Нет, скажите, ваше мнение, — тревожно пристал хозяин к гостю, — мошенники? В Москве есть мошенники? Это мне чрезвычайно интересно!

В ответ буфетчик так криво и горько улыбнулся, что всякие сомнения отлетели — в Москве есть мошенники.

— Это низко! — возмущенно воскликнул хозяин. — И я понимаю вас. Вы человек бедный... ведь вы человек бедный? А?

Буфетчик втянул голову в плечи, так что сразу стало видно, что он человек бедный.

— Сейчас мы это поправим, — заявил хозяин и позвал: — Фагот!

На зов появился уже известный всем Коровьев. В одежде его были некоторые изменения: под пиджачок он надел белый жилет с громадным желтым пятном от пролитого соуса, а кроме того, нацепил на рваные ботинки белые грязные гетры, от чего стал еще гаже, чем был.

— Фагот, ты с какими бумажками вчера работал?

— Мессир! — взволнованно заговорил Фагот-Коровьев. — Землю буду есть, что бумажки настоящие.

— Но позволь: вот гражданин буфетчик утверждает...

— Позвольте глянуть, — ласково заговорил Фагот и надел пенсне.

Буфетчик вынул из кармана пакет белой бумаги, развернул его и остолбенело уставился на Коровьева. В пакете лежало пять червонных купюр...

Буфетчик выпучил глаза.

— Настоящие, — сказал Коровьев.

— Якобы настоящие, — чуть слышно отозвался буфетчик.

Выражение необыкновенного благородства показалось на лице у Коровьева.

— Изволите видеть, мессир.

— Странно, странно, — сказал Воланд, — я надеюсь, вы не хотели подшутить над...

— Это было бы горько, — добавил Коровьев.

Буфетчик совершенно не помнил, как он попрощался и попрощался ли, и очнулся он только на лестнице.

Тут же на лестнице ухватился за лысую голову и убедился в том, что она без шляпы. Мучительно почему-то не хотелось возвращаться. Тем не менее буфетчик повернул и, чувствуя какой-то озноб, позвонил в странную квартиру. Дверь на цепочке приоткрылась и опять показалось лицо обнаженной бесстыдницы.

— Вам что? — хрипло спросила она.

— Шляпочку я... — сказал буфетчик и потыкал себе пальцем в лысину.

Голая хихикнула, исчезла в тьме передней, через несколько секунд полная голая рука просунула в щель мятую рыжую шляпочку.

— Покорнейше благо... — пискнул буфетчик, но его не слушали, дверь закрылась, и тотчас за нею грянула музыка.

«Тьфу, окаянная квартира!» — подумал буфетчик и пошел вниз.

Он вынул бумажник, заглянул, вытащил сложенные червонцы и зашатался. В руках у него вновь оказались газетные куски. Тут буфетчик перекрестился. А перекрестившись, взвизгнул тихонько и присел. Шляпа на его голове мяукнула, вцепилась чем-то похожим на острые когти в лысину, затем прыгнула с головы, превратилась в рыжего кота и выскочила в форточку на площадке.

Даже самый храбрый не вынес бы такой штуки — буфетчик ударился бежать.

Он ничего не помнил, ничего не видел, ничего не соображал и отдышался только в переулке, в который попал неизвестно зачем и неизвестно как.

Потом он увидел себя в церковном дворе, немножко полегчало, решил кинуться в церковь. Так и сделал. В церкви получил облегчение. Осмотрелся и увидел на амвоне стоящего знакомого, отца Аркадия Элладова. «Молебен отслужить!» — подумал буфетчик и двинулся к отцу Аркадию. Но сделал только один шаг.

Отец Аркадий вдруг привычным профессиональным жестом поправил длинные волосы. . . . .

МАРГАРИТА

Лишь только в Москве растаял и исчез снег, лишь только потянуло в форточки гниловатым ветром весны, лишь только пронеслась первая гроза, Маргарита Николаевна затосковала. По ночам ей стали сниться грозные и мутные воды, затопляющие рощи. Ей стали сниться оголенные березы и беззвучная стая черных грачей.

Но, что бы ей ни снилось: шипящий ли вал воды, бегущий в удивительные голые рощи или печальные луга, холмы, меж которыми тонуло багровое солнце, один и тот же человек являлся ей в сновидениях. При виде его Маргарита Николаевна начинала задыхаться от радости или бежала к нему навстречу по полю, или же в легкой лодочке из дубовой коры без весел, без усилий, без двигателя неслась к нему навстречу по волне, которая поднималась от моря и постепенно заливала рощу.

Вода не растекалась. И это было удивительно приятно. Рядом лежало сухое пространство, усеянное большими камнями, и можно было выскочить в любой момент из лодки и прыгать с камня на камень, а затем опять броситься в лодку и по желанию, то ускоряя, то замедляя волшебный ход, нестись к нему.

Он же всегда находился на сухом месте и никогда в воде. Лицо его слишком хорошо знала Маргарита Николаевна, потому что сотни раз целовала его и знала, что не забудет его, что бы ни случилось в ее жизни. Глаза его горели ненавистью, рот кривился усмешкой. Но в том одеянии, в каком он появлялся между волн и валунов, устремляясь навстречу ей в роще, она не видела его никогда.

Он был в черной от грязи и рваной ночной рубахе с засученными рукавами. В разорванных брюках, непременно босой и с окровавленными руками, с головой непокрытой.

От этого сердце Маргариты Николаевны падало, она начинала всхлипывать, гнала во весь мах лодку, не поднимая ни гребня, ни пены, и подлетала к нему.

Она просыпалась разбитой, осунувшейся и, как ей казалось, старой. Поступала одинаково: спускала ноги с кровати в туфли с красными помпонами, руки запускала в стриженые волосы и ногтями царапала кожу, чтобы изгнать боль из сердца.

Сотни тысяч женщин в Москве, за это можно ручаться здоровьем, жизнью, если бы им предложили занять то положение, которое занимала Маргарита Николаевна, в одну минуту, не размышляя, не задумываясь, задыхаясь от волнения, бросились бы в особняк на . . . .
и поселились, и сочли бы себя счастливейшими в мире.

. . . . . лепестки и фотографию с печатью безжалостно сжечь в плите в кухне, листки также, никогда не узнать, что было с Пилатом во время грозы.

И не надо! Не надо! Если она не отречется от него, то погибнет, без сомнений, засохнет ее жизнь. А ей только тридцать лет.

Вот солнце опять вырезалось из облака и залило мосты, и засветились крыши в Замоскворечье, и заиграли металлические гости. Надо жить и слушать музыку хотя бы и такую противную, как похоронная.

— О, нет, — прошептала Маргарита, — я не мерзавка, я лишь бессильна. Поэтому буду ненавидеть исподтишка весь мир, обману всех, но кончу жизнь в наслаждении. Итак, послушаем музыку.

Музыка эта приближалась со стороны Москворецкого моста. С каждой секундой она становилась яснее. Играли марш Шопена.

Первыми из-за обнаженных деревьев показались мальчишки, идущие задом, за ними конный милиционер, затем пешие милиционеры, затем человек пять с обнаженными головами и с венками в руках, затем большой оркестр и медленно ползущее сооружение красного цвета. Это был грузовик, зашитый окрашенными щитами. На нем стоял гроб, а по углам его четыре человека. Зоркая Маргарита Николаевна разглядела, что один из этих четырех был женщиной, и толстой при этом. За печальной колесницей, широко разлившись до самого парапета, медленно текла и довольно большая толпа.

«Кого это хоронят? Торжественно так?» — подумала Маргарита Николаевна, когда процессия продвинулась мимо нее и сзади потащились медленно около десятка автомобилей.

— Берлиоза Михаила Александровича, — раздался голос рядом.

Удивленная Маргарита Николаевна повернулась и увидела на той же скамейке гражданина. Трудно было сказать, откуда он взялся, только что никого не было. Очевидно, бесшумно подсел в то время, когда Маргарита Николаевна засмотрелась на покойника.

— Да, — продолжал гражданин, — много возни с покойником. И я бы сказал, совершенно излишней. Подумать только: голову ему пришлось пришивать. Протоколы составлять. А теперь по городу его, стало быть, будут возить! Сейчас, это значит, его в крематорий везут жечь. А из крематория опять тащи его к Новодевичьему монастырю. И к чему бы это? И веселого ничего нету, и сколько народу от дела отрывают! Клянусь отрезанной головой покойника, — без всякого перехода продолжал сосед, — у меня нет никакого желания приставать к вам. Так что вы уж не покидайте меня, пожалуйста, Маргарита Николаевна!

Изумленная Маргарита Николаевна, которая действительно поднималась уже, чтобы уйти от разговорчивого соседа, села и поглядела на него.

Тот оказался рыжим, маленького роста, с лицом безобразным, одетым хорошо, в крахмальном белье.

— Вы меня знаете? — надменно прищуриваясь, спросила Маргарита Николаевна.

Вместо ответа рыжий вежливо поклонился, сняв шляпу.

«Глаза умные, рыжих люблю», — подумала Маргарита Николаевна и сказала:

— А я вас не знаю!

— А вы меня не знаете, — подтвердил рыжий и сверкнул зелеными глазами.

Опытная Маргарита Николаевна, к которой из-за ее красоты нередко приставали на улице, промолчала, не стала спрашивать и сделала вид, что смотрит в хвост процессии, уходящей на Каменный мост.

— Я не позволил бы себе заговорить с вами, Маргарита Николаевна, если бы у меня не было дела к вам.

Маргарита Николаевна неприятно вздрогнула и отшатнулась.

— Ах, нет, нет, — поспешил успокоить собеседник, — вам не угрожает никакой арест, я не агент, я и не уличный ловелас. Зовут меня

Фиелло, фамилия эта вам ничего не скажет, ваше имя я узнал случайно, слышал, как вас назвали в партере Большого театра. Поговорить же нам необходимо, и, поверьте, уважаемая Маргарита Николаевна, если бы вы не поговорили со мной, вы впоследствии раскаивались бы очень горько.

— Вы в этом уверены? — спросила Маргарита Николаевна.

— Совершенно уверен. Никакие мечтания об аэропланах не помогут, Маргарита Николаевна, а предчувствия нужно уважать.

Маргарита вновь вздрогнула и во все глаза поглядела на Фиелло.

— Итак, — сказал называющий себя Фиелло, — позвольте приступить к делу, но условимся ничему не удивляться, что бы я ни сказал.

— Хорошо, пожалуйста, — но уже без надменности ответила Маргарита Николаевна, растерялась, подумала о том, что, садясь на скамейку, забыла подмазать губы.

— Я прошу вас сегодня пожаловать в гости.

— В гости?.. Куда?

— К одному иностранцу.

Краска бросилась в лицо Маргарите Николаевне.

— Покорнейше вас благодарю, — заговорила она, — вы меня за кого принимаете?

— Принимал за умную женщину, — ответил Фиелло, — условились ведь...

— Новая порода: уличный сводник, — поднимаясь, сказала Маргарита Николаевна.

— Спасибо, покорнейше благодарю, — печально отозвался Фиелло, — и всегда мне такие поручения достаются. — И добавил раздраженно: - Дура!

— Мерзавец! — ответила Маргарита Николаевна, повернулась и пошла.

И тотчас услышала за собой голос Фиелло, но несколько изменившийся:

— «И вот, когда туча накрыла половину Ершалаима и пальмы тревожно закачали...» Так пропадите же вы пропадом в кладовке над вашими обгоревшими листками и засохшей розой. Мечтайте о том, как вы его унесете на аэроплане. Пропадайте пропадом!

Совершенно побелев лицом, Маргарита Николаевна повернулась к скамейке. Сверкая глазами, на нее со скамейки глядел Фиелло.

— Я ничего не понимаю, — хрипло, удушенно заговорила она, — про листки еще можно узнать... но аэроплан... — И страдальчески добавила: — Вы из ГПУ?

— Вот скука-то, — отозвался Фиелло, — все по нескольку раз нужно повторять. Сказал ведь раз: не агент. Ну, позвольте еще раз: не агент! Не агент! Достаточно? Сядьте!

Маргарита повиновалась и села.

— Кто вы такой? — шепнула она, с ужасом глядя на Фиелло.

— Фиелло, и кончено, — ответил тот. — Фиелло! Теперь слушайте... Приглашаю я вас к иностранцу...

— Вы мне не скажете, откуда вы узнали про листки и про мои мысли об аэроплане? — уже робко спросила Маргарита Николаевна.

— Не скажу, — ответил Фиелло, — но вы сами узнаете вскоре.

— А вы знаете о нем? — шепнула Маргарита.

— Знаю, — важно ответил Фиелло.

— Но поймите, поймите, — опять взволновалась Маргарита Николаевна, — я же должна знать, зачем вы меня влечете куда-то? Ведь согласитесь... вы не сердитесь... но когда на улице приглашают женщину... неизвестный человек... Хочу вам сказать... У меня нет предрассудков... поверьте... Но я никогда не вижу иностранцев, терпеть их не могу... и мой муж... то есть я своего мужа не люблю, но я не желаю портить ему карьеру. Он не сделал мне ничего злого...

Фиелло с видимым отвращением выслушал эту бессвязную речь и сказал сурово:

— Попрошу вас помолчать.

— Молчу, — робко отозвалась Маргарита Николаевна.

— Я вас приглашаю к иностранцу, во-первых, совершенно безопасному. Это раз. Два: никто решительно не будет знать, что вы у него были. Стало быть, на эту тему и разговаривать больше нечего.

— А зачем я ему понадобилась? — вкрадчиво вставила Маргарита Николаевна.

— Ну, уж этим я не интересовался.

— Понимаю... я должна ему отдаться, — сказала догадливая Маргарита Николаевна.

Фиелло надменно хмыкнул.

— Могу вас уверить, что любая женщина в мире мечтала бы о том, чтобы вступить с ним в связь, но я разочарую вас — этого не будет. Он совершенно не нуждается в вас.

— Ничего не понимаю, — прошептала Маргарита Николаевна и дрожащей рукой вынула футлярчик с губной помадой и лизнула губы. — А какой же мне интерес идти к нему? — спросила она.

Фиелло наклонился к ней и, сверля зелеными глазами, тихо сказал:

— Воспользуйтесь случаем... Гм... вы хотите что-нибудь узнать о нем?

— Хочу! — сильно ответила Маргарита Николаевна.

— А повидать его? — еще тише и искушающе шепнул Фиелло.

— Как! Но как? — зашептала Маргарита и вдруг вцепилась в рукав пальто Фиелло.

— Попросите: может, чего и выйдет, — сквозь зубы многозначительно сказал Фиелло.

— Еду! — сказала Маргарита.

Фиелло с удовлетворением откинулся на скамейке.

— Трудный народ эти женщины, — заговорил он иронически, — и потом, что это за мода поваров посылать. Пусть бы Бегемот и ездил, он обаятельный.

«Час от часу не легче», — подумала Маргарита Николаевна и спросила, криво усмехаясь:

— Перестаньте меня мистифицировать и мучить... Я ведь несчастный человек, а вы меня поразили. Вы — повар?

— Без драм, — сухо сказал Фиелло, — повар там, не повар. Внучате надавать по роже в уборной это просто, но с дамами разговаривать, покорный слуга. Еще раз попрошу внимания и без удивлений, а то меня тоска охватывает.

Но приведенная к повиновению Маргарита и не собиралась выражать изумление, противоречить, лишь во все глаза смотрела на Фиелло.

— Первым долгом о помаде, — заговорил Фиелло и вдруг вынул из кармана золотой футлярчик, — получайте, — затем вынул золотую же плоскую и круглую коробку и тоже вручил Маргарите. — Это крем. Вы порядочно постарели за последнее время, Маргарита Николаевна...

«О, рыжая сволочь!» — про себя сказала Маргарита, но вслух ничего не осмелилась произнести.

— Ровно в десять с половиной вечера, — строго глядя, заговорил Фиелло, — благоволите намазать губы помадой, а тело этим кремом. Кожа у вас станет белой, нежной, как девическая, вы не узнаете себя, затем одевайтесь, как вам нравится — это все равно, — и ждите у себя. За вами приедут, вас отправят, вас доставят. Ни о чем не думайте.

«В какую это я историю лезу?» — с ужасом думала Маргарита.

— Ба! Гляньте! Ах, какой город оригинальный, — вдруг воскликнул Фиелло и пальцем указал на Каменный мост.

Маргарита Николаевна глянула туда и рот раскрыла. По набережной, стыдливо припадая к парапету, впритруску бежал исступленный человек, совершенно голый, а за ним, тревожно посвистывая, шла милиция. Потом сбежалась оживленная толпа и скрыла голого.

Когда она повернулась к Фиелло, того не было. Можно было поклясться, что он растаял в сияньи весеннего дня.

Маргарита поднесла руки к голове, как человек, который от изумления сходит с ума. В руках у нее были золотые коробки...

ГУБНАЯ ПОМАДА И КРЕМ

С наступлением весны по вечерам один и тот же вальс стал взмывать в переулке. Где-то, как казалось Маргарите Николаевне, на четвертом этаже, его играл какой-то хороший пианист. От этого вальса то тревожно вспухало сердце, то съеживалось и вздрагивало, и Маргарита Николаевна назвала его вальсом предчувствий. Чтобы впустить его в комнаты, Маргарита начала открывать форточки. Но очень скоро потеплело, и окно открылось настежь.

Сейчас время подходило к назначенной половине одиннадцатого. Комната Маргариты сияла. В раскрытом настежь трехстворчатом зеркале туалета миллионы раз отражались огни трехсвечий. Под потолком горел яркий фонарь, у постели лампочка в колпачке.

Паркет лоснился, на туалете сверкал каждый излом на флаконах. Сладкий ветер задувал чуть-чуть из лунного сада, шевелил шелковую шторку.

Полнейший беспорядок был в комнате. Маргарита Николаевна выгрузила из шкафа груды сорочек и разбросала их, стараясь выбрать наилучшую. Снятое с себя белье она бросила на пол. В пепельнице дымил непотушенный окурок. В окне гремел вальс.

Голова Маргариты круто завита широкими волнами, потому что, несмотря на удивление и ужас, вызванный встречей с загадочным Фиелло, Маргарита Николаевна от Каменного моста немедленно бросилась в центр города и побывала у парикмахера.

Маргарита Николаевна сидела обнаженная, набросив на себя лишь косматый купальный халат, на ноги надев черные замшевые туфли со стальными блестящими четырехугольными пряжками.

Она смотрела на раскрытые маленькие часы, лежащие на туалете, а с них переводила взор на две золотые коробки.

Самая длинная из стрелок наконец подошла и упала на нижнюю цифру «6». И тут же секунда в секунду Маргарита Николаевна взялась за первую коробку поменьше и открыла ее. Там оказалась красная как кровь густая помада. Маргарита понюхала ее — помада не пахла ничем. Маргарита пальцем взяла мазок из коробочки и смазала губы, взглянула в зеркало. Величайшее изменение ее лица тотчас же показало зеркало среди бесчисленных отраженных огней. Тонкая морщинка, перерезавшая лоб с тех пор, как он покинул Москву, и отравляющая жизнь Маргарите, исчезла. Пропали и желтенькие тени у висков, позеленели глаза, а кожа на щеках налилась ровным розоватым цветом.

Увидев все это, Маргарита прежде всего буйно захохотала, как бы отозвавшись ей, ударил по клавишам там, в четвертом этаже, музыкант, дунул ветер, вспузырил желтую штору. Тут Маргарите показалось, что она закипела внутри от радости, она сбросила халат, ей захотелось выкинуть какую-нибудь штуку... «И чтоб небу жарко стало!» — воскликнула она.

Отбросив штору в сторону, она легла грудью на подоконник, и тотчас луна осветила ее. Ей повезло в смысле шутки. Немедленно хлопнула дверь, ведущая в сад особняка, и на кирпичной дорожке появился добрый знакомый Николай Иванович, проживающий в верхнем этаже. Он возвращался с портфелем под мышкой. Чувствуя, что продолжает кипеть, Маргарита Николаевна окликнула его:

— Здравствуйте, Николай Иванович!

Николай Иванович ничего не ответил, прикипев на дорожке и месту.

— Вы болван, Николай Иванович, — продолжала Маргарита, — скучный тип. И портфель у вас какой-то истасканный, и вообще вы мне все в такой степени надоели, что видеть вас больше не могу. Улетаю от вас. Ну, чего вы вытаращили глаза?

И Маргарита скрылась за занавеской, чувствуя, что шутка удалась на славу. Она, лихорадочно смеясь, приступила к крему. Жирный, желтоватый, обольстительный, пахнущий болотом, крем легко вти-

рался в кожу. Маргарита начала с лица, затем втерла крем в живот, спину, руки и приступила к ногам. Кожа ее загорелась, стало тепло, как в меху, и тело вдруг потеряло вес. Маргарита вдруг прыгнула и легко переместилась на аршин над паркетом через всю комнату. Это ей понравилось, и опять она рассмеялась. Тут зазвенел аппарат на столике. Маргарита подлетела к нему и, вися в воздухе, подхватила трубку.

— Я — Фиелло! — радостно, празднично сказал голос. — Вылетайте—и прямо на реку. Вас ждут!

— Да, да, — вскричала Маргарита и швырнула трубку не на рычаг, а на кровать, захлопала в ладоши.

В дверь тут кто-то стал ломиться. Маргарита открыла, и желтая половая щетка, пританцовывая, вкатила в спальню.

— На реку! — вскричала Маргарита и, оседлав щетку, вцепившись в густой волос, как в гриву, сделала для пробы круг по комнате.

— Батюшки! — бормотала Маргарита. -- Одежонку надо хоть какую-нибудь захватить!

Но щетка рвалась, лягаясь, в окно, и Маргарита успела вцепиться только в панталоны, которые и увлекла за собой на подоконник.

Первое, что бросилось в глаза Маргарите, это фигура Николая Ивановича, который так и не ушел и явно прислушивался к стуку и грохоту, доносящемуся из спальни.

Щетка спрыгнула с окна и поднесла Маргариту к изумленному Николаю Ивановичу. Маргарита свистнула весело и с размаху надела розовые панталоны на голову Николаю Ивановичу. Тот тихо визгнул и сел наземь.

И Маргарита взвилась над городом, оставив сзади себя освещенный луной сад, пылающее окно спальни с сорванной шторой, и вслед ей с грохотом полетел буйный вальс.

Вынырнув из переулка, Маргарита пересекла Сивцев Вражек и устремилась в другой переулок.

Первое, что она осознала, это что полет представляет такое наслаждение, которое ни с чем в мире сравнить нельзя. Второе, что нельзя мечтать, потому что, влетев в переулок, она едва не разбилась о старый газовый фонарь.

Охнув, Маргарита увернулась, но поняла, что нужно сдержать ход, и полетела медленно, избегая электрических проводов, фонарей и опасных вывесок.

Через мгновение она овладела пространством, а щетка слушалась малейшего движения или окрика. Тогда Маргариту заняла мысль о том, видят ли ее в городе. Но так как никто из прохожих не задирал головы и не поражался, она поняла, что она невидима. Тут радость птицы окончательно овладела ею и ей захотелось буйствовать.

Летела она медленно, аккуратно проскальзывая над проводами, и вылетела на Арбат, который встретил ее воем машин, визгом трамваев, верчением миллионов огней.

Первое, что сделала Маргарита на Арбате, это концом щетки разбила светящийся семафор, показывающий предельную скорость — тридцать километров, и с наслаждением захохотала, видя,

как шарахнулись в разные стороны прохожие на тротуарах. Уже на Арбате Маргарита сообразила, что этот город, в котором она вынесла такие страдания в последние полтора года, по сути дела, в ее власти теперь, что она может отомстить ему, как сумеет. Вернее, не город приводил ее в состояние веселого бешенства, а люди. Они лезли отовсюду, из всех щелей. Они высыпались из дверей поздних магазинов, витрины которых были украшены деревянными разрисованными окороками и колбасами, они хлопали дверьми, входя в кинематографы, толклись на мостовой, торчали во всех раскрытых окнах, они зажигали примусы в кухнях, играли на разбитых фортепиано, дрались на перекрестках, давили друг друга в трамваях.

Сверху Маргарите те, кто находились непосредственно под нею, казались безногими. «У, саранча!» — прошипела Маргарита и пошла самым медленным лётом. Ей вдосталь хотелось насладиться ненавистью, и она влетела осторожно в темную подворотню, а затем во двор и там поднялась к окнам четвертого этажа. Окно смрадной кухни было открыто настежь, и Маргарита влетела в него, согнув голову под сырой сорочкой, висевшей на веревке.

На плите ревели два примуса, и две женщины вели разговор между собой, стоя у синих бешеных огней.

— Вы, Пелагея Павловна, — с грустью сказала одна, — при старом режиме были такой же стервой, как и теперь.

— В суд подам на тебя, проститутка, — отвечала вторая, помешивая кашу в кастрюле.

Маргарита Николаевна поднялась повыше и плюнула в кашу Пелагеи Павловны.

В ту же секунду Пелагея Павловна вцепилась в волосы второй и та испустила веселый крик «Караул!».

В следующие мгновения в кухню вбежал мужчина в ночной рубашке с болтающимися по штанам подтяжками.

— Жену бить! — вскричал он страдальчески. — Жену, — повторил он так страшно, что зазвенела посуда на полке.

Маргарита Николаевна сверху ткнула его каблуком туфельки в зубы, от чего он на секунду умолк, но уже в следующую секунду ринулся на Пелагею Павловну, но оказался в объятиях другого мужчины, вырвавшегося из какой-то дверушки. Сцепившись с ним тесно, он клубком покатился по полу кухни, издавая рычание. Маргарита вылила на катающихся ведро жидких помоев, развинтила кран в раковине, от чего с гулом водопада понеслась вода, и вылетела в окно. Когда она поднималась, чтобы через крыши лететь дальше, слышала несущийся ей вслед визг, бой стеклянной посуды и веселый в подворотне дворницкий свист.

На крыше Маргарита Николаевна сломала радиомачту, перевалила в соседний двор, влетела, снизившись, в парадный подъезд, увидела щит на стене, концом щетки перебила какие-то фарфоровые белые штучки, от чего весь дом внезапно погрузился в тьму.

На Арбате Маргарита забавлялась тем, что сшибала кепки с прохожих, летя над самыми головами, вследствие чего в двух местах

произошла драка. Откинув дугу трамвая № 4, от чего тот погас и остановился, Маргарита покинула Арбат и повернула в Плотников переулок. Здесь ....

— Я извиняюсь, обознался, — пробормотал он и исчез.

Обсохнув, Маргарита на щетке перелетела на противоположный плоский берег.

8.XI.33

Тут зудящая музыка послышалась ясно. На лужайке под группой дубков шло веселье, но, видимо, уже к концу, и компания была разнообразная. Под дубками весело плясали после купания четыре ведьмы и один козлоногий, вроде того толстяка. Зудящая музыка исходила от толстомордых лягушек, которые, подвесив кусочки светящихся гнилушек на согнутые ивовые прутья, играли на дудочках. В стороне горел костер. Неподалеку от него стояли две открытые машины марки «Линкольн», и на шоферском месте первым сидел здоровенный грач в клеенчатой фуражке. Знакомый боров, сдвинув кепку на затылок, пристроился к плетенке с провизией и уписывал бутерброды с семгой. Он жевал, но с драгоценным своим портфелем не расставался.

Багровые отсветы танцевали на животах голых ведьм, гнилушки освещали раздутые морды лягушек, от реки доносились последние всплески запоздавших.

Маргарита, неся щетку, подошла в тот момент, когда грач рассказывал борову о том, как ловко он угнал от «Метрополя» две машины. Грач показывал, как швейцар метался и кричал: «На помощь!»

Появление Маргариты произвело большое впечатление. Танец прекратился, и ведьмы стали всматриваться...

Наконец та самая Клодиночка подошла к Маргарите и спросила ее, откуда она и кто такая.

— Я — Маргарита, — ответила Маргарита и воткнула щетку в землю.

Эти слова произвели необыкновенный эффект. Грач взял под козырек, боров снял кепку, а ведьмы защебетали, стали обнимать Маргариту, лягушки сыграли пискливый туш.

— Вот она! Вот она! А мы-то интересовались уже, где же вы. Мы думали, что вы купаетесь на другой реке.

Маргариту стали угощать. Боров предложил бутерброд с семгой, который он только что надкусил, за что Клодиночка ударила его по морде. Высунулось из кустов какое-то рыло с коровьими рогами и тоже выпятилось на Маргариту.

Тут все вдруг заспешили, стали из-под рук смотреть на месяц, закричали: «Пора! В Москву!»

Лягушки прекратили музыку. Решено было всем, чтобы не было скучно и не разбивать компанию, лететь в столицу в двух машинах. Боров в особенности хлопотал об этом. С хохотом и визгом набились две машины, погрузили туда метлы, ухваты, в качестве шофера во вторую машину уселся козлоногий толстяк, который принял Мар-

гариту за Маньку. И уже собрались тронуться, как произошел инцидент. Из-за деревьев высунулась темная фигура, приседая от удивления, вышла на середину поляны и — в дрожащем освещении догорающего костра — оказалась мужиком, который неизвестно как ночью залез на пустынную реку. Мужик остолбенел, увидевши автомобили с пассажирами. Занес руку ко лбу.

«Только перекрестись! — каркнул грач. — Я тебе — перекрещусь!»

В машинах заулюлюкали.

Грач заорал:

— Держи его!

Мужик, прыгая как заяц, кинулся, очевидно, обезумев, не разбирая дороги, и слышно было, как влетел в реку.

В машинах разразились хохотом, затем зажужжали моторы, машины рванулись по лугу, поднялись в воздух. Когда Маргарита, сдавленная со всех сторон нежными объятиями голых ведьм, обернулась, ей в последний раз тускло блеснула печальная неизвестная река и меловой лунный утес.

ШАБАШ

Лишь только показалось вдали розовое зарево, возвещающее Москву, как компания села на земле в поле. Выскочили, разобрали ухваты, Клодина села на борова, а шоферы, поставив машины, выскочили из сидений. Первый «Линкольн» устремился в чистое поле, хлопая дверцами, запрыгал по буеракам, наконец, влетел в овраг, перевернулся и загорелся, а второй полетел по шоссе, и слышно было, как он врезался в какую-то встречную машину. Блеснули тревожно огни, затем смешались, что-то вспыхнуло и долетели вопли. Грач и козлоногий долго хохотали, катаясь на траве, а затем компания устремилась ввысь и, невидимая, влетела в пылающий светом город. Высадились на крыше громадного дома на Садовой улице и один за другим погрузились в трубу. Маргарита с ужасом и весельем спускалась по трубе, глотая горький запах сажи. Чем ниже, тем яснее до нее доносились звуки оркестра, а когда она оказалась в пустом камине и выскочила в комнату без единого пятна на теле, ее оглушил гром труб и ослепил свет.

Хохот, радостные приветствия огласили комнату. Пошли объятия и поцелуи. Слово «Маргарита!» загремело в воздухе. Из-под земли вырос старый знакомый Фиелло и, почтительно сняв поварской колпак, осведомился у Маргариты, хорошо ли долетела госпожа. Откуда-то и у кого-то появился в руках бокал с шампанским, и Маргарита жадно выпила холодную жидкость. В ту же минуту кровь ее вскипела пузырьками и ей стало весело. Кто-то во фраке представился и поцеловал руку, вылетела рыженькая обольстительная девчонка лет семнадцати и повисла на шее у Маргариты и прижалась так, что

у той захватило дух. Кто-то поручил себя покровительству, кто-то слово просил замолвить.

9/XI.33

Маргарита хохотала, целовалась, что-то обещала, пила еще шампанское и, опьянев, повалилась на диван и осмотрелась. Она сразу поняла, что вокруг нее непринужденное веселье и, кроме того, общество смешанное и толчея ужасающая.

В комнате — бывшем кабинете Берлиоза — все было вверх дном. На каминной полке сидела сова. Груды льда лежали в серебряных лоханях, а между сверкающими глыбами торчали горлышки бутылок. Письменный стол исчез, вместо него была навалена груда подушек, и на подушках, раскинувшись, лежал голый кудрявый мальчик, а на нем сидела верхом, нежилась ведьма с болтающимися в ушах серьгами и забавлялась тем, что, наклонив семисвечие, капала мальчику стеарином на живот. Тот вскрикивал и щипал ведьму, оба хохотали как исступленные. У горящего камина что-то шипело и щелкало — Фиелло жарил миндаль, и двое в багровом столбе пламени пили водку. Один был в безукоризненном фрачном одеянии, а другой в одних подштанниках и в носках.

Через минуту к пьющим присоединился боров, но голая девчонка украла у него из-под мышки портфель, и боров, недопив стопки, взревев, кинулся отнимать.

В раскрытые двери виднелись скачущие в яростной польке пары. Там полыхало светом, как на пожаре. Горели люстры, на стенах пылали кенкеты со свечами, кроме того, столбами ходил красный свет из камина. От грохота труб тряслись стекла за шторами.

Гроздья винограду появились перед Маргаритой на столике, и она расхохоталась — ножкой вазы служил золотой фаллос. Хохоча, Маргарита тронула его, и он ожил в ее руке. Заливаясь хохотом и отплевываясь, Маргарита отдернула руку. Тут подсели с двух сторон. Один мохнатый с горящими глазами прильнул к левому уху и зашептал обольстительные непристойности, другой — фрачник — привалился к правому боку и стал нежно обнимать за талию. Девчонка уселась на корточки перед Маргаритой, начала целовать ее колени.

— Ах, весело! Ах, весело! — кричала Маргарита. — И все забудешь. Молчите, болван! — говорила она тому, который шептал, и зажимала ему горячий рот, но в то же время сама подставляла ухо.

Но тут вдруг на каминных часах прозвенел один удар — половина двенадцатого — и разом смолкла музыка в зале и остановились пары. И тотчас меж расступившихся прошел Фагот-Коровьев, все в том же кургузом пиджачке и своих поганых гетрах.

11/XI 33

Но, несмотря на его неприглядный вид, толпа расступилась и Коровьев подошел к Маргарите, по обыкновению слегка валяя дурака.

Приветствовал, выкинув какую-то штучку пальцами, взял под руку и повел через зал. Но тон Коровьева, когда он, наклонившись к уху Маргариты, зашептал гнусаво, был чрезвычайно серьезен.

— Поцелуйте руку, назовите его «мессир», отвечайте только на вопросы и сами вопросов не задавайте.

После бальных огней Маргарите показалось, что темноватая пещера глянула на нее. Некто в фиолетовом наряде откинул алебарду и пропустил в кабинет.

В камине тлели угольки, на столике горели семь восковых свечей в золотом семисвечнике, и в теплом их свете Маргарита рассмотрела гигантскую кровать на золотых ногах, тяжелые медвежьи шкуры на полу и шахматную доску. Пахло острыми лекарствами, густым розовым маслом. На постели на шелковых скомканных простынях сидел тот самый, что в час заката вышел на Патриаршие пруды. На нем был зеленый засаленный и с заплатой на локте халат, из-под которого виднелась грязная ночная сорочка, на голых ногах истоптанные ночные туфли с изъеденной меховой оторочкой, на пальцах тяжелые перстни. Ночной горшок помещался у кровати. Одну ногу сидящий откинул, и голая ведьма, покраснев от натуги, натирала колено черной мазью, от которой по всей комнате распространялся удушливый запах серы.

За спиной Маргарита чувствовала, как толпа гостей бесшумно вваливается в кабинет, размещается. Настало молчание.

Сидящий в этот момент стукнул золотой фигуркой по доске и молвил:

— Играешь, Бегемот, безобразно.

— Я, мессир, — почтительно и сконфуженно отозвался партнер, здоровяк черный котище, — просчитался. На меня здешний климат неблагоприятно действует.

— Климат здесь ни при чем, — сказал сидящий, — просто ты шахматный сапожник.

Кот хихикнул льстиво и наклонил своего короля.

Тут сидящий поднял взор на Маргариту и та замерла. Нестерпимо колючий левый глаз глядел на нее, и свечные огни горели в нем, а правый был мертв. Ведьма отскочила в сторону со своим черным варевом.

— Мессир, — тонко заговорил Коровьев у плеча Маргариты, — разрешите представить вам Маргариту.

— А, достали? Хорошо, — ответил сидящий, — подойдите.

Маргарита почувствовала, как Коровьев предостерегающе толкнул ее в бок, и сделала шаг вперед. Сидящий протянул ей руку. Маргарита, вдруг догадавшись, кто такой перед нею, побледнела и, наклонившись, поцеловала холодные кольца на пальцах.

Глаз опять впился в нее, и Маргарита опустила веки, не в силах будучи вынести его.

— Вы меня извините, госпожа, за то, что я принимаю вас в таком виде, — и сидящий махнул рукой на голую свою натертую ногу, на горшок и шахматы, — нездоров. Отвратительный климат в вашем городе, то солнышко, то сырость, холод... А?

— Честь, честь, — тревожно шепнул в ухо Коровьев.

— Это... — начала Маргарита глухо.

— Великая, — свистнул Коровьев.

— Это великая честь для меня, — выговорила Маргарита и вдохновенно добавила, — государь мой.

— О, — . . . .

головой, слепой и неуверенной походкой, он подошел к ложу.

— Узнаешь меня, Иванушка? — спросил сидящий. Иванушка Бездомный повернул слепую голову на голос.

— Узнаю, — слабо ответил он и поник головой.

— И веришь ли, что я говорил с Понтием Пилатом?

— Верую.

— Что же хочешь ты, Иванушка? — спросил сидящий.

— Хочу увидеть Иешуа Га-Ноцри, — ответил мертвый, — ты открой мне глаза.

— В иных землях, в иных царствах будешь ходить по полям слепым и прислушиваться. Тысячу раз услышишь, как молчание сменяется шумом половодья, как весной кричат птицы, и воспоешь их, слепенький, в стихах, а на тысячу первый раз, в субботнюю ночь, я открою тебе глаза. Тогда увидишь его. Уйди в свои поля.

И слепой стал прозрачен, потом и вовсе исчез. Маргарита, прижавшись щекой к холодному колену, не отрываясь, смотрела.

12/XI.33

Над столом сгустился туман, а когда он рассеялся, на блюде оказалась мертвая голова с косым шрамом от левого виска через нос на правую щеку и с кольцом лохматым в запекшейся крови на шее.

ответил бывший администратор.

Вечер 12/XI.33

— Да-с, а курьершу все-таки грызть не следовало, — назидательно ответил хозяин.

— Виноват, — сказал Внучата.

— В уважение к вашему административному опыту я назначаю вас центурионом вампиров.

Внучата стал на одно колено и руку Воланда сочно поцеловал, после чего, отступая задом, вмешался в толпу придворных.

— Ну-с, кажется, и все московские покойники? Завтра об эту пору их будет гораздо больше, я подозреваю.

— Виноват, мессир, — доложил Коровьев, изгибаясь, — в городе имеется один человек, который, надо полагать, стремится стать покойником вне очереди.

— Кто такой?

— Некий гражданин По фамилии фон-Майзен. Называет он себя бывшим бароном.

— Почему бывшим?

— Титул обременял его, — докладывал Коровьев, — и в настоящее время барон чувствует себя без него свободнее.

— Ага.

— Он звонил сегодня по телефону к вам и выражал восторг по поводу вашего вчерашнего выступления в театре и, когда узнал, что у вас сегодня вечер, выразил весьма умильно желание присутствовать на нем.

— Воистину это верх безрассудства, — философски заметил хозяин.

— Я того же мнения, — отозвался Коровьев и загадочно хихикнул.

Такое же хихиканье послышалось в толпе придворных.

— Когда он будет?

— Он будет сию минуту, мессир, я слышу, как он топает лакированными туфлями в подъезде.

— Потрудитесь приготовить все, я приму его, — распорядился хозяин.

Коровьев щелкнул пальцами, и тотчас кровать исчезла, и комната преобразилась в гостиную. Сам хозяин оказался сидящим в кресле, а Маргарита увидела, что она уже в открытом платье и сидит она на диванчике, и пианино заиграло что-то сладенькое в соседней комнате, а гости оказались и в смокингах и во фраках, и на парадном ходе раздался короткий, как будто предсмертный, звонок.

13/XI.33

Через мгновение бывший барон, улыбаясь, раскланивался направо и налево, показывая большой опыт в этом деле. Чистенький смокинг сидел на бароне очень хорошо, и, как верно угадал музыкальный Коровьев, он поскрипывал лакированными туфлями.

Барон приложился к руке той самой рыжей, которая в голом виде встречала буфетчика, а сейчас была в платье, шаркнул ногой одному, другому и долго жал руку хозяину квартиры. Тут он повернулся, ища, с кем бы еще поздороваться, и тут необыкновенные глазки барона, вечно полуприкрытые серыми веками, встретили Маргариту. Коровьев вывернулся из-за спины барона и пискнул:

— Позвольте вас познакомить...

— О, мы знакомы! — воскликнул барон, впиваясь глазами в Маргариту.

И точно: барон Маргарите был известен; она видела его раза три в Большом театре на балете. Даже, помнится, разговаривала с ним в курилке.

Маргарита почувствовала поцелуй в руку, а душа ее наполнилась тревожным любопытством. Ей показалось, что что-то сейчас произойдет, и очень страшное.

Барон же уселся и завертел головой направо и налево, готовый разговаривать с полным непринуждением. И, однако, одного внимательного взгляда достаточно было, чтобы убедиться, что барон чувствует

14/XI.33

величайшее изумление. И поразили его две вещи: во-первых, резкий запах жженой серы в гостиной, а главным образом, вид Коровьева. В самом деле! Среди лиц во фраках и смокингах и приличных хотя бы по первому взгляду дам поместился тип, который мог кого угодно сбить с панталыку. Одни гетры при кургузом пиджаке и пятно на жи-

воте чего стоили! Как ни гасил мышиный блеск своих бегающих глаз барон, он не мог скрыть того, что мучительно старается понять, кто такой Коровьев и как он попал к иностранцу.

А Коровьев именно и завел дружелюбную беседу с напросившимся гостем и первым долгом осведомился о погоде. Барона погода удовлетворяла, но Коровьев поражал все больше, и диковато поглядывал из-под опущенных век барон на расколотое пенсне.

Кроме того, барона привело в смущение молчание самого хозяина. Барон похвалил вчерашний спектакль, а хозяин хоть бы звук в ответ.

15/XI.33

Но вместо этого Коровьев затруднил гостя вопросом о том, как здоровье деток, в то время как деток никогда у барона не было. Смущение разлилось по лицу барона и даже начинало граничить с тревогой. Лица, находящиеся в комнате, все более казались барону странными. Так, рядом уселась декольтированная дама, но на шее у этой дамы была рваная громадная и только что, по-видимому, зажившая рана, которая заставила чувствительного барона содрогнуться. Дальше хуже: повернувшись, барон увидел, что рядом с ним уселся законченный фрачник, на котором не хватало только одного, но самого, пожалуй, существенного — сапог. Фрачник был бос. Тут уж барон просто вылупил глаза. И закрыть их ему при жизни уже более не пришлось.

16/XI.33

— Вас, барон, как я вижу, — вдруг произнес хозяин, — удивляют мои гости? Да, не скрою и не стану отрицать, они оригиналы, но поверьте, вы изумляете их не меньше, чем они вас. Итак, милый барон, скажите . . . .

Внутри Маргариты оборвалось что-то, но ужаса она не испытала, а скорее чувство жутковатого веселья. Впервые при ней с таким искусством и хладнокровием зарезали человека.

30/XII.33

Труп барона поехал вбок, но его подхватили ловкие руки, и кровь из горла хлынула в подставленную золотую чашу. И тут же в комнате начала бить полночь, и еще раз все преобра . . . .

4/1.1934 г.

— Верни мне моего любовника, государь, — попросила Маргарита.

Воланд вопросительно повернул голову к Коровьеву. Тот что-то пошептал на ухо Воланду. Еще несколько секунд не сводил тяжелых глаз Воланд с Маргариты, а потом сказал:

— Сейчас будет сделано.

Вскрикнув от радости, Маргарита припала к тяжелым сапогам со звездными шпорами и стала целовать черную кожу и отвороты, задыхаясь, не будучи в состоянии произносить слова.

— Я никак не ожидал, чтобы в этом городе могла существовать истинная любовь, — сказал хозяин. — А за . . . .

— Он написал книгу о Иешуа Га-Ноцри, — ответила Маргарита.

Великий интерес выразился в глазах Воланда, и опять что-то зашептал ему на ухо Коровьев.

— Нет, право, это черед сюрпризов, — заметил хозяин, но слов своих не объяснил.

6/1.1934

— Да, да, верните его, —умильно попросила Коровьева Маргарита.

— Нет, это не по его части, — отозвался хозяин дома, — это дело Фиелло.

И Фиелло получил приказ, но разобрать его Маргарита не могла, так как он был отдан шепотом.

Тут Фие . . . .
гостей хозяина.

Ватная мужская стеганая кацавейка была на нем. Солдатские штаны, грубые высокие сапоги.

Утро 7/1.1934

Весь в грязи, руки изранены, лицо заросло рыжеватой щетиной. Человек, щурясь от яркого света люстр, вздрагивал, озирался, глаза его светились тревожно и страдальчески.

Маргарита, узнав хорошо знакомый рыжеватый вихор и зеленоватые эти глаза, приподнялась и с воплем повисла на шее у приехавшего. Тот сморщился, но подавил в себе волнение, не заплакал, механически обнимая за плечи Маргариту.

В комнате наступило молчание, которое было прервано словами хозяина дома, обращенными к Фиелло:

— Надеюсь, вы никого не застрелили?

— Обращайтесь к коту, мессир, — отозвался Фиелло.

Хозяин перевел взгляд на кота. Тот раздулся от важности и похлопал по кобуре лапой.

— Ах, Бегемот, — сказал хозяин, — и зачем тебя выучили стрелять! Ты слишком скор на руку.

— Ну, не я один, сир, — ответил кот.

Затем хозяин обратил свой взор на прибывшего. Тот снял руки с плеч Маргариты.

— Вы знаете, кто я? — спросил его хозяин.

— Я, — ответил привезенный, — догадываюсь, но это так странно, так непонятно, что я боюсь сойти с ума.

Голос привезенного был грубоват и хрипл.

— О, только не это. Ум берегите пуще всего, — ответил хозяин и, повернувшись к Маргарите, сказал:

— Ну что ж... Благодарю вас за то, что посетили меня. Я не хочу вас задерживать. Уезжайте с ним. Я одобряю ваш выбор. Мне нравится этот непокорный вихор, а также зеленые глаза. Благодарю вас.

— Но куда же, куда я денусь с ним? — робко и жалобно спросила Маргарита.

С обеих сторон зашептали в уши хозяину: слева — Фиелло, справа — Коровьев.

— Да выбросьте вы его к чертовой матери, — сказал хозяин, — так, чтобы и духом его не пахло, вместе с его вещами... а впрочем, дайте его мне сюда.

И тотчас неизвестный человек свалился как бы с потолка в залу. Был он в одних подштанниках и рубашке, явно поднятый с теплой постели, почему-то с кепкой на голове и с чемоданом в руках. Человек в ужасе озирался, и было видно, что он близок к умопомешательству.

— Понковский? — спросил хозяин.

— Понковский, так точно, — ответил, трясясь, человек.

— Это вы, молодой человек, — заговорил хозяин, [потому] что человеку с чемоданом было лет сорок, — написали, что он, — хозяин кивнул на вихор и зеленые глаза, — сочиняет роман?

— Я-с, — ответил человек с чемоданом, мертвея.

— А теперь в квартире его проживаете? — прищурясь, спросил хозяин.

— Да-с, — плаксиво ответил человек.

— Это что же за хамство такое? — сурово спросил хозяин, а затем добавил рассеянно: — Пошел вон!

И тотчас Понковский исчез бесследно.

— Квартира ваша таперича свободна, — ласково заговорил Коровьев, — гражданин Понковский уехали во Владивосток.

Тут качнулся светло-рыжий вихор, глаза тревожно обратились к хозяину.

— Я, — заговорил поэт, покачнулся от слабости, ухватился за плечо Маргариты, — я предупреждаю, что у меня нет паспорта, что меня схватят сейчас же... Все это безумие... Что будет с нею?

Сидящий внимательно поглядел на поэта и приказал:

— Дайте гостю водки, он ослабел, тревожен, болен.

Руки протянулись к поэту со всех сторон, и он отпил из стакана. Его заросшее лицо порозовело.

— Паспорт, — повторил он упрямо и безумно.

— Бедняга, — сочувственно произнес хозяин и покачал головой, — ну дайте ему паспорт, если уж он так хочет.

Коровьев, все так же сладко улыбаясь, протянул поэту маленькую книжечку, и тот, тревожно косясь в пол, спрятал ее под кацавейкой.

Маргарита тихонько плакала, утирая глаза большим рукавом.

— Что с нами будет? — спросил поэт. — Мы погибнем!

— Как-нибудь обойдется, — сквозь зубы сказал хозяин и приказал Маргарите: — Подойдите ко мне.

Маргарита опустилась у ног Воланда на колени, а он вынул из-под подушки два кольца и одно из них надел на палец Маргарите. Та притянула за руку поэта к себе и второе кольцо надела на палец безмолвному поэту.

— Вы станете не любовницей его, а женой, — строго и в полной тишине проговорил Воланд, — впрочем, не берусь загадывать. Во всяком случае, — он повернулся к поэту, — примите от меня этот подарок, — и тут он протянул поэту маленький черный револьвер с золотою насечкою.

Поэт, все так же мутно и угрюмо глядя исподлобья, взял револьвер и спрятал его в глубоком кармане под кацавейкой.

— Вечер наш окончен, — объявил Воланд, — светает, я хочу отдохнуть. Все свободны.

При этих словах свет в люстрах стал убывать, толпа гостей растаяла в полумраке, и Маргарита почувствовала, что ее бережно ведут под руки по лестнице.

ПОДКОВА

Аннушка Васина, та самая, что пролила постное масло не вовремя, была известна как настоящий бич той квартиры, где она проживала. А проживала она как раз под квартирою покойного Берлиоза.

В то самое время, как Маргарита почувствовала, что вежливые и дружеские руки выводят ее и поэта на лестницу, Аннушка, известная в квартире под именем стервы, не спала, как все добрые люди, а находилась в дверях своей квартиры. Дело в том, что у Аннушки была привычка вставать ни свет ни заря и отправляться куда-то с бидоном в руках.

В данном случае, однако, она никуда не отправлялась, а стояла в полутемной прихожей так, что в щель приоткрытой двери торчал ее острый нос и один глаз. Другой, заплывший в чудовищном багровом синяке (Аннушку накануне били), скрывался во тьме.

Причина Аннушкиного поведения была в том, что Аннушка, собравшись куда следовало с бидоном, не успела открыть дверь на лестницу, как увидела удивительного человека.

По облупленной и годами не мытой лестнице, хватаясь в остервенении за перила, скатился с чрезвычайной быстротой мужчина в одном белье и с чемоданом в руке. Кепка его была заломлена на затылок, а чемодан был желтый.

Аннушка налетела так плотно на несущегося человека, что он едва не вышиб своим чемоданом бидон из ее рук.

— Куда ж тебя черт несет?! — вскричала Аннушка, отпрянув.

— Во Владивосток! — воскликнул человек в подштанниках таким странным голосом, как будто во сне или в бреду.

Но это было бы полгоря, а дальше произошло совсем невероятное: человек вместе с своим грузом кинулся к окну, одному из тех, что, как известно, бывают на каждой лестничной площадке и которое по случаю наступившей весны уже было открыто, и вылетел в него.

Аннушка ахнула, ударилась головой об стену, перекрестилась, а когда опомнилась, подбежала к окну и, легши животом на пол, высунула изуродованную физиономию. Но не увидела никакого разбившегося человека, сколько ни вертела головой. Оставалось предположить, что личность, слоняющаяся на рассвете по передним лестницам, упорхнула вместе с чемоданом и подштанниками, не оставив по себе никаких следов.

Тут же дверь на площадке повыше открылась, донеслись из квартиры, занятой иностранцем, голоса и даже как бы музыка. И стали спускаться вниз.

Аннушка, как крыса, кинулась в свою дверь, забросила себя цепочкой, оставила щель и стала подглядывать, ожидая увидеть интересные вещи. Она не ошиблась в своем расчете. Через несколько секунд поравнялась с Аннушкиною дверью красавица дама, без шляпы, в буйных растрепанных рыжих волосах, одетая соблазнительно. Шелковое платье сползло с плеча, на ногах не было чулок, поверх всего — черный плащ. Красавица вела под руку пошатывающегося, как разглядела в рассвете Аннушка, будто бы бледного бородатого, одетого бедно, как будто больного. Но тоже в черном плаще. Сопровождали этих двух две таких личности, что единственный действующий глаз Аннушки едва не вылез из орбиты.

Один был одет шутом гороховым с бубенчиками, как клялась Аннушка, и хромой, а другой — вылитый кот в сапогах и штанах и с болтающимся на пузе револьвером, как от страху показалось Аннушке, в аршин длиною. Тут вся компания скрылась из глаз Аннушки на повороте лестницы. Наверху захлопнули дверь, всякие звуки исчезли, но чуткое ухо дало знать Аннушке, что по асфальту шарахнула машина и стала у подъезда. Аннушка, откинув цепочку, выскочила на лестницу.

— Ай да иностранцы! — прошептала Аннушка, — вот какую жизнь ведут, — и пала животом на холодную мозаику площадки.

Отчетливо видела, как в роскошную закрытую машину погрузились все четверо, а затем без гудка в ясном рассвете нечистая сила унесла машину в ворота.

Аннушка не вытерпела и плюнула на асфальт.

— Чтоб вы, сволочи, перелопались! — воскликнула Аннушка. — Мы-то в рванине ходим, а... — но мысли своей не договорила, а на карачках поползла, сверкая единственным глазом, по площадке и подняла со ступеньки тяжелый, тускло сверкающий предмет.

Сомнений не было и быть не могло. Иностранцы подковывали сапоги лошадиными подковами из чистого золота. Тут все в голове Аннушки перепуталось. И роскошные машины иностранцев, в то время как Аннушка мотается день-деньской, и полуголая баба, и бубенчики, и какой-то ювелир, и торгсин, и с племянником посоветоваться, и подкову ломать, и по кусочкам ее сдать, и...

Через минуту подкова была запрятана под засаленным лифчиком, а Аннушка, вылупив глаз и думая об ювелирах и торгсинах, и племянниках, спускалась по лестнице. Но выйти ей не пришлось. У самых выходных дверей встретился ей преждевременно вернув-

шийся тот самый в бубенчиках, в каких-то странных полосатых не здешних, а очевидно, иностранных штанах в обтяжку. Рыжий.

Аннушка искусно сделала вид, что она сама по себе, состоит при своем бидоне и что разговаривать ей некогда, но рыжий ее остановил словами:

— Отдавай подкову.

— Какую такую подкову? Никакой я подковы не знаю, — искусно ответила Аннушка и хотела отстранить рыжего.

Тот размахнулся и ударил Аннушку по уху с той стороны, что приходилась у здорового глаза. Аннушка широко открыла рот, чтобы испустить вопль, но рыжий рукой, холодной, как поручень автобуса зимой, и такой же твердой, сжал Аннушкино горло так, что прекратился доступ воздуха, и так подержал несколько секунд, а затем отпустил.

Набрав воздуху, Аннушка сказала, улыбнувшись:

— Подковочку? Сию минуту. Ваша подковочка? Я ее на лестнице нашла. Смотрю, лежит. Гвоздик, видно, выскочил. Я думала не ваша, а она ваша...

Получив подкову, иностранец пожал руку Аннушке и поблагодарил, выговаривая слова с иностранным акцентом:

— Я вам очень благодарен, мадам. Мне дорога эта подкова как память... Позвольте вам подарить на двести рублей бонов в торгсин.

8/1.34. Утро

Отчаянно улыбаясь, Аннушка вскрикнула:

— Покорнейше благодарю! Мерси!

А иностранец в один мах взлетел на один марш, но, прежде чем окончательно смыться, крикнул Аннушке с площадки, но уже без акцента:

— Ты, старая ведьма, если еще найдешь когда-нибудь чужую вещь, сдавай в милицию, а за пазуху не прячь.

Тут и исчез.

Чувствуя в голове звон и суматоху, Аннушка, по инерции продолжая улыбаться и шептать «мерси», пересчитала боны и выбежала на двор.

В девять часов утра Аннушка была у дверей торгсина на Смоленском рынке. В девять с четвертью она купила на боны пахнущие керосином 500 граммов чайной колбасы, пять метров ситца и многое другое еще.

В половину десятого ее арестовали.

С ПРИМУСОМ ПО МОСКВЕ

Никому не известно, где и почему разделилась компания злодеев, но свидетели утверждают, что примерно через минуту после того, как таинственная шайка покинула Садовую, Коровьева увидели

в большом магазине торгсина на углу у Никитских ворот. Регент с большим достоинством вошел в зеркальные двери и приятно улыбнулся. Необыкновенно суровый мужчина, стоящий у дверей, преградил регенту путь и сказал:

— С котами, гражданин, в торгсин строжайше воспрещается.

Регент поглядел на него с достоинством и ответствовал:

— С какими котами? Я вас не понимаю!

Мужчина в удивлении вылупил глаза, не понимая, куда же девался черный кот с примусом в лапах, вошедший вместе с Коровьевым. Делать было, однако, нечего, мужчина, дико улыбнувшись, пропустил Коровьева, а сам стал заглядывать во все закоулки, ища мерзавца кота. Но нигде его не нашел и, пожимая плечами, опять утвердился на своем посту у выходных дверей.

В магазине торгсина было до того хорошо, что у всякого входящего замирало сердце. Чего только не было в сияющих залах с зеркальными стеклами!

У самого входа налево за решетчатыми загородками сидели неприветливые мужчины и взвешивали на весах и кислотой пробовали золотые вещи, которые совали им в окошечки разнообразно одетые дамы. Направо в кассах сидели девушки и выдавали ордера. А далее чуть не до потолка громоздились апельсины, груши, яблоки. Возведены были причудливые башни из плиток шоколаду, целые строения из разноцветных коробок папирос, и играло солнышко на словах «Золотой ярлык» и «Ананасы экспортные». А далее прямо чудеса в решете. Лежала за стеклами толстая, как бревно, в тусклой чешуе поперек взрезанная семга двинская. В кадушках плавала селедка астраханская, грудами лежали блестящие коробки, и надпись свидетельствовала, что в них килька ревельская отборная. О сыре и говорить нечего, как мельничные жернова навален он был на прилавок, и, лишь проворный приказчик вонзился в него страшным ножом, он плакал, и жирные слезы стекали из его бесчисленных ноздрей.

Вскинешь взор, и кажется, что видишь сон. Массандровская мадера, портвейн, херес, шампанское, словом, все вина, какие только может потребовать самый прихотливый потребитель, все были тут в бутылках.

— Хороший магазин, — звучно сказал Коровьев, хотя никто и не интересовался его мнением и никто не просил его магазин этот хвалить. И тут же он подошел к фруктам.

— С котами нельзя, — в негодовании сказала белая женщина.

— Извиняюсь, где вы видите кота? — спросил Коровьев и приставил ладошку к уху, как тугоухий. Женщина моргнула глазами и отшатнулась. На том самом месте, где почудился ей черный кот на задних лапах, стоял толстяк в клетчатом с продранным локтем, правда, с кошачьей рожей, но в кепке и с примусом в руке.

— Почем мандарины? — осведомился Коровьев.

— 30 копеек кило, — ответила пораженная женщина.

— Жарко. Кушай, Бегемот, — пригласил Коровьев.

Спутник Коровьева передал примус Коровьеву, взял верхний мандарин, облупил его в один взмах и тут же, чавкнув, сожрал его, а затем принялся за второй.

Смертельный ужас поразил женщину.

— Вы с ума сошли! — закричала она. — Чек подавайте! Чек! — и уронила конфетные щипцы.

— Душенька, — задребезжал Коровьев, — не при валюте мы сегодня... Ну что поделаешь. Но клянусь вам, в следующий же раз и никак не позднее четырнадцатого отдадим. В кредит! - и о н подмигнул.

А Бегемот лапу сунул в шоколадную пирамиду, выдернул плитку, отчего вся пирамида рухнула. Женщина сделалась желтой, как батумский лимон, и пронзительно и тоскливо завыла:

— Палосич!

И не успел еще Бегемот прожевать шоколадку, как Павел Осипович возник у прилавка.

Утро 25/I.34

Он вмиг оценил положение и, не вступая ни в какие пререкания с Коровьевым или Бегемотом, воскликнул:

— Сверчков! Милицию!

Пронзительная трель у дверей ответила Палосичу. Приказчики бросили ножи и выставили лица из-за прилавков. Бегемот отступил к громадной кадке с надписью «Сельдь керченская» и запустил в нее лапу.

— Ты что делаешь, гад?! — вскричал приказчик в белом халате и котиковой шапке.

Трель повторилась.

Вечер 25/I.34

Проглотив кусок керченской селедки, Бегемот повел речь.

— Граждане-товарищи! Что же это делается? Ему можно? — Тут он указал лапой на человека, одетого в сиреневое пальто. Этому человеку приказчик резал балык, источающий масло. — Ему можно? А коту, который починяет примуса, нельзя?

1/II.34

Трель загремела отчаянно. В гастрономическое отделение потянулась публика.

— Горько мне! Горько! — как на свадьбе вскричал спутник Коровьева и ударил себя в грудь. Приказчик замер с ножом в руке. Тут спутник, очевидно самого себя расстроив, размахнулся и ударил кулаком в грудь сиреневого человека. Тот слетел с ног и рухнул прямо в кадку с керченским рассолом, так что брызнуло в разные стороны. В то же мгновение возникли двое милиционеров возле самых мандаринов.

Их явление было, впрочем, кратковременным. Коровьев преградил им путь со словами:

— Эх, добрые души! Ну чего вам-то ввязываться в это печальное дело?

Он дунул и крикнул:
— Исчезните!
После этого оба милиционера растаяли в воздухе буквально так, как тает кусок рафинаду в горячем чае.
Дикий голос рявкнул в толпе покупателей: «Иностранца бьют!», Павел Иосифович куда-то метнулся, кот овладел примусом и вдруг широко плеснул керосином прямо на фрукты. И ранее, чем успели мигнуть, спичку, что ли, кто-то успел швырнуть, только апельсины в ящиках за прилавком вспыхнули.
И все смешалось. Девушки выбежали из-за прилавка, крича: «Пожар!» Шарахнулась публика, а огонь, весело лизнув шоколадную пирамиду, бросился вверх, и загорелись бумажные розовые ленты на корзинах. Еще мгновение, и огонь пошел жрать полотняную штору на окне. Что-то затрещало и посыпалось, и видны были скачущие через прилавок приказчики, и лез на карачках из магазина в испорченном сиреневом пальто исступленный человек, и побежала публика из магазина, и вылетело стекло, и свистели опять, и слышен был вопль Павла Иосифовича: «Пропустите к телефону!»... Сам же господин Коровьев и спутник его тут же бесследно исчезли.

Роман. Окончание

(Ленинград, июль, 1934 г.)

12/VII.34 г. — 15/VII.1934 г.

Куда девались подозрительный Коровьев и толстяк в клетчатом непосредственно после того, как учинили пакость в торгсине на Смоленском, — неизвестно.
Будто бы оба негодяя перебросились на Мясницкую улицу, попали в пустынное учреждение. Что там делали они — осталось тайной, но пожар начался немедленно после их отбытия. И лихая пожарная колонна, сверкая, трубя и звеня в колокола, покатила по намасленному асфальту. Затем неразлучная пара оказалась именно в доме Грибоедова, на веранде ресторана, где, важно усевшись за свободный столик, потребовала две кружки пива и полтора десятка раков.
В раках им сразу отказали, сославшись на то, что ракам не сезон. А с пивом тоже произошла заминка. Официант осведомился — литераторы ли новоприбывшие?
— Какое отношение это имеет к пиву? — надменно осведомился Коровьев, а толстяк объявил, что он поэт. И тут же, встав в позу и поражая всех продранными локтями, фальшивым голосом зачитал дурацкое стихотворение:

Вы прекрасны точно роза.
Но есть разница одна:
Роза...

За столиками заулыбались сконфуженно, зашептались, заерзали. Официант не пожелал слушать ничего про розу и попросил удостоверение.

Тут произошла страннейшая история. Как из-под земли вырос командир черного брига и режущим взглядом окинул незваных посетителей. И удивительная перемена произошла во флибустьере. Он, всмотревшись в посетителей, вздрогнул, побледнел и неожиданно раскланялся низко. Оттеснив одним взмахом официанта, оказался у плеча Коровьева и, как фокусник, вынул карточку. Официант в изумлении открыл рот.

— Чем потчевать прикажете? — шепнул белозубый пират, и еще интимнее шепнул: — Белорыбица мировая, к съезду писателей приготовили... Деволяйчик могу сделать, салат?

Коровьев внимательно смотрел на соблазнителя, внезапно протянул ему руку. И тот потряс ее обеими руками. Толстяк, не желая отставать от приятеля, также ткнул флибустьеру лапу.

— Ничего не нужно. Мы спешим. Две кружки пива, — приказал Коровьев.

— Две кружки пива, — грозно повторил флибустьер и тотчас, повернувшись, удалился вместе с пораженным официантом. По дороге он, еле шевеля губами, произнес тихо:

— Пиво из запасного бочонка. Свежее. Льду. Скатерть переменить. Ванотиного рыбца тонкими ломтиками. В секунду. От столика не отходить.

Официант устремился в буфет, а командир повел себя необычайно странно. Он исчез в темном коридоре, вошел в двери с надписью «Служебная», тотчас вышел из нее со шляпой в руках и в пальто, кому-то встречному сказал: «Через минуту вернусь», — вышел черным ходом на Бронную, повернул за угол и исчез. Он не вернулся ни через минуту, ни через час. Он больше вообще не вернулся, и никто его более не видел.

Меж тем публика за столиками в совершенном отупении наблюдала странную пару, вооружившуюся двумя вспотевшими кружками пива. Толстяк наслаждался, погрузив морду в пену и подмигивая на официанта, который как прилип к своему месту на посту невдалеке.

Тут на веранде появился взволнованный хроникер Боба Кондалупский и плюхнулся за соседний столик, где помещался известный писатель с гордой дамой в шляпе в виде бритвенного блюдечка.

— В городе пожары, — взволнованно шепнул Кондалупский по своей привычке на ухо известному писателю.

Судорога прошла по лицу писателя, но еще не успел осмыслить сообщенного, как с соседнего столика раздался голос:

— Что ж мудреного. Сушь такая. Долго ли до беды. Опять же примуса, — козлиным голосом заговорил Коровьев, явно адресуясь к гордой даме.

— Сейчас в Гнездниковском загорится! — вдруг радостно объявил толстяк, тыча лапой в сад. — Очень любопытно. Я люблю пожары, мадам, — добавил он, тоже почему-то обращаясь к обладательнице блюдечка.

Не успели за столиком как-то отозваться на это дикое заявление, как все взоры устремились за зеленый бульвар.

Отчетливо видно было, как в высоком доме за бульваром, в десятом примерно этаже, из открытого окна полез дым. Потом в других местах распахнулись рамы.

На веранде посетители начали вскакивать из-за столиков. Только Кондалупский как сидел, так и застыл на стуле, переводя глаза с дальнего дома на толстяка, который в Кондалупском явно вызывал ужас.

— Началось, я ж говорил, — шумно отдуваясь после пива, воскликнул толстяк и велел официанту: — Еще парочку!

Но пить вторую парочку не пришлось. Из внутренних дверей ресторана появились четверо людей и стремительно двинулись к столику Коровьева.

— Не поднимайтесь, — сквозь зубы сказал первый из появившихся и дернул щекой.

Толстяк нарушил приказание и встал из-за стола. Первый идущий тогда, не произнося более ни слова, поднял руку, и на веранде грянул выстрел. Публика бросилась бежать куда попало. Взвизгнула дама в блюдечке, чья-то кружка треснулась об пол, побежали официанты. Но стрельба прекратилась. Стрелявший побелел: за столиком никого не было. На столе стояли две опустевшие кружки, наполовину обглоданный рыбец. А рядом со столика, из треснувшей под кофейником спиртовки, ручьем бежал спирт, и на нем порхали легкие синие огоньки, и дама визжала, прыгая в горящей луже и зонтиком колотя себя по ногам.

ПОРА! ПОРА!

На плоской террасе здания, украшенного белыми колоннами и скульптурами, изображениями белых женщин в туниках, сидел на складном табурете Воланд и глядел на город, громоздившийся внизу. Сзади Воланда стоял мрачный рыжий и косой Азазелло.

Ветерок задувал на террасу, и бубенчики тихо звенели на штанах и камзоле Азазелло.

Воланд устремил взгляд вдаль, любуясь картиной, открывшейся перед ним. Солнце садилось за изгиб Москвы-реки, и там варилось месиво из облаков, черного дыма и пыли.

Воланд повернул голову, подпер кулаком подбородок, стал смотреть на город.

— Еще один дым появился на Бульварном кольце.

Азазелло, прищурив кривой глаз, посмотрел туда, куда указывал Воланд.

— Это дом Грибоедова горит, мессир.

— Мощное зрелище, — заговорил Воланд, — то здесь, то там повалит клубами, а потом присоединяются и живые трепещущие языки. Зелень сворачивается в трубки, желтеет. И даже здесь ветерок припахивает гарью. До некоторой степени это напоминает мне пожар Рима.

— Осмелюсь доложить, — загнусил Азазелло, — Рим был город красивее, сколько я помню.

— Мощное зрелище, — повторил Воланд.

— Но нет ни одного зрелища, даже самого прекрасного, которое бы в конце концов не надоело.

— К чему ты это говоришь?

— Прошу прощения, сир, тень поворачивает и становится длиннее, нам пора покинуть этот город. Интересно знать, где застряли Фагот с Бегемотом? Я знаю, проклятый толстяк наслаждается сейчас в этой кутерьме, паясничает, дразнит всех, затевает ссоры.

— Придут.

Тут внимание говоривших привлекло происшествие внизу. С Воздвиженки в Ваганьковский переулок вкатили две красные пожарные машины. Зазвонил колокол. Машины повернули круто и въехали на Знаменку, явно направляясь к многоэтажному дому, из-под крыши которого валил дым.

Но лишь только первая машина поравнялась, замедляя ход, с предыдущим домом, окно в нем разлетелось, стекла брызнули на тротуар, высунулся кто-то в бакенбардах с патефоном в руках и рявкнул басом:

— Горим!

Из подворотни выбежала женщина, ее слабый голос ветер донес на крышу, но разобрать ее слов нельзя было.

Передняя машина недоуменно остановилась. Бравый человек в синем сюртуке соскочил с нее и замахал руками.

— Действительно, положение, — заметил Воланд, — какой же из двух домов он начнет раньше тушить?

— Какой бы из них ни начал, он ни одного не потушит. Толстый негодяй сегодня, когда гулял, я видел, залез в колодезь и что-то финтил с трубами. Клянусь вашей подковой, мессир, он не получит ни одной капли воды. Гляньте на этого идиота с патефоном. Он выпрыгнул из окна и патефон разбил, и сломал руку.

Тут на железной лестнице застучали шаги, и головы Коровьева и Бегемота показались на крыше.

Рожа Бегемота оказалась вся в саже, а грудь в крови, кепка обгорела.

— Сир, мне сейчас по морде дали! — почему-то радостно объявил, отдуваясь, Бегемот. — По ошибке за мародера приняли!

— Никакой ошибки не было, ты и есть мародер, — отозвался Воланд.

Под мышкой у Бегемота торчал свежий пейзаж в золотой раме, через плечо были перекинуты брюки, и все карманы были набиты жестяными коробками.

— Как полыхнуло на Петровке, одна компания нырь в универмаг, я — с ними, — рассказывал возбужденно Бегемот, — тут милиция... Я — за пейзажем... Меня по морде... Ах так, говорю... А они стрелять, да шесть человек и застрелили!

Он помолчал и неожиданно добавил:

— Мы страшно хохотали!

Кто и почему хохотал и что в рассказанном было смешного, узнать никому не удалось.

Голова белой статуи отскочила и, упавши на плиты террасы, разбилась. Группа стоявших повернула головы и глянула вниз. На Знаменке шла кутерьма. Брезентовые люди с золотыми головами матерились у иссохшего мертвого шланга. Дым уже пеленой тянулся через улицу, дыбом стояли лестницы в дыму, бегали люди, но среди бегавших маленькая группа мужчин в серых шлемах, припав на колено, целилась из винтовок. Огоньки вспыхивали, и сухой веселый стук разносило по переулкам.

У статуи отлетели пальцы, от колонны отлетали куски. Пули били в железные листы крыши, свистали в воздухе.

— Ба! — вскричал Коровьев. — Да ведь это в нас! Мы популярны!

— Пуля свистнула возле самого моего уха! — горделиво воскликнул Бегемот.

Азазелло нахмурился и, указывая на черную тень от колонны, падающую к ногам Воланда, настойчиво заговорил:

— Пора, мессир, пора...

— Пора, — сказал Воланд, и вся компания стала с вышки по легкой металлической лестнице спускаться вниз.

ОН ПОКИДАЕТ МОСКВУ

Удивительно, с какою быстротой распространяются по городу важные известия. Пожары произошли в таком порядке. Первым загорелся, как мы знаем, дом на Садовой. Затем Коровьев с Бегемотом подожгли торгсин на Смоленском рынке. Затем торгсин у Никитских ворот. И вот, уже после этих трех пожаров, происшедших в разных частях города, в народе уже было известно, что злодеи поджигают город. Говорили, что за злодеями уже гонятся. Тут же, конечно, явился и вывод из этого — то есть их поймали. Нашлись очевидцы, которые говорили, что видели, как их расстреляли.

Однако, когда вслед за первыми пожарами последовали новые, те же лица говорили шепотом, что пуля их не берет.

Поразительно то, что многие очень правильно нашли нить, ведущую из квартиры покойного Берлиоза в «Кабаре», оттуда в учреждения, где происходили чудеса, и наконец к пожарам.

Поэтому, когда выяснилось, что размеры беды чрезвычайны, когда во всех частях города пылали здания, пожалуй, все уже знали, что город зажгли фокусники из «Кабаре».

С быстротою самого огня, от заставы до заставы противоположной, из уст в уста передавались и приметы злоумышленников, и притом сравнительно правильно.

Легкая пожарная лестница вела мимо окна, раскрытого настежь. В это окно один за другим вышли спускавшиеся с белой вышки в ог-

ромнейший трехсветный зал, прямо в верхний читальный зал библиотеки.

Чтения, правда, в то время там уже не происходило. Читатели покинули зал, лишь только слухи о том, что город подожжен, проникли в библиотеку. Еще не зажженные лампы под зелеными колпаками тянулись бесконечными рядами в нижнем этаже зала, а у раскрытых окон, в которые теперь уже заносило гарь, томились служащие девицы, еще боящиеся покинуть свои посты.

Первая встреча произошла тотчас вверху, где девица была в одиночестве. Лишь только таинственные незнакомцы ввалились в окно, девица, изменившись в лице, повалилась на стул и так и застыла на этом стуле, стараясь спрятаться за двумя фолиантами. Компания прошла мимо нее, не причинив ей вреда, и задержался только Бегемот.

Всмотревшись в девицу, которая окоченела от страху, Бегемот объявил, что он хочет сделать ей подарок, и выложил перед девицей на стол ландшафтик, брюки и коробки, как выяснилось по надписям, со шпротами.

Спустились, минуя нижний зал, и вышли на площадку. Тут за столом встрепенулась пожилая суровая в очках и потребовала билетики на выход.

— Дура, — буркнул Азазелло.

— Какая такая дура! — вскричала оскорбленная женщина и засуетилась.

16/VII.34

Но Бегемот усмирил женщину, вынув из кармана четыре билетика на выход. Тут только какая-то мысль осенила голову женщины, она побледнела и с ужасом глядела вслед странной компании.

17/VII. Москва

Компания спустилась мимо барельефа на лестнице. В раздевалке ни одной курьерши у вешалок не оказалось. Все они уже были за дверьми...

13/VIII. Москва

Все они уже оказались за дверьми и все кинулись бежать, лишь только компания вышла в зеленый дворик. Тут обнаружилось, что в газоне лежит самовар, а так как трава возле него дымилась, было ясно, что кто-то вышвырнул самовар с кипятком и углями.

10-го сентября 1934 г.

В Ваганьковском переулке компания подверглась преследованию. Какой-то взволнованный гражданин, увидев выходящих, закричал:

— Стой! Держите поджигателей!

Он суетился, топал ногами, не решаясь в одиночестве броситься на четверых. Но пока он созывал народ, компания исчезла в горьком дыму, застилавшем переулок, и больше ее в этом районе не видал никто.

Мы не знаем, каким образом злодеи проникли на Плющиху. Они проникли и мелькнули в том месте, где дивная асфальтированная улица подходит к незабвенному Девичьему Полю.

Здесь было потише, и если бы не некоторые взволнованные гражданки, выглядывающие из окон верхних этажей, стараясь рассмотреть, что происходит там, на Смоленском рынке, можно было бы подумать, что все в столице обстоит и тихо, и мирно.

Компания прошла под деревьями Девичьего Поля, вдыхая аромат весенней земли и первых набухших почек, и скрылась на Пироговской улице.

Маршрут ее был ясен. Она стремилась к Москве-реке. Они покидали столицу.

НА ЗДОРОВЬЕ!

Одинокая ранняя муха, толстая и синяя, ворвалась в открытую форточку и загудела в комнате.

Она разбудила поэта, который спал четырнадцать часов. Он проснулся, провел рукой по лицу и испугался того, что оно обрито. Испугался того, что находится на прежнем месте, вспомнил предыдущую ночь, и безумие едва не овладело им.

Но его спасла Маргарита. В драном шелковом халате, надетом на голое тело, она сидела у ложа поэта и, не сводя глаз, смотрела на измятое лицо и воспаленные глаза. Она заговорила первая.

— Я вижу, что ты хочешь испугаться? Не делай этого, я запрещаю тебе, — тут она подняла палец многозначительно.

— Но что же происходит? — спросил поэт и вцепился рукой в простыню. — Я сумасшедший!

— Ты не сумасшедший, — обольстительно улыбаясь, ответила Маргарита, — ты нормален...

— Но что же это?..

— Это, — и Маргарита наклонилась к поэту, — это высшая и страшная сила, и она появилась в Москве...

— Это бред... — начал говорить поэт и заплакал. Маргарита побледнела, лицо ее исказилось и постарело...

— Перестань, перестань.

— Я, — произнес поэт, всхлипнув в последний раз, — больше не буду. Это слабость. — Он вытер глаза простыней.

Муха перестала гудеть, куда-то завалилась за шкаф, и в то же время стукнули шаги на кирпичной дорожке и отчетливые ноги появились в окошке. Некто присел на корточки, отчего в мутном стекле, заслонив свет, появился довольно упитанный зад и колени. Некто пытался заглянуть в жилье. Поэт задрожал, но пришел в себя и затих.

— Богохульский! — сказал взволнованно голос с корточек, и некто сделал попытку всунуть голову в форточку.

— Вот, пожалуйста! — шепнул злобно и горько поэт.

Маргарита подошла к окошку и сурово спросила сующегося в окно человека:

— Чего тебе надо?

Голова изумилась.

— Богохульский дома?

— Никакого Богохульского здесь нет, — ответила грубым голосом Маргарита.

— Как это так нету, — растерянно спросили в форточке, — куда же он девался?

— Его Гепеу арестовало, — ответила строго Маргарита и прибавила: — А твоя фамилия как?

Сидящий за окном не ответил, как его фамилия, в комнате сразу посветлело, сапоги мелькнули в следующем окне, и стукнула калитка.

— Вот и все, — сказала Маргарита и повернулась к поэту.

— Нет, не все, — отозвался поэт, — через день, не позже, меня схватят. Кончу я жизнь свою в сумасшедшем доме или в тюрьме. И если сию минуту я не забудусь, у меня лопнет голова.

Он поник головой.

Маргарита прижалась к нему и заговорила нежно.

— Ты ни о чем не думай. Дело, видишь ли, в том, что в городе кутерьма. И пожары.

— Пожары?

— Пожары. Я подозреваю, что это они подожгли Москву. Так что им совершенно не до тебя.

— Я хочу есть.

Маргарита обрадовалась, стащила за руку поэта с кровати, накинула ему на плечи ветхий халат и указала на раскрытую дверь. Поэт, еще шатаясь, побрел в соседнюю комнатушку.

Шторы на окошках были откинуты, в них сочился последний майский свет. В форточки тянуло гниловатым беспокойным запахом прошлогодних опавших листьев с примесью чуть уловимой гари.

Стол был накрыт. Пар поднимался от вареного картофеля. Блестели серебряные кильки в продолговатой тарелке с цветочками.

— Ты решительно ни о чем не думай, а выпей водки, — заговорила Маргарита, усаживая любовника в алое кресло. Поэт протянул руку к темной серебряной стопке. Маргарита своей белой рукой поднесла ему кильку. Поэт глотнул воду жизни, и тотчас тепло распространилось по животу поэта.

11/IX.1934

Он закусил килькой. И ему захотелось есть и жить.

Маргарита налила ему вторую стопку, но выпить ее поэт не успел. За спиной его послышался гнусавый голос:

— На здоровье!

Поэт вздрогнул, обернулся, так же как и Маргарита, и любовники увидели в дверях Азазелло.

Воланд в сопровождении свиты к закату солнца дошел до Девичьего монастыря. Пряничные зубчатые башни заливало косыми лучами из-за изгибов Москвы-реки. По небу слабый ветер чуть подгонял облака.

Воланд не задерживался у монастыря. Его внимание не привлекли ни хаос бесчисленных построек вокруг монастыря, ни уже выстроенные белые громады, в окнах которых до боли в глазах пылали изломанные отражения солнца, ни суета людская на поворотном трамвайном круге у монастырской стены.

Город более не интересовал его гостя, и, сопровождаемый спутниками, он устремился вдаль к Москве-реке.

Группа, в которой выделялся своим ростом Воланд, прошла мимо свалок по дороге, ведущей к переправе, и на ней исчезла.

Появилась она вновь через несколько секунд, но уже за рекой, у подножия Воробьевых гор. Там, на холме, к которому примыкала еще оголенная роща, группа остановилась, повернулась и посмотрела на город.

В глазах поднялись многоэтажные белые громады Зубовки, а за ними — башни Москвы. Но эти башни видны были в сизом тумане. Ниже тумана над Москвой расплывалась тяжелая туча дыма.

— Какое незабываемое зрелище! — воскликнул Бегемот, снимая шапчонку и вытирая жирный лоб.

Его пригласили помолчать.

Дымы зарождались в разных местах Москвы и были разного цвета. Между. . . . .

Какая-то баба с узлом появилась выше стоящих на террасе над холмом.

— Удивительно неуютное место, — заметил Бегемот, осматриваясь, — как много всюду любопытных.

Азазелло, сердито покосившись, вынул парабеллум и выстрелил два раза по направлению группы подростков, целясь над головами. Подростки бросились бежать, и площадка опустела. Исчезла и баба наверху.

Тогда Воланд первый, взметнув черным плащом, вскочил на нетерпеливого коня, который и встал на дыбы. За ним легко взлетели на могучие спины Азазелло, Бегемот и Коровьев в своем дурацком наряде.

Холм задрожал под копытами нетерпеливых коней.

14/IX.34

Но не успели всадники тронуться с места, как пятая лошадь грузно обрушилась на холм и фиолетовый всадник соскочил со спины. Он подошел к Воланду, и тот, прищурившись, наклонился к нему с лошади.

Коровьев и Бегемот сняли картузики, Азазелло поднял в виде приветствия руку, хмуро скосился на прилетевшего гонца. Лицо того, печальное и темное, было неподвижно, шевелились только губы. Он шептал Воланду.

Тут мощный бас Воланда разлетелся по всему холму.

— Очень хорошо, — говорил Воланд, — я с особенным удовольствием исполню волю пославшего. Исполню.

Печальный гонец отступил на шаг, голову наклонил, повернулся.

Он ухватился за золотые цепи, заменявшие повода, двинул ногу в стремя, вскочил, кольнул шпорами, взвился, исчез.

Воланд поманил пальцем Азазелло, тот подскочил к лошади и выслушал то, что негромко приказал ему Воланд. И слышны были только слова:

— В мгновение ока. Не задержи!

Азазелло скрылся из глаз.

ОНИ ПЬЮТ

Итак, Азазелло появился в маленькой комнатушке в тот момент, когда поэт подносил ко рту вторую стопку.

— Мир вам, — сказал гнусавый голос.

— Да это Азазелло! — вскричала, всмотревшись, Маргарита. — Не волнуйся, мой друг! Это Азазелло. Он не причинит тебе никакого зла.

Поэт во все глаза глядел на диковинного рыжего, который, взяв кепку на отлет, кланялся, улыбаясь всею своей косой рожей.

Тут произошла суета, усаживание и потчевание. Маргарита Николаевна вдруг сообразила, что она совершенно голая, что ветхий халат, по сути дела, не прикрывает ее тела, и вскричала:

— Извините!

И запахнулась.

На это Азазелло ответил, что Маргарита Николаевна напрасно беспокоится, что он видел не только голых дам, но даже дам с содранной кожей, что все это ему не в диковинку, что он просит без церемонии, а что если будут церемониться, он уйдет немедленно...

Тут его стали усаживать в кресло, и он одним духом хватил чайный стакан водки, повторив, что самое лучшее, если каждый чувствует себя без церемонии, что в этом и есть истинное счастье и настоящий шик. И чтобы подать пример другим, хлопнул и второй стакан, отчего его глаз загорелся, как фонарь.

Поэту внезапный гость чрезвычайно понравился, поэт с ним чокнулся и приятно захмелел. Кровь быстрее пошла в его жилах, и страх отлетел. В комнате показалось и тепло и уютно, и он, нежно погладив рукой старенький вытертый плюш, вступил в беседу.

— Город горит, — сказал поэт Азазелло, пожимая плечами, — как же это так?

— А что ж такое! — отозвался Азазелло, как бы речь шла о каких-то пустяках. — Почему бы ему и не гореть! Разве он несгораемый?

«Совершенно верно! — мысленно сказал поэт. — Как это просто в сущности!» — и тут же решил расспросить Азазелло прямо о том, кто его принимал вчера и откуда взялся паспорт и вообще, что все это значит.

Но лишь только он открыл рот, как Азазелло, подмигнув таинственно сверкающим глазом, заговорил сам.

— Просят вас, — просипел он, косясь на окно, в которое уже вплывала волна весенних сумерек, — с нами. Короче говоря, едем.

Поэт заморгал глазами, а Маргарита пододвинулась к шепчущимся.

— Меня? — спросил шепотом поэт.

— Вас.

Маргарита Николаевна изменилась в лице и не сводила глаз с поэта. Губы ее дрогнули.

И тот этого не заметил. «Эге... предатель...» — мелькнуло у него в голове слово. Он уставился прямо в сверкающий глаз.

— Куда меня приглашают ехать? — сухо спросил поэт, видя, как отливает зеленым глаз загадочного гостя.

— Местечко найдем, — шипел тот соблазнительно и дыша водкой, — да и нечего, как ни верти, торчать тут в полуподвале. Чего тут высидишь?

«Предатель, предатель, предатель...» — окончательно удостоверился поэт и ответил:

— Нет, почему же... и в городе есть некоторая прелесть. Я не хочу искать новых мест, меня никуда не тянет.

Тут Азазелло всей своей рожей выразил, что не верит ни одному слову поэта.

И неожиданно вмешалась Маргарита.

— Поезжай, — сказала она, — а я... — она подумала и сказала твердо: — А я останусь караулить твой подвал, если он, конечно, не сгорит. Я, — голос ее дрогнул, — буду читать про то, как над Ершалаимом бушевала гроза и как лежал на балконе прокуратор Понтийский Пилат. Поезжай, поезжай! — твердила она грозно, но глаза ее выражали страдание.

Тут только поэт всмотрелся в ее лицо, и горькая нежность подступила к его горлу, как ком, слезы выступили на глазах.

— С ней, — глухо сказал он, — с ней. А иначе не поеду.

Самоуверенный Азазелло смутился, отчего еще больше начал косить. Но внезапно изменился, поднял бровь и руки растопырил...

— В чем дело! — засипел он. — Какой может быть вопрос? И чудесно. Именно с ней. Само собой.

Маргарита поднялась, села на колени к поэту и крепко обняла его за шею.

— Смотреть приятно, — сказал Азазелло и внезапно вынул из растопыренного кармана темную бутылку в зеленой плесени.

— Вот вино! — воскликнул он и, тут же вооружившись штопором, откупорил бутылку.

Странный запах, от которого, как показалось Маргарите, закружилась голова, распространился по комнате.

Азазелло наполнил три бокала вином, и потухающие угли в печке отбросили последний отблеск. Крайний бокал был наполнен как бы кровью, два других были черны.

— Без страха, за ваше здоровье! — провозгласил Азазелло, поднимая свой бокал, и окровавленные угли заиграли в нем.

— Пей, не бойся, летим, — зашептала Маргарита, прижимаясь к поэту.

Поэт, предчувствуя, что сейчас произойдет что-то очень важное и необыкновенное, глотнул вино и видел, что Маргарита сделала то же самое.

В то же мгновение радость прихлынула к сердцу поэта и предметы пошли кругом. Он глубоко вздохнул и видел, что Маргарита роняет бокал, бледнеет и падает... Жаркий отблеск прошел по ее голому животу. «А, отравил!» — успел подумать поэт. Он хотел крикнуть... «Отравитель!», но голосом овладеть не мог. Тут он увидел перед лицом своим пол. Потом все кончилось. Отравитель горящими глазами смотрел, как падали любовники. Когда они затихли у его ног на ковре, он оживился, подскочил к форточке и свистнул. Тотчас ему отозвался свист в садике. Азазелло наклонился к поэту, поднял его в кресло. Белый как бумага, поэт безжизненно свесил голову. Азазелло поднял и полуголую Маргариту в кресло, осколки бокалов отшвырнул носком сапога в угол. Из шкафчика вынул цельные бокалы, наполнил их вином, разжал челюсти поэта, влил глоток, так же поступил и с Маргаритой. Не прошло и нескольких секунд, как поэт открыл веки, глянул.

— Отравитель...— слабо произнес он.

— Что вы! — вскричал гнусаво кривоглазый. — Подобное лечится подобным. Встряхнитесь, нам пора. Вот оживает и ваша подруга.

Поэт увидел, что Маргарита вскочила, полная жизни. Изменилось лишь ее лицо в цвете и стало бледным.

— Пора! Пора! — произнес Азазелло.

— Пора! — повторила возбужденная Маргарита. Она одним взмахом сорвала с себя халат и взвизгнула от восторга. Азазелло вынул из кармана баночку и подал. Тотчас под руками Маргариты ее тело блеснуло жиром.

— Скорее, — сказал Азазелло поэту.

Тот поднялся легко. Такая радость, как та, что наполняла его тело, еще им не была испытана никогда. Тело его не несло в себе никакой боли, и, кроме того, все показалось сладостным поэту. И жар углей в старой печке, и красное старенькое бюро, и голая Маргарита, которая скалила зубы и натирала шею остатками мази.

Поэт хотел перед отъездом пересмотреть свои рукописи, но Азазелло сослался на то, что поздно, и неопределенно намекнул на то,

что за рукописями можно будет заглянуть как-нибудь впоследствии...

— Вы правы! — вскричал поэт, чувствуя прилив бодрости и вдохновения.

В ту же минуту он выхватил из стола толстую пачку исписанных листов и швырнул ее в печь.

— Один листок не отдам! — закричала Маргарита и выхватила из пачки листок. Она скомкала его в кулаке.

Жаром пахнуло в лицо, и вся комната ожила. Коварный Азазелло кочергой выбросил пылающую бумагу прямо на скатерть, и дым повалил от нее.

Через несколько мгновений компания, хлопнув дверями, покинула полуподвал. Темнело во дворике.

МИЛОСЕРДИЯ! МИЛОСЕРДИЯ!

Взвились со дворика. Первой взлетела на дворницкой метле Маргарита. За нею поднялся Азазелло. Он распахнул плащ, и на его поле, держась рукой за кованый пояс, поднялся поэт. Смертельно бледное лицо в начинающихся сумерках показалось картонным. Дымный ветерок ударил в лицо, волосы разметал.

Маргарита шла скачками чуть повыше старинных фонарей, а у поэта захватило дух от наслаждения при первом же движении в воздухе.

Азазелло, неся на плаще поэта, догнал Маргариту и властно указал на запад, но поэт в этот момент потянул его за пояс и тихо попросил:

— Я хочу попрощаться с городом.

Азазелло кивнул головой, и летящие повернули вдоль по Пречистенке к центру.

Лёт был так мягок, так нечувствителен, что временами казалось поэту, будто не он плывет по воздуху над городом, а город со страшным гвалтом бежит под ним, показывая ему картины, от которых его волосы вздувались и холодели у корней.

Первый пожар подплыл под ноги поэту на Волхонке. Там пылал трехэтажный дом напротив музея. Люди, находящиеся в состоянии отчаяния, бегали по мостовой, на которой валялись в полном беспорядке разбитая мебель, искрошенные цветочные вазоны. Трамваи далее стояли вереницей. С первого взгляда было понятно, что случилось. Передний трамвай наскочил у стрелки на что-то, сошел с рельс, закупорил артерию.

Но поэт не успел присмотреться, как под самыми ногами у него шарахнуло, и он видел, как оглушительно кричавший человек у стенки Манежа упал на асфальт и тотчас же красная лужа образовалась у его лица.

Поэт дрогнул, прижался к ногам Азазелло и плащом закрыл лицо на секунду, чтобы не видеть. Когда он отбросил черную ткань, он видел в Охотном ряду золотые шлемы, густейшую толпу. До него донеслись крики. Он пролетел следом за Маргаритой на высоте двенадцатого этажа и, глянув в открытое окно, успел увидеть странную сцену.

Человек в белой куртке и штанах с искаженным от долгой затаенной злобы [лицом] стоял на голубом ковре перед каким-то гражданином в сиреневом пиджаке. Что-то кричал сиреневый человек, добиваясь чего-то от белого, но белый, бледнея от злобы, поднял . . . . . .

На темный балкон во втором этаже выбежал мальчишка лет шести. Окна квартиры, которой принадлежал балкон, осветились подозрительно. Мальчишка с белым лицом устремился прямо к решетке балкона, глянул вниз, и ужас выразился на его лице. Он пробежал к другой стороне балкона, примерился там, убедился, что высота такая же. Тогда лицо его исказилось судорогой, он устремился назад к балконной двери, открыл ее, но ему в лицо ударил дым. Мальчишка проворно закрыл ее, вернулся на балкон, тоскливо посмотрел на небо, тоскливо оглядел двор, потом уселся на маленькой скамеечке посредине балкона и стал глядеть на решетку.

Лицо его приобрело недетское выражение, осунулось. Он изумленно шевелил бровями, что-то шептал, соображал. Один раз тревожно оглянулся, глаза вспыхнули. Он искал водосточную трубу. Убедившись в том, что труба слишком далеко, он успокоился на своей скамейке, голову втянул в плечи и горько стал качать ею. Дым полз струйкой из-под балконной двери.

Поэт властно дернул за пояс Азазелло, но предпринять шаги не успел. Сверху поэта накрыла мелькнувшая тень, и Маргарита шарахнула мимо него на балкон. Поэт спустился пониже, и послушный Азазелло повис неподвижно. Маргарита опустилась и сказала мальчишке:

— Держись за метлу, только крепко. — Мальчишка вцепился в метлу изо всех сил обеими руками и повеселел. Маргарита подхватила его под мышки, и оба спустились на землю.

— Ты почему же сидел на балконе один? — спросила Маргарита.

— Я думал, что все равно сгорю, — стыдливо улыбаясь, ответил мальчишка.

— А почему ты не прыгнул?

— Ногу можно сломать.

Маргарита схватила мальчишку за руку, и они побежали к соседнему домишке. Маргарита грохнула метлой в дверь. Тотчас выбежали люди, какая-то простоволосая в кофте. Мальчишка что-то горячо объяснял. Завопила простоволосая.

Маргарита поднялась, и, медленно поднимаясь за нею, поэт сказал, разводя руками:

— Но дети? Позвольте! Дети!..

Усмешка исказила лицо Азазелло.

— Я уж давно жду этого восклицания, мастер.

— Вы ошеломили меня! Я схожу с ума, — захрипел поэт, чувствуя, что не может больше выносить дыму, выдыхая горький воздух.

Он пришел в странное беспокойство и вдруг вскричал:

— Грозу, грозу! Грозу!

Азазелло склонился к нему и шепнул с насмешкой в дьявольских глазах:

— Она идет, вот она, не волнуйте себя, мастер. Резкий ветер в тот же миг ударил в лицо поэту. Он поднял глаза, увидел Маргариту со вздыбленными волосами, услышал ее крик: «Гроза!»

Стало темно. Туча в три цвета поднялась с неестественной быстротой. Впереди бежали клубы белого, обгоняя друг друга, потом ползло широкое черное и закрыло полмира, а потом мутно-желтое, которое, холодя сердце, неуклонно поднималось из-за крыш.

Еще раз дунуло в лицо, взвилась пыль в переулке, сверху вниз кинулась какая-то встревоженная птица, — и тотчас наползавшее черное раскроилось пополам. Сверкнул огонь. Потом ударило. Еще раз донесся вопль Маргариты:

— Гроза! — и сверху хлынула вода.

Поэт успел увидеть, как по переулку пробежали какие-то женщины, упали на колени, стали креститься и простирать руки к небу.

ССОРА НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ

Был вечер. Солнце падало за Москву-реку. На небе не было и следов грозы. Громадная радуга стояла над Москвой и, одним концом погрузившись в Москву-реку, пила из нее воду.

Над Москвой ходил и расплывался дым, но нигде уже не было видно огня.

Нетерпеливые черные кони копытами взрывали землю на холме.

Когда совсем завечерело, Бегемот, стоящий у обрыва, приложил лапу ко лбу, всмотрелся и доложил Воланду:

— Будь я проклят, мессир, если это не они!

В воздухе над Москвой-рекой мелькнула черная точка, увеличилась, превратилась в черный лоскут, рядом с ним сверкнуло голое тело, и через мгновение Азазелло со спутниками спустился на холм.

Поэт в лохмотьях рубашки, с лицом, выпачканным в саже, над которым волосы его казались совсем светлыми, как солома, взял за руку подругу и предстал перед Воландом.

Тот с высоты своего роста глянул на прибывших и усмехнулся.

— Я рад вас видеть, друзья мои, — заговорил он, — и я полагаю, что вы не откажетесь стать моими гостями.

Поэт молчал, глядя на Воланда, молчала и Маргарита.

— Что ж, в путь без дальних разговоров, — добавил Воланд, — пора.

Коровьев галантно подлетел к Маргарите, подхватил ее и водрузил на широкую спину лошади. Та шарахнулась, но Маргарита вцепилась в гриву и, оскалив зубы, засмеялась.

— Гоп! — заорал Бегемот и, перекувыркнувшись, вскочил на коня.

Остальные еще не успели сесть, как Азазелло обратился к Воланду:

— Извольте полюбоваться, сир, — засипел он с негодованием, указывая корявым пальцем вниз на реку.

Три серые, широкие к корме, лодки, сидя на корме, задрав носы кверху, как бритвой разрезая воду, разводя после себя буйную волну с пеной, гудя, пронеслись против течения и, разом смолкнув, пристали к берегу.

Из всех трех лодок высыпались на берег вооруженные люди и по команде «бегом!» бросились штурмовать холм. Лица их были, как лица странных чудовищ, с огромными глазищами серого безжизненного цвета и с хвостом вместо носа.

— Э... да они в масках, — проворчал Азазелло.

Прибытие людей более всего почему-то расстроило Бегемота. Бия себя лапами в грудь, он разорался насчет того, что это ему надоело, что он даже на лошадь не может сесть спокойно и что все эти маски ни к чему, что он раздражен!

Тем временем люди из первой шеренги из каких-то коротеньких, но зловещих ружей дали сухой залп по холму, отчего лошади, приложив уши, шарахнулись, и Маргарита еле усидела, а вороны, игравшие в голой роще перед сном, вдруг камнем стали падать на землю. Тут же густое ворчание и всхлипывание послышалось высоко в воздухе, и первый аэроплан с чудовищной скоростью, снижаясь, бесстрашно пошел к холму. За ним сверкнул, потух, опять сверкнул и приблизился второй, а далее над Москвой запело и заурчало целое звено.

— Этого я видеть равнодушно не могу! — воскликнул Бегемот и, проорав на коней: «Балуй!» — обратился к Воланду: — Дозвольте, ваше сиятельство, свистнуть.

— Ты испугаешь даму, — сухо усмехнувшись, ответил Воланд.

— Ах, нет, умоляю! Свистни! Свистни! — попросила Маргарита.

Лицо поэта пожелтело, и он задергал щекой, глядя на приближавшихся и враждебных людей.

В то же мгновение Бегемот сунул пальцы в рот и свистнул так, что вся округа зазвенела, в роще посыпались сучья, из Москвы-реки плеснуло на берег, швырнув лодки в разные стороны.

Но бесстрашные маскированные продолжали свой стремительный бег вверх и дали второй залп.

— Это свистнуто, — ядовито сказал Коровьев, глядя на Бегемота, — свистнуто, не спорю, но ежели говорить откровенно, свистнуто неважно!..

— Я не музыкант, — обиженно отозвался Бегемот и подмигнул Маргарите.

— А вот дозвольте, я попробую, — тоненько попросил Коровьев и, не дождавшись ответа, вдруг вытянулся вверх, как резинка, стал

в полтора раза выше, потом завился, как винт, всунул пальцы в рот и, раскрутившись, свистнул.

Свиста Маргарита не слыхала, но она его видела. У нее позеленело в глазах, и лошадь под ней села на задние ноги. Она видела, как с корнем вывернуло деревья в роще и швырнуло вверх, затем берег впереди наступавших треснул червивой трещиной, и пласт земли рухнул в Москву-реку, поглотив наступавшие шеренги и бронированные лодки. Вода взметнулась вверх саженей на десять, а когда она упала, железный мост по левой руке беззвучно прогнулся в середине и беспомощно обвис. Без всякого звука рухнула крайняя башня Девичьего монастыря вдали.

— Не в ударе я сегодня, — сказал Коровьев, рассматривая свои пальцы.

— Свиньи! — воскликнул Воланд снисходительно и сел на коня.

За ним то же сделали остальные, а Азазелло поднял вздрагивающего поэта на коня...

И кони тут же снялись и скачками понеслись вверх по обрывам.

Последнее, что видела Маргарита, это звено аэропланов, которое оказалось над головами, и настолько невысоко, что в переднем она ясно разглядела маленькую голову в шлеме.

Тут же что-то мелькнуло в воздухе, и близко в роще ударил вверх огонь, и грохнуло так, что оборвалось от страха сердце.

Кони были уже на верхней площадке. Второй аэроплан бросил бомбу поближе, в клочья разметав деревья и землю.

— Нам намекают, что мы лишние, — вскричал Коровьев и, пригнувшись к шее жеребца, прокричал тоненько:

— Любезные... гробят!

В то же мгновение воздух засвистал в ушах Маргариты, исчезла Москва со своим дымом и Воробьевы горы — навсегда.

НОЧЬ

21/IX.34 г. и далее

Кони рвались вперед, а навстречу им летели сумерки. Полет принес упоение и Маргарите, и поэту. Кони спускались к земле, били с силой ногами, отталкивались и долго неслись на высоте сосен. Высшее наслаждение было именно в приближении к земле, в ударе об нее и последующем подъеме.

Воланд скакал впереди, и любовники видели, как черный его плащ летел над черной лошадью.

Землю покрывали сумерки, и под летящими появлялись печально поблескивающие озерца и пропадали. Возникали лесные массивы, и тогда Маргарита снижалась нарочно, чтобы дышать запахом земляной смолистой весны, и конь ее, хрипя, шел, чуть

не задевая копытами растрепанные страшные загадочные сосны.

Небо густело синью с каждым мгновением, но где-то в безумной дали пылал край земли, и туда держали путь всадники.

Они нарочно избрали маршрут так, что никакие ни строения, ни огни не тревожили их. Они были лицом к лицу с ночью и землей. Их не беспокоили никакие звуки, кроме ровного гудения ветра, да еще, когда они мелькали над весенними стоячими водами, лягушки провожали их громовыми концертами, и в рощах загорались светляки.

Все шестеро летели в молчании, и поэт ни о чем не хотел думать, закрыв глаза и упиваясь полетом.

Но когда сумерки сменились ночью и на небе сбоку повис тихо светящийся шар луны, когда беленькие звезды проступили в густой сини, Воланд поднял руку, и черный раструб перчатки мелькнул в воздухе и показался чугунным. По этому мановению руки кавалькада взяла в сторону.

Воланд поднимался все выше и выше, за ним послушно шла кавалькада. Теперь под ногами далеко внизу то и дело из тьмы выходили целые площади света, плыли в разных направлениях огни.

Воланд вдруг круто осадил коня в воздухе и повернулся к поэту.

— Вам, быть может, интересно видеть это?

Он указал вниз, где миллионы огней дрожа пылали. Поэт отозвался.

— Да, пожалуйста. Я никогда ничего не видел. Я провел свою жизнь заключенным. Я слеп и нищ.

Воланд усмехнулся и рухнул вниз. За ним со свистом, развевая гривы коней, опустилась свита.

Огни пропали, сменились тьмой, посвежело, и гул донесся снизу. Поэт вздрогнул от страха, увидев под собою черные волны, которые ходили и качались. Он крепче сжал жесткую гриву, ему показалось, что бездна всосет его и сомкнется над ним вода. Он слабо крикнул, когда бесстрашная и озорная Маргарита, крикнув, как птица, погрузилась в волну. Но она выскочила благополучно, и видно было, как в полутьме черные потоки сбегают с храпящего коня.

На море возник вдруг целый куст праздничных огней. Они двигались. Всадники уклонились от встречи, и перед ними возникли вначале темные горы с одинокими огоньками, а потом близко развернулись, сияя в свете электричества, обрывы, террасы, крыши и пальмы. Ветер с берега донес до них теплое дыхание апельсинов, роз и чуть слышную бензиновую гарь.

Воланд пошел низко, так что поэт мог хорошо рассмотреть все, что делалось внизу. Но, к сожалению, летели быстро, делая петли, и жадно глядящий поэт получил такое представление, что под ним только укатанные намасленные дороги, по которым вереницей, тихо шурша, текли лакированные каретки, и фары их во все стороны бросали свет. Повсюду горели фонари, тихо шевелились пальмы, белоснежные здания источали назойливую музыку.

Воланд беззвучно склонился к поэту.

— Дальше, дальше, — прошептал тот.

Развив такую скорость, что все огни внизу смазались, как на летящей ленте, Воланд остановился над гигантским городом. И опять под ногами в ослепительном освещении и белых, и синеватых, и красных огней потекли во всех направлениях черные лакированные крыши, и засветились прямые, как стрелы, бульвары. Коровьев очутился рядом с поэтом с другой стороны, а неугомонная Маргарита понеслась и стала плавать совсем низко над площадью, на которой тысячью огней горело здание.

— Привал, может быть, хотите сделать, драгоценнейший мастер, — шепнул бывший регент, — добудем фраки и нырнем в кафе освежиться, так сказать, после рязанских страданий, — голос его звучал искушающе.

Но тоска вдруг сжала сердце поэта, и он беспокойно оглянулся вокруг. Ужасная мысль, что он виден, потрясла его. Но, очевидно, не были замечены ни черные грозные кони, висящие над блистающей площадью, ни нагая Маргарита. Никто не поднял головы, и какие-то люди в черных накидках сыпались из подъездов здания...

— Да вы, мастер, спуститесь поближе, слезьте, — зашептал Коровьев, и тотчас конь поэта снизился, он спрыгнул и под носом тронувшейся машины пробежал к подъезду.

И тогда было видно, как текли, поддерживая разряженных женщин под руки, к машинам горделивые мужчины в черном, а у среднего выхода стоял, прислонившись к углу, человек в разодранной, замасленной, в саже, рубашке, в разорванных брюках, в рваных тапочках на босу ногу, непричесанный. Его лицо дергалось судорогами, а глаза сверкали. Надо полагать, что шарахнулись бы от него сытые и счастливые люди, если бы увидели его. Но он не был видим. Он бормотал что-то про себя, дергался, но глаз не спускал с проходивших, ловил их лица и что-то читал в них, заглядывая в глаза. И некоторые из них почуяли присутствие странного, потому что беспокойно вздрагивали и оглядывались, минуя угол. Но, в общем, все было благополучно, и разноязычная речь трещала вокруг, и тихо гудели машины, становясь впереди, и отъезжали, и камни сверкали на женщинах.

Тут с холодной тоской представил вдруг поэт почему-то сумерки и озерцо, и кто-то и почему-то заиграл в голове на гармонии страдания, и пролил свет луны на холодные воды, и запахла земля. Но тут же он вспомнил убитого у манежной стены, стиснул руку нагой Маргарите и шепнул: «Летим!»

И уж далеко внизу остался город, над которым, как море, полыхал огонь, и уж погас и зарылся в землю, когда, преодолевая свист ветра, поэт, летящий рядом с Воландом, спросил его:

— А здесь вы не собираетесь быть?

Усмешка прошла по лицу Воланда, но голос Коровьева ответил сзади и сбоку:

— В свое время навестим.

И опять уклонились от селений и огней, и вокруг была только ночь.

По мере того как они неслись, приходилось забираться все выше и выше, и поэт понял, что они в горной местности. Один раз сверкнул высокий огонь и закрылся. Луна выбросилась из-за скал, и поэт увидел, что скалы оголены, страшны, тоскливы.

Тут кони замедлили бег, и на лысом склоне Бегемот и Коровьев вырвались вперед.

Поэт увидел отчетливо, как с Коровьева свалилась его шапчонка и пенсне, и когда он поравнялся с остановившимся Коровьевым, то разглядел, что вместо фальшивого регента перед ним в голом свете луны сидел фиолетовый рыцарь с печальным и белым лицом; золотые шпоры ясно блестели на каблуках его сапог, и тихо звякали золотые поводья. Рыцарь глазами, которые казались незрячими, созерцал ночное живое светило.

Тут последовало преображение Воланда. С него упал черный бедный плащ. На голове у него оказался берет и свисло набок петушиное перо. Воланд оказался в черном бархате и тяжелых сапогах с тяжелыми стальными звездными шпорами. Никаких украшений не было на Воланде, а вооружение его составлял только тяжелый меч на бедре. На плече у Воланда сидел мрачный боевой черный ворон, подозрительным глазом созерцал луну.

Бегемот же съежился, лишился дурацкого костюма, превратился в черного мясистого кота с круглыми зажженными глазами.

Азазелло оказался в разных в обтяжку штанинах — одна гладкая, другая в широкую полоску, с ножом при бедре.

Поэт, не отрываясь, смотрел на Воланда и на его эскорт, и мысль о том, что он понял, кто это такой, наполнила его сердце каким-то жутковатым весельем.

Он обернулся и видел, что и Маргарита рассматривает, подавшись вперед, преобразившихся всадников, и ее глаза сверкают, как у кошки.

Тут Воланд тронул шпорами лошадь, и все опять поскакали. Скалы становились все грознее и голее. Скакали над обрывом, и не раз под копытами лошадей камни обрушивались и валились в бездну, но звука их падения не было слышно. Луна сияла все ярче, и поэт убедился в том, что нигде здесь еще не было человека.

Сводчатое ущелье развернулось перед всадниками, и, гремя камнями и бренча сбруей, они влетели в него. Грохот разнесло эхом, потом вылетели на простор, и Воланд осмотрелся, а спутники его подняли головы к луне. Поэт сделал то же и увидел, что на его глазах луна заиграла и разлила невиданный свет, так что скупая трава в расщелинах стала видна ясно.

В это время откуда-то снизу и издалека донесся слабый звон часов.

— Вот она полночь! — вскричал Воланд и указал рукой вперед.

Спутники выскакали за обрыв, и поэт увидел огонь и белое в луне пятно. Когда подъехали, поэт увидел догорающий костер, каменный, грубо отесанный стол с чашей и лужу, которая издали показалась черной, но вблизи оказалась кровавой.

За столом сидел человек в белой одежде, не доходящей до голых колен, в грубых сапогах с ремнями и перепоясанный мечом.

На подъехавших человек не обратил никакого внимания — или же не увидел их. Он поднял бритое обрюзгшее лицо к лунному диску и продолжал разговаривать сам с собой, произнося непонятные Маргарите слова.

— Что он говорит? — тихо спросила Маргарита.

— Он говорит, — своим трубным голосом пояснил Воланд, — что и ночью и при луне ему нет покоя.

Лицо Маргариты вдруг исказилось, она ахнула и тихонько крикнула:

— Я узнала! Я узнала его! — и обратилась к поэту: — А ты узнаешь?

Но поэт даже не ответил, поглощенный рассматриванием человека.

А тот между тем, гримасничая, поглядел на луну, потом тоскливо вокруг и начал рукою чистить одежду, пытаясь стереть с нее невидимые пятна. Он тер рукой грудь, потом выпил из чаши, вскричал:

— Банга! Банга!..

Но никто не пришел на этот зов, отчего опять забормотал белый человек.

— Хм, — пискнул кот, — курьезное явление. Он каждый год в такую ночь приходит сюда, ведь вот понравилось же место? И чистит руки, и смотрит на луну, и напивается.

Тут заговорил лиловый рыцарь голосом, который даже отдаленно не напоминал коровьевский, а был глуховат, безжизнен и неприязнен.

— Нет греха горшего, чем трусость. Этот человек был храбр и вот испугался кесаря один раз в жизни, за что и поплатился.

— О, как мне жаль его, о, как это жестоко! — заломив руки, простонала Маргарита.

Человек выпил еще, отдуваясь, разорвал пошире ворот одеяния, видимо, почуял чье-то присутствие, подозрительно покосился и опять забормотал, потирая руки.

— Все умывается! Ведь вот скажите! — воскликнул кот.

— Мечтает только об одном — вернуться на балкон, увидеть пальмы, и чтобы к нему привели арестанта, и чтобы он мог увидеть Иуду Искариота. Но разрушился балкон, а Иуду я собственноручно зарезал в Гефсиманском саду, — прогнусил Азазелло.

— О, пощадите его, — попросила Маргарита.

Воланд рассмеялся тихо.

— Милая Маргарита, не беспокойте себя. Об нем подумали те, кто не менее, чем мы, дальновидны.

Тут Воланд взмахнул рукой и прокричал на неизвестном Маргарите языке слово. Эхо грянуло в ответ Воланду, и ворон тревожно взлетел с плеча и повис в воздухе.

Человек, шатнувшись, встал, повернулся, не веря еще, что слышит голос, но увидел Воланда, поверил, простер к нему руки.

А Воланд, все так же указывая рукой вдаль, где была луна, прокричал еще несколько слов. Человек, шатаясь, схватился за голову руками, не веря ни словам, ни явлению Воланда, и Маргарита заплакала, видя, как лицо вставшего искажается гримасой и слезы бегут неудержимо по желтым вздрагивающим щекам.

— Он радуется, — сказал кот.

Человек закричал голосом медным и пронзительным, как некогда привык командовать в бою, и тотчас скалы рассеклись, из ущелья выскочил, прыгая, гигантский пес в ошейнике с тусклыми золотыми бляхами и радостно бросился на грудь к человеку, едва не сбив его с ног.

И человек обнял пса и жадно целовал его морду, восклицая сквозь слезы: «Банга! О, Банга!»

— Это единственное существо в мире, которое любит его, — пояснил всезнающий кот.

Следом за собакой выбежал гигант в шлеме с гребнем, в мохнатых сапогах. Бульдожье лицо его было обезображено — нос перебит, глазки мрачны и встревожены.

Человек махнул ему рукой, что-то прокричал, и с топотом вылетел конный строй хищных всадников. В мгновение ока человек, забыв свои годы, легко вскочил на коня, в радостном сумасшедшем исступлении швырнул меч в луну и, пригнувшись к луке, поскакал. Пес сорвался и карьером полетел за ним, не отставая ни на пядь; за ним, сдавив бока чудовищной лошади, взвился кентурион, а за ним полетели, беззвучно распластавшись, сирийские всадники.

Донесся вопль человека, кричавшего прямо играющей луне:

— Ешуа Га-Ноцри! Га-Ноцри!

Конный строй закрыл луну, но потом она выплыла, а ускакавшие пропали...

— Прощен! — прокричал над скалами Воланд. — Прощен!

Он повернулся к поэту и сказал, усмехаясь:

— Сейчас он будет там, где хочет быть — на балконе, и к нему приведут Ешуа Га-Ноцри. Он исправит свою ошибку. Уверяю вас, что нигде в мире сейчас нет создания более счастливого, чем этот всадник. Такова ночь, мой милый мастер! Но теперь мы совершили все, что нужно было. Итак, в последний путь!

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Над неизвестными равнинами скакали наши всадники. Луны не было, и неуклонно светало. Воланд летел стремя к стремени рядом с поэтом.

— Но скажите мне, — спрашивал поэт, — кто же я? Я вас узнал, но ведь несовместимо, чтобы я, живой из плоти человек, удалился вместе с вами за грани того, что носит название реального мира?

— О, гость дорогой! — своим глубоким голосом ответил спутник с вороном на плече. — О, как приучили вас считаться со словами! Не все ли равно — живой ли, мертвый ли!

— Нет, все же я не понимаю, — говорил поэт, потом вздрогнул, выпустил гриву лошади, провел по телу руками, расхохотался.

— О, я глупец! — воскликнул он. — Я понимаю! Я выпил яд и перешел в иной мир! — Он обернулся и крикнул Азазелло:

— Ты отравил меня!

Азазелло усмехнулся ему с коня.

— Понимаю: я мертв, как мертва и Маргарита, — заговорил поэт возбужденно. — Но скажите мне...

— Мессир... — подсказал кто-то.

— Да, что будет со мною, мессир?

— Я получил распоряжение относительно вас. Преблагоприятное. Вообще могу вас поздравить — вы имели успех. Так вот, мне было велено...

— Разве вам можно велеть?

— О, да. Велено унести вас...

Фантастический роман

Главы, дописанные и переписанные

1934–1936 гг.

Мифистрополон или гаввафа.

Голгофа

De cruce

Crux commissa T

Crux decussata X

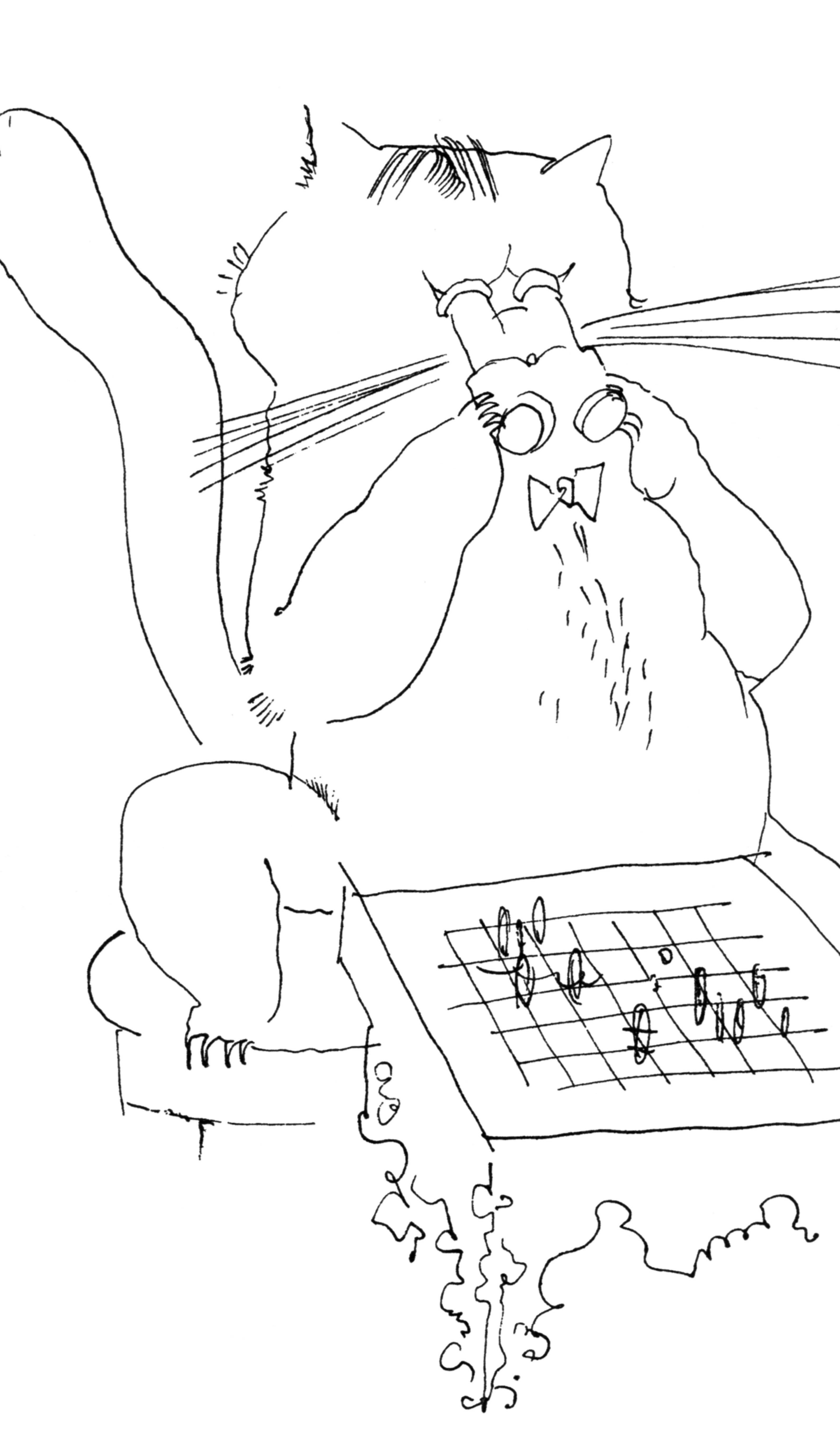
Crux immissa +

На арамейском языке:

Eli, eli, lema sche

Christos pathetos

Вершина



Дописать раньше, чем умереть!

30/X.34

ОШИБКА ПРОФЕССОРА СТРАВИНСКОГО

В то время как раз, как вели Никанора Ивановича, Иван Бездомный после долгого сна открыл глаза и некоторое время соображал, как он попал в эту необыкновенную комнату с чистейшими белыми стенами, с удивительным ночным столиком, сделанным из какого-то неизвестного светлого металла, и с величественной белой шторой во всю стену.

Иван тряхнул головой, убедился в том, что она не болит, очень отчетливо припомнил страшную смерть Берлиоза, но она не вызвала уже прежнего потрясения. Иван огляделся, увидел в столике кнопку, и вовсе не потому, что в чем-нибудь нуждался, а по своей привычке без надобности трогать предметы позвонил.

Тотчас же перед Иваном предстала толстая женщина в белом халате, нажала кнопку в стене, и штора ушла вверх. Комната сразу посветлела, и за легкой решеткой, отгораживающей окно, увидел Иван чахлый подмосковный бор, понял, что находится за городом.

— Пожалуйте ванну брать, — пригласила женщина, и, словно по волшебству, стена ушла в сторону, и блеснули краны, и взревела где-то вода.

Через минуту Иван был гол. Так как Иван придерживался мысли, что мужчине стыдно купаться при женщине, то он ежился и закрывался руками. Женщина заметила это и сделала вид, что не смотрит на поэта.

Теплая вода понравилась поэту, который вообще в прежней своей жизни не мылся почти никогда, и он не удержался, чтобы не заметить с иронией:

— Ишь ты! Как в «Национале»!

Толстая женщина на это горделиво ответила:

— Ну, нет, гораздо лучше. За границей нет такой лечебницы. Интуристы каждый день приезжают осматривать.

Иван глянул на нее исподлобья и ответил:

— До чего вы все интуристов любите. А среди них разные попадаются.

Действительно было лучше, чем в «Национале», и когда Ивана после завтрака вели по коридору на осмотр, бедный поэт убедился в том, до чего чист, беззвучен этот коридор.

Одна встреча произошла случайно. Из белых дверей вывели маленькую женщину в белом халатике. Увидев Ивана, она взволновалась, вынула из кармана халатика игрушечный пистолет, навела его на Ивана и вскричала:

— Сознавайся, белобандит!

Иван нахмурился, засопел, а женщина выстрелила губами «Паф!», после чего к ней подбежали и увели ее куда-то за двери.

Иван обиделся.

— На каком основании она назвала меня белобандитом?

Но женщина успокоила Ивана.

— Стоит ли обращать внимание. Она больная. Со всеми так разговаривает. Пожалуйте в кабинет.

В кабинете Иван долго размышлял, как ему поступить. Было три пути. Первый: кинуться на все блестящие инструменты и какие-то откидные стулья и все это поломать. Второй: сейчас же все про Понтия Пилата и ужасного убийцу рассказать и добиться освобождения. Но Иван был человеком с хитрецой и вдруг сообразил, что, пожалуй, скандалом толку не добьешься. Относительно рассказа тоже как-то не было уверенности, что поймут такие тонкие вещи, как Понтий Пилат в комбинации с постным маслом, таинственным убийством и прочим.

Поэтому Иван избрал третий путь — замкнуться в гордом молчании.

Это ему выполнить не удалось, так как пришлось отвечать на ряд неприятнейших вопросов, вроде такого, например, что не болел ли Иван сифилисом. Иван ответил мрачно «нет» и далее отвечал «да» и «нет», подвергся осмотру и какому-то впрыскиванию и решил дожидаться кого-нибудь главного.

Главного он дождался после завтрака в своей комнате. Иван выпил чаю, без аппетита съел два яйца всмятку.

После этого дверь в его комнату открылась и вошло очень много народу в белых балахонах. Впереди шел, как предводитель, бритый, как актер, человек лет сорока с лишним, с приятными темными глазами и вежливыми манерами.

— Доктор Стравинский, — приветливо сказал бритый, усаживаясь в креслице с колесиками у постели Ивана.

— Вот, профессор, — негромко сказал один из мужчин в белом и подал Иванушкин лист. «Кругом успели исписать», — подумал Иван хмуро.

Тут Стравинский перекинулся несколькими загадочными словами со своими помощниками, причем слух Ивана, не знавшего никакого языка, кроме родного, поразило одно слово, и это слово было «фурибунда». Иван изменился в лице, что-то стукнуло ему в голову, и вспомнились вдруг закат на Патриарших и беспокойные вороны.

Стравинский, сколько можно было понять, поставил себе за правило соглашаться со всем, что ему говорили, и все одобрять. По крайней мере, что бы ему ни говорили, он на все со светлым выражением лица отвечал: «Славно! Славно!»

Когда ординаторы перестали бормотать, Стравинский обратился к Ивану:

— Вы —поэт?

— Поэт, — мрачно ответил Иван и вдруг почувствовал необыкновенное отвращение к поэзии и самые стихи свои, которые еще недавно ему очень нравились, вспомнил с неудовольствием. В свою очередь, он спросил Стравинского:

— Вы — профессор?

Стравинский вежливо наклонил голову.

— Вы здесь главный?

Стравинский и на это поклонился, а ординаторы улыбнулись.

— Мне с вами нужно поговорить.

— Я к вашим услугам, — сказал Стравинский.

— Вот что, — заговорил Иван, потирая лоб, — вчера вечером на Патриарших прудах я встретился с неким таинственным гражданином, который заранее знал о смерти Миши Берлиоза и лично видел Понтия Пилата.

— Пилат... Пилат... это тот, который жил при Христе? — прищурившись на Ивана, спросил Стравинский.

— Тот самый, — подтвердил Иван.

— А кто это Миша Берлиоз? — спросил Стравинский.

— Берлиоза не знаете? — неодобрительно сказал Иван.

Стравинский улыбнулся виновато и сказал:

— Фамилию композитора Берлиоза я слышал...

Это сообщение сбило Ивана с толку, потому что он про композитора Берлиоза не слыхал. Опять он потер лоб.

— Композитор Берлиоз, — заговорил Иван, — однофамилец Миши Берлиоза. Миша Берлиоз — известнейший редактор и секретарь Миолита, — сурово сказал Иван.

— Ага,—сказал Стравинский.—Итак, вы говорите, он умер, этот Миша?

— Вчера он попал под трамвай, — веско ответил Иван, — причем этот самый загадочный субъект...

— Знакомый Понтия Пилата? — спросил Стравинский, очевидно, отличавшийся большою понятливостью.

— Именно он, — подтвердил Иван, глядя мрачными глазами на Стравинского, — сказал заранее, что Аннушка разлила постное масло, а он и поскользнулся на Аннушкином масле ровно через час. Как вам это понравится? — многозначительно сказал Иван и прищурился на Стравинского.

Он ожидал большого эффекта, но такого эффекта не последовало, и Стравинский, при полном молчании ординаторов, задал следующий вопрос:

— Виноват, а кто эта Аннушка?

Иван расстроился, и лицо его передернуло.

— Аннушка здесь не важна, — сказал он, нервничая, — черт ее знает, кто она такая! Просто дура какая-то с Садовой улицы! А важно то, что он заранее знал о постном масле. Вы меня понимаете?

— Отлично понимаю, — серьезно сказал Стравинский и коснулся Иванушкина колена, — продолжайте.

— Продолжаю, — сказал Иван, стараясь попасть в тон Стравинскому и чувствуя, что только спокойствие может помочь делу. — Этот страшный тип отнюдь не профессор и не консультант, а убийца и таинственная личность, обладающая необыкновенной силой, и задача заключается в том, чтобы его немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых бед в Москве.

— Вы хотите помочь его арестовать, я правильно вас понял? — спросил Стравинский.

«Он умен, — подумал Иван, — среди беспартийных иногда попадаются на редкость умные!»

— Мой долг советского подданного его немедленно арестовать, а меня силою задержали здесь! Прошу меня выпустить сейчас же!

— Слушаюсь, — покорно сказал Стравинский, — я вас не держу. Нет никакого смысла задерживать в лечебнице здорового человека, тем более что у меня и мест не хватает. И я немедленно выпущу вас отсюда, если только вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, а только скажете. Итак, вы — нормальны?

Тут наступила полнейшая тишина, и толстая в белом благоговейно посмотрела на профессора, а Иван растерянно еще раз подумал: «Положительно, умен!»

Прежде чем ответить, он, однако, очень подумал и наконец сказал твердо:

— Я нормален.

— Ну, вот и славно! — с облегчением воскликнул Стравинский. — Ну а если так, то будем рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день.

Тут Стравинский вооружился исписанным Иванушкиным листом.

— В поисках неизвестного человека, который отрекомендовался вам как знакомый Понтия Пилата, вы вчера произвели следующие действия.

Стравинский начал загибать длинные пальцы на левой руке, глядя в исписанный лист.

— Прикололи себе к коже груди английской булавкой иконку. Было?

— Было.

— Явились в ресторан со свечкой в руке, в одном белье и в этом ресторане ударили по лицу одного гражданина. После этого вы ударили швейцара. Попав сюда, вы звонили в Кремль и просили прислать стрельцов на мотоциклетках. Затем сделали попытку выброситься в окно и ударили санитара. Спрашивается: возможно ли при этих условиях кого-либо поймать? Вы человек нормальный и сами ответите — никоим образом. Вы желаете уйти отсюда — пожалуйста! Позвольте узнать, куда вы направитесь отсюда?

— В Гепеу, — значительно ответил Иван.

— Непосредственно отсюда?

— Непосредственно, — сказал Иванушка, несколько теряясь под взглядом Стравинского.

— А на квартиру не заедете? — вдруг спросил Стравинский.

— Не заеду, — сказал Иван, — некогда мне тут по квартирам разъезжать. Он улизнет.

— Так! Что же вы скажете в Гепеу в первую голову, так сказать?

— Про Понтия Пилата, — сказал Иван, и глаза его вспыхнули сумрачным огнем.

— Ну, вот и славно! — окончательно покоренный, воскликнул профессор и, обратившись к толстой белой, приказал ей:

— Прасковья Васильевна! Выпишите гражданина Попова в город! Эту комнату не занимать, постельное белье не менять. Через два часа он будет опять здесь: ну, всего доброго, желаю вам успеха в ваших поисках!

С этими словами профессор Стравинский поднялся. За ним поднялись все ординаторы.

— На каком основании я опять буду здесь? — тревожно спросил Иван.

— На том основании, — немедленно усевшись опять, сказал Стравинский, — что, как только вы, явившись в кальсонах в Гепеу, скажете, что вы вчера виделись с человеком, который был знаком с Понтием Пилатом, как тотчас вас привезут туда, откуда вы уехали, то есть в эту самую комнату.

— При чем здесь кальсоны? — спросил, смятенно оглядываясь, Иван.

— Главным образом, Понтий Пилат. Но PI кальсоны также. Ведь на вас казенное белье, мы его снимем и выдадим вам ваше одеяние. А вы явились к нам в ковбойке и в кальсонах. А домой вы не собирались заехать. Я же вам своих брюк дать не могу, на мне одна пара. А далее последует Пилат. И дело готово!

Тут странное случилось с Иваном. Его воля пропала. Он почувствовал себя слабым и нуждающимся в совете.

— Так что же делать? — спросил он тихо.

— Вот и славно! — отозвался Стравинский. — Это резоннейший вопрос. Зачем вам, спрашивается, самому, встревоженному, изнервничавшемуся человеку, бегать по городу, рассказывать про Понтия Пилата! Вас примут за сумасшедшего! Останьтесь здесь и спокойно изложите все ваши обвинения против этого человека, которого вы хотите поймать, на бумаге. Ничего нет проще, как переслать этот документ куда следует. И если мы имеем дело с преступлением, как вы говорите, все это разъяснится очень быстро.

— Понял, — твердо сказал Иван, — прошу выдать мне бумагу, чернила и Евангелие.

— Вот и славно! — воскликнул покладистый Стравинский. — Прасковья Васильевна, выдайте, пожалуйста, товарищу Попову бумагу, коротенький карандаш и Евангелие.

— Евангелия у нас нет в библиотеке, — сконфуженно ответила Прасковья Васильевна.

— Напрасно нет, — сказал Стравинский, — нет, нет, а вот, видите, понадобилось. Велите немедленно купить у букинистов.

Тут Стравинский поднялся и обратился к Ивану:

— Попробуйте составить ваше заявление, но не напрягайте мозг. Если не выйдет сегодня, не беда. Выйдет завтра. Поймать всегда успеете, уверяю вас. Возьмите тепловатую ванну. Если станет скучно, позвоните немедленно: придет к вам ординатор, вы с ним поговорите. Вообще, располагайтесь поудобнее, — задушевно прибавил Стравинский и сейчас же вышел, а следом за ним вышла и вся его свита.

ВЕСТИ ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА

В это время в кабинете дирекции «Кабаре» сидели и, как обычно, занимались делами двое ближайших помощников Степы Лиходеева — финансовый директор Римский и администратор Варенуха.

День тек нормально. Римский сидел за письменным столом и, раздраженно глядя сквозь очки, читал и подписывал какие-то бумаги, а Варенуха то отвечал на бесчисленные телефонные звонки, присаживаясь в мягкое кресло под стареньким, запыленным макетом, то беседовал с посетителями, то и дело открывавшими дверь в кабинет. Среди них побывали: бухгалтер с ведомостью, дирижер в грязном воротничке. С этим дирижером Римский, отличавшийся странной манерой никому и никогда не выдавать денег, поругался из-за какой-то кожи на барабане и сказал:

— Пусть они собственную кожу натягивают на барабан! Нету в смете!

Оскорбленный дирижер ушел, ворча что-то о том, что так он не может работать.

В то время как Римский оскорблял дирижера, Варенуха непрерывно лгал и хамил по телефону, отвечая бесчисленным лицам:

— Все продано! Нет-с, не могу! Не могу! — говорил Варенуха, приставив руку корабликом ко рту.

Но телефон трещал вновь, и вновь Варенуха кричал неприятным гусиным голосом:

— Да!

Приходил какой-то лысый униженный человек и принес скетч. Приходила какая-то накрашенная актриса просить контрамарку — ей отказали.

До часу дня все шло благополучно, но в час Римский стал злиться и нервничать из-за Степы. Тот обещал, что придет немедленно, а между тем его не было. А у Римского на столе накопилась большая пачка бумаг, требовавших немедленно Степиной подписи.

Варенуха через каждые пять минут звонил по телефону на квартиру к Степе, которая, кстати сказать, находилась в двух шагах от «Кабаре».

— Безобразие! — ворчал Римский каждый раз, как Варенуха, кладя трубку, говорил:

— Не отвечают. Значит, вышел.

Так продолжалось до двух часов дня, и в два часа Римский совершенно остервенился... И в два же часа дверь в кабинет отворилась и вошла женщина в форменной куртке, в тапочках, в юбке, в мужской фуражке, вынула из маленькой сумки на поясе конвертик и сказала:

— Где тут «Кабаре»? Распишитесь, «молния».

Варенуха черкнул какую-то закорючку в тетради у женщины и, когда та вышла, вскрыл конвертик. Прочитав написанное, он сказал: «Гм!..» — поднял брови и дал телеграмму Римскому.

В телеграмме было напечатано следующее: «Владикавказа Москву Кабаре Молнируйте Владикавказ помощнику начальника Масловскому точно субъект ночной сорочке брюках блондин носках без сапог признаками психоза явившийся сегодня отделение Владикавказа директор Кабаре Лиходеев Масловский».

— Здорово! — сказал Римский, дернув щекой.

— Лжедимитрий! — сказал Варенуха и тут же, взяв трубку, сказал в нее следующее:

— Дайте телеграф. «Молния». «Владикавказ Помощнику начальника Масловскому Лиходеев Москве финдиректор Римский».

Независимо от сообщения о владикавказском самозванце принялись разыскивать Степу. Квартира его упорно не отвечала.

Варенуха начал звонить совершенно наобум и зря в разные учреждения. Но, конечно, нигде Степы не нашел.

— Уж не попал ли он, как Берлиоз, под трамвай? — сказал Варенуха.

— А хорошо бы было, — сквозь зубы, чуть слышно буркнул Римский.

Тут принесли колоссальных размеров, ярко расписанную афишу, на которой крупными красными буквами стояло: ВОЛАНД, а ниже черными поменьше: «Сеансы белой магии с полным их разоблачением».

На круглом лице Варенухи выразилось удовольствие, но он не успел как следует полюбоваться афишей, как в дверь вошла та самая женщина, которая принесла первую «молнию», и вручила Варенухе новый конвертик.

Варенуха прочитал «молнию» и свистнул. В «молнии» стояло следующее:

«Умоляю молнируйте Масловскому что я действительно Лиходеев брошенный Воландом Владикавказ Примите меры наблюдения Воландом Лиходеев».

В течение минуты Римский и Варенуха молча, касаясь друг друга лбами, перечитывали телеграмму.

— Да ты же с ним в двенадцать часов разговаривал по телефону? — наконец с недоумением сказал Варенуха.

— Да смешно говорить! — воскликнул Римский. — Разговаривал, не разговаривал!.. Да не может он быть во Владикавказе! Это смешно!..

— Он пьян, — сказал Варенуха.

— Кто пьян? — спросил Римский.

И дико уставились глазами друг на друга. Женщина, которая принесла «молнию», вдруг рассердилась.

— Граждане! Расписывайтесь, а потом уж митинги устраивайте!

— Телеграмма-то из Владикавказа? — спросил у женщины Римский.

— Ничего я не знаю, не мое дело, — ответила женщина и удалилась, ворча.

Тут произошло совещание. Варенуха ежесекундно прерывал его восклицаниями:

— Это глупо!

Но сколько он ни кричал: «Это глупо!» — делу это нисколько не помогало.

Несомненно, из Владикавказа телеграфировал какой-то самозванец, но вот что было странно: слово «Воланд» в телеграмме. Откуда же владикавказский негодяй знает о приезде артиста и о связи, существующей между ним и Степой?

— При-ми-те ме-ры, — бормотал Варенуха, мигая вспухшими веками, — откуда он о нем знает и зачем меры?.. Это мистификация!

Решили ничего не молнировать в ответ.

Но ровно через пятнадцать минут появилась та же женщина, и Римский с Варенухой даже с мест поднялись навстречу ей.

Женщина вынула из сумки не беленький, а темный листок.

— Это становится интересным, — сказал Варенуха, ставя закорючку в книжке и отпуская злую женщину.

На фотографической бумаге отчетливо чернели писаные строки.

Варенуха без чинов навалился на плечо Римскому.

«Вот доказательство: фотография моего почерка Молнируйте подтверждение личности Масловскому Строжайшее наблюдение Воландом Случае попытки выехать Москвы арестовать Лиходеев».

Варенуха был известен в Москве как администратор, не имеющий себе равных. За двадцать лет своей деятельности он видал всякие виды. Но тут Варенуха почувствовал, что ум его как бы застилает пеленой, и он ничего не произнес, кроме житейской, но нелепой фразы:

— Этого не может быть!

Римский поступил не так. Он поднялся, рявкнул в дверь:

— Никого! — и собственноручно запер эту дверь на ключ.

Затем достал из письменного стола пачку бумаг, начал тщательно сличать букву за буквой залихватские подписи Степы на ведомостях с подписью на фотограмме.

Варенуха, навалившись, жарко дышал в щеку Римскому.

— Это почерк Лиходеева, — наконец выговорил Римский, и Варенуха, глянув ему в лицо, удивился перемене, которая в нем произошла. Римский как будто бы постарел лет на десять. Глаза его в роговой оправе утратили свою колючесть и уверенность, и в них появилась не то что тревога, а даже как будто печаль.

Варенуха проделал все, что делает человек в минуты великого изумления, то есть и по кабинету прошелся, и руки вздымал, как

распятый, и выпил целый стакан желтой воды из графина, и восклицал:

— Не понимаю!

Но Римский смотрел не на Варенуху, а в окно и думал. Положение финансового директора «Кабаре» было затруднительное. Нужно было тут же, не сходя с места, представить обыкновенные объяснения для совершенно необыкновенного явления.

Римский зажмурился, представил себе Степу в ночной сорочке влезающим в Москве сегодня в какой-то сверхбыстроходный аэроплан, представил себе Казбек, покрытый снегом, и тут же эту мысль от себя отогнал. Представил себе, что не Степа сегодня говорил по телефону в Москве, и эту мысль отринул. Представил себе какие-то пьяные шутки при участии почты и телеграфа, фальшивые «молнии», опять — Степу в носках среди бела дня во Владикавказе, и всякое логическое здание в голове у Римского рухнуло, и остались одни черепки.

Ручку двери крутили и дергали, слышно было, как курьерша кричала:

— Нельзя!

Варенуха также кричал:

— Нельзя! Заседание!

Когда за дверью стихло, Римский спросил у Варенухи:

— Сколько километров до Владикавказа?

Варенуха ответил:

— Черт его знает! Не помню!.. Да не может он быть во Владикавказе! — Помолчали.

— Да, он не может быть во Владикавказе, — отозвался Римский, — но это писано Лиходеевым из Владикавказа.

— Так что же это такое? — даже взвизгнул Варенуха.

— Это непонятное дело, — тихо ответил Римский.

Помолчали. Грянул телефон. Варенуха схватил трубку, крикнул в нее: «Да!», потом тотчас «Нет!» — бросил трубку криво на рычаг и спросил:

— Что же делать?

Римский молча снял трубку и сказал:

— Междугородная? Дайте сверхсрочный с Владикавказом.

«Умно!» — подумал Варенуха. Подождали. Римский повесил трубку и сказал:

— Испортился телефон с Владикавказом.

Римский тотчас же опять позвонил и заговорил в трубку, в то же время записывая карандашом сказанное.

— Примите «молнию» Владикавказ Масловскому. Ответ фотограмму 803.

«Сегодня до двенадцати дня Лиходеев был Москве От двенадцати до половины третьего он неизвестно где Почерк подтверждаю Меры наблюдения за указанным фотограмме артистом принимаю Замдиректора Кабаре Римский».

«Умно! « — подумал Варенуха, и сейчас же подумал: «Глупо! Не может он быть во Владикавказе!»

Римский же взял обе «молнии» и фотограмму, положил в конверт, заклеил конверт, надписал «в ОГПУ» и вручил конверт Варенухе со словами:

— Отвези, Василий Васильевич, немедленно. Пусть они разбирают.

«Это очень умно!» — подумал Варенуха и спрятал в портфель таинственный пакет, потом взял трубку и навертел номер Степиной квартиры. Римский насторожился, и Варенуха вдруг замигал и сделал знак свободной рукой.

— Мосье Воланд? — ласково спросил Варенуха.

Римский затаил дыхание.

— Да, я, — ответил в трубке Варенухе бас.

— Добрый день, — сказал Варенуха, — говорит администратор «Кабаре» Варенуха.

— Очень приятно, — сказали в трубке, — как ваше здоровье?

— Мерси, — удивляясь иностранной вежливости, ответил Варенуха.

— Мне показалось, — продолжала трубка, — что вы вчера плохо выглядели, и я вам советую никуда сегодня rfe ходить.

Варенуха дрогнул от удивления, но, оправившись, сказал:

— Простите. Что, товарища Лиходеева нет дома?

— Нету, — ответила трубка.

— А, простите, вы не знаете, где он?

— Он поехал кататься на один час за город в автомобиле и сказал, что вернется в «Кабаре».

Варенуха чуть не уронил трубку и замахал рукой встревоженному Римскому.

— Мерси, мерси! — заговорил и закланялся Варенуха. — Итак, ваше выступление сегодня в десять часов вечера.

— О да, я помню.

— Всего, всего добренького, — нежно сказал Варенуха и, грянув трубкой, победоносно воскликнул:

— Уехал кататься за город! Никакой не Владикавказ, а с дамой уехал! Вот-с!

— Если это так, то это черт знает что такое! — воскликнул бледный от негодования Римский.

— Все понятно! — ликовал Варенуха. — Уехал, надрался и застрял.

— Но «молнии»? — глухо спросил Римский.

— Он же и телеграфирует в пьяном виде, — вскричал Варенуха и вдруг, хлопнув себя по лбу, закричал:

— Вспомнил! Вспомнил! В Звенигороде есть трактир «Владикавказ»! Вспомнил! Оттуда он и молнирует!

— Нет, это чересчур! — заговорил озлобленный Римский. — И в конце концов я буду вынужден...

Но Варенуха его перебил.

— А пакет нести?

— Обязательно нести, — ответил Римский.

Тут же открылась дверь и вошла... «Она!» — подумал Римский... И действительно вошла та самая женщина и опять с белым пакетиком.

В телеграмме были слова:

«Спасибо подтверждение Молнией пятьсот Вылетаю Москву Лиходеев».

— Ну, не сук... — вскричал Варенуха, — не переводи! Он с ума сошел!

Но Римский ответил:

— Нет, деньги я переведу.

Варенуха, открыв рот, глядел на Римского, думая, что не Римского видит перед собой.

— Да, помилуй, Григорий Максимович, этот Масловский будет поражен, если там только есть Масловский! Я говорю тебе, что это из трактира!

— Это будет видно часа через два, — сказал Римский, указывая на портфель Варенухи.

Варенуха подчинился своему начальнику и условились так: Варенуха повезет немедленно таинственные телеграммы, а Римский пойдет обедать, после чего оба опять сойдутся в «Кабаре» заблаговременно перед спектаклем, ввиду исключительной важности сегодняшнего вечера.

Варенуха вышел из кабинета, прошелся по коридорам, оглянул подтянувшихся капельдинеров командирским взглядом, зашел и в вешалки, всюду и все нашел в полном порядке, узнал в кассе, что сбор резко пошел вверх с выпуском афиши о белой магии, и наконец заглянул перед самым уходом в свой кабинет.

Лишь только он открыл дверь, как на клеенчатом столе загремел телефон.

— Да! — пронзительно крикнул Варенуха в трубку.

— Товарищ Варенуха? — сказал в телефоне треснувший тенор. — Вот что, вы телеграммы сейчас никуда не носите. А спрячьте их поглубже и никому об них не говорите.

— Кто это говорит? — яростно закричал Варенуха. — Товарищ, прекратите ваши штуки! Я вас обнаружу! Вы сильно пострадаете!

— Товарищ Варенуха, — сказал все тот же препротивный голос в телефон, — вы русский язык понимаете? Не носите никуда телеграммы и Римскому ничего не говорите.

— Вот я сейчас узнаю, по какому номеру вы говорите! — заорал Варенуха и вдруг услышал, что трубку повесили и что никто его больше не слушает.

Тогда Варенуха оставил телефон, нахлобучил кепку, схватил портфель и через боковой выход устремился в летний сад, в который публика выходила во время антрактов из «Кабаре» курить.

Администратор был возбужден и чувствовал, что энергия хлещет из него. Кроме того, его обуревали приятные мысли. Он предвкушал много хорошего; как он сейчас явится куда следует, как возбудит большое внимание, и в голове его зазвучали даже целые отрывки из будущего разговора и какие-то комплименты по его адресу.

«Садитесь, товарищ Варенуха... гм... так вы полагаете, товарищ Варенуха... ага... так...», «Варенуха — свой парень... мы знаем Варенуху... правильно...», и слово «Варенуха» так и прыгало в голове у Варенухи.

Ветер дунул в лицо администратору, и в верхушках лип прошумело. Варенуха поднял голову и увидел, что темнеет. Сильно посвежело.

Как ни торопился Варенуха, он все же решился заглянуть по дороге в летнюю уборную, чтобы проверить, исполнили ли монтеры его повеление — провести в нее свет.

Мимо только что отстроенного тира по дорожке Варенуха пробежал к зданьицу, выкрашенному серой краской, с двумя входами и с надписями: «Мужская», «Женская». Варенуха пошел в мужское отделение и, прежде всего, увидел, что пять дней тому назад выкрашенные стены исписаны неплохо сделанными карандашом рисунками половых органов, четверостишиями и отдельными очень употребительными, но почему-то считающимися неприличными, словами. Самое короткое из них было выписано углем большими буквами как раз над сиденьем, и сиденье это было загажено.

— Что же это за народ? — воскликнул Варенуха сам себе и тут же услышал за своим плечом голос:

— Товарищ Варенуха?

Администратор почему-то вздрогнул, оглянулся и увидел перед собой какого-то небольшого толстяка, как показалось Варенухе, с кошачьей мордой и одетого в клетчатое.

— Ну, я, — ответил Варенуха неприязненно, решив, что этот толстяк, конечно, сейчас же попросит у него контрамарку на сегодняшний вечер.

— Ах, вы? Очень приятно, — писклявым голосом сказал котообразный толстяк и вдруг, развернувшись, ударил Варенуху по уху так, что тот слетел с ног и с размаху сел на запачканное сиденье.

Удару отозвался второй громовой удар в небе, блеснуло в уборной, и в ту же секунду в крышу ударил ливень. Еще раз блеснуло, и в зловещем свете перед администратором возник второй — маленького роста, но необыкновенно плечистый, рыжий, как огонь, один глаз с бельмом, изо рта клыки. Этот второй, будучи, очевидно, левшой, развернулся с левой руки и съездил сидящего администратора по другому уху. И опять бухнуло в небе и хлынуло сильнее. Крик «Караул!» не вышел у Варенухи, потому что перехватило дух.

— Что вы, товари... — прошептал совершенно ополоумевший администратор, но тут же сообразил, что слово «товарищи» никак не подходит к двум бандитам, избивающим человека в сортире в центре Москвы, прохрипел «граждане!», сообразил, что и названия граждан эти двое не заслуживают, и тут же получил тяжкий удар от того, с бельмом, но уже не по уху, а по середине лица, так что кровь потекла по Варенухиной толстовке.

Тогда темный ужас охватил Варенуху. Ему почудилось, что его убьют. Но его больше не ударили.

— Что у тебя в портфеле, паразит, — пронзительно, перекрикивая шум грозы, спросил тот, который был похож на кота, — телеграммы?

— Те...телеграммы, — ответил администратор.

— А тебя предупреждали по телефону, чтобы ты не смел никуда их носить?

— Преду...предупре...ждали...дили... — ответил администратор, задыхаясь от ужаса.

— Но ты все-таки потопал? Дай сюда портфель, гад! — прогнусил второй с клыками, одним взмахом выдрав у Варенухи портфель из рук.

— Ах ты, ябедник паршивый! — воскликнул возмущенный тип, похожий на кота, и пронзительно свистнул.

И тут безумный администратор увидел, что стены уборной завертелись вокруг него, потом исчезли, и во мгновение ока он оказался в темноватой и очень хорошо ему знакомой передней Степиной квартиры.

Дверь, ведущая в комнаты, отворилась, и в ней показалась рыжая с горящими глазами голая девица. Она простерла вперед руки и приблизилась к Варенухе. Тот понял, что это самое страшное из того, что с ним случилось, и отшатнулся, и слабо вскрикнул.

Но девица подошла вплотную к Варенухе, положила ладони ему на плечи, и Варенуха почувствовал даже сквозь толстовку, что ладони эти холодны как лед.

— Какой славненький! — тихо сказала девица. — Дай, я тебя поцелую!

И тут Варенуха увидел перед самыми своими глазами сверкающие зеленые глаза и окровавленный извивающийся рот. Тогда сознание покинуло Варенуху.

ГРОЗА И РАДУГА

Скудный бор, еще недавно освещенный майским солнцем, был неузнаваем сквозь белую решетку: он помутнел, размазался и растворился. Сплошная пелена воды валила за решеткой. Время от времени ударяло в небе, время от времени лопалось в небе, тогда всю комнату освещало, освещало и листки, которые предгрозовой ветер сдул со стола, и больного в белье, сидящего на кровати.

Иванушка тихо плакал, глядя на смешавшийся бор и отложив огрызок карандаша. Попытки Иванушки сочинить заявление относительно таинственного консультанта не привели ни к чему. Лишь только он получил бумагу и карандаш, он хищно потер руки и тотчас написал на листке начало: «В ОГПУ. Вчера около семи часов вечера я пришел на Патриаршие пруды с покойным Михаилом Александровичем Берлиозом...»

И сразу же Иван запутался — именно из-за слова «покойный». Выходила какая-то безлепица и бестолочь: как это так с покойным пришел на Патриаршие пруды? Не ходят покойники! «Еще, действительно, за сумасшедшего примут...» — подумал Иван, вычеркнул слово «покойный», написал «с М.А.Берлиозом, который потом попал под трамвай»... не удовлетворился и этим, решил начать с самого сильного, чтобы сразу остановить внимание читающего, написал

про кота, садящегося в трамвай, потом про постное масло, потом вернулся к Понтию Пилату, для вящей убедительности решил весь рассказ изложить полностью, написал, что Пилат шел шаркающей кавалерийской походкой...

Иван перечеркивал написанное, надписывал сверху строк, попытался даже нарисовать страшного консультанта, а когда все перечел, и сам ужаснулся, и вот, плакал, слушая, как шумит гроза.

Толстая белая женщина неслышно вошла в комнату, увидела, что поэт плачет, встревожилась, тотчас заявила, что вызовет Сергея Павловича, и прошел час, и уже бора узнать опять нельзя было. Вновь он вырисовался до последнего дерева и расчистилось небо до голубизны, и лежал Иван без слез на спине, и видел сквозь решетку, как, опрокинувшись над бором, в небе рисовалась разноцветная арка.

Сергей Павлович, сделав какой-то укол в плечо Ивану, ушел, попросив разрешения забрать листки, и унес их с собой, уверив, что Иван больше плакать не будет, что это его расстроила гроза, что укол поможет и что все теперь изменится в самом наилучшем смысле. И точно, оказался прав. Иван и сам не заметил, как слизнуло с неба радугу, как небо это загрустило и потемнело, как бор опять размазался, и вдруг вышла из-за него неполная луна, и бор от этого совсем почернел.

Иван с удовольствием выпил горячего молока, прилег, приятно зевая, и стал думать, причем и сам подивился, до чего изменились его мысли.

Воспоминания об ужасной беззубой бабе, кричавшей про Аннушку, и о черном коте исчезли, а вместо них Иван стал размышлять о том, что, по сути дела, в больнице очень хорошо, что Стравинский очень умен, что воздух, текущий сквозь решетку, сладостен и свеж.

Дом скорби засыпал к одиннадцати часам вечера. В тихих коридорах потухали белые матовые лампы и загорались дежурные слабые голубые ночники. В камерах умолкали и бреды, и шепоты, и только отдельный корпус буйных до утра светился полной беспокойной жизнью. Толстую сменила худенькая, и несколько раз она заглядывала к Ивану, но, убедившись, что он мирно дремлет, перестала его навещать.

Иван же, лежа в сладкой истоме, сквозь полуопущенные веки смотрел и видел в прорезах решетки тихие мирные звезды и думал о том, почему он, собственно, так взволновался из-за того, что Берлиоз попал под трамвай?

— В конечном счете, ну его в болото! — прошептал Иван и сам подивился своему равнодушию и цинизму. — Что я ему, кум или сват? Если как следует провентилировать этот вопрос, то выясняется, что я совершенно не знал покойника. Что мне о нем было известно? Ничего, кроме того, что он был лысый, и более ровно ничего.

— Далее, товарищи! — бормотал Иван. — Почему я, собственно, взбесился на этого загадочного консультанта на Патриарших, мистика с пустым глазом? К чему вся эта петрушка в ресторане?

— Но, но, но, — вдруг сказал где-то прежний Иван новому Ивану—а про постное-то масло он знал!

— Об чем, товарищ, разговор? — отвечал новый Иван прежнему. — Знать заранее про смерть еще не значит эту смерть причинить! А вот что самое главное, так это, конечно, Пилат, и Пилата-то я и проморгал! Вместо того чтобы устраивать дикую бузу с криками на прудах, лучше было бы расспросить досконально про Пилата! А теперь дудки! А я чепухой занялся — важное кушанье, в самом деле, редактор под трамвай попал!

Подремав еще немного, Иван новый ехидно спросил у старого Ивана:

— Так кто же я такой в этом случае? — Дурак! — отчетливо сказал бас, не принадлежащий ни одному из Иванов. Иван, почему-то приятно изумившись слову «дурак» и даже хихикнув, открыл глаза, но увидел, что в комнате никого нет, и опять задремал, причем ему показалось, что пальма качает шапкой за решеткой. Иван всмотрелся и разглядел за решеткой человеческую фигуру, поднялся без испуга и слышал, как фигура, погрозив ему пальцем сквозь решетку, прошептала:

— Тсс!

БЕЛАЯ МАГИЯ И ЕЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Высоко приподнятая над партером сцена «Кабаре» была освещена прожекторами так ярко, что казалось, будто на ней солнечный день.

И на эту сцену маленький человек в дырявом котелке, с грушевидным малиновым носом, в клетчатых штанишках и лакированных ботинках, выехал на двухколесном велосипеде. Выкатившись, он издал победный крик, отчего его велосипед поднялся на дыбы. Проехавшись на заднем колесе, человечек перевернулся кверху ногами, на ходу отвинтил заднее колесо и поехал на одном переднем, вертя педали руками. Громадный зал «Кабаре» рассмеялся, и аплодисмент прокатился сверху вниз.

Тут под звуки меланхолического вальса из кулисы выехала толстая блондинка в юбочке, усеянной звездами, на сиденье на конце высочайшей тонкой мачты, под которой имелось только одно маленькое колесо. И блондинка заездила по сцене. Встречаясь с ней, человечек издавал приветственные крики и ногой снимал котелок. Затем выехал молодой человек с необыкновенно развитыми мускулами под красным трико и тоже на высокой мачте и тоже заездил по сцене, но не сидя в сиденье, а стоя в нем на руках. И, наконец, малютка со старческим лицом, на крошечной двуколеске, и зашнырял деловито между взрослыми, вызывая раскаты смеха и хлопки.

В заключение вся компания под тревожную дробь барабана подкатилась к самому краю сцены, и в первых рядах испуганно шарахну-

лись, потому что публике показалось, что компания со своими машинами грохнется в оркестр. Но велосипедисты остановились как раз тогда, когда колеса уже должны были соскользнуть на головы джазбандистам, и с громким воплем соскочили с машин, причем блондинка послала воздушный поцелуй публике. Грохот нескольких тысяч рук потряс здание до купола, занавес пошел и скрыл велосипедистов, зеленые огни в проходах угасли, меж трапециями, как солнца, вспыхнули белые шары. Наступил антракт.

Единственным человеком, которого ни в какой мере не интересовали подвиги велосипедной семьи Рибби, выписанной из Вены, был Григорий Максимович Римский.

Григорий Максимович сидел у себя в кабинете, и если бы кто-либо увидел его в этот момент, поразился бы до глубины души. Никто в Москве никогда не видел Римского расстроенным, а сейчас на Григории Максимовиче буквально не было лица.

Дело в том, что не только Степа не дал больше ничего знать о себе и не явился, но пропал и совершенно бесследно Варенуха.

Что думал о Степе Римский, мы не знаем, но известно, что он думал о Варенухе, и, увы, это было до того неприятно, что Римский сидел бледный и одинокий и по лицу его проходила то и дело судорога.

Когда человек уходит и пропадает, не трудно догадаться, что случилось с ним, и Римский, кусая тонкие губы, бормотал только одно: «Но за что?»

Ему почему-то до ужаса не хотелось звонить по поводу Варенухи, но он все-таки принудил себя и снял трубку. Однако оказалось, что телефон испортился. Вызванный звонком курьер доложил, что испортились все телефоны в «Кабаре». Это, казалось бы, совершенно неудивительное событие почему-то окончательно потрясло Римского, и в глазах у него появилось выражение затравленности.

Когда до слуха финдиректора глухо донесся финальный марш велосипедистов, вошел курьер и доложил, что «они прибыли».

Замдиректора почему-то передернуло, и он пошел за кулисы, чтобы принять гастролера.

В уборную, где поместили иностранного артиста, под разными предлогами заглядывали разные лица. В душном коридоре, где уже начали трещать сигнальные звонки, шныряли фокусники в халатах с веерами, конькобежец в белой вязанке, прошел какой-то бледный в смокинге, бритый, мелькали пожарные.

Прибывшая знаменитость поразила всех, во-первых, своим невиданным по покрою и добротности материала фраком, во-вторых, тем, что был в черной маске, и, в-третьих, своими спутниками. Их было двое: один длинный, тонкий, в клетчатых брючонках и в треснувшем пенсне. Короче говоря, тот самый Коровьев, которого в одну секунду узнал бы товарищ Босой, но товарищ Босой, к сожалению, в «Кабаре» быть никак не мог в это время. И второй был неимоверных размеров черный кот, который как вошел, так и сел непринужденно на диван, щурясь на ослепительные огни гримировальных лампионов.

В уборной толкалось много народу; был маленький помощник режиссера в кургузом пиджачке, чревовещательница, пришедшая под тем предлогом, что ей нужно взять пудру, курьер и еще кто-то.

Римский с большим принуждением пожал руку магу, а длинный и развязный и сам поздоровался с Римским, отрекомендовавшись так: «Ихний помощник».

Римский очень принужденно осведомился у артиста о том, где его аппаратура, и получил глухой ответ сквозь маску:

— Мы работаем без аппаратуры...

— Наша аппаратура, товарищ драгоценный, — ввязался тут же клетчатый помощник, — вот она. При нас! Эйн, цвей, дрей! — И тут наглец, повертев узловатыми пальцами перед глазами отшатнувшегося Римского, вытащил внезапно из-за уха кота собственные золотые Римского часы, которые были у него до этого в кармане под застегнутым пиджаком, с продетой в петлю цепочкой.

Кругом ахнули, и заглядывавший в дверь портной крякнул.

Тут затрещал последний сигнал, и под треск этот кот отмочил штуку, которая была почище номера с часами. Именно, он прыгнул на подзеркальный стол, лапой снял пробку с графина, налил воды в стакан и выпил ее, после чего пробку водрузил на место. Тут даже никто не ахнул, а только рты раскрыли, и в дверях кто-то шепнул:

— Ай! Класс!

Через минуту шары в зале погасли, загорелись зеленые надписи «выход», и в освещенной щели голубой завесы предстал толстый, веселый, как дитя, человек в помятом фраке и несвежем белье. Видно было, что публика в партере, узнав в вышедшем известного конферансье Чембукчи, нахмурилась.

— Итак, граждане, — заговорил Чембукчи, улыбаясь, — сейчас перед вами выступит знаменитый иностранный маг герр Воланд. Ну, мы-то с вами понимаем, — хитро подмигнув публике, продолжал Чембукчи, — что никакой белой магии на самом деле в природе не существует. Просто мосье Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса. Ну а тут двух мнений быть не может! Мы все, начиная от любого уважаемого посетителя галерки и вплоть до почтеннейшего Аркадия Аполлоновича, — и здесь Чембукчи послал ручкой привет в ложу, где сидел с тремя дамами заведующий акустикой московских капитальных театров Аркадий Аполлонович Семплеяров, — все, как один, за овладение техникой и против всякой магии! Итак, попросим мистера Воланда!

Произнеся всю эту ахинею, Чембукчи отступил на шаг, сцепил обе ладони и стал махать ими в прорез занавеса, каковой и разошелся в обе стороны. Публике выход Воланда с его помощниками очень понравился. Замаскированного великана, клетчатого помощника и кота встретили аплодисментами.

Коровьев раскланялся с публикой, а Воланд не шевельнулся.

— Кресло мне, — негромко сказал Воланд, и в ту же минуту неизвестно каким образом на сцене появилось кресло.

Слышно было, как вздохнула публика, а затем наступила тишина.

Дальнейшее поведение артистов поразило публику еще более, чем появление кресла из воздуха.

Развалившись на полинявшей подушке, знаменитый артист не спешил ничего показывать, а оглядывал публику, машинально покручивая ухо черного кота, приютившегося на ручке кресла.

Наконец послышались слова Воланда:

— Скажи мне, рыцарь, — очень негромко осведомился он у клетчатого гаера, который стоял, развязно опершись на спинку кресла, — это и есть московское народонаселение?

— Точно так, — почтительно ответил клетчатый циркач.

— Так... так... так... — загадочно протянул Воланд, — я, надо признаться, давненько не видел москвичей... Надо сказать, что внешне они сильно изменились, как и сам город... Появились эти... трамваи, автомобили...

Публика внимательно слушала, полагая, что это прелюдия к магическим фокусам.

Между кулисами мелькнуло бледное лицо Римского среди лиц артистов.

На физиономии у Чембукчи, приютившегося сбоку одного занавеса, мелькнуло выражение некоторого недоумения, и он чуть-чуть приподнял бровь. Воспользовавшись паузой, он вступил со словами:

— Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, которая значительно выросла в техническом отношении, а равно также и москвичами, — приятно улыбаясь, проговорил Чембукчи, профессионально потирая руки.

Тут Воланд, клоун и кот повернули головы в сторону конферансье.

— Разве я выразил восхищение? — спросил артист у клетчатого.

— Нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, — доложил клетчатый помощник.

— Так... что же он говорит?

— А он просто соврал, — звучно сказал клетчатый и, повернувшись к Чембукчи, прибавил:

— Поздравляю вас, сврамши!

На галерее рассмеялись, а Чембукчи вздрогнул и выпучил глаза.

— Но меня, конечно, не столько интересуют эти автобусы, телефоны и... прочая...

— Мерзость! — подсказал клетчатый угодливо.

— Совершенно верно, благодарю, — отозвался артист, — сколько более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне, э?

— Важнейший вопрос, мессир, — озабоченно отозвался клетчатый.

В кулисах стали переглядываться, пожимать плечами, но, как бы отгадав тревогу за кулисами, артист сказал снисходительно:

— Ну, мы заговорились, однако, дорогой Фагот, а публика ждет от нас чудес белой магии. Покажи им что-нибудь простенькое.

Тут зал шевельнулся, и пять тысяч глаз сосредоточились на клетчатом. А тот щелкнул пальцами, залихватски крикнул:

— Три, четыре!..

Тотчас поймал из воздуха атласную колоду карт, стасовал ее и лентой пустил через сцену.

Кот немедленно поймал колоду, в свою очередь стасовал ее, соскочил с кресла, встал на задние лапы и обратно выпустил ее к клетчатому. Атласная лента фыркнула, клетчатый раскрыл рот, как птенец, и всю ее, карту за картой, заглотал.

Даже аплодисмента не было, настолько кот поразил публику.

— Класс! — воскликнули за кулисами.

А Фагот указал пальцем в партер и сказал:

— Колода эта таперича, уважаемые граждане, в седьмом ряду, место семнадцатое, в кармане.

В партере зашевелились, и затем какой-то гражданин, пунцовый от смущения, извлек из кармана колоду и застенчиво тыкал ею в воздух, не зная, куда ее девать.

— Пусть она останется у вас на память, гражданин Парчевский, — козлиным голосом прокричал Фагот, — вы не зря говорили вчера, что без покера жизнь в Москве несносна.

Тот, фамилия которого действительно была Парчевский, вытаращил глаза и колоду положил на колени.

— Стара штука! — раздался голос с галерки. — Они уговорились!

— Вы полагаете? — отозвался Фагот. — В таком случае она у вас в кармане!

На галерке произошло движение, послышался радостный голос:

— Червонцы!

Головы поднялись кверху. Какой-то смятенный гражданин на галерке обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом, с надписью «Одна тысяча рублей». Соседи навалились на него, а он начал ковырять пачку пальцем, стараясь дознаться, настоящие это червонцы или какие-нибудь волшебные.

— Истинный бог, червонцы! — заорали на галерке.

— Сыграйте со мной в такую колоду! — весело попросил женский голос в ложе.

— Авек плезир, медам, — отозвался клетчатый и крикнул: — Прошу глядеть в потолок!

Головы поднялись, Фагот рявкнул:

— Пли!

В руке у него сверкнуло, бухнул выстрел, и тотчас из-под купола, ныряя между нитями подтянутых трапеций, начали падать в партер белые бумажки. Они вертелись, их разносило в стороны, забивало на галерею, откидывало и в оркестр, и в ложи, и на сцену.

Через несколько секунд бумажки, дождь которых все густел, достигли кресел, и немедленно зрители стали их ловить. Сперва веселье, а затем недоумение разлилось по всему театру. Сотни рук поднялись к лампам и на бумажках [увидели] самые праведные, самые несомненные водяные знаки. Запах также не оставлял ни малейших сомнений: это был единственный, лучший в мире и ни с чем не сравнимый запах только что отпечатанных денег. Слово «червонцы! червонцы!» загудело в театре, послышался

смех, вскрики «ах, ах», зрители вскакивали, откидывали спинки, ползали в проходах.

Эффект, вызванный фокусом белой магии, был ни с чем не сравним. На лицах милиции в проходах выразилось смятение, из кулис без церемоний стали высовываться артисты. На галерее вдруг послышался голос: «Да ты не толкайся! Я тебя сам так толкну!» и грянула плюха, произошла возня, видно было, как кого-то повлекли с галереи. На лицо Чембукчи было страшно глянуть. Он круглыми глазами глядел то на вертящиеся бумажки, то на замаскированного артиста в кресле, то старался диким взором поймать за кулисами Римского, то в ложе взгляд Аркадия Аполлоновича.

Трое молодых людей из партера, плечистые, в так называемых пуловерах под пиджаками, нахватав падаюших денег, вдруг бесшумно смылись из партера, как будто по важной и срочной надобности.

В довершение смятения дирижер, дико оглянувшись, взмахнул палочкой, и тотчас оркестр заиграл, а мужской голос ни к селу ни к городу запел: «У самовара я и моя Маша!» Возбуждение от этого усилилось, и неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы кот вдруг не дунул с силой в воздух, отчего червонный снег прекратился.

Публика мяла и смотрела на свет бумажки, охала, разочарованно глядела вверх, глаза у всех сияли.

Тут только Чембукчи нашел в себе силы и шевельнулся. Стараясь овладеть собой, он потер руки и звучным голосом заговорил:

— Итак, товарищи, мы с вами сейчас видели так называемый случай массового гипноза. Научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес не существует. Итак, попросим мосье Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки, что у вас в руках, исчезнут так же внезапно, как и появились!

Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве. На лице конферансье сохранял при этом выражение уверенности, но в глазах этой уверенности не было и даже выражалась мольба. Публике его речь не понравилась, наступило молчание, которое было прервано клетчатым Фаготом.

— Это так называемый случай вранья, — заявил он своим козлиным тенором, — бумажки, граждане, настоящие!

— Браво! — восторженно крикнули на галерке.

— Между прочим, этот, — тут клетчатый нахал указал на бледного Чембукчи, — мне надоел, суется все время, ложными замечаниями портит сеанс. Что бы с ним такое сделать?

— Голову ему оторвать! — крикнул злобно какой-то мужчина.

— О? Идея! — воскликнул Фагот, и тут произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем прыгнул, как тигр, прямо на грудь к несчастному Чембукчи и пухлыми лапами вцепился в его жидкую шевелюру, два поворота влево и вправо — и кот, при мертвом молчании театра, сорвал голову Чембукчи с пухлой шеи.

Две с половиной тысячи человек, как один, вскрикнули. Песня про самовар и Машу прекратилась.

Безглавое тело нелепо загребло ногами и село на пол. Кровь потоками побежала по засаленному фраку.

Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и голова вдруг плаксиво на весь театр крикнула:

— Доктора!

В партере послышались истерические крики женщин, а на галерке грянул хохот.

— Ты будешь нести околесину в другой раз? — сурово спросил клетчатый.

— Не буду, — ответила, плача, голова.

— Ради Христа, не мучьте его! — вдруг на весь театр прозвучал женский голос в партере, и видно было, как замаскированный повернул в сторону голоса лицо.

— Так что же, граждане, простить, что ли, его? — спросил клетчатый у публики.

— Простить! Простить! — раздались вначале отдельные и преимущественно женские голоса, а затем они слились в дружный хор вместе с мужскими.

— Что же, все в порядке, — тихо, сквозь зубы, проговорил замаскированный, — алчны, как и прежде, но милосердие не вытравлено вовсе уж из их сердец. И то хорошо.

И громко сказал:

— Наденьте голову!

Кот с клетчатым во мгновенье ока нахлобучили голову на окровавленную шею, и голова эта, к общему потрясению, прочно и крепко села на место, как будто никогда и не отлучалась. Клетчатый мгновенно нахватал из воздуха червонцев, сунул их в руку бессмысленно улыбавшемуся Чембукчи, подпихнул его в спину и со словами:

— Катитесь отсюда, без вас веселей! — выпроводил его со сцены.

Чембукчи, все так же безумно улыбаясь, дошел только до пожарного поста и возле него упал в обморок.

К нему кинулись, в том числе Римский, лицо которого было буквально страшно.

Пока окружавшие Чембукчи смотрели, как растерянный доктор совал в нос бедному конферансье склянку с нашатырным спиртом, клетчатый Фагот отпорол новую штуку, которая вызвала неописуемый восторг в театре, объявив:

— Таперича, граждане, мы открываем магазин! — Клетчатый вдруг всю сцену осветил разноцветными огнями, и публика увидела ослепительные дамские платья разных цветов, отражающиеся в громадных зеркалах, опять-таки неизвестно откуда взявшихся.

Сладко ухмыляясь, клетчатый объявил, что производит обмен старых дамских платьев на парижские модели и притом совершенно бесплатно.

Колебание продолжалось около минуты, пока какая-то хорошенькая и полная блондинка, улыбаясь улыбкой, которая показывала, что ей наплевать, не последовала из партера по боковому трапу на сцену.

— Браво! — вскричал Фагот и тут же развернул широчайший черный плащ, блондинка скрылась за ним, из-за плаща вылетело прежнее блондинкино платье, которое подхватил кот, и эта блондинка вдруг вышла в таком туалете, что в публике прокатился вздох, и через секунду на сцене оказалось около десятка женщин.

— Я не позволяю тебе! — послышался придушенный мужской голос в партере.

— Дурак, деспот и мещанин! Не ломайте мне руку! — ответил придушенный женский голос.

Кот не успевал подхватывать вылетающие из-за плаща прежние старенькие платьица, комкать их.

Через минуту на сцене стояли десять умопомрачительно одетых женщин, и весь театр вдруг разразился громовым аплодисментом.

Тут клетчатый потушил огни, убрал зеркала и объявил зычно, что все продано.

И здесь вмешался в дело Аркадий Аполлонович Семплеяров.

— Все-таки нам было бы приятно, гражданин артист, — интеллигентным и звучным баритоном проговорил Аркадий Аполлонович, и театр затих, слушая его, — если бы вы разоблачили нам технику массового гипноза, в частности денежные бумажки.

И, чувствуя на себе взоры тысяч людей, Аркадий Аполлонович поправил пенсне на носу.

— Пардон, — отозвался клетчатый, — это не гипноз, я извиняюсь. И в частности, разоблачать тут нечего.

— Браво! — рявкнул на галерке бас.

— Виноват, — сказал Аркадий Аполлонович, — все же это крайне желательно. Зрительская масса...

— Зрительская масса, — заговорил клетчатый нахал, — интересуется, Аркадий Аполлонович, вопросом о том, где вы были вчера вечером?

— Браво! — крикнули на галерке.

И тут многие увидели, что лицо Аркадия Аполлоновича страшно изменилось.

— Аркадий Аполлонович вчера вечером был на заседании, — неожиданно сказала надменным голосом пожилая дама, сидящая рядом с Аркадием Аполлоновичем.

— Нон, мадам, — ответил клетчатый, — вы в заблуждении. Выехав вчера на машине на заседание, Аркадий Аполлонович повернул в Третью Мещанскую улицу и заехал к нашей очаровательной артистке Клавдии Парфеновне Гаугоголь...

Клетчатый не успел договорить. Сидящая в той ложе, где и Аркадий Аполлонович, неописуемой красоты молодая дама приподнялась и, крикнув мощным голосом:

— Давно подозревала! — и размахнувшись, лиловым зонтиком ударила Аркадия Аполлоновича по голове.

— Мерзавка! — вскричала пожилая. — Как смела ты ударить моего мужа!

И тут неожиданно кот на задних лапах подошел к рампе и рявкнул так, что дрогнули трапеции под потолком:

— Сеанс окончен! Маэстро, марш!

И ополоумевший маэстро, сам не понимая, что он делает, взмахнул палочкой, и оркестр грянул залихватский, чудовищный, нелепый, нестерпимый марш, после чего все смешалось.

Видно было только одно, что все три артиста, то есть замаскированный, клетчатый и кот, бесследно исчезли.

ПОЛНОЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Погрозив Иванушке пальцем, фигура прошептала:

— Тсс!..

Иван изумился и сел на постели.

Тут решетка отодвинулась, и в комнату Ивана, ступая на цыпочках, вошел человек лет 35 примерно, худой и бритый блондин, с висящим клоком волос и с острым птичьим носом.

Сказавши еще раз: «Тсс», пришедший сел в кресло у Иванушкиной постели и запахнул свой больничный халатик.

— А вы как сюда попали? — спросил шепотом Иван, повинуясь острому осторожному пальцу, который ему грозил. — Ведь решеточки-то на замочках?

— Решеточки-то на замочках, — повторил гость, — а Прасковья Васильевна человек добродушный, но неаккуратный. Я у нее ключ стащил.

— Ну? — спросил Иван, заражаясь таинственностью гостя.

— Таким образом, — продолжал пришедший, — выхожу на балкон... Итак, сидим?..

— Сидим, — ответил Иван, с любопытством всматриваясь в живые зеленые глаза пришельца.

— Вы, надеюсь, не буйный? — спросил пришедший. - А то я не люблю драк, шума и всяких таких вещей.

Преображенный Иван мужественно ответил:

— Вчера в ресторане одному типу я засветил по рылу.

— Основание?

— Без основания, — признался Иван.

— Напрасно, — сказал пришедший и спросил отрывисто:

— Профессия?

— Поэт, — неохотно признался Иван.

Пришедший расстроился.

— Ой, как мне не везет! — воскликнул он. Потом заговорил:

— Впрочем, простите. Про широкую реку, в которой прыгают караси, а кругом тучный край, про солнечный размах, про ветер и полевую силу, и гармонь — писали?

— А вы читали? — спросил Иван.

— И не думал, — ответил пришедший, — я таких вещей не читаю. Я человек больной, мне нельзя читать про это. Ужасные стишки?

— Чудовищные, — отозвался Иван.

— Не пишите больше, — сказал пришедший.

— Обещаю, — сказал Иван торжественно.

Тут пожали друг другу руки.

Пришедший прислушался испуганно, потом сказал;

— Нет, фельдшерица больше не придет. Из-за чего сели?

— Из-за Понтия Пилата, — сказал Иван.

— Как? — воскликнул пришедший и сам себе зажал рот, испугавшись, что его кто-нибудь услышит. Потом продолжал тише: — Удивительное совпадение. Расскажите.

Иван, почему-то испытывая доверие к неизвестному посетителю, вначале робко, а затем все более расходясь, рассказал вчерашнюю историю, причем испытал полное удовлетворение. Его слушатель не только не выражал никакого недоверия, но, наоборот, пришел в величайший восторг. Он то и дело прерывал Ивана, восклицая: «Ну-ну», «Так, так», «Дальше!», «Не пропускайте!». А рассказ о коте в трамвае положительно потряс слушателя. Он заставил Ивана подробнейшим образом описывать неизвестного консультанта и в особенности добивался узнать, какая у него борода. И когда узнал, что острая, торчащая из-под подбородка, воскликнул:

— Ну, если это только так, то это потрясающе!

А когда узнал, что фамилия начиналась на букву «W», изменился в лице и торжественно заявил, что у него почти и нет никаких сомнений.

— Так кто же он такой? — спросил ошеломленный Иван.

Но собеседник его сказал, что сообщить он этого пока не может, на том основании, что Иван этого не поймет. Иван почему-то не обиделся, а просто спросил: что же делать, чтобы поймать таинственного незнакомца?

На это собеседник расхохотался, зажимая рот самому себе, и только проговорил:

— И не пробуйте!

Затем, возбужденно расхаживая по комнате, заговорил о том, что заплатил бы сколько угодно, лишь бы встретиться с ним, получить кой-какие справки необходимые, чтобы дописать его роман, но что, к сожалению, он нищий, заплатить ничего не может, да и встретить его, этого... ну, словом, того, кого встретил Иван, он, увы, не встретит...

— Вы писатель? — спросил Иван, сочувствуя расстроенному собеседнику.

— Я — мастер, — ответил тот и, вынув из кармана черную шелковую шапочку, надел ее на голову, отчего его нос стал еще острей, а глаза близорукими. Неизвестный тут же сказал, что он носил раньше очки, но в этом доме очков носить не позволяют и что это напрасно... не станет же он сам себе пилить горло стеклом от очков? Много чести и совершеннейшая нелепость! Потом, увлекшись и взяв с Ивана честное слово, что все останется в тайне, рассказал, что, собственно, только один человек знает, что он мастер, но что так как она женщина замужняя, то именно ее открыть не может... А что пробовал он его читать кое-кому, но его и половины не понимают. Что не видел ее уже

полтора года и видеть не намерен, так как считает, что жизнь его закончена и показываться ей в таком виде ужасно.

— А где она? — расспрашивал Иван, очень довольный ночной беседой.

Гость сказал, что она в Москве... Но обстоятельства сложились прекурьезно. То есть не успел он дописать свой роман до половины, как. . . . .

— Но, натурально, этим ничего мне не доказали, — продолжал гость и рассказал, как он стал скорбен главой и начал бояться толпы, которую, впрочем, и раньше терпеть не мог, и вот, его привезли сюда и что она, конечно, навестила бы его, но знать о себе он не дает и не даст... Что ему здесь даже понравилось, потому что, по сути дела, здесь прекрасно и, главное, нет людей. Что же касается Ивана, то, по заключению гостя, Иван совершенно здоров, но вся беда в том, что Иван (гость извинился) невежествен, а Стравинский, хотя и гениальный психиатр, но сделал ошибку, приняв рассказы Ивана за бред больного.

Иван тут поклялся, что больше в невежестве коснеть не будет, и осведомился, о чем роман. Но гость не сразу сказал о чем, а хихикая в ночи и поблескивая зелеными глазами, рассказал, что когда прочел Износкову, приятелю редактора Яшкина, то Износков так удивился, что даже ужинать не стал и все разболтал Яшкину, а Яшкину роман не только не понравился, но он будто бы даже завизжал от негодования на такой роман и что отсюда пошли все беды. Короче же говоря, роман этот был про молодого Ешуа Га-Ноцри. Иванушка тут сел и заплакал, и лицо у гостя перекосилось, и он заявил, что повел себя как доверчивый мальчишка, а Износков — Иуда!

— Из Кериота! — пламенно сказал Иван.

— Откуда вы знаете? — удивленно вопросил гость, а Иван, отирая слезы, признался, что знает и больше, но вот горе, вот увы! — не все, но страстно желает знать, что случилось дальше-то после того, как Ешуа двинулся с лифостротона, и был полдень.

И что все неважно, и ловить этого удивительного рассказчика тоже не нужно, а нужно слушать лежа, закрыв глаза, про Ешуа, который шел, обжигаемый солнцем, с лифостротона, когда был полдень.

— За полднем, — заговорил гость, — пришел первый час, за ним второй час, и час третий, и так наконец настал самый мучительный — час шестой.

НА ЛЫСОЙ ГОРЕ

Настал самый мучительный час шестой. Солнце уже опускалось, но косыми лучами все еще жгло Лысую Гору над Ершалаимом, и до разбросанных камней нельзя было дотронуться голой рукой.

Солдаты, сняв раскаленные шлемы, прятались под плащами, развешанными на концах копий, то и дело припадали к ведрам и пили воду, подкисленную уксусом.

Солдаты томились и, тихо ворча, проклинали ершалаимский зной и трех разбойников, которые не хотели умирать.

Один лишь командир дежурящей и посланной в оцепление кентурии Марк Крысобой, кентурион-великан, боролся со зноем мужественно. Под шлем он подложил длинное полотенце, смоченное водой, и методически, пугая зеленоватых ящериц, которые одни ликовали по поводу зноя, ходил от креста к кресту, проверяя казнимых.

Холм был оцеплен тройным оцеплением. Вторая цепь опоясывала белесую гору пониже и была реже первой, а у подножия горы, там, где начинался пологий подъем на нее, находился спешенный эскадрон.

Сирийцы пропускали всех граждан, которые желали видеть казнь троих, но смотрели, чтобы ершалаимские жители не скоплялись бы в большие толпы и не проходили бы с какой-нибудь поклажей, не учиняли бы каких-либо демонстраций. А за вторую цепь уже не пропускали никого. Бдительность спешенных сирийцев, повязанных чалмами из мокрых полотенец, во вторую половину дня была, в сущности, излишней. Если в первые часы у подножия холма еще были кучки зевак, глядевших, как на горе поднимали кресты с тремя пригвожденными и устанавливали громадный щит с надписью на ... языке «Разбойники», то теперь, когда солнце уходило за Ершалаим, караулить было некого. Меж сирийской цепью и цепью спешенных легионеров находились только какой-то мальчишка, оставивший своего осла на дороге близ холма, неизвестная старуха с пустым мешком, которая, как она бестолково пыталась объяснить сирийцам, желала получить какие-то и чьи-то вещи, и двух собак — одной лохматой желтой, другой — гладкой запаршивевшей.

Но в стороне от гладкого спуска, под корявой и чахлой смоковницей поместился один зритель, который явился к самому началу казни и вот уже пятый час, прикрывшись грязной тряпкой от солнца, сидел под совершенно не отбрасывающей тень смоковницей.

Явившись к началу казни, зритель повел себя странно. Когда процессия поднялась на холм и цепь замкнулась за ней, он сделал наивную попытку, не слушая окриков, подняться следом за легионерами, за что получил страшный удар тупым концом копья в грудь и слетел с ног.

Оглядев ударившего его воспаленными глазами, человек поднялся, собрался с силами и, держась за грудь, тронулся в сторону, пытаясь проникнуть в другом месте, но тут же вернулся, сообразив, что если сделает еще одну попытку, будет арестован, а быть задержанным в этот день в его план не входило.

Он вернулся и утвердился под смоковницей, там, где ротозеи не мешали ему. Место он выбрал так, чтобы видеть вершину с крестами.

Сидя на камне, человек чернобородый, с гноящимися от солнца и бессонницы глазами, тосковал.

Он то, вздыхая, открывал на груди таллиф и обнажал грудь, по которой стекал пот, то глядел в небо и следил за тремя орлами-стервятниками, которые в стороне от холма делали тихие коварные круги или повисали неподвижно над холмом, дожидаясь неизбежного вечера, то вперял безнадежный взор в землю и видел выбеленный собачий череп под ногами и шныряющих веселых ящериц.

Мучения человека были так велики, что иногда он заговаривал вслух сам с собой.

— О, я трус, — бормотал он, от внутренней боли царапая ногтями расшибленную грудь, — падаль, падаль, собака, жалкая тварь, пугливая женщина!.. Глупец! Проклинаю себя!

Он поникал головой, потом оживал вновь, напившись из фляжки тепловатой воды, хватался то за нож, спрятанный за пазухой, то за покрытую воском таблицу. Нож он, горько поглядев на него, прятал обратно, а на таблице украдкой заостренной палочкой выцарапывал слова.

На таблице было им выцарапано так.

«Второй час. Я — Левий Матвей нахожусь на Лысой Горе. Ничего».

Далее:

«Третий час. Там же. Ничего».

И теперь Левий безнадежно записал, поглядев на солнце:

«И шестой час ничего».

И от тоски расцарапал себе грудь, но облегчения не получил.

Причина тоски Левия заключалась в той тяжкой ошибке, которую он сделал. Когда Га-Ноцри и других двух осужденных, окруженных конвоем, вели на Лысую Гору, Левий Матвей бежал рядом с конвоем, толкаясь в толпе любопытных и стараясь какими-нибудь знаками показать Ешуа, что он здесь. В страшной сутолоке в городе этого сделать не удалось, но когда вышли за черту города, толпа поредела, конвой на дороге раздался, и Левий дал Ешуа себя увидеть. Ешуа узнал его и вздрогнул, и вопросительно поглядел. Тогда Левия осенила великая мысль, и он сделал Ешуа знак, радостный и успокоительный, такой, что Ешуа поразился.

Левий бросился бежать изо всех сил в сторону, добежал до первой лавчонки и, прежде чем кто-нибудь опомнился, на глазах у всех схватил с прилавка мясной нож и, не слушая криков, скрылся.

Замысел Левия был прост. Ничего не стоило прорваться сквозь редкую цепь идущего конвоя, подскочить к Ешуа и ударить его ножом в грудь, затем ударить себя в грудь. Молясь в быстром беге и задыхаясь, Левий бежал в зное по дороге, догоняя процессию, и опоздал. Он добежал до холма, когда сомкнулась цепь.

В шестом часу мучения Левия достигли такой степени, что он поднялся на ноги, бросил на землю бесполезный украденный нож, бросил деревянную флягу, раздавил ее ногой и, простерши руки к небу, стал проклинать себя.

Он проклинал себя, выкликая бессмысленные слова, рычал и плевался, проклинал своих родителей, породивших глупца, не догадавшегося захватить с собою нож, а более всего проклинал себя адскими клятвами за бесполезный, обнадеживший Ешуа знак.

Видя, что клятвы его не действуют, он, зажмурившись, уперся в небо и потребовал у Бога немедленного чуда, чтобы тотчас же он послал Ешуа смерть.

Открыв глаза, он глянул и увидел, что на холме все без изменений и по-прежнему ходит, сверкая, не поддающийся зною кентурион.

Тогда Левий закричал:

— Проклинаю Бога! — и поднял с земли нож. Но он не успел ударить себя.

Он оглянулся в последний раз и увидел, что все изменилось вокруг. Исчезло солнце, потемнело сразу, пробежал ветер, шевельнув чахлую растительность меж камней, и, как показалось Левию, ветром гонимый римский офицер поднялся между расступившихся солдат на вершину холма.

Левий нож сунул под таллиф и, оскалившись, стал смотреть вверх. Там, наверху, прискакавший был встречен Крысобоем. Прискакавший что-то шепнул Крысобою, тот удивился, сказал тихо: «Слушаю...» Солдаты вдруг ожили, зашевелились.

Крысобой же двинулся к крестам. С крайнего доносилась тихая хриплая песня. Пригвожденный к нему к концу четвертого часа сошел от мух с ума и пел что-то про виноград, но головой, закрытой чалмой, изредка покачивал, и мухи тогда вяло поднимались с его лица и опять возвращались.

Распятый на следующем кресте качал чаще и сильней вправо, так, чтобы ударять ухом по плечу, и чалма его размоталась.

На третьем кресте шевеления не было. Прокачав около двух часов головой, Ешуа ослабел и впал в забытье. Мухи поэтому настолько облепили его, что лицо его исчезло в черной шевелящейся маске. Жирные слепни сидели и под мышками у него, и в паху.

Кентурион подошел к ведру, взял у легионера губку, обмакнул ее, посадил на конец копья и, придвинувшись к Ешуа, так что голова его пришлась на уровне живота, копьем взмахнул. Мухи снялись с гудением, и открылось лицо Ешуа, совершенно заплывшее и неузнаваемое.

— Га-Ноцри! — сказал кентурион.

Ешуа с трудом разлепил веки, и на кентуриона глянули совсем разбойничьи глаза.

— Га-Ноцри! — важно повторил кентурион.

— А? — сказал хрипло Га-Ноцри.

— Пей! — сказал кентурион и поднес губку к губам Га-Ноцри.

Тот жадно укусил губку и долго сосал ее, потом отвел губы и спросил:

— Ты зачем подошел? А?

— Славь великодушного Кесаря, — звучно сказал кентурион, и тут ветер поднял в глаза Га-Ноцри тучу красноватой пыли.

Когда вихрь пролетел, кентурион приподнял копье и тихонько кольнул Ешуа под мышку с левой стороны.

Тут же висящий рядом беспокойно дернул головой и прокричал:

— Несправедливость! Я такой же разбойник, как и он! Убей и меня!

Кентурион отозвался сурово:

— Молчи на кресте!

И висящий испуганно смолк.

Ешуа повернул голову в сторону висящего рядом и спросил:

— Почему просишь за себя одного?

Распятый откликнулся тревожно:

— Ему все равно. Он в забытьи!

Ешуа сказал:

— Попроси и за товарища!

Распятый откликнулся:

— Прошу, и его убей!

Тогда Ешуа, у которого бежала по боку узкой струей кровь, вдруг обвис, изменился в лице и произнес одно слово по-гречески, но его уже не расслышали. Над холмами рядом с Ершалаимом ударило, и Ершалаим трепетно осветило.

Кентурион, тревожно покосившись на грозовую тучу, в пыли подошел ко второму кресту, крикнул сквозь ветер:

— Пей и славь великодушного игемона! — поднял губку, прикоснулся к губам второго и заколол его. Третьего кентурион заколол без слов, и тотчас, преодолевая грохот грома, прокричал:

— Снимай цепь!

И счастливые солдаты кинулись с холма. Тотчас взрезало небо огнем и хлынул дождь на Лысый Холм, и снизился стервятник.

НА РАССВЕТЕ

— ...и хлынул дождь, и снизился орел-стервятник, — прошептал Иванушкин гость и умолк.

Иванушка лежал неподвижно со счастливым, спокойным лицом, дышал глубоко, ровно и редко. Когда беспокойный гость замолчал, Иванушка шевельнулся, вздохнул и попросил шепотом:

— Дальше! Умоляю — дальше...

Но гость привстал, шепнул:

— Тсс! — прислушался тревожно. В коридоре послышались тихие шаги. Иванушка приподнялся на локтях, открыл глаза. Лампочка горела радостно, заливая столик розовым светом сквозь колпачок, но за шторой уже светало. Гость, которого вспугнули шаги, уже приготовился бежать, как шаги удалились и стихли.

Тогда гость опять поместился в кресле.

— Я ничего этого не знал, — сказал Иван, тревожась.

— Откуда же вам знать! — рассудительно отозвался гость. — Неоткуда вам что-нибудь знать.

— А я, между прочим, — беспокойно озираясь, проговорил Иван, — написал про него стишки обидного содержания, и художник нарисовал его во фраке.

— Чистый вид безумия, — строго сказал гость, — вас следовало раньше посадить сюда.

— Покойник подучил, — шепнул Иван и повесил голову.

— Не всякого покойника слушать надлежит, — заметил гость и добавил: — Светает.

— Дальше! — попросил Иван. — Дальше, — и судорожно вздохнул.

Но гость не успел ничего сказать. На этот раз шаги послышались отчетливо и близко.

Собеседник Ивана поднялся и, грозя пальцем, бесшумной воровской походкой скрылся за шторой. Иван слышал, как тихонько щелкнул ключ в металлической раме.

И тотчас голова худенькой фельдшерицы появилась в дверях.

Тоска тут хлынула в грудь Ивану, он заломил руки и, плача, сказал:

— Сжечь мои стихи! Сжечь!

Голова скрылась, и через минуту в комнате Ивана появился мужчина в белом и худенькая с металлической коробкой, банкой с ватой в руке, флаконом. Плачущего Ивана посадили, обнажили руку, по ней потекло что-то холодное, как снег, потом кольнули, потом потушили лампу, потом как будто поправили штору, потом ушли.

Тут вдруг тоска притупилась, и самые стихи забылись, в комнате установился ровный свет, бледные сумерки, где-то за окном стукнула и негромко просвистала ранняя птица, Иван затих, лег и заснул.

БОЙТЕСЬ ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ

В то время когда Иванушка, лежа со строгим и вдохновленным лицом, слушал рассказы о том, как Ешуа Га-Ноцри умирал на кресте, финансовый директор «Кабаре» Римский вошел в свой кабинет, зажег лампы на столе, сел в облупленное кресло и сжал голову руками.

Здание еще шумело: из всех проходов и дверей шумными потоками выливалась публика на улицу. Директору казалось, хотя до него достигал лишь ровный, хорошо знакомый гул разъезда, что он сквозь запертую дверь кабинета слышит дикий гогот, шуточки, восклицания и всякое свинство.

При одной мысли о том, как могут шутить взволнованные зрители, что они разнесут сейчас по всей Москве, судорога прошла по лицу директора. Он тотчас вспомнил лицо Аркадия Аполлоновича без пенсне с громаднейшим шрамом на правой щеке, лицо скандальной дамы, сломанный зонтик, суровые лица милиции, протокол, ужас, ужас...

Но ранее этого: окровавленный и заплаканный Чембукчи. Как его сажали в такси; ополоумевшие капельдинеры и почему-то с подмигивающими рожами! Отъезд Чембукчи в психиатрическую лечебницу к профессору Стравинскому; ранее этого кот, произнесший че-

ловеческим голосом слова... ужас, ужас. Часы на стене пробили — раз — и глянув больными глазами, Римский на циферблате увидел половину двенадцатого.

В то же мгновение до обострившегося слуха финансового директора долетела с улицы отчетливая трель милицейского свистка и явный гогот. Трель повторилась, и лицо директора перекосило, как при зубной боли. Он не сомневался, что эта трель относится непосредственно опять-таки к «Кабаре» и к диким происшествиям этого вечера.

И он ничуть не ошибся.

Кабинет помещался во втором этаже и одной стеной с окном выходил в сад, а другой — на площадь.

С искаженным лицом директор приподнялся и глянул в окно, выходящее на площадь.

— Так я и знал! — испуганно и злобно шепнул Римский.

Прямо под собой, в ярком освещении площадных прожекторов, он увидел даму-блондинку в сорочке, заправленной в шелковые дамские штаны фиолетового цвета, на голове у дамы была шляпенка, сдвинутая на одно ухо, в руках зонтик.

Вокруг дамы стояла толпа, издавая тот самый гогот, который доводил директора до нервного расстройства.

Какой-то гражданин, выпучив глаза, сдирал с себя летнее пальто и от волнения никак не мог выпростать руку из рукава, и слова раздетой дамы отчетливо долетели сквозь стекла до исступленного директора:

— Скорей же, дурак!

Едва растерянный, выпучивший глаза гражданин сорвал с себя пальто, как улюлюканье и крики послышались с левой стороны у бокового подъезда, и Римский увидел, как другая дама, одетая совершенно так же, как и первая, с той разницей только, что штаны на ней были не фиолетовые, а розовые, сиганула с тротуара прямо в подъезд, причем за ней устремился милиционер, а за милиционером какие-то жизнерадостные молодые люди в кепках. Они хохотали и улюлюкали.

Усатый лихач подлетел к подъезду и осадил костлявую в яблоках лошадь. Усатое лицо лихача радостно ухмылялось.

Римский хлопнул себя кулаком по голове и перестал смотреть. Он просидел некоторое время молча в кресле, глядя воспаленными глазами в грязный паркет, и дождался того, что здание стихло. Прекратился и скандал на улице.

— «Увезли на лихаче», — подумал Римский, подпер голову руками и стал смотреть на промокательную бумагу. Сейчас у него было только одно неодолимое желание — снять трубку телефона, и какая-то неодолимая сила не позволяла ему это сделать.

Римский был осторожен, как кошка. Он сам не понимал, какой голос шепчет ему «не звони», но он слушался его. Он перевел косящие тревожно глаза на диск с цифрами, и вдруг молчавший весь вечер аппарат разразился громом.

Римский побледнел и отшатнулся. «Что с моими нервами?» — подумал он и тихо сказал в трубку:

— Да.

Голос женский хриплый, развратный и веселый ответил директору:

— С каким наслаждением, о Римский, я поцеловала бы тебя в твои тонкие и бледные уста! Пусть мой гонец передаст тебе этот поцелуй!

Тут голос пропал, сменился свистом, и чей-то бас, очень отдаленно, тоскливо и грозно пропел:

— Голые скалы — мой приют...

Римский трясущейся рукой положил трубку, поднялся на дрожащих ногах, беззвучно сказал сам себе:

— Никуда не позвоню . . . .
постарался, при помощи своей очень большой воли, не думать о странном звонке, взялся за портфель.

Кто-то торопил Римского. Римский ощутил вдруг, что он один во всем здании; и он хотел только одного — сейчас же бежать домой. Он двинулся, часы на стене зазвенели — полночь. С последним ударом дверь раскрылась и в кабинет вошел Варенуха.

Финансовый директор почему-то вздрогнул и отшатнулся. Вид у него был такой странный, что Варенуха справедливо изумился.

— Здорово, Григорий Петрович! — вымолвил Варенуха каким-то не своим голосом. — Что с тобой?

— Как ты меня испугал! — дрожащим голосом отозвался Римский. — Вошел внезапно... Ну, говори же, где ты пропадал?!

— Ну, пропадал!.. Там и был...

— Я уж думал, не задержали ли тебя... — принужденно вымолвил Римский.

— Зачем же меня задерживать? — с достоинством ответил Варенуха. — Просто выясняли дело.

— Ну, ну?..

— Ну, был в Звенигороде, как я и думал, а потом в милицию попал.

— Но как же фотограммы?

— Ах, плюнь ты на эти фотограммы, — ответил Внучата, отдуваясь, как очень уставший человек, сел в кресло и заслонил от себя лампу афишей.

Тут Римский всмотрелся в администратора и, несмотря на затемненный свет, убедился в том, что администратор очень изменился . . . .

ЧТО СНИЛОСЬ БОСОМУ

С того самого момента, как Никанора Ивановича Босого взяли под руки и вывели в ворота, он не сомневался в том, что его ведут в тюрьму.

И странное, никогда еще в жизни им не испытанное, чувство охватило его. Никанор Иванович глянул на раскаленное солнце над Садовой улицей и вдруг сообразил, что прежняя его жизнь кончена, а начинается новая. Какова она будет, Никанор Иванович не знал, да и не очень опасался, что ему угрожает что-нибудь страшное. Но Никанор Иванович неожиданно понял, что человек после тюрьмы не то что становится новым человеком, но даже как бы обязан им стать. Как будто бы внезапно макнули Никанора Ивановича в котел, вынули и стал новый Никанор Иванович, на прежнего совершенно не похожий.

Вот это-то и есть самое главное, а вовсе не страхи, иногда не оправдывающиеся. Понял это и Никанор Иванович, хотя был, по секрету говоря, тупым человеком. Первые ожидания Никанора Ивановича как будто оправдались: спутники привезли его на закате солнца на окраину Москвы к неприглядному зданию, о котором Никанор Иванович понаслышке знал, что это тюрьма. Следующие впечатления тоже были как будто тюремные. Никанору Ивановичу пришлось пройти ряд скучных формальностей. Никанора Ивановича записали в какую-то книгу, подвергли осмотру его одежду, причем лишили Никанора Ивановича подтяжек и пояса. А после этого все пошло совершенно не так, как представлял себе Никанор Иванович.

Придерживая руками спадающие брюки, Никанор Иванович, вслед за молчаливым спутником, пошел куда-то, по каким-то коридорам и не успел опомниться, как оказался голым и под душем. В то время, пока Никанор Иванович намыливал себя и тер мочалкой, одежда его куда-то исчезла, а когда настало время одеваться, она вернулась, причем была сухая, пахла чем-то лекарственным, брюки стали короче, а рубашка и пиджак съежились, так что полный Никанор Иванович не застегивал больше ворота.

А далее все сложилось так, что Никанор Иванович впал в полное изумление и пребывал в нем до тех пор, пока не сообразил, что видит сон.

Именно Никанора Ивановича повели по светлым, широким коридорам, в которых из-под потолка лампы изливали ослепительный, радостный и вечный свет.

Никанору Ивановичу смутно показалось, что его подвели к большим лакированным дверям, и тут же сверху веселый гулкий бас сказал:

— Здравствуйте, Никанор Иванович! Сдавайте валюту!

Никанор Иванович вздрогнул, поднял глаза и увидел над дверью черный громкоговоритель. Затем Никанор Иванович очутился в большом зале и сразу убедился, что это театральный зал. Под золоченым потолком сияли хрустальные люстры, на стенах — кенкеты, была сцена, перед ней суфлерская будка, на сцене большое кресло малинового бархата, столик с колокольчиком и черный бархатный задний занавес.

Удивило Никанора Ивановича то, что все это безумно пахло карболовой кислотой.

Кроме того, поразился Никанор Иванович тем обстоятельством, что зрители, а их было по первому взгляду человек полтораста, сидели не на стульях, а просто на полу — довольно тесно.

Тут смутно запомнил Никанор Иванович, что все зрители были мужеского пола, все с бородами и с усами, отчего казались несколько старше своих лет.

На Никанора Ивановича никто не обратил внимания, и тогда он последовал общему примеру, то есть уселся на пол, оказавшись между худым дантистом, как выяснилось впоследствии, и каким-то здоровяком с рыжей бородой, бывшим рыбным торговцем, тоже как узналось в свое время.

Глядя с любопытством на сцену, Никанор Иванович увидел, как на ней появился хорошо одетый, в сером костюме, гладко выбритый, гладко причесанный молодой человек с приятными чертами лица.

Зал затих при его появлении, глядя на молодого человека с ожиданием и весельем.

— Сидите? — спросил молодой человек мягким баритоном и улыбнулся залу.

Многие улыбнулись ему в ответ в зале, и послышались голоса:

— Сидим... сидим...

— И как вам не надоест? — удивился молодой человек. — Все люди, как люди, ходят по улицам, прекрасная погода, а вы здесь торчите! Ну, ладно!

И продолжал:

— Итак, следующим номером нашей программы — Никанор Иванович Босой, председатель домового комитета. Попросим его!

И тут громовой аплодисмент потряс ярко освещенный зал.

Никанор Иванович странно удивился, а молодой человек поманил его пальцем, и Никанор Иванович, не помня себя, очутился на сцене. Тут ему в глаза ударил яркий цветной свет снизу, из рампы.

— Ну, Никанор Иванович, покажите нам пример, — задушевно заговорил молодой человек, — и сдавайте валюту.

Зал затих.

Тут Никанор Иванович вспомнил все те страстные, все убедительные слова, которые он приготовил, пока влекся в тюрьму, и выговорил так:

— Богом клянусь...

Но не успел кончить, потому что зал ответил ему негодующим криком. Никанор Иванович заморгал глазами и замолчал.

— Нету валюты? — спросил молодой человек, с любопытством глядя на Никанора Ивановича.

— Нету! — ответил Босой.

— Так, — отозвался молодой человек, — а откуда же появились триста долларов, которые оказались в сортире?

— Подбросил злодей переводчик! — со страстью ответил Босой и застыл от удивления: зал разразился диким негодующим воплем, а когда он утих, молодой человек сказал с недоумением:

— Вот какие басни Крылова приходится выслушивать! Подбросили триста долларов! Все вы, валютчики! Обращаюсь к вам как к специалистам! Мыслимое ли дело, чтобы кто-нибудь подбросил триста долларов?

— Мы не валютчики, — раздались голоса в зале, — но дело это немыслимое.

— Спрошу вас, — продолжал молодой человек, — что могут подбросить?

— Ребенка! — ответил в зале кто-то.

— Браво, правильно! — сказал молодой человек. — Ребенка могут подбросить, прокламацию, но таких идиотов, чтобы подбрасывали триста долларов, нету в природе!

И, обратившись к Никанору Ивановичу, молодой человек сказал печально:

— Огорчили вы меня, Никанор Иванович! А я на вас надеялся! Итак, номер наш не удался.

Свист раздался в зале.

— Мерзавец он! Валютчик! — закричал кто-то в зале, негодуя. — А из-за таких и мы терпим невинно!

— Не ругайте его! — сказал добродушно молодой человек. — Он раскается. — И, обратив к Никанору Ивановичу глаза, полные слез, сказал:

— Не ожидал я от вас этого, Никанор Иванович!

И, вздохнув, добавил:

— Ну, идите, Никанор Иванович, на место.

После чего повернулся к залу и, позвонив в колокольчик, громко воскликнул:

— Антракт, негодяи!

После чего исчез со сцены совершенно бесшумно.

Потрясенный Никанор Иванович не помнил, как протекал антракт. После же антракта молодой человек появился вновь, позвонил в колокольчик и громко заявил:

— Попрошу на сцену Сергея Герардовича Дунчиль! Дунчиль оказался благообразным, но сильно запущенным гражданином лет пятидесяти, а без бороды — сорока двух.

— Сергей Бухарыч, — обратился к нему молодой человек, — вот уж полтора месяца вы сидите здесь, а между тем государство нуждается в валюте. Вы человек интеллигентный, прекрасно это понимаете и ничем не хотите помочь.

— К сожалению, ничем помочь не могу, валюты у меня нет, — ответил Дунчиль.

— Так нет ли, по крайней мере, бриллиантов, — спросил тоскливо молодой человек.

— И бриллиантов нет, — сказал Дунчиль. Молодой человек печально повесил голову и задумался. Потом хлопнул в ладоши.

Черный бархат раздвинулся, и на сцену вышла дама, прилично одетая, в каком-то жакете по последней моде без воротника.

Дама эта имела крайне встревоженный вид. Дунчиль остался спокойным и поглядел на даму высокомерно.

Зал с величайшим любопытством созерцал неожиданное и единственное существо женского пола на сцене.

— Кто эта дама? — спросил у Дунчиля молодой человек.

— Это моя жена, — с достоинством ответил Дунчиль и посмотрел на длинную шею без воротника с некоторым отвращением.

— Вот какого рода обстоятельство, мадам Дунчиль, — заговорил молодой человек, — мы потревожили вас, чтобы спросить, нет ли у вашего супруга валюты.

Дама встревоженно дернулась и ответила с полной искренностью:

— Он все решительно сдал.

— Так, — отозвался молодой человек, — ну что ж, в таком случае мы сейчас отпустим его. Раз он все сдал, то надлежит его немедленно отпустить, как птицу на свободу. Приношу вам мои глубокие извинения, мадам, что мы задержали вашего супруга. Маленькое недоразумение: мы не верили ему, а теперь верим. Вы свободны, Сергей Герардович! — обратился молодой человек к Дунчилю и сделал царственный жест.

Дунчиль шевельнулся, повернулся и хотел уйти со сцены, как вдруг молодой человек произнес:

— Виноват, одну минуточку!

Дунчиль остановился.

— Позвольте вам на прощание показать фокус! — и молодой человек хлопнул в ладоши.

Тут же под потолком сцены вспыхнули лампионы, черный занавес распахнулся, и вздрогнувший Никанор Иванович Босой увидел, как выступила на помост красавица в прозрачном длинном балахоне, сквозь который светилось горячим светом ее тело. Красавица улыбалась, сверкая зубами, играя черными мохнатыми ресницами.

В руках у красавицы была черная бархатная подушка, а на ней, разбрызгивая во все стороны разноцветные искры, покоились бриллианты, как лесные орехи, связанные в единую цепь. Рядом с бриллиантами лежали три толстые пачки, перевязанные конфетными ленточками.

— Восемнадцать тысяч долларов и колье в сорок тысяч золотом, — объявил молодой человек при полном молчании всего театра, — хранились у Сергея Герардовича Дунчиль в городе Харькове в квартире его любовницы, — молодой человек указал на красавицу, — Иды Геркулановны Косовской. Вы, Сергей Герардович, охмуряло и врун, — сурово сказал молодой человек, уничтожая Дунчиля огненным взглядом, — ступайте же теперь домой и постарайтесь исправиться!

Тут дама без воротника вдруг пронзительно крикнула: «Негодяй!» — и, меняясь в цвете лица из желтоватого в багровый, из багрового в желтый, а затем в чисто меловой, Сергей Герардович Дунчиль качнулся и стал падать в обмороке, но чьи-то руки подхватили его. И тотчас по волшебству погасли лампионы на сцене, провалилась в люк красавица, исчезли супруги Дунчиль.

21/VI.35. В грозу

И опять наступил антракт, ознаменов . . . .

Раскисший в собственном поту Никанор Иванович открыл глаза, но убедился, что продолжает спать и видит сны. На сей раз ему приснилось, что появились между зрителей повара в белых колпаках и стали раздавать суп. Помнится, один из них был веселый круглолицый и, черпая суп громадной ложкой, все приговаривал:

— Сдавайте, ребята, валюту. Ну чего вам тут на полу сидеть!

Похлебав супу без аппетита, Босой опять вынужден был зажмуриться, так как засверкали лампионы на сцене.

Вышедший из бархата молодой человек звучно объявил, что известный артист Прюнин исполнит отрывки из сочинения Пушкина «Скупой рыцарь». Босой хорошо знал фамилию сочинителя Пушкина, ибо очень часто слышал, да и сам говорил: «А за квартиру Пушкин платить будет?» — и поэтому с любопытством уставился на сцену.

А на ней появился весьма пожилой бритый человек во фраке, тотчас скроил мрачное лицо и, глядя в угол, заговорил нараспев:

— Счастливый день!..

Фрачник рассказал далее, что сокровища его растут, и делал это столь выразительно, что притихшей публике показалось, будто действительно на сцене стоят сундуки с золотом, принадлежащим фрачнику. Сам о себе фрачный человек рассказал много нехорошего. Босой, очень помрачнев, слышал, что какая-то несчастная вдова под дождем на коленях стояла, но не тронула черствого сердца артиста. Затем фрачник стал обращаться к кому-то, кого на сцене не было, и за этого отсутствующего сам же себе отвечал, причем у Босого все спуталось, потому что артист называл себя то государем, то бароном, то отцом, то сыном, то на «вы», то на «ты». И понял Босой только одно, что артист умер злою смертью, выкликнув: «Ключи! Ключи мои!» и повалившись после этого на колени, хрипя и срывая с себя галстук.

Умерев, он встал, отряхнул пыль с фрачных коленей, улыбаясь поклонился и при жидких аплодисментах удалился.

Молодой человек вышел из бархата и заговорил так:

— Ну-с, вы слышали, граждане, сейчас, как знаменитый артист Потап Петрович со свойственным ему мастерством прочитал вам «Скупого рыцаря». Рыцарь говорил, что резвые нимфы сбегутся к нему и прочее. Предупреждаю вас, дорогие граждане, что ничего этого с вами не будет. Никакие нимфы к вам не сбегутся, и музы ему дань не принесут, и чертогов он никаких не воздвигнет, и вообще он говорил чепуху. Кончилось со скупым рыцарем очень худо — он помер от удара, так и не увидев ни нимф, ни муз, и с вами будет тоже очень нехорошо, если валюты не сдадите.

И тут свет в лампах превратился в тяжелый красный и во всех углах зловеще закричали рупоры:

— Сдавайте валюту!

22/VI.35

Поэзия Пушкина, видимо, произвела сильнейшее впечатление на зрителей. Босому стало сниться, что какой-то маленький человек, дико заросший разноцветной бородой, застенчиво улыбаясь, сказал, когда смолкли мрачные рупоры:

— Я сдаю валюту...

Через минуту он был на сцене.

— Молодец, Курицын Владимир! — воскликнул распорядитель. — Я всегда это утверждал. Итак?

— Сдаю, — застенчиво шепнул молодец Курицын.

— Сколько?

— Тыщу двести, — ответил Курицын.

— Все, что есть? — спросил распорядитель, и стала тишина.

— Все.

Распорядитель повернул за плечо к себе Курицына и несколько секунд смотрел не отрываясь Курицыну в глаза. Босому показалось, что лучи ударили из глаз распорядителя и пронизывают Курицына насквозь. В зале никто не дышал.

— Верю! — наконец воскликнул распорядитель, и зал дыхнул как один человек. — Верю. Глядите — эти глаза не лгут!

И верно: мутноватые глаза Курицына ничего не выражали, кроме правды.

— Ну, где спрятаны? — спросил распорядитель, и опять замер зал.

— Пречистенка, 2-й Лимонный, дом 103, квартира 15.

— Место?

— У тетки Пороховниковой Клавдии Ильинишны. В леднике под балкой, поворотя направо, в коробке из-под сардинок.

Гул прошел по залу. Распорядитель всплеснул руками.

— Видали вы, — вскричал он, — что-либо подобное? Да ведь они же там заплесневеют? Ну мыслимо ли доверить таким людям деньги? Он их в ледник засунет или в сортир. Чисто как дети, ейбогу!

Курицын сконфуженно повесил голову.

— Деньги, — продолжал распорядитель, — не в ледниках должны храниться, а в госбанке, в специальных сухих и хорошо охраняемых помещениях. И на эти деньги не теткины крысы должны любоваться, а на деньги эти государство машины будет закупать, заводы строить! Стыдно, Курицын!

Курицын и сам не знал, куда ему деваться, и только колупал ногтем свой вдрызг засаленный пиджачок.

— Ну, ладно, кто старое помянет, — сказал распорядитель и добавил: — Да... кстати... за одним разом чтобы... у тетки есть? Ну, между нами? А?

Курицын, никак не ожидавший такого оборота дела, дрогнул и выпучил глаза. Настало молчание.

— Э, Курицын! — ласково и укоризненно воскликнул распорядитель. — А я-то еще похвалил его! А он, на тебе! Взял да и засбоил! Нелепо это, Курицын! Ведь по лицу видно, что у тетки есть валюта. Зачем же заставлять нас лишний раз машину гонять.

— Есть! — крикнул залихватски Курицын.

— Браво! — вскричал распорядитель, и зал поддержал его таким же криком «браво!».

Распорядитель тут же велел послать за коробкой в ледник, заодно, чтобы не гонять машину, захватить и тетку — Клавдию Ильиничну, и Курицын исчез с эстрады.

Далее сны Босого потекли с перерывами. Он то забывался в непрочной дреме на полу, то, как казалось ему, просыпался. Проснувшись, однако, убеждался, что продолжает грезить. То ему чудилось, что его водили в уборную, то поили чаем все те же белые повара. Потом играла музыка.

Босой забылся. Ногами он упирался в зад спящему дантисту, голову повесил на плечо, а затем прислонил ее к плечу рыжего любителя бойцовых гусей. Тот первоначально протестовал, но потом и сам затих и даже всхрапнул. Тут и приснилось Босому, что будто бы все лампионы загорелись еще ярче и даже где-то якобы тренькнул церковный колокол. И тут с необыкновенною ясностью стал грезиться Босому на сцене очень внушительный священник. Показалось, что на священнике прекрасная фиолетовая ряса-муар, наперсный крест на груди, волосы аккуратно смазаны и расчесаны, глаза, острые, деловые и немного бегают. Босому приснилось, что спящие зрители зашевелились, зевая, выпрямились, уставились на сцену. Рыжий со сна хриплым голосом сказал:

— Э, да это Элладов! Он, он. Отец Аркадий. Поп-умница, в преферанс играет первоклассно и лют проповеди говорить. Против него трудно устоять. Он как таран.

Отец Аркадий Элладов тем временем вдохновенно глянул вверх, левой рукой поправил волосы, а правой крест и, даже, как показалось Босому, похудев от вдохновения, произнес красивым голосом:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Православные христиане! Сдавайте валюту!

Босому показалось, что он ослышался, он затаил дыхание, ожидая, что какая-то сила явится и тут же на месте разразит умницу попа ко всем чертям. Но никакая сила не явилась, и отец Аркадий повел с исключительным искусством проповедь.

Рыжий не соврал, отец Аркадий был мастером своего дела. Первым же долгом он напомнил о том, что Божие Богу, но кесарево, что бы ни было, принадлежит кесарю.

Возражать против этого не приходилось. Но тут же, сделав искусную фиоритуру бархатным голосом, Аркадий приравнял ныне существующую власть к кесарю, и даже плохо образованный Босой задрожал во сне, чувствуя неуместность сравнения. Но надо полагать, что блестящему риторику — отцу Аркадию — дали возможность говорить, что ему нравится.

Он пользовался этим широко и напомнил очень помрачневшим зрителям о том, что нет власти не от Бога. А если так, то нарушающий постановления власти выступает против кого?..

Говорят же русским языком — «сдайте валюту».

В бою, когда из строя выбывает командир, команда переходит к его помощнику; ежели выбывает и помощник, принимает команду следующий за ним по должности. Но если и он выбывает?

Короче говоря, расхлебывать все, что произошло в «Кабаре» накануне, пришлось бухгалтеру Василию Степановичу Захарову, который и оказался единственным командиром «Кабаре» и при том тяжелом условии, что вся команда находилась в полном смятении, близком, пожалуй, к панике.

Аккуратнейший человек Захаров прибыл на службу, лишь только стрелка часов показала девять по московскому времени, и, к ужасу своему, застал в помещении «Кабаре» милицию и представителей уголовного розыска. В пять минут десятого прибыли следственные власти.

Дело было неслыханное. Нюра, дежурный накануне ночью капельдинер, была найдена в вестибюле «Кабаре» лежащей в луже крови и с перерезанным горлом.

Дело осложнилось дикой и соблазнительной деталью — исчез директор «Кабаре» Степан Лиходеев, исчез финансовый директор Римский и исчез главный администратор Варенуха Николай. Все трое в разное время, но все бесследно.

Захаров был допрошен тут же и поступил, как всякий в его положении, то есть испугался до смерти, все свои усилия направив к тому, чтобы доказать, что он тут вообще ни при чем и ни к чему никакого отношения не имеет. Это ему удалось сделать легко — сразу же стало ясно, что тишайший и скромнейший Василий Степанович, всю жизнь сидевший в бухгалтерии, ни в чем решительно не виноват, а клятвенные его уверения, что он и представления не имеет о том, куда девались директора и администратор, заслуживают полного доверия.

Но руководить «Кабаре» в тот день пришлось все-таки ему. Узнав об этом, Василий Степанович, едва в обморок не упал, но его тут же значительно утешило то, что следствие категорически заявило, что сегодняшний спектакль отменяется. Тут же двери «Кабаре» были закрыты, вывешены всюду надписи «Сегодняшний спектакль отменяется», и Захаров, стоя в толпе растерянных и бледных капельдинеров и билетерш, видел, как остроухая собака со вздыбленной шерстью, почему-то оскалившись и рыча, кинулась прямехонько из вестибюля к кабинету финансового директора, встала на задние лапы, а передними начала царапать дверь.

Все население «Кабаре» тихо ахнуло, узнав об этом, а уголовный розыск открыл дверь и впустил знаменитую ищейку. Она повела себя чрезвычайно странно. Во-первых, стала прыгать вверх, а затем, все более раздражаясь и даже тоскливо подвывая, бросилась к окну, выходящему в сад. Окно открыли, и собака высунула морду в него и тут же явно завыла, глядя злыми глазами вверх.

Что дальше происходило, Захаров не знал, так как отправился, куда ему было велено. А велено ему было немедленно добиться в управлении кабаретными зрелищами присылки заместителей Лиходееву, Римскому и Варенухе.

Захаров облегченно вздохнул, когда покинул здание, где совершилось странное злодейство, и вышел на раскаленную солнцем площадь.

Прежде всего он увидел громаднейшую толпу, теснящуюся возле кассовых дыр и читающую с неудовольствием надпись об отмене спектакля. Вспомнив вчерашний необыкновенный спектакль, Захаров пробормотал: «Ну и ну!» — крепче прижал к себе взбухший портфель со вчерашней кассой и направился к стоянке таксомоторов.

Тотчас подошла машина. Но шофер ее мрачно сказал «еду за бензином» и уехал. Второй спросил: «Вам куда?», получил ответ: «На Остоженку», махнул рукой, сказал: «В гараж» и исчез. Захаров терпеливо дожидался третьей машины. Третий шофер сказал что-то, что поразило бухгалтера до глубины души, именно:

— Покажите деньги, гражданин.

Захаров, изумляясь, вынул червонец.

— Не поеду! — сказал шофер.

— Я извиняюсь, — сказал Захаров, моргая глазами.

— Пятерки есть? — спросил шофер.

Пораженный Захаров вынул пятерку.

— Садитесь, — сказал шофер, почему-то свирепея.

Когда в пыли и дыму Захаров летел, подпрыгивая на сиденье, он робко осведомился у мрачного возницы:

— А почему это вы насчет червонца?..

— Третий случай сегодня, — отозвался шофер, — третий сукин сын, — и с этим вынул из кармана ярлык с надписью «Абрау-Дюрсо полусухое». — Дает червонец как миленький, — продолжал рычать шофер, — я ему сдачи три рубля... Вылез, сволочь... Через полчаса смотрю — и шофер скомкал ярлык... — Потом другой — опять червонец... смотрю... Оказывается, в «Кабаре» сиянс вчера сделал какая-то гадюка-фокусник...

Тут Захаров затаил дыхание и сделал вид, что он впервые слышит и самое слово «кабаре», а про себя подумал: «Ну и ну!» Шофер же до того расстроил себя воспоминанием, что едва не раздавил какую-то женщину и ее же обругал непечатными словами.

Наконец дотряслись до нужного места. Шофер щупал пятерку, глядел сквозь нее на солнце, что-то ворчал, но дал сдачи рубль, а насчет двугривенного сказал, что двугривенного нету.

Захаров решил не спорить — пусть пропадает двугривенный — лишь бы только скорее сплавить с плеч все это дело и с облегченной душой убраться домой.

Однако так не вышло.

Бухгалтер поднялся по лестнице во второй этаж и только что собирался пройти по коридору в конец к двери, на которой была надпись: «заведующий — прием от 2 до 3», как мимо него промчалась курьерша, бормоча что-то вроде... «вот так-так!», и скрылась. Лишь

только показалась заветная дверь, бухгалтер остановился, как будто прилип к полу, и выпучил глаза. Дверь была полуоткрыта и вся облеплена людьми. Они прилипли к щелям, и лица у них были искаженные. Потом вдруг вся компания кинулась бежать и рассеялась в явном ужасе, кто куда. Загремели двери по коридору. Захаров отчетливо слышал, как визгнула женщина, а пронесшийся мимо него знакомый заведующий сектором был в таком состоянии, что явно не узнавал людей.

«Распекает?» — подумал Захаров и, движимый неодолимой силой, заглянул в дверь. Заглянув, тут же сел на стул, потому что ноги подкосились.

В комнате теперь находились трое. Блистающая красотой женщина с размазанной губной краской по подбородку и заплаканным лицом, сам Захаров и третий был шевиотовый костюм с самопишущим пером в борту пиджака, и костюм этот помещался за столом заведующего в кресле.

Увидев Захарова, красавица, в которой нетрудно было узнать личную секретаршу заведующего, взрыдала, а затем и вскричала:

— О боже! Боже! Боже! Да где же он?

Тут грянул телефон на столе и холодный пот потек по спине бухгалтера. Костюм, протянув руку, снял трубку, поднес ее к пустоте над воротником и голосом, совершенно похожим на голос заведующего, взревел: «Да!» Затем захлопал рукавом по столу и закричал раздраженно: «Двадцать раз я говорил, чтоб они прислали мне, лично мне!» Тут швырнул трубку на вилку и, уставившись на Захарова, спросил грозно:

— В чем дело, товарищ? Я не принимаю! — Красавица вскочила и, указывая рукой на костюм, рыдая и топоча ножками, вскричала:

— Вы видите?! Видите? Спасите его, верните! О боже! — стала ломать руки.

Из коридора донеслись тревожные голоса, затем кто-то сунулся в дверь, охнул, кинулся бежать.

— Я всегда останавливала, когда он чертыхался, — в отчаянии кричала красавица, терзая носовой платок, — вот и дочертыхался! Проша!

— Кто вам тут «Проша»? — спросил страшным голосом костюм.

— Не узнает! Не узнает! — взрыдала красавица.

— Попрошу не кричать в кабинете, — заходясь, сказал костюм в полоску.

Красавица зажала рот платком, а костюм невидимой кистью подтянул к себе пачку бумаг и стал размашисто и косо ставить какие-то пометки на бумагах.

«Резолюции ставит!» — подумал бухгалтер, и волосы его шевельнулись.

Красавица еще что-то пискнула, но костюм так злобно рыкнул, что она умолкла. Но, движимая желанием рассказать, она зашептала Захарову:

— Приходит сегодня какая-то сволочь толстая, похож на кота, и прямо ломит в кабинет... Я говорю: «Вы видите надпись, гражда-

нин?» А он влез, говорит: «Я уезжаю сейчас...» Ну, Прохор Наумыч, он человек нервный несколько. Вспылил. Он добрейшей души человек, но нервный. «Понимаете вы русский язык, товарищ? Что вам надо?» А этот нахал отвечает, вообразите: «Я пришел с вами поболтать!» Как вам это покажется? А? Ну, тут Прохор Наумыч не вытерпел и крикнул: «Да вывести его вон, чтоб меня черти взяли!» Тут, вообразите, этот негодяй, улыбнулся, и в ту же минуту Прохор Наумыч исчез, а костюм... — и здесь красавица разрыдалась и затем понесла какую-то околесину о том, что нужно немедленно звонить, про каких-то врачей, уголовный розыск...

Захаров вдруг поднялся, задом скользнул в дверь и, чувствуя, что близок к умопомешательству, покинул управление. И очень вовремя, по лестнице навстречу ему поднялась милиция. Другой на месте Захарова уже тут сообразил бы, что на сегодняшний день лучше выйти из игры и никуда больше не ходить, но бухгалтер, во-первых, был недалек, а во-вторых, добросовестен. Проклятый портфель, в котором лежало 17 тысяч вчерашней кассы, жег ему руки. Захаров, чего бы это ни стоило, хотел сдать казну и поэтому пешком, в известковой пыли, пробежал с Остоженки в Ваганьковский переулок и явился в отдел сметы и распределения того же управления с целью избавиться от денег, распиравших портфель.

Отдел сметы разместился в облупленном особняке и замечателен был своими колоннами. Но не порфировые колонны в этот знаменитый день поражали посетителей отдела.

В вестибюле сбилась целая кучка их и, открыв рты, глядела на барышню, продающую под колонной литературу. Барышня эта плакала и что-то злобно пыталась рассказать. Второе из ряда вон выходящее обстоятельство заключалось в том, что из всех комнат особняка несся непрерывный грохот телефонов, к которым, по-видимому, никто не подходил.

Лишь только Захаров оказался в вестибюле, барышня прервала рассказ, истерически крикнула: «Опять!» — и вдруг запела дрожащим сопрано:

— Славное море, священный Байкал!

Курьер, показавшийся на лестнице со стаканами на подносе, выругался коротко и скверно, расплескал чай и запел в тон барышне:

— Славен корабль, омулевая бочка!..

Через несколько секунд во всех комнатах пели служащие про славное море. Хор ширился, гремел, в финансово-счетном секторе особенно выделялись два мощных баса. Аккомпанировал хору усилившийся грохот телефонных аппаратов и плач девицы.

— Молодцу плыть недалечко! — рыдая и стараясь стиснуть зубы, пела девица.

Курьер пытался прервать пение, вставляя матерные слова, но это ему плохо удавалось.

Прохожие в переулке стали останавливаться, пораженные весельем, доносившимся из учреждения. Группа посетителей под колоннами, дико вытаращив глаза, смотрела на поющую девицу.

Улыбки блуждали по лицам. Лишь только первый куплет пришел к концу, пение оборвалось, курьер получил возможность выругаться, выпустил несколько ругательств подряд, схватил поднос и исчез.

Тут в парадных дверях показался гражданин, при котором тут же в группе посетителей зашептали «доктор... доктор приехал»... и двое милицейских.

— Примите меры, доктор! — истерически крикнула девица.

Тут же на лестницу выбежал секретарь и, видимо, сгорая от стыда и растерянности, начал говорить:

— Видите ли, доктор, у нас случай массового... — но не кончил, стал давиться словами и вдруг запел неприятным козлиным тенором о том, что Шилка и Нерчинск нестрашны теперь...

— Дурак! Дурак! — крикнула девица, но не объяснила, кого ругает, а вывела руладу, из которой явствовало, что горная стража ее не поймала.

Недоумение разлилось по лицу врача, но он постарался совладать с собой и сурово прикрикнул на секретаря:

— Замолчите!

Видно было по всему, что секретарь и сам бы отдал все на свете, чтобы замолчать, но сделать этого не мог, и могучий, рассеянный по всему учреждению хор вместе с секретарем донес до вконец соблазненных ваганьковских прохожих вопль о том, что в дебрях не тронул прожорливый зверь.

Девицу поволокли куда-то под руки, явился лекарский помощник с сумкой.

Захаров через минуту от взволнованных посетителей учреждения узнал в чем дело.

Оказалось, что в перерыве, предназначенном по закону для завтрака, заведующий учреждением явился в столовую как раз в тот момент, когда все служащие доедали питательную и вкусную свинину с бобами.

Заведующий, по словам озлобленной девицы, сиял как солнце и вел под руку какого-то «сукина сына, неизвестно откуда взявшегося» (так точно выразилась девица), тощего в паршивых брючках и в разбитом пенсне.

Дело в том, что устройство кружков было манией заведующего. В течение полугода он организовал шахматно-шашечный кружок, кружок пинг-понга, любителей классической литературы, духовой музыки (последний быстро распался, так как проворовался кассир, игравший на валторне) и к июню угрожал организовать кружок гребли на пресных водах и альпинистов. Коротко говоря, заведующий ввел под руку Коровьева и отрекомендовал его всем любителям бобов как товарища-специалиста по созданию хоровых кружков. Лица будущих альпинистов стали мрачны. Но заведующий призвал всех к бодрости, а Коровьев тут же и пошутил, и поострил, и клятвенно заверил, что времени пение берет самую малость: «На ходу! на ходу! — трещал Коровьев. — Но удовольствия и пользы три вагона». И тут «этот подхалим Косар-

чук» (выражение девицы) первый вскочил и восторженно заявил, что записывается. Тут все увидели, что пения не миновать, и, как один, записались. Петь решили, так как все остальное время было занято пинг-понгом и шашками, в этом самом для завтрака перерыве.

Заведующий, чтобы подать пример, объявил, что у него тенор, и далее все пошло как сон скверный (девица так говорила). Коровьев проорал «до-ми-соль-до», самых застенчивых извлек из-за шкафов, за которые они прятались в надежде отлынуть, Косарчуку сказал, что у того абсолютный слух, заныл, попросил уважить старого регента-певуна грянуть «Славное море», камертоном стучал по пальцу.

Было 12. Грянули. И славно грянули, Коровьев действительно понимал дело. Первый куплет допели в столовой до конца, после чего Коровьев исчез.

Недоумение. Пауза. Радость. Но ненадолго. Как-то сами собой двинули второй куплет, Косарчук повел высоким хрустальным тенором. Хотели остановиться — не тут-то было. Пауза. Полился третий куплет. Поняли, что беда. Заведующий стал бледен, как скатерть в столовой.

Через час был скандал, неслыханный, страшный, всемосковский скандал.

К трем часам занятия были остановлены милицией. Врачи сделать ничего не могли. Захаров был уже на улице, когда к особняку подъехали три грузовые платформы.

Милиция распорядилась очень хорошо: весь состав учреждения — восемьдесят семь человек — разбили на три партии и на этих трех грузовиках и увезли. Способ был умный, простой и наименее соблазнительный.

Лишь только первый грузовик, качнувшись, выехал за ворота, улицы огласились пением про славное море, и никому из прохожих и в голову не пришло, куда везут распевшихся служащих из отдела смет и распределения. Но, конечно, не трудно догадаться, что все три хора приехали как раз в то здание, которым руководил профессор Стравинский.

Появление такой большой партии больных вызвало смятение. Стравинский начал, кажется, с того, что всем приехавшим были даны большие дозы снотворного. А дальнейшая судьба несчастных жертв Коровьева москвичам неизвестна. Что касается Захарова, то он все-таки добился неприятности. Он добрался со своим портфелем до главного коллектора зрелищ облегченного типа, написал по форме приходный ордер и вывалил кассиру все пачки денег, которые привез в портфеле.

Лишь только кассир макнул пальцы в алюминиевую тарелочку, в которой плавала губка, обнаружилось, что пачки состоят частью из резаной газетной бумаги, частью из денежных знаков различных стран, как-то: долларов канадских, гульденов голландских, лат латвийских, иен японских и других.

На вопрос о том, что это значит, Захаров ничего не мог сказать, ибо у него отнялся язык.

Его немедленно арестовали.

6/VII.36 г. Загорянск

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ

Была полночь, когда снялись со скалы и полетели. Тут мастер увидел преображение. Скакавший рядом с ним Коровьев сорвал с носа пенсне и бросил его в лунное море. С головы слетела его кепка, исчез гнусный пиджачишко, дрянные брючонки. Луна лила бешеный свет, и теперь он заиграл на золотых застежках кафтана, на рукояти, на звездах шпор. Не было никакого Коровьева, невдалеке от мастера скакал, колол звездами бока коня рыцарь в фиолетовом. Все в нем было печально, и мастеру показалось даже, что перо с берета свешивается грустно. Ни одной черты Коровьева нельзя было отыскать в лице летящего всадника. Глаза его хмуро смотрели на луну, углы губ стянуло книзу. И, главное, ни одного слова не произносил говоривший, не слышались более назойливые шуточки бывшего регента.

Тьма вдруг налетела на луну, жаркое фырканье ударило в затылок мастеру. Это Воланд поравнялся с мастером и концом плаща резнул его по лицу.

— Он неудачно однажды пошутил, — шепнул Воланд, — и вот, осужден был на то, что при посещениях земли шутит, хотя ему и не так уж хочется этого. Впрочем, надеется на прощение. Я буду ходатайствовать.

Мастер, вздрогнув, всмотрелся в самого Воланда, тот преображался постепенно, или, вернее, не преображался, а лишь точнее и откровеннее обозначался при луне. Нос его ястребино свесился к верхней губе, рот вовсе сполз на сторону, еще острее стала раздвоенная из-под подбородка борода. Оба глаза стали одинаковыми, черными, провалившимися, но в глубине их горели искры. Теперь лицо его не оставляло никаких сомнений — это был Он.

Вокруг кипел и брызгал лунный свет, слышался свист. Теперь уж летели в правильном строю, как понял мастер, и каждый, как надо, в виде своем, а не чужом.

Первым — Воланд, и плащ его на несколько саженей трепало по ветру полета, и где-то по скалам еще летела за ним тень.

Бегемот сбросил кошачью шкуру, оставил лишь круглую морду с усами, был [в] кожаном кафтане, в ботфортах, летел веселый попрежнему, свистел, был толстый, как Фальстаф.

На фланге, скорчившись, как жокей, летел на хребте скакуна, звенел бубенцами, держал руку убийцы на ноже огненно-рыжий Азазелло.

Конвой воронов, пущенных, как из лука, выстроившись треугольником, летел сбоку, и вороньи глаза горели золотым огнем.

Не узнал Маргариту мастер. Голая ведьма теперь неслась в тяжелом бархате, шлейф трепало по крупу, трепало вуаль, сбруя ослепительно разбрызгивала свет от луны.

Амазонка повернула голову в сторону мастера, она резала воздух хлыстом, ликовала, хохотала, манила, сквозь вой полета мастер услышал ее крик:

— За мной! Там счастье!

Очевидно, она поняла что-то ранее мастера, тот подскакал к Воланду ближе и крикнул:

— Куда ты влечешь меня, о великий Сатана?

Голос Воланда был тяжел, как гром, когда он стал отвечать.

— Ты награжден. Благодари, благодари бродившего по песку Ешуа, которого ты сочинил, но о нем более никогда не вспоминай. Тебя заметили, и ты получишь то, что заслужил. Ты будешь жить в саду, и всякое утро, выходя на террасу, будешь видеть, как гуще дикий виноград оплетает твой дом, как цепляясь ползет по стене. Красные вишни будут усыпать ветви в саду. Маргарита, подняв платье чуть выше колен, держа чулки в руках и туфли, вброд будет переходить через ручей.

Свечи будут гореть, услышишь квартеты, яблоками будут пахнуть комнаты дома. В пудреной косе, в стареньком привычном кафтане, стуча тростью, будешь ходить, гулять и мыслить.

Исчезнет из памяти дом на Садовой, страшный Босой, но и исчезнет мысль о Га-Ноцри и о прощенном игемоне. Это дело не твоего ума. Ты никогда не поднимешься выше, Ешуа не увидишь. Ты не покинешь свой приют. Мы прилетели. Вот Маргарита уже снизилась, манит тебя. Прощай!

Мастер увидел, как метнулся громадный Воланд, а за ним взвилась и пропала навсегда свита и боевые черные вороны. Горел рассвет, вставало солнце, исчезли черные кони. Он шел к дому, и гуще его путь и память оплетал дикий виноград. Еще был какой-то отзвук от полета над скалами, еще вспоминалась луна, но уж не терзали сомнения, и угасал казнимый на Лысом Черепе, и бледнел и уходил навеки, навеки шестой прокуратор Понтийский Пилат.

Золотое Копье

Незавершенная рукопись

валерии
ризулет-
р Щудел
нтр не-
во вперед

Глава 1 НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ

В час майского заката на Патриарших прудах появилось двое мужчин.

Один из них был лет тридцати пяти, одет в дешевый заграничный костюм. Лицо имел бритое, голову со значительной плешью.

Другой был лет на десять моложе первого. Этот был в блузе, носящей нелепое название «толстовка», в белых мятых брюках и в тапочках.

Оба, по-видимому, сделали значительный путь по Москве и теперь изнывали от жары. У второго, не догадавшегося снять кепку, пот буквально струями тек по загоревшим небритым щекам, оставляя светлые полосы на коричневой коже.

Первый был не кто иной как товарищ Берлиоз, секретарь Всемирного объединения литераторов, а спутник его — Иван Николаевич Попов, входящий в большую славу поэт, пишущий под псевдонимом Бездомный.

Оба, как только попали под липы, первым долгом бросились к весело раскрашенной будочке с надписью «Всевозможные прохладительные напитки». Тут у них даже руки затряслись от жажды и радости: у будки не было ни одного человека.

Да, следует отметить первую странность этого страшного вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Бронной улице, не было никого. В тот час, когда уж, кажется, и сил нет больше жить, когда солнце в пыли, в дыму садится, когда у собак языки висят до земли, не было в аллее ни одного человека. Как будто нарочно.

— Дайте нарзану, — сказал товарищ Берлиоз, обращаясь к женским босым ногам, стоящим на прилавке.

Ноги тяжело спрыгнули на ящик, а оттуда на пол.

— Нарзану нет, — ответила женщина в будке.

— Ну, боржому, — нетерпеливо попросил Берлиоз.

— Нет боржому, — ответила женщина.

— Так что ж у вас есть? — раздраженно спросил Бездомный и сам испугался — а ну как женщина ответит, что ничего нет? Но женщина ответила:

— Абрикосовая есть.

— Давайте, давайте, давайте, — сказал Берлиоз.

Абрикосовая дала обильную желтую пену, пахла одеколоном. Напившись, друзья немедленно начали икать. Икая, Бездомный справился о папиросах, получил ответ, что их нету и что спичек тоже нет.

Отдуваясь и икая, Бездомный пробурчал что-то вроде — «сволочь эта абрикосовая» — и приятели направились к скамейке, и поместились на ней лицом к зеленому пруду. Пот в тени стал высыхать на них.

Тут произошло второе странное событие, касающееся одного Берлиоза. Сердце его внезапно стукнуло и на мгновение куда-то провалилось, после чего его охватил необоснованный страх и захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки. Берлиоз оглянулся тоскливо, не понимая, что его тревожит. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Я переутомился. Пора бы, в сущности, в Кисловодск...»

И соблазнительная мысль о том, как бы бросить все это к черту и поехать, поехать на юг... И блестящие медные скобки в международном вагоне, и ветер, ветер, ветер навстречу...

Но он не успел еще этого додумать, как воздух перед ним сгустился совершенно явственно и соткался из воздуха знойный и прозрачный тип вида довольно странного. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый воздушный кургузый пиджачок, ростом в сажень, но худ, как селедка, морда глумливая.

Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык; поэтому прежде всего он решил, что «этого быть не может...», и вытаращил глаза.

Но это могло быть, увы, потому что длинный, сквозь которого видно, жокей качался перед ним и влево и вправо. «Жара... удар...» — смятенно подумал Берлиоз и уж в полном ужасе закрыл глаза. А когда открыл, то с облегчением убедился в том, что быть действительно не может — сделанный из воздуха и зноя клетчатый растворился. И тут же тупая игла выскочила из сердца.

— Фу, ты, черт, — сказал товарищ Берлиоз, — ты знаешь, Иван, у меня сейчас от жары едва удар не сделался; даже что-то вроде галлюцинации было... Ну-с, итак...

И тут, обмахнувшись платочком, повел речь, прерванную питьем абрикосовой воды. Речь эта шла об Иисусе Христе. Дело в том, что товарищ Берлиоз заказал Ивану Николаевичу поэму об Иисусе Христе для толстого антирелигиозного журнала, который он редактировал.

Поэму в триста строк поэт представил вовремя, и была она написана очень хорошими, по словам товарища Берлиоза, стихами. Бездомный отзывался о Христе крайне неблагоприятно и даже в резких выражениях. Художник уже нарисовал очень хорошую картинку к этой поэме. Христос был изображен во фраке, с моноклем в глазу и с револьвером в руках. Однако все это не удовлетворило Берлиоза.

Суть была в том, что в основу поэмы Бездомный поместил какое-то ошибочное положение, и в общем крупно напутал.

И вот теперь редактору приходилось исправлять ошибку поэта, читая ему нечто вроде лекции.

Надо заметить, что редактор был образован и в речи его запросто появлялись имена не только Штрауса и Ренана, но и историков Филона, Иосифа Флавия и Тацита.

Поэт, уставив на редактора свои буйные зеленые глаза, с величайшим вниманием слушал его и лишь изредка икал внезапно так, что содрогалась скамейка.

Жар все еще не хотел спадать, за спиной приятелей, проносясь по Бронной, грохотали грузовики, взвизгивали трамваи, тучи белой пыли оседали на липах, уже начинавших зеленеть, а в аллее опять-таки никого не было.

Меж тем товарищ Берлиоз все дальше уходил в такие дебри, в которые может отправиться лишь очень начитанный человек.

Бездомный услышал много интересного про египетского бога Озириса, а непосредственно затем про вавилонского Таммуза. За Таммузом мелькнул пророк Иезекииль, за ним Мардук, а затем совсем уж странный божок Вицлипуцли, фигуру которого, как оказалось, к великому изумлению Бездомного, лепили из теста.

Тут-то в аллею и вошел человек.

Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, три учреждения представили свои сводки с описанием этого человека.

Сличение этих сводок не может не вызвать удивления. Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Вторая сообщает, что человек был росту громадного, коронки имел платиновые и хромал на левую ногу. В третьей записано было лаконически, что особых примет у человека не было.

Поэтому приходится признать, что ни одна из этих сводок не годится.

Во-первых, он ни на одну ногу не хромал. Росту был высокого, а коронки с правой стороны у него были платиновые, с левой золотые. Одет был так: серый дорогой костюм, туфли в цвет костюма заграничные, на голове серый берет, заломленный на правое ухо, серые же перчатки, в руках нес трость с серебряным набалдашником.

Рот кривой начисто. Лицо кирпичное, выбритое гладко. Один глаз черный, другой — зеленый. Брови черные, одна выше другой. Словом — иностранец.

Иностранец прошел мимо скамейки, на которой помещались редактор и поэт, причем бросил на них косой беглый взгляд.

«Немец...» — подумал Берлиоз.

«Англичанин... — подумал Бездомный, — ишь, сволочь, и не жарко ему в перчатках!»

Иностранец, которому точно не было жарко, неожиданно остановился и уселся на соседней скамье.

Тут он окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруды, причем заметно стало, что видит он это место впервые, а кроме того, что оно его заинтересовало. Почему-то снисходительно усмехнувшись, он остановил взор на верхних окнах, ослепитель-

но отражавших вечернее солнце, затем перевел глаза на нижние, в которых уж скоплялась понемногу предвечерняя тихая тьма.

С первой скамейки доносилась речь Берлиоза.

— Совсем не на том ты сделал упор, Иван, — мягко говорил, стараясь не задевать авторского самолюбия, товарищ Берлиоз.

Иностранец прищурился на дальний дом, затем независимо положил ногу на ногу, а подбородок на набалдашник. Опять послышался высокий тенор:

— Нет ни одной восточной религии, в которой непорочная дева не родила бы бога-младенца... Тебе нужен пример? Пожалуйста... Древнеегипетская Изида произвела на свет Горуса, да, наконец, Будда! Ты спросишь про Индию?..

Бездомный не спросил про Индию, а вместо этого сделал попытку прекратить икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче.

— Будь ты проклята, эта абрикосовая! — пробормотал он, но сейчас же опять сосредоточил свое внимание на словах своего редактора.

— В Греции Афина-Паллада и Аполлон... И позволь мне тебе посоветовать...

Но тут товарищ Берлиоз прервал речь. Иностранец вдруг поднялся и направился к собеседникам. Те поглядели на него удивленно.

— Извините меня, пожалуйста, что я позволяю себе подойти к вам, — заговорил иностранец с легким акцентом, — но предмет вашей ученой беседы столь интересен...

Тут иностранец вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как, приподнявшись, пожать иностранцу руку, с которой тот ловко сдернул перчатку.

«Скорее француз», — подумал Берлиоз.

«Поляк», — подумал Бездомный.

Необходимо добавить, что на Бездомного, который вообще почему-то неприязненно относился к иностранцам, подошедший произвел отвратительное впечатление с первых же слов, а Берлиозу, наоборот, очень понравился.

— Разрешите мне присесть? — вежливо попросил неизвестный иностранец.

Пришлось раздвинуться, и иностранец ловко и непринужденно уселся между двумя приятелями и тотчас вступил в разговор.

— Если я не ослышался, — заговорил он, поглядывая то на Берлиоза, то на переставшего икать Бездомного, — вы изволили говорить, что Иисуса Христа не было на свете?

— Вы не ослышались, — вежливо ответил Берлиоз, — именно это я и говорил.

— Это поразительно! — воскликнул иностранец.

«Какого черта ему надо?» — подумал Бездомный.

— А вы соглашались с вашим собеседником? — осведомился иностранец, повернувшись к Бездомному.

— На все сто, — подтвердил Бездомный, любящий выражаться непросто.

— Изумительно! — воскликнул иностранец, возводя глаза к небу. Последовала пауза, после которой непрошеный собеседник воровски оглянулся и сказал, снизив почти до шепота свой бас: — Простите мою навязчивость, и, поверьте, я никому не скажу — вы не верите в Бога? — и при этом он сделал испуганные глаза.

— Мы не верим в Бога, — улыбнувшись испугу иностранца, ответил Берлиоз, — и в этом нет никакого секрета.

Иностранец даже назад откинулся и спросил, но не басом, а высоким голосом:

— Вы —атеисты?

— Да, мы атеисты, — весело ответил Берлиоз, а Бездомный подумал: «Вот болван заграничный прицепился!»

— Ах, ах, ах! — воскликнул иностранец и заерзал на скамье, и так смотрел на обоих друзей, как будто ему впервые довелось увидеть двух атеистов.

— В нашей стране атеизм никого не удивляет, — дипломатически вежливо сказал Берлиоз, — большинство нашего населения сознательно и уже давно перестало верить сказкам о Боге, и у нас имеет место обратное явление: величайшей редкостью является верующий человек.

Здесь иностранец отколол такую штуку: встал и пожал удивленному Берлиозу руку, произнося такие слова:

— Позвольте вас поблагодарить.

— Это за что вы его благодарите? — заморгав глазами, осведомился Бездомный.

— Это очень, очень важное сведение, — многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак и при этом с некоторым испугом обвел дома глазами, как бы опасаясь в окнах увидеть атеистов.

«Он и не англичанин...» — подумал Берлиоз.

«Где это он так насобачился по-русски?» — подумал Бездомный и нахмурился. Ему захотелось курить.

— Но позвольте вас спросить, — после тревожного раздумья осведомился иностранец, — как же быть с доказательствами бытия Божия, коих существует ровно пять?

— Увы, — с сожалением ответил Берлиоз, — ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и их давно сдали в архив. В области разума никаких доказательств существования Бога нет и быть не может.

— Браво! — вскричал иностранец. — Браво. Вы полностью повторили мысль старикашки Иммануила по этому поводу. Он начисто разрушил все пять доказательств, но после этого, черт его возьми, словно курам на смех, соорудил собственного изобретения шестое доказательство!

— Доказательство Канта, — тонко улыбнувшись, возразил образованный Берлиоз, — также неубедительно, и недаром Шиллер говорил, что Кантово доказательство пригодно только для рабов! — и подумал: «Но кто же он все-таки. Он великолепно говорит по-русски».

— Взять бы этого Канта, да года на три в Соловки! — неожиданно бухнул Бездомный.

— Иван!—удивленно шепнул Берлиоз.

Но предложение направить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но, напротив, привело в восторг.

— Именно! Именно! — закричал иностранец, и глаза его засияли. — Самое ему там место. Говорил я ему тогда за завтраком: чепуху ты какую-то придумал, Кант!

Тут товарищ Берлиоз вытаращил глаза на неизвестного.

— Но, — продолжал тот, не смущаясь, — посадить его, к сожалению, невозможно по двум причинам: во-первых, он иностранный подданный, а во-вторых — умер.

— Жаль! — отозвался Иван, испытывая к иностранцу все большую ненависть и не обращая внимания на укоризненное подмигивание Берлиоза.

— И мне жаль, — подтвердил неизвестный и продолжал: — Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нету, то, спрашивается, кто же управляет жизнью на земле? — И иностранец повел рукой, указывая на дома.

— Человек, — сурово ответил Бездомный.

— Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — для того, чтобы управлять, нужно, как я слышал, составить план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. И вот, позвольте спросить, как же может управлять жизнью человек, ежели он этого плана не может составить даже на смехотворный срок лет в сто, скажем, и вообще ни за что не может ручаться, ну хотя бы за завтрашний день?

— И в самом деле, — тут неизвестный преимущественно обратился к Берлиозу, — вообразите, только что вы начнете управлять, распоряжаться, вообще входить во вкус... и вдруг, представьте себе, у вас... кхе, кхе... саркома! — и тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме доставила ему наслаждение. — Саркома... — повторил он, щурясь, звучное слово. — И вот вы уже не управляете, ничем не распоряжаетесь, ничто в мире вас больше не интересует... К гадалкам, бывали случаи, обращались образованнейшие люди!..

И через некоторое время тот, кто еще недавно отдавал по телефону распоряжения, покрикивал на подчиненных, был почтителен с высшими и собирался в Кисловодск, уже не сидит за столом, а лежит в деревянном ящике, а оркестр, отравляя существование живым, играет марш... Бывает и по-иному: некоторые под трамвай попадают. Какое уж тут управление!

И незнакомец тихонько рассмеялся.

Берлиоз внимательно слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, но не рассказ занимал его.

«Он не иностранец! Не иностранец, — тревожно думал Берлиоз, — он — престранный тип. Но кто же он такой?»

— Вы хотите курить? — внезапно обратился иностранец к Бездомному. — Вы какие предпочитаете?

— А у вас разве разные есть? — хмуро спросил Бездомный.

— Какие предпочитаете?

— «Нашу марку», — злобно ответил Бездомный.

Иностранец немедленно вытащил из заднего кармана брюк такой портсигар, что Бездомный открыл рот. Золотой, громадный, и на крышке сверкает алмазная буква «W».

— «Наша марка», — галантно сказал иностранец.

Некурящий Берлиоз отказался, Бездомный закурил, иностранец также. «Нет, он иностранец! — подумал Берлиоз, глядя на портсигар, — надо будет ему все-таки возразить так: верно, человек смертен, но...» Но не успел он ничего произнести, как заговорил иностранец:

— Да, человек смертен, но это бы еще полбеды. А хуже всего то, что он иногда внезапно смертен и не может сказать, что он будет делать даже в сегодняшний вечер.

«Какая-то дурацкая постановка вопроса!» — подумал Берлиоз и вслух сказал:

— Ну, здесь уж есть некоторое преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собой разумеется, что если мне на голову свалится кирпич...

— Кирпич ни с того ни с сего, — ответил внушительно неизвестный, — никому на голову и никогда не свалится. В частности же, уверяю вас, что вам он совершенно не угрожает. Так позвольте спросить, что вы будете делать сегодня вечером?

— Сегодня вечером, — ответил Берлиоз, — в десять часов в Миолите состоится заседание, на котором я буду председательствовать.

— Нет, этого быть никак не может, — твердо заявил иностранец.

— Это почему? — спросил Бездомный, не скрывая уже своего раздражения.

— Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, в котором, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили птицы, — что Аннушка уже купила постное масло, и не только купила, но и уже разлила. Так что заседание не состоится.

Тут, понятное дело, наступила тишина.

— Простите, — сказал Берлиоз, дико глядя на иностранца, — я ничего не понял. При чем здесь постное масло?

— Постное масло здесь вот при чем, — вдруг заговорил Бездомный, очевидно решив объявить войну незваному собеседнику, — вам не приходилось, гражданин, бывать в сумасшедшем доме?

— Иван! — воскликнул ошеломленный Берлиоз.

Но иностранец нисколько не обиделся, а, наоборот, безумно развеселился.

— Бывал! Бывал! И не раз! — вскричал он со смехом, но не сводя глаз с Бездомного. — Где я только не бывал! Досадно одно, что я так и не удосужился спросить у профессора толком, что такое мания фурибунда! Так что вы уж сами спросите у него, Иван Николаевич!

Бездомный изменился в лице.

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Помилуйте, дорогой Иван Николаевич, кто же вас не знает? — сказал иностранец и вынул из внутреннего кармана пиджака номер еженедельного журнала.

И Иван Николаевич тут же узнал на первой странице и свои буйные волосы, и глаза, и даже собственные стихи. Однако на сей раз

новое свидетельство славы и популярности не обрадовало Бездомного.

— Я извиняюсь, — сказал он, и лицо его потемнело, — вы не можете подождать минуту, я пару слов хочу сказать товарищу?..

— О, с удовольствием, охотно! — воскликнул иностранец. — Здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спешу.

— Вот что, Миша, — заговорил поэт, оттащив в сторону крайне недовольного всем этим Берлиоза, — это никакой не румын и не поляк, это — белогвардейский шпион. Спрашивай у него документы, а то уйдет.

— Почему шпион? — шепнул неприятно пораженный Берлиоз.

— Я тебе говорю. Верь чутью... Идем, идем, а то уйдет.

И поэт за руку потянул расстроенного Берлиоза к скамейке. Незнакомец не сидел, а стоял возле скамейки, держа в руках визитную карточку.

— Извините меня, что я в пылу нашего интересного спора забыл назвать себя. Вот моя карточка, а в кармане у меня и паспорт, подтверждающий то, что написано на карточке, — веско сказал иностранец, но почему-то без малейшего акцента.

Берлиоз густо покраснел, читая карточку, которую иностранец не выпустил из рук.

Иван тоже заглянул в нее, но так как иностранец в это время ее спрятал, то Ивану удалось прочесть только первое слово «professor» и начальную букву фамилии, опять-таки двойное W.

— Очень приятно, — сказал Берлиоз смущенно, — Берлиоз.

Произошли рукопожатия, и опять сели на скамейку.

— Вы в качестве консультанта, наверное, приглашены к нам, профессор?

— Да, консультанта, как же, — подтвердил профессор.

— Вы — немец?

— Я-то? — переспросил профессор и задумался. — Да, пожалуй, немец, — сказал он.

— А у вас какая специальность? — ласково осведомился Берлиоз.

— Я — специалист по черной магии.

— Как? — воскликнул Берлиоз.

«На тебе!» — подумал Иван.

— И вас по этой специальности пригласили в СССР?

— Да, по этой. Пригласили, — подтвердил профессор, поражая приятелей тем, что акцент у него опять появился. — Тут в государственной библиотеке — большой отдел, книги по магии и демонологии... Есть очень интересные рукописи Мирандолы и Рейхлина... Они хотят, чтобы я их разбирал и оценил...

— А! Вы историк? — с большим уважением спросил Берлиоз.

— Я историк, — охотно подтвердил иностранец, — я люблю всякие истории... и сегодня вечером будет смешная история...

Тут иностранец пальцами обеих рук поманил к себе приятелей. Когда они с изумлением наклонились к нему, он прошептал:

— Имейте в виду, что Христос существовал...

— Видите ли, профессор, — смущенно улыбаясь, заговорил Берлиоз, — мы очень уважаем ваши большие знания, но я лично придерживаюсь другой точки зрения...

— Не надо никаких точек зрения, — ответил профессор, — он существовал.

— Но какое же доказательство этому?

— И доказательства никакого не надо. Просто в десять часов утра его привели под конвоем, и шаркающей кавалерийской походкой на балкон вышел Понтийский Пилат, — сказал профессор.

Глава II ЗОЛОТОЕ КОПЬЕ

В девять часов утра шаркающей кавалерийской походкой в перистиль под разноцветную колоннаду вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Больше всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все предвещало нехороший день, потому что розовым маслом пропах весь мир. Казалось, что пальма пахнет розовым маслом, конвой, ненавистный балкон. Из недальней кордегардии заносило дымком — легионные кашевары начали готовить обед для дежурного манипула. Но прокуратору казалось, что и к запаху дыма примешивается поганая розовая струя.

«Пахнет маслом от головы моего секретаря, — думал прокуратор, — я удивляюсь, как моя жена может терпеть при себе такого вульгарного любовника... Моя жена дура... Дело, однако, не в розовом масле, а в том, что это мигрень. От мигрени же нет никаких средств в мире... попробую не вертеть головой...»

Из зала выкатили кресло, и прокуратор сел в него. Он протянул руку, ни на кого не глядя, и секретарь тотчас же вложил в нее кусок пергамента. Гримасничая, прокуратор проглядел написанное и сейчас же сказал:

— Приведите его.

Через некоторое время по ступенькам, ведущим с балкона в сад, двое солдат привели и поставили на балконе молодого человека в стареньком, многостиранном и заштопанном таллифе. Руки молодого человека были связаны за спиной, рыжеватые вьющиеся волосы растрепаны, а под заплывшим правым глазом сидел громадных размеров синяк. Левый здоровый глаз выражал любопытство.

Прокуратор, стараясь не поворачивать головы, поглядел на приведенного.

— Лицо от побоев надо оберегать, — сказал по-арамейски прокуратор, — если думаешь, что это тебя украшает... — И прибавил: — Развяжите ему руки. Может быть, он любит болтать ими, когда разговаривает.

Молодой человек приятно улыбнулся прокуратору. Солдаты тотчас освободили руки арестанту.

— Ты в Ершалаиме собирался царствовать? — спросил прокуратор, стараясь не двигать головой.

Молодой человек развел руками и заговорил:

— Добрый человек...

Но прокуратор тотчас перебил его:

— Я не добрый человек. Все говорят, что я злой, и это верно.

Он повысил резкий голос:

— Позовите кентуриона Крысобоя!

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором.

Крысобой на голову был выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что заслонил невысокое солнце. Прокуратор сделал какую-то гримасу и сказал Крысобою по латыни:

— Вот... называет меня «добрый человек»... Возьмите его на минуту в кордегардию, объясните ему, что я злой... Но я не потерплю подбитых глаз перед собой!..

И все, кроме прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который жестом показал, что арестованный должен идти за ним. Крысобоя вообще все провожали взглядами, главным образом, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, — из-за того, что лицо Крысобоя было изуродовано: нос его в свое время был разбит ударом германской палицы.

Во дворе кордегардии Крысобой поставил перед собою арестованного, взял бич, лежащий на козлах, и, не сильно размахнувшись, ударил арестанта по плечам. Движение Крысобоя было небрежно и незаметно, но арестант мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, и некоторое время не мог перевести дух.

— Римский прокуратор, — заговорил гнусаво Марк, плохо выговаривая арамейские слова, — называть «игемон»... Другие слова нет, не говорить!.. Понимаешь?.. Ударить?

Молодой человек набрал воздуху в грудь, сбежавшая с лица краска вернулась, он протянул руку и сказал:

— Я понял. Не бей.

И через несколько минут молодой человек стоял вновь перед прокуратором.

— В Ершалаиме хотел царствовать? — спросил прокуратор, прижимая пальцы к виску.

— Я, до... Я, игемон, — заговорил молодой человек, выражая удивление здоровым глазом, — нигде не хотел царствовать.

— Лгуны всем ненавистны, — ответил Пилат, — а записано ясно: самозванец, так показывают свидетели, добрые люди.

— Добрые люди, — ответил, оживляясь, молодой человек и прибавил торопливо: — игемон, ничему не учились, поэтому перепутали все, что я говорил.

Потом помолчал и добавил задумчиво:

— Я полагаю, что две тысячи лет пройдет ранее... — он подумал еще, — да, именно две тысячи, пока люди разберутся в том, насколько напутали, записывая за мной.

Тут на балконе наступило полное молчание.

Прокуратор поднял голову и, скорчив гримасу, поглядел на арестанта.

— За тобой записано немного, — сказал он, ненавидя свою боль и даже помышляя о самоубийстве, — но этого достаточно, чтобы тебя повесить.

— Нет, ходит один с таблицей и пишет, — заговорил молодой человек, — достойный и добрый человек. Но однажды, заглянув в эту таблицу, я ужаснулся. Ничего этого я не говорил. И прошу его — сожги эту таблицу. Но он вырвал ее у меня из рук и убежал.

— Кто такой? — спросил Пилат.

— Левий Матвей, — охотно пояснил арестант, — он был сборщиком податей, а я его встретил на дороге и разговорился с ним. Он послушал, деньги бросил на дорогу и сказал: я с тобой пойду путешествовать.

— Ершалаим, — сказал Пилат, поворачиваясь всем корпусом к секретарю, — город, в котором на Пасху не соскучишься... Сборщик податей бросил деньги на дорогу!

— Подарил, — пояснил молодой человек, — шел мимо старичок, нес сыр. Он ему сказал: подбирай.

— Имя? — спросил Пилат.

— Мое? — спросил молодой человек, указывая себе на грудь.

— Мое мне известно, — ответил Пилат, — твое.

— Ешуа, — ответил молодой человек.

— Прозвище?

— Га-Ноцри.

— Откуда родом?

— Из Эн-Назира, — сказал молодой человек, указывая рукой вдаль.

Секретарь пристроился с таблицей к колонне и записывал на ней.

— Кто ты по национальности? Кто твои родители?

— Я — сириец.

— Никакого языка, кроме арамейского, не знаешь?

— Нет, я знаю латинский и греческий.

Пилат круто исподлобья поглядел на арестованного. Секретарь попытался поймать взгляд прокуратора, но не поймал и еще стремительнее начал записывать. Прокуратор вдруг почувствовал, что висок его разгорается все сильнее. По горькому опыту он знал, что вскоре вся его голова будет охвачена пожаром. Оскалив зубы, он поглядел не на арестованного, а на солнце, которое неуклонно ползло вверх, заливая Ершалаим, и подумал, что нужно было бы прогнать этого рыжего разбойника, просто крикнуть: повесить его! Его увели бы. Выгнать конвой с балкона, припадая на подагрические ноги, притащиться внутрь, велеть затемнить комнату, лечь, жалобным голосом позвать собаку, потребовать холодной воды из источника, пожаловаться собаке на мигрень.

Он поднял мутные глаза на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на проклятом ершалаимском солнцепеке стоит перед ним этот бродяга с избитым лицом и какие ненужные и глупые вопросы еще придется ему задавать.

— Левий Матвей? — хрипло спросил больной прокуратор и закрыл глаза, чтобы никто не видел, что происходит с ним.

— Да, добрый человек Левий Матвей, — донеслись до прокуратора сквозь стук горячего молота в виске слова, произнесенные высоким голосом.

— А вот, — с усилием и даже помолчав коротко, заговорил прокуратор, — что ты рассказывал про царство на базаре?

— Я, игемон, — ответил, оживляясь, молодой человек, — рассказывал про царство истины добрым людям и больше ни про что не рассказывал. После чего прибежал один добрый юноша, с ним другие, и меня стали бить и связали мне руки.

— Так, — сказал Пилат, стараясь, чтобы его голова не упала на плечо. «Я сказал «так», — подумал страдающий прокуратор, — что означает, что я усвоил что-то, но я ничего не усвоил из сказанного», — и он сказал: — Зачем же ты, бродяга, на базаре рассказывал про истину, не имея о ней никакого представления? Что такое истина?

И подумал: «О, боги мои, какую нелепость я говорю. И когда же кончится эта пытка на балконе?»

И он услышал голос, сказавший по-гречески:

— Истина в том, что у тебя болит голова и болит так, что ты уже думаешь не обо мне, а об яде. Потому что, если она не перестанет болеть, ты обезумеешь. И я твой палач, о чем я скорблю. Тебе даже и смотреть на меня не хочется, а хочется, чтобы пришла твоя собака. Но день сегодня такой, что находиться в состоянии безумия тебе никак нельзя, и твоя голова сейчас пройдет.

Секретарь замер, не дописав слова, и глядел не на арестанта, а на прокуратора. Каковой не шевелился.

Пилат поднял мутные глаза и страдальчески поглядел на арестанта и увидел, что солнце уже на балконе, оно печет голову арестанту, он щурит благожелательный глаз, а синяк играет радугой.

Затем прокуратор провел рукою по лысой голове и муть в его глазах растаяла. После этого прокуратор приподнялся с кресла, голову сжал руками и на обрюзгшем лице выразился ужас.

Но этот ужас он подавил своей волей.

А арестант между тем продолжал свою речь, и секретарю показалось, что он слышит не греческие хорошо знакомые слова, а неслыханные, неизвестные.

— Я, прокуратор, — говорил арестант, рукой заслоняясь от солнца, — с удовольствием бы ушел с этого балкона, потому что, сказать по правде, не нахожу ничего приятного в нашей беседе...

Секретарь побледнел как смерть и отложил таблицу.

— То же самое я, впрочем, советовал бы сделать и тебе, — продолжал молодой человек, — так как пребывание на нем принесет тебе, по моему разумению, несчастия впоследствии. Мы, собственно говоря, могли бы отправиться вместе. И походить по полям. Гроза будет, — молодой человек отвернулся от солнца и прищурил глаз, — только к вечеру. Мне же пришли в голову некоторые мысли, которые могли бы тебе понравиться. Ты к тому же производишь впечатление очень понятливого человека.

Настало полное и очень долгое молчание. Секретарь постарался уверить себя, что ослышался, представил себе этого Га-Ноцри пове-

шенным тут же у балкона, постарался представить, в какую именно причудливую форму выльется гнев прокуратора, не представил, решил, что что-то нужно предпринять, и ничего не предпринял, кроме того, что руки протянул по швам.

И еще помолчали.

После этого раздался голос прокуратора:

— Ты был в Египте?

Он указал пальцем на таблицу, и секретарь тотчас поднес ее прокуратору, но тот отпихнул ее рукой.

— Да, я был.

— Ты как это делаешь? — вдруг спросил прокуратор и уставил на Ешуа зеленые, много видевшие глаза. Он поднес белую руку и постучал по левому желтому виску.

— Я никак не делаю этого, прокуратор, — сказал, светло улыбнувшись единственным глазом, арестант.

— Поклянись!

— Чем? — спросил молодой человек и улыбнулся пошире.

— Хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор, причем добавил, что ею *клясться* как раз время — она висит на волоске.

— Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? — спросил юноша. — Если это так, то ты ошибаешься.

— Я могу перерезать этот волосок, — тихо сказал Пилат.

— И в этом ты ошибаешься. Но об этом сейчас, я думаю, у тебя нет времени говорить. Но пока еще она висит, не будем сотрясать воздух пустыми и бессмысленными клятвами. Ты просто поверь мне — я не враг.

Секретарь искоса заглянул в лицо Пилату и мысленно приказал себе ничему не удивляться. Пилат усмехнулся.

— Нет сомнения в том, что толпа собиралась вокруг тебя, стоило тебе раскрыть рот на базаре.

Молодой человек улыбнулся.

— Итак, ты говорил о царстве истины?

— Да.

— Скажи, пожалуйста, существуют ли злые люди на свете?

— Нет.

— Я впервые слышу об этом, и, говоря твоим слогом, ты ошибаешься. К примеру — Марк Крысобой-кентурион — добрый?

— Да, — ответил [юноша], — он несчастливый человек. С тех пор, как ему переломили нос добрые люди, он стал нервным и несчастным. Вследствие этого дерется.

Пилат стал хмур и посматривал на Ешуа искоса. Потом проговорил:

— Добрые люди бросались на него со всех сторон, как собаки на медведя. Германцы висели на нем. Они вцепились в шею, в руки, в ноги, и, если бы я не дорвался до него с легионерами, Марка Крысобоя не было бы на свете. Это было в бою при Идиставизо. Но не будем спорить о том, добрые ли люди германцы или недобрые... Так ты называ. . . . . бродяга, стало быть, ты должен молчать!

Арестант моргнул испуганно глазом и замолчал.

Тут внезапно и быстро на балкон вошел молодой офицер из легиона с таблицей и передал ее секретарю.

Секретарь бегло проглядел написанное и тотчас подал таблицу Пилату со словами:

— Важное дополнение из Синедриона.

Пилат, сморщившись, не беря в руки таблицу, прочел написанное и изменился в лице.

— Кто этот из Кериота? — спросил он тихо.

Секретарь пожал плечами.

— Слушай, Га-Ноцри! — заговорил Пилат. — И думай, прежде чем ответить мне: в своих речах ты упоминал имя великого кесаря? Отвечай правду!

— Правду говорить приятно, — ответил юноша.

— Мне неинтересно, — придушенным голосом отозвался Пилат, — приятно тебе это или нет. Я тебя заставлю говорить правду. Но думай, что говоришь, если не хочешь непоправимой беды.

— Я, — заговорил молодой человек, — познакомился на площади с одним молодым человеком по имени Иуда, он из Кериота...

— Достойный человек? — спросил Пилат каким-то певучим голосом.

— Очень красивый и любознательный юноша, но мне кажется, — рассказывал арестант, — что над ним нависает несчастье. Он стал меня расспрашивать о кесаре и пожелал выслушать мои мысли относительно государственной власти...

Секретарь быстро писал в таблице.

— Я и высказал эти мысли.

— Какие же это были мысли, негодяй? — спросил Пилат.

— Я сказал, — ответил арестант, — что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда никакой власти не будет. Человек перейдет в царство истины, и власть ему будет не нужна.

Тут с Пилатом произошло что-то страшное. Виноват ли был в этом усиливающийся зной, били ли ему в глаза лучи, отражавшиеся от белых колонн балкона, только ему померещилось, что лицо арестанта исчезло и заменилось другим — на лысой голове, криво надетый, сидел редкозубый венец; на лбу — смазанная свиным салом с какой-то специей — разъедала кожу и кость круглая язва; рот беззубый, нижняя губа отвисла. Пилату померещилось, что исчезли белые камни, дальние крыши Ершалаима, вокруг возникла каприйская зелень в саду, где-то тихо проиграли трубы, и сиплый больной голос протянул:

— Закон об оскорблении...

Пилат дрогнул, стер рукой все это, опять увидел обезображенное лицо арестанта и подумал: «Боги, какая улыбка!»

— На свете не было, нет и не будет столь прекрасной власти, как власть божественного кесаря, и не тебе, бродяга, рассуждать о ней! Оставьте меня здесь с ним одного, здесь оскорбление величества!

В ту же минуту опустел балкон, и Пилат сказал арестанту:

— Ступай за мной!

В зале с золотым потолком остались вдвоем Пилат и арестант. Было тихо, но ласточка влетела с балкона и стала биться под потолком — вероятно, потеряв выход. Пилату показалось, что она шуршит и кричит: «Корван — корван».

Молчание нарушил арестант.

— Мне жаль, — сказал он, — юношу из Кериота. У меня есть предчувствие, что с ним случится несчастие сегодня ночью, и несчастье при участии женщины, — добавил он мечтательно.

Пилат посмотрел на арестанта таким взглядом, что тот испуганно заморгал глазом. Затем Пилат усмехнулся.

— Я думаю, — сказал он придушенным голосом, — что есть кой-кто, кого бы тебе следовало пожалеть еще ранее Искариота. Не полагал ли ты, что римский прокуратор выпустит негодяя, произносившего бунтовщические речи против кесаря? Итак, Марк Крысобой, Иуда из Кериота, люди, которые били тебя на базаре, и я, это все — добрые люди? А злых людей нет на свете?

— Нет, — ответил арестант.

— И настанет царство истины?

— Настанет, — сказал арестант.

— В греческих ли книгах ты вычитал это или дошел своим умом?

— Своим умом дошел, — ответил арестант.

— Оно не настанет, — вдруг закричал Пилат больным голосом, как кричал при Идиставизо: «Крысобой попался!». — Сейчас, во всяком случае, другое царство, и если ты рассчитывал проповедовать и дальше, оставь на это надежду. Твоя проповедь может прерваться сегодня вечером! Веришь ли ты в богов?

— Я верю в Бога, — ответил арестант.

— Так помолись же ему сейчас, да покрепче, чтобы он помутил разум Каиафы. Жена, дети есть? — вдруг тоскливо спросил Пилат и бешеным взором проводил ласточку, которая выпорхнула.

— Нет.

— Ненавистный город, — заговорил Пилат и потер руки, как бы обмывая их, — лучше бы тебя зарезали накануне. Не разжимай рот! И если ты произнесешь хотя бы одно слово, то поберегись меня!

И Пилат закричал:

— Эй! Ко мне!

Тут же в зале Пилат объявил секретарю, что он утверждает смертный приговор Синедриона, приказал Ешуа взять под стражу, кормить, беречь как зеницу ока и Марку Крысобою сказал:

— Не бить!

Затем Пилат приказал пригласить к нему во дворец председателя Синедриона, первосвященника Каиафу.

Примерно через полчаса под жгучим уже солнцем у балкона стояли прокуратор и Каиафа. В саду было тихо, но вдали ворчало, как в прибое, море и доносило изредка к балкону слабенькие выкрики продавцов воды — верный знак, что ершалаимская толпа тысяч в пять собралась у лифостротона, ожидая с любопытством приговора.

Пилат начал с того, что вежливо пригласил Каиафу войти во дворец.

Каиафа извинился и отказался, сославшись на то, что закон ему не позволяет накануне праздника.

— Я утвердил приговор мудрого Синедриона, — заговорил Пилат по-гречески,— итак, первосвященник, четверо приговорены к смертной казни. Двое числятся за мной, и о них здесь речь идти не будет. Но двое — за Синедрионом — Варраван Иисус, приговоренный за попытку возмущения в Ершалаиме и убийство двух городских стражников, и второй — Га-Ноцри Ешуа, или Иисус. Завтра праздник Пасхи. Согласно закону, одного из двух преступников нужно будет выпустить на свободу в честь праздника. Укажи же мне, первосвященник, кого из двух преступников желает освободить Синедрион — Варравана Иисуса или Га-Ноцри Иисуса? Прибавлю к этому, что я, как представитель римской власти, ходатайствую о выпуске Га-Ноцри. Он — сумасшедший, а особенно дурных последствий его проповедь не имела. Храм оцеплен легионерами и охраняется, ершалаимские зеваки и врали, — вяло и скучным голосом говорил Пилат, — ходившие за Га-Ноцри, разогнаны, Га-Ноцри можно выслать из Ершалаима; между тем в лице Варравана мы имеем дело с очень опасным человеком; не говоря уже о том, что он убийца, но взяли его с бою и в то время, когда он призывал к прямому бунту против римской власти. Итак?

Чернобородый Каиафа ответил прокуратору:

— Великий Синедрион в моем лице просит выпустить Варравана.

— Даже после моего ходатайства, — спросил Пилат и, чтобы прочистить горло, глотнул слюну, — повтори, первосвященник.

— Даже после твоего ходатайства прошу за Варравана, — твердо повторил Каиафа.

— Подумай, первосвященник, прежде чем в третий раз ответить, — глухо сказал Пилат.

— В третий раз прошу за Варравана . . . .

невиновного бродячего философа! Темным изуверам от него — беда! Вы предпочитаете иметь дело с разбойником! Но, Каиафа, дешево ты не купишь Га-Ноцри, это уж я тебе говорю! Увидишь ты легионы в Ершалаиме, услышишь ты плач!

— Знаю, знаю, Пилат, — сказал тихо Каиафа, — ты ненавидишь народ иудейский и много зла ему еще причинишь, но вовсе ты его не погубишь!

Наступило молчание.

— О, род преступный! О, темный род! — вдруг негромко воскликнул Пилат, покривив рот и качая головою.

Каиафа побледнел и сказал, причем губы его тряслись:

— Если ты, игемон, еще что-нибудь оскорбительное скажешь, уйду и не выйду с тобой на лифостротон!

Пилат поднял голову, увидел, что раскаленный шар как раз над головой и тень Каиафы съежилась у него под ногами, сказал спокойным голосом:

— Полдень — пора на лифостротон.

Через несколько минут на каменный громадный помост поднялся прокуратор Иудеи, следом за ним первосвященник Каиафа и охрана Пилата.

Многотысячная толпа взревела, и тотчас цепи легионеров подались вперед и оттеснили ее. Она взревела еще сильнее, и до Пилата донеслись отдельные слова, обрывки хохота, вопли придавленных, свист.

Сжигаемый солнцем, прокуратор поднял правую руку, и шум словно сдунуло с толпы. Тогда Пилат набрал воздуху и крикнул, и голос, сорванный военными командами, понесло над толпой:

— Именем императора!

В ту же секунду над цепями солдат поднялись лесом копья, сверкнули, поднявшись, римские орлы, взлетели на копьях охапки сена.

— Бродяга и тать, именуемый Иисус Га-Ноцри, совершил преступление против кесаря!..

Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце, и оно выжгло ему глаза. Зеленым огнем загорелся его мозг, и опять над толпой полетели хриплые слова:

— Вот он, этот бродяга и тать!

Пилат не обернулся, ему показалось, что солнце зазвенело, лопнуло и заплевало ему уши. Он понял, что на помост ввели Га-Ноцри и, значит, взревела толпа. Пилат поднял руку, опять услышал тишину и выкрикнул:

— И вот этот Га-Ноцри будет сейчас казнен!

Опять Пилат дал толпе выдохнуть вой и опять послал слова:

— Чтобы все знали, что мы не имеем царя, кроме кесаря!

Тут коротко, страшно прокричали в шеренгах солдаты, и продолжал Пилат:

— Но кесарь великодушен, и поэтому второму преступнику Иисусу Варраввану...

«Вот их поставили рядом», — подумал Пилат и, когда стихло, продолжал; и слова, выкликаемые надтреснутым голосом, летели над Ершалаимом:

— ...осужденному за призыв к мятежу, кесарь-император в честь вашего праздника, согласно обычаю, по ходатайству великого Синедриона, подарил жизнь!

Варравван, ведомый за правую руку Марком Крысобоем, показался на лифостротоне между расступившихся солдат. Левая сломанная рука Варраввана висела безжизненно. Варравван прищурился от солнца и улыбнулся толпе, показав свой, с выбитыми передними зубами, рот.

И уже не просто ревом, а радостным стоном, визгом встретила толпа вырвавшегося из рук смерти разбойника и забросала его финиками, кусками хлеба, бронзовыми деньгами.

Улыбка Раввана была настолько заразительна, что передалась и Га-Ноцри.

И Га-Ноцри протянул руку, вскричал:

— Я радуюсь вместе с тобой, добрый разбойник! Иди, живи!

И тут же Раввана Крысобой легко подтолкнул в спину, и Варравван, оберегая больную руку, сбежал по боковым ступенькам с каменного помоста и был поглощен воющей толпой.

Тут Ешуа оглянулся, все еще сохраняя на лице улыбку, но отражения ее ни на чьем лице не встретил. Тогда она сбежала с его лица. Он повернулся, ища взглядом Пилата. Но того уже не было на лифостротоне.

Ешуа попытался улыбнуться Крысобою, но и Крысобой не ответил. Был серьезен так же, как и все кругом.

Ешуа глянул с лифостротона, увидел, что шумящая толпа отлила от лифостротона, а на ее место прискакал конный сирийский отряд, и Ешуа услышал, как каркнула чья-то картавая команда.

Тут Ешуа стал беспокоен. Тревожно покосился на солнце. Оно опалило ему глаза, он закрыл их и почувствовал, что его подталкивают в спину, чтобы он шел.

Он заискивающе улыбнулся какому-то лицу. Это лицо осталось серьезным, и Ешуа двинулся с лифостротона.

И был полдень...

Иванушка открыл глаза и увидел, что за шторой рассвет. Кресло возле постели было пусто.

Глава III СЕДЬМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

— И был полдень, многоуважаемый Иван Николаевич, — сказал профессор.

Иван провел рукой по лицу, как человек, только что очнувшийся после сна, и увидел, что на Патриарших прудах вечер.

Тяжкая духота как будто рассеялась. Вода почернела. Голоса стали мягче. И легкая лодочка заскользила по воде.

«Как это я не заметил, что он все это наплел? — нахмурившись, подумал Иван. — Вот уж и вечер...»

А Берлиоз сказал, в сумерках всматриваясь в лицо профессора:

— Ваш рассказ очень интересен, хотя и совершенно не совпадает с евангельскими рассказами.

— Ну, так ведь!.. — ответил, усмехнувшись, профессор, и приятели не поняли, что он хотел этим сказать.

— Боюсь, — сказал Берлиоз, — что никто не может подтвердить, что все это действительно происходило.

— Нет, это может кто подтвердить, — отозвался профессор с сильнейшим акцентом и вдруг таинственно поманил к себе пальцами обоих приятелей.

Те изумленно наклонились к профессору, и он сказал, но уж без всякого акцента:

— Дело в том, что я сам лично присутствовал при всем этом. Был на балконе у Понтия Пилата и на лифостротоне, только — тсс... никому ни слова и полнейший секрет!

Наступило молчание, и Берлиоз побледнел.

— Вы сколько времени в Москве? — дрогнувшим голосом спросил Берлиоз.

— Я сегодня приехал в Москву, — жалобно ответил профессор, и тут приятели, глянув ему в лицо, увидели, что глаза у него совершенно безумные, то есть, вернее, левый глаз, потому что правый был мертв и черен.

«Вот все и разъяснилось, — подумал Берлиоз, — приехал немец и тотчас спятил. Вот так история!»

Но Берлиоз был решительным и сообразительным человеком. Откинувшись назад, он замигал за спиной профессора Ивану, и тот его понял.

— Да, да, да, — заговорил Берлиоз, — возможно... впрочем, все возможно... И Понтий Пилат, и балкон... А ваши вещи где, профессор? — вкрадчиво осведомился он. — В «Метрополе»? Вы где остановились?

— Я нигде, — ответил немец, тоскливо и дико блуждая глазом по Патриаршим прудам.

— Как? А где же вы будете жить? — спросил Берлиоз.

— В вашей квартире, — вдруг развязно подмигнув глазом, ответил немец.

— Я очень рад, но...

— А дьявола тоже нет? — вдруг раздраженно спросил немец, обращаясь непосредственно к Ивану.

— И дьявола...

— Не противоречь, — шепнул Берлиоз.

— Нету никакого дьявола! — растерявшись, закричал Иван не то, что нужно. — Вот вцепился! Перестаньте психовать!

Немец расхохотался так, что из липы над головами сидящих выпорхнул воробей.

— Ну, это уже положительно интересно, — заговорил немец, радостно сияя в полумраке глазом, — что это у вас ничего нет: Христа нету, дьявола нету, таксомоторов нету...

— Успокойтесь, успокойтесь, профессор, все будет, — забормотал Берлиоз. — Вы посидите минуточку с Бездомным здесь на скамейке, а я только сбегаю, звякну по телефону... А там мы вас проводим.

План у Берлиоза был таков: добраться до первого же телефона и сообщить в ГПУ, что приехавший из-за границы консультант бродит по Патриаршим прудам в состоянии ненормальном. Так вот чтобы приняли меры, а то получается неприятная история.

— Позвонить? Очень хорошо, но только умоляю вас на прощанье, — заговорил немец, — поверьте хоть в то, что дьявол существует! О большем я вас уж не прошу!

— Хорошо, хорошо, — фальшиво-ласково проговорил Берлиоз и, подмигнув Ивану, устремился по аллее к выходу.

Профессор тотчас как будто выздоровел.

— Михаил Александрович! — звучно крикнул он вдогонку басом.

— А?

— Не прикажете ли, я дам вашему дяде телеграмму в Харьков?

Берлиоз дрогнул и подумал: «Откуда он знает про дядю? Странно!..»

Но мысль о дяде тут же вылетела у него из головы. Со скамейки у самого выхода поднялся навстречу редактору в точности тот субъект, который еще совсем недавно соткался из жирного зноя. Только сейчас он был уже не знойный, а обыкновенный — плотский, так что Берлиоз отчетливо разглядел, что у него усишки, как куриные перышки, маленькие, иронические, как будто полупьяные глазки, жокейская шапочка, а брючки клетчатые и необыкновенно противно подтянутые.

Товарищ Берлиоз содрогнулся, попятился, но тут же утешил себя мыслью, что это глупое совпадение.

— Турникет ищете, гражданин? — тенором осведомился субъект. — А вот прямо, пожалуйста! С вас бы, гражданин, за указание на четверть литра... бывшему регенту...

Но Берлиоз не стал слушать назойливого попрошайку и быстро тронулся к турникету. Он уже повернул турникет и собрался шагнуть, но тут в темнеющем воздухе на него брызнул сверху слабый красный и белый свет. Над самой головой вспыхнула вывеска: «Берегись трамвая!»

Тотчас с Садовой на Бронную и вылетел этот трамвай. Выйдя на прямую, он внезапно радостно осветился, качнулся, взвыл и наддал.

Осторожный Берлиоз, хоть и стоял безопасно, решил вернуться за вертушку. Переступил, в ту же секунду нелепо выбросил одну ногу вверх, другая поехала по камню, рука соскочила с вертушки, и Берлиоза выбросило на рельсы.

Он упал лицом к небу, тотчас повернулся на левый бок и над собой увидел в ослепительно освещенных стеклах женскую голову в красном платочке. Лицо женщины было бело как смерть.

Он сделал попытку перевалиться на правый бок и увидел прямо над собой очень далеко белую звездочку, как пятнышко. И подумал: «Конец. Больше повернуться не успею». Он всхлипнул.

Вагон носом сел в землю, и стекла рухнули в нем с грохотом.

Тут из-под колеса выкатилась и запрыгала по булыжникам окровавленная голова, а затем выбросило кисть руки.

Страшного визга из вагона Берлиоз уже не слыхал.

Глава IV ПОГОНЯ

. . . .

Белый дом, двухэтажный, старинной постройки помещался в глубине небольшого садика на бульварном кольце и носил название дома Грибоедова. Говорили, что будто бы некогда он принадлежал тетке Грибоедова, хотя, сколько помнится, никакой тетки у Грибоедова не было. Так что надо полагать, что рассказы о том, как Грибоедов в этом самом доме, в этом самом зале с колоннами читал старухе «Горе от ума», представляют обыкновенные московские враки.

Но как бы там ни было, в настоящее время дом принадлежал тому самому Миолиту, секретарем которого *являлся* до девяти часов этого вечера товарищ Берлиоз.

Верхний этаж был занят редакциями трех журналов и канцелярией Миолита, в зале, где тетка слушала знаменитого племянника, происходили конференции, а в первом этаже поместился писательский ресторан.

К половине одиннадцатого ночи в тесной комнате томилось человек десять народу, поджидавших товарища Берлиоза на заседание.

Народ этот поражал каждого свежего человека необыкновенным разнообразием своего одеяния.

Так, один был в хорошем из парижской материи костюме и крепкой желтой обуви — председатель секции драматургов Бескудников.

Другой, в белой рубахе, подпоясанный кавказским серебряным поясом, в ялтинской тюбетейке, в белых летних штанах с пятном от яичного желтка на левом колене, — помощник председателя той же секции Понырев.

Батальный беллетрист Абабков зашнуровал свои ноги до колен в пехотные иностранные сапоги на тройной подошве и имел при себе цейсовский бинокль в футляре.

Богатая некогда купеческая наследница Настасья Савишна Непременова, ставшая военно-морской романисткой и подписывавшаяся «Боцман Жорж», была в засаленной шелковой блузочке и черной кривой юбке. Поэтесса Силова Зигфрид, в джемпере-самовязе, лакированных туфлях и в беретике. Поэт Двубратский, в пиджаке поверх майки и в ночных туфлях.

Были и другие.

Вся компания курила отчаянно, томилась и корчилась на стульях. В открытое окно не проникала ни одна струя воздуха. Москва как налилась зноем за день, так он и застыл, и было ясно, что ночь не принесет никому облегчения.

— Однако вождь-то наш сильно запаздывает, — пошутил небритый Двубратский.

Настасья Савишна отозвалась густым баритоном:

— Хлопец на Клязьме застрял.

— Но, позвольте, ведь он же знает, что заседание в десять? — холодно заметил Бескудников и вынул плоские часики. Они показывали «11».

Сильнее закурили. Кто-то зевал. Человек во френче и фрачных брюках рассказал, чтобы развлечь публику, анекдот, начинающийся словами: «Приходит Карл Радек в кабинет к...». Анекдоту посмеялись, но в границах приличия, ибо анекдот был несколько вольного содержания. Один лишь Бескудников даже не ухмыльнулся и глядел в окно такими отсутствующими глазами, что нельзя было поручиться, расслышал он этот анекдот или нет.

Рассказы про Радека, как известно, заразительны, и маленький подвижный скетчист Ахилл рассказал, в свою очередь, о другом каком-то приключении Радека, но происшедшем уже не в кабинете, а на вокзале. Однако этому рассказу посмеялись уж совсем мало и тут же начали звонить по телефону. Первоначально на квартиру. Результат получился странный: никто не отозвался, но зато послышался дальний мощный бас, который пропел: «Черные скалы — мой приют...» — и как бы свист.

Затем на Клязьму. Бились долго, соединились не с той дачей, наконец, с той, с какой нужно, и получили ответ, что товарища Берлиоза и вовсе не было сегодня на Клязьме. Тогда в отчаянии позвонили в Наркомпросс, в комнату № 918. Зря, конечно, ибо в половину двенадцатого в комнате № 918 никого не было и быть не могло.

После этого произошло, правда в известных границах, народное возмущение и Абабков заявил напрямик, что осуждает, несмотря на все свое уважение, товарища Берлиоза — мог бы он и позвонить, если что-то его задержало!

Но товарищ Берлиоз никому и никуда не мог позвонить. Далеко, далеко от дома Грибоедова, в громадном зале, под сильным светом прожекторов, на трех цинковых столах лежало то, что осталось от Берлиоза. На первом — окровавленное обнаженное тело, на втором — голова с выбитыми передними зубами и выдавленным глазом, а на третьем — груда окровавленного тряпья.

У столов стояли: седобородый профессор судебной медицины, молодой прозектор в кожаном халате и резиновых перчатках и четыре человека в защитной форме, с малиновыми нашивками на воротниках и с маленькими браунингами на желтых поясах.

Все тихо совещались, обсуждая предложение профессора струнами пришить голову к туловищу, на глаза надеть черную повязку, а лицо загримировать, чтобы те, кто придет поклониться праху погибшего секретаря Миолита, не содрогались бы.

Да, он не мог позвонить, товарищ Берлиоз! И без четверти двенадцать опустела комната, и заседание не состоялось, как и предсказал незнакомец на Патриарших прудах. Оно не могло состояться без председателя Берлиоза, а председательствовать не может человек, пиджак и документы которого до полной неразборчивости залиты кровью, а голова лежит отдельно.

Большинство из собравшихся заседать спустилось вниз в ресторан. Мест на веранде, выходящей в сад, уже не было и им пришлось разместиться во внутреннем помещении.

Ровно в полночь, как гром, ударил рояль, потом послышались как бы предсмертные петушиные крики на тонких клавишах и теткин дом дрогнул от пляса.

От музыки засветились лица, показалось, что заиграли на потолке яркие ассирийские лошади, кто-то спел «Аллилуйя!», где-то покатился и разбился бокал, кто-то кому-то посулил дать в рожу, а следом за подвалом заплясала и веранда. Плясали все. Плясал беллетрист Износков с девицей-архитектором Сладкой, плясал знаменитый Жукопов. Плясали Драгунский, Чапчачи, Яшкин, Водопоев, Глухарев. Боцман Жорж, охваченная за талию каким-то рослым по фамилии Коротяк, плясал самородок Иоанн поэт Кронштадтский, какой-то Куфтик из Ростова, плясали неизвестные молодые люди в стрижке полубоксом, какой-то с бородой с пером зеленого луку в бороде, девчонка с испитым, порочным лицом. Словом, стал ад.

И было тут же в полночь видение: вышел на веранду черноглазый красавец, с черной острой бородой, стал под тентом и царственным взглядом окинул пляшущих своих гостей.

И утверждал беллетрист Избердей, известнейший мистик и лгун, что этот красавец не носил раньше фрака, а легкую блузу с широким кожаным поясом, за которым засунуты были пистолеты, а воронова крыла волосы его были повязаны алым шелком, и плавал он в Караибском море, и шел его бриг под гробовым флагом — черным с адамовой головой.

Но лжет, ах, лжет Избердей, и нет никаких караибских морей на свете, и не плывут отчаянные флибустьеры, не гонятся за ними английские корветы с грозным пушечным буханьем. Нет, ничего этого нет! И плавится лед в стеклянной вазе, и налиты кровью глаза Избердея, и страшно мне!

Не успел отзвучать на московских часах последний удар полуночи, как фокстрот прекратился внезапно, будто нож кто-то всадил пианисту в сердце, и тотчас фамилия «Берлиоз» послышалась за всеми столами. И вскакивали и вскрикивали: «Не может быть!»

Не обошлось и без некоторой чепухи, объясняемой, конечно, смятением. Так, кто-то предложил спеть «Вечную память» тут же. Уняли. Кто-то возбужденно восклицал, что нужно ехать, сейчас же, немедленно, но куда — никто не понял. Кто-то предложил послать коллективную телеграмму, но куда и зачем ее посылать? И на что нужна телеграмма тому, чью изорванную шею колет кривыми иглами, струнит прозектор?

Тут же змейкой порхнула сплетня. Первая — неудачная любовь к акушерке Кандалаки, аборт и, увы, самоубийство; словом, не попал под трамвай, а бросился (автор сплетни — старая стерва Боцман Жорж). Вторая: никакой Кандалаки и вообще на свете нету, а (шепот) впал в уклон, затосковал и...

Но не успел негодяй Ахилл договорить всю эту ложь про уклон, как случилось такое, чего еще не бывало в Москве. Именно: от решет . . . .

Глава VI СТЕПИНА ИСТОРИЯ

. . . .

. . . .

. . . .

Глава VII ВОЛШЕБНЫЕ ДЕНЬГИ

. . . .

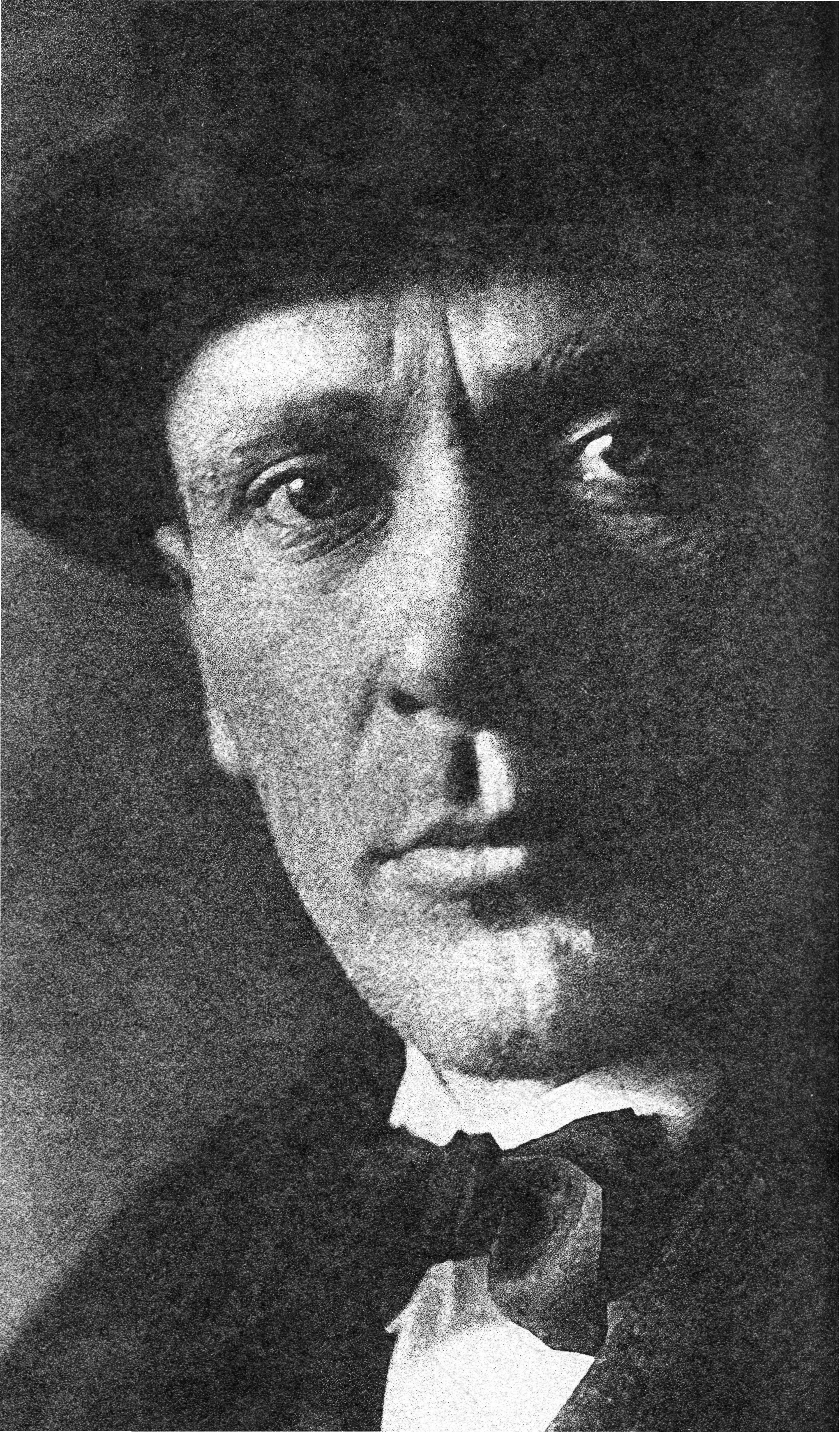
. . . .

. . . .

Князь тьмы

Роман

Первые тринадцать глав



Глава 1 НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ!

Весною, в час заката, на Патриарших прудах появилось двое мужчин.

Один из них, тридцатипятилетний приблизительно, был преждевременно лыс, лицо имел бритое, одет был в серенькую летнюю пару, шляпу пирожком нес в руке. Другой лет на десять моложе первого, в синей блузе, в измятых белых брюках, в тапочках, в кепке.

Оба, по-видимому, проделали значительный путь по Москве пешком и теперь изнывали от жары.

У второго, не догадывавшегося снять кепку, пот струями тек по загоревшим небритым щекам, оставляя светлые полосы на коричневой коже.

Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, секретарь московской ассоциации литераторов (Массолит) и редактор двух художественных журналов, а спутник его — входящий в большую славу поэт-самородок Иван Николаевич Понырев.

Оба, как только попали под липы, первым долгом бросились к весело раскрашенной будочке с надписью «Прохладительные напитки».

Да, следует отметить первую странность этого страшного вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Бронной улице, не было ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил нет больше дышать, когда солнце в пыли, в сухом тумане валится, раскалив Москву, куда-то за Садовое кольцо, когда у собак языки висят почти до земли, под начинавшими зеленеть липами не было никого. Это, право, странно, это как будто нарочно!

— Нарзану дайте, — попросил Берлиоз.

— Нарзану нет, — ответила женщина в будочке.

— А что есть? — спросил Берлиоз.

— Абрикосовая.

— Давайте, давайте, давайте, — нетерпеливо сказал Берлиоз.

Абрикосовая дала обильную желтую пену, пахла одеколоном. Напившись, друзья немедленно начали икать, и Понырев тихо выбранил абрикосовую скверными словами, затем оба направились к ближайшей скамейке и поместились на ней лицом к пруду и спиной к Бронной.

Тут случилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он перестал икать, но сердце его внезапно стукнуло и на мгновение

куда-то провалилось, в сердце тупо кольнуло, после чего Берлиоза охватил необоснованный страх и захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки.

Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его встревожило. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Этого никогда не было... Я переутомился. Пожалуй, пора бросить все — и в Кисловодск...»

И тут знойный воздух перед ним сгустился совершенно явственно, и соткался из воздуха прозрачный тип престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый, кургузый, воздушный же пиджачок, ростом в сажень, но худ неимоверно... жердь какая-то, а морда глумливая.

Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Он еще больше побледнел, глаза вытаращил, подумал: «Этого не может быть!?» Но это, увы, могло быть, потому что длинный, сквозь которого видно, жокей качался перед ним и влево, и вправо. «Что же это?! Удар?» — смятенно подумал Берлиоз и в полном ужасе закрыл глаза. А когда он их открыл, все кончилось — марево растворилось, клетчатый исчез. И тут же тупая игла выскочила из сердца.

— Фу ты, черт! — воскликнул Берлиоз. — Ты знаешь, Иван, у меня сейчас от жары едва удар не сделался, даже что-то вроде галлюцинации было, — он попытался весело посмеяться, но глаза его еще были тревожны, руки дрожали. Однако постепенно он оправился, обмахнулся платочком и сказал уже бодро: — Ну-с, итак... — повел речь, прерванную питьем абрикосовой.

Речь эта, как дознались впоследствии, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что Берлиоз заказывал Ивану Николаевичу большую поэму о Христе для своего второго антирелигиозного журнала и вот теперь читал поэту нечто вроде лекции, с тем чтобы дать ему кое-какие установки, необходимые для сочинения поэмы.

Надо заметить, что редактор был образован и в речи его появлялись имена не только Эрнеста Ренана и Штрауса, но и имена древних историков. Тут были и Филон Александрийский, знаменитый богослов, и блестяще образованный Иосиф Флавий, и великий Корнелий Тацит. На всех них Михаил Александрович очень умело, показывая большую начитанность, ссылался, чтобы доказать Поныреву, что Иисуса Христа никогда на свете не существовало.

Поэт, для которого все, сообщаемое редактором, было новостью, внимательно слушал, уставив на Михаила Александровича свои буйные зеленые глаза, и лишь изредка икал, шепотом проклиная абрикосовую воду.

Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и поэт узнал много чрезвычайно интересного и о египетском Озирисе, благостном боге, сыне Неба и Земли, и о финикийском боге Фаммузе, и о пророке Иезекииле, и о боге Мардуке, о грозном боге Вицлипуцли, которого так почитали ацтеки в Мексике.

Чем больше говорил Берлиоз, тем яснее становилась картина: хочешь — не хочешь, а приходилось признать, что все рассказы о существовании Христа выдумка, самый обыкновенный миф.

И вот как раз в тот момент, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек.

Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, многие учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в первой сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Вторая сообщает, что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщала, что у человека особых примет нет. Так что приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится. Во-первых, ни на одну ногу он не хромал и росту был не маленького и не громадного, а высокого, и коронки у него с левой стороны были платиновые, а с правой — золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных в цвет костюма туфлях. Серый берет он заломил лихо на правое ухо, под мышкой нес трость с золотым набалдашником в виде головы пуделя. Он не хромал, а как бы из кокетства немного волочил левую ногу.

Лет сорока с лишним. Рот кривой начисто. Лицо кирпичного цвета, выбритое гладко. Один глаз черный, а другой зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом — иностранец.

Пройдя мимо скамьи, на которой сидели редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке в двух шагах от приятелей.

«Немец...» — подумал Берлиоз.

«Англичанин, — подумал Понырев, — ишь, и не жарко ему в перчатках?»

А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймляющие пруды, причем заметно стало, что видит это место он впервые, а также, что оно его заинтересовало. Сперва он остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражавших в стеклах изломанное солнце, затем перевел его вниз, где стекла печально почернели, почему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, развязно положил ногу на ногу, а подбородок на набалдашник.

— Итак, резюмирую, — говорил Берлиоз, — нет ни одной восточной религии, в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Христа, взяв его у других! И если ты спросишь меня...

Но Понырев ничего не спросил, а вместо этого сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче. И тут Берлиоз вынужден был прекратить свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к нему. Литераторы поглядели на него удивленно.

— Извините меня, пожалуйста, — заговорил иностранец с легким акцентом, — что я, не будучи знаком, позволяю себе... но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...

Он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как пожать протянутую руку, с которой иностранец ловко сдернул серую перчатку.

«Нет, скорее, француз...» — подумал Берлиоз.

«Поляк», — подумал Понырев.

Необходимо добавить, что на Понырева иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу, наоборот, очень понравился.

— Разрешите мне немного сесть? — так же вежливо попросил незнакомец, и приятели как-то неловко раздвинулись, а иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор.

— Если я не ослышался, — заговорил он, поглядывая то на Берлиоза, то на поэта, переставшего икать, — вы изволили говорить, что Иисуса Христа не было на свете?

— Нет, вы не ослышались, — учтиво ответил Берлиоз, — именно это я говорил.

— Ах, как интересно! — воскликнул иностранец.

«Какого черта ему надо?» — подумал Понырев и нахмурился.

— А вы соглашались с вашим собеседником? — осведомился неизвестный, повернувшись к Поныреву.

— На все сто! — подтвердил Понырев, любящий выражаться вычурно и фигурально.

— Изумительно! — вскричал непрошеный собеседник. После этого он, воровски почему-то оглянувшись и снизив почти до шепота голос, сказал: — Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы вообще не верите в Бога? — Он сделал испуганные глаза и прибавил: — Клянусь, я никому не скажу.

— Мы не верим в Бога, — улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз, — и не боимся, если об этом кто-нибудь узнает.

Иностранец на спинку откинулся и спросил, даже привизгнув от любопытства:

— Вы —атеисты?!

— Да, мы атеисты, — весело ответил Берлиоз, а Понырев подумал, рассердившись: «Вот болван заграничный прицепился!»

— Ах, какая прелесть! — вскричал странный иностранец и завертел головой, гляди на приятелей.

— В нашей стране атеизм никого не удивляет, — дипломатически вежливо сказал Берлиоз, — большинство нашего населения сознательно и давно уже перестало верить сказкам о Боге. У нас имеет место обратное явление: величайшей редкостью является верующий человек.

Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному Берлиозу руку, произнося при этом такие слова:

— Позвольте вас поблагодарить от души!

— Это за что же вы его благодарите? — заморгав глазами, осведомился Понырев.

— За очень важное сведение, — многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак.

Важное сведение, по-видимому, произвело на него сильное впечатление, потому что он испуганно обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту.

«Нет, он не англичанин...» — подумал Берлиоз.

«Где он так насобачился говорить по-русски?» — подумал Понырев и нахмурился. Ему захотелось курить, а папиросы все вышли.

— Но позвольте вас спросить, — после тревожного раздумья осведомился заграничный гость, — как же быть с доказательствами бытия Божия, коих существует ровно пять?

— Увы, — с сожалением ответил Берлиоз, — ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и их давно уже человечество сдало в архив. Согласитесь, что в области разума никаких доказательств существования Бога нет и быть не может.

— Браво! — вскричал иностранец. — Браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старикашки Иммануила по этому поводу! Но вот курьез: он начисто разрушил все доказательства, а затем, как бы в насмешку над собою, соорудил собственное шестое доказательство!

— Доказательство Канта, — тонко улыбнувшись, возразил образованный Берлиоз, сразу сообразивший, о ком идет речь, — также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому поводу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством.

Берлиоз говорил и в это время думал: «Но все-таки, кто же он такой? Он великолепно говорит по-русски!»

— Взять бы этого Канта, да за эти самые доказательства года на три в Соловки! — неожиданно бухнул Иван Николаевич.

— Иван! — сконфузившись, шепнул Берлиоз.

Но предложение направить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, а, напротив, привело в восторг.

— Именно! Именно! — закричал он, и глаз его, обращенный к Ивану, засверкал. — Ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком — ты, профессор, какую-то чепуху придумал, ведь над тобой смеяться будут!

Берлиоз вытаращил глаза, глянул на иностранца. «За завтраком... Канту?..» — подумал он.

— Но, — продолжал иностранец, не смущаясь изумлением Берлиоза, — водрузить его в Соловки невозможно, по той причине, что он уже сто двадцать пять лет находится в местах, гораздо более отдаленных от Патриарших прудов, чем Соловки.

— Жаль! — отозвался Иван, не совсем разобравшись в последних словах своего противника, а просто испытывая раздражение против него и не обращая внимания на укоризненное подмигивание и гримасы Берлиоза.

— И мне жаль! — подтвердил неизвестный и продолжал: — Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нету, то, спрашивается, кто же управляет жизнью на земле? — и он повел рукой, указывая на дома.

— Человек! — сурово ответил Иван Николаевич.

— Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — для того, чтобы управлять, нужно, как всем понятно, составить точный план на некоторый хоть сколько-нибудь приличный срок. И вот, позвольте вас спросить, как же может управлять жизнью человек, если он такого

плана не может составить даже на смехотворный срок лет в сто, скажем, и вообще не может ручаться даже хотя бы за свой завтрашний день? И в самом деле, — тут неизвестный обратился к Берлиозу, — вообразите, только что вы начнете управлять, распоряжаться другими и собою, вообще входить во вкус... и вдруг у вас... кхе, кхе... саркома! — Тут иностранец сладко хихикнул, как будто мысль о саркоме доставила ему удовольствие. — Саркома, — повторил он, щурясь, звучное слово. — И вот, какое уж тут управление! Ничья судьба вас более не интересует... К гадалкам, бывали случаи, обращались образованнейшие люди! И через некоторое время тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, уже не сидит за своим столом, а лежит в деревянном ящике, и оркестр играет над ним, и плохо играет, марш Шопена. И окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, выбрасывают его в печку. А бывает и хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, ведь пустяковое, казалось бы, дело, и этого сделать не может, потому что вдруг поскользнется да и попадет под трамвай! Что же, вы скажете, это он сам собой управлял? Не лучше ли думать, что кто-то управился с ним другой?

И здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.

Берлиоз с великим вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, и тревожные какие-то мысли начали мучить его. «Он не иностранец! Он не иностранец, — напряженно размышлял он, — он престранный тип! Но, позвольте, кто же он такой?»

— Вы хотите курить? — внезапно обратился к Поныреву иностранец и взялся за карман. — Вы какие предпочитаете?

— А у вас разные, что ли, есть? — мрачно спросил Иван Николаевич.

— Какие предпочитаете? — учтиво повторил неизвестный.

— «Нашу марку», — злобно ответил Иван.

Иностранец немедленно вытащил из кармана портсигар и галантно предложил Поныреву:

— «Наша марка»!

Поэта и редактора не столько поразила «Наша марка», сколько портсигар. Он был громадных размеров, чистого золота, и на крышке его сверкнула синим и белым огнем алмазная буква «F».

«Нет, иностранец»! — подумал Берлиоз.

Закурили.

«Надо будет ему возразить, а то уж очень он бойко разговорился! — думал Берлиоз. — И возразить так: да, человек смертен, но это ничего не значит...»

Однако он не успел ничего сказать, как сказал иностранец:

— Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.

«Какая-то дурацкая постановка вопроса!» — помыслил Берлиоз и вслух сказал:

— Ну, здесь уж есть некоторое преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собой разумеется, что если на Бронной мне свалится на голову кирпич...

— Кирпич ни с того ни с сего, — внушительно заговорил неизвестный, — никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, что вам он ни в каком случае не угрожает. Вы умрете другой смертью.

— Может быть, вы знаете, какой, — с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, — и скажете мне?

— Охотно, — отозвался незнакомец. Он прищурился на Берлиоза, смерил его взором, как будто собирался сшить ему костюм, и сквозь зубы пробормотал: — Раз... Меркурий во втором доме... ушла луна... шесть — несчастье, вечер семь... — и громко добавил: — Вам отрежут голову!

— А кто? — спросил Берлиоз. — Интервенты? — Он усмехнулся. — Немцы?

— Нет, — ответил неизвестный, — русская комсомолка.

— Гм... — криво ухмыльнувшись неловкой шутке иностранца, сказал Берлиоз, — простите, но это маловероятно.

— Итак, позвольте вас спросить, что вы будете делать сегодня вечером, если не секрет?

— Секрета нет. Сегодня в 10 часов в Массолите будет заседание, и я буду председательствовать на нем.

— Нет, этого быть никак не может, — твердо заявил иностранец.

— Это почему? — спросил Берлиоз, на сей раз с раздражением.

— Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили птицы, — что Аннушка уже купила постное масло, и не только купила, но уже и разлила. Так что заседание не состоится.

Тут, понятное дело, под липами наступило молчание.

— Простите, — сказал Берлиоз, дико глядя на иностранца, — я ничего не понял. При чем здесь постное масло?

— Постное масло здесь вот при чем, — вдруг заговорил Иван Николаевич, очевидно, решив объявить войну незваному собеседнику. — Вам, гражданин, не приход ил ось бывать в сумасшедшем доме?

— Иван! — воскликнул Берлиоз.

Но иностранец ничуть не обиделся, а, наоборот, безумно развеселился.

— Бывал! Бывал! И не раз! — вскричал он со смехом, но не сводя несмеющегося глаза с Ивана Николаевича. — Где я только не бывал. Досадно только, что я не удосужился спросить у профессора толком, что такое мания фурибунда. Так что вы уж сами спросите об этом у него, Иван Николаевич!

Понырев изменился в лице.

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Помилуйте, дорогой Иван Николаевич, кто же вас не знает? — сказал иностранец и вынул из кармана вчерашний номер еженедельного иллюстративного журнала, и Иван Николаевич тут же узнал на первой же странице и свои буйные вихры, и глаза, и собственные стихи. Однако на этот раз еще одно доказательство славы и популярности не обрадовало Понырева.

— Я извиняюсь, — сказал он, и лицо его потемнело, — вы не можете подождать минуточку, я хочу товарищу пару слов сказать...

— О, с удовольствием! — с резким акцентом воскликнул иностранец. — Здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спешу.

— Вот что, Миша, — заговорил поэт тихо, оттащив в сторону Берлиоза, — это никакой не интурист, а шпион, это белый, перебравшийся к нам. Спрашивай у него документы, а то уйдет.

— Почему шпион? — шепнул неприятно пораженный Берлиоз.

— Верь чутью, — засипел ему в ухо Иван Николаевич, — он дураком притворяется, чтобы выспросить кой-что. Идем, идем, а то уйдет...

И поэт за руку потянул расстроенного Берлиоза к скамейке. Незнакомец не сидел, а стоял возле скамейки, держа в руках визитную карточку.

— Извините меня, что я в пылу нашего интересного спора забыл представить себя вам. Вот моя карточка, а в кармане у меня и паспорт, подтверждающий то, что написано на карточке, — веско сказал иностранец, проницательно глядя на обоих друзей.

Те сконфузились, а иностранец спрятал карточку. Ивану Николаевичу удалось прочесть только начало первого слова «Professor» и начальную букву фамилии, опять-таки «F».

— Очень приятно, — сказал смущенно Берлиоз. — Берлиоз!

Опять произошли рукопожатия и опять сели на скамью.

— Вы в качестве консультанта, наверно, приглашены к нам, профессор? — спросил Берлиоз.

— Да, консультанта, — подтвердил профессор.

— Вы — немец? — спросил Иван.

— Я-то? — переспросил профессор и задумался. — Да, пожалуй, неметц... — сказал он.

— А у вас какая специальность? — ласково осведомился Берлиоз.

— Я специалист по черной магии.

«На тебе!» — воскликнул мысленно Иван.

— И... и вас по этой специальности пригласили к нам? — вытаращив глаза, спросил Берлиоз.

— По этой пригласили, — подтвердил профессор, — тут в государственной библиотеке нашли интересные рукописи Бэкона и бенедиктинского монаха Гильдебранда, тринадцатый и одиннадцатый век... Захотели... я их чтобы разбирал немного... Я специалист... первый в мире...

— А-а! Вы — историк? — с большим уважением спросил Берлиоз.

— Я — историк, — охотно подтвердил ученый и добавил: — Сегодня вечером будет смешная история.

Опять удивились и редактор, и поэт, а профессор пальцами обеих рук поманил их и, когда они наклонились к нему, прошептал:

— Имейте в виду, что Христос существовал.

— Видите ли, профессор, — смущенно улыбаясь, отозвался Берлиоз, — мы уважаем ваши несомненно большие знания, но сами придерживаемся другой точки зрения...

— А не надо никаких точек зрения, — ответил профессор, — просто он существовал!

— Но какое же доказательство?..

— А никакого доказательства не надо, — заговорил профессор без всякого акцента, — просто в десять часов утра...

Глава 2 ЗОЛОТОЕ КОПЬЕ

В десять часов утра шаркающей кавалерийской походкой в перистиль под разноцветную колоннаду вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Больше всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все предвещало нехороший день, потому что розовым маслом пропах весь мир. Казалось, что пальма пахнет розовым маслом, конвой, ненавистный балкон. Из недальней кордегардии заносило дымком — легионные кашевары начали готовить обед для дежурного манипула. Но прокуратору казалось, что и к запаху дыма примешивается поганая розовая струя.

«Пахнет маслом от головы моего секретаря, — думал прокуратор, — я удивляюсь, как моя жена может терпеть при себе такого вульгарного любовника... Моя жена дура... Дело, однако, не в розовом масле, а в том, что это мигрень. От мигрени же нет никаких средств в мире... попробую не вертеть головой...»

Из зала выкатили кресло, и прокуратор сел в него. Он протянул руку, ни на кого не глядя, и секретарь тотчас же вложил в нее кусок пергамента. Гримасничая, прокуратор проглядел написанное и сейчас же сказал:

— Приведите его.

Через некоторое время по ступенькам, ведущим с балкона в сад, двое солдат привели и поставили на балконе молодого человека в стареньком, многостиранном и заштопанном таллифе. Руки молодого человека были связаны за спиной, рыжеватые вьющиеся волосы растрепаны, а под заплывшим правым глазом сидел громадных размеров синяк. Левый здоровый глаз выражал любопытство.

Прокуратор, стараясь не поворачивать головы, поглядел на приведенного.

— Лицо от побоев надо оберегать, — сказал по-арамейски прокуратор, — если думаешь, что это тебя украшает...

И прибавил:

— Развяжите ему руки. Может быть, он любит болтать ими, когда разговаривает.

Молодой человек приятно улыбнулся прокуратору. Солдаты тотчас освободили руки арестанту.

— Ты в Ершалаиме собирался царствовать? — спросил прокуратор, стараясь не двигать головой.

Молодой человек развел руками и заговорил.

— Добрый человек...

Но прокуратор тотчас перебил его:

— Я не добрый человек. Все говорят, что я злой, и это верно.

Он повысил резкий голос:

— Позовите кентуриона Крысобоя!

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором.

Крысобой на голову был выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что заслонил невысокое солнце.

Прокуратор сделал какую-то гримасу и сказал Крысобою по-латыни:

— Вот... называет меня «добрый человек»... Возьмите его на минуту в кордегардию, объясните ему, что я злой... Но я не терплю подбитых глаз перед собой!..

И все, кроме прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который жестом показал, что арестованный должен идти за ним. Крысобоя вообще все провожали взглядами, главным образом из-за его роста, а те, кто видел его впервые, — из-за того, что лицо Крысобоя было изуродовано: нос его в свое время был разбит ударом германской палицы.

Во дворе кордегардии Крысобой поставил перед собою арестованного, взял бич, лежащий на козлах, и, не сильно размахнувшись, ударил арестанта по плечам. Движение Крысобоя было небрежно и незаметно, но арестант мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, и некоторое время не мог перевести дух.

— Римский прокуратор, — заговорил гнусаво Марк, плохо выговаривая арамейские слова, — называть «Игемон»... Другие слова нет, не говорить!.. Понимаешь?.. Ударить?

Молодой человек набрал воздуху в грудь, сбежавшая с лица краска вернулась; он протянул руку и сказал.

— Я понял. Не бей.

И через несколько минут молодой человек стоял вновь перед прокуратором.

— В Ершалаиме хотел царствовать? — спросил прокуратор, прижимая пальцы к виску.

— Я, до... Я, игемон, — заговорил молодой человек, выражая удивление здоровым глазом, — нигде не хотел царствовать.

— Лгуны всем ненавистны, — ответил Пилат, — а записано ясно: самозванец, так показывают свидетели, добрые люди.

— Добрые люди, — ответил, оживляясь, молодой человек и прибавил торопливо, — игемон, ничему не учились, поэтому перепутали все, что я говорил.

Потом помолчал и добавил задумчиво:

— Я полагаю, что две тысячи лет пройдет ранее... — он подумал еще, — да, именно две тысячи, пока люди разберутся в том, насколько напутали, записывая за мной.

Тут на балконе наступило полное молчание.

Прокуратор поднял голову и, скорчив гримасу, поглядел на арестанта.

— За тобой записано немного, — сказал он, ненавидя свою боль и даже помышляя о самоубийстве, — но этого достаточно, чтобы тебя повесить.

— Нет, ходит один с таблицей и пишет, — заговорил молодой человек, — достойный и добрый человек. Но однажды, заглянув в эту таблицу, я ужаснулся. Ничего этого я не говорил. И прошу его — сожги эту таблицу. Но он вырвал ее у меня из рук и убежал.

— Кто такой? — спросил Пилат.

— Левий Матвей, — охотно пояснил арестант, — он был сборщиком податей, а я его встретил на дороге и разговорился с ним. Он послушал, деньги бросил на дорогу и сказал: я с тобой пойду путешествовать.

— Ершалаим, — сказал Пилат, поворачиваясь всем корпусом к секретарю, — город, в котором на Пасхе не соскучишься... Сборщик податей бросил деньги на дорогу!

— Подарил, — пояснил молодой человек, — шел мимо старичок, нес сыр. Он ему сказал: подбирай.

— Имя? — спросил Пилат.

— Мое? — спросил молодой человек, указывая себе на грудь.

— Мое мне известно, — ответил Пилат, — твое.

— Ешуа, — ответил молодой человек.

— Прозвище?

— Га-Ноцри.

— Откуда родом?

— Из Эн-Назира, — сказал молодой человек, указывая рукой вдаль.

Секретарь пристроился с таблицей к колонне и записывал на ней.

— Кто ты по национальности? Кто твои родители?

— Я — сириец.

— Никакого языка, кроме арамейского, не знаешь?

— Нет, я знаю латинский и греческий.

Пилат круто исподлобья поглядел на арестованного. Секретарь попытался поймать взгляд прокуратора, но не поймал и еще стремительнее начал записывать. Прокуратор вдруг почувствовал, что висок его разгорается все сильнее. По горькому опыту он знал, что вскоре вся его голова будет охвачена пожаром. Оскалив зубы, он поглядел не на арестованного, а на солнце, которое неуклонно ползло вверх, заливая Ершалаим, и подумал, что нужно было бы прогнать этого рыжего разбойника, просто крикнуть: «Повесить его!» Его увели бы. Выгнать конвой с балкона, припадая на подагрические ноги, притащиться внутрь, велеть затемнить комнату, лечь, жалобным голосом позвать собаку, потребовать холодной воды из источника, пожаловаться собаке на мигрень.

Он поднял мутные глаза на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на проклятом ершалаимском

солнцепеке стоит перед ним этот бродяга с избитым лицом и какие ненужные и глупые вопросы еще придется ему задавать.

— Левий Матвей? — хрипло спросил больной прокуратор и закрыл глаза, чтобы никто не видел, что происходит с ним.

— Да, добрый человек Левий Матвей, — донеслись до прокуратора сквозь стук горячего молота в виске слова, произнесенные высоким голосом.

— А вот, — с усилием и даже помолчав коротко, заговорил прокуратор, — что ты рассказывал про царство на базаре?

— Я, игемон, — ответил, оживляясь, молодой человек, — рассказывал про царство истины добрым людям и больше ни про что не рассказывал. После чего прибежал один добрый юноша, с ним другие, и меня стали бить и связали мне руки.

— Так, — сказал Пилат, стараясь, чтобы его голова не упала на плечо. «Я сказал «так», — подумал страдающий прокуратор, — что означает, что я усвоил что-то, но я ничего не усвоил из сказанного», — и он сказал:

— Зачем же ты, бродяга, на базаре рассказывал про истину, не имея о ней никакого представления? Что такое истина?

И подумал: «О, боги мои, какую нелепость я говорю. И когда же кончится эта пытка на балконе?»

И он услышал голос, сказавший по-гречески:

— Истина в том, что у тебя болит голова, и болит так, что ты уже думаешь не обо мне, а об яде. Потому что, если она не перестанет болеть, ты обезумеешь. И я твой палач, о чем я скорблю. Тебе даже и смотреть на меня не хочется, а хочется, чтобы пришла твоя собака. Но день сегодня такой, что находиться в состоянии безумия тебе никак нельзя, и твоя голова сейчас пройдет.

Секретарь замер, не дописав слова, глядел не на арестанта, а на прокуратора. Каковой не шевелился.

Пилат поднял мутные глаза и страдальчески поглядел на арестанта и увидел, что солнце уже на балконе, печет голову арестанту, он щурит благожелательный глаз, а синяк играет радугой.

Затем прокуратор провел рукою по лысой голове, и муть в его глазах растаяла. После этого прокуратор приподнялся с кресла, голову сжал руками, и на обрюзгшем его лице выразился ужас.

Но этот ужас он подавил своей волей.

А арестант между тем продолжал свою речь, и секретарю показалось, что он слышит не греческие хорошо знакомые слова, а неслыханные, неизвестные.

— Я, прокуратор, — говорил арестант, рукой заслоняясь от солнца, — с удовольствием бы ушел с этого балкона, потому что, сказать по правде, не нахожу ничего приятного в нашей беседе...

Секретарь побледнел, как смерть, и отложил таблицу.

— То же самое я, впрочем, советовал бы сделать и тебе, — продолжал молодой человек, — так как пребывание на нем принесет тебе, по моему разумению, несчастия впоследствии. Мы, собственно говоря, могли бы отправиться вместе. И походить по полям. Гроза будет, — молодой человек отвернулся от солнца и прищурил глаз, —

только к вечеру. Мне же пришли в голову некоторые мысли, которые могли бы тебе понравиться. Ты к тому же производишь впечатление очень понятливого человека.

Настало полное и очень долгое молчание. Секретарь постарался уверить себя, что ослышался, представил себе этого Га-Ноцри повешенным тут же у балкона, постарался представить, в какую именно причудливую форму выльется гнев прокуратора, не представил, решил, что что-то нужно предпринять, и ничего не предпринял, кроме того, что руки протянул по швам.

И еще помолчали.

После этого раздался голос прокуратора:

— Ты был в Египте?

Он указал пальцем на таблицу, и секретарь тотчас поднес ее прокуратору, но тот отпихнул ее рукой.

— Да, я был.

— Ты как это делаешь? — вдруг спросил прокуратор и уставил на Ешуа зеленые, много видевшие глаза. Он поднес белую руку и постучал по левому желтому виску.

— Я никак не делаю этого, прокуратор, — сказал, светло улыбнувшись единственным глазом, арестант.

— Поклянись!

— Чем? — спросил молодой человек и улыбнулся пошире.

— Хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор, причем добавил, что ею клясться как раз время — она висит на волоске.

— Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? — спросил юноша. — Если это так, то ты ошибаешься.

— Я могу перерезать этот волосок, — тихо сказал Пилат.

— И в этом ты ошибаешься. Но об этом сейчас, я думаю, у тебя нет времени говорить. Но пока еще она висит, не будем сотрясать воздух неумными и бессмысленными клятвами. Ты просто поверь мне — я не врач.

Секретарь искоса заглянул в лицо Пилату и мысленно приказал себе ничему не удивляться. Пилат усмехнулся.

— Нет сомнения в том, что толпа собиралась вокруг тебя, стоило тебе раскрыть рот на базаре.

Молодой человек улыбнулся.

— Итак, ты говорил о царстве истины?

— Да.

— Скажи, пожалуйста, существуют ли злые люди на свете?

— Нет.

— Я впервые слышу об этом, и, говоря твоим слогом, ты ошибаешься. К примеру — Марк Крысобой-кентурион — добрый?

— Да, — ответил [юноша], — он несчастливый человек. С тех пор, как ему переломили нос добрые люди, он стал нервным и несчастным. Вследствие этого дерется.

Пилат стал хмур и посматривал на Ешуа искоса.

Потом проговорил:

— Добрые люди бросались на него со всех сторон, как собаки на медведя. Германцы висели на нем. Они вцепились в шею, в руки,

в ноги, и если бы я не дорвался до него с легионерами, Марка Крысобоя не было бы на свете. Это было в бою при Идиставизо. Но не будем спорить о том, добрые ли люди германцы или недобрые... Так ты бродяга, стало быть, ты должен молчать!

Арестант моргнул испуганно глазом и замолчал.

Тут внезапно и быстро на балкон вошел молодой офицер из легиона с таблицей и передал ее секретарю.

Секретарь бегло проглядел написанное и тотчас подал таблицу Пилату со словами:

— Важное дополнение из Синедриона.

Пилат, сморщившись, не беря в руки таблицу, прочел написанное и изменился в лице.

— Кто этот из Кериота? — спросил он тихо. Секретарь пожал плечами.

— Слушай, Га-Ноцри! — заговорил Пилат. — И думай, прежде чем ответить мне: в своих речах ты упоминал имя великого кесаря? Отвечай правду!

— Правду говорить приятно, — ответил юноша.

— Мне неинтересно, — придушенным голосом отозвался Пилат, — приятно тебе это или нет. Я тебя заставлю говорить правду. Но думай, что говоришь, если не хочешь непоправимой беды.

— Я, — заговорил молодой человек, — познакомился на площади с одним молодым человеком по имени Иуда, он из Кериота...

— Достойный человек? — спросил Пилат каким-то певучим голосом.

— Очень красивый и любознательный юноша, но мне кажется, — рассказывал арестант, — что над ним нависает несчастье. Он стал меня расспрашивать о кесаре и пожелал выслушать мои мысли относительно государственной власти...

Секретарь быстро писал в таблице.

— Я и высказал эти мысли.

— Какие же это были мысли, негодяй? — спросил Пилат.

— Я сказал, — ответил арестант, — что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда никакой власти не будет. Человек перейдет в царство истины, и власть ему будет не нужна.

Тут с Пилатом произошло что-то страшное. Виноват ли был в этом усиливающийся зной, били ли ему в глаза лучи, отражавшиеся от белых колонн балкона, только ему померещилось, что лицо арестанта исчезло и заменилось другим — на лысой голове, криво надетый, сидел редкозубый венец; на лбу — смазанная свиным салом с какой-то специей — разъедала кожу и кость круглая язва; рот беззубый, нижняя губа отвисла. Пилату померещилось, что исчезли белые камни, дальние крыши Ершалаима, вокруг возникла каприйская зелень в саду, где-то тихо проиграли трубы, и сиплый больной голос протянул:

— Закон об оскорблении...

Пилат дрогнул, стер рукой все это, опять увидел обезображенное лицо арестанта и подумал: «Боги, какая улыбка!»

— На свете не было, нет и не будет столь прекрасной власти, как власть божественного кесаря, и не тебе, бродяга, рассуждать о ней! Оставьте меня здесь с ним одного, здесь оскорбление величества!

В ту же минуту опустел балкон, и Пилат сказал арестанту:

— Ступай за мной!

В зале с золотым потолком остались вдвоем Пилат и арестант. Было тихо, но ласточка влетела с балкона и стала биться под потолком — вероятно, потеряв выход. Пилату показалось, что она шуршит и кричит: «Караван — караван».

Молчание нарушил арестант.

— Мне жаль, — сказал он, — юношу из Кериота. У меня есть предчувствие, что с ним случится несчастье сегодня ночью, и несчастье при участии женщины, — добавил он мечтательно.

Пилат посмотрел на арестанта таким взглядом, что тот испуганно заморгал глазом. Затем Пилат усмехнулся.

— Я думаю, — сказал он придушенным голосом, — что есть кой-кто, кого бы тебе следовало пожалеть еще ранее Искериота. Не полагал ли ты, что римский прокуратор выпустит негодяя, произносившего бунтовщические речи против кесаря? Итак, Марк Крысобой, Иуда из Кериота, люди, которые били тебя на базаре, и я — это все добрые люди? А злых людей нет на свете?

— Нет, — ответил арестант.

— И настанет царство истины?

— Настанет, — сказал арестант.

— В греческих ли книгах ты вычитал это или дошел своим умом?

— Своим умом дошел, — ответил арестант.

— Оно не настанет, — вдруг закричал Пилат больным голосом, как кричал при Идиставизо: «Крысобой попался!» — Сейчас, во всяком случае, другое царство, и если ты рассчитывал проповедовать и дальше, оставь на это надежду. Твоя проповедь может прерваться сегодня вечером! Веришь ли ты в богов?

— Я верю в Бога, — ответил арестант.

— Так помолись же ему сейчас, да покрепче, чтобы он помутил разум Каиафы. Жена, дети есть? — вдруг тоскливо спросил Пилат и бешеным взором проводил ласточку, которая выпорхнула.

— Нет.

— Ненавистный город, — заговорил Пилат и потер руки, как бы обмывая их, — лучше бы тебя зарезали накануне. Не разжимай рот! И если ты произнесешь хотя одно слово, то поберегись меня!

И Пилат закричал:

— Эй! Ко мне!

Тут же в зале Пилат объявил секретарю, что он утверждает смертный приговор Синедриона, приказал Ешуа взять под стражу, кормить, беречь, как зеницу ока, и Марку Крысобою сказал:

— Не бить!

Затем Пилат приказал пригласить к нему во дворец председателя Синедриона, первосвященника Каиафу.

Примерно через полчаса под жгучим уже солнцем у балкона стояли прокуратор и Каиафа. В саду было тихо, но вдали ворчало, как

в прибое, море и доносило изредка к балкону слабенькие выкрики продавцов воды, — верный знак, что ершалаимская толпа тысяч в пять собралась у лифостротона, ожидая с любопытством приговора.

Пилат начал с того, что вежливо пригласил Каиафу войти во дворец.

Каиафа извинился и отказался, сославшись на то, что закон ему не позволяет [сделать это] накануне праздника.

— Я утвердил приговор мудрого Синедриона, — заговорил Пилат по-гречески, — итак, первосвященник, четверо приговорены к смертной казни. Двое числятся за мной, и о них здесь речь идти не будет. Но двое — за Синедрионом — Варраван Иисус, приговоренный за попытку возмущения в Ершалаиме и убийство двух городских стражников, и второй — Га-Ноцри Ешуа, или Иисус. Завтра праздник Пасхи. Согласно закону, одного из двух преступников нужно будет выпустить на свободу в честь праздника. Укажи же мне, первосвященник, кого из двух преступников желает освободить Синедрион — Варравана Иисуса или Га-Ноцри Иисуса? Прибавлю к этому, что я, как представитель римской власти, ходатайствую о выпуске Га-Ноцри. Он — сумасшедший, а особенно дурных последствий его проповедь не имела. Храм оцеплен легионерами и охраняется, ершалаимские зеваки и врали, — вяло и скучным голосом говорил Пилат, — ходившие за Га-Ноцри, разогнаны, Га-Ноцри можно выслать из Ершалаима; между тем в лице Варравана мы имеем дело с очень опасным человеком; не говоря уже о том, что он убийца, но взяли его с бою и в то время, когда он призывал к прямому бунту против римской власти. Итак?

Чернобородый Каиафа ответил прокуратору:

— Великий Синедрион в моем лице просит выпустить Варравана.

— Даже после моего ходатайства? — спросил Пилат и, чтобы прочистить горло, глотнул слюну. — Повтори, первосвященник.

— Даже после твоего ходатайства прошу за Варравана, — твердо повторил Каиафа.

— Подумай, первосвященник, прежде чем в третий раз ответить, — глухо сказал Пилат.

— В третий раз прошу за Варравана, — отозвал . . . .

неповинного бродячего философа! Темным изуверам от него — беда! Вы предпочитаете иметь дело с разбойником! Но, Каиафа, дешево ты не купишь Га-Ноцри, это уж я тебе говорю! Увидишь ты легионы в Ершалаиме, услышишь ты плач!

— Знаю, знаю, Пилат, — сказал тихо Каиафа, — ты ненавидишь народ иудейский и много зла ему еще причинишь, но вовсе ты его не погубишь!

Наступило молчание.

— О, род преступный! О, темный род! — вдруг негромко воскликнул Пилат, покривив рот и качая головою.

Каиафа побледнел и сказал, причем губы его тряслись:

— Если ты, игемон, еще что-нибудь оскорбительное скажешь, уйду и не выйду с тобой на лифостротон!

Пилат поднял голову, увидел, что раскаленный шар как раз над головой и тень Каиафы съежилась у него под ногами, и сказал спокойным голосом:

— Полдень — пора на лифостротон.

Через несколько минут на каменный громадный помост поднялся прокуратор Иудеи, следом за ним первосвященник Каиафа и охрана Пилата.

Многотысячная толпа взревела, и тотчас цепи легионеров подались вперед и оттеснили ее. Она взревела еще сильнее, и до Пилата донеслись отдельные слова, обрывки хохота, вопли придавленных, свист.

Сжигаемый солнцем, прокуратор поднял правую руку, и шум словно сдунуло с толпы. Тогда Пилат набрал воздуху и крикнул, и голос, сорванный военными командами, понесло над толпой:

— Именем императора!

В ту же секунду над цепями солдат поднялись лесом копья, сверкнули, поднявшись, римские орлы, взлетели на копьях охапки сена.

— Бродяга и тать, именуемый Иисус Га-Ноцри, совершил преступление против кесаря!..

Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце, и оно выжгло ему глаза. Зеленым огнем загорелся его мозг, и опять над толпой полетели хриплые слова:

— Вот он, этот бродяга и тать!

Пилат не обернулся, ему показалось, что солнце зазвенело, лопнуло и заплевало ему уши. Он понял, что на помост ввели Га-Ноцри и, значит, взревела толпа. Пилат поднял руку, опять услышал тишину и выкрикнул:

— И вот этот Га-Ноцри будет сейчас казнен!

Опять Пилат дал толпе выдохнуть вой и опять послал слова:

— Чтобы все знали, что мы не имеем царя, кроме кесаря!

Тут коротко, страшно прокричали в шеренгах солдаты, и продолжал Пилат:

— Но кесарь великодушен, и поэтому второму преступнику Иисусу Вар-Раввану...

«Вот их поставили рядом», — подумал Пилат и, когда стихло, продолжал; и слова, выкликаемые надтреснутым голосом, летели над Ершалаимом:

— ...осужденному за призыв к мятежу кесарь император в честь вашего праздника, согласно обычаю, по ходатайству великого Синедриона, подарил жизнь!

Вар-Равван, ведомый за правую руку Марком Крысобоем, показался на лифостротоне между расступившихся солдат. Левая сломанная рука Вар-Раввана висела безжизненно. Вар-Равван прищурился от солнца и улыбнулся толпе, показав свой с выбитыми передними зубами рот.

И уже не просто ревом, а радостным стоном, визгом встретила толпа вырвавшегося из рук смерти разбойника и забросала его финиками, кусками хлеба, бронзовыми деньгами.

Улыбка Раввана была настолько заразительна, что передалась и Га-Ноцри.

И Га-Ноцри протянул руку, вскричал:

— Я радуюсь вместе с тобой, добрый разбойник! Иди, живи!

И тут же Раввана Крысобой легко подтолкнул в спину, и Вар-Равван, оберегая больную руку, сбежал по боковым ступенькам с каменного помоста и был поглощен воющей толпой.

Тут Ешуа оглянулся, все еще сохраняя на лице улыбку, но отражения ее ни на чьем лице не встретил. Тогда она сбежала с его лица. Он повернулся, ища взглядом Пилата. Но того уже не было на лифостротоне.

Ешуа попытался улыбнуться Крысобою, но и Крысобой не ответил. Был серьезен так же, как и все кругом.

Ешуа глянул с лифостротона, увидел, что шумящая толпа отлила от лифостротона, а на ее место прискакал конный сирийский отряд, и Ешуа услышал, как каркнула чья-то картавая команда.

Тут Ешуа стал беспокоен. Тревожно покосился на солнце. Оно опалило ему глаза, он закрыл их и почувствовал, что его подталкивают в спину, чтобы он шел.

Он заискивающе улыбнулся какому-то лицу. Это лицо осталось серьезным, и Ешуа двинулся с лифостротона.

И было десять часов утра.

Глава 3 СЕДЬМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

— И было десять часов утра, многоуважаемый Иван Николаевич, — сказал профессор.

Иван провел рукой по лицу, как человек, только что очнувшийся после сна, и увидел, что на Патриарших прудах вечер.

Дышать стало полегче, вода в пруде почернела, легкая лодочка скользила по ней, слышался всплеск весла. Небо как бы выцвело над Москвой, и видна уже была в высоте луна, но не золотая еще, а белая. Голоса под липами зазвучали мягче, по-вечернему.

«Как это я не заметил, что он наплел целый рассказ? — подумал Иван. — Вот уже и вечер, а может, это и не он рассказывал, а просто я заснул?»

Но, очевидно, рассказывал профессор, или Берлиозу приснилось то же, что и Ивану, потому что Берлиоз сказал, всматриваясь в лицо иностранцу:

— Ваш рассказ очень интересен, хотя и не совпадает с евангельскими рассказами...

— Ну уж кому же лучше знать это происшествие, чем мне, — ответил очевидец самонадеянный профессор.

— Боюсь, — сказал Берлиоз, — что никто не может подтвердить, что все это так и происходило...

— Нет, это может кто подтвердить, — ломаным языком отозвался профессор и вдруг таинственно поманил обеими руками приятелей к себе.

Те наклонились к нему, и он сказал, но уж без всякого акцента:

— Дело в том, что я лично присутствовал при всем этом. Был на балконе у Понтия Пилата и на лифостротоне, но только тайно, инкогнито, так сказать, так что, пожалуйста, — никому ни слова и полнейший секрет! Т-сс!

Наступило молчание, и Берлиоз побледнел.

— Вы... вы сколько времени в Москве? — дрогнувшим голосом спросил он.

— Я сейчас только что приехал в Москву, — растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему в глаза и увидели: Берлиоз — что левый зеленый глаз у него совершенно безумен, а Понырев — что правый мертв и черен.

«Вот все и разъяснилось! — подумал Берлиоз. — Приехал сумасшедший немец! Или только что спятил. Вот так история!»

Берлиоз был решительным и сообразительным человеком. Прежде всего, откинувшись на спинку скамьи, он замигал за спиной профессора Ивану Николаевичу — мол, не противоречь ему! — и Иван его понял.

— Да, да, да! — заговорил Берлиоз возбужденно. — Впрочем, все это возможно... очень возможно... и Понтий Пилат, и балкон... А вы один приехали или с супругой?..

— Один, один, я всегда один, — горько ответил профессор.

— А ваши вещи где, профессор? — вкрадчиво продолжал осведомляться Мирцев. — В «Метрополе»? Вы где остановились?

— Я — нигде, — ответил немец, тоскливо и дико блуждая зеленым глазом по Патриаршим прудам.

— Как?! А где же вы будете жить?

— В вашей квартире, — вдруг, развязно подмигнув, ответил сумасшедший.

— Я... очень рад, но, право, вам будет у меня неудобно... В «Метрополе» чудные номера, первоклассная гостиница...

— А дьявола тоже нет? — вдруг раздраженно спросил сумасшедший у Ивана.

— И дьявола...

— Не противоречь! — шепнул Мирцев.

— Нету никакого дьявола! — растерявшись, закричал Иван не то, что нужно. — Вот вцепился! Перестаньте вы психовать!

Безумный расхохотался так, что из липы над головами сидящих выпорхнул воробей.

— Ну уж это положительно интересно, — трясясь от хохота, проговорил немец, — что ж это у вас действительно ничего нету! Что ни спросишь — нету! Нету!

— Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь, профессор, — бормотал Мирцев, — вы посидите минуточку с товарищем Поныревым, а я только сбегаю на угол, позвоню по телефону, а потом мы вас проводим, ведь вы не знаете города!..

План Мирцева был правилен: добежать до ближайшего телефона-автомата и позвонить куда следует, что, вот, приезжий из-за границы консультант бродит по Патриаршим прудам в состоянии ненормальном. Так вот, чтобы приняли меры, а то получается какая-то неприятная чепуха.

— Позвонить? Пожалуйста, позвоните, — отозвался бойкий профессор, — но умоляю вас на прощание, поверьте хоть в то, что дьявол существует! Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство!

— Хорошо, хорошо, — фальшиво-ласково проговорил Мирцев и, подмигнув расстроенному Ивану, которому вовсе не улыбалось караулить сумасшедшего, устремился по аллее к выходу на угол Бронной и переулка.

А профессор тотчас как будто и выздоровел и посвежел.

— Михаил Александрович! — крикнул он вдогонку Мирцеву. Мирцев, вздрогнув, остановился, но вспомнил про журнал и несколько успокоился.

— А?

— Не прикажете ли, я велю дать телеграмму вашему дяде в Киев?

Опять дрогнул Мирцев. «Откуда же он знает, что у меня дядя в Киеве? Эге... ге... Уж не прав ли Иван... Это не иностранец! Ой, какая история! Звонить, звонить! Его быстро разъяснят!» И, уже не слушая больше, он побежал дальше.

И тут со скамейки у самого выхода поднялся навстречу редактору в точности тот самый субъект, что совсем недавно соткался из жирного зноя. Только сейчас он был уже не воздушный, а обыкновенный, плотский, так что Мирцев в наступающем предвечерье отчетливо разглядел, что усишки у него как куриные перья, глазки маленькие, иронические и полупьяные, жокейский картузик, а брючки клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки.

Михаил Александрович содрогнулся, попятился даже, но утешил себя мыслью, что это глупое совпадение, что вообще сейчас думать об этом некогда.

— Турникет ищете, гражданин? — треснувшим тенором осведомился субъект. — Вы аккуратны, секунда в секунду, и хорошо... Ваш срок истекает, гражданин... Сюда пожалуйте! Прямо попадете, куда надо... С вас бы за указание на четверть литра, — кривляясь, кричал субъект, — бывшему регенту!..

Но Мирцев не стал слушать назойливого ломаку-попрошайку и быстро тронулся к турникету.

Он повернул его и собрался шагнуть, как вдруг в темнеющем воздухе над ним вспыхнул красный и белый свет — загорелся стеклянный ящик с надписью: «Берегись трамвая!»

Тотчас и подлетел этот трамвай, вышедший с Садовой на Бронную. Выйдя на прямую, он внезапно осветился электричеством, наддал, взвыл.

Осторожный Мирцев, хоть и стоял безопасно, решил попятиться за турникет. Он переложил руку на турникете, переступил, и сейчас же рука его скользнула и сорвалась, нога поехала по булыжникам не-

удержимо, как по льду, другую подбросило, и Мирцев оказался лежащим на рельсах. Он упал навзничь, успел повернуться и, повернувшись, увидел в высоте где-то сбоку уже позлащенную луну, а над собою в стекле — белое от смертельного ужаса девичье лицо вожатой. Она была в красной повязочке.

Мирцев не успел ни крикнуть, ни простонать. Вожатая ударила по тормозу, взвизгнула, вагон сел носом в землю, подпрыгнул потом и сразу накрыл Мирцева. Стекла вылетели. Луна сбоку прыгнула и разлетелась в куски, чей-то голос в мозгу крикнул: «О боже! Неужели!» Тело скомкало, и с рельса выбросило на Бронную круглый, темный предмет — отрезанную голову Мирцева.

Глава 4 ПОГОНЯ

Утихли безумные женские визги на Бронной, отсверлили свистки милиционеров, отвыли сирены двух машин, увезших — одна обезглавленное тело, а другая — раненных стеклами вожатую и милиционера, бывшего на передней площадке, а Иван Николаевич Понырев как упал на скамейку, не добежав до турникета, так и остался на ней сидеть.

Он несколько раз пытался подняться, но ноги его не послушались, с Иваном случилось что-то вроде паралича.

Вспоминая, как голова подскакивала в сумерках по мостовой, Иван несколько раз укусил себя за руку до крови. Про сумасшедшего немца он забыл и старался понять только одно, как это может быть, что вот только что, только что он говорил с этим человеком и через минуту... голова... голова... О боже, как же это может быть?

Народ бежал по аллее мимо обезумевшего Ивана, возбужденно перебрасываясь словами, но Иван никаких слов не воспринимал.

Но, неожиданно, у самой скамьи Ивана столкнулись две женщины, и одна из них, взволнованная, востроносая, над самым ухом поэта закричала так:

— Аннушка! Аннушка! Говорю тебе, ее работа. Аннушка Гречкина с Садовой. Взяла в бакалее на Бронной постное масло, да банку-то об вертушку эту и разбей! Уж она ругалась, ругалась! А он, бедный, стало быть, поскользнулся, да и поехал из-под вертушки!..

Дальнейших слов Иван не слыхал, женщины пробежали. Из всего выкрикнутого женщиной в больной мозг Ивана вцепилось почему-то только одно слово «Аннушка». Несчастный напряг голову, мучительно вспоминая, что связано с этим именем.

— Аннушка... Аннушка... — забормотал Иван Николаевич, безумно глядя в землю, — позвольте, позвольте...

Тут к слову «Аннушка» прицепились слова «постное масло», затем почему-то вспомнился Понтий Пилат и опять померещилась отрезанная голова.

В голове Ивана вдруг стало светлеть, светлеть, и в несколько секунд он подобрал цепь из этих слов, и цепь эта — ужасная цепь — привела прямо к сумасшедшему профессору.

Силы вдруг вернулись к Ивану, он не сидел уже, а стоял.

Позвольте! Позвольте! Да ведь он же, профессор, сказал, что Аннушка разлила уже постное масло... Да он прямо же сказал... «Вам отрежет голову...» И вожатая-то ведь женщина была, женщина, поймите!

Да, не оставалось и тени, зерна сомнения в том, что этот таинственный консультант знал, точно знал заранее всю картину ужасной смерти Мирцева! Да как же это может быть?!

Тогда две мысли пронизали мозг Ивана Николаевича: «Нет, он не сумасшедший!» — и другая: «Он подстроил это все, он убил Мирцева». Но как?!

— Э, нет, это мы узнаем! — сквозь зубы сам себе сказал Иван Николаевич. Все существо его сосредоточилось на одном: сию же минуту найти этого профессора, а найдя его, — арестовать. Но, ах, ах... не ушел бы он! Где он?

Но профессор не ушел.

Озираясь, Иван отбежал от скамейки и тотчас увидел его.

Он — профессор, а может быть, и не профессор, а страшный, таинственный убийца — стоял там, где Иван его покинул. Золотая луна светила над Патриаршими, Иван его хорошо разглядел в профиль. Да, это он, и трость он взял под мышку.

Отставной втируша-регент сидел неподалеку на скамейке. Теперь он нацепил себе на нос явно не нужное ему пенсне, в котором одного стеклышка совсем не было, а другое треснуло. От этого регент стал еще гаже, чем был тогда, когда указал Мирцеву путь на рельсы.

Чувствуя, что ноги дрожат, Иван с пустым и холодным сердцем приблизился к профессору, и тот повернулся к Ивану. Тогда Иван глянул ему в лицо и понял, что никаких признаков сумасшествия в этом лице нет.

— Сознавайтесь, кто вы такой? — глухо спросил Иван.

Иностранец насупился и сказал неприязненно:

— Их ферштейн нихт.

— Они не понимают, — ввязался пискливо со скамейки регент, хоть его никто и не просил переводить.

— Не притворяйтесь! — грозно сказал Иван и почувствовал холод под ложечкой. — Вы только [что] говорили по-русски!

Иностранец глядел на Ивана, и тот видел, отчетливо видел, что в глазах у него глумление.

— Вы не немец, вы не профессор, — тихо продолжал Иван, — вы — убийца! Вы знали про постное масло! Знали? Документы! — вдруг яростно крикнул Иван.

Неизвестный отозвался, брезгливо кривя и без того кривой рот:

— Вас ист ден лос?..

— Гражданин! — опять ввязался мерзавец регент. — Не беспокойте интуриста!

Неизвестный сделал надменное лицо и, повернувшись, стал отходить.

Иван почувствовал, что теряется. Он кинулся было следом за неизвестным, но почувствовав, что один не управится, и задыхаясь, обратился к регенту:

— Эй, гражданин, помогите задержать преступника! Вы обязаны!

Регент тотчас оживился чрезвычайно и вскочил:

— Который преступник? Где он? Иностранный преступник? — закричал он, причем глазки его радостно заиграли. — Этот? Гражданин! Ежели он преступник, то первым долгом кричите — караул! А то он уйдет! Давайте вместе! А ну!

Растерявшийся Иван послушался штукаря-регента и крикнул «Караул!», но регент его надул, ничего не крикнув.

А одинокий крик Ивана никаких хороших результатов не дал. Две девицы шарахнулись от него, и Иван услышал слово «ишь пьяные».

— А, ты с ним заодно! — в бешенстве обратился Иван к регенту. — Ты что ж, глумишься надо мною? Пусти!

Иван кинулся вправо, и регент вправо, Иван — влево, и тот туда же.

— Ты что, под ногами путаешься нарочно?! — закричал Иван регенту, который плясал перед ним, дыша Ивану в лицо луком и подмигивая сквозь треснувшее стеклышко. — Я тебя самого предам милиции, — и сделал попытку ухватить негодяя за рукав, но не поймал ничего.

Регент как сквозь землю провалился. Тогда Иван глянул вдаль и в сумерках увидел своего неизвестного. Он уже был в конце аллеи у самого выхода и не один. Более чем сомнительный регент присоединился к нему, и даже издали видна была на его роже подхалимская улыбочка.

Но это еще не все. Третьим был неизвестно откуда взявшийся кот, громадный, как боров, черный, как грач, с кавалерийскими отчаянными усами.

Вся тройка повернулась и решительно стала уходить. Иван устремился за ними, задыхаясь, и очень скоро убедился в том, что догнать злодеев будет не так легко. Тройка вышла на Садовую, Иван прибавил шагу, тройка не прибавила, а между тем расстояние между преследуемыми и преследователем ничуть не сократилось. Иван сделал попытку прибегнуть к содействию прохожих, но его искусанные руки, дикий блуждающий взор и, главное, слова «помогите задержать иностранца с шайкой» были причиной того, что Ивана приняли за пьяного и никто не пришел ему на помощь.

На Садовой произошла совершенно невероятная сцена. Видя, что Иван неотступно следует сзади, компания применила излюбленный бандитский прием — уходить врассыпную.

Регент с великой ловкостью на ходу вскочил в трамвай «Б», как ветер летящий к Смоленскому рынку, и тот унес негодяя, как змея ввинтившегося на площадку и никем не оштрафованного. Странный же кот попытался сесть во встречный «Б» на остановке. Иван ошалел, видя, как кот на задних лапах подошел к подножке, нагло отсадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень и даже сделал попытку передать кондукторше гривенник. Иван был поражен поведением кота, но гораздо более поведением кондукторши. Лишь только

кот устроился на подножке, кондукторша с остервенелым лицом высунулась в открытое окно и со злобой, от которой даже тряслась, закричала:

— Котам нельзя! Нельзя котам! Слезай, не то милицию позову!

Ни кондукторшу, ни кого из пассажиров, набивших вагон до того, что он готов был лопнуть, не поразила самая суть дела: не то, что кот лезет в трамвай, а то, что он собирается платить.

Всяк был занят своим делом, всякому было некогда, и в вагоне не прекратились болезненные стоны и оханья тех, кому отдавили ноги, и так же слышались возгласы ненависти и отчаяния, так же давили друг друга и умоляли передать деньги, и крали кошельки, и поливали полотерской краской.

Самым дисциплинированным показал себя все-таки кот. При первом визге кондукторши он прекратил сопротивление, снялся с подножки и сел на мостовой, потирая гривенником усы.

Но лишь только кондукторша рванула ремень и трамвай тронулся, кот поступил как раз так, как поступил бы каждый, кого изгоняют из трамвая, а кому ехать, между тем, надо. Именно, пропустив мимо себя прицепные вагоны, он сел на заднюю дугу, лапой уцепился за какую-то кишку, выходящую из задней стенки, и укатил, сэкономив гривенник.

Видя, что двое ушли, Иван сосредоточился на том, чтобы поймать третьего и самого главного — консультанта.

Правда, теперь у Ивана уже блуждала в голове еще не оформившаяся как следует мысль, что он имеет дело с какой-то если не сверхъестественной, то во всяком случае необычной силой, но он решил ни перед чем не останавливаться и догнать врага, чего бы это ни стоило.

Серый берет плыл над головами малорослых прохожих уже по залитой светом Тверской, Иван прибавлял шагу, [пытаясь] иногда бежать, толкая встречных, и ничего не выходило: он ни на шаг не приближался к иностранцу.

Ускользнуло от внимания умственно расстроенного Ивана то обстоятельство, что двигался он вслед за злодеем с необыкновенной быстротою. Так, не прошло и двадцати секунд, как оба оказались в Газетном переулке. Здесь иностранец ушел в освещенный телеграф, неизвестно зачем обошел его кругом и вышел в сопровождении неотступного Ивана вновь на улицу. Еще прошло несколько секунд, и Иван увидел себя уже в Савеловском переулке на Остоженке. Здесь беглец ушел в подъезд большого дома № 12. Иван ворвался туда. Из пещеры, помещавшейся в полутьме, рядом с недействующим лифтом, вышел запущенный, небритый швейцар, тоскливо спросил у Ивана:

— Вы к Ивану Николаевичу? — И, видимо, желая получить на чай, прибавил: — Не извольте ходить, их дома нету, они в шахматы ушли играть.

— Не путай ты меня, — зарычал на него поэт, — я сам Иван Николаевич. Пусти! Иностранца ловлю!

Швейцар испугался почему-то и ушел в пещеру, а Иван побежал вверх по широким ступеням. Почему-то он догадался, что беглец скрылся в квартире «67», и длинно позвонил.

Ивану открыл маленький самостоятельный ребенок лет пяти, не удивился, что пришел неизвестный, впустил Ивана, а сам куда-то исчез. Иван увидел в тусклом свете слабой лампочки под потолком облезлую шапку на вешалке, велосипед без шин, висящий на стене, сундук, окованный жестью, словом, все то, что бывает в каждой передней, и устремился в коридор. «В ванной спрятался, понимаю», — подумал он и рванул дверь. Крючок соскочил, и Иван действительно оказался в ванной комнате, где было еще меньше света, чем в передней. В ванне, некогда белой, а теперь выщербленной, выбитой, покрытой черными язвами, стояла голая гражданка, вся в мыле. Она близоруко прищурилась на ворвавшегося Ивана и сказала, очевидно, не узнав его:

— Бросьте трепаться, Кирюшка! Сейчас муж придет. Вон сейчас же! — и засмеялась, мокнув мочалкой Ивана.

Иван, как ни был воспален его мозг, понял, что влопался, что произошел страшнейший конфуз, но, не желая признаваться в этом, сказал укоризненно:

— Ах, развратница, развратница!

Через секунду он был уже в кухне. Там никого не было. В окно светил фонарь и луна. На необъятной плите стояли примусы и керосинки. Иван понял, что преступник ушел на черный ход.

Он сел, чтобы отдышаться, на табурет, и тут ему особенно ясно стало, что, пожалуй, обыкновенным способом такого, как этот иностранец, не поймаешь.

Сообразив это, он решил вооружиться свечечкой и иконкой. Пришло это ему в голову потому, что фонарь осветил как раз тот угол, где висела забытая, в пыли и паутине, икона в окладе, из-за которой высовывались концы двух венчальных свечей, расписанные золотыми колечками. Под большой иконой помещалась маленькая бумажная, изображающая Христа. Иван присвоил одну из свечей, а также и бумажную иконку, нашарил замок в двери и вышел на черный ход, оттуда в огромный двор и опять в переулок.

Новая особенность теперь появилась у Ивана Николаевича: он начал соображать необыкновенно быстро. Так, например, выйдя в переулок и видя, что беглеца нету, Иван тотчас же вскричал: «А! Стало быть, он на Москве-реке! Вперед!» Хотя почему на Москве-реке, — стало быть, нужно было бы спросить у Ивана. Спросить, однако, было некому, тротуары были пустынны, и Иван побежал по лабиринту переулков и тупиков, стремясь к реке.

Неизвестно, через сколько времени и каким образом Иван оказался на громадном гранитном амфитеатре, спускающемся к воде. Амфитеатр был весь усеян снятой одеждой и голыми или полуголыми людьми. Меж них Иван пробрался к самой воде. Он чувствовал, что очень, очень вымотался, что физические силы его покидают, и решил искупаться.

Огненные полосы от фонарей шевелились в черной воде, от нее поднимался легкий запах нефти. Слышались всплески, люди по-лягушачьи прыгали в воду и плавали, фыркая и вскрикивая от наслаждения.

Бормоча что-то, Иван дрожащими руками совлек с себя одежду и опустился в воду. Тело его получило облегчение в ней, ожило и окрепло, но голове вода не помогла, сумасшедшие мысли бушевали в ней.

Когда Иван вышел на гранит, он сразу убедился, что оставленной им без присмотра одежды его и тапочек нету. На их месте лежали совсем другие вещи, именно — грязные полотняные кальсоны и сорочка, продранный локоть которой был заколот английской булавкой. Из вещей же, принадлежавших Ивану, некурящий похититель оставил лишь свечу, иконку и спички.

Иван, не волнуясь и не жалуясь никому на то, что его обокрали, будучи теперь равнодушен [к тому], во что одеваться, надел сорочку и кальсоны, взял свечу, иконку и спички и покинул гранитные террасы. Вскоре он вышел на Остоженку. Наряд Ивана был странен, но прохожие мало обращали на него внимания — дело летнее, а тут еще человек, наверное, выпивши.

— К Грибоедову, вот куда, — хрипло сказал Иван, — убежден, что он там! — и тронулся дальше.

Теперь в Москве уже был полный майский вечер. Все круглые часы на углах горели, все окна были раскрыты, во всех виднелись оранжевые абажуры, отовсюду неслись звуки оперы «Евгений Онегин», передаваемой по радио, грузовики, неугомонные и ночью, носились с грохотом по улицам, из подворотен слышались балалайки и гармоники, из дверей — детские голоса.

Иван, которого уже пугали вспышки зеленые, желтые и красные, Иван, оглушаемый гудками и густым хриплым ревом генерала Гремина из каждого окна, с каждого столба, углубился в переулок, где было не так страшно, и тут следы его пропали.

Глава 5 ДЕЛО БЫЛО В ГРИБОЕДОВЕ

Белый, большой, двухэтажный дом старинной постройки помещался в глубине небольшого и чахлого сада на бульварном кольце и носил название «Дома Грибоедова». Говорили, что некогда он принадлежал тетке Грибоедова, хотя, сколько помнится, никакой тетки у Грибоедова не было. Так что надо полагать, что рассказы о том, как Грибоедов в этом самом доме, в круглом зале с колоннами, читал старухе сцены из «Горе от ума», представляют собою обыкновенные московские враки.

Но как бы то ни было, в настоящее время дом был во владении той самой московской ассоциации литераторов, или Массолит, секретарем которой и был Александр Александрович Мирцев до своего появления на Патриарших прудах. Комнаты верхнего этажа были заняты различными отделами Массолита и редакциями двух журна-

лов, вверху же находящийся круглый зал отошел под зал заседаний, а весь нижний этаж был занят популярнейшим в столице писательским рестораном.

В половину одиннадцатого вечера в довольно тесной комнате вверху томилось человек двенадцать литераторов разных жанров, ожидающих опоздавшего Александра Александровича. Компания, рассевшаяся на скрипящих рыночных стульях, отчаянно курила и томилась. В открытое в сад окно не проникала ни одна свежая струя. Москва накалила за день свой гранитный, железный и асфальтовый покров, теперь он весь жар отдавал в воздух, и было понятно, что ночь не принесет облегчения.

Драматург Бескудников вынул часы. Стрелка ползла к одиннадцати.

— Однако он больно здорово запаздывает, — сказал поэт Двубратский, сидящий на столе и от тоски болтающий ногами, обутыми в желтые туфли на толстенной каучуковой подошве.

— Хлопец на Клязьме застрял, — сорванным голосом отозвалась поэтесса Настасья Савишна Храмкина.

— Позвольте, все это хорошо, что он на Клязьме, — заговорил автор популярных скетчей Загривов, — я и сам бы сейчас на веранде чайку попил, вместо того чтобы здесь сидеть. Ведь он же знает, что заседание в десять? — В голосе Загривова слышалась справедливая злоба.

— А хорошо сейчас на Клязьме, — подзудила присутствующих Храмкина.

— Третий год вношу денежки, однако до сих пор ничего в волнах не видно, — отозвался новеллист Поприхин.

— Клязьма место генеральское, — послышался из угла голос Водопаева.

— Словом, это безобразие! — воскликнул Денискин, человек неопределенного жанра, пишущий и стихи, и пьесы, и критические статьи, и рецензии. — Пять минут двенадцатого!

Его поддержали и Буздяк и Глухарев. В комнате назревало что-то вроде бунта. Решили звонить. Звонили на Клязьму, в литераторский дачный поселок. Попали не на ту дачу — к Семуковичу. Потом попали на ту, на какую надо, узнали, что товарищ Мирцев и вовсе не бывал сегодня на Клязьме.

Стали звонить в комитет искусства, науки, литературы — Исналит, в комнату 918. Никого в этой комнате не было.

Тогда началось возмущение. Храмкина заявила напрямик, что при всем уважении ее к товарищу Мирцеву она осуждает такое поведение — мог бы и позвонить! Ведь его двенадцать человек ждут!

— Мог бы позвонить! — гудел Буздяк.

Но товарищ Мирцев никому позвонить не мог. Далеко, далеко от дома Грибоедова, в громадном зале с цементным полом, под сильным светом прожекторов на трех цинковых столах лежало то, что было когда-то Мирцевым.

На первом — обнаженное, в засохшей крови тело с перебитой рукой и раздавленной грудной клеткой, на втором — голова с выбиты-

ми передними зубами, с бессмысленным глазом, которого не пугал режущий свет тысячесвечовой лампы, с слипшимися в крови волосами, на третьем — груда заскорузлых тряпок, в которых и узнать нельзя было костюм Мирцева.

У стола стояли седой профессор и молодой прозектор, оба в кожаных халатах и резиновых перчатках, и двое в защитных блузах, в крагах с маленькими браунингами на поясах. Стоявшие тихо совещались о том, как лучше поступить: закрыть ли наглухо черным покрывалом останки Мирцева и так уложить их в гроб, который завтра будет выставлен в круглом зале Массолита, или же пришивать струнами голову к туловищу, черной повязкой закрыть только глаза, а другою шею и так выставить, для того чтобы члены Массолита могли попрощаться со своим секретарем.

Решили сделать второе, и прозектор крикнул сторожу:

— Иглы! Струны!

Да, он не мог позвонить! И в половину двенадцатого опустела комната, где должно было быть заседание, и не состоялось оно, как раз как и предсказал неизвестный на Патриарших прудах.

Все двенадцать литераторов спустились вниз, чтобы поужинать в ресторане. Тут опять недобрым словом помянули Александра Александровича: мест на веранде под тентом, где кое-как можно было дышать, уже не оказалось, и пришлось идти в низкие сводчатые залы зимнего помещения.

Без четверти двенадцать, как гром, ударил вдруг рояль, ему ответили прыгающие скачущие звуки на тонких клавишах, захромали синкопы, завыли в рояле какие-то петухи — пианист заиграл бравурный зверский фокстрот. От музыки засветились лоснящиеся в духоте лица, показалось, что заиграли на потолке лиловые с завитыми по-ассирийски гривами лошади, кто-то пропел что-то, где-то покатился со звоном бокал, и через минуту весь зимний зал заплясал, а за ним заплясала веранда.

Заплясал Глухарев с девицей — архитектором Тамарой Сладкой, заплясал Буздяк с женой, знаменитый романист Жукопов с киноактрисой. Плясали Драгунский, Чапчачи, Водопоев с Храмкиной, плясала Семейкина-Галл, схваченная крепко неизвестным рослым в белых брюках.

Плясали свои и приезжие в Москву: Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова — кажется, режиссер.

Плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом, в пиджаках с подбитыми ватой плечами.

Плясал пожилой с бородой, в которой застряло перо зеленого лука, топчась, как медведь, перед хилой девушкой в зеленом шелковом платьишке.

Официанты с оплывающими лицами несли над головой кружки с пивом, хрипло и ненавистно говорили «виноват», продираясь между танцующими, где-то кто-то кричал в рупор: «Карский — раз!»

Словом — ад. И перед самой полночью было видение: вышел на веранду черноглазый красавец с острой, как кинжал, бородой, во фраке и царственным благосклонным взглядом окинул свои вла-

дения. Утверждал, утверждал беллетрист Избердей, известнейший мистик и лгун, что этот красавец не носил раньше фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, за которым торчали пистолеты, а воронова крыла волосы красавца были повязаны алым шелком, и плыл под его командой не ресторан на Кольце, а бриг в Караибском море под страшным флагом — черным с Адамовой головой.

Но нет, нет! Лжет, лжет, склоняясь к рюмке, Избердей! Нет никаких Караибских морей на свете, и не плывут отчаянные флибустьеры, не гонится за ними корвет, не слышно пушечного его грохота, не стелется над волнами пушечный дым.

Ничего этого нет, не было! И плавится лед в вазочке, и видны налитые кровью глаза Избердея, и тоскливо мне!

Ровно в полночь фокстрот прекратился внезапно, как будто кто-то ударил пианиста в сердце ножом, и тотчас за всеми столами загремело слово «Мирцев», «Мирцев!». Конечно, вскакивали, вскрикивали: «Да не может быть!» Не обошлось и без некоторой чепухи, вполне понятной в ресторане. Так, кто-то, залившись слезами, тут же предложил спеть вечную память. Уняли. Кто-то суетился и кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить коллективно телеграмму и немедленно послать ее...

Но куда и зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна эта телеграмма тому, чей затылок сейчас сдавлен в руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами, струнит профессор?

Да, убит... Но мы-то живы? Волна горя высоко всплеснулась, но стала опадать, и уж кто-то вернулся к столику и украдкой выпил водочки и закусил, не остывать же киевским котлетам... Ведь мы-то живы?

Рояль закрыли, танцы отменили, трое журналистов спешно покинули дом тетки. Им уже звонили на вешалку ресторана из редакций — нужно было сейчас же писать некрологи.

Итак, гости вернулись к своим столам, обсуждая страшное событие и споря по поводу сплетни, пущенной Храмкиной и Избердеем, именно, что Мирцев не случайно попал под трамвай, а бросился под него умышленно, потому что...

Но не успела сплетня разбухнуть, как произошло второе, что поразило публику в ресторане побольше, чем известие о смерти Мирцева.

Первыми взволновались лихачи, всегда дежурящие на бульваре у входа в грибоедовский сад. Один из них даже с козел слез, причем послышался его иронический возглас: «Тю! Вы поглядите!»

Вслед за тем от решетки отделился маленький огонечек, а с ним вместе — беленькое тощее привидение, которое и направилось по асфальтовой дорожке под деревьями прямо к веранде. За столиками стали подниматься, всматриваться, и чем больше всматривались, тем больше изумлялись.

Привидение же тем временем подошло к веранде, и тогда уж все на ней как закоченели за столиками. Швейцар, вышедший из зимней вешалки ресторана на угол к веранде покурить, вдруг, тревожно всматриваясь в привидение, подбежал было к нему с ясною целью

преградить ему доступ на веранду, но, всмотревшись, не посмел этого сделать и вернулся к веранде, растерянно и глупо улыбаясь.

Привидение же тем временем вступило на веранду, и все увидели, что это не привидение, а всем известный Иван Николаевич Понырев. Но от этого не стало легче, и изумление перешло в смятение.

Иван Николаевич был бос, в кальсонах, в разодранной ночной рубашке. На груди Ивана Николаевича прямо к коже была приколота английской булавкой иконка с изображением Христа, а в руках находилась венчальная позолоченная зажженная свеча. Правая щека Ивана Николаевича была свежеизодрана и покрыта запекшейся кровью.

На веранде воцарилось молчание, и видно было, как у одного из официантов пиво текло на пол из покосившейся в руке кружки.

Иван поднял свечу над головой и сказал так:

— Здорово, братья!

От такого приветствия молчание стало глубже, а Иван заглянул под первый столик, на котором стояла вазочка с остатками зернистой икры, посветил под него, причем какая-то дама пугливо отдернула ноги, и сказал тоскливо:

— Нету его и здесь!

Тут послышались два голоса, и первый из них, бас, сказал тихо и безжалостно:

— Готово дело. Белая горячка.

А второй, женский, испуганно:

— Как же милиция-то пропустила его по улицам?

Второе Иван услыхал и отозвался:

— На Бронной хотели задержать, да я махнул через забор и всю щеку об проволоку изодрал.

Тут все увидели, что некогда зеленые и нагловатые глаза Ивана теперь как бы затянуты пеленою, как бы перламутровые, и страх вселился в сердца.

— Братья во литературе! — вдруг вскричал Иван и взмахнул свечой, и огонь взметнулся над его головой, и на голову капнул воск. — Слушайте меня! Он появился! — Осипший голос Ивана окреп, стал горяч. — Он появился! Ловите же его немедленно, иначе натворит он неописуемых бед.

— Кто появился? — отозвалась испуганно женщина.

— Консультант! — вскричал Иван. — И этот консультант убил сегодня Сашу Мирцева на Патриарших прудах!

Внутри ресторана на веранду повалил народ.

— Виноват, скажите точнее, — послышался над ухом Ивана тихий и вежливый голос, — скажите, товарищ Понырев, как это убил?

Вокруг Ивана стала собираться толпа.

— Профессор и шпион! — закричал Иван.

— А как его фамилия? — тихо спросили на ухо.

— То-то фамилия! — в тоске отозвался Иван. — Эх, если б я знал его фамилию! Не разглядел я на визитной карточке фамилию! Помню только букву «эф». На «эф» фамилия! Граждане! Вспоминайте сейчас же, какие фамилии бывают на «эф»! — И тут Иван, безумно

озираясь, забормотал: — Фролкин, Фридман, Фридрих... Фромберг... Феллер... Нет, не Феллер!.. Нет! Фу... фу... — Волосы от напряжения ездили на голове Ивана.

— Фукс? — страдальчески крикнула женщина.

— Да никакой не Фукс! — раздражаясь, закричал Иван. — Это глупо! При чем тут Фукс? Ну вот что, граждане: бегите кто-нибудь сейчас к телефону, звоните в милицию, чтобы выслали пять мотоциклеток с пулеметами профессора ловить! Да! Скажите, что с ним еще двое: длинный какой-то, пенсне треснуло, и кот, черный, жирный. А я пока что дом обыщу, я чую, что он здесь!

Тут Иван проявил беспокойство, растолкал окружающих, стал размахивать свечой, заглядывать под столы.

Народ на веранде загудел, послышалось слово «доктора», и чье-то ласковое мясистое лицо, бритое и упитанное, в роговых очках, появилось у Иванова лица:

— Товарищ Понырев, — заговорило это лицо юбилейным голосом, — успокойтесь! Вы расстроены смертью всеми нами любимого Александра Александровича, нет!., просто Саши Мирцева. Мы все это отлично понимаем... Вам нужен покой! Сейчас товарищи проводят вас в постель, и вы забудетесь...

— Ты, — оскалившись, ответил Иван, — ты понимаешь, что профессор убил Мирцева? Понимаешь, что делаешь, задерживая меня? Кретин!

— Товарищ Понырев! Помилуйте! — ответило лицо, расстраиваясь и уже жалея, что вступило в разговор.

— Нет! Уж кого-кого, а тебя-то я не помилую, — с тихой ненавистью сказал Иван и, неожиданно широко размахнувшись, ударил по уху это лицо.

Тут догадались броситься на Ивана и бросились. Свеча его угасла, а очки, соскочившие с участливого лица, немедленно были раздавлены. Иван испустил визг, слышный, к общему соблазну, на бульваре, и начал защищаться. Зазвенела битая посуда. Пока Ивана вязали полотенцами, в раздевалке шел разговор между командиром брига и швейцаром.

— Ты видел, что он в подштанниках? — спросил холодно пират.

— Да ведь, Арчибальд Арчибальдович, — труся, отвечал швейцар, — как я их могу не допустить... Они член Массолита!

— Ты видел, что он в подштанниках? — холодно повторил пират.

— Помилуйте, Арчибальд Арчибальдович, — багровея, гудел швейцар, — что ж я-то могу поделать. Давеча приходят гражданин Буздяк из бани, у них веник за пазухой. Я говорю — неудобно, а они смеются, веником в меня тычут. Потом мыло раскрошили по веранде, дамы падают, а им смешно!

— Ты видел, что он в подштанниках, я тебя спрашиваю, а не про Буздяка! — раздельно сказал пират.

Тут швейцар умолк, и лицо его приняло тифозный цвет, а в глазах вспыхнул ужас. Он видел ясно, как черные волосы покрылись шелковой косынкой. Исчез фрак, за ременным поясом показались пистолеты. Швейцар представил себя повешенным на фор-марса-рее.

Он видел свой собственный высунутый язык, голову, свесившуюся на плечо, услышал даже плеск волны у борта. Колени швейцара затряслись. Но тут флибустьер сжалился над ним.

— Смотрите, Николай, в последний раз. Такого швейцара нам не нужно, — сказал пират и скомандовал точно, ясно и быстро:

— Пантелея! Милиционера! Протокол! Таксомотор! В психиатрическую!

Через четверть часа публика на бульваре видела, как из ворот грибоедовского сада выводили босого и окровавленного человека в белье, поверх которого было накинуто Пантелеево пальто. Человек, руки которого были связаны за спиною, горько плакал и изредка делал попытки укусить за плечо то милиционера, то Пантелея. Поэт Рюхин, добровольно вызвавшийся сопровождать несчастного Ивана Николаевича, шел сзади, держа в руках разорванную иконку и сломанную свечу.

Лихачи горячили лошадей, кричали с козел:

— А вот на резвой! Я возил в психическую!

Но Ивана Николаевича погрузили в приготовленный таксомотор и увезли, а на лихача вконец расстроенная дама посадила своего мужа, того самого, который получил плюху и лишился очков исключительно за свою страсть к произнесению умиротворяющих речей.

Лихач, слупивший двадцать пять рублей с седоков, только передернул синими вожжами по крупу разбитой беговой серой лошади, и та ударила так, что сзади моментально остались два трамвая и грузовик.

Публика разошлась, и на бульваре наступило спокойствие.

Глава 6 МАНИЯ ФУРИБУНДА

Круглые электрические часы на белой стене показали четверть второго ночи, когда в приемную психиатрической лечебницы вошел чернобородый человек в белом халате, из кармана которого торчал черный кончик стетоскопа.

Двое санитаров, стоявшие у дивана и не спускавшие глаз с Ивана Николаевича, руки которого уже были развязаны, подтянулись.

Рюхин взволновался, поправил поясок на толстовке и произнес:

— Здравствуйте, доктор. Позвольте познакомиться: поэт Рюхин.

Доктор поклонился Рюхину, но, кланяясь, глядел не на Рюхина, а на Ивана Николаевича.

Поэт не шевельнулся на диване.

— А это... — почему-то понизив голос, сказал Рюхин, — известный поэт Иван Понырев, — потом помялся и совсем тихо добавил: — Мы опасаемся, не белая ли горячка...

— Пил очень сильно? — сквозь зубы тихо спросил доктор.

— Да нет, доктор...

— Тараканов, крыс, чертиков или шмыгающих собак не ловил?

— Нет, — испуганно ответил Рюхин, — я его вчера видел, он был здоров. Он стихи свои с эстрады читал.

— А почему он в белье? С постели взяли?

— Он, доктор, в ресторан пришел в таком виде.

— Ага, — удовлетворенно сказал доктор и спросил:

— А почему окровавлен? Дрался?

— Он с забора упал, а потом ударил в ресторане гражданина и еще кое-кого.

— Ага, — сказал доктор и, повернувшись к Ивану, добавил: — Здравствуйте!

— Здорово, вредитель! — ответил громким голосом Иван, и Рюхин сконфузился. Ему стыдно было поднять глаза на вежливого и чистого доктора.

Тот, однако, не обиделся на Ивана, привычным ловким жестом снял пенсне с носа и спрятал его, подняв полу халата, в задний карман брюк, а затем спросил у Ивана:

— Сколько вам лет?

— Поди ты от меня к чертям, в самом деле, — злобно ответил Иван и отвернулся.

А доктор, щуря близорукие глаза, спросил по-прежнему вежливо:

— Почему же вы сердитесь на меня? Разве я сказал вам что-нибудь неприятное?

— Мне двадцать пять лет, — заговорил, злобно косясь, Иван, — а завтра, между прочим, я на всех вас подам жалобу. А на тебя в особенности, гнида! — отнесся он уже специально к Рюхину.

— А на что вы хотите пожаловаться?

— На то, что меня, здорового человека, силой схватили и приволокли в сумасшедший дом, — сурово ответил Иван.

Тут Рюхин всмотрелся в Ивана и похолодел: в глазах у того не было никакого безумия и из мутных они опять превратились в ясно-зеленые. «Батюшки, — подумал испуганно Рюхин, — да он и впрямь, кажется, нормален! Вот чепуха какая! Зачем же мы его в самом деле сюда притащили? Нормален, ей-богу, нормален, только рожа расцарапана...»

— Вы находитесь, — спокойно заговорил врач, — не в сумасшедшем доме, а в психиатрической клинике, оборудованной по последнему слову техники. Кстати, добавлю: где вам не причинят ни малейшего вреда и где никто не собирается вас задерживать силой.

Иван покосился недоверчиво, но все-таки пробурчал:

— Слава те господи! Кажется, нашелся один нормальный человек среди идиотов, из которых первый бездарность и балбес Пашка.

— Кто этот Пашка-бездарность? — осведомился врач.

— А вот он — Рюхин! — ответил Иван Николаевич, вытянув указательный палец.

Рюхин покраснел, глаза его вспыхнули от негодования. «Это он мне вместо спасибо, — горько подумал он, — за то, что я принял в нем участие. Какая все-таки сволочь!»

— Типичный кулачок по своей психологии, — ядовито заговорил Иван Николаевич, которому приспичило обличить Рюхина, — и притом кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария, — посмотрели бы вы, какие он стишки сочинил к 1-му Мая... хе, хе... «взвейтесь, развейтесь...», а загляните в него, что он думает! — И Иван рассмеялся зловеще.

Доктор повернулся к Рюхину, красному и тяжело дышащему, и сказал тихо:

— У него нет белой горячки, — а затем спросил у Ивана:

— Почему же вас, собственно, доставили к нам?

— Да черт их возьми, олухов! Схватили, втащили в такси и привезли!

— Гм... — отозвался врач, — но вы почему, собственно, в ресторан, вот как говорит гражданин Рюхин, пришли в одном белье?

— Вы Москву знаете? — ответил вопросом Иван. Доктор неопределенно мотнул головой.

— Ну, как вы полагаете, — возбужденно заговорил Иван, — мыслимо ли подумать, что вы оставите что-нибудь на берегу и чтобы эту вещь не попятили? Ну, купаться я стал, и, понятно, украли и блузу, и штаны, и туфли. А я спешил в ресторан!

— Свидание какое-нибудь, деловое? — спросил врач.

— Не свидание, а я ловлю консультанта.

— Какого консультанта?

— Консультанта, который убил Сашу Мирцева на Патриарших прудах.

Врач вопросительно поглядел на Рюхина, и тот хмуро отозвался:

— Секретарь Массолита Мирцев сегодня под трамвай попал.

— Он, вот говорят, под трамвай попал?

— Не ври, чего не знаешь! — рассердился на Рюхина Иван Николаевич. — Я был при этом! Он его нарочно под трамвай пристроил!

— Толкнул?

— Да не толкнул! — все больше сердился Иван. — Такому и толкать не надо. Он его пальцем не коснулся! Они такие штуки могут делать. Он заранее знал, что Мирцев поскользнется!

— А кто-нибудь кроме вас видел этого консультанта?

— То-то и беда, что один я! Да что за допросы такие! — вдруг обиделся Иван. — Мы не в уголовном розыске! Подите к черту!

— Помилуйте, — воскликнул доктор, — у меня и в мыслях не было допрашивать вас! Но ведь вы сообщаете такие важные вещи об убийстве, которого вы были свидетелем... Быть может, здесь можно чем-нибудь помочь?.. Скажите, какие же вы меры приняли, чтобы поймать этого консультанта-убийцу?

Здесь опять недоверие к врачу сменилось у Ивана Николаевича доверием, и настолько, что он встал и поцеловал врача в щеку, прибавив при этом:

— Нет, теперь окончательно убедился — ты не вредитель и не из этой шайки!

Доктор ловко и незаметно, делая вид, что сморкается, вытер щеку, повернулся и сделал какой-то знак глазами женщине в белом, ко-

торая неподвижно сидела в стороне за большим столом. Та тотчас же взяла перо.

— Итак, какие же меры? — повторил врач.

— Меры вот какие, — заговорил Иван, — я на кухне взял свечечку...

— Вот эту? — спросил врач, указывая на свечку, лежавшую перед женщиной на столе рядом с иконкой.

— Эту самую!

— А иконка? — мягко спросил врач. Иван покраснел.

— Видишь ли, — ответил он, — эти дураки, — он указал на Рюхина, — больше всего этой иконки испугались, а между тем, без нее его не поймаешь...

Женщина стала писать на листе.

— Он, — продолжал возбужденно Иван, — по моему соображению, кой с кем знается, ты понимаешь меня?.. Гм... А с иконкой и со свечечкой...

Санитары держали руки по швам, глаз не сводили с Ивана, женщина тихо писала.

— Ну-те-с, ну-те-с, — поощрил Ивана врач, — так с собой и несли иконку?

— Я ее на грудь пришпилил, — говорил Иван.

— Зачем на грудь?

— Чтобы рука была свободна, — объяснил Иван, — в одной свечка, а другой — хватать. — Он становился все откровеннее.

— Виноват, у вас на коже груди кровь, — сказал участливо врач, — вы прямо к коже ее прицепили?

— Ну конечно! — ответил Иван. — А то рубаха-то чужая, гнилая, еще, думаю, сорвется...

Тут часы пробили два без четверти. Иван засуетился в тревоге.

— Эге-ге, два часа, — воскликнул он, — а я тут с вами время теряю. Будьте любезны, где телефон?

— Пропустите к телефону, — сказал врач санитару, который спиной старался загородить аппарат на стене.

Иван ухватился за трубку и сказал в нее:

— Милицию!

Женщина в это время тихо спросила у Рюхина:

— Женат он?

— Холост, — испуганно ответил Рюхин.

— Член профсоюза?

Рюхин кивнул, и женщина подчеркнула что-то в разграфленном листе.

— Милиция? — громко спросил Иван. — Алле? Милиция? Товарищ дежурный! Распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклеток с пулеметами, консультанта преступника искать! И заезжайте за мной, я с вами сам поеду. Алле? Говорит поэт Понырев. Из сумасшедшего дома. Как ваш адрес? — шепотом спросил Иван Николаевич у доктора, но тот не успел ничего ответить, как Иван стал сердито кричать в телефон: — Алле, алле! Куда вы ушли? Безобразие! — громко завопил Иван и швырнул трубку на рычаг.

— Зачем сердиться, — заметил миролюбиво доктор, — вы можете сломать аппарат, а он нам поминутно нужен...

— Ничего! Ничего! Ответят они, голубчики милейшие, за такое отношение, — вскричал Иван и погрозил кулаком телефону, затем протянул руку доктору и попрощался: — До свидания.

— Помилуйте, куда вы хотите идти, — заговорил врач, — ночью, в одном белье! Переночуйте у нас, а завтра видно будет.

— Пропустите меня, — глухо сказал Иван Николаевич санитарам, сомкнувшимся у дверей.

— Дружески говорю вам, останьтесь!

— Пустите или нет?! — страшным голосом крикнул Иван санитарам.

Те не шевельнулись, и Иван наотмашь ударил одного из них в грудь. Другой поймал его за руку.

— Ах так, ах так, — хрипло крикнул Иван, и, вырвав руку, он травленно и злобно озирался.

Женщина нажала кнопку в столике, и на поверхность его выскочила блестящая коробка шприца и стеклянные запаянные ампулы.

— Ну, если так, — отчаянно вскричал Иван, — так не поминайте же лихом!

И тут он головой вперед бросился в белую штору окна, явно целясь сквозь нее и стекла выброситься наружу. Но коварная металлическая специальная сеть за шторой даже до стекла не допустила Ивана. Она мягко спружинила и мягко отбросила бедного поэта назад прямо на руки к санитарам. В ту же минуту у доктора в руках оказался шприц.

— Ага, — захрипел Иван, бьющийся в руках санитаров, — так вот вы какие шторочки завели у себя? Ладно, ладно! Пусти... Пу...

— Одну минуту, одну минуту, — бормотал врач.

Женщина тоже подбежала на помощь, одним взмахом разорвала рукав ветхой рубахи и с неженской силой сжала руку Ивана. Тот ослабел, перестал биться, врач воспользовался этим и содержимое шприца вспрыснул Ивану в плечо. Его подержали еще немного в руках, он в это время крикнул:

— На помощь!

Бледный Рюхин жалобно вскрикнул:

— Иван!

Ивана выпустили.

— Бандиты! — прокричал он, но уже слабее. — Всех предам правосудию, — добавил он, но еще тише, зевнул и сел на кушетку. — Заточили все-таки, — зевая, добавил он без злобы, улыбнулся бессмысленно и кротко и вдруг прилег на кушетке, по-детски подложив кулак под щеку. — Ну, очень хорошо, — бормотал он совсем сонным голосом, — сами же и поплатитесь, а я свое дело сделал... Интересно мне теперь... только одно, что было с Понтием Пилатом.

И через мгновение он уже спал.

Доктор сказал сущую правду относительно того, что клиника была устроена по последнему слову техники. Стена приемной вдруг раскрылась, и из коридора выехала на резиновых шинах кровать.

Санитары подкатили ее к кушетке, спящего Ивана переодели в больничную рубашку, уложили, и он уехал в коридор, где, через дверь, на стенках горели слабые синие ночники. Стена сомкнулась.

— Доктор, — спросил шепотом потрясенный Рюхин, — он, значит, болен?

— О да, — ответил доктор, надевая пенсне.

— Какая же это болезнь? — робко спросил Рюхин.

— Точно пока сказать не могу, — устало зевая, ответил доктор, — похоже, что мания фурибунда. — И, видя, что Рюхин испуганно смотрит, пояснил: — Яростная мания.

Доктор расписался в листе, поданном женщиной в белом.

— А что это за консультант, которого он все время поминает? Видел он кого-нибудь?

— Трудно сказать. Может быть, видел кого-нибудь, кто поразил его больное воображение...

Рюхин прекратил расспросы, неуклюже раскланялся. Через несколько минут он был на шоссе, ведущем в Москву. Светало. Небывало дурное расположение духа овладело Рюхиным. Он ехал в пустом ночном троллейбусе, съежившись, уставившись, как мышь на крупу. Многое терзало его. С одной стороны, жаль было Понырева и страшно было вспомнить про дом скорби. А с другой, терзали его оскорбления, нанесенные ему помешанным. Хуже всего было то, что в словах бедного Понырева было то, что сам от себя скрывал Рюхин, что отгонял от себя даже ночью, когда не спалось. В этих словах была правда. Мысль о собственных стихах до того терзала Рюхина в троллейбусе, что он, скорчившись, морщился как от боли и даже раз проронил что-то. Рюхин сейчас только и как-то особенно отчетливо вспомнил, что ему уже тридцать четыре года и что, по сути дела, будущее его совершенно темно. Да, он будет писать по несколько стихотворений в год, стихотворений, как он теперь признался сам себе, ничуть не радующих его. «Он правду говорит, — глубоко-глубоко в себе, так, чтобы никто не мог подслушать его, подумал Рюхин... — Я не верю в то, что пишу, я — лгун, — терзал сам себя Рюхин, как палач. — Лгун, лгун. И за это буду страшно наказан. В самом деле, что дальше? Я пишу эти стихотворения, кое-как поддерживаю свое существование. Одна комната, и надежд на то, что будет когда-нибудь квартира, очень мало. Вечные авансы, вечные компромиссы, боязнь и дурные, дурные стихи! И старость! Старость бедная, безрадостная, одинокая. Уважение? Кой черт! Кто будет меня уважать, если я сам, сам себя не уважаю».

Было совсем светло, когда больной и постаревший Рюхин вышел из троллейбуса и оказался у подножия Пушкина. С бульвара тянуло свежестью, к утру стало легче. Злобными и горькими глазами Рюхин поглядел на Пушкина и почему-то подумал так: «Тебе хорошо!»

Он поморщился и побрел к дому тетки. Ресторан торговал до четырех. На веранде, где еще горели некоторые лампионы, раздражая своим неуместным светом при свете рождающегося дня, почти никого не было. В углу сидящий режиссер Квант поил даму «Абрау-Дюрсо».

Арчибальд Арчибальдович, вечно бессонный, встретил Рюхина приветливо. Не будь Рюхин так истерзан, он получил бы удовольствие, рассказывая о том, как все было, придумывая интересные подробности, описывая удивительную лечебницу. Сейчас он почувствовал, что ему не до этого, а кроме того, как он ни был ненаблюдателен и пуст, впервые всмотрелся в лицо пирата и понял, что тот, хоть и спрашивает о Поныреве и даже склоняется к Рюхину, держась за спинку стула, и даже сказал: «Ай, ай», — в ответ на слова Рюхина «Мания фурибунда», что он совершенно не интересуется судьбой Понырева, и не только не интересуется, но и презирает и Понырева, и самого Рюхина. «И молодец! И правильно», — с циничной самоуничтожающей злобой помыслил Рюхин и сказал бойким голосом:

— Арчибальд Арчибальдович, водочки мне...

Пират сделал понимающие глаза, скомандовал что-то, и через полчаса, когда никого из посетителей уже не было на веранде, в утреннем рассвете сидел Рюхин в одиночестве. Мрачные мысли его задавило дурманом, он с аппетитом закусывал рыбцом. День разгорался над городом, край неба золотило.

Глава 7 НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Если бы Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа, тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь!», Степа ответил бы чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мною что хотите, но я не встану».

Не то что встать, ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что если откроет, то тут же сверкнет молния и голову ему разнесет на куски.

В голове этой гудел тяжелый колокол, между глазными яблоками и веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и при этом тошнило, причем казалось, что тошнит от звуков какого-то патефона. Степа старался что-то припомнить, но припомнить мог только одно, что, кажется, вчера неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и делал попытки поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день (то есть, значит, сегодня) придет к ней в гости днем. Дама от этого отказывалась, говорила: «Нет, меня не будет дома», а Степа настаивал, говорил: «А я вот возьму и приду».

Ни какая это была дама, ни который час сейчас, ни даже какое число и, что хуже всего, где он находится, Степа понять не мог.

Прежде всего он постарался узнать хотя бы последнее. Для этого пришлось разлепить слипшиеся веки одного глаза. Степа так и сделал, узнал в полутьме итальянское окно и понял, что он лежит у себя,

то есть в бывшей ювелиршиной спальне, и тотчас веки сомкнул, потому что так ударило в голову, что он застонал.

Дело было вот в чем: Степа Лиходеев, директор театра «Кабаре», того самого, что открылся недавно в помещении бывшего цирка, в утро, последовавшее за тем страшным вечером, когда убило Мирцева, и ночью, когда Понырева отвезли в лечебницу, очнулся у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с Мирцевым на Садовой улице в громадном пятиэтажном доме.

Надо сказать, что квартира эта пользовалась, и давно уже, если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще два года назад ее занимала вдова покойного ювелира де Фужере Анна Францевна, пятидесятилетняя почтенная и деловая дама, сдававшая три комнаты из пяти двум жильцам: Беломуту, кажется, служащему в банке, и другому, фамилия которого утрачена и которого звали в доме по его профессии — «финансист».

И вот именно два года назад произошло действительно необъяснимое событие. Однажды в выходной день пришел милиционер и сказал финансисту, что того просят на одну минуту зайти в милицию в чем-то расписаться. Финансист ушел, сказав Анфисе, что если кто-нибудь будет звонить, чтобы она сказала, что он вернется через полчаса. Но не вернулся не только через полчаса, он вообще не вернулся. Хуже всего было то, что с ним пропал и милиционер.

Суеверная и глупая Анфиса так и заявила, что это колдовство. Колдовству же стоит только начаться, а уж там его ничем не остановишь. Финансист пропал в понедельник, а в пятницу исчез Беломут. Тот при иных обстоятельствах. Именно, заехала за ним, как обычно, утром машина и увезла его на службу, а назад никого не привезла и сама не приехала. Допустим, что была это колдовская машина, как и тут утверждала Анфиса.

Но вот за самой Анной Францевной никто не приходил и машина никакая не заезжала, а просто Анна Францевна, изнервничавшаяся, как она рассказывала, с этим исчезновением двух очень культурных жильцов, решила поправить свои нервы и для этого съездить на два месяца в Париж к сестре. Подав соответствующее заявление, Анна Францевна сильно хлопотала по устройству каких-то житейских дел. Ежедневно много звонила по телефону, много ездила по Москве, в естественном и радостном волнении, что вскоре увидит и обнимет сестру, с которой не виделась четырнадцать лет. А увидеться должна была, потому что заявление Анны Францевны было встречено очень хорошо, как она говорила, все показатели для поездки были самые благоприятные. И вот в среду — опять-таки постный день — Анна Францевна вышла из дому, чтобы повидаться со знакомой, которая хотела приобрести у нее каракулевое манто, не нужное Анне Францевне, и не вернулась.

Тут Анфиса про колдовство уже ничего не говорила, а впала в тревогу и даже в отчаяние, в котором ей, впрочем, пришлось пребывать только двенадцать часов. Хозяйка ее пропала в полдень, а в полночь приехали в квартиру де Фужере три неизвестных и, пробыв в ней до

утра, отбыли, увезя с собою и Анфису. После чего никто ни из четырех жильцов квартиры, ни из этих приехавших никогда более не возвращался на Садовую улицу, в квартиру № 50. Да и возвратиться в нее нельзя было, потому что последние навестившие ее, уезжая, запечатали двери ее сургучными печатями.

В доме потом рассказывали всякие чудеса, вроде того, что будто бы под полом в кухне заколдованной квартиры нашли какие-то несметные сокровища и что якобы сама Анфиса носила на груди у себя, никогда не снимая, маленький мешочек с бриллиантами и золотом и прочее. Фантазия у жильцов больших домов, как известно, необузданная, а врать про своих ближних каждому сладко.

Но как бы там ни было, квартира простояла запечатанной только неделю, после чего в нее с ордерами и въехали в две комнаты, которые налево от коридора и ближе к кухне, директор кабаре Лиходеев, а в три, в одной из которых был когда-то провалившийся сквозь землю финансист, Мирцев, оба холостые, и зажили.

Итак, Степа застонал, и то, что он определил свое местонахождение, ничуть ему не помогло, и болезнь его достигла наивысшего градуса. Он вспомнил, что в квартире должна быть сейчас приходящая домработница Груня, хотел позвать ее, чтобы потребовать у нее пирамидону, но с отчаянием сообразил, что никакого пирамидону у Груни нет, конечно, и не позвал. Хотел крикнуть, позвать Мирцева, сказать ему, что накануне отравился чем-то, попросить пирамидону, слабо простонал — «Мирцев!» Никакого ответа не получил. В квартире стояла полная тишина.

Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках. «Интересно знать, брюки на мне есть?» — подумал несчастный и трясущейся рукою провел по бедру, но не мог определить — не то в брюках, не то нет.

Наконец, видя, что он брошен и совершенно одинок, Степа решил, каких бы нечеловеческих усилий это ни стоило, самому себе помочь, для этого прежде всего открыть глаза и сесть. И Степа разлепил опухшие веки и увидел прежде всего в полумраке затемненной спальни пыльное зеркало в ювелиршином трюмо, а в этом зеркале самого себя с торчащими в разные стороны волосами, со щеками, покрытыми черной щетиной, с заплывшими глазами, без единой складки на лице, в сорочке, кальсонах и носках.

А рядом с трюмо в кресле увидел неизвестного, одетого в черное. В затемненной шторами спальне лицо неизвестного было плохо видно, и показалось Степе только, что лицо это кривое, но что неизвестный был в берете, в этом сомневаться не приходилось.

Тут Степа поднялся на локтях, сел на кровати и, сколько мог, вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного. Это было естественно, потому что, каким образом и зачем в интимную спальню проник посторонний человек в черном берете, не только больной, но, пожалуй, и здоровый не объяснил бы.

Молчание было нарушено неизвестным, произнесшим тяжелым басом и с иностранным акцентом следующие слова:

— Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович!

Произошла пауза, после которой Степа, сделав над собою героическое усилие, произнес такие слова:

— Что вам угодно?

И при этом поразился, не узнав своего собственного голоса. Это не только был не его голос, но вообще такого голоса не бывает: слово «что» было произнесено дискантом, «вам» басом, а «угодно» вообще не вышло.

Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул золотые часы, причем те прозвонили двенадцать раз, и сказал:

— Двенадцать! И ровно час я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо назначили вы мне быть у вас в одиннадцать. Вот и я!

Степа моргнул, протянул руку, нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул: «Извините...» — и, сам не понимая, как ему это удалось, надел их и хриплым голосом спросил:

— Скажите, пожалуйста, как ваша фамилия?

Говорить ему было трудно. Казалось, что при каждом слове кто-то тычет ему иголкой в мозг, что причиняло адские страдания.

Незнакомец улыбнулся.

— Как, вы и фамилию мою забыли?

— Простите... — прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом: ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то вниз и что сию минуту он головой вниз слетит в какую-то бездну.

— Дорогой Степан Богданович, — заговорил посетитель, улыбаясь проницательно, — никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу — лечить подобное подобным. Единственно, что может вас вернуть к жизни, — это две стопки водки с острой и горячей закуской.

Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что самое правильное — признаться во всем.

— Откровенно сказать... — начал он, едва ворочая языком, — вчера я немножко...

— Ни слова больше! — ответил визитер и отъехал вместе с креслом от трюмо.

Степа, тараща глаза, увидел, что на трюмо сервирован поднос, на коем нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, маринованные белые грибы на тарелочке, что-то в закрытой кастрюльке и объемистый хрустальный ювелиршин графин с водкой. Особенно поразило Степу то, что графин был запотевший от холода, да и немудрено, он помещался в полоскательной чашке, набитой льдом. Накрыто было аккуратно, умело, чисто.

Незнакомец не дал развиться Степиному изумлению до степени болезненной и ловким жестом налил ему полстопки водки.

— А вы?.. — намекнул Степа.

— Отчего же, с удовольствием, — ответил гость и налил себе громадную стопку до краев.

Степа трясущейся рукою поднес стопку к устам, глотнул и увидел, что незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожевав кусок икры, Степа выдавил из себя слова:

— А вы что же?.. закусить?..

— Благодарю вас, я не закусываю, — отозвался незнакомец и тут же налил Степе и себе по второй, открыл крышку кастрюли, из нее повалил пар, запахло лавровым листом — в кастрюле оказались сосиски в томате.

Через пять минут Степу узнать было нельзя. Проклятая зелень перед глазами исчезла, Степа стал хорошо выговаривать слова и, главное, кой-что припомнил. Именно, что дело вчера происходило в гостях у Хустова, на даче его на Клязьме, куда сам Хустов, автор скетча, и возил его. Степа припомнил даже, как нанимали таксомотор возле «Метрополя» и еще был при этом какой-то актер, и именно с патефоном, от которого потом, помнится, страшно выли собаки. Вот только поцелованная дама осталась неразгаданной. Во всяком случае, это была не жена Хустова, а какая-то неизвестная, кажется, с соседней дачи, а впрочем, черт ее знает откуда, но была.

Вчерашний день помаленьку разъяснялся, но Степу сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний — появление в спальне неизвестного, да еще с водкой и закуской, — вот что интересно было бы объяснить.

— Ну что же, теперь вы, надеюсь, вспомнили мою фамилию? — спросил незнакомец.

Степа опохмелился настолько, что даже нашел в себе силу игриво улыбнуться и развести руками.

— Однако, — заметил незнакомец, — я чувствую, почтеннейший Степан Богданович, что вы после водки пили портвейн. Ах, разве можно это делать!

— Я хочу вас попросить, чтобы это было между нами... — искательно попросил Степа.

— О, помилуйте, конечно! Вот за Хустова я, конечно, не ручаюсь!

— Разве вы знаете Хустова?

— Вчера у вас в кабинете видел его мельком, но достаточно одного взгляда на его лицо, чтобы сразу понять, что сволочь, склочник, приспособленец и подхалим.

«Совершенно верно», — подумал Степа, пораженный верным, кратким, точным определением Хустова. Вчерашний день, таким образом, складывался как бы из кусочков, но тревога Степы ничуть не уменьшалась: во вчерашнем этом дне все же зияла преогромная черная дыра.

Вот этого самого незнакомца в черном берете, в черном костюме, в лакированной обуви, со странным лицом с разными глазами и кривым ртом во вчерашнем дне не было, и Степа откровенно вздрогнул, когда незнакомец упомянул о встрече в кабинете.

Тут незнакомец решил прийти Степе на помощь.

— Профессор черной магии Фаланд, — представился он и стал все объяснять по порядку. Вчера он явился к Степе днем в служебный кабинет и предложил выступить в кабаре. Степа позвонил в зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал, после чего подписали контракт на семь выступлений (Степа дрогнул). Как раз

когда прощались, в кабинете директора появился этот самый Хустов и Степу увез. На прощание условились, что в одиннадцать иностранный артист придет к Степе подробнее оговорить программу. В одиннадцать, как он уже докладывал, он явился и был встречен растерянной домработницей Груней, которая сказала, что с Александром Александровичем Мирцевым что-то случилось, что дома он не ночевал, что ночью приходил председатель правления Никанор Иванович с какими-то военными и что бумаги Мирцева увезли (Степа побледнел), а что если незнакомцу нужен Степан Богданович, то его на рассвете привезли двое каких-то совершенно пьяным и что он еще спит, как колода, и что она не знает, что делать, потому что обеда никто не заказывал... Тут иностранный артист позволил себе распорядиться самому: именно, послал Груню в ближайший магазин «Гастроном», и вот Груня и закупила все и сервировала...

— Позвольте мне с вами рассчитаться, — сказал Степа и пошарил под подушкой, ища бумажник.

— О, помилуйте, какой вздор! — воскликнул гастролер и даже и смотреть не захотел на бумажник.

Итак, водка и закуска тоже разъяснились, но все-таки на Степу жалко было смотреть: никакого контракта он не заключал вчера и, хоть убейте, не видел вчера этого Фаланда.

— Разрешите взглянуть на контракт, — попросил пораженный Степа.

— Пожалуйста! — воскликнул гость и вынул контракт.

У Степы в глазах позеленело, но уж не от похмелья. Он узнал свою подпись на несомненном контракте, составленном по всей форме, и не только составленном, но уже и выполняемом, потому что из надписей на контракте видно было, что из четырнадцати тысяч господин Фаланд пять уже получил.

«Что же это такое?!» — подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась, но уже после того, как контракт был показан, дальнейшее удивление выражать было бы просто неприлично, и Степа, попросив разрешения на минуту отлучиться, как был в носках побежал в переднюю к телефону.

По дороге завернул в кухню и крикнул:

— Груня!

Никто не отозвался.

Из передней заглянул тревожно в кабинет Мирцева, но ничего там особенного не обнаружил.

Тогда он, прикрыв дверь в коридор из передней, набрал номер телефона в кабинете финансового директора кабаре Григория Даниловича Римского. Положение Степы было щекотливое: и иностранец мог обидеться, что Степа проверяет его уверения (да и контракт, черт возьми, показан!), и с финдиректором трудно было говорить.

Нельзя же спросить: «Заключал ли я вчера контракт на четырнадцать тысяч?!»

— Да! — резко крикнул в трубку Римский.

— Здравствуйте, Григорий Данилович, — смущенно заговорил Степа, — это я, Лиходеев. Тут вот какое дело: у меня сидит... гм... артист Фаланд... Как насчет сегодняшнего вечера?..

— Ах, черный маг? Все готово, — ответил Римский, — афиши будут через полчаса.

— Ага, — слабым голосом сказал Лиходеев, — ну, пока.

— Скоро придете? — спросил Римский.

— Через полчаса, — ответил Степа и, повесив трубку, сжал голову руками. Она была горячая. Сомнений больше не было. Контракт был заключен, Римский в курсе дела. Но штука выходила скверная! Что же это за такой провал в памяти? И водка здесь ни при чем. Можно забыть то, что было после нее, но до нее?

Однако дольше задерживаться в передней было неудобно, гость ждал. Степа тогда составил такой план — скрыть от всего мира свою невероятную забывчивость, а сейчас первым долгом расспросить артиста хорошенько хоть о том, что он, собственно, сегодня на первом выступлении будет делать.

Степа двинулся по коридору к спальне и, поравнявшись с дверью, ведущей из коридора в гостиную, вздрогнул и остановился. В гостиной, отразившись в зеркале, прошла странная фигура — длинный какой-то, худой, в шапчонке. Степа заглянул в гостиную — еще больше поразился — никого там не было.

Где-то хлопнула дверь, кажется, в кухне, и тотчас в гостиной случилось второе явление: громадный черный кот на задних лапах прошел по гостиной, также отразившись в зеркале, и тотчас пропал. У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся. «С ума я, что ли, схожу? Что это такое?» И, думая, что дверь хлопнула в кухне потому, что Груня вернулась, закричал испуганно и раздраженно:

— Груня! Какой тут кот у нас? Откуда он?

— Не беспокойтесь, Степан Богданович, — отозвался вдруг из спальни гость, — кот этот мой. Не нервничайте. А Груни нет. Я услал ее в Воронежскую губернию.

Слова эти были настолько дики и нелепы, что Степа решил, что он ослышался. В полном смятении он заглянул в спальню и буквально закоченел у дверей на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу выступил холодный пот.

Гость был уже не один в спальне. В другом кресле сидел тот самый тип, что померещился в гостиной. Теперь он был яснее виден — усыперышки, мутно блестит стеклышко в пенсне, а другого стеклышка нету. Но хуже всего было третье: на пуфе сидел черный кот со стопкой водки в одной лапе и с вилкой, на которую он поддел маринованный гриб, в другой.

Свет, и так слабый в спальне, начал меркнуть в глазах Степы. «Вот как сходят с ума», — подумал он и ухватился за притолоку.

— Я вижу, вы немного удивлены, драгоценнейший? — осведомился гость. — А между прочим, удивляться нечему. Это моя свита.

Тут кот выпил водки, и Степина рука поползла по притолоке.

— Свита эта требует места в квартире, — продолжал гость, — так что кто-то здесь лишний в квартире. И мне кажется, что это именно вы!

— Они, — вдруг ввязался козлиным голосом в разговор длинный, в котором Мирцев мгновенно узнал бы незабвенного регента, — они, — продолжал он, явно подразумевая под этим словом самого Степу, — вообще в последнее время жутко свинячат в Москве. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое служебное положение, лгут начальству...

— Машину зря гоняет казенную, — добавил кот, прожевывая гриб.

И тут случилось четвертое и последнее явление — тогда, когда Степа, сползши совсем уже на пол, негнущейся рукой царапал притолоку.

Из-за трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке и с длиннейшим клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию, рыжий.

И вышедший сразу вступил в разговор.

— Я, — заговорил он гнусаво, — вообще не понимаю, как он попал в директора. Он такой же директор, как я архиерей. Ему давно уже надо проветриться. Разрешите, мессир, выкинуть его к чертовой матери из Москвы!

— Брысь! — рявкнул кот, вздыбив шерсть.

И тогда сперва спальня, а затем и вся квартира завертелась вокруг Степы, так что все смешалось в угасающих глазах. Степа ударился головой о низ притолоки и потерял сознание. Последняя мысль его была: «Я — умираю!»

Но он не умер. Открыв глаза, он увидел себя в тенистой аллее под липами, и первое, что ощутил, — это сладкое свежее дуновение в лицо от реки. И эта река, зашитая в гранит, река бешеная, темная, как бы графитовая, не текла, а неслась, бешено прыгая через камни, разбрасывая пену и грохоча. На противоположном берегу виднелась хитро и пестро разрисованная мечеть, а когда Степа поднял голову, увидел в блеске солнечного дня вдали за городом большую гору с плоской, косо срезанной, вершиной.

Шатаясь, Степа поднялся со скамейки, на которой очнулся, и оглянулся. Приближался какой-то человек; приблизившись, он диковато уставился на Степу. Это было естественно: Степа стоял перед ним в сорочке, брюках, носках, с опухшим лицом, с сумасшедшими глазами и пошатывался.

— Умоляю, — выговорил наконец Степа жалким, молящим, чистым голосом, — скажите, какая это гора?

Человек усмехнулся и ответил:

— Однако! — и хотел пройти.

Тогда Степа пошел на все. Стал на колени, моляще протянул руки и заговорил:

— Я не пьян! Поверьте, я не пьян... Я болен... Со мною что-то случилось страшное. Скажите мне, где я? Какой это город?

Человек остановился, все еще недоверчиво косясь на растерзанного Степу, поправил кепку и наконец ответил, нахмурясь:

— Ну, Владикавказ.

Степа качнулся с колен влево, тихо простонал и упал лицом в песок аллеи. Сознание покинуло его.

Глава 8 ОШИБКА ПРОФЕССОРА СТРАВИНСКОГО

Несколько ранее, чем со Степой случилась беда, Иван Николаевич проснулся после глубокого и долгого сна и некоторое время соображал, как он попал в эту необыкновенную комнату с белейшими стенами, с удивительным ночным столиком из какого-то светлого и легкого металла и с белой шторой, за которой чувствовалось солнце.

Иван тряхнул головой, убедился в том, что она не болит, и вспомнил, что он находится в лечебнице. Эта мысль, естественно, потянула за собою воспоминание о гибели Мирцева, но она не вызвала в Иване вчерашнего потрясения.

Вообще, выспавшись, он стал спокойнее и хоть своей миссии поймать таинственного на букву «Ф» или оповестить о нем хотя бы и не забыл, но решил действовать сдержаннее, так как было ясно, что силой ничего не возьмешь.

Увидев на стене над постелью кнопку звонка, Иван нажал ее, и тотчас появилась толстая, приветливая женщина в белом и сказала: «Доброе утро!»

Иван не ответил, так как счел это приветствие неуместным: в самом деле — засадить здорового человека в лечебницу, да еще делать вид, как будто это так и нужно!

Женщина, оставаясь по-прежнему приветливой, опять-таки при помощи одного нажима кнопки увела широкую штору вверх. В комнату хлынуло солнце через металлическую широкопетлистую решетку, за которой открывался балкон, опять-таки с решеткой, но в мелкую петлю — скорее сеткой, чем решеткой. За решетками виден был бор на высоком берегу извивающейся реки.

— Пожалуйте ванну брать, — пригласила женщина; стена под ее руками раздвинулась, обнаружилось ванное отделение с белой ванной с блестящими кранами, с душем.

Иван решил с женщиной не разговаривать — ведь она-то его выпустить не может, но не удержался и, глядя, как широкими струями вода хлещет в ванну, сказал с иронией:

— Ишь ты! Как в «Астории».

Толстая женщина на это ответила с гордостью:

— Ну нет, гораздо лучше. За границей нигде нет такого оборудования. Ученые и врачи специально приезжают осматривать. Каждый день интуристы бывают.

При слове «интуристы» Ивану сразу вспомнился вчерашний консультант. Он затуманился, посмотрел на женщину исподлобья и сказал:

— Интуристы... До чего вы все интуристов любите! А среди них разные бывают. Вот вчера, например, мне такой попался интуристик...

И чуть было не рассказал, но опять-таки вспомнил, что толку от этого не будет, умолк.

Вымытого Ивана повели по коридору, ослепительно чистому, пустому, куда-то.

Одна встреча, впрочем, здесь произошла. Попался по дороге тоже куда-то направляющийся пациент в сопровождении другой женщины и, поравнявшись с Иваном, высунул ему язык и показал кукиш.

Иван обиделся и уж хотел затеять историю, но спутница его успокоила, сказавши, что это больной и уж на него обижаться никак не приходится.

Вскоре Иван оказался в кабинете необыкновенной величины. Иван, решивший мысленно относиться ко всему, что есть в этом на диво оборудованном здании, где он находится противу своей воли, с иронией, тут же окрестил кабинет «фабрикой-кухней».

И было за что.

Здесь находились и шкафы с блестящими инструментами, и какие-то сложные кресла, и разноцветные лампы с блестящими колпаками, и провода электрические, и неизвестные приборы. Тут трое принялись за Ивана — женщина и двое мужчин. Началось с того, что его отвели в уголок и усадили перед столиком, с явной целью расспрашивать.

Иван обдумал свое положение: перед ним было три пути — первый — кинуться на все эти приборы, а к этому очень подмывало, что можно — поломать и таким образом обратить наконец на себя внимание и доказать, что он здоров и задержан зря. Подумав всего несколько мгновений, Иван этот путь решил отринуть. Путь второй — рассказать о человеке, бывшем у Понтия Пилата на балконе, и о том, что он заранее знал о постном масле. Вчерашний опыт, однако, показал, что рассказу этому или не верят, или как-то понимают его извращенно, поэтому Иван и от этого пути отказался, а избрал третий — замкнуться в гордом молчании.

Полностью этого осуществить не удалось, потому что пришлось отвечать на множество вопросов. У Ивана выспросили все решительно насчет его прошлой жизни, вплоть до того, когда он болел скарлатиной. Исписав за Иваном целую страницу, ее перевернули, и женщина-врач перешла к родителям Ивана. Когда кто умер, да отчего, да пил ли и сколько и прочее и прочее.

Наконец, узнав все, что хотелось, принялись за Ивана с другой стороны. Смерили температуру, посчитали пульс, смотрели зрачки, светили в глаза, кололи не больно чем-то спину, рисовали рукоятью молоточка какие-то буквы на груди, из пальца на стеклышко взяли каплю крови, но этим не удовольствовались и пососали крови из жилы в шприц, надевали какие-то резиновые браслеты на руки, в какие-то груши вдували воздух, отчего браслеты давили руку. Заставляли стоять на одной ноге, закрыв глаза.

Иван безропотно подчинялся всему и только вздыхал, размышляя о том, как иногда чудно получается в жизни. Казалось бы, хотел принести пользу, хотел задержать важнейшего и весьма странного преступника и вот, на-поди, оказался за городом, и у него за все его старания кровь берут на исследование.

Вскоре мучения Ивана кончились, и он препровожден был обратно к себе в номер и получил там завтрак, состоящий из чашки кофе, двух яиц всмятку и белого хлеба с маслом. Съев все предложенное, Иван решил ждать терпеливо какого-то главного и уж у него добиться и внимания, и справедливости.

И этого главного он дождался немедленно после завтрака. Стена, ведущая из номера в коридор, разошлась, и вошло к Ивану множество народу в белых халатах. Впереди всех вошел выбритый, без усов и бороды, человек лет сорока пяти, с приятными темными глазами и вежливыми манерами. Вся свита его, в которой были и женщины, и мужчины, оказывала вошедшему всевозможные знаки внимания, от чего вход получился очень торжественным.

«Как Понтий Пилат...» — подумалось Ивану.

Появились откуда-то табуреты, кой-кто сел вслед за главным, а кто остался в дверях стоять.

— Доктор Стравинский, — представился, усевшись на табурет, главный и дружелюбно поглядел на Ивана.

— Вот, Александр Николаевич, — негромко сказал какой-то с опрятной бородкой и подал профессору тот самый лист, который после кабинета был исписан кругом.

«Целое дело сшили», — подумал Иван.

Главный привычными глазами пробежал по листу, что-то ногтем подчеркнул, «угу, угу» пробормотал и обмолвился несколькими словами с окружающими на неизвестном языке... Однако одно слово из сказанного заставило Ивана неприятнейшим образом вздрогнуть. Это было слово «фурибунда», увы, уже вчера произнесенное проклятым иностранцем на Патриарших. Иван потемнел лицом и беспокойно поглядел на главного.

Тот, по-видимому, поставил себе за правило соглашаться со всем, что бы ему ни говорили, все, по возможности, одобрять, на все со светлым лицом говоря: «Славно! Славно». Так он поступил, дочитав лист и поговорив со свитой.

— Славно! — сказал Стравинский, отдал лист кому-то и обратился к Ивану:

— Вы —поэт?

— Поэт, — мрачно ответил Иван. И вдруг тут впервые в жизни почувствовал отвращение к поэзии, и стихи его вдруг показались ему сомнительными.

В свою очередь, он спросил Стравинского:

— Вы — профессор?

Стравинский вежливо наклонил голову.

— Вы здесь главный? — спросил Иван.

Стравинский и на это поклонился, а в свите улыбнулись.

— Так вот, мне с вами нужно поговорить, — многозначительно сказал Иван.

— Я для этого и пришел, — сказал Стравинский.

— Вот что, — начал Иван, чувствуя, что наконец настал час все выяснить, — меня никто не хочет слушать, в сумасшедшие вырядили...

— О нет, мы вас выслушаем очень внимательно, — серьезно и успокоительно отозвался Стравинский, — в сумасшедшие ни в коем случае вас рядить не будут.

— Так слушайте же! Вчера вечером я на Патриарших прудах встретился с таинственной личностью, иностранец не иностранец, который заранее знал о смерти Саши Мирцева и лично видел Понтия Пилата.

Свита затихла, никто не шелохнулся.

— Пилата? Пилат — это который жил при Христе? — прищурившись на Ивана, спросил Стравинский.

— Тот самый, — подтвердил Иван.

— А кто это Саша Мирцев? — спросил Стравинский.

— Мирцев — известный редактор и секретарь Массолита, — пояснил Иван.

— Ага, — сказал Стравинский, — итак, вы говорите, он умер, этот Саша?

— Вот же именно вчера его и зарезало трамваем на Патриарших прудах, причем этот самый загадочный гражданин...

— Знакомый Понтия Пилата? — спросил Стравинский, очевидно, отличавшийся большой понятливостью.

— Именно он, — подтвердил Иван, глядя мрачными глазами на Стравинского, — сказал заранее, что Аннушка разлила постное масло... а он и поскользнулся как раз на этом месте через час. Как вам это понравится? — многозначительно спросил Иван и прищурился на Стравинского.

Он ожидал большого эффекта, но его не последовало, и Стравинский при полном молчании врачей задал следующий вопрос:

— А кто же эта Аннушка?

Этот вопрос расстроил Ивана, лицо его передернуло.

— Аннушка здесь не важна, — проговорил Иван, нервничая, — черт ее знает, кто она такая. Просто дура какая-то с Садовой. А важно то, что он заранее знал о постном масле... Вы меня понимаете?

— Отлично понимаю, — серьезно сказал Стравинский и коснулся колена Ивана, — продолжайте.

— Продолжаю, — сказал Иван, стараясь попасть в тон Стравинскому и зная уже по горькому опыту, что только спокойствие поможет ему, — этот страшный тип отнюдь не профессор и не консультант, а убийца и таинственный субъект, а может, и черт его знает кто еще, обладает какой-то необыкновенной силой... Например, за ним погонишься, а догнать его нет возможности! Да он лично был на балконе у Пилата! Ведь это что же такое? А? Его надо немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых бед.

— И вы хотите добиться, чтобы его арестовали? Я правильно вас понял? — спросил Стравинский.

«Он умен! — подумал Иван. — Среди интеллигентов попадаются на редкость умные!»

— Как же этого не добиваться — согласитесь сами! — воскликнул Иван. — А меня силою задержали здесь, тычут мне в глаза лампы, в ванне купают! Я прошу выпустить меня немедленно!

— Ну что же, славно, славно, — покорно согласился Стравинский, — я вас не держу. Какой же смысл задерживать вас в больнице, если вы здоровы? И я немедленно выпишу вас отсюда, если только вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, а только скажете. Итак, вы нормальны?

Тут наступила полнейшая тишина, и толстая женщина, ухаживавшая за Иваном утром, благоговейно посмотрела на профессора, а Иван еще раз растерянно подумал: «Положительно — умен!»

Прежде чем ответить, он, однако, очень подумал и наконец сказал:

— Я —нормален.

— Ну вот и славно! — с облегчением воскликнул Стравинский. — Ну, а если так, то будем рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день... — Тут Стравинский обернулся, и ему немедленно подали Иванов лист. — В поисках неизвестного человека, который отрекомендовался вам как знакомый Понтия Пилата, вы вчера произвели следующие действия... — Стравинский стал загибать длинные пальцы, поглядывая в исписанный лист, — прикололи себе к коже груди английской булавкой иконку. Было?

— Было...

— Упали с забора, лицо разбили. Явились в ресторан со свечкой в руке, в одном белье и в ресторане подрались. Попав сюда, вы звонили в милицию и просили прислать пулеметы... Затем сделали попытку выброситься в окно и ударили санитара. Спрашивается: возможно ли, действуя таким образом, кого-либо поймать или арестовать? Вы человек нормальный? Так вы сами ответите: никоим образом. Вы желаете уйти отсюда? Пожалуйста. Только позвольте вас спросить, куда вы направитесь отсюда?

— В милицию, конечно, — ответил Иван.

— Непосредственно отсюда?

— Непосредственно, — ответил Иван твердо, но все-таки теряясь под взглядом Стравинского.

— А на квартиру к себе не заедете? — вдруг спросил Стравинский.

— Некогда мне заезжать! Пока я буду разъезжать по квартирам, он улизнет.

— Так! Что же вы скажете в милиции в первую голову, так сказать?

— Про Понтия Пилата, — ответил Иван, и в глазах его появился сумрачный огонь.

— Ну вот и славно! — воскликнул покоренный Стравинский и, обратившись к тому, что был с бородкой и стоял у самого его плеча, приказал:

— Иван Петрович, выпишите, пожалуйста, гражданина Понырева в город. Эту комнату прошу не занимать, постельное белье не менять. Через два часа гражданин Понырев опять будет здесь. Ну что

ж, мне остается только пожелать вам успеха, хоть, признаюсь, в этот успех я нисколько не верю. До свидания!

С этими словами Стравинский поднялся, свита зашевелилась.

— На каком основании я опять буду здесь? — тревожно спросил Иван.

Стравинский немедленно уселся опять.

— На том основании, — сказал он, — что как только вы явитесь в кальсонах в милицию, скажете, что вы вчера виделись с человеком, который был знаком с Понтием Пилатом, как тотчас же вас привезут туда, откуда вы уехали, то есть в эту комнату.

— При чем здесь кальсоны? — спросил, смятенно оглядываясь, Иван.

— Главным образом Понтий Пилат. Но и кальсоны также. Ведь на вас казенное белье, мы его снимем и выдадим вам ваше одеяние. А вы доставлены были в рубашке и кальсонах, а домой вы не собирались заехать, хоть я вам и намекнул на это. Далее последует Пилат... и дело готово!

Тут что-то странное случилось с Иваном. Его воля вдруг пропала. Он почувствовал, что слаб и нуждается в совете.

— Так что же делать? — спросил он робко.

— Ну вот и славно! — отозвался Стравинский. — Это резоннейший вопрос. Поймите, что вас кто-то вчера сильно напугал и расстроил. Зачем вам, спрашивается, изнервничавшемуся, издерганному вконец человеку, бегать по городу, рассказывая про Понтия Пилата? Вас, конечно, все примут за сумасшедшего, не могут не принять. Для вас в покое сейчас спасение. Останьтесь здесь и прежде всего отдохните...

— Его надо поймать! — уже моляще сказал Иван.

— Хорошо-с. Самому бегать-то зачем? Изложите на бумаге все ваши обвинения и подозрения против этого человека. Ничего нет проще, как переслать этот документ куда следует, и если мы имеем дело с преступлением, как вы говорите, все это разъяснится, и очень быстро, уверяю вас. Но только прошу вас, не напрягайте головы и меньше думайте о Понтий Пилате. Я не спорю с вами, но все-таки напоминаю вам, что рассказы бывают и сомнительные... Мало ли чего может кто рассказать про Понтия Пилата. Не всему же можно верить.

— Понял, — твердо сказал Иван, — остаюсь, но прошу выдать мне бумагу, чернила и Евангелие.

— А зачем Евангелие?

— Хочу проверить, правду ли он говорил.

— Ну что ж, — Стравинский обратился к толстой женщине, — выдайте Евангелие.

— Евангелия нету у нас в библиотеке, — сконфуженно ответила та.

— Напрасно нет, — сказал Стравинский. — Видите, понадобилось. Купите у букинистов.

— Слушаю, — ответила женщина.

— Оно и к лучшему, впрочем, что сейчас нет, — обратился Стравинский к Ивану, — вам сегодня читать нельзя. Пока будут искать, вы

успокоитесь и тогда можете навести справку о том, что вас интересует. Писать сегодня я вам тоже не советую...

— Нет, нет, сегодня же нужно написать! — воскликнул Иван и встревожился.

— Хорошо-с. Не настаиваю. Прошу только об одном — не напрягайте мозг. Не выйдет сегодня, выйдет завтра.

— Он уйдет, — жалобно воскликнул Иван.

— О нет, — уверенно сказал Стравинский, — он никуда не уйдет, ручаюсь вам за это. И помните, вам здесь помогут всемерно, а без этой помощи у вас ничего не выйдет! Вы меня слышите? — вдруг многозначительно сказал Стравинский и, взяв руки Ивана в свои руки, несколько секунд смотрел ему в глаза в упор.

— Да, — чуть слышно сказал Иван.

— Ну вот и славно, — воскликнул Стравинский, — выдать бумагу и коротенький карандаш, — приказал он женщине. — Все так, — сказал он бородатому, указывая на лист Ивана. — До свидания, — обратился он к Ивану, — если станет скучно, печально или что-нибудь встревожит, позвоните. К вам придет врач, и поможет, и все устроит, и все объяснит. До свидания.

И через несколько мгновений перед Иваном не было Стравинского и его свиты.

За сеткой в окне был бор, сверкала под солнцем река.

Глава 9 НЕГОДЯЙ КОРОВЬЕВ

Никанор Иванович Босой, председатель жилищного товарищества в том самом доме, где проживал покойный Мирцев, находился в больших хлопотах, начиная с предыдущей полуночи, когда ему вместе с комиссией пришлось производить осмотр комнат покойного.

Комиссия эта, как и рассказывала Груня, опечатала и увезла с собою рукописи покойного, насчет жилплощади покойника объявила, что она переходит в распоряжение жилтоварищества, а насчет вещей, лично принадлежащих покойному, что они подлежат сохранению на месте, впредь до обнаружения наследников, буде такие явятся. Вследствие этого Никанор Иванович тут же запечатал печатью товарищества книжный шкаф, шкаф, где было белье покойного и осеннее его пальто и два костюма.

Слух о гибели Мирцева распространился мгновенно по всему дому, и с семи часов утра к Босому начали звонить по телефону, а потом и приходить на квартиру с заявлениями. В течение двух часов Никанору Ивановичу подали тридцать девять заявлений лица, претендующие на площадь убитого.

В заявлениях этих заключались и мольбы, и угрозы, и кляузы, и доносы, обещания произвести ремонт на свой счет, указания на

тесноту, на невозможность жить в одной квартире с бандитами, обещания покончить жизнь самоубийством, замечательные по художественной силе описания безобразий, творящихся в некоторых квартирах, и признания в беременностях.

К Никанору Ивановичу звонили в квартиру, вызывали его в переднюю, требовали выслушать или униженно просили, грозились пожаловаться, хватали за рукава, шептали что-то и подмигивали, обещали не остаться в долгу.

Мука эта продолжалась до начала первого дня, когда Никанор Иванович просто сбежал из своей квартиры в правление, но когда увидел, что и там его уже подкарауливали, ушел и оттуда. Отбившись кое-как от тех, что шли за ним по пятам через двор, Никанор Иванович скрылся в шестом подъезде и поднялся в четвертый этаж, где помещалась эта проклятая квартира № 50.

Еле отдышавшись на площадке, тучный Никанор Иванович позвонил, но ему никто не открыл. Он позвонил еще и еще, начал ругаться и ворчать. Не открыли. Терпение Никанора Ивановича лопнуло, и он дубликатом ключа самолично открыл переднюю дверь и вошел.

В передней был полумрак, на властный зов Босого — «Эй, кто тут, работница Груня, что ли?» — никто не отозвался.

Тогда Никанор Иванович вынул из кармана складной метр и прямо из передней шагнул в кабинет Мирцева. Тут он остановился в изумлении.

За столом покойного сидел неизвестный тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджаке, в жокейской шапочке и в пенсне с треснувшим стеклом.

— Вы кто такой будете, гражданин? — спросил Никанор Иванович и почему-то вздрогнул.

— Ба! Никанор Иванович! — заорал дребезжащим тенором неожиданный гражданин и, вскочив, приветствовал председателя насильственным и внезапным рукопожатием.

Приветствие это Никанор Иванович встретил недоверчиво и хмуро.

— Я извиняюсь, — заговорил он, — вы кто такой будете? Вы лицо официальное?

— Эх, Никанор Иванович! — воскликнул задушевно неизвестный гражданин. — Что такое «официальный» и «неофициальный»! Все это условно и зыбко, все зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Сегодня я — неофициальное лицо, а завтра, смотришь, официальное, а бывает и наоборот!

Это объяснение совершенно не удовлетворило Никанора Ивановича: из него он усвоил, что находящийся перед ним именно лицо неофициальное.

— Да вы кто такой будете? Как ваша фамилия? — все суровее спрашивал председатель.

— Фамилия моя, — ничуть не смущаясь неприветливостью, отозвался гражданин, — ну, скажем... Коровьев. Да не хотите ли закусить без церемоний?

— Я извиняюсь, какие тут закуски, — уже негодуя, заговорил Никанор Иванович, нужно признаться, что председатель был по натуре грубоват, — на половине покойника сидеть не разрешается! Вы что делаете здесь?

— Да вы присаживайтесь, Никанор Иванович, — опять-таки не смущаясь, орал гражданин и заюлил, предлагая кресло, которым Никанор Иванович, уже освирепев, не воспользовался, — я, изволите ли видеть, состою переводчиком при особе иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире!

Никанор Иванович открыл рот. Наличность какого-то иностранца в квартире явилась совершеннейшим сюрпризом для председателя, и он потребовал объяснений.

Переводчик объяснился. Оказалось, что господин Фаланд — артист, заключивший контракт на выступления в кабаре, был любезно приглашен директором кабаре Степаном Богдановичем Лиходеевым провести время своих гастролей, примерно недельку, в его квартире, о чем еще вчера Степан Богданович при переводчике написал Никанору Ивановичу и просил прописать иностранца временно.

— Ничего он мне не писал! — сказал пораженный Босой.

— А вы поройтесь в портфеле, Никанор Иванович, — сладко сказал назвавший себя Коровьевым.

Босой подчинился этому предложению. Впоследствии он утверждал, что уж с этого момента он действовал в помрачении ума, но ему, конечно, никто не верил.

К величайшему изумлению Никанора Ивановича, в портфеле обнаружилось письмо Степы, в котором тот действительно просил о прописке иностранца и заявлял, что сам срочно уезжает во Владикавказ.

Никанор Иванович тупо глядел на письмо, бормоча:

— Как же это я его сюда засунул?

— То ли бывает! То ли бывает! — трещал Коровьев. — Рассеянность, рассеянность, милейший Никанор Иванович! Я сам рассеян до ужаса, до ужаса! Я вам как-нибудь расскажу за рюмкой несколько фактов, вы обхохочетесь!

— Позвольте, когда же он едет во Владикавказ? — озабоченно спросил Никанор Иванович, чувствуя, что на него валится еще новая обуза, какого-то иностранца устраивать в доме — тоже удовольствие!

— Да он уж уехал, уехал! — закричал переводчик. — Он, знаете ли, уж катит черт его знает где! — И замахал руками.

Никанор Иванович изъявил желание увидеть иностранца, но получил вежливый отказ. Переводчик объяснил, что невозможно никак — кота дрессирует.

— Кота, ежели угодно, могу показать! — предложил Коровьев.

От этого отказался изумленный Босой, а переводчик тут же сделал предложение председателю, которое заключалось в следующем.

Ввиду того, что господин Фаланд привык жить просторно, то не сдаст ли жилтоварищество на эту недельку иностранцу всю квартиру, то есть и комнаты покойного?

— Ведь ему безразлично — покойнику-то! — утверждал переводчик. — Его квартирка теперь, знаете ли, темная, маленькая, а иностранец этот капризуля, скажу вам по секрету, — сипел шепотом Коровьев.

Никанор Иванович в недоумении возразил, что иностранцам надлежит жить в «Метрополе», но переводчик не сдался.

— Говорю же вам, капризуля, — хрипел Коровьев, — не желает! Не любит гостиниц. Вот они у меня где сидят, эти интуристы, — пожаловался интимно Коровьев, — всю душу вымотали! Приедет... и то ему не так, и это не так... А вашему товариществу, Никанор Иванович, полнейшая выгода. За деньгами он не постоит. Миллионер!

Полнейший практический смысл заключался в том, что предложил переводчик, и говорил он дело, и тем не менее, удивительно несолидное было что-то и в манере его говорить, и в этом клетчатом пиджачке, и в никуда не годном пенсне.

Что-то неясное терзало душу председателя, и все-таки он решил предложение принять. В товариществе был большой дефицит, а к осени нужно было покупать нефть для парового отопления. На иностранцевы деньги можно было бы извернуться.

Но деловой и осторожный Никанор Иванович заявил, что эти дела так не делаются и что он должен увязать этот вопрос с конторой «Интуриста».

— Обязательно! — закричал Коровьев, даже взвизгнув. — Обязательно! Как же без увязки? Я понимаю. Вот вам телефон, Никанор Иванович, и немедленно увязывайте. А насчет денег не стесняйтесь, — шепотом прибавил он, увлекая председателя в переднюю к телефону, — с кого же и взять, как не с него. У него такая вилла в Ницце... приедете как-нибудь, зайдите посмотреть нарочно — ахнете!

Дело с «Интуристом» уладилось с необыкновенной быстротой. Оказалось, что в конторе знают о намерении Фаланда жить на частной квартире и не возражают против этого. Условия же такие: жилтоварищество сдает пятикомнатную квартиру на семь дней за плату по сто долларов в день. Плата вперед. Валюту примет специально отправляющийся сейчас же на квартиру товарищ Кавунев, снабженный соответствующим полномочием. Жил же товариществу контора вручит плату в советской валюте по банковскому курсу немедленно по отъезде иностранца из Москвы.

Кавунев появился с феерической быстротой — через пять минут — и оказался маленького роста, но широкоплечим человеком, поразившим Никанора Ивановича клыком, торчащим изо рта, и огненностью шевелюры. Кавунев предъявил полномочие, привез составленный в трех экземплярах договор на наем квартиры, снабженный уже подписями и печатями со стороны «Интуриста», заставил Никанора Ивановича подписать его в свою очередь. Коровьев слетал в спальню, вернулся с договором, во всех трех экземплярах подписанным господином Фаландом. Коровьев вынул пачку валюты, тут же отсчитал 750 долларов, Кавунев тщательно проверил отсчитанное, Никанор Иванович выдал тогда расписку о том, что от гос-

подина Фаланда за квартиру 750 долларов принял, а Кавунев на бланке со штампом и с печатью расписался в том, что сумму в 750 долларов принял от Никанора Ивановича Босого. Экземпляры договора разошлись по рукам как подобает: один — Никанору Ивановичу, другой — Кавуневу, третий исчез в боковом кармане у Коровьева, и Кавунев покинул квартиру.

В асфальтированном дворе дома хрипло и сердито рявкнуло, и председатель, выглянув в окно, увидел, как Кавунев укатил в открытом «линкольне», прижимая к сердцу портфель с валютой и договором.

— Ну вот и все в порядочке! — радостно объяснил Коровьев.

Никанор Иванович не удержался и попросил контрамарочку на вечер, которую с каким-то даже восторгом Коровьев тут же написал, вскрикивая: «Об чем разговор!», а затем поступил так: собственноручно положил контрамарку в карман пиджака Никанора Ивановича и тут же, нежно обхватив председателя за полную талию, вложил ему в руку приятно хрустнувшую пачку.

— Я извиняюсь, — сказал ошеломленный Никанор Иванович, — этого не полагается! — и стал отпихивать от себя пачку.

— И слушать не стану, — зашептал в самое ухо Коровьев, — у нас не полагается, а у интуристов полагается. Обидите, нельзя!

— Строго преследуется, — сказал почему-то тихо Босой и оглянулся.

— А где свидетели? — шепнул Коровьев. — Я вас спрашиваю, где они? Что вы! Не беспокойтесь, наши, советские...

И тут, сам не понимая, как это случилось, Никанор Иванович увидел, что пачка вползала к нему в портфель, и через минуту Никанор Иванович, какой-то расслабленный и мятущийся, спускался по лестнице. Мысли в его голове крутились вихрем, тут была и вилла в Ницце, и какой-то кот дрессированный, и что нужно будет сегодня с женою побывать в кабаре, и что дело с нефтью устроилось, и что голос говорившего по телефону из «Интуриста» почему-то похож на голос этого Коровьева.

Лишь только Никанор Иванович ушел, из спальни Степы донесся голос артиста:

— Однако этот Никанор Иванович — гусь, как я погляжу! Он мне надоел. Вообще, нельзя ли сделать так, чтобы он больше не приходил?

— Стоит вам приказать, мессир! — почтительно отозвался Коровьев, отправился в переднюю, повертел номер и сказал в трубку плаксивым и дрожащим голосом:

— Алло! Считаю долгом сообщить, что председатель жилтоварищества по Садовой № 302-бис Никанор Иванович Босой широко спекулирует валютой, часть которой держит у себя в квартире № 35, в уборной, в старом дымоходе. Говорит жилец этого дома, который имя свое держит в строжайшей тайне, опасаясь гнусной мести вышеизложенного председателя.

И повесил трубку.

— Этот вульгарный человек не придет больше, мессир, — доложил Коровьев, проходя в гостиную.

Туда же вошел из столовой другой, увидев которого Никанор Иванович ужаснулся бы, ибо это был не кто иной, как называвший себя Кавуневым. Он, он. Глаз с бельмом, рыжие волосы, клык.

— Ну что ж, идем завтракать, Азазелло? — обратился к нему Коровьев.

— Сейчас, — в нос отозвался Азазелло и, в свою очередь, крикнул:

— Бегемот!

На этот зов из спальни Степы вышел кот-толстяк, и через несколько минут вся свита иностранца сидела в гостиной у весело потрескивавшего камина, пила красное вино.

А Никанор Иванович, проскользнув по двору, скрылся в своей квартире. Там первым долгом он пришел в уборную, заперся в ней и заглянул в портфель. Сомнений не было: Коровьев всучил ему тысячу рублей очаровательными белоснежными десятичервонными купюрами. Посидев некоторое время в уборной в каком-то расслаблении тела и духа, Никанор Иванович, чтобы избежать резонного вопроса супруги: «Откуда?» — решил их спрятать в дымоходе, а потом сдать на сберкнижку. И пачка червонцев, завернутая в газетную бумагу, исчезла в дымоходе.

Через полчаса Никанор Иванович сидел за столом, собираясь пообедать. Борщ уже дымился перед ним в кастрюле. Никанор Иванович уже вытащил из кастрюли кусок вареного мяса с золотистым жирком, уже взялся за лафетничек, как раздался в квартиру звонок.

— А чтоб тебе провалиться! Поесть не дадут, — прорычал Никанор Иванович, отставив лафетничек, и крикнул супруге: — Скажи, что квартира покойника сдана иностранцу на неделю! Чтоб хоть неделю не трепались!

Супруга шмыгнула в переднюю. Оттуда послышался ее голос, в ответ чьи-то голоса, громыхнула снимаемая цепочка.

— Что ж она, ведь я ж сказал, — забормотал, рассердившись, Никанор Иванович.

Тут вошла взволнованная супруга, а за нею следом двое незнакомых граждан! Никанор Иванович загородил кастрюлей лафетничек, встал навстречу в недоумении.

— Где уборная? — спросил озабоченно первый из граждан в белой косоворотке.

— Здесь, — шепнул Никанор Иванович, меняясь в лице, - а в чем дело, товарищи?

Ему не объяснили, в чем дело, а прямо проследовали в уборную.

— А в чем дело? — тихо спросил еще раз Никанор Иванович, следуя за пришедшими. В хвосте мыкалась супруга.

Первый из вошедших сразу встал ногами на судно, руку засунул в дымоход и вытащил сверток. В глазах у Никанора Ивановича потемнело и в голове пронеслось только одно слово — «Беда!».

Сверток развернули, и в нем вместо червонцев оказались совсем другие деньги. Они были какие-то зеленоватые с изображениями какого-то старика.

Лицо Никанора Ивановича и широкая шея налились темной кровью. И как он избежал удара — непонятно.

— Ваш пакетик? — мягко спросил второй.

— Никак нет, — глухим голосом ответил Никанор Иванович.

— А чей же?

— Не могу знать, — еще глуше ответил Никанор Иванович и вдруг завопил: — Подбросили враги!

— Бывает, — ответил тот, что был в косоворотке, и миролюбиво добавил: — Ну, гражданин, показывайте, где другие держите?

— Нету у меня! Нету! — прохрипел Никанор Иванович. — В руках никогда валюты не держал!

И тут супруга его, уже неизвестно, что ей померещилось, вдруг вскричала, всплеснув руками:

— Покайся, Иванович! Тебе легче будет.

С налитыми кровью глазами Никанор Иванович занес над головою кулак и шатнулся к супруге.

Но его удержали.

— Зачем же драться? — мирно опять-таки молвил не тот, что в косоворотке, а другой.

— Богом клянусь! — вскричал несчастный председатель, в самом деле никогда не державший в руках долларов, и вдруг смолк и утих, подчиняясь неизбежному.

Минут через [пять] через подворотню дома проследовали к дожидавшейся машине двое пришедших граждан и с ними Никанор Иванович Босой. Рассказывали потом, что на нем не было лица, что он пошатывался и что-то бормотал, усаживаясь в машину.

Глава 10 ВЕСТИ ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА И ГИБЕЛЬ ВАРЕНУХИ

В это время на той же Садовой в кабинете дирекции кабаре находились двое ближайших помощников Степы — финансовый директор Близнецов и администратор Варенуха.

Близнецов сидел за письменным столом и, раздраженно глядя сквозь очки, читал и подписывал какие-то бумаги, а Варенуха, укрывавшийся в кабинете дирекции от контрамарочников, особенно досаждавших ему в дни перемены программы, в ответ на телефонные звонки беспрерывно лгал в телефон, что Варенуха вышел из театра.

В кабинет, как обычно, текла вереница посетителей. Побывал главный бухгалтер Прохоров с ведомостью, за ним пришел дирижер, и Близнецов, обладавший странной манерой стараться никому и никогда не выдать денег, да к тому же еще с утра бывший в дурном расположении духа, тотчас же поругался.

— Не я рвал кожу на барабане! — кричал Близнецов. — Так теперь пусть он хоть собственную кожу натягивает на барабан! У меня нет этого в смете!

— Так нельзя работать! — вспылил дирижер. — Я заявлю Лиходееву!

— Кому хотите заявляйте! — дерзко ответил Близнецов, и дирижер, красный от обиды, ушел.

Телефон трещал постоянно, и Варенуха кричал неприятным голосом:

— Нету его! Вышел! Неизвестно!

Вошел курьер и внес толстую кипу свежеотпечатанных афиш. Варенуха обрадовался и развернул ее.

На афише в числе прочего стояло крупными буквами:

ДОКТОР МАГИИ ФАЛАНД

СЕАНСЫ ЧЕРНОЙ МАГИИ

С ПОЛНЫМ ЕЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕМ

— Хорошо! Броско, — заметил Варенуха, отходя и любуясь буквами.

— Не нравится мне эта затея, — пробурчал Близнецов, косясь на афишу, —удивляюсь, как ему это вообще разрешили поставить...

— Нет, нет, Григорий Максимович! — возразил Варенуха. — Не скажи, это очень умный шаг. — И тотчас велел пустить афиши в расклейку.

Побывала актриса, умильно просила пропуск на сегодня, получила отказ от Варенухи, соврагшего, что он выдал уже все, что было. Побывал какой-то лысый человек в грязном воротничке, сказал робко, что принес скетч.

— Оставьте здесь, — буркнул ему Близнецов, и человек положил засаленную рукопись на стол. Осведомился униженно, когда приходить за ответом.

— Через две недели, — буркнул Близнецов.

Человек стал кланяться Близнецову и Варенухе, отступая задом к дверям. Ни тот, ни другой ему не ответили на поклоны, и он скрылся с мученическим лицом.

Прошло еще некоторое время, и Близнецов начал злиться и нервничать из-за Степиной неаккуратности. Ведь сказал по телефону, что явится сейчас же, и пропал.

А на столе росла гора неотложных дел.

— Позвони, Василий Васильевич, ему, — нервно сказал Близнецов.

Варенуха позвонил, подождал, положил трубку на рычаг, сказал:

— Никто не отвечает. Значит, вышел.

— Безобразие! — рычал Близнецов.

Время текло, а Степы все не было. Так продолжалось до двух часов дня, и в два Близнецов совершенно остервенился. И тут дверь в кабинет отворилась, и вошла женщина в форменной куртке и фуражке, в тапочках, вынула из маленькой желтой сумки на поясе конвертик и сказала:

— Где тут кабаре? Распишитесь. Молния.

Варенуха черкнул какую-то закорючку в тетради у женщины и, когда та вышла, вскрыл конвертик. Прочитав написанное, он сказал: «Гм!», поднял брови и передал телеграмму Близнецову.

В телеграмме же было напечатано следующее:

«Владикавказа Москву Кабаре Молнируйте Владикавказ гормилицию Масловскому точно ли блондин ночной сорочке брюках без сапог психический явившийся сегодня гормилицию директор московского кабаре Лиходеев точка Масловский».

— Здравствуйте, я ваша тетя! — злобно сказал Близнецов.

— Лжедимитрий! — весело сказал Варенуха и тут же, взяв трубку, проговорил в нее:

— Телеграф? Молния. Владикавказ гормилиция Масловскому Лиходеев Москве Финдиректор кабаре Римский администратор Варенуха.

Независимо от сообщения о владикавказском самозванце принялись разыскивать Степу. Квартира его упорно не отвечала. Варенуха начал наобум звонить в разные учреждения, но нигде, конечно, Степы не нашел.

— Уж не попал ли он, как Мирцев, под трамвай? — высказал предположение Варенуха.

— А хорошо было бы, — чуть слышно сквозь зубы буркнул Близнецов.

И тут дверь опять открылась, и вошла та самая женщина, что принесла первую молнию, и вручила Варенухе новый конвертик, Варенуха прочитал ее и свистнул.

— Что еще? — спросил Близнецов. В телеграмме стояло следующее:

«Умоляю верить Брошен Владикавказ силой гипноза Фаланда Примите меры наблюдения за ним Молнируйте Масловскому что я Лиходеев точка Лиходеев».

Близнецов и Варенуха, касаясь друг друга головами, молча перечитывали телеграмму, а перечитав, уставились друг на друга.

— Граждане! — вдруг рассердилась женщина. — Расписывайтесь, а потом уж молчать будете! Я молнии разношу!

— Телеграмма-то из Владикавказа? — спросил Варенуха, расписавшись.

— Ничего я не знаю, не мое дело, — ответила женщина и ушла.

— Ты же с ним в двенадцать часов разговаривал по телефону! — заговорил возбужденно Варенуха.

— Да смешно говорить! — воскликнул Близнецов. — Разговаривал, не разговаривал! Он не может быть во Владикавказе. Это смешно!

— Он пьян! — сказал Варенуха.

— Кто пьян? — спросил Близнецов, и опять дико уставились друг на друга.

Что телеграфировал из Владикавказа какой-то сумасшедший или самозванец, это было несомненно, но вот что было странно — это слово «Фаланд» в телеграмме. Откуда же это владикавказский субъект знает о существовании артиста, вчера только приехавшего в Москву, и о связи между ним и директором Степой Лиходеевым?

— «Примите меры»... — повторял Варенуха слова телеграммы. — Откуда он знает о нем и зачем меры?.. Да нет! Это мистификация!

— А где он остановился, этот Фаланд, черт его возьми? — спросил Близнецов.

Варенуха соединился с конторой «Интуриста», и оттуда ответили, что Фаланд остановился в квартире Лиходеева.

— Квартира не отвечает? — заговорил Близнецов. — Значит, они оба куда-то вышли? Позвони-ка...

Он не договорил. В дверях появилась та же самая женщина, и Близнецов с Варенухой даже с мест поднялись навстречу ей, и она вынула из сумки, но уже не белый конвертик, а темный листок.

— Это становится интересным, — сказал Варенуха, яростно расчеркиваясь в книжке.

На фотографической бумаге отчетливо выделялись писанные строчки:

«Вот доказательство фотография моего почерка Молнируйте Масловскому подтверждение моей личности Строжайшее наблюдение Фаландом Лиходеев».

За двадцать лет своей административной деятельности Варенуха видал всякие виды. Но тут он почувствовал, что ум его как бы застилает пелена, и он ничего не произнес, кроме житейской и совершенно нелепой фразы:

— Этого не может быть!

Близнецов же поступил не так. Он поднялся, рявкнул в дверь курьерше:

— Никого, кроме почтальонов! — и собственноручно запер дверь на ключ. Затем достал из письменного стола пачку бумаг и начал тщательно сличать буква за буквой почерк в залихватских подписях Степы и его резолюциях с тем почерком, которым была исписана фотограмма.

Варенуха, навалившись на стол, жарко дышал в щеку Близнецову.

— Это почерк его, — наконец твердо выговорил Близнецов, и Варенуха, глянув финдиректору в лицо, удивился перемене, происшедшей в нем. Близнецов как будто постарел лет на десять, и глаза его в роговой оправе утратили свою колючесть и уверенность, и появилась в них не только тревога, но даже как будто печаль.

Варенуха проделал все, что делает человек в минуты великого изумления, то есть и по кабинету прошелся, и руки вздымал, как распятый, и выпил целый стакан желтой воды из графина, и восклицал:

— Не понимаю!

Близнецов же смотрел в окно и напряженно думал. Положение финдиректора было затруднительным. Нужно было тут же, не сходя с места, добыть обыкновенные объяснения для явления совершенно необыкновенного.

Зажмурившись, Близнецов представил себе Степу в ночной сорочке сегодня в полдень влезающим в какой-то сверхбыстроходный аэроплан, а через час, стало быть, он — Степа — стоит... и горы, покрытые снегом... и черт знает что!

Может быть, не Степа сегодня говорил с ним по телефону из собственной квартиры? Нет, это говорил Степа! Да если бы и не говорил, ведь вчера под вечер он сидел в этом самом кабинете, раздра-

жая Близнецова своим легкомыслием и порываясь удрать в Покровское пьянствовать с Хустовым.

Опять представился Близнецову Степа в носках посреди Владикавказа...

— Сколько километров до Владикавказа? — спросил вдруг Близнецов, щурясь в окно.

Варенуха прекратил беготню по кабинету и заорал:

— Думал! Думал! До Минеральных по воздуху тысяча шестьсот километров!

Истребитель? В какой истребитель, кто пустит Степу без сапог? Сапоги пропил, прилетев? Истребитель тоже не покроет в один час, в сапогах ли, без сапог будет Степа, полторы тысячи километров!!

Шутки? Пьяные шутки при участии телеграфа? А почерк?

В голове у Близнецова рухнуло все, и остались только одни черепки.

Ручку двери крутили и дергали, слышно было, как курьерша отчаянно кричала за дверьми:

— Нельзя! Нельзя! Заседание!

— Он не может быть во Владикавказе! — крикнул Варенуха и хлопнул кулаком по столу.

Помолчали, а после этого Близнецов сказал глухо и серьезно:

— Да, он не может быть во Владикавказе, но это писано рукою Лиходеева из Владикавказа.

— Так что же это такое?!

Близнецов, не отвечая, снял трубку и сказал:

— Дайте сверхсрочный разговор с Владикавказом.

«Умно», — подумал Варенуха.

Но разговор с Владикавказом не состоялся. Близнецов положил трубку и сказал:

— Как назло, линия испортилась.

Он опять взялся левой рукой за трубку, а правой начал записывать то, что говорил в трубку:

— Примите молнию: «Владикавказ Гормилиция Масловскому Сегодня до двенадцати часов дня Лиходеев был Москве от двенадцати до... (Близнецов посмотрел на часы) трех на службу не явился по телефону разыскать не можем Почерк подтверждаю Меры наблюдения указанным лицом принимаю Финдиректор Близнецов».

«Очень умно», — подумал Варенуха, и тотчас в голове у него грянуло: «Глупо! Не может он быть во Владикавказе!»

Близнецов же аккуратно сложил полученные молнии и копию со своей, всю пачку положил в конверт, заклеил его, надписал на нем несколько букв и вручил Варенухе со словами:

— Лично сейчас же отвези, Василий Васильевич, и сам изложи дело. Пусть они разбирают.

«Вот это действительно умно!» — мысленно воскликнул Варенуха и спрятал в портфель таинственный пакет. Потом он навертел номер Степиной квартиры, и Близнецов насторожился, потому что Варенуха вдруг радостно замигал и сделал знак свободной рукой.

— Мосье Фаланд? — сладко спросил Варенуха. Близнецов затаил дыхание.

— Да, это я, — ответил в трубке бас.

— Добрый день, — сказал Варенуха, — говорит администратор кабаре Варенуха.

— А! Как ваше здоровье? — спросили в трубке.

— Мерси, — подивившись иностранной вежливости, поблагодарил Варенуха.

— Мне показалось вчера, — продолжал бас, — когда я видел вас в дирекции, что вы выглядели плохо, и я вам советовал бы сегодня никуда не ходить.

Варенуха удивился, Близнецов шепотом спросил: «Что?»

— А, простите, что, товарища Лиходеева нету дома?

— Он поехал кататься за город в машине, сказал, что вернется через два часа, — сообщил иностранец.

— Мерси, мерси! — воскликнул Варенуха, в то же время делая радостные знаки финдиректору. — Итак, ваше выступление сегодня в десять часов с половиной.

— О да, я помню, — ответила трубка.

— Нашелся! — радостно вскричал Варенуха, оставив трубку. — Я так и думал! Уехал за город и, конечно, застрял.

— Если это так, — бледнея от негодования, сказал Близнецов, — то это черт знает что такое! Позволь... но молнии?

— Вспомнил! Вспомнил! — вдруг заорал Варенуха. — В Покровском есть ресторан «Владикавказ»! Он напился и оттуда и телеграфирует.

— Нет, это чересчур, — озлобившись, заговорил Близнецов, — ну, дорого ему эта поездка обойдется!..

— А как же, Григорий Максимович, пакет нести?

— Обязательно нести, обязательно, — ответил Близнецов.

И опять открылась дверь, и оба вздрогнули. «Она!» — с какой-то тоскою подумал Близнецов. Вошла та самая женщина с сумкой.

На этот раз в телеграмме были слова:

«Спасибо подтверждение Переводите срочно пятьсот гормилицию мне Завтра вылетаю Москву Лиходеев».

— Он с ума со... — начал Варенуха и сел в кресло, не договорив.

Близнецов же позвонил, появившемуся курьеру вручил пятьсот рублей и послал его на почту.

Варенуха в изумлении глядел на финдиректора, до того это не было похоже на него.

— Помилуй, Григорий Максимович, — неуверенно заговорил администратор, — по-моему, ты напрасно деньги послал. Он в Покровском.

— Деньги придут обратно, — веско ответил Близнецов, — а он дорого ответит за этот пикник, — через два часа все будет ясно. Поезжай, Василий Васильевич, не теряй времени.

Варенуха забрал пакет и вышел. Он спустился вниз, увидел, что перед кассой нарастает очередь, узнал от кассирши, что та ждет через час аншлага, что публика страшно заинтересовалась черной магией, порадовался, поглядел, как кассирша орудует ножницами, тут же у кассы отшил от себя назойливого молодого человека, который

просил приставить стул на вечер, и нырнул к себе в кабинетик, чтобы захватить кепку.

Лишь только он водрузил кепку на голову, затрещал телефон.

— Да! — пронзительно крикнул Варенуха в трубку.

— Василий Васильевич? — спросил в трубке препротивный гнусавый голос и продолжал: — Вот что. Вы телеграммы эти никуда не носите. А спрячьте их поглубже в карман и никому об них даже не заикайтесь.

— Кто это говорит? — яростно заорал Варенуха. — Гражданин, прекратите ваши штуки! Вас сейчас обнаружат! Вы сильно пострадаете! Ваш номер?

— Варенуха, — отозвался все тот же препротивный голос, — ты русский язык понимаешь? Не носи никуда телеграммы, повторять больше не буду.

— Ага! Вы не унимаетесь? — закричал Варенуха, захлестываемый злобой. — Ну, смотрите же! Ой, поплатитесь вы... вы слу?.. — и вдруг понял, что трубку еще до начала его слов повесили и никто его не слушает.

Тогда Варенуха схватил портфель и через боковой выход устремился в летний сад, примыкавший к зимнему зданию кабаре.

Администратор был возбужден и полон энергии. Теперь он не сомневался в том, что какая-то шайка наглых негодяев проделывает сквернейшие шуточки с администрацией кабаре и что все это связано с таинственным исчезновением Лиходеева. Желание изобличить злодеев и распутать клубок душило администратора, и, как это ни странно, таинственные происшествия вызвали в нем предвкушение чего-то приятного, что всегда бывает, когда человек попадает в центр внимания, принеся сенсационное сообщение.

В голове Варенухи зазвучали не только целые отрывки из будущего его разговора, но даже и какие-то комплименты по его адресу:

«Садитесь, товарищ Варенуха... что такое?.. Гм... Владикавказ? Гм... Очень хорошо, что вы дали знать вовремя, товарищ Варенуха!.. Так вы полагаете? Голос гнусавый, вы говорите? Так... Варенуха открыл... Варенуха — свой парень... Варенуху мы знаем!»

И слово «Варенуха» так и прыгало в голове у Варенухи.

Ветер дунул в лицо администратору, и в верхушках лип прошумело. Потемнело. Сильно посвежело. Варенуха поднял голову и увидел, что над Москвой уже близко, почти задевая краем летний сад, [несется] грозовая туча.

Как ни торопился администратор, как ни хотел до грозы проскочить, ему пришлось на секунду заглянуть в уборную в летнем сад)[7], чтобы проверить — исполнили ли монтеры приказание провести в нее электричество. Мимо только что отремонтированного тира Варенуха пробежал к дощатому зданьицу, окрашенному в голубой цвет, и ворвался в мужское отделение. Провод уже был на месте, оставалось только ввинтить лампу в патрон. Но огорчило тут же старательного администратора то, что третьего дня окрашенные стены уже оказались исписанными неприличными словами, из которых одно было особенно старательно выведено углем прямо над сиденьем.

— Что за мерз... — начал было Варенуха и вдруг услышал за собою голос:

— Варенуха?

Администратор вздрогнул, оглянулся и увидел перед собой какого-то небольшого толстяка в кепке и, как показалось Варенухе, с кошачьей как бы физиономией.

— Ну, я, — ответил Варенуха неприязненно, решив, что этот толстяк в уборную даже за ним полез, чтобы, конечно, выклянчить пропуск на вечер.

— Ах, вы? Очень, очень приятно, — пискливым голосом сказал котообразный толстяк и вдруг, развернувшись, ударил Варенуху по уху так, что кепка с администратора слетела и исчезла в отверстии сиденья, а сам администратор с размаху сел на него.

Удару толстяка отозвался громовой удар в небе, в уборной блеснуло, отчего особенно ярко выделилось черное слово на стене, и в ту же секунду в крышу ударил густой ливень. Еще раз сверкнуло, и в зловещем свете перед администратором возник второй — маленького роста, но с атлетическими плечами, рыжий, как огонь, один глаз с бельмом, рот с клыком.

Этот второй, будучи, очевидно, левшой, развернулся с левой и съездил администратора по другому уху. И опять трахнуло в небе и хлынуло сильнее. Крик «Караул!» не вышел у Варенухи, потому что захватило дух.

— Что вы, товари... — прошептал ополоумевший администратор, но тут же сообразил, что слово это никак не подходит к бандитам, избивающим человека в общественной уборной, прохрипел «Граждане!!», сообразил, что и названия граждан эти двое не заслуживают, и получил третий страшный удар от того с бельмом, но уж не по уху, а по середине лица, так что кровь хлынула на толстовку.

Темный ужас поразил несчастного администратора, ему почудилось, что его хотят бить до смерти. Но ударов больше не последовало.

— Что у тебя в портфеле, паразит? — пронзительным голосом, перекрикивая шум грозы, осведомился похожий на кота. — Телеграммы?

— Те... телеграммы, — ответил полумертвый администратор.

— А тебя предупреждали по телефону, чтобы ты не смел их никуда носить? Предупредили, я тебя спрашиваю?

— Предупре... ждали... дили, — задыхаясь, ответил администратор.

— А ты все-таки пошел? Дай сюда портфель, гад! — гнусаво крикнул второй и одним взмахом выдрал у Варенухи портфель из рук.

— Ах ты, ябедник поганый! — возмущенно заорал похожий на кота. — Ну ладно, пойдем-ка с нами, мы тебя устроим для поручений!

И оба подхватили бедного администратора под руки и с быстротой, с которой никогда еще не приходилось двигаться Василию Васильевичу, выволокли его на улицу.

Гроза бушевала над Садовой, мостовая была затоплена, вода с грохотом и воем низвергалась в канализационные решетки. Из водосточных труб хлестало, бурные потоки выкатывались из подворотен, с крыш лило и мимо труб, уже не вмещавших воды. Все живое скрылось в подъездах, подворотнях над выступами. Спасти Василия

Васильевича было некому. Прыгая через мутные реки, двое бандитов в секунду проволокли администратора до дома № 302, влетели с ним в подворотню, где жались к стенке две женщины, снявшие чулки и туфли. Василий Васильевич не посмел крикнуть им ничего и сам не понял, как оказались на лестнице, как поднялись и как его, мокрого до нитки, швырнули в переднюю, увы, очень хорошо ему знакомой квартиры Лиходеева. Трясясь от страху, близкий к безумию, он повалился на пол, и лужа распространилась по полу.

Оба разбойника исчезли, а вместо них появилась обнаженная девица, рыжая, со сверкающими в полутьме передней глазами. Варенуха понял, что это самое страшное из того, что с ним приключилось, вскочил, пытаясь скрыться от нее, но бежать было некуда, и он только вскрикнул слабо и прислонился к стене.

А девица подошла вплотную к администратору, положила ладони ему на плечи, и волосы Варенухи поднялись дыбом, потому что даже сквозь мокрую ткань толстовки он почувствовал, что ладони эти холодны, как лед.

— Э, да он славненький, — тихо сказала девица, — дай-ка я тебя поцелую...

И у самых глаз Варенухи оказались горящие глаза и красный рот. Тогда сознание покинуло Варенуху.

Глава 11 РАЗДВОЕНИЕ ИВАНА

Бор на высоком берегу реки, еще недавно освещенный майским солнцем, стал неузнаваем сквозь белую решетку, он помутнел, размазался и растворился. Вода сплошною пеленой валила за окном. Время от времени в небе вспыхивала нитка, небо лопалось, и тогда на мгновение трепещущим светом обливало всю комнату больного, и листки его, которые сдуло на пол порывом ветра, залетевшим за решетку перед началом грозы, и самого больного, сидящего на кровати.

Иван тихо плакал, глядя на смешавшийся бор и кипящую в пузырях реку, а при каждом громовом ударе тихо вскрикивал и закрывал глаза руками.

Попытки Ивана сочинить заявление относительно страшного консультанта не привели ни к чему. Лишь только он получил бумагу и огрызок карандаша, он хищно потер руки и пристроился к столику, чтобы писать.

Он бодро вывел начало:

«Члена Массолита Ивана Николаевича Понырева заявление.

Вчера вечером я пришел с покойным Александром Александровичем Мирцевым на Патриаршие пруды...»

И тут Иван запутался, именно из-за слова «покойный». Выходила сразу же какая-то нелепица: как это так — с покойным пришел на Пат-

риаршие пруды? Покойники не ходят! «Еще, действительно, чего доброго, за сумасшедшего примут», — думал Иван и стал исправлять написанное.

Вышло так: «...с А.А.Мирцевым, который попал под трамвай...» Это также не удовлетворило автора заявления, и он решил начать с чего-то самого сильного, что сразу остановило бы внимание читающего, и написал про кота, садящегося в трамвай, потом про постное масло и отрезанную голову. После этого он обратился к Понтию Пилату и для вящей убедительности решил весь рассказ изложить полностью, с того момента, как Пилат шел шаркающей кавалерийской походкой на балкон.

Иван перечеркивал написанное и сверху строк надписывал и даже попытался нарисовать таинственного консультанта и кота с монетой в руке, но чем дальше, тем путанее и непонятнее становилось это заявление. И к тому времени, как появилась за рекой страшная туча с дымящимися краями и желтоватым мутным брюхом, и проворчало далеко, и дунул ветер, Иван почувствовал, что обессилел, что с заявлением ему не совладать, и разлетевшиеся листки даже не стал поднимать и заплакал.

Добродушная женщина в белом неслышно вошла в комнату, увидела, что поэт плачет, встревожилась, сказала, что сейчас же вызовет доктора и что все будет хорошо.

И вот прошло часа два, и бор заречный опять изменился. Он вырисовался до последнего дерева, и небо расчистилось до прежней голубизны, и успокоилась река, и лежал Иван, притихший и неплачущий, смотрел за решетку.

Доктор, вызванный женщиной, сделал укол в руку Ивану, собрал с полу листки и унес их с собою, уверив, что Иван больше плакать не будет, что его расстроила гроза, а теперь после укола все пройдет, все изменится в самом наилучшем смысле.

И оказался прав. Тоска оставила Ивана, пролежав до вечера, он как-то и не заметил, как и когда небо полиняло, как загрустило и потемнело, и как почернел бор.

Иван выпил горячего молока, прилег, опять приятно зевая, и сам подивился, до чего изменились его мысли.

Воспоминание о той женщине, что прокричала про постное масло и тем открыла тайну, уже не жгло больную душу Ивана, размазался в памяти кот под липами, не пугала отрезанная голова, и, вместо всего этого, стал размышлять Иван о том, что, по сути дела, в клинике неплохо, что Стравинский очень умен, что воздух, текущий сквозь решетку, и сладостен после грозы, и свеж.

Дом скорби засыпал. В тихих коридорах потухли белые матовые лампы, вместо них загорелись дежурные слабые голубые ночники.

В комнатах засыпали больные, умолкали и бреды, и шепоты, все реже слышались осторожные шажки фельдшериц на резиновом полу коридора, все реже они навещали своих больных. И только в стороне от главного корпуса стоящий, не переставал светиться во всех окнах беспокойным светом корпус неудержимо буйных.

Иван лежал в сладкой истоме и, полуопустив веки, глядел, как льет свой свет поднимающаяся над черным бором луна, и думал

о том, почему он, собственно, так взволновался из-за того, что Мирцев попал под трамвай?

— В конечном счете, ну его в болото! — прошептал Иван и даже усмехнулся. — Что я ему, кум или сват? Если как следует провентилировать этот вопрос, то выходит, что я, в сущности, даже и не знал покойника. В самом деле, что мне о нем было известно? Да ничего, кроме того, что он был лыс и красноречив до ужаса. И далее, товарищи, — продолжал кому-то свою речь Иван, — разберемся вот в чем: чего это я взбесился на этого загадочного консультанта, этого мага и профессора с пустым и черным глазом? К чему вся эта нелепая погоня со свечечкой в руках и дикая петрушка в ресторане?

— Но, но, но! — вдруг сказал где-то прежний Иван новому Ивану. — Про то, что голову отрежет, он знал заранее! Как же не взволноваться?

— Об чем, товарищ, разговор! — возражал новый Иван Ивану прежнему, ветхому. — Здесь дело нечисто, личность он, вне сомнений, незаурядная и таинственная. Но ведь в этом-то самое интересное и есть! Человек видел Пилата! Это ли не интересно! Вместо того чтобы устраивать дикую бузу с криками, беготней, а потом и с драками, лучше было бы расспросить о том, что было дальше и с этим арестованным Га-Ноцри, и с Пилатом. А я чепухой занялся! Важное, в самом деле, происшествие — редактора задавило. Ну, будет другой редактор, в чем дело!

Подремав еще немного, Иван новый ехидно спросил у старого Ивана:

— Так кто же я такой, в этом случае?

— Дурак! — отчетливо сказал где-то бас, не принадлежащий ни одному из Иванов и очень похожий на бас консультанта. Иван, почему-то не только не обидевшись, но даже приятно изумившись слову «дурак», хихикнул в полусне, и померещилось ему, что пальма перед ним появилась на толстейшей ноге и качнула шапкой, и кот пришел веселый и не страшный, и сон уже совсем было накрыл его сознание, как вдруг балконная решетка двинулась в сторону и возникла на балконе таинственная от луны фигура в белом и, таинственно погрозив Ивану, севшему без всякого испуга на кровати, пальцем, прошептала:

— Т-сс!

Глава 12 ЧЕРНАЯ МАГИЯ

Высоко приподнятая над партером сцена кабаре была освещена так сильно, что казалось, будто на ней солнечный полдень.

И на эту сцену маленький человечек в дырявом котелке, с грушевидным малиновым носом, в клетчатых штанишках и лакированных

ботинках на пуговках выехал на двухколесном велосипеде. Сделав один круг, он испустил победный крик, отчего его велосипед поднялся на дыбы. Проехавшись на одном заднем колесе, человечек перевернулся кверху ногами, на ходу отвинтил переднее колесо, причем оно убежало за кулисы, и покатил, вертя педали руками.

Тут под звуки вальса, исходящего из оркестровой ямы, где сидел джаз-оркестр, выехала на сцену на высокой штанге, под которой было только одно колесо, толстая блондинка в трико и юбочке, усеянной серебряными звездами, и стала ездить по сцене. Встречаясь с нею, человечек издавал приветственные крики и ногой снимал котелок. Затем выехал молодой человек с выпирающими из-под трико мускулами, тоже на высокой мачте, и заездил по сцене, но не сидя в сиденье, а стоя на нем на руках и едва не касаясь ярких ламп в верхних софитах. Наконец прикатил и малютка лет восьми со старческим лицом и зашнырял на крошечной двухколеске, к которой был приделан громадный автомобильный гудок, между взрослыми. Звуки его гудка вызвали раскат смеха и аплодисмент.

В заключение вся компания под тревожную дробь барабана из оркестра подкатилась к самому краю сцены, и в первых рядах ахнули и двинулись, потому что публике показалось, что вся четверка со своими машинами грохнется в оркестр. Но велосипеды остановились как раз в тот момент, когда колеса уже грозили соскользнуть в бездну на головы джазбандистов, велосипедисты с громким криком «Ап!» соскочили с машин и раскланялись, причем блондинка послала публике воздушный поцелуй, а малютка протрубил сигнал на своем гудке.

Грохот нескольких тысяч рук потряс здание до самого купола, занавес пошел и скрыл велосипедистов, зеленые огни в проходах угасли, в паутине трапеций под куполом, как солнца, вспыхнули белые шары. Наступил антракт.

Единственный человек, которого ни в какой мере не интересовали подвиги велосипедной семьи Джулли, выписанной из Вены, был финдиректор кабаре Григорий Максимович Близнецов. В то время, когда шло предпоследнее отделение, он сидел в директорском кабинете в полном одиночестве, молчал, курил и думал о столь неприятных вещах, что по лицу его то и дело проходила судорога. Думал он, конечно, об исчезновении директора, осложнившемся совершенно непредвиденным, немыслимым, страшнейшим исчезновением администратора, который как ушел перед самой грозой днем, так и по сей момент не вернулся. Близнецов находился в крайней степени недоумения и расстройства, кусал тонкие губы и изредка шептал что-то сам себе. Он знал, куда и по какому делу отправился Варенуха, и... раз этот Варенуха не вернулся, то догадаться было нетрудно, что с ним случилось... И Близнецов, подымая плечи, шептал сам себе: «Но за что?!»

И странное дело: такому деловому человеку, как Близнецов, проще всего было, конечно, догадаться позвонить туда, куда ушел Варенуха, узнать, что с тем стряслось, а между тем Григорий Максимович до девяти часов вечера не мог принудить себя это сделать. В девять,

сделав над собою насилие, он все-таки взялся за трубку. И тут выяснилось, что телефон испорчен. Вызванный звонком курьер доложил, что испортились и все остальные аппараты в кабаре. Это, казалось бы, незначительное событие почему-то окончательно потрясло Близнецова.

Когда над головой его вспыхнул красный сигнал, возвещающий конец отделения, и когда донесся гул публики, вошел курьер и доложил, что господин маг прибыл. Финдиректора почему-то передернуло, и он пошел за кулисы, чтобы принять гастролера.

В большую уборную, где поместили иностранного артиста, под разными предлогами уже заглядывали любопытные. Мимо дверей уборной, в коридоре, где уже трещали первые сигнальные звонки, прошли фокусники в ярких халатах и с веерами в руках, появился конькобежец в белой вязанке, побывал бритый и бледный от пудры рассказчик — все, кончившие свои номера.

Прибывшая знаменитость поразила всех, во-первых, своим невиданным по длине фраком дивного покроя и добротного материала, во-вторых, тем, что явилась в черной полумаске. И в-третьих, своими спутниками.

Их было двое: один — длинный, тонкий, в клетчатых брючонках и в треснувшем пенсне... ну, словом, он — Коровьев, которого в одну секунду узнал бы, ну, хотя бы тот же Никанор Иванович Босой, но, увы, контрамарка пропала зря — Никанора Ивановича не было на представлении.

Второй был неимоверных размеров черный кот, который как вошел в уборную, так и сел непринужденно на диван, щурясь на оголенные гримировальные лампионы.

В уборную то и дело заглядывали или толклись у дверей. Был тут помощник режиссера, побывала дрессировщица под тем предлогом, что забыла взять пудру.

Близнецов с большим принуждением пожал руку магу, а длинный развязный в пенсне и сам отрекомендовался как «ихний помощник». Близнецов опять-таки принужденно осведомился у артиста, где его аппаратура, на что артист ничего не ответил, и вместо него ввязался в разговор все тот же длинный.

— Наша аппаратура, товарищ драгоценный директор, — дребезжащим голосом заговорил он, — всегда при нас! Вот она! Эйн, цвей, дрей! — И тут, повертев перед глазами отшатнувшегося Близнецова узловатыми пальцами, внезапно вытащил из-за уха кота собственные Близнецова золотые часы, которые до этого были в жилетном кармане у владельца под застегнутым пиджаком и с продетой в петлю цепочкой.

Присутствовавшие ахнули, а заглядывавший в дверь гример одобрительно крякнул.

— Ваши часики? Прошу получить, — развязно сказал длинный помощник и подал на ладони Близнецову часы. И опять почему-то финдиректор содрогнулся. Но кот отмочил штуку, которая оказалась почище номера с чужими часами. Он неожиданно встал с дивана, на задних лапах подошел к подзеркальному столу, лапой снял пробку

с графина, налил воды в стакан, выпил ее, водрузил пробку на место и гримировальной тряпкой вытер усы. Тут даже никто и не ахнул, а только рты раскрыли и в дверях кто-то шепнул:

— Ай, класс!

Тут повсюду затрещали сигналы к началу последнего отделения, и все пошли из уборной вон.

Через минуту в зрительном зале погасли шары, загорелись зеленые надписи «Запасной выход» и в освещенной щели голубой завесы предстал полный, веселый, как дитя, человек в помятом фраке и несвежем белье. Публика тотчас узнала в нем конферансье Жоржа Бенгальского.

— Итак, граждане, — заговорил Бенгальский, улыбаясь младенческой улыбкой, — сейчас перед вами выступит знаменитый иностранный маг герр Фаланд. Ну, мы-то с вами понимаем, — хитро подмигнув публике, продолжал Бенгальский, — что никакой черной магии в природе не существует. Просто мосье Фаланд в высокой степени владеет техникой фокуса. Ну, а раз так, то двух мнений быть не может. Мы все, начиная от любого уважаемого посетителя... Виноват! — сам себя перебил Бенгальский и обратился к какому-то опоздавшему, который, согнувшись в три погибели, пробирался под шиканье к своему месту. — Вы, кажется, опоздать изволили? Вы извините нас, не правда ли, что мы начали без вас? — ядовито спрашивал Бенгальский, и опоздавший от конфуза не знал, куда деваться. — Итак... мы все, от любого посетителя галерки и вплоть до почтеннейшего Аркадия Аполлоновича, — тут Бенгальский послал привет рукой в ложу, где сидел с двумя дамами заведующий акустикой московских капитальных театров Аркадий Аполлонович Семплеяров, — все, как один, за овладение техникой и против всякой магии. Итак, попросим мистера Фаланда!

Произнеся всю эту ахинею, Бенгальский отступил на шаг, сцепил обе ладони и стал махать ими в прорез занавеса, который и разошелся в разные стороны.

Выход мага с его длинным помощником и котом, выступившим из кулис на задних лапах, понравился публике. Прокатился аплодисмент. Коровьев и кот подошли к рампе и раскланялись. Это уже вызвало большой аплодисмент, и сотни лиц заулыбались, глядя на кота.

— Кресло мне, — приказал Фаланд, и в ту же секунду, неизвестно как и каким образом, на сцене появилось большое кресло, в которое и сел замаскированный артист. Развалившись на полинявшей подушке, маг не спешил ничего показывать публике, пораженной появлением кресла из воздуха. Он оглядывал публику, а та не сводила глаз с кота.

Наконец послышались слова Фаланда:

— Скажи мне, Фагот, — осведомился маг у клетчатого гаера, который, очевидно, носил и другое название, кроме «Коровьев», — так это и есть московское народонаселение?

— Точно так, — почтительно ответил Фагот-Коровьев.

— Так, так, так, — отозвался Фаланд, — я, как ты знаешь, давненько не видел москвичей... Признаться, некогда было... Надо сказать,

что внешне они сильно изменились, как и сам город, впрочем... Не говорю уже о костюмах... Но появились эти трамваи, автомобили...

— Троллейбусы! — подсказал Фагот.

— Да... да...

Публика внимательно слушала, полагая, что это словесная прелюдия к магическим фокусам.

Кулисы были полны артистов, между их лицами виднелось бледное лицо Близнецова.

На физиономии Бенгальского, приютившегося сбоку возле портала, замелькало выражение некоторого недоумения, и он чуть-чуть приподнял бровь. Воспользовавшись паузой, он вступил со словами:

— Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, которая так изумительно выросла в техническом отношении, а равно также и москвичами.

Бенгальский приятно улыбнулся и потер руки.

Фаланд, клетчатый и кот повернули головы в сторону конферансье.

— Разве я выразил восхищение? — спросил маг у Коровьева-Фагота.

— Никак нет, мэтр, вы никакого восхищения не выражали, — почтительно изгибаясь, доложил клетчатый гаер.

— Так... что же он говорит?

— А он просто соврал, — звучно, на весь зал сообщил клетчатый и, повернувшись к Бенгальскому, прибавил:

— Поздравляю вас, гражданин соврамши!

На галерее рассмеялись, а Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза.

— Ну, меня, конечно, не столько интересуют эти автобусы, телефоны и прочая...

— Аппаратура, — угодливо подсказал клетчатый.

— Совершенно верно, благодарю, — отозвался артист, — сколько более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренно?

— Важнейший вопрос, сударь, — озабоченно подтвердил Фагот.

Тут в кулисах стали переглядываться и пожимать плечами, Бенгальский стоял красный, как рак, но, как бы отгадав тревогу за кулисами, маг сказал снисходительно:

— Но мы, однако, заболтались, дорогой мой, а публика начинает скучать. Покажи ей что-нибудь... простенькое.

Тут зал облегченно шевельнулся. Пять тысяч глаз сосредоточились на Коровьеве. Тот немедленно выступил к одному концу рампы, кот перебрался к другому. Клетчатый щелкнул пальцами, залихватски крикнул:

— Три, четыре!

Тотчас поймал из воздуха атласную колоду карт, стасовал ее и лентой пустил по воздуху, кот немедленно ее поймал, в свою очередь стасовал, выпустил обратно клетчатому. Атласная лента фыркнула, клетчатый раскрыл рот, как птенец, и всю ее, карта за картой, заглотал. А кот раскланялся с партнером, шаркнув задней лапой. Аплодисмент ударил, как залп.

— Класс! — воскликнули за кулисами, потрясенные ловкостью кота. А Фагот тыкнул пальцем в партер и объявил:

— Колода эта таперича, уважаемые граждане, в седьмом ряду, место 17-е, в боковом кармане, в бумажнике у гражданина Порчевского, между трехрублевкой и повесткой, коей Порчевского вызывают в суд по делу об уплате алиментов гражданке Скобелевой.

В партере зашевелились, стали привставать, и наконец гражданин, которого точно звали Порчевским, весь пунцовый от изумления, извлек из бумажника колоду и стал тыкать ею в воздух, не зная, что с нею делать.

— Пусть она останется у вас на память! — козлиным голосом прокричал Фагот. — Вы не зря говорили вчера, что ваша жизнь в Москве без покера была бы совершенно несносна!

— Стара штука! — раздался голос на галерке. — Это из той же компании!

— Вы полагаете? — заорал Фагот, щурясь на галерку сквозь разбитое стеклышко. — В таком случае, она у вас в кармане!

На галерке произошло движение, послышался радостный голос:

— Тут! Тут! Только... стой! Это червонцы!

Головы повернулись к галерке, туда, где кричали. Там смятенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом и с надписью: «Одна тысяча рублей». Соседи навалились на него, а он начал ковырять обложку пальцем, стараясь дознаться, настоящие ли это червонцы или какие-нибудь волшебные.

— Настоящие! Ей-богу, червонцы! — кричали с галерки.

— Сыграйте и со мною в такую колоду! — весело попросил женский голос в ложе.

— Авек плезир, мадам, — отозвался клетчатый, — только почему же с одной вами? Все примут участие! — И скомандовал: — Прошу глядеть в потолок.

Головы поднялись, Фагот рявкнул:

— Пли!

В руке у него оказался пистолет, сверкнуло, бухнул выстрел, и тотчас из-под купола, ныряя между нитями подтянутых трапеций, начали падать в зал белые бумажки. Они вертелись, их разносило в стороны, забивало на галерею, откидывало и в оркестр, и на сцену.

Через несколько секунд бумажный дождь, все густея, достиг кресел, и зрители стали бумажки эти ловить. Сперва веселье, а потом недоумение разлилось во всем театре. Сотни рук поднимались, сквозь бумажки зрители глядели на освещенную сцену и видели самые праведные, самые верные водяные знаки. Запах также не оставлял никаких сомнений: это был единственный в мире, ни с чем по прелести не сравнимый запах свежеотпечатанных денег.

И слово «червонцы, червонцы» загудело по всему театру, послышались вскрикивания «ах... ах!..», кой-кто уж ползал в проходе, некоторые стояли ногами на сиденьях, ловили вертлявые бумажки. Один сорвался при этом. На лицах милиции в проходах выражалось тягостное недоумение, артисты уже без церемонии стали высовываться из-за кулис, Аркадий Аполлонович в ложе мял в руках червонец, ста-

раясь выразить на лице снисходительное отношение к этой шутке фокусников, но оно не получалось как-то.

С галереи вдруг донесся голос: «Ты чего хватаешь? Это моя, ко мне летела!» — и другой голос: «Да ты не толкайся! Я тебя сам так толкану!..» — и грянула плюха, завязалась возня. На галерее появился шлем милиционера, слышно было, как кого-то повлекли с галереи вон.

Трое молодых людей в пиджаках с преувеличенными плечами и с бойкими глазами, поминутно почему-то подмигивающими, бесшумно снялись со своих мест и, обменявшись многозначительными какими-то знаками, исчезли из партера, направившись к той двери, которая вела в буфет. Возбуждение разрасталось и неизвестно к чему привело бы, если бы кот внезапно не прекратил денежный дождь, дунув в воздух.

Тут только Бенгальский нашел в себе силы и шевельнулся. Стараясь овладеть собою, он потер руки и голосом, по возможности звучным, заговорил так:

— Итак, граждане, мы с вами видели сейчас случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес не существует. Итак, попросим мосье Фаланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки, что у вас у всех в руках, исчезнут так же внезапно, как и появились.

Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве. На лице при этом у него было выражение уверенности, но в глазах ее не было ни капли, скорее выражалась мольба.

Публике речь Бенгальского не понравилась; наступило полное молчание, которое было прервано клетчатым Фаготом.

— Это опять-таки так называемый случай вранья, — прокричал он козлиным тенором, — бумажки, граждане, настоящие!

— Браво! — восторженно крикнули на галерее.

— Между прочим, этот, — и тут клетчатый нахал указал на Бенгальского, — надоел мне! Суется все время куда его не спрашивают, ложными замечаниями портит сеанс. Что бы с ним такое сделать?

— Голову ему оторвать! — сказал кто-то сурово на галерке.

— Как вы говорите? Ась? — тотчас отозвался Фагот на это безобразное предложение. — Голову оторвать? Это — идея! Бегемот! — закричал он коту. — Эйн, цвей, дрей!

И произошла вещь невиданная. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем прыгнул, как пантера, прямо на грудь к Бенгальскому, а оттуда на голову, пухлыми лапами вцепился в жидкую шевелюру и в два поворота, дико завывая, сорвал голову с пухлой шеи.

Две с половиной тысячи человек в кабаре как один вскрикнули. Безглавое тело нелепо загребло ногами и село на пол. Кровь потоками из растерзанной шеи бежала по манишке и фраку.

Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и она плаксиво крикнула:

— Доктора!

В партере послышались истерические крики женщин, а на галерее кто-то невольно рассмеялся.

— Ты будешь всякую чушь собачью [молоть] в другой раз? — грозно спросил Фагот.

— Не буду! — ответила голова, и слезы покатились из ее глаз.

— Ради бога, не мучьте его! — вдруг на весь театр прозвучал женский голос в партере, и видно было, как замаскированный повернул в сторону голоса лицо.

— Так что же, граждане, простить, что ли, его? — спросил клетчатый у публики.

— Простить, простить! — раздались вначале отдельные и преимущественно женские голоса, а затем они слились в дружный хор с мужскими.

— Ну что же, все в порядке, — тихо проговорил замаскированный, — узнаю их. И алчны, и легкомысленны, но милосердие все-таки стучится в их сердца. — И громко сказал: — Наденьте голову!

Кот и Фагот во мгновение ока нахлобучили голову на окровавленную шею, и голова, к общему изумлению, прочно и крепко села на место, как будто никогда и не отлучалась. Клетчатый мгновенно нахватал из воздуха червонцев, всунул их в руку бессмысленно глядящему Бенгальскому, подпихнул его в спину и выпроводил со сцены со словами:

— Катитесь отсюда, без вас веселей!

Бенгальский, бессмысленно улыбаясь, дошел только до пожарного поста и возле него упал в обморок.

К нему кинулись, в том числе и Близнецов, лицо которого было буквально страшно. Пока возились с Бенгальским и растерянный доктор совал в нос бедному конферансье склянку с нашатырным спиртом, Фагот показал новый номер, вызвавший неописуемый восторг в публике.

Объявив:

— Таперича, граждане, мы открываем магазин, — он всю сцену осветил разноцветными лампионами. Появились громадные зеркала, по бокам которых засверкали гроздьями огни, а меж зеркал публика увидела парижские модели разных цветов и фасонов. В застекленных витринах появились сотни дамских туфель — черных, белых, желтых, кожаных, атласных, замшевых, с пряжками и без пряжек, с камушками на пряжках. Выше них заиграли шляпки.

Сладко ухмыляясь, Фагот объявил, что производит обмен старых дамских платьев и обуви на парижские, и притом всем гражданкам совершенно бесплатно.

Публика таращила глаза на сцену, веселые улыбки играли на лицах.

— Прошу! — орал Фагот. — Без стеснения. Пожалуйте, медам!

Колебание продолжалось еще некоторое время, пока какая-то хорошенькая блондинка не вышла из десятого ряда и, улыбаясь улыбкой, которая показывала, что ей наплевать, не проследовала на сцену по боковому трапу.

— Браво! — вскричал Фагот и тут же раскрыл перед смелой женщиной витрину с платьями.

Блондинка деловито прищурилась, потрогала одно, потом другое и наконец решительно указала на сиреневое платье.

— Уи, мадам! — орал Фагот, явно изображая приказчика, и подвел блондинку к витрине с обувью.

Та бойко сняла туфли, и Бегемот вывалил перед нею целый ассортимент туфель. Блондинка примерила сиреневую, потопала в ковер, деловито повернулась, осматривая каблук, спросила:

— А они не велики мне? Посмотрите, мосье, будьте любезны!

Фагот обиженно вскрикнул:

— Помилуйте, мадам!

И кот от обиды мяукнул.

— Я беру эту пару, мосье, — сказала блондинка, надела и вторую туфлю.

Бегемот с сиреневым платьем кинулся за нею за шелковую занавеску. Публика, затаив дыхание, смотрела на сцену.

Через минуту из-за занавески вышла блондинка в таком платье, что в публике прокатился вздох. Блондинка с каменным лицом, удивительно похорошевшим, остановилась у зеркала, тронула волосы, изогнулась, оглядывая спину, и затем проследовала к рампе.

Но тут ее перехватил Фагот и, изгибаясь, как червь, подал ей сумочку, сверкающую лаком, и красный футляр с духами.

— А это фирма просит вас принять на память! — сказал Фагот.

— Мерси, мосье, — надменно ответила блондинка, приняла дары и проследовала в партер.

Через минуту на сцену вереницей двинулись женщины.

— Я не позволяю тебе! — послышалось в общем говоре.

— Дурак, деспот и мещанин, не ломайте мне руку, — ответил женский голос.

На сцене шла суета, партер гудел в восторге. Какой-то мужчина сунулся было на сцену со словами, что у него жена дома и нездорова, так он передаст ей, и получил от Фагота две пары шелковых чулок.

Дамы возвращались со сцены в жакетах, бальных открытых платьях, в пижамах, разрисованных драконами, в халатах, несли в руках футляры, сумки, сверкающие пудреницы.

Неожиданно Фагот объявил, что магазин закрыт на ужин. Стон прокатился по залу, огни в лампах стали таять, витрины исчезли, шелковая занавеска провалилась сквозь землю, и за нею оказалась груда брошенных старых платьев и истоптанной обуви.

Фагот выстрелил в воздух, и вся эта груда провалилась сквозь землю.

И здесь вмешался в дело Аркадий Аполлонович Семплеяров.

— Все-таки нам было бы приятно, гражданин артист, — приятным баритоном проговорил Аркадий Аполлонович, и театр затих, слушая его, — если бы вы незамедлительно разоблачили бы технику ваших фокусов, построенных, конечно, на гипнозе, и в частности денежные бумажки.

И чувствуя на себе взоры сотен людей, Аркадий Аполлонович приосанился и поправил пенсне на носу.

— Пардон, — отозвался клетчатый, — это не гипноз, я извиняюсь. И в частности разоблачать тут нечего!

— Браво! — крикнул бас на галерке.

— Виноват, — настойчиво сказал Аркадий Аполлонович, — все же это совершенно необходимо. Без объяснения ваши номера оставят самое тягостное впечатление у зрителя. Зрительская масса требует объяснения...

— Зрительская масса, — перебил его нагло клетчатый, — ничего как будто не заявляла? Но, принимая во внимание ваше глубокоуважаемое желание, извольте, я произведу разоблачение, драгоценный Аркадий Аполлонович. Но для этого начнем с частности. Один номерочек еще позволите?

— Отчего же, — отозвался Аркадий Аполлонович.

— Слушаюсь! — воскликнул Фагот и, потирая руки, осведомился у Аркадия Аполлоновича: — Вы где вчера вечером изволили быть, Аркадий Аполлонович?

При этом неуместном и даже, пожалуй, хамском вопросе лицо Аркадия Аполлоновича очень изменилось.

— Аркадий Аполлонович вчера вечером был в заседании акустической комиссии, — сказала презрительно пожилая дама, сидящая рядом с Аркадием Аполлоновичем и, как выяснилось вскорости в конторе при составлении протокола, оказавшаяся супругой Аркадия Аполлоновича.

— Нон, мадам, — решительно воскликнул наглый Коровьев, он же Фагот, — вы в полном заблуждении. Выехав на заседание, которое, к слову сказать, вовсе и не было назначено, Аркадий Аполлонович переменил маршрут и поехал на Елоховскую площадь и провел три часа в гостях у очаровательной Клавдии Никоновны Альберт, с которой предварительно уговорился днем по телефону.

— Ай! — воскликнул кто-то в бельэтаже.

И тут в той же ложе сидевшая молодая дама, как выяснилось из того же протокола, троюродная сестра Аркадия Аполлоновича, приехавшая в Москву для продолжения артистического образования, воскликнула:

— Давно подозревала этого негодяя!

И с этими словами, размахнувшись лиловым коротким зонтиком, ударила им Аркадия Аполлоновича по голове.

В публике ахнули, а подлый Коровьев вскричал:

— Вот, почтенные граждане, один из случаев разоблачения, которого так упорно добивался Аркадий Аполлонович!

— Как ты смела ударить моего мужа! — вскричала исступленно супруга Аркадия Аполлоновича.

— Ну, уж кто-кто, а я-то смею, — ответила молодая дама и ударила второй раз Аркадия Аполлоновича, который, не протестуя, сидел у барьера.

— Милиция! Взять ее! — страшным голосом вскричала супруга Аркадия Аполлоновича.

А кот неожиданно подошел к рампе и вдруг рявкнул человеческим голосом на весь театр:

— Сеанс окончен! Маэстро, прошу марш!

И ополоумевший дирижер, сам не понимая, что он делает, взмахнул палочкой, и оркестр грянул залихватский, нелепый и неуместный марш, после чего уже все смешалось.

Видно было только, что к ложе Аркадия Аполлоновича спешит милиция, что в партере вскакивают и что все три артиста, то есть замаскированный, клетчатый Фагот и кот Бегемот, бесследно исчезли.

Глава 13 ЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ

Погрозив Ивану пальцем, фигура прошептала:

— Т-сс!

Иван изумился и сел на кровати. Перед ним оказался вошедший с балкона человек, лет 38-ми примерно, худой и бритый, с висящим темным клоком волос и длинным острым носом.

Он повторил «т-сс!» и сел в кресло у Ивановой постели и запахнул свой больничный халат.

— Как же это вы сюда попали? — шепотом спросил Иван, повинуясь длинному, сухому пальцу, который продолжал грозить. — Ведь решетки-то на замках?

— Решетки на замках, — повторил гость, — но Прасковья Васильевна человек рассеянный. Я у нее связку ключей стащил и таким образом получил возможность и на балкон выходить, и даже, как видите, иногда навестить соседа. Итак, сидим? — спросил он.

— Сидим, — ответил Иван, с любопытством всматриваясь в живые карие глаза пришельца.

— Но вы, надеюсь, не буйный? — вдруг спросил тот. — А то я не люблю драк, шума и всяких таких вещей.

Преображенный Иван мужественно признался:

— Вчера в ресторане я одному типу по морде засветил.

— Основание? — строго спросил гость.

— Да, признаться, без основания, — ответил Иван, конфузясь, — там буза вышла...

— Советую вам это бросить, — сказал гость, — вы перестаньте рукам волю давать. — И опять осведомился:

— Профессия?

— Поэт, — неохотно признался Иван. Пришедший огорчился.

— Ой, как мне не везет, — воскликнул он, но тотчас спохватился, — извините, не обращайте внимания... А как ваша фамилия?

— Понырев.

— Ай-яй-яй, — сказал гость.

— А вам мои стихи не нравятся? — без всякой обиды спросил Иван.

— Ужасно не нравятся.

— А вы какие читали?
— Да никаких я не читал! — воскликнул нервно гость.
— А как же?.. — изумился Иван.
— Что как же? Как будто я других не читал! А эти, даю вам голову наотрез, такие же самые! Ну, будем откровенны, сознайтесь — ведь ужасные ваши стихи?
— Чудовищные! — внезапно смело и откровенно сказал Иван.
— Не пишите больше, — сказал пришедший умоляюще.
— Обещаю, — торжественно заявил Иван, — обещаю и клянусь!
Клятву скрепили рукопожатием.
— Из-за чего попали сюда? — спросил [гость].
— Из-за Понтия Пилата, — ответил Иван.
— Как? — воскликнул шепотом гость и даже привстал. — Потрясающее совпадение! Расскажите, умоляю!
Иван, почему-то испытывая полное доверие к неизвестному гостю, вначале скупо и робко, а потом все более расходясь, рассказал всю историю про Патриаршие пруды, причем испытал впервые полное удовлетворение.
Его слушатель не только не выразил ему недоверия, но, наоборот, пришел от рассказа в полный восторг. Он то и дело прерывал Ивана восклицаниями: «Ну, ну! Дальше, умоляю!.. Не пропускайте ничего!»
Когда шел рассказ про Понтия Пилата, глаза у гостя разгорелись, как фонари. Однажды он потряс кулаком и вскричал шепотом:
— О, как я угадал! О, как я угадал!
Когда Иван дошел до описания ужасной смерти Мирцева, гость выразился так:
— Эх, жаль, что на месте Мирцева не было критика Латунского! Но продолжайте, умоляю!
Кот, садящийся в трамвай, привел в состояние веселья гостя. Он беззвучно хохотал, даже давился, сам себе грозил пальцем, восклицал: «Прелестно! Прелестно!»
Когда Иван, поощренный до крайности своим благодарным слушателем, честно и откровенно изложил историю в Грибоедове и дальнейшее, гость стал серьезен, затуманился, Ивана пожалел, но при этом сказал:
— Вы, голубчик мой, сами виноваты. Нельзя себя держать с ним столь развязно и, сказал бы, даже нагловато. Вот и поплатились! Ну, вам простительно, вы меня извините, вы — человек невежественный...
— Бесспорно, — согласился Иван.
— А Мирцеву я положительно удивляюсь. Как же так, все-таки, не узнать его?
— Кто же он такой? — со страхом и любопытством спросил Иван.
Гость сказал, что охотно объяснил бы это Ивану сразу и тут же, но не сделает этого только потому, что боится потрясти Ивана, а тот, как бы там ни было, психически явно ущербен.
— Но, ах, ах, — восклицал гость, — что бы я дал, чтобы быть на вашем месте! Ах, ах, — он даже по комнате заходил, восклицая, — ах, ах! Ведь это какой случай!

— А он действительно был тогда у Понтия Пилата? — спросил Иван, потирая лоб. — Мне, конечно, не верят, думают, что я сумасшедший.

— Стравинский первоклассный психиатр, — отозвался гость, — но здесь он совершил ошибку, приняв ваши рассказы за бред. Вы не сумасшедший, вы все это действительно видели и слышали, как и рассказываете, но то, что случилось на Патриарших, настолько необычно, бывает так редко, что, конечно, ошибка его извинительна.

— А может, этот с дырявым глазом сумасшедший?

Гость рассмеялся.

— Не беспокойтесь, мой друг, — ответил он, — я искренно позавидовал бы вам, если бы вы имели одну десятую часть, слышите — одну десятую его ума.

— Так, стало быть, он был у Пилата.

— Без сомнения, — отрезал гость, — и я, клянусь, отдал бы связку ключей Прасковьи Васильевны, ибо больше мне отдавать нечего, это все, что у меня имеется в жизни, за то, чтобы послушать его.

— А зачем он вам так понадобился?

Тут гость рассказал свою печальную историю.

— Дело, видите ли, в том, что я написал роман как раз про этого самого Га-Ноцри и Пилата, — заговорил гость и явно взволновался.

— Вы — писатель? — спросил с великим интересом Иван.

— *Я* — мастер, — ответил гость, и стал горделив, и вынул из кармана засаленную шелковую черную шапочку, надел ее, также надел и очки, и показался Ивану и в профиль, и в фас, чтобы доказать, что он действительно мастер.

Затем, взяв с Ивана честное слово, что тот поступит как джентльмен и никому ничего не повторит, гость рассказал дальнейшее.

Выяснилось, что он написал этот роман, над которым просидел три года в своем уютном подвале на Пречистенке, заваленном книгами, и знала об этом романе только одна женщина. Имени ее гость не назвал, но сказал, что женщина умная, замечательная...

Мастер
и Маргарита

Роман

Полная
рукописная
редакция

1928–1937 гг.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ!

Весною, в час заката, на Патриарших прудах появилось двое граждан.

Первый из них, приблизительно тридцатипятилетний и преждевременно облысевший, лицо имел бритое, одет был в серенькую летнюю пару, приличную шляпу пирожком нес в руке.

Другой, двадцатитрехлетний, был в синей блузе, измятых белых брюках, в тапочках и в кепке.

Оба проделали, по-видимому, значительный путь по Москве пешком и теперь изнывали от жары.

У второго, не догадавшегося снять кепку, пот струями тек по загоревшим небритым щекам, оставляя светлые полосы на коричневой коже.

Первый был не кто иной, как Григорий Александрович Мирцев, секретарь одной из столичных литературных ассоциаций, сокращенно именуемой «Массолит», и редактор двух художественных журналов, а молодой спутник его — входящий в большую славу поэт-самородок Ваня Понырев.

Попав в тень начинающих зеленеть лип, писатели бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Воды».

Да, следует отметить первую странность этого страшного вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Бронной улице, не было ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, добела раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.

— Нарзану дайте, — попросил Мирцев.

— Нарзану нету, — ответила женщина в будочке.

— А что есть? — спросил Мирцев.

— Абрикосовая, только теплая, — сказала женщина.

— Ну, давайте, давайте, давайте, — нетерпеливо сказал Мирцев.

Абрикосовая дала обильную желтую пену, в воздухе запахло одеколоном. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиною к Малой Бронной.

Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Мирцева. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгнове-

нье куда-то провалилось, потом вернулось, но тупая игла засела в нем; кроме того, Мирцева охватил необоснованный страх и ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки.

Мирцев тоскливо оглянулся, не понимая, что его встревожило. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мною? Этого никогда не было... сердце шалит... я переутомился. Пожалуй, пора бросить все — и в Кисловодск...»

И тут знойный воздух сгустился перед ним и соткался из воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок, ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.

Жизнь Мирцева складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Он еще больше побледнел, вытаращил глаза, в смятении подумал: «Этого не может быть!..»

Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево, и вправо.

Тут ужас охватил Мирцева, и от ужаса он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево, очевидно, растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца.

— Фу ты, черт! — воскликнул редактор. — Ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался! Даже что-то вроде галлюцинации было, — он попытался усмехнуться, но глаза его были тревожны и руки еще дрожали.

Однако постепенно он успокоился, обмахнулся платком и, сказав довольно бодро: «Ну-с, итак...», — повел речь, прерванную питьем абрикосовой.

Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что Мирцев заказывал Поныреву большую антирелигиозную поэму для очередной книжки и вот теперь читал поэту нечто вроде лекции, с тем чтобы дать ему кое-какие установки, необходимые для сочинения этой поэмы.

Надо заметить, что редактор был человеком начитанным и очень умело ссылался в своей речи на разных древних историков, например, на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия и на Корнелия Тацита.

Говоря о последнем, Григорий Александрович с большим знанием дела и обнаруживая солидную эрудицию, сообщил поэту о подделке 15-й главы известных «Анналов» и о многих других важных и интересных вещах. Делалось все это затем, чтобы доказать Поныреву, что Иисуса Христа вообще никогда на свете на существовало.

Поэт, для которого все сообщаемое редактором являлось новостью, внимательно слушал Григория Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые глаза, и лишь изредка икал, шепотом проклиная абрикосовую воду.

Высокий тенор Мирцева разносился в пустынной аллее, и поэт узнал очень много полезного и интересного и про египетского Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и про грозного бога Вицлипуцли, ко-

торого весьма почитали ацтеки в Мексике. Чем больше говорил Мирцев, тем яснее становилась картина: хочешь не хочешь, а приходилось признать, что все рассказы о существовании Христа — простые выдумки, самый обыкновенный миф.

И вот как раз в то время, когда Григорий Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигуру Вицлипуцли, в аллее показался первый человек.

Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во второй — что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает, что особых примет у человека нету.

Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится.

Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой золотые.

Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый же берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду — лет сорок с лишним. Рот кривой какой-то. Выбрит гладко. Брюнет. Один глаз черный, другой почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом — иностранец.

Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей.

«Немец», — подумал Мирцев.

«Англичанин, — подумал Понырев, — ишь, и не жарко ему в перчатках».

А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие Пруды, причем заметно стало, что видит это место он впервые и что оно его заинтересовало. Сперва он остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное, навсегда уходящее от Григория Александровича солнце, затем перевел его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть, чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки.

— Итак, резюмирую, — говорил Мирцев, — нет ни одной восточной религии, в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Христа, которого на самом деле никогда в живых не было. И вот на это и нужно сделать главный упор в поэме...

Тут Понырев сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче.

В этот момент Мирцев прервал свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к нему. Литераторы поглядели на него удивленно.

— Извините меня, пожалуйста, — заговорил подошедший с явным иностранным акцентом, но не коверкая слов, — что я, не будучи знаком, позволяю себе... но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...

Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться.

«Нет, скорее француз...» — подумал Мирцев.

«Поляк?» — подумал Понырев.

Необходимо добавить, что на Понырева иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Мирцеву, наоборот, очень понравился.

— Разрешите мне присесть? — так же вежливо попросил иностранец, и приятели как-то невольно раздвинулись, а иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор: — Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете?

— Нет, вы не ослышались, — учтиво ответил Мирцев, — именно это я и говорил.

— Ах, как интересно! — воскликнул иностранец.

«Какого черта ему надо?» — подумал Понырев и нахмурился.

— А вы соглашались с вашим собеседником? — осведомился неизвестный, повернувшись к Поныреву.

— На все сто! — подтвердил тот, любя выражаться вычурно и фигурально.

— Изумительно! — вскричал непрошеный собеседник и, воровски почему-то оглянувшись и снизив почти до шепота свой низкий голос, сказал: — Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы и вообще не верите в Бога? — он сделал испуганные глаза и прибавил: — Клянусь, я никому не сажу.

— Мы не верим в Бога, — чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Мирцев, — но об этом можно говорить совершенно свободно.

Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства:

— Вы —атеисты?!

— Да, мы атеисты, — весело ответил Мирцев, а Понырев подумал, рассердившись: «Вот прицепился гусь заграничный!»

— Ах, какая прелесть! — вскричал странный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.

— В нашей стране атеизм никого не удивляет, — дипломатически вежливо сказал Крицкий, — большинство нашего населения сознательно и давно перестали верить сказкам о Боге.

Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом такие слова:

— Позвольте вас поблагодарить от души!

— За что это вы его благодарите? — заморгав, осведомился Понырев.

— За очень важное сведение, которое мне как путешественнику чрезвычайно интересно, — многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак.

Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно

обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту.

«Нет, он не англичанин...» — подумал Крицкий, а Понырев подумал: «Где это он так наловчился говорить по-русски, вот что интересно!» — и нахмурился.

— Но позвольте вас спросить, — после тревожного раздумья заговорил заграничный гость, — как же быть с доказательствами бытия Божия, коих, как известно, существует ровно пять?

— Увы! — с сожалением ответил Крицкий. — Ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования [Бога] нет и быть не может.

— Браво! — вскричал иностранец. — Браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу! Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство!

— Доказательство Канта, — тонко улыбнувшись, возразил образованный Крицкий, сразу сообразивший, о ком идет речь, — также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством.

Крицкий говорил, а сам в это время думал: «Но все-таки, кто же он такой? И почему он великолепно говорит по-русски?»

— Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки! — совершенно неожиданно бухнул Ваня Понырев.

— Иван! — сконфузившись, шепнул Крицкий.

Но предложение направить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, а напротив, привело в восторг.

— Именно, именно! — закричал он, и левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал, — ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали, над вами, пожалуй, смеяться будут!

Крицкий вытаращил глаза. «За завтраком... Канту?! Что это он плетет?!.» — подумал он.

— Но, — продолжал иноземец, не смущаясь изумлением Крицкого, — отправить его в Соловки невозможно, по той причине, что он уже лет сто двадцать пять находится в местах, значительно более отдаленных от Патриарших прудов, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас.

— А жаль! — отозвался задира Понырев, не совсем разобравшись в последних словах своего противника, а просто испытывая раздражение и не обращая внимания на укоризненные подмигивания и гримасы Крицкого.

— И мне жаль! — подтвердил неизвестный, сверкая глазом, и продолжал: — Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем распорядком на земле?

— Сам человек, — поспешил сердито ответить на этот, признаться, не очень ясный вопрос Понырев.

— Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — для того чтобы управлять, нужно, согласитесь, составить точный план, на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. И вот, позвольте вас спросить, как же может управлять жизнью человек, если он не только не может составить какой-нибудь план на смехотворный срок, лет, скажем, в тысячу, но даже не может ручаться за свой собственный завтрашний день? И в самом деле, — тут неизвестный повернулся к Крицкому, — вообразите, что вы, скажем, начнете управлять, распоряжаться и другими, и собою, вообще, так сказать, входить во вкус — и вдруг у вас... кхе, кхе... саркома легкого... — тут иностранец сладко хихикнул, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, — да, саркома, — жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, — и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы бросаетесь вначале к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое, так и второе, и третье совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается совершенно трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, уже не сидит за своим письменным столом, а лежит в деревянном ящике неподвижен, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи.

А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, ведь пустяковое, казалось бы, дело, но и этого сделать не может, потому что вдруг неизвестно почему возьмет поскользнется, да и попадет под трамвай. Неужели вы скажете, что он сам собою управлял? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? — и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.

Крицкий с великим вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, и какие-то тревожные мысли начали мучить его. «Он не иностранец! Он не иностранец, — мелькнуло у него в голове, — он престранный субъект... Но позвольте, кто же он такой?»

— Вы хотите курить, как я вижу? — внезапно обратился к Поныреву неизвестный. — Вы какие предпочитаете?

— А у вас разные, что ли, есть? — мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились.

— Какие предпочитаете? — повторил неизвестный.

— Ну, «Нашу марку», — злобно ответил Понырев.

Незнакомец немедленно вытащил из кармана пиджака портсигар и галантно предложил его Понырева:

— «Наша марка»!

Поэта и редактора не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно «Наша марка», сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его дважды сверкнула на мгновенье синим и белым огнем бриллиантовая буква «F».

Тут литераторы подумали разно. Крицкий: «Нет, иностранец...», а Понырев: «Вот, черт его возьми! А?»

Поэт и владелец портсигара закурили, некурящий Крицкий отказался.

«Надо будет ему возразить, а то он уж очень бойко разговорился, — решил Крицкий, — и возразить так: да, человек смертен, но никто против этого и не спорит. А дело в том, что...»

Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец.

— Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.

«Какая-то нелепая постановка вопроса...» — помыслил Крицкий и вслух сказал:

— Ну, здесь уже есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собою разумеется, что если мне на Бронной свалится на голову кирпич...

— Кирпич ни с того ни с сего, — внушительно перебил неизвестный, — никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в каком случае не угрожает. Вы умрете другою смертью.

— Может быть, вы знаете, какой именно? — с совершенно естественной иронией осведомился Крицкий, вовлекаясь в какой-то нелепый разговор, — и скажете мне?

— Охотно, — отозвался незнакомец. Он смерил Крицкого взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: «Раз... два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть — несчастье, вечер — семь...» — и громко и радостно сказал: — Вам отрежут голову.

Понырев дико и злобно выпятился на назойливого неизвестного, а Крицкий спросил, криво усмехнувшись:

— А кто именно? Враги? Интервенты? Японцы?

— Нет, — ответил собеседник, — русская женщина, комсомолка.

— Гм... — криво усмехнувшись шуточке неизвестного, промычал Крицкий. — Ну, это, извините, маловероятно.

— Прошу и меня извинить, — ответил иностранец, — но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если это не секрет?

— Нет, секрета здесь нет. Сегодня в десять вечера в «Массолите» состоится заседание, и я буду на нем председательствовать.

— Нет, этого быть никак не может, — твердо возразил иностранец.

— Это почему? — спросил Крицкий, уже с некоторым раздражением.

— Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, — что Аннушка уже купила постное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится.

Тут, понятное дело, под липами наступило молчание.

— Простите, — сказал Крицкий, дико глядя на мелющего чепуху иностранца, — при чем здесь постное масло, и какая Аннушка?

— Постное масло здесь вот при чем, — вдруг заговорил Понырев, очевидно решив объявить незваному собеседнику войну. — Вам не

приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в лечебнице для душевнобольных?

— Иван! — воскликнул Крицкий.

Но иностранец ничуть не обиделся, а, наоборот, превесело рассмеялся.

— Бывал, бывал, и не раз! — вскричал он со смехом, но не сводя несмеющегося глаза с поэта. — Где я только не бывал! Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что вы уж сами узнайте это у него, Иван Николаевич!

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Помилуйте, дорогой Иван Николаевич, кто же вас не знает? — Здесь иностранец вытащил из кармана вчерашний номер литературной газеты, и Иван Николаевич увидел на первой же странице свое изображение и свои собственные стихи.

Однако на сей раз это еще одно доказательство славы и популярности ничуть не обрадовало поэта.

— Я извиняюсь, — сказал он, и лицо его потемнело, — вы не можете подождать минуточку, я хочу товарищу пару слов сказать.

— О, с удовольствием! — воскликнул иностранец. — Здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спешу.

— Вот что, Миша, — зашептал поэт, оттащив Крицкого в сторону, — это никакой не интурист, а шпион. Это русский эмигрант, перебравшийся к нам. Спрашивай у него документы, а то он уйдет...

— Почему ты думаешь?.. — встревоженно шепнул Крицкий, а сам подумал неприятно: «А ведь, пожалуй, он прав...»

— Уж ты мне верь, — засипел ему в ухо поэт, — он дураком прикидывается, чтобы выспросить кой-что. Ты слышишь, как он по-русски говорит? Идем, задержим его, а то уйдет...

И поэт за руку потянул расстроенного Крицкого к скамейке.

Незнакомец не сидел, а стоял у скамейки, держа в руках какую-то книжечку, плотный конверт великолепной бумаги и визитную карточку.

— Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. Вот моя карточка, вот мой паспорт, а вот и приглашение, в котором меня просят приехать в Москву для консультации, — веско сказал иностранец, проницательно глядя на обоих литераторов.

Те сконфузились. «Черт, слышал все...» — подумал Крицкий и вежливым жестом показал, что в предъявлении документов нет надобности. Пока иностранец совал их Крицкому, поэт успел разглядеть на карточке слово «Professor» и начальную букву фамилии, опять-таки «F».

— Очень приятно, — смущенно сказал Крицкий, и иностранец спрятал документы в карман.

Отношения таким образом были восстановлены, и все трое опять сели на скамью.

— Вы в качестве консультанта приглашены к нам, профессор? — спросил Крицкий.

— Да, консультанта, — подтвердил профессор.

— Вы — немец? — спросил Понырев.

— Я-то? — переспросил профессор и вдруг задумался. — Да, пожалуй, немец, — сказал он.

— Вы по-русски здорово говорите, — заметил Бездомный.

— О, я вообще полиглот, — ответил профессор.

— А у вас какая специальность? — ласково осведомился Крицкий.

— Я специалист по черной магии.

«На тебе!!» — стукнуло в голове у Понырева.

— И... и вас по этой специальности пригласили к нам? — заикнувшись, спросил Крицкий.

— По этой пригласили, — подтвердил профессор, — тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи Бэкона и бенедиктинского монаха Гильдебранда, тринадцатого и одиннадцатого веков... Захотели, чтобы я их разобрал... Я специалист единственный в мире...

— А-а! Вы историк? — с большим облегчением и уважением сказал Крицкий.

— Я — историк, — подтвердил ученый и добавил ни к селу ни к городу, — сегодня вечером на Патриарших будет смешная история.

И опять крайне удивились и редактор, и поэт, а профессор поманил обоих к себе пальцем и, когда те наклонились к нему, прошептал:

— Имейте в виду, что Иисус существовал.

— Видите ли, профессор, — смущенно улыбнувшись, отозвался Крицкий, — мы уважаем ваши несомненно большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения.

— А не надо никаких точек зрения! — ответил профессор. — Просто он существовал, и больше ничего!

— Но какое же доказательство этому?..

— И доказательств никаких не надо, — заговорил профессор, причем его акцент почему-то пропал, — просто в белом плаще...

Глава II ЗОЛОТОЕ КОПЬЕ

В белом плаще с кровавым генеральским подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца ниссана в колоннаду дворца вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Больше всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало прокуратору очень нехороший день. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожи и пота от конвоя примешивается проклятая розовая струя. Из недальних казарм за дворцом, где расположились пришедшие с Понтием в Ершалаим римские манипулы, заносило дымком в колоннаду, но и к горьковатому дыму, свидетель-

ствовавшему о том, что в манипулах кашевары начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух.

«О боги, боги, за что вы наказываете меня? Да, нет сомнений, это она опять, непобедимая ужасная болезнь — гемикрания, при которой болит полголовы. От нее нет средств, нет никакого спасения. Попробую не двигать головой».

На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону.

Секретарь почтительно вложил в нее дощечку. Не удержавшись от болезненной гримасы, прокуратор искоса, бегло проглядел написанное на восковой поверхности, вернул таблицу и с трудом сказал:

— Приведите преступника.

И сейчас же из сада, под колонны, двое легионеров ввели и поставили перед креслом человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький голубой хитон. Рыжеватые волосы его были прикрыты повязкой с ремешком, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у него был большой синяк, у угла рта ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора.

Тот помолчал, потом спросил тихо по-арамейски:

— Так это ты хотел разрушить ершалаимский храм?

Прокуратор при этом сидел как каменный, губы его шевельнулись чуть-чуть при произнесении слов. Происходило это оттого, что прокуратор боялся качнуть пылающей адской болью головой.

Молодой человек несколько подался вперед и начал говорить:

— Добрый человек! Поверь мне...

Но прокуратор, ничуть не повышая голоса, тут же перебил его:

— Ты меня называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все называют меня злым человеком, и это верно. — И так же монотонно прибавил: — Позовите кентуриона Крысобоя.

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион из первого манипула, Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором.

Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил еще невысокое солнце. Прокуратор обратился к кентуриону по-латыни:

— Преступник называет меня «добрый человек»... Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо разговаривать со мною. Но не бить.

И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который жестом показал арестованному, что тот должен следовать за ним.

Крысобоя вообще все провожали взглядами, где бы он ни появился, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, — из-за того, что лицо кентуриона было изуродовано: нос его семнадцать лет тому назад был разбит ударом германской палицы.

Простучали тяжелые сапоги кентуриона по мозаике, связанный пошел за ним бесшумно, полное молчание настало в колоннаде,

и слышно было, как ворковали голуби в саду, да еще вода пела монотонную, но приятную песню в фонтане.

Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть. Но он знал, что и это ему не поможет.

Выведя арестованного из-под колонн в сад, Крысобой взял у легионера, стоявшего у стены, бич и, несильно размахнувшись, ударил арестованного по плечам. Движение кентуриона было небрежно и легко, но связанный мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала с его лица, глаза обессмыслились.

Марк одною левой рукой вздернул упавшего, легко, как пустой мешок, поставил на ноги и заговорил гнусаво, плохо выговаривая арамейские слова:

— Римского прокуратора называть — игемон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня? Или ударить тебя?

Арестованный покачнулся, но совладал с собою, краска вернулась, он перевел дыхание и сказал хрипло:

— Я понял тебя. Не бей меня.

Через несколько минут он вновь стоял перед прокуратором.

Прозвучал тусклый, больной голос:

— Имя?

— Мое? — торопливо отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева.

Прокуратор сказал негромко:

— Мое мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое.

— Ешуа, — поспешно ответил арестант.

— Прозвище?

— Га-Ноцри.

— Откуда ты родом?

— Из Эн-Сарида, — ответил арестант, головой показывая, что там где-то есть Эн-Сарид.

— Кто ты по крови?

— Сириец.

— Где ты живешь постоянно?

— Я путешествую из города в город.

— Есть ли у тебя родные?

— Нет никого. Мои родители умерли, когда я был маленьким. Я один в мире.

— Знаешь ли ты грамоту?

— Да.

— Знаешь ли ты какой-либо язык, кроме арамейского?

— Знаю. Греческий.

Вспухшее веко приподнялось, подернутый дымкой страдания зеленый глаз уставился на арестованного. Другой остался закрытым.

Пилат заговорил по-гречески:

— Так ты собирался разрушить здание храма? И подговаривал на это народ?

Тут молодой человек опять оживился, глаза его перестали выражать испуг, он заговорил по-гречески:

— Я, до... игемон, — тут ужас мелькнул в глазах арестанта оттого, что он едва не обмолвился словом «добрый человек», — никогда в жизни не собирался разрушить здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие.

Удивление выразилось на лице секретаря, записывавшего показания: подследственный говорил по-гречески гладко и свободно.

— Много разных людей стекается в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи, гадалки и предсказатели, а также воры и убийцы. Трех из них сегодня увидит народ на столбах. Ты будешь четвертым. Ты — лгун. Записано ясно: подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют ваши же добрые люди.

— Добрые люди, — заговорил арестант и, добавив торопливо: — игемон, — продолжал: — ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться несколько тысяч лет. И все из-за того, что они неверно записывают за мной.

Наступило молчание. Теперь уже оба зеленые глаза тяжело глядели на арестанта.

— Повторяю тебе, но в последний раз: перестань притворяться сумасшедшим, разбойник, — произнес Пилат мягко и монотонно, — за тобою записано мало, но записанного достаточно, чтобы тебя повесить.

— Нет, нет, игемон, — весь напрягаясь, заговорил арестованный, — ходит, ходит один с таблицей и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в его таблиц)[7] и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Ведь я-то говорил иносказательно о храме, а он понял, так же, как и другие, это буквально. Я его умолял — сожги ты, Бога ради, свою таблицу. Но он вырвал ее у меня из рук и убежал.

— Кто такой? — спросил Пилат и тронул висок рукою.

— Левий Матвей, — охотно объяснил арестант, — он был сборщиком податей, и я с ним встретился впервые на дороге в Виффагии, там, где смоковничные сады, и разговорился с ним. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня «собакой». Я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово...

Секретарь перестал записывать и вытаращил глаза, но не на арестованного, а на прокуратора.

— ... Однако, послушав меня, он стал смягчаться, — продолжал Ешуа, — наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мною путешествовать...

Пилат усмехнулся одною щекой, оскалив желтые зубы, и промолвил, повернувшись несколько к секретарю:

— О, город Ершалаим... Чего только не услышишь в нем... Сборщик податей бросил деньги на дорогу!..

Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку Пилата и улыбнулся, точно так же оскалившись.

— А он сказал, что деньги ему отныне ненавистны, — пояснил Ешуа странные действия Левия Матвея. — И еще добавил: — И с тех пор стал моим спутником.

Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно ползущее вверх и сжигающее Ершалаим, и подумал в тошной муке о том, что проще всего было бы прогнать этого странного разбойника, произнеся только два слова: «Повесить его». Изгнать конвой с балкона, уйти из-под колоннады, повалиться на ложе, потребовать холодной воды из источника, жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гемикранию. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в голове прокуратора.

Он поднял совсем мутные глаза на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем ершалаимском солнцепеке стоит пред ним арестант с обезображенным побоями лицом и какие еще не нужные никому вопросы ему придется задавать.

— Левий Матвей? — хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза.

— Да, Левий Матвей, — донесся до него высокий, мучающий его голос, сквозь стук молота в виске.

— А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре и у храма? — совсем теряя силы от боли, спросил Пилат.

Голос, казалось, впивался Пилату в висок, был невыразимо мучителен. Голос говорил:

— Я, игемон, рассказывал о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Говорил так, чтобы было понятнее. Но тут прибежала стража и меня схватили и стали вязать.

— Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?

И тут прокуратор подумал: «О, боги мои! Я спрашиваю что-то нелепое, не нужное на суде. Ум мой не служит мне больше...» И вдруг ему померещилась чаша с темной жидкостью. «Яду мне, яду...»

Голос донесся опять:

— Истина в том, что у тебя болит голова, и так болит, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мною, тебе трудно даже глядеть на меня. Я невольно являюсь твоим палачом сейчас, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас закончатся, голова пройдет. Пожелай этого.

Секретарь вытаращил глаза на арестанта, замер, не дописав слова.

Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже пробралось в колоннаду, что луч подбирается к избитым сандалиям Ешуа, что тот сторонится от солнца.

Тут прокуратор поднялся с кресла, голову сжал руками и на желтоватом лице его выразился ужас. Но он подавил его волею и опустился вновь в кресло.

Арестант продолжал свою речь, и секретарь ничего уже более не записывал, а только вытянул шею, как гусь, стараясь не проронить ни одного слова.

— Ну вот, все и кончилось, — говорил арестант, благожелательно поглядывая на Пилата, — и я чрезвычайно этому рад. Я советовал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и походить по садам в окрестностях Ершалаима. Гроза начнется, — арестант повернулся, прищурился на солнце, — позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобою, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека.

Секретарь смертельно побледнел и уронил таблицу на пол.

— Беда в том, — продолжал связанный, — что ты слишком замкнут и потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон. — И тут говорящий позволил себе улыбнуться.

Секретарь думал теперь только об одном — верить ли ему ушам своим или не верить? Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной, чудовищной развязности арестанта. И этого представить себе не мог.

Тут раздался резкий, хрипловатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего:

— Развяжите ему руки.

Один из конвойных легионеров передал другому копье, подошел и мигом снял веревки с арестанта.

Секретарь поднял таблицу, решил пока что ничего не записывать и ничему не удивляться.

— Сознайся, — тихо по-гречески спросил Пилат, — ты великий врач?

— Нет, прокуратор, я не врач, — ответил арестант, с наслаждением потирая опухшую кисть руки.

Круто, исподлобья Пилат буравил глазами арестанта. В этих глазах уже не было мути, в них появились знакомые искры.

Помолчали, потом Пилат сказал:

— Ну, хорошо, хорошо. Если ты хочешь это держать в тайне, держи. Вернемся к делу. Итак, ты утверждаешь, что не призывал разрушить или подожечь храм?

— Я, игемон, не призывал никого к подобным диким действиям, повторяю. Разве я похож на слабоумного?

— О да, ты не похож на слабоумного, — тихо ответил прокуратор, улыбнувшись какой-то страшной улыбкой, — так поклянись, что этого не было.

— Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? — спросил развязанный живо.

— Хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор, — и самое время клясться ею: она висит на волоске, знай это.

— Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? — спросил молодой человек. — Если это так, ты ошибаешься.

Пилат вздрогнул, впился глазами в арестанта, сказал:

— Я могу перерезать этот волосок.

— И в этом ты ошибаешься, — светло улыбаясь и заслоняясь рукою от солнца, возразил арестант, — согласись, что перерезать, уж наверно, может лишь тот, кто подвесил.

— Так, так, — сквозь зубы сказал Пилат, — теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки ходили за тобой толпою. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи: верно ли, что ты явился к Сузским воротам верхом на осле, сопровождаемый толпою праздной черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку?

Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.

— У меня и осла-то никакого нет, игемон, — сказал он, — пришел я точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия.

— Не знаешь ли ты таких, — продолжал Пилат, не сводя глаз с глаз арестанта, — некоего Вар-Раввана, другого Дисмаса и третьего Гестаса?

— Этих добрых людей я не знаю, — ответил арестант.

— Правда?

— Правда.

— А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди». Ты всех, что ли, так называешь?

— Всех. Злых людей нет на свете.

— Впервые слышу об этом, — сказал Пилат, — но может быть, я мало знаю жизнь. Можете дальнейшее не записывать, — обратился он к секретарю и продолжал говорить арестанту: — В греческих книгах вы прочли об этом?

— Нет, я своим умом дошел до этого.

— И проповедуете это?

-Да.

— А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, он — добрый?

— Да, — ответил арестант, — он, правда, несчастливый человек. С тех пор, как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил?

— Охотно могу сообщить это, — сказал Пилат, — ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Римский манипул попал в мешок, и если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма, а командовал ею я, не бывать бы Крысобою в живых. Это было в бою при Идиставизо, в Долине Дев.

— Если бы с ним поговорить, — вдруг мечтательно сказал арестант, — я уверен, что он резко изменился бы.

— Я полагаю, — невесело усмехнувшись, отозвался Пилат, — что мало радости вы доставили бы легату легиона, если бы вздумали разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью. Итак, последнее: скажите мне, философ: вы кроме того и врач?

— Нет, игемон, право, нет. Мне случалось, правда, помогать людям, но лишь в случаях легких.

— Во всяком случае, я надеюсь, вы не откажетесь помочь, скажем, и мне в таком же точно случае, как и сегодня. Я страдаю злою болезнью — гемикранией.

— О, это очень легко, — ответил арестант.

Ласточка быстро влетела в колоннаду, стремительно порхнула под ту часть ее, что была прикрыта кровлей, сделала там круг. Стремительно пронеслась, чуть не задев острым крылом лица медной статуи в нише, укрылась за капитель колонны. Быть может, ей пришла мысль вить гнездо за капителью колонны.

В течение ее кроткого полета в светлой теперь, легкой голове прокуратора сложилась формула. Она была такова: игемон разобрал дело бродячего философа Ешуа Га-Ноцри и состава преступления в нем не нашел. Бродячий философ оказался душевнобольным. Но ввиду того, что его безумные утопические речи могут быть действительно причиною волнения народа в Ершалаиме, прокуратор удаляет Ешуа из Ершалаима и подвергает его заключению в Кесарии Филипповой, там именно, где резиденция прокуратора.

Оставалось это продиктовать секретарю.

Ласточка фыркнула крыльями над самой головой игемона, метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле него столбом загорелась пыль.

— Все о нем? — спросил Пилат у секретаря.

— Нет, к сожалению, — вдруг ответил секретарь и подал Пилату вторую таблицу.

— Что еще там? — спросил Пилат и нахмурился.

Прочитав написанное, прокуратор неожиданно и страшно изменился в лице. Темная ли кровь прилила к его лицу и шее, или случилось что-то другое, но только кожа его утратила желтизну, глаза его как бы провалились.

Опять-таки виновата была, вероятно, прилившая к голове и застучавшая в висках кровь, только у прокуратора что-то случилось со зрением. Так, померещилось прокуратору, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец; на лбу — круглая язва, разъедающая покровы и смазанная мазью; запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губой. Пилату показалось, что исчезли розоватые колонны балкона и плоские кровли Ершалаима, все утонуло вокруг в густейшей зелени капрейских садов. И со слухом совершилось что-то странное — как будто вдали проиграли негромко, но грозно трубы, очень явственно послышался носовой голос, надменно тянувший слова:

— Закон об оскорблении величества...

Мысли пронеслись короткие, бессвязные и странные. «Погиб!..», потом: «Погибли!» И какая-то совсем нелепая, о каком-то бессмертии, причем бессмертие это вызвало почему-то чувство нестерпимой тоски. Пилат напрягся, стер видение, изгнал мысли, вернулся взором на балкон, и опять перед ним оказались глаза арестанта.

— Слушай, Га-Ноцри, — заговорил прокуратор, глядя на Ешуа както странно: лицо прокуратора было грозно, а глаза тревожны, — ты

когда-нибудь упоминал в своих речах великого кесаря? Отвечай правду! Упоминал? Или не упоминал? — Пилат потянул слово «не» жирно и послал в своем взгляде Ешуа какую-то мысль, которую хотел вдавить ему в голову.

— Я всегда говорю правду, ибо ее говорить приятно и легко, — сказал арестант.

— Мне не нужно знать, — придушенным злым голосом сказал Пилат, — интересно или неинтересно тебе говорить правду. Тебе придется ее говорить. Но говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь, чтобы твоя неизбежная смерть была мучительной.

Пилат поднял руку, как бы заслоняясь от луча, и за щитом этой руки он направил арестанту молящий взор.

— Итак, — продолжал прокуратор, — говори, ты знаешь ли Иуду из Кириафа и что именно ты говорил ему, и говорил ли ему о кесаре?

— Дело было так, — охотно рассказывал арестант, — я познакомился на площади возле храма с одним юношей, который назвал себя Иудой из Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом, угостил похлебкой...

— Добрый человек? — спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в зеленых его глазах.

— Очень добрый и любознательный человек, — подтвердил арестант, — высказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня радушно...

— Светильники зажег, двух гостей пригласил, — как бы в тон Ешуа сквозь зубы говорил Пилат, и глаза его мерцали.

— Да, — удивленный осведомленностью прокуратора, продолжал Ешуа, — попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос почему-то чрезвычайно интересовал.

— И что же ты сказал? — спросил Пилат. — Или ты скажешь, что ты забыл, что говорил? — в тоне Пилата была безнадежность.

— В числе прочего я говорил, — сказал арестант, — что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти кесаря и вообще никакой власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где не надобна никакая власть.

Пилат послал страшный взор говорящему, с ненавистью оглянулся на секретаря, который записывал слова говорящего.

— На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной власти, чем власть кесаря Тиверия! — Голос Пилата, сорванный и больной, разросся. — И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней! — Пилат закричал по-латыни: — Оставьте меня с ним наедине, здесь оскорбление величества.

Конвой поднял копья, стуча подкованными калигами, вышел с балкона, остановился в саду, туда же вышел и секретарь, постаравшийся скрыть свое изумление.

Молчание на балконе некоторое время нарушала только замысловатая песня воды в фонтане. Пилат видел, как вздувалась над трубочкой водяная тарелка, как отламывались ее края, как падали струйками.

Заговорил арестант первым.

— Я вижу, что совершилась какая-то беда из-за того, что юноша из Кириафа передал мои слова. У меня есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль.

Пилат усмехнулся, и в этой усмешке была и злоба, и жалость.

— Я думаю, — сказал прокуратор, — что есть кое-кто на свете, кого бы тебе следовало пожалеть еще ранее Иуды из Кириафа. Ему придется хуже, чем Иуде. Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач, люди, которые тебя били и взяли на базаре за твои проповеди, разбойники Дисмас и Гестас, зарезавшие двух людей, и провокатор Иуда — все они добрые люди?

— Да, — ответил арестант.

— И настанет царство истины?

— Настанет, игемон, —убежденно сказал Иешуа.

— Оно никогда не настанет! — вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся. Так кричал Пилат в Долине Дев своим всадникам слова: «Руби их! Руби их! Крысобой-великан попался!» Он еще повысил сорванный когда-то командный голос, выкликая слова так, чтобы их слышали в саду:

— Преступник, преступник, преступник!

Затем он понизил голос и сказал:

— Иешуа Га-Ноцри, веришь ли ты в богов?

— Верю в одного Бога, — ответил арестант.

— Так молись ему сейчас, изо всех сил молись, чтобы он помутил разум Каиафы. Если же этого не случится, Ешуа Га-Ноцри, ты сегодня умрешь! Жена, дети есть? — тоскливо спросил Пилат.

— Нет, я один.

— Ненавистный город, — пробормотал вдруг Пилат и передернул плечами, как будто озяб, а руки потер, как бы обливая их, — а тебя бы лучше зарезали накануне твоих речей, право, это было бы лучше!

— А ты меня бы лучше отпустил, игемон, — вдруг попросил арестант, — за что ты меня хочешь убить?

Лицо Пилата исказилось судорогой, он обратил к Иешуа воспаленные, в красных жилках белки глаз и сказал:

— Ты думаешь, несчастный, что римский прокуратор может отпустить человека, говорившего то, что говорил ты? Безумец! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? За что? Я твоих мыслей не разделяю! Нет! Довольно об этом! И слушай меня: если с этой минуты ты произнесешь хоть одно слово с кем-нибудь, хоть одно слово, берегись меня! Не разжимай рта! Берегись!

— Игемон...

— Молчать! — вскричал Пилат и бешеным взором проводил ласточку, опять впорхнувшую на балкон. — Ко мне! — крикнул Пилат.

Когда на этот зов вернулся секретарь и конвой, Пилат объявил, что утверждает смертный приговор, вынесенный Синедрионом преступнику Иешуа Га-Ноцри. Секретарь торопливо записал сказанное Пилатом.

Через минуту перед прокуратором стоял вызванный им кентурион Крысобой. Ему прокуратор сухо приказал сдать преступника другому кентуриону, накормить перед казнью, не бить, но заставить его

молчать, а солдатам запретить под угрозою тяжкой кары говорить с преступником или даже отвечать на его вопросы.

По знаку Марка вокруг Иешуа сомкнулся конвой и вывел его с балкона.

Когда же Крысобой вернулся, прокуратор приказал ему немедленно отправить все, что нужно для казни, то есть столбы, цепи, в сопровождении легионеров на Лысую Гору.

Затем он вызвал к себе легата легиона, попросил его выстроить на площади у помоста лифостротона когорту для объявления приговора осужденным преступникам и кроме того передать командиру кавалерийской алы, чтобы она была готова к отправлению на Лысую Гору, чтобы ее оцепить.

Этим не ограничились распоряжения прокуратора. Сухим и безразличным голосом он приказал секретарю пригласить к себе на последнее совещание первосвященника Иосифа Каиафу, а затем, немного погодя, еще двух членов синедриона.

Когда солнце поднялось до самой высокой точки, до которой оно могло подняться, в саду дворца встретились наедине прокуратор и первосвященник иудейский Иосиф Каиафа. В саду было тихо, но острым слухом уловил прокуратор дальнее низкое ворчание, над которым взмывали по временам слабенькие крики, и понял, что там на площади, где возвышается каменный тяжкий помост — лифострон, уже скопилась в волнении толпа, ожидающая приговора над разбойниками, и в толпе этой кричат беспокойные продавцы воды.

Прокуратор начал с того, что пригласил первосвященника войти на балкон, в тень, но первосвященник извинился и отказался, сославшись на то, что закон не позволяет ему это сделать накануне праздника.

Тогда Пилат заговорил. Он сказал, что разобрал дело и четвертого арестованного в эти дни, именно — Иешуа Га-Ноцри, и согласился с мнением Синедриона о том, что Га-Ноцри необходимо казнить, и утвердил смертный приговор.

Таким образом, к смертной казни, которая должна была исполниться сегодня, приговорены четверо — Дисмас, Гестас, Вар-Равван и Га-Ноцри.

Первые двое взяты римской властью, числятся за прокуратором и, следовательно, о них здесь речь идти не будет.

Последние же — Вар-Равван и Га-Ноцри — взяты Синедрионом. Согласно закону, одного из двух преступников нужно будет отпустить на свободу в честь наступающего сегодня великого праздника Пасхи.

Итак, прокуратор желает знать, кого из двух преступников желает освободить Синедрион — Вар-Раввана или Га-Ноцри?

Каиафа склонил голову, в знак того, что вопрос ему ясен, и тихо сказал:

— Синедрион просит отпустить Вар-Раввана.

Прокуратор знал, что ответит ему первосвященник, он твердо знал это, и задача его заключалась в том, чтобы показать, что ответ Каиафы вызывает его изумление.

Пилат это сделал, и сделал с большим искусством. Брови на надменном лице прокуратора приподнялись, он прямо в глаза поглядел первосвященнику с самым вежливым изумлением.

— Признаюсь, этот ответ меня немного удивил, — сказал мягко прокуратор, — боюсь, нет ли здесь недоразумения?

Пилат объяснился. Римская власть ничуть не покушается на право духовной местной власти, об этом и говорить нечего, и первосвященнику это хорошо известно, но в данном случае налицо, по-видимому, ошибка. И в исправлении этой ошибки римская власть заинтересована.

В самом деле: преступления Вар-Раввана и Га-Ноцри совершенно не сравнимы по тяжести. Если второй повинен в произнесении нелепых речей, смутивших народ в Ершалаиме и в других местах, то первый, виновный в том же самом, безмерно отяготил себя прямым призывом к мятежу и, мало того, убийством двух человек городской стражи при попытке взять его.

Кроме того: малейшего соприкосновения с Га-Ноцри совершенно достаточно, чтобы убедиться в невменяемости его.

В силу всего изложенного прокуратор просит первосвященника пересмотреть решение и оставить на свободе того из двух осужденных, кто менее опасен, а таким, без сомнения, является второй — Га-Ноцри. Итак?

Кайфа прямо посмотрел в глаза Пилату и сказал тихим, но твердым голосом, что Синедрион внимательнейшим образом ознакомившись с делом, вторично просит об освобождении Вар-Раввана.

Пилат несколько изменился в лице; но вся игра его должна была быть построена на полном спокойствии, и поэтому, так же тихо и равнодушно, он сказал:

— Как? Даже после ходатайства? Ходатайства того, в лице которого говорит римская власть? Первосвященник, повторите в третий раз!

— И в третий раз мы просим об освобождении Вар-Раввана, — отозвался Каиафа.

Все было кончено, это было ясно, и говорить более было не о чем. Га-Ноцри уходил навсегда, и страшные злые боли прокуратора некому излечить; от них нет средства, кроме смерти. Но не эта мысль поразила сейчас Пилата. Он тотчас постарался ее объяснить, и первое же объяснение было странно: смутно показалось, что он чего-то не договорил с осужденным, а может быть, чего-то не дослушал.

Пилат прогнал эту мысль, и она улетела в одно мгновение, как и прилетела. Она улетела, и тоска осталась необъясненной, ибо не могла же ее объяснить мелькнувшая как молния и тоже пропавшая моментально какая-то краткая мысль: «Бессмертие... пришло бессмертие». Чье бессмертие пришло, не понял прокуратор, но мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть.

— Хорошо, — произнес Пилат, — да будет по закону и да будет по-вашему, первосвященник. Сегодня Иешуа Га-Ноцри умрет.

Тут Пилат оглянулся, окинул взором видимый ему мир и удивился: пропал зацветающий розовый куст рядом, пропали кипарисы и гранатовое дерево, исчезла медная статуя в зелени, как и сама зелень. Поплыла вместо всего этого какая-то багровая гуща, в ней закача-

лись зеленые водоросли и двинулись куда-то, а вместе с ними двинулся и сам Пилат. Теперь его уносил, душа и обжигая, самый страшный гнев, гнев бессилия.

— Тесно мне, — вымолвил Пилат, и голос его был тонок, — тесно мне!

Он холодною, влажной рукой рванул пряжку с ворота плаща, и та упала на золотой песок. Он обратил на Каиафу глаза, ослепленные внутренней темною кровью, поднялся со скамьи.

Вслед за ним поднялся и Каиафа.

— Сегодня душно, — печально и сочувственно отозвался Каиафа, предвидя все муки, которые еще предстоят, и подумал: «О, какой страшный месяц ниссан в этом году!»

— Нет, — сказал Пилат, — это не оттого, что душно, а оттого, что мне стало тесно с тобою, Каиафа. — И, сузив глаза, Пилат улыбнулся и добавил: — Побереги себя, Каиафа!

Темные глаза первосвященника блеснули, и, не хуже, чем ранее прокуратор, он выразил на лице своем удивление.

— Что слышу я, прокуратор? — гордо и спокойно ответил Каиафа. — Ты угрожаешь мне после вынесенного приговора. Может ли это быть? По должности твоей, прокуратор, тебе надлежит выбирать слова, прежде чем что-нибудь сказать. Не услышал бы нас кто-нибудь, Понтий Пилат?

Пилат мертвыми глазами поглядел на первосвященника и улыбнулся.

— Кто же, кроме дьявола, — тут голос Пилата стал мурлыкать и переливаться, — кто, кроме него, услышит нас с тобою сейчас? Или я похож на этого юного бродячего юродивого, которого сегодня убьете? Мальчик ли я, Каиафа? Знаю, что говорю и где говорю. Оцеплен сад, не проникнет сюда никто, даже этот из Кириафа! А если бы проник он, горько он пожалел бы себя, уж в этом мне верь! Знай же, не будет тебе отныне покоя, ни тебе, ни твоему народу. Я тебе это говорю — Пилат Понтийский, всадник Золотое Копье!

— Знаю, знаю! — бесстрашно ответил Каиафа и вознес руку к небу. — Знает народ иудейский, что ты ненавидишь его лютою ненавистью и много мучений ты ему причинил, но вовсе ты его не погубишь. Услышит нас всемогущий кесарь, защитит от губителя Пилата! Сменит он прокуратора!

— О, нет! — воскликнул Пилат, и с каждым словом ему становилось все легче: не нужно было больше притворяться, не нужно было мучить себя, подбирая слова. — Нет, нет! Слишком много вы жаловались кесарю на меня, настал теперь мой час, Каиафа. Полетит весть, и не легату императорскому, а на Капрею самому императору, весть о том, как вы заведомых мятежников в Ершалаиме спасаете от смерти. И не водою из Соломоновых прудов, как некогда хотел я, напою я тогда Ершалаим, нет, не водою. Увидите вы здесь легион, услышите горький плач и стенания. Вспомнишь ты тогда Вар-Раввана, пожалеешь, что посмел обречь философа с его мирною проповедью!

— Неправда! — воскликнул тогда Каиафа. — Не мир, не мир, а меч, и огонь, и плач принес нам преступник Га-Ноцри. И ты это знаешь,

всадник! Оттого ты и хотел выпустить его, чтобы горе еще большее он причинил моему народу, чтобы над верою надругался! Но не дам на поругание веры народа моего, не дам! Ты слышишь, Пилат, — и Каиафа указал вдаль, — слышишь?

И опять услыхал Пилат как бы шум моря, подкатывающего к самым стенам дворцового сада — там томилась толпа в ожидании. Еще услыхал Пилат текущий мимо мерный хруст и ровный тяжкий топот, железное бряцанье где-то поближе за стеною — там шла римская, а за нею туземная пехота, стремящаяся на страшный для разбойников предсмертный парад.

Тогда волна гнева поднялась до того, что прокуратор стал бледен, как бы помолодел, и, уже совсем не владея собою, проговорил...

Прокуратор вытер мокрый лоб, поглядел в землю, потом, прищурившись на небо, увидел, что раскаленный шар над самой головой, а тень Каиафы съежилась у него под ногами, и сказал тихо, равнодушно:

— Полдень. Мы увлеклись беседою, а между тем пора на лифостротон.

Через несколько минут с балкона в сад вышел секретарь прокуратора и легат легиона, а через двери в стене в сад были впущены два члена Синедриона.

В присутствии всех вошедших Пилат торжественно и сухо попросил первосвященника подтвердить, кого из обреченных угодно Синедриону помиловать в честь праздника; получил ответ — что это Вар-Равван, сказал: «Очень хорошо» — и велел секретарю записать это, сжал в кулаке поднятую секретарем пряжку и сделал знак, означавший, что надо идти. И под ногами идущих из сада захрустел раскаленный песок.

Лишь только группа, вышедшая из сада, показалась на площади, над нею понеслось гудение, как над встревоженным ульем. Сквозь прищуренные веки Пилат увидел, что площади нет, что пред ним тысячи тысяч голов. Кроме того, он видел ослепительное сверканье доспехов в квадрате, окаймлявшем мраморный возвышенный остров — помост лифостротона. И на этот остров вышел Пилат, машинально сжимая в кулаке ненужную пряжку.

Теперь Пилат хотел только одного — не увидеть группу осужденных, которых, он знал, ведут сейчас туда же, куда шел и он — на помост. Это было легко сделать — достаточно было прикрыть веками глаза, пользуясь тем, что солнце слепило всех, кто был на помосте. И это он сделал.

Лишь только белый плащ с кровавым подбоем возник в высоте на мраморном утесе среди человеческого моря, незрячему Пилату в уши ударила звуковая волна: «Га-а, а...». Она началась негромко, зародившись где-то вдали, потом стала громоподобной, а затем начала спадать. «Увидели меня...» — подумал Пилат. Волна не дошла до низшей точки, а вдруг стала опять вырастать, качаясь, поднялась выше первой, и на ней, как на морском валу вскипает пена, вскипел свист, отдельные, сквозь гром различимые, женские стоны. «Их ввели... — подумал Пилат, — а стоны оттого, что задавили нескольких женщин, когда подались вперед».

Он выждал некоторое время, зная, что никакой силой нельзя заставить умолкнуть толпу, пока она не выдохнет все, что накопилось у нее внутри, и начнет смолкать сама.

И когда этот момент настал, прокуратор выбросил вверх руку и последний шум сдунуло с толпы.

Тогда Пилат набрал, сколько мог, горячего воздуху и прокричал, и голос его, сорванный за его военную жизнь, понесло над тысячами голов:

— Именем кесаря императора!

Тут в уши ему ударил несколько раз железный рубленый крик — в когорте, взбросившей копья, прокричали: «Да здравствует кесарь!»

Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце. Под веками у него вспыхнул зеленый огонь, от него загорелся мозг, и над толпою полетели хриплые слова на арамейском языке:

— Четверо преступников, арестованных в Ершалаиме за убийства, подстрекательства к мятежу и оскорбление закона и веры, приговорены к позорной казни, которая и совершится сегодня на Лысой Горе. Их имена — Дисмас, Гестас, Вар-Равван и Га-Ноцри. Вот они перед вами.

Пилат указал вправо рукой, не видя никаких преступников, но зная, что они там, на помосте.

Толпа ответила длинным гулом как бы удивления или облегчения. Когда он потух, Пилат продолжал:

— Но казнены из них будут только трое, ибо, согласно закону и обычаю, в честь праздника Пасхи одному из осужденных, по выбору великого Синедриона и по утверждению римской власти, кесарь император возвращает жизнь!

Пилат выкрикивал слова и в то же время слушал, как на смену гулу идет великая тишина. Теперь ни вздоха не доносилось до его ушей, ни шороха. Было мгновенье, когда Пилату показалось, что все кругом вообще исчезло. Ненавидимый им город умер, и только он один стоит, сжигаемый отвесными лучами, упершись лицом в небо. Пилат еще продержал тишину и выкрикнул:

— Имя того, кого сейчас отпустят при вас на свободу...

Он сделал еще паузу, придерживая имя, проверяя, все ли он сказал, потому что знал, что мертвый город воскреснет после произнесения имени счастливца мгновенно и никакие дальнейшие слова слышны быть не могут. «Все, — беззвучно крикнул себе Пилат, — имя!»

И, раскатив букву «р» над молчащим городом, он прокричал:

— Вар-Равван!

Тут ему показалось, что солнце, зазвенев, лопнуло и залило ему огнем уши. Вокруг него бушевали рев, визги, стоны, хохот, воздух просверлило свистом.

Пилат повернулся и пошел по помосту к ступеням, не глядя ни на что, кроме разноцветных шашек мраморного настила, чтобы не оступиться. Он знал, что теперь у него за спиной на помост градом летят бронзовые монеты и финики, что в воющей толпе, давя друг друга, лезут на плечи, чтобы увидеть своими глазами чудо — как человек, который уже был в руках смерти, вырвался из ее рук; как легионеры

снимают с него веревки, причиняя невольно жгучую боль в его вывихнутой на допросе руке, как он, морщась и охая, все же улыбается бессмысленной сумасшедшей улыбкой. Он знал, что в это же время конвой, грохоча и топча помост, уже ведет к боковым ступеням трех со связанными руками, чтобы выводить их на дорогу, ведущую на запад, к Лысой Горе.

Пилат спустился с лифостротона, оказался в тылу его, там, куда оцепление закрыло вход для народа, и тогда открыл глаза, зная, что теперь он в безопасности — Га-Ноцри он видеть уже не мог.

В стон толпы, начинавшей стихать, теперь врывались и уже были различимы выкрики глашатаев, повторяющих все, что прокричал с лифостротона Пилат.

Кроме того, до слуха прокуратора донесся дробный, стрекочущий и приближающийся конский топот и труба, что-то коротко и весело спевшая.

Кавалерийская ала, забирая все шире рыси, вылетела на площадь, чтобы оттуда, по переулку, мимо каменной стены, по которой стлался виноград, минуя скопища народа, проскакать кратчайшей дорогой к Лысой Горе.

Пилат, шедший за ним легат легиона и конвой придержали шаг.

Маленький, как мальчик, темный, как мулат, командир алы — сириец — выкрикнул какую-то команду и, равняясь с Пилатом, выхватил меч, поднял злую вороную лошадь на дыбы, шарахнулся в сторону и поскакал, переходя на галоп. За ним по три в ряд полетели всадники в чалмах, запрыгали в туче мгновенно поднявшейся до самого неба белой едкой пыли кончики легких пик, пронеслись, повернутые к прокуратору, смуглые лица с весело оскаленными сверкающими зубами.

Подняв до неба пыль, ала ворвалась в переулок. Мимо Пилата проскакал последний со значком в руке.

Закрываясь от пыли рукою, морща лицо, Пилат двинулся дальше, стремясь к калитке дворцового сада, за ним двинулся легат и наконец конвой.

Это было ровно в полдень.

Глава III СЕДЬМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

— Это было ровно в полдень, многоуважаемый Иван Николаевич, — сказал профессор.

Поэт провел рукою по лицу, как человек, только что очнувшийся после сна, и увидел, что на Патриарших вечер.

Дышать стало гораздо легче, вода в пруде почернела, и легкая лодочка уже скользила по ней, и слышался плеск весла и смешок гражданки в лодочке. Небо над Москвой как бы выцвело, и совершенно отчетливо была видна в высоте луна, но еще не золотая, а белая.

В аллеях на скамейках появилась публика, но опять-таки на всех трех сторонах квадрата, кроме той, где были наши собеседники.

И голоса под липами теперь звучали мягче, по-вечернему.

«Как же это я не заметил, что он наплел целый рассказ? — подумал Бездомный в изумлении. — Ведь вот уж и вечер! А может, это и не он рассказывал, а просто это мне приснилось?»

Но надо полагать, что все-таки рассказывал профессор, иначе придется допустить, что то же самое приснилось и Берлиозу, потому что тот сказал, внимательно всматриваясь в лицо иностранца:

— Ваш рассказ чрезвычайно интересен, хотя он и совершенно не совпадает с евангельскими рассказами.

— Помилуйте, — снисходительно улыбнувшись, отозвался профессор, — если мы начнем ссылаться на Евангелия как на исторический источник... — он еще раз усмехнулся, и Берлиоз осекся, потому что буквально то же самое он сам говорил Бездомному, идя с ним по Бронной к Патриаршим прудам.

— Это так, — сказал Берлиоз, — но боюсь, что никто не может подтвердить, что все это было, как вы нам рассказывали.

— О, нет! Это может кто подтвердить! — на ломаном языке и чрезвычайно уверенно отозвался профессор и вдруг таинственно поманил обеими руками приятелей к себе поближе.

Те наклонились к нему, и он сказал, но уже без всякого акцента, который у него, очевидно, то пропадал, то появлялся, черт знает почему:

— Дело в том, что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда Пилат разговаривал с Каифой, и на лифостротоне, но только тайно, инкогнито, так сказать, так что прошу вас — никому ни слова и полнейший секрет — т-сс!

Наступило молчание, и Берлиоз побледнел.

— Вы... вы сколько времени в Москве? — дрогнувшим голосом спросил он.

— А я только что сию минуту приехал в Москву, — растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему в глаза как следует и увидели, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый пуст, черен и мертв.

«Вот тебе все и разъяснилось! — подумал Берлиоз в испуге. — Приехал сумасшедший немец или только что спятил на Патриарших. Хорошенькая история!»

Да, действительно, объяснилось все: и завтрак у Канта, и дурацкие речи про постное масло, Аннушку и отрубленную голову, и все прочее — профессор оказался сумасшедшим.

Берлиоз был человеком не только сообразительным, но и решительным. Откинувшись на спинку скамьи, он за спиною профессора замигал Бездомному — не противоречь, мол, ему, — но растерявшийся поэт этих сигналов не понял.

— Да, да, да, — возбужденно заговорил Берлиоз, — впрочем, все это возможно, даже очень возможно, и Понтий Пилат, и балкон... А вы один приехали или с супругой?..

— Один, один, я всегда один, — горько ответил профессор.

— А ваши вещи где же, профессор? — вкрадчиво спросил Берлиоз. — В «Метрополе»? Вы где остановились?

— Я — нигде! — ответил полоумный немец, тоскливо и дико блуждая зеленым глазом по Патриаршим прудам.

— Как?! А... где же вы будете жить?

— В вашей квартире, — вдруг развязно ответил сумасшедший и подмигнул.

— Я... я очень рад, — пробормотал Берлиоз в смятении, — но, право, у меня вам будет неудобно... А в «Метрополе» чудесные номера, первоклассная гостиница...

— А дьявола тоже нет? — вдруг весело осведомился больной у Ивана Николаевича.

— И дьявола...

— Не противоречь! — шепнул одними губами Берлиоз, обрушиваясь за спину профессору и гримасничая.

— Нету никакого дьявола! — растерявшись от всего этого, вскричал Иван Николаевич не то, что нужно. — Вот наказание. Перестаньте вы психовать!

Тут безумный расхохотался так, что из липы над головами сидящих в сумерках выпорхнул воробей.

— Ну, уж это положительно интересно, — трясясь от хохота, проговорил профессор, — что же это у вас, чего ни хватишься, нету! — Он перестал хохотать внезапно и, что вполне понятно при душевной болезни, после хохота впал в другую крайность — раздражился и крикнул сурово: — Так, стало быть, нету?!

— Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь, профессор, — забормотал Берлиоз, опасаясь взволновать больного еще больше, — вы посидите минуточку с товарищем Бездомным, а я только сбегаю на угол, позвоню по телефону, а потом мы вас и проводим, куда вы хотите, ведь вы не знаете города...

План Берлиоза был правилен: добежать до ближайшего телефона-автомата и сообщить куда следует о том, что вот-де, приезжий из-за границы консультант сидит на Патриарших прудах в состоянии явно ненормальном. Так вот, чтобы приняли меры, а то получится какая-то неприятная чепуха.

— Позвонить? Ну что ж, позвоните, — печально сказал больной и вдруг страстно попросил: — но умоляю вас на прощанье, поверьте хоть в то, что дьявол существует! О большем я вас не прошу. Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство, и уж самое верное!

— Хорошо, хорошо, — фальшиво-ласково говорил Берлиоз и, подмигнув расстроенному поэту, которому вовсе не улыбалась мысль караулить сумасшедшего, устремился к тому выходу, что был на углу, где сходились Бронная и переулки...

А профессор тотчас же как будто выздоровел и посвежел:

— Борис Петрович! — крикнул он вдогонку Берлиозу.

Берлиоз вздрогнул, повернулся, но постарался утешить себя мыслью, что имя и отчество его профессор узнал тоже через газету; а тот прокричал, сложив руки рупором:

— Не прикажете ли, я велю дать телеграмму вашему дяде в Киев?

И опять передернуло Берлиоза. Откуда же сумасшедший знает о существовании дяди в Киеве? Ведь об этом ни в каких газетах ничего не сказано. Эге-ге! Уж не прав ли Бездомный? Может быть, документы-то эти ничего и не значат... Ах, какой странный субъект! Звонить, звонить! Сейчас же звонить! Его быстро разъяснят!

И уж не слушая больше, Берлиоз побежал дальше.

И тут со скамейки у самого выхода на Бронную навстречу редактору поднялся в точности тот самый гражданин, что тогда при свете солнца соткался из жирного зноя. Только сейчас он был уже не воздушный, а обыкновенный, плотский, и в предвечерье Берлиоз отчетливо разглядел, что усики у него как куриные перья, глазки маленькие, иронические и полупьяные, а брючки клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки. Борис Петрович даже попятился, но несколько успокоил себя мыслью, что это глупое совпадение и что вообще сейчас об этом некогда размышлять.

— Турникет ищете, гражданин? — треснувшим тенором осведомился субъект. — Сюда пожалуйте! Прямо и выйдите, куда надо. С вас бы за указание на четверть литра... бывшему регенту! — кривляясь, субъект наотмашь снял жокейский картузик.

Берлиоз не стал слушать попрошайку и ломаку регента, быстро тронулся к турникету и взялся за него рукой. Он повернул рогатку и уже собирался шагнуть на рельсы, как над ним вспыхнул красный и белый свет — загорелась перед лицом в стеклянном ящике надпись «Берегись трамвая!!»

Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивавший по новопроложенной линии с Ермолаевского на Бронную. Повернув и выйдя на прямую Бронной, он внезапно осветился электричеством, взвыл и наддал.

Осторожный Берлиоз, хоть и стоял безопасно, решил вернуться за рогатку, переложил руку на вертушке, переступил. И тотчас рука его скользнула и сорвалась, нога неудержимо, как по льду, поехала по булыжнику, откосом идущему к рельсам, другую ногу подбросило, и Берлиоза выбросило на рельсы.

Он упал навзничь, несильно ударившись затылком о булыжник, и успел увидеть в высоте, справа или слева — он уже не сообразил, — позлащенную луну. Он успел и повернуться на бок, бешеным движением в тот же миг подтянув ноги к животу, и развернувшись, разглядел несущееся на него с неудержимой силой белое от ужаса лицо женщины вагоновожатой и ее алую повязку. Берлиоз не вскрикнул и не простонал. Вожатая рванула электрический тормоз, вагон сел носом в землю, мгновенно после того подпрыгнул, стекла в нем вылетели. В мозгу у Берлиоза кто-то отчаянно крикнул: «Неужели?! О боже!» Еще раз, и в последний раз, мелькнула луна, но уже разваливаясь на куски под страшный женский визг отовсюду, затем стало темно. Трамвай накрыл Берлиоза, и под решетку Патриарших выброси-

ло на булыжный откос круглый темный предмет, и он запрыгал, скатившись с откоса, по Бронной.

Это была отрезанная голова Берлиоза.

Глава IV ПОГОНЯ

Утихли истерические взвизгивания женщин на Бронной, отсверлили свистки милиции, две машины увезли, оглашая Бронную тоскливым воем сирен, одна — обезглавленное тело и отрезанную голову в морг, а другая — раненную осколками стекол комсомолку вагоновожатую в больницу. Толпа разошлась, и дворники в белых фартуках метлами торопливо убрали осколки стекол с мостовой и засыпали песком кровавые лужи. Иван же Николаевич как упал на скамейку, не добежав до турникета, так и остался на ней сидеть. Он несколько раз пытался подняться, но ноги его не слушались, с Бездомным случилось что-то вроде паралича.

Услыхав первый женский вопль, поэт повернулся к Бронной как раз в тот момент, когда тело Берлиоза мяло колесами, видел, как голова подскакивала на мостовой, и от этого до того обезумел, что несколько раз укусил себя до крови за руку. Про сумасшедшего немца он, конечно, забыл и старался понять только одно, как это может быть, что вот только что, только что он говорил с Берлиозом, а через минуту голова... голова! Да как же это может быть?! Тошнота взмывала внутри поэта, он бледнел и еще раз куснул руку, отчего нисколько не стало легче.

Взволнованный народ пробегал мимо поэта по аллее, что-то восклицая, но Иван Николаевич никаких слов не воспринимал.

Но неожиданно у самой скамьи возле поэта столкнулись две женщины, и одна из них, востроносая и простоволосая, закричала над самым ухом поэта другой женщине так:

— Аннушка, наша Аннушка! Говорю тебе, ее работа. Взяла в бакалее на Ермолаевском постного масла да бутылку-то об вертушку и разбей! Облила и вертушку, и мостовую, и юбку изгадила! Уж она ругалась, ругалась! А он, бедный, стало быть, поскользнулся да и поехал на рельсы...

Дальнейших слов Иван Николаевич не слышал, потому что женщины убежали. Из всего выкрикнутого женщиной в расстроенный мозг Ивана Николаевича впилось одно слово: «Аннушка...» Поэт напряг голову, мучительно вспоминая, что связано с этим именем.

— Аннушка... Аннушка? — забормотал Иван Николаевич, тревожно озираясь. — Позвольте, позвольте...

К слову «Аннушка» прицепились слова «постное масло», а затем почему-то вспомнился Понтий Пилат. Его поэт сейчас же отринул и стал вязать цепочку, начиная со слова «Аннушка». И це-

почка эта связалась очень быстро и тотчас привела к сумасшедшему профессору.

Позвольте! Да ведь он же сказал, что Аннушка разлила постное масло, отчего заседание не состоится. И, будьте любезны, оно не состоится! Но этого мало: он прямо сказал, что Берлиозу отрежет голову женщина?! Ну да, да! Да! Ведь вожатая-то была женщина! Что же это такое? А?

Да, не оставалось даже зерна сомнения в том, что этот таинственный консультант знал, точно знал заранее всю картину ужасной гибели Берлиоза. Да как же это так?! Тогда две мысли пронзили мозг поэта. Первая: «Он не сумасшедший! Отнюдь не сумасшедший! Все это глупости!» и вторая: «Уж не подстроил ли он все это?!»

Но, позвольте спросить, как?

— Э нет! Это мы узнаем! — оглядываясь затравленным взором, сам себе сказал Иван Николаевич, и тут все его помыслы сосредоточились на одном: сию же минуту найти этого профессора, а найдя, немедленно его арестовать. Но, ах-ах, не ушел бы он!

Иван Николаевич сделал над собою великое усилие, поднялся со скамьи, чувствуя, что опять овладевает ногами, бросился назад, туда, где разговаривал с профессором. И оказалось, что тот, к счастью, не ушел. Он — профессор, а может быть, и не профессор, а страшный, таинственный неизвестный и уж, конечно, отвратительный неизвестный, а возможно, что и действительно убийца, обладающий какой-то странной возможностью знать все заранее, — стоял у скамейки, там, где был и раньше.

Чувствуя, что ноги его дрожат, Иван Николаевич с холодеющим сердцем приблизился к профессору.

В городе уже зажгли фонари, а над Патриаршими светила золотая луна, и прямо на профессора. Он стоял, еще больше заломив берет, а трость взяв под мышку. И в лунном, всегда несколько обманчивом свете Ивану показалось, что он держит шпагу.

Отставной втируша-регент сидел на скамейке, на том самом месте, где сидел, слушая речь Берлиоза еще недавно, сам Иван. Теперь регент нацепил себе на нос явно ненужное пенсне, в котором одного стекла вовсе не было, а другое треснуло. От этого клетчатый регент стал еще гаже, чем тогда, когда указывал Берлиозу путь на рельсы.

Иван вплотную смело приблизился к профессору и, глянув ему в лицо, убедился, что никаких признаков сумасшествия в этом лице нет и не было.

— Сознавайтесь, кто вы такой? — глухо спросил Иван.

Иностранец насупился, глянул так, как будто впервые видит Ивана Николаевича, и ответил неприязненно:

— Их ферштейе нихт.

— Они не понимают, — пискливо ввязался со скамейки регент, хотя его никто и не просил переводить.

— Не притворяйтесь! — грозно сказал Иван и почувствовал холод под ложечкой. — Вы только что прекрасно говорили по-русски. Вы

не немец и не профессор, вы — убийца! Вы знали про постное масло заранее? Знали? Документы! — вдруг яростно крикнул Иван.

Загадочный профессор брезгливо скривил и без того кривой рот и пожал плечами.

— Гражданин! — опять ввязался мерзкий регент. — Вы что же это беспокоите интуриста? За это с вас строжайше взыщется!

А неизвестный сделал надменное лицо и стал уходить.

Иван почувствовал, что теряется. Он кинулся было следом за неизвестным, но почувствовал, что одному с этим делом не управиться, и, задыхаясь, обратился к регенту:

— Эй, гражданин, помогите задержать преступника! Вы обязаны это сделать!

Регент чрезвычайно оживился, вскочил и заорал:

— Который преступник? Где он? Иностранный преступник? — глазки регента радостно заиграли. — Этот? Ежели он преступник, то первым долгом следует кричать: «Караул!» А то он уйдет! А ну, давайте вместе! Разом! — и тут регент разинул пасть.

Растерявшийся Иван послушался штукаря-регента и крикнул «караул!», а регент его надул, ничего не крикнув. Одинокий же хриплый крик Ивана Николаевича никаких хороших результатов не принес. Две девицы шарахнулись от него в сторону, и он услышал слова: «Ишь, как нарезался!»

— А, ты с ним заодно? — впав в гнев, прокричал Иван. — Ты что же это, глумишься надо мной? Пусти!

Иван кинулся вправо, а регент, находящийся перед ним, тоже вправо, Иван — влево, и тот туда же.

— Ты нарочно под ногами путаешься? — закричал Иван регенту, пляшущему перед ним, подмигивающему сквозь разбитое стеклышко. — Я тебя самого предам в руки милиции!

Иван сделал попытку ухватить негодяя за рукав, но промахнулся и не поймал ничего. Регент вдруг как сквозь землю провалился.

Иван глянул вдаль и увидел своего неизвестного. Тот уже был в конце аллеи, выходящей в Большой Патриарший переулок, и притом не один. Более чем сомнительный регент успел присоединиться к нему, и даже издали, при свете фонаря у Патриаршего переулка, видна была на регентском рыле подхалимская улыбочка. Но это еще не все: третьим в разбойничьей компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот, громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усами. Тройка эта повернулась и стала уходить, причем кот тронулся на задних лапах.

Иван устремился за ними и тотчас же убедился, что догнать злодеев будет очень нелегко.

Тройка мигом проскочила по переулку и оказалась на Спиридоновке, Иван прибавил шагу, но тройка не прибавляла, а между тем расстояние между преследуемыми и преследователем ничуть не сокращалось. Иван сделал попытку прибегнуть к помощи прохожих на Спиридоновке, но его отчаянные глаза, мокрые от поту торчащие из-под кепки волосы, искусанные руки были причиной того, что Ивана приняли за пьяного и его просьбы «помочь задержать ино-

странца с шайкой» оставались без ответа. Никто в это дело не ввязался. Иван не успел опомниться, как после тихой Спиридоновки попал к Никитским воротам, где положение его ухудшилось. Тут уж была толчея, Иван налетел на кой-кого из прохожих, был обруган. Злодейская же шайка здесь решила применить излюбленный бандитский прием — уходить врассыпную.

Регент с великою ловкостью на ходу ввинтился в автобус № 5, летящий к Арбатской площади, и ускользнул, никем не снятый и не оштрафованный. Потеряв одного из преследуемых, Иван сосредоточил свое внимание на коте и видел, как этот странный кот подошел к подножке литерного вагона «А», стремящегося уйти туда же, куда ушел и автобус, нагло отсадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень и даже сделал попытку всунуть кондуктору гривенник через открытое окно.

Поведение кота настолько поразило Ивана, что он застыл неподвижно на тротуаре у бакалейного магазина, и тут вторично и гораздо сильнее был поражен поведением кондукторши.

Та, лишь только увидела кота, лезущего в трамвай, высунулась в окно вагона и со злобой, от которой даже тряслась, закричала:

— Котам нельзя! Нельзя котам! Слезай, а то в милицию отправлю!

Ни кондукторшу, ни пассажиров не поразила самая суть дела: не то, что кот лезет в трамвай, в чем было еще полбеды, а то, что кот собирается платить!

Всяк был занят своим делом, всякому было некогда, и в переполненном вагоне не прекратились оханья тех, кому отдавили ногу, и, как обычно, слышались возгласы ненависти и отчаяния, а также, как всегда, напирали друг на друга, и бранили, и деньги просили передать.

Самым дисциплинированным показал себя все-таки кот. При первом же крике кондукторши он прекратил наступление, снялся с подножки и сел на остановке, потирая гривенником усы.

Но лишь только кондукторша рванула веревку и трамвай тронулся, кот поступил как всякий, кого изгоняют из трамвая, но которому все-таки ехать надо. Именно: пропустив мимо себя все три вагона, кот сел на заднюю дугу последнего, лапой уцепился за какую-то кишку, выходящую из стенки, и укатил, сэкономив гривенник.

Из-за паскудного кота Иван едва не потерял и самого главного из трех — профессора. Иван горько ахнул, но увидел, что дело еще не потеряно. Серый берет мелькнул в гуще на Большой Никитской. В мгновенье ока Иван оказался там и возобновил преследование, но удачи не было. Иван и шагу прибавлял, и рысцой начинал бежать, толкая прохожих, и ни на шаг не приблизился к профессору.

Расстроенного Ивана почему-то совершенно не поражала та сверхъестественная быстрота, с которой происходила погоня. Двадцати секунд не прошло, как после Никитских ворот Иван Николаевич уже был ослеплен разноцветными огнями кинематографа, светофоров, машин, фонарей и реклам на Арбатской площади; потом и сейчас же он видел Гоголя, неподвижно сидящего где-то высоко

и глядящего в землю, потом стало потемнее, и в переулке Иван упал, ушиб колено, потом опять стало посветлее — улица Кропоткина, потом еще большая улица Остоженка, и тут поэт оказался в унылом и противном переулке, скупо освещенном, и здесь потерял того, кто был ему нужен. Профессор исчез. Но Иван Николаевич не опечалился, потому что сообразил, что профессор непременно должен оказаться в доме № 12. В подъезд этого дома и вбежал Иван, тяжело дыша. Из какой-то пещеры под лестницей вышел запущенный, небритый человек, в фуражке с тусклым галуном и тоскливо спросил у Ивана Николаевича:

— Вы к Ивану Николаевичу? Не ходите, они в шахматы ушли играть к Борису Петровичу. — В голосе одинокого жителя пещеры слышалось желание получить на чай. Ивану Николаевичу показалось, что и здесь ему хотят учинить какую-то помеху, преградить путь каким-то воровским фокусом, и, чувствуя в одиноком тайного сообщника профессора, *глядя* на него исподлобья, Иван Николаевич сурово шепнул:

— Ты брось меня путать! Иван Николаевич — это я сам. Я ловлю иностранца, ты мне не мешай!

Одинокий человек сейчас же скрылся в свое обиталище, а Иван побежал вверх по широкой лестнице. На первой же площадке он остановился, чтобы немного отдышаться. Квартир в доме было, как видно, много, и возник вопрос: в которой же скрылся профессор? Тут же почему-то Иван Николаевич твердо решил, что он непременно должен быть в квартире налево, на дверях которой смутно белел номер «66». В эту квартиру Иван и позвонил нетерпеливо. Ждать пришлось недолго: дверь открыла Ивану какая-то девочка лет пяти и, ни о чем не справляясь у него, ушла куда-то.

В громадной, до крайности запущенной передней, скупо освещенной малюсенькой лампочкой под высоким потолком, на стене висел велосипед без шин, стоял громадный ларь, обитый железом, на полке вешалки лежала шапка, и уши ее свешивались вниз.

За одной из дверей гулкий мужской голос в радиоаппарате говорил что-то стихами.

Иван Николаевич устремился прямо вперед, в коридор, рассуждая так: «Он в ванне, конечно, спрятался».

В коридоре было темно. Потыкавшись в стены, Иван увидел слабенькую полоску [света] внизу под дверью, нашарил ручку двери, несильно рванул ее. Отскочил крючок, и Иван оказался именно в ванне, подумав о том, что ему повезло.

Однако повезло не так уж, как бы нужно было. На Ивана пахнуло влажным теплом, он разглядел цинковые корыта на стене, колонку, в которой светились красноватые угли, и ванну со сбитой эмалью, всю в черных страшных пятнах. В этой ванне стояла голая гражданка лет сорока, вся в мыле и с мочалкой в руках. Она близоруко щурилась на ворвавшегося Ивана и, очевидно, не узнав его, сказала тихо и весело:

— Бросьте трепаться, Кирюшка! Что вы, с ума сошли? Федор Иванович сейчас вернется. Вон отсюда сейчас же! — и махнула на Ивана мочалкой.

Недоразумение было налицо, и повинен был в нем, конечно, Иван Николаевич, но не желая признаваться в этом, он тихонько воскликнул:

— Ах, развратница, развратница! — и убежал, закрыв дверь ванной.

Через несколько секунд он был в кухне. Обитатели квартиры куда-то все разошлись, и на громадной плите стояли потухшие, безмолвные примусы и керосинка. В окно кухни светила луна и фонарь. Иван сел на табурет, отдышался, собрал в порядок мысли и решил, что ненавистный преступник ускользнул через черный ход. К этому присоединилась мысль о том, что, пожалуй, так просто такого не поймаешь. Поэтому Иван Николаевич решил вооружиться свечой и иконкой. Пришло это ему в голову потому, что фонарь освещал как раз тот угол, где висела в пыли и паутине много лет назад забытая икона в раме, из-за которой высовывались концы двух венчальных свечей в золотых колечках, а пониже — бумажная иконка, изображающая Иисуса.

Иван присвоил одну из этих свечей, а также и иконку, нашарил замок, вышел на черный ход, навсегда покинув неизвестную квартиру, морщась от конфуза, который он пережил в ванне, и размышляя о том, кто этот наглый Кирюшка и не ему ли принадлежит шапка с ушами.

Шел он теперь медленно, потому что бежать у него сил уже не было. Очутившись вновь в гадком переулке, Иван Николаевич огляделся и убедился, что беглеца в нем нет. Заглянув на всякий случай в две подворотни, Иван сказал себе: «Стало быть, он на Москве-реке. Вперед!»

Следовало бы спросить, пожалуй, Ивана Николаевича, почему он полагает, что преследуемый именно на Москве-реке, а не где-нибудь в другом месте. Да спросить было некому, переулок был пустынен. Иван устремился в переулки и тупички, ведущие к Москве-реке.

Через некоторое время Ивана Николаевича можно было увидеть на ступенях громадного гранитного амфитеатра на берегу Москвы-реки.

Купальный сезон еще не наступил, но здесь уже нашлись спортсмены-купальщики. Яркий фонарь освещал четырех молодых людей в красных плавках. Пятым был какой-то приятный бородач, полураздетый и курящий, сидящий возле рваной ковбойки и расшнурованных стоптанных сапог.

Вымотавшийся до последней степени Иван Николаевич решил выкупаться, чтобы, освежившись, с новыми силами продолжить поиски. Он быстро разделся, поручил свою одежду бородачу и ласточкой кинулся в воду. Дух перехватило у Ивана Николаевича, до того была холодна вода, и мелькнула даже мысль о том, что он не выскочит на поверхность. Однако выскочить удалось, и, отфыркиваясь и отдуваясь, с круглыми от ужаса глазами, [Иван Николаевич начал плавать]. Тело быстро привыкло к воде, и Иван Николаевич получил желанное облегчение, плавая в дурно пахнущей черной воде, в которой отражались световые зигзаги от береговых фонарей.

Наплававшись, Иван Николаевич вылез на гранитные ступени, посинев и покрывшись пупырышками, залязгал зубами и направился к тому месту, где оставил под охраной бородача свое платье.

Немедленно выяснилось, что с Иваном сыграли еще одну скверную штуку (и как сразу он не догадался, конечно, всё та же шайка

с Патриарших): именно — похитили не только его одежду, но и самого бородача. На том месте, где была груда платья, остались только полосатые кальсоны, рваная ковбойка, свеча, икона и коробка спичек. Погрозив кулаком куда-то, Иван Николаевич облачился в то, что было оставлено негодяями. Ему, собственно говоря, было безразлично, во что одеться, не смущало его и то, что исчезло удостоверение Массолита, которое он носил всегда в кармане. Беспокоило его другое соображение: удастся ли ему в таком виде пройти благополучно по Москве? Могли пристать — все-таки странно как-то могло показаться прохожим... Могла произойти какая-нибудь придирка, задержка. А задержка никак не входила в планы Ивана Николаевича, имевшего в виду важнейшую цель — поимку консультанта.

Иван Николаевич оборвал пуговицы с кальсон внизу, там, где они застегиваются у щиколоток, в расчете на то, что, может быть, тогда кальсоны примут за летние брюки, напялил, подпрыгивая на холодном граните, ковбойку, и удалился от Москвы-реки, сказав самому себе:

— К Грибоедову! Он, конечно, там.

Иконку он спрятал в карман ковбойки, вместе со спичками и булавкой, длинную свечу зажал в руке.

Город уже жил ночной жизнью. В этом Иван Николаевич убедился, лишь только добрался до Остоженки. Пролетали в пыли, бряцая цепями, грузовики, на платформах коих, на мешках, раскинувшись, лежали мужчины, в открытых окнах виднелись огни под оранжевыми абажурами, в семафорах менялись огни, и в рупоре хрипло ревел на углу бравурный полонез, означавший, что Евгений Онегин сейчас увидит Татьяну на балу.

Опасения Ивана Николаевича оправдались: на него обращали внимание, и не раз, смеялись и оборачивались. Тогда он принял решение идти переулочками, там, где потемнее, где не так назойливы редкие прохожие, где не остановят босого человека с растрепанными после купанья волосами, в кальсонах, которые все же не стали похожими на брюки.

Иван так и сделал: углубился в таинственную сеть переулков у Арбата и пробирался под стенками, пугливо оглядываясь, прячась в подъезды, избегая перекрестков со светофорами, зданий посольств, у которых дежурили милиционеры.

В это время во всех окнах тяжелым мощным басом пел генерал Гремин о том, как он любит Татьяну.

Глава V ЧТО ПРОИЗОШЛО В ГРИБОЕДОВЕ

Довольно большой кремового цвета двухэтажный дом, выстроенный более чем сто лет назад, не раз с тех пор перестраиваемый и ремонтируемый, находился на бульварном кольце в глубине чахлого

сада, отделенного от тротуара кольца резною чугунной решеткой. В наши дни площадку перед домом заасфальтировали и в летние месяцы ее накрывали тентом, так что получалась обширная веранда.

Дом назывался «Домом Грибоедова». Говорили, что некогда он принадлежал тетке Грибоедова. Впрочем, сколько помнится, никакой тетки у Грибоедова не было, так что, возможно, что все рассказы литератора Клавдия Избердея, страшнейшего фантазера, о том, как вот, мол, в этом зале с колоннами Грибоедов читал тетке только что написанные сцены из своей известной комедии, представляют обыкновенные враки.

Но как бы то ни было, в настоящее время «Дом Грибоедова» находился во владении той самой литературной ассоциации «Массолит», секретарем которой и был Борис Петрович Крицкий, вплоть до своего появления на Патриарших прудах.

В комнатах верхнего этажа были размещены многочисленные секции «Массолита» с их канцеляриями и редакции двух журналов, которые редактировал покойный Крицкий, зал (тот самый, с колоннами) отведен был под конференции, а весь нижний этаж, разбитый на два больших зала, был отведен под писательский ресторан. К нему же относилась и веранда.

В половину одиннадцатого того самого вечера, когда Крицкий побывал на Патриарших, наверху, в «Доме Грибоедова», в тесной комнате томились двенадцать человек литераторов, собравшихся на заседание и ждущих опаздывающего Бориса Петровича.

Литераторы сидели на стульях, на столах, а один на подоконнике, и страдали от духоты. Окно в сад было открыто, но в него не проникала никакая свежая струя. Москва, накалив за день свой гранитный, железный и асфальтовый покров, отдавала теперь в воздух весь этот жар, и понятно было, что ночь не принесет никакого облегчения. Пахло луком из подвала теткиного дома, где работала кухня ресторана, и всем хотелось пить, все нервничали, были как разваренные.

Беллетрист Бескудников, тихий человек с внимательными глазами, одетый чрезвычайно прилично, вынул часы. Стрелка ползла к одиннадцати.

Бескудников показал часы своему соседу поэту Двубратскому, сидящему на столе и от тоски болтающему ногами, обутыми в новенькие желтые туфли на толстом резиновом ходу.

— Однако, — сказал Двубратский, — это уж он слишком опаздывает.

С ним согласился драматург Квант, накурившийся до сердечной тоски и синяков под глазами.

— Хлопец, наверное, на Клязьме застрял, — густым голосом отозвалась Настасья Лукинична Непременова, пожилая дама в крутых кудряшках, пишущая военно-морские рассказы под псевдонимом «Штурман Жорж».

— Позвольте, все это хорошо, что он на Клязьме, — заговорил смело автор популярных скетчей Загривов, — я и сам бы сейчас с удовольствием на дачке на балкончике чайку попил, вместо того чтобы здесь сидеть. Ведь известно же, что заседание назначено в десять?

— А хорошо сейчас на Клязьме, — мечтательно подзудила присутствующих Штурман Жорж, зная, что литераторский дачный поселок Дудкино на Клязьме общее больное место, — соловьи, наверно, уже поют. Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной.

— Третий год вношу денежки, чтобы больную базедовой болезнью жену отправить в этот рай, да вот что-то ничего в волнах не видно, — ядовитым голосом отнесся неизвестно к кому поймавшийся на штурманскую удочку новеллист Иероним Поприхин и усмехнулся.

— Это уж как кому повезет, — прогудел с подоконника лохматый, уж очень запущенный критик Абабков.

— Это кому бабушка ворожит, — послышался еще чей-то голос.

Радость загорелась в маленьких глазках Штурмана Жоржа, и она сказала, смягчая свое контральто:

— Не надо, товарищи, завидовать. Дач пятнадцать, а нас в «Массолите» три тысячи.

— Три тысячи сто одиннадцать... — вставил кто-то из угла.

— Ну вот видите, — продолжала Жорж, — что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас...

— Генералы, — вдруг напрямик врезался в склоку Глухарев, киносценарист.

Беллетрист Бескудников, зевнув тихо и прилично, вышел из комнаты. Он давно уже не слушал разговаривающих.

— Один в пяти комнатах в Дудкине, — вслед ему сказал Глухарев.

— Зачем же преувеличивать, товарищ Глухарев? — мягко возразила Штурман. — Он с супругой...

— И с домашней работницей, — глухим басом с подоконника откликнулся Абабаков.

— Э, товарищи, сейчас не в этом дело, — вдруг решительно заявил Денискин, работающий в разных жанрах, — а в том, что пять минут двенадцатого!

В комнате начался шум, назревало что-то вроде бунта. Решили звонить. Позвонили в это ненавистное Дудкино, попали не на ту дачу, к Лавровичу, узнали, что Лаврович ушел на реку, и совершенно от этого расстроились, представив себе, как Лаврович гуляет при луне, в то время как они мучаются в душной комнате. Стали звонить наобум, куда попало. Долго звонили в комиссию искусства, в комнату № 930. Никого там, конечно, в половине двенадцатого быть не могло. Возмущение росло. Непременова напрямик заявила, что несмотря на ее величайшее уважение к Борису Петровичу, она осуждает его. «Мог бы и позвонить!»

— Мог бы и позвонить! — кричали и Денискин, и Глухарев, и Квант.

Кричали они напрасно. Не мог Борис Петрович никуда позвонить. Далеко от Грибоедова, в громадном зале анатомического института, на трех цинковых столах лежало то, что недавно еще было Крицким.

На первом — обнаженное, в засохшей крови, тело с перебитой рукой и раздавленной грудной клеткой, на другом — голова с выбиты-

ми передними зубами, с помутневшими глазами, которые не пугал свет тысячесвечовых ламп, на третьем — груда заскорузлых тряпок, в которых трудно было узнать костюм и белье Крицкого.

Группа должностных лиц, среди которых был профессор судебной медицины, патологоанатом и его прозектор, стояла у стола и совещалась, как лучше сделать: закрыть ли наглухо черным покровом останки погибшего и так выставить их для прощания в колонном зале Грибоедова, или же пришить голову к шее, закрыв покровом только до подбородка?

Решили сделать второе, и профессор приказал сторожу:

— Иглы и струны...

Да, Борис Петрович не мог позвонить! И без четверти двенадцать все двенадцать литераторов ушли из комнатки вниз в ресторан. Тут опять недобрым словом помянули покойного, потому что веранда уже была заполнена и пришлось располагаться в душном зале внутри.

Ровно в полночь, как гром, ударил вдруг рояль, ему отозвались какие-то дудки, заквакали, застонали, закрякали; запиликала гармония — джаз заиграл бравурный, залихватский фокстрот.

От музыки засветились лоснящиеся в духоте лица, показалось, что ожили вверху лиловые с завитыми по-ассирийски гривами лошади, которыми были расписаны сводчатые потолки. В лампах под яркими платками будто прибавили свету, кто-то пропел, где-то покатился бокал, и через минуту зал плясал, а за ним заплясала и веранда.

Заплясал Глухарев с девицей — архитектором Тамарой Полумесяц, заплясал Квант с женою Глухарева, Глухарев* с сестрою Кванта, знаменитый романист Жукопов с киноактрисой. Плясали: Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин с крупной Непременовой, плясала Семейкина-Галл, крепко охваченная рослым неизвестным в белых рогожных брюках.

Плясали свои и гости, приезжие из разных мест: писатель Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик, кажется, режиссер.

Плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом, в пиджачках с подбитыми ватой плечами. Плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряло перышко зеленого луку, растерянно улыбаясь, охватив за талию хилую девушку в оранжевом шелковом измятом платье.

Официанты, оплывая потом, несли над головами запотевшие кружки с пивом. Хриплыми голосами с ненавистью кричали: «Виноват!», где-то голос в рупор кричал: «Карский — раз!», к грохоту и писку джаза примешивался пулеметный грохот ножей в подвале, где в дыму и огне работали повара. Коротко говоря: кромешный ад.

И в полночь было видение в аду: на веранду вышел черноглазый красавец с острой, как кинжал, бородой, во фраке и царственным благосклонным взором окинул свои владения.

Утверждал все тот же Клавдий Избердей, известнейший мистик и лгун, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоя-

* Так в тексте.

сан широким кожаным поясом, за которым торчали пистолеты, а волосы его цвета воронова крыла были повязаны алым шелком, и плыл под его командою бриг в Караибском море под гробовым флагом — черным с Адамовой головой.

Но нет, нет! Лжет, лжет, склоняясь к рюмке, Избердей! Никаких караибских морей нет на свете, и не плывут в них отчаянные флибустьеры, не гонится за ними корвет, не слышно его пушечного грома, не стелется над волной пушечный дым.

Ничего этого нет, и ничего не было! И плавится лед в воздухе, и видны налитые кровью глаза Избердея, и так душно, так тоскливо и страшно!

Ровно в полночь фокстрот развалился внезапно, последней по инерции пискнула гармоника, и тотчас за всеми столами загремело слово: «Крицкий, Крицкий!» Вскакивали, вскрикивали: «Не может быть!»

Не обошлось и без некоторой чепухи, вполне понятной в ресторане. Так, кто-то, залившись слезами, тут же предложил спеть — вечную память. Уняли, увели умываться.

Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить коллективную телеграмму и немедленно послать ее...

Но куда и зачем ее посылать? В самом деле — куда? И на что нужна эта телеграмма тому, чей затылок сейчас сдавлен в руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами профессор?

Да, убит... Но мы-то живы? И вот взметнулась волна горя, но и стала спадать, и уж кой-кто вернулся к столику и украдкой выпил водочки и закусил, не пропадать же стынувшим киевским котлетам? Ведь мы-то живы?

Рояль закрыли, танцы отменили, трое журналистов уехали в редакции писать некролог. Весь ресторан гудел говором, обсуждали сплетню, пущенную Штурманом, — о том, что Борис Петрович бросился под трамвай нарочно, запутавшись в любовной истории.

Но не успела сплетня разбухнуть, как произошло второе, что поразило публику в ресторане гораздо больше, чем известие о смерти Крицкого.

Первыми взволновались лихачи и шоферы, дежурившие на бульваре у ворот грибоедовского сада. Один из лихачей прокричал с козел: «Тю! Вы поглядите!»

Вслед за тем у чугунной решетки вспыхнул маленький огонек и стал приближаться к веранде, а с ним вместе среднего роста привидение. За столиками на веранде стали подниматься, всматриваться и чем больше всматривались, тем больше изумлялись. А когда привидение с огоньком в руках совсем приблизилось, все как закостенели за столиками, вытаращив глаза. Швейцар, вышедший сбоку из дверей, ведущих к ресторанной вешалке, чтобы покурить, бросил папиросу и двинулся было к привидению с явной целью преградить ему путь на веранду, но, вглядевшись, не посмел этого сделать и остановился, глупо улыбаясь.

Привидение тем временем вступило на веранду, и все увидели, что это не привидение, а всем известный Иван Николаевич Бездом-

ный. Но от этого не стало легче, а наоборот — началось на веранде смятение.

Иван Николаевич был бос, в полосатых кальсонах, в разодранной ковбойке, к коей на груди английской булавкой была приколота бумажная иконка. В руках Иван Николаевич держал зажженную восковую венчальную свечу. Правая щека Ивана Николаевича была свежеизодрана.

На веранде воцарилось молчание, и видно было, как у одного из официантов пиво текло из покосившейся кружки на пол.

Иван Николаевич поднял свечу над головой и сказал так:

— Здорово, братья!

От такого приветствия молчание стало еще поглубже. Тут Иван Николаевич двинулся и заглянул под первый столик, посветив под него и напугав даму за столиком, и сказал тоскливо:

— Нет, здесь нету!

Тут послышались два голоса. Первый, бас, сказал безжалостно:

— Готово дело. Белая горячка.

А второй, женский, тихий, испуганный:

— Как же милиция-то пропустила его по улицам?

Второе Иван Николаевич услыхал и отозвался:

— Дважды хотели задержать, в Скатертном и здесь, на Бронной, да я махнул через забор, видите, щеку изодрал! — Тут Иван Николаевич махнул свечой и вскричал: — Братья во литературе! — Осипший голос его стал крепче и горячей: — Слушайте меня все! Он появился! Ловите же его немедленно, иначе он натворит неописуемых бед!

— Что? Что он сказал? Кто появился? — послышались голоса со всех сторон.

-- Консультант! — прокричал Иван. — И этот консультант убил сегодня Борю Крицкого на Патриарших Прудах!

Из внутреннего зала на веранду валил народ, вокруг Иванова огня сдвинулась толпа.

— Виноват, скажите точнее, — послышался над ухом Ивана Николаевича тихий и вежливый голос, — скажите, товарищ Бездомный, как это убил? Кто убил?

— Консультант иностранец, профессор и шпион! — озираясь, отозвался Иван.

— А как его фамилия? — тихо спросили на ухо.

— То-то фамилия! — в тоске крикнул Иван. — Кабы я знал фамилию! Не разглядел я фамилии на визитной карточке. Помню только первую букву — «Ве». На «Ве» фамилия! Какая же это фамилия — на «Ве»? — напрягаясь и щурясь, говорил Иван и вдруг забормотал: — Ве, ве, ве... Ва... Во... Вагнер? Вогнер? Вайнер? Вегнер? Винтер... — Волосы на голове Ивана ездили от напряжения.

— Вульф? — вдруг жалостно крикнула женщина.

Иван рассердился.

— Дура! — отозвался он, ища глазами крикнувшую. — При чем тут Вульф? Вульф ни в чем не виноват! Ну вот что, граждане: бегите кто-нибудь к телефону, звоните в милицию, чтобы выслали пять мотоциклеток с пулеметами, профессора ловить. Да! Скажите, что с ним

еще двое: какой-то длинный, клетчатый, пенсне треснуло, и кот черный, жирный. А я пока что дом обыщу, я чую, что он здесь!

Иван проявил беспокойство, растолкал окружающих, начал размахивать свечой, капая воском на пол, заглядывать под столы. Тут послышалось слово: «Доктора!» — и чье-то ласковое мясистое лицо, бритое и упитанное, в роговых очках, появилось перед Иваном.

— Товарищ Бездомный, — заговорило лицо юбилейный голосом, — успокойтесь! Вы расстроены смертью всеми нами любимого Бориса Петровича... нет!.. Просто Бори Крицкого. Мы все это прекрасно понимаем. Вам нужен покой. Сейчас товарищи проводят вас в постель, и вы забудетесь...

— Ты, — оскалившись, ответил Иван, — понимаешь ли, что надо поймать профессора? А ты меня задерживаешь своими глупостями! Кретин!

— Товарищ Бездомный! Помилуйте, — ответило лицо, краснея, пятясь и уже раскаиваясь, что ввязалось в это дело.

— Нет, уж кого-кого, а тебя я не помилую, — с тихою ненавистью сказал Иван Николаевич.

Судорога тут исказила его лицо, он быстро переложил свечу из правой руки в левую, широко размахнулся и ударил по уху это лицо.

Тут догадались броситься на Ивана — и бросились. Свеча погасла, а очки, соскочившие с участливого лица, были мгновенно растоптаны. Иван испустил страшный боевой вой, слышный, к общему соблазну, даже на бульваре, и начал защищаться. Зазвенела падающая со столов посуда, закричали женщины.

Пока официанты вязали поэта ресторанными полотенцами, в раздевалке шел разговор между командиром брига и швейцаром.

— Ты видел, что он в подштанниках? — спросил холодно пират.

— Да ведь, Арчибальд Арчибальдович, — труся, отвечал швейцар, — как же я могу их не допустить, ежели они член «Массолита»?

— Ты видел, что он в подштанниках? — холодно повторил пират.

— Помилуйте, Арчибальд Арчибальдович, — багровея, говорил швейцар, — что же я могу поделать? Давеча являются поэт Рюхин из бани, и у них веник за пазухой. Я говорю, неудобно с веником, а они смеются и веником в меня тычут. Потом мыло раскрошил на веранде, дамы падают, а им смешно!..

— Брось про веник рассказывать, Николай, — тихо говорил пират, — я тебя спрашиваю: ты видел, что он в подштанниках?

Тут швейцар умолк, кожа на лице его приняла тифозный оттенок, глаза помертвели. Ему померещилось, что черные волосы, причесанные на пробор, покрылись огненным шелком. Исчезли пластрон и фрак, и за ременным поясом возникла ручка пистолета.

Швейцар представил себя повешенным на фор-марса-рее. Своими глазами увидел свой собственный высунутый язык и безжизненную голову, упавшую на плечо, даже услыхал плеск волны за бортом. Колени швейцара подогнулись. Но тут флибустьер сжалился над ним, погасил свой острый взор.

— Смотри, Николай! В последний раз! Нам таких швейцаров даром не надо. Ты в церковь сторожем поступи. — И скомандовал точ-

но, ясно, быстро: — Пантелея. Милиционера. Протокол. Грузовик. В психиатрическую.

Через четверть часа пораженная публика на бульваре видела, как из ворот грибоедовского сада Пантелей, швейцар, милиционер, официант и поэт Понырев* выносили спеленатого, как куклу, молодого человека, который, заливаясь слезами, плевался, норовя попасть в Понырева, и ругал его «сволочью».

Шофер грузовика со злым лицом заводил мотор, лихач горячил лошадь, бил ее по крупу сиреневыми вожжами, кричал:

— А вот на резвой! Я возил психическую!

Толпа гудела, обсуждала невиданное происшествие; словом, был форменный неприличнейший скандал, который кончился лишь тогда, когда грузовик унес от ворот несчастного Ивана Николаевича, милиционера, Пантелея и Понырева.

Глава VI ШИЗОФРЕНИЯ, КАК БЫЛО СКАЗАНО

Круглые электрические часы на белой стене показывали четверть второго ночи, когда в приемную знаменитой по своему устройству психиатрической клиники, находившейся за городом на берегу Москвы-реки, вышел человек с острой бородкой и облаченный в белый халат, из карманчика которого торчал черный кончик стетоскопа.

Трое санитаров стояли у дивана, на котором помещался развязанный Иван Николаевич, не спуская с него глаз. Тут же был и крайне взволнованный Понырев.

Увидев вошедшего, он побледнел, кашлянул и робко сказал:

— Здравствуйте, доктор...

Доктор поклонился Пониреву, но, кланяясь, смотрел не на Понырева, а на Ивана Николаевича.

Тот сидел совершенно неподвижно, со злым лицом, сдвинув брови, и не шевельнулся при входе врача.

— Вот, доктор, — почему-то таинственным шепотом заговорил Понырев, оглядываясь на Ивана Николаевича, — известный поэт Иван Бездомный, — вот видите ли... мы опасаемся, не белая ли горячка...

— Пил сильно? — сквозь зубы спросил доктор.

— Выпивал, но не так, чтобы уж...

— Тараканов, крыс, чертиков или шмыгающих собак не ловил?

— Нет, — вздрогнув, ответил Понырев, — я его вчера видел и сегодня утром. Был совершенно здоров...

— А почему он в кальсонах? С постели взяли?

* Так в тексте.

— Он, доктор, в ресторан пришел в таком виде.

— Ага, ага, — очень удовлетворенно сказал доктор, — а почему окровавлен? Дрался с кем-нибудь?

— Он с забора упал, а потом в ресторане ударил одного и еще кой-кого...

— Так, так, так, -- сказал доктор и, повернувшись к Ивану Николаевичу, добавил: — Здравствуйте.

— Здорово, вредитель! — злобно и громко ответил Иван.

Понырев сконфузился до того, что боялся поднять глаза на вежливого доктора. Но тот ничуть не обиделся, привычным ловким жестом снял очки и, приподняв полу халата, спрятал их в задний карман брюк, а затем спросил Ивана:

— Сколько вам лет?

— Подите все от меня к чертям, в самом деле! — грубо закричал Иван и отвернулся.

Доктор, щуря привыкшие к очкам глаза и размяв веки, по-прежнему вежливо спросил:

— Почему же вы сердитесь? Разве я сказал вам что-нибудь неприятное?

— Мне двадцать три года, — заговорил Иван, — и я жалобу подам на вас всех. А на тебя в особенности, гнида! — отнесся он отдельно к Пономареву.

— А на что вы хотите пожаловаться?

— На то, что меня, здорового человека, схватили силой и приволокли в сумасшедший дом, — в гневе ответил Иван.

Здесь Понырев всмотрелся в Ивана и похолодел: в глазах у того не было решительно никакого безумия. Из мутных, как они были в Грибоедове, они превратились в прежние, ясные.

«Батюшки! — испуганно подумал Понырев. — Да он и впрямь, кажется, нормален? Вот чепуха какая! Зачем же мы, в самом деле, его сюда притащили? Нормален, нормален, только рожа расцарапана...»

— Вы находитесь, — спокойно заговорил врач, присаживаясь на белый табурет на блестящей ноге, — не в сумасшедшем доме, а в клинике, где вам не причинят ни малейшего вреда и где вас никто не станет задерживать, если в этом нет надобности.

Иван Николаевич покосился недоверчиво, но все же пробурчал:

— Слава те господи! Нашелся наконец один нормальный среди идиотов, из которых первый — балбес и бездарность Пашка!

— Кто этот Пашка-бездарность? — осведомился врач.

— А вот он — Понырев! — ответил Иван и ткнул грязным пальцем в направлении Понырева.

Понырев вспыхнул от негодования.

«Это он мне вместо спасибо! — горько подумал он. — За то, что я принял в нем участие! Действительно, сволочь!»

— Типичный кулачок по своей психологии, — ядовито заговорил Иван Николаевич, которому, очевидно, приспичило обличить Понырева, — и притом кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария. Посмотрели бы вы, какие он стишки сочинил к первому... хе, хе... «Взвейтесь, да развейтесь!»... а вы загляните в него —

что он думает — ахнете! — И Иван Николаевич рассмеялся совершенно зловеще.

Понырев тяжело задышал. Был красен и думал только об одном: что он отогрел у себя на груди дрянную змею, что принял участие в том, кто оказался на поверку злобным врагом. И главное, и поделать ничего нельзя было: не ругаться же с душевнобольным?

— А почему вас, собственно, доставили к нам? — спросил врач, внимательно выслушав обличения Бездомного.

— Да черт их возьми, олухов! Схватили, связали какими-то тряпками и поволокли!

— Позвольте вас спросить, вы почему в ресторан пришли в одном белье?

— Ничего тут нету удивительного, — ответил Иван, — купаться пошел я на Москву-реку, ну и попятили мою одежду, а эту дрянь оставили. Не голым же мне идти? Надел что было, потому что спешил в ресторан к Грибоедову.

Врач вопросительно поглядел на Понырева.

Тот хмуро пробормотал:

— Ресторан так называется.

— Ага, — сказал врач, — а почему так спешили? Какое-нибудь деловое свидание?

— Консультанта я ловлю, — ответил Иван Николаевич и тревожно оглянулся.

— Какого консультанта?

— Консультанта, который убил Борю Крицкого на Патриарших прудах.

Пономреву не хотелось говорить ни слова, но пришлось объяснить.

— Секретаря Массолита Крицкого задавило трамваем на Патриарших.

— Не ври ты, чего не знаешь, — рассердился на Понырева Иван Николаевич, — я был при этом. Он его нарочно под трамвай пристроил!

— Толкнул?

— Да при чем здесь «толкнул»? — все больше сердясь на общую бестолковость, воскликнул Иван. — Такому и толкать не надо. Он такие штуки может выделывать, что только держись! Он заранее знал, что Крицкий попадет под трамвай и под какой именно!

— А кто-нибудь, кроме вас, видел этого консультанта?

— То-то и беда, что только я да Крицкий.

— Так. Какие же меры вы приняли, чтобы поймать этого консультанта-убийцу? — Тут врач повернулся и поглядел на женщину в белом халате, сидящую за столом в стороне. Та вынула лист и стала заполнять пустые места в его графах.

— Меры вот какие. Взял я на кухне свечечку...

— Вот эту? — спросил врач, указывая на свечку, лежащую перед женщиной на столе рядом с разорванной иконкой.

— Эту самую и...

— А иконка зачем? — мягко спросил врач.

Иван покраснел, поглядел в землю смущенно и ответил:

— Ну да, иконка... Иконка-то больше всего их и испугала, — он опять ткнул пальцем в сторону Понырева, — но дело в том... что он, консультант, он, будем говорить прямо, с нечистой силой знается, и вообще так его не поймаешь...

Санитары почему-то вытянули руки по швам, глаз не сводили с Ивана.

— Да, — продолжал Иван, — знается. Тут факт бесповоротный. Он лично разговаривал с Понтием Пилатом. Да, да... Все видел — и балкон, и пальмы. Был, словом, у Понтия Пилата, ручаюсь за это.

Понырев забыл про обиду, нанесенную ему, побледнел, глядя на Ивана Ниволаевича.

— Ну-те, ну-те, — поощрил Ивана врач, — и вы, стало быть, с иконкой...

— Я ее на грудь пришпилил, — объяснил Иван.

— Зачем на грудь?

— Чтобы руки были свободны, — объяснял Иван, — в одной — свечка, а другой — хватать.

Тут вдруг часы ударили один раз.

— Эге-ге! — воскликнул Иван и поднялся с дивана. — Половина второго, а я с вами время теряю! Я извиняюсь, где телефон?

— Пропустите к телефону, — приказал врач санитару, который загородил аппарат на стене.

Иван ухватился за трубку, а женщина в это время тихо спросила у Понырева:

— Женат он?

— Холост, — испуганно ответил Понырев.

— Член профсоюза?

— Да.

— Милиция? — закричал Иван в трубку. — Милиция? Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклеток с пулеметами для поимки иностранного консультанта... Что? Заезжайте за мною, я вам все расскажу и сам с вами поеду... Говорит поэт Бездомный, из сумасшедшего дома... Как ваш адрес? — шепотом спросил Бездомный у доктора, прикрывая трубку ладонью. Тот не ответил ничего, и поэт опять закричал в трубку: — Вы слушаете? Безобразие! — вдруг завопил Иван, очевидно, утратив собеседника в трубке, и швырнул трубку в стену.

— Зачем же сердиться? — заметил миролюбивый врач. — Вы можете сломать телефон, а он нам поминутно нужен.

Санитар приладил трубку на место, а Иван раскричался, дергаясь в судорогах и грозя кулаком:

— Ничего! Ничего! Ответят они мне за это, голубчики миленькие!

Затем он повернулся к врачу, протянул ему руку, сухо сказал «до свиданья» и собрался уходить.

— Помилуйте, куда же вы хотите идти? — заговорил врач, вглядываясь в зрачки Ивана. — Глубокой ночью, в белье... Вы плохо чувствуете себя. Останьтесь у нас.

— Пропустите-ка, — глухо сказал Иван Николаевич санитарам, сомкнувшимся у дверей, — пустите вы или нет? — страшным голосом крикнул поэт.

Понырев задрожал, а женщина нажала кнопку в столике, и на его стеклянную поверхность выскочила блестящая коробочка и запаянная ампула.

— Ах так, ах так, — хрипя, произнес Иван, — ну так прощайте!

И он головой вперед бросился в штору окна. Раздался удар, но небьющееся стекло не дало ни одного осколка, и через мгновенье Иван забился в руках санитаров.

— Ага, — хрипел он, пытаясь кусаться, — так вот вы какие стеклышки у себя завели?! Пус... Пусти!

В руках у врача сверкнул шприц, женщина одним взмахом распорола ветхий рукав ковбойки и вцепилась в руку с неженской силой. Иван ослабел в руках четырех человек, ловкий врач воспользовался этим моментом и вколол иглу в плечо Ивана.

Его подержали еще несколько секунд, причем он успел крикнуть несколько раз:

— На помощь! На помощь!

Потом его опустили на диван.

— Бандиты! — прокричал Иван, вскочил с дивана, но был водворен на него опять. Лишь только его отпустили, он снова было вскочил, но сел обратно сам. Помолчал, диковато озираясь, потом неожиданно зевнул. Улыбнулся со злобой.

— Заточили все-таки, — сказал он, улыбаясь, но уже без злобы, зевнул еще раз, неожиданно прилег, голову положил на подушку, кулак по-детски под щеку, забормотал уже сонным голосом: — Ну и очень хорошо. Сами же за все и поплатитесь. Я свое дело исполнил, предупредил, а там как хотите!.. Меня же сейчас более всего интересует Понтий Пилат... Пилат... — повторил он и закрыл глаза.

— Ванна, сто семнадцатую отдельную и пост к нему, — распорядился врач, надевая очки. Понырев опять вздрогнул: стена беззвучно разошлась, за нею открылся коридор, освещенный ночными синими лампами. Где-то загудела вода, льющаяся в ванну. Из коридора выехала на резиновых колесиках кушетка, на нее положили затихшего Ивана, и он уехал в коридор. Исчезли санитары, сомкнулась стена.

Врач что-то написал в листе, устало зевнул.

— Доктор, — шепотом спросил потрясенный Понырев, — он, значит, действительно болен?

— О да, — ответил врач.

— Что же это такое с ним? — робко спросил Понырев.

Врач устало поглядел на Понырева, сказал задумчиво:

— Двигательное и речевое возбуждение... бредовые интерпретации... случай, по-видимому, сложный... шизофрения, надо полагать.

Понырев тихо осведомился:

— Что же с ним будет?

— В амбулаторных условиях трудно ставить прогноз, — размышляя, сказал врач, — будет интернирован у нас. Если выкарабкается... возможно с дефектом.

Понырев ничего не понял из слов доктора, кроме того, что дела Ивана Николаевича обстоят весьма плохо, вздохнул и спросил:

— А что это он все время про какого-то консультанта говорит?

— Видел кого-то, кто поразил его расстроенное воображение... или галлюцинировал, — вяло ответил доктор.

Через несколько минут грузовик нес его в Москву. Светало, но на шоссе еще горели фонари. Шофер злился на то, что пропала ночь, гнал машину изо всех сил, ее заносило на поворотах.

Понырев сидел на каком-то обрубке на платформе, вцепившись рукой в борт. Ресторанные полотенца, оставленные в грузовике Пантелеем, раньше уехавшим с милиционером в троллейбусе, ездили по платформе. Понырев, которого подбрасывало на обрубке, хотел было собрать их в кучу, но потом пробормотал: «Да ну их к черту!.. Что я, в самом деле, как дурак верчусь...»

Настроение духа Понырева было ужасно. Душа его ныла, как от зубной боли. Посещение дома скорби оставило в нем тяжкий след. Понырев старался понять, что терзает его. Страшные ли действия помешанного, попытка ли его выброситься из окна... коридор со слабыми синими огнями? Мысль ли о том, как ужасно лишиться разума? Да, это... Но что-то еще... Что? Да, да, слова Ивана Николаевича. Обидные, едкие, брошенные в лицо слова... Горе не в том, что они обидны, а в том, что в них — правда.

Лес, в котором стояла клиника, улетел назад. Мимо Понырева пролетали обнаженные в рассвете огни на высоких мачтах на новостройках, с какими-то катушками на них. Поэт, уставившись в грязный настил платформы, что-то бормотал, мучился, ныл.

Да, стихи. Тридцать два года. Да, ведь будущее его темно? В самом деле, он будет писать и дальше по нескольку стихотворений в год. Ну а дальше-то что, спрашивается? То же самое. Вечные авансы, вечные компромиссы... Да, компромиссы. «Он правду сказал, — шептал сейчас Понырев себе то, что никому и ни за что не решился бы шепнуть, — не верю я ни во что из того, что пишу, и оттого стихи мои дурны, да, дурные стихи. Во имя чего же все это? Хоть бы квартира была, а то и ее нету, одна комната, и нет никакой надежды, что будет другая. Двубратский? Да, стихи его еще хуже, вся Москва знает, что он пишет черт знает что. Но ему везет. У него есть машина. Как он ухитрился достать ее? Он ловок, нагл, беспринципен. Он удачлив! А мне не везет, нет мне счастья, не та звезда у меня. Во имя чего я бьюсь? Уважение? Смешно говорить! Кто станет меня уважать, если я сам себя не уважаю. Вот трясусь на грузовике, несет меня черт куда-то... глупо, одиноко. Светает. А старость? Подумать страшно...»

Мучения поэта стали нестерпимыми, но грузовик уже летел по бульвару и остановился у грибоедовской решетки.

Морщась от душевной боли, злясь на то, что еще нужно возиться с этими проклятыми полотенцами, Понырев собрал их в кучу, спрыгнул с платформы.

Ресторан торговал до четырех, и на веранде еще горели лампы. Свет их был скуден и неуместен в неудержимо надвигающемся майском рассвете.

Отравленный взрывом неврастении, больной и постаревший даже как будто бы, поэт вошел на веранду. Оставались только последние посетители. В углу, над решеткой, с вьющимся каким-то чахлым растением, кто-то, кажется кинорежиссер, наливал какой-то даме «Абрау-Дюрсо» в узкий бокал, еще какая-то группа сидела вдали.

Понырев был встречен Арчибальдом Арчибальдовичем чрезвычайно приветливо и тотчас избавлен от полотенец. Не будь Понырев так истерзан в доме скорби и грузовике, он, наверное, получил бы удовольствие, рассказывая о том, как все это было, описывая удивительную лечебницу, пожалуй, придумывая интересные подробности. Но сейчас ему было не до этого, а кроме того, как ни мало был наблюдателен Понырев, теперь он, после пытки в грузовике, впервые остро и болезненно вглядевшись в лицо пирата, понял, что тот, хоть и расспрашивает о Бездомном, и даже склоняется к стулу, и даже восклицает «ай-ай-ай!», но совершенно равнодушен к судьбе Бездомного, ничуть его не жалеет и не интересуется им. «И молодец! И правильно!» — с цинической, самоуничтожающей злобой подумал Понырев и, оборвав рассказ о шизофрении, сказал:

— Арбибальд Арчибальдович, водочки мне...

Пират сделал сочувствующие и таинственные глаза, шепнул:

— Понимаю... понимаю, — и мигнул официанту.

Через четверть часа Понырев в полном одиночестве сидел, скорчившись над рыбцом, пил рюмку за рюмкой, понимая, что исправить в его жизни уже ничего нельзя, но можно забыть.

Поэт истратил свою ночь, в то время как другие пировали, и теперь ему хотелось вернуть ее. В уголке у лампы ему казалось, что это ночь, но стоило ему поднять голову, чтобы убедиться, что она пропала безвозвратно... Официанты срывали скатерти со столов, коты шныряли возле веранды, и вид у них был утренний.

На поэта неудержимо наваливался день.

Глава VII НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Если бы Степе Лиходееву сказали так: «Степа! Тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь!» — Степа ответил бы томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мною что хотите, но я не встану».

Не то что встать, — ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что, если он их откроет, сверкнет молния и голову ему тут же разнесет на куски.

В голове этой гудел тяжелый колокол, между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и кроме того, тошнило, причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то патефона.

Степа старался что-то припомнить, но припомнить мог только одно, что, кажется, вчера и неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и делал попытку поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день (то есть, значит, сегодня) придет к ней в гости в полдень.

Дама от этого отказывалась, говорила: «Нет, не приходите, меня не будет дома», а Степа упорно настаивал, говорил: «А я вот возьму да и приду».

Ни какая это была дама, ни который час, ни даже какое число какого месяца и, что хуже всего, где он находится, Степа понять не мог.

Он постарался выяснить хотя бы последнее и для этого разделил слипшиеся веки левого глаза. В полутьме что-то тускло отсвечивало, Степа узнал трюмо и понял, что он находится у себя дома, то есть в бывшей ювелиршиной спальне. Тут ему так ударило в голову, что глаз он закрыл и застонал.

Дело было вот в чем: Степа Лиходеев, директор театра «Кабаре», в утро, последовавшее за тою страшною ночью, когда, после смерти Крицкого, Ивана Николаевича Бездомного увезли в клинику, очнулся у себя в той самой квартире, которую он занимал вместе с покойным Крицким в большом шестиэтажном доме, расположенном покоем на Садовой улице.

Надо сказать, что квартира эта (№ 50) пользовалась уже раньше если не вовсе плохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще два года назад ее занимала бывшая до революции ее владелицей вдова ювелира Анна Францевна де Фужере. Анна Францевна, пятидесятилетняя почтенная и очень деловая дама, три комнаты из пяти сдавала жильцам, одному, фамилия которого была, кажется, Беломут, и другому, фамилия которого утратилась, прозванному в доме почему-то «финансистом».

И вот два года тому назад в квартире начались необъяснимые происшествия: именно, стали из этой квартиры люди бесследно исчезать.

Однажды в выходной день пришел в квартиру милиционер, вызвал в переднюю финансиста и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции, в чем-то расписаться. Финансист приказал Анфисе, преданной домработнице Анны Францевны, сказать, в случае если ему будут звонить, что он вернется через полчаса, и ушел вместе с необыкновенно корректным милиционером в белых перчатках.

Но не вернулся он не только через полчаса, он вообще не вернулся. Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе бесследно исчез и милиционер.

Набожная, а откровенно сказать, и суеверная Анфиса так напрямик и заявила очень расстроенной Анне Францевне, что это колдовство и что она знает, кто утащил милиционера и финансиста.

Ну, колдовству стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. Финансист исчез, помнится, в понедельник, а в среду, через день, как сквозь землю провалился Беломут, но при других обстоя-

тельствах. За ним утром заехала, как обычно, машина, чтобы отвезти его на службу, и отвезла, а назад никого не привезла и сама больше не приезжала.

Горе и ужас мадам Беломут не поддаются описанию. Она плакала, уткнувшись в полное плечо Анны Францевны, а та хоть и пыталась ее утешить, но и сама была в сильнейшем отчаянии.

Горе гражданки Беломут, впрочем, не было продолжительным. В ту же ночь, точнее в первую половину ее, когда Анна Францевна вернулась домой вместе с Анфисой, которую она брала с собою по какому-то спешному и важному делу и почему-то на дачу, хотя время и было позднее осеннее, выяснилось, что гражданки Беломут нету в квартире. Но этого мало: двери обеих комнат, которые занимали супруги Беломут, оказались запечатанными. Анна Францевна, на которой лица не было, припадала к ним, пытаясь хоть по надписям на сургуче узнать хоть что-нибудь о том, кто похитил Бел омута. Анфиса удерживала ее от этого, говоря, что у нее самой скорее руки отсохнут, чем она прикоснется к окаянному сургучу.

Два дня прошли спокойно. На третий день страдавшая все это время бессонницей Анна Францевна опять-таки зачем-то уехала на дачу.

Нужно ли говорить, что она не вернулась? Несчастная Анфиса сидела в кухне одна-одинешенька и только шептала что-то, но что -- неизвестно. Легла она спать во втором часу, а в третьем в квартиру № 50 позвонили. Рассказывали, что приехали восемь человек мужчин и одна женщина. Будто бы до утра светились тревожным полным светом те четыре окна ювелиршиной квартиры, которые выходили во двор. До утра будто бы слышались в странной квартире стуки в стены, грохот передвигаемой мебели и якобы не то стоны, не то клятвы какие-то бедной Анфисы.

Утром утихло, и Анфиса исчезла. Никто более в доме ее не видал. На парадной двери квартиры № 50 повисла большая печать.

Об Анфисе долго толковали во всех остальных сорока девяти квартирах дома и рассказывали о ней какие-то легенды. Что будто бы сухонькая, набожная Анфиса носила на груди в замшевом мешочке двадцать пять бриллиантов, что будто бы в квартире тогда ночью поднимали даже паркет, что будто бы потом ездили и на дачу, и что якобы в дровяном сарае нашлись какие-то несметные сокровища, и прочее в этом же духе.

Чего не знаем — за то не ручаемся.

Как бы то ни было, квартира простояла пустой, брошенной, запечатанной недели две, а затем в нее вселился Крицкий с супругою и упомянутый уже Степа с супругою же. Совершенно естественно, что у них все пошло как-то странно в проклятой квартире. Не успели они осмотреться, как оба развелись.

Бывшую супругу Крицкого будто бы видели в Харькове, и чего она там делала, к сожалению, не знаем, а супруга Степы оказалась на Божедомке, где директор Кабаре с большим трудом, используя свои бесчисленные знакомства, снял ей комнату, чтобы только ее больше не было на Садовой, в квартире № 50...

Итак, Степа застонал. То, что он определил свое местонахождение, помогло ему весьма мало, и болезнь его достигла наивысшего градуса.

Он хотел позвать домработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но тут же сообразил, что это глупости, что никакого пирамидону у Груни нет. Хотел позвать на помощь Крицкого, простонал дважды: «Крицкий... Крицкий!», но, как сами понимаете, ответа никакого не получил. В квартире стояла полнейшая тишина.

Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках, трясущейся рукою провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил.

Наконец, видя, что он брошен и одинок, что помочь ему некому, решил сам себе помочь и для этого подняться, каких бы нечеловеческих усилий это ни стоило.

И Степа разлепил склеенные веки, опять увидел в затененной спальне пыльное трюмо и хоть и мутно, но отразился в нем с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытой черной щетиною, физиономией, с заплывшими глазами, в грязной сорочке с воротничком и галстухом, в кальсонах, в носках.

Таким он увидел себя в трюмо, а рядом с трюмо увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете.

Степа поднялся на локтях, сел на кровати и, сколько мог, вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного.

Молчание было нарушено неизвестным, произнесшим низким тяжелым голосом и с иностранным акцентом следующие слова:

— Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович!

Произошла пауза, после которой, сделав над собою большое усилие, Степа выговорил:

— Что вам угодно?

И сам поразился, не узнав своего собственного голоса. Слово «что» было произнесено басом, «вам» — дискантом, а «угодно» совсем не вышло.

Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул золотые часы, прозвонил одиннадцать раз и сказал:

— Одиннадцать! И ровно час, как я ожидаю вашего пробуждения, ибо вы назначили мне быть у вас в десять. Вот и я!

Степа нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул:

— Извините... — надел их и хрипло спросил: — Скажите, пожалуйста, как ваша фамилия?

Говорить ему было трудно. Казалось, что при каждом слове кто-то тычет ему иголкой в мозг, причиняя адскую боль.

Незнакомец улыбнулся.

— Как? Вы и фамилию мою забыли?

— Простите... — прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом: ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то и что сию минуту он головой вниз полетит куда-то к чертовой матери.

— Дорогой Степан Богданович, — заговорил посетитель, улыбаясь проницательно, — никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте

мудрому правилу — лечить подобное подобным. Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой, горячей закуской.

Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаться во всем.

— Откровенно сказать, — начал он, еле ворочая языком, — вчера я немножко...

— Ни слова больше! — ответил визитер и отъехал с креслом в сторону.

Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем — нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, маринованные белые грибы на тарелочке, что-то, кроме того, в кастрюльке и, наконец, объемистый ювелиршин графинчик с водкой. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Это, впрочем, немудрено — он помещался в полоскательнице со льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело.

Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и легко налил ему полстопки водки.

— А вы? — пискнул Степа.

— Отчего же, с удовольствием, — ответил гость и налил себе стопку до краев.

Прыгающей рукою поднес Степа стопку кустам, глотнул. И незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки.

Пожевав кусок икры, Степа выдавил из себя слова:

— А вы что же?.. Закусить?

— Благодарю вас, я никогда не закусываю, — отозвался незнакомец и тут же налил Степе и себе по второй. Открыли кастрюлю, из нее повалил пар, пахнущий лавровым листом, — в кастрюле оказались сосиски в томате.

Через несколько минут проклятая зелень перед глазами исчезла, слова начали выговариваться легче и, главное, Степа кой-что припомнил. Именно, что дело вчера происходило в гостях у автора скетчей Хустова на даче в Сходне, куда сам Хустов и отвез Степу в таксомоторе. Припомнилось даже, как нанимали этот таксомотор у «Метрополя», был при этом еще какой-то актер и именно с патефоном, и корзина была громадная плетеная и в ней множество бутылок. Да, да на даче! Еще, помнится, выли собаки от этого патефона. Вот только дама, которую Степа поцеловал, осталась неразгаданной — не то она с соседней дачи, где еще запомнился пес на трех ногах, не то она на радио служит, черт ее знает.

Вчерашний день, таким образом, помаленьку разъяснился, но Степу сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний — появление в спальне неизвестного, да еще с водкой и закуской. Вот что недурно было разъяснить!

— Ну, что же, теперь вы, надеюсь, вспомнили мою фамилию?

Степа опохмелился настолько, что даже нашел в себе силы игриво улыбнуться и развести руками.

— Однако! Я чувствую, почтеннейший, что после водки вы пили портвейн. Ах, разве можно это делать!

— Я хочу вас попросить, чтобы это осталось между нами, — искательно сказал Степа.

— О, помилуйте, конечно! Но за Хустова я, конечно, не ручаюсь!

— Разве вы знаете Хустова?

— Вчера в кабинете у вас видел его мельком, но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он — сволочь, склочник, приспособленец и подхалим.

«Совершенно верно!» — подумал Степа, пораженный верным, точным и кратким определением Хустова.

Вчерашний день складывался как бы из кусочков, и тем не менее, тревога начала охватывать директора Кабаре. Дело в том, что в этом вчерашнем дне зияла преогромная черная дыра. Вот этого самого незнакомца в берете, в лакированной обуви, незнакомца с кривым ртом и разными глазами во вчерашнем дне, воля ваша, не было, и Степа откровенно вздрогнул, когда незнакомец упомянул о встрече в кабинете.

Тут неизвестный пришел Степе на помощь.

— Профессор черной магии Воланд, — представился он и стал рассказывать все по порядку.

Вчера днем он явился к Степе в его директорский кабинет и предложил свои гастроли в Кабаре. Степа позвонил в главную московскую зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал (Степа заморгал глазами), да, согласовал, после чего подписал с профессором контракт на семь выступлений (Степа вздрогнул), и вот тут, когда дело уже было закончено, прощаясь, условились встретиться у Степы утром, чтобы подробнее поговорить о программе.

Вот артист и появился утром, был встречен приходящей домработницей Груней, которая объяснила, что Степан Богданович крепко спит, что разбудить его она не берется, а что ежели есть дело, то иностранец может пройти в спальню и будить его сам.

Пройдя в спальню и увидев, в каком состоянии Степан Богданович, артист позволил себе послать Груню в ближайший гастроном за закуской, в аптеку за льдом и...

— Позвольте мне с вами рассчитаться, — сказал растерянно Степа и стал искать бумажник, который и оказался почему-то на полу.

— О, какой вздор! — воскликнул гастролер и даже смотреть не захотел на бумажник.

Итак, водка и закуска тоже стали понятны, и тем не менее, на Степу было жалко смотреть: дело в том, что он все-таки не помнил никакого контракта и, хоть убейте, не видел вчера этого Воланда.

Все вспомнилось: и Хустов в кабинете, и как уезжали, но Воланда не было!

— Разрешите взглянуть на контракт, — тихо попросил Степа.

— О, пожалуйста, пожалуйста!

И контракт оказался в руках у Степы, причем тотчас же стало ясно не только то, что он составлен по всей форме и что под ним имеется несомненная собственноручная подпись Степы, но что контракт уже и выполняется, что явствовало из косой сбоку надписи финдиректора Римского о выдаче артисту Воланду из следуемых

ему двадцати одной тысячи рублей пяти тысяч при подписании контракта.

«Что же это такое?!» — подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась. Но, само собою, после того как контракт был предъявлен, дальнейшие выражения удивления были бы просто неприличны.

Степа попросил у гостя разрешения на минуту отлучиться и, как был в носках, побежал в переднюю к телефону.

По дороге он свернул в кухню, крикнул:

— Груня!

Никто ему не отозвался.

Из передней он заглянул в кабинет Крицкого, но никого там не обнаружил.

Закрыв дверь из передней в коридор, Степа набрал номер аппарата в кабинете финдиректора Кабаре Римского.

Положение Степы было щекотливое: во-первых, иностранец мог обидеться на то, что Степа проверяет его после того, как контракт был показан, да и с финдиректором говорить было чрезвычайно трудно. В самом деле, нельзя же было спросить его: «Заключал ли я вчера контракт на двадцать одну тысячу рублей?»

— Да! — послышался в трубке резкий неприятный голос Римского.

— Здравствуйте, Григорий Данилович, — смущенно сказал Степа, — это Лиходеев говорит. Вот какое дело: у меня сидит этот... гм... артист Воланд... так вот как насчет сегодняшнего вечера?

— Ах, черный маг? — отозвался в трубке Римский. — Афиши сейчас будут.

— Ага, — слабым голосом сказал Степа, — ну, пока.

— Скоро приедете? — спросил Римский.

— Через полчаса, — ответил Степа и, повесив трубку, сжал горячую голову руками. Выходила какая-то скверная штука! У тридцатилетнего Степы начинались какие-то странные провалы в памяти. Как же это так он забыл про двадцатитысячный контракт? Каким образом начисто стерся в памяти иностранец? Однако дальше задерживаться в передней было неудобно, гость ждал в спальне. Степа составил такой план: скрыть всеми мерами от всех свою невероятную забывчивость, а сейчас первым долгом расспросить у иностранца хоть о том, что он, собственно, намерен сегодня на первом выступлении показать в Степином Кабаре?

Степа двинулся по коридору к спальне, но, поравнявшись с дверью, ведущей в гостиную, вздрогнул и остановился. В громадном зеркале гостиной, давно не вытираемом ленивой Груней, мутно отразился какой-то странный субъект — длинный, как жердь, и в жокейской шапчонке (ах, если бы здесь был сейчас Иван Николаевич! Он немедленно узнал бы вчерашнего, тщетно разыскиваемого подлеца регента! Но, увы... Иван Николаевич здесь быть не мог). Степа в тревоге заглянул в гостиную и убедился в том, что там никого нет. Хлопнула дверь, кажется, в кухне, и сейчас же в гостиной случилось второе явление: в том же зеркале мелькнул здоровеннейший черный кот; мелькнул и пропал.

У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся. «Что же это такое? — подумал он. — Уж не схожу ли я с ума?» Надеясь, что дверь хлопнула потому, что в кухню вернулась Груня, Степа закричал испуганно и раздраженно:

— Груня! Какой тут кот у нас шляется? Откуда он?

— Не беспокойтесь, Степан Богданович, — отозвался голос, но не Грунин, а гостя из спальни, — кот этот мой. Не нервничайте. Груни нет, я услал ее в Воронеж.

Слова эти были настолько дики и нелепы, что Степа решил, что он ослышался. В полном смятении он заглянул в спальню и застыл на пороге у дверей. Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота.

Гость был не один в спальне. В другом кресле сидел тот самый тип, что померещился в гостиной. Теперь он был ясно виден — усы-перышки, блестит стеклышко пенсне, а другого стеклышка нету. Но хуже всего было то, что на пуфе, у закуски помещался в развязной позе некто третий, а именно жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он поймал маринованный гриб, в другой.

Свет, и так слабый в спальне, начал меркнуть в глазах Степы. «Вот как сходят с ума!» — подумал он и ухватился за притолоку.

— Я вижу, вы немного удивлены, драгоценнейший? — осведомился Воланд у лязгающего зубами Степы. — А между прочим, удивляться нечему. Это моя свита.

Кот выпил водки, и Степина рука поползла по притолоке вниз.

— И свита эта требует места, — продолжал Воланд, — так что кто-то из нас здесь лишний в квартире. И мне кажется, что это именно вы!

— Они, они, — козлиным голосом запел длинный регент, во множественном числе говоря о Степе, — вообще они в последнее время жутко ведут себя в Москве. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, ибо ничего не смыслят в том, что им поручено, ежеминутно лгут начальству...

— Машину зря гоняет казенную! — наябедничал кот, прожевав гриб.

И тут случилось четвертое, и последнее, явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевшей рукой царапал притолоку.

Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. При этом — рыжий.

— Я, — вступил в разговор явившийся, — вообще не понимаю, как он попал в директора. Он такой же директор, как я архиерей.

— Ты не похож на архиерея, Азазелло, — заметил кот, накладывая себе сосиски на тарелку.

— Я это и говорю, — прогнусил рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно, — разрешите, мессир, его выкинуть куда-нибудь из Москвы?

— Брысь!! — вдруг рявкнул кот, вздыбив шерсть.

И тогда спальня завертелась вокруг Степы, так что все смешалось в угасающих глазах. Степа ударился о притолоку головой и потерял сознание. Последняя его мысль была: «Я умираю...»

Но он не умер. Открыв глаза, он увидел себя стоящим в тенистой аллее под липами, и первое, что ощутил — сладостное дуновение в лицо от реки. И эта река, зашитая в гранит, река бешеная, не текла, а прыгала через большие камни, разбрызгивая белую пену. На противоположном берегу виднелась пестро и голубовато разрисованная мечеть, а когда Степа поднял голову, увидел в блеске солнечного дня вдали за городом большую гору с плоской, косо срезанной вершиной.

Пошатываясь, Степа оглянулся. Приближался какой-то человек; подойдя, он с ироническим удивлением уставился на Степу. Это было естественно. Степа стоял перед ним без сапог, в одних носках. Степа покачивался, глядел сумасшедше.

— Умоляю, — выговорил Степа жалким голосом, — скажите, где я нахожусь?

Человек усмехнулся и ответил:

— Однако! — и хотел пройти.

Степа заплакал, стал на колени и моляще протянул к человеку руки.

— Я не пьян, — всхлипывая, сказал Степа, — я болен! Со мною что-то случилось странное. Скажите мне, где я? Какой это город?

Человек остановился, все еще недоверчиво косясь на Степу, поправил кепку и наконец ответил:

— Ну, Владикавказ...

Степа с колен качнулся, простонал и упал лицом в песок. Сознание покинуло его.

Глава VIII ПОЕДИНОК МЕЖДУ ПРОФЕССОРОМ И ПОЭТОМ

Как раз тогда, когда Степу покинуло сознание, оно вернулось к Ивану Николаевичу — он проснулся после глубокого и продолжительного сна. Некоторое время он соображал, как он попал в эту комнату с белыми стенами, с удивительным ночным столиком из какого-то светлого металла и с белой шторой, за которой чувствовалось солнце.

Иван тряхнул головою, убедился в том, что она не болит, и вспомнил, что находится в лечебнице. Эта мысль потянула за собою воспоминание о гибели Крицкого, но сегодня оно не вызвало в Иване Николаевиче сильного потрясения.

Выспавшись, Иван Николаевич стал спокойнее, а соображать начал яснее. Полежав некоторое время неподвижно, Иван Николае-

вич повернулся на бок и увидел кнопку звонка на стене. По привычке трогать предметы без надобности Иван нажал ее, и сейчас же в комнате появилась полная симпатичная женщина в белом и сказала Ивану: «Доброе утро!»

Иван не ответил, так как счел это приветствие в данных условиях неуместным. В самом деле: засадили здорового человека в лечебницу, да еще делают вид, что это так и нужно!

Женщина, оставаясь по-прежнему приветливой, при помощи одного нажима кнопки увела штору вверх, и в комнату через широкопетлистую и легкую решетку, доходящую до самого пола, хлынуло солнце. За решеткой открылся теперь балкон, берег извивающейся реки и на другом ее берегу — веселый сосновый бор.

— Пожалуйте ванну брать, — пригласила женщина, и под руками ее раздвинулась внутренняя стена, за которой обнаружилось ванное отделение и уборная, прекрасно оборудованные.

Иван, хоть и решил с женщиной не разговаривать, не удержался и, видя, как вода хлещет в ванну широкой струей из сияющего крана, сказал с иронией:

— Ишь ты! Как в «Метрополе»!

Полная женщина на это ответила с гордостью:

— О нет! Гораздо лучше. Такого оборудования нет нигде за границей. Ученые и врачи специально приезжают осматривать клинику. У нас каждый день интуристы бывают.

При слове «интурист» Ивану сейчас же вспомнился вчерашний консультант. Он затуманился, поглядел исподлобья и сказал:

— Интуристы... До чего вы все интуристов обожаете! А среди них, между прочим, разные попадаются. Я, например, вчера с таким познакомился, что любо-дорого...

И чуть было не начал рассказывать про Понтия Пилата, но сдержался, понимая, что женщине эти рассказы ни к чему, что все равно помочь ему она не может.

Вымытого Ивана Николаевича повели по пустому и беззвучному коридору и привели в громаднейших размеров кабинет. Иван, решившись относиться ко всему, что есть в этом на диво оборудованном здании, где его задержали против воли, с иронией, тут же мысленно окрестил кабинет «фабрикой-кухней».

И было за что. В кабинете стояли шкафы и стеклянные шкафики с блестящими инструментами. Были кресла необыкновенно сложного устройства, были какие-то лампы с сияющими на них колпачками, и склянки, и электрические провода, и совершенно неизвестные приборы.

В кабинете за Ивана принялись трое — две женщины и мужчина, все в белом. Первым долгом Ивана отвели в уголок, за столик, с явной целью кое-чего у него выспросить. Иван стал обдумывать положение. Перед ним было три пути: кинуться на все эти лампы и замысловатые вещицы и перебить их, и таким образом выразить свой протест за то, что задержан зря. Но сегодняшний Иван не был вчерашним Иваном; первый путь показался ему сомнительным: чего доброго, укрепятся в мысли, что он действительно сумасшедший. Первый путь

Иван отринул. Был второй: немедленно начать повествование о консультанте и Понтии Пилате. Вчерашний опыт, однако, показывал, что рассказу этому или не верят, или понимают его как-то извращенно. Поэтому Иван и от этого пути отказался, решив избрать третий: замкнуться в гордом молчании.

Полностью этого осуществить не удалось и, волей-неволей, пришлось отвечать, хоть и скупо и хмуро, на целый ряд вопросов.

У Ивана выспросили все решительно насчет его прошлой жизни, вплоть до того, когда и как он болел скарлатиной в 1916 году. Исписав за Иваном целую страницу, перевернули ее, и женщина в белом перешла к родственникам Ивана, и не только к отцу и матери, но даже к дядям и теткам. Началась канитель: кто умер, когда, да отчего, не пил ли и прочее и прочее. Потом поговорили о вчерашнем, но мало.

Женщина уступила Ивана мужчине, и тот взялся за него с другой стороны и ни о чем уже не спрашивая. Мужчина измерил температуру, посчитал пульс, смотрел Ивану в зрачки, светил ему в глаза какой-то лампой. На помощь мужчине пришла другая женщина, и Ивана не больно чем-то кололи в спину, рисовали у него ручкой молоточка какие-то знаки на груди, стучали молоточком по коленам, отчего ноги Ивана подпрыгивали. Кололи палец, кололи в локтевом сгибе, набирали в какой-то шприц кровь, надевали на руки какие-то резиновые браслеты...

Иван только горько усмехался про себя, размышляя о том, как глупо и неожиданно все получилось. Подумать только: хотел предупредить всех об опасности, грозящей от неизвестного консультанта, хотел его изловить и добился только того, что попал зачем-то в лечебницу, чтоб рассказывать всякую чушь про брата матери Федора, пившего в Вологде запоем. Нестерпимо глупо!

Наконец Ивана отпустили. Он был препровожден обратно в свою комнату, где получил чашку кофе, два яйца всмятку и белый хлеб с маслом.

Съев и выпив все предложенное, Иван решил дожидаться кого-то главного в этом месте и у этого главного добиваться внимания к себе и справедливости.

И его он дождался, и очень скоро после своего завтрака. Стена, отделявшая комнату Ивана от коридора, разошлась, и в комнате Ивана оказалось довольно много народу в белом. Впереди всех вошел тщательно обритый по-актерски человек лет сорока пяти, с приятными, но очень проницательными глазами и вежливыми манерами. Вся свита оказывала ему знаки внимания и уважения, и вход получился очень торжественным. «Как Понтий Пилат...» — подумалось Ивану.

Это был, несомненно, главный. Он сел на табурет, а все остались стоять.

— Доктор Стравинский, — представился усевшийся Ивану и поглядел на него дружелюбно.

— Вот, Александр Николаевич, — негромко сказал кто-то с опрятной бородкой и подал главному кругом исписанный лист.

«Целое дело сшили!» — подумал Иван.

Главный привычными глазами пробежал лист, пробормотал «угу, угу» и обменялся с окружающими несколькими фразами на малоизвестном языке.

«И по-латыни как Пилат говорит...» — подумал Иван. Тут одно слово заставило его вздрогнуть, и это было слово «шизофрения», увы, уже вчера произнесенное проклятым иностранцем на Патриарших.

«И ведь это знал...» — тревожно подумал Иван.

Главный, по-видимому, поставил себе за правило соглашаться и радоваться всему, что бы ни говорили ему окружающие, и выражать это словами: «Славно! Славно!»

— Славно! — сказал Стравинский, возвращая кому-то лист, и обратился к Ивану: — Вы — поэт?

— Поэт, — мрачно ответил Иван и вдруг впервые почувствовал легкое отвращение к поэзии, и вспомнившиеся ему тут же его собственные стихи показались неприятными. И в свою очередь он спросил у Стравинского: — Вы — профессор?

На это Стравинский утвердительно-вежливо наклонил голову.

— И вы здесь главный? — продолжал Иван.

Стравинский и на это поклонился.

— Мне с вами нужно говорить, — многозначительно сказал Иван Николаевич.

— Я для этого и пришел, — отозвался Стравинский.

— Дело вот в чем, — начал Иван, чувствуя, что час его настал, — меня никто не желает слушать, в сумасшедшие вырядили...

— О нет, мы выслушаем вас очень внимательно, — серьезно и успокоительно сказал Стравинский, — и в сумасшедшие вас рядить ни в коем случае не будут.

— Так слушайте же: вчера вечером я на Патриарших прудах встретился с таинственною личностью... иностранец не иностранец, который заранее знал о смерти Бори Крицкого и лично видел Понтия Пилата.

Свита безмолвно и не шевелясь слушала поэта.

— Пилата? Пилат — это который жил при Христе? — щурясь на Ивана, спросил Стравинский.

— Тот самый, — подтвердил поэт.

— А кто этот Боря Крицкий?

— Крицкий — известнейший редактор и секретарь «Массолита», — пояснил Иван.

— Ага, — сказал Стравинский, — итак, вы говорите, он умер, этот Боря?

— Вот же именно его вчера при мне и зарезало трамваем на Патриарших прудах, причем этот самый загадочный гражданин...

— Знакомый Понтия Пилата? — спросил Стравинский, очевидно, отличавшийся большой понятливостью.

— Именно он, — подтвердил Иван, поглядывая на Стравинского, — так вот он сказал заранее, что Аннушка разлила постное масло... а он и поскользнулся как раз на этом месте. Как вам это понравится? — многозначительно осведомился Иван, ожидая большого эффекта от своих слов.

Но этого эффекта не последовало, и Стравинский задал следующий вопрос:

— А кто же эта Аннушка?

Этот вопрос расстроил Ивана, лицо его передернуло.

— Аннушка здесь совершенно не важна, — проговорил он, нервничая, — черт ее знает, кто она такая. Просто дура какая-то с Садовой. А важно то, что тот заранее, понимаете — заранее знал о постном масле! Вы меня понимаете?

— Отлично понимаю, — серьезно сказал Стравинский, касаясь колена поэта, — не волнуйтесь и продолжайте.

— Продолжаю, — сказал Иван, стараясь попасть в тон Стравинскому и зная уже по горькому опыту, что лишь спокойствие поможет ему, — этот страшный гип, он врет, что он консультант. Убийца он и таинственный субъект, а может, и черт знает кто еще, обладает какой-то необыкновенной силой... Например, за ним гонишься, а догнать его нет возможности. А с ним еще парочка: какой-то длинный и невероятных размеров кот, который умеет самостоятельно ездить в трамвае. Кроме того, — Иван, никем не перебиваемый, говорил все с большим жаром и убедительностью, — он лично был на балконе у Понтия Пилата, в этом нет никакого сомнения. Ведь это что же такое? А? Его надо немедленно арестовать, иначе он натворит непоправимых бед.

— И вы хотите добиться, чтобы его арестовали? Правильно я вас понял? — спросил Стравинский.

«Он умен, — подумал Иван, — среди интеллигентов тоже попадаются на редкость умные. Этого отрицать нельзя», — и воскликнул:

— Совершенно правильно! Как же не добиваться, вы подумайте сами! А между тем меня силой задержали здесь, тычут в глаза лампой, в ванне купают! Я требую, чтобы меня немедленно выпустили!

— Ну что же, славно, славно! — отозвался Стравинский. — Вот все и выяснилось. Действительно, какой же смысл задерживать в лечебнице человека здорового? Хорошо-с. Я вас немедленно выпишу отсюда, если вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, а только скажете. Итак, вы нормальны?

Тут наступила полнейшая тишина, и толстая женщина, утром ухаживавшая за Иваном, благоговейно поглядела на профессора, а Иван еще раз подумал: «Положительно умен!»

Предложение профессора ему понравилось, однако прежде чем ответить, он подумал, морща лоб, и наконец сказал твердо:

— Я —нормален.

— Ну вот и славно! — облегченно воскликнул профессор. — И если так, то давайте рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день... — Тут он обернулся, и ему немедленно подали Иванов лист. — В поисках неизвестного человека, который отрекомендовался вам как знакомый Понтия Пилата, вы вчера произвели следующие действия, — тут Стравинский стал загибать длинные пальцы, поглядывая то в лист, то на Ивана, — прикололи на грудь иконку... Было?

— Было, — хмуро согласился Иван.

— Упали с забора, лицо повредили. Явились в ресторан с зажженной свечой в руке, в одном белье и в ресторане ударили кого-то. Привезли вас связанным. Попав сюда, вы звонили в милицию и просили прислать пулеметы. Затем сделали попытку выброситься из окна. Спрашивается: возможно ли, действуя таким образом, кого-либо поймать или арестовать? Если вы человек нормальный, то вы сами ответите: никоим образом. Вы желаете уйти отсюда? Извольте. Но позвольте вас спросить: куда вы направитесь отсюда?

— Конечно, в милицию, — ответил Иван еще твердо, но уже немного теряясь под взглядом профессора.

— Непосредственно отсюда?

— Непосредственно.

— А на квартиру к себе не заедете?

— Некогда тут заезжать! Пока я по квартирам буду разъезжать, он улизнет.

— Так. Что же вы скажете в милиции в первую очередь?

— Про Понтия Пилата, — ответил Иван Николаевич, и глаза его подернулись сумрачной дымкой.

— Ну вот и славно! — воскликнул покоренный Стравинский и, обратившись к тому, что был с бородкой, приказал: — Николай Иванович, выпишите, пожалуйста, гражданина Бездомного в город. Но эту комнату не занимайте, постельное белье можно не менять. Через два часа гражданин Бездомный опять будет здесь. Ну что же, — обратился он к поэту, — успеха я вам желать не буду, потому что в успех ни капли не верю. До скорого свидания! — И он повернулся, чтобы уходить, и свита его шевельнулась.

— На каком основании я опять буду здесь? — тревожно спросил Иван.

Стравинский как будто ждал этого вопроса, немедленно уселся опять.

— На том основании, — заговорил он, — что как только вы явитесь в кальсонах в милицию и скажете, что виделись с человеком, лично знающим Понтия Пилата, как моментально вас привезут сюда, и вы снова окажетесь в этой же самой комнате.

— При чем здесь кальсоны? — спросил, растерянно оглядываясь, Иван Николаевич.

— Главным образом Понтий Пилат. Но и кальсоны также. Ведь казенное белье мы с вас снимем и выдадим вам ваше одеянье. А доставлены к нам вы были в кальсонах. А между тем на квартиру к себе вы заехать отнюдь не собирались, хотя я и намекнул вам на это. Далее последует Пилат... и дело готово!

Тут что-то странное случилось с Иваном Николаевичем. Его воля вдруг как бы раскололась, он почувствовал, что слаб и нуждается в совете.

— Так что же делать? — спросил он, и на этот раз робко.

— Ну вот и славно! — отозвался Стравинский. — Это резоннейший вопрос. Теперь я скажу вам, что, собственно, с вами произошло. Поймите, что вас вчера кто-то сильно напугал и расстроил. Как можно вам, изнервничавшемуся, издерганному человеку, бегать по горо-

ду, да еще рассказывая про Понтия Пилата? Совершенно естественно, что вас принимают за сумасшедшего. Ваше спасенье сейчас только в одном — в покое. Вам непременно нужно остаться здесь и очень отдохнуть...

— Но его необходимо поймать! — уже моляще воскликнул Иван.

— Хорошо-с. Ну, а самому-то зачем же бегать? Изложите на бумаге все ваши подозрения и обвинения против этого человека. Ничего нет проще, как переслать ваше заявление куда следует, и если мы действительно имеем дело с преступлением, как вы думаете, все это выяснится очень скоро. Но только одно условие: не напрягайте головы и старайтесь не думать о Понтии Пилате. Мало ли что можно рассказать о Пилате! Не всему же надо верить.

— Понял, — решительно заявил Иван, — прошу выдать мне бумагу и перо.

— Выдайте бумагу и карандаш, — приказал Стравинский толстой женщине, а Ивану сказал так: — Но сегодня советую не писать...

— Нет, нет, сегодня же, непременно сегодня, — встревоженно вскричал Иван.

— Ну хорошо. Только не напрягайте мозг. Не выйдет сегодня, завтра выйдет.

— Он уйдет! — жалобно воскликнул Иван.

— О нет, — уверенно возразил Стравинский, — он никуда не уйдет, ручаюсь вам. И помните, что здесь вам помогут всемерно, а без этого у вас ничего не выйдет. Вы меня слышите? — вдруг многозначительно сказал Стравинский и завладел обеими руками Ивана Николаевича. Взяв их в свои, он, долго в упор глядя в глаза Ивану, повторял: — Вам здесь помогут... вы слышите меня... вам здесь помогут... вы получите облегчение... да вы уже и чувствуете его!

Иван Николаевич неожиданно зевнул, выражение лица его смягчилось.

— Да, — тихо сказал он.

— Ну вот и славно! — по своему обыкновению заключил беседу Стравинский и поднялся. — До свиданья! — Он пожал руку Ивана и, повернувшись к тому, что был с бородкой, сказал, уже выходя: — Да, а инсулин можно попробовать дня через три.

Через несколько мгновений перед Иваном не было ни Стравинского, ни свиты. За сеткой в окне в полуденном солнце красовался на том берегу бор, а поближе сверкала река.

Глава IX КОРОВЬЕВСКИЕ ШТУКИ

Никанор Иванович Босой, председатель жилищного товарищества в том самом доме, где проживал покойный Крицкий, находился в страшнейших хлопотах начиная с предыдущей полуночи.

В полночь эту приехала комиссия, вызвала Никанора Ивановича, сообщила ему о гибели Крицкого и вместе с ним отправилась в квартиру № 50 для осмотра и опечатания рукописей покойного.

Это и было произведено в отсутствие Груни, которая приходила в квартиру только днем, и легкомысленного Степы Лиходеева, находившегося, как мы уже знаем, на даче у Хустова.

Комиссия объявила Никанору Ивановичу, что жилплощадь покойного, то есть бывшие ювелиршины гостиная и кабинет, переходят в распоряжение жилтоварищества, а вещи его подлежат хранению на указанной жилплощади.

Никанор Иванович тут же ночью запечатал два шкафа, в одном из коих находились книги покойника, а в другом — его белье и два костюма.

Весть о гибели Крицкого распространилась по всему дому со сверхъестественной быстротою, и с семи часов утра к Босому начали звонить по телефону, а затем и приходить с заявлениями лица, просящие им передать жилплощадь покойника.

В течение двух часов Никанор Иванович принял тридцать два таких заявления.

В них заключались и мольбы, и угрозы, и кляузы, и доносы, и обещания произвести ремонт на свой счет, и указания на несносную тесноту, и указания на невозможность жить с бандитами в одной квартире. В числе прочего было потрясающее по художественной силе описание безобразий, творящихся в квартире № 31, два обещания покончить жизнь самоубийством и одно признание в тайной беременности.

Никанора Ивановича вызывали в переднюю, хватали за рукава и шептали что-то, и подмигивали, и обещали не остаться в долгу.

Мука эта продолжалась до начала первого часа дня, когда Никанор Иванович просто сбежал из своей квартиры в помещение правления у ворот, но когда увидел, что и там его уже подкарауливали, ушел и оттуда. Кое-как отбившись от тех, что шли за ним по пятам через асфальтовый двор, Никанор Иванович скрылся в шестом подъезде и поднялся в четвертый этаж, где и находилась эта проклятая квартира № 50.

Отдышавшись на площадке, тучный Никанор Иванович позвонил, но ему никто не открыл. Он позвонил еще раз и еще раз, начал ворчать и ругаться. Не открыли. Тогда терпение Никанора Ивановича лопнуло, и он, достав из кармана связку дубликатов ключей, принадлежавших правлению, властной рукою открыл дверь и вошел.

— Домработница! — прокричал Никанор Иванович. — Как тебя? Груня, что ли? Тебя нету?

Никто не отозвался.

Тогда Никанор Иванович вынул складной метр и шагнул из полутемной передней в кабинет Крицкого.

Шагнуть-то он шагнул, но остановился в изумлении и даже вздрогнул.

За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджаке, в жокейской шапочке и в пенсне с треснувшим стеклом.

— Вы кто такой будете, гражданин? — испуганно спросил Никанор Иванович.

— Ба! Никанор Иванович, — заорал дребезжащим тенором неожиданный гражданин и, вскочив, приветствовал председателя насильственным и внезапным рукопожатием.

Приветствие это ничуть не обрадовало Никанора Ивановича.

— Я извиняюсь, — заговорил он подозрительно, — вы кто такой будете? Вы — лицо официальное?

— Эх, Никанор Иванович! — задушевно воскликнул неизвестный, в котором Иван Николаевич немедленно, конечно, узнал бы поганого регента. — Что такое «официальное» лицо или «неофициальное»! Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на это, все это условно и зыбко. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает, Никанор Иванович, и наоборот!

Объяснение это ни в какой степени не удовлетворило председателя. Будучи по природе подозрительным, он заключил, что разглагольствующий перед ним гражданин лицо неофициальное и, пожалуй, праздное.

— Да кто вы такой будете? Как ваша фамилия? — все суровее спрашивал председатель и даже стал наступать на неизвестного.

— Фамилия моя, — ничуть не смущаясь суровостью председателя, отозвался гражданин, — ну, скажем, Коровьев. Да не хотите ли закусить? Без церемоний? А?

— Я извиняюсь, — уже негодуя, заговорил Никанор Иванович. — Какие тут закуски! (Нужно признаться, хоть это и неприятно, что Никанор Иванович был по натуре грубоват.) — На половине покойника сидеть не разрешается! Вы что здесь делаете?

— Да вы присаживайтесь, Никанор Иванович! — опять-таки не смущаясь орал гражданин и заюлил, предлагая председателю кресло.

Совершенно освирепев, Никанор Иванович кресло отверг и завопил:

— Да кто вы такой?

— Я, изволите ли видеть, состою переводчиком при особе иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире, — отрекомендовался назвавший себя Коровьевым и шаркнул рыжим нечищеным ботинком.

Никанор Иванович открыл рот. Наличность какого-то иностранца, да еще с переводчиком, в этой квартире являлась для него совершеннейшим сюрпризом, и он потребовал объяснений.

Переводчик охотно объяснился. Господин Воланд, артист, был любезно приглашен директором Кабаре Степаном Богдановичем Лиходеевым провести время своих гастролей, примерно недельку, у него в квартире, о чем он еще вчера написал Никанору Ивановичу, с просьбой прописать иностранца временно, пока он сам не съездит во Владикавказ.

— Ничего он мне не писал, — сказал в изумлении председатель.

— А вы поройтесь у себя в портфеле, Никанор Иванович, — сладко предложил Коровьев.

Никанор Иванович, пожимая плечами, открыл портфель и, к величайшему своему удивлению, обнаружил в нем письмо Лиходеева.

— Как же это я про него забыл? — тупо глядя на вскрытый конверт, пробормотал Никанор Иванович.

— То ли бывает, Никанор Иванович! То ли бывает, — затрещал Коровьев, — рассеянность, рассеянность, дорогой наш друг Никанор Иванович! Я сам рассеян до ужаса. Как-нибудь за рюмкой я вам расскажу несколько фактов из моей жизни, вы обхохочетесь!

— Когда же он едет во Владикавказ? — озабоченно спросил председатель.

— Да он уже уехал, уехал! — закричал переводчик. — Он, знаете ли, уж катит черт знает где! — И тут переводчик замахал руками, как мельничными крыльями.

Никанор Иванович заявил, что ему необходимо лично повидать иностранца, но получил отказ: никак невозможно. Занят. Дрессирует кота.

— Кота, ежели угодно, могу показать, — любезно предложил Коровьев.

От этого, в свою очередь, отказался Никанор Иванович, а переводчик тут же сделал председателю неожиданное, но весьма интересное предложение.

Ввиду того, что господин Воланд нипочем не желает жить в гостинице, а жить привык просторно, то вот, не сдаст ли жилтоварищество на недельку, пока будут продолжаться гастроли Воланда в Москве, всю квартиру, то есть и комнаты покойника?

— Ведь ему безразлично, покойнику-то, — сипел шепотом Коровьев, — ему теперь, сами согласитесь, квартирка ни к чему...

Никанор Иванович в некотором недоумении возразил, что, мол, иностранцам полагается жить в «Метрополе», а вовсе не на частных квартирах...

— Говорю вам, капризен, как черт знает что! — зашипел Коровьев. — Ну не желает. Не любит гостиниц. Вот они у меня где сидят, эти интуристы, — интимно пожаловался он, тыча пальцем себе в жилистую шею, — всю душу вымотали! Приедет... и начинает: и то ему не так, и это не так! А вашему товариществу, Никанор Иванович, полнейшая и очевидная выгода. А за деньгами он не постоит. Миллионер!

В предложении переводчика заключался практически ясный смысл, это было солидное предложение, и тем не менее что-то удивительно несолидное было и в манере переводчика говорить, и в этом клетчатом пиджачке, и в пенсне, никуда не годном.

Что-то неясное немножко томило душу председателя, и все-таки он решил предложение принять. В жилтовариществе был, увы, порядочный дефицит. Нужно было к осени закупать нефть для парового отопления, а денег-то не было. А на интуристовы деньги можно было извернуться.

Деловой и осторожный Никанор Иванович заявил, что ему придется увязать этот вопрос с конторою «Интуриста».

— Я понимаю! — вскричал Коровьев. — Обязательно! Как же без увязки? Вот вам телефон, Никанор Иванович, и немедленно увязы-

вайте. А насчет денег не стесняйтесь, — шепотом добавил он, увлекая председателя к телефону, — с кого же и взять, как не с него? У него такая вилла в Ницце! Будущим летом, если будете за границей, нарочно заезжайте посмотреть — ахнете!

Дело с конторою «Интуриста» уладилось с необыкновенной, поразившей председателя, быстротой. Оказалось, что там уже знают о намерении господина Воланда жить в частной квартире Лиходеева и против этого ничуть не возражают.

— Ну и чудно! — орал Коровьев.

Несколько ошеломленный его трескотней и выкриками председатель заявил, что жилтоварищество согласно сдать квартиру № 50 на неделю артисту Воланду с платой по... — Никанор Иванович немного подумал и конфузливо как-то сказал:

— По пятьсот рублей в день.

Тут Коровьев окончательно поразил председателя. Воровски подмигнув в сторону спальни, откуда слышались мягкие прыжки тяжелого, как видно, кота, он просипел:

— За неделю две с половиной тысячи?..

Никанор Иванович подумал, что он добавит: «Ну и гусь вы, Никанор Иванович!», но Коровьев сказал:

— Разве это сумма? Просите четыре, он даст.

Растерянно ухмыльнувшись, Никанор Иванович и сам не заметил, как оказался у письменного стола покойника, где Коровьев с величайшей быстротой и ловкостью начертал контракт в двух экземплярах. После этого он с контрактом слетал в спальню, вернулся, причем на обоих экземплярах уже была размашистая подпись иностранца. Подписал бумаги и председатель. Затем Коровьев попросил расписочку на четыре...

— Прописью, прописью, Никанор Иванович!., тысячи рублей... — и со словами, как-то не идущими к серьезному делу: — Эйн, цвей, дрей!.. — выложил председателю четыре перевязанные пачки, каждая в десять новеньких сточервонных бумажек.

Произошло пересчитывание, пересыпаемое шуточками и прибауточками Коровьева, вроде «денежка счет любит» и «свой глазок — смотрок».

Пересчитав деньги, председатель попросил паспорт иностранца для временной прописки, и опять слетал Коровьев в спальню, после чего председатель бережно уложил и паспорт, и деньги, и один экземпляр договора в портфель.

— Ну вот и все в порядочке! — радостно провизжал Коровьев.

Председатель не удержался и попросил билетик на гастроль иностранца.

— Об чем разговор! — воскликнул Коровьев. — Сколько вам билетов, Никанор Иванович? Десять? Двенадцать?

Ошеломленный председатель пояснил, что нужна ему только парочка — ему и Пелагее Антоновне, его супруге.

Коровьев тут же вынул блокнот, вырвал листок и лихо выписал Никанору Ивановичу контрамарку на два лица в первом ряду. Эту контрамарку левой рукой переводчик всучил Никанору Ивановичу,

а правой ловко вложил в другую руку председателя приятно хрустящую пачку. Метнув на нее взгляд, Никанор Иванович густо покраснел и стал отпихивать от себя эту пачку.

— Я извиняюсь, — бормотал он, — этого не полагается...

— И слушать не стану, — зашептал в самое ухо его Коровьев, — у нас не полагается, а у иностранцев полагается. Вы трудились, милейший Никанор Иванович. Обидите, нельзя!

— Строго преследуется, — тихо-претихо прошептал председатель и почему-то оглянулся.

— А где свидетели? — шепнул в другое ухо Коровьев. — Я вас спрашиваю, где они? Что вы?

И тут случилось, как утверждал впоследствии бедный председатель (в чем ему никто не верил), чудо. Пачка сама вползла к нему в карман толстовки. А затем председатель, какой-то расслабленный и даже разбитый, оказался на лестнице. Мысли вихрем крутились у него в голове. Тут была и эта вилла в Ницце, и дрессированный кот, и мысль о том, что свидетелей действительно не было, и что Пелагея Антоновна обрадуется контрамарке. В общем, это были бессвязные, но приятные мысли. И только где-то какая-то иголочка покалывала в душе председателя, а почему, он никак не мог понять, спускаясь с лестницы.

Лишь только председатель покинул квартиру, из спальни донесся густой голос:

— Мне этот Никанор Иванович не понравился. Он выжига и плут. Нельзя ли сделать так, чтобы он больше не приходил?

— Мессир, вам стоит это приказать! — отозвался Коровьев, но не дребезжащим, а очень чистым и звучным голосом.

Переводчик отправился в переднюю, навертел номер и начал говорить почему-то плаксиво:

— Але? Считаю долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества дома № 302-бис по Садовой, Никанор Иванович Босой, спекулирует валютой. В данный момент у него в вентиляции, в уборной, в его квартире № 35 в газетной бумаге четыреста долларов. Сам видел. Говорит жилец означенного дома в квартире № 11, Тимофей Кондратьевич Перелыгин. Но заклинаю держать в тайне мое имя. Опасаюсь мести вышеизложенного председателя.

И повесил трубку, подлец.

— Этот вульгарный человек больше не придет, мессир, клянусь в том вашими золотыми шпорами, — доложил Коровьев, или регент, или черт знает кто такой, подойдя к дверям спальни.

— Дорогой Фагот, — ответили из спальни, — но при чем здесь Перелыгин? Не причинил бы ты ему хлопот.

— Не извольте беспокоиться, мессир, — ответил Фагот этот, или Коровьев, — эти хлопоты будут ему чрезвычайно полезны. Тоже негодяй. У него есть манера подсматривать в замочную скважину.

— А, — ответили из спальни, а Фагот-Коровьев пришел в гостиную, где уже сидел тот рыжий, глаз с бельмом, изо рта клык.

— Ну что же, будем завтракать, Азазелло? — обратился к нему Коровьев.

— Сейчас! — гнусаво ответил Азазелло и, в свою очередь, крикнул:

— Бегемот!

На этот зов из спальни вышел тот самый черный кот-толстяк, и через несколько минут вся свита Воланда сидела у камина в гостиной, затененной изнутри шторами, где потрескивал веселый огонь, пила красное вино.

А Никанор Иванович, удачно избежав преследований жильцов, проскользнул через двор и скрылся в своей квартире.

Квартира эта была маленькая, состояла всего из двух комнат и кухоньки, да еще была и сыровата, но у нее было одно ни с чем не сравнимое качество — она была отдельной квартиркой.

Пройдя в ту комнату, которая служила спальней и столовой бездетным супругам Босым, Никанор Иванович запер портфель в комод и шмыгнул в уборную. Заперев дверь на крючок, он вытащил из кармана пачку, навязанную переводчиком, и убедился, что в ней четыреста рублей. Посидев в уборной некоторое время, Никанор Иванович решил, чтобы избежать вопросов супруги «откуда?», временно спрятать пачечку в вентиляционный ход. Он завернул червонцы в обрывок газеты, стал на сиденье и засунул деньги в вентиляционную дыру.

Минут через пятнадцать Никанор Иванович сидел в большой комнате за столом, на котором стояла поллитровка, лафитничек и тарелки. Из кухоньки доносилось громыханье кастрюлей, оттуда очаровательно пахло борщом. Никанор Иванович, помимо председательствования, нес еще обязанности заведующего столовой, помещавшейся в том же доме, но сам в ней никогда не обедал, объясняя это тем, что профессора прописали ему особый диетический стол.

Супруга Никанора Ивановича вынесла из кухни аккуратно нарезанную селедочку, густо посыпанную зеленым луком. Никанор Иванович налил лафитничек, поддел на вилку пять кусков селедки, выпил, налил второй раз, воткнул вилку в селедку... и в то же время позвонили, а Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую можно было догадаться, что в ней: в гуще огненного борща, покрытого золотыми дисками жира, таится то, чего нет вкуснее на свете — мозговая кость!

Проглотив слюну, Никанор Иванович заворчал, как пес:

— А чтоб вам провалиться! Поесть не дадут! — и приказал супруге: — Не пускай, нету меня, нету. А насчет квартиры скажи, чтоб перестали трепаться. Через неделю будет заседание.

Супруга вышла, а Никанор Иванович погрузил разливательную ложку вглубь и поволок из раскаленного озера ее — треснувшую вдоль кость.

Послышались звуки снимаемой цепочки, послышались шаги, послышалось ворчание Никанора Ивановича, взбешенного тем, что Пелагея Антоновна все-таки впустила кого-то, и в комнату вошли двое граждан, а за ними — побелевшая Пелагея Антоновна. Неизвестно почему, побелел и поднялся и Никанор Иванович.

— Где сортир? — спросил озабоченно первый, тот, что был в белой косоворотке.

На обеденном столе что-то стукнуло (Никанор Иванович уронил ложку).

— Здесь, здесь, — скороговоркой ответила Пелагея Антоновна.

Пришедшие устремились в коридорчик.

А в чем дело? — тихо спросил Никанор Иванович. — У нас ничего такого в квартире не может быть... А у вас документик, я извиняюсь...

Второй пришедший утвердительно кивнул и вынул документик.

Первый в это время уже стоял на табуретке, засунув руку в дымоход. В глазах у Никанора Ивановича потемнело.

Развернули сверток, и в нем вместо червонцев оказались совсем другие деньги. Они были какие-то зеленоватые или синие, Никанор Иванович видел мутно — шея его налилась темной кровью, перед глазами что-то плавало пятнами.

— Доллары в вентиляции, — задумчиво сказал первый и обратился к Никанору Ивановичу: — Ваш пакетик?

— Нет, — ответил Никанор Иванович страшным голосом.

— А чей же?

— Не могу знать, — ответил бедный председатель и вдруг возопил: — Подбросили враги!

— Это бывает, — согласился тот, что был задумчив, и мягко добавил: — Ну что же, надо остальные показать.

— Нету у меня! Нету! Богом клянусь, нету! — отчаянно вскричал председатель.

Он кинулся к комоду, с грохотом вытащил ящик, ухватился за портфель, бессвязно вскрикивая:

— Вот контракт... переводчик-гад подбросил... Коровьев... в пенсне!

Он открыл портфель, глянул в него, посинел и уронил его в борщ. В портфеле ничего не было: ни Степиного письма, ни контракта с иностранцем, ни паспорта, ни денег, ни контрамарки. Ничего не было.

— Товарищи! — отчаянно закричал председатель. — Держите их! У нас в доме нечистая сила!

И тут уж неизвестно что померещилось Пелагее Антоновне, но только она, всплеснув руками, вскрикнула дрожащим голосом:

— Иванович! Что ты? Покайся лучше! Тебе скидка выйдет!

С налитыми кровью глазами, Никанор Иванович занес кулаки над головой и прохрипел: «Дура проклятая...» — кинулся к жене.

Но его удержали.

Тогда он ослабел, опустился на стул и решил покориться неизбежному.

Перелыгин Тимофей Кондратьевич в это время припадал к замочной скважине в дверях квартиры председателя то ухом, то глазом, замирая от любопытства.

Через полчаса примерно жильцы дома, находившиеся во дворе, видели, как председатель в сопровождении еще двух лиц проследовал через двор прямо к автомобилю, в коем и уехал.

Рассказывали, что на Никаноре Ивановиче лица не было, что он пошатывался, проходя, как пьяный, что-то бормотал.

А еще через час неизвестный гражданин явился в квартиру № 11, как раз тогда, когда гражданин Перелыгин рассказывал в кухне соседям по комнате, как замели председателя, пальцем выманил из кухни Тимофея Кондратьевича и увез и его, тоже в машине. Куда — неизвестно.

Глава X ИСТОРИЯ ВАРЕНУХИ

В то время, когда случилось несчастье с председателем, в двух шагах от дома, где находилась проклятая квартира № 50, в кабинете финансового директора Кабаре Григория Даниловича Римского сидело двое: сам Римский и администратор Кабаре Иван Савельевич Варенуха.

Большой кабинет во втором этаже театра двумя окнами выходил на площадь, а одним, помещавшимся как раз за спиною финдиректора, сидевшего за письменным столом, в летний сад, где публика развлекалась в антрактах, стреляя в тире, или прохлаждала себя напитками в будочках.

Убранство кабинета заключалось, помимо письменного стола, в пачке старых афиш, висевших на крюке, маленьком столике с графином воды, двух креслах и четырех стульях. Впрочем, в углу еще была подставка, на которой стоял пыльный макет какого-то обозрения.

Сидящий за столом Римский был в отвратительном расположении духа с самого утра, а Варенуха, в противоположность ему, оживлен и необыкновенно деятелен, даже как-то беспокойно деятелен.

А между тем выхода его энергии не было. Варенуха пребывал в кабинете финдиректора, а не в своем, по двум причинам. Во-первых, с минуты на минуту ждали Степу, чтобы составить с ним совещание и разрешить на нем накопившиеся неотложные вопросы, а во-вторых, Варенуха прятался от контрамарочников, которые ему отравляли жизнь, в особенности в дни перемены программы. А сегодня как раз и был такой день.

От нечего делать Варенуха пил воду из графина, дважды перечитал некролог Берлиоза. Когда звонил аппарат на столе, Варенуха брал трубку и лгал в нее:

— Кого? Варенуху? Его нету. Вышел из театра.

— Позвони ты, пожалуйста, ему еще раз, — раздраженно сказал Римский и злобно поглядел на администратора сквозь роговые очки.

— Нету его дома! — ответил Варенуха. — Я Карпова посылал. Никого нету в квартире.

— Что же это такое... — ворчал Римский, щелкая на счетной машинке.

Дверь открылась, и капельдинер, пыхтя, втащил толстую пачку дополнительных афиш. Крупными красными буквами на зеленых листах было напечатано:

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО
В ТЕАТРЕ «КАБАРЕ»
СВЕРХ ПРОГРАММЫ:
ДОКТОР МАГИИ ВОЛАНД
СЕАНСЫ ЧЕРНОЙ МАГИИ
С ПОЛНЫМ ЕЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕМ

Варенуха проверил афишу, тотчас распорядился о направлении афиши в расклейку. Капельдинер унес пачку, а Варенуха, отделив несколько экземпляров, один из них пристроил на крюк и издали еще раз полюбовался буквами.

— Хорошо. Броско, — одобрительно заметил Варенуха.

— А мне до крайности не нравится эта затея, — косясь на афишу, отозвался Римский, — вообще я удивляюсь, как это разрешили поставить...

— Нет, Григорий Данилович, не скажи, — возразил Варенуха, — это очень тонкий шаг. Тут вся соль в разоблачении!

— Не знаю, не знаю, — ворчал расстроенный Римский, — никакой тут соли нет. И всегда он придумает что-нибудь такое... Хоть бы показал этого мага. Ты его видел? Откуда он его выкопал?

Выяснилось, что Варенуха, так же как и Римский, не видел мага. Степа вчера прибежал с написанным черновиком договора, тут же велел его переписать и выдать деньги.

Римский вынул часы. Увидел, что они показывают пять минут третьего, и совершенно остервенился. В самом деле! В одиннадцать звонил, сказал, что придет через полчаса, и не только не пришел, но совсем исчез!

— У меня все дело стало! — рычал уже Римский.

— Уж не попал ли он, как Берлиоз, под трамвай? — сказал Варенуха, держа у уха безнадежно гудящую трубку и поглядывая на прочитанную газету.

— А хорошо бы было... — чуть слышно сквозь зубы сказал Римский.

В этот самый момент дверь открылась, вошла женщина в форменной куртке, в фуражке, в черной юбке и тапочках. Из маленькой сумки на поясе женщина вынула беленький квадратик и тетрадь и сказала:

— Где тут Кабаре? Сверхмолния вам. Распишитесь.

Варенуха черкнул какую-то закорючку в тетради у женщины и, лишь только дверь за той захлопнулась, вскрыл квадратик.

Прочитав написанное, он воскликнул: «Что за черт?!» — и передал телеграмму Римскому.

В телеграмме было напечатано следующее:

«Владикавказа. Москву. Кабаре. Сегодня двенадцать дня угрозыск явился блондин ночной сорочке брюках без сапог психически расст-

роенный назвался Лиходеев директор Кабаре Молнируйте Владикавказ розыск где Лиходеев».

— Здравствуйте, я ваша тетя! — воскликнул Римский и добавил: — Еще сюрприз!

— Лжедимитрий, — сказал Варенуха и, взяв трубку телефона, сказал в нее так: — Телеграф? Сверхмолния. Владикавказ. Угрозыск. Лиходеев Москве. Финдиректор Римский.

Независимо от сообщения о владикавказском самозванце Варенуха принялся по телефону разыскивать Степу где попало и, конечно, нигде его не нашел.

Как раз тогда, когда Варенуха, держась за трубку, думал, куда бы еще позвонить, вошла та самая женщина, что принесла первую молнию, и вручила Варенухе новый квадратик.

Варенуха торопливо вскрыл его, прочитал и свистнул.

— Что еще? — спросил, нервно дернувшись, Римский.

Варенуха молча подал ему телеграмму, и Римский прочитал в ней: «Умоляю верить брошен Владикавказ силой гипноза Воланда Молнируйте подтверждение моей личности Лиходеев».

Римский и Варенуха, касаясь друг друга головами, молча перечитывали телеграмму, а перечитав, молча же уставились друг на друга.

— Граждане! — вдруг рассердилась женщина. — Расписывайтесь, а потом будете молчать. Я ведь молнии разношу.

Варенуха, не спуская глаз с телеграммы, расчеркнулся в тетради. Женщина исчезла.

— Ты же с ним в начале двенадцатого разговаривал по телефону! — возбужденно заговорил администратор.

— Да смешно говорить! Разговаривал или не разговаривал. Не может он быть во Владикавказе! Это смешно!

— Он пьян! — сказал Варенуха.

— Кто пьян? — спросил Римский, и опять оба уставились друг на друга.

Что телеграфировал из Владикавказа какой-то самозванец или сумасшедший, в этом сомнений не было; но вот что было странно: откуда владикавказский мистификатор знает Воланда, только вчера приехавшего? И откуда он знает о связи между Лиходеевым и Воландом?

— «Силой гипноза...» — повторял Варенуха слова телеграммы. — Откуда ему известно о Воланде? Да нет, чепуха, чепуха!

— Где он остановился, этот Воланд, черт его возьми? — спросил Римский.

Варенуха немедленно соединился с портье «Метрополя» и узнал, что в «Метрополе» никакого Воланда нету. Тогда Варенуха дозвонился в контору «Интуриста» и с удивлением узнал, что артист Воланд остановился в квартире директора Кабаре Лиходеева.

Долго после этого Варенуха слушал, как трубка дает ему густые гудки. Среди этих гудков откуда-то издалека послышался тяжкий мрачный голос, пропевший: «...скалы, мой приют...» Откуда-то, как решил администратор, прорвался в сеть радиоголос.

— Не отвечает квартира, — сказал Варенуха, кладя трубку, — попробовать позвонить еще в...

Он не договорил. В дверях появилась та же самая женщина, и Римский и Варенуха поднялись ей навстречу. Она вынула из сумки уже не белый, а какой-то темный листок.

— Это становится интересным... — процедил сквозь зубы Варенуха, провожая взглядом в спину поспешно уходившую женщину. Вскрыл пакетик Римский.

На темном фоне отчетливо выделялись сфотографированные строчки:

«Доказательство мой почерк молнируйте подтверждение установите секретное наблюдение Воландом Лиходеев».

За девятнадцать лет своей административной деятельности Варенуха видал всякие виды. Но тут он почувствовал, что ум его застилает как бы пеленою, и он ничего не произнес, кроме житейской и совершенно нелепой фразы:

— Этого не может быть!

Римский поступил не так. Он поднялся, в дверь сказал курьерше, дежурившей снаружи на табуретке:

— Никого, кроме почтальонши, не впускать... — и запер дверь на ключ.

Затем он достал из письменного стола кипу бумаг и начал тщательно сличать жирные с наклоном влево буквы в фотограмме с буквами в Степиных резолюциях и его подписях с винтовой закорюкой на бумагах.

Варенуха, навалившись на стол, жарко дышал в щеку Римскому.

— Это его почерк, — наконец твердо сказал финдиректор, а Варенуха, как эхо, подтвердил:

— Его... — и, поглядев в лицо Римского, подивился перемене, происшедшей в том. Финдиректор, и без того худой, как будто еще более похудел и даже постарел, а глаза его в роговой оправе утратили свою колючесть, и появилась в них не только тревога, но даже как будто печаль.

Затем Варенуха проделал все, что делает человек в минуты великого изумления. Он и по кабинету пробежал, и руки вздымал, как распятый, и выпил целый стакан желтоватой воды из графина, и восклицал:

— Не понимаю! Не по-ни-маю!

Римский же смотрел в окно и напряженно думал. Положение финдиректора было затруднительно. Нужно было тут же, не сходя с места, добыть обыкновенные объяснения явлений необыкновенных.

Прищурившись, финдиректор представил себе Степу в ночной сорочке, без сапог, влезающим сегодня в полдень в какой-то невиданный сверхбыстроходный самолет, а потом его же стоящим в носках на аэродроме во Владикавказе... очень близко горы... черт знает что такое!

Может быть, не Степа сегодня говорил с ним по телефону из собственной своей квартиры? Нет, это говорил Степа! Ему ли не знать Степин голос? Да если бы и не говорил, ведь вчера, не далее чем под вечер, Степа из своего кабинета явился в этот самый кабинет, с этим

дурацким договором и раздражал финдиректора своим легкомыслием. Как он мог уехать или улететь, ничего не сказав?

— Сколько километров до Владикавказа? — вдруг спросил Римский.

Варенуха прекратил беготню по кабинету и заорал:

— Думал! Уже думал! До Минеральных по воздуху тысяча шестьсот километров! До Минеральных! Понимаешь? До Минеральных, а во Владикавказ еще больше!

Тут Варенуха сел в кресло и сдавил голову руками, а в голове у Римского начался вихрь.

Да. Еще больше! Ни о каких поездах, конечно, не могло быть никакого разговора. Но что же тогда? Самолет? Истребитель? Кто и в какой истребитель пустит Степу без сапог? Зачем? Может быть, он снял сапоги во Владикавказе? Зачем?! Да нет, и в сапогах в истребитель его не пустят! Что за чертовщина! Позвольте... при чем здесь истребитель... ведь сказано же, что явился в угрозыск в двенадцать дня, а разговаривал по телефону он... и тут перед глазами Римского возник циферблат его часов... где были стрелки? Длинная... длинная была, была, была... да! Она была где-то между двадцатью и двадцатью пятью минутами... Да, да. А толстая коротенькая показывала одиннадцать! Да, это было около половины двенадцатого. Так что же это выходит? Что самолет в полчаса покрыл более чем тысячу шестьсот километров?! Нет таких самолетов на свете! Его нет во Владикавказе! Но что же тогда? А то, что он психически болен! Это несомненно... Ведь так же и телеграфируют... да, но ведь телеграфируют-то из Владикавказа!!

Что же остается? Гипноз? Действительно Воланд бросил его... какой такой гипноз? Бросать никого путем гипноза за две тысячи верст нельзя! Ему мерещится, что он во Владикавказе! Да-с, ему мерещится, а угрозыску мерещиться не может, угрозыск-то телеграфирует с Кавказа! Что же это такое? А вдруг правда... и этот Воланд...

Тут дрожь прошла по телу Римского, и страшным усилием он задавил в себе последнюю мысль. Злость его давно уже испарилась, темная тревога заслонила его сознание, и когда Варенуха поднял голову, то увидел, что лицо финдирекора буквально страшно.

Ручку двери снаружи в это время стали крутить и дергать, слышно было, как курьерша отчаянно закричала:

— Нельзя! Нельзя! Заседание!

Ручка перестала вертеться.

— Он не может быть во Владикавказе! — закричал Варенуха и хлопнул кулаком по столу. Хлопнул он очень уверенно, кричал уверенно. Но одного в нем не было внутри: именно этой уверенности.

Римский понял, что выражение его лица произвело на администратора сильнейшее впечатление; сколько возможно, овладел собою и сказал в телефонную трубку:

— Дайте сверхсрочный разговор с Владикавказом.

«Умно! — мысленно воскликнул Варенуха. — Как же это я не догадался сразу?..»

Но разговор с Владикавказом не состоялся. Римский положил трубку и сказал:

— Как назло, линия испорчена.

Видно было, что порча линии его особенно сильно расстроила и даже заставила задуматься.

Подумав, он опять взялся за трубку одною рукою, а другой стал записывать то, что говорил в трубку:

— Примите сверхмолнию... Да... Владикавказ. Угрозыск.. Да. «Сегодня около половины двенадцатого Лиходеев говорил мною телефону на службу не явился и разыскивать его телефонам не можем. Почерк подтверждаю. Меры наблюдения указанным артистом принимаю. Финдиректор Римский».

«Очень умно», — подумал Варенуха, и тут же в голове у него грянуло: «Глупо! Не может он быть во Владикавказе!»

Римский же тем временем сделал следующее: он аккуратно сложил в пачку все полученные телеграммы и копию со своей, пачку эту положил в конверт, заклеил его, надписал на нем несколько слов и вручил его Варенухе, со словами:

— Сейчас же, Иван Савельевич, лично отвези и изложи дело. Пусть они разбирают.

«А вот это действительно умно!» — мысленно воскликнул Варенуха и спрятал в свой портфель пакет. Затем он еще раз на всякий случай повертел на телефоне номер Степиной квартиры, прислушался и радостно и таинственно замигал и загримасничал. Римский вытянул шею, как гусь.

— Артиста Воланда можно попросить? — сладко спросил Варенуха.

— Они заняты, — ответила трубка дребезжащим голосом, — а кто спрашивает?

— Администратор Кабаре Варенуха, — с достоинством сказал Варенуха.

— Иван Савельевич? — заорала трубка. — Страшно рад слышать ваш голос! Как ваше здоровье?

— Мерси, — изумленно ответил Варенуха, — а с кем я говорю?

— Помощник, помощник его и переводчик Коровьев, — трещала трубка, — весь к вашим услугам, милейший Иван Савельевич! Распоряжайтесь мною как вам будет угодно! Итак?..

— Простите... что... товарища Лиходеева сейчас нету дома?

— Увы, нету! Нету! — кричала трубка. — Уехал!

— А куда?

— За город кататься на машине!

— Как? — воскликнул Варенуха. — Ка... кататься? А он не говорил, когда вернется?

— Часика через два предполагал вернуться, — отвечала трубка, — сказал, подышу свежим воздухом и вернусь.

— Так... — растерянно сказал Варенуха, — мерси... Будьте добры передать мосье Воланду, что выступление его сегодня в третьем отделении.

— Слушаю. Как же. Непременно. Всеобязательно. Передам, — отрывисто тарахтела трубка.

— Всего доброго, — удивляясь, сказал Варенуха.

— Прошу принять, — говорила трубка, — мои наилучшие, наигорячейшие приветы и пожелания. Успехов. Удач. Полного счастья. Всего.

Пораженный манерой переводчика разговаривать, Варенуха положил трубку и обратился к финдиректору:

— Ну, конечно! Я же говорил! — вскричал возбужденный администратор. — Никакой не Владикавказ, а уехал кататься за город!

— Ну, если это так, — бледнея от злобы, заговорил финдиректор, — то это действительно свинство, которому нет названия! И я, ей-богу... — но тут он споткнулся и спросил: — Но позвольте, а как же молнии?

Тут администратор вдруг подпрыгнул и закричал внезапно, так что Римский вздрогнул:

— Вспомнил! Вспомнил! В Покровском открылся подвал «Владикавказ». Все понятно. Поехал туда. Напился и оттуда телеграфирует!

— Но это уже чересчур, — дергая щекой, ответил Римский, в глазах которого горела настоящая тяжелая злоба, — дорого, дорого ему эта прогулка обойдется! — И опять споткнулся: — Но... позволь... ведь телеграммы-то помечены Владикавказом...

— Это вздор! Шуточки! — воскликнул администратор, не будучи больше в силах вникать в загадку и счастливый тем, что нашел объяснение. — Довольно мистики! Не может быть он во Владикавказе!

— Дорого, дорого обойдется... — сквозь зубы пробормотал Римский.

— А пакет-то нести?

— Обязательно нести, обязательно! — ответил Римский.

Тут дверь открылась, и вошла та самая женщина с сумочкой. «Она!» — почему-то с тоской подумал Римский. Оба поднялись навстречу женщине.

На этот раз в телеграмме были слова:

«Спасибо подтверждение. Срочно пятьсот угрозыск Владикавказе мне. Завтра вылетаю Москву. Лиходеев».

— Да он с ума сошел... — слабо сказал Варенуха и опустился в кресло.

Римский же зазвенел ключом, вынул из ящика письменного стола деньги. Отсчитал пятьсот рублей, позвонил, вручил курьеру деньги и сурово послал его на телеграф.

Варенуха в изумлении глядел на финдиректора, до того это не вязалось ни с чем.

— Помилуй, Григорий Данилович, — наконец неуверенно заговорил Варенуха, — по-моему, ты зря деньги послал!

— Они придут обратно, — веско отозвался Римский, — а вот он сильно ответит за этот пикничок. — И добавил, указывая на пакет: — Поезжай, поезжай, Иван Савельевич, не теряй времени.

Варенуха взял пакет и вышел.

Он спустился вниз, увидел, что перед кассой очередь, узнал от кассирши, что та ждет через час аншлага, потому что публика чрезвычайно заинтересовалась черной магией. Велел кассирше загнуть

и не продавать двадцать лучших мест в ложах и партере на случай, если явится кто-нибудь, кому нельзя будет отказать, тут же у кассы отшил от себя назойливого молодого человека и нырнул в свой кабинет, чтобы захватить кепку.

Лишь только он водрузил кепку на голову, а пакет спрятал в портфель, тут же затрещал телефон на столе.

— Да! — пронзительно крикнул Варенуха в трубку.

— Иван Савельевич? — осведомилась трубка препротивным гнусавым голосом.

— Его нету в театре! — крикнул было Варенуха, но трубка тотчас его перебила:

— Не валяйте дурака, Иван Савельевич, а слушайте. Телеграммы эти никуда не носите, а спрячьте их поглубже в карман и никому не показывайте.

— Кто это говорит? — яростно вскричал Варенуха. — Прекратите, гражданин, эти штуки! Вас сейчас обнаружат! Ваш номер?

— Варенуха! — отозвался все тот же гадкий голос. — Ты русский язык понимаешь? Не носи никуда телеграммы, я повторять больше не буду.

— А, так вы не унимаетесь? — закричал администратор в возмущении. — Ну, смотрите же! Поплатитесь вы за это! Вы слу... — и вдруг понял, что в трубке уже пусто и никто его больше не слушает.

В кабинетике как-то быстро потемнело. Варенуха выбежал вон, захлопнув за собою дверь, и через боковой ход устремился в летний сад, принадлежавший Кабаре.

Варенуха был возбужден и полон энергии. Теперь, после наглого и таинственного звонка, он не сомневался в том, что какая-то шайка хулиганов проделывает скверные шуточки с администрацией Кабаре и что, возможно, все это связано с таинственным исчезновением Лиходеева.

Желание изобличить злодеев и распутать клубок буквально душило администратора и, как это ни странно, в нем зародилось предвкушение чего-то приятного. Так, впрочем, бывает, когда человек стремится стать центром внимания, принося куда-то сенсационное сообщение.

В голове Варенухи тасовался его будущий доклад, и даже зазвучали в этой голове какие-то комплименты по его адресу.

«Садитесь, товарищ Варенуха... Что такое? Гм... гм... Владикавказ? Гм... Очень хорошо, что вы немедленно дали знать... Так вы говорите?.. Гм... Голос гнусавый, вы говорите? Так, так...»

Варенуха открыл, Варенуху мы знаем, Варенуха — молодец... Варенуха!..

И слово «Варенуха» так и прыгало в мозгу у Варенухи.

Ветер дунул в лицо администратору и засыпал глаза песком, как бы преграждая ему путь, как бы предостерегая. Хлопнуло в здании окно так, что чуть не вылетели стекла, в вершинах лип в саду прошумело тревожно. Потемнело и посвежело.

Администратор протер глаза и увидел, что над Москвой низко, почти задевая краем летний сад, ползет желтобрюхая грозовая туча. Проворчало густо.

Как ни торопился администратор, как ни хотел проскочить до грозы, неодолимое желание потянуло его на минуту забежать в летнюю уборную, чтобы на ходу проверить, исполнил ли монтер его приказание поправить в ней электрический провод и одеть лампу в сетку

Мимо тира, мимо будочки, где продавались статуэтки, Варенуха добежал до дощатого голубоватого домика в кустах начинающей зеленеть сирени и вбежал в отделение с надписью «Мужская».

Монтер оказался аккуратным человеком, лампа под крышей была обтянута металлической сеткой, но огорчило администратора то, что даже в предгрозовом потемнении на стенах можно было разобрать недавно выписанные карандашом странные рисунки и неприличные слова, из которых одно было тщательно выведено углем на самом видном месте и огромными буквами.

— Что же это за мерз... — начал было администратор и вдруг услышал за собою голос, мурлыкающий:

— Это вы, Иван Савельевич?

Администратор вздрогнул, обернулся и увидел перед собою какого-то небольшого толстяка в кепке и, как показалось Варенухе, как будто с кошачьей физиономией.

— Ну я, — ответил Варенуха неприязненно, уверенный, что толстяк погнался за ним в уборную, чтобы выклянчить контрамарку на сегодняшний вечер.

— Ах, вы? Очень, очень приятно! — пискливым голосом сказал котообразный толстяк и вдруг, развернувшись, ударил Варенуху по уху так, что кепка слетела с головы администратора и бесследно исчезла в отверстии сидения.

Удару толстяка отозвался громовой удар в небе, в уборной блеснуло, отчего особенно ясно выделилось черное слово на стене, и в ту же секунду на деревянную крышу обрушился ливень. Еще раз сверкнуло, и в зловещем свете перед администратором возник второй — маленького роста, но с атлетическими плечами, рыжий, как огонь, один глаз с бельмом, рот с клыком. Этот второй, будучи, очевидно, левшой, развернулся с левой и съездил администратора по другому уху. И опять грохнуло в небе, и хлынуло сильнее.

Крик не вышел у Варенухи, потому что перехватило дух.

— Что вы, товари... — прошептал ополоумевший администратор, тут же сообразил, что слово «товарищи» никак не подходит к бандитам, избивающим человека в общественной уборной, прохрипел: — гражда... — смекнул, что и этого названия они не заслуживают, и получил третий страшный удар от того, с бельмом, но не по уху, а посередине лица, так что кровь из носу хлынула на толстовку.

Темный ужас поразил администратора. Ему показалось, что его хотят бить до смерти. Но ударов более не последовало.

— Что у тебя в портфеле, паразит? — пронзительно, перекрывая грозу, осведомился похожий на кота. — Телеграммы?

— Те... телег... — ответил полумертвый администратор.

— А тебя предупредили по телефону, чтобы ты их никуда не носил? Предупреждали, я тебя спрашиваю?

— Предупре... ждали... дили, — задыхаясь, ответил администратор.

— А ты все-таки пошел? Дай сюда портфель, гад! — гнусаво, тем самым голосом, что был слышан в телефоне, крикнул второй и выдрал портфель у Варенухи из трясущихся рук.

— Ах ты, ябедник! — возмущенно заорал похожий на кота. — Ну ладно, бери его, Азазелло!

И оба подхватили бедного администратора под руки, выволокли его из сада и понеслись с ним по Садовой. Гроза бушевала с полной силой, вода с грохотом и воем низвергалась в канализационные отверстия, из водосточных труб хлестало, хлестало с крыш и мимо труб, из подворотен бежали пенные потоки. Все живое смело с Садовой, и спасти Ивана Савельевича было некому. Прыгая в мутных реках, то и дело освещаясь молниями, бандиты в одну секунду доволокли полуживого администратора до дома № 302-бис, влетели с ним в подворотню, где жались к стене две босоногие женщины, держащие туфли и чулки в руках.

От страху все мутилось и плясало в глазах у Ивана Савельевича, и он и не заметил, как вознесся в руках у негодяев на пятый этаж, как волшебно сама собою распахнулась дверь и как его швырнули на пол в передней хорошо знакомой ему квартиры Степы Лиходеева. Близкий к безумию, Варенуха повалился на пол, и лужа распространилась вокруг него.

И сгинули оба разбойника, а вместо них появилась совершенно нагая девица, рыжая и с горящими в полутьме глазами.

Варенуха понял, что это-то и есть самое страшное из всего, что приключилось, и, застонав, пытался куда-то скрыться от ведьмы, но ни ползти, ни бежать было некуда. Он поднялся, прислонился к стене. А девица подошла вплотную к администратору, положила ладони ему на плечи, и волосы Варенухи поднялись дыбом, потому что даже сквозь холодную, пропитанную водою ткань толстовки он почувствовал, что ладони эти еще холоднее, что они холодны ледяным холодом.

— Дай-ка я тебя поцелую, — нежно сказала девица, и у самых глаз Варенухи оказались фосфорные глаза. Тогда Варенуха лишился чувств, поцелуя не ощутил.

Глава XI РАЗДВОЕНИЕ ИВАНА

Бор на противоположном берегу реки, еще час назад освещенный майским солнцем, стал теперь неузнаваем, он помутнел, размазался и растворился.

Вода сплошною пеленой валила за окном. В небе то и дело вспыхивали ослепительные нити, небо лопалось, комнату больного на мгновение заливало трепещущим светом.

Иван тихо плакал, сидя на кровати и глядя на размазанный бор и мутную, кипящую в пузырях реку. При каждом тяжком громовом ударе он тихо вскрикивал и закрывал глаза руками.

Исписанные Иваном листки валялись на полу, их сдуло порывом ветра, залетевшего в комнату перед началом грозы.

Попытки поэта сочинить заявление относительно страшного консультанта не привели ни к чему. Лишь только он получил от Прасковьи Васильевны огрызок карандаша и бумагу, он деловито потер руки и торопливо пристроился к столику. Начало он вывел довольно бодро:

«В милицию

Члена Массолита Ивана Николаевича Бездомного

Заявление

Вчера вечером я пришел с покойным М.А.Берлиозом на Патриаршие пруды...»

И тут поэт запутался, главным образом из-за слова «покойным». Сразу и выходила какая-то безлепица: как это так — пришел с покойным куда-то? Не ходят покойники! Действительно, чего доброго за сумасшедшего примут! Подумав так, Иван Николаевич начал исправлять написанное. Вышло так: «с Михаилом Александровичем Берлиозом, впоследствии покойным...» И это не удовлетворило автора заявления. Пришлось применить третью редакцию, а та оказалась еще хуже первых двух: «...Берлиозом, который попал под трамвай...» А тут еще ввязался этот неизвестный композитор-однофамилец, и пришлось вписывать: «... Берлиозом не композитором...»

Измучившись с Берлиозом, Иван все зачеркнул и решил начать сразу с чего-то очень сильного, чтобы немедленно привлечь внимание читающего, и написал, как кот садился в трамвай, а также описал эпизод с отрезанной головою. Голова и предсказание консультанта привели его к мысли о Понтии Пилате, и для вящей убедительности решил весь рассказ изложить полностью с того самого момента, как тот в белом плаще с кровавым генеральским подбоем вышел в колоннаду дворца.

Иван усердно работал: и перечеркивал написанное, и вписывал слова, и даже попытался нарисовать и Понтия Пилата, и консультанта, и кота; но и рисунки не помогли, и чем дальше — тем путанее и непонятнее становилось заявление поэта.

К тому времени как появилась издалека пугающая туча с дымящимися краями и накрыла бор и дунул ветер, Иван почувствовал, что обессилел, понял, что с заявлением ему не совладать, и не стал поднимать разлетевшиеся листки и тихо и горько заплакал.

Добродушная фельдшерица Прасковья Васильевна навестила поэта, встревожась, видя, что он плачет, закрыла штору, чтобы молнии не пугали больного, и листки подняла, и побежала за врачом.

Доктор, вызванный Прасковьей Васильевной, сделал укол в руку Ивану, взял исписанные листки и унес их с собою, уверив Ивана, что тот больше плакать не будет, что теперь все пройдет, все изменится в самом наилучшем смысле.

И оказался прав. Вскоре заречный бор стал прежним. Он вырисовывался до последнего дерева под небом, расчистившимся до полной голубизны, а река успокоилась. Тоска оставила Ивана тотчас после укола, и поэт спокойно лежал и глядел сквозь решетку на радугу, аркой раскинувшуюся над весенней землей.

Так пролежал он до вечера и не заметил, как исчезла радуга, как загрустило и полиняло небо, как почернел бор.

Напившись горячего молока, умывшись, Иван опять прилег и сам подивился тому, как изменились его мысли.

Воспоминание о той женщине, что прокричала про постное масло и Аннушку и тем открыла тайну консультанта, уже не жгло душу Ивана, как-то смягчился в памяти проклятый черный кот, не пугала более отрезанная голова, и вместо всего этого стал размышлять Иван о том, что, по сути дела, в клинике очень неплохо, что Стравинский очень умен, что вечерний воздух, текущий сквозь решетку после грозы, и сладостен, и свеж.

Дом скорби засыпал. В тихих коридорах потухли белые матовые лампы, вместо них зажглись слабые голубые ночники. Все реже слышались осторожные шажки фельдшериц на резиновом полу коридора.

Иван лежал в сладкой истоме и поглядывал то на лампочку под абажуром, льющую из-под потолка смягченный свет, то на луну, поднимающуюся над черным бором, и шепотом беседовал сам с собою.

— Почему, собственно, я так взволновался из-за того, что Берлиоз попал под трамвай? — рассуждал поэт. — В конечном счете, ну его в болото! Что я, в самом деле, кум ему или сват? Если как следует провентилировать этот вопрос, то выходит, что я, в сущности, даже и не знал как следует покойника. В самом деле, что мне о нем было известно? Да ничего, кроме того что он был лыс и красноречив до ужаса. И далее, товарищи, — продолжал свою речь Иван, обращаясь к кому-то, — разберемся вот в чем: чего это я, объясните, взбесился на этого загадочного консультанта, мага и профессора с пустым и черным глазом? К чему вся нелепая погоня за ним в подштанниках и со свечкой в руках, а затем дикая петрушка в ресторане?

— Но-но-но, — вдруг сурово сказал где-то, не то внутри, не то над ухом, прежний Иван — Ивану новому, — про то, что голову-то Берлиозу отрежет, ведь он все-таки знал заранее? Как же не взволноваться!

— Об чем, товарищ, разговор! — возражал новый Иван ветхому, прежнему Ивану. — Что здесь дело нечисто, это понятно даже ребенку! Он личность незаурядная и таинственная на все сто. Но ведь в этом-то самое интересное и есть! Человек лично был знаком с Понтием Пилатом, чего вам еще интереснее надобно? И вместо того чтобы поднимать глупейшую бузу на Патриарших с криками и прочим, а потом устроить и драку в ресторане, не умнее ли было бы вежливо расспросить о том, что было далее с Пилатом и этим арестованным Га-Ноцри?

А я черт знает чем занялся! Важное, в самом деле, происшествие — редактора задавило! Ну что поделаешь: человек смертен, и,

как справедливо сказано было, внезапно смертен. Ну, царство небесное ему. Будет другой редактор и даже, может быть, еще красноречивее прежнего.

Подремав немного, Иван новый ехидно спросил у старого Ивана:

— Так кто же я такой в этом случае выхожу?

— Дурак! — отчетливо сказал где-то бас, не принадлежавший ни одному из Иванов и чрезвычайно похожий на бас консультанта.

Иван, почему-то не обидевшись на слово «дурак», но даже приятно изумившись ему, усмехнулся в полусне и затих. Сон крался к Ивану, и уж померещилась и пальма на слоновой ноге, и кот прошел не страшный, а веселый, и, словом, вот накроет сон Ивана, как вдруг что-то зазвенело, решетка беззвучно поехала в сторону, и на балконе возникла таинственная фигура, облитая полным светом луны, и погрозила Ивану пальцем.

Иван без всякого испуга приподнялся на кровати, увидел, что на балконе мужчина.

И мужчина этот, прижав палец к губам, прошептал:

— Т-сс!

Глава XII ЧЕРНАЯ МАГИЯ И ЕЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Высоко приподнятая над партером и оркестром сцена Кабаре была освещена так сильно, что казалось, будто на ней солнечный южный полдень.

Маленький человек в дырявом желтом котелке и с грушевидным малиновым носом, в клетчатых брюках и лакированных ботинках выехал на сцену на обыкновенном двухколесном велосипеде.

Под звуки фокстрота он сделал круг, потом испустил победный вопль, отчего велосипед его поднялся на дыбы. Проехавшись на одном заднем колесе, человек перевернулся вверх ногами, ухитрился на ходу отвинтить переднее колесо, причем оно убежало за кулисы, и покатил, вертя педали руками.

На высокой металлической мачте с седлом наверху и с одним колесом выехала полная блондинка в трико и юбочке, усеянной серебряными звездами, и стала ездить по кругу. Встречаясь с нею, человечек издавал приветственные крики и ногой снимал с головы котелок.

К двум ездящим присоединился третий молодой человек с выпирающими из-под трико мускулами, также на высокой мачте, и заездил, стоя на руках в седле и пятками едва не касаясь ярких ламп в верхних софитах.

Наконец прикатил малютка лет восьми со старческим лицом и зашнырял между взрослыми на крошечной двухколеске, к которой был приделан громадный автомобильный гудок.

Сделав несколько петель по сцене, вся компания под тревожную дробь барабана из оркестра подкатилась к самому краю сцены, и з первых рядах ахнули и откинулись, потому что публике показалось, что вся четверка со своими машинами грохнется в оркестр.

Но велосипеды остановились как раз в тот момент, когда передние колеса уже грозили соскользнуть в бездну на головы музыкантам. Велосипедисты с громким криком «Ап!» соскочили с машин и раскланялись, причем блондинка посылала публике воздушные поцелуи, а малютка протрубил смешной сигнал на своем гудке.

Грохот рукоплесканий потряс здание до самого купола, голубой занавес пошел с двух сторон и скрыл велосипедистов, зеленые огни с надписью «Выход» у дверей погасли, и в паутине трапеций под куполом вспыхнули, как солнца, белые шары. Наступил последний антракт.

Единственным человеком, которого ни в коей мере не интересовали чудеса велосипедной семьи Джулли, был Григорий Данилович Римский. Он сидел в полном одиночестве в своем кабинете, кусал тонкие губы и думал о столь неприятных вещах, что по лицу его то и дело проходили судороги. Сверхъестественное исчезновение Лиходеева осложнилось совершенно непредвиденным исчезновением администратора. Тот как ушел с пакетом из Варьете перед самой грозой, так и не вернулся!

Известно было, куда он ушел... но ушел и... не пришел! Римский пожимал плечами и изредка шептал сам себе:

— Значит... гм... но за что?

И странное дело: такому деловому человеку, как финдиректор, проще всего, конечно, было догадаться позвонить туда, куда отправился Варенуха, и узнать, что с ним стряслось, а между тем Григорий Данилович до десяти часов вечера не мог принудить себя сделать это. В десять часов, совершив над собою форменное насилие, Григорий Данилович тяжелою рукою снял трубку с аппарата и убедился в том, что телефон его совершенно мертв — нет гудков.

Вызванный звонком курьер доложил, что аппараты испортились во всем здании. Это неприятное, конечно, но все-таки не сверхъестественное событие почему-то окончательно потрясло финдиректора. И еще более странно: порча аппаратов где-то в самой глубине души обрадовала Григория Даниловича! Отвалилась необходимость звонить.

Над головою финдиректора вспыхнул и замигал красный сигнал, возвещавший конец отделения, донесся и гул публики, растекающейся по коридорам.

В это время явился второй курьер и доложил, что приехал иностранный артист. Финдиректора почему-то передернуло, и, став мрачнее тучи, он пошел за кулисы, чтобы принять гастролера.

В большую уборную, куда проводили черного мага, под разными предлогами уже заглядывали любопытные.

Мимо дверей уборной, в коридоре, где уже начали трещать сигнальные звонки, прошли фокусники в ярких халатах, в чалме и с веерами в руках, мелькнул конькобежец в белой вязаной куртке, побы-

вал бритый и бледный от пудры рассказчик, все уже окончившие свои номера.

Прибывшая знаменитость поразила всех, во-первых, своим невиданным по длине фраком дивного покроя и добротного материала, во-вторых, тем, что явилась в черной полумаске, но главным образом своими спутниками. Их было двое: один длинный, тонкий, в клетчатых брючонках, в треснувшем пенсне... ну, словом — он, Коровьев, которого в одну секунду узнал бы Никанор Иванович Босой, но, увы, Никанор Иванович не мог быть на представлении!

Второй был неимоверных размеров черный кот, который, войдя на задних лапах в уборную, совершенно непринужденно сел на диван, щурясь на оголенные гримировальные лампионы.

В уборную заглядывали любопытные. Протиснувшись между ними, Римский постарался изобразить на лице улыбку, отчего оно сделалось кислым и злобным, и раскланялся с безмолвным магом, сидящим рядом с котом на диване. Рукопожатия не было. Длинный же и развязный, этот в изломанном пенсне, сам отрекомендовался финдиректору, назвав себя «ихний помощник». Это обстоятельство удивило финдиректора, и опять-таки неприятно: в контракте решительно не было ничего сказано ни о каких «помощниках».

Весьма принужденно и сухо Григорий Данилович осведомился у свалившегося на голову ему «помощника» о том, где аппаратура артиста.

— Наша аппаратура, драгоценный гражданин директор, — дребезжащим голосом охотно ответил помощник, — всегда при нас! Вот она! Эйн, цвей, дрей! — И, повертев перед глазами отшатнувшегося Григория Даниловича узловатыми пальцами, внезапно вытащил из-за уха у кота собственные Римского золотые часы с цепочкой, которые до этого были у финдиректора в жилетном кармане под застегнутым пиджаком и с продетой в петлю цепочкой.

Присутствующие ахнули, а заглядывающий в дверь гример одобрительно крякнул.

— Ваши часики? Прошу получить, — развязно улыбаясь, сказал длинный помощник и на грязной ладони подал растерянному Римскому, невольно ухватившемуся за живот, его часы.

Но кот отмочил штуку, оказавшуюся почище номера с чужими часами. Он неожиданно поднялся с дивана, на задних лапах подошел к подзеркальному столику, передней лапой вытащил пробку из графина, налил воды в стакан, выпил ее, водрузил пробку на место и гримировальной тряпкой вытер усы.

Тут никто даже и не ахнул, только рты раскрыли, и в дверях гример шепнул:

— Ай, класс!

Тут вторично и тревожно загремели звонки к началу последнего отделения, и все, возбужденные, предвкушающие интересный номер, повалили из коридора вон.

Через минуту в зрительном зале погасли шары, вспыхнула и дала отблеск на низ занавеса рампа, и в освещенной щели, раздвигая по-

лотнища, предстал перед публикой полный, веселый, как дитя, человек в помятом фраке и несвежем белье. И публика тотчас увидела, что перед нею, как и в первых двух отделениях, конферансье Жорж Бенгальский.

— Итак, граждане, — заговорил Бенгальский, улыбаясь младенческой улыбкой, — сейчас перед вами выступит... гм, — прервал Бенгальский сам себя, — я вижу, что количество публики к третьему отделению еще увеличилось? У нас сегодня половина города. Как-то на днях встречаю я приятеля и говорю ему: «Отчего не заходишь к нам? Вчера у нас была половина города». А он мне отвечает: «Я живу в другой половине».

Итак, сейчас выступает перед нами знаменитый иностранный артист мосье Воланд с сеансом черной магии. Ну, мы с вами понимаем, что никакой черной магии не существует, а просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной части его выступления, именно разоблачения этой техники. Итак, попросим мосье Воланда!

Произнеся всю эту ахинею, Жорж Бенгальский сцепил обе руки ладонь к ладони и стал приветственно махать ими в прорез занавеса, отчего тот и раздвинулся.

Выход мага с его длинным помощником и котом, выступившим из-за кулисы на задних лапах, очень понравился публике.

— Кресло мне, — негромко сказал Воланд, и в ту же секунду, неизвестно как и откуда, на сцене появилось кресло, в которое и сел замаскированный артист.

Сидя на полинявшей подушке, маг не спешил показывать что-нибудь публике, пораженной появлением кресла из воздуха.

— Скажи мне, любезный Фагот, — после некоторого молчания осведомился Воланд у клетчатого гаера, носившего, по-видимому, и другое наименование, кроме «Коровьев», — так вот это и есть московское народонаселение?

— Точно так, мессир, — почтительно ответил Фагот-Коровьев.

— Так, так, так, — отозвался маг, — я, как ты знаешь, давненько не видел москвичей. Признаться, все некогда было. Надо сказать, что внешне горожане сильно изменились, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего и говорить, но появились эти... как их... трамваи, автомобили и...

— Автобусы, —угодливо согнувшись, подсказал Фагот.

Публика внимательно слушала этот разговор, полагая, что он является прелюдией к магическим фокусам. Кулисы были полностью забиты артистами и рабочими сцены. Между их лицами виднелось бледное, напряженное лицо Римского.

Физиономия Бенгальского, приютившегося сбоку сцены у портала, выражала недоумение. Он чуть-чуть приподнял брови. Воспользовавшись паузой, он вступил со словами:

— Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, изумительно выросшей в техническом отношении, а равно также и москвичами. — Тут Бенгальский приятно улыбнулся сперва партеру, а потом галерее.

И Воланд, и клетчатый, и кот повернули головы в сторону конферансье.

— Разве я выразил восхищение? — спросил маг у Коровьева-Фагота.

— Никак нет, мэтр, вы никакого восхищения не выражали, — ответил тот.

— Так что же говорит этот человек?..

— А он попросту соврал! — звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, повернувшись к Бенгальскому, торжественно прибавил: — Поздравляю вас, гражданин, соврамши!

С галереи плеснуло смешком, а Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза.

— Ну, меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая...

— Аппаратура! — подсказал клетчатый.

— Совершенно верно, благодарю, — раздельно и медленно говорил маг, — сколько гораздо более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренно?

— Важнейший вопрос, сударь!

Наступила пауза.

В кулисах стали переглядываться и пожимать плечами, Бенгальский стоял красный, подняв одну бровь, Римский был бледен.

Но тут, как бы отгадав тревогу, возникшую за кулисами, маг сказал:

— Ну мы, однако, заговорились, дорогой Фагот, и публика начинает скучать. Покажи нам для начала что-нибудь простенькое.

Зал облегченно шевельнулся. Фагот и кот разошлись в разные стороны к порталам, Фагот щелкнул пальцами, залихватски крикнул:

— Три, четыре! — поймал из воздуха колоду карт, стасовал ее и лентой пустил ее коту вдоль рампы. Кот растопырил лапы, перехватил ленту, стасовал и пустил лентой же обратно. Атласная змея фыркнула, Фагот раскрыл рот, как птенец, и всю ее, карта за картой, заглотал.

После этого кот раскланялся, шаркнув правой задней лапой, и вызвал неимоверный аплодисмент.

— Ай, класс! — восхищенно крикнули за кулисами.

А Фагот тыкнул пальцами в партер и объявил:

— Колода эта таперича, уважаемые граждане, находится в седьмом ряду, место семнадцатое, в боковом кармане у гражданина Парчевского, как раз между трехрублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об уплате алиментов гражданке Зельковой.

В партере зашевелились, стали привставать, и наконец какой-то гражданин, которого, точно, звали Парчевским, весь пунцовый от изумления, извлек из бумажника колоду карт и стал тыкать ею в воздух, не зная, что с нею делать.

— Пусть она останется у вас на память! — прокричал Фагот. — Недаром вы говорили вчера, что ваша жизнь без покера была бы просто несносна!

— Старая штука, — раздался вызывающий голос на галерее, — этот в партере из ихней же компании.

— Вы полагаете? — заорал Фагот, щурясь на галерею сквозь разбитое стеклышко. — В таком случае она у вас в кармане, Фома неверный!

На галерке произошло движение, а потом послышался радостный голос:

— Верно... у него! Тут, тут! Стой! Это червонцы!

Волнение усилилось, в партере все повернули головы к галерее. Там смятенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом и с надписью на обложке: «Одна тысяча рублей».

Соседи навалились на него, а он в изумлении ковырял ногтем обложку, стараясь дознаться, настоящие ли это червонцы или какие-нибудь волшебные.

— Ей-богу, настоящие! Червонцы! — кричали с галерки.

— Сыграйте и со мною в такую колоду, — весело попросил какой-то толстяк в глубине партера.

— Авек плезир, мосье, — отозвался Фагот, — но почему же с одним вами? Все примут участие! — И скомандовал: — Прошу глядеть вверх!

Когда головы поднялись, Фагот рявкнул:

— Раз! — в руке у него оказался пистолет. Он крикнул: — Пли! — сверкнуло, бухнул выстрел, и тотчас из-под купола, ныряя между нитями трапеций, начали падать в зал белые бумажки.

Они вертелись, их разносило в стороны, забивало на галерею, откидывало и в оркестр, и на сцену. Через несколько секунд бумажный дождь, все густея, достиг кресел, и зрители стали бумажки ловить.

Сперва веселье, а потом изумление разлилось по всему театру. Поднимались сотни рук, зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки.

Запах также не оставлял никаких сомнений: это был ни с чем по прелести не сравнимый запах только что отпечатанных денег.

И слово «червонцы, червонцы!» загудело повсюду, послышались вскрикивания «ах, ах!» и смех. Кое-кто уже ползал в проходе, шаря под креслами, многие уже ногами стояли на сиденьях, ловили вертлявые бумажки.

На лицах милиции, дежурившей у входов, выразилось тягостное недоумение, а артисты без церемонии стали высовываться из-за кулис.

С галереи донесся голос: «Ты чего хватаешь? Это моя! Ко мне летела!» — и другой голос: «Да ты не толкайся, я тебя сам так толкану!» — и завязалась какая-то возня, появился на галерее шлем милиционера, и кого-то стали с галереи уводить.

Возбуждение возрастало, и неизвестно даже, вот что бы все это вылилось, если бы Фагот не прекратил денежный дождь, внезапно дунув в воздух.

Двое молодых людей в стрижке боксом и с преувеличенными, ватой подбитыми плечами, обменявшись многозначительным веселым и глумливым взглядом, снялись с мест и вышли из партера через ту дверь, что вела в буфет.

В театре стоял гул, в котором больше всего слышались слова «настоящие!», глаза у всех возбужденно блестели.

Тут только Бенгальский нашел в себе силы и шевельнулся. Стараясь овладеть собою, он потер руки и голосом наибольшей звучности заговорил так:

— Итак, граждане, мы с вами видели сейчас случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес не существует. Попросим же месье Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки, что у вас в руках, исчезнут так же внезапно, как и появились.

Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве. На лице у него при этом играла уверенная улыбка, но в глазах этой уверенности не было, и скорее в них выражалась мольба.

Публике речь Бенгальского не понравилась. Наступило полное молчание, и было оно прервано клетчатым Фаготом.

— Это опять-таки случай так называемого вранья, — прокричал он козлиным тенором, — бумажки, граждане, настоящие.

— Браво! — отрывисто рявкнул бас на галерке.

— Между прочим, этот, — и тут наглый Фагот пальцем указал на Бенгальского, — мне надоел! Суется все время, куда его не спрашивают, ложными своими замечаниями портит весь сеанс. Что бы нам такое с ним сделать?

— Голову ему оторвать! — сказал кто-то сурово на галерке.

— Как вы говорите? Ась? — тотчас отозвался на это безобразное предложение Фагот. — Голову оторвать? Это идея! Бегемот, — закричал он коту, — делай! Эйн, цвей, дрей!

И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем сжался и, как пантера, махнул прямо на грудь Бенгальскому, а оттуда на голову. Пухлыми лапами вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал голову с полной шеи.

Две с половиной тысячи человек в театре, как один, вскрикнули. Кровь фонтанами из разорванной шеи ударила вверх и залила и манишку, и фрак. Безглавое тело как-то нелепо загребло ногами и село на пол.

Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и голова плаксиво крикнула:

— Доктора!

В зале послышались истерические крики женщин.

— Ты будешь в дальнейшем всякую чушь молоть? — грозно спросил Фагот у головы.

— Не буду больше! — прохрипела голова, и слезы покатились из ее глаз.

— Ради бога, не мучьте его! — вдруг, покрывая шум, прозвучал из ложи женский голос, и видно было, как маг повернул в сторону голоса лицо.

— Так что же, граждане, простить его, что ли? — спросил Фагот, обращаясь к залу.

— Простить! Простить! — раздались вначале отдельно и преимущественно женские голоса, а затем они слились в дружный хор с мужскими.

— Как прикажете, мессир? — спросил Фагот у замаскированного.

— Ну что ж, — задумчиво и тихо отозвался тот, — я считаю твои опыты интересными. По-моему, они люди как люди. Любят деньги, что всегда, впрочем, отличало человечество. Оно любило деньги, из чего бы они ни были сделаны, из кожи ли, бумаги, бронзы или золота. Легкомысленны... но и милосердие иногда стучится в их сердца. — И громко приказал: — Наденьте голову!

Кот Бегемот и Фагот бросились к неподвижному телу Бенгальского, Фагот поднял его за шиворот, кровь перестала бить. Кот, прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову не шею, и она аккуратно села на свое место, как будто никуда и не отлучалась. И, главное, даже шрама на шее никакого не осталось. Кот лапами обмахнул фрак Бенгальского, и с него исчезли всякие следы крови. Фагот нахватал из воздуха целый пук червонцев, засунул их в карман фрака несчастного конферансье, подпихнул его в спину и выпроводил со сцены со словами:

— Катитесь отсюда! Без вас веселей!

Бессмысленно оглядываясь и шатаясь, конферансье добрел до пожарного поста, и здесь с ним сделалось худо. Он жалобно вскрикнул:

— Голова, моя голова!

К нему кинулись. И в числе прочих Римский. Конферансье плакал, ловил в воздухе что-то руками, бормотал:

— Отдайте мне голову! Голову отдайте!

Римский, проклиная мысленно окаянного Степу, велел курьеру бежать за врачом. Бенгальского пробовали уложить на диван в уборной, но конферансье стал отбиваться, сделался буен.

Когда его в карете увезли, Римский вернулся и увидел, что на сцене происходят буквально чудеса.

Оказывается, Фагот, спровадив несчастного Жоржа, объявил публике так:

— Таперича, граждане, когда этого надоедалу сплавили, давайте откроем дамский магазин!

И тут же сцена покрылась персидскими коврами, возникли громадные зеркала, освещенные с боков пронзительно светящимися трубками, а меж зеркал витрины, а в них зрители в веселом ошеломлении увидели разных цветов и фасонов несомненные парижские платья. Это в одних витринах. А в других появились сотни дамских шляп, и с перышками, и без перышек, сотни же туфель черных, белых, желтых, атласных, замшевых, и с пряжками, и с ремешками, и с камушками.

Между туфель выросли аппетитные коробки, открытые, разных цветов, иные из них с кисточками; в коробках заиграли светом блестящие грани хрустальных флаконов.

Горы сумочек из кожи антилопы, из замши, из крепдешина, меж ними груды чеканных золотых футлярчиков с губной помадой.

Черт знает откуда взявшаяся рыжая девица в вечернем туалете, всем хорошая девица, за исключением того, что шея ее была изуродована причудливым шрамом, появилась у витрин, улыбаясь хозяйской улыбкой.

Фагот, сладко улыбаясь, объявил, что фирма совершенно бесплатно производит обмен дамских платьев и обуви почтеннейшей публики на парижские модели. То же относительно сумочек, духов и прочего.

Кот стал шаркать задней лапой, передней выделывая какие-то жесты, свойственные швейцарам, открывающим двери.

Девица запела сладко, хоть и с хрипотцой и сильно картавя, что-то малопонятное, но очень, по-видимому, соблазнительное:

— Прошу, медам, прошу! Креп, Герлен, Шанель номер пять, Мицуко, Нарсис Нуар, вечерние платья, платья коктейль.

Фагот извивался, кот кланялся, девица открывала стеклянные витрины.

— Прошу! — орал Фагот. — Без всякого стеснения и церемоний... Прошу! Без всяких доплат меняем старое платье на новое!

Публика волновалась, глаза у всех блестели, но идти на сцену пока никто не решался.

Но наконец какая-то гладко причесанная брюнетка вышла из десятого ряда партера и, улыбаясь так, что ей, мол, решительно все равно и в общем наплевать, что будут говорить, прошла и поднялась сбоку на сцену.

— Браво, браво! — вскричал Фагот. — Приветствуем первую посетительницу. Медам! Бегемот, кресло! Начнем с обуви, медам?

Брюнетка села в кресло, и Фагот тотчас вывалил на ковер перед нею груду туфель. Брюнетка сняла свою туфлю, примерила сиреневую, потопала в ковер, осмотрела каблук.

— А они не будут жать? — задумчиво спросила она.

Фагот обиженно воскликнул: «Что вы!» — и кот от обиды мяукнул.

— Я беру эту пару, мосье, — сказала брюнетка с достоинством, надевая и вторую туфлю.

Старые туфли брюнетки были выброшены за занавеску, туда же проследовала и смелая брюнетка в сопровождении рыжей девицы и Фагота, несущего на плечах несколько модельных платьев. Кот суетился, помогал и для пущей важности набросил себе на шею сантиметр.

Через минуту из-за занавески вышла брюнетка в таком платье, что по всему партеру прокатился вздох. Храбрая женщина, удивительно похорошевшая, остановилась у зеркала, тронула волосы, изогнулась, оглядывая спину, и потом пошла к рампе.

Ее перехватил Фагот, подал ей лаковую сумочку и футляр с духами.

— Фирма просит вас принять это на память, — заявил Фагот, извиваясь, как змея.

— Мерси, мосье, — надменно ответила брюнетка и вернулась в партер.

Зрители вскакивали с мест, чтобы рассмотреть ее получше, прикасались к сумочке, поражались.

Тут и прорвало, и со всех сторон на сцену пошли женщины.

В общем возбужденном говоре, смешках и вздохах послышался мужской голос: «Я не позволяю тебе!» — и женский: «Дурак, деспот и мещанин, не ломайте мне руку!»

Взволнованный партер гудел от восторга, а на сцене кипела работа. Женщины исчезали за занавеской, оставляли там свои платья, выходили в новых. На табуретках с золочеными ножками сидел уже целый ряд дам, энергично топая в ковер заново обутыми ногами. Фагот становился не колени, мял в руках ступни, орудовал роговой надевалкой, кот, изнемогая под грудами сумочек и туфель, таскался от витрины к табуреткам, девица с изуродованной шеей то появлялась, то исчезала за занавеской и дошла до того, что полностью тарахтела по-французски. Причем удивительно было то, что ее с полуслова понимали все дамы, даже и не знающие французского языка.

Общее изумление вызвал мужчина, затесавшийся на сцену. Он сказал Фаготу, что у жены его грипп, она не могла быть в театре, поэтому он просит передать ей что-нибудь через него. В доказательство же того, что он действительно женат, готов предъявить паспорт.

Заявление заботливого мужа было встречено хохотом, Фагот проорал, что он верит гражданину и без паспорта, и вручил ему две пары шелковых чулок, а кот от себя добавил футляр с помадой.

Дело стало принимать характер столпотворения. Женщины текли со сцены в бальных платьях, в пижамах, разрисованных драконами, в строгих костюмах для визита, в шляпочках, надвинутых на одну бровь. В руках у дам сверкали флаконы и золотые трубочки помады. Опоздавшие стремились на сцену.

И тогда Фагот объявил, что за поздним временем магазин закрывается до завтрашнего вечера через минуту. Неимоверная суета поднялась на сцене. Женщины наскоро хватали туфли без примерки. Одна, как буря, ворвалась за занавеску, сбросила свой костюм и надела первое, что подвернулось — шелковый, в громадных букетах, халат, успела, выскочив, подцепить два футляра духов.

Ровно через минуту грянул пистолетный выстрел, и стон опоздавших разнесся по всему залу и сцене. Зеркала исчезли, провалились витрины и табуретки, ковер растаял в воздухе так же, как и занавеска. Последней исчезла огромнейшая груда старых платьев и обуви. И стала сцена опять строга, пуста и гола, и осталось на ней только кресло с сидящим в нем неподвижно магом в маске.

И здесь в дело вмешалось новое действующее лицо.

Приятный, звучный и очень настойчивый баритон послышался из близкой к сцене левой ложи № 2:

— Все-таки нам было бы приятно, гражданин артист, если бы вы незамедлительно разоблачили бы зрителям технику ваших фокусов, построенных, конечно, на гипнозе. В особенности фокус с денежными бумажками. Желательно также и скорейшее возвращение конферансье. Судьба его волнует зрителей.

Баритон принадлежал не кому иному, как почетному гостю сегодняшнего вечера Аркадию Аполлоновичу Семплеярову, заведующему акустикой московских театров.

Аркадий Аполлонович помещался в ложе с двумя дамами: пожилой и очень дорого и модно одетой, и другой — молоденькой и одетой попроще. Первая из них, как вскоре выяснилось при составлении протокола милицией, была женою Аркадия Аполлоновича, а вторая — племянницей его, начинающей и подающей надежды актрисой, приехавшей из Саратова и проживающей у Аркадия Аполлоновича с супругою.

Чувствуя на себе тысячи глаз отовсюду, Аркадий Аполлонович приосанился и поправил пенсне.

— Пардон! — отозвался Фагот, наивно улыбнувшись. — Это не гипноз, я извиняюсь! И в общем, разоблачать здесь нечего!

— Виноват, — настойчиво продолжал Аркадий Аполлонович, — разоблачение совершенно необходимо. Без этого ваши блестящие номера оставят тягостное впечатление. Зрительская масса требует объяснения...

— Зрительская масса, — перебил Аркадия Аполлоновича наглый гаер Фагот, — как будто ничего не заявляла? Ась?

— Браво! — далеко крикнул кто-то.

— Но принимая во внимание ваше глубокоуважаемое желание, я произведу разоблачение, драгоценный Аркадий Аполлонович (Аркадий Аполлонович немного изумился, убедившись в том, что неизвестный знает его имя и отчество). Но для этого разрешите еще один крохотный номерок?

— Отчего же, — ответил Аркадий Аполлонович, — но с разоблачением!

— Слушаюсь! Слушаюсь! — прокричал Фагот и, потирая руки, осведомился у Аркадия Аполлоновича: — Где вы вчера вечером изволили быть, Аркадий Аполлонович?

При этом неуместном и даже хамском вопросе лицо заведующего акустикой изменилось, и сильно.

— Аркадий Аполлонович вчера вечером был в заседании акустической комиссии, — ответила супруга Аркадия Аполлоновича очень надменно, — но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии?

— Уи, мадам! — подтвердил Фагот. — Натурально вы не понимаете! Насчет же заседания вы в полном заблуждении. Выехав на упомянутое заседание, каковое, к слову говоря, и назначено-то не было, Аркадий Аполлонович отпустил своего шофера у здания акустической комиссии, а сам в автобусе отправился на Елоховскую улицу к артистке разъездного районного театра Милице Андреевне Покобатько и провел у нее в гостях около четырех часов.

— Ой! — жалобно воскликнул кто-то в бельэтаже.

Молодая дама, сидевшая в ложе Аркадия Аполлоновича, вдруг рассмеялась низким контральтовым смехом.

— Все понятно! — воскликнула она. — Давно подозревала! Понятно, почему эта бездарность получила роль Луизы!

И, внезапно размахнувшись, коротким и толстым лиловым зонтиком ударила Аркадия Аполлоновича по голове.

Кое-кто ахнул в публике, а подлый Коровьев, и он же Фагот, закричал:

— Вот, почтенные граждане, один из случаев разоблачения, которого так упорно добивался Аркадий Аполлонович!

— Как смела ты, негодяйка, ударить моего мужа? — хриплым, придушенным голосом спросила супруга Аркадия Аполлоновича, поднимаясь в ложе во весь рост.

Второй короткий прилив сатанинского смеха овладел молодой дамой.

— Уж кто-кто, — ответила она, испустив смешок, — а я-то смею, я-то смею! — И второй раз раздался резкий треск зонтика, отскочившего от головы Аркадия Аполлоновича.

— Милиция! Взять ее! — страшным голосом прокричала супруга Аркадия Аполлоновича, который остался совершенно неподвижен у борта ложи, как окаменевший.

И тут кот, совершенно ошеломив публику, подошел в рампе и вдруг рявкнул на весь театр человеческим голосом:

— Сеанс окончен! Маэстро! Рваните марш!

Ополоумевший дирижер, не отдавая даже себе отчета в том, что делает, взмахнул палочкой, и оркестр покрыл шум скандала залихватским маршем. А после этого все уже смешалось. Видно было только, что к ложе № 2 спешит милиция, а на пустой сцене черного мага, Фагота-Коровьева и кота Бегемота уже не было видно. Они так же бесследно растаяли в воздухе, как и кресло с полинявшей обивкой.

Глава XIII ЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ

Итак, неизвестный погрозил Ивану пальцем и прошептал:

— Т-сс!

Иван спустил ноги с постели, всмотрелся. С балкона осторожно заглядывал в комнату мужчина лет тридцати восьми, бритый, темноволосый, с острым носом и встревоженными глазами, со свешивающимся на лоб клоком волос.

Увидев, что Иван один, прислушавшись, таинственный посетитель осмелел, вошел в комнату. Тут увидел Иван, что пришедший одет в больничное. На нем было белье, туфли на босу ногу, на плечах халат.

Пришедший подмигнул Ивану, спрятал в карман халата связку ключей, шепотом осведомился у Ивана: «Можно присесть?» — и, получив утвердительный кивок, поместился в кресле.

— Как же вы сюда попали? — шепотом, повинуясь сухому грозящему пальцу, спросил Иван. — Ведь балконные-то решетки на замках?

— Решетки на замках, — подтвердил гость, — но Прасковья Васильевна — милейший, но, увы, рассеянный человек. Я стащил у нее месяц тому назад связку ключей и таким образом получил возмож-

ность не только выходить на балкон, но, как видите, иногда навестить и соседа.

— Раз вы можете выходить на балкон, то вы можете и удрать? Или высоко? — спросил Иван.

— Нет,—твердо ответил гость,—я не могу удрать, и не потому, что высоко, а по другим причинам. — После паузы он спросил: — Итак, сидим?

— Сидим, — ответил Иван, всматриваясь в живые карие глаза пришельца.

— Да... но вы, надеюсь, не беспокойный? — вдруг затревожился тот. —А то я, знаете, боюсь шума, драк, возни и всяких вещей в этом роде. В особенности ненавистен мне людской крик, будь то крик страдания, ярости или какой-нибудь иной крик. Успокойте меня, скажите, вы не беспокойный?

— Вчера в ресторане я одному типу по морде засветил, — мужественно признался преображенный поэт.

— Основание? — строго спросил гость.

— Да, признаться, без основания, — ответил, конфузясь, Иван, — так, история вышла...

— Безобразие, — отрезал гость и добавил: — Вы, я советую вам, перестаньте рукам волю давать. И кроме того, еще не установлено точно, что имеется у человека — морда или лицо. Вернее всего все-таки, что у него лицо, и, согласитесь, если каждый начнет кулаками ездить по лицам... Это надо оставить, уверяю вас!

Отчитав таким образом Ивана, гость осведомился:

— Профессия?

— Поэт, — почему-то неохотно признался Иван.

Пришедший огорчился.

— Ой, как мне не везет! — воскликнул он, но тут же спохватился, извинился и спросил: — А как ваша фамилия?

— Бездомный.

— Ай-яй-яй! — сказал гость, хмурясь.

— А вам что же, мои стихи не нравятся? — спросил без всякой обиды Иван.

— Ужасно не нравятся.

— А вы какие читали?

— Никаких я ваших стихов не читал! — нервно воскликнул посетитель.

— А как же вы говорите?

— Ну что же «как же»? Как будто я других не читал! А ваши, я убежден, такие же точно. Впрочем... разве что чудо?.. Ну тогда скажите мне сами, я готов принять на веру... Хороши ваши стихи?

— Чудовищные! — вдруг внезапно смело и откровенно признался Иван.

— Не пишите больше! — попросил пришедший умоляюще.

— Обещаю и клянусь! — торжественно прошептал Иван.

Клятву скрепили рукопожатием, и тотчас из коридора донеслись мягкие шаги и голоса.

— Т-сс! — шепнул гость и скрылся на балконе, задвинув за собою решетку.

Заглянула Прасковья Васильевна, спросила у Ивана, желает ли он лежать со светом или в темноте, а также закрыть ли ему на ночь дверь на балкон или он желает дышать воздухом.

Поэт попросил оставить свет и дверь на балкон не закрывать, и Прасковья Васильевна, пожелав спокойной ночи, удалилась. Все стихло опять, и тогда вернулся гость.

Он шепотом сообщил Ивану, что в 119-ю комнату привезли какого-то новенького толстяка с багровой физиономией, который все время бормочет что-то про деньги в вентиляции и клянется, что у них на Садовой поселилась нечистая сила.

— Ну, впрочем, бог с ним, — добавил гость и стал продолжать беседу с Иваном, — из-за чего попали сюда?

— Из-за Понтия Пилата, — ответил Иван.

— Как?! — шепотом воскликнул гость и даже привскочил. — Потрясающее совпадение! Расскажите, умоляю!..

Иван, почему-то испытывая доверие к неизвестному, первоначально запинаясь и робко поглядывая на гостя, а потом осмелев, начал рассказывать всю вчерашнюю историю на Патриарших прудах. Да, благодарного слушателя получил Иван Николаевич в лице своего неожиданного гостя! Тот не рядил Ивана в сумасшедшие, нет-нет, он проявил величайший интерес к этой истории, а в дальнейшем пришел уж и просто в восторг. Он то и дело прерывал Ивана восклицаниями: «Ну, ну... Дальше, дальше, умоляю! Не пропускайте ничего!»

Когда же после рассказа о завтраке у Канта и прочем дело дошло наконец до того, как Пилат в белой мантии с кровавым подбоем вышел в колоннаду, гость молитвенно сложил руки и прошептал:

— О, как я угадал! О, как я все угадал!

Описание ужасной смерти Берлиоза слушающий сопроводил загадочным замечанием:

— Об одном жалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора Мстислава Лавровича... — И исступленно, но беззвучно вскричал: — Дальше!

Кот, садящийся в трамвай, чрезвычайно развеселил гостя, и он давился смехом, глядя, как взволнованный успехом своего повествования Иван прыгал на корточках, изображая кота с гривенником возле усов.

— И вот, — вдруг туманясь и загрустив, сказал Иван, — я и оказался здесь.

Гость сочувственно положил руку на плечо бедного поэта и заметил:

— Вы сами виноваты во всем. Нельзя было держать себя с ним столь развязно и, я сказал бы, даже нагловато. Вот вы и поплатились!

— Да кто же он, наконец, такой? — приходя в возбуждение, спросил Иван.

Гость вгляделся в Ивана и ответил вопросом:

— Вы не впадете в беспокойство? Уколов и прочей возни не будет?

— Нет, нет! — воскликнул Иван. — Скажите, кто он такой?

— Ну хорошо, — ответил гость и сказал веско и раздельно: — Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной.

Иван не впал в беспокойство, но был как-то ошарашен.

— Не может этого быть, — заговорил он, — его не существует!

— Помилуйте, уж кому-кому, но не вам это говорить, — возразил гость, — вы были одним из первых, кто от него пострадал. Сидите теперь в психиатрической клинике, а все толкуете о том, что его нет. Право, это странно!

Сбитый с толку Иван замолчал.

— Лишь только вы стали описывать его наружность, — продолжал гость, — я догадался, кто был перед вами. И нечего говорить, что первые же его речи, что вы мне привели, рассеяли всякие мои сомнения. Его нельзя не узнать. Впрочем, вы... вы меня извините, вы человек невежественный?

— Бесспорно, — подтвердил Иван.

— Ну вот... неужели вы даже оперы «Фауст» не слыхали?

Иван, конфузясь, объяснил, что как-то все времени не было, то комиссии, то заседания, то он ездил в санаторий поэму писать... Словом, не пришлось...

— Ну вот... Неудивительно. А вот Берлиозу я, признаться, удивляюсь. Он человек не столько начитанный, сколько хитрый. Хотя в защиту его я должен сказать, что, конечно, Воланд может запутать кого угодно...

— Как? — воскликнул Иван.

— Тише! — воскликнул гость. — Что такое?

— Понимаю, понимаю, — забормотал Иван, — у него буква «В» на портсигаре.

— Ну, вот-с...

— Неужели он действительно был у Понтия Пилата? — всматриваясь в луну, плывущую за решеткой, прошептал Иван. — А меня сумасшедшим называют!..

Горькая складка обозначилась у губ гостя.

— Будем глядеть правде в глаза, — и он повернул лицо в сторону прекрасного светила, — и вы и я сумасшедшие. Что отпираться! Но то, что вы рассказываете, верно, ясно и правильно и действительно было. Но даже такой гениальный психиатр, как Стравинский, вам не поверит. У Понтия Пилата ваш собеседник был, как был и у Иммануила Канта, а теперь он навестил Москву.

— Да ведь он тут черт знает чего натворит! Как-нибудь его надо изловить, — озабоченно заметил Иван.

— Вы уже попробовали, и будет с вас. Другим тоже не советую его ловить, — внушительно отозвался собеседник поэта. — А что натворит, это уж будьте благонадежны. Но все-таки мне досадно, что встретился с ним не я, а вы. Клянусь, что за это я отдал бы связку ключей Прасковьи Васильевны, ибо больше мне нечего отдавать. Я — нищий.

— А зачем он вам так понадобился?

— Видите ли, какая странная история, — рассказывал гость, — дело в том, что сижу я здесь из-за того же, что и вы, и именно из-за Пон-

тия Пилата. Да, два года тому назад я, изволите ли видеть, написал роман о нем.

— Гм... Вы — писатель? — с большим интересом спросил поэт.

— Я — мастер, — сурово ответил гость и вынул из кармана засаленную черную шапочку. Он надел ее и показался Ивану и в профиль, и в фас, чтобы доказать, что он — мастер. — Она своими руками сшила ее мне, — таинственно добавил он.

— А как ваша фамилия?

— У меня нет больше фамилии, — мрачно ответил странный гость, — я отказался от нее, как и вообще от всего в жизни. Забудем о ней!

Иван умолк, а гость шепотом повел рассказ.

История его оказалась действительно не совсем обыкновенной. Историк по образованию, он лет пять тому назад работал в одном из музеев, а кроме того, занимался переводами. Жил одиноко, не имея родных нигде и почти не имея знакомых. И представьте, однажды выиграл сто тысяч рублей.

— Можете вообразить мое изумление! — рассказывал гость. — Я эту облигацию, которую мне дали в музее, засунул в корзину с бельем и совершенно про нее забыл. И тут, вообразите, как-то пью чай утром и машинально гляжу в газету. Вижу — колонка каких-то цифр. Думаю о своем, но один номер меня беспокоит. А у меня, надо вам сказать, была зрительная память. Начинаю думать: а ведь я где-то видел цифру «13», жирную и черную, слева видел, а справа цифры цветные и на розоватом фоне. Мучился, мучился и вспомнил! В корзину — и, знаете ли, я был совершенно потрясен!..

Выиграв сто тысяч, загадочный гость Ивана поступил так: купил на пять тысяч книг и из своей комнаты на Мясницкой переехал в переулок близ Пречистенки, в две комнаты в подвале маленького домика в садике. Музей бросил и начал писать роман о Понтии Пилате.

— Ах, это был золотой век, — блестя глазами, шептал рассказчик. — Маленькие оконца выходили в садик, и зимою я видел редко, редко чьи-нибудь черные ноги, слышал хруст снега. В печке у меня вечно пылал огонь. Но наступила весна, и сквозь мутные стекла увидел я сперва голые, а затем зеленеющие кусты сирени. И тогда весною случилось нечто гораздо более восхитительное, чем получение ста тысяч рублей. А сто тысяч, как хотите, колоссальная сумма денег!

— Это верно, — согласился внимательный Иван.

— Я шел по Тверской тогда весною. Люблю, когда город летит мимо. И он мимо меня летел, я же думал о Понтии Пилате и о том, что через несколько дней я допишу последние слова и слова эти будут непременно — «шестой прокуратор Иудеи Понтий Пилат».

Но тут я увидел ее, и поразила меня не столько даже ее красота, сколько то, что у нее были тревожные, одинокие глаза. Она несла в руках отвратительные желтые цветы. Они необыкновенно ярко выделялись на черном ее пальто. Она повернула с Тверской в переулок и тут же обернулась. Представьте себе, что шли по Тверской

сотни, тысячи людей, я вам ручаюсь, что она видела меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как-то болезненно.

И я повернул за нею в переулок и пошел по ее следам, повинуясь. Она несла свой желтый знак так, как будто это был тяжелый груз.

Мы прошли по кривому скучному переулку безмолвно, я по одной стороне, она по другой. Я мучился, не зная, как с нею заговорить, и тревожился, что она уйдет и я никогда ее более не увижу.

И тогда заговорила она.

— Нравятся ли вам эти цветы?

Отчетливо помню, как прозвучал ее низкий голос, и мне даже показалось, что эхо ударило в переулке и отразилось от грязных желтых стен.

Я быстро перешел на ее сторону и, подходя к ней, ответил:

— Нет.

Она поглядела на меня удивленно, а я вгляделся в нее и вдруг понял, что никто в жизни мне так не нравился и никогда не понравится, как эта женщина.

— Вы вообще не любите цветов? — спросила она и поглядела на меня, как мне показалось, враждебно.

Я шел с нею, стараясь идти в ногу, чувствовал себя крайне стесненным.

— Нет, я люблю цветы, только не такие, — сказал я и прочистил голос.

— А какие?

— Я розы люблю.

Тогда она бросила цветы в канаву. Я настолько растерялся, что было поднял их, но она усмехнулась и оттолкнула их, тогда я понес их в руках.

Мы вышли из кривого переулка в прямой и широкий, на углу она беспокойно огляделась. Я в недоумении поглядел в ее темные глаза. Она усмехнулась и сказала так:

— Это опасный переулочек. — Видя мое недоумение, пояснила: — Здесь может проехать машина, а в ней человек...

Мы пересекли опасный переулок и вошли в глухой, пустынный. Здесь бодрее застучали ее каблуки.

Она мягким, но настойчивым движением вынула у меня из рук цветы, бросила их на мостовую, затем продела свою руку в черной перчатке с раструбом в мою, и мы пошли тесно рядом.

Любовь поразила нас, как молния, как нож. Я это знал в тот же день уже, через час, когда мы оказались, не замечая города, у Кремлевской стены на набережной. Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет.

На другой день мы сговорились встретиться там же, на Москве-реке, и встретились. Майское солнце светило приветливо нам.

И скоро, скоро стала эта женщина моею тайною женой.

Она приходила ко мне днем, я начинал ее ждать за полчаса до срока. В эти полчаса я мог только курить и переставлять с места на место на столе предметы. Потом я садился к окну и прислушивался, когда стукнет ветхая калитка. Во дворик наш мало кто прихо-

дил, но теперь мне казалось, что весь город устремился сюда. Стукнет калитка, стукнет мое сердце, и, вообразите, грязные сапоги в окне. Кто ходил? Почему-то точильщики какие-то, почтальон, не нужный мне.

Она входила в калитку один раз, как сами понимаете, а сердце у меня стучало раз десять, я не лгу. А потом, когда приходил ее час и стрелка показывала полдень, оно уже и не переставало стучать до тех пор, пока без стука, почти совсем бесшумно, не равнялись с окном туфли с черными замшевыми накладками-бантами, стянутыми стальными пряжками.

Иногда она шалила и, задержавшись у второго оконца, постукивала носком в стекло. Я в ту же секунду оказывался у этого окна, но исчезала туфля, черный шелк, заслонявший свет, исчезал, я шел ей открывать.

Никто не знал о нашей связи, за это я вам ручаюсь, хотя так никогда и не бывает. Не знал ее муж, не знали знакомые. В стареньком особняке, где мне принадлежал этот подвал, знали, конечно, видели, что приходит ко мне какая-то женщина, но имени ее не знали.

— А кто же такая она была? — спросил Иван, заинтересовавшись этой любовной историей.

Гость сделал жест, означавший — «ни за что, никогда не скажу», и продолжил свой рассказ.

Ивану стало известно, что мастер и незнакомка полюбили друг друга так крепко, что не могли уже жить друг без друга. Иван представлял себе уже ясно и две комнаты в подвале особняка, в которых были всегда сумерки из-за сирени и забора. Красную потертую мебель в первой, бюро, на нем часы, звеневшие каждые полчаса, и книги, книги от крашеного пола до закопченного потолка, и печку.

Диван в узкой второй и опять-таки книги, коврик возле этого дивана, крохотный письменный стол.

Иван узнал, что гость его и тайная жена уже в первые дни своей связи пришли к заключению, что столкнула их на углу Тверской и переулка сама судьба и что созданы они друг для друга навек.

Иван узнал из рассказа гостя, как проводили день возлюбленные. Она приходила и надевала фартук, и в той узкой передней, где помещался умывальник, а на деревянном столе керосинка, готовила завтрак и завтрак этот накрывала в первой комнате на овальном столе. Когда шли майские грозы и мимо подслеповатых окон шумно катилась в подворотню вода, угрожая залить последний приют, влюбленные растапливали печку и завтракали при огненных отблесках, игравших на хрустальных рюмках с красным вином. Кончились грозы, настало душное лето, и в вазе появились долгожданные и обоими любимые розы.

Герой этого рассказа работал как-то лихорадочно над своим романом, и этот роман поглотил и героиню.

— Право, временами я начинал ревновать ее к нему, — шептал пришедший с лунного балкона ночной гость Ивану.

Как выяснилось, она, прочитав исписанные листы, стала перечитывать их, сшила из черного шелка вот эту самую шапочку.

Если герой работал днем, она, сидя на корточках у нижних полок или стоя на стуле у верхних в соседней комнате, тряпкой вытирала пыльные корешки книг с таким благоговением, как будто это были священные и бьющиеся сосуды.

Она подталкивала его и гнала, сулила славу и стала называть героя мастером. Она в лихорадке дожидалась конца, последних слов о прокураторе Иудеи, шептала фразы, которые ей особенно понравились, и говорила, что в этом романе ее жизнь.

И этот роман был дописан в августе. Героиня сама отнесла его куда-то, говоря, что знает чудную машинистку. Она ездила к ней проверять, как идет работа.

В конце августа однажды она приехала в таксомоторе, герой услышал нетерпеливое постукивание руки в черной перчатке в оконце, вышел во двор. Из таксомотора был выгружен толстеннейший пакет, перевязанный накрест, в нем оказалось пять экземпляров романа.

Герой долго правил эти экземпляры, и она сидела рядом с резинкой в руках и шепотом ругала автора за то, что он пачкает страницы, и ножичком выскабливала кляксы. Настал наконец день и час покинуть тайный приют и выйти с этим романом в жизнь.

— И я вышел, держа его в руках, и тогда кончилась моя жизнь, — прошептал мастер и поник головой, и качалась долго черная шапочка.

Мастер рассказал, что он привез свое произведение в одну из редакций и сдал его какой-то женщине, и та велела ему прийти за ответом через две недели.

— Я впервые попал в мир литературы, но теперь, когда все уже кончилось и гибель моя налицо, вспоминаю его с содроганием и ненавистью! — прошептал торжественно мастер и поднял руку.

Действительно, того, кто называл себя мастером, постигла какая-то катастрофа.

Он рассказал Ивану про свою встречу с редактором. Редактор этот чрезвычайно изумил автора.

— Он смотрел на меня так, как будто у меня флюсом раздуло щеку, как-то косился и даже сконфуженно хихикал. Без нужды листал манускрипт и крякал. Вопросы, которые он мне задавал, показались сумасшедшими. Не говоря ничего по существу романа, он стал спрашивать, кто я таков и откуда взялся, давно ли я пишу и почему обо мне ничего не было слышно раньше, и даже задал совсем идиотский вопрос: как это так мне пришла в голову мысль написать роман на такую тему?

Наконец он мне надоел, и я спросил его напрямик: будет ли он печатать роман или не будет?

Тут он как-то засуетился и заявил, что сам он решить этот вопрос не может, что с этим произведением должны ознакомиться другие члены редакционной коллегии, именно критики Латунский и Ариман и литератор Мстислав Лаврович.

Я ушел и через две недели получил от той самой девицы со скошенными к носу от постоянного вранья глазами...

— Это Лапшенникова, секретарь редакции, — заметил Иван, хорошо знающий тот мир, что так гневно описывал его гость.

— Может быть, — отрезал тот и продолжал: — ...да, так вот от этой девицы получил свой роман, уже порядочно засаленный и растрепанный. Девица сообщила, водя вывороченным глазом мимо меня, что редакция обеспечена материалом уже на два года вперед и поэтому вопрос о напечатании Понтия Пилата отпадает.

И мой роман вернулся туда, откуда вышел. Я помню осыпавшиеся красные лепестки розы на титульном листе и полные раздражения глаза моей жены.

Далее, как услышал Иван, произошло нечто внезапное и странное. Однажды герой развернул газету и увидел в ней статью критика Аримана, которая называлась «Вылазка врага» и где Ариман предупреждал всех и каждого, что он, то есть наш герой, сделал попытку протащить в печать апологию Иисуса Христа.

— А, помню, помню! — вскричал Иван. — Но я забыл, как ваша фамилия?

— Оставим, повторяю, мою фамилию, ее нет больше, — ответил гость, — дело не в ней. Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор ее предлагал ударить, и крепко ударить, по пилатчине и тому богомазу, который вздумал ее протащить (опять это проклятое слово!) в печать.

Остолбенев от этого неслыханного слова «пилатчина», я развернул третью газету. Здесь было две статьи: одна Латунского, а другая подписанная буквами «М.З.».

Уверяю вас, что произведения Аримана и Лавровича могли считаться шуткою по сравнению с написанным Латунским. Достаточно вам сказать, что называлась статья Латунского «Воинствующий старообрядец». Я так увлекся чтением статей о себе, что не заметил, как она (дверь я забыл закрыть) предстала предо мною с мокрым зонтиком в руках и с мокрыми же газетами. Глаза ее источали огонь, руки дрожали и были холодны. Сперва она бросилась меня целовать, затем хриплым голосом и стуча рукою по столу, сказала, что она отравит Латунского!

Иван как-то сконфуженно покряхтел, но ничего не сказал.

— Настали безрадостные осенние дни, — продолжал гость, — чудовищная неудача с этим романом как бы вынула у меня часть души. По существу говоря, мне больше нечего было делать, и жил я от свидания к свиданию.

И вот в это время случилось что-то со мною. Черт знает что, в чем Стравинский, наверное, давно уж разобрался. Именно, нашла на меня тоска и появились какие-то предчувствия. Статьи, заметьте, не прекращались. Клянусь вам, что они смешили меня. Я твердо знал, что в них нет правды, и в особенности это отличало статьи Мстислава Лавровича (а он писал о Пилате и обо мне еще два раза). Что-то удивительно фальшивое, неуверенное чувствовалось буквально в каждом слове его статей, несмотря на то, что слова все были какие-то пугающие, звонкие, крепкие и на место поставленные. Так вот, я, повторяю, смеялся, меня не пугал ни Мстислав, ни Латунский.

А между тем, подумайте, снизу, где-то под этим, подымалась во мне тоска. Мне казалось, в особенности когда я засыпал, что какой-то очень гибкий и холодный спрут своими щупальцами подбирается непосредственно и прямо к моему сердцу.

Моя возлюбленная изменилась. Она похудела и побледнела и настаивала на том, чтобы я, бросив все, уехал бы на месяц на юг. Она была настойчива, и я, чтобы не спорить, совершил следующее — вынул из сберегательной кассы последнее, что оставалось от ста тысяч, —увы — девять тысяч рублей. Я отдал их ей на сохранение, до моего отъезда, сказав, что боюсь воров. Она настаивала на том, чтобы я послезавтра же взял бы билеты на юг, и я обещал ей это, хотя что-то в моей душе упорно подсказывало мне, что ни на какой юг и никогда я не уеду.

В ту ночь я долго не мог заснуть и вдруг, тараща глаза в темноту, понял, что я заболел боязнью. Не подумайте, что боязнью Мстислава, Латунского, нет, нет. Сквернейшая штука приключилась со мною. Я стал бояться оставаться один в комнате. Я зажег свет. Передо мною оказались привычные предметы, но легче мне от этого не стало. Симптомы атаковали меня со всех сторон, опять померещился спрут. Малодушие мое усиливалось, явилась дикая мысль уйти куда-нибудь из дому. Но часы прозвенели четыре, идти было некуда. Я попробовал снять книгу с полки. Книга вызвала во мне отвращение. Тогда я понял, что дело мое плохо. Чтобы проверить себя, я отодвинул занавеску и глянул в оконце. Там была черная тьма, и ужас во мне возник от мысли, что она сейчас начнет вливаться в мое убежище. Я тихо вскрикнул, задернул занавеску, зажег все огни и затопил печку. Когда загудело пламя и застучала дверца, мне как будто стало легче. Я открыл шкаф в передней, достал бутылку белого, ее любимого вина, и стал пить его стакан за стаканом. Мне полегчало, не оттого, что притупились страшные мысли, а оттого, что они пришли вразброд. Тогда я, понимая, конечно, что этого быть не может, пытался вызвать ее. Я знал, что это она — единственное существо в мире — может помочь мне. Я сидел, съежившись на полу у печки, жар обжигал мне лицо и руки, и шептал:

— Догадайся, что со мною случилась беда. Приди, приди, приди!

Но никто не шел. Гудело в печке, и в оконца нахлестывал дождь.

Тогда случилось последнее. Я вынул из ящиков стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их жечь. Это не так-то просто сделать. Исписанная бумага горит неохотно. Ломая изредка ногти, я разодрал тетради, вкладывал их между поленьями, ставил стоймя, кочергой трепал листы. Ломкий пепел по временам одолевал меня, душил пламя, но я боролся с ним, и роман погибал. Покончив с тетрадями, я принялся за машинные экземпляры. Я отгреб гору пепла в глубь печки и, разняв толстые манускрипты, стал погружать их в пасть. Знакомые слова мелькали предо мною, желтизна неудержимо поднималась снизу вверх, но слова все-таки виднелись на ней. Они пропадали лишь тогда, когда бумага чернела, и кочергой я яростно добивал мои мысли. Мне стало как бы легче.

В это время в окно тихо постучались, как будто кто-то царапался. Сердце мое прыгнуло, и я, погрузив последние слои в огонь, пошел отворять.

Кирпичные ступеньки вели из подвала к двери наверх, пахнуло сыростью. У двери я с тревожным сердцем спросил тихо:

— Кто там?

И голос, ее голос, ответил мне:

— Это я.

Не помня себя, не помня как, я совладал с цепью и ключом. Она лишь только шагнула внутрь, припала ко мне вся мокрая, с мокрыми щеками, развившимися волосами, дрожащая. Я мог произнести только слова:

— Ты... ты, — и голос мой прервался, и мы вбежали в переднюю. Она освободилась от пальто и подошла к огню. Она тихо вскрикнула и голыми руками выбросила из печи последнее, что там оставалось, пачку, которая занялась снизу. Дым наполнил комнату мгновенно. Я ногами затоптал огонь, а она повалилась на диван и заплакала неудержимо и судорожно. Отдельные слова прорывались сквозь горький плач:

— Я чувствовала... знала... Я бежала... я знала, что беда... Опоздала... он уехал, его вызвали телеграммой... и я прибежала... я прибежала!

Тут она отняла руки и, глядя на меня страшными глазами, спросила:

— Зачем ты это сделал? Как ты смел погубить его?

Я помолчал, глядя на валявшиеся обожженные листы, и ответил:

— Я все возненавидел и боюсь... Я даже тебя звал. Мне страшно.

Слова мои произвели необыкновенное действие. Она поднялась, утихла и спросила, и в голосе ее был ужас:

— Боже, ты нездоров? Ты нездоров... Но я спасу тебя, я тебя спасу... Что же это такое? Боже!

Я не хотел ее пугать, но я обессилел и в малодушии признался ей во всем, рассказал, как обвил меня черный спрут, сказал, что я знаю, что случится несчастье, что романа своего я больше видеть не мог, он мучил меня.

— Ужасно! Ужасно! — бормотала она, глядя на меня, и я видел ее вспухшие от дыму и плача глаза, я чувствовал, как холодные руки гладят мне лоб. — Но ничего. О, нет! Ты восстановишь его! Я тебя вылечу, не дам тебе сдаться, ты его запишешь вновь! Проклятая! Зачем я не оставила у себя один экземпляр!

Она скалилась от ярости, что-то еще бормотала. Затем, сжав губы, она принялась собирать и расправлять обгоревшие листы. Она сложила их аккуратно, завернула в бумагу, перевязала лентой. Все ее действия показывали, что она полна решимости, что она овладела собой. Выпив вина, она стала торопливо собираться. Это было мучительно для нее, она хотела остаться у меня, но сделать этого не могла. Она солгала прислуге, что смертельно заболела ее близкая приятельница, и умчалась, изумив дворника.

— Как приходится платить за ложь, — говорила она, — и я больше не хочу лгать. Я приду к тебе и останусь навсегда у тебя. Но, быть может, ты не хочешь этого?

— Ты никогда не придешь ко мне, — тихо сказал я, — и первый, кто этого не допустит, буду я. У меня плохие предчувствия, со мною будет нехорошо, и я не хочу, чтобы ты погибла вместе со мною.

— Клянусь, клянусь тебе, что так не будет, — с великою верою произнесла она, — брось, умоляю, печальные мысли. Пей вино! Еще пей. Постарайся уснуть, через несколько дней я приду к тебе навсегда. Дай мне только разорвать цепь, мне жаль другого человека. Он ничего дурного не сделал мне.

И наконец мы расстались, и расстались, как я и предчувствовал, навсегда. Последнее, что я помню в жизни, — это полосу света из моей передней и в этой полосе света развившуюся прядь из-под шапочки и ее глаза, молящие, убитые глаза несчастного человека. Потом помню черный силуэт, уходящий в непогоду с белым свертком.

На пороге во тьме я задержал ее, говоря:

— Погоди, я пойду проводить тебя. Но я боюсь идти назад один...

— Ни за что! — это были ее последние слова в жизни.

— Т-сс! — вдруг сам себя прервал больной и поднял палец. — Беспокойная ночка сегодня. Слышите?

Глухо послышался голос Прасковьи Васильевны в коридоре, и гость Ивана, согнувшись, скрылся на балконе за решеткой.

Иван слышал, как прокатились мягкие колесики по коридору, слабенько кто-то не то вскрикнул, не то всхлипнул...

Гость отсутствовал некоторое время, а вернувшись, сообщил, что еще одна комната получила жильца. Привезли кого-то, который вскрикивает и уверяет, что у него оторвали голову.

Оба собеседника помолчали в тревоге, но, успокоившись, вернулись к прерванному.

— Дальше! — попросил Иван.

Гость раскрыл было рот, но ночка была действительно беспокойная, неясно из коридора слышались два голоса, и гость поэтому начал говорить Ивану на ухо так тихо, что ни одного слова из того, что он рассказал, не стало известно никому, кроме поэта. Но рассказывал больной что-то, что очень взволновало его. Судороги то и дело проходили по его лицу, в них была то ярость, то ужас, то возникало что-то просто болезненное, а в глазах плавал и метался страх. Рассказчик указывал рукой куда-то в сторону балкона, и балкон этот уже был темен, луна ушла с него.

Лишь тогда, когда перестали доноситься какие-нибудь звуки извне, гость отодвинулся от Ивана и заговорил погромче:

— Я стоял в том же самом пальто, но с оторванными пуговицами, и жался от холода, вернее не столько от холода, сколько от страху, который стал теперь моим вечным спутником. Сугробы возвышались за моею спиной под забором, из-под калитки, неплотно прикрытой, наметало снег. А впереди меня были слабенько освещенные мои оконца: я припал к стене, прислушался — там играл патефон. Это все, что я расслышал, но разглядеть ничего не мог, и так и не уда-

лось мне узнать, кто живет в моих комнатах и что сталось с моими книгами, бьют ли часы, гудит ли в печке огонь.

Я вышел за калитку, метель играла в переулке вовсю. Меня испугала собака, я перебежал от нее на другую сторону. Холод доводил меня до исступления. Идти мне было некуда, и проще всего было бы броситься под трамвай, покончив всю эту гнусную историю, благо их, совершенно заледеневших, сколько угодно проходило по улице, в которую выходил мой переулок. Я видел издали эти наполненные светом ящики и слышал их омерзительный скрежет на морозе. Но, дорогой мой сосед, вся штука заключалась в том, что страх пронизывал меня до последней клеточки тела. Я боялся приблизиться к трамваю. Да, хуже моей болезни в этом здании нет, уверяю вас!

— Но вы же могли дать знать ей, — растерянно сказал Иван, — ведь она, я полагаю, сохранила ваши деньги?

— Не сомневаюсь в этом, — сухо ответил гость, — но вы, очевидно, не понимаете меня? Или, вернее, я утратил бывшую у меня некогда способность описывать что-нибудь. Мне, впрочем, не жаль этой способности, она мне больше не нужна. Перед моей женой предстал бы человек, заросший громадной бородой, в дырявых валенках, в разорванном пальто, с мутными глазами, вздрагивающий и отшатывающийся от людей. Душевнобольной. Вы шутите, мой друг! Нет, — оскалившись, воскликнул больной, — на это я не способен. Я был несчастный, трясущийся от душевного недуга и от физического холода человек, но сделать ее несчастной… нет! На это я не способен!

Гость умолк. Новый Иван сочувствовал гостю, сострадал ему.

А тот кивал в душевной муке воспоминаний головой и говорил с жаром и слезами:

— Нет… Я верю, я знаю, что вспоминала она меня всякий день и страдала… Бедная женщина! Но она страдала бы гораздо больше, если бы я появился перед нею такой, как я был! Впрочем, теперь она, я полагаю, забыла меня. Да, конечно…

— Но вы бы выздоровели… — робко сказал Иван.

— Я неизлечим, — глухо ответил гость, — я не верю Стравинскому только в одном: когда он говорит, что вернет меня к жизни. Он гуманен и просто утешает меня. Не отрицаю, впрочем, что мне теперь гораздо лучше.

Тут глаза гостя вспыхнули, и слезы исчезли, он вспомнил что-то, что вызвало его гнев.

— Нет, — забывшись, почти полным голосом вскричал он, — нет! Жизнь вытолкнула меня, ну так я и не вернусь в нее. Я уж повисну, повисну… — Он забормотал что-то несвязное, встревожив Ивана. Но потом поуспокоился и продолжал свой горький рассказ.

— Да-с... так вот, летящие ящики, ночь, мороз и… куда? Я знал, что эта клиника уже открылась, и через весь город пешком пошел… Безумие. За городом я, наверно, замерз бы… Но меня спасла случайность, как любят думать… Что-то сломалось в грузовике, я подошел, и шофер, к моему удивлению, сжалился надо мною… Машина шла

сюда. Меня привезли... Я отделался тем, что отморозил пальцы на ноге и на руке, но это вылечили.

И вот я пятый месяц здесь... И знаете, нахожу, что здесь очень и очень неплохо. Не надо задаваться большими планами. Право! Я хотел объехать весь земной шар под руку с нею... Ну что ж, это не суждено... Я вижу только незначительный кусок этого шара... Это далеко не самое лучшее, что есть на нем, но для одного человека хватит... Решетка, лето идет, на ней завьется плющ, как обещает Прасковья Васильевна. Кража ключей расширила мои возможности. По ночам луна... ах... она уходит... Свежеет, ночь валится через полночь... Пора... До свидания!

— Скажите мне, что было дальше, дальше, — попросил Иван, — про Га-Ноцри...

— Нет, — опять оскалившись, отозвался гость уже у решетки, — никогда. Он, ваш знакомый на Патриарших, сделал бы это лучше меня. Я ненавижу свой роман! Спасибо за беседу.

И раньше чем Иван опомнился, с тихим звоном закрылась решетка, и гость исчез.

Глава 14 СЛАВА ПЕТУХУ!

В то время как вдали за городом гость рассказывал поэту свою несчастную повесть, Григорий Данилович Римский находился в ужаснейшем настроении духа.

Представление, если, конечно, представлением можно назвать все безобразие, которое совершилось в театре Варьете, только что закончилось, и две с половиною тысячи народу вытекали из узких выходов здания в великом возбуждении.

Созерцать почтенного Аркадия Аполлоновича с громадной шишкой на лбу, присутствовать при неприятном скандальном протоколе, слушать глупые вопли супруги Аркадия Аполлоновича и дерзкой его племянницы было настолько страшно и мучительно, что Григорий Данилович бежал в свой кабинет.

Дело было, натурально, не в одном избиении Семплеярова, представляющем лишь звено в цепи пакостей сегодняшнего дня и вечера. Римский прекрасно соображал, что завтра придется отчитываться по поводу совершенно невероятного спектакля, учиненного в Варьете страннейшей группой артистов.

Первая мысль Римского была, естественно, о том, насколько он сам защищен в этом вопросе. Внешне, казалось бы, достаточно. Заведующий программами в отделе театральных площадок Ласточкин утвердил программу, афиша была проверена и надлежащим образом подписана; наконец, приглашал этого Воланда все тот же проклятый Степа, бич и мучение театра. Все это было так, но тем не менее то

ярость, то ужас поражали душу финдиректора. Он был опытным человеком и понимал превосходно, что завтра, не позже, ему придется расхлебывать жуткое месиво, несмотря на то, что по форме все было соблюдено как следует.

И говорящий на человеческом языке кот был далеко не самым страшным во всем этом! Чего стоило исчезновение Лиходеева, затем исчезновение Варенухи! Боже мой! А переодевание публики на сцене, а денежные бумажки? А драка на галерке? Семплеяров, лица милиции, дикое и никем не разоблаченное оторвание головы у конферансье, которого пришлось отправить в психиатрическую лечебницу! Что же это такое?! Но это далеко не все. Римский сам видел, как публика расходилась с этими самыми червонцами в руках. Они и на пороге здания ничуть не превратились в дым или еще во что бы то ни было! Фокус этот можно было считать переходящим всякие границы дозволенного. А ну как публика начнет испытывать... Римский побледнел.

А что он мог сделать? Войдите в его положение! Прервать представление? Как? Каким способом? А завтра что будет? Боже мой! Завтра!

Финдиректор хорошо знал театральное дело. Он знал, что эти две с половиной тысячи человек сегодня же ночью распустят по всей Москве такие рассказы о сегодняшнем небывалом представлении, что... ужас, ужас!

И завтра с десяти часов утра, нет, не с десяти, а с восьми... да, черт возьми, с шести! — на Садовой к кассам Варьете станет в очередь две тысячи человек, да не две, а пять тысяч! Он сам видел, как возбужденные люди барабанили кулаками в закрытое окно кассы, как они спрашивали у дурацки-растерянно улыбающихся капельдинеров, в котором часу завтра открывается касса. Он сам, продираясь в кипящей толпе расходящихся к своему кабинету, видел уже четырех барышников, которые, как коршуны, прилетели к ночи в театр, узнав о том, что в нем творится. И даже если представить себе, что все, собственно, благополучно и представление завтра состоится, то первое и основное, что должен он сделать, это сейчас же связаться с милицией по телефону и вызывать к театру завтра с утра очень значительный конный наряд!

Но, конечно, и речи быть не может о том, что такое представление может завтра состояться! Стало быть, конная милиция сама собой, а спектакль тем не менее снимать! Но где же Варенуха?

Воспаленными глазами глядел Римский на червонцы, лежащие перед ним (их было шесть штук), и ум у него заходил за разум. Снаружи несся ровный гул. Публика потоками выливалась на улицу. До чрезвычайно обострившегося слуха финдиректора вдруг донеслась прорезавшая шум отлива отчетливая милицейская трель. Сама по себе она уже никогда не сулит ничего приятного. А когда она повторилась и к ней в помощь вступила другая, более властная и продолжительная, а к ним присоединился явственно слышный гогот и даже мерзкое улюлюканье, финдиректор сразу понял, что на улице совершилось еще что-то и скандальное, и пакостное. И что это

что-то, как бы ни хотелось отмахнуться от этого, находится в теснейшей связи с чертовым сеансом черного мага и его помощников. И финдиректор ничуть не ошибся. Лишь только он глянул в окно, лицо его перекосило, и он не прошептал, а прошипел:

— Я так и знал!

Он увидел в ярком свете сильнейших уличных фонарей даму в одной сорочке и панталонах фиолетового цвета. На голове у дамы, правда, была шляпочка, а в руках зонтик.

Вокруг этой дамы, находящейся в состоянии исступления, то приседающей, то порывающейся бежать куда-то, волновалась толпа, издавая тот самый хохот, заставивший финдиректора вздрогнуть даже сквозь стекла.

Возле дамы метался какой-то гражданин, сдирающий с себя летнее пальто и от волнения никак не справляющийся с рукавом, в котором застряла рука.

Тут крики и ревущий хохот донесся и из другого места, именно от бокового левого подъезда, и, повернув туда голову, Григорий Данилович увидел вторую даму в розовом белье и без зонтика. Та прыгнула с мостовой на тротуар, стремясь скрыться в подъезде, но из подъезда еще вытекала публика, и бедная жертва своего собственного легкомыслия прыгала на одном месте, мечтая только о том, чтобы провалиться сквозь землю. Милиционер устремлялся к несчастной, обманутой гнусным гипнотизером Фаготом, сверля воздух свистом, за милиционером бежали развеселые молодые люди в кепках. Они тыкали пальцами и испускали хохот и улюлюканье.

Усатый худой лихач подлетел к первой раздетой и с размаху осадил костлявую разбитую лошадь. Лицо усача радостно ухмылялось.

Римский вдруг стукнул себя кулаком по голове, плюнул и отскочил от окна.

Он посидел некоторое время у стола, невольно прислушиваясь к улице. Свист в разных точках площади достиг высшей силы, а потом стал спадать. Скандал, к удивлению Римского, ликвидировался как-то неожиданно быстро.

Настала пора действовать, приходилось пить горькую чашу ответственности. Аппараты были исправлены во время третьего отделения, надо было звонить, просить помощи, сообщить о происшествиях, снимать с себя ответственность. Это было ужасно, и печальными и злобными глазами глядел финдиректор на диск аппарата с цифрами. Надо, однако, сказать, что останавливал его руку, как это ни странно, вовсе не страх неприятных служебных разговоров, от них уйти было нельзя, дело зашло слишком далеко, а что-то другое. Но что? А вот какой-то беззвучный голос, внушавший ему, даже не шепчущий, — «не звони!» Звонить надо, а голос — «не звони». Два раза расстроенный директор клал руку на трубку и дважды ее снимал. И вдруг в мертвой тишине кабинета сам аппарат разразился звоном прямо в лицо Римскому, и тот вздрогнул и похолодел. «Что с моими нервами?!» — подумал финдиректор и трясущейся рукой поднял трубку.

— Да, — сказал он слабо, отшатнулся и стал белее бумаги.

Тихий и в одно время и вкрадчивый, и развратный женский голос шепнул в трубке: «Не звони, Римский, худо будет», — и тотчас трубка опустела.

Вздрагивая, чувствуя мурашки в спине, финдиректор положил трубку и оглянулся почему-то на то окно, что было за его спиной. Сквозь редкие и еще не опушенные как следует зеленью ветви липы он увидел луну, пробегающую сквозь жидкое облачко. Почему-то приковавшись к ветвям липы, Римский смотрел на них, и чем более смотрел, тем сильнее и сильнее его охватывал страх.

Сделав над собою усилие, финдиректор отвернулся наконец от лунного окна и встал. Никакого разговора о том, чтобы звонить, не могло больше и речи быть, и теперь финдиректор думал только об одном, как и быстрее уйти из театра.

Он прислушался: здание, в котором десять минут назад слышались гулы, завывание, теперь молчало. Римский понял, что все разошлись, кроме дежурного где-то у кассы. Он был один во втором этаже, и неодолимый страх овладел им при мысли, что ему придется проходить одному по коридорам и спускаться по лестницам. Он лихорадочно схватил гипнотизерские червонцы, спрятал их в портфель и кашлянул, чтобы хоть чуточку ободрить себя. Кашель вышел хрипловатым, слабым.

И тут еще показалось, что потянуло из-под двери гниловатой сыростью. Дрожь прошла по спине. «Заболеваю я, что ли? Знобит», — подумал Римский.

Часы ударили и стали бить полночь. Теперь даже бой волновал вконец расстроившего нервы финдиректора. Но окончательно упало его сердце, когда он услышал, что в замке двери тихонько снаружи поворачивается английский ключ. Вцепившись в портфель, финдиректор дрожал и чувствовал, что если еще немного продлится этот шорох в скважине, он не выдержит, закричит.

Тут дверь открылась, и перед финдиректором предстал... Варенуха!

Римский как стоял, так и сел в кресло, оттого что ноги его подогнулись.

Набрав воздуху в грудь, он улыбнулся жалкой, болезненной улыбкой и сказал слабо:

— Боже, как ты меня испугал!

Губы его еще прыгали при этом, но силы уже возвращались к нему. Возвращение администратора являлось огромной радостью в этих ужасных обстоятельствах.

— Прости, пожалуйста, — глухим голосом ответил вошедший, закрывая дверь, — я думал, что ты уже ушел...

Варенуха, не снимая кепки, прошел к креслу и сел по другую сторону стола.

В ответе Варенухи была маленькая странность, которая легонько кольнула чуткого Римского: в самом деле — зачем же Варенуха шел в кабинет, если думал, что там финдиректора нету?

Это раз. А два: входя, Варенуха неизбежно должен был встретиться с дежурным, и тот сказал бы, что финдиректор еще у себя.

Но эту странность финдиректор тотчас отогнал от себя. Не до нее было. Теперь горячая волна радости начала заливать финдиректора.

— Ну, говори же, говори, — нервничая от нетерпения, вскричал Римский, — где же ты пропадал? Разъяснилось все чертово дело с Владикавказом?

— Чего ж ему не разъясниться, — очень равнодушно отозвался Варенуха, — конечно, разъяснилось.

— Что же это такое?!

— Да то, что я и говорил, — причмокнув, как будто его беспокоил больной зуб, ответил администратор, — нашли в трактире на Сходне.

— Ну, а телеграммы?!

— Как я и говорил. Напоил телеграфиста, и начали безобразничать, посылать телеграммы с пометкой Владикавказа.

Радость вспыхнула в злых и измученных глазах Римского.

— Ага... ладно, — зловеще сказал он и, стукнув, переложил портфель с одного места на другое. В голове у него сложилась целая картина того, как Степу с позором снимут с работы, а может, добьется тот и чего-нибудь похуже. — Ну, рассказывай, рассказывай, — нетерпеливо добавил Римский.

И Варенуха начал рассказывать подробности. Как только он явился куда следовало, его немедленно приняли и выслушали внимательнейшим образом. Никто, конечно, и мысли не допустил о том, что Степа может быть во Владикавказе. Все сейчас же согласились с предположением Варенухи о том, что Лиходеев, конечно, в трактире на Сходне...

— Где же он сейчас?! — перебил администратора взволнованный финдиректор.

— Где же ему быть, — ответил, криво ухмыльнувшись, администратор, — в вытрезвителе!

— Ну, ну... Ай, спасибо!

Варенуха начал повествовать дальше. И чем больше повествовал, тем ярче выступала перед финдиректором длиннейшая цепь лиходеевских хамств и безобразий, и было в этой цепи всякое последующее звено хуже предыдущего. Тут обнаружилась и пьяная пляска в обнимку с телеграфистом на лужайке перед сходненским телеграфом, да еще под звуки какой-то праздношатающейся гармоники. Гонка за какими-то дамами, визжащими от страха... Ссора с буфетчиком в самом «Владикавказе»... Темный ужас!

Степа был хорошо известен в Москве, и все знали, что человек этот не подарочек, но все, что рассказывал администратор, даже и для Степы было чересчур. Да... чересчур. Очень чересчур.

Колючие глаза Римского через стол врезались в лицо администратора. Чем дальше тот говорил, тем мрачнее становились эти глаза. Чем большими подробностями уснащал свою повесть администратор, чем жизненнее и красочнее становились они, тем менее верил рассказчику финдиректор. Когда же Варенуха дошел до того места, где Степа порывался оказать сопротивление приехавшим за ним, чтобы вернуть его в Москву, финдиректор твердо знал, что все, что рассказывает вернувшийся к нему в полночь администратор, все ложь! Ложь от первого до последнего слова. Варенуха не ездил на Сходню, и на Сходне Степы не

было, не было пьяного телеграфиста, разбитого стекла в трактире, Степу не вязали веревками... ничего этого не было.

Страх полз по телу потемневшего лицом финдиректора, и начинался он с ног, и два раза почудилось финдиректору, что потянуло из-под стола гнилою плесенью. Ни на мгновенье не сводя глаз с администратора, как-то странно корчившегося в кресле, все стремящегося не уходить из-под голубой тени настольной лампы, как-то удивительно прикрывавшегося якобы от режущего света лампочки газетой, финдиректор думал только о том, что значит все это? Зачем нагло лжет ему в пустынном молчащем здании слишком поздно вернувшийся к нему администратор? И сознание опасности, неизвестной, но грозной опасности, томило финдиректора. Делая вид, что не замечает уверток администратора и фокусов его с газетой, финдиректор глядел в лицо рассказчика, почти не слушая его слов. Было кое-что, что представлялось еще более необъяснимым, чем клеветнический рассказ о похождениях на Сходне, и это что-то были изменения во внешнем виде администратора и в манерах его.

Как ни натягивал он утиный козырек кепки на глаза, чтобы бросить тень на лицо, как ни вертел газетным листом, финдиректору удалось рассмотреть громадный синяк с правой стороны лица у самого носа. Кроме того, полнокровный обычно администратор был теперь бледен меловой нездоровой бледностью, а на шее у него зачем-то было наверчено белое старенькое кашне. Если же к этому прибавить появившуюся у администратора за время его отсутствия отвратительную манеру присасывать и причмокивать, резкие изменения голоса, ставшего глухим и грубым, вороватость и трусливость в обычно бойких нагловатых глазах, можно было смело сказать, что Иван Савельевич Варенуха стал неузнаваем.

Что-то еще жгуче беспокоило финдиректора, но что, он не мог понять, как ни напрягал воспаленный мозг, сколько ни всматривался в Варенуху и кресло. Одно он мог утверждать, что было что-то невиданное, неестественное в этом соединении администратора с хорошо знакомым креслом.

— Ну, одолели наконец, погрузили в машину... — гудел Варенуха, выглядывая из-за листа, ладонью прикрывая синяк.

Римский вдруг протянул руку и нажал как бы машинально ладонью, в то же время поигрывая пальцами, нажал на пуговку электрического звонка и обмер. В пустом здании был бы непременно слышен резкий сигнал электрического звонка. Никакого сигнала не последовало, и пуговка безжизненно погружалась в стол, она была мертва. Звонок был испорчен.

Хитрость финдиректора не ускользнула от Варенухи. Его передернуло, и он спросил, причем в глазах его мелькнул явный злобный огонек:

— Ты чего звонишь?

— Машинально, — глухо отозвался финдиректор и, в свою очередь, спросил: — Что это у тебя на лице?

— Машину занесло, ударился об ручку двери, — ответил Варенуха, изменившись в лице.

«Лжет!» — вскрикнул мысленно Римский. Тут вдруг глаза Римского стали совершенно безумными и круглыми, он уставился в спинку кресла Варенухи, поднялся, дрожа, и слабо молвил:

— А...

На полу у ножек кресла лежали две перекрещенные тени, одна погуще и почернее, другая слабая, светлее. Отчетливо была видна теневая спинка кресла, но над нею на полу не было теневой головы. Варенуха не отбрасывал тени. Финдиректора била дрожь, он не сводил глаз с полу. Варенуха воровато оглянулся, следуя взору Римского, за спинку и понял, что он открыт.

Он поднялся с кресла, и финдиректор отступил на шаг, сжимая в руках портфель.

— Догадался, проклятый! Всегда был смышлен, — с откровенной злобой громко молвил Варенуха и вдруг отпрыгнул от кресла к двери и быстро двинул вниз пуговку английского замка.

Финдиректор отчаянно оглянулся, отступил к окну, ведущему в сад, и в окне, заливаемом луною, увидел прильнувшее к стеклу лицо голой девицы, колыхавшейся в воздухе на высоте второго этажа, и ее голую руку, просунувшуюся в форточку и старающуюся открыть нижнюю задвижку. Верхняя уже была открыта.

Римскому показалось, что свет в настольной лампе гаснет и что письменный стол наклоняется. Римского накрыло ледяною волною, но, к счастью, он превозмог себя и не упал.

Он собрал остатки сил, и их хватило только на то, чтобы шепнуть, но не крикнуть: «Помогите!»

Варенуха подпрыгивал возле двери, подолгу застревая в воздухе, качаясь и плавая в нем, и отрезал путь к выходу. Он скрюченными пальцами махал в сторону Римского, шипел и чмокал, подмигивая девице в окне.

Та заспешила, всунула голову в форточку, вытянула, сколько можно было, руку, ногтями начала царапать нижний шпингалет, трясла раму. Тут рука ее стала удлиняться, покрылась трупною зеленью. Зеленые пальцы мертвой хваткой обхватили головку шпингалета, повернули ее, рама начала открываться. Римский слабо вскрикнул, прислоняясь к стенке, выставляя, как щит, портфель вперед. Он понял, что пришла его гибель, что ходу ему к двери нет.

Рама широко распахнулась, но вместо нежной свежести и аромата лип в окно ворвался запах склепа. Покойница вступила на подоконник. Римский отчетливо видел зеленые пятна тлена на ее груди.

И в это время радостный неожиданный крик петуха долетел из сада, из того низкого здания за тиром, где содержались дрессированные животные и птицы, участвовавшие в программах. Горластый петух трубил, возвещал, что к Москве с востока катится рассвет.

Дикая ярость исказила лицо девицы, она испустила хриплое ругательство, визгнул у дверей Варенуха и обрушился из воздуха на пол.

Крик петуха повторился, девица щелкнула зубами. Красота ее исчезла, у нее выпали зубы, рот провалился, щеки сморщились, космы волос поседели, но тело осталось молодым, хоть и мертвым. С третьим криком петуха она повернулась и вылетела вон. И вслед за нею,

подпрыгнув и вытянувшись в воздухе горизонтально, напоминая летящего купидона, выплыл в окно Варенуха.

Седой как снег, без единого черного волоса старик, который недавно еще был Римским, подбежал к двери, отстегнул пуговку, открыл дверь и кинулся бежать по темному коридору. У поворота на лестницу он нащупал, стеная от ужаса, выключатель и лестницу осветил. На лестнице он упал, потому что ему показалось, что на него мягко налетел Варенуха.

Внизу он видел сидящего дежурного в слабо освещенном вестибюле. Римский прокрался мимо него на цыпочках и выскользнул в переднюю дверь.

На площадке ему стало легче, он несколько пришел в себя, схватился за голову и понял, что шляпа осталась в кабинете.

Само собою разумеется, что за нею он не вернулся.

Он летел, задыхаясь, на угол площади к кинотеатру, возле которого маячил красноватый тусклый огонек. Через минуту он был возле него, никто не успел перехватить машину.

— К курьерскому ленинградскому, на чай дам, — прохрипел старик.

— В гараж еду, — с ненавистью ответил шофер и отвернулся.

— Пятьдесят рублей, опаздываю, — шепнул старик.

— В гараж еду, — упрямо повторил шофер.

Римский расстегнул портфель, вынул пять червонцев и протянул шоферу.

В ту же секунду дверца открылась сама собою, и через несколько мгновений вспыхнула лампочка, избитая машина, как вихрь, понеслась по кольцу Садовых.

На сиденье трепало седока, и в осколок зеркала, повешенного перед шофером, Римский видел седую свою голову с безумными глазами.

Выскочив из машины перед зданием вокзала, Римский крикнул первому попавшемуся человеку в белом фартуке и с бляхой:

— Международный, Ленинград, тридцать дам.

Человек с бляхой рвал из рук у Римского червонцы. Оба бешено оглядывались на часы. Оставалось пять минут.

Через пять минут поезд ушел из-под стеклянного купола и пропал в темноте.

Сгинул поезд, а с ним вместе сгинул и Римский.

Глава 15 СОН НИКАНОРА ИВАНОВИЧА

Нетрудно догадаться, что толстяк с багровой физиономией, которого поместили, по словам мастера, в комнате № 119 в психиатрической лечебнице, был не кто иной, как Никанор Иванович Босой.

Попал он, однако, к профессору Стравинскому не сразу, а предварительно побывав в другом месте.

От другого этого места у Никанора Ивановича осталось в воспоминании мало чего. Помнился только какой-то стол, шкаф и диван и гладкие белые стены.

В этой именно комнате с Никанором Ивановичем, у которого перед глазами все как-то мутилось от приливов крови и душевного волнения, лицо, сидевшее за столом, вступило в разговор, но разговор вышел какой-то странный, путаный, а вернее, совсем не вышел.

Первый же вопрос, который был задан Никанору Ивановичу, был таков:

— Вы Никанор Иванович Босой, председатель домкома № 302-бис по Садовой?

На это Никанор Иванович ответил буквально так (а при этом рассмеялся страшным смехом):

— Я Никанор, конечно, Никанор... но какой я, к шуту, председатель!

— То есть как? — спросили Никанора Ивановича, прищурившись.

— А так, — ответил он, — ежели я председатель, то я сразу должен был установить, что он нечистая сила... А то что же это! Пенсне треснуло... весь рваный... Какой он может быть переводчик!

— Кто такой? — спросили у Никанора Ивановича.

— Коровьев! — вскричал Никанор Иванович. — В пятидесятой квартире у нас засел! Пишите: Коровьев. И немедленно надо его изловить. Пятое парадное, там он!

— Откуда валюту взял? — спросили у Никанора Ивановича.

— Не было валюты! Не было! Бог истинный, всемогущий все видит, а мне туда и дорога, — страстно заговорил Никанор Иванович, — в руках никогда не держал и не подозревал, какая такая валюта! Господь меня накажет за скверну мою. — Никанор Иванович начал волноваться, то застегивать рубаху, то креститься, то опять застегивать. — Брал, брал, но брал нашими, советскими! Прописывал за деньги, не спорю, бывало! Хорош и секретарь наш, Пролежнев, тоже хорош... Прямо скажем, все воры, но валюты не брал!

На просьбу не валять дурака, а рассказать, как попали доллары в вентиляцию, Никанор Иванович стал на колени и качнулся, раскрыв рот, как бы желая укусить паркет, и закричал:

— Желаете, землю буду есть, что не брал? Черт он, Коровьев!

Всякому терпению положен предел, и за столом, уже повысив голос, намекнули Никанору Ивановичу, что ему худо будет, если он не заговорит по-человечески.

Тут комнату с диваном и столом огласил дикий рев Никанора Ивановича, вскочившего с колен:

— Вон он, вон за шкафом! Вон ухмыляется... и пенсне его!.. Держите его! Держите его! Окропить помещение!

Кровь отлила от лица Никанора Ивановича, он дрожал и крестил воздух, метнулся к двери, бросился обратно, запел какую-то молитву и наконец понес полную околесину.

Стало совершенно ясно, что Никанор Иванович ни к каким разговорам не пригоден. Его вывели, поместили в отдельной комнате, где он немного поутих и не кричал уже, а только молился и всхлипывал.

Тем временем на Садовую съездили и в квартире № 50 побывали. Само собою разумеется, что никакого Коровьева там не нашли и никакого Коровьева никто в доме не знал и не видел. Квартира покойного Берлиоза была пуста, и в кабинете мирно висели печати на шкафах. Пуста была и половина Лиходеева, уехавшего во Владикавказ.

С тем и уехали с Садовой, причем с уехавшими отбыл растерянный и подавленный секретарь Пролежнев.

Вечером Никанор Иванович был доставлен в лечебницу. Там он вел себя беспокойно настолько, что ему пришлось сделать чудодейственное вспрыскивание по рецепту Стравинского, и лишь после полуночи Никанор Иванович уснул, изредка издавая тяжелое страдальческое мычание.

Но чем дальше, тем легче становился его сон. Он перестал ворочаться и стонать, задышал легко и ровно, и пост у него в комнате сняли.

Тогда Никанора Ивановича посетило сновидение, в основе которого, несомненно, были его сегодняшние переживания. Началось с того, что Никанору Ивановичу привиделось, что его подводят, и очень торжественно, какие-то люди с золотыми трубами в руках к большим лакированным дверям. У этих дверей спутники сыграли туш Никанору Ивановичу, а затем гулкий бас с небес сказал весело:

— Добро пожаловать, Никанор Иванович! Сдавайте валюту!

Удивившись, Никанор Иванович увидел над собою черный громкоговоритель. Затем он очутился почему-то в театральной зале, где под золоченым потолком сияли хрустальные люстры, а на стенах кенкеты. Все было как следует: имелась сцена, задернутая бархатным занавесом, по темно-вишневому фону усеянным, как звездочками, изображениями золотых увеличенных десяток, суфлерская будка и даже публика. Удивило Никанора Ивановича то, что вся публика была одного пола — мужского, и вся почему-то с бородами. Кроме того, поразительно было то, что публика сидела не на стульях, как бывает в жизни, а на полу, великолепно натертом и скользком.

Конфузясь в новом и большом обществе, Никанор Иванович, помявшись некоторое время, последовал общему примеру и уселся на паркет, примостившись между каким-то рыжим до огненности здоровяком-бородачом и другим, бледным и сильно заросшим гражданином. Никто не обратил внимания на Никанора Ивановича.

Тут послышался колокольчик, свет в зале потух, занавесь разошлась в стороны, и обнаружилась сцена с креслом, столиком, на котором помещался колокольчик золотой с алмазами, и задником, глухим, черным, бархатным.

Из кулис тут показался артист в смокинге, гладко выбритый и причесанный на пробор, молодой и с очень приятными чертами лица.

В зале оживилась публика, все повернулись к сцене.

Артист подошел к будке, потер руки.

— Сидите? — спросил он мягким баритоном и улыбнулся залу.

— Сидим... сидим, — хором ответили ему из зала и тенора, и басы, и баритоны.

— Гм, — задумчиво сказал артист и добавил: — И как вам не надоест, я не понимаю? Все люди как люди, ходят сейчас по улицам, наслаждаются весенним солнцем и теплом, а вы здесь на полу торчите! Впрочем, кому что нравится, — философски заключил артист.

Затем он переменил и тембр голоса, и интонации и весело и звучно объявил:

— Итак, следующим номером нашей программы — Никанор Иванович Босой, председатель домового комитета и заведующий столовой. Попросим Никанора Ивановича!

Дружный аплодисмент был ответом артисту.

Удивленный Никанор Иванович вытаращил глаза, а конферансье нашел его взором среди сидящих и ласково поманил пальцем на сцену. И Никанор Иванович, не помня как, оказался на сцене, конфузливо подтягивая штаны, почему-то спадающие. В глаза ему снизу и спереди ударил яркий свет цветных ламп в рампе, отчего он сразу потерял из виду зал с публикой.

— Ну-с, Никанор Иванович, покажите нам пример, — задушевно заговорил молодой артист, — и... сдавайте валюту!

Наступила тишина.

Никанор Иванович перевел дух и тихо заговорил:

— Богом клянусь, что...

Но не успел он начать фразу, как зал заглушил его криками негодования и разочарования.

Никанор Иванович растерялся и умолк.

— Насколько я понял, — заговорил ведущий программу, — вы хотите поклясться, что у вас нету валюты? — И он поглядел на Никанора Ивановича с любопытством.

— Так точно. Нету, — ответил Никанор Иванович.

— Так, — отозвался артист, — а, простите за нескромность: откуда же взялись четыреста долларов, обнаруженные в сортире той уютной квартирки, единственными обитателями коей являетесь вы с вашей супругой?

— Волшебные! — явно иронически сказали в темном зале.

— Так точно, волшебные, — робко ответил Никанор Иванович по неопределенному адресу, не то конферансье, не то в зал, и пояснил: — Нечистая сила, клетчатый переводчик подбросил.

И опять разразился зал негодующим воплем. Когда же настала тишина, артист сказал:

— Вот какие басни Крылова приходится мне выслушивать здесь! Подбросили четыреста долларов! Вот вы все здесь валютчики, обращаюсь к вам как к специалистам: мыслимое ли это дело?

— Мы не валютчики, — раздались отдельные голоса в театре, — но дело это немыслимое.

— Целиком присоединяюсь, — твердо сказал артист, — и спрошу вас, что могут подбросить?

— Ребенка! — ответил кто-то в зале.

— Совершенно верно, — подтвердил ведущий, — ребенка, анонимное письмо, прокламацию, бомбу, но четыреста долларов никто не станет подбрасывать, ибо такого идиота, чтоб их подбрасывать, в природе нету!

И, обратившись к Никанору Ивановичу, артист сказал укоризненно и печально:

— Огорчили вы меня, Никанор Иванович! А я-то на вас надеялся! Итак, номер наш не удался.

В зале раздался свист.

— Валютчик он! — выкрикивали в зале. — Из-за таких и мы невольно терпим!

— Не ругайте его! — сказал конферансье мягко. — Он раскается! — И, обратив к Никанору Ивановичу глаза, полные слез, добавил: — Не ожидал я от вас этого, Никанор Иванович! — А вздохнув, добавил еще: — Ну, идите, Никанор Иванович, на свое место.

После чего повернулся к залу и, позвонив в колокольчик, громко объявил:

— Антракт, негодяи!

Потрясенный Никанор Иванович, неожиданно для себя ставший участником театральной программы, не помнил, как оказался на своем месте. Запомнилось ему лишь, что зал погрузился в полную тьму, а на стенах выскочили горящие красные слова: «Сдавайте валюту!» Потом опять загорелась сцена, и конферансье позвал:

— Попрошу на сцену Сергея Герардовича Дунчиля!

Дунчиль оказался благообразным, но запущенным человеком лет пятидесяти.

— Сергей Герардович, — обратился к нему конферансье, — вот уже полтора месяца вы сидите здесь, упорно отказываясь сдать оставшуюся у вас валюту, в то время как страна нуждается в ней. Вы человек интеллигентный, прекрасно это понимаете, а между тем помочь не хотите.

— К сожалению, ничем помочь не могу, так как валюты у меня больше нет, — ответил Дунчиль.

— Так нет ли, по крайней мере, бриллиантов? — жалобно спросил артист.

— И бриллиантов нет, — сухо отозвался Дунчиль.

Артист повесил голову и задумался, а потом хлопнул в ладоши.

Из кулисы вышла на сцену средних лет дама, одетая по моде, то есть в пальто без воротника и в крошечной шляпочке. Дама имела встревоженный вид, а Дунчиль поглядел на нее, не шевельнув бровью.

— Кто эта дама? — спросил ведущий у Дунчиля.

— Это моя жена, — с достоинством ответил Дунчиль и посмотрел на длинную шею дамы без воротника с некоторым отвращением.

— Мы потревожили вас, мадам Дунчиль, — отнесся к даме конферансье, — вот по какому поводу... Мы хотели вас спросить, нет ли у вашего супруга еще валюты.

— Он тогда все сдал.

— Так, — сказал артист, — ну, что же, раз так, так так. Если он все сдал, то надлежит его немедленно отпустить, как птицу, на свободу. Что ж поделаешь! Вы свободны, Сергей Герардович! — И артист сделал царственный жест.

Дунчиль спокойно и с достоинством повернулся и пошел к кулисе.

— Одну минуточку! — остановил его конферансье. — Позвольте мне на прощание показать вам фокус. — И опять хлопнул в ладоши.

И тут черный задний бархат раздвинулся, и на сцену вышла юная красавица в бальном платье, держащая в руках золотой подносик, на котором лежала толстая пачка, перевязанная конфетной лентой, и бриллиантовое колье, от которого во все стороны прыгали синие, желтые и красные огни.

Дунчиль отступил на шаг и покрылся бледностью. Зал замер.

— Восемнадцать тысяч долларов и колье в сорок тысяч золотом, — торжественно объявил артист, — хранил Сергей Герардович Дунчиль в городе Харькове в квартире своей любовницы Иды Геркулановны Вормс, которую мы имеем удовольствие видеть перед собой и которая любезно помогла нам обнаружить эти бесцельные для частного лица сокровища.

Красавица, улыбаясь, сверкнула зубами, и мохнатые ее ресницы дрогнули.

— А под вашею полною достоинства личиною, — отнесся артист к Дунчилю, — скрывается жадный паук и поразительный охмуряло и врун. Вы извели всех за полтора месяца своим идиотским упрямством! Ступайте же теперь домой, и пусть тот ад, который устроит вам ваша супруга, будет вам наказанием.

Тут супруга Дунчиля воскликнула: «О, негодяй...», а Дунчиль качнулся и едва не упал, если бы чьи-то услужливые руки не подхватили его под руки. Но тут рухнул внезапно черный занавес спереди и скрыл всех бывших на сцене.

Бешеные рукоплескания потрясли зал так, что Никанору Ивановичу показалось, будто запрыгали огни в люстре. А когда передний черный занавес ушел вверх, на сцене оказался артист в одиночестве. Он сорвал второй залп рукоплесканий, раскланялся и заговорил:

— Вот, вы видели в лице этого Дунчиля типичного осла. Ведь я же говорил на прошлой нашей программе, что хранение валюты является бессмыслицей. Использовать он ее не может ни при каких обстоятельствах, уверяю вас. Он получает приличное жалование, чудно зарабатывает. Так вот нет же: вместо того чтобы тихо, мирно, без всяких неприятностей сдать валюту и камни, добился-таки корыстный болван того, что был разоблачен при всех и нажил крупнейшую семейную неприятность. Итак, кто сдает? Нет желающих? В таком случае следующим номером нашей программы известный артист драмы Бурдасов Илья Потапович исполнит отрывки из «Скупого рыцаря» поэта Пушкина!

Обещанный Бурдасов не замедлил появиться на сцене и оказался пожилым, бритым, во фраке и белом галстуке.

Без всяких предисловий он скроил мрачное лицо, сдвинул брови и заговорил ненатуральным голосом, глядя на золотой колокольчик:

— Как молодой повеса ждет свиданья с какой-нибудь развратницей лукавой...

Далее Бурдасов рассказал о себе много нехорошего. Никанор Иванович, очень помрачнев, слышал, как Бурдасов признавался в том, что какая-то несчастная вдова, воя, стояла перед ним на коленях под дождем, но не тронула черствого сердца артиста. Никанор Иванович совсем не знал до этого случая поэта Пушкина, хоть и произносил, и нередко, фразу: «А за квартиру Пушкин платить будет?», и теперь, познакомившись с его произведением, сразу как-то загрустил, задумался и представил себе женщину с детьми на коленях и невольно подумал: «Сволочь этот Бурдасов!» А тот, все повышая голос, шел дальше и окончательно запутал Никанора Ивановича, потому что вдруг стал обращаться к кому-то, кого на сцене не было, и за этого отсутствующего сам же себе отвечал, причем называл себя то «государем», то «бароном», то «отцом», то «сыном», то на «вы», а то на «ты».

Понял Никанор Иванович только одно, что помер артист злою смертью, прокричав: «Ключи! Ключи мои!», повалившись после этого на пол, хрипя и срывая с себя галстух.

Умерев, он встал, отряхнул пыль с фрачных коленей, поклонился, улыбнувшись фальшивой улыбкой, и при жидких аплодисментах удалился, а конферансье заговорил так:

— Ну-с, дорогие валютчики, вы прослушали в замечательном исполнении Ильи Владимировича Акулинова* «Скупого рыцаря». Рыцарь этот надеялся, что резвые нимфы сбегутся к нему и произойдет еще многое приятное в этом же роде. Но, как видите, ничего этого не случилось, нимф никаких не было, и музы ему дань не принесли, и чертогов он никаких не воздвиг, а, наоборот, кончил он очень скверно, помер от удара на своих сундуках с валютой. Предупреждаю вас еще раз, что и с вами будет так же плохо, а может быть, и еще хуже, если вы не сдадите валюты!

И тут в лампах загорелся зловещий фиолетовый свет, отчего лица у зрителей стали как у покойников, и во всех углах закричали страшные голоса в рупорах:

— Сдавайте валюту! Сдавайте!

Поэзия ли Пушкина произвела такое впечатление или прозаическая речь конферансье, но только, когда зал осветился опять светом обычным, раздался застенчивый голос:

— Я сдаю валюту!

— Милости прошу на сцену, — вежливо сказал конферансье, заслоняя снизу рукою лицо от рампы.

И на сцене оказался маленького роста белокурый гражданин, не брившийся, судя по лицу, около трех недель.

— Ваша фамилия, виноват? — очень вежливо осведомился конферансье.

— Канавкин Николай, — застенчиво сказал появившийся.

* Так в рукописи.

— А! Молодец, Канавкин Николай! — воскликнул конферансье. — Я всегда это утверждал! Итак?..

— Сдаю, — тихо сказал молодец Канавкин.

— Сколько?

— Тысячу долларов и двадцать золотых десяток.

— Браво! Все, что есть?

Ведущий программу уставился прямо в глаза Канавкину, и Никанору Ивановичу даже показалось, что из глаз артиста брызнули лучи, пронизывающие Канавкина насквозь, подобно рентгеновским. В зале перестали дышать.

— Верю! — наконец воскликнул артист, гася свой взор. — Верю! Смотрите: эти глаза не лгут! Ведь сколько раз я говорил вам всем, что основная ваша ошибка в том, что вы недооцениваете значение глаз человеческих. Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда. Вам задают внезапный вопрос, вы вздрагиваете, и вздрагиваете даже неприметно для вопрошающего, вы в одну секунду соображаете, что нужно сказать, чтобы скрыть истину, и говорите, и весьма убедительно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнется, но, увы, поздно! Встревоженная вопросом истина со дна души прыгает на мгновение в глаза, и все кончено. Она замечена, вы пойманы!

Произнеся, и с большим жаром, эту очень убедительную речь, артист ласково спросил у Канавкина:

— Ну, где же спрятаны?

— У тетки моей, Пороховниковой, на Пречистенке...

— А! — вскричал артист. — Это... постойте... у Клавдии Ильиничны, что ли?

— Да, — застенчиво ответил Канавкин, — в переулке...

— Ах, да, да, да! Маленький особнячок, напротив палисадничек? Как же, знаю! А куда же вы их там засунули?

— В погребе, в коробке из-под Эйнема.

Гул прошел по залу, артист всплеснул руками.

— Видали ли вы что-либо подобное? — вскричал он. — Да ведь деньги же там заплесневеют, отсыреют! Мыслимо ли таким людям доверить валюту? А? Чисто как дети, ей-богу!

Канавкин и сам понял, что проштрафился, и повесил хохлатую голову.

— Деньги, — продолжал артист, — должны храниться в госбанке, в сухих, специальных, хорошо охраняемых помещениях, а отнюдь не в теткином погребе, где их могут попортить крысы! Стыдно, Канавкин!

Тот уж просто не знал, куда деваться, и только колупал пальцем борт своего засаленного пиджачка.

— Ну ладно, — смягчился конферансье, — кто старое помянет... — и добавил неожиданно: — Да, кстати: за одним разом чтобы... у тетки у самой... ведь тоже есть? А!

Канавкин, никак не ожидавший такого оборота дела, дрогнул, и наступило молчание.

— Э, Канавкин! — укоризненно-ласково заговорил конферансье. — А я-то хвалил его! А он, на-те, взял да и засбоил! Нелепо это,

Канавкин! Ведь говорил же я только что про глаза. Ну и видно, что у тетки есть валюта! Ну, чего ты меня зря терзаешь?

— Есть! — залихватски крикнул Канавкин.

— Браво! — крикнул конферансье.

— Браво! — страшным ревом отозвался зал.

Когда утихло, конферансье торжественно поздравил Канавкина, пожал ему руку, предложил отвезти в город в машине домой и в этой же машине приказал кому-то, высунувшемуся из-за кулис, заехать и доставить в женский театр тетку Клавдию Лукиничну*.

— Да, я хотел спросить, тетка-то не говорила, где свои прячет? — осведомился конферансье, любезно предлагая Канавкину папиросу и зажженную спичку. Тот, закуривая, усмехнулся как-то тоскливо.

— Верю, верю, — отозвался артист, — эта старая сквалыга не то что племяннику, черту не скажет этого. Ну, что ж, попробуем нашими программами пробудить в ней понимание вещей истинных. Быть может, еще не все струны сгнили в ее ростовщичьей душонке. Всего доброго, Загривов*!

И счастливый Канавкин исчез, а артист осведомился, нет ли еще желающих сдать валюту, и получил в ответ молчание.

— Чудаки, ей-богу, — пожав плечами, сказал артист, и занавес скрыл его.

Лампы погасли, некоторое время была тьма, и во тьме нервный тенор пел в рупоре:

«Там груды золота лежат, и мне они принадлежат...» Откуда-то издалека донесся аплодисмент.

— В женском театре дамочка какая-то сдает, — пояснил огненнобородый Никанору Ивановичу и, вздохнув, прибавил: — Эх, кабы не гуси мои! У меня, мил человек, гуси бойцовые. Подохнут они, боюсь, без меня. Птица боевая, нежная, требует ухода... Эх, кабы не гуси! Пушкиным-то меня не удивишь... — И он опять завздыхал.

Тут зал осветился поярче, и вдруг из всех дверей посыпались в зал повара в белых колпаках и халатах с разливными ложками в руках. Поварята втащили в зал чан с супом и лоток с нарезанным черным хлебом. Зрители оживились.

Веселые повара шныряли между театралами, разливали суп в миски, раздавали хлеб.

— Ужинайте, ребята, — кричали повара, — и сдавайте валюту. Чего зря сидеть здесь? Чего вам эту баланду хлебать. Поехал домой, выпил, закусил. Хорошо.

— Ну, чего засел здесь? — обратился непосредственно к Никанору Ивановичу толстый с малиновым от вечного жара лицом, протягивая Никанору Ивановичу миску, в которой в жидкости плавал одинокий капустный лист.

— Нету! Нету! Нету у меня! — страшным голосом прокричал Никанор Иванович. — Понимаешь, нету! Нету валюты!

— Нету? — грозным басом взревел повар. — Нету? — женским ласковым голосом спросил. — Нету, успокойтесь, успокойтесь, — забор-

* Так в рукописи.

мотал он, превратился в фельдшерицу Прасковью Васильевну, стал трясти ласково плачущего Никанора Ивановича за плечо.

Тот увидел, как растаяли повара и развалился театр с занавесом. Никанор Иванович сквозь слезы разглядел свою комнату в лечебнице и двух в белом, но вовсе не развязных поваров, сующихся со своими советами, а доктора и фельдшерицу.

Та держала в руках не миску, а тарелочку, покрытую марлей, на которой лежали шприц и ампула.

— Ведь это что же, — бормотал Никанор Иванович, пока ему делали укол, — нету у меня и нету! Пусть Пушкин им сдает валюту. А у меня нету. Я ведь не артист, и на сцене мне не нравится. Не люблю я театра. Тьфу, будь он проклят! Нету!

— Нету, нету, — успокаивала добрая Прасковья Васильевна, — а на нет и суда нет.

Никанор Иванович быстро успокоился после укола и заснул без сновидений.

Но тревога, быть может, благодаря выкрикам его, передалась в 121-ю комнату, где больной начал опять искать свою голову, и в 118-ю, где забеспокоился неизвестный мастер и в тоске заломил руки, вспомнив горькую ночь, осеннюю бурю-непогоду, развившиеся волосы жены. Из 118-й тревога по балкону перелетела к Ивану, и он опять заплакал.

И всех пришлось успокаивать врачу.

И они успокоились. Позднее всех засыпал Иван, когда над рекой уже светало. К Ивану успокоение после лекарства, наполняющего все тело, приходило, как сладкая волна, накрывающая его всего. Тело его облегчалось, а голову обдувала теплым ветром дрема. И он заснул, и последним, что он слышал наяву, было предрассветное щебетание птиц в лесу.

Ивану стала сниться Лысая Гора, над которой уже опускалось солнце...

Глава 16 НА ЛЫСОЙ ГОРЕ (КАЗНЬ)

Солнце уже снижалось над Лысой Горой, и была эта гора оцеплена двойным оцеплением.

Та кавалерийская ала, что перерезала путь прокуратору, пришла раньше всех к подножию невысокой Горы и у подножия ее и осталась, рассыпавшись по взводам и спешившись вокруг всей Горы. Она оставила свободным только один подъем на Гору, тот, к которому вела дорога из Ершалаима.

Вслед за алой к холму пришла Севастийская когорта, поднялась выше на один ярус и опоясала венцом Гору. Наконец подошла выделенная из когорты первая центурия под командой Марка Крысобоя.

Она шла растянуто, двумя цепями по краям дороги, и между ними шли палачи и трое осужденных, ехала повозка, нагруженная тремя дубовыми столбами с перекладинами, веревками и таблицами с надписями на трех языках — латинском, греческом и еврейском. Замыкалась процессия опять-таки цепью солдат, за которыми двигалась толпа любопытных, не испугавшихся адской жары и желающих видеть казнь трех разбойников.

Севастийцы пропустили процессию на верхнюю площадку Горы, а затем, быстро маневрируя, рассеяли толпу на окружности, не пропуская выше никого за свою цепь. Но из-за цепи любопытные могли свободно видеть, как совершается казнь.

Прошло со времени подъема процессии на Гору три часа, и в обоих оцеплениях и офицеры, и солдаты томились от скуки, страдали от жары и проклинали трех разбойников, желая им скорой смерти.

Маленький командир алы, оставшейся у открытого подъема, со взмокшим лбом и во взмокшей на спине рубахе, то и дело подходил к кожаному ведру в первом взводе, черпал пригоршнями воду, пил и мочил тюрбан. Получив от этого некоторое облегчение, он отходил и начинал, как маятник, ходить взад и вперед, пыля дорогу, ведущую на вершину. Меч его стучал по кожаному шнурованному сапогу.

Он хотел показать кавалеристам пример выносливости, но, жалея солдат, разрешил им из пик, воткнутых в землю, устроить пирамиды и набросить на них белые плащи. Под этими шалашами скрывались от безжалостного солнца сирийцы. Ведра пустели быстро, и кавалеристы по очереди отправлялись за водой в балку за Горой, где в жидкой тени тощих тутовых дерев доживал по этой дьявольской жаре последние дни мутноватый ручей.

В стороне, там, где у подножия Горы еще попадались маленькие группы смоковниц, ловя нестойкую тень, скучали коноводы с присмиревшими лошадьми, головы которых коноводы закрыли от солнца тряпками.

Томление солдат и тайная их брань по адресу разбойников были понятны. Опасения прокуратора насчет беспорядков, которые могли произойти в ненавидимом им городе, по счастью, не оправдались.

Солнце к концу третьего часа казни сожгло толпу, и между двумя цепями сирийцев и Севастийской когортой не осталось, вопреки всем ожиданиям, ни одного человека.

За цепью пешей когорты оказались только две неизвестно как и зачем попавших на холм собаки. Но и их сморила жара, и они легли, высунув язык, тяжело дыша и не обращая никакого внимания на зеленоспинных ящериц, единственных существ, не боящихся солнца и шныряющих меж раскаленными камнями и какими-то вьющимися растениями с большими шипами.

Не произошло беспорядков, и разошлась толпа, ибо, действительно, ровно ничего интересного не было в этой казни, а там в городе уже шли приготовления к великому празднику Пасхи.

Севастийская пехота в оцеплении страдала еще больше кавалеристов. Кентурион Крысобой единственно что разрешил солдатам,

это подложить под шлемы полотенца и их мочить водою, но держал их стоя с копьями в руках. Сам же даже и полотенца этого не подложил и ходил невдалеке от группы палачей, не сняв своего, правда легкого панциря с накладными серебряными изображениями львиных морд, не сняв поножей, меча и ножа. Солнце било в него, не причиняя ему никакого вреда, и на шлем его с гребнем из орлиных перьев нельзя было взглянуть, глаза выедал ослепительный блеск кипящего на меди солнца.

На изуродованном лице кентуриона не выражалось ни утомления, ни неудовольствия, и казалось, что великан кентурион в силах маячить так под столбами весь день, всю ночь и день еще, столько, сколько надо будет. Все так же маячить, наложив руки на тяжелый с бляхами пояс, все так же сурово поглядывать то на столбы, то на солдат в цепи, все так же равнодушно отбрасывая носком мохнатого сапога попадающиеся ему под ноги выбеленные человеческие кости или мелкие камни.

Еще один человек находился у столбов. Этот человек в плаще с капюшоном, спасавшем от солнца, поместился на самодельном трехногом табурете и сидел благодушно-неподвижно, прутиком от скуки расковыривая песок. Он не принадлежал к составу когорты, но, очевидно, имел какое-то отношение к казни.

То, что было сказано о том, что за цепью когорты не было ни одного человека, не совсем верно. Был именно один человек, но просто он поместился не на той стороне, по которой удобнее всего было подняться, чтобы видеть казнь с наилучшей позиции, а в стороне, там, где холм был не отлог и доступен, а неровен, как бы изрыт, где были и провалы и щели, где, уцепившись в расщелине за проклятую небом безводную землю, пыталось жить больное фиговое деревце.

Именно под этим деревцем, вовсе не дающим тени, и утвердился этот единственный зритель, а не участник казни, и сидел на камне с самого начала казни четвертый час. Для того, чтобы видеть казнь, он выбрал далеко не самую лучшую позицию. Но все-таки и с нее столбы были видны, виден был за цепью и гребень кентурионова шлема, а этого, по-видимому, для человека, явно желавшего остаться незамеченным, никем не тревоженным, было совершенно достаточно.

Но три с лишним часа назад, при начале казни, этот человек вел себя совершенно не так и очень мог быть замечен, отчего, вероятно, он и уединился теперь и переменил поведение. Он тяжело дышал, не шел, а бежал на холм, толкался, а увидев, что перед ним замкнулась цепь, сделал наивную попытку, притворившись, что не понимает окриков, проскочить между солдатами к месту казни.

За это он получил тяжкий удар тупым концом копья в грудь и отскочил от солдат, вскрикнув, но не от боли, а от отчаяния. Ударившего он оглядел мутными, равнодушными ко всему глазами, как человек, не чувствительный к физической боли.

И вот он ушел в сторону к расщелине, подальше. Видно было оттуда плоховато, и приходилось смотреть в спины казнимым, но здесь было спокойно, никто не мешал.

Теперь, сидя на камне, этот чернобородый, с гноящимися от солнца и бессонницы глазами, тосковал. Он то вздыхал, открывая свой истасканный в скитаниях таллиф, и обнажал ушибленную грудь, по которой стекал пот, то в муке поднимал глаза в небо, следя за тремя орлами-стервятниками, давно уже плававшими в вышине беззвучными большими кругами в предчувствии скорого пира, то вперял безнадежный взор в землю и видел на ней желтый собачий череп и безногую ящерку.

Мучения человека были настолько велики, что по временам он заговаривал сам с собою.

— О, я трус! — бормотал он, раскачиваясь на камне, от душевной боли царапая грязную грудь. — Глупец, неразумная женщина! Безмозглая падаль! Ах, ах...

Он умолкал, поникал головой, потом, напившись из деревянной фляги теплой воды, оживал вновь и хватался то за нож, спрятанный под таллифом на груди, то за табличку, положенную им в ямку под камень, чтобы не растаял на ней вовсе уже плывущий воск.

На таблице этой уже были выцарапаны записи:

«Второй час казни. Я—Левий Матвей, нахожусь на Горе. Смерти нет».

Далее:

«Третий час, а смерти нет. Боже».

И теперь Левий безнадежно записал острой палочкой:

«Пятый час. Бог, за что гневаешься на него? Пошли ему смерть!»

Так записал он, а записав, бесслезно всхлипнул и опять ногтями изранил грудь.

Причина отчаяния Левия заключалась в той тяжкой ошибке, которую он совершил.

Когда осужденных повели к месту их казни, Левий Матвей бежал рядом с цепью в толпе любопытных, стараясь какими-нибудь незаметными знаками дать знать Иешуа, что он, Матвей, здесь, с ним, что он не бросил его на его последнем пути, что он молится о том, чтобы смерть Иешуа посетила как можно скорее. Но Иешуа его не видел. Матвея толкали, солдаты колыхались между ним и обреченными, Матвей терял голову Иешуа из виду.

И тут Матвея осенила гениальная мысль, и, по своей горячности, он проклял себя тотчас же за то, что она не пришла ему раньше. Солдаты шли не тесною цепью. Между ними были промежутки. При большой ловкости, при точном расчете можно было, согнувшись, проскочить между двумя и дорваться до Иешуа. И тогда он спасен от мучений. Одного-двух мгновений достаточно, чтобы ударить Иешуа ножом в грудь ли, в спину ли, куда попало, крикнув ему: «Иешуа! Я спасаю тебя и ухожу вместе с тобою! Я, Матвей, твой верный и единственный ученик!»

При большой удаче, если бы ошеломление сковало солдат на два лишних мгновения, и самому можно было бы успеть заколоться, избежав смерти на столбе. Впрочем, последнее мало интересовало Левия Матвея, бывшего сборщика податей. Ему было безразлично, как погибать. Он хотел одного, чтобы Иешуа, не сделавший никому в жизни ни малейшего зла, избежал истязаний.

План был очень хорош, но дело заключалось в том, что Левий нож с собою не взял. Не было у него ни одной монеты денег.

Левий выбрался из толпы и побежал обратно в город. Было это на середине расстояния между Ершалаимом и Черепом, до которого от города было около двух верст.

Левий бежал, и в горящей его голове прыгала только одна горячечная мысль о том, как сейчас же, каким угодно способом достать нож и успеть догнать процессию.

Он добежал до городских западных ворот, вбежал на улицу и увидел по левую руку у себя раскрытую дверь лавчонки, где продавался хлеб. Тяжело дыша после бега по раскаленной дороге, Левий степенно вошел в лавчонку, приветствовал хозяина, стоявшего перед прилавком, воровски оглядел прилавок, молча взял с него то, чего лучше и быть не могло, — широкий, отточенный, как бритва, нож, повернулся и кинулся бежать. Придя в себя, хозяин взвизгнул:

— Лия! Лия!

Выскочил из лавчонки и ударился преследовать грабителя. Хозяин, путаясь в полах таллифа, бежал к воротам, выкрикивая проклятия и созывая на помощь добрых людей. Но у ворот было совершенно пусто, весь народ из домов и лавок, за небольшими исключениями, ушел с процессией.

Отчаянные крики хлеботорговца вызвали лишь одного мужчину и женщину на улицу.

Женщина хлопала себя по бедрам и кричала бессмысленно: «Держи, держи его!», а мужчина, сам не зная зачем, присоединился к преследователю. Левию бежать было очень трудно, силы его иссякали. Тогда он догадался сделать самое лучшее, что нужно делать в таких случаях: остановился, повернулся лицом к преследующим, выразительно потряс ножом и крикнул, задыхаясь:

— Подойдите, подойдите...

Торговец и человек моментально остановились и переглянулись в недоумении.

Левий повернулся и побежал как мог рысцой, глотая раскаленный воздух, пыхтя, как мех в кузнице.

Еще раз он обернулся; увидел, что преследователи что-то кричат друг другу, размахивая руками. Отбежав еще, обернулся и убедился, что его никто более не преследует. Тогда он повалился прямо в пыль, чтобы отдышаться, и лежал на пустынной дороге, слушая, как колотится его сердце, и не только в голове, но и в животе и в ушах.

Когда ему стало легче, он напился из фляги, поднялся, нож спрятал за пазуху и, придерживая его рукою, побежал.

Дорога пошла под уклон, и тогда он увидел пылящую вдали процессию, она была уже у подножия Черепа.

— О, Бог... — простонал Левий, чувствуя, что опаздывает. И действительно, он опоздал.

Шел уже пятый час пополудни, и тут мучения Левия достигли наивысшей степени, и он впал в ярость. Он поднялся с камня, швырнул на землю бесполезно, как он думал, украденный нож, швырнул

и флягу, раздавил ее ногою, сбросил с головы кефи, вцепился в жидкие волосы и стал проклинать себя.

Он проклинал себя, выкликая бессмысленные слова, рычал и плевался, проклинал своего отца и мать, породивших на свет глупца.

Видя, что клятвы его не действуют и ничто на солнцепеке не меняется, он сжал сухие кулаки, зажмурившись, вознес их к небу, на котором солнце сползало все ниже, удлиняя тени, уходя вниз, чтобы упасть в Средиземное море, и потребовал у Бога немедленного чуда. Он потребовал, чтобы Бог тотчас же послал Иешуа смерть.

Открыв глаза, он убедился в том, что на холме все без изменений, за исключением того, что шлем кентуриона потух. Солнце посылало лучи в спину казнимых, обращенных лицами к Ершалаиму

Тогда Левий закричал:

— Проклинаю тебя, Бог!

Осипшим звериным голосом он кричал о том, что убедился в несправедливости Бога и верить ему более не будет.

— Бог, ты глух! — рычал Левий Матвей. — А если ты не глух, услышь меня и убей тут же! Ну, убей!

И, жмурясь, Левий ждал огня, который упадет на него с неба. Этого не случилось, и бывший сборщик податей в остервенении и затемнении ума решил продолжать бой с Богом.

По-прежнему не разжимая век, не видя окружающего, он кричал язвительные и обидные речи небу. Он кричал о полном своем разочаровании и о том, что существуют другие боги и религии. Да, другой бог не допустил бы того, чтобы человек с такими ясными глазами, как Иешуа, великий и добрый, в позоре был сжигаем солнцем на столбе.

— Я ошибался, — кричал охрипший Левий Матвей, — ты бог зла, только бог зла мог допустить такой позор! О, чистые, как небо Галилеи, глаза! Неужто ты не разглядел их? Или твои глаза закрыл дым из курильниц храма, а уши твои перестали что-либо слышать, кроме трубных звуков священников? Ты бог глухой, слепой, не всемогущий. Бог зла, ты черный бог! Проклинаю тебя! Проклинаю тебя! Бог разбойников, их покровитель и душа! Проклинаю!

Тут что-то дунуло в лицо бывшему сборщику и зашелестело под ногами. Дунуло еще раз, и тогда Левий, открыв глаза, увидел, что все в мире, под влиянием ли его проклятий или в силу других причин, изменилось. Солнце исчезло, не дойдя до моря, в котором тонуло каждый вечер. По небу с запада поднималась грозно и неуклонно, стерев солнце, грозовая туча. Края ее уже вскипали белой пеной, черное дымное брюхо отсвечивало желтым. Туча рычала, огненные нити вываливались из нее. По дорогам, ведшим к Ершалаиму, гонимые внезапно поднявшимся ветром, летели, вертясь, пыльные столбы.

Левий умолк, стараясь сообразить, принесет ли гроза, которая сейчас накроет Ершалаим, какое-либо изменение в судьбе несчастного Иешуа. И тут же, глядя на нити огня, чертившие под тучей, решил просить у Бога, чтобы молния ударила в столб Иешуа. В испуге и отчаянии глянул в небо, в котором стервятники ложились на кры-

ло, чтобы уходить от грозы, в испуге подумал, что поспешил с проклятиями и заклинаниями и Бог не послушает его.

Повернулся к дороге, ведущей на холм, и, забыв про тучу и молнию, приковался взором к тому месту, где стоял эскадрон. Да, там были изменения. Левий сверху отчетливо видел, как солдаты суетились, выдергивая пики из земли, как набрасывали на себя плащи, как коноводы, бежа рысцой, вели к дороге лошадей.

Эскадрон снимался, это было ясно. Левий, моргая напряженными глазами, защищаясь от пыли рукой, старался сообразить, что может значить то, что кавалерия собирается уходить.

Он перевел взгляд повыше и разглядел издали маленькую фигурку в багряной военной хламиде, поднимающуюся к площадке казни. И тут от предчувствия конца похолодело сердце бывшего сборщика.

Забыв, что он только что совершил непростительный грех, проклиная создателя вселенной, он мысленно вскричал: «Боже, дай ему конец!», но и тут не забыл про свою таблицу. Он присел на корточки, осыпаемый пылью, достал из-под камня таблицу, стал чертить слова.

Поднимающийся на гору в четвертом часу страданий разбойников был командир когорты, прискакавший с солдатом, у которого на поводу была лошадь без всадника.

Цепь солдат по мановению Крысобоя разомкнулась, Крысобой отдал честь трибуну. А тот, отведя Крысобоя в сторону, что-то прошептал ему. Кентурион отдал честь, отступил и двинулся к группе палачей, сидящих на камнях у подножий столбов, на которых висели обнаженные. Трибун же направил свои шаги к тому, кто сидел на трехногом табурете, и сидящий вежливо поднялся ему навстречу. И ему трибун что-то негромко сказал, и человек в капюшоне пошел к палачам.

Кентурион, брезгливо косясь на грязные тряпки, лежащие у подножий на земле, тряпки, бывшие недавно одеждой казненных, от которой отказались палачи, отозвал двух из них и сказал негромко:

— За мною, к столбам.

С ближайшего столба доносилась хриплая бессмысленная песенка. Повешенный на нем Гестас к концу третьего часа от мух и солнца сошел с ума и теперь тихо и несвязно пел что-то про виноград, но головою, закрытой чалмой, изредка покачивал, и тогда мухи вяло поднимались с его лица и опять возвращались.

Дисмас на втором столбе страдал более двух других, потому что забытье его не одолевало, и он качал головой чаще и мерно, то вправо, то влево, так, чтобы ухом ударять по плечу.

Счастливее двух других был Иешуа. В первый же час его стали поражать обмороки, а затем он впал в забытье, повесив голову в размотавшейся чалме. Мухи и слепни поэтому совершенно облепили его, так что лицо его исчезло под черной шевелящейся маской. В паху, и на животе, и под мышками сидели жирные слепни, сосали желтое тело.

Повинуясь властным жестам кентуриона, один палач взял копье, а другой принес к столбу ведро и губку. Первый из палачей поднял

копье и постучал им сперва по одной, потом по другой руке, вытянутым и привязанным к поперечной перекладине столба. Тело с выпятившимися ребрами вздрогнуло. Палач провел концом копья по животу. Тогда Иешуа поднял голову, и мухи с гудением снялись, и открылось лицо повешенного, распухшее от укусов, с заплывшими глазами, неузнаваемое лицо.

Разлепив веки, Га-Ноцри глянул вниз. Глаза его, обычно ясные, как свидетельствовал верный Левий, теперь были мутноваты.

— Га-Ноцри! — сказал палач.

Га-Ноцри шевельнул вспухшими губами и отозвался хриплым разбойничьим голосом:

— Что тебе надо? Зачем подошел ко мне? Что ты хочешь еще от меня?

— Пей! — сказал палач, и пропитанная водою губка на конце копья поднялась к губам Иешуа. Радость сверкнула в глазах у Иешуа, он прильнул к губке и с жадностью начал впитывать влагу.

С соседнего столба донесся голос Дисмаса:

— Несправедливость! Я такой же разбойник, как и он. Напоите меня!

Дисмас напрягся, но шевельнуться не смог, руки его в трех местах на перекладине держали веревочные кольца. Он втянул живот, ногтями вцепился в концы перекладин, голову держал повернутой к столбу Иешуа, злоба пылала в его глазах.

Иешуа оторвался от губки и, стараясь, чтобы голос его звучал убедительно, ласково и приятно, но не добившись этого, сорванным хриплым голосом попросил палача:

— Если тебе не жалко воды, дай ему попить, дай...

Кентурион крикнул на Дисмаса:

— Молчать на втором столбе!

И Дисмас в бессильной злобе и ужасе умолк.

И тут тяжело ударило над самым холмом. Туча заняла половину неба. Дуло холодом, белые, стремительные, рваные облака неслись впереди шевелящейся, напоенной черной влагой и огнем тучи.

При громовом ударе все подняли головы. Палач снял губку с копья.

— Славь великодушного игемона! — торжественно шепнул он и тихонько кольнул Иешуа в сердце. Тот дрогнул, вскрикнул:

— Игемон...

Кровь побежала по его животу, челюсть его судорожно шевельнулась два раза, и повисла голова.

При втором громовом ударе палач уже поил Дисмаса и с теми же словами:

— Славь игемона! — убил и его.

Лишившийся рассудка Гестас вскрикнул, лишь только палач оказался возле него, но, лишь только губка коснулась его губ, прорычал что-то и вцепился в нее зубами. Через несколько секунд обвис и он, сколько позволяли веревки. Человек в капюшоне шел по следам палача и кентуриона. Остановившись у первого столба, он внимательно оглядел окровавленного, подумал, тронул белой рукой

ступню Иешуа и сказал трибуну: «Мертв». То же он повторил у других столбов.

После этого трибун сделал знак кентуриону и начал уходить с вершины. Крик кентуриона: «Снимай цепь», — утонул в грохоте с неба. Счастливые солдаты кинулись бежать с холма, надевая шлемы.

Впереди поспешали к лошадям трибун и человек в капюшоне. Хлынул ливень и застал когорту на полдороге на холме. Вода обрушилась так страшно, что, когда солдаты были внизу, им вдогонку уже бежали бушующие потоки, солдаты скользили и падали, спеша на ровную дорогу, по которой впереди, чуть видная в пелене воды, уходила к Ершалаиму до нитки мокрая конница.

Через несколько минут в дымном вареве грозы, воды, огня на холме был только один человек. Потрясая ножом, недаром, как он опасался, украденным, он, срываясь на глиняных размякших уступах, цепляясь, лез через препятствия к столбам. Он то пропадал во мгле, то освещался трепетным светом. Дорвавшись до столбов, уже по щиколотку в воде, он содрал с себя тяжелый, пропитанный водою таллиф, остался в одной рубахе и приник к ногам Иешуа. Ножом он перерезал веревки на голенях, поднялся на перекладину нижнюю, обнял Иешуа и перерезал верхние связи. Голое влажное тело Иешуа обрушилось на Левия и повалило его наземь. Он тут же хотел взвалить его на плечи, но какая-то мысль остановила его. Он оставил на земле в воде тело с запрокинутой головой и разметанными руками, побежал на разъезжающихся ногах к другим столбам. Он перерезал веревки и на них и тогда вернулся к Иешуа.

Прошло несколько минут, и на вершине холма остались только два трупа, которые поворачивала и била вода, три пустых столба.

Левия и тела Иешуа на холме уже не было.

Глава 17 БЕСПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ

В бою, когда из строя выходит командир, команда переходит к его помощнику; если выбывает и тот, отряд принимает следующий за ним по должности. Но ежели и он выбывает?

Кратко же говоря, расхлебывать последствия всего того, что накануне произошло в Варьете, пришлось бухгалтеру Василию Степановичу Загривову. Положение его было тягостное, и ухудшалось оно тем, что вся команда его находилась в полном смятении, близком, пожалуй, к панике. Команда эта, то есть сам бухгалтер, счетовод, машинистка, кассирша, курьеры, капельдинеры и уборщицы, — словом, никто не находился на своем месте, никто не работал, а все торчали на подоконниках, глядя на то, что происходит на площади под стенами Варьете.

А происходило то, что и предвидел Римский. У стены Варьете лепилась в два ряда тысячная очередь ожидавших открытия билетной кассы, которое должно было состояться ровно в полдень.

В голове этой очереди с загадочными лицами находилось около двадцати московских барышников.

Очередь шумела, привлекала внимание струившихся мимо граждан, в очереди вскипали зажигательные рассказы о вчерашнем невиданном сеансе черной магии.

Эти же рассказы вконец разложили и самое команду и привели в величайшее смущение Василия Степановича, который накануне на спектакле не был. В самом деле, капельдинеры шушукались, глаза у них ходили колесом. Многие из них вчера поймали по нескольку червонцев. Надо сказать правду, все мы люди! Один из них сегодня утром, идя на работу, мысленно перекрестился и спросил три пачки «Риону» в табачном киоске. Прошло. Получив сдачу и три пачки, он почувствовал какое-то сладостное томление и рассказал об этом приятелю из бельэтажной вешалки. Тот изменился в лице и признался, что сам побывал уж в гастрономе, но еле унес оттуда ноги. Кассирша с визгом швырнула ему бумажку обратно, крича:

— Это вы что же, гражданин, суете в кассу? Вы думаете, что я слепая? Посмотрите, граждане!..

Глянул: возвращают ему ярлык от «Абрау-Дюрсо» (полусухое). Отоврался, сказал, что ярлык лежал в кошельке у него случайно, а что он близорукий, и пришлось отдать настоящий червонец, чтобы замять это дело.

Наивно было бы думать, что только эти двое пробовали менять; уж очень смиренные, загадочные [лица] были у капельдинеров. И при этом у некоторых грустные, у других же веселые.

Кассиршу и Василия Степановича совершенно сбили с панталыку те же капельдинеры, рассказав о том, как в полночь бегали по площади черт знает в чем гражданки, и прочее в этом же роде.

К десяти часам утра очередь так взбухла, что о ней достигли слухи до милиции, и надо отметить, что с удивительною быстротою были присланы конные наряды, которые привели ее в порядок, если, конечно, порядком можно назвать змею в два ряда, тянущуюся до Кудринской площади. Сама по себе уже эта змея представляла великий соблазн и приводила население в полное изумление.

Но это, конечно, еще далеко не все. В тылу театрального отряда с девяти часов утра непрерывно звонили телефоны в кабинете Лиходеева, в кабинете Римского, в бухгалтерии, в кассе и в кабинете Варенухи. Требовали Лиходеева, Варенуху, Римского: Василий Степанович сперва отвечал что-то, отвечала и кассирша, бурчали что-то в телефоны и капельдинеры — «не прибыли еще», а потом и вовсе перестали отвечать, потому что отвечать было решительно нечего. Говорили «Лиходеев на квартире», а отвечали из города, что на квартиру звонили, а оттуда отвечают, что Лиходеев в Варьете.

Позвонила взволнованная дама, стала требовать Римского, ей посоветовали позвонить к жене его, а трубка, зарыдав, ответила, что она и есть жена и что Римского нигде нету!

Начиналась какая-то чепуха. Уборщица всем уже рассказала, что, явившись в кабинет финдиректора убирать, увидела, что дверь настежь, лампы горят, окно разбито, стул валяется на полу и никого нету.

В одиннадцатом часу ворвалась в Варьете мадам Римская. Не стоит описывать эту грустную и шумную сцену.

А в половине одиннадцатого явилась и милиция. Первый же и совершенно резонный ее вопрос был:

— Что у вас тут происходит, граждане? В чем дело?

Команда отступила, выставив вперед бледного, взволнованного Василия Степановича.

Клубок начал разматываться мало-помалу. Пришлось наконец назвать вещи своими именами и признаться, что администрация Варьете в лице директора, финдиректора и администратора пропала и находится неизвестно где, что конферансье в психиатрической лечебнице, что сеанс вчера был, скажем прямо, скандальный, и так далее.

Мадам Римскую отправили домой и более всего заинтересовались рассказом уборщицы о брошенном на ночь в беспорядке кабинете с разбитым стеклом в окне, и через короткое время в здании Варьете через черный ход появилась цвета папиросного пепла собака с острыми ушами и умными глазами в сопровождении двух лиц в штатской одежде. Разнесся среди служащих Варьете слух, что пес — не кто иной, как Тузбубен, известный не только в Москве, но и далеко за пределами ее.

И точно, это был Тузбубен.

Его пустили, и пес пошел к кабинету Римского. Служащие, притаившись в коридоре, выглядывали из-за углов, с нетерпением ожидая, что произойдет. Произошло же следующее: легко, скачками поднявшись по лестнице во второй этаж, пес направился прямо к кабинету финдиректора, но у дверей остановился и вдруг тоскливо и страшно взвыл. Его поведение вызвало недоумение у сопровождавших знаменитую разыскную собаку, а в души служащих вселило страх. Леденящий кровь вой повторился, его разносило по гулким коридорам, и трое капельдинеров почему-то заперлись в уборных.

Повыв, пес вступил в кабинет Римского, а следом за ним сопровождающие, тут Тузбубен еще более изумил всех. Шерсть на собаке встала торчком, в глазах появилась тоска, злоба и страх. Пес зарычал, оскалив чудовищные желтоватые клыки, и зарычал на то кресло, которое уборщица нашла лежащим на полу и которое поставила на место.

Затем Тузбубен лег на брюхо и с тем же выражением тоски и в то же время ярости подполз к разбитому окну. Преодолев свой страх, он вдруг вскочил на подоконник и, задрав острую морду вверх, завыл дико и злобно на липу, ветви которой касались окна. Он не хотел уходить с окна, рычал, вздрагивал, порывался прыгнуть вниз. Его взяли на поводок, вывели. Тогда он устремился к одной из мужских уборных в конце коридора, был впущен, передними лапами стал на унитаз, заглянул в него. В воде обнаружили клочки червонца,

случайно не унесенные водою. Извлекли их, удивились: клочки оказались клочками газетной бумаги. Очевидно, сгоряча померещилось, что это червонец.

Тем не менее, что-то мрачное нависало над Варьете. От всех этих загадочных признаков веяло темной, неприятной уголовщиной. Опять Тузабубен пустили. На этот раз он пошел быстро, но спокойно по коридору, потом по лестнице вниз и в конце концов вывел сопровождающего к пустой таксомоторной стоянке, дальше не пошел.

Пса вернули в Варьете, произошло маленькое совещание в кабинете Варенухи. Сопоставили момент окончания спектакля (без четверти двенадцать ночи) с расписанием ночных поездов. Мелькнули слова: «Ленинград... телеграмму...»

Тузабубен увезли в машине.

В это же время шел разговор Василия Степановича с представителями милиции в кабинете Лиходеева. Знать ничего не знавший и ведать не ведавший бухгалтер думал только об одном, как бы доказать, что он ни к чему не причастен, ни в чем не виноват. Это, впрочем, сразу стало ясно. Вызывали в кабинет билетную кассиршу, капельдинеров, бывших на вчерашнем дурацком спектакле с переодеваниями и прочим. Капельдинеры говорили, что верно, летали червонцы, но что они к ним не прикасались, прекрасно понимая, что это непорядок и что ихнее дело не деньги ловить, а состоять при программках и билетах. Ихнее дело простое, ты покажи мне билет, я тебе место покажу, усажу, программка двадцать копеек, пожалуйте сдачи, и к стороне.

Тем не менее ниточки так и тянулись к загадочному черному магу и тут же самым страшным образом обрывались в руках. Афиши-то были? Были. Но за ночь их заклеили тучею новых других. Откуда он взялся, маг-то этот? А кто ж его знает? Где договор? В столе у Римского нету, у Лиходеева нету и у Варенухи в столе вообще ничего нету, кроме перчатки с отрезанным пальцем.

Позвонили в программный отдел зрелищ, затребовали Ласточкина, того самого, с которым должны были согласовывать программу, а его нету, он в Кисловодск вчера уехал. Ну, словом, чего ни спросишь, нету, нету, не знаем, не видели... кажись, было. А может, и не было? Может, и не было! Тьфу!

Курьерша, что дежурила у дверей, говорила, что все время вчера молнии носили, ручку в двери оборвали. Много ль молний было? Много. И как молнию распечатают, так она и слышит, как Иван Савельевич так и крикнет: «Ах! ах!»

Где же эти молнии? Нету нигде никаких молний.

Курьер Карпов наконец что-то путное сказал. Сказал, что слышал, как Степан Богданович говорил кому-то, что артист этот у него остановился.

Ага. Послали, конечно, на квартиру к Лиходееву.

— Да позвольте, — говорили Василию Степановичу, — ведь договор-то с ним заключали, с магом-то?

— Не могу знать, — отвечал трясущимися губами бухгалтер.

— Да ведь, ежели представление было, стало быть, договор был?

— Всенепременно, — отвечал бухгалтер.

— А если он был, так он должен был через бухгалтерию пройти?

— Обязательно, — отвечал несчастный Василий Степанович.

— И не проходил?!

— Никак нет, — отвечал бухгалтер, разводя руками.

То же подтверждали регистраторша, счетовод, машинистка.

Перелистали папку договоров: все налицо — и конькобежцы, и велосипедисты, и жонглеры, а черной магии нету и следов.

Как фамилия-то его? Мага то есть?

Капельдинеры не знают! Билетная кассирша наморщила лоб, думала, думала, наконец сказала:

— Кажись, Во... Воланд.

Опять «кажись»! А может, и не Воланд. А может, и Фаланд. Звонили в иностранное бюро. Ни о маге, ни о каком Фаланде даже не слыхали, никакой маг не приезжал.

А тут еще с квартиры Лиходеева вернулись, сообщили, что никакой артист там не поселялся, да и Лиходеева самого вчера уже не было, а Груня, говорила соседка Аннушка, уехала в деревню под Воронеж к папане в отпуск. Аннушка тут же насплетничала, что Груня увезла с собою во какой мешок сахару рафинаду, потому что, конечно, Лиходеев человек холостой, а Берлиоза задавило, ну, Грунька, конечно, и тащит... Ее бормотание и слушать не стали.

Выходило что-то совершенно несусветное: был вчера сеанс, а кто производил его — неизвестно!

А дело, между прочим, шло к полудню. Ну, тут, натурально, пришлось распорядиться ясно, безоговорочно и точно. Никакого спектакля сегодня не будет. На дверях Варьете тут же была вывешена крупная надпись тушью по картону: «По случаю срочного ремонта сегодняшний спектакль отменяется».

Послали и капельдинера, он об отмене объявил передовым в гигантской очереди. Произошло волнение, но и кончилось. И очередь стала разрушаться от головы к хвосту, но еще час примерно нарушала порядок и мешала движению по Садовой.

Двери Варьете заперли, следствие отбыло. Остались только дежурные.

Бухгалтеру же Загривову предстояло выполнить две задачи. Срочно съездить в ведомство зрелищ и увеселений и доложить о том, что вот, мол, у нас какая история... Так вот, пришлите кого-нибудь на место Лиходеева... Тьфу ты! Навязалась забота! Второе: нужно было в финзрелищном секторе сдать вчерашнюю кассу: 21 711 рублей.

Василий Степанович упаковал кассу в газетную бумагу, бечевкой обвязал пакет и, хорошо зная инструкцию, направился не к автобусу, а к таксомоторной стоянке, на которой стояло три машины.

Лишь только шоферы увидели пассажира, спешащего с туго набитым портфелем к стоянке, как все трое сорвались с места и из-под носа у него уехали пустыми, почему-то при этом злобно оглядываясь. Загривов рот раскрыл. У стоянки он стоял дурак дураком, соображая, что бы значило такое бегство шоферов.

Через три минуты подкатила пустая машина на стоянку, и лицо шофера сразу перекосило, лишь только он увидел пассажира.

— Свободна машина? — изумленно кашлянув, спросил Василий Степанович.

— Деньги покажите, — со злобой сказал шофер, не глядя на бухгалтера.

Пораженный бухгалтер вытащил, зажав портфель под мышкой, бумажник, показал шоферу червонец.

Шофер даже в лице изменился от злобы.

— Не поеду! — сказал он и отвернулся.

— Я извиняюсь... — начал бухгалтер, моргая глазами.

— Трешки есть? — буркнул шофер.

Пораженный изумлением бухгалтер вынул из бумажника две трешки.

— Садитесь! — крикнул шофер так, как будто кричал «Вон!», и хлопнул по флажку счетчика так, что чуть не сломал его.

Поехали. Набравшись смелости, бухгалтер спросил у свирепого возницы:

— Сдачи, что ль, нету?

— Полный карман сдачи, — заорал шофер, и в зеркальце бухгалтер увидел его налившиеся кровью глаза, — третий случай со мною сегодня... Да и с другими было! Дает какой-то сукин сын червонец... я ему сдачи шесть пятьдесят... Вылез, сволочь!.. Через минут пять смотрю: бумажка с нарзанной бутылки! — Тут шофер произнес совершенно непечатные слова. — Другой на Зубовской... червонец... даю сдачи семь целковых... ушел... полез в кошелек... оттуда пчела... тяп за палец... ах ты... — шофер произнес непечатные слова, отняв от руля руку, показал распухший палец, — а червонца нету! (непечатные слова)... Товарища моего на двадцать два рубля нагрели, другого еще на тринадцать с полтиной... (непечатные слова)... Вчера в этом Варьете (непечатные слова) какая-то гадюка-фокусник с червонцами сеансик сделал (непечатные слова).

Бухгалтер обомлел, съежился и сделал такой вид, будто он самое слово «Варьете» слышит в первый раз, а сам подумал: «Ну и ну...»

Приехали на Ильинку, расплатился Василий Степанович. Шофер мял трешку, смотрел на свет, наконец с ворчанием засунул в кошель. По счетчику выходило два семьдесят, но у Василия Степановича не хватило духу потребовать сдачи.

Хорошо зная дорогу, бухгалтер затрусил по коридору управления, устремляясь туда, где находился кабинет заведующего, и уже по дороге понял, что попал не вовремя. Какая-то суматоха царила в управлении. Мимо бухгалтера пролетела курьерша со сбившимся на затылок платочком и с вытаращенными глазами. Она кричала:

— Нету, нету, пиджак, штаны, и ничегошеньки в пиджаке нету!

Затем в отдалении кто-то разбил поднос с посудой, из секретарской комнаты, помещавшейся перед желанным кабинетом, выбежала вторая курьерша с пустым подносом и ложечкой, а за ней знакомый бухгалтеру заведующий 1-м сектором. Заведующий был в таком состоянии, что не узнавал людей, и куда-то брызнул.

Ноги донесли удивленного бухгалтера до секретарской комнаты, у дверей которой оказался один из служащих, прижавшийся к стене и глядящий на бухгалтера бессмысленно. У ног служащего валялась папка и рядом вывалившиеся из нее докладные бумаги.

Бухгалтер заглянул в секретарскую и поразился. Первое, что он увидел, это припавшего к щели в полураскрытой двери кабинета какого-то служащего, который, присев на корточки, глядел в кабинет с таким страшным лицом, что бухгалтер остановился, колеблясь — входить ли ему?

Из кабинета доносился грозный голос, несомненно принадлежащий Прохору Петровичу, самому заведующему.

«Распекает, что ли?..» — подумал смятенный бухгалтер.

И тут увидел другое: в кожаном кресле, закинув голову на спинку, безудержно рыдая, с мокрым платком в руке, лежала, вытянув ноги почти до средины секретарской, личный секретарь Прохора Петровича, красавица Сусанна Ричардовна Брокар.

Весь подбородок Сусанны Ричардовны был вымазан губной помадой, а по персиковым щекам ползли с глаз черные потоки ресничной краски. Увидев, что кто-то вошел, секретарь вскочила, кинулась к бухгалтеру, вцепилась в лацканы его пиджака, стала трясти и кричать:

— Слава богу! Хоть один храбрый! Идите, идите к нему! Все разбежались, все предали! Все испугались! Я не знаю, что делать!

И она потащила бухгалтера в кабинет, причем рот ее полез к уху, а черная краска, смешанная со слезами, добежала до подбородка.

Вовлеченный в кабинет бухгалтер первым долгом уронил портфель и сейчас же его поднял, затем все мысли его перевернулись кверху ногами. И надо сказать, было от чего.

За огромным письменным столом с массивной чернильницей, в роскошно недавно и заново отделанном кабинете с дубовой мебелью, кожей и занавесками на окнах сидел пустой костюм и не обмакнутым в чернила сухим пером водил по бумагам. При костюме был галстук, в кармашке самопишущее перо, но не было над воротником головы, равно как из манжет не выглядывали кисти рук. Костюм был погружен в работу и не замечал той кутерьмы, что царила кругом.

Услышав шаги, костюм откинулся в кресле, и над воротником прозвучал хорошо знакомый бухгалтеру голос Прохора Петровича:

— В чем дело, товарищ? Ведь на дверях же написано, что я не принимаю!

Красавица-секретарь взвизгнула и, ломая руки, вскричала:

— Вы видите? Видите? Нету его! Нету! Верните! Что же это такое?

В дверь кабинета кто-то сунулся, охнул и вылетел вон. Бухгалтер сидел на краешке кресла и чувствовал, как дрожат его ноги. Сусанна Ричардовна прыгала возле бухгалтера, терзая его пиджак, вскрикивала:

— Я всегда, всегда останавливала его, когда он чертыхался, вот и дочертыхался!

Красавица оставила пиджак бухгалтера, подбежала к письменному столу и музыкальным нежным голосом, немного гнусавым от слез, воскликнула:

— Проша! Где вы?

— Это кто же вам тут «Проша»? — осведомился костюм надменно.

— Не узнает! Не узнает! Доктора! — взрыдала секретарь.

— Попрошу не рыдать в кабинете! — уже злясь, сказал вспыльчивый костюм в полоску и подтянул к себе свежую пачку бумаг, подцепив ее отсутствующими пальцами.

— Нет, не могу видеть этого! — закричала Сусанна Ричардовна и выбежала в секретарскую, а за нею, как пуля, вылетел и бухгалтер.

— Вообразите, сижу, — рассказывала Сусанна Ричардовна, вцепившись в рукав бухгалтера и мотая Василия Степановича из стороны в сторону, — и входит кот. Черный, здоровый, как бегемот. Я, конечно, кричу ему «брысь». Он — вон, и вдруг входит толстяк тоже с какой-то кошачьей мордой и говорит: «Это что же вы, гражданочка, посетителям «брысь» кричите?» И прямо в кабинет к Прохору Петровичу, я за ним: «Вы с ума сошли?!» А он прямо, наглец, к Прохору Петровичу. Ну, тот, он добрейшей души человек, но нервный. Вспылил! Не спорю. Нервозный человек, работает, как вол. Вспылил! «Вы чего, — говорит, — без доклада лезете? Я занят!» А тот, нахал, вообразите, развалился в кресле, улыбнулся и говорит: «А я, — говорит, — с вами по дельцу пришел поговорить...» А? Ну, тут, знаете, терпение Прохора Петровича лопнуло, и он вскричал: «Да что же это такое? Вывести его, черти б меня взяли!» А этот, вообразите, улыбнулся и говорит: «Черти чтоб взяли? А что ж, это можно!» И трах, я не успела вскрикнуть, смотрю: нету этого оборванца и костюм... Геее... — распялив совершенно потерявший всякие очертания рот, зарыдала Сусанна Ричардовна...

Подавившись рыданием, она перевела дух, но понесла что-то совершенно несвязное, вроде того:

— И пишет, пишет, пишет! С ума сойти! По телефону говорит... командует... костюм! Все разбежались... Зайцы! У меня руки трясутся! Пишет! Пишет! Да неужели же вы не понимаете?!

Сусанна Ричардовна махала перед лицом бухгалтера руками, ногти которых были вымазаны красной краской, а тот только стоял и трясся.

И тут судьба выручила бухгалтера. В секретарскую спокойной волевой походкой входила милиция в числе двух человек. Увидев их, красавица зарыдала пуще, тыча рукою в двери кабинета.

— Давайте не будем рыдать, гражданка, — спокойно сказал первый, а бухгалтер, не помня как, выскочил из секретарской и через минуту уже был на свежем воздухе.

В голове у него был сквозняк, в котором гудело что-то вроде: «Ого-го-го-го! Кот... Варьете... Ого-го...»

Чтобы успокоиться немного, он путь до Ваганьковского переулка проделал пешком. Собственно говоря, другой бы более сметливый человек плюнул бы на дела и в сегодняшний день никуда бы более не

совался, но Василий Степанович как будто взбесился — исполнить поручение! Казенных денег боялся, как огня, и решил, что сдаст их во что бы то ни стало.

Второе отделение городского зрелищного сектора помещалось во дворе, в облупленном от времени особняке, и известно было своими порфировыми колоннами в вестибюле. Но не колонны поражали в этот день посетителей сектора, а то, что происходило под колоннами и за ними, в комнатах сектора.

Несколько посетителей, в числе их только что явившийся Василий Степанович, стояли в оцепенении и глядели на плачущую барышню за столиком, на котором лежала литература, продаваемая барышней.

На участливые вопросы барышня только отмахивалась, а сверху и с боков из всех отделов сектора несся телефонный звон надрывавшихся по крайней мере двадцати аппаратов.

Барышня вдруг вздрогнула, истерически крикнула «вот, опять!» и неожиданно запела дрожащим сопрано:

— Славное море, священный Байкал!

Курьер, показавшийся на лестнице, погрозил кому-то кулаком и запел в унисон с барышней незвучным тусклым баритоном:

— Славен корабль, омулевая бочка!

Хор начал разрастаться, шириться, наконец песня загремела во всех углах сектора. В ближайшей комнате № 6 счетно-проверочного отдела выделялась мощная с хрипотцой октава. Аккомпанировал хору усилившийся треск телефонных аппаратов.

— Гей, баргузин... пошевеливай вал!.. — орал курьер на лестнице, пытаясь вставлять между словами ругательства.

Слезы текли по лицу девицы, она пыталась стиснуть зубы, но рот ее раскрывался сам собою, и она пела вместе с курьером:

— Молодцу плыть недалечко!

Поражало безмолвных посетителей, что служащие-хористы, рассеянные по разным местам сектора, пели очень ритмично и складно, как будто весь хор стоял, не спуская глаз с невидимого дирижера. Прохожие иногда останавливались у решетки в переулке, удивляясь веселью, царящему в секторе, а жители трехэтажного дома, выходившего сбоку сектора во двор, видимо, привыкли к пению и выглядывали из окон, хихикая и перекидываясь словами:

— Опять загудели!..

Как только первый куплет пришел к концу, пение стихло внезапно, опять-таки как бы по жезлу дирижера. Курьер получил возможность выругаться, что и исполнил, и убежал куда-то.

Тут открылись парадные двери, и в них появился гражданин в летнем пальто, из-под которого торчали полы белого халата, и милиционер. «Доктор, доктор...» — зашептали зрители.

— Слава богу! Примите меры, доктор, — истерически крикнула девица.

Тут же на лестницу выбежал секретарь сектора и, видимо, сгорая от стыда и смущения, начал говорить, заикаясь:

— Видите ли, доктор, у нас случай массового... какого-то... гипноза... что ли... так вот... — Он не докончил своей фразы, стал давиться словами и залился тенором, глядя, как глядит собака на луну.

— Шилка и Нерчинск...

— Дурак! Дурак! — успела выкрикнуть девица, но объяснить, кого ругает, не успела, а и сама вывела руладу и запела про Шилку и Нерчинск.

Недоумение разлилось по лицу врача, но он постарался скрыть его и сурово сказал секретарю:

— Держите себя в руках. Перестаньте петь!

По всему было видно, что секретарь и сам бы отдал бог знает что, чтобы перестать, да перестать-то не мог и вместе с хором донес через открытые окна до слуха прохожих весть о том, что в дебрях его не тронул прожорливый зверь...

Тем временем появился санитар с ящиком, и, как только куплет кончился, девица первая получила порцию валериановых капель. Врач с санитаром убежали поить других, а девица рассказала о той беде, что стряслась в секторе.

Видно, что насильственное пение, стыд, срам и слезы до того истерзали девицу, что она не стеснялась в выражениях и кричала на весь вестибюль: «Пусть слышит!»

Оказалось, что заведующий сектором...

— Простите, гражданочка, — вдруг сказал бухгалтер, тронутый горем ближних, — кот к вам черный не заходил?

И сам прикусил язык, опасаясь, что обнаружится его связь со вчерашним сеансом.

— Какие там коты! — не стесняясь кричала девица. — Ослы у нас в секторе! Ослы!

Оказалось, что заведующий сектором, «разваливший вконец искусства и развлечения» (по словам девицы), «в которых ничего не смыслит!», страдал манией организации всякого рода кружков.

— Очки втирал начальству! — орала девица...

...В течение года он успел организовать кружки: по изучению Лермонтова, шахматно-шашечный, пинг-понга и верховой езды. К лету угрожал организацией кружка гребли на пресных водах и альпинистов. И вот сегодня в обеденный перерыв входит он...

— Сияет, как солнце! — рассказывала девица, торопясь и икая после валерианки. — И ведет под руку какого-то сукина сына, неизвестно откуда взявшегося, в клетчатых брючонках, пенсне треснувшее, рожа невозможная!

И тут же отрекомендовал его всем как видного специалиста по организации хоровых кружков. Коровьев по фамилии.

(Бухгалтер насторожился.)

Лица будущих альпинистов помрачнели, но заведующий тут же призвал их к бодрости, а организатор Коровьев и пошутил, и поострил, и клятвенно заверил, что времени пение берет самую малость...

— На ходу, на ходу!..

А пользы от этого пения целый вагон. Ну, конечно, первые выскочили Фанов и Косарчук, известнейшие наши подхалимы,

и объявили, что записываются. Ну, тут остальные убедились, что пения не миновать, стали записываться. Петь решили, так как все остальное время было занято пинг-понгом и шашками, в обеденном перерыве. Заведующий, чтобы подать пример, объявил, что у него тенор, и далее все пошло, как в скверном сне. Коровьев поорал «до-ми-соль-до!», вытащил наиболее застенчивых из-за шкафов, за которыми они прятались от пения, Косарчуку сказал, что у того абсолютный слух, заныл, заскулил, просил уважить старого регента-певуна, стукал камертоном по пальцу, умолял грянуть «Славное море».

Грянули. И славно грянули, Коровьев понимал свое дело. Допели первый куплет, Коровьев извинился, сказал: «Я на минутку», — и... исчез куда-то.

Думали, что в уборную. Но прошло десять минут — его нету. Недоумение. Потом — радость: сбежал!

И вдруг как-то само собой запели второй куплет, Косарчук повел высоким хрустальным тенором. Спели. Коровьева нету. Двинулись по своим местам, не успели сесть, как против своего желания запели. Остановиться! Не тут-то было. Пауза минуты три, и опять грянут. Тут сообразили, что — беда! Заведующий заперся у себя в кабинете. И вот...

Тут девицын рассказ прервался. Валерианка ничего не помогала.

Услужливые посетители совали девице стакан с водой, но пить она не могла, беря высокие чистые ноты. Здание сектора гремело, как оперный театр. Растерявшийся врач метался от одного певца к другому, наконец увидел, что так не управиться, и отправился к телефону.

Через четверть часа подъехали три грузовика, и на них погрузился весь состав сектора во главе с совершенно убитым заведующим.

Лишь только первый грузовик, качнувшись в воротах, выехал в переулок, служащие, стоящие на платформе и держащиеся друг за друга, раскрыли рты, и в переулке понеслась популярная песня. Второй грузовик подхватил, а за ним и третий. Так и поехали.

Способ оказался умным и простым. Прохожие, летящие по своим делам, бросали на грузовики беглый взгляд и проносились мимо, полагая, что экскурсия едет за город.

Таким образом, все грузовики без всякого соблазна выехали на шоссе и поехали в клинику профессора Стравинского.

Задумчивый, качающий головой бухгалтер, стремясь избавиться от денег, пешком отломал еще один конец на Петровку и явился в финотдел московского зрелищного сектора.

Ученный уже опытом, он осторожно заглянул в продолговатый зал, где за матовыми стеклами с золотыми надписями сидели служащие. Но никаких признаков тревоги или какого-нибудь безобразия не обнаружил. Было тихо, как и полагалось в приличном учреждении.

Бухгалтер всунул голову в то окошечко, на котором было написано «прием сумм», поздоровался с каким-то не знакомым ему, очевидно новым, служащим, ласково попросил приходный ордерок.

Но служащий почему-то встревожился и спросил, не глядя на Василия Степановича:

— А вам зачем?

Бухгалтер изумился.

— Хочу сдать сумму.

— Одну минутку, — ответил служащий и мгновенно закрыл сеткой дыру в стекле.

«Странно!» — подумал бухгалтер. Он слышал, что там идет какое-то совещание, о чем-то тихо спорят, советуются.

Изумление бухгалтера возросло. Впервые в жизни он встретился с таким обстоятельством, как здесь. Всем известно, как трудно получить деньги, всегда к этому могут найтись препятствия. Но в практике бухгалтера не было за тридцать лет службы случая, чтобы кто-нибудь у него, будь то учреждение, юридическое или частное лицо, затруднялся бы принять деньги.

Сеточка отодвинулась, и опять бухгалтер прильнул к окошечку.

— А у вас много ли? — спросил служащий.

— Двадцать одна тысяча.

— Ого, — ответил служащий и добавил: — Одну минуточку, — и опять закрылся.

«Взбесился он, что ли?» — подумал бухгалтер.

Но сеточка отодвинулась, высунулась рука с зеленой бумажкой.

— Пишите ордер, — пригласили бухгалтера.

Тот локтем придавил обременяющий его пакет и заполнил у окошечка ордерок, а затем стал развязывать веревочку.

Когда он распаковал свой груз, в глазах у него зарябило, он что-то промычал. Перед глазами его замелькали иностранные деньги. Тут были пачки канадских долларов, фунтов английских, гульденов голландских, лат латвийских, крон эстонских, йен японских...

— Вот он, один из этих штукарей! — сказал грозный голос над онемевшим бухгалтером.

И тут же Василия Степановича арестовали.

Глава 18 НЕУДАЧЛИВЫЕ ВИЗИТЕРЫ

В то самое время, как злосчастный бухгалтер Загривов несся в таксомоторе, чтобы нарваться на самопишущий костюм и дальнейшие неприятности, то есть после полудня в пятницу, мощногрудый паровоз плавно и беззвучно вошел под стеклянную крышу Киевского вокзала, ведя за собою одиннадцать вагонов скорого поезда, и остановился.

Томные и бледные после ночной вагонной качки пассажиры потекли из вагонов, и в числе их из мягкого плацкартного вагона № 9 вышел солидный полный бритый гражданин, имеющий на голове шляпу, на левой руке перекинутое через нее летнее пальто, а в пра-

вой руке черный новенький фибровый чемодан, купленный в Киеве на Крещатике.

Описанный гражданин был, как нетрудно догадаться, дядя покойного Берлиоза — Александр Максимилианович Радужный, экономист-плановик, проживающий в Киеве на бывшей Институтской улице.

Причиной приезда дяди в Москву была полученная им позавчера около одиннадцати часов вечера телеграмма следующего содержания:

«Меня Берлиоза только что зарезало трамваем на Патриарших похороны пятницу три часа дня приезжай Берлиоз».

Александр Максимилианович считался, и заслуженно, одним из самых умных людей в Киеве.

Однако и самого умного человека подобная телеграмма может поставить в тупик.

«Меня зарезало...» — бормотал Радужный, стоя в передней своей квартиры в Киеве и глядя в телеграфный бланк... Раз человек телеграфирует, что его зарезало, то его зарезало не насмерть? Не правда ли? А при чем же тогда похороны? Или он очень плох и предвидит, что умрет? Это возможно, но все-таки какая-то странная точность... так уж и знает, что хоронить его будут в пятницу в три часа... Удивительная телеграмма.

Однако умные люди на то и умные, чтобы разбираться в запутанных делах. Побормотав минуты три в передней, Александр Максимилианович засунул телеграмму в карман.

Очень просто. Произошла досадная ошибка в работе телеграфа, и депешу передали исковерканную. Слово «меня», вне всяких сомнений, попало сюда из другой телеграммы, в конце телеграммы излишне повторили слово «Берлиоз», и отвалились, кроме этого, «те» после слова «приезжай». С такими поправками смысл телеграммы становился ясен и трагичен.

Когда утих взрыв горя супруги Александра Максимилиановича, урожденной Берлиоз, Александр Максимилианович немедленно начал собираться в путь. Тут нужно открыть маленькую тайну Александра Максимилиановича. Нет спору, он горевал, и ему было жаль племянника жены, погибшего в расцвете лет... Но, конечно, как человек деловой, он понимал, что особенной надобности в его присутствии на похоронах нету. Наследство? Ну, три костюма, пятьсот штук книг... Александр Максимилианович знал, что у племянника сбережений не было...

И тем не менее Александр Максимилианович ехал в Москву очень озабоченный. Ему казалось даже, что поезд идет слишком медленно.

Дело было в одном. В квартире!

Квартира в Москве! Это серьезно.

Неизвестно почему, но Киев в последнее время томил Александра Максимилиановича, и мысль о переезде в Москву у него стала навязчивой.

Его не радовали ни весенние разливы Днепра, когда, затопляя острова на низком берегу, [вода] сливалась с горизонтом. Его не радо-

вал тот вид, что открывался от подножия памятника Владимиру. Его не веселили солнечные пятна весны, играющие на дорожках Владимирской Горки. Ничего этого он не хотел, он хотел переехать в Москву.

Все видели, конечно, объявление, несколько раз печатавшееся в «Вечерней Москве»: «Киеве меняю чудную отд. квартиру 3 ком., близость Днепра на меньш. площ. Москве».

Это объявление принадлежало перу дяди Берлиоза.

Ничего не выходило. Было только одно предложение из Москвы, и глупое, и недобросовестное. В обмен предлагали комнату в Кунцеве, без удобств. Никого не манила близость Днепра, все желали жить в Москве.

Телеграмма потрясла Александра Максимилиановича. Это был момент, который упускать было бы грешно. Такие моменты не повторяются.

Словом, невзирая ни на какие бешеные трудности, нужно было унаследовать квартиру племянника. Вот с этой мыслью, полный ею, пропитанный ею, стиснув в решимости зубы, загадочно щуря левый глаз, Александр Максимилианович несся в Москву в купе мягкого вагона.

Как проворачивать это дело, ему еще не было ясно вполне и самому. Вероятнее всего, что придется действовать в зависимости от того, как начнут поворачиваться сами обстоятельства. В сложном черновом плане в голове у Александра Максимилиановича вертелись в хитрейших переплетах... домоуправление... председатель... закон о наследовании... метраж квартиры... московские адреса... исчисления каких-то сумм, коими была исписана записная книжка... Сложно, ох сложно...

Первый этап как будто выяснялся. Нужно было первым долгом остановиться в этой квартире... и прописаться хотя бы временно. Это важно...

Итак, Александр Максимилианович вышел из поезда. Тут пришлось провернуть этап, который помещался перед первым, так сказать, предэтап. Он был прост и дешев: за гривенник Радужный приобрел газету.

Да, трагедия была налицо. Миолит на последней странице с прискорбием извещал о том, что вынос тела покойного М.А.Берлиоза состоится ровно в три часа.

Радужный глянул на часы. Был час дня. Он заспешил к автобусу.

Через двадцать минут он входил в дверь, на которой было написано: «Правление». В узкой комнате, где на стене висел старый плакат, изображающий в нескольких картинках откачивание утопающего, за деревянным столом в полном одиночестве сидел средних лет небритый человек с встревоженными глазами.

— Могу ли я видеть председателя правления? — вежливо осведомился экономист, снимая шляпу и ставя чемодан на порожний стул. Этот простенький вопрос почему-то до того расстроил сидящего, что он побледнел.

Кося в тревоге глазами, он пробормотал, что председатель... да... его нету.

— Он на квартире у себя? — спросил Радужный. — У меня срочнейшее дело.

Из несвязного ответа человека видно стало, что председатель... он... нету его на квартире.

— А когда он будет?

Человек ничего не сказал на это и с тоской поглядел в окно.

— Ага... — сказал умный Радужный и осведомился о секретаре. Странный человек за столом даже побагровел от напряжения и сказал невнятно, что секретаря тоже нету... когда он придет, неизвестно... что секретарь болен.

— Ага, — сказал Радужный серьезно, — но кто же есть в правлении?

— Я, — слабым голосом отозвался человек.

— Так, — внушительно сказал Радужный, — видите ли, товарищ, я являюсь ближайшим и единственным наследником покойного Берлиоза, моего племянника, скончавшегося, согласно телеграмме от позавчерашнего числа, и обязан в срочном порядке, согласно закону, принять наследство, заключающееся в нашей квартире № 50...

— Не в курсе я, товарищ... — тоскливо отозвался человек и моляще поглядел на Радужного, у которого уже была в руках телеграмма.

— Но позвольте, — звучным голосом сказал Радужный, — вы член правления и обязаны...

Тут скрипнула дверь, и вошел какой-то гражданин. При виде его опять-таки побледнел сидящий за столом.

— Член правления Пятнажко? — интимно и дружески спросил у садящего вошедший.

— Я, — чуть слышно ответил сидящий.

— Тут надо будет вам зайти расписаться на минутку в милицию, — сказал пришедший ласково, — дело быстрое...

Пятнажко встал, почему-то расстегнул толстовку, потом ее застегнул, и через несколько секунд Радужный оказался один в пустом помещении правления.

«Эх, какое осложнение...» —думал Радужный, пересекая асфальтовый двор и спеша в квартиру № 50.

Как известно, посланные следствием из Варьете сообщили, что в квартире № 50 никого нет, но, увы, здесь чистое недоразумение (и, надо думать, не без коровьевского участия). В квартире был кое-кто, и Радужный убедился в этом, и очень быстро.

Дверь открыли на звонок его с исключительной быстротой, и дядя вошел в знакомую ему переднюю. Удивило его несколько то обстоятельство, что неизвестно было, кто ему открыл.

В полутемной передней никого не было кроме громаднейшего черного кота, сидящего на стуле. Зрачки этого кота то вспыхивали, то погасали.

Александр Максимилианович оглянулся, покашлял, потопал ногами. Тогда дверь кабинета открылась и в переднюю вышел Коровьев. Александр Максимилианович поклонился и сказал:

— Моя фамилия Радужный... Я...

Но он не успел договорить, как Коровьев выхватил из кармана грязный платок, приложил его к носу и заплакал.

— Я получил теле...

— Как же, как же! — заныл Коровьев. — Я как только глянул на вас, догадался, что это вы! — Тут он затрясся от слез и начал вскрикивать: — Горе-то, а? Ведь это что же такое делается? А?

— Трамваем задавило? — шепотом спросил Александр Максимилианович, потрясенный рыданиями не известного ему человека в пенсне.

— Начисто! — крикнул Коровьев, и слезы ручьями побежали у него из-под пенсне. — Начисто! Я был свидетелем. Верите ли — раз! Голова — прочь! Потом правая нога — хрусть, пополам! Левая — хрусть, пополам! Вот до чего эти трамваи доводят!

Тут Коровьев, видимо, не будучи уже в силах сдерживать себя, уткнулся носом в стену рядом с зеркалом и стал содрогаться в рыданиях.

Дядя Берлиоза был искренно поражен поведением неизвестного. «Вот, говорят, не бывает в наш век сердечных людей...» — подумал он, чувствуя, что у него самого начинают чесаться глаза. Однако в то же время неприятное облачко набежало на его душу, и тут же мелькнула змейкой мысль о том, что не прописался ли этот сердечный человек в квартире покойника, ибо и такие примеры бывали.

— Простите, вы были другом моего покойного Миши? — спросил он, утирая рукавом один сухой глаз, а другим изучая потрясаемого печалью.

Но Коровьев до того разрыдался, что ничего нельзя было понять кроме повторяющихся слов «хрусть — и пополам!».

Но наконец Коровьев отлепился от стенки и вымолвил:

— Нет, не могу больше! Пойду приму эфирно-валериановых капель! — И, повернув к Радужному совершенно заплаканное лицо, добавил:

— Вот они, трамваи-то!..

— Я извиняюсь, вы дали мне телеграмму? — спросил Александр Максимилианович, мучительно думая о том, кто бы мог быть этот удивительный человек.

— Он! — ответил Коровьев и указал пальцем на кота. Радужный вытаращил глаза, полагая, что ослышался.

— Не в силах, нет мочи, — шмыгая носом, продолжал Коровьев, — как вспомню: колесо по ноге... колесо пудов десять... хрусть... Пойду лягу в постель, забудусь сном!

И тут исчез из передней.

Александр Максимилианович, вытаращив глаза, смотрел на кота. Тот шевельнулся, спрыгнул со стула, стал на задние лапы, подбоченился, раскрыл пасть и сказал:

— Ну, я дал телеграмму. Дальше что?

У Александра Максимилиановича закружилась голова, руки и ноги отнялись, он уронил чемодан и сел на стул напротив кота.

— Я, кажется, русским языком спрашиваю, — сурово сказал кот, — дальше что?

Но Радужный не дал никакого ответа.

— Удостоверение личности! — рявкнул кот и протянул пухлую лапу.

Ничего не соображая, ничего не видя кроме двух искорок, горящих в кошачьих глазах, Радужный, как финский ножик, выхватил из кармана удостоверение со службы.

Кот снял с подзеркального стола очки в роговой оправе, надел их на морду, отчего сделался еще внушительнее, и вынул из прыгающей руки Радужного паспорт.

«Упаду в обморок или нет?» — подумал Радужный.

Издалека донеслись всхлипывания Коровьева, в переднюю проник запах эфира, валерианки и еще какой-то тошной мерзости.

— Каким отделением выдан документ? — спросил кот, всматриваясь в страницу.

Ответа не последовало.

— 412-м, — сам себе сказал кот, водя лапой по паспорту, который он держал кверху ногами, — ну, да, конечно! Мне это отделение известно! Кому попало выдают! Я б не выдал, нипочем не выдал!

Кот рассердился и швырнул паспорт на пол.

— Ваше присутствие на похоронах отменяется! — заговорил кот официальным голосом. — Потрудитесь уехать к месту жительства! — И рявкнул в дверь: — Азазелло!

На его зов в переднюю выскочил маленький, хромой, в черном трико, с ножом, засунутым за кожаный пояс. Радужный почувствовал, что ему не хватает воздуху, поднялся со стула, попятился, держась за сердце.

— Азазелло, проводи! — приказал кот и вышел из передней.

— Радужный, — тихо прогнусил вошедший, — все понятно?

Радужный кивнул головой.

— Поезжай немедленно в Киев, — добавил вошедший все так же тихо, — сиди там тише воды ниже травы и ни о каких квартирах в Москве не мечтай. Понятно?

Этот маленький, доводящий до смертного страха Радужного своими клыками, ножом, кривым глазом, доходил Радужному только до плеча, но действовал энергично, складно, организованно.

Прежде всего он поднял паспорт и подал его Александру Максимилиановичу, и тот принял его мертвой рукой. Затем именуемый Азазелло поднял чемодан одной рукой, другой распахнул дверь и, взяв под руку дядю Берлиоза, вывел его на площадку, а там отпустил.

Радужный прислонился к стене. Азазелло без всякого ключа открыл чемодан, вынул из него громадную жареную курицу без одной ноги, завернутую в промаслившуюся газету, и положил ее на площадку. Вытащил затем две пары белья, бритвенный ремень, какую-то книжку и футляр и все это сбросил в пролет лестницы. Туда же полетел и опустевший чемодан. Слышно было, как он грохнулся внизу и, судя по звуку, от него отлетела крышка.

Затем рыжий разбойник ухватил за ногу курицу и ударил ею по шее Александра Максимилиановича так, что туловище курицы отлетело, а нога осталась в руках у Азазелло. Какой-то свет блеснул у Александра Максимилиановича в глазах, и он полетел вниз по лестнице, держа в руке паспорт.

Долетев до поворота, выбил ногою стекло в форточке, сел на ступеньки. Мимо него пропрыгала безногая курица и провалилась в пролет. Азазелло же вмиг обглодал ногу и кость засунул в кармашек, вернулся в квартиру и с грохотом закрылся.

А снизу донеслись осторожные шажки. Пробежав еще пролет, Радужный сел на деревянный диванчик на площадке и перевел дух.

Какой-то малюсенький пожилой человечек с печальным лицом, в твердой соломенной шляпе, поднимаясь вверх, остановился возле сидящего Радужного.

— Позвольте вас спросить, гражданин, — с грустью осведомился встречный, — где квартира № 50?

— Выше, — ответил Радужный.

— Покорнейше вас благодарю, гражданин, — так же грустно ответил человечек и пошел вверх, а Радужный поднялся и пошел вниз.

Он спускался и бормотал:

— Ну, все понятно! Вот так штука! Хорошо, что не случился разрыв сердца!

Возникает вопрос: быть может, Александр Максимилианович шел в милицию жаловаться на разбойников, учинивших над ним дикое насилие среди бела дня? Нет, ни в коем случае, это можно сказать уверенно. Войти в отделение милиции и сказать, что вот, мол, сейчас кот в очках читал мой паспорт, а потом человек в трико с ножом... Бог знает что такое!

Радужный, все больше приходя в себя, оказался уж внизу возле каморки под лестницей. Стекло в двери каморки было выбито. Тут Радужный увидел, что паспорт у него в руке, бережно спрятал его, а кстати проверил, на месте ли бумажник. Все оказалось в порядке. «И то хорошо», — подумал Александр Максимилианович. Он оглянулся, поискал выброшенные вещи. Их не было и следа. Радужный удивился, насколько мало это его огорчило. И тут его поманила интересная и соблазнительная мысль: проверить на этом человечке еще раз проклятую квартиру. В самом деле: раз он осведомлялся о том, где она находится, значит, шел в нее впервые. И стало быть, он сейчас направлялся прямо в лапы к той компании, которая засела в квартире. Что-то подсказывало Радужному, что человечек очень скоро выйдет из этой квартиры. До поезда времени было много, ни на какие похороны никакого племянника Александр Максимилианович не пошел бы ни за что. Экономист оглянулся и вошел в каморку, решив ждать человечка. В это время наверху стукнула дверь. «Он вошел», — с замиранием сердца подумал Радужный. Однако он довольно долго ждал выхода. Человечек чего-то засел в квартире. «Но все-таки подожду еще», — подумал упорный киевлянин. В каморке было прохладно, пахло мышами и сапогами, силы возвращались к Александру Максимилиановичу, сидящему на каком-то обрубке.

Позиция была удобная, да, впрочем, лестница была все время пустынной. Один только молодой человек прошел на улицу, напевая что-то.

Наконец послышался высоко звук отпираемой двери, Радужный замер за дверью каморки. Да, шажки. «Идет вниз». Друггш дверь по-

ниже этажом открылась. Шажки стихли. Женский голос... голос человечка... да, его голос... Сказал что-то вроде «оставь ты меня Христа ради...»

Женский смех. Шаги. Вниз, вниз; вот мелькнула и ее спина, она вышла, эта женщина, с клеенчатой сумкой. А шажки теперь вверх... «Странно, назад возвращается...» Да... Опять вверху открыли дверь. «Ну что ж, подождем еще».

На этот раз пришлось ждать недолго. Дверь. Шажки. Шажки стихли. Крик. Мяуканье кошки. Шажки быстрые, дробные, вниз, вниз.

В разбитом стекле круглый глаз дяди Берлиоза. Он дождался! Мимо каморки, крестясь и что-то бормоча, пролетел как пуля печальный человечек без шляпы с совершенно безумным лицом, исцарапанной лысиной и в мокрых штанах. Он рвал некоторое время дверь, не соображая, куда она открывается, к себе или от себя, наконец совладал с нею и вылетел на солнце, во двор.

Не думая больше ни о покойном племяннике, ни о квартире, Радужный выглянул, вышел во двор... Через несколько минут он уже был в автобусе, уносившем его к Киевскому вокзалу.

С маленьким же человечком, пока экономист сидел под лестницей, приключилось вот что. Человечек этот назывался Андрей Фокич Соков и был буфетчиком в Варьете.

Пока шло следствие в Варьете, Андрей Фокич держался в сторонке от происходящего, и замечено было только одно, что он стал еще грустнее, чем был всегда, и, кроме того, что узнавал у курьера Карпова, где остановился приезжий маг.

Итак, расставшись с экономистом, буфетчик добрался до пятого этажа и позвонил в квартиру № 50.

Ему открыли немедленно, но буфетчик вздрогнул и попятился и не сразу вошел. Это было понятно. Ему открыла девица, на которой ничего не было кроме кокетливого фартучка и белой наколки на голове. На ногах, впрочем, были золотые туфельки. Сложением девица отличалась безукоризненным, и ее мало портил багровый шрам на шее.

— Ну что ж, входите, раз звоните! — сказала девица, уставив на буфетчика зеленые распутные глаза.

Буфетчик заморгал, охнул и шагнул в переднюю, сняв шляпу.

Тут зазвенел в передней телефон. Бесстыжая горничная, поставив одну ногу на стул, сняла трубку и сказала в нее: «Алло?»

Буфетчик, не зная, куда девать глаза, переминался с ноги на ногу, думал: «Ай да заграничная горничная! Тьфу ты, пакость какая!»

Он стал глядеть по сторонам. Вся большая полутемная передняя, как разглядел смущенный буфетчик, была загромождена необычными предметами и одеянием. Так, на спинку стула был наброшен траурный плащ, подбитый огненного цвета материей, на подзеркальном столике лежала длинная шпага с поблескивающей золотою рукоятью. Три шпаги с рукоятями серебряными стояли в углу. На оленьих рогах висели береты с орлиными перьями.

— Да, — говорила девица в телефон, — как? Барон Майгель? Слушаю... Да... господин маг сегодня выступать не будет... Да, он будет рад вас видеть... Да, будут гости... Фрак... Впрочем, если угодно, пиджак... к двенадцати...

Повесив трубку, она обратилась к буфетчику:

— Вам что угодно?

— Мне необходимо видеть, — робко сказал Андрей Фокич, — господина артиста.

Девица подняла бровь.

— Как? Так-таки его самого?

— Его, — ответил буфетчик.

— Спрошу, — сказала, колеблясь, девица и, приоткрыв дверь в кабинет Берлиоза, спросила:

— Рыцарь, тут явился маленький человек, который говорит, что ему нужен мессир...

— А пусть войдет, — раздался из кабинета разбитый голос Коровьева.

— Пожалуйста, в гостиную, — сказала девица так, как будто была одета, и приоткрыла дверь, а сама покинула переднюю.

Войдя в гостиную без вести пропавшей де Фужере, буфетчик даже про дело свое забыл, до того его поразило убранство комнаты.

Сквозь цветные стекла итальянских окон лился мягкий, вечерний, похожий на церковный свет. В старинном громадном камине пылали дрова. Перед камином на тигровой шкуре сидел, щурясь на огонь, черный котище. В стороне стоял стол, покрытый церковной парчой и уставленный бутылками, большею частью пузатыми, заплесневевшими и пыльными. Между бутылок [поблескивало блюдо и по тому], как оно поблескивало, видно было, что оно, пожалуй, чистого золота.

У камина маленький рыжий с ножом за поясом на длинной стальной шпаге жарил куски баранины, и сок капал на огонь, в дымоход уходил дым. Пахло бараниной, какими-то крепчайшими духами и ладаном, отчего у буфетчика мелькнула мысль о том, что уж не служили ли по Берлиозу церковную панихиду, каковую мысль он тут же отогнал как заведомо нелепую.

Неприятнейшим образом пораженный церковным покровом на обеденном столе, религиозный...* и тут услышал тяжелый бас:

— Ну-с, чем я вам могу быть полезен?

И тотчас буфетчик обнаружил хозяина квартиры.

Тот раскинулся на каком-то необъятном диване, низком, с разбросанными подушками. Как показалось буфетчику, на артисте было только черное белье и черные же востроносые туфли.

— Да, так чем же я могу вам быть полезен? — повторил артист.

— Я, — растерянно заговорил буфетчик, — являюсь заведующим буфетом театра «Варьете»...

Артист вытянул вперед руку, на пальцах которой сверкали камни, как бы заграждая уста буфетчику, и заговорил с большим жаром:

* Обрыв текста.

— Нет, нет, нет! Ни слова больше! Ни в каком случае и никогда! В рот ничего не возьму в вашем буфете! Я, почтеннейший, проходил мимо вашего буфета и до сих пор забыть не могу ни вашей осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета. Она — белая! Да, а чай? Ведь это же помои! Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девушка подливала из ведра в ваш громадный самовар сырую воду, а чай, между тем, продолжали разливать. Нет, милейший, так невозможно!

— Я извиняюсь, — заговорил буфетчик, ошеломленный этим внезапным нападением, — я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем...

— То есть как ни при чем, если она испорченная!

— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик.

— Голубчик! Это вздор!

— Чего вздор?

— Второй свежести — вот что вздор. Это все равно что безобразная красавица или трусливый храбрец. Свежесть бывает только одна — первая. Она же последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!

— Я извиняюсь... — попробовал опять начать буфетчик, не зная уж, как и отделаться от придиры гастронома.

— Извинить не могу, — твердо сказал артист.

— Я не по этому делу пришел, — расстраиваясь, сказал буфетчик.

— Не по этому? — удивился иностранный маг. — А какое еще дело могло вас привести ко мне? Если память не изменяет мне, из лиц, близких вам по профессии, я знался только с одною маркитанткою, да и то давно-давно. Впрочем, я рад. Азазелло! Табурет господину заведующему буфетом!

Тот, жаривший баранину, повернулся, причем ужаснул буфетчика своими клыками, и ловко подал буфетчику один из темных дубовых низеньких табуретов. Других сидений в комнате не было. Буфетчик вымолвил:

— Покорнейше благодарю... — и опустился на скамеечку. Задняя ножка скамеечки тотчас подломилась, и буфетчик, охнув, пребольно треснулся задом об пол.

Падая, он поддал ногой скамеечку, стоявшую перед ним, и с нее опрокинул себе на брюки полную чашу красного вина.

Артист воскликнул:

— Ах! Не ушиблись ли вы?

Азазелло помог буфетчику подняться, подал другую скамеечку. Буфетчик кислым голосом отказался от предложения хозяина снять штаны и просушить их перед огнем и, чувствуя себя невыносимо неудобно в мокром белье и платье, огорченно считая убыток от испорченных брюк, на другую скамеечку сел с опаской.

— Я люблю сидеть низко, — заговорил артист, — с низкого не так опасно падать. Да, итак, мы остановились на осетрине? Голубчик мой! Свежесть, свежесть и свежесть! Прошу это запомнить! Да вот не угодно ли попробовать... — Тут в багровом свете от камина перед буфетчиком блеснула шпага, и Азазелло выложил на золотую таре-

лочку шипящий кусок мяса и тут же полил его лимонным соком и подал золотую вилку.

— Прошу, без церемоний...

— Покорнейше... я...

— Нет, нет, отведайте!..

Буфетчик из вежливости положил кусок в рот и понял, что жует что-то действительно ослепительно вкусное...

— Прошу обратить внимание, каков продукт, а? — сказал гостеприимный артист.

Но здесь буфетчик едва не подавился и не упал вторично. Из соседней комнаты в эту комнату шарахнулась большая темная птица, задев крыльями лысину буфетчика. Она села на каминную полку и оказалась совой.

«Господи боже мой! — подумал нервный, как все буфетчики, Андрей Фокич. — Вот квартирка!»

— Чашу вина, — предлагал маг, — белое, красное? Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?

— Покорнейше... я не пью...

— Э, вот это напрасно, — неодобрительно заметил хозяин, — мужчина, не пьющий вина... В этом есть что-то неприятное... Так не прикажете ли партию в кости? Или вы любите другие игры? Пикет?

— Не играю, — утомленный уже, отозвался буфетчик.

— Совсем худо! — заключил хозяин. — Что-то недоброе таится в людях, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы с приятелем. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих... Правда, не исключена возможность... И среди лиц, сидящих со мною за пиршественным столом, попадались иногда удивительные подлецы... Не знаю, чем вас и занять...

— Я, изволите ли видеть, — уже с отчаянием заговорил буфетчик, чувствуя озноб от мокрых брюк, — по другому делу...

— Я — воплощение внимания, — поощрил его вежливый артист.

— Вчера вы изволили фокусы делать...

Маг изумленно откинулся на своем ложе.

— Я? — воскликнул он. — Помилуйте! Мне это не к лицу!

Буфетчик совершенно опешил.

— Виноват, — просипел он, — да ведь сеанс черной магии...

— Ах, ну да, — вскричал артист, — ну да... Дорогой мой! Я должен открыть вам тайну... Дело в том, что я ведь отнюдь не артист... Просто мне хотелось повидать где-нибудь москвичей в массе, так сказать. Удобнее всего это сделать в театре. Ну, вот моя компания, — он кивнул в сторону кота, — и устроила этот сеанс. Я же лишь сидел и смотрел.

Буфетчик изменился в лице.

— Но это не меняет дела, — продолжал Воланд, — что же в связи с этим сеансом привело вас ко мне?

— Изволите ли видеть, — запинаясь, говорил буфетчик, — в числе фокусов показано было, как бумажки слетели с потолка... Ну, все их и нахватали... И вот в вашем отделении заходит ко мне в буфет моло-

дой человек, спрашивает два бутерброда с чайной… Дает червонец… Я разменял, сдачи восемь с полтиной… Потом другой...

— Тоже молодой человек?

— Нет, этот пожилой… Третий, четвертый… Я все даю сдачи. А сегодня стал проверять кассу, глядь, а вместо червонцев резаная газета! На сто девять рублей наказали буфет...

— Ай-яй-яй! — воскликнул хозяин. — Да неужели же они думали, что это настоящие бумажки? Ведь это же фокус! Я не допускаю мысли, чтобы они это сделали сознательно!..

Буфетчик как-то криво улыбнулся, но ничего не сказал.

— Неужели мошенники? — вперяя в буфетчика свой сверкающий глаз, тревожно допытывался хозяин у гостя. — Скажите, среди москвичей есть мошенники? Это мне чрезвычайно интересно!

В ответ буфетчик так горько улыбнулся, что отпали всякие сомнения: да, среди москвичей есть мошенники!

— Это низко! — возмутился Воланд. — Я все понимаю. Вы человек бедный... ведь вы человек бедный?

Буфетчик втянул голову в плечи и поглядел в сторону.

— У вас сколько имеется сбережений?

Вопрос был задан участливым тоном, но все-таки это вопрос неделикатный, и буфетчик замялся.

— Двести сорок девять тысяч рублей в пяти сберкассах, — отозвался из соседней комнаты треснувший голос, — и дома под полом сто золотых десяток.

Буфетчик так и замер на своей табуретке.

— Ну, конечно, это не сумма, — снисходительно сказал Воланд своему гостю, — хотя, впрочем, и она, собственно, вам не нужна. Вы когда умрете?

Тут уже буфетчик возмутился.

— Это никому не известно и никого не касается, — ответил он.

— Ну да, не известно, — послышался тот же дрянной голос за дверью, — подумаешь, бином Ньютона! Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года, от рака печени в клинике 1-го МГУ.

Буфетчик стал желт лицом, в глазах у него выразился ужас, он повернул голову к двери, потом глянул на кота. Тот, мирно дремавший до сих пор на горячей шкуре, открыл глаза, с любопытством поглядел на буфетчика.

— Гм, девять месяцев, — задумчиво соображал Воланд, — двести сорок девять тысяч... гм... Это выходит 27 тысяч 666 рублей в периоде в месяц? Маловато, но при скромной жизни хватит... Да еще эти десятки...

— Десятки реализовать не удастся, — все тот же голос ввязался, леденя сердце буфетчика... — По смерти Андрея Лукича дом немедленно сломают, и десятки будут отправлены в госбанк.

Буфетчик сидел как окаменевший, молчал.

— Да я и не советовал бы вам ложиться в клинику, — продолжал сочувствовать и советовать артист-маг, причем глаз его сиял как золотой, — какой смысл умирать в палате под стоны и хрипы безнадежно больных? Эфир этот, уколы, страдания… Тошная скука... Не луч-

ше ли устроить пир на эти 27 тысяч и, приняв цианистого калия, переселиться под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями?

Буфетчик сидел неподвижно и очень постарел... Темные кольца окружали его глаза, щеки обвисли. Нижняя челюсть отвалилась.

— Впрочем, мы замечтались! — весело воскликнул хозяин. — К делу, к делу! Вы, конечно, хотите, чтобы вам вернули настоящие деньги?

Буфетчик что-то прохрипел.

— Фагот! — крикнул хозяин. Голос его ударил как колокол, на столе звякнули бутылки. — Ты что же там такое устроил с бумажками?

— Помилуйте, мессир! — обиженно воскликнул Коровьев, тотчас появляясь в комнате. — За кого вы меня принимаете? Я работал с настоящими деньгами! Будьте столь любезны, — обратился он к буфетчику, — покажите вчерашние деньги.

Буфетчик, волнуясь, вытащил из кармана пачку чего-то, завернутую в обрывок газеты, развернул и остолбенел: в газете лежали червонцы.

— Настоящие, — умильно сказал Фагот-Коровьев.

— Настоящие, — просипел буфетчик.

— Гм... — сказал Воланд.

— Гм... — сказал Коровьев.

Буфетчик виновато улыбнулся, поднялся с табурета.

— А... — заикаясь, проговорил буфетчик, — а они... того... опять...

— Гм... — Артист задумался. — Ну, тогда приходите к нам опять... Милости просим... Рад нашему знакомству.

Коровьев тут же вцепился в руку буфетчику, стал трясти ее и упрашивать буфетчика всем передать поклоны.

Плохо что-либо соображая, буфетчик тронулся в переднюю.

— Марта, проводи! — крикнул Коровьев.

«Опять эта рыжая голая...» Буфетчик протиснулся в дверь, пискнул: «До свиданья», — и пошел, как пьяный. Пройдя немного, остановился, сел на ступеньки, вынул пакет, глянул — червонцы были на месте.

Из двери, выходящей на эту площадку, вышла женщина с зеленой сумкой. Увидев человека, сидящего на ступеньке и тупо глядящего на червонцы, улыбнулась, сказала задумчиво:

— Что за дом такой! И этот пьяный. Стекло выбили. — Всмотревшись повнимательнее в буфетчика, она добавила: — Э, да у вас, гражданин, червонцев куры не клюют. Ты бы со мною поделился? А?

— Оставь ты меня, Христа ради, — испугался буфетчик и проворно спрятал деньги.

Женщина рассмеялась.

— Да ну тебя к лешему! Я пошутила. — И пошла.

Тут буфетчик поднялся, поднял руку, чтоб поправить шляпу, и убедился, что ее нет. В смятении он ушел без нее. Ужасно не хотелось ему возвращаться, но шляпы было жалко. Поколебавшись немного, он все-таки вернулся.

— Вам что еще? — спросила его проклятая Марта.

— Я шляпочку забыл, — шепнул буфетчик, тыча себе в лысину. Марта повернулась, буфетчик мысленно плюнул и закрыл глаза. Когда он открыл их, Марта подавала ему его шляпу и шпагу с темной рукоятью.

— Не мне! — шепнул буфетчик, отпихивая шпагу и быстро надевая шляпу.

— Разве вы без шпаги пришли? — удивилась Марта. Буфетчик что-то буркнул и быстро пошел вниз. Голове его было неудобно и слишком тепло в шляпе; он снял ее и, подпрыгнув от испуга, тихо вскрикнул:

— О госп...

В руках у него был бархатный берет с петушьим пером, потрепанным и обгрызанным. Буфетчик уронил его и перекрестился. В то лее мгновенье берет мяукнул, превратился в черного котенка и, впрыгнув обратно на голову Андрею Фокичу, впился в лысину всеми когтями.

Испустив крик отчаянья, буфетчик кинулся бежать вниз, а котенок свалился с головы и брызнул обратно вверх по лестнице.

Вырвавшись на воздух, буфетчик рысью прибежал к воротам и навсегда покинул чертов дом, но что дальше было с ним — никому не известно.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 19 МАРГАРИТА

Нет, нет, она не забыла его, как говорил он ночью в клинике бедному Ивану. Кто скажет, что нет на свете настоящей любви? Пусть отрежут лгуну его гнусный язык! Нет, она его не забыла.

Лишь только исчез грязный снег с тротуаров и мостовых, лишь только потянуло в форточки гниловатым волнующим ветром весны, Маргарита затосковала пуще, чем зимой. Ей стал сниться юг, и был он очень странен, и не бывает такого юга ни на Кавказе, ни в Крыму.

Чудо заключалось в том, что этот юг находился в полутора часах езды от Москвы и попасть туда было чрезвычайно легко, и лишь ленивые или лишенные фантазии люди не догадывались отправиться туда.

Полтора часа езды, а во сне и еще меньше, это ли не счастье, ах, это ли не восторг?

Второе, что поражало на этом юге, это что солнце не ходило по небу, а вечно стояло над головой в полдне, заливая светом море. И солнце это не изливало жара, нет, оно давало ровное тепло, всегда одинаковое тепло, и так же, как солнце, была тепла морская вода.

Да, как бы ни были прекрасны земные моря, а сонные еще прекраснее. Вода в них синего цвета, а дно золотого песку, песчинка к песчинке.

Сонное море не глубоко, в нем можно по дну идти, и плыть в нем легко. По морю во сне можно плыть в лодке без весел и паруса и с быстротою автомобиля. На этом море не бывает волнений, и над ним не бегут облака.

Итак, всякую ночь Маргарита Николаевна, задыхаясь в волнении, неслась в этой лодке, чертящей кормой стеклянную воду, ловко лавируя между бесчисленных островов. Она хохотала во сне от счастья и если островок был маленький, просто поднимала лодку в воздух и перелетала через камни, лежащие меж деревьями. Если же остров был велик, стоило пожелать, и море подходило к ней само. Не бурными валами, не с белой пеной, а тихой, не обрывающейся, не растекающейся все тою же массой своею жидкого синего стекла.

Вдоволь накатавшись, наплававшись, Маргарита гнала лодку к земле. Никто из москвичей, очевидно, не знал о существовании этого близкого юга, и белые домики были свободны. Можно было нанять любую комнату, раскрыть в ней окно, сесть на подоконнике и срывать вишни с ветвей, лезущих в комнату.

И наконец, последняя и величайшая прелесть юга была в том, что туда, к белым домикам и островам, приезжал он.

Он приезжал в трамвае, ведь полтора часа езды! И она его поджидала. Вот он выехал, он едет. В мгновенье истекали эти полтора часа, и он уже идет от станции вниз, а станция тут же, и вот он подходит. Тогда Маргарита Николаевна начинала смеяться, и он смеялся ей в ответ, и глаза его были сини, а одежда бела.

А Маргарита кричала ему беззвучно:

— Ну вот, все эти ужасы кончились! Кончились! Ведь я говорила тебе, что выманю тебя на юг!

Оба они, перегоняя друг друга, в двух легких лодочках скользили по воде и смеялись. Маргарита — оттого, что вышло по ее, что кончились ужасы. Да, смеялась Маргарита во сне, и за это, проснувшись, платила частым тихим и тайным плачем.

Положение ее было ужасно. Она не знала теперь, кого она любит: живого или мертвого, и чаще и упорнее ей приходила в серых сумерках наяву мысль, что связана она с мертвым. Это с мертвым она летит в сонной лодке, с ним она плывет!

Вывод нетрудно было сделать. Нужно было или забыть его, или самой умереть. Влачить такую жизнь нельзя! Забыть его, забыть! Но он не забывается!

Нередко, оставшись одна зимою, а Маргарита пользовалась каждым случаем, чтобы остаться одной, она, сидя у огня возле печки, в память того огня, что горел, когда писался Понтий Пилат, отдавала себя на растерзание себе самой. Ах, как легко это было сделать! Стоило только сравнить ей себя с Левием Матвеем, хорошо ей известным и памятным, и мучения Маргариты становились жгучими. Запустив пальцы в волосы или сжав голову, она покачивалась у огня и бормотала:

— Да, да, да, такая же самая ошибка... Зачем, зачем я тогда ушла ночью от него? Зачем? Безумство! Я вернулась на другой день, но было поздно. Я вернулась, как несчастный Левий, слишком поздно.

В таких бесполезных размышлениях о Левин Матвее, в таких мучениях прожила Маргарита Николаевна полтора года.

В тот самый день, когда происходила нелепая кутерьма с заведующим учреждением, пустым костюмом и многое другое, вроде пения «Славного моря», Маргарита проснулась около одиннадцати часов утра в своей спальне, выходящей фонарем в башню причудливой архитектуры особняка в одном из переулков Арбата.

Проснувшись, Маргарита не заплакала, что бывало очень часто. Она проснулась с предчувствием, что сегодня произойдет что-то, наконец что-то произойдет.

Лишь только Маргарита ощутила это предчувствие, она стала подогревать и растить его в своей душе, опасаясь, чтобы оно ее не покинуло.

— Я верую! — шептала Маргарита торжественно. — Я верую! Что-то произойдет! Не может не произойти, потому что за что же, в са-

мом деле, мне послана пожизненная мука? Да, я лгала и обманывала, но нельзя же наказывать так жестоко. Произойдет что-то непременно, потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось вечно. Кроме того, сон был вещий, за это я ручаюсь!

Так шептала Маргарита Николаевна, глядя на пунцовые шторы, наливающиеся солнцем, одеваясь, беспокойно расчесывая перед большим зеркалом короткие завитые волосы.

Сон, который приснился Маргарите, был необычен. Отсутствовали в нем летающая лодка и мелководное море с золотым дном. Приснилось странное темного дуба помещение, какая-то комната, почему-то очень душная. Вдруг дверь раскрылась, и она увидела мастера. Он не был в белой одежде. Он был оборван, обросший бородою, босой. Но глаза были очень живые, решительные, к чему-то призывающие. И он, поманив пальцем Маргариту, тотчас скрылся. Маргарита побежала за ним и выбежала на крыльцо, увидела оголенную рощу и над нею беспокойную стаю грачей. Поняла, что это ранняя весна где-то далеко в деревне, в глуши. Вон мостик через узенькую речушку. Тут дунуло волнующим ветром, мастера она потеряла и проснулась.

— Сон этот может значить только одно из двух, — рассуждала Маргарита Николаевна, — если он мертв и поманил меня, то это значит, что он приходил за мною и я скоро умру. Это хорошо. Мучениям пришел бы тогда конец. Или он жив и напоминает мне о себе. Значит, мы еще увидимся. Увидимся скоро, непременно увидимся.

Итак, сегодня я не имею права мечтать о том, чтобы забыть его, а наоборот, весь сегодняшний день посвятить воспоминанию о нем, потому что сегодняшний день — день годовщины. Встретились мы как раз в этот день.

И вскоре Маргарита была одета. Находясь все в том же возбуждении из-за сна, Маргарита думала о том, что все, в сущности, складывается очень удачно и надо ловить такие удачные моменты и уметь пользоваться ими. Муж уехал в командировку на целых три дня. Целых три дня она предоставлена самой себе, целых три дня никто не помешает ей думать, мечтать. Все пять комнат в ее распоряжении. Маргарита пила чай в столовой, глядя, как солнце играет на хрустальном графине в буфете.

Напившись чаю, она ушла в темную без окон комнату, где хранились чемоданы и разное старье в двух шкафах. Присев на корточки, она открыла нижний ящик первого из шкафов и из-под груды шелковых обрезков достала то самое ценное, что имела в жизни. Старый альбом коричневой кожи, в котором была фотография мастера, книжка сберегательной кассы со вкладом в девять тысяч рублей, засохшие распластанные розы между листками папиросной бумаги и часть тетради в целый лист с обгоревшими нижними краями.

Немногое было у Маргариты Николаевны, но что-то все-таки было. Перейдя в спальню к себе, Маргарита установила фотографию вертикально на трюмо, подняла штору и просидела около часа, держа на коленях испорченную огнем тетрадь, перебирая листы, перечитывая то, в чем после сожжения не было ни начала, ни конца.

«...Гроза гнула и ломала гранатовые деревья в саду, трепала розовые кусты, и в колоннаду влетали тучи водяной пыли. Фонтана не было слышно, все звуки сожрала гроза, обрушившаяся на Ершалаим...»

Дальше не было ничего. Огонь добрался до верху почти последней страницы и сожрал слова. Дальше ничего нет, кроме неровной угольной бахромы, а оборот предыдущей страницы желт.

Утирая слезы, Маргарита Николаевна оставила тетрадь, локти положила на трюмо и, отражаясь в трехстворчатом зеркале, сидела, не спуская глаз с фотографии. Потом слезы высохли. Маргарита сложила свое имущество аккуратно, и через несколько минут оно скрылось под шелковыми тряпками, и со звоном закрылся замок.

Маргарита надевала в передней пальто, чтобы идти гулять.

Тут ее задержала домработница Наташа. Осведомившись о том, что сделать на второе, и получив ответ, что это безразлично, Наташа, чтобы развлечь себя, вступила с хозяйкой в разговор и рассказала ей бог знает что, вроде того, что вчера в театре фокусник такие фокусы показывал, что все ахнули. Духи раздавал всем по два флакона и чулки, а потом ночью вся публика вышла — и, хвать, все голые оказались!

Маргарита Николаевна села на стул под зеркалом в передней и захохотала.

— Наташа! Ну как вам не стыдно, — говорила Маргарита Николаевна, — черт знает что врут в очередях, а вы верите!

Наташа залилась румянцем и заговорила с большим жаром, что ничего не врут, а сегодня в гастрономе на Арбате Даша своими глазами видела гражданку босую. Глаза вылупленные! Все на ней надето, а чулок и туфель нету!

— Так и ходит?

— Так и ходит! — вскрикивала Наташа, красная оттого, что ей не верят. — Да вчера, Маргарита Николаевна, милиция человек сто ночью забрала. Гражданки в одних панталонах бегают по Садовой, страшно волнуются...

— Ах, какая врунья Дарья! — заметила Маргарита Николаевна. — Я давно уж за ней замечала!

Смешной разговор закончился приятным сюрпризом для Наташи. Маргарита Николаевна пошла в спальню и вышла оттуда, держа в руках пару чулок и флакон одеколона. Сказав Наташе, что она тоже хочет показать фокус, Маргарита Николаевна подарила и чулки, и склянку миловидной домработнице, но просила ее не бегать в одних панталонах по Садовой.

И хозяйка, и прислуга расстались в самом приятном расположении духа. Выйдя на Арбат, Маргарита Николаевна села в троллейбус и поехала в центр города.

Откинувшись на спинку мягкого и удобного сиденья, Маргарита, по-прежнему не выходя из своего приподнятого настроения, которое еще разрасталось от шума и движения на залитых солнцем улицах, то думала о своем, то прислушивалась к тому, о чем шепчутся двое граждан, сидящих впереди.

А те, изредка оборачиваясь с опаской, не слышит ли кто, перешептывались о какой-то ерунде. Здоровенный, мясистый, с бойкими свиными глазками, сидящий у окна, говорил маленькому соседу в кепке на давно не стриженной и неопрятной голове о том, что пришлось закрыть гроб черным покрывалом...

— Не может быть! — шептал маленький. — Ведь это что-то неслыханное... А что же Поплавский предпринял?..

Среди ровного гудения троллейбуса слышались слова: «Ночью... Поплавский... гроб... венки... уголовный розыск... скандал... ну, прямо мистика!»

Когда уже проезжали мимо Манежа, Маргарита составила из этих кусочков нечто сравнительно связное. Граждане шептались о том, что у покойника (а какого — нельзя было понять) ночью из гроба украли голову! И что из-за этого вот какой-то Поплавский и волнуется теперь... Эти, что шепчутся, тоже имеют какое-то отношение к обокраденному покойнику, «цветы... поспеть... в три?», но косвенное, и не то сочувствуют неизвестному Поплавскому, которому свалилась на голову докука с этой головой, не то злорадствуют... и вообще треплются. «Ну и личики, хороши! Ах, хороши личики!» — думала озлобившаяся на мир несчастная Маргарита, всматриваясь в два потных носа, как бы клюющие друг друга. Личики, правда, были посредственные.

В Охотном ряду Маргарита поднялась, чтобы выйти, но судьба на некоторое время связала ее с парочкой граждан. Они тоже снялись в Охотном и направились туда же, куда и Маргарита, к цветочной лавке. Покупка Маргариты была скромная и дешевая. В память мастера и встречи с ним она купила два букетика фиалок, завернутых в зеленые листья. «Один — мне, другой — ему...» — думала Маргарита. Но ей мешали сосредоточиться две спины, которые все время толкались перед нею: одна широкая, другая щуплая с выпирающими из-под ткани толстовки лопатками. Шептуны прицenивались к горшкам с бледно-фиолетовыми гиацинтами. Наконец Маргарита покинула лавку, но, обернувшись, видела, как двое суетились у приступочки автобуса, хватаясь одной рукой за поручень, а другой прижимая к животу по два горшка с тощими гиацинтами.

Прошло полчаса. Маргарита сидела под стеною Кремля в Александровском саду, одна на длинной скамье. Маргарита щурилась на яркое солнце, вспоминала то свой сон, то как наяву сидела два года тому назад на этой скамье с ним. Букетики лежали у нее на коленях, черная сумочка рядом на скамье. Томясь под весенним светом, Маргарита, обращаясь мысленно к нему, упрашивала его покинуть ее, отпустить, дать ей свободу жить, любить, дышать воздухом. Внутренне она за него отвечала сама себе: «Пожалуйста... разве я держу тебя?», а ему отвечала за себя: «Что же, пожалуйста... нет, ты держишь... ты из памяти уйди, тогда я стану свободна...»

Проходивший мимо мужчина покосился на хорошо одетую Маргариту, привлеченный ее красотою, удивленный ее одиночеством. Он кашлянул, потоптался и сел на другом конце скамьи.

Помолчав некоторое время, он заговорил:

— Определенно хорошая погода сегодня...

Маргарита так мрачно поглядела на него, что он умолк, поднялся и ушел.

«Вот и пример, — мысленно говорила Маргарита тому, кто владел ею, — почему, собственно говоря, я прогнала его? Ничего в нем нет дурного, разве только что это «определенно» глупо... Почему я сижу, как сова, под стеной одна? Почему я выключилась из жизни?»

Она совсем запечалилась, пощурилась. Но тут вдруг та самая утренняя волна ожидания и возбуждения толкнула ее...

«Да, случится!» — Маргарита шевельнулась, букетик упал на песок, и тотчас же волна донесла до нее сквозь шум города удар барабана и звуки фальшивящих труб.

Первым показался шагом едущий мимо решетки сада конный милиционер, за ним шлемы двух пеших. Засим грузовик, набитый стоящими музыкантами, частью одетыми в гимнастерки, частью в штатское. Далее — крайне медленно двигающаяся похоронная открытая машина. На ней гроб в венках, а по углам площадки — четыре стоящих человека: три мужчины, одна женщина. Даже на расстоянии Маргарита разглядела, что лица у двух, обращенные к решетке, были растерянные. В особенности это было заметно в отношении гражданки, стоявшей в левом заднем углу автодрог. Толстые серые щеки гражданки в модной кокетливой шляпке в виде петушьего гребешка распирало как будто изнутри какою-то пикантной тайной, в заплывших глазках бродили двусмысленные огоньки, а губы складывались против воли, по-видимому, в столь же двусмысленную улыбочку. Казалось, что вот еще немного — и она подмигнет на покойника и скажет: «Видали вы что-нибудь подобное? Прямо мистика!»

В задней части дрог на подставке стояли в горшках цветы, и Маргарита тотчас разглядела четыре бледно-фиолетовых гиацинта. «Те самые...» — подумала она. Немедленно за сим она увидела и двух покупателей гиацинтов, трепавшихся насчет Поплавского в троллейбусе.

Они оба шли в первом ряду непосредственно за машиной. Потекли за ними и другие граждане, тоже в чинных рядах, все без кепок и шляп. И все они старались иметь вид печальный, приличествующий случаю, вид многозначительный и солидный, и у всех на лицах и даже в походке чувствовались недоумение, смущение и неуверенность.

Маргарита провожала глазами шествие, прислушиваясь к тому, как уныло турецкий барабан на грузовике выделывал одно и то же: «Бум-с... бум-с... бум-с». Трубы, отъехав, смягчились, и опять стали слышны деловитые гудки машин, в вальсе обегавших здание Манежа.

«Какие странные похороны... — думала Маргарита. — Интересно бы узнать, кого это хоронят?»

— Берлиоза Михаила Александровича, — послышался рядом носовой мужской голос, — председателя Миолита.

Удивленная Маргарита повернулась и увидела на своей скамейке нового гражданина. Трудно было сказать, откуда он взялся, ибо толь-

ко что еще никого не было. Очевидно, бесшумно подсел в то время, когда Маргарита загляделась на процессию и, очевидно, в рассеянности вслух задала свой вопрос.

Процессия тем временем приостановилась, вероятно, задержанная впереди семафором.

— Да, — продолжал неизвестный гражданин, — удивительное у них теперь настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась голова. Видите, какие у них растерянные лица?

— Какая голова? — спросила Маргарита, покосившись на соседа и удивляясь тому, как он одет.

Гражданин был маленького роста, пламенно-рыжий, с клыком, в котелке, в крахмальном белье, в полосатом добротной материи костюме и в лакированных туфлях. Галстук его пламенел не хуже, чем волосы под сдвинутым на затылок котелком.

— Да, изволите ли видеть, — охотно пояснил гнусавящий рыжий сосед, — голову у покойника сегодня утром стащили из гроба в Грибоедовском зале.

— Как же это может быть? — невольно спросила Маргарита, вспомнив в то же время шептание в троллейбусе.

— Черт его знает! — развязно ответил рыжий. — Бегемота бы надо об этом спросить. Все было в полном порядке. Утром сегодня подвалили еще венков. Ну, стали их перекладывать, устраивать как покрасивее, глядят — шея есть, в черном платке, а голова исчезла! То есть вы не можете себе представить, что получилось. Буквально все остолбенели. И, главное, ничего понять нельзя! Кому нужна голова? Да и кто и как ее мог вытащить из гроба, пришита она была хорошо. И такое гадкое, скандальное положение... Кругом одни литераторы...

— Почему литераторы? — спросила Маргарита, и глаза ее загорелись. — Позвольте. Позвольте... Это который под трамвай попал?

— Он, он, — ласково улыбнувшись, подтвердил неизвестный.

— Так это, стало быть, литераторы за гробом идут? — спросила Маргарита, привстав и оскалившись.

— Как же, как же.

Маргарита, не заметив, что упал на землю и второй букетик, стояла и не спускала глаз с процессии, которая в это время колыхнулась и тронулась.

— Скажите, — наконец выговорила она сквозь зубы, — вы их, по-видимому, знаете, нет ли среди них Латунского, критика?

— Будьте любезны, — охотно отозвался сосед и привстал, — вон он с краю... в четвертом ряду, с этим длинным, как жердь, рядом... Вон он!..

— Блондин? — глухо спросила Маргарита.

— Пепельного цвета... Видите, глаза вознес к небу...

— На патера похож?

— Вот, вот...

— Ага, ага, — ответила Маргарита и перевела дыхание, — а Аримана не видите?

— Ариман с другой стороны... вон мелькает лысина... кругленькая лысина...

— Плохо видно, — шепнула Маргарита, поднимаясь на цыпочки, и еще спросила: — Еще двое меня интересуют... Где Мстислав Лавровский?

— Лавровского вы сейчас увидите, он в машине едет сзади... Вот пройдут пешие...

— Скажите, хотя, впрочем, это вы, наверное, не знаете... Кто подписывается «З.М.»?

— Чего ж тут не знать! Зиновий Мышьяк. Он, и никто иной.

— Так, — сказала Маргарита, — так...

За пешими потянулся ряд машин. Среди них было несколько пустых таксомоторов с поваленными набок флажками на счетчиках, один открытый «линкольн», в котором сидел в одиночестве плотный, плечистый мужчина в гимнастерке.

— Это Поплавский, который теперь будет секретарем вместо покойника, — объяснял рыжий, указывая рукою на «линкольн», — он старается сделать непромокаемое лицо, но сами понимаете... его положение с этой головой... А! — вскричал рыжий. — Вон, вон, видите... в «М-один»... вон Лавровский!

Маргарита напряглась, в медленно движущемся стекле мелькнули смутно широкое лицо и белый китель. Но машина прошла, а затем наступил и конец процессии, и не было уже слышно буханья турецкого барабана.

Маргарита подняла фиалки и села на скамейку.

— А вы, как я вижу, не любите этих четырех до ужаса, — сообщил, улыбаясь, разговорчивый сосед.

Маргарита на это ничего не ответила, лишь скользнула взглядом по своему вульгарно и цветисто одетому соседу. Но глаза ее как будто бы выцвели на время, и в лице она изменилась.

— Да-с, — продолжал занимать беседой Маргариту Николаевну гражданин в котелке, — возни с покойником не оберешься. Сейчас, значит, повезли его в крематорий. Там Поплавскому речь говорить. А какую он речь скажет, предоставляю вам судить, после этой историйки с головой, когда у него в голове все вверх тормашками. А потом с урной на кладбище... Там опять речь... И вообще я многого не понимаю... Зачем, к примеру, гиацинты? В чем дело? Почему? Почему понаставили в машину эти вазоны? С таким же успехом клубнику можно было положить или еще что-нибудь... Наивно все это как-то, Маргарита Николаевна!

Маргарита вздрогнула, повернулась.

— Вы меня знаете? — надменно спросила она.

Вместо ответа рыжий снял с головы котелок и взял его на отлет.

«Совершенно разбойничья рожа», — подумала Маргарита, вглядываясь в неизвестного и убеждаясь, что он в довершение всего и веснушками утыкан, и глаз у него правый не то с бельмом, не то вообще какой-то испорченный глаз.

— А я вас не знаю, — сказала сухо Маргарита. Кривой усмехнулся и ответил:

— Натурально вы меня не знаете. Ну-с, я послан к вам по дельцу, Маргарита Николаевна!

Услышав это, Маргарита побледнела и отшатнулась.

— С этого прямо и нужно было начать, — заговорила она, — а не молоть черт знает что про отрезанную голову. Вы меня хотите арестовать?

— Да нет! Нет! — вскричал рыжий. — Пожалуйста, не беспокойтесь! Что это такое? Раз заговорил, значит, уж и арестовывать! Важнейшее дело. И поверьте, уважаемая Маргарита Николаевна, если вы меня не будете слушать, впоследствии очень раскаетесь!

— Вы уверены в этом?

— Совершенно уверен. Итак, дельце вот в чем. Я прислан к вам, чтобы пригласить вас сегодня вечером в гости.

— В гости? К кому? Зачем?

— К одному знатному иностранцу, — сказал рыжий, прищурив здоровый глаз.

Маргарита разгневалась.

— Покорнейше вас благодарю, — сказала она, — за кого это вы меня принимаете?

— Сказано было, что вы умная женщина, вот за умную и принимаю... позвольте, куда же вы?

— Новая порода: уличный сводник, — поднимаясь, сказала Маргарита.

— Вот спасибо за такие поручения! — воскликнул рыжий, явно разозлясь, и добавил в спину уходящей Маргарите: — Дура!

— Мерзавец! — отозвалась та, не оборачиваясь, и тотчас услышала за собою голос рыжего:

— Гроза гнула и ломала гранатовые деревья, трепала розовые кусты, и в колоннаду влетали тучи водяной пыли!.. Так пропадите вы пропадом с вашей обгоревшей тетрадкой и сушеной розой! Сидите здесь одна на скамейке и умоляйте его отпустить вас на свободу, дать жить, дышать!..

Совершенно побелев лицом, Маргарита вернулась к скамейке. Рыжий глядел на нее со злобой в глазу.

— Я ничего не понимаю, — тихо заговорила Маргарита Николаевна, — про листки еще можно узнать... проникнуть, подсмотреть... Наташа подкуплена?.. Но как вы могли узнать мои мысли? — Она страдальчески добавила: — Откройте мне наконец, кто вы такой? Из какого вы учреждения?

— Вот скука-то! — воскликнул рыжий, в котором еще не утихло раздражение. — Сказано ведь уже, что ни из какого я не из учреждения! Сядьте, пожалуйста!

Маргарита беспрекословно повиновалась. Выждав минуту, пока нянька провезла мимо скамейки колясочку с младенцем в голубом одеяле, она спросила тихо:

— Но кто вы такой?

— Ну, хорошо-с, — отозвался рыжий, — зовут меня Азазелло. Но ведь это вам ничего не говорит? Теперь слушайте: приглашаю я вас...

— А вы мне не скажете, откуда вы узнали про листки и про мои мысли о нем? — уже робко перебила Маргарита.

— Не скажу, — отозвался Азазелло, — это длинная история.

— Вы знаете, знаете о нем? — моляще шепнула Маргарита.

— Ну, скажем, знаю...

— Поймите, поймите, — зашептала Маргарита, и лицо ее пошло пятнами, и сердце забилось, — скажите только одно: он жив? Не мучьте!

— Ну, жив, жив, — неохотно отозвался Азазелло.

— Боже! — тихо воскликнула Маргарита.

— Пожалуйста, без волнения, — приказал взявший верх Азазелло, — я приглашаю...

— Простите, простите, — бормотала Маргарита, — я, конечно, рассердилась на вас... но, согласитесь... когда на улице приглашают женщину... неизвестный человек... У меня нет предрассудков, уверяю вас, — Маргарита сделала гримасу, невесело усмехнулась, — но я никогда не вижу никаких иностранцев, терпеть их не могу, и, кроме того, мой муж... то есть, скажу вам откровенно, я не люблю его, но портить ему жизнь считаю недостойным делом. Он ничего не сделал мне, кроме добра...

Азазелло с видимой скукой выслушал эту бессвязную речь и сказал сурово:

— Попрошу вас минутку помолчать!

Маргарита покорно замолчала.

— Я приглашаю вас к иностранцу совершенно безопасному. Это раз! Второе — к мужу вашему это не имеет никакого отношения, и ни малейшего вреда это ему не причинит. А самое главное, ни одна душа не будет знать об этом посещении. Вот за это уж я вам ручаюсь.

— А зачем же я ему понадобилась? — вкрадчиво спросила Маргарита.

— Вы об этом узнаете сегодня ночью.

— Понимаю... Я должна ему отдаться, — сказала Маргарита задумчиво.

На это Азазелло как-то надменно хмыкнул и сказал так:

— Будьте уверены в том, что любая женщина в мире, понимаете, мечтала бы об этом! Но я разочарую вас — этого не будет. Вы не нужны ему для этого!

— Что за иностранец такой?! — в смятении воскликнула Маргарита и, волнуясь, совершенно машинально вынула футлярчик и красным карандашиком подкрасила губы, а подкрасив, спросила:

— Ну, а какой мне интерес идти к нему?

Азазелло наклонился к ней и шепнул многозначительно:

— Воспользуйтесь случаем... Ведь вы хотите узнать что-нибудь о вашем мастере?

— Хочу! Хочу! — зашептала Маргарита и вцепилась в рукав полосатого костюма. — Он за границей? Да?

— А, черт возьми! — ответил Азазелло. — Не за границей он! Ну, а повидать его? — искушающе шепнул он.

— Все, все отдам за это! — страстно зашептала Маргарита. — Скажите, как? Как? Теперь я верю вам... Вы все знаете почему-то...

— Попросите сегодня ночью, — сквозь зубы сказал Азазелло, — у меня есть предчувствие, что это дело выйдет...

— Еду! — с силой воскликнула Маргарита. — Куда угодно!

Прохожий удивленно оглянулся на Маргариту.

Азазелло, отдуваясь, откинулся на спинку скамейки, закрыв спиной вырезанное слово «Нюра».

— Трудный народ эти женщины, — заговорил он, засовывая руки в карманы, — а у нас манера кого попало посылать к ним. Пусть Бегемот бы ездил по этим делам, он обаятельный...

Маргарита сказала, криво и горько улыбаясь:

— Перестаньте вы меня мистифицировать и мучить вашими загадками... Я ведь человек несчастный, и вы этим пользуетесь. Лезу я в какую-то странную историю... Но ведь вы же знаете, из-за чего?

— Без драм, без драм, — сухо отозвался Азазелло, — в мое положение тоже нужно входить. Надавать администратору по морде в уборной или выставить дядю с лестницы — это просто и прямая моя специальность, но разговаривать с влюбленными женщинами — слуга покорный! Ну-с, еще раз попрошу внимания, а также прошу не высказывать никакого удивления, так как сейчас будет самое главное.

Приведенная в состояние полной покорности, Маргарита жадно смотрела в глаза таинственному собеседнику.

— Первым долгом о губной помаде, — озабоченно заговорил он и указал на губы Маргариты, — эту дрянь, — он указал на сумку, — выбросить ко всем чертям.

Маргарита торопливо открыла сумку.

— Потом, потом, — морщась, сказал Азазелло. Маргарита закрыла сумку.

— Потрудитесь получить, — предложил Азазелло и вытащил из карманчика золотой продолговатый футлярчик, причем Маргарита увидела, что из карманчика пиджака у Азазелло торчит куриная обглоданная кость.

Ничему уже не удивляясь, Маргарита приняла футлярчик.

— Засим это... — тут Азазелло вытащил и вручил Маргарите плоскую, круглую и тоже несомненно золотую коробочку. — Здесь крем... Вы порядочно постарели за последние полтора года, бедная Маргарита Николаевна!

«Рыжая грубая сволочь!» — вспыхнув, подумала Маргарита, но вслух ничего не осмелилась сказать.

— Прячьте, прячьте, — приказал Азазелло, — а то глазеют на нас прохожие. Ровно в половину десятого вечером сегодня потрудитесь, раздевшись догола, намазать губы помадой, а все тело, начиная с лица и до пальцев ног, натереть этим кремом. Это непременно. Затем можете одеться во что хотите, как хотите — это не важно. Делайте что хотите — это тоже не важно. Но ждите, ждите, не отходя от телефона. Я позвоню вам в десять и все, что нужно, скажу. Вам ни о чем не придется заботиться. Вас доставят, вас отправят, вам не причинят никакого беспокойства. Понятно?

Азазелло поднялся со скамьи и глянул вверх, ища солнце. Поднялась и Маргарита. Крепко сжимая в руках сумку, она сказала торжественно:

— Вещи эти чистого золота...

— Да уж конечно, не самоварной меди, как ваш футляр, — сказал наглый Азазелло.

— Да, да... Я прекрасно понимаю, что меня подкупают, — продолжала Маргарита, — и тянут в какую-то темную историю. Но я иду на все! Из-за него иду! Потому что ни на что больше у меня нет надежд. Хочу вам только сказать, что если вы меня погубите, вам будет стыдно! Стыдно! Я погибаю из-за любви! — И, стукнув себя в грудь, Маргарита глянула на солнце.

— Отдайте обратно! — даже визгнул Азазелло. — Отдайте! И к чертям все это! Пусть Бегемота посылают!

— О, нет! — вскрикнула Маргарита, отпихивая руку Азазелло. — Согласна погибнуть! Не отдам!

— Ба! — вдруг заорал Азазелло, тыча пальцем по направлению к решетке сада. — Действительно оригинально!

Маргарита глянула туда, куда указывала рука в крахмальной старомодной манжете, и остолбенела. За решеткой топталась дама в одном белье. Она выкатывала сама на себя глаза, что-то шептала и приседала. Под Манежем тотчас залился свисток. Прохожие, открыв рты, глядели на раздетую.

«Что же это такое? — подумала Маргарита. — Стало быть, Наташа не врала?.. Вот денек!..»

Прохожие, сбежавшись к решетке, закрыли даму от Маргариты. Она обернулась к Азазелло и ахнула. Того не было возле нее. Можно было предположить, что в те несколько секунд, что Маргарита, отвернувшись, смотрела на раздетую, он растаял под солнцем в Александровском саду.

Маргарита, сломав замок сумки, заглянула в нее и радостно и облегченно ахнула. Золотые коробка и футляр были на месте.

Тогда Маргарита торопливо побежала из сада вон.

Глава 20 КРЕМ АЗАЗЕЛЛО

Вечер настал не жаркий, не душный, а редкий для Москвы — настоящий весенний, волнующий вечер.

Луна висела в чистом небе полная, разрисованная таинственным рисунком, и настолько залила сад, в котором был особняк, что отчетливо были видны кирпичики дорожки, ведущей к воротам. Липы, клены, акации разрисовали землю сложными переплетами пятен. Загадочные тени чередовались с полями зеленого света, разбросанными под деревьями.

Трехстворчатое окно в фонаре, открытое и задернутое шторой, светилось бешеным электрическим светом.

В комнате Маргариты Николаевны горели все лампы, какие только можно было зажечь. Под потолком люстра, на трюмо у зеркально-

го триптиха два трехсвечия, два кенкета по бокам шкафа, ночная лампочка на столике у кровати.

Огни, и сами по себе яркие, да еще отражающиеся и в туалетных зеркалах и в зеркале шкафа, освещали полный беспорядок. На одеяле кровати лежали сорочки, чулки, белье. На полу валялись белье, только что снятое и сброшенное Маргаритой, и раздавленная в волнении каблуком коробка папирос. Туфли стояли на ночном столике рядом с недопитой чашкой кофе и пепельницей, полной окурков, на спинке стула висело черное платье. Все флаконы на туалете были открыты. В комнате носились волной запахи духов, к которым примешивался запах раскаленного утюга, тянущийся из комнаты Наташи.

Выбежав тогда из Александровского сада в опьянении, Маргарита Николаевна побежала не прямо домой, а в Кузнецкий переулок, в парикмахерскую. Ее хорошо знали там, и всякими правдами и неправдами ей удалось завиться вне очереди. После этого, ни на секунду не разжимая руки на заветной сумке со сломанным замком, Маргарита в таксомоторе уехала в Замоскворечье к одной даме, занимающейся маникюром и приведением женских лиц в порядок.

К восьми часам вечера Маргарита была дома. За все это время метаний по Москве она ничего не пила и не ела, отчего у нее ныл теперь левый висок. Отказавшись от давно перестоявшегося обеда, Маргарита Николаевна объявила изумленной Наташе, что едет сегодня в гости, что спешит безумно, что в половину десятого должна быть готова.

Волнение Маргариты Николаевны настолько бросалось в глаза, что у Наташи сразу сделался заговорщический вид, и тут и началась вся эта кутерьма. Бегая из кухни в спальню, Наташа бросалась то к плите, на которой кипел кофейник, то к гладильной доске, то носила на деревянных плечиках платья из своей комнаты в спальню.

Теперь несколько поутихло.

Маргарита Николаевна сидела возле трюмо в одном купальном халате, наброшенном на голое тело, и в замшевых черных туфлях. Браслет с часами лежал перед Маргаритой Николаевной рядом с двумя золотыми вещами, полученными от Азазелло, и Маргарита Николаевна не сводила глаз с циферблата. Ей казалось, что часы сломались и стрелки прилипли, не идут. Она три раза звонила по телефону, проверяя время. Часы оказались совершенно правильными, но тащились почему-то слишком медленно. И все-таки они пришли вовремя к половине десятого.

Когда наконец длинная стрелка упала на двадцать девятую минуту, Маргарита холодной рукой открыла футляр. Сердце ее так стукнуло, что пришлось отложить футлярчик и несколько секунд посидеть, прижав руку к груди. Справившись с собой, Маргарита тронула пальцем конец красного карандаша, выглядывающего из золотой оболочки. Карандаш был жирен, легко мазался и ничем не пахнул. Неуверенной рукой Маргарита провела по губам карандашиком, и он тотчас вывалился из ее руки и упал тяжело на подзеркальный столик, прямо на стекло часов, и оно покрылось трещинами. Охнув,

Маргарита глянула в зеркало, отшатнулась от него, закрыла лицо руками, глянула опять и буйно захохотала.

Ощипанные по краям пинцетом днем в Замоскворечье брови сгустились и легли черными ровными дугами над зазеленевшими глазами. Тонкая вертикальная морщинка, перерезавшая переносицу, появившаяся тогда, когда пропал без вести мастер, и с тех пор печалящая Маргариту, бесследно пропала. Исчезли желтенькие тени у висков, как и две начинающиеся сеточки у наружных углов глаз. Кожа щек налилась ровным розовым цветом, лоб стал бел, чист, не раз крашенные волосы сделались черными, блестящими, и парикмахерская завивка развилась.

На тридцатилетнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая, черноволосая женщина лет двадцати, и эта женщина хохотала буйно, безудержно, скаля белые без пятнышка зубы, сверкая распутными глазами.

Нахохотавшись, Маргарита одним прыжком выскочила из халата, и тот упал на пол.

Она широко зачерпнула белой, тонкой, жирной, чуть пахнущей болотной тиной мази из коробки и широкими мазками, лихорадочно спеша, стала втирать ее в кожу тела. Туфли были сброшены с ног, полетели в угол. После первого же мазка тело загорелось, порозовело. Затем мгновенно, как будто выхватили из мозга иголку, утих висок, мускулы рук и ног окрепли, а затем тело Маргариты потеряло вес.

Она подпрыгнула и повисла в воздухе невысоко над ковром. Потом ее медленно потянуло все-таки вниз, и она опустилась.

— Ай да мазь! Ай да мазь! — закричала Маргарита и бросилась в кресло.

Теперь в ней во всей, в каждой частице тела, вскипела радость, которую она ощутила, как пузырьки, щекочущие и колющие все ее тело. Радость же эта произошла оттого, что Маргарита ощутила себя свободной, а еще оттого, что поняла вдруг со всей ясностью на диво просветлевшей головы, что именно случилось то, о чем еще утром говорило предчувствие, и что она покидает особняк и прежнюю жизнь навсегда.

Это навело ее на мысль, что нужно исполнить только один последний долг перед прежней жизнью, и она, как была нагая, из спальни перебежала в кабинет мужа и, осветив его, кинулась к письменному столу.

Оторвав от блокнота листок, она карандашом быстро без помарок написала записку:

«Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Прощай! Мне пора. Маргарита».

Эта записка согнала последнее облачко с ее радости, и, совершенно облегченная, она лётом, не касаясь пола, пронеслась в спальню обратно. Часики стучали на столике, и сквозь сетку трещин Маргарита увидела, что стрелки показывают без десяти десять. Маргарита схватила туфли со столика, но тут послышались торопливые шаги,

в дверь стукнули, и вбежала Наташа, нагруженная вещами. И тотчас все эти вещи — плечики с платьем, кружевные платки, распялки для туфель, поясок, — все посыпалось на пол, и Наташа всплеснула освободившимися руками.

— Что, хороша? — громко крикнула ей Маргарита Николаевна.

— Батю... — шептала Наташа, пятясь, — как же это? Как это вы делаете, Маргарита Николаевна?

— Крем! Крем! Крем! — закричала Маргарита Николаевна, указывая на сверкающие золотые коробки и поворачиваясь перед зеркалами.

Наташа, забыв про валяющееся на полу смятое платье, подбежала к трюмо и жадными, загоревшимися глазами уставилась на остатки мази. Губы ее что-то шептали. Она опять повернулась к Маргарите и вскрикнула не то с благоговением, не то с отчаянием:

— Кожа-то, кожа, а? Светится кожа! Маргарита Николаевна! А?

Она опомнилась, подбежала к платью, начала отряхивать и поднимать его.

— Бросьте! Бросьте! — приказала Маргарита. — К черту его! Все бросьте! Или нет! Нет! Берите себе! Да берите! На память!

Наташа, ополоумев, подбежала к рубашкам и чулкам на кровати, сгребла их в узел, прижала к груди.

— Несите к себе и прячьте, — распоряжалась Маргарита Николаевна, — берите и духи в шкафу. А ценного не берите, а то подумают, что вы украли. Ах, Наташа! — И в порыве радости Маргарита обвила руками шею Наташи и стала целовать ее в губы, в щеки и в лоб.

Опять у той все высыпалось из рук. Наташа, у которой прерывался дух от поцелуев, только шептала:

— Спасибо, спасибо! — И, гладя кожу Маргариты, добавляла: —Атласная, светится, а брови, брови...

— Ну, скорей все тряпки в сундук к себе! — приказала Маргарита, указывая на белье. — А мне чашку кофе, умоляю... Я голодна!

Наташа подхватила белье и выбежала, и в это время в открытое окно ворвался откуда-то сверху из соседнего дома громовой виртуозный вальс, и послышалось пыхтение подъехавшей к воротам машины.

«Не успею выпить кофе, — подумала Маргарита, щурясь на треснувшее стекло, — три минуты осталось!»

Теперь она не сомневалась ни в чем из того, что сказал Азазелло. Он непременно позвонит ровно в десять. Иностранец же безопасен! О да, такой иностранец безопасен!

Машина зашумела, удаляясь, стукнула калитка, и на плитках дорожки послышались шаги.

«Это Николай Иванович, по шагам узнаю, — подумала Маргарита, — надо будет отколоть на прощание какую-нибудь веселую и остроумную шутку!»

Маргарита рванула штору в сторону и села на подоконник боком, охватив колено руками. Лунный свет лизнул ее сбоку. Маргарита подняла голову к луне и сделала задумчивое и поэтическое лицо.

Еще раза два стукнули шаги, и вдруг стихло внезапно.

Посмотрев еще на луну, вздохнув для приличия, Маргарита повернула голову в сад и действительно увидела Николая Ивановича, обливаемого луной.

Николай Иванович сидел на скамейке, и видно было по всему, что опустился он на нее внезапно.

Пенсне на лице сидело у него как-то косо, портфель он сжимал в руках.

— Здравствуйте, Николай Иванович, — грустным голосом сказала Маргарита, — добрый вечер. Вы из заседания?

Николай Иванович ничего не сказал на это.

— А я, — продолжала Маргарита, перегибаясь с подоконника, — сижу, скучаю, как видите, гляжу на луну, слушаю вальс.

Левою рукою Маргарита провела по виску, как бы поправляя прядь волос. Помолчала, потом сказала сердито:

— Это невежливо, Николай Иванович! Все-таки я дама, в конце концов. И это хамство — не отвечать, когда с вами заговаривают!

Николай Иванович, видный в луне до последней пуговки на серой жилетке, вдруг усмехнулся дикой усмешкой, поднялся со скамейки и, очевидно, не помня себя от смущения, вместо того чтобы снять шляпу, махнул портфелем в сторону и ноги согнул, как будто собирался пуститься вприсядку.

И тут у трюмо грянул телефон.

Маргарита сорвалась с окна, забыв про Николая Ивановича, и крикнула в трубку:

- Д а ! Да!

— Говорит Азазелло, — сказали в трубке.

— Милый, милый Азазелло! — вскричала Маргарита.

— Пора! Вылетайте! — заговорил Азазелло в трубке, и по голосу его было слышно, что ему приятен искренний порыв Маргариты. — Полетайте над городом, чтобы попривыкнуть, а потом вон из города, на юг, и прямо на реку. Вас ждут!

Маргарита повесила трубку, и тут в соседней комнате что-то заковыляло и грохнуло в дверь.

Маргарита распахнула ее, и половая щетка, щетиной вверх, пританцовывая, вкатила в спальню. Она выбивала дробь концом по полу, лягалась, рвалась в окно.

Задерживаться больше не приходилось, кофе пить было некогда.

Маргарита крикнула: «Гоп!» — и вскочила на щетку верхом. Тут у наездницы мелькнула последняя мысль о том, что она в суматохе забыла одеться. Галопом она подскочила к кровати и схватила первое попавшееся — голубую рубашку и, взмахнув ею, как штандартом, вылетела в окно. Вальс над садом ударил сильнее. Маргарита соскользнула к самой дорожке и увидала Николая Ивановича на скамейке. Очевидно, он так и не ушел и в ошеломлении прислушивался к крикам и грохоту, доносящимся из освещенной спальни.

— Прощайте, Николай Иванович! — сказала Маргарита, остановившись и повиснув над Николаем Ивановичем.

Тот охнул и пополз по скамейке, перебирая руками и сбив наземь портфель.

— Прощайте навсегда! Я улетаю! Я свободна! — перекрикивала вальс Маргарита Николаевна.

Тут она сообразила, что рубашка ей ни к чему не нужна, и, зловеще захохотав, снизилась и накрыла ею голову Николая Ивановича. И тот грохнулся со скамейки.

Маргарита обернулась, чтобы в последний раз глянуть на особняк, и увидела в освещенном окне искаженное лицо Наташи.

— Прощай, Наташа! — визгнула Маргарита и, вздернув щетку, полетела к воротам. И вслед ей полетел совершенно безумный вальс.

Глава 21 ПОЛЕТ

Свободна! Свободна! Первое, что ощутила Маргарита Николаевна, проскочив над гвоздями, что полет представляет наслаждение, которое ни с чем вообще сравнить нельзя.

Она пронеслась по переулку и вылетела в другой, пересекавший первый. Этот заплатанный, заштопанный, кривой и длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки, где кружечками продают керосин и жидкость от клопов во флаконах, она перерезала в одно мгновение и тут усвоила второе, именно, что, даже будучи совершенно свободной, нужно быть хоть крошечку благоразумной. Что по городу и ходить, и ездить, и летать нужно медленно. Только чудом затормозившись, она едва не разбилась насмерть о старый покосившийся газовый фонарь на углу. Вильнув в сторону, Маргарита сжала покрепче щетку и полетела медленно, всматриваясь в электрические провода и вывески, выступающие поперек тротуаров.

Третий переулок вел прямо к Арбату. Вылетая на него, Маргарита совершенно освоилась с управлением щеткой и поняла, что та слушается малейшего прикосновения рук и ног и что нужно только одно — быть внимательной, не буйствовать. Кроме того, совершенно ясно стало уже в переулке, что прохожие ее не видят. Никто не задирал голову, не кричал: «Гляди! Гляди!», не шарахался в сторону, не визжал, не падал в обморок, не улюлюкал, не хохотал диким смехом.

Маргарита летела беззвучно и не очень высоко. Да, буйствовать не следовало, но именно буйствовать-то и хотелось больше всего. При самом влете на сияющий Арбат освещенный диск с черной конской головой преградил всаднице дорогу.

Маргарита осадила послушную щетку, отлетела, подняла щетку на дыбы и, бросившись назад, внезапно концом вдребезги разбила эту конскую голову. Посыпались осколки, тут прохожие шарахнулись, засвистели свистки, а Маргарита, совершив этот ненужный поступок, припала к жесткой щетине и расхохоталась.

«А на Арбате надо быть еще повнимательнее, — подумала ведьма, — тут черт знает что».

И действительно. Под Маргаритой плыли крыши троллейбусов, автобусов и легковых машин, по тротуарам, сколько хватало глаз, плыли кепки, миллионы кепок, как показалось Маргарите. В кепочной реке вскипали изредка водоворотики. От реки отделялись ручейки кепок и вливались в огненные пасти универмагов и выливались из них. Весь Арбат был опутан какими-то толстыми проводами, затруднявшими летящую, и вывески торчали на каждом шагу.

— Фу, какое месиво! — раздраженно вскричала Маргарита. — Повернуться нельзя!

Рассердившись, она сползла к концу щетки, взяла поближе к окнам над самыми головами и высадила головой щетки стекло в аптеке. Грохот, звон и визг были ей наградой.

В разрушении есть наслаждение, тоже мало с чем сравнимое. Нагло хохоча, Маргарита приподнялась повыше и видела, как тащили кого-то и кто-то кричал: «Держите сукина сына! Он, он! Я видел!»

— Да ну вас к черту! — опять раздражилась Маргарита. Засмотревшись на скандал, она стукнулась головой об семафор с зеленым волнистым глазом.

Захотелось отомстить. Маргарита подумала, прицелилась, снизилась и на тихом ходу сняла с двух голов две кепки и бросила на мостовую. Первый, лишившись кепки, ахнул, повернулся, в свою очередь прицелился, сделал плачущее лицо и ударил по уху шедшего за ним какого-то молодого человека.

— Не он, дурак ты! — захохотав над его головой, вскричала Маргарита. — Не того треснул!

Драчун поморгал глазами и послушно ударил другого.

Маргарита под тот же неизбежный свист отлетела от драки в сторону.

Приятно разрушение, но безнаказанность, соединенная с ним, вызывает в человеке исступленный восторг. Через минуту по обеим сторонам Арбата гремели разбиваемые стекла, кричали и бежали пешеходы, вскипали драки. Троллейбус, шедший к Смоленскому, вдруг погас и остановился, загромоздив дорогу машинам. Кто-то снял ролик с провода. На укатанном, блестящем от масла асфальте валялись раздавленные помидоры и соленые огурцы.

Но, опять-таки, все на свете приедается. Арбат надоел Маргарите, и, взмыв, она мимо каких-то сияющих зеленым ослепительным светом трубок на угловом здании театра вылетела в переулок.

— Царствую над улицей! — прокричала Маргарита, и кто-то выглянул в изумлении из окна четвертого этажа.

Зажав щетку ногами, Маргарита сдирала кожуру с копченой колбасы и жадно вгрызалась в нее, утоляя давно уже терзавший ее голод. Колбаса оказалась неслыханно вкусная. Кроме того, придавало ей еще большую прелесть сознание того, как легко она досталась Маргарите. Маргарита просто спустилась к тротуару и вынула сверток с колбасой из рук у какой-то гражданки.

Теперь Маргарита медленно плыла на уровне четвертого этажа в узком, но сравнительно хорошо сохранившемся переулке, причем и по левую, и по правую руку у нее были громадные, высокие дома, по левую — старой стройки, по правую — недавно отстроенные. И в тех, и в других окна были раскрыты, и из многих из них слышалась радиомузыка.

Маргарите захотелось пить после колбасы. Она повернула и мягко высадилась на подоконнике в четвертом этаже и убедилась, что попала в кухню. Два примуса грозно ревели на громадной плите, заваленной картофельными очистками. Голубовато-зеленое пламя хлестало из них и лизало дно кастрюлек, и казалось, что еще секунду, и примусы лопнут. Две женщины стояли у кастрюль и, отворачивая носы, ложками мешали одна кашу, другая зловонную капусту, ведя между собою беседу.

Маргарита прислонила щетку к раме, взяла грязный стакан со столика, сполоснула его над засоренной спитым чаем раковиной и, с наслаждением напившись, прислушалась к тому, что говорили две домохозяйки.

— Вы, Пелагея Павловна, — грустно покачивая головой, говорила та, что кашу мешала, — и при старом режиме были стервой, стервой и теперь остались!..

— Свет, свет тушить надо в клозете за собою! Тушить надо, — отвечала резким голосом Пелагея Павловна, — на выселение на вас подадим! Хулиганье!

— Пельмени воруешь из кастрюль, — бледнея от ненависти, ответила другая, — стерва!

— Сама стерва! — ответила та, что якобы воровала пельмени.

— Обе вы стервы! — сказала Маргарита звучно.

Обе ссорящиеся повернулись на голос и замерли с грязными ложками в руках. Маргарита повернула краники, и сразу оба примуса, зашипев, умолкли.

— Ты... ты чужой примус... будешь тушить? — глухим и страшным голосом спросила Пелагея Павловна и вдруг ложкой спихнула кастрюлю соседки с примуса. Пар облаком поднялся над плитой. Та, у которой погибла каша, швырнула ложку на плиту и с урчанием вцепилась в жидкие светлые волосы Пелагеи Павловны, которая немедленно испустила высокий крик: «Караул!» Дверь кухни распахнулась, и в кухню вбежал мужчина в ночной сорочке и с болтающимися сзади подтяжками.

— Жену бить?! — страдальчески спросил он и кинулся к сцепившимся женщинам, но Маргарита подставила ему ножку, и он обрушился на пол с воплем.

— Опять дерутся! — провизжал кто-то в коридоре. — Звери!

Еще кто-то влетел в кухню, но уж трудно было разобрать кто — мужчина или женщина, потому что слетела и кастрюля с другого примуса и зловонным паром, как в бане, затянула всю кухню.

Маргарита перескочила через катающихся по полу в клубке двух женщин и одного мужчину, схватила щетку, ударила по стеклу так, что брызнуло во все стороны, вскочила на щетку и вылетела в пере-

улок. Вслед ей полетел дикий уже совершенно вой, в который врезался вопль «Зарежу!!» и хрустение давленого стекла.

Хохоча, Маргарита галопом пошла вниз и поплыла в переулке, раздумывая о том, куда бы еще направиться. Так доплыла она до конца переулка, и тут ее внимание привлекла роскошная громада вновь отстроенного дома.

Маргарита приземлилась и увидела, что фасад дома выложен черным мрамором, что двери широкие, что за стеклом виднеются фуражка и пуговицы швейцара, что над дверьми золотом наложена надпись: «Дом Драмлита».

Что-то соображая, Маргарита щурилась на надпись, ломая голову над вопросом, что означает слово «Драмлит».

Взяв щетку под мышку, Маргарита вошла в подъезд, толкнув дверью удивленного швейцара, и увидела лифт, а возле лифта на табуретке женщину, голова которой была обвязана, несмотря на теплое время, пуховым платком.

И вот тут Маргарите бросилась в глаза черная громадная доска на стене и на этой доске выписанные белыми буквами номера квартир и фамилии жильцов.

Венчающая список крупная надпись «Дом Драматурга и Литератора» заставила Маргариту испустить хищный, задушенный вопль.

Подпрыгнув, она жадно начала читать фамилии: Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников, Латунский...

— Латунский! — визгнула Маргарита. — Латунский!

Глаза ее побежали дальше: ...СемейкинаТалл, Мстислав Лавровский...

— Лавровский?! — зарычала Маргарита... Швейцар у дверей вертел головой и даже подпрыгивал, стараясь понять чудо — заговоривший список жильцов.

— Ах, я дура, ах, я дура! — шипела Маргарита. — Я теряла время... я, я...

Через несколько мгновений она поднималась вверх, в каком-то упоении повторяя:

— Латунский, 34, Латунский, 34...

В лифте она не нуждалась, щетка плавно несла ее вверх, отщелкивая концом палки ступени...

Маргарита мурлыкала, по-кошачьи напевала: «34». «Сейчас, сейчас...»

Вот 32 налево, 33 направо, сейчас, сейчас!

Вот налево он — 34-й номер! Карточка — «О.Латунский».

Маргарита соскочила со щетки, и разгоряченные ее подошвы приятно охладила каменная площадка.

Маргарита позвонила, раз, другой. Но никто не открывал. Маргарита стала жать кнопку и сама слышала трезвон, который поднялся в квартире Латунского. Да, по гроб жизни должен быть благодарен обитатель квартиры № 34 покойному Берлиозу за то, что тот попал под трамвай и траурное заседание было назначено как раз на этот вечер. Никто не открывал, и Маргарита с размаху ударила щеткой в дверь, но тут же сама себя сдержала.

Во весь мах она неслась вниз, считая этажи, во весь мах вырвалась на улицу, опять поразив швейцара тем, что дверь открылась и захлопнулась сама собой, и, прыгая и приплясывая возле машин, стоявших у шикарного подъезда, мерила и отсчитывала этажи.

Отсчитав, взвилась и через мгновение через раскрытое окно входила в темную комнату.

Пол серебрился дорожкой от луны. По ней пробежала Маргарита, нашарила выключатель, и тотчас осветилась комната. Через минуту вся квартира полыхала светом. Щетка стояла, прислоненная к роялю. Маргарита обежала все углы. В квартире не было никого.

Тогда она сделала проверку, открыв дверь и глянув на карточку. Убедившись, что попала в самую точку, заперла дверь и ринулась в кухню.

Да, говорят, что и до сих пор критик Латунский бледнеет, вспоминая этот страшный вечер. До сих пор он с благоговением произносит имя Берлиоза. И недаром. Темной гнусной уголовщиной мог ознаменоваться этот вечер — в руках у Маргариты по возвращении из кухни оказался тяжелый, сплошь железный молоток.

Теперь ведьма сдерживала и уговаривала себя. Руки ее тряслись, в помутневших глазах плавало бешенство... рот кривился улыбкой.

— Организованно, организованно, — шептала Маргарита, — и спокойно... — И, вскрикнув тихо: — Ля бемоль! — она ударила молотком по клавише.

Попала она, правда, в чистое белое ля, и по всей квартире пронесся жалобный стон. Потом клавиши завопили. Исступленно кричал ни в чем не повинный беккеровский кабинетный инструмент. Клавиши вдавливались, костяные накладки полетели во все стороны. Инструмент гудел, выл, хрипел.

Со звуком выстрела лопнула под ударом молотка верхняя полированная крышка.

Тяжело дыша, красная и растрепанная Маргарита мяла и рвала молотком струны.

Наконец отвалилась, бухнулась в кресло, чтобы перевести дыхание, и прислушалась. В кухне гудела вода, в ванной тоже. «Кажется, уже пошла на пол, — подумала Маргарита и добавила вслух: — Однако засиживаться нечего! Надо работать...» И работа кипела в руках распаренной Маргариты. Шлепая босыми ногами по лужам, ведрами она носила из кухни воду в уютный кабинет критика и выливала ее в ящики письменного стола и в пышно взбитые постели в спальне.

Выбившись из сил, взялась за более легкое: топила костюмы в ванне, топила там же книги, поливала чернилами паркет, а сверху посыпала землей из разбитого вазона с фикусом. Со сладострастием поглядывала на люстру, зеркальный шкаф и шептала: «Ну, это на закуску...»

В то время, когда Маргарита Николаевна, сидя в спальне, ножницами резала наволочки и простыни, вынутые из шкафа, прислуга драматурга Кванта пила чай, сидя в кухне на табуретке, недоумевая по поводу топота и бухотни, глухо слышавшихся сверху из квартиры Латунских.

Подняв голову к потолку, она вдруг увидела, что он на глазах ее меняет свой белый цвет на какой-то мертвенно-синеватый. Пятно рас-

ширялось на глазах, и вдруг на нем взбухли капли. Минуты две сидела домработница, дивясь такому явлению, пока наконец из потолка не пошел настоящий дождь и не застучал по полу. Тут она вскочила, подставила таз под струи, но дождь пошел шире, полилось на газовую плиту, на стол с посудой.

Тут, вскрикнув, домработница Кванта выбежала из квартиры, и тотчас в квартире Латунских начались звонки.

— Ну, пора, стало быть! — сказала Маргарита и поднялась. Через минуту она садилась на щетку, слушая, как женский голос кричит в скважину двери:

— Откройте! Откройте! Дуся, открой! У нас вода течет!

Маргарита поднялась на аршин от полу, подъехала к окну, ударила молотком, взвилась, ударила по люстре. Разорвало две лампочки, полетели подвески.

Крики в скважине смолкли. На лестнице затопотали.

Маргарита выплыла в окно и увидела внизу людей, глядящих вверх. Из машины вылезал шофер. Снаружи было удобнее бить стекла, и Маргарита, покачиваясь, поехала вдоль пятого этажа... Взмах, всхлипывание стекла и затем каскадом по стене осколки. Крик в окне. В переулке внизу забегали, две машины загудели и отъехали. Из подъезда выбежал швейцар, всунул в рот свисток, надул щеки и бешено засвистел.

— Гроза гнула и ломала гранатовые деревья, — в упоении прокричала Маргарита, — гнула! Трепала розовые кусты!

С особенным азартом рассадив крайнее стекло, Маргарита переехала в следующий этаж и начала крушить стекла в нем.

Измученный долгим безделием за зеркальными дверями подъезда, швейцар вкладывал в свист всю душу, причем точно следовал за Маргаритой. В паузах, когда она перелетала от подоконника к подоконнику, он набирал духу, в то же время оглядывая верхние этажи. Удар Маргариты, и он заливался кипящим свистом, буравя ночной воздух в переулке до самого неба.

Его усилия, соединенные с усилиями ведьмы, дали замечательные результаты. В доме уже шла паника, цельные еще окна распахивались, в них появлялись головы людей; раскрытые, наоборот, закрывались. В противоположных домах во всех окнах возникли темные силуэты людей, старавшихся понять, почему без всякой причины лопаются окна в новом доме Драмлита.

Народ сбегался к дому, но не подбегал к подъездам, а глазел с противоположного тротуара. По всем лестницам топотали бегущие то вверх, то вниз без всякого смысла люди.

Домработница Кванта поступала теперь так: она то вбегала в квартиру и любовалась на то, как взбухает и синеет штукатурка в кухне и как дождь хлещет, наполняя вымытые чашки на столе, как из кухни выкатывается волна в коридор, то выбегала на лестницу и там кричала пробегавшим, что их залило.

Через некоторое время к ней присоединилась домработница Хустовых из квартиры № 30, помещавшейся под квантовской квартирой. Хлынуло с потолка у Хустовых и в кухне, и в уборной.

Наконец у Квантов обрушился большой пласт штукатурки, после чего с потолка хлынуло широкой струей между клетками обвисшей дранки.

Проезжая мимо предпоследнего окна четвертого этажа, Маргарита заглянула в него и увидела человека, в панике напялившего на себя противогаз. Ударив молотком в стекло, Маргарита вспугнула его, и он исчез из комнаты.

В последнее окно Маргарита заглянула и спросила:

— Уж не Лавровского ли это квартира?

— Семейкиной! Семейкиной! — отчаянно ответил женский голос и в испуге прокричал: —Аэропланы! Да? Аэропланы?

— Семейкиной так Семейкиной, — ответила Маргарита и во всех четырех рамах не оставила ни куска стекла. И вдруг дикий разгром прекратился. Скользнув к третьему этажу, Маргарита заглянула в окно, завешенное легонькой темной шторкой. В комнате горела слабенькая лампочка под колпачком. В маленькой кровати с зашнурованными боками сидел мальчик лет четырех и испуганно прислушивался.

— Стекла бьют, — проговорил он робко и позвал: — Мама! Мама, я боюсь!

Ему никто не ответил, очевидно, из квартиры все выбежали. Маргарита откинула шторку и влетела в окно.

— Я боюсь, — повторил мальчик и оглянулся.

— Не бойся, не бойся, маленький, — сказала Маргарита, стараясь смягчить осипший на ветру голос, — это мальчишки стекла били.

— Из рогатки? — спросил мальчик.

— Из рогатки, из рогатки, — подтвердила Маргарита, — ты спи, маленький.

— Это Ситник, — сказал мальчик, — у него есть рогатка.

— Конечно, он. Он, наверное!

Мальчик поглядел лукаво куда-то в сторону и спросил:

— А ты где, тетя?

— А меня нету, — ответила Маргарита, — я тебе снюсь.

— Я так и думал, — сказал мальчик.

— Ты ложись, ложись, — приказала Маргарита, — подложи руку под щеку, а я тебе буду сниться.

— Ну, снись, снись, — согласился мальчик и моментально лег и руку подложил под щеку.

— Я тебе сказку расскажу, — заговорила Маргарита и положила разгоряченную руку на стриженую голову. — Была одна тетя. И у нее не было детей, и счастья вообще тоже не было, и она тогда стала злая...

Маргарита смолкла, сняла руку — мальчик спал.

Маргарита подошла к окну и выскользнула вон.

Она попала в самую гущу и кутерьму. На асфальтированной площадке перед домом, усеянной битым стеклом, бегали и суетились жильцы. Между ними мелькали милиционеры. Тревожно ударил колокол, и с Арбата въехала в переулок красная пожарная машина с лестницей. Сидящие спинами друг к другу на линейке пожарные были исполнены решимости и хладнокровия.

Но дальнейшая судьба дома уже не интересовала Маргариту.

Прицелившись, чтобы не задеть за провода, она покрепче вцепилась в щетку и во мгновение оказалась выше злополучного дома.

Переулок под нею покосился и провалился вниз, вместо одного переулка под ногами у Маргариты возникло скопище крыш, перерезанное под углами сверкающими дорожками. Все это скопище поехало в сторону, цепочки огней смазались и слились.

Маргарита сделала еще один рывок, и тогда скопище крыш провалилось сквозь землю, а вместо него появилось озеро дрожащих электрических огней, и это озеро стало вертикально стеной, а затем появилось над головой у Маргариты, а луна блеснула под ногами. Поняв, что она перекувыркнулась, Маргарита приняла нормальное положение и, обернувшись, увидела, что и озера уже нет, а что сзади нее только розовое зарево на горизонте. И оно исчезло через секунду, и Маргарита увидела, что она наедине с летящей над ее головой луною.

От парикмахерской завивки не осталось ничего, волосы Маргариты взбило копной, и лунный свет со свистом побежал по ее телу.

По тому, как внизу два ряда редких огней слились в две непрерывные огненные черты, по тому, как они вовсе пропали, Маргарита догадалась о том, что она летит со сверхчудовищной скоростью, и поразилась тому, что она не задыхается.

По прошествии нескольких секунд новое озерцо электрического света повалилось под ноги ведьме и сгинуло. Через несколько секунд на земле внизу слева блеснуло еще одно. «Города!» — крикнула Маргарита и не успела ничего разглядеть, как озерцо исчезло.

Очаги света вспыхивали то по сторонам, то с боков и уходили в землю. Маргариту вдруг забеспокоило то обстоятельство, что она, собственно, не знает маршрута, летит черт знает куда, но по поведению щетки, уверенно пожирающей пространство, догадалась, что та несет ее правильно по маршруту.

И так она летела в течение минуты примерно. Раза два-три видела тусклые отсвечивающие какие-то клинки, лежащие в земной черноте, решила, что это реки. Поворачивая голову кверху, любовалась тем, что луна летит над нею, как сумасшедшая, обратно в Москву и в то же время стоит на месте, и отчетливо виден на ней загадочный рисунок какой-то: не то дракон, не то конек-горбунок, темной и острой мордой обращенный к покинутой Москве.

Предалась размышлениям о летании и очень осудила аэропланы и под свист разрываемого воздуха беззвучно посмеялась над человеком, который летает в воздухе воровато, норовя пронырнуть повыше и поскорее в воздухе, ежесекундно опасаясь полететь вверх тормашками вместе со своей сомнительной машинкой или вместе с нею же сгореть в высотах, куда его никто решительно не приглашал подниматься.

Такие размышления навели ее на мысль о том, что, по сути дела, она зря исступленно гонит щетку. Что-то подсказывало ей, что там, куда она летит, ее прекраснейшим образом и подождут и незачем ей терпеть скуку быстрого полета.

Она затормозила щетку, и тотчас все под нею изменилось. Все безличное черное месиво внизу, до сих пор стоявшее как бы непо-

движно, теперь поплыло медленно под Маргаритой, в то же время поднимаясь к ней и начиная выдавать свои контуры, детали, тайны. Через несколько мгновений Маргарита была невысоко над землей и убедилась в том, что, что бы ни говорили пессимисты, земля все же совершенно прекрасна, а под луною и просто неповторима.

Маргарита наклонила щетку щетиной вперед, так что хвост ее поднялся вверх, и тихо пошла к самой земле. Она как бы скользила на салазках с крутой горы. Когда земля была так близка, что можно было коснуться травы рукою, Маргарита пролетела над росистым лугом и высадилась на плотине, чтобы отдохнуть. Сзади нее показывала свои толстые освещенные бревна мельница, впереди блестел пруд. Слышно было, как у колеса журчит струйка, где-то далеко, волнуя душу, шумел поезд.

С наслаждением разминая ноги, Маргарита походила по широкой песчаной дороге, держа щетку на плече, рассматривая окрестности и прислушиваясь. На холме за прудом виднелся красноватый огонек. Он светился в каком-то большом доме, темно громоздившемся под луной рядом с лесом. Оттуда доносился негромкий собачий лай, под вербами близ плотины стрекотали лягушки. Маргарите нравилось, что здесь пустынно, ей захотелось погулять, и тут же она сказала сама себе, что летать можно только одним способом — низко и очень медленно, изредка вот так высаживаясь на землю.

Однако щетка вела себя странно. Она была какая-то напряженная, как будто тянула руку вверх, стремилась подняться. Тут беспокойство охватило наездницу. Подумалось о том, что, по сути дела, ей бы следовало не прерывать полета и не прохлаждаться здесь, потому что залетела она неизвестно куда, не зная никакого адреса, находится, по-видимому, ой-ой как далеко от Москвы, легко может опоздать и никуда не попасть.

Она оседлала щетку, дала ей волю, и та сразу понесла ее над прудом, потом над крышей дома, все больше забирая ходу. Маргарита успокоилась — щетка знала дорогу. Она заботилась только об одном, чтобы щетка не забирала высоко, к луне поближе, и чтобы не струилось под ногами так, что ничего нельзя разобрать, кроме мелькания каких-то пятен.

И щетка, осаживаемая наездницей, несла ее над самыми верхушками сосен, над лугами, над линией какой-то железной дороги, на которой сыпал искрами прилипший как бы к месту гусеница-поезд, над водными зеркалами, в которых показывалась на мгновенье луна, над реками и ручьями.

Тяжкий шум вспарываемого воздуха послышался сзади и стал настигать Маргариту. Потом к этому шуму чего-то летящего присоединился слышный на много верст хохот. Маргарита оглянулась и увидела, что ее догоняет темный предмет. Наконец он поравнялся с Маргаритой, уменьшил ход, и Маргарита увидела Наташу. Та была нагая и растрепанная, и тело ее отражало лунные лучи, в руке у Наташи светилось что-то золотое. Наташа летела верхом на толстом борове, в передних копытцах зажимавшем портфель, а задними ожесточенно молотящем воздух. Сбившееся с носа пенсне летело на шнуре рядом

с боровом, и шляпа то и дело наезжала ему на глаза. Всмотревшись хорошенько, Маргарита Николаевна узнала в борове Николая Ивановича, и хохот ее загремел над лесом, смешался с хохотом Наташи.

— Наташа! — визгнула Маргарита. — Ты кремом намазалась?!

— Душенька! Королева моя! — долетел до Маргариты голос Наташи. — И ему, подлецу, намазала лысину! И ему!

— Королева! — плаксиво проорал боров, галопом неся всадницу.

— Душенька, Маргарита Николаевна! — кричала Наташа, скача рядом с Маргаритой. — Намазалась! Ведь и мы жить-летать хотим. Не вернусь, нипочем не вернусь! Ах, хорошо, Маргарита Николаевна! Предложение мне делал! — Наташа тыкала пальцем в шею сконфуженного, пыхтящего борова. — Предложение! Ты как меня называл, а? А? — кричала она в ухо борову.

— Богиня! — завывал боров. — Не могу я так быстро лететь! Я бумаги могу важные растерять! Наталья Прокофьевна!

— Знаешь, где твоим бумагам место? — дерзко хохоча, кричала Наташа.

— Что вы, Наталья Прокофьевна! Услышит кто-нибудь, — моляще орал боров.

Задыхаясь от наслаждения, Наташа рассказала бессвязно о том, что произошло после того, как Маргарита улетела. Как только Наташа увидела, что хозяйка исчезла, не прикасаясь ни к каким подаренным вещам, сбросила с себя одежду и кинулась к крему и помаде. С нею произошло то же, что и с хозяйкой. В то время как Наташа, хохоча от радости, упиваясь своею красой, стояла перед зеркалом, дверь открылась и перед Наташей явился Николай Иванович. В руках у него были сорочка Маргариты и собственные шляпа и портфель. Николай Иванович обомлел. Придя в себя, весь красный как рак, он объявил, что счел долгом поднять рубашечку, лично принести...

— Предложение сделал мне! Предложение! — визжала и хохотала Наташа. — Клялся, что с Клавдией Акимовной разведется! Что, скажешь, вру? — кричала она борову, и тот сконфуженно отворачивал морду.

Расшалившись, Наташа мазнула кремом Николая Ивановича и оторопела от удивления. Лицо почтенного нижнего жильца свело в пятачок, руки-ноги превратились в копытца. Глянув в зеркало, Николай Иванович отчаянно и дико завыл, но было уже поздно. Через несколько секунд он, оседланный, летел куда-то к черту над Москвой, рыдая от горя.

— Требую возвращения нормального облика моего, — вдруг не то исступленно, не то моляще прокричал боров и захрюкал от негодования, — не намерен лететь на незаконное сборище! Маргарита Николаевна! Вы обязаны унять вашу домработницу!

— Ах, теперь я тебе домработница? Домработница? — вскричала Наташа, накручивая ухо борову. — А то была богиня? Богиня? Ты как меня звал? А?

— Венера! — плаксиво ответил боров, пролетая над ручьем, шумящим меж камней, копытцами задевая за кусты орешника.

— Венера! Венера! — победно прокричала Наташа, подбоченившись и грозя луне кулаком, в котором было зажато что-то блестящее.

— Маргарита Николаевна, коробки я захватила, берите! Мне не нужно чужого золота!

Она разжала кулак и протянула Маргарите футляр и коробочку.

— Возьми на память себе!

— Спасибо! Спасибо! — отозвалась Наташа и, содрав шляпу с борова, зажала в ней золотые вещи.

Потом, пролетая над вершинами безмолвных сосен, указала свободной рукой на луну и сказала:

— Поторапливайтесь, Маргарита Николаевна! Ждут вас! Мне велено сказать, что вы будете на купанье! Королевой вас сделали! А я принцесса Венера!

И тут Наташа закричала:

— Эгей! Эгей! Эгей! Ну-ка надбавь!

Она сжала пятками похудевшие в безумной скачке бока борова, и тот рванул так, что опять зашумел воздух, и через мгновенье Наташа превратилась в черную точку впереди и пропала, и шум затих.

Маргарита ускорила лет, и вновь заструилась и побежала под нею ночная земля.

Потом щетка сама стала замедлять ход, и Маргарита поняла, что цель близко. Она оглянулась. Щетка несла ее над холмами, усеянными редкими валунами, валяющимися между отдельных громадных сосен. Природа была какая-то незнакомая, и Маргарита подумала о том, что очень далеко от Москвы.

Сосны сдвинулись, но щетка полетела не над вершинами, а между стволами, посеребренными светом. Легкая тень ведьмы скользила впереди, луна светила Маргарите в спину.

Почувствовалась близость воды. Опять разошлись сосны, и Маргарита тихо подъехала к обрыву. Внизу и была река, в тени от холма. Туман висел по берегам, противоположный берег был плоский, низменный. На нем под группой раскидистых деревьев метался огонек от костра, виднелись движущиеся фигурки. Маргарите показалось, что оттуда доносится какая-то зудящая музыка. А далее, сколько хватает глаз, на посеребренной равнине не виднелось ни признаков жилья, ни людей.

Маргарита прыгнула с обрыва вниз и вдоль утеса плавно опустилась к воде. Телу ее после воздушной гонки хотелось в воду. Отбросив щетку, она разбежалась и прыгнула. Легкое ее тело вынесло почти до середины неширокой реки. Маргарита перевернулась вниз головой и, как стрела, вонзилась в воду. Столб воды выбросило почти до самого неба. Сердце Маргариты замерло в тот момент, когда она кидалась в воду. Ей показалось, что ее насмерть сожжет холодная вода. Но вода оказалась теплой, как в ванне, и, вынырнув из бездны, необыкновенное наслаждение испытала Маргарита, ныряя и плавая в одиночестве ночью в реке.

Впрочем, в отдалении изредка слышались всплески и фырканье, там за кустами кто-то купался.

Поплавав, Маргарита выбралась на берег и начала плясать на росистой траве, прислушиваясь к музыке, доносящейся с островка, приглядываясь к непонятным фигурам, мечущимся вокруг пламени костра.

После купанья тело ведьмы пылало, от усталости не осталось и следа, и мысли в голове проносились пустые, легкие. Тут фырканье объяснилось. Из-за ракитовых кустов вылез какой-то голый толстяк в черном шелковом цилиндре, заломленном на затылок. Ступни ног его были в илистой грязи, так что казалось, будто он в ботинках.

Судя по тому, как он отдувался и икал, был он порядочно выпивши. Маргарита прекратила пляску. Толстяк стал вглядываться, потом заорал:

— Ба! ба! ба! Ее ли я вижу? Клодина? Неунывающая вдова! И ты здесь?

И полез здороваться.

Маргарита отступила и с достоинством ответила:

— Пошел ты к чертовой матери. Какая я тебе Клодина? Смотри, с кем разговариваешь! — Подумав мгновение, она прибавила к своей речи длинное непечатное ругательство.

Все это произвело на легкомысленного толстяка отрезвляющее действие.

— Ой! — тихо вскрикнул он и вздрогнул. — Простите великодушно, светлая королева Марго! Обознался я! Коньяк, будь он проклят!

Он опустился на одно колено, цилиндр отнес в сторону, сделал поклон и залопотал по-французски какую-то чушь про кровавую свадьбу какого-то своего друга Гессара, про коньяк, про то, что он подавлен грустной ошибкой, объясняющейся единственно тем, что он давно не имел чести видеть изображений королевы...

— Ты бы брюки надел, сукин сын, — сказала, смягчаясь, Маргарита.

Толстяк радостно осклабился, видя, что Маргарита не сердится, и восторженно сообщил, что оказался без брюк в данный момент лишь потому, что оставил их на реке Енисее, где купался перед тем, но что он сейчас же летит туда, благо это рукой подать, и затем, поручив себя расположению и покровительству, начал отступать задом и отступал до тех пор, пока не поскользнулся и не плюхнулся в воду. Но и плюхнувшись, сохранил на окаймленной бакенбардами физиономии улыбку восторга и преданности.

Маргарита же пронзительно свистнула и, вскочив на подлетевшую щетку, перенеслась над водной гладью на островок.

Сюда не достигала тень от горы высокого берега, и весь островок был освещен луною.

Лишь только Маргарита коснулась влажной травы, музыка ударила сильней и веселей взлетел сноп искр от костра. Под вербами, усеянными нежными пушистыми сережками, сидели в два ряда толстомордые лягушки и, раздуваясь как резиновые, играли бравурный марш на дудочках. Светящиеся гнилушки висели на ивовых прутиках, и свет их, призрачный и мягкий, смешивался с адским мечущимся светом от костра.

Марш играли в честь Маргариты. Об этом она сразу догадалась по необыкновенному приему, который оказали ей на островке.

Прозрачные русалки оставили свой хоровод над речкой и замахали Маргарите руками, и застонали над пустынными окрестностями их приветствия. Нагие ведьмы выстроились в ряд и стали кланяться

придворными поклонами. Какой-то козлоногий подлетел, припал к руке, раскинул на траве шелк, предложил раскинуться отдохнуть после купанья.

Маргарита так и сделала. Прилегла, и на теле ее заиграли отблески огня. Ей поднесли бокал с шампанским, она выпила, и сердце ее радостно вскипело. Она осведомилась о том, где же верная ее Наташа, и получила ответ: Наташа уже выкупалась и полетела на своем борове вперед, чтобы предупредить о том, что Маргарита скоро будет, и приготовить для нее наряд.

Короткое пребывание Маргариты под ивами ознаменовалось еще одним эпизодом. В воздухе раздался свист, и черное тело, явно промахнувшись мимо острова, обрушилось в воду.

Через минуту предстал перед Маргаритой тот самый толстяк-бакенбардист, что так неудачно представился ей на том берегу. Он успел, по-видимому, смотаться на Енисей и обратно, ибо был во фрачном наряде, но мокр с головы до ног. Коньяк подвел его: высаживаясь, он все-таки попал в реку. Но улыбки своей не утратил и в этом печальном случае и был Маргаритою допущен к руке.

Затем все стали торопиться. И многие улетели с острова. Растаяли в лунном свете прозрачные зеленоватые русалки. Козлоногий почтительно осведомился у Маргариты, на чем прилетела госпожа. Узнав, что она явилась верхом на щетке, всплеснул руками и отнес это к нераспорядительности Азазелло и тут же, крикнув кого-то с раздутой харей, возившегося у погасшего костра, велел сию минуту доставить из «Метрополя» «линкольн».

Это было исполнено действительно и точно в одну минуту. И на остров обрушилась буланого цвета открытая машина, на шоферском месте коей сидел черный длинноносый грач в клеенчатой фуражке и в перчатках с раструбами.

Островок опустел. В лунном пылании растворились последние точки отлетевших ведьм.

Костер догорал, на глазах угли одевались седою золой.

Бакенбардист и козлоногий распахнули дверцу перед Маргаритой, и она села на широкое заднее сиденье. Машина взвыла, и тотчас остров ухнул вниз, машина понеслась на большой высоте.

Теперь два света светили Маргарите. Льющийся с лунного диска сверху и бледный фиолетовый от приборов в машине, которою сосредоточенно управлял клеенчатый грач.

Глава 22 ПРИ СВЕЧАХ

Ровное гудение машины убаюкивало Маргариту, лунный свет приятно согревал. Закрыв глаза, она отдала лицо ветру и думала с какой-то грустью о покинутом ею неизвестном островке на далекой реке. Она

прекрасно догадывалась, куда именно в гости ее везут, и это волновало ее. Ей хотелось вернуться на этот обрыв над рекой.

Долго ей мечтать не пришлось. Грач отлично знал свое дело, и метрополевская машина была хороша. Внезапно Маргарита открыла глаза и увидела, что под нею пылает электрическим светом Москва.

Однако шофер не повез ее в город, а поступил иначе. На лету он отвинтил правое переднее колесо, а затем снизился на каком-то кладбище в районе Дорогомилова. Высадив покорную и ни о чем не спрашивающую Маргариту вместе с ее щеткой на какой-то дорожке, грач почтительно раскланялся, сел на колесо верхом и улетел.

Маргарита оглянулась, и тотчас от одного из надгробных памятников отделилась черная фигура. Азазелло нетрудно было узнать, хотя он был закутан в черный плащ и черная же шляпа его была надвинута на самые брови. Выдавал его в лунном свете его поразительный клык.

Безмолвно Азазелло указал Маргарите на щетку, сам сел верхом на длиннейшую рапиру. Они взвились и, никем не замеченные, через несколько секунд высаживались у ворот дома № 302-бис на Садовой улице.

Когда проходили подворотню, Маргарита увидела томящегося в ней человека в кепке, толстовке и высоких сапогах. Услыхав шаги, человек обеспокоенно дернулся, но ничего не увидел, а Азазелло покосился на него из-под шляпы почему-то иронически.

Второго, до удивительности похожего на первого, человека встретили у подъезда во дворе. И опять повторилась та же сцена. Шаги, человек беспокойно обернулся, нахмурился, когда дверь открылась и закрылась за входящими.

Третий, точная копия второго, а стало быть, и первого, дежурил на скамейке, украшавшей площадку третьего этажа. Он курил, и Маргарита невольно кашлянула, пройдя мимо него. Третий тотчас поднялся, как будто его кольнули, на цыпочках подошел к перилам, глянул вниз.

Сердце Маргариты учащенно забилось, когда она и спутник ее оказались перед скромной дверью с дощечкой «Квартира № 50». Теперь, конечно, Маргарита понимала, что никакой пошлый вечерок с радиолой, играющей фокстроты и блюзы, ей не угрожает. Маргарита знала, что ее ожидает нечто необыкновенное, и силилась это нечто себе представить. Но представить не могла.

Первое, что поразило Маргариту, это та тьма, в которую она попала. Было темно, как в подземелье, так что она невольно уцепилась за плащ Азазелло, опасаясь споткнуться. Издалека, впрочем, маячил огонек, слабый, похожий на огонек лампады.

Второе, что удивило ее, это что передней обыкновенной московской квартиры конца нет и не чувствуется. Третье, что под ногами у нее ступеньки, покрытые, как чувствовали ее босые ноги, очень толстым ковром, и что по этим ступеням она бесконечно поднимается вверх.

Еще сбоку мелькнул и уплыл огонь лампады. Азазелло на ходу вынул у Маргариты из рук щетку, и та как будто провалилась. Наконец

подъем кончился, и Маргарита ощутила себя находящейся на площадке. Тут приплыла в воздухе лампада в чьей-то невидимой руке, и, как казалось Маргарите, из-за колонны, черный, как уголь, вышел некто. Рука поднесла к нему лампаду поближе, и Маргарита увидела тощего высокого мужчину. Те, кому он уже попался на дороге в эти дни, конечно, всмотревшись, даже при слабом и неверном освещении, которое давал язычок пламени в лампаде, узнали бы его. Это был Коровьев, он же Фагот.

Но, правда, изменился он очень сильно. Не было на нем ни пенсне, которое давно следовало бы выбросить на помойку, ни клетчатых брючек, ни грязных носков. Усишек куриных не стало. Усы Коровьева были подстрижены коротко.

Пламя мигало и освещало белую крахмальную грудь и галстух, отразилось внизу в лакированных туфлях, отразилось в широком и тонком стекле монокля, всаженного в правый глаз.

Коровьев почтительнейше раскланялся и жестом пригласил Маргариту следовать далее.

«Удивительно странный вечер, — думала Маргарита, — электричество, что ли, у них потухло? Но самое главное, что поражает, это размеры этого помещения. Каким образом все это может поместиться в московской квартире? То есть просто-напросто не может никак!»

Следуя за Коровьевым, Маргарита попала в совершенно необъятный зал. Здесь на золоченой тумбе горела одинокая свеча. Коровьев пригласил жестом Маргариту сесть на диванчик и сам поместился на краю его.

— Разрешите мне представиться вам теперь, — заговорил он, — Коровьев. Вас, без сомнения, удивляет отсутствие света? Но не думайте, чтобы мы из экономии не зажигали ламп. Просто мессир не любит электрического света. Когда же начнется бал, свет дадут сразу и недостатка в нем не будет, уверяю вас.

Несколько скрипучий голос Коровьева действовал успокоительно на Маргариту. А папироса, предложенная Коровьевым, окончательно утихомирила ее нервы, и, осмелев, она сказала:

— Нет, более всего меня поражает, где все это помещается? — Она повела рукой, подчеркивая этим необъятность зала.

Коровьев вежливо усмехнулся, и тени от свечи шевельнулись в складках у носа.

— О, это самое несложное из всего, — снисходительно сказал он, — тем, кто хорошо изучил пятое измерение, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов.

Профиль Коровьева осветился, он закурил от свечи, окружаясь дымом, уплывавшим во тьму.

— Я, впрочем, — продолжал Коровьев, — знал людей, не имевших никакого представления не только о пятом измерении, но даже и о четвертом и, тем не менее, проделывавших чудеса в смысле расширения помещения. Так, например, один горожанин, как мне рассказывали, получив трехкомнатную квартиру на Земляном Валу, превратил ее в четырехкомнатную, поселив домработницу в кухне возле газовой плиты. Затем он обменял эту квартиру на две отдельных

в разных районах — одну в две, другую в три комнаты. Их стало пять. Трехкомнатную он обменял на две отдельных по две комнаты и стал обладателем шести комнат, правда, рассеянных в причудливом беспорядке по всей Москве. Он уже собирался сделать последний и самый блестящий вольт, именно поместить объявление в газете: «Меняю шесть комнат в разных районах Москвы на одну шестикомнатную квартиру, желательно на Земляном Валу», как его деятельность прекратилась, и он остался без единой комнаты.

— Ну, это другое дело, — возразила Маргарита, которую болтовня Коровьева забавляла и успокаивала.

— О! Уверяю вас, то, что проделал этот пройдоха, сложнее, чем это... — И Коровьев указал в темную даль, где черт знает где возвышались темные колонны.

Докурили, и Коровьев поднес Маргарите пепельницу.

— Итак, позвольте перейти к делу, — заговорил Коровьев серьезно, — до начала бала у нас полчаса. Вы, Маргарита Николаевна, женщина весьма умная и, конечно, уже догадались, кто наш хозяин.

Маргарита опять ощутила свое сердце и только молча кивнула головой.

— Ну, вот и прекрасно. Так позвольте же вас поставить в курс дела, — продолжал Коровьев, опуская веки и из-под них наблюдая Маргариту, — без всяких недомолвок. Ежегодно Воланд дает один бал, малых приемов я не считаю. Этот бал называется весенним балом полнолуния, и на него съезжаются... ну, словом, очень большое количество народу. Хозяин мой холост, и установилась традиция, согласно которой хозяйкой на балу должна быть женщина по имени Маргарита-

Под сердцем Маргариты стало холодно.

— Мы путешествуем, — продолжал Коровьев, — но бал должен быть, где бы мы ни находились, а женщина должна быть жительницей местной. В Москве мы обнаружили девяносто шесть Маргарит, и только одна из них, и именно вы, была признана вполне достойной исполнить роль хозяйки. Я надеюсь, что вы не откажетесь взять на себя это?

— Нет, не откажусь, — твердо сказала Маргарита.

Коровьев просиял, встал, почтительно поклонился, показав как по шнуру ровный пробор, и пригласил Маргариту идти с ним.

— Я представлю вас ему сейчас, — говорил Коровьев, ведя под руку Маргариту в тьму, — вы позвольте мне... несколько наставлений... — шепот Коровьева слышался у самого уха Маргариты, — ничего лишнего в смысле вопросов... вы не сердитесь на меня, Маргарита Николаевна, мы прекрасно знаем, что вы воспитанны... но условия уж очень необычны...

Голос Коровьева был мягок и вкрадчив, но в нем слышались не советы, а скорее категорическое приказание, настойчивые внушения...

Во тьме сильно пахло лимонами, что-то задело Маргариту по голове, она вздрогнула...

— Не пугайтесь, это листья растений, — шептал ласково Коровьев и стал продолжать наставления.

— На балу будут лица, объем власти которых в свое время, да и теперь еще, был очень, очень велик... Я говорю о лицах королевской крови, которые будут здесь... но по сравнению с возможностями хозяина бала, в свите которого я имею честь состоять, их возможности, я бы сказал, микроскопически малы... Следует учесть масштаб, Маргарита Николаевна... И подчиняться этикету... Повторяю: только ответы на вопросы, и притом абсолютно правдивые.

Глаза Маргариты, привыкающие к тьме, теперь различали смутный переплет ветвей и широких листьев над собою и вокруг себя... Уши Маргариты не проронили ничего из того, что говорил Коровьев.

А тот шептал и шептал, увлекая Маргариту все дальше и дальше... «Нет, нет, этого гражданину с Земляного Вала не сделать, — думала Маргарита. — Где же конец?»

— Почтительность... но не бояться... ничего не бояться... Вы сами королевской крови, — чуть слышно свистел Коровьев...

— Почему королевской крови? — испуганно шепнула Маргарита.

— Если разрешите... потом... это долго, — голос Коровьева становился все тише, — тут вопрос переселения душ... В шестнадцатом веке вы были королевой французской... Воспользуюсь случаем принести вам сожаления о том, что знаменитая свадьба ваша ознаменовалась столь великим кровопролитием...

Тут Коровьев прервал сам себя и сказал:

— Королева, мы пришли.

Впереди блеснул свет. Он выходил из широкой щели наполовину открытой тяжелой окованной двери. Из-за двери слышались голоса.

— Одну минуту прошу обождать, королева, — тихо сказал Коровьев и ушел в дверь. От стены отлепилась тотчас темная фигура и преградила путь Маргарите. Когда она мелькнула в освещенной полосе, Маргарита разобрала только одно, что это мужчина с белой грудью, то есть тоже во фраке, как и Коровьев, что он худ, как лезвие ножа, черен, как черный гроб, необыкновенно траурен.

Отделившийся всмотрелся в Маргариту странными, пустыми глазами, но тотчас отступил почтительно и шепнул глухо:

— Одну минуту! — и слился опять со стеной.

Тотчас вышел Коровьев и заулыбался в широкой полосе уже настежь открытой двери.

— Мессир извиняется, что примет вас без церемоний в спальне, — медово говорил Коровьев и тихо, тихо добавил: — Подождите, пока он заговорит с вами сам... — Затем громко: — Мессир кончает шахматную партию...

Маргарита вошла, неслышно стуча зубами. Ее бил озноб.

В небольшой комнате стояла широкая дубовая кровать со смятыми и скомканными грязными простынями и подушками. Перед кроватью дубовый же на резных ножках стол с шахматной доской и фигурками. Скамеечка у постели на коврике. В тускло поблескивающем канделябре, в гнездах его в виде птичьих лап, горели, оплывая, толстые восковые свечи.

Другой канделябр, в котором свечи были вложены в раскрытые пасти золотых змеиных голов, горел на столике под тяжелой занавеской. Тени играли на стенах, перекрещивались на полу. В комнате пахло серой и смолой.

Среди присутствующих Маргарита узнала одного знакомого — это был Азазелло, так же как и Коровьев, уже одетый во фрак и стоящий у спинки кровати. Увидев Маргариту, он поклонился ей, показав в улыбке клыки.

Нагая ведьма, та самая Гелла, что так смущала почтенного буфетчика Варьете, сидела на коврике на полу у кровати, возясь с каким-то месивом в кастрюльке, из которой валил серный пар.

Кроме этих, был еще в комнате сидящий спиной к Маргарите громаднейший черный котище, держащий в правой лапе шахматного коня.

Гелла приподнялась и поклонилась Маргарите. То же сделал и кот. Он шаркнул лапой и уронил коня и полез под кровать его искать.

Замирая от страха, все это Маргарита разглядела в колышущихся тенях кое-как. Взор ее притягивала постель, на которой, что было несомненно, сидел Воланд.

Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый, с золотой искрой на дне, сверлящий до дна души, и левый, пустой и черный, вроде как вход, узкое игольное ухо в царство теней и тьмы.

Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол рта оттянут книзу, брови черные, острые, на разной высоте, высокий облысевший лоб изрезан морщинами, параллельными бровям, кожа лица темная, как будто сожженная загаром.

Воланд сидел, раскинувшись на постели в одной ночной рубашке, грязной и на плече заштопанной. Одну ногу он поджал под себя, другую вытянул. Колено этой темной ноги и натирала какой-то дымящейся мазью Гелла.

Еще разглядела Маргарита на раскрытой безволосой груди темного камня искусно вырезанного жука на золотой цепочке и с какими-то письменами на спинке.

Несколько секунд продолжалось молчание. «Он экзаменует меня...» — подумала Маргарита и усилием воли постаралась сдержать дрожь в ногах.

Наконец Воланд заговорил, улыбнувшись, отчего глаз его как бы вспыхнул.

— Приветствую вас, светлая королева, и прошу меня извинить. — Голос Воланда был так низок, что на некоторых слогах давал оттяжку в хрип.

Он взял с простыни длинную шпагу, погремел ею под кроватью и сказал:

— Вылезай. Партия отменяется... Прибыла дорогая гостья.

— Ни в каком слу... — тревожно свистнул суфлерски над ухом Коровьев.

— Ни в каком случае... — сказала Маргарита.

— Мессир! Мессир! — дохнул Коровьев в ухо.

— Ни в каком случае, мессир! — ясным, но тихим голосом ответила Маргарита и, улыбнувшись, добавила: — Я умоляю вас не прерывать партии. Я полагаю, что шахматные журналы бешеные деньги заплатили бы за то, чтобы ее напечатать у себя.

Азазелло тихо, но восторженно крякнул.

Воланд поглядел внимательно на Маргариту и затем сказал как бы про себя:

— Кровь! Кровь всегда скажется...

Он протянул руку, Маргарита подошла. Тогда Воланд наложил ей горячую, как огонь, руку на плечо, дернул Маргариту к себе и с размаху посадил на кровать рядом с собой.

— Если вы так очаровательно любезны, — заговорил он, — а я другого ничего и не ожидал, так будем же без церемоний. Простота наш девиз! Простота!

— Великий девиз, мессир, — чувствуя себя просто и спокойно, ничуть не дрожа больше, ответила Маргарита.

— Именно, — подтвердил Воланд и закричал, наклонясь к краю кровати и шевеля шпагой под нею: — Долго будет продолжаться этот балаган под кроватью? Вылезай, окаянный Ганс!

— Коня не могу найти, — задушенным и фальшивым голосом отозвался из-под кровати кот, — вместо него какая-то лягушка попадается.

— Не воображаешь ли ты, что находишься на ярмарочной площади? — притворяясь суровым, спрашивал Воланд. — Никакой лягушки не было под кроватью! Оставь эти дешевые фокусы для Варьете! Если ты сейчас же не появишься, мы будем считать, что ты сдался.

— Ни за что, мессир! — заорал кот и в ту же секунду вылез из-под кровати, держа коня в лапе.

— Рекомендую вам... — начал было Воланд и сам себя перебил, делая опять-таки вид, что возмущен, — нет, я видеть не могу этого шута горохового!

Стоящий на задних лапах кот, выпачканный в пыли, раскланивался перед Маргаритой.

Все присутствующие заулыбались, а Гелла засмеялась, продолжая растирать колено Воланда.

На шее у кота был надет белый фрачный галстух бантиком, и на груди висел на ремешке перламутровый дамский бинокль. Кроме того, усы кота были вызолочены.

— Ну что это такое! — восклицал Воланд. — Зачем ты позолотил усы и на кой черт тебе галстух, если на тебе нет штанов?

— Штаны коту не полагаются, мессир, — с большим достоинством отвечал кот, — уж не скажете ли вы, чтобы я надел и сапоги? Но видели ли вы когда-либо кого-нибудь на балу без галстуха? Я не намерен быть в комическом положении и рисковать тем, что меня вытолкают в шею. Каждый украшает себя, чем может. Считайте, что сказанное относится и к биноклю, мессир!

— Но усы?!

— Не понимаю, — сухо возражал кот, — почему, бреясь сегодня, Азазелло и Коровьев могли посыпать себя белой пудрой, и чем она

лучше золотой? Я напудрил усы, вот и все! Другой разговор, если бы я побрился! Тут я понимаю. Бритый кот — это безобразие, тысячу раз подтверждаю это. Но вообще, — тут голос кота дрогнул, — по тем придиркам, которые применяют ко мне, я вижу, что передо мною стоит серьезная проблема — быть ли мне вообще на балу? Что скажете вы мне на это, мессир? А?

И кот от обиды так раздулся, что, казалось, он лопнет сию секунду.

— Ах, мошенник, мошенник, — качая головою, говорил Воланд, — каждый раз, как партия его в безнадежном положении, он начинает заговаривать зубы, как самый последний шарлатан на мосту, оттягивая момент поражения. Садись и прекрати эту словесную пачкотню!

— Я сяду, — ответил кот, садясь, — но возражу относительно последнего. Речи мои представляют отнюдь не пачкотню, как вы изволили выразиться при даме, а великолепную вереницу прочно упакованных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству такие знатоки, как Секст Эмпирик, Марциан Капелла, а то, чего доброго, и сам Аристотель!

— Прекрати словесную окрошку, повторяю, — сказал Воланд, — шах королю!

— Пожалуйста, пожалуйста, — отозвался кот и стал в бинокль смотреть на доску.

— Итак, — обратился к Маргарите Воланд, — рекомендую вам, госпожа, мою свиту. Этот валяющий дурака с биноклем — кот Бегемот. С Азазелло вы уже знакомы, с Коровьевым также. Мой первый церемониймейстер. Ну, «Коровьев» это не что иное, как псевдоним, вы сами понимаете. Горничную мою Геллу весьма рекомендую. Расторопна, понятлива. Нет такой услуги, которую она не сумела бы оказать...

Красавица Гелла улыбалась, обратив к Маргарите свои зеленые глаза, зачерпывала пригоршней мазь, накладывала на колено.

— Кроме того, — продолжал Воланд, и в комнату неслышно вскользнул тот траурный, что преградил было Маргарите путь в спальню, — Абадонна. Командир моих телохранителей, заместителем его является Азазелло. Глаза его, как видите, в темных очках. Приходится ему их надевать потому, что большинство людей не выдерживает его взгляда.

— Я знаком с королевой, — каким-то пустым бескрасочным голосом, как будто простучал, отозвался Абадонна, — правда, при весьма прискорбных обстоятельствах. Я был в Париже в кровавую ночь 1572-го года.

Абадонна устремил черные пятна, заменяющие ему глаза, на Маргариту, и той показалось, что в спальне потянуло сыростью.

— Ну вот и все, — говорил Воланд, морщась, когда Гелла особенно сильно сжимала колено, — общество, как изволите видеть, небольшое, смешанное и бесхитростное. Прошу любить и жаловать...

Он замолчал и стал поворачивать перед собою какой-то диковинный глобус на ножке. Глобус, представляющий точную копию земно-

го шара, сделанную столь искусно, что синие океаны на нем шевелились и шапка на полюсе лежала как настоящая, ледяная и снежная.

На доске тем временем происходило смятение, и Маргарита с любопытством наблюдала за живыми шахматными фигурками.

Совершенно расстроенный и испуганный король в белой мантии топтался на клетке, в отчаянии вздымая руки. Три белых пешки — ландскнехты с алебардами растерянно глядели на офицера, размахивающего шпагой и указывающего вперед, где в смежных клетках, белой и черной, сидели черные всадники Воланда на двух горячих, роющих копытами клетки конях.

Кот отставил от глаз бинокль и тихонько подпихнул своего короля в спину. Тот, одною рукою придерживая зубчатую корону, а другою поднимая полу мантии, в ужасе оглядываясь, перебрался с черной на соседнюю белую клетку.

Воланд, не спуская глаз с глобуса, коснулся черной шеи одного из коней. Всадник поднял лошадь на дыбы, перескочил через клетку, взмахнул мечом, и белый ландскнехт упал.

— Шах, — сказал Воланд.

Маргарита, увлеченная живыми фигурками, видела, как белый король в отчаянии закрыл лицо руками.

— Дельце плоховато, дорогой Бегемот, — сказал Коровьев.

— Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное, — отозвался Бегемот, — больше того: я вполне уверен в победе. Стоит хорошенько проанализировать положение.

Анализ положения он начал проводить довольно странным способом, именно стал кроить какие-то рожи и подмигивать белому своему королю.

— Ничего не помогает, — ядовито заметил Коровьев.

— Ай! — вскричал Бегемот. — Попугаи разлетелись, что я и предсказывал!

Действительно — где-то в отдалении послышался шорох и шум крыльев. Коровьев и Азазелло бросились вон.

— А, черт вас возьми с вашими бальными затеями! — буркнул Воланд, не отрываясь от своего глобуса.

Лишь только Коровьев и Азазелло скрылись, мигание Бегемота приняло усиленные размеры. Король вдруг стащил с себя мантию, бросил ее на клетку и убежал с доски и скрылся в толпе убитых фигур. Слон-офицер накинул на себя королевскую мантию и занял место короля.

Коровьев и Азазелло вернулись.

— Враки, как и всегда, — бурчал Азазелло.

— Мне послышалось, — сказал кот, — и прошу мне не мешать, я думаю.

— Шах королю! — сказал Воланд.

— Я, вероятно, ослышался, мой мэтр, — сказал кот, глядя в бинокль на переодетого офицера, — шаха королю нет и быть не может.

— Повторяю: шах королю!

— Мессир! Молю вас обратить внимание на себя, — сказал в тревоге кот, — вы переутомились: нет шаха королю.

— Король на клетке д-два, — сказал Воланд.

— Мессир! Я в ужасе! — завыл кот, изображая ужас на морде. — Вас ли слышу я? Можно подумать, что перед собой я вижу одного из сапожников-гроссмейстеров!

_ Что такое? — в недоумении спросил Воланд, обращаясь к доске, где офицер стыдливо отворачивался, прикрывая лицо мантией.

— Ах ты, подлец, — задумчиво сказал Воланд.

— Мессир! Опять обращаюсь к логике, — заговорил кот, прижимая лапы к груди, — если игрок объявляет шах королю, а короля между тем нету и в помине, шах признается недействительным?

— Ты сдаешься или нет? — вскричал страдальчески Воланд.

— Разрешите подумать, — ответил кот, положил локти на стол, уткнул уши в лапы и стал думать. Думал он долго и наконец сказал: — Сдаюсь.

— Убить упрямую сволочь! — шепнул Азазелло.

— Да, сдаюсь, — сказал кот, — но сдаюсь исключительно потому, что не могу играть в атмосфере травли со стороны завистников.

Он встал, и фигурки полезли в ящик.

— Гелла, пора, — сказал Коровьев.

Гелла удалилась.

— Охота пуще неволи, — говорил Воланд, — нога разболелась, а тут этот бал.

— Позвольте мне, — тихо шепнула Маргарита.

Воланд пристально поглядел на нее и пододвинул к ней колено. Горячая, как огонь, жижа обжигала руки, но Маргарита, не морщась, стараясь не причинить боли, ловко массировала колено.

— Близкие говорят, что это ревматизм, — рассказывал Воланд, — но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одною очаровательнейшей ведьмой, с которой я близко познакомился в 1571 году в Брокенских горах на Чертовой Кафедре.

— Какая негодяйка! — возмутилась Маргарита.

— Вздор! Лет через триста это пройдет. Мне посоветовали множество лекарств, но я придерживаюсь бабушкиных средств по старинке, не любя современных патентованных лекарств... Кстати: не страдаете ли вы чем-нибудь? Быть может, у вас есть какая-нибудь печаль, отравляющая душу, — спрашивал Воланд, глядя на огни свечей, — тоска? Я бы помог вам... Поразительные травы оставила в наследство поганая старуха бабушка...

— Я никогда не чувствовала себя так хорошо, как у вас, мессир, — тихо отвечала умная Маргарита, — а предчувствие бала меня волнует...

— Кровь, кровь... — тихо сказал Воланд. После молчания он заговорил опять:

— Я вижу, вас интересует мой глобус?

— О да.

— Очень хорошая вещь. Она заменяет мне радио. Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки, говорящие в нос и перевирающие названия мест. Кроме того, каждая третья из них косноязычна, как будто та-

ких нарочно подбирают. Если же к этому прибавить, что они считают обязательным для себя о радостных событиях сообщать мрачным до ужаса тоном, а о печальных, наоборот, игриво, можно считать эти их голоса в помещении по меньшей мере лишними.

А при помощи моего глобуса можно в любой момент знать, что происходит в какой хотите точке земного шара. Вот, например... — Воланд нажал ножку шара, и тот медленно повернулся, — ...видите этот зеленый кусок, квадратный кусок, бок которого моет океан? Глядите... глядите... вот он наливается огнем, как будто светится изнутри. Там началась война. А если вы приблизите глаза и начнете всматриваться, то увидите детали.

Маргарита, горя от любопытства, наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, распался многокрасочно и превратился в рельефную карту. Она увидела горы, ленточку реки и какое-то селение возле нее. Маленькие, с горошину, домики взбухали, и один из них разросся до размеров спичечной коробки. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухнули, так что от двухэтажной коробочки ничего не осталось, кроме кучечки дымящихся кирпичей. Маргариту заинтересовало поведение какой-то малюсенькой фигурочки в полсантиметра вышиной, которая перед взрывом пронеслась перед домиком, а теперь оказалась горизонтальной и неподвижной. Она сосредоточила свой взор на ней и, когда та разрослась, увидела как в стереоскопе маленькую женщину, лежащую на земле, разметав руки, и возле нее в луже крови ребенка, уткнувшегося в землю.

— Вот и все, — сказал Воланд и повернул глобус. — Абадонна только сегодня оттуда. По традиции он лично сам несет службу при мне во время весеннего бала, а потому и приехал. Но завтра же он опять будет там. Он любит быть там, где война.

— Не желала бы я быть на той стороне, против которой он, — сказала Маргарита, догадываясь об обязанностях Абадонны на войне. — На чьей он стороне?

— Чем дальше говорю с вами, — любезно отозвался Воланд, — тем более убеждаюсь в том, что вы очень умны. Он удивительно беспристрастен и равно сочувствует обеим сражающимся сторонам. Вследствие этого и результат для обеих сторон бывает одинаков.

Воланд вернул глобус в прежнее положение и подтолкнул голову Маргариты к нему. Мгновенно разросся квадратик земли. Вот уже вспыхнула в солнце какая-то дымящаяся желтая равнина, и в этом дыму Маргарита разглядела лежащего неподвижно человека в одежде, потерявшей свой цвет от земли и крови. Винтовка лежала шагах в двух от него. Равнина съежилась, ушла, перед глазами у Маргариты проплыл голубой качающийся океан.

— Вот и он, легок на помине, — весело сказал Воланд, и Маргарита, увидев черные пятна, тихо вскрикнув, уткнулась лицом в ногу Воланда.

— Да ну вас! — крикнул тот. — Какая нервность у современных людей! — Воланд с размаху шлепнул Маргариту по спине. — Ведь видите же, что он в очках! Я же говорю вам... И кроме того, имейте в виду,

что не было случая с того времени, как основалась земля, чтобы Абадонна появился где-нибудь преждевременно или не вовремя. Ну и наконец, я же здесь. Вы у меня в гостях!

— А можно, чтобы он на минутку снял очки? — спросила Маргарита, прижимаясь к Воланду и вздрагивая, но уже от любопытства.

— А вот этого нельзя, — очень серьезно ответил Воланд, — и вообще забыть все это сразу — и глобус... и очки... Раз! Два! Три! Что хочешь сказать нам, ангел бездны?

— Я напугал, прошу извинить, — глухо сказал Абадонна, — тут, мессир, есть один вопрос. Двое посторонних... девушка, которая хнычет и умоляет, чтобы ее оставили при госпоже... и кроме того, с нею боров...

— Наташа! — радостно воскликнула Маргарита.

— Оставить при госпоже, не может быть и разговоров. Борова на кухню!

— Зарезать? — визгнула Маргарита. — Помилуйте, мессир, — это Николай Иванович!.. Тут недоразумение... Видите ли, она мазнула его...

— Да помилуйте! — воскликнул Воланд. — На кой черт и кто его станет резать? Кто возьмет хоть кусок его в рот! Посидит с поварами и этим, как его, Варенухой, только и всего. Не могу же я его пустить на бал, согласитесь!

— Да уж, — добавил Абадонна и, покачав головой, сказал: — Мессир! Полночь через десять минут.

— А! — Воланд обратился к Маргарите: — Ну-с, не теряйте времени. И сами не теряйтесь. Ничего не бойтесь. Коровьев будет при вас безотлучно. Ничего не пейте, кроме воды, а то разомлеете. Вам будет трудно... Пора!

Маргарита вскочила, и в дверях возник Коровьев.

Глава 23 ВЕЛИКИЙ БАЛ У САТАНЫ

Пришлось торопиться. В одевании Маргариты принимали участие Гелла, Наташа, Коровьев и Бегемот. Маргарита волновалась, голова у нее кружилась, и она неясно видела окружающее. Понимала она только, что в освещенной свечами комнате, где ее готовили к балу, не то черного стекла, не то какого-то дымчатого камня ванна, вделанная в пол, выложенный самоцветами, и что в ванной стоит одуряющий запах цветов.

Гелла командовала, исполняла ее команды Наташа. Начали с того, что Наташа, не спускающая с Маргариты влюбленных, горящих глаз, пустила из душа горячую густую красную струю. Когда эта струя ударила и окутала Маргариту, как материей, королева ощутила соленый вкус на губах и поняла, что ее моют кровью. Кровавая струя сме-

нилась густой, прозрачной, розоватой, и голова пошла кругом у королевы от одуряющего запаха розового масла. После крови и масла тело Маргариты стало розоватым, блестящим, и еще до большего блеска ее натирали раскрасневшиеся [женщины] мохнатыми полотенцами. Особенно усердствовал кот с мохнатым полотенцем в руке. Он уселся на корточки и натирал ступни Маргариты с таким видом, как будто чистил сапоги на улице.

Пугая Маргариту, над нею вспыхнули щипцы, и в несколько секунд ее волосы легли покорно.

Наташа припала к ногам и, пока Маргарита тянула из чашечки густой, как сироп, кофе, надела ей на обе ноги туфли, сшитые тут же кем-то из лепестков бледной розы. Туфли эти как-то сами собою застегнулись золотыми пряжками.

Коровьев нервничал, сквозь зубы подгонял Геллу и Наташу: «Пора... Дальше, дальше». Подали черные по локоть перчатки, поспорили (кот орал: «Розовые! Или я не отвечаю ни за что!»), черные отбросили и надели темно-фиолетовые. Еще мгновение, и на лбу у Маргариты на тонкой нити засверкали бриллиантовые капли.

Тогда Коровьев вынул из кармана фрака тяжелое в овальной раме в алмазах изображение черного пуделя и собственноручно повесил его на шею Маргарите.

— Ничего, ничего не поделаешь... надо, надо, надо... — бормотал Коровьев и во мгновение ока и сам оказался в такой же цепи.

Задержка вышла на минутку примерно, и все из-за борова Николая Ивановича. Ворвался в ванную комнату какой-то поваренок-мулат, а за ним сделал попытку прорваться и Николай Иванович. При этом прорезала цветочный запах весьма ощутительная струя спирта и лука. Николай Иванович почему-то оказался в одном белье. Но его ликвидировали быстро, разъяснив дело. Он требовал пропуска на бал (отчего и совлек с себя одежду в намерении получить фрак). Коровьев мигнул кому-то, мелькнули какие-то чернокожие лица, что-то возмущенно кричала Наташа, словом, борова убрали.

В последний раз глянула на себя в зеркало нагая Маргарита, в то время как Гелла и Наташа, высоко подняв канделябры, освещали ее.

— Готово! — воскликнул Коровьев удовлетворенно, но кот все же потребовал еще одного последнего осмотра и обежал вокруг Маргариты, глядя на нее в бинокль. В это время Коровьев, склонившись к уху, шептал последние наставления:

— Трудно будет, трудно... Но не унывать! И, главное, полюбить. Среди гостей будут различные, но никакого никому преимущества... Ни-ни-ни! Если кто-нибудь не понравится, не только, конечно, нельзя подумать об этом... Заметит, заметит в то же мгновенье! Но необходимо изгнать эту мысль и заменить ее другою — что вот этот-то и нравится больше всех... Сторицей будет вознаграждена хозяйка бала! Никого не пропустить... Никого! Хоть улыбочку, если не будет времени бросить слово, хоть поворот головы! Невнимание не прощает никто! Это главное... Да, еще, — Коровьев шепнул, — языки, — дунул Маргарите в лоб. — Ну, пора!

И из ванной Коровьев, Маргарита и Бегемот выбежали в темноту.

— Я! Я! — шептал кот. — Я дам сигнал.

— Давай! — послышался в темноте голос Коровьева.

— Бал! — пронзительно визгнул кот, и тотчас Маргарита вскрикнула и закрыла на секунду глаза. Коровьев подхватил ее под руку.

На Маргариту упал поток света и вместе с ним звука, а вместе — и запаха. Испытывая кружение головы, уносимая под руку Коровьевым, Маргарита увидела себя в тропическом лесу. Красногрудые зеленохвостые попугаи цеплялись за лианы и оглушительно трещали: «Аншанте!..»* Банная духота сменилась тотчас прохладой необъятного бального зала, окаймленного колоннами из какого-то желтоватого искрящегося самоцвета. Зал был пуст совершенно, и лишь у колонн стояли неподвижно в серебряных тюрбанах голые негры. Лица их от волнения стали грязно-бурыми, когда в зале показалась Маргарита со свитой, в которую тут включился и Азазелло.

Тут Коровьев выпустил руку Маргариты, шепнул: «Прямо на тюльпаны...» Невысокая стена белых тюльпанов выросла перед Маргаритой, а за нею она увидела бесчисленные огни в колпачках и перед ними белые груди и черные плечи фрачников. Оглушительный рев труб придавил Маргариту, а вырвавшийся из-под этого рева змеиный взмыв скрипок потек по ее телу. Оркестр человек в полтораста играл полонез. Человек во фраке, стоявший выше всего оркестра, увидев Маргариту, побледнел и заулыбался и вдруг рывком поднял весь оркестр. Ни на мгновенье не прерывая музыки, оркестр стоя окатывал Маргариту, как волнами.

Человек над оркестром отвернулся от него и поклонился низко, широко разбросав руки, и Маргарита, улыбаясь, потрясла рукой.

— Нет, мало, мало, — зашептал Коровьев, — что вы, он не будет спать всю ночь! Крикните ему что-нибудь приятное! Например: «Приветствую вас, король вальсов!»

Маргарита крикнула и подивилась, что голос ее, полный, как колокола, был услышан сквозь вой оркестра.

Человек от счастья вздрогнул, руку прижал к крахмальной груди.

— Мало, мало, — шептал Коровьев, — глядите на первые скрипки и кивните так, чтобы каждый думал, что вы его узнали отдельно... Так, так... Вьетан за первым пультом! Рядом с ним Шпор, Массар, Оль-Булль! Крейцер, Виотти! Вот, хорошо! Дальше! Дальше! Спешите!

— Кто дирижер? — на лету спросила Маргарита.

— Иоганн Штраус! — ответил кот. — И пусть меня повесят сегодня вечером, если где-нибудь еще есть такой оркестр. А приглашал я!

В следующем зале не было видно колонн. Их закрывала стена из роз, красных, как венозная кровь, розовых, молочно-белых, [которая] возникла на левой руке, а на правой — стена японских махровых камелий.

Между стенами уже били, шипя, фонтаны, и шампанское вскипало пузырями в трех бассейнах, из которых первый был прозрачный фиолетовый, второй — рубиново-красный, третий — хрустальный.

* Я в восхищении *(фр.)*.

В этом зале метались негры в алых повязках, с серебряными черпаками, наливая из бассейнов опаловые чаши.

Хрустальные столики были завалены зернами жареного миндаля.

В розовой стене был пролом, и там на эстраде метался во фраке с ласточкиным хвостом человек. Перед ним гремел, квакал, трещал джаз. Музыканты в красных куртках остервенело вскочили при появлении Маргариты и ударили сумасшедшую дробь ногами. Дирижер их согнулся вдвое, так что руками коснулся эстрады, затем выпрямился и, наливаясь кровью, пронзительно прокричал:

— Аллилуйя!

После чего музыканты ударили сильнее, а дирижер хлопнул себя по коленам раз, потом накрест — два, потом сорвал тарелку у крайнего музыканта, ударил ею по колонне.

В спину тек страшной, мощной рекой под ударами бесчисленных смычков полонез, а этот джаз уже врезался в него сбоку, и в ушах бурлила какофония.

— Кивок и дальше! — крикнул Коровьев.

Откуда-то грянули развязные гармоники и «светит месяцем», залихватским, страшным, залили джаз.

Улетая, Маргарита, оглянувшись, видела только, что виртуоз-джазбандист, борясь с полонезом и «светит месяцем», бьет по головам тарелкой джазбандистов и те, приседая в комическом ужасе, дуют в свои дудки.

Вылетели наконец на площадку и остановились. Маргарита увидела себя над лестницей, крытой красным ковром. Внизу она видела, как бы держа перед глазами бинокль обратным способом, швейцарскую темного дуба с двумя каминами — маленьким, в котором был огонь, и громадным, в темную холодную пасть которого мог легко въехать пятитонный грузовик. Раззолоченная прислуга строем человек в тридцать стояла лицом к холодному отверстию, не спуская с него глаз. Лестница пылала белым заревом, потому что на стене по счету ступенек висели налитые электрическим светом виноградные гроздья.

Маргарита чувствовала, что ее глушит новая какая-то музыка, но уже не пропавший где-то в тылу «светит месяц», а другая — медная, мощная.

Маргариту устанавливали на место. Под рукой левой у нее оказалась срезанная аметистовая колонка.

— Руку можно положить будет, если очень станет трудно, — шептал Коровьев.

Кто-то чернокожий нырнул под ноги, подкинул мягкую скамеечку, и на нее Маргарита, повинуясь чьим-то рукам, поставила правую ногу, немного согнув ее в колене.

Кто-то поправил сзади волосы на затылке. Маргарита, став, огляделась. Азазелло и Коровьев стояли возле нее в парадных позах, в одной линии с ними выстроились два молодых человека, смутно чем-то напоминающих Абадонну и тоже с затененными глазами. Сзади били и шипели струи; покосившись, Маргарита увидела, что и там шампанский буфет. Из бледно-розовой стены шампанское лилось по

трем трубкам в ледяной бассейн. Шеренга негров уже стояла с подносами, уставленными плоскими, широкими, покрытыми инеем чашами. Двое держали на подносах горки миндаля.

Музыка обрушивалась сверху и сбоку из зала, освещенного интимно; там горели лампы настольные, прикрытые цветным шелком. Трубы доносились с хор.

Осмотревшись, Маргарита почувствовала теплое и мохнатое у левой ноги. Это был Бегемот. Он волновался и в нетерпении потирал лапы.

— Ой, ой, — восторженно говорил Бегемот, — ой, сейчас, сейчас. Как ударит и пойдет!

— Да уж, ударит, — бормотал Коровьев, так же как и все, глядя вниз, — я предпочел бы рубить дрова... По-моему, это легче.

— Я предпочел бы, — с жаром отвечал кот, — служить кондуктором в трамвае, а уж хуже этого нет работы на свете!

Волнение кота заразило и Маргариту, и она шепнула Коровьеву:

— Но ведь никого нет, а музыка гремит...

Коровьев усмехнулся и тихо ответил:

— Ну, за народом дело не станет...

— Музыка гремит, — почтительно сказал кот, обращая к Маргарите сверкающие усы, — я извиняюсь, правильно. Ничего не может быть хуже, чем когда гость мыкается, не зная точно, что делать, куда идти и зачем, и сморкается. Такие балы надо выбрасывать на помойку, королева!

— Первым приехавшим очень трудно, — объяснял Коровьев.

— Пилят очень после бала мужей. «Зачем спешили?.. Видишь, никого нету! Это унизительно...» — писклявым голосом изображал пилящих жен неугомонный кот и вдруг остановился и переменил интонации. — Раз, два... десять секунд до полуночи! Смотрите, что сейчас будет!

Но десять секунд пробежали, и ничего ровно не произошло. Маргарита, капризно оттопырив губу, презрительно щипнула за ухо кота, но тот мигнул и ответил:

— Ничего, ничего, ничего. Еще запроситесь отсюда с поста!

И еще десять секунд протащились медленно, как будто муха тащилась по блюдечку с вареньем.

И вдруг золотая прислуга внизу шевельнулась и устремилась к камину, и из него выскочила женская фигура в черной мантии, а за нею мужчина в цилиндре и черном плаще. Мантия улетела куда-то в руках лакеев, мужчина сбросил на руки им свой плащ, и пара — нагая женщина в черных туфельках, черных по локоть перчатках, с черными перьями в прическе, с черной сумочкой на руке и мужчина с бородой, во фраке стали подниматься по лестнице.

— Первые! — восторженно шепнул кот.

— Господин Жак Ле-Кёр с супругой, — сквозь зубы у уха Маргариты зашептал Коровьев, — интереснейший и милейший человек. Убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник и недурной алхимик. В 1450-м году прославился тем, что ухитрился отравить королевскую любовницу.

— Мы так хохотали, когда узнали, — шепнул кот и вдруг взвыл: — Аншанте!

Ле-Кёр с женой были уже вверху, когда из камина внизу появились две новые фигуры в плащах, а следом за ними третья.

Жена Ле-Кёра оказалась перед Маргаритой, и та улыбнулась ей так ясно и широко, что самой ей стало приятно. Госпожа Ле-Кёр согнула колени, наклонилась и поцеловала колено Маргариты холодными губами.

— Вотр Мажесте*, — пробормотала госпожа Ле-Кёр...

— Вотр Мажесте, — повторил Ле-Кёр, и опять холодное прикосновение губ к колену поразило Маргариту...

— Вотр Мажесте, же лоннёр**... — воскликнул Коровьев и, даже не сочтя нужным продолжать, затрещал: — Эн верр***...

— Милль мерси! — крикнул в ответ Ле-Кёр...

— Аншанте!—воскликнул Азазелл о.

Молодые люди уже теснили мадам Ле-Кёр к подносу с шампанским, и Коровьев уже шептал:

— Граф Роберт Лейчестер... По-прежнему интересен... Здесь история несколько иная. Этот был сам любовником королевы, но не французской, а английской, и отравил свою жену.

— Граф! Мы рады! — вскричал Коровьев.

Красавец блондин в изумительном по покрою фраке уже целовал колено.

— Я в восхищении, — говорила Маргарита.

— Я в восхищении, — орал кот, варварски выговаривая по-английски.

— Бокал шампанского, — шептали траурные молодые люди, — мы рады... Графа давно не видно...

Из камина тем временем одни за другими появлялись черные цилиндры, плащи, мантии. Прислуга уж не стояла строем, а шевелилась, цилиндры летели из рук в руки и исчезали где-то, где, вероятно, была вешалка.

Дамы иногда задерживались внизу у зеркала, поворачиваясь и пальцами касаясь волос, потом вдевали руку в руку кавалера и легко начинали подниматься на лестницу.

— Почтенная и очень уважаемая особа, — пел Коровьев в ухо Маргарите и в то же время маша рукою графу Лейчестеру, пившему шампанское, — госпожа Тофана.

Дама с монашески опущенными глазами, худенькая, скромная, поднималась по лестнице, опираясь на руку какого-то черненького человека небольшого роста.

Дама, по-видимому, любила зеленый цвет. На лбу у нее поблескивали изумруды, на шее была зеленая лента с бантом, и сумочка зеленая, и туфли из зеленого листа водяной лилии. Дама прихрамывала.

— Была чрезвычайно популярна, — рассказывал Коровьев, — среди очаровательных неаполитанок, а ранее жительниц Палермо,

* Ваше величество *(фр.)*.

** Ваше величество, имею честь *(фр.)*.

*** Бокал *(фр.)*.

и именно тех, которым надоели их мужья. Тофана продавала таким... Ведь может же в конце концов осточертеть муж?

— О, да, — смеясь, ответила Коровьеву Маргарита.

— Продавала, — продолжал Коровьев, — какую-то водичку в баночках, которая прямо чудесно помогала от всех болезней... Жена вливала эту водичку в суп, муж его съедал и чувствовал себя прекрасно, только вдруг начинал хотеть пить, затем жаловался на усталость, ложился в постель, и через два дня прекрасная неаполитанка была свободна, как ветер.

— До чего она вся зеленая! — шептала Маргарита. — И хромая. А зачем лента на шее? Блеклая шея?

— Прекрасная шея, — пел Коровьев, делая уже приветственные знаки спутнику Тофаны, улыбаясь во весь рот, — но у нее неприятность случилась. Хромает, потому что на нее испанский сапог надевали, а узнав, что около 500 неудачно выбранных мужей, попробовав ее воду, покинули и Палермо и Неаполь навсегда, сгоряча в тюрьме удавили. Я в восхищении, — заныл он.

— Госпожа Тофана! Бокал шампанского... — ласково говорила Маргарита, помогая хромой подняться с колена и в то же время всматриваясь в плаксиво улыбающегося ее спутника.

— Королева! — тихо восклицала Тофана.

— Как ваша нога? — участливо спрашивала Маргарита, восхищаясь своею властью легко говорить на всех языках мира, сама вслушиваясь в певучесть своей итальянской речи.

— О, добрейшая королева! Прекрасно! — искренно и благодарно глядя водяными зеленоватыми глазами в лицо Маргариты...

Молодой человек уже вкладывал в сухую ручку госпожи Тофаны бокал.

— Кто это с нею? — торопливо справилась Маргарита. — С богомерзкой рожей? Муж?

— Не знаю я этого сукина сына, — озабоченно шептал Коровьев, — кажется, какой-то неаполитанский аптекарь... У нее всегда была манера ронять себя и связываться со всякой сволочью. Ну, Азазелло пропустил... Все в порядке... Он должен по должности знать всех.

— Как рады мы, граф! — вскричал он по-французски и, пока очень беспокойный какой-то фрачник целовал колени Маргариты, говорил ей:

— Не правда ли, светлейшая королева, граф Алессандро Феникс очень, очень поправился.

— Калиостро, — вдунул он в ухо Маргарите... Поцелуи теперь шли один за другим...

— С этой чуть нежней, — одним дыханием [подсказал Коровьев], — она мрачная. Неврастеничка. Обожает балы, носится с бредовой мыслью, что мессир ее увидит, насчет платка ему что-то хочет рассказать.

— Где? Где?

— Вон между двумя, — взглядом указывал Коровьев.

Маргарита поймала взглядом женщину лет двадцати необыкновенного по красоте сложения с дымными топазами на лбу и такими же дымными глазами.

— Какой платок? Не понимаю! — говорила Маргарита довольно громко под рев музыки, звон и начинающий уже нарастать гул голосов.

— Камеристка к ней приставлена, — пояснял Коровьев, в то же время пожимая руки какому-то арабу, — и тридцать лет кладет ей на ночь на столик носовой платок с каемочкой... Как проснется она, платок тут. Она сжигала его в печке, топила в реке, ничего не помогает.

— Какой платок?

— С синей каемочкой. Дело в том, что, когда она служила в кафе, хозяин ее как-то зазвал в кладовую, а через девять месяцев она родила мальчика. И унесла его в лес, и засунула ему в рот платок, а потом закопала мальчика в землю. На суде плакала, говорила, что кормить нечем ребенка. Ничего не понимает.

— А хозяин кафе где? — каким-то странным голосом [спросила Маргарита]. — Где хозяин?

— Ваше величество, — заскрипел снизу кот, — позвольте вас спросить, при чем же здесь хозяин? Он платка младенцу не совал в рот!

Маргарита вдруг скрутила острыми ногтями ухо Бегемота в трубку и зашептала, в то же время улыбаясь кому-то:

— Если ты, сволочь, еще раз это скажешь...

Бегемот как-то не по-бальному пискнул и захрипел:

— Ваше... ухо вспухнет... зачем портить бал?., я говорил юридически... с юридической точки... Молчу, молчу! Как рыба молчу!

Маргарита выпустила ухо и глянула сверху вниз. Мрачные глаза взмолились ей, но рот шептал по-немецки:

— Я счастлива, королева, быть приглашенной на великий бал полнолуния или ста королей...

— А я, — отвечала по-немецки Маргарита, — рада вас видеть... Очень рада... Любите ли вы шампанское?

— Что вы делаете, королева?! — на ухо беззвучно взревел Коровьев. — Затор получится!

— Я люблю, — моляще говорила женщина.

— Так вот вы...

— Фрида, Фрида, Фрида, — жадно глядя на Маргариту, шептала женщина, — меня зовут Фрида, о королева!

— Так вот, напейтесь сегодня пьяной, Фрида, — сказала Маргарита, — и ни о чем не думайте!

Фрида, казалось, хотела войти в глаза Маргарите, тянулась к ней, но кот уже помогал ей подняться и увлекал в сторону.

Затор действительно мог получиться. Теперь уже на каждой ступеньке было по два человека. Снизу из бездны на Маргариту по склону, как будто штурмуя гору, подымался народ.

Из швейцарской снизу уже послышалось жужжание голосов. Прислуги там прибавилось... Там была толчея.

Маргарита теперь уже не имела времени для того, чтобы произносить что-либо, кроме слов:

— Я рада вас видеть...

— Герцог! — подсказывал Коровьев и пел теперь за двух на всех языках.

Голые женские тела, вкрапленные меж фрачных мужчин, надвигались снизу, как стеной. Шли смуглые, и белотелые, и цвета кофейного зерна, и вовсе черные и сверкающие, как будто смазанные маслом. В волосах рыжих, черных, каштановых, светлых, как лен, — в ливне света играли снопами, рассыпали искры драгоценные камни. И как будто кто-то окропил штурмующую колонну мужчин — брызгали светом с грудей бриллиантовые капли запонок.

Маргарита теперь ежесекундно ощущала прикосновение губ к колену, ежесекундно вытягивала вперед руку для поцелуя, лицо ее стянуло в вечную улыбающуюся маску привета.

— Но разнообразьте глаза... глаза, — теперь уже в громе музыки и жужжанье и с лестницы, и сзади, в реве труб и грохоте, не стесняясь, говорил Коровьев, — ничего не говорите, не поспеете, только делайте вид, что каждого знаете... Я восхищен!.. Маркиза де Бренвиллье... Отравила отца, двух братьев и двух сестер и завладела наследством... Господин де Годен, вас ли мы видим? В карты играют в том зале через площадку! Минкина. Ах, хороша! Не правда ли, королева, она красива... Излишне нервна... зачем же было жечь лицо горничной щипцами и вырывать мясо... Впрочем... Настасья Федоровна! Бокал шампанского... Маленькая пауза... пауза... Ему несколько слов... Что-нибудь о его чудесах на баске...

— Кто? Кто?

— Паганини... играет сегодня у нас...

Горящие, как уголья, глаза, изжеванное страстью лицо склонилось перед Маргаритой...

— Я счастлива услышать дивные звуки...

— Барон Паганини! — Коровьев кричал и тряс руки Паганини. — Все мы будем счастливы услышать ваши флажолеты после этой ужасной трескотни, которую устроил профан Бегемот... Как, ни одного стакана шампанского?.. Ну, после концерта, я надеюсь... Не беспокойтесь. Ваш Страдивари уже в зале... он под охраной... Ни одно существо в мире не прикоснется к нему... За это я вам ручаюсь!..

Лица плыли, качались, и казалось, что одна огромная, как солнце, улыбка разлилась по ним всем...

— Все одинаковы во фраках... но вот и император Рудольф...

— У которого безумные глаза?

— Он, он... Алхимик и сошел с ума... Еще алхимик, тоже неудачник, повешен. Еще алхимик, опять-таки неудача, нищета... Рад видеть вас, господин Сендзивей! Вот эта... чудесный публичный дом держала в Страсбурге, идеальная чистота, порядок... Он? Ударил по лицу друга, а на другой день на дуэли его же заколол... Кровосмеситель...

— Этот лысый — господин Руфо, идеальный сводник... Бегемот, пора! Давай своих медведей, которыми ты так хвастался. Видишь, в зале у первого буфета скопился народ. Отсасывай их своими медведями, а то на площадке нельзя будет повернуться. Господин Казанова, королева рада вас видеть. Московская портниха, приятнейшая женщина, мы все ее любим за неистощимую фантазию. Держала ателье и придумала страшно смешную штуку — провертела круглые ды-

ры в стене той комнаты, где дамы примеривали туалеты. Бокал шампанского! Я в восхищении!

— И они не знали?

— Все до единой знали. Я в восхищении! Этот двадцатилетний мальчуган всегда отличался дикими фантазиями. Мечтатель и чудак. Его полюбила одна девушка, красавица, и он продал ее в публичный дом. Рядом с ним отцеубийца. За ним госпожа Калиостро, с нею высокий, обрюзгший — князь Потемкин. Да, тот самый, ее любовник.

По лестнице текла снизу вверх людская река, чинно, медленно и ровно. Шорох лакированных туфель стоял непрерывный, монотонный. И главное, что конца этой реке не было видно. Источник ее, громадный камин, продолжал питать ее.

Так прошел час и прошел второй час.

Тогда Маргарита стала замечать, что силы ее истощаются. Цепь стала ненавистна ей, ей казалось, что с каждой минутой в ней прибавляется веса, что она впивается углами в шею. Механически она поднимала правую руку для поцелуя и, подняв ее более тысячи раз, почувствовала, что она тяжела и что поднимать ее просто трудно.

Интересные замечания Коровьева перестали занимать Маргариту. И раскосые монгольские лица, и лица белые и черные сделались безразличны, сливались по временам в глазах, и воздух почему-то начинал дрожать и струиться.

Несколько, но ненадолго, оживили Маргариту обещанные Бегемотом медведи. Стена рядом с площадкой распалась, и тайна «светит месяц» разъяснилась. Возник ледяной зал, в котором синеватые глыбы были освещены изнутри и пятьдесят белых медведей грянули на гармониках. Один из них — вожак и дирижер, надев на голову картуз, плясал перед ними.

— Глупо до ужаса, — бормотал Коровьев, — но цели достигло. Туда потянулись, здесь стало просторнее... Я в восхищении!

Маргарита не выдержала и, стиснув зубы, положила локоть на тумбу.

Какой-то шорох, как бы крыльев по стенам, теперь доносился из зала сзади, и было понятно, что там танцуют неслыханные полчища, и даже показалось, будто массивные мраморные, мозаичные, хрустальные полы в этом диковинном здании ритмично пульсируют.

Ни Гай Цезарь Калигула, ни Чингисхан, прошедшие в потоке людей, ни Мессалина уже не заинтересовали Маргариту. Как не интересовали ни десятки королей, герцогов, кавалеров, самоубийц, отравительниц, висельников, сводниц, тюремщиков, убийц, шулеров, палачей, доносчиков, изменников, куртизанок, безумцев, сыщиков, растлителей, мошенников, названных Коровьевым. Все их имена спутались в голове, лица стерлись в лепешку, из которых назойливо лезло в память только одно, окаймленное действительно огненной бородой, лицо Малюты Скуратова. Маргарита чувствовала только то, что поясницу ее нестерпимо ломит, что нога подгибается.

Она попросила пить, и ей подали чашу с лимонадом. Наихудшие страдания ей причиняло колено, которое целовали. Оно распухло, кожа посинела, несмотря на то, что несколько раз рука Наташи по-

являлась возле этого колена с губкой, чем-то душистым и смягчающим смачивала измученное тело.

В начале третьего часа Маргарита глянула безнадежными глазами в бездну и несколько ожила: поток редел, явно редел.

— Законы бального съезда одинаковы, королева Маргарита, — заговорил Коровьев, — я мог бы вычертить кривую его. Она всегда одинакова. Сейчас волна начнет спадать, и, клянусь этими идиотскими медведями, мы терпим последние минуты. Я восхищен!

Медведи доиграли рязанские страдания и пропали вместе со льдом.

Маргарита стала дышать легче. Лестница пустела. Было похоже на начало съезда.

— Последние, последние, — шептал Коровьев, — вот группа наших брокенских гуляк.

Он еще побормотал несколько времени: эмпузы, мормолика, два вампира. Все.

Но на пустой лестнице еще оказались двое пожилых людей.

Коровьев прищурился, узнал, мигнул подручным и сказал Маргарите:

— А, вот они...

— У них почтенный вид, — говорила, щурясь, Маргарита.

— Имею честь рекомендовать вам, королева, директора театра и доктора прав господина Гёте и также господина Шарля Гуно, известного композитора.

— Я в восхищении, — говорила Маргарита.

И директор театра, и композитор почтительно поклонились Маргарите, но колена не целовали.

Перед Маргаритой оказался круглый золотой поднос и на нем два маленьких футляра. Крышки их отпрыгнули, и в футлярах оказалось по золотому лавровому веночку, который можно было носить в петлице, как орден.

— Мессир просил вас принять эти веночки, — говорила Маргарита одному из артистов по-немецки, а другому по-французски, — на память о сегодняшнем бале.

Оба приняли футляры и последовали к подносам.

— Ах, вот и самый последний, — сказал Коровьев, кивая на последнего очень мрачного человека с маленькими, коротко подстриженными под носом усиками и тяжелыми глазами.

— Новый знакомый, — продолжал Коровьев, — большой приятель Абадонны. Как-то раз Абадонна навестил его и нашептал за коньяком совет, как избавиться от одного человека, проницательности которого наш знакомый весьма боялся. И вот он велел своему секретарю обрызгать стены кабинета того, кто внушал ему опасения, ядом.

— Как его зовут? — спросила Маргарита.

— Право, еще не спросил, Абадонна знает.

— А с ним кто?

— Этот самый исполнительный его секретарь.

— Я восхищен! — привычным голосом закричал Коровьев.

Лестница опустела. Маргарита, Коровьев в сопровождении кота покинули свой пост.

Они сбежали вниз по лестнице, юркнули в камин и оттуда какими-то окольными и темными путями проникли в ту самую ванную комнату, где Маргариту одевали для бала.

— О, как я устала! — простонала Маргарита, навалившись на скамейку.

Но Гелла и Наташа опять повлекли ее под кровавый душ, тело ее размяли и размассажировали, и Маргарита ожила вновь.

Неумолимый Коровьев дал только три минуты на то, чтобы полежать на скамье. Теперь Маргарите предстояло облететь бал, чтобы почтенные гости не чувствовали себя брошенными.

Бал дал себя знать, лишь только Маргарита, чуть касаясь мраморного пола, скользя по нему, вылетела в тропический сад. Ей показалось, что рядом идет сражение. Сотни голосов сливались в мощный гул, и в этом гуле слышались страшные удары металлических тарелок, какое-то мерное буханье и даже выстрелы.

Иногда вырывался смех, его выплескивало, как пену с волны.

Но в самой оранжерее было тихо... В густейшей зелени сидело несколько парочек с бокалами, да еще бродил одинокий человек, с любопытством изучающий отчаянно орущих на всех языках попугаев.

Человек этот оказался директором театра Гёте, и ему Маргарита успела послать только обольстительную улыбку и одну фразу — что-то о попугаях.

В соседнем зале уже не было оркестра Штрауса, на эстраде за тюльпанами его место занял обезьяний джаз. Громадная лохматобакенбардная горилла в красном фраке с трубой в руке, приплясывая, дирижировала громадным и стройным джазом. В один ряд сидели орангутанги с блестящими трубами, дуя в них. На плечах у них сидели веселые шимпанзе с гармониями. В гриве, похожей на львиную, два гамадрила играли на роялях, и роялей этих не было слышно в громе и писке, буханьях и вое инструментов в лапах гиббонов, мандрилов и мартышек со скрипками.

На зеркальном полу пар пятьсот, словно слипшись, поражая Маргариту ловкостью и чистотой движения, стеною, вертясь в одном направлении, шли, угрожая смести все со своего пути.

Свет менялся через каждые десять секунд. То светили с хор разноцветные прожектора, и женские тела то блестели розово и тепло, то становились трупно-зелеными, то красно-мясными. Атласные живые бабочки ныряли над танцующими полчищами, с потолков сыпался цветочный дождь. То погасали прожектора, и тогда на капителях колонн загорались мириады светляков, а в воздухе плыли болотные огни.

Лишь только Маргариту увидели, полчище распалось само собою, и, проходя по образовавшемуся коридору, Маргарита слышала восхищенный шепот, разросшийся до гула:

— Королева Марго!

Как в танцевальном зале одурял запах цветов, духов и драгоценных цветочных масел, здесь вертел голову запах шампанского, кло-

кочущего в бассейнах. Сверкающие чаши взлетали в руках у фрачников, сотни женских глаз провожали Маргариту. Смех словно сдуло с уст, и здесь шепот разросся до громового крика:

— Здоровье королевы!

Из зала, где били шампанские фонтаны, Маргарита попала в чудовищных размеров бассейн, окаймленный колоннадой. Из пасти десятисаженного Нептуна хлестала широкая розовая струя. Одуряющий запах шампанского подымался из бассейна. Здесь царствовало бурное веселье. Дамы, хохоча, сбрасывали туфли, отдавали сумочки своим фрачным кавалерам или неграм, мечущимся с нагретыми простынями меж колонн, и ласточкой бросались в воду. Столбы игристого вина взметывало вверх. Хрустальное дно бассейна горело светом, свет пронизывал толщу вина, в котором ныряли, как рыбки в аквариуме, дамы.

Они выскакивали из воды, держась за золотые поручни, хохоча и шатаясь, совершенно пьяные. От хохота и крика звенело над колоннами, фрачники отскакивали от брызг, негры укутывали купальщиц в простыни, и, не будучи в силах перекрыть звенящий в колоннах крик, лягушки со своими саксофонами, сидящие на плечах Нептуна, бешено играли фокстрот.

В честь Маргариты шесть дам выстроились в ряд и под звуки лягушачьего марша вскочили на плечи своим кавалерам и с них взвились в воздух, а оттуда головами вниз в бассейн. Маргарита видела, как их сверкающие тела разлетелись под водой, как вспугнутая рыбья золотая стая.

Запомнилось ей в этой кутерьме одно совершенно пьяное женское лицо с бессмысленными, но и в бессмысленности своей молящими глазами, и одно краткое слово вспомнилось: «Фрида». Затем пробежали коротенькие мыслишки житейского порядка: «Интересно, сколько может стоить такой бал?», «никогда в гости ходить не буду... гости... чушь собачья... балы надо уметь устраивать...»

Голова ее начинала кружиться, но кот устроил и в бассейне номер, задержавший Маргариту со свитой. Резким пронзительным голосом он провыл предложение джентльменам искупаться и сделал какой-то повелительный жест неграм.

Тотчас с шипеньем и грохотом волнующаяся масса шампанского ушла из бассейна, а Нептун стал извергать не играющую, не пенящуюся волну темно-желтого цвета.

Дамы с визгом и воплями «Коньяк!» кинулись от краев бассейна за колонны. Через несколько секунд бассейн был полон, и кот, перевернувшись трижды в воздухе, обрушился в колыхающийся коньяк. Вьиез он, отфыркиваясь, с раскисшим галстуком, со слезшей с усов позолотой и потеряв бинокль. Но он объявил, что он ни в одном глазу.

Та самая портниха-затейница оказалась единственной особой женского пола, отважившейся искупаться в коньяке. Кавалер ее, мулат, вмиг освободился от фрачной одежды и шелкового белья и вместе с нею прыгнул в бассейн.

Но тут Коровьев властно подхватил под руку хозяйку бала и увлек ее вон.

Они оказались в буфете.

Сотни гостей осаждали каменные ванны. Пахло соленым морем. Прислуга бешено работала ножами, вскрывая аркашонские устрицы, выкладывая их на блюдо, поливая лимонным соком. Маргарита глянула под ноги и невольно ухватилась за руку Коровьева, ей показалось, что она проваливается в ад. Сквозь хрустальный пол светили бешеные красные огни плит, в дыму и пару метались белые дьявольские повара. Тележки на беззвучных колесиках ездили между столиками, и на них дымились и сочились кровью горы мяса. Прислуга на ходу тележек резала ножами это мясо, и ломти ростбифа разлетались по рукам гостей. Снизу, из кухни, подавали раскроенную розовую лососину, янтарные балыки. Серебряными ложками проголодавшиеся гости глотали икру.

Снизу по трапам подавали на столиках столбы тарелок, груды серебряных вилок и ножей, откупоренные бутылки вин, коньяков, водок.

Пролетев через весь буфет, Маргарита, посылая улыбки гостям, попала в темный закопченный погреб с бочками. Налитый жиром, с заплывшими глазками, хозяин погреба в фартуке наливал вино любителям пить в погребах из бочек. Прислуга была здесь женская. Разбитные девицы подавали здесь горячие блюда на раскаленных сковородах, под которыми светили красным жаром раскаленные угли.

Из погреба перенеслись в пивную, здесь опять гремел «светит месяц», плясали на эстраде те же белые медведи.

Маргарита слышала рычащий бас:

— Королева-матушка! Свет увидели. Вот за пивко спасибо!

В табачном дыму померещилась ей огненная борода Малюты и, кажется, кривоглазая физиономия Потемкина.

Из пивной толпа стремилась в бар...

Но дамы взвизгивали, кидались обратно. Слышался хохот.

За ослепляющей отражениями миллионов огней зеркальной стойкой помещались пять громадных тигров. Они взбалтывали, лили в рюмки опаловые, красные, зеленые смеси, изредка испускали рык.

Из бара попали в карточные.

Маргарита видела бесчисленное множество зеленых столов и сверкающее на них золото. Возле одного из них сгрудилась особенно большая толпа игроков, и некоторые из них стояли даже на стульях, жадно глядя на поединок. Обрюзгшая, седоватая содержательница публичного дома играла против черноволосого банкомета, перед которым возвышались две груды золотых монет. Возле хозяйки же не было ни одной монеты, но на сукне стояла, улыбаясь, нагая девочка лет шестнадцати, с развившейся во время танцев прической, племянница почтенной падуанки.

— Миллион против девчонки, — смеясь, шептал Коровьев, — вся она не стоит ста дукатов.

Почтительно раздавшаяся толпа игроков восторженно косилась на Маргариту и в то же время разноязычно вздыхала: «Бита... дана... бита... дана...», сопровождая каждый удар карты.

— Бита! — простонал круг игроков.

Желтизна тронула скулы почтенной старухи, и она невольно провела по сукну рукой, причем вздрогнула, сломав ноготь. Девчонка оглянулась растерянно.

Маргарита была уже вне карточной. Она, почти не задерживаясь, пролетела мимо гостиной, где на эстраде работал фокусник-саламандра, бросающийся в камин, сгорающий в нем и выскакивающий из него вновь невредимым, и вернулась в танцевальный зал.

Как раз когда она подлетала к дверям, оркестр обезьян ударил особенно страшно и танец немедленно прекратился. Пары распались, и гости выстроились в две шеренги, и шеренги эти стали бесконечны, потому что выстроились гости и в зале с шампанскими фонтанами.

— Последний выход, — шепнул озабоченно Коровьев.

Между стен гостей шел Воланд, за ним Абадонна и несколько стройных подтянутых копий Абадонны. Воланд был во фраке и двигался чуть прихрамывая и опираясь на трость.

Молчание стало мертвым.

Маргарита стояла неподвижно. Воланд шел прямо на нее, улыбаясь. Подойдя, он протянул ей руку и сказал негромко:

— Благодарю вас, — и стал рядом с нею.

Тотчас перед группой Воланда появился слуга с блюдом, и на этом блюде Маргарита увидела отрезанную голову человека, в засохших и замытых потеках крови, с приоткрытым ртом и выбитыми передними зубами.

Тишина продолжала стоять полнейшая, и ее прервал только где-то далеко послышавшийся звонок, как бывает с парадного хода.

— Александр Александрович, — негромко сказал Воланд, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза.

— Вот все и сбылось, — продолжал Воланд, глядя в глаза голове, — и голова отрезана женщиной, не состоялось заседание, и живу я в вашей квартире. Самая упрямая в мире вещь есть факт. Но теперь и нас, и вас интересует дальнейшее, а не этот уже свершившийся факт. Вы были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается, он уходит в темное небытие, в золу. Мне приятно сообщить вам в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория и солидна, и остроумна. Во всяком случае, одна теория, как говорится, стоит другой. Есть и такая, согласно которой каждому дано будет по его вере. Да сбудется! Вы уходите в небытие, и мне радостно сообщить вам, что из чаши, в которую вы превращаетесь, я выпью за бытие! Итак, чашу!

И тут же потухли глаза и закрылись веками, покровы головы потемнели и съежились, отвалились кусками, исчезли глаза, и перед Маргаритой на блюде оказался череп, желтоватый, с изумрудными

глазами, с зубами из жемчуга, на золотой ноге. Крыша черепа откинулась.

— Где же он? — спросил Воланд, повернувшись к Коровьеву-церемониймейстеру.

— Сию секунду, мессир, он предстанет перед вами. Я слышу в этой гробовой тишине, как скрипят его лакированные туфли, как звенит бокал, который он поставил на стол, в последний раз в этой жизни выпив шампанского. Да вот и он!

Между шеренгами гостей в зал, направляясь к Воланду, вступал новый гость. Внешне он ничем не отличался от многочисленных остальных гостей-мужчин. И так же безукоризненно был одет. Но величайшее волнение выдавали даже издали видные пятна на его щеках и неустанно бегающие его глаза. Гость был ошарашен, это было очевидно. И конечно, не только нагими дамами, но и многим другим, например тем, что он, ухитрившись как-то опоздать, теперь входит нелепым образом один-одинешенек, встречаемый любопытными взорами гостей, которых, собственно, даже и сосчитать трудно!

Встречен был поздний гость отменно.

— А, милейший барон Майгель! — приветливо вскричал Воланд гостю, который решительно не знал, на что ему глядеть — на череп ли, лежащий на блюде в руках у голого негра, на голую ли Маргариту? Голова его стала кружиться.

Но кое-как справившись с собою благодаря своей долголетней практике входить в гости и не теряться, Майгель пробормотал что-то о том, что он восхищен, и приложился к руке Маргариты.

— Вас, как я вижу, поражают размеры помещения? — улыбаясь и выручая гостя, продолжал Воланд. — Мы здесь произвели кое-какую перестройку, как видите. Как вы находите ее?

Майгель проглотил слюну и, вертя левой рукой брелок, свешивающийся из кармана белого жилета, сообщил, что перестройку он находит грандиозной и что она его приводит в восхищение.

— Я очень счастлив, что она вам нравится! — галантно отозвался Воланд и звучно обратился к толпам замерших неподвижно гостей:

— Я счастлив, месьедам, рекомендовать вам почтеннейшего барона Майгеля, служащего комиссии по ознакомлению иностранцев с достопримечательностями столицы.

Тут Маргарита замерла, потому что узнала вдруг этого Майгеля. Он несколько раз попадался ей в театрах Москвы и ресторанах. «Позвольте... — подумала Маргарита, — стало быть, он умер? Ничего не понимаю!»

Но дело разъяснилось тут же.

— Милый барон, — говорил Воланд, расплываясь в улыбке радости, — был так очарователен, что, узнав о моем приезде, тотчас позвонил ко мне, предлагая мне свои услуги по ознакомлению меня с достопримечательностями столицы. Я счастлив был пригласить его. Кстати, барон, — вдруг, интимно понизив голос, проговорил Воланд, — разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она превосходит все до сих пор виденное в этом направ-

лении и равняется вашей разговорчивости. Параллельно с этим дошел до меня страшный слух о том, что именно ваша разговорчивость стала производить неприятное впечатление и не позже чем через месяц станет причиной вашей смерти. Желая избавить вас от томительного ожидания скучной развязки, мы решили прийти вам на помощь...

Тут Воланд перестал улыбаться, а Абадонна вырос перед Майгелем и, подняв очки на лоб, глянул барону в лицо.

Барон сделался смертельно бледен, вздохнул и стал валиться набок. Показалось еще Маргарите, что что-то сверкнуло огнем в руках Азазелло, оказавшегося рядом с Абадонной, что-то стукнуло или как будто в ладоши хлопнуло, и алая кровь хлынула из груди барона, заливая белый жилет.

Как обвал в горах, ударил аплодисмент гостей, барона подхватили, и чаша до краев наполнилась его кровью.

— За жизнь! — крикнул Воланд, поднимая чашу, и прикоснулся к ней губами.

И тогда произошла метаморфоза. Фрак Воланда исчез. Воланд оказался не то в черном плаще, не то сутане. Перед глазами Маргариты все закружилось, когда рука в перчатке с раструбом приблизила к ней чашу и загорелся перед ней один глаз.

Маргариту шатнуло, но ее поддержали, и чей-то голос, кажется Коровьева, зашептал:

— Не бойтесь, не бойтесь... Кровь давно ушла в землю... Пейте! В чаше вино!

Маргарита, закрыв глаза, дрожа, сделала глоток. Сладкий ток пробежал по ее жилам, в ушах начался звон. Ей показалось, что кричат петухи, что оглушительный оркестр играет марш. Тут толпа гостей стала видоизменяться. Фраки мужчин рассыпались в прах, и почернели, и сгнили тела женщин, показались кости, стали сыпаться на пол. Тление охватило зал, потек печальный запах склепа. А потом и колонны распались, и угасли огни, и все съежились, и не стало никаких фонтанов и бальных зал и цветов... А просто была скромная гостиная ювелирши, и в камине пылал огонь, а из приоткрытой двери виднелся свет свечей. И в эту приоткрытую дверь и вошла Маргарита.

Глава 24 ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАСТЕРА

Все в комнате оказалось, как и было до бала. Воланд в сорочке сидел на кровати, но Гелла не растирала ему ногу, а ставила на стол рядом с глобусом поднос с закуской и графином. Коровьев, сняв надоевший фрак, сидел на стуле, плотоядно потирая руки. Кот помещался на соседнем стуле. Галстук его, превратившийся в серую тряпку, съе-

хал за ухо, но Бегемот с ним расстаться не желал. Абадонны не было, но был Азазелло. Сидящие встретили Маргариту приветливо, заулыбались ей, а Воланд указал ей место рядом с собою на кровати...

— Вас замучили эти затейники?

— Нет, нет, бал был превосходный, — ответила живо Маргарита.

— Ноблесс оближ, — сказал кот и налил Маргарите прозрачной жидкости в лафитный стакан.

— Это водка? — спросила Маргарита.

— Помилуйте, королева, — прохрипел он, — разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!

Маргарита захохотала и оттолкнула стакан от себя.

— Пейте смело! — сказал Воланд.

Маргарита взяла стакан.

— Нет, погодите, — заметил Воланд и сквозь свой стакан поглядел на Маргариту...

— Потрясающе! Очарованы, влюблены, раздавлены! — орал Коровьев.

— Гелла, садись! — приказал Воланд. — Эта ночь предпраздничная у нас, — пояснил он Маргарите, — и мы держим себя попросту.

— Вотр соитэ! — вскричал Коровьев, обращаясь к Маргарите.

Маргарита глотнула, думая, что тут же ей и будет конец от спирта. Но ничего этого не произошло. Живительное тепло потекло по ее животу, что-то стукнуло в затылок, она почувствовала волчий голод. Тут же перед ней оказалось золотое блюдце, и после первой же ложки икры тепло разлилось и по ногам, и по рукам.

Бегемот отрезал кусок ананаса, посолил его, поперчил, съел и после этого так залихватски тяпнул вторую стопку спирта, что все ахнули.

Маргарита ела жадно, и все казалось необыкновенно вкусным, да и в самом деле было необыкновенно вкусно.

После второй стопки огни в канделябрах загорелись как будто поярче, в камине прибавилось пламени. Никакого опьянения Маргарита не чувствовала. Только сила и бодрость вливались в нее, и постепенно затихал голод. Ей не хотелось спать, а мысли были не связанные между собою, но приятные. Кроме всего прочего, смешил кот.

Кусая белыми зубами мясо, Маргарита упивалась текущим из него соком и в то же время смотрела, как Бегемот намазывал горчицей устрицу и посыпал ее сахаром.

— Ты еще винограду положи, — говорила ему Гелла, — и сверху сам сядь.

— Попрошу меня не учить, — огрызался Бегемот, — сиживал за столом, сиживал!

— Ах, как приятно ужинать вот этак, при огоньке камелька, запросто, — дребезжал Коровьев, — в интимном кругу...

— Нет, Фагот, — возражал кот, — в бальном буфете имеется своя прелесть и размах!

— Никакой прелести в этом нет, — сказал Воланд, — и менее всего ее в этих тиграх, рев которых едва не довел меня до мигрени.

— Слушаю, мессир, — сказал дерзкий кот, — если вы находите, что нет размаха, и я немедленно буду держаться того же мнения.

— Ты у меня смотри, — ответил на это Воланд.

— Я пошутил, — смиренно сказал кот, — что касается тигров, я велю их зажарить.

— Тигров нельзя есть! — заметила Гелла.

— Нельзя-с? Тогда прошу послушать, — оживился кот и, переселившись к камину с рюмочкой ликера, жмурясь от удовольствия, рассказал, как однажды оказался в пустыне, где один-одинешенек скитался девятнадцать дней и питался мясом убитого им тигра. Все с интересом слушали занимательное описание пустыни, а когда Бегемот кончил повесть, все хором воскликнули: «Вранье!»

— Интересно то, что вранье это от первого до последнего слова, — сказал Воланд.

— История рассудит нас, — ответил кот, но не очень уверенно.

— А скажите, — обратилась Маргарита к Азазелло, — вы его застрелили? Этого барона?

— Натурально, — ответил Азазелло.

— Я так взволновалась... Так неожиданно...

— Как же не взволноваться, — взвыл Коровьев, — у меня у самого поджилки затряслись. Бух! Раз! Барон набок!

— Со мною едва истерика не сделалась, — подтвердил и кот, облизывая ложку с икрой.

— Вот что мне непонятно, — заговорила Маргарита оживленно, и золотые искры от золота и хрусталя прыгали у нее в глазах, — неужели снаружи не слышно было ни грохота музыки, ни голосов?

— Мертвая тишина, — ответил Коровьев.

— Ах, как это интересно все, — продолжала Маргарита. — Дело в том, что этот человек на лестнице... и другой у подъезда... Я думаю, что он...

— Агент! Агент! — вскричал Коровьев. — Дорогая Маргарита Николаевна, вы подтверждаете мои подозрения! Агент. Я сам принял было его за рассеянного приват-доцента или влюбленного, томящегося на лестнице, но нет, но нет. Что-то сосало мое сердце! Ах! Он — агент. И тот у подъезда тоже! И еще хуже, в подворотне — тоже!

— Интересно, а если вас придут арестовывать? — спросила Маргарита, обращая к Воланду глаза.

— Непременно придут, непременно! — вскричал Коровьев. — Чует сердце, что придут! В свое время, конечно, но придут!

— Ну что же в этом интересного, — отозвался Воланд и сам налил Маргарите играющее иглами вино в чашу.

— Вы, наверное, хорошо стреляете? — кокетливо спросила у Азазелло Маргарита.

— Подходяще, — ответил Азазелло.

— А на сколько шагов? — спросила Маргарита.

— Во что, смотря по тому, — резонно ответил Азазелло, — одно дело попасть молотком в стекло критику Латунскому и совсем другое — ему же в сердце.

— В сердце! — сказала Маргарита.

— В сердце я попадаю на сколько угодно шагов и по выбору в любое предсердие его или в желудочек, — ответил Азазелло, исподлобья глядя на Маргариту.

— Да ведь... они же закрыты!

— Дорогая, — дребезжал Коровьев, — в том-то и штука, что закрыты! В этом вся соль! А в открытый предмет...

Он вынул из стола семерку пик. Маргарита ногтем наметила угловое верхнее очко. Азазелло отвернулся. Гелла спрятала карту под подушку, крикнула: «Готово!»

Азазелло, не оборачиваясь, вынул из кармана фрачных брюк черный револьвер, положил его на плечо дулом к кровати и выстрелил. Из-под простреленной подушки вытащили семерку. Намеченное очко было прострелено.

— Не желала бы я встретиться с вами, когда у вас в руках револьвер!

— Королева драгоценная, — завыл Коровьев, — я никому не рекомендую встретиться с ним, даже если у него и нету револьвера в руках! Даю слово чести бывшего регента и запевалы! От всей [души] не поздравляю того, кто встретится!

— Берусь перекрыть рекорд с семеркой, — заявил кот.

Азазелло прорычал что-то. Кот потребовал два револьвера. Азазелло вынул и второй револьвер. Наметили два очка на семерке. Кот отвернулся, выставил два дула. Выстрелил из обоих револьверов. Послышался вопль Геллы, а с камина упала убитая наповал сова, и каминные часы остановились. Гелла, у которой одна рука была окровавлена, тут же Ёцепилась в шерсть коту, а он ей в ответ в волосы, и они покатились клубком по полу.

— Оттащите от меня эту чертовку, — завыл кот.

Дерущихся разняли, Коровьев подул на простреленный палец Геллы, и тот зажил.

— Я не могу стрелять, когда под руку говорят! — кричал кот и старался приладить на место выдранный у него из спины порядочный клок шерсти.

— Держу пари, — тихо сказал Воланд Маргарите, — что проделал он эту штуку нарочно. Он очень порядочно стреляет.

Геллу с котом помирили, и в знак этого примирения они поцеловались. Достали карту, проверили. Ни одного очка не было затронуто. Этого не может быть!

Ужин, такой же веселый, пошел дальше. Свечи оплывали в канделябрах, по комнате волнами ходило тепло от камина. Маргарита наелась, и чувство блаженства охватило ее. Она смотрела, как сине-серые кольца от сигары Азазелло уплывали в камин и как кот ловил их на конец шпаги. Ей никуда не хотелось уходить, но было, по ее расчетам, поздно, судя по всему, часов около шести утра. Воспользовавшись паузой, Маргарита обратилась к Воланду и робко сказала:

— Пожалуй, мне пора...

— Куда же вы спешите? — спросил Воланд, и Маргарита потупилась, не будучи в силах вынести блеска глаза.

Остальные промолчали и сделали вид, что увлечены дымными кольцами.

— Да, пора, — смущаясь, повторила Маргарита и обернулась, как будто ища накидку или плащ. Ее нагота вдруг стала стеснять ее.

Воланд молча снял с кровати свой вытертый засаленный халат, а Коровьев закутал Маргариту.

— Благодарю вас, мессир, — чуть слышно сказала Маргарита, и черная тоска вдруг охватила ее. Она почувствовала себя обманутой. Никакой награды, по-видимому, ей никто не собирался предлагать, никто ее и не удерживал. А между тем, ей ясно представилось, что идти ей некуда. Попросить, как советовал Азазелло? «Ни за что», — сказала она себе и вслух добавила:

— Всего хорошего, — а сама подумала: «Только бы выбраться, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».

Мысль о том, что она придет домой и навсегда останется наедине со своим сном, показалась ей нелепой, больной, нестерпимой.

— Сядьте, — повелительно сказал Воланд.

Маргарита села.

— Что-нибудь хотите сказать на прощание? — спросил Воланд.

— Нет, ничего, мессир, — голос Маргариты прозвучал гордо, — впрочем, если я нужна еще, то я готова исполнить все, что надобно. — Чувство полной опустошенности и скуки охватило ее. «Фу, как мерзко все».

— Вы совершенно правы! — гулко и грозно сказал Воланд. — Никогда ни о чем не просите! Никогда и ничего и ни у кого. Сами предложат! Сами!

Потом он смягчил голос и продолжал:

— Мне хотелось испытать вас. Итак, Марго, чего вы хотите за то, что сегодня вы были у меня хозяйкой? Что вы хотите за то, что были нагой? Чего стоит ваше истерзанное поцелуями колено? Во что цените созерцание моих клиентов и друзей? Говорите! Теперь уж без стеснений: предложил я!

Сердце замерло у Маргариты, она тяжело вздохнула.

— Вот шар, — Воланд указал на глобус, — в пределах его. А? Ну, смелее! Будите свою фантазию. Одно присутствие при сцене с этим отпетым негодяем бароном стоит того, чтобы человека наградили как следует. Да-с?

Дух перехватило у Маргариты, и она уже хотела выговорить заветные, давно хранимые в душе слова, как вдруг остановилась, даже раскрыла рот, изменилась в лице.

Откуда-то перед мысленными глазами ее выплыло пьяное лицо Фриды и ее взор умученного вконец человека.

Маргарита замялась и сказала спотыкаясь:

— Так я, стало быть, могу попросить об одной вещи?..

— Потребовать, потребовать, многоуважаемая Маргарита Николаевна, — ответил Воланд, понимающе улыбаясь, — потребовать одной вещи!

Маргарита заговорила:

— Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка, — и вздохнула.

Кот послал Коровьеву неодобрительный взгляд, но, очевидно, помня накрученное ухо, не промолвил ни слова.

— Гм, — сказал Воланд и усмехнулся, — ввиду того, что возможность получения вами взятки от этой Фриды совершенно, конечно, исключена, остается обзавестись тряпками и заткнуть все щели в моей спальне!

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита.

— Совершенно с вами согласен, мессир, — не выдержал кот, — именно тряпками! — Он с раздражением запустил лапу в торт и стал выковыривать из него апельсинные корки.

— О милосердии говорю, — объяснил Воланд, не спуская с Маргариты огненного глаза, — иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узкие щели. Вот я и говорю о тряпках!

— И я об этом же говорю! — сурово сказал кот и отклонился на всякий случай от Маргариты, прикрыв вымазанными в розовом креме лапами свои острые уши.

— Пошел вон! — сказал ему Воланд.

— Я еще кофе не пил, — ответил кот, — как же я уйду? Неужели, мессир, в предпраздничную ночь гостей за столом у нас разделят на два сорта? Одни — первой, а другие, как выражался этот печальный негодяй-буфетчик, второй свежести?

— Молчи! — сказал Воланд и обратился к Маргарите с вежливой улыбкой: — Позвольте спросить, вы, надо полагать, человек исключительной доброты? Высокоморальный человек?

— Нет! — с силой ответила Маргарита. — И так как я все-таки не настолько глупа, чтобы, разговаривая с вами, прибегать ко лжи, скажу вам со всею откровенностью: я прошу у вас об этом потому, что, если Фриду не простят, я не буду иметь покоя всю жизнь. Я понимаю, что всех спасти нельзя, но я подала ей твердую надежду. Так уж вышло. И я стану обманщицей.

— Ага, — сказал Воланд, — понимаю.

А кот, закрывшись лапой, что-то стал шептать Коровьеву.

— Так вы сделаете? — спросила неуверенно Маргарита.

— Ни в каком случае, — ответил Воланд.

Маргарита побледнела и отшатнулась.

— Я ни за что не сделаю, — продолжал Воланд, — а вы, если вам угодно, можете сделать сами. Пожалуйста.

— Но по-моему исполнится?

Азазелло вытаращил иронически кривой глаз на Маргариту, покрутил рыжей головой и тихо фыркнул.

— Да делайте же! Вот мучение, — воскликнул Воланд и повернул глобус, бок которого стал наливаться огнем.

— Фрида! — крикнул пронзительно кот.

Дверь распахнулась, и растрепанная, нагая, без всяких признаков хмеля женщина с исступленными глазами вбежала в комнату и простерла руки к Маргарите. Та сказала:

— Прощают тебя. Платок больше подавать не будут.

Фрида испустила вопль, упала на пол и простерлась крестом перед Маргаритой. Воланд досадливо махнул рукой, и Фрида исчезла.

— Прощайте, благодарю вас, — твердо сказала Маргарита и поднялась, запахнув халат.

— По улице в таком виде идти нельзя. Сейчас дадим вам машину, — сказал Воланд сухо и затем добавил: — Поступок ваш обличает в вас патологически непрактичного человека. Пользоваться этим мы считаем неудобным, поэтому Фрида не в счет. Говорите, что вы хотите?

— Драгоценное сокровище, Маргарита Николаевна! — задребезжал Коровьев. — На сей раз советую вам быть поблагоразумнее! А то фортуна может ускользнуть!

— Верните мне моего любовника, — сказала Маргарита и вдруг заплакала.

— Маргарита Николаевна! — запищал Коровьев в отчаянии.

— Нет, не могу! — возмущенно отозвался кот и выпил объемистую рюмку коньяка.

Занавеска на окне отодвинулась, и далеко на высоте открылась полная луна. От подоконника на пол упал зеленоватый платок ночного света. Сидящие, на лицах которых играл живой свет свечей, повернули головы к лунному косому столбу. В нем появился ночной Иванушкин гость, называющий себя мастером.

Он был в своем больничном одеянии, в халате, туфлях и черной шапочке. Небритое лицо его дергало гримасой, он пугливо косился на огни свечей.

Маргарита узнала его, всплеснула руками, подбежала и обняла. Она целовала его в лоб, в губы, прижималась к колючей щеке, и слезы бежали по ее лицу.

Она произносила только одно слово:

— Ты... ты...

Мастер отстранил ее наконец и сказал глухо:

— Не плачь, Марго. Я тяжко болен.

Он ухватился за подоконник рукою, оскалился, всматриваясь в сидящих, и сказал:

— Мне страшно, Марго. У меня галлюцинация.

Маргарита подтащила его к стулу, усадила и, гладя плечи, шею, лицо, зашептала:

— Ничего, ничего не бойся. Я с тобою. Не бойся ничего.

Коровьев ловко и незаметно подпихнул к Маргарите второй стул, и она опустилась на него, обняла пришедшего за шею, голову положила на плечо и так затихла, а мастер опустил голову и стал смотреть в землю больными угрюмыми глазами. Наступило молчание, и первый прервал его Воланд.

— Да, хорошо отделали человека, — проговорил он сквозь зубы и приказал Коровьеву: — Дай-ка, рыцарь, ему выпить.

Через секунду Маргарита дрожащим голосом просила мастера:

— Выпей, выпей... Нет, нет. Не бойся. Тебе помогут, за это я ручаюсь. Сразу, сразу пей!

Больной взял стакан и выпил содержимое. Рука его дрогнула, и пустой стакан разбился у ее ног.

— К счастью! К счастью, милейшая Маргарита Николаевна! К счастью, — зашептал трескучий Коровьев.

Маргарита с ложечки кормила мастера икрой. Лицо его менялось по мере того, как он ел, порозовели скулы, и взор стал не так дик и беспокоен.

— Но это ты, Марго? — спросил он.

— Я! Я! — ответила Маргарита.

— Еще, — строго сказал Воланд.

Коровьев подал Воланду стакан, и Воланд бросил в него щепотку какого-то черного порошка. Больной выпил поданную ему жидкость и глянул живее и осмысленнее.

— Ну вот, это другое дело, — сказал Воланд, прищурившись, — теперь поговорим. Кто вы такой? — обратился он к пришедшему.

— Я теперь никто, — ответил оживающий больной, и улыбка искривила его рот.

— Откуда вы сейчас?

— Из дома скорби. Я — душевнобольной, — ответил пришелец.

Маргарита заплакала и проговорила сквозь слезы:

— Он — мастер, мастер, верьте мне! Вылечите его!

— Вы знаете, с кем вы сейчас говорите? — спросил Воланд. — У кого находитесь?

— Знаю, — ответил мастер, — соседом моим в сумасшедшем доме был Иван Бездомный. Он рассказал мне о вас.

— Как же, как же. Я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах, — ответил Воланд, — и вы верите, что это действительно я?

— Верю, — сказал пришелец, — но, конечно, спокойнее мне было бы считать вас плодом галлюцинаций. Извините меня...

— Если спокойнее, то и считайте галлюцинацией, — вежливо ответил Воланд.

— Нет, нет, — испуганно обратилась к мастеру Маргарита, — перед тобою мессир!

— Это неважно, обаятельнейшая Маргарита Николаевна! — встрял в разговор Коровьев, а кот увязался вслед за ним и заметил горделиво:

— А я действительно похож на галлюцинацию. Обратите внимание на мой профиль... — Кот хотел еще что-то сказать, но его попросили замолчать, и он, ответив: — Хорошо, хорошо. Готов молчать. Я буду молчаливая галлюцинация! — замолчал.

— Верно ли, что вы написали роман? — спросил Воланд.

— Да.

— О чем?

— Роман о Понтии Пилате.

Воланд откинулся назад и захохотал громовым образом, но так добродушно и просто, что никого не испугал и не удивил. Коровьев стал вторить Воланду, хихикая, а кот неизвестно зачем зааплодировал. Отхохотавшись, Воланд заговорил, и глаз его сиял весельем.

— О Понтии Пилате? Вы?.. В наши дни? Это потрясающе! И вы не могли найти более подходящей темы? Позвольте-ка посмотреть...

— К сожалению, не могу этого сделать, — ответил мастер, — я сжег его в печке...

— Этого нельзя сделать, простите, не верю, — снисходительно ответил Воланд, — рукописи не горят. — И, обратившись к коту, велел ему: — Бегемот, дай-ка роман сюда!

Тут кот вскочил со стула, и все увидели, что сидел он на толстой пачке рукописей, в нескольких экземплярах. Верхний экземпляр кот подал Воланду с поклоном.

Маргарита задрожала, вскрикнула, потом заговорила, волнуясь до слез:

— Вот он, вот он! О, верь мне, что это не галлюцинация! — и, повернувшись к Воланду: — Всесильный, всесильный повелитель!

Воланд проглядел роман с такой быстротой, что казалось, будто вращает страницы струя воздуха из вентилятора. Перелистав манускрипт, Воланд положил его на голые колени и молча, без улыбки, уставился на мастера.

Но тот впал в тоску и беспокойство, встал со стула, заломил руки и пошел в лунном луче к луне, вздрагивая, бормоча что-то.

Коровьев выскочил из-под света свечей и темною тенью закрыл больного и зашептал:

— Вы расстроились? Ничего, ничего... До свадьбы заживет!.. Еще стаканчик... И я с вами за компанию...

И стаканчик подмигнул — блеснул в лунном свете, и помог стаканчик. Мастера усадили на место, и лицо его теперь стало спокойно.

— Ну, теперь все ясно, — сказал Воланд и постучал длинным пальцем, с черным камнем на нем, по рукописи.

— Совершенно ясно, — подтвердил кот, забыв свое обещание стать молчаливой галлюцинацией, — теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь. Что ты говоришь, Азазелло? — спросил он у молчащего Азазелло.

— Я говорю, — прогнусавил тот, — что тебя хорошо бы утопить.

— Будь милосерден, Азазелло, — смиренно сказал кот, - и н е наводи моего господина на эту мысль. Поверь мне, что я являлся бы тебе каждую ночь в таком же лунном покрывале, как и бедный мастер, и кивал бы тебе, и манил бы тебя за собою. Каково бы тебе было, Азазелло? Не пришлось бы тебе еще хуже, чем этой глупой Фриде? А?

— Молчание, молчание, — сказал Воланд и, когда оно наступило, сказал так:

— Ну, Маргарита Николаевна, теперь говорите все, что вам нужно.

Маргарита поднялась и заговорила твердо, и глаза ее пылали. Она сгибала пальцы рук, как бы отсчитывая на них все, чтобы ничего не упустить.

— Опять вернуть его в переулок на Арбате, в подвал, и чтобы загорелась лампа, как было.

Тут мастер засмеялся и сказал:

— Не слушайте ее, мессир. Там уже давно живет другой человек. И вообще нельзя сделать, чтобы все «как было»!

— Как-нибудь, как-нибудь, — тихо сказал Воланд и потом крикнул: — Азазелло!

И Азазелло очутился у плеча Воланда.

— Будь так добр, Азазелло, — попросил его Воланд.

Тотчас с потолка обрушился на пол растерянный, близкий к умоисступлению гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом и в кепке. От страху человек трясся и приседал.

— Могарыч? — спросил Азазелло.

— А... Алоизий Могарыч, — дрожа, ответил гражданин.

— Это вы написали, что в романе о Понтии Пилате контрреволюция, и после того, как мастер исчез, заняли его подвал? — спросил Азазелло скороговоркой.

Гражданин посинел и залился слезами раскаяния.

Маргарита вдруг, как кошка, кинулась к гражданину и, завывая и шипя:

— А! Я — ведьма! — вцепилась Алоизию Могарычу в лицо ногтями.

Произошло смятение.

— Что ты делаешь! — кричал мастер страдальчески. — Ты покрываешь себя позором!

— Протестую, это не позор! — орал кот. Маргариту оттащил Коровьев.

— Я ванну пристроил, — стуча зубами, нес исцарапанный Могарыч какую-то околесицу, — и побелил... один купорос...

— Владивосток, — сухо сказал Азазелло, подавая Могарычу бумажку с адресом, — Банная, 13, квартира 7. Там ванну пристроишь. Вот билет, плацкарта. Поезд идет через 2 минуты.

— Пальто? А пальто?! — вскричал Могарыч.

— Пальто и брюки в чемодане, — объяснил расторопный Азазелло, — остальное малой скоростью уже пошло. Вон!

Могарыча перевернуло кверху ногами и вынесло из спальни. Слышно было, как грохнула дверь, выводящая на лестницу. Мастер вытаращил глаза, прошептал:

— Однако! Это, пожалуй, почище будет того, что рассказывал Иван... А, простите, это ты... это вы... — сбился он, не зная, как обратиться к коту, на «ты» или на «вы», — вы — тот самый кот, что садились в трамвай?

— Я, — подтвердил кот и добавил: — Приятно слышать, что вы обращаетесь ко мне на «вы». Котам всегда почему-то говорят «ты».

— Мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот, — нерешительно ответил мастер.

— Что же еще, Маргарита Николаевна? — осведомился Воланд у Маргариты.

— Вернуть его роман и... — Маргарита подбежала к Воланду, припала к его коленям и зашептала: — ...верните ему рассудок...

— Ну, это само собой, — шепотом ответил Воланд, а вслух сказал: — И все?

— Все, — подтвердила Маргарита, розовея от радости.

— Позвольте мне сказать, — вступил в беседу мастер, — я должен предупредить, что в лечебнице меня хватятся. Это раз. Кроме того, у меня нет документа. Кроме того, хозяин-застройщик поразится тем, что исчез Могарыч... И... И главное то, что Марга-

рита безумна не менее, чем я. Марго! Ты хочешь уйти со мною в подвал?

— И уйду, если только ты меня не прогонишь, — сказала Маргарита.

— Безумие! Безумие, — продолжал мастер, — отговорите ее.

— Нет, не будем отговаривать, — покосившись на мастера, ответил Воланд, — это не входило в условие. А вот насчет чисто технической стороны дела... документ этот и прочее. Азазелло!

Азазелло тотчас вытащил из кармана фрака книжечку, вручил ее мастеру со словами:

— Документ!

Тот растерянно взял книжечку, а Азазелло стал вынимать из кармана бумаги и даже большие прошнурованные книги.

— Ваша история болезни…

Маргарита подвела мастера к свечам со словами «ты только смотри, смотри...»

— …прописка в клинике…

— Раз, и в камин! — затрещал Коровьев. — И готово! Ведь раз нет документа — и человека нет? Не правда ли?

Бумаги охватило пламя.

— А это домовая книга, — пояснил Коровьев, — видите, прописан Могарыч Алоизий... Теперь: эйн, цвей, дрей…

Коровьев дунул на страницу, и прописка Могарыча исчезла.

— Нету Могарыча, — сладко сказал Коровьев, — что Могарыч? Какой такой Могарыч? Не было никакого Могарыча. Он снился.

Тут прошнурованная книга исчезла.

— Она уже в столе у застройщика, — объяснил Коровьев. — И все в порядочке.

— Да, — говорил мастер, ошеломленно вертя головой, — конечно, это глупо, что я заговорил о технике дела...

— Больше я не смею беспокоить вас ничем, — начала Маргарита, — позвольте вас покинуть... Который час?

— Полночь, пять минут первого, — ответил Коровьев.

— Как? — вскричала Маргарита. — Но ведь бал шел три часа...

— Ничего неизвестно, Маргарита Николаевна!.. Кто, чего, сколько шел! Ах, до чего все это условно, ах, как условно! — эти слова, конечно, принадлежали Коровьеву.

Появился портфель, в него погрузили роман, кроме того, Коровьев вручил Маргарите книжечку сберкассы, сказав:

— Девять тысяч ваши, Маргарита Николаевна. Нам чужого не надо! Мы не заримся на чужое.

— У меня пусть лапы отсохнут, если к чужому прикоснусь, — подтвердил и кот, танцуя на чемодане, чтобы умять в него роман.

— Все это хорошо, — заметил Воланд, — но, Маргарита Николаевна, куда прикажете девать вашу свиту? Я лично в ней не нуждаюсь.

И тут дверь открылась, и вошли в спальню взволнованная и голая Наташа, а за нею грустный, не проспавшийся после бала Николай Иванович.

Увидев мастера, Наташа обрадовалась, закивала ему головой, а Маргариту крепко расцеловала.

— Вот, Наташенька, — сказала Маргарита, — я буду жить с мастером теперь, а вы поезжайте домой. Вы хотели выйти замуж за инженера или техника. Желаю вам счастья. Вот вам тысяча рублей.

— Не пойду я ни за какого инженера, Маргарита Николаевна, — ответила Наташа, не принимая денег, — я после такого бала за инженера не пойду. У вас буду работать. Вы уж не гоните.

— Хорошо. Сейчас вместе и поедем, — сказала Маргарита Николаевна и попросила Воланда, указывая на Николая Ивановича, — а этого гражданина я прошу отпустить с миром. Он случайно попал в это дело.

— То есть с удовольствием отпущу, — сказал Воланд, — с особенным. Настолько он здесь лишний.

— Я очень прошу выдать мне удостоверение, — заговорил, дико оглядываясь, Николай Иванович, — о том, где я провел упомянутую ночь.

— На какой предмет? — сурово спросил кот.

— На предмет представления милиции и супруге, — объяснил Николай Иванович.

— Удостоверений мы не даем, — кот насупился, — но для вас сделаем исключение.

И тут появилась пишущая машинка, Гелла села за нее, а кот продиктовал:

— Сим удостоверяется, что предъявитель сего Николай Иванович Филармонов провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен в качестве перевозочного средства, в скобках — боров, ведьмы Наташи. Подпись — Бегемот.

— А число? — пискнул Николай Иванович.

— Чисел не ставим, с числом бумага станет недействительной, — отозвался кот, подписал бумагу, вынул откуда-то печать, подышал на нее, оттиснул на бумаге слово «уплочено» и вручил ее Николаю Ивановичу. И тот немедля исчез, и опять стукнула передняя дверь.

В ту же минуту еще одна голова просунулась в дверь.

— Это еще кто? — спросил, заслоняясь от свечей, Воланд.

Варенуха всунулся в комнату, стал на колени, вздохнул и тихо сказал:

— Поплавского до смерти я напугал с Геллой... Вампиром быть не могу, отпустите...

— Какой такой вампир? Я его даже не знаю... Какой Поплавский? Что это еще за чепуха?

— Не извольте беспокоиться, мессир, — сказал Азазелло и обратился к Варенухе:

— Хамить не надо по телефону, ябедничать не надо, слушаться надо, лгать не надо.

Варенуха просветлел лицом и вдруг исчез, и опять-таки стукнула парадная дверь.

Тогда, управившись наконец со всеми делами, подняли мастера со стула, где он сидел безучастно, накинули на него плащ. Наташа, тоже

уже одетая в плащ, взяла чемодан, стали прощаться, выходить и вышли в соседнюю темную комнату. Но тут раздался голос Воланда:

— Вернитесь ко мне, мастер и Маргарита, а остальные подождите там.

И вот перед Воландом, по-прежнему сидящим на кровати, оказались оба, которых он позвал.

Маргарита стояла, уставив на Воланда блестящие, играющие от радости глаза, а мастер — утомленный и потрясенный всем виденным и пережитым, с глазами потухшими, но не безумными. И теперь, в шапочке, закутанный в плащ, он казался еще худее, чем был, и нос его заостренный еще более как-то заострился на покрытом черной щетиной лице.

— Маргарита! — сказал Воланд. Маргарита шевельнулась.

— Маргарита! — повторил Воланд. — Вы довольны тем, что получили?

— Довольна и ничего больше не хочу! — ответила Маргарита твердо.

Воланд приказал ей:

— Выйдите на минуту и оставьте меня с ним наедине.

Когда Маргарита, тихо ступая туфлями из лепестков, ушла, Воланд спросил:

— Ну, а вы?

Мастер ответил глухо:

— А мне ничего и не надо больше, кроме нее.

— Позвольте, — возразил Воланд, — так нельзя. А мечтания, вдохновение? Великие планы? Новые работы?

Мастер ответил так:

— Никаких мечтаний у меня нет, как нет и планов. Я ничего не ищу больше от этой жизни, и ничто меня в ней не интересует. Я ее презираю. Она права, — он кивнул на Маргариту, — мне нужно уйти в подвал. Мне скучно на улице, они меня сломали, я хочу[7] в подвал.

— А чем же вы будете жить? Ведь вы будете нищенствовать?

— Охотно, — ответил мастер.

— Хорошо. Теперь я вас попрошу выйти, а она пусть войдет ко мне.

И Маргарита была теперь наедине с Воландом.

— Иногда лучший способ погубить человека — это предоставить ему самому выбрать судьбу, — начал Воланд, — вам предоставлялись широкие возможности, Маргарита Николаевна! Итак, человека за то, что он сочинил историю Понтия Пилата, вы отправляете в подвал в намерении его там убаюкать?

Маргарита испугалась и заговорила горячо:

— Я все сделала так, как хочет он... Я шепнула ему все самое соблазнительное... и он отказался...

— Слепая женщина! — сурово сказал Воланд. — Я прекрасно знаю то, о чем вы шептали ему. Но это не самое соблазнительное. Ну, во всяком случае, что сделано, то сделано. Претензий вы ко мне не имеете?

— О, что вы! Что вы!

— Так возьмите же это на память, — и Воланд подал Маргарите два темных платиновых кольца — мужское и женское.

— Прощайте, — тихо шепнула Маргарита.

— До свидания, — ответил Воланд, и Маргарита вышла.

В передней провожали все, кроме Воланда. На площадку вышли Маргарита и мастер, Наташа с чемоданом и Азазелло.

Маргарита сделала знак Азазелло глазами — «там, мол, агент»... Азазелло мрачно усмехнулся и кивнул — «ладно, мол».

Шелковые плащи зашумели, компания тронулась вниз. Тут Азазелло дунул в воздух, и, когда проходили мимо окна на следующей площадке лестницы, Маргарита увидела, что человека в сапогах там нету.

Тут что-то стукнуло по полу, никто не обратил на это внимания, спустились к выходной двери, возле которой опять-таки никого не оказалось. У крыльца стояла темная закрытая машина с потушенными фарами. Стали садиться в нее, и тут Наташа горестно вскрикнула:

— Ай! Коробочку потерял а...

— Подождите минутку, — сказал Азазелло и вышел обратно в парадное.

Дело же было так: за некоторое время до выхода Маргариты из квартиры, находящейся под квартирой Воланда, вышла на лестницу сухонькая женщина с бидоном и сумкой в руках. Это была та самая Аннушка, что пролила в среду постное масло. Чем вообще занималась эта женщина, мы не знаем. Известно о ней было, что видеть ее можно было, и всегда почему-то с бидоном, то на рынке, то в нефтелавке, то под воротами дома, то на лестнице, то в кухне квартиры № 48.

Кроме того, было известно, что где бы ни появлялась Аннушка, тотчас начинался скандал, а кроме этого еще, что вставала она удивительно рано, когда многие только ложились, часа в два утра.

А на сей раз что-то подняло ее совсем уже ни свет ни заря — в начале первого.

Высунув нос из-за двери, Аннушка затем высунулась и вся целиком, дверь за собою закрыла и уж собиралась тронуться куда-то, как наверху грохнула дверь, кто-то покатился вниз по лестнице и налетел на Аннушку так, что она ударилась головой об стенку.

— Куда ж тебя черт несет в одних подштанниках? — завизжала Аннушка.

Человек в одном белье, с чемоданом в руках и в кепке, с закрытыми глазами ответил ей сонным диким голосом:

— Во Владивосток! — шарахнулся дальше и вдруг вылетел в открытое окно во двор.

Аннушка ахнула, подбежала к окну, легла животом на подоконник и стала глядеть вниз, ожидая увидеть на асфальте двора чемодан и насмерть разбившегося человека.

Но ровно ничего на асфальте, освещенном дворовым фонарем и высоко плавающей луной, не было. Оставалось предположить только одно, что неодетая и спящая личность улетела, как птица, не оставив по себе никакого следа.

Аннушка покрестилась, поахала. К чести ее надо сказать, что любознательностью она отличалась очень большой. Свою экскурсию она решила отложить и подождать, не будет ли еще каких чудес.

Первым долгом она поднялась к двери проклятой квартиры № 50, припала ухом к ней и долго слушала. Несколько минут ничего не было слышно, а затем в квартире за дверями что-то стукнуло. Аннушка кинулась вниз и притаилась возле своей двери.

Сверху сбежал человек в пенсне, как показалось Аннушке, с несколько поросячьим лицом и, подобно предыдущей личности, упорхнул в окно.

Это становилось так занятно, что Аннушка, конечно, забыла про свою основную цель и осталась на лестнице, сама с собою разговаривая, руками размахивая и крестясь.

Третий без портфеля, в толстовке вылетел через несколько минут. А еще через некоторое время сверху вышла целая компания. Аннушка ткнула ключ в скважину, нырнула в свою квартиру, но дверь не закрыла плотно, а оставила щель, в которой и замерцал ее исступленный глаз.

Какой-то больной не больной, а странный, бледный, обросший, в черной рясе, что ли? Плохо видно. А его ведет дамочка, извините, голая, только плащ накинут, и вторая такая же, только с чемоданом, и еще иностранец без шляпы с белой грудью. Все эти в окно не кидались, а прошли вниз, как люди ходят.

Прошумели их плащи.

«Ай да квартирка! Ай да квартирка!» — думала Аннушка, и тут что-то упало, звякнуло. Аннушка выскользнула, как змея, из-за двери, бидон поставила к стенке, пала животом на площадку и стала шарить по полу.

Через несколько мгновений в руках у нее была тяжелая металлическая коробочка. Аннушка кинулась поближе к окну, к луне.

— Золото! Ах, батюшки, золото!

Коробочка исчезла за пазухой, Аннушка бросилась к бидону, тут же соображая, как лучше сделать, вернуться ли в квартиру, никуда не ходить и... знать ничего не знаю... или идти по своему делу и то же самое — знать ничего не знаю...

Но ни так, ни этак ей сделать не удалось. Лишь только она ухватилась за ручку бидона, перед нею вырос тот самый с белой грудью, шут его знает как бесшумно надвинувшийся снизу.

Аннушка искусно сделала каменное лицо, подняла бидон, захлопнула дверь и собиралась тронуться вниз.

— Давай коробочку, — вяло сказал белогрудый, и Аннушке померещился в лестничной полутьме клык.

— Какую такую коробочку? Никакой коробочки я не знаю, — искусно ответила Аннушка.

Белогрудый твердыми, как поручни автобуса, и столь же холодными пальцами сжал Аннушкино горло, прекратив совершенно доступ воздуха в ее грудь. Бидон упал на пол.

Подержав несколько секунд Аннушку в таком положении, разбойник снял пальцы с ее шеи.

Хлебнув воздуху, Аннушка улыбнулась.

— Ах, коробочку? — заговорила она. — Сию минуту. Ваша коробочка? Смотрю, лежит! Я думала, она не ваша.

Получив коробочку, иностранец расшаркался, крепко пожал Аннушкину руку и горячо поблагодарил ее в таких выражениях:

— Я вам очень благодарен, мадам. Мне эта коробочка дорога как память, — он говорил с сильнейшим акцентом, — и позвольте мне вручить вам двести рублей, — и он вручил Аннушке пачку бумажек.

Отчаянно улыбаясь, Аннушка вскрикнула:

— Ах, покорнейше благодарю! Мерси!

И тут белогрудый в один мах проскользнул через целый марш вниз, но прежде чем смыться окончательно, крикнул снизу, но без акцента:

— Ты, старая ведьма, если когда-нибудь еще поднимешь чужую вещь, в милицию ее сдавай, а за пазухой не прячь!

Чувствуя в голове звон и суматоху от всех происшествий на лестнице, Аннушка продолжала выкрикивать: «Ах, мерси! Мерси!», а Азазелло уж давно не было.

Не было и машины во дворе. Она, светя фарами, летела по Садовому кольцу.

А через час в подвальной квартире в переулке на Арбате, в первой комнате, где все было по-прежнему, как будто никогда Могарыч и не бывал тут, спал тяжелым сном называющий себя мастером человек.

В комнатенке, которую ухитрился выгородить помимо ванной комнаты Могарыч, сидела бессонная Наташа и глядела, не отрываясь, на золотые футляр и коробочку, на золотой перстенек, который подарил ей повар, восхищенный ее красотой, на груду золотых монет, которыми наградили ее дамы, бегавшие умываться в ванную во время бала. Искры прыгали в глазах у Наташи, в воображении плавали ослепляющие манерами и костюмами фрачники, стенами стояли молочные розы, музыка ревела в ушах.

Так и сидела Наташа, так и заснула, и рыжеватые ее волосы упали на золотые монеты, а пальцы даже во сне сжимали коробочку и футляр.

Во сне она летела верхом на борове над московскими огнями. В большой же комнате в это время Маргарита сидела над рукописью романа.

Когда послышалось ровное дыхание заснувшего мастера и Наташа затихла в своей каморке, Маргарита Николаевна открыла чемодан и взялась за экземпляр.

Она перелистала рукопись и нашла то место, которое ее мучило полтора года, на котором прервалась ее жизнь.

Маргарита пошевелила вспухшими обветренными губами и прошептала:

— Гроза гнула и ломала гранатовые деревья, трепала розовые кусты...

Громадный город исчез в кипящей мгле. Пропали висячие мосты у храма, ипподром, дворцы, как будто их и не было на свете.

Но время от времени, когда огонь зарождался и трепетал в небе, обрушившемся на Ершалаим и пожравшем его, вдруг из хаоса грозового светопреставления вырастала на холме многоярусная, как бы снежная глыба храма с золотой чешуйчатой головой. Но пламя исчезало в дымном черном брюхе, и храм уходил в бездну. И грохот катастрофы сопровождал его уход.

При втором трепетании пламени вылетал из бездны противостоящий храму на другом холме дворец Ирода Великого, и страшные безглазые золотые статуи простирали к черному вареву руки. И опять прятался огонь, и тяжкие удары загоняли золотых идолов в тьму.

Гроза переходила в ураган. У самой колоннады в саду переломило, как трость, гранатовое дерево. Вместе с водяной пылью на балкон под колонны забрасывало сорванные розы и листья, мелкие сучья деревьев и песок.

В это время под колоннами находился только один человек. Этот человек был прокуратор.

Он сидел в том самом кресле, в котором вел утром допрос. Рядом с креслом стоял низкий стол и на нем кувшин с вином, чаша и блюдо с куском хлеба. У ног прокуратора простиралась неубранная красная, как бы кровавая, лужа и валялись осколки другого, разбитого кувшина.

Слуга, подававший красное вино прокуратору еще при солнце, до бури, растерялся под его взглядом, чем-то не угодил, и прокуратор разбил кувшин о мозаичный пол, проговорив:

— Почему в лицо не смотришь? Разве ты что-нибудь украл?

Слуга кинулся было подбирать осколки, но прокуратор махнул ему рукою, и тот убежал.

Теперь он, подав другой кувшин, прятался возле ниши, где помещалась статуя нагой женщины со склоненной головой, боясь показаться не вовремя на глаза и в то же время боясь и пропустить момент, когда его позовут.

Сидящий в грозовом полумраке прокуратор наливал вино в чашу, пил долгими глотками, иногда притрагивался к хлебу, крошил его, заедал вино маленькими кусочками.

Если бы не рев воды, если бы не удары грома, можно было бы расслышать, что прокуратор что-то бормочет, разговаривает сам с собою. И если бы нестойкое трепетание небесного огня превратилось бы в постоянный свет, наблюдатель мог бы видеть, что лицо прокуратора с воспаленными от последних бессонниц и вина глазами выражает нетерпение, что он ждет чего-то, подставляя лицо летящей водяной пыли.

Прошло некоторое время, и пелена воды стала редеть, яростный ураган ослабевал и не с такою силою ломал ветви в саду. Удары гро-

ма, блистание становились реже, над Ершалаимом плыло уже не фиолетовое с белой опушкой покрывало, а обыкновенная серая туча. Грозу сносило к Мертвому морю.

Теперь уже можно было расслышать отдельно и шум низвергающейся по желобам и прямо по ступеням воды с лестницы, по которой утром прокуратор спускался на площадь. А наконец зазвучал и заглушенный доселе фонтан. Светлело, в серой пелене неба появились синие окна.

Тут вдали, прорываясь сквозь стук уже слабенького дождика, донеслось до слуха прокуратора стрекотание сотен копыт. Прокуратор шевельнулся, оживился. Это ала, возвращаясь с Голгофы, проходила там внизу за стеною сада по направлению к крепости Антония.

А наконец он услышал и долгожданные шаги, шлепание ног на лестнице, ведущей к площадке сада перед балконом. Прокуратор вытянул шею, глаза его выражали радость.

Показалась сперва голова в капюшоне, а затем и весь человек, совершенно мокрый, в прилипающем к телу плаще. Это был тот самый, что сидел во время казни на трехногом табурете.

Пройдя, не разбирая луж, по площадке сада, человек в капюшоне вступил на мозаичный пол и, подняв руку, сказал приятным высоким голосом:

— Прокуратору желаю здравствовать и радоваться.

— Боги! — воскликнул Пилат по-гречески. — Да ведь на вас нет сухой нитки! Каков ураган? Прошу вас немедленно ко мне. Переоденьтесь!

Пришедший откинул капюшон, обнаружив мокрую с прилипшими ко лбу волосами голову, и, вежливо поклонившись, стал отказываться переодеться, уверяя, что небольшой дождик не может ему ничем повредить.

Но Пилат и слушать не захотел. Хлопнув в ладоши, он вызвал прячущихся слуг и велел им позаботиться о пришедшем, а также накрыть стол.

Немного времени понадобилось пришельцу, чтобы в помещении прокуратора привести себя в порядок, высушить волосы, переодеться, и вскорости он вышел в колоннаду в сухих сандалиях, в сухом военном плаще, с приглаженными волосами.

В это время солнце вернулось в Ершалаим и, прежде чем утонуть в Средиземном море, посылало прощальные лучи, золотившие ступени балкона. Фонтан ожил и пел замысловато, голуби выбрались на песок, гулькали, расхаживали, что-то клюя. Красная лужа была затерта, черепки убраны, стол был накрыт.

— Я слушаю приказания прокуратора, — сказал пришедший, подходя к столу.

— Но ничего не услышите, пока не сядете и не выпьете вина, — любезно ответил Пилат, указывая на другое кресло.

Пришедший сел, слуга налил в чашу густое красное вино. Пока пришедший пил и ел, Пилат, смакуя вино, поглядывал прищуренными глазами на своего гостя.

Гость был человеком средних лет, с очень приятным округлым лицом, гладко выбритым, с мясистым носом. Основное, что определяло это лицо, это, пожалуй, выражение добродушия, нарушаемое, в известной степени, глазами. Маленькие глаза пришельца были прикрыты немного странными, как будто припухшими, веками. Пришедший любил держать свои веки опущенными, и в узких щелочках светилось лукавство. Пришелец имел манеру во время разговора внезапно приоткрывать веки пошире и взглядывать на собеседника в упор, как бы с целью быстро разглядеть какой-то малозаметный прыщик на лице.

После этого веки опять опускались, оставались щелочки, в которых и светились лукавство, ум, добродушие.

Пришедший не отказался и от второй чаши вина, с видимым наслаждением съел кусок мяса, отведал вареных овощей.

Похвалил вино:

— Превосходная лоза. «Фалерно»?

— «Цекуба», тридцатилетнее, — любезно отозвался хозяин. После этого гость объявил, что сыт. Пилат не стал настаивать.

Африканец наполнил чаши, прокуратор поднялся, и то же сделал его гость.

Оба они отпили немного вина из своих чаш, и прокуратор сказал громко:

— За нас, за тебя, Кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей!

После этого допили вино, и африканцы вмиг убрали чуть тронутые яства со стола. Жестом прокуратор показал, что слуги более не нужны, и колоннада опустела.

Хозяин и гость остались одни.

— Итак, — заговорил Пилат негромко, — что можете вы сказать мне о настроении в этом городе?

Он невольно обратил взор в ту сторону, где за террасой сада видна была часть плоских крыш громадного города, заливавшегося последними лучами солнца.

Гость, ставший после еды еще благодушнее, чем до нее, ответил ласково:

— Я полагаю, прокуратор, что настроение в этом городе теперь хорошее.

— Так что можно ручаться, что никакие беспорядки не угрожают более?

— Ручаться можно, — проговорил гость, с удовольствием поглядывая на голубей, — лишь за одно в мире — мощь великого Кесаря...

— Да пошлют ему боги долгую жизнь, — сейчас же продолжил Пилат, — и всеобщий мир. Да, а как вы полагаете, можно ли увести теперь войска?

— Я полагаю, что когорта Громоносного легиона может уйти, — ответил гость. И прибавил: — Хорошо бы, если бы еще завтра она продефилировала по городу.

— Очень хорошая мысль, — одобрил прокуратор, — послезавтра я ее отпущу и сам уеду, и, клянусь пиром двенадцати богов, ларами клянусь, я отдал бы многое, чтобы сделать это сегодня.

— Прокуратор не любит Ершалаима? — добродушно спросил гость.

— О, помилуйте, — светски улыбаясь, воскликнул прокуратор, — нет более беспокойного места на всей земле! Маги, чародеи, волшебники, фанатики, богомольцы... И каждую минуту только и ждешь, что придется быть свидетелем кровопролития. Тасовать войска все время, читать доносы и ябеды, из которых половина на тебя самого. Согласитесь, что это скучно!

— Праздники, — снисходительно отозвался гость.

— От всей души желаю, чтобы они скорее кончились, — энергично добавил Пилат, — и я получил бы возможность уехать в Кесарию. А оттуда мне нужно ехать с докладом к наместнику. Да, кстати, этот проклятый Вар-Равван вас не тревожит?

Тут гость и послал этот первый взгляд в щеку прокуратору. Но тот глядел скучающими глазами вдаль, брезгливо созерцая край города, лежащий у его ног и угасающий перед вечером. И взгляд гостя угас, и веки опустились.

— Я думаю, что Вар стал теперь безопасен, как ягненок, — заговорил гость, и морщинки улыбки появились на круглом лице, — ему неудобно бунтовать теперь.

— Слишком знаменит? — спросил Пилат, изображая улыбку.

— Прокуратор, как всегда, тонко понимает вопрос, — ответил гость, — он стал притчей во языцех.

— Но, во всяком случае... — озабоченно заметил прокуратор, и тонкий длинный палец с черным камнем в перстне поднялся вверх.

— О, прокуратор может быть уверен, что в Иудее Вар не сделает шагу без того, чтобы за ним не шли по пятам.

— Теперь я спокоен, — ответил прокуратор, — как, впрочем, и всегда спокоен, когда вы здесь.

— Прокуратор слишком добр.

— А теперь прошу сделать мне доклад о казни, — сказал прокуратор.

— Что именно интересует прокуратора?

— Не было ли попыток выражать возмущение ею, попыток прорваться к столбам?

— Никаких, — ответил гость.

— Очень хорошо, очень хорошо. Вы сами установили, что смерть пришла?

— Конечно. Прокуратор может быть уверен в этом.

— Скажите, напиток им давали перед повешением на столбы?

— Да. Но он, — тут гость метнул взгляд, — отказался его выпить.

— Кто именно? — спросил Пилат, дернув щекой.

— Простите, игемон! — воскликнул гость. — Я не назвал? Га-Ноцри.

— Безумец! — горько и жалостливо сказал Пилат, гримасничая. Под левым глазом у него задергалась жилка. — Умирать от ожогов солнца, с пылающей головой... Зачем же отказываться от того, что предлагается по закону? В каких выражениях он отказался?

— Он сказал, — закрыв глаза, ответил гость, — что благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь.

— Кого? — глухо спросил Пилат.

— Этого он не сказал, игемон.

— Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат?

— Нет, игемон, он не был многословен на этот раз. Единственно, что он сказал, это что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость.

— К чему это было сказано? — услышал гость треснувший внезапно голос.

— Этого нельзя было понять. Он вообще вел себя странно, как, впрочем, и всегда.

— В чем странность?

— Он улыбался растерянной улыбкой и все пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих.

— Больше ничего? — спросил хриплый голос.

— Больше ничего.

Прокуратор стукнул чашей, наливая гостю и себе вина. После того как чаши были осушены, он заговорил.

— Дело заключается в следующем. Хотя мы и не можем обнаружить каких-либо его поклонников или последователей, тем не менее ручаться, что их совсем нет, никто не может.

Гость внимательно слушал, наклонив голову.

— И вот предположим, — продолжал прокуратор, — что кто-нибудь из тайных его последователей овладеет его телом и похоронит. Нет сомнений, создаст возле его могилы род трибуны, с которой, конечно, польются какие-либо нежелательные речи. Эта могила станет источником нелепых слухов. В этом краю, где каждую минуту ожидают мессию, где головы темны и суеверны, подобное явление нежелательно. Я слишком хорошо знаю этот чудесный край! Поэтому я прошу вас немедленно и без всякого шума убрать с лица земли тела всех трех и похоронить их так, чтобы о них не было ни слуху ни духу. Я думаю, что какой-нибудь грот в совершенно пустынной местности пригоден для этой цели. Вам это виднее, впрочем.

— Слушаю, игемон, — отозвался гость и встал, говоря: — Ввиду сложности и ответственности дела разрешите мне ехать немедленно.

— Нет, сядьте, — сказал Пилат, — есть еще два вопроса. Второй: ваши громадные заслуги, ваша исполнительность и точность на труднейшей работе в Иудее заставляют меня доложить о вас в Риме. О том же я сообщу и наместнику Сирии. Я не сомневаюсь в том, что вы получите повышение или награду.

Гость встал и поклонился прокуратору, говоря:

— Я лишь исполняю долг императорской службы.

— Но я хотел просить вас, если вам предложат перевод отсюда, отказаться от него и остаться здесь. Мне не хотелось бы расстаться с вами. Пусть наградят вас каким-нибудь иным способом.

— Я счастлив служить под вашим начальством, игемон.

— Итак, третий вопрос, — продолжал прокуратор, — касается он этого, как его... Иуды из Кериафа.

Гость послал прокуратору свой взгляд и, как всегда, убрал его.

— Говорят, что он, — понизив голос, говорил прокуратор, — что он деньги получил за то, что так радушно принял у себя этого безумного философа.

— Получит, — негромко ответил гость.

— А велика ли сумма?

— Этого никто знать не может, игемон.

— Даже вы? — изумлением своим выражая комплимент, сказал игемон.

— Даже я, — спокойно ответил гость. — Но что он получит деньги сегодня вечером, это я знаю.

— Ах, жадный старик, —улыбаясь, заметил прокуратор, — ведь он старик?

— Прокуратор никогда не ошибается, — ответил гость, — но на сей раз ошибся. Это молодой человек.

— Скажите... У него большая будущность, вне сомнений?

— О да.

— Характеристику его можете мне дать?

— Трудно знать всех в этом громадном городе.

— А все-таки?

— Очень красив.

— А еще. Страсть имеет ли какую-нибудь?

— Влюблен.

— Так, так, так. Итак, вот в чем дело: я получил сведения, что его зарежут этой ночью.

Тут гость открыл глаза и не метнул взгляд, а задержал его на лице прокуратора.

— Я не достоин лестного доклада прокуратора обо мне, — тихо сказал гость, — у меня этих сведений нет.

— Вы — достойны, — ответил прокуратор, — но это так.

— Осмелюсь спросить, от кого эти сведения?

— Разрешите мне покуда этого не говорить, — ответил прокуратор, — тем более что сведения эти случайны, темны и недостоверны. Но я обязан предвидеть все, увы, такова моя должность, а пуще всего я обязан верить своему предчувствию, ибо никогда еще оно меня не обманывало. Сведение же заключается в том, что кто-то из тайных друзей Га-Ноцри, возмущенный поступком этого человека из Кериафа, сговаривается его убить, а деньги его подбросить первосвященнику с запиской: «Иуда возвращает проклятые деньги».

Три раза метал свой взор гость на прокуратора, но тот встретил его не дрогнув.

— Вообразите, приятно ли будет первосвященнику в праздничную ночь получить подобный подарок? — спросил прокуратор, нервно потирая руки.

— Не только неприятно, — почему-то улыбнувшись прокуратору, сказал гость, — но это будет скандал.

— Да, да! И вот я прошу вас заняться этим делом, — сказал прокуратор, — то есть принять все меры к охране Иуды из Кериафа. Иудейская власть и их церковники, как видите, навязали нам неприятное дело об оскорблении величества, а мы — римская администрация — обязаны еще за это заботиться об охране какого-то негодяя! — Голос прокуратора выражал скуку и в то же время возмущение, а гость не спускал с него своих закрытых глаз.

— Приказание игемона будет исполнено, — заговорил он, — но я должен успокоить игемона: замысел злодеев чрезвычайно трудновыполним. Ведь подумать только: выследить его, зарезать, да еще узнать, сколько получил, да ухитриться вернуть деньги Каиафе. Да еще в одну ночь!

— И тем не менее, его зарежут сегодня! — упрямо повторил Пилат. — Зарежут этого негодяя! Зарежут!

Судорога прошла по лицу прокуратора, и опять он потер руки.

— Слушаю, слушаю, — покорно сказал гость, не желая более волновать прокуратора, и вдруг встал, выпрямился и спросил сурово:

— Так зарежут, игемон?

— Да! — ответил Пилат. — И вся надежда только на вас и вашу изумительную исполнительность.

Гость обернулся, как будто искал глазами чего-то в кресле, но не найдя, сказал задумчиво, поправляя перед уходом тяжелый пояс с ножом под плащом:

— Я не представляю, игемон, самого главного: где злодеи возьмут денег. Убийство человека, игемон, —улыбнувшись, пояснил гость, — влечет за собою расходы.

— Ну, уж это чего бы ни стоило! — сказал прокуратор, скалясь. — Нам до этого дела нет.

— Слушаю, — ответил гость, — имею честь...

— Да! — вскричал Пилат негромко. — Ах, я совсем и забыл! Ведь я вам должен!..

Гость изумился:

— Помилуйте, прокуратор, вы мне ничего не должны.

— Ну как же нет! При въезде моем в Ершалаим толпа нищих... помните... я хотел швырнуть им деньги... у меня не было... я взял у вас...

— Право, не помню. Это какая-нибудь безделица...

— И о безделице надлежит помнить!

Пилат обернулся, поднял плащ, лежащий на третьем кресле, вынул из-под него небольшой кожаный мешок и протянул его гостю. Тот поклонился, принимая, пряча его под плащ.

— Слушайте, — заговорил Пилат, — я жду доклада о погребении, а также и по делу Иуды из Кериафа сегодня же ночью, слышите, сегодня. Я буду здесь на балконе. Мне не хочется идти внутрь, ненавижу это пышное сооружение Ирода! Я дал приказ конвою будить меня, лишь только вы появитесь. Я жду вас!

— Прокуратору здравствовать и радоваться! — молвил гость и, повернувшись, вышел из-под колоннады, захрустел по мокрому песку. Фигура его вырисовывалась четко на фоне линяющего к вечеру неба. Потом пропала за колонной.

Лишь только гость покинул прокуратора, тот резко изменился. Он как будто на глазах постарел и сгорбился, стал тревожен. Один раз он оглянулся и почему-то вздрогнул, бросив взгляд на пустое кресло, на спинке которого лежал отброшенный его рукою плащ. В надвигающихся сумерках, вероятно, прокуратору померещилось, что кто-то третий сидел и сидит в кресле.

В малодушии пошевелив плащ, прокуратор забегал по балкону, то потирая руки, то подбегая к столу, хватаясь за чашу, то останавливаясь и глядя страдальчески в мозаику, как будто стараясь прочитать в ней какие-то письмена. На него обрушилась тоска, второй раз за сегодняшний день. Потирая висок, в котором от адской утренней боли осталось только тупое воспоминание, прокуратор старался понять, в чем причина его мучений. Он понял это быстро, но старался обмануть себя. Он понял, что сегодня что-то было безвозвратно упущено, и теперь он, это упустивший, какими-то мелкими и ничтожными действиями старается совершенное исправить, внушая себе, что действия эти большие и не менее важные, чем утренний приговор. Но они не были серьезными действиями, увы, он это понимал.

На одном из поворотов он остановился круто и свистнул и прислушался. На этот свист в ответ послышался грозный низкий лай, и из сада выскочил на балкон гигантский остроухий пес серой шерсти в ошейнике с золочеными бляшками.

— Банга... Банга... — слабо крикнул прокуратор.

Пес поднялся на задние лапы, а передние опустил на плечи своему хозяину, так что едва не повалил его на пол, хотел лизнуть в губы, но прокуратор уклонился от этого и опустился в кресло. Банга, высунув язык, часто дыша, улегся у ног своего хозяина, и в глазах у пса выражалась радость оттого, во-первых, что кончилась гроза, которой пес не любил и боялся, и оттого, что он опять тут рядом с этим человеком, которого любил, уважал и считал самым главным, могучим в мире повелителем, благодаря которому и себя считал существом высшим.

Но улегшись и поглядев в вечереющий сад, пес сразу понял, что с хозяином его случилась беда. Поэтому он переменил позу, подошел сбоку и передние лапы и голову положил на колени прокуратору, вымазав полы палюдаментума мокрым песком. Вероятно, это должно было означать, что он готов встретить несчастие вместе со своим хозяином. Это он пытался выразить и в глазах, скошенных к хозяину, и в насторожившихся, навостренных ушах.

Так оба они, и пес и человек, и встретили вечер на балконе.

В это время гость, покинувший прокуратора, находился в больших хлопотах. Покинув балкон, он отправился туда, где помещались многочисленные подсобные службы великого дворца и где была расквартирована часть когорты, пришедшей в Ершалаим вместе с прокуратором, а также та, не входящая в состав ее, команда, непосредственно подчиненная гостю.

Через четверть часа примерно пятнадцать человек в серых плащах верхом выехали из задних черных ворот дворцовой стены, а за ними тронулись легионные дроги, запряженные парой лошадей.

Дроги были загружены какими-то инструментами, прикрытыми рогожей. Эти дроги и конный взвод выехали на пыльную дорогу за Ершалаимом и под стенами его с угловыми башнями направились на север к Лысой Горе.

Гость же через некоторое время, переодетый в старенький невоенный плащ, верхом выехал из других ворот дворца Ирода и поехал к крепости Антония, где квартировали вспомогательные войска. Там он пробыл некоторое очень незначительное время, а затем след его обнаружился в Нижнем Городе, в кривых его и путаных улицах, куда он пришел уже пешком.

Придя в ту улицу, где помещались несколько греческих лавок, он подошел к той из них, где торговали коврами. Лавка была уже заперта. Гость прокуратора вошел в калитку, повернул за угол и у терраски, увитой плющом, негромко позвал:

— Низа!

На зов этот на террасе появилась молодая женщина без покрывала. Увидев, кто пришел, она приветливо заулыбалась, закивала. Радость на ее красивом лице была неподдельна.

— Ты одна? — по-гречески негромко спросил Афраний.

— Одна, — шепнула она, — муж уехал. Дома только я и служанка.

Она сделала жест, означающий «входите». Афраний оглянулся и потом вступил на каменные ступени. И он и женщина скрылись внутри.

Афраний пробыл у этой женщины недолго, не более пяти минут. Он вышел на террасу, спустил пониже капюшон на глаза и вышел на улицу.

Сумерки надвигались неумолимо быстро. Предпраздничная толчея была велика, и Афраний потерялся среди снующих прохожих, и дальнейший путь его неизвестен.

Женщина же, Низа, оставшись одна, стала спешить, переодеваться, искать покрывало. Она была взволнована, светильника не зажгла.

В несколько минут она была готова, и послышался ее голос:

— Если меня спросят, скажи, что я ушла в гости к Энанте.

Ее сандалии застучали по камням дворика, старая служанка закрыла дверь на террасу.

В это же время из домика в другом переулке Нижнего Города вышел молодой чернобородый человек в белом чистом кефи, ниспадавшем на плечи, в новом голубом таллифе с кисточками внизу, в новых сандалиях.

Горбоносый красавец, принарядившийся для великого праздника, шел бодро, обгоняя прохожих, спеша к дворцу Каиафы, помещавшемуся недалеко от храма.

Его и видели входящим во двор этого дворца, в котором пробыл недолгое время.

Посетив дворец, в котором уже стали загораться светильники, молодой человек вышел еще бодрее, еще радостнее, чем раньше, и заспешил в Нижний Город.

На углу ему вдруг пересекла дорогу как бы танцующей походкой идущая легкая женщина в черном, в покрывале, скрывающем глаза.

Женщина откинула покрывало, метнула в сторону молодого человека взгляд, но не замедлила легкого шага.

Молодой человек вздрогнул, остановился, но тотчас бросился вслед женщине. Нагнав ее, он в волнении сказал:

— Низа!

Женщина повернулась, прищурилась, холодно улыбнулась и молвила по-гречески:

— А, это ты, Иуда? А я тебя не узнала...

Иуда, волнуясь, спросил шепотом, чтобы не слышали прохожие:

— Куда ты идешь, Низа? — Голос его дрожал.

— А зачем тебе это знать? — спросила Низа, отворачиваясь.

Сердце Иуды сжалось, и он ответил робко:

— Я хотел зайти к тебе...

— Нет, — ответила Низа, — скучно мне в городе. У вас праздник, а мне что делать? Сидеть и слушать, как ты вздыхаешь? Нет. И я ухожу за город слушать соловьев.

— Одна? — шепнул Иуда.

— Конечно, одна.

— Позволь мне сопровождать тебя, — задохнувшись, сказал Иуда.

Сердце его прыгнуло, и мысли помутились. Низа ничего не ответила и ускорила шаг.

— Что же ты молчишь, Низа? — спросил Иуда, равняя по ней свой шаг.

— А мне не будет скучно с тобой? — вдруг спросила Низа и обернулась к Иуде.

В сумерках глаза ее сверкнули, и мысли Иуды совсем смешались.

— Ну, хорошо, — вдруг смягчилась Низа, — иди. Но только отойди от меня и следуй сзади. Я не хочу, чтобы про меня сказали, что видели меня с любовником.

— Хорошо, хорошо, — зашептал Иуда, — но только скажи, куда мы идем.

Тогда Низа приблизилась к нему и прошептала:

— В масличное имение, в Гефсиманию, за Кедрон... Иди к масличному жому, а оттуда к гроту. Отделись, отделись от меня и не теряй меня из виду.

И она заспешила вперед, а Иуда, делая вид, что идет один, что он сам по себе, пошел медленнее.

Теперь он не видел окружающего. Прохожие спешили домой, праздник уже входил в город, в воздухе слышалась взволнованная речь. По мостовой гнали осликов, подхлестывали их, кричали на них. Мимо мелькали окна, и в них зажигались огни.

Иуда не заметил, как пролетела мимо крепость Антония. Конный патруль с факелом, обливавший тревожным светом тротуары, проскакал мимо, не привлекши внимания Иуды.

Он летел вперед, и сердце его билось. Он напрягался в одном желании — не потерять черной легкой фигурки, танцующей впереди. Когда он был у городской восточной стены, луна выплыла над Ершалаимом. Народу здесь было мало. Проскакал конный римлянин, проехали двое на ослах. Иуда был за городской стеной.

Дорогу под стеною заливала луна. Воздух после душного города был свеж, благоуханен.

Черная фигурка бежала впереди. Иуда видел, как она оставила дорогу под стеной и пошла прямо на Кедронский ручей. Иуда хотел прибавить шагу, но фигурка обернулась и угрожающе махнула рукою.

Тогда Иуда отстал.

Фигурка вступила на камни ручья, где воды было по щиколотку, и перебралась на другую сторону.

Немного погодя то же сделал и Иуда. Вода тихо журчала у него под ногами. Перепрыгивая с камешка на камешек, он вышел на гефсиманский берег. Фигурка скрылась в полуразрушенных воротах имения и пропала.

Иуда прибавил шагу.

Ко всему прибавился одуряющий запах весенней ночи. Благоухающая волна сада накрыла Иуду, лишь только он достиг ограды. Запах мирта и акаций, тюльпанов и орхидей вскружил ему голову.

И он, после пустынной дороги, сверкающей в лунном неудержимом сиянии, проскочив за ограду, попал в таинственные тени развесистых, громадных маслин. Дорога вела в гору, и Иуда подымался, тяжело дыша, из тьмы попадая в узорчатые лунные ковры. Он увидел на поляне на левой руке у себя темное колесо масличного жома и груду бочек... Нигде не было ни души.

Над ним теперь гремели и заливались соловьи.

Цель его была близка. Он знал, что сейчас он услышит тихий шепот падающей из грота воды. И услыхал его. Теперь цель была близка.

И негромко он крикнул:

— Низа!

Но вместо Низы, отлепившись от толстого ствола маслины, перед ним выпрыгнула на дорогу мужская коренастая фигура, и что-то блеснуло тускло в руке у нее и погасло.

Как-то сразу Иуда понял, что погиб, и слабо вскрикнул: «Ах!»

Он бросился назад, но второй человек преградил ему путь.

Первый, что был впереди, спросил Иуду:

— Сколько получил сейчас? Говори, если хочешь сохранить жизнь!

Надежда вспыхнула в сердце Иуды. Он отчаянно вскрикнул:

— Тридцать денариев, тридцать денариев. Вот они! Берите! Но сохраните жизнь!

Передний мгновенно выхватил у него из рук кошель. В то же мгновение сзади него взлетел нож и, как молния, ударил его под лопатку. Иуду швырнуло вперед, и руки со скрюченными пальцами он выбросил вверх. Передний размахнулся и по рукоять всадил кривой нож ему в сердце. Тело Иуды тогда рухнуло наземь.

Передний осторожно, чтобы не замочить в крови сандалий, приблизился к убитому, погрузил кошель в кровь. Тот, что был сзади, торопливо вытащил кусок кожи и веревку.

Третья фигура тогда появилась на дороге. Она была в плаще с капюшоном.

— Все здесь? — спросил третий.
— Все, — ответил первый убийца.
— Не медлите, — приказал третий.

Первый и второй торопливо упаковали кошель в кожу, перекрестили веревкой. Второй сверток засунул за пазуху, и затем оба устремились из Гефсимании вон. Третий же присел на корточки и глянул в лицо убитому. В тени оно представилось ему белым, как мел, и неземной красоты.

Через несколько секунд на дороге никого не осталось. Бездыханное тело лежало с раскинутыми руками. Одна нога попала в лунное пятно, так что отчетливо был виден каждый ремешок сандалии.

Человек в капюшоне, покинув зарезанного, устремился в чащу и гущу маслин к гроту и тихо свистнул. От скалы отделилась женщина в черном, и тогда оба побежали из Гефсимании, по тропинкам в сторону, к югу.

Бежавшие удалились из сада, перелезли через ограду там, где вывалились верхние камни кладки, и оказались на берегу Кедрона. Молча они пробежали некоторое время вдоль потока и добрались до двух лошадей и человека на одной из них. Лошади стояли в потоке. Мужчина, став на камень, посадил на лошадь женщину и сам поместился сзади нее. Лошади тогда вышли на ершалаимский берег. Коновод отделился и поскакал вперед вдоль городской стены.

Вторая лошадь со всадником и всадницей была пущена медленнее и так шла, пока коновод не скрылся. Тогда всадник остановился, спрыгнул, вывернул свой плащ, снял с пояса свой плоский шлем без гребня перьев, надел его. Теперь на лошадь вскочил человек в хламиде, с коротким мечом.

Он тронул поводья, и горячая лошадь пошла рысью, потряхивая всадницу, прижимавшуюся к спутнику.

После молчания женщина тихо сказала:

— А он не встанет? А вдруг они плохо сделали?

— Он встанет, — ответил круглолицый шлемоносный гость прокуратора, — когда прозвучит над ним труба мессии, но не раньше. — И прибавил: — Перестань дрожать. Хочешь, я тебе дам остальные деньги?

— Нет, нет, — отозвалась женщина, — мне сейчас их некуда деть. Вы передадите их мне завтра.

— Доверяешь? — спросил приятным голосом ее спутник.

Путь был недалек. Лошадь подходила к южным воротам. Тут военный ссадил женщину, пустил лошадь шагом. Так они появились в воротах. Женщина стыдливо закрывала лицо покрывалом, идя рядом с лошадью.

Под аркой ворот танцевало и прыгало пламя факела. Патрульные солдаты из 2-й кентурии второй когорты Громоносного легиона сидели, беседуя, на каменной скамье.

Увидев военного, вскочили, военный махнул им рукою, женщина, опустив голову, старалась проскользнуть как можно скорее. Когда военный со своей спутницей углубились в улицу, солдаты перемигнулись, захохотали, тыча пальцами вслед парочке.

Весь город, по которому двигалась парочка, был полон огней. Всюду горели в окнах светильники, и в теплом воздухе отовсюду, сливаясь в нестройный хор, звучали славословия.

Над городом висела неподвижная полная луна, горевшая ярче светильников.

Где разделилась пара, неизвестно, но уже через четверть часа женщина стучалась в греческой улице в дверь домика неунывающей вдовы ювелира Энанты. Из открытого окна виден был свет, слышался мужской и женский смех.

— Где же ты была? — спрашивала Энанта, обнимая подругу. — Мы уже потеряли терпение.

Низа под строгим секретом шепотом сообщила, что ездила кататься со своим знакомым. Подруги обнимались, хихикали. Энанта сообщила, что в гостях у нее командир манипула, очаровательный красавец.

Гость же прибыл в Антониеву башню и, сдав лошадь, отправился в канцелярию своей службы, предчувствуя, что пасхальная ночь может принести какие-либо случайности.

Он не ошибся. Не позже чем через час по его приезде явились представители храмовой охраны и сделали заявление о том, что какие-то негодяи осквернили дом первосвященника, подбросив во двор его окровавленный пакет с серебряными деньгами.

Гостю пришлось поехать с ними и на месте произвести расследование. Точно, пакет был подброшен. Храмовая полиция волновалась, требовала розыска, высказывала предположение, что кого-то убили, а убив уже, нанесли оскорбление духовной власти.

С последним предположением гость согласился, обещая беспощадный поиск начать немедленно с рассветом. Тут же пытался добиться сведений о том, не были ли выплачены какие-либо деньги представителями духовной власти кому-либо, что облегчило бы нахождение следа. Но получил ответ, что никакие деньги никому не выплачивались. Взяв с собою пакет с вещественным доказательством, пакет, запечатанный двумя печатями — полиции храма и его собственной, гость прокуратора уехал в Антониеву башню, чтобы там дожидаться возвращения отряда, которому было поручено погребение тел трех казненных. Он знал, что ему предстоит бессонная и полная хлопот ночь в городе, где, как светляки, горели мириады светильников, где совершалось волнующее торжество праздничной трапезы.

Дворец Ирода не принимал участия в этом торжестве. Во второстепенных его покоях, обращенных на юг, где разместились офицеры римской когорты, пришедшей с прокуратором в Ершалаим, светились огни, было какое-то движение и жизнь, передняя же часть, парадная, где был единственный и невольный жилец — прокуратор, — вся она, со своими колоннадами, как ослепла под ярчайшей луной.

В ней была тишина, мрак внутри и насторожившееся отчаяние.

Прокуратор бодрствовал до полуночи, все ждал прихода Афрания, но того не было. Постель прокуратору приготовили на том же

балконе, где он вел допрос, где обедал, и он лег, но сон не шел. Луна висела, оголенная, слева и высоко в чистом небе, и прокуратор не сводил с нее глаз в течение нескольких часов.

Около полуночи сон сжалился над ним; он снял пояс с тяжелым широким ножом, положил его в кресло у ложа, снял сандалии и вытянулся на ложе. Банга тотчас поднялся к нему на ложе и лег рядом, голова к голове, и смежил наконец прокуратор глаза. Тогда заснул и пес.

Ложе было в полутьме, но от ступеней крыльца к нему тянулась лунная дорога. И лишь только прокуратор потерял связь с тем, что было вокруг него в действительности, он тронулся по этой дороге и пошел прямо вверх и к луне. Он даже рассмеялся во сне от счастья, до того все сложилось прекрасно и неповторимо на светящейся голубой дороге. Он шел в сопровождении Банги, а рядом с ним шел бродячий философ. Они спорили о чем-то сложном и важном, причем ни один из них не мог победить другого. Они ни в чем не сходились, и от этого их спор был особенно интересен и нескончаем. Конечно, сегодняшняя казнь оказалась чистым недоразумением — ведь вот же философ, выдумавший невероятно смешные вещи, вроде того, что все люди добрые, шел рядом, значит, был жив. И конечно, совершенно ужасно было бы даже подумать, что такого человека можно казнить. Казни не было! Не было! Вот в чем прелесть этого путешествия по лестнице луны ввысь!

Времени свободного сколько угодно, а гроза будет только к вечеру, и трусость один из самых страшных пороков. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок!

Ведь не трусил же ты в Долине Дев, когда германцы едва не загрызли Крысобоя-великана! Но помилуйте меня, философ! Неужели вы допускаете мысль, что из-за вас погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?

«Да, да», — стонал и всхлипывал во сне Пилат. Конечно, погубит, на все пойдет, чтобы спасти от казни ни в чем, решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача!

«Мы теперь вместе всегда, — говорил ему во сне бродячий оборванный философ, неизвестно откуда взявшийся. — Раз я, то, значит, и ты! Помянут меня, помянут и тебя! Тебя, сына короля-звездочета и дочери мельника, красавицы Пилы!»

«Помяни, помяни меня, сына короля-звездочета», — просил во сне Пилат. И, заручившись кивком идущего рядом бедняка из Эн-Назиры, от радости плакал и смеялся.

Тем ужаснее, да, тем ужаснее было пробуждение прокуратора. Он услышал рычание Банги, и лунная дорога под ним провалилась. Он открыл глаза и сразу же вспомнил, что казнь была! Он больными глазами искал луну. Он нашел ее: она немного отошла в сторону и побледнела. Но резкий неприятный свет играл на балконе, жег глаза прокуратора. В руках у Крысобоя-кентуриона пылал и коптил факел, кентурион со страхом косился на опасную собаку, не лежащую теперь, а приготовившуюся к прыжку.

— Не трогать, Банга, — сказал прокуратор и охрипшего голоса своего не узнал.

Он заслонился от пламени и сказал:

— И ночью, и при луне мне нет покоя. Плохая у вас должность, Марк. Солдат вы калечите...

Марк взглянул на прокуратора удивленно, и тот опомнился. Чтобы загладить напрасные слова, произнесенные со сна, он добавил:

— Не обижайтесь, Марк, у меня еще хуже... Что вам надо?

— К вам начальник тайной службы, — сказал Марк.

— Зовите, зовите, — хрипло сказал прокуратор, садясь.

На колоннах заиграло пламя, застучали калиги кентуриона по мозаике. Он вышел в сад.

— И при луне мне нет покоя, — скрипнув зубами, сказал сам себе прокуратор.

Тут на балконе появился Афраний.

— Банга, не трогать, — тихо молвил прокуратор и прочистил голос.

Афраний, прежде чем начать говорить, оглянулся по своему обыкновению и, убедившись, что кроме Банги, которого прокуратор держал за ошейник, лишних нет, тихо сказал:

— Прошу отдать меня под суд, прокуратор. Вы оказались правы. Я не сумел уберечь Иуду из Кериафа. Его зарезали.

Четыре глаза в ночной полутьме глядели на Афрания, собачьи и волчьи.

— Как было? — жадно спросил Пилат.

Афраний вынул из-под хламиды заскорузлый от крови мешок с двумя печатями.

— Вот этот мешок с деньгами Иуды подбросили убийцы в дом первосвященника, — спокойно объяснял Афраний, — кровь на этом мешке Иуды.

— Сколько там? — спросил Пилат, наклоняясь к мешку.

— Тридцать денариев.

Прокуратор рассмеялся, потом спросил:

— А где убитый?

— Этого я не знаю, — ответил Афраний, — утром будем его искать.

Прокуратор вздрогнул, глянул на пришедшего.

— Но вы наверное знаете, что он убит?

На это прокуратор получил сухой ответ:

— Я, прокуратор, пятнадцать лет на работе в Иудее. Я начал службу еще при Валерии Грате. И мне не обязательно видеть труп, чтобы сказать, что человек убит. Я официально вам докладываю, что человек, именуемый Иудой из города Кериафа, этою ночью убит.

— Прошу простить, Афраний, — отозвался вежливый Пилат, — я еще не проснулся, оттого и говорю нелепости. И сплю я плохо и вижу лунную дорогу. Итак, я хотел бы знать ваши предположения по этому делу. Где вы собираетесь его искать? Садитесь, Афраний.

— Я собираюсь его искать у масличного жома в Гефсиманском саду.

— Почему именно там?

— Игемон, Иуда убит не в самом Ершалаиме и не далеко от него. Он убит под Ершалаимом.

— Вы замечательный человек. Почему?

— Если бы его убили в самом городе, мы уже знали бы об этом и тело уже было бы обнаружено. Если бы его убили вдалеке от города, пакет с деньгами не мог быть подброшен так скоро. Он убит вблизи города. Его выманили за город.

— Каким образом?

— Это и есть самый трудный вопрос, прокуратор, — сказал Афраний, — и даже я не знаю, удастся ли его разрешить.

— Да, — сказал Пилат во тьме, ловя лицо Афрания, — это действительно загадочно. Человек в праздничный вечер уходит неизвестно зачем за город и там погибает. Чем, как и кто его выманил?

— Очень трудно, прокуратор...

— Не сделала ли это женщина? — вдруг сказал прокуратор и поверх головы Афрания послал взгляд на луну.

А Афраний послал взгляд прокуратору и сказал веско:

— Ни в каком случае, прокуратор. Это совершенно исключено. Более того, скажу: такая версия может только сбить со следу, мешать следствию, путать меня.

— Так, так, так, — отозвался Пилат, — я ведь только высказал предположение...

— Это предположение, увы, ошибочно, прокуратор. Единственно, что в мире может выманить Иуду, это деньги...

— Ага... но какие же деньги, кто и зачем станет платить ночью за городом?

— Нет, прокуратор, не так. У меня есть другое предположение, и пожалуй, единственное. Он хотел спрятать свои деньги в укромном, одному ему известном месте.

— Ага... ага... это, вероятно, правильно. Еще: кто мог убить его?

— Да, это тоже сложно. Здесь возможно одно лишь объяснение. Очевидно, как вы и предполагали, у него были тайные поклонники. Они и решили отомстить Каиафе за смертный приговор.

— Так. Ну что же теперь делать?

— Я буду искать убийцу, а меня тем временем вам надлежит отдать под суд.

— За что, Афраний?

— Моя охрана упустила его в Акре.

— Как это могло случиться?

— Не постигаю. Охрана взяла его в наблюдение немедленно после нашего разговора с вами. Но он ухитрился на дороге сделать странную петлю и ушел.

— Так. Я не считаю нужным отдавать вас под суд, Афраний. Вы сделали все, что могли, и больше вас никто не мог бы сделать. Взыщите с сыщика, потерявшего его. Хотя и тут я не считаю нужным быть особенно строгим. В этой каше и путанице Ершалаима можно потерять верблюда, а не то что человека.

— Слушаю, прокуратор.

— Да, Афраний... Мне пришло в голову вот что: не покончил ли он сам с собою?

— Гм... гм, — отозвался в полутьме Афраний, — это, прокуратор, маловероятно.

— А по-моему, ничего невероятного в этом нет. Я лично буду придерживаться этого толкования. Да оно, кстати, и спокойнее всех других. Иуду вы не вернете, а вздувать это дело... Я не возражал бы даже, если бы это толкование распространилось бы в народе.

— Слушаю, прокуратор.

Особенно резких изменений не произошло ни в небе, ни в луне, но чувствовалось, что полночь далеко позади и дело идет к утру. Собеседники лучше различали друг друга, но это происходило оттого, что они присмотрелись.

Прокуратор попросил Афрания поиски производить без шуму и ликвидировать дело, и прежде всего погребение Иуды, как можно скорее.

А затем он спросил, сделано ли что-либо для погребения трех казненных.

— Они погребены, прокуратор.

— О, Афраний! Нет, не под суд вас надо отдавать, нет! Вы достойны наивысшей награды! Расскажите подробности.

Афраний начал рассказывать. В то время как он сам занимался делом Иуды, команда тайной стражи достигла Голгофы еще засветло. И не обнаружила одного тела.

Пилат вздрогнул, сказал хрипло:

— Ах, как же я этого не предвидел!

Афраний продолжал повествовать. Тела Дисмаса и Гестаса с выклеванными уже хищными птицами глазами подняли и бросились на поиски третьего тела. Его обнаружили очень скоро. Некий человек...

— Левий Матвей, — тихо, не вопросительно, а как-то горько-утвердительно сказал Пилат.

— Да, прокуратор...

Левий Матвей прятался в пещере на северном склоне Голгофы, дожидаясь тьмы. Голое тело убитого Иешуа было с ним. Когда стража вошла в пещеру, Левий впал в отчаяние и злобу. Он кричал, что не совершил никакого преступления, что всякий по закону имеет право похоронить казненного преступника, если желает. Что он не желает расставаться с этим телом. Он говорил бессвязно, о чем-то просил и даже угрожал и проклинал...

— Меня, — сказал тихо Пилат, — ах, я не предвидел... Неужели его схватили за это?

— Нет, прокуратор, нет, — как-то протяжно и мягко ответил Афраний, — дерзкому безумцу объяснили, что тело будет погребено.

Левий Матвей, услыхав, что речь идет об этом, поутих, но заявил, что он не уйдет и желает участвовать в погребении. Что его могут убить, но он не уйдет, и предлагал даже для этой цели хлебный нож, который был с ним.

— Его прогнали? — сдавленным голосом спросил Пилат.

— Нет, прокуратор, нет.

Что-то вроде улыбки в полутьме мелькнуло на лице Афрания.

Левию Матвею было разрешено участвовать в погребении. Тут Афраний скромно сказал, что не знал, как поступить, и что если он сделал ошибку, допустив к участию этого Левия Матвея, то она поправима. Левий Матвей, свидетель погребения, может быть легко так или иначе устранен.

— Продолжайте, — сказал Пилат, — ошибки не было. И вообще, я начинаю теряться, Афраний. Я имею дело с человеком, который, повидимому, никогда не делает ошибок. Этот человек — вы.

Левия Матвея взяли на повозку, так же как и тела, и через два часа, уже в сумерках, достигли пустынного ущелья. Там команда, работая посменно по четыре человека, в течение часа выкопала глубокую яму и похоронила в ней трех казненных.

— Обнаженными?

— Нет, прокуратор. Хитоны были взяты командой. На пальцы я им надел медные кольца. Ешуа с одною нарезкою, Дисмасу с двумя и Гестасу с тремя. Яма зарыта, завалена камнями. Поручение ваше исполнено.

— Если бы я мог предвидеть… Я хотел бы видеть этого Левия Матвея.

— Он здесь, прокуратор, — ответил Афраний, вставая и кланяясь.

— О, Афраний!..

Пилат поднялся, потер руки, заговорил так:

— Вы свободны, Афраний. Я вам благодарен. Прошу вас принять от меня это. — И он достал из-под плаща, как тогда днем, спрятанный мешок.

— Раздайте награды вашей команде. А лично от меня вот вам на память… — Пилат взял со стола тяжелый перстень и подал его Афранию.

Тот склонился низко, говоря:

— Такая честь, прокуратор…

— Итак, Афраний, — заговорил Пилат, плохо слушая последние слова своего гостя, нервничая почему-то и потирая руки, что, по-видимому, становилось привычкой прокуратора, — вы свободны, я не держу вас. Мне пришлите сюда этого Левия сейчас же. Я поговорю с ним. Мне нужны еще кое-какие подробности дела Иешуа.

— Слушаю, прокуратор, — отозвался Афраний и стал отступать и кланяться, а прокуратор обернулся, хлопнул в ладоши и вскричал:

— Эй! Кто там? Свету в колоннаду мне! Свету!

Из тьмы у занавеса тотчас выскочили две темные, как ночь, фигуры, заметались, а затем на столе перед Пилатом появились три светильника.

Лунная ночь отступила с балкона, ее как будто унес с собою уходящий Афраний, а через некоторое время громадное тело Крысобоя заслонило луну. Вместе с ним на балкон вступил другой человек, маленький и тощий по сравнению с кентурионом.

Кентурион удалился, и прокуратор остался наедине с пришедшим.

Огоньки светильников дрожали, чуть коптили.

Прокуратор смотрел на пришедшего жадными, немного испуганными глазами, как смотрят на того, о ком слышали много, о ком сами думали и кто наконец появился.

Пришедший был черен, оборван, покрыт засохшей грязью, смотрел по-волчьи, исподлобья. Он был непригляден и скорее всего походил на городского нищего, каких много толпится у террас храма или на базарах Нижнего Города.

Молчание продолжалось долго, и нарушилось оно каким-то странным поведением пришельца. Он изменился в лице, шатнулся и если бы не ухватился грязной рукой за край стола, упал бы.

— Что с тобой? — спросил его Пилат.

— Ничего, — ответил Левий Матвей и сделал такое движение, как будто что-то проглотил. Тощая, голая, грязная шея его взбухла и опала.

— Что с тобою? Отвечай, — повторил Пилат.

— Я устал, — ответил Левий и поглядел мрачно в пол.

— Сядь, — молвил Пилат и указал на кресло.

Левий недоверчиво, испуганно поглядел на прокуратора, двинулся к креслу, поглядел на сиденье и золотые ручки и сел на пол рядом с креслом, поджав ноги.

— Почему не сел в кресло? — спросил Пилат.

— Я грязный, я его запачкаю, — сказал Левий.

— Ну, хорошо, — молвил Пилат и сказал, помолчав: — Сейчас тебе дадут поесть.

— Я не хочу есть, — ответил Левий.

— Зачем же лгать? — спросил Пилат тихо. — Ты ведь не ел целый день, а может быть, и больше. Ну, хорошо. Не ешь. Я призвал тебя, чтобы ты показал мне нож, который был у тебя.

— Солдаты взяли его, когда вводили сюда, — ответил Левий и обнаружил беспокойство. — Мне его надо вернуть хозяину, я его украл.

— Зачем?

— Нужно было веревки перерезать, — ответил Левий.

— Марк! — позвал прокуратор, и кентурион вступил под колонны. — Нож его покажите мне.

Кентурион вынул из одного из двух чехлов на поясе грязный хлебный нож и подал его прокуратору, ушел.

— Его вернуть надо, — неприязненно повторил Левий, не глядя на прокуратора.

— Где взял его?

— В хлебной лавке у ворот. Жену хозяина Лией зовут.

Пилат утвердительно кивнул головой и сказал, накладывая руку на лезвие ножа:

— Относительно этого будь спокоен. Нож будет в лавке тотчас же. Теперь второе: покажи хартию, которую ты носишь с собою и в которой записаны слова Иешуа.

Левий с ненавистью поглядел на Пилата и улыбнулся столь недоброй улыбкой, что лицо его обезобразилось.

— Все хотите отнять? И последнее? — спросил он.

— Я не сказал тебе — отдай, — сказал Пилат, — я сказал — покажи.

Левий порылся за пазухой и вытащил свиток пергамента.

Пилат взял его, развернул, расстелил между огнями и, щурясь, стал изучать чернильные знаки.

Это продолжалось довольно долго.

Пилат, с трудом разбираясь в корявых знаках, иногда склонялся к пергаменту, морщась, читал написанное рукою бывшего сборщика податей. Он быстро понял, что записанное представляет несвязную цепь каких-то изречений, каких-то дат, хозяйственных заметок и обрывков стихов.

Пилат обратился к концу записанного, увидел и разобрал слова:

«Смерти нет...», поморщился, пошел в самый конец и прочитал слова:

«...чистую реку воды жизни...», несколько далее «...кристалл».

Это было последним словом. Пилат свернул пергамент, протянул его Левию со словом:

— Возьми. — Потом, помолчав, заговорил: — Ты книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть библиотека. Я могу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы, будешь сыт и одет.

Левий встал и сказал:

— Нет, я не хочу.

Пилат спросил:

— Почему? — И сам ответил: — Я тебе неприятен, и ты меня боишься.

Опять улыбка исказила лицо Левия, и он сказал:

— Нет, потому что ты будешь меня бояться.

Пилат побледнел, но сдержал себя и сказал:

— Возьми денег.

Левий отрицательно покачал головой. Тогда прокуратор заговорил так:

— Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил. Ибо если бы это было не так, ты обязательно взял бы у меня что-нибудь, — лицо Пилата задергалось, он поднял значительно палец вверх, — непременно взял бы. Ты жесток.

Левий вспыхнувшими глазами посмотрел на Пилата, а тот — на коптящие огни.

— Чего-нибудь возьми, — монотонно сказал Пилат, — перед тем как уйти.

Левий молчал.

— Куда пойдешь? — спросил Пилат.

Левий оживился, подошел к столу и, наклонившись к уху Пилата, испытывая наслаждение, прошептал:

— Ты, игемон, знай, что я зарежу человека... Хватай меня сейчас... Казни... Зарежу.

— Меня? — спросил Пилат, глядя на язычок огня. Левий подумал и ответил тихо:

— Иуду из Кериафа.

Тут наслаждение выразилось в глазах прокуратора, и он, усмехнувшись, ответил:

— Не трудись. Иуду этой ночью зарезали уже. Не беспокой себя.

Левий отпрыгнул от стола, дико озираясь, и выкрикнул:

— Кто это сделал?

— Не будь ревнив, — скалясь, ответил Пилат и потер руки, — ты один, один ученик у него! Не беспокой себя.

— Кто это сделал? — шепотом спросил клинобородый Левий, наклоняясь к столу.

Пилат приблизил губы к грязному уху Левия и шепнул:

— Я...

Левий открыл рот, дико поглядел на прокуратора, а тот сказал тихо:

— Возьми чего-нибудь.

Левий подумал, смягчился и попросил: .

— Дай кусочек чистого пергамента.

Прошел час. Левия не было во дворце. Дворец молчал, и тишину ночи, идущей к утру, нарушал только тихий хруст шагов часовых в саду. Луна становилась белой, с краю неба с другой стороны было видно беловатое пятнышко утренней звезды.

Светильники погасли. На ложе лежал прокуратор. Подложив руку под щеку, он спал, дышал беззвучно. В ногах лежал Банга, спал.

Глава 26 СТРЕЛЬБА В КВАРТИРЕ

Когда Маргарита прочитала последние слова романа «...пятый прокуратор Иудеи...» и «...конец...», наступало утро. Слышно было, как во дворе на ветвях ветлы и двух лип вели беспокойный, быстрый разговор не унывающие никогда воробьи.

Маргарита поднялась, потянулась и теперь только ощутила, как изломано ее тело, как хочет она спать. Интересно отметить, что душевное хозяйство Маргариты находилось в полном порядке. Мысли ее не были в разброде, ее совершенно не потрясало то, что она провела ночь сверхъестественно, что видела бал у сатаны, что чудом вернулся мастер к ней, что возник из пепла роман ее любовника, что был изгнан поганец и ябедник Алоизий Могарыч и мастер получил возможность вернуться в свой подвал. Словом, знакомство с Воландом не нанесло ей никакого психического ущерба. Все было так, как будто так и должно быть.

Она ощутила радость, а тело ее — усталость.

Она пошла в соседнюю комнату, убедилась в том, что мастер спит мертвым сном, погасила настольную лампу и сама протянулась на диванчике, покрытом старой простыней. Через минуту она спала, и снов никаких в то утро она не видела.

Подвал молчал, молчал весь маленький домишко застройщика. Тихо было и в переулке.

Но в это время, то есть на рассвете субботы, не спал почти целый этаж в одном из московских учреждений, и окна в нем, выходящие на залитую асфальтом громаднейшую площадь, которую специальные машины, разъезжая с гудением, чистили щетками, светились полным ночным светом, борющимся со светом восходящего дня.

Там шло следствие, и занято им было немало народу, пожалуй, человек десять в разных кабинетах.

Собственно говоря, следствие началось уже давно, со вчерашнего дня, пятницы, когда пришлось закрыть Варьете вследствие исчезновения его администрации и безобразий, происшедших накануне во время знаменитого сеанса черной магии.

Теперь следствие по какому-то странному делу, отдающему совершенно невиданной не то чертовщиной, не то какою-то особенной, с какими-то гипнотическими фокусами уголовщиной, вступило в тот период, когда из разносторонних и путаннейших событий, происшедших в разных местах Москвы, требовалось слепить единый ком и найти связь между событиями. А затем вскрыть сердцевину этого чертова яблока. А также найти, куда, собственно, тянется нить от этой сердцевины.

Не следует думать, что следствие работало мешкотно, этого отнюдь не было.

Первый, кто побывал в светящемся сейчас электричеством этаже, был злосчастный Аркадий Аполлонович Семплеяров, заведующий акустикой. Днем в квартире его, помещающейся у Каменного моста, раздался звонок. Голос попросил к телефону Аркадия Аполлоновича. Подошедшая к аппарату супруга Аркадия Аполлоновича заявила мрачно, что Аркадий Аполлонович нездоров, лег почивать и подойти не может. Однако подойти ему пришлось. На вопрос супруги, кто спрашивает Аркадия Аполлоновича, голос назвал свою фамилию.

— Сию секунду... сейчас, сию минуту, — пролепетала обычно надменная супруга Аркадия Аполлоновича и как пуля полетела в спальню поднимать супруга с ложа, на котором лежал он, испытывая адские терзания при воспоминании о вчерашнем вечере.

Правда, не через секунду, но через две минуты Аркадий Аполлонович, в одной туфле на левой ноге, в белье, уже был у аппарата, внимательно слушая то, что ему говорят.

Супруга, забывшая на эти мгновенья омерзительное преступление супруга против верности, с испуганным лицом высовывалась в дверь коридора и тыкала туфлей в воздух и шептала:

— Туфлю надень!.. Туфлю...

На что Аркадий Аполлонович, отмахиваясь от жены босой ногой и делая зверские глаза ей, бормотал в телефон:

— Да, да... Сейчас же выезжаю...

Совершенно понятно, что после первого же разговора с Аркадием Аполлоновичем все в том же этаже учреждения, разговора тягостного, ибо пришлось, увы, правдиво, как на исповеди, рассказывать попутно и про Милицу Андреевну Покобатько с Елоховской

улицы, что, конечно, доставляло Аркадию Аполлоновичу невыразимые мучения . . . .

Само собой разумеется, что сопоставление показаний Аркадия Аполлоновича с показаниями служащих Варьете, и главным образом курьера Карпова, немедленно проложило дорогу куда надо, именно в квартиру № 50 по Садовой в доме № 302-бис.

И конечно, следствие ничуть не удовольствовалось сообщениями о том, что в квартире Лиходеева никого нет, равно так же как и всякими сплетнями Аннушки о том, что Груня украла мешок рафинаду.

В квартире № 50 побывали еще раз. И не только побывали, но и осмотрели ее чрезвычайно тщательно, не пропустив даже каминов.

Однако никого не нашли в ней. Собственно говоря, достаточно было семплеяровских показаний, карповских показаний, а также показаний раздетых гражданок, чтобы твердо установить короткий путь от сеанса к некоему артисту Воланду, тут же заняться им и так или иначе его разъяснить. Но дело чрезвычайно осложнилось тем, что не только в квартире № 50, не только вообще где-либо в Москве не обнаруживалось следов пребывания этого Воланда со своим ассистентом и черным котом, но, что хуже, никак не устанавливался самый факт его приезда в Москву!

Решительно нигде он не зарегистрировался, нигде не предъявлял ни паспорта, ни каких-либо бумаг, и никто о нем ничего не слыхал. Ласточкин из программного отдела зрелищ клялся и божился, что никакой программы никакого Воланда он не разрешал и не подписывал и ровно ничего не знает о приезде мага Воланда в Москву. И уж по глазам Ласточкина можно было смело сказать, что он чист, как хрусталь.

Тот самый Прохор Петрович, заведующий главным сектором зрелищных площадок...

Кстати, он вернулся в свой костюм так же внезапно, как и выскочил из него. Не успела милиция войти в кабинет, как Прохор Петрович оказался на своем месте за столом, к исступленной радости Сусанны Ричардовны, но к недоумению зря потревоженной милиции...

Да, так Прохор Петрович, так же как и Ласточкин, решительно ничего не знал ни о каком Воланде.

Выходило что-то странное: тысячи зрителей, весь состав Варьете, Семплеяров, культурный и интеллигентный человек, видели мага, и ассистента, и кота, многие пострадали от их фокусов, а следов от мага, иностранца, никаких в Москве нет.

Оставалось допустить, что он провалился сквозь землю, бежал из Москвы тотчас же после своего отвратительного сеанса, или же другое: что он вовсе в Москву не приезжал.

Но если первое, то несомненно, что, исчезая, он прихватил с собою всю головку администрации Варьете, а если второе, то, стало быть, сама администрация, учинив предварительно какую-то пакость, скрылась из Москвы.

Разбитое окно в кабинете, опрокинутое кресло, поведение Туза-бубен весьма выразительно свидетельствовали в пользу первого,

и все усилия следствия сосредоточились на обнаружении Воланда и его поимке.

Надо отдать справедливость тому, кто вел следствие. Поплавского разыскали с исключительной быстротой. Лишь только дали телеграмму в Ленинград, на нее пришел ответ, что Поплавский обнаружен в гостинице «Астория» в № 412-м, том самом, что рядом с лифтом и в котором серо-голубая мебель с золотом.

Тут же он был арестован и допрошен. Затем в Москву пришла телеграмма, что Поплавский в состоянии полувменяемом, никаких путных ответов не дает, а плачет и просит спрятать его в бронированную комнату и приставить к нему вооруженную охрану. Была послана телеграмма: под охраной доставить финдиректора немедленно в Москву.

В тот же день, но позже, был найден и след Лиходеева. Во все города были разосланы телеграммы с запросами о Лиходееве, и из Владикавказа был получен ответ о том, что Лиходеев был во Владикавказе и что он вылетел на аэроплане в Москву. Такие же точно запросы о Варенухе пока что результатов не принесли. Известный всей столице администратор как в воду канул.

Тем временем тем лицам, которые вели следствие по этому необыкновенному делу, пришлось принимать и рассматривать все новый и новый материал о необычайных происшествиях в Москве. Тут оказались и поющие служащие, из-за которых пришлось останавливать работу целого учреждения, и временно пропавший Прохор Петрович, и бесчисленные происшествия с денежными бумажками, и таинственные превращения их то в иностранную валюту, то в обрывки газет, путаница, неприятности и аресты, связанные с этим, и многое другое все в этом же, и очень неприятном, роде.

Самое неприятное, самое скандальное и неразрешимое было, конечно, похищение головы покойного Берлиоза прямо из гроба среди бела дня из Грибоедовского зала на бульваре, произведенное с поражающей чистотой и ловкостью. Пришитая к шее голова была отшита и пропала.

По ходу работы следствия, нечего и говорить, ему пришлось побывать и в знаменитой клинике Стравинского за городом, и здесь обнаружен был богатейший материал. К первому явились к злосчастному Жоржу Бенгальскому, но у него получили мало. Несчастный плакал, хватался за шею, волновался, нес бредовые путаные речи. Несомненно было только, что показания его совершенно сходились с показаниями Аркадия Аполлоновича и других: да, было трое, этот Воланд, длинный по кличке Фагот и черный кот.

Конферансье оставили в его комнате, успокоив ласковыми словами и пожеланиями скорейшего выздоровления, и перешли к другим делам в этой же клинике.

Лучший следователь города Москвы, молодой еще человек, с приятными манерами, ничуть не похожий на следователя, лишенный роковой проницательности в глазах, в то время как помощник его занимался с Жоржем Бенгальским, пришел к дежурному ординатору

и попросил список лиц, поступивших в клинику за последнее время, примерно за неделю.

Он тот же час обратил внимание на Босого Никанора Ивановича, попросил историю его болезни, и второй помощник его проследовал к Никанору Ивановичу. Бездомный Иван Николаевич заинтересовал следователя еще более, чем Никанор Иванович, хоть он и не жил в доме на Садовой и к происшествиям в Варьете не имел никакого отношения.

Рассказы Ивана о консультанте, о Понтии Пилате, записанные в истории болезни, вызвали в следователе самое сугубое внимание, и к Ивану он отправился сам.

Дверь Иванушкиной комнаты отворилась, и в нее вошел упомянутый уже следователь, круглолицый, спокойный и сдержанный блондин. Он увидел лежащего на кровати побледневшего и осунувшегося молодого человека.

Следователь представился, сказал, что зашел на минутку потолковать именно о тех происшествиях, которых свидетелем был Иван позавчера вечером на Патриарших прудах.

О, как торжествовал бы Иван, если бы следователь явился к нему раньше, в ночь на четверг, скажем, когда Иван исступленно добивался, чтобы его выслушали, чтобы кинулись ловить консультанта!

Да, к нему пришли, его искали, и бегать ни за кем не надо было, его слушали, и консультанта явно собирались поймать. Но, увы, Иванушка совершенно изменился за то время, что прошло с момента гибели Берлиоза. Он отвечал на мягкие и вежливые вопросы следователя довольно охотно, но равнодушие чувствовалось во взгляде Ивана, его интонациях. Его не трогала больше судьба Берлиоза.

Иванушка спал перед приходом следователя и видел во сне город странный. С глыбой мрамора, изрезанной колоннадами, с чешуйчатой крышей, горящей на солнце, на противоположном холме террасы дворца с бронзовыми статуями, тонущими в тропической зелени. Он видел идущие под древними стенами римские когорты.

И видел сидящего неподвижно, положив руки на поручни, бритого человека в белой мантии с кровавым подбоем, ненавистно глядящего в пышный сад, потом снимающего руки с поручней, без воды умывающего их.

Нет, не интересовали Ивана Бездомного более ни Патриаршие пруды, ни происшедшее на них трагическое событие!

Следователь получил богатейший материал. Да, проклятый кот оказался и здесь. Длинный клетчатый также!

— Скажите, Иван Николаевич, а вы сами как далеко были от турникета, когда Берлиоз свалился под трамвай? — спросил следователь.

Чуть заметная усмешка почему-то тронула губы Ивана, и он ответил:

— Я был далеко.

— А как примерно, в скольких шагах?

Иван поморщился, припоминая, ответил:

— Шагах в сорока...

— Стояли или сидели?
— Сидел.
— А этот клетчатый был возле самого турникета?
— Нет, он сидел на скамеечке недалеко.
— Хорошо помните, что он не подходил к турникету в тот момент, когда Берлиоз упал?
— Помню. Не подходил. Он развалившись сидел.
— Разве так хорошо было видно на сорок шагов?
— Хорошо. Фонарь горел на углу Ермолаевского, и вывеска над турникетом.

Эти вопросы были последними вопросами следователя. После них он встал, пожал руку Иванушке, пожелал скорее поправиться, выразил надежду, что вскорости вновь будет читать его стихи.

— Нет, — тихо ответил Иван, — я больше стихов писать не буду.

Следователь вежливо усмехнулся, позволил себе выразить уверенность, что поэт сейчас в состоянии депрессии, но это скоро пройдет.

— Нет, — тихо отозвался Иван, глядя вдаль, на гаснущий небосклон, — это не пройдет. Стихи, которые я писал, — плохие стихи, и я дал клятву их более не писать.

— Ну, ну, — усмехнувшись, ответил следователь и вышел. Сомнений более не было. На Патриарших прудах действовал тот же самый со своим помощником, что и в Варьете. Значит, деятельность его началась еще ранее, чем на скандальном сеансе в Варьете. Деятельность эта, увы, началась с убийства. Следователь не сомневался в том, что Иванушка не повинен в ней. Он не толкал под страшные колеса своего редактора. Возможно, что клетчатый действительно был в некотором отдалении от турникета и физически не способствовал падению на рельсы.

Но, следователь в этом не сомневался, какая-то шайка во главе с сильнейшим гипнотизером, невиданно сильнейшим гипнотизером, внедрилась в Москву и совершила страшные вещи. Берлиоз шел на смерть загипнотизированным.

Все, по сути, было уже ясно. Теперь оставалось только одно: взять этого Воланда. А вот брать-то было некого! Хоть и было известно, что гнездо Воланда вне всяких сомнений в проклятой квартире № 50!

Днем, как нам известно, бывший барон Майгель напросился по телефону на вечер к Воланду. Ему отвечали. Шайка или кто-то входящий в нее был в квартире. Нечего и говорить, что ее навестили (по времени это было тотчас после ухода буфетчика) и ничего в ней не нашли. А между тем, по всем комнатам квартиры прошли с шелковой сеткой, проверили все углы.

Под вечер в квартиру № 50 опять звонили, оттуда отвечал козлиный голос. Опять явились, и опять — никого!

Тогда поставили наблюдение на лестнице, во дворе, над воротами. Этого мало: у дымохода на крыше была поставлена охрана. В квартиру время от времени звонили, квартиру время от времени навещали. Но всякий раз никого не заставали.

Так тянулось до полуночи. В полночь на лестнице появился барон Майгель в лакированных туфлях, во фраке, сверх которого было накинуто английского материала светлое пальто. Барона впустили в квартиру, и немедленно за тем в квартиру без звонка, открыв дверь ключом, вошли и не обнаружили в ней барона.

Шайка явно шутила шутки, волнуя тех, на чьей обязанности было обнаружить Воланда с его приспешниками. Дело получалось невиданное, скверное. Мнения разделялись. Одни находили, что шайка гипнотизирует входящих и, таким образом, они перестают видеть ее, другие — что в квартирке, давно пользующейся омерзительной репутацией, есть тайник, в котором скрываются преступники при первых звуках открываемых дверей. Второе объяснение, как бы ни было оно хорошо, все-таки имело меньше сторонников, чем первое. Тайник-то тайник... Ну, а где же он находится? Ведь квартиру-то выстукивали, осматривали так тщательно, что уж тщательнее и невозможно.

Тот лучший следователь, что разговаривал с Иваном, на вопрос о том, как он объясняет исчезновение Майгеля, сквозь зубы пробормотал прямо, что у него нет ни малейших сомнений в том, что барон убит.

Так дело тянулось вечером в пятницу и ночью в субботу, и, как уже сказано, пылал электричеством до белого дня бессонный, встревоженный и, признаться, пораженный этаж.

В восемь часов утра на московском аэродроме совершил посадку шестиместный самолет, из которого вышли еще пьяные от качки трое пассажиров. Двое были пассажиры как пассажиры, а третий какой-то странный.

Это был молодой гражданин, дико заросший щетиной, неумытый, с красными глазами, без багажа и одетый причудливо. В папахе, в бурке поверх ночной сорочки и синих ночных кожаных новеньких туфлях.

Лишь только он отделился от лесенки, по которой спускаются из кабины, к нему подошли двое граждан, дожидавшихся прилета именно этого аэроплана, и ласково и тихо осведомились:

— Степан Богданович Лиходеев?

Пассажир вздрогнул, глянул отчаянными глазами и зашептал, озираясь, как травленый волк:

— Тсс! Да, я... Лиходеев... Прилетел... Немедленно арестуйте меня, но, умоляю, незаметно... Умоляю... И отвезите к следователю...

Просьбу Степана Богдановича дожидавшиеся исполнили с великой охотой, ибо, признаться, за тем и приехали на аэродром. Через десять минут Степан Богданович уже стоял перед тем самым следователем и внес существенный материал в дело.

После того, как Лиходеев закончил свой рассказ о том, как у притолоки в собственной квартире упал в обморок, а после того очутился на берегу Терека во Владикавказе, после того, как он описал и Воланда, и клетчатого помощника, и страшного говорящего кота, — решительно все уже разъяснилось. Этот Воланд проник в Москву под видом артиста, заключил договор с Варьете и внедрил-

ся в квартиру № 50 и с клетчатым негодяем в пенсне, и с котом, и еще с каким-то гнусавым и клыкастым, о котором следователь узнал впервые от Степы.

Материалу, таким образом, добавилось, но легче от этого не стало. Никто не знал, каким образом можно овладеть фокусником, умеющим посылать людей в течение минуты во Владикавказ или в Воронежскую область, исчезать и опять появляться.

Лиходеев, по собственной его просьбе, был заключен в надежную камеру с приставленной к ней охраной, а перед следствием предстал Варенуха, только что арестованный на своей квартире, в которую он вернулся после безвестного отсутствия в течение почти двух суток.

Варенуха, несмотря на данное им у Воланда обещание более не лгать, именно со лжи перед следователем и начал. Блуждая глазами, он заявлял, что напился у себя в квартире днем в четверг, после чего куда-то попал, а куда — не помнит, где-то еще пил старку, а где — не помнит, где-то валялся под забором, а где — не помнит. Лишь после того, как ему сурово сказали, что он мешает следствию по особо важному делу и за это может поплатиться, Варенуха разрыдался и зашептал, дрожа и озираясь, что он боится, что молит его куда-нибудь запереть, и непременно в бронированную камеру.

— Далась им эта бронированная камера, — проворчал один из ведущих следствие.

— Напугали их сильно эти негодяи, — ответил тихо наш следователь.

Варенуху успокоили, как умели, поместили в отдельную, правда, не бронированную, но хорошо охраняемую камеру, и там он сознался, что все налгал, что никакой старки он не пил и под забором не валялся, а был избит в уборной двумя — одним клыкастым, а другим толстяком...

— Похожим на кота? — спросил мастер следователь.

— Да, да, да, — зашептал, в ужасе озираясь, Варенуха.

...Что был вовлечен под ливнем в квартиру № 50 на Садовой, что там был расцелован голой рыжей Геллой, после чего упал в обморок, а затем в течение суток примерно состоял в должности вампира и был наводчиком. Что хотела Гелла расцеловать и Поплавского, но того спас крик петуха...

Таким образом, и тайна разбитого окна разъяснилась. Поплавского, которого после снятия с ленинградской «Стрелы» уже вводили в кабинет следователя, можно было, собственно, и не спрашивать ни о чем.

Тем не менее, его допросили. Но этот трясущийся от страху седой человек (в «Астории» он прятался в платяном шкафу) оказался на редкость стойким. Он сказал только, что после спектакля, будучи у себя в кабинете, почувствовал себя дурно, в помутнении ума неизвестно зачем уехал в Ленинград и ничего более не знает и не помнит.

Как ни упрашивали его, как ни старались на него повлиять, он не сознавался в том, что к нему Варенуха явился в полночь, что рыжая Гелла пыталась ворваться в кабинет через окно.

Его оставили в покое, тем более что приходилось допрашивать Аннушку, арестованную в то время, как она пыталась приобрести в универмаге на Арбате пять метров ситцу и десять кило пшеничной муки, предъявив в кассу пятидолларовую бумажку.

Ее рассказ о вылетающих из окна людях и о дальнейшем на лестнице выслушали внимательно.

— Коробка была золотая, действительно? — спросил следователь.

— Мне ли золота не знать, — как-то горделиво ответила Аннушка.

— Но дал-то он тебе червонцы, ты говоришь? — спрашивал следователь, с трудом сдерживая зевоту и морщась от боли в виске (он не спал уже сутки).

— Мне ли червонцев не знать, — ответила Аннушка.

— Но как же они в доллары превратились? — спрашивал следователь, указывая пером на американскую бумажку.

— Ничего не знаю, какие такие доллары, и не видела никаких долларов, — визгливо отвечала Аннушка, — мы в своем праве. Нам дали, мы ситец покупаем...

И тут понесла околесицу о нечистой силе и о том, что вот воровок, которые по целому мешку рафинаду прут у хозяев, тех небось не трогают...

Следователь замахал на нее пером и написал ей пропуск вон на зеленой бумажке, после чего, к общему удовольствию, Аннушка исчезла из здания.

Потом пошел Загривов, бухгалтер; затем Николай Иванович, арестованный утром исключительно по глупости своей ревнивой супруги, давшей в 2 часа ночи знать в милицию о том, что муж ее пропал.

Николай Иванович не очень удивил следствие, выложив на стол дурацкое удостоверение о том, что он провел время на балу у сатаны. Не очень большое внимание привлекли и его рассказы о том, как он возил по воздуху на себе голую горничную на реку купаться, но очень большое — рассказ о самом начале событий, именно о появлении в окне обнаженной Маргариты Николаевны, об ее исчезновении. Надо присовокупить к этому, что в рассказе Николая Ивановича он несколько видоизменил события, ничего не сказав о том, что он вернулся в спальню с сорочкой в руках, о том, что называл Наташу Венерой. По его словам выходило, что Наташа вылетела из окна, оседлала его и что он...

— Повинуясь насилию... — рассказывал Николай Иванович и тут же просил ничего не говорить его супруге.

Что ему и было обещано.

За Николаем Ивановичем пошли шоферы, потом служащие, запевшие «Славное море» (Стравинскому путем применения подкожных вспрыскиваний удалось остановить это пение)...

Так шел день в субботу. В городе в это время возникали и расплывались чудовищные слухи. Говорили о том, что был сеанс в Варьете, после которого все выскочили из театра в чем мать родила, что накрыли типографию фальшивых бумажек в Ваганьковском переулке, что на Садовой завелась нечистая сила, что кот появился, ходит по Москве, раздевает, что украли заведующего в секторе развлечений,

но что милиция его сейчас же нашла, и многое еще, что даже и повторять не хочется.

Между тем время приближалось к обеду, и тогда в кабинете следователя раздался звонок. Он очень оживил вконец измученного следователя. Сообщали, что проклятая квартира подала признаки жизни. Именно видели, что в ней открывали окно и что слышались из него звуки патефона.

Около четырех часов дня большая компания мужчин, частью в штатском, частью в гимнастерках, высадилась из трех машин, не доезжая дома № 302-бис по Садовой, подошла к маленькой двери в одном из крыльев дома, двери, обычно закрытой и даже заколоченной, открыла ее и через ту самую каморку, где отсиживался дядя Берлиоза, вышла на переднюю лестницу и стала подниматься по ней. Одновременно с этим по черному ходу стало подниматься еще пять человек.

В это время Коровьев и Азазелло сидели в столовой ювелиршиной квартиры, доканчивая завтрак. Воланд, по своему обыкновению, находился в спальне, а кот и Гелла — неизвестно где. Но судя по грохоту кастрюль, доносившемуся из кухни, можно было допустить, что Бегемот развлекался там, валяя дурака по обыкновению.

— А что это за шаги такие внизу на лестнице? — спросил Коровьев, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе.

— А это нас арестовывать идут, — ответил Азазелло и выпил коньяку. Он не любил кофе.

— А?.. Ну-ну, — отозвался Коровьев.

Идущие тем временем были уже на площадке третьего этажа. Там двое возились с ключами возле парового отопления. Шедшие обменялись с водопроводчиками выразительными взглядами.

— Все, кажется, дома, — шепнул один из водопроводчиков, постукивая молоточком по трубе.

Тогда шедший впереди откровенно вынул маузер из-за пазухи гимнастерки, а шедший рядом с ним — отмычки.

Вообще, шедшие были снаряжены очень хорошо. У двух из них в карманах были тонкие, легко развертывающиеся сети (на предмет кота), у одного аркан, еще у одного под пальто марлевые маски и ампулы с хлороформом. У всех, кроме этого, маузеры.

Вслед за человеком, вынувшим маузер, и другими с отмычками поднимался следователь и другие, а замыкал шествие знаменитый гипнотизер Фаррах-Адэ, человек с золотыми зубами и горящими экстатическими глазами. Он был бледен и, видимо, волновался. Все остальные шли без всякого волнения, стараясь не стучать и молча.

Поднимаясь из третьего в четвертый этаж, Фаррах вынул из кармана зеленую стеклянную палочку, поднял ее вертикально перед собою, возвел взор сквозь пролет лестницы вверх. Цель его заключалась в том, чтобы загипнотизировать жильцов квартиры № 50 и лишить их возможности сопротивляться. Немножко задержались на площадке, чтобы Фаррах успел сосредоточиться. Затем он отступил, а вооруженные устремились к дверям. Двери открыли в две секунды, и все один за другим вбежали в переднюю, а затем рассыпались по

всей квартире. Хлопнувшие где-то двери показали, что вошла и группа с черного хода через кухню.

На этот раз удача была налицо. Ни в одной из комнат никого не оказалось, как не было никого ни в ванной, ни в кухне, ни в уборной, но зато в гостиной на каминной полке, рядом с разбитыми часами, сидел громадный черный кот. Он держал в лапах примус.

В молчании вошедшие созерцали кота в течение нескольких секунд.

— Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, — недружелюбно насупившись, сказал кот, — и еще предупреждаю, что кот неприкосновенное животное.

— Да, неприкосновенное, но тем не менее, дорогой говорящий кот... — начал кто-то.

— Живым, — шепнул кто-то.

Взвилась шелковая сеть, и бросающий ее промахнулся. Захваченные сетью часы с громом и звоном рухнули на пол.

— Ремиз! — крикнул кот, еще громче вскричал: — Ура! — и выхватил, отставив примус, из-за спины браунинг. Он мигом навел его на первого стоящего, но в этот момент в руке у того полыхнуло огнем, и вместе с выстрелом кот шлепнулся вниз головой с каминной полки наземь, уронив браунинг и сбросив примус.

— Все кончено, — слабым голосом сказал кот и томно раскинулся в кровавой луже, — отойдите от меня на секунду, дайте мне попрощаться с землей. О, мой друг Азазелло! — сказал кот, истекая кровью. — Где ты? — тут кот зарыдал. — Ты не пришел мне на помощь... Завещаю тебе мой браунинг... — тут кот прижал к груди примус.

— Сеть, сеть, — беспокойно шепнул кто-то... Шевельнулись... Сеть зацепилась у кого-то в кармане, не полезла. Тот побледнел...

— Единственно, что может спасти смертельно раненного кота, — заговорил кот, — это глоток бензина. — И не успели присутствующие мигнуть, как кот приложился к круглому отверстию примуса и напился бензина. Тотчас перестала струиться кровь из-под верхней левой лопатки кота. Он вскочил живой и бодрый, ухватив примус под мышку, сиганул с ним на камин, оттуда полез, раздирая обои, по стене и через секунду оказался высоко в тылу вошедших сидящим на металлическом карнизе.

Жульнически выздоровевший кот поместился высоко на карнизе и примус поставил на него. Пришедшие метнулись. Но они были решительны и сообразительны. Вмиг руки вцепились в гардину и сорвали ее вместе с карнизом, солнце хлынуло в затененную комнату. Но ни кот, ни примус не свалились вниз. Каким-то чудом кот ухитрился не расстаться с примусом, махнуть по воздуху и перескочить на люстру, висящую в центре комнаты.

— Стремянку! — крикнули внизу. — Сеть!

Стекляшки посыпались вниз на пришедших.

— Вызываю на дуэль! — проорал кот, пролетая над головами на качающейся люстре, и опять в лапах у него оказался браунинг. Он прицелился и, летая над головами, как маятник, открыл по ним стрельбу.

Вмиг квартира загремела. Полетели хрустальные осколки из люстры, треснуло зеркало в камине, взвилась из штукатурки пыль, звездами покрылись стекла в окнах, из простреленного примуса начало брызгать бензином. Теперь уже не могло быть и речи о том, чтобы взять кота живым, и пришедшие бешено били из маузеров в наглую морду летающему коту, в живот, в грудь, в спину.

Грохот стрельбы из квартиры вызвал сумятицу на асфальте во дворе. Люди кинулись бежать в подворотню и в подъезды.

Но стрельба длилась недолго и сама собою стала затихать. Дело в том, что стало ясно, что ни коту, ни пришедшим она не причиняет никакого вреда. Никто не оказался не только убит, но даже ранен, и кот остался совершенно невредим. Один из пришедших, чтобы проверить это, приложился и обстрелял кота накрест в лапы задние и передние и в заключение в голову. Кот в ответ, сменив обойму, выпустил ее в стрелявшего, и ни на кого ни малейшего впечатления это не произвело. Кот покачивался на люстре, дуя зачем-то в дуло браунинга и плюя себе на лапу. У стоящих внизу в молчании пришедших лица изменились. Вся их задача заключалась лишь в том, чтобы скрыть свое совершенно законное недоумение: это был единственный, пожалуй, в истории человечества случай, когда стрельба оказывалась совершенно недействительной. Ни в одной гимнастерке не было дырочки, ни на ком ни единой царапинки. Можно было, конечно, допустить, что браунинг кота какой-нибудь игрушечный, но о маузерах пришедших этого уж никак нельзя было сказать, и, конечно, ясно стало, что первая рана кота была не чем иным, как фокусом и свинским притворством, равно как и питье бензину.

Сделали еще одну попытку добыть кота. Швырнули аркан, зацепились за одну из ветвей, дернули и сорвали ее. Удар ее потряс, казалось, весь корпус дома, но толку от этого не получилось. Присутствующих обдало осколками, и двум поранило руки, а кот перелетел по воздуху и уселся высоко под потолком на карнизе каминного в золотой раме зеркала. Можно было не спешить. Кот никуда не собирался удирать, а, наоборот, сидя на зеркале, повел речь.

— Я протестую, — заговорил он сурово, — против такого обращения со мной...

Но тут раздался тяжелый низкий голос неизвестно откуда:

— Что происходит в квартире?

Другой голос, гнусавый и неприятный, отозвался:

— Ну, конечно, Бегемот...

И третий, дребезжащий:

— Мессир! Суббота, солнце склоняется... Нам пора.

Тут кот размахнулся браунингом и швырнул его в окно, и оба стекла обрушились в нем.

— До свидания, — сказал кот и плеснул вниз бензином, и этот бензин сам собой вспыхнул, взбросив жаркую волну до самого потолка.

Загорелось как-то необыкновенно и сильно. Сейчас же задымились обои, вспыхнула сорванная гардина на полу, начали тлеть рамы в разбитом окне. Кот спружинился, перемахнул с карниза зеркала на подоконник и скрылся вместе со своим примусом. Снаружи разда-

лись выстрелы. Человек, сидящий на железной противопожарной лестнице, уходящей на крышу, на уровне окон ювелирши, обстрелял кота, когда тот перелетел с подоконника на подоконник, а оттуда к водосточной угловой трубе дома, построенного покоем.

На крыше так же безрезультатно в него стреляла охрана у дымохода. Кот смылся в заходящем солнце, заливавшем город.

В квартире в это время вспыхнул паркет под ногами, и в пламени, на том месте, где валялся кот, симулируя тяжкое ранение, из воздуха сгустился труп барона Майгеля с задранным кверху подбородком, со стеклянными глазами.

Вытащить его уже не было возможности. Прыгая по горящим шашкам паркета, хлопая ладонями по дымящимся гимнастеркам, бывшие в гостиной выбежали в кабинет, оттуда в переднюю.

Те, что были в столовой и спальне, спаслись через коридор. Кто-то успел набрать номер пожарной части в передней, коротко крикнул:

— Садовая, 302-бис!

Гостиная горела, дым, пламя выбивало в кабинет и переднюю. Из разбитого окна повалил дым.

Во дворе и в квартирах слышались отчаянные человеческие вопли:

— Пожар! Горим!

В пламени из столовой в гостиную прошли к окну трое мужчин, первый — рослый, темный, в плаще, второй — клетчатый, третий — прихрамывающий, и одна нагая женщина. Они появились поочередно на подоконнике, были обстреляны и растаяли в воздухе.

Воланд, нанявший у Никанора Ивановича квартиру в четверг, в субботу на закате покинул ее вместе со своей свитой.

Глава 27 ПОСЛЕДНИЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОРОВЬЕВА И БЕГЕМОТА

Неизвестно, куда именно направились временные жильцы горящей квартиры № 50 и где они разделились, но известно, что у зеркальных дверей торгсина на углу Арбата и Смоленского рынка в обеденную пору появился длинный гражданин в клетчатом костюме и с ним черный крупный кот.

Ловко извиваясь в кипящей толпе народу, гражданин открыл первую дверь торгсина. Но тут маленький, костлявый, хмурый и недоброжелательный швейцар преградил ему путь и злобно сказал:

— С котами нельзя! Нельзя!

— Я извиняюсь, — задребезжал длинный и приложил узловатую руку к уху, как тугоухий, — где вы видите кота?

Швейцар выпучил глаза, и было от чего: никакого кота у ног гражданина не было, а за плечом его виднелся толстяк в рваной кепке,

действительно немного смахивающий на кота. В руках у него имелся примус.

Парочка этих посетителей почему-то не понравилась швейцару-мизантропу.

— У нас только на валюту, — прохрипел швейцар, злобно глядя из-под лохматых, как бы молью траченных бровей.

— Дорогой мой! — задребезжал длинный, сверкая глазом из разбитого пенсне. — А откуда же вам известно, что у меня ее нету? Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого, драгоценнейший мой! Вы можете ошибиться, и притом самым зловещим образом. Припомните хотя бы историю знаменитого калифа Гарун Аль-Рашида. Но, откинув в данном случае эту историю в сторону, я хочу сказать, что весьма возможно, что я пожалуюсь на вас заведующему и порасскажу о вас ему таких вещей, что вам придется покинуть ваш пост здесь между сверкающими зеркальными дверями.

— У меня, может быть, полный примус валюты, — запальчиво встрял в разговор и котообразный толстяк.

Сзади уже напирала и сердилась публика. С ненавистью и сомнением глядя на диковинную парочку, швейцар посторонился, и наши знакомые Коровьев с Бегемотом очутились в магазине.

Здесь они первым долгом осмотрелись, и затем звучным голосом, слышным решительно во всех углах магазина, Коровьев объявил:

— Прекрасный магазин! Очень, очень хороший магазин!

Публика от прилавков обернулась и почему-то с изумлением поглядела на говорившего, хотя хвалить магазин у Коровьева были основания.

Ситцы богатейших расцветок штуками лежали в клетках. За ситцами шли миткали и шифоны, сукна фрачные... Далее шли штабеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой потрепанной туфле, а левую — в новенькой сверкающей лодочке, которой они и топали в коврик. В отдалении пели патефоны.

Но, минуя все эти прелести, Коровьев и Бегемот направились прямо в гастрономическое отделение, к стыку его с кондитерским отделением. Здесь было просторно, не стояли и не напирали стеной на прилавок гражданки в платочках и беретиках, и за зеркальными рамами прилавков виднелись такие вещи, что положительно спирало дух и слюни сами собой скоплялись во рту.

Низенький, совершенно квадратный человек, бритый до синевы, в роговых очках и в шляпе без подтеков на ленте, в сиреневом пальто и лайковых рыжих перчатках, стоял у прилавка и что-то повелительно мычал.

Продавец в чистом белом халате и синем беретике обслуживал сиреневого толстяка. Острейшим ножом он снимал с жирной, чуть не плачущей розовой лососины похожую на змеиную с серебристым отливом шкуру.

— И это отделение великолепно, — торжественно признал Коровьев, — и иностранец симпатичный. — Он благожелательно указал пальцем на сиреневую спину.

— Нет, Фагот, нет, — задумчиво ответил Бегемот, — ты, дружок, ошибаешься! В его лице чего-то не хватает!

Сиреневая спина почему-то вздрогнула, но, вероятно, случайно, ибо не мог же иностранец понимать то, что говорили по-русски Коровьев со своим спутником.

— Кароши? — строго спрашивал сиреневый толстяк.

— Мировая-с, — отвечал продавец, кокетливо ковыряя острием ножа под шкурой.

— Кароши люблю... плохой нет, — мрачно говорил иностранец.

— Как же-с! — восторженно отвечал продавец.

Наши знакомые немного передвинулись в сторону, туда, где углом к рыбному подходил кондитерский и фруктовый прилавок.

— Жарко сегодня, — обратился Коровьев к молоденькой продавщице и у нее же осведомился: — Почем мандарины?

— Тридцать копеек кило, — ответила та презрительно.

— Все кусается, — вздохнув, заметил Коровьев, — э, эх... — Подумав, он пригласил спутника: — Кушай, Бегемот!

Толстяк примус сунул под мышку, взял из пирамиды верхний мандарин и тут же со шкурой сожрал его, а затем принялся за второй. Продавщицу обуял смертельный ужас.

— Вы с ума сошли! — вскричала она, белея. — Чек подавать! Чек! — и уронила конфетные щипцы.

— Душенька, милочка-красавица, — зашептал Коровьев, перегибаясь через прилавок и подмигивая продавщице, — не при валюте мы сегодня... Ну, что ты поделаешь! Но клянусь вам, в следующий же раз и уже никак не позже понедельника отдадим все чистоганом. Мы здесь недалеко... на Садовой.

Бегемот, проглотив третий мандарин, сунул лапу в хитрое сооружение из шоколадных плиток, выдернул одну нижнюю, отчего все рухнуло, и проглотил ее вместе с золотой оберткой.

Продавцы за рыбным прилавком как окаменели со своими ножами в руках, иностранец в сиреневом повернулся к грабителям, и тут обнаружилось, что Бегемот не прав: у сиреневого не не хватало чего-то в лице, а, наоборот, скорее было лишнее — висящие щеки и бегающие глазки.

Продавщица сделалась пунцовой и тоскливо прокричала на весь магазин:

— Палосич! Палосич!

Немногочисленная публика вся повернулась к безобразнику с примусом, подошли из ситцевого отделения, а Бегемот отошел от кондитерских соблазнов и запустил лапу в бочку с надписью «Сельдь керченская, отборная», вытащил парочку, их проглотил, выплюнув хвосты. Отчаянный крик:

— Палосич! — повторился, за рыбным прилавком гаркнул продавец в эспаньолке:

— Ты что же это делаешь, гад?!

Павел Иосифович уже спешил к месту действия. Это был представительный мужчина в белом, как хирург, и с карандашом, торчащим из кармашка. Видимо, Павел Иосифович был опытным и решитель-

ным человеком. Он вмиг оценил положение, все понял и махнул рукой вдаль, скомандовав:

— Свисти!

И, выскочив из дверей на шумный угол, швейцар залился зловещим свистом. Публика столпилась вокруг негодяев, и тогда вступил в дело Коровьев.

— Граждане! — вибрирующим тонким голосом прокричал он. — Что же это делается? Ась? Позвольте вас спросить! Бедный человек, — он указал на Бегемота, немедленно скроившего плаксивую физиономию, — бедный человек целый день починяет примуса, проголодался... Откуда ему взять валюту?

Павел Иосифович крикнул сурово:

— Ты это брось! — и махнул вдаль нетерпеливо. Трель у дверей загремела отчаяннее и веселей.

Но Коровьев, не смущаясь, продолжал:

— Откуда? Голодный он... Жарко еще... Ну, взял на пробу, горемыка, мандарин... И вся-то цена этому мандарину три копейки! И вот уж они свистят, как соловьи! А ему можно? А? — И тут Коровьев указал на сиреневого толстяка, у которого на лице выразилось сильнейшее неудовольствие и тревога. — Кто он такой? А? Откуда приехал? Зачем? Звали мы его, что ли? Конечно, — саркастически кривя рот, орал бывший регент, — он, видите ли, весь сиреневый, морду разнесло, он весь валютой набит... А нашему? А? Горько! Мне горько!

Вся эта глупая, нелепая, бестактная и, вероятно, политически вредная речь заставила гневно содрогнуться Павла Иосифовича, но, как это ни странно, в глазах столпившейся публики, и в очень многих глазах, вызвала... сочувствие!

А когда Бегемот, приложив грязный продранный рукав к глазу, воскликнул:

— Спасибо, друг, заступился за пострадавшего! — произошло чудо.

Приличнейший тихий старичок, одетый бедно, но чистенько, покупавший три миндальных пирожных, вдруг преобразился. Глаза его сверкнули боевым огнем, он побагровел, швырнул кулечек с пирожными на пол и крикнул:

— Правда! — детским голосом.

Затем он выхватил поднос, на котором были остатки погубленной Бегемотом шоколадной башни, взмахнул им и, сбив шляпу с толстяка, ударил его по голове сверху с воплем:

— У, саранча!

Прокатился такой звук, какой бывает, когда с грузовика сбрасывают листовое железо.

Толстяк, белея, повалился навзничь и сел в кадку с сельдью, выбив из нее фонтан селедочного рассола.

Второе чудо случилось тут же: сиреневый, провалившись в кадку, взмахнул желтыми ботинками и на чистом русском языке, без акцента, вскричал:

— Убивают! Милицию! Бандиты убивают!

Свист прекратился, в толпе покупателей мелькнули, приближаясь, два милицейских шлема.

Тогда Бегемот, как из шайки в бане окатывают лавку, окатил из примуса кондитерский прилавок бензином, и пламя ударило кверху и пошло жрать ленты на корзинах с фруктами.

С визгом кинулись бежать из-за прилавка продавщицы, и когда они выбежали, вспыхнули полотняные шторы на окнах, а на полу загорелся бензин.

Публика, с воем, визгом и криками, шарахнулась из кондитерского назад, смяв Павла Иосифовича и милиционеров, из-за рыбного гуськом с отточенными ножами рысью побежали к дверям черного хода. Сиреневый, выдравшись из кадки, весь в селедочном рассоле, перевалился через семгу и последовал за ними.

Зазвенели и посыпались стекла в выходных зеркальных дверях, а оба негодяя, и Коровьев, и обжора Бегемот, куда-то девались, а куда — неизвестно. Потом очевидцы рассказывали, что они взлетели вверх под потолок и там оба лопнули, как воздушные шары.

Не знаем — правда ли это.

Но знаем, что через минуту после этого они оба оказались на тротуаре бульвара, как раз у дома тетки Грибоедова.

Коровьев остановился у решетки и заговорил:

— Ба! Да ведь это писательский дом! Я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом! Обрати внимание, Бегемот: приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов.

— Как ананасы в оранжереях, — сказал Бегемот и, чтобы лучше полюбоваться на кремовый дом с колоннами через отделяющий его сад, влез на основание чугунной решетки.

— Совершенно верно, — согласился Коровьев, — и сладкая жуть подкатывается к сердцу, когда я подумаю, что, быть может, в этом доме сейчас зреет будущий автор «Дон Кихота», или «Фауста», или, черт побери, «Мертвых душ»! А?

— Страшно подумать, — подтвердил Бегемот.

— Да, — продолжал Коровьев, — удивительных вещей можно дождаться от этого дома, объединившего под своей кровлей несколько тысяч подвижников, решивших отдать свою жизнь на служение Мельпомены, Полигимнии и Талии! Возьмет кто-нибудь из них и ахнет «Ревизора» или «Онегина»!

— И очень просто, — подтвердил Бегемот.

— Да, — продолжал Коровьев и озабоченно поднял палец, — но! Если на эти нежные тепличные растения не нападет какой-нибудь микроорганизм, не подточит их в корне, если они не загниют! А это бывает с ананасами! Ой как бывает!

— Кстати, — осведомился Бегемот, щурясь через дыру в решетке. — Что они делают на веранде?

— Обедают, — сказал Коровьев, — добавлю к этому, дорогой мой, что здесь очень недурной и недорогой ресторан. А я, между тем, испытываю желание выпить большую ледяную кружку пива.

— И я тоже, — ответил Бегемот, и оба негодяя зашагали по асфальтовой дорожке под липами к веранде ресторана. Бледная и озабоченная гражданка в носочках, в белом беретике сидела на венском

стуле у входа с угла на веранду. Перед нею на простом столе лежала толстая книга, в которую гражданка вписывала входящих в ресторан. Гражданка остановила входящих двух словами:

— Ваши удостоверения?..

Она с удивлением глядела на пенсне Коровьева и примус Бегемота, а также на его разорванный локоть.

— Я извиняюсь, какие удостоверения? — спросил Коровьев, удивляясь.

— Вы — писатели? — спросила гражданка.

— Безусловно, — с достоинством ответил Коровьев.

— Ваши удостоверения, — повторила гражданка.

— Прелесть моя... — начал нежно Коровьев.

— Я — не прелесть, — ответила гражданка.

— Это очень жаль, — разочарованно сказал Коровьев и продолжил: — Неужели для того, чтобы убедиться в том, что Достоевский — писатель, нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц «Преступления и наказания», и без всякого удостоверения вы сразу поймете, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было! Как ты думаешь? — обратился он к Бегемоту.

— Пари держу, что не было, — ответил тот, ставя примус на стол рядом с книгой и вытирая рукавом пот на лбу.

— Вы — не Достоевский, — сказала гражданка, сбиваемая с толку болтовней Коровьева.

— Почем знать, почем знать, — ответил тот.

— Достоевский умер, — сказала гражданка, но неуверенно.

— Протестую, — горячо сказал Бегемот, — Достоевский бессмертен!

— Ваши удостоверения, граждане, — сказала гражданка.

— Помилуйте, это в конце концов смешно... — не сдавался Коровьев. — Вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет! Почем вы знаете, какие замыслы роятся в моей голове? Или в этой голове? — И он указал на голову Бегемота, с которой тот тотчас снял кепку, как бы для того, чтобы гражданка лучше осмотрела ее.

— Пропустите, граждане! — нетерпеливо сказала она. Коровьев и Бегемот посторонились и пропустили какого-то писателя в сером костюме, в летней без галстука белой рубашке, воротник которой лежал на воротнике пиджака, и с газетой под мышкой. Писатель приветливо кивнул гражданке и на ходу поставил в подставленной ему книге какую-то закорючку и проследовал на веранду за трельяж.

— Положение наше затруднительно, — сказал Коровьев Бегемоту, — нелепо, как быть...

Бегемот горько развел руками и надел кепку на круглую голову, поросшую чем-то очень похожим на кошачью шерсть.

И в тот момент негромко прозвучал над головой гражданки голос:

— Пропустите, Софья Павловна.

Гражданка с книгой изумилась; в зелени трельяжа возникла белая фрачная грудь и клинообразная борода флибустьера. Он приветли-

во глядел на двух сомнительных оборванцев, делая пригласительный жест.

Авторитет Арчибальда Арчибальдовича был слишком ощутимой вещью в ресторане, которым он заведовал.

Софья Павловна покорно спросила:

— Как ваша фамилия?

— Панаев, — вежливо ответил Коровьев.

Гражданка записала фамилию и подняла вопросительный взор на Бегемота.

— Скабичевский, — пропищал тот, почему-то указывая на свой примус.

Софья Павловна записала и эту фамилию и пододвинула книгу посетителям, и они расписались.

Коровьев против слова «Панаев» написал: «Скабичевский», а Бегемот против Скабичевского: «Панаев». Арчибальд Арчибальдович, поражая Софью Павловну, очаровательно улыбаясь, повел гостей к лучшему столику в противоположном конце веранды, у самой, играющей в боковом солнце, зелени трельяжа.

Софья же Павловна, моргая от изумления, долго изучала странные записи посетителей в книге.

Официантов Арчибальд Арчибальдович удивил не менее, чем Софью Павловну. Он лично отодвинул от столика стул, приглашая сесть Коровьева, мигнул кому-то, что-то шепнул, и два официанта засуетились вокруг столика и двух оборванцев, из которых один свой примус поставил рядом со своим порыжевшим ботинком на пол. Немедленно скатерть в желтых пятнах исчезла со столика, в воздухе взметнулась белейшая, как бедуинский бурнус, другая скатерть, и Арчибальд Арчибальдович уже шептал тихо, но выразительно, склоняясь к уху Коровьева:

— Чем прикажете потчевать?.. Балычок имею особенный... у архитекторского съезда оторвал...

— Вы... э... дайте нам... вообще закуску... э, — сказал благожелательно Коровьев, раскидываясь на стуле.

— Понимаю, понимаю, — склоняя гладко расчесанную голову, говорил Арчибальд Арчибальдович.

Увидев, как общается с весьма сомнительными посетителями шеф, официанты оставили всякие сомнения и поднажали. Они знали, что если Арчибальд Арчибальдович что-нибудь делает, то знает, что делает. Один официант подносил спичку Бегемоту, вынувшему из кармана окурок и всунувшему его в рот, другой звенел стеклом выставляемых у приборов рюмок, лафитников и тонкостенных бокалов, из которых так хорошо пьется нарзан, а забегая вперед, скажем... пился нарзан под тентом грибоедовской веранды.

— Филейчиком из рябчика могу угостить... — музыкальным шепотом говорил Арчибальд Арчибальдович.

Гость в треснувшем пенсне совершенно одобрял предложения командира брига, благожелательно сверкало стеклышко его пенсне.

Обедающий за соседним столиком известный беллетрист Петраков-Суховей с супругой, доедающий свиной эскалоп, со свойствен-

ной всем писателям наблюдательностью заметил ухаживания Арчибальда Арчибальдовича и очень удивлялся. А супруга его, почтенная дама, просто приревновала пирата и даже ложечкой постучала... пора, мол, и мороженое подавать! В чем дело?

Однако, послав Петраковой обольстительную улыбку, Арчибальд Арчибальдович направил к ней официанта, чахоточного вида тощего человека, а сам не покинул своих посетителей. Ах, умен был Арчибальд Арчибальдович. И наблюдателен, пожалуй, не похуже, чем и сами писатели. Он слышал о сеансе в Варьете, слышал — и мимо не пропустил слово «клетчатый»... догадался о том, кто его посетители! А уж догадавшись, конечно, ссориться с ними не стал. Софья Павловна тоже хороша! Вздумала преграждать им путь на веранду!.. Да, впрочем, что с нее спрашивать!

Надменно тыча ложечкой в раскисавшее сливочное мороженое, Петракова-Суховей злыми глазами глядела, как столик перед двумя, одетыми как шуты какие-то, обрастал яствами. Вымытые до блеска салатные листья торчали из вазы со свежей икрой, миг... и появилось на специально пододвинутом отдельном столике запотевшее ведерко...

Лишь убедившись в том, что сделано по чести, лишь тогда, когда в руках официанта прилетела сковорода, на которой что-то ворчало, Арчибальд Арчибальдович позволил себе покинуть двух загадочных посетителей, да и то предварительно шепнув:

— Извините... на минутку... лично пригляжу за филейчиками... — Он отлетел от столика и скрылся через внутренний ход ресторана.

Если бы кто-нибудь проследил его дальнейшие действия, они, несомненно, показались бы наблюдателю странными.

Арчибальд Арчибальдович отправился в кладовку, открыл ее своим ключом, закрылся, вынул из ларя со льдом осторожно, чтобы не запачкать манжет, два увесистых балыка, запаковал их тут же в газетную бумагу, и веревочкой перевязал, и в сторону отложил. Затем рядом в комнатке проверил, на месте ли его пальто на шелковой подкладке и шляпа, и лишь после этого действительно отправился в кухню, где повар уже получил повеление относительно филейчиков.

Нет, странного ничего не было в действиях Арчибальда Арчибальдовича. Просто он обладал очень хорошим чутьем, и оно ему говорило, что обед двух посетителей будет хоть и роскошен, но непродолжителен. И оно его не обмануло. В то время как Коровьев и Бегемот чокались второй рюмкой прекрасной холодной московской двойной очистки водки, появился на веранде потный, взволнованный хроникер Боба Кандалупский и подсел к Петраковым. Положив свой разбухший портфель на столик, Боба немедленно всунул свои губы в ухо Петракову-Суховею и зашептал в это ухо какие-то очень соблазнительные вещи. Мадам Петракова, изнывая от любопытства, и свое ухо подставила к пухлым масляным губам Бобы.

Воровски изредка оглядываясь, Боба шептал, и можно было слышать отдельные слова, вроде:

— Клянусь... на Садовой... не берут пули... пули... пули... да, говорю, пожар... пули...

— Вот этих бы врунов, которые распространяют слухи... Ну, ничего, их приведут в порядок, — сказала сурово Петракова, — какие враки!

— Пули... пожар... по воздуху... — шептал Кандалупский, и не подозревая, что те, о ком рассказывает, сидят рядом с ним.

Из внутреннего хода ресторана на веранду стремительно вышли трое мужчин, все в гимнастерках, с туго перетянутыми ремнями талиями, в крагах, с револьверами в руках. Передний крикнул звонко и страшно:

— Ни с места!

И все трое подняли револьверы в направлении Коровьева и Бегемота. Коровьев встал из-за стола, и тотчас загремели выстрелы.

Из примуса ударил столб огня, и мгновенно занялся тент над верандой. Коровьева и Бегемота не оказалось за столиком. Как бы зияющая пасть с черными краями появилась в тенте, и огонь поднялся до крыши грибоедовского дома. Лежащие на окне второго этажа папки с бумагами в комнате редакции вдруг вспыхнули, за ними схватило шторы, огонь пошел внутрь теткиного дома.

Выскакивая из-под пожираемого огнем тента, по асфальтовым дорожкам сада к чугунной решетке, откуда пришел в среду вечером первый вестник несчастья Иванушка, бежали недообедавшие писатели, официанты, Софья Павловна, Боба, Петракова и Петраков.

Через боковой ход, выводящий в переулок, не спеша, с двумя балыковыми бревнами в газетах, уходил Арчибальд Арчибальдович.

Глава 28 ПОРА! ПОРА!

— Все это хорошо и мило, — говорил мастер, сидя на диване, — но дальше получается полнейшая чепуха... Ведь подумать только...

Разговор шел на закате солнца. Окошко подвала было открыто, и если бы кто-либо заглянул в него, очень удивился бы, настолько странно выглядели разговаривающие.

Маргарита была в черном плаще, надетом прямо на голое тело, а мастер в больничном белье. Происходило это оттого, что Маргарите нечего было надеть, все ее вещи остались в особняке в переулке у Сивцева Вражка, а мастер, у которого оба костюма находились в полном порядке в шкафу, как будто он никогда и не уезжал, одеваться не хотел. Настолько он был изумлен происшествиями предыдущей ночи. Правда, он был выбрит впервые за полтора года (в клинике ему бородку подстригали машинкой).

Вид средняя комната имела тоже странный. На круглом столе был накрыт обед, и среди закусок стояло несколько бутылок. Все это неизвестно откуда взялось.

Проспав до шести часов субботнего вечера, и мастер, и Маргарита почувствовали себя совершенно окрепшими, и только одно давало знать о вчерашних приключениях. У обоих немного ныл левый висок.

Со стороны же психики изменения произошли величайшие, как убедился бы всякий, кто мог бы подслушать разговор в подвальной квартире. Но подслушивать его было некому. Дворик был пуст. Все сильнее зеленеющие липы и ветла за окном источали весенний запах, по полу медленно, но неуклонно полз последний, залетевший в подвал.

— Да, — говорил мастер, — подумать только... — Он сжал голову руками. — Нет, послушай: ты серьезно уверена, что мы вчера были у сатаны?

— Совершенно серьезно, — ответила Маргарита.

— Кончено, — горестно сказал мастер, — теперь налицо вместо одного сумасшедшего — двое. И муж, и жена!

Он приподнялся, возвел руки к небу и закричал:

— Черт знает что такое!

Вместо ответа Маргарита захохотала, болтая босыми ногами, потом закричала:

— Ты посмотри, на что ты похож. Ой, не могу!

Отхохотавшись, пока мастер стыдливо поддергивал больничные кальсоны, Маргарита стала серьезной.

— Ты сейчас сказал правду невольно, — заговорила она, — черт знает, что такое, и все устроит! — Глаза ее вдруг загорелись, она вскочила, затанцевала на месте и прокричала: — О, как я счастлива! О, как я счастлива! О дьявол! Милый Воланд!

После этого она кинулась к мастеру и, обхватив его руками за шею, стала целовать его в губы, в нос, в щеки. Вихры неприглаженных волос прыгали у того на лбу, и щеки загорались под поцелуями.

— Ты — ведьма! — сказал, отдышавшись, мастер.

— А я и не отрицаю, — ответила Маргарита, — я — ведьма и очень этим довольна.

— Марго! Умоляю тебя, — начал мастер, — поговорим серьезно.

— Ну, поговорим, — совершенно несерьезно ответила Маргарита, и закурила, и стала пускать дым в косой луч солнца.

— Ну хорошо, — говорил мастер, — меня украли из лечебницы... Допустим... Вернули сюда... Но ведь меня хватятся и, конечно, найдут... Этот Алоизий... И вообще, чем мы будем жить?.. Ведь я забочусь о тебе, пойми!

В этот момент в оконце оказались ботинки и нижняя часть брюк в жилочку. Затем эти брюки согнулись, и солнечный луч заслонили колени и увесистый зад.

— Алоизий! Ты дома? — спросили колени.

— Вот, начинается... — шепнул мастер.

— Алоизий? — обратилась Маргарита к коленям. — Его арестовали вчера. А кто его спрашивает? Как ваша фамилия?

В то же мгновение колени и зад пропали из окна, стукнула калитка. Все стихло. Маргарита повалилась на диван и захохотала так, что слезы покатились у нее из глаз.

Когда она утихла, она заговорила серьезно и, говоря, сползла с дивана, подползла к коленям мастера и, глядя ему в глаза, заговорила, обнимая колени:

— О, как ты страдал! Как ты страдал, мой бедный. Смотри, у тебя седые нити и вечная складка у губ. Не думай, не думай ни о чем! Я умоляю тебя! И я ручаюсь тебе, что все будет ослепительно хорошо! Все. Верь мне!

— Я ничего не боюсь, пойми, — ответил ей шепотом мастер, — потому что я все уже испытал. Меня ничем не могут напугать, но мне жалко тебя, моя Марго, вот почему я и говорю о том, что будет... Твоя жизнь... Ты разобьешь ее со мною, больным и нищим... Вернись к себе... Жалею тебя, потому это и говорю...

— Ах, ты, ты, — качая растрепанной головой, шептала Маргарита, — ах ты, несчастный маловер!.. Я из-за тебя нагая всю ночь тряслась, глядя на удавленных, зарезанных, я летала вчера, я полтора года сидела в темной каморке, читала только одно — про грозу над Ершалаимом, плакала полтора года, и вот, как собаку, когда пришло твое счастье, ты меня гонишь? Я уйду, но знай, что все равно я всю жизнь буду думать только о тебе и о Понтии Пилате... Жестокий ты человек. — Она говорила сурово, но в глазах ее было страдание.

Горькая нежность поднялась к сердцу мастера, и, неизвестно почему, он заплакал, уткнувшись в волосы Маргариты. И она, плача, шептала ему, и пальцы ее бродили по вискам мастера.

— Нити, нити! На моих глазах покрывается серебром голова, ах, моя, моя много страдавшая голова!.. Глаза, видевшие пустыню, плечи с бременем... Искалечили, искалечили. — Ее речь становилась бессвязной, она содрогалась от плача.

Луч ушел из комнаты, оба любовника, наплакавшись, замолчали. Потом мастер поднял с колен Маргариту, сам встал и сказал твердо:

— Довольно! Я никогда больше не вернусь к этому, будь спокойна. Я знаю, что мы оба жертвы своей душевной болезни или жертвы каких-то необыкновенных гипнотизеров. Но довольно, пусть будет что будет!

Маргарита приблизила губы к уху мастера и прошептала:

— Клянусь тебе жизнью твоею, клянусь тебе копьем сына звездочета, тобою найденного, тобою угаданного, твой заступник — Воланд! Все будет хорошо.

— Ну и ладно! — отозвался мастер, но все-таки добавил: — Конечно, когда люди так несчастны, как мы, они ищут спасения у трансцендентной силы...

— Да ну тебя с твоими учеными словами! — ответила Маргарита. — У меня с похмелья болит голова, и я хочу есть. Садись!

— И я хочу! — заражаясь ее весельем и беззаботностью, ответил мастер.

— Наташа! — крикнула Маргарита.

И из кухоньки появилась Наташа, терпеливо ожидавшая конца объяснений и плача любовников. Если Маргариту хоть немного делал пристойной плащ, про Наташу этого сказать нельзя было. На той не было ничего, кроме туфель.

— Да, действительно, уверуешь и в дьявола... — пробормотал мастер, косясь на садящуюся Наташу.

— А на какой хрен ей одеваться? — заметила Маргарита. — Она теперь вечно будет ходить так.

Наташа на это рассмеялась и бросилась целовать Маргариту, приговаривая:

— Королева, душенька моя, Марго!

Потом уселась, и все трое стали пить водку и жадно есть.

— Я вот смотрю на тебя, — заговорил мастер, — ты резко изменилась. Твой голос огрубел, в глазах решимость и воля... да и выражения тоже появились такие... Впрочем, я не могу сказать, чтобы это было плохо...

— Я много перевидала, — говорила Маргарита, — и теперь знаю, что все, что было... то есть Сивцев Вражек, вежливые выражения, Николай Иванович, одетая Наташа и прочее, все это — чушь собачья!

Наташа рассмеялась.

— Не надо ни о чем думать, не надо ничего бояться, и выражения тоже выбирать не нужно!

— Я потому голая, — заговорила Наташа, — что платья мои все в Сивцевом, а носу туда сунуть нельзя...

— Верно! — воскликнул мастер. — Потому что я убежден, что там уже дожидаются, чтобы арестовать вас. У меня такое предчувствие, что Воланд, и не он сам, а главным образом его компания натворила чего-то такого в городе...

— Будьте покойны, — воскликнула Наташа, — мне Азазелло уже вчера говорил: ты, говорит, не вздумай сунуться куда-нибудь из подвала. Сразу увидят, что ты ведьма.

— Не то что ведьма, — сказал мастер и подивился, — а просто голая... Позвольте, вы ходили в таком виде куда-нибудь?

— Плевала я на это, — ответила Наташа.

— Черт знает что такое! — воскликнул мастер.

В этот момент в дверях мелькнула какая-то тень, и гнусавый голос сказал:

— Мир вам!

Мастер вздрогнул, а привыкшая уже к необыкновенному Маргарита вскричала:

— Да это Азазелло. Ах, как это мило с вашей стороны!

А Наташа до того обрадовалась появлению Азазелло, что стала вся розовая.

Азазелло раскланивался в дверях, повторяя:

— Мир вам!

Маргарита манила его рукой, указывала на место рядом с собою на диванчике, просила извинения за то, что они с Наташей не одеты...

Азазелло раскланивался, просил не беспокоиться, уверял, что видел не только голых, но даже людей с начисто содранной кожей, охотно подсел к столу, предварительно поставив в угол у печки какой-то сверток в темной парче.

Азазелло налили водки, он охотно выпил.

Мастер не спускал с него глаз и изредка больно щипал себя кистью левой руки под столом. Но щипки эти не помогали, да и особенно странного перед глазами ничего не было. Перед ним сидел рыжеватый плечистый человек, с кривым глазом, одетый по-городскому, в пиджачке. Водку пил как все добрые люди, не закусывая, от тостов не отказывался.

Выпив за здоровье хозяйки, за что Маргарита его поцеловала, гость повел речь.

— Мессир передавал вам привет, — говорил Азазелло, поворачиваясь к Маргарите.

— Передайте ему великую мою благодарность!

Мастер поклонился ему, а Азазелло высоко поднял стопку, до краев полную водкой, негромко воскликнул:

— Мессир!

Маргарита поняла, что этот тост торжественный, так же как понял и мастер, и все сделали так же, как и Азазелло, — сплеснули несколько капель на кровавое мясо ростбифа, и оно от этого задымилось. Причем ловчее всех это сделала Наташа.

Спирт ли, выпитый мастером, появление ли Азазелло, но что-то, словом, было причиной изменения настроения духа мастера и его мыслей.

Он почувствовал, что становится весел и бесстрашен, а подумал так: «Нет, Маргарита права... Конечно, передо мною сидит посланец дьявола... Да ведь я же сам не далее как ночью позавчера говорил Ивану Бездомному о том, что встреченный им именно дьявол. А теперь почему-то испугался этой мысли и начал что-то болтать о гипнотизерах и галлюцинациях! Да какие же, к черту, они гипнотизеры! Дьявол, дьявол!»

Он присматривался к Азазелло и понял, что в глазах у того есть нечто принужденное, какая-то мысль, которую тот пока не выдает.

«Он не просто с визитом, — подумал мастер, — он приехал с поручением».

Наблюдательность мастера не изменила ему. Выпив еще водки, гость сказал так:

— Мне нужно было бы сказать несколько слов Наташе. Вы позволите?

— Конечно, конечно! — воскликнула Маргарита, а Наташа опять порозовела вся — и плечи, и грудь, и шея, и руки.

Азазелло встал, поманил Наташу в кухню, вышел с нею не более чем на полминуты и вернулся с нею же.

Глаза Наташины сверкали, как лампы. Азазелло сказал ей что-то, что привело ее в состояние возбуждения и явной радости, но она ничего не сказала.

— Ешьте, пожалуйста, — пригласила Маргарита.

Азазелло охотно принялся есть и повел беседу, но мастер заметил, что в глазах у него есть еще что-то. «Есть еще тайна, из-за нее он и приехал», — думал он, с интересом вглядываясь в правый глаз.

— Так, стало быть, вы здесь и намерены жить? — спросил Азазелло, указывая пустой вилкой на стенку и на потолок.

— Здесь, здесь, — отвечала Маргарита.

— Уютный подвальчик, что и говорить, — похвалил Азазелло, выпивая, и продолжил: — Да. Но вот какой вопрос, чего в нем делать... В подвальчике-то?

— Вот я про то и говорю, — сквозь зубы сказал мастер и улыбнулся.

— Зачем вы меня тревожите, Азазелло? — спросила искренно и тепло Маргарита. — Как-нибудь.

— Что вы! Что вы! — вскричал Азазелло. — Чего тут тревожиться... Я и говорю — как-нибудь! Да! — еще громче вскричал Азазелло. — Ведь я-то и забыл. Мессир мне приказал, — тут Азазелло отнесся именно к мастеру, — передать вам бутылку вина в подарок. И при этом сказать, что это вино древнее, то самое, которое пил Пилат. Это — фалернское вино.

Оставалось только одно — поблагодарить, и мастер, у которого в голове все ходило ходуном, приложил руку к сердцу, Маргарита вскричала:

— Ах, это мило и любезно!

А Наташа вспыхнула, и глаза у нее стали такие же, как у Азазелло, — содержащие в себе тайну.

Азазелло вынул из парчи не кувшин, как ожидал мастер, а темную, в пыли и плесени, бутылку, запечатанную сургучом, открыл ее, и вино разлили по бокалам.

— Его здоровье! — вскричала Маргарита, поднимая свой стакан с тяжелым, красным, густым вином, и все четверо приложились к стаканам и залпом выпили его.

Тотчас вечерний свет стал гаснуть в глазах у мастера, дыхание его перехватило, он почувствовал, что настает конец. Он видел, как смертельно побледневшая Наташа со стоном упала у стола на пол, как Маргарита, беспомощно простерев к любовнику руки, уронила голову на стол и потом тело ее сползло на пол.

— Отравитель! — успел крикнуть мастер Азазелло и пытался схватить на бюро подаренный ему револьвер. Но руки его ударились о доску бюро, все окружающее окрасилось в черный цвет, а потом пропало. Он навзничь упал и рассек себе кожу на виске об угол доски.

Трое отравленных затихли, а Азазелло начал действовать.

Отшвырнув ногой осколки разбившегося Наташиного стакана в угол, из шкафа достал новый, наполнил его тем же вином, сел на корточки, разжал зубы Наташи, влил в рот глоток его.

Тогда Наташа открыла глаза, сперва бессмысленно обвела ими комнату, но свет в них быстро вернулся. Азазелло поднял ее на ноги, и она ожила.

— Не медли, пора! Мы долго возились здесь, — приказал ей Азазелло, и Наташа, поставив одну ногу на стул, перенесла легко другую на подоконник и через секунду была в садике. Там, роя землю копытом, стоял черный, как ночь, конь, в седле, с золотыми стременами.

У повода его был черный мрачный всадник, в плаще со шпагой, в шпорах. Он держал под узды нетерпеливого злого коня, поглядывал на окошки подвала. Лишь только Наташа выскочила из окна, всадник легко вскочил в седло, вздернул Наташу вверх, посадил ее на луку, сдавил бока коня, проскочил между двумя липами вверх, ломая молодые ветви, и исчез, став невидимым.

В это время начало темнеть. С западного края неба поднималась туча, в переулке понесло по булыжной мостовой сор, окурки, пыль.

Азазелло, отправив Наташу, занялся самим собой. Он рванул ворот своей рубашки, и тотчас с нею слетел его наряд. Он оказался в черном трико, в востроносых кожаных туфлях, с коротким кинжалом у пояса. Огненные волосы его скрылись под беретом.

Преобразившись, он бросился к поверженным любовникам. Маргарита лежала, уткнувшись лицом в коврик. Азазелло своими железными руками повернул ее, как куклу, лицом к себе и вгляделся в нее. На его глазах менялось лицо мертвой в предгрозовых сумерках. Исчезло ведьмино косоглазие и жестокость и буйность черт. Лицо покойной посветлело и смягчилось, и оскал ее стал уже не хищным, а просто женственным. Демон безводной земли разжал белые зубы и влил в рот несколько капель того самого вина, которым и отравил.

Маргарита вздохнула, сама стала подниматься, села, спросила слабо:

— Азазелло! Что вы сделали со мной? За что?

Она увидела лежащего мастера, ужаснулась и, вздрогнув, прошептала:

— Этого я не ждала... Убийца...

— Да нет же, нет, — ответил Азазелло, — сейчас он встанет... Что за нервность!

Маргарита поверила сразу, настолько убедителен был голос Азазелло, вскочила, живая и сильная, и помогла напоить лежащего вином.

Открыв глаза, тот глянул мрачно и сказал с ненавистью:

— Отравитель!..

— Оскорбления являются наградой за мою работу, — ответил раздраженно Азазелло, — слепцы! Но прозревайте скорее!

Маргарита всплеснула руками, всмотревшись в воскресшего мастера. Он был в длинных волосах, небрежно завязанных лентой в косичку, с белым лицом, как бело его жабо. На нем оказался темный кафтан, рейтузы, тяжелые ботфорты со шпорами.

Он поднялся, огляделся взором живым и светлым, спросил:

— Что означает новая метаморфоза?

— Она означает, — ответил Азазелло, — что нам пора. Уже гремит гроза, вы слышите? И кони роют землю, содрогая маленький сад. Прощайтесь с подвалом. Прощайтесь скорее!

Маргарита вскричала:

— Роман! Роман! Роман возьми с собою.

— Не надо, — ответил мастер, — я помню его наизусть.

— Ни слова... ни слова не забудешь? — спрашивала Маргарита, прижимаясь к любовнику.

— Я теперь ничего не забуду, — ответил мастер.

— Тогда огонь! — вскричал Азазелло. Он сунул руку в печку, вытащил дымящуюся головню и поджег скатерть на столе, пачку старых газет на диване, пробежал в соседнюю комнатушку, поджег рукопись, занавеску.

Гроза проворчала над самым домом, стукнуло оконце от ветра.

Мастер, опьяненный будущей скачкой, выбросил какую-то книгу с полки, вспушил ее листы над горящей скатертью, и книга загорелась веселым огнем.

— Гори, гори, прежняя жизнь!

— Гори, страдание! — кричала Маргарита.

Комната колыхалась в багровых столбах. Вместе с дымом вылетели через дверь трое, пробежали по каменной лесенке вверх, выскочили во дворик к сараю.

Там они увидели сидящую на земле окаменевшую кухарку застройщика; рассыпавшийся картофель лежал возле нее и два пучка луку.

Трое коней храпели у сарая, вздрагивали.

Амазонка вскочила первая, за нею Азазелло, на третьего последним — мастер.

Кухарка, простонав, хотела поднять руку для крестного знамения, но Азазелло рявкнул с седла грозным голосом:

— Отрежу руку! — свистнул, и кони, ломая ветви, взвились.

Тотчас из окошек подвала повалил дым, и снизу донесся слабый крик кухарки:

— Горим...

Кони понеслись над крышами. Скачущие рядом мастер и Маргарита в опьянении смеялись. За конем Маргариты несся в вихре черный шлейф. Вместе с невидимыми всадниками летела над Москвой туча, но еще не брызгала дождем.

— Ты поняла, что он умертвил нас и воскресил для новой жизни? — крикнул мастер.

— Поняла! — прокричала Маргарита.

— Хочу попрощаться с городом, — прокричал мастер Азазелло.

Тот что-то проворчал тревожно, но кивнул головой. Небо лопнуло над ними. Хлынул дождь.

— Где Наталья? — крикнула Маргарита.

— Она вышла замуж! — послышался в вое грозы голос Азазелло.

Глава 29 В ПУТЬ!

В вышине, на террасе самого красивого здания в Москве, построенного очень давно, на пустынной террасе, на балюстраде которой возвышались гипсовые вазы, на складной табуретке сидел черный Воланд неподвижно и смотрел на лежащий внизу город.

Его длинная и широкая шпага была воткнута между двумя рассохшимися плитами террасы, так что получились солнечные часы. Тень шпаги медленно, но неуклонно удлинялась, концом подползала к ногам.

Свита Воланда еще была в городе, и одна Гелла в черном плаще почтительно стояла в некотором отдалении от Воланда, молчаливая, смотрящая на радугу.

Раздался голос Воланда:

— Что же они задерживаются? Где эта неразлучная пара — Коровьев и Бегемот?..

Гелла шевельнулась, прикрыла ладонью от солнца глаза, всмотрелась вдаль, ответила почтительно:

— Они будут тотчас, мессир. Я чую их. Да, вот они.

И точно, послышались легкие шаги на каменных плитах, и перед Воландом предстали Коровьев и Бегемот; второй все в виде того же толстяка. Но теперь примуса при нем не было, а нагружен он был другими предметами. Так, под мышкой у него был небольшой ландшафтик в золотой раме, на руке поварской халат, а в руке цельная семга в шкуре и с хвостом.

От Коровьева и Бегемота несло гарью, рожа Бегемота была в саже, а кепка наполовину обгорела.

— Салют, сир! — прокричал Коровьев, а Бегемот выложил на террасу свое имущество и, отдуваясь, с восторгом вскричал:

— Сир, мне сейчас по морде дали!

Гелла в сторонке хихикнула хрипло, а Воланд сказал:

— Это бывает...

— Клянусь всем, что есть дорогого у этой развратницы, — Бегемот ткнул лапой в сторону Геллы, — а нетрудно догадаться, что именно у нее самое дорогое, — впервые в жизни! Я так хохотал! Чистое недоразумение легло в основу этого происшествия — меня за мародера приняли.

— Судя по принесенным тобою предметам... — заговорил Воланд и выразительно указал на ландшафтик и семгу.

— Верите ли, мессир... — начал задушевным голосом Бегемот.

— Нет, не верю, — коротко ответил Воланд.

— Мессир, клянусь, я делал героические попытки... — кричал Бегемот, — спасти все, что было можно... И вот все, что удалось отстоять!

— Что горело-то? — спросил Воланд.

— Грибоедов! — ответил Бегемот и всхлипнул.

— Прекрати этот плач, — спокойно посоветовал Воланд, — и лучше скажи, отчего это он загорелся?

Бегемот развел руками, возвел глаза к небу, так что на опаленной черной роже сверкнули белые белки, и вскричал:

— Не постигаю! Сидели, мирно закусывали... Вдруг трах, трах... трах... выстрелы! Обезумев от страха, мы с Коровьевым кинулись бежать на бульвар, преследователи за нами. Им померещилось, что мы бежим к памятнику Тимирязева... Но чувство долга победило в нас страх, и мы вернулись...

— А, вы вернулись? — сказал Воланд. — Ну, конечно, здание сгорело дотла.

— Дотла, — подтвердил Коровьев, — то есть буквально, мессир, дотла. Одни головешки.

— Я первым долгом кинулся в зал... — рассказывал Бегемот. — Что спасать? Как спасать? Натурально, к этой картине, и тут один человек врывается и кричит: «Мародер!», и, не успел я оглянуться, он съездил меня по морде! Я, натурально, его! Спрашиваю его, как ваша фамилия? Из любопытства! Но тут на нем задымилась гимнастерка, и ему пришлось выскочить вон. С ландшафтом я бросился вниз, спас в кухне халат и рыбу в кладовке.

— Коровьев что делал в это время? — спросил Воланд.

— Я помогал пожарным, мессир! — ответил Коровьев.

— Ах, так, так. Больше можете ничего не рассказывать, — сказал Воланд.

Тут в воздухе послышался шум, как от крыльев, прекратился внезапно, сменился звоном шпор и шагами, и на террасу вышли откуда-то Азазелло, а за ним амазонка Маргарита и мастер в плаще.

Воланд сделал повелительный жест, и свита отошла.

— Ну что же, — спросил Воланд у мастера, — вы все еще продолжаете считать меня гипнотизером, а себя жертвой галлюцинаций?

— О нет, — ответил мастер.

— Так в путь! — негромко сказал Воланд.

И тогда черные кони обрушились на террасу, ломая копытами плиты.

Воланд вскочил первый.

Тут Геллу обдало гипсовой пылью. Отскочил верх ручки у белой вазы. Другие пули стали хлестать по балюстраде...

Семь черных лошадей взвились в воздух и понеслись над крышами города, которые заструились и понеслись назад.

Маргарита и мастер закрыли глаза, отдавшись бешеной скачке, но через секунду почувствовали, что воздух не рвет волос, не слепит их.

Кони стояли на холме Воробьевых гор. У ног лежала река, за рекой пряничные башни монастыря, а дальше бесконечный, невероятный город, скопление кирпичных глыб, без конца без краю, испещренных ослепительными пятнами, осколками солнца, низко сидящего на западе, выжигающими окна в верхних этажах.

— Хотите взглянуть в последний раз? — спросил Воланд у мастера.

— Да, да, непременно, — ответил тот, соскочил, бренча шпорами, с коня, подбежал к обрыву, стал смотреть, и щемящая грусть на мгновение охватила сердце, но быстро сменилась сладостной тревогой, бродячим цыганским волнением. В мозгу мелькнуло слово «навсегда»... Волнение перешло в чувство обиды, но и она угасла и сменилась горделивым равнодушием, а оно — предчувствием вечного покоя.

Небо было чисто, радуга исчезла.

В то время как мастер смотрел на город, группа всадников дожидалась его в молчании.

Прервано оно было Бегемотом, как раз тогда, когда мастер повернулся от обрыва и пошел к всадникам.

— Разрешите, мессир, свистнуть перед скачкой, — обратился Бегемот к Воланду.

— Ты можешь испугать даму, — ответил Воланд, — и кроме того, без членовредительства. Все ваши безобразия кончены.

— Пошутить немного, пошутить.

— Нет, нет, — отозвалась Маргарита, — пусть он свистнет... Меня охватила грусть перед дальней дорогой. Слезы подступают к глазам...

Бегемот оживился, слез с коня, вложил пальцы в рот, надул щеки и свистнул. У Маргариты зазвенело в ушах, конь ее поднялся на дыбы, в роще посыпались сухие сучья с деревьев, взлетели вороны и воробьи, столб пыли понесло к реке, и видно было, как в речном трамвае, шедшем мимо пристани, снесло у пассажиров кепки и шляпы в воду.

Бегемот горделиво поглядел вокруг.

— Свистнуто, не скрою, — снисходительно заметил Коровьев, — действительно, но, если строго говорить, свистнуто средне!

— Я ведь не регент, — обиженно ответил Бегемот и подмигнул Маргарите.

— А дай-кось я попробую, — сказал Коровьев и вдруг вытянулся вверх, как резинка, из пальцев устроил какую-то хитрую фигуру, сунул ее в рот, завился, как винт, и, внезапно раскрутившись, свистнул.

Свиста этого Маргарита не услыхала, но она его увидела, в то время как ее с горячим конем бросило в сторону.

С корнем вырвало крайнее дерево в роще, ближайшее к Коровьеву. Земля покрылась трещинами до самой реки. Огромный пласт берега вместе с пристанью и ресторанчиком высадило в реку. Она вскипела, взметнулась, и ее выплеснул на противоположный берег, на траву речной трамвай с невредимыми пассажирами.

К ногам коня Маргариты швырнуло убитую свистом Фагота галку. И тогда над горами прокатился, как трубный голос, страшный голос Воланда:

— Пора! — И резкий свист и хохот Бегемота.

Кони рванулись, и пятеро всадников и две всадницы поднялись вверх и поскакали. Маргарита чувствовала, как ее конь грызет мундштук и тянет его. Она неслась в бешеном карьере рядом с мастером, шпорящим жеребца, с одной стороны, и Воландом — с другой. Плащ того несло над головами кавалькады, закрывая небосвод.

Маргарита на скаку обернулась и увидела, как город уходит в землю, одеваясь в туман и дым.

Глава 30 ПРОЩЕНИЕ

Боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами, как загадочны леса.

Кто много страдал, кто летел над этой землей, кто бремя нес на себе, тот это знает!

Притомились даже волшебные черные кони: они несли всадников медленно, и неизбежная ночь нагоняла их за спиною.

Чуя ее, притих Бегемот и, вцепившись в седло когтями, летел, распушив хвост.

Ночь поднималась с земли, закрывала черным платком реки и леса, зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу, не интересные и не нужные ни Маргарите, ни мастеру чужие огоньки.

Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то там, тот тут белые пятнышки звезд.

Ночь летела рядом, хватала скачущих за плащи, ночь разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, что меняется облик летящих к своей цели.

Когда же из-за края леса под ногами ее начала выходить полная луна, обманы исчезли, свалилась в болота, утонула в туманах мишурная колдовская одежда.

Тот, кто был Коровьевым-Фаготом, самозваным переводчиком таинственного и не нуждающегося в переводах иностранца, теперь не был бы узнан никем из тех, с кем, на беду их, он встречался в Москве.

На левой руке у Маргариты скакал, звеня золотой цепью, темный рыцарь с мрачным лицом. Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он думал о чем-то, летя за своим повелителем, он, вовсе не склонный к шуткам, в своем настоящем виде, он — ангел бездны, темный Абадонна.

Ночь оторвала пушистый хвост у Бегемота, содрала с него шерсть, расшвыряла ее в клочья. Тот, кто был котом, потешавшим мессира, оказался худеньким юношей, демоном-пажом, летящим, подставив свое лицо луне.

Азазелло летел, блистая сталью доспехов. Луна изменила и его лицо. Исчез бесследно нелепый, безобразный клык, кривоглазие оказалось фальшивым. Глаза у Азазелло были мертвые, пустые, черные. Лицо белое, холодное. Летел Азазелло — демон безводной пустыни, демон-убийца.

Геллу ночь закутала в плащ так, что ничего не было видно, кроме белой кисти, державшей повод. Гелла летела, как ночь, улетавшая в ночь.

Себя Маргарита не могла увидеть, но она хорошо видела, что сильнее всех изменился мастер.

Волосы его, забранные в косу, покрывала треугольная шляпа. Маргарита видела, как сверкали стремена, когда по ним пробегал встречный лунный луч, и звездочки шпор на ботфортах. Подобно юноше-демону, мастер летел, не сводя глаз с луны, улыбался ей, что-то бормотал.

Впереди кавалькады скакал Воланд, принявший свое настоящее обличье. Повод его коня был сделан из лунных цепей, конь его был глыбой мрака, грива тучей, шпоры звездами.

Так летели в молчании. Тогда местность внизу начала меняться.

Исчезли тусклые стальные пятна вод, потухли огоньки на равнинах. Вспучилась земля под ногами, и, громоздясь, к копытам лошадей стали подниматься горы.

Чем далее, тем угрюмее становились они. Исчезли леса на склонах, вместо них появились валуны, провалы, трещины, черные пропасти, в которые не проникал свет луны.

Перелетев через одну из них, Воланд осадил своего коня, и спутники его сделали то же. Маргарита увидела, что прилетела вместе со всеми на печальную и голую, камнями усеянную, залитую луною площадку. Кони шли, давя копытами кремни. Маргарита вгляделась и увидела кресло и в нем белую фигуру сидящего человека. Кавалькада подъехала ближе шагом. Сидящий был или глух, или слишком погружен в размышления. Он не слыхал, как содрогалась каменистая земля под тяжестью коней. И всадники подошли совсем близко.

Теперь Маргарита видела, что сидящий потирает руки, глядит незрячими глазами на диск луны. Маргарита видела, что рядом с креслом лежит громадная остроухая собака и спит.

У ног сидящего лежат черепки кувшина и простирается невысыхающая лужа, черно-красная лужа вина. Всадники сошли с коней и подошли поближе. Теперь Маргарита была в двух шагах от сидящего. Она узнала его, так же как и собаку, и губы ее прошептали: «Банга...» Мастер стоял рядом и жадно смотрел. Пилат пошевелился и все так же, не сводя глаз с зеленого светила, заговорил что-то на не понятном Маргарите языке и усмехнулся.

— Он говорит, — раздался голос Воланда и тяжело покатился по пустынным ущельям, — он говорит, что при луне ему нет покоя. Всё видит лунную дорогу и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Га-Ноцри, потому что чего-то не договорил. Но никто не приходит к нему, и поэтому он разговаривает сам с собою.

— Это тяжело, тяжело, — сказала Маргарита, — с тех пор он здесь?

— Что и говорить, — ответил Воланд, — с тех пор он здесь. Одеваются горы туманами, свистят метели, грохочут обвалы. Тогда он не виден. Но раз в году наступает весенняя ночь под воскресенье, ночь с полной луною. Тогда он становится тревожен, как сейчас, и пьет вино, говорит со своею безмолвной собакой, ждет кого-то до утра, и никто не приходит. Надежда всякий раз обманывает его. И обманывала его уже много сот раз. Да, пожалуй, это тяжело.

— Отпустите его! — вдруг крикнула Маргарита, и голос ее полетел над горами, ударился в скалы. Висящий где-то над обрывом подточенный черными водами камень сорвался и полетел в пропасть.

Когда затихли раскаты грома, скрежет и вой летящих осколков, Воланд ответил спокойно:

— Вы опять просите? — Он рассмеялся. — Вы нарушаете уговор!

— За одну луну терпеть сотни и тысячи лун, это жестоко... — сказала Маргарита.

— Это всегда так бывает, — отозвался Воланд, — но я успокою вас. Просить вам за него не нужно. За него уже попросили ранее вас...

— Иешуа! Иешуа! — в восторге вскричала Маргарита.

— И я приехал сюда с вами лишь для того, чтобы показать мастеру конец его романа, ибо, конечно, конца у него не было. Итак, — тут Воланд повернулся к мастеру, — давайте конец! Пора! Бьет воскресная полночь.

Мастер только и ждал этого. Он сложил руки рупором и крикнул пронзительно:

— Свободен! Иди, он ждет тебя!

Горы превратили его голос в гром, и этот же гром их разрушил. Скалистые проклятые безлесные стены упали. Осталась только площадка с каменным креслом. Над черной бездной, в которую ушли скалы, соткался в луне необъятный город с царствующей над ним глыбой мрамора с чешуйчатой золотой крышей. Рядом с городом протянулась к луне зеленая светящаяся лента дороги.

В белом плаще с кровавым подбоем человек вскочил с кресла и прокричал что-то хриплым сорванным голосом. Собака проснулась. Человек кинулся по лунной ленте и исчез в ней вместе с верным и единственным спутником Бангой.

— Он пошел на соединение с ним, — сказал Воланд, — и, полагаю, найдет наконец покой. Идите же и вы к нему! Вот дорога, скачите по ней вдвоем, с вашей верной подругой, и к утру воскресенья вы, романтический мастер, вы будете на своем месте. Там вы найдете дом, увитый плющом, сады в цвету и тихую реку.

Днем вы будете сидеть над своими ретортами и колбами, и, быть может, вам удастся создать гомункула.

А ночью при свечах вы будете слушать, как играют квартеты кавалеры. Там вы найдете покой! Прощайте! Я рад!

С последними словами Воланда Ершалаим ушел в бездну, а вслед за ним в ту же черную бездну кинулся Воланд, а за ним его свита.

Остался только мастер и подруга его на освещенном луною каменистом пике и один черный конь.

Мастер подсадил спутницу на седло, вскочил сзади нее, и конь прыгнул, обрушив осколки пика в тьму, но конь не сорвался, он перелетел через опасную вечную бездну и попал на лунную дорогу, струящуюся ввысь. Мастер одной рукой прижал к себе подругу и погнал шпорами коня к луне, к которой только что улетел прощенный в ночь воскресенья пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

22-23 мая 38 г.

Мастер и Маргарита

Окончательная редакция

…так кто ж ты, наконец?
— Я — часть той силы, что вечно хочет зла
и вечно совершает благо.

Гёте. «Фауст»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1 НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ

В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан. Первый из них — приблизительно сорокалетний, одетый в серенькую летнюю пару, — был маленького роста, темноволос, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а аккуратно выбритое лицо его украшали сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке — был в ковбойке, жеваных белых брюках и черных тапочках.

Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, редактор толстого художественного журнала и председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой Массолит, а молодой спутник его — поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный.

Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью «Пиво и воды».

Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, — никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.

— Дайте нарзану, — попросил Берлиоз.

— Нарзану нету, — ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.

— Пиво есть? — сиплым голосом осведомился Бездомный.

— Пиво привезут к вечеру, — ответила женщина.

— А что есть? — спросил Берлиоз.

— Абрикосовая, только теплая, — сказала женщина.

— Ну, давайте, давайте, давайте!..

Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.

Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновенье

Подготовка текста В.И.Лосева и Б.В.Соколова

куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки.

Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: «Что это со мной? Этого никогда не было... сердце шалит... я переутомился... Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск...»

И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок... Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.

Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: «Этого не может быть!..»

Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.

Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца.

— Фу ты черт! — воскликнул редактор. — Ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался! Даже что-то вроде галлюцинации было... — он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали. Однако постепенно он успокоился, обмахнулся платком и, произнеся довольно бодро: «Ну-с, итак...» — повел речь, прерванную питьем абрикосовой.

Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту поэму Иван Николаевич сочинил, и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактора нисколько не удовлетворил. Очертил Бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и тем не менее всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново. И вот теперь редактор читал поэту нечто вроде лекции об Иисусе, с тем чтобы подчеркнуть основную ошибку поэта.

Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича — изобразительная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он писал, — но Иисус у него получился ну совершенно живой, некогда существовавший Иисус, только, правда, снабженный всеми отрицательными чертами Иисус.

Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого как личности вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем — простые выдумки, самый обыкновенный миф.

Надо заметить, что редактор был человеком начитанным и очень умело указывал в своей речи на древних историков, например на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия, никогда ни словом не упоминавших о сущест-

вовании Иисуса. Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что то место в пятнадцатой книге, а главе 44-й знаменитых Тацитовых «Анналов», где говорится о казни Иисуса, — есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка.

Поэт, для которого все, сообщаемое редактором, являлось новостью, внимательно слушал Михаила Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые глаза, и лишь изредка икал, шепотом ругая абрикосовую воду.

— Нет ни одной восточной религии, — говорил Берлиоз, — в которой, как правило, непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно сделать главный упор...

Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, — поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике.

И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек.

Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во второй — что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает, что особых примет у человека не было.

Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится.

Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой — золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду — лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый — почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом — иностранец.

Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей.

«Немец...» — подумал Берлиоз.

«Англичанин... — подумал Бездомный. — Ишь, и не жарко ему в перчатках».

А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд, причем заметно стало, что видит это место он впервые и что оно его заинтересовало.

Он остановил взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце, затем перевел его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть, чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки.

— Ты, Иван, — говорил Берлиоз, — очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына Божия, но соль-то в том, что еще до Иисуса родился целый ряд сынов Божиих, как, скажем, финикийский Адонис, фригийский Аттис, персидский Митра. Коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса, и необходимо, чтобы ты, вместо рождения или, предположим, прихода волхвов, изобразил бы нелепые слухи об этом приходе. А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился!..

Тут Бездомный сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче, и в этот же момент Берлиоз прервал свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к писателям.

Те поглядели на него удивленно.

— Извините меня, пожалуйста, — заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, — что я, не будучи знаком, позволяю себе... но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что...

Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться.

«Нет, скорее француз...» — подумал Берлиоз.

«Поляк?..» — подумал Бездомный.

Необходимо добавить, что на поэта иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу скорее понравился, то есть не то чтобы понравился, а... как бы выразиться... заинтересовал, что ли.

— Разрешите мне присесть? — вежливо попросил иностранец, и приятели как-то невольно раздвинулись; иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор:

— Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? — спросил иностранец, обращая к Берлиозу свой левый зеленый глаз.

— Нет, вы не ослышались, — учтиво ответил Берлиоз, — именно это я и говорил.

— Ах, как интересно! — воскликнул иностранец.

«А какого черта ему надо?» — подумал Бездомный и нахмурился.

— А вы соглашались с вашим собеседником? — осведомился неизвестный, повернувшись вправо к Бездомному.

— На все сто! — подтвердил тот, любя выражаться вычурно и фигурально.

— Изумительно! — воскликнул непрошеный собеседник и, почему-то воровски оглянувшись и приглушив свой низкий голос, сказал: — Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога? — Он сделал испуганные глаза и прибавил: — Клянусь, я никому не скажу.

— Да, мы не верим в Бога, — чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз, — но об этом можно говорить совершенно свободно.

Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства:

— Вы —атеисты?!

— Да, мы — атеисты, — улыбаясь, ответил Берлиоз, а Бездомный подумал, рассердившись: «Вот прицепился, заграничный гусь!»

— Ох, какая прелесть! — вскричал удивительный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.

— В нашей стране атеизм никого не удивляет, — дипломатически вежливо сказал Берлиоз, — большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге.

Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом такие слова:

— Позвольте вас поблагодарить от всей души!

— За что это вы его благодарите? — заморгав, осведомился Бездомный.

— За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно, — многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак.

Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту.

«Нет, он не англичанин...» — подумал Берлиоз, а Бездомный подумал: «Где это он так наловчился говорить по-русски, вот что интересно!» — и опять нахмурился.

— Но, позвольте вас спросить, — после тревожного раздумья заговорил заграничный гость, — как же быть с доказательствами бытия Божия, коих, как известно, существует ровно пять?

— Увы! — с сожалением ответил Берлиоз. — Ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования Бога быть не может.

— Браво! — вскричал иностранец. — Браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство!

— Доказательство Канта, — тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, — также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством.

Берлиоз говорил, а сам в это время думал: «Но, все-таки, кто же он такой? И почему он так хорошо говорит по-русски?»

— Взять бы этого Канта да за такие доказательства года на три в Соловки! — совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич.

— Иван! — сконфузившись, шепнул Берлиоз.

Но предложение отправить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг.

— Именно, именно, — закричал он, и левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал, — ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: «Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут».

Берлиоз выпучил глаза. «За завтраком... Канту?.. Что это он плетет?» — подумал он.

— Но, — продолжал иноземец, не смущаясь изумлением Берлиоза и обращаясь к поэту, — отправить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже с лишком сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас!

— А жаль! — отозвался задира-поэт.

— И мне жаль, — подтвердил неизвестный, сверкая глазом, и продолжал: — Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?

— Сам человек и управляет, — поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.

— Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И в самом деле, — тут неизвестный повернулся к Берлиозу, — вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... — тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, — да, саркома, — жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, — и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать. Вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье — совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, — тут иностранец прищурился на Берлиоза, — пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, так

как неизвестно почему вдруг возьмет поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? — и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.

Берлиоз с великим вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, и какие-то тревожные мысли начали мучить его. «Он не иностранец... он не иностранец... — думал он, — он престранный субъект... но позвольте, кто же он такой?..»

— Вы хотите курить, как я вижу? — неожиданно обратился к Бездомному неизвестный. — Вы какие предпочитаете?

— А у вас разные, что ли, есть? — мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились.

— Какие предпочитаете? — повторил неизвестный.

— Ну, «Нашу марку», — злобно ответил Бездомный.

Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному:

— «Наша марка».

И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно «Наша марка», сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник.

Тут литераторы подумали разно. Берлиоз: «Нет, иностранец!», а Бездомный: «Вот черт его возьми, а!..»

Поэт и владелец портсигара закурили, а некурящий Берлиоз отказался.

«Надо будет ему возразить так, — решил Берлиоз, — да, человек смертен, никто против этого и не спорит. Но дело в том, что...»

Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец:

— Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.

«Какая-то нелепая постановка вопроса...» — помыслил Берлиоз и возразил:

— Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собою разумеется, что, если на Бронной мне свалится на голову кирпич...

— Кирпич ни с того ни с сего, — внушительно перебил неизвестный, — никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в каком случае не угрожает. Вы умрете другою смертью.

— Может быть, вы знаете, какой именно? — с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор. — И скажете мне?

— Охотно, — отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: «Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть — несчастье... вечер — семь...» — и громко и радостно объявил: — Вам отрежут голову!

Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развязного неизвестного, а Берлиоз спросил, криво усмехнувшись:

— А кто именно? Враги? Интервенты?

— Нет, — ответил собеседник, — русская женщина, комсомолка.

— Гм... — промычал раздраженный шуточкой неизвестного Берлиоз, — ну, это, извините, маловероятно.

— Прошу и меня извинить, — ответил иностранец, — но это так. Да, мне хотелось бы спросить вас, что вы будете делать сегодня вечером, если это не секрет?

— Секрета нет. Сейчас я зайду к себе на Садовую, а потом в десять часов вечера в Массолите состоится заседание, и я буду на нем председательствовать.

— Нет, этого быть никак не может, — твердо возразил иностранец.

— Это почему?

— Потому, — ответил иностранец и прищуренными глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю прохладу, бесшумно чертили черные птицы, — что Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится.

Тут, как вполне понятно, под липами наступило молчание.

— Простите, — после паузы заговорил Берлиоз, поглядывая на мелющего чепуху иностранца, — при чем здесь подсолнечное масло... и какая Аннушка?

— Подсолнечное масло здесь вот при чем, — вдруг заговорил Бездомный, очевидно, решив объявить незваному собеседнику войну, — вам не приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в лечебнице для душевнобольных?

— Иван!.. — тихо воскликнул Михаил Александрович.

Но иностранец ничуть не обиделся и превесело рассмеялся.

— Бывал, бывал, и не раз! — вскричал он, смеясь, но не сводя несмеющегося глаза с поэта. — Где я только не бывал! Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что вы уж сами узнайте это у него, Иван Николаевич!

— Откуда вы знаете, как меня зовут?

— Помилуйте, Иван Николаевич, кто же вас не знает? — Здесь иностранец вытащил из кармана вчерашний номер «Литературной газеты», и Иван Николаевич увидел на первой же странице свое изображение, а под ним свои собственные стихи. Но вчера еще радовавшее доказательство славы и популярности на этот раз ничуть не обрадовало поэта.

— Я извиняюсь, — сказал он, и лицо его потемнело, — вы не можете подождать минутку? Я хочу товарищу пару слов сказать.

— О, с удовольствием! — воскликнул неизвестный. — Здесь так хорошо под липами, а я, кстати, никуда и не спешу.

— Вот что, Миша, — зашептал поэт, оттащив Берлиоза в сторону, — он никакой не интурист, а шпион. Это русский эмигрант, перебравшийся к нам. Спрашивай у него документы, а то уйдет...

— Ты думаешь? — встревоженно шепнул Берлиоз, а сам подумал: «А ведь он прав...»

— Уж ты мне верь, — засипел ему в ухо поэт, — он дурачком прикидывается, чтобы выспросить кое-что. Ты слышишь, как он по-русски говорит, — поэт говорил и косился, следя, чтобы неизвестный не удрал, — идем, задержим его, а то уйдет...

И поэт за руку потянул Берлиоза к скамейке. Незнакомец не сидел, а стоял возле нее, держа в руках какую-то книжечку в темно-сером переплете, плотный конверт хорошей бумаги и визитную карточку.

— Извините меня, что я в пылу нашего спора забыл представить себя вам. Вот моя карточка, паспорт и приглашение приехать в Москву для консультации, — веско проговорил неизвестный, проницательно глядя на обоих литераторов.

Те сконфузились. «Черт, слышал все...» — подумал Берлиоз и вежливым жестом показал, что в предъявлении документов нет надобности. Пока иностранец совал их редактору, поэт успел разглядеть на карточке напечатанное иностранными буквами слово «профессор» и начальную букву фамилии — двойное «В» — «W».

— Очень приятно, — тем временем смущенно бормотал редактор, и иностранец спрятал документы в карман.

Отношения таким образом были восстановлены, и все трое вновь сели на скамью.

— Вы в качестве консультанта приглашены к нам, профессор? — спросил Берлиоз.

— Да, консультантом.

— Вы — немец? — осведомился Бездомный.

— Я-то?.. — переспросил профессор и вдруг задумался. — Да, пожалуй, немец... — сказал он.

— Вы по-русски здорово говорите, — заметил Бездомный.

— О, я вообще полиглот и знаю очень большое количество языков, — ответил профессор.

— А у вас какая специальность? — осведомился Берлиоз.

— Я — специалист по черной магии.

«На тебе!..» — стукнуло в голове у Михаила Александровича.

— И... и вас по этой специальности пригласили к нам? — заикнувшись, спросил он.

— Да, по этой пригласили, — подтвердил профессор и пояснил: — Тут в государственной библиотеке обнаружены подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века. Так вот требуется, чтобы я их разобрал. Я — единственный в мире специалист.

— А-а! Вы историк? — с большим облегчением и уважением спросил Берлиоз.

— Я — историк, — подтвердил ученый и добавил ни к селу ни к городу: — Сегодня вечером на Патриарших будет интересная история!

И опять крайне удивились и редактор и поэт, а профессор поманил обоих к себе и, когда они наклонились к нему, прошептал:

— Имейте в виду, что Иисус существовал.

— Видите ли, профессор, — принужденно улыбнувшись, отозвался Берлиоз, — мы уважаем ваши большие знания, но сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения.

— А не надо никаких точек зрения, — ответил странный профессор, — просто он существовал, и больше ничего.

— Но требуется же какое-нибудь доказательство... — начал Берлиоз.

— И доказательств никаких не требуется, — ответил профессор и заговорил негромко, причем его акцент почему-то пропал: — Все просто: в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана...

Глава 2 ПОНТИЙ ПИЛАТ

В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Более всего на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, и все теперь предвещало нехороший день, так как запах этот начал преследовать прокуратора с рассвета. Прокуратору казалось, что розовый запах источают кипарисы и пальмы в саду, что к запаху кожаного снаряжения и пота от конвоя примешивается проклятая розовая струя. От флигелей в тылу дворца, где расположилась пришедшая с прокуратором в Ершалаим первая когорта Двенадцатого Молниеносного легиона, заносило дымком в колоннаду через верхнюю площадку сада, и к горьковатому дыму, свидетельствовавшему о том, что кашевары в кентуриях начали готовить обед, примешивался все тот же жирный розовый дух.

«О боги, боги, за что вы наказываете меня?.. Да, нет сомнений, это она, опять она, непобедимая, ужасная болезнь... гемикрания, при которой болит полголовы... от нее нет средств, нет никакого спасения... попробую не двигать головой...»

На мозаичном полу у фонтана уже было приготовлено кресло, и прокуратор, не глядя ни на кого, сел в него и протянул руку в сторону. Секретарь почтительно вложил в эту руку кусок пергамента. Не удержавшись от болезненной гримасы, прокуратор искоса, бегло проглядел написанное, вернул пергамент секретарю и с трудом проговорил:

— Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали?

— Да, прокуратор, — ответил секретарь.

— Что же он?

— Он отказался дать заключение по делу и смертный приговор Синедриона направил на ваше утверждение, — объяснил секретарь.

Прокуратор дернул щекой и сказал тихо:

— Приведите обвиняемого.

И сейчас же с площадки сада под колонны на балкон двое легионеров ввели и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта — ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным любопытством глядел на прокуратора.

Тот помолчал, потом тихо спросил по-арамейски:

— Так это ты подговаривал народ разрушить ершалаимский храм?

Прокуратор при этом сидел как каменный, и только губы его шевелились чуть-чуть при произнесении слов. Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой.

Человек со связанными руками несколько подался вперед и начал говорить:

— Добрый человек! Поверь мне...

Но прокуратор, по-прежнему не шевелясь и ничуть не повышая голоса, тут же перебил его:

— Это меня ты называешь добрым человеком? Ты ошибаешься. В Ершалаиме все шепчут про меня, что я свирепое чудовище, и это совершенно верно. — И так же монотонно прибавил: — Кентуриона Крысобоя ко мне.

Всем показалось, что на балконе потемнело, когда кентурион первой кентурии Марк, прозванный Крысобоем, предстал перед прокуратором. Крысобой был на голову выше самого высокого из солдат легиона и настолько широк в плечах, что совершенно заслонил еще невысокое солнце.

Прокуратор обратился к кентуриону по-латыни:

— Преступник называет меня «добрый человек». Выведите его отсюда на минуту, объясните ему, как надо разговаривать со мной. Но не калечить.

И все, кроме неподвижного прокуратора, проводили взглядом Марка Крысобоя, который махнул рукою арестованному, показывая, что тот должен следовать за ним.

Крысобоя вообще все провожали взглядами, где бы он ни появлялся, из-за его роста, а те, кто видел его впервые, из-за того еще, что лицо кентуриона было изуродовано: нос его некогда был разбит ударом германской палицы.

Простучали тяжелые сапоги Марка по мозаике, связанный пошел за ним бесшумно, полное молчание настало в колоннаде, и слышно было, как ворковали голуби на площадке сада у балкона да еще вода пела замысловатую приятную песню в фонтане.

Прокуратору захотелось подняться, подставить висок под струю и так замереть. Но он знал, что и это ему не поможет.

Выведя арестованного из-под колонн в сад, Крысобой вынул из рук легионера, стоявшего у подножия бронзовой статуи, бич и, несильно размахнувшись, ударил арестованного по плечам. Движение

кентуриона было небрежно и легко, но связанный мгновенно рухнул наземь, как будто ему подрубили ноги, захлебнулся воздухом, краска сбежала с его лица, и глаза обессмыслились.

Марк одною левой рукой, легко, как пустой мешок, вздернул на воздух упавшего, поставил его на ноги и заговорил гнусаво, плохо выговаривая арамейские слова:

— Римского прокуратора называть — игемон. Других слов не говорить. Смирно стоять. Ты понял меня или ударить тебя?

Арестованный пошатнулся, но совладал с собою, краска вернулась, он перевел дыхание и ответил хрипло:

— Я понял тебя. Не бей меня.

Через минуту он вновь стоял перед прокуратором.

Прозвучал тусклый, больной голос:

— Имя?

— Мое? — торопливо отозвался арестованный, всем существом выражая готовность отвечать толково, не вызывать более гнева.

Прокуратор сказал негромко:

— Мое мне известно. Не притворяйся более глупым, чем ты есть. Твое.

— Иешуа, — поспешно ответил арестант.

— Прозвище есть?

— Га-Ноцри.

— Откуда ты родом?

— Из города Гамалы, — ответил арестант, головой показывая, что там, где-то далеко, направо от него, на севере, есть город Гамала.

— Кто ты по крови?

— Я точно не знаю, — живо ответил арестованный, — я не помню моих родителей. Мне говорили, что мой отец был сириец...

— Где ты живешь постоянно?

— У меня нет постоянного жилища, — застенчиво ответил арестант, — я путешествую из города в город.

— Это можно выразить короче, одним словом — бродяга, — сказал прокуратор и спросил: — Родные есть?

— Нет никого. Я один в мире.

— Знаешь ли грамоту?

— Да.

— Знаешь ли какой-либо язык, кроме арамейского?

— Знаю. Греческий.

Вспухшее веко приподнялось, подернутый дымкой страдания глаз уставился на арестованного. Другой глаз остался закрытым.

Пилат заговорил по-гречески:

— Так это ты собирался разрушить здание храма и призывал к этому народ?

Тут арестант опять оживился, глаза его перестали выражать испуг, и он заговорил по-гречески:

— Я, доб... — тут ужас мелькнул в глазах арестанта оттого, что он едва не оговорился, — я, игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не подговаривал на это бессмысленное действие.

Удивление выразилось на лице секретаря, сгорбившегося над низеньким столом и записывавшего показания. Он поднял голову, но тотчас же опять склонил ее к пергаменту.

— Множество разных людей стекается в этот город к празднику. Бывают среди них маги, астрологи, предсказатели и убийцы, — говорил монотонно прокуратор, — а попадаются и лгуны. Ты, например, лгун. Записано ясно: подговаривал разрушить храм. Так свидетельствуют люди.

— Эти добрые люди, — заговорил арестант и, торопливо прибавив: — игемон, — продолжал: — ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной.

Наступило молчание. Теперь уже оба больные глаза тяжело глядели на арестанта.

— Повторяю тебе, но в последний раз: перестань притворяться сумасшедшим, разбойник, — произнес Пилат мягко и монотонно, — за тобою записано немного, но записанного достаточно, чтобы тебя повесить.

— Нет, нет, игемон, — весь напрягаясь в желании убедить, говорил арестованный, — ходит, ходит один с козлиным пергаментом и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в этот пергамент и ужаснулся. Решительно ничего из того, что там записано, я не говорил. Я его умолял: сожги ты, бога ради, свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал.

— Кто такой? — брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой.

— Левий Матвей, — охотно объяснил арестант, — он был сборщиком податей, и я с ним встретился впервые на дороге в Виффагии, там, где углом выходит фиговый сад, и разговорился с ним. Первоначально он отнесся ко мне неприязненно и даже оскорблял меня, то есть думал, что оскорбляет, называя меня собакой, — тут арестант усмехнулся, — я лично не вижу ничего дурного в этом звере, чтобы обижаться на это слово...

Секретарь перестал записывать и исподтишка бросил удивленный взгляд, но не на арестованного, а на прокуратора.

— ...однако, послушав меня, он стал смягчаться, — продолжал Иешуа, — наконец бросил деньги на дорогу и сказал, что пойдет со мною путешествовать...

Пилат усмехнулся одною щекой, оскалив желтые зубы, и промолвил, повернувшись всем туловищем к секретарю:

— О, город Ершалаим! Чего только не услышишь в нем! Сборщик податей, вы слышите, бросил деньги на дорогу!

Не зная, как ответить на это, секретарь счел нужным повторить улыбку Пилата.

— А он сказал, что деньги ему отныне стали ненавистны, — объяснил Иешуа странные действия Левия Матвея и добавил: — И с тех пор он стал моим спутником.

Все еще скалясь, прокуратор поглядел на арестованного, затем на солнце, неуклонно подымающееся вверх над конными статуями гип-

подрома, лежащего далеко внизу направо, и вдруг в какой-то тошной муке подумал о том, что проще всего было бы изгнать с балкона этого странного разбойника, произнеся только два слова: «Повесить его». Изгнать и конвой, уйти из колоннады внутрь дворца, велеть затемнить комнату, повалиться на ложе, потребовать холодной воды, жалобным голосом позвать собаку Банга, пожаловаться ей на гемикранию. И мысль об яде вдруг соблазнительно мелькнула в больной голове прокуратора.

Он смотрел мутными глазами на арестованного и некоторое время молчал, мучительно вспоминая, зачем на утреннем безжалостном ершалаимском солнцепеке стоит перед ним арестант с обезображенным побоями лицом и какие еще никому не нужные вопросы ему придется задавать.

— Левий Матвей? — хриплым голосом спросил больной и закрыл глаза.

— Да, Левий Матвей, — донесся до него высокий, мучающий его голос.

— А вот что ты все-таки говорил про храм толпе на базаре?

Голос отвечавшего, казалось, колол Пилату в висок, был невыразимо мучителен, и этот голос говорил:

— Я, игемон, говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Сказал так, чтобы было понятнее.

— Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?

И тут прокуратор подумал: «О боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном на суде... Мой ум не служит мне больше...» И опять померещилась ему чаша с темной жидкостью. «Яду мне, яду...»

И вновь он услышал голос:

— Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти. Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает. Ты не можешь даже и думать о чем-нибудь и мечтаешь только о том, чтобы пришла твоя собака, единственное, по-видимому, существо, к которому ты привязан. Но мучения твои сейчас кончатся, голова пройдет.

Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова.

Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот сторонится от солнца.

Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на желтоватом бритом лице его выразился ужас. Но он тотчас же подавил его своею волей и вновь опустился в кресло.

Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего более не записывал, а только, вытянув шею, как гусь, старался не проронить ни одного слова.

— Ну вот, все и кончилось, — говорил арестованный, благожелательно поглядывая на Пилата, — и я чрезвычайно этому рад. Я сове-

товал бы тебе, игемон, оставить на время дворец и погулять пешком где-нибудь в окрестностях, ну хотя бы в садах на Елеонской горе. Гроза начнется... — арестант повернулся, прищурился на солнце, — ...позже, к вечеру. Прогулка принесла бы тебе большую пользу, а я с удовольствием сопровождал бы тебя. Мне пришли в голову кое-какие новые мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты производишь впечатление очень умного человека.

Секретарь смертельно побледнел и уронил свиток на пол.

— Беда в том, — продолжал никем не останавливаемый связанный, — что ты слишком замкнут и окончательно потерял веру в людей. Ведь нельзя же, согласись, поместить всю свою привязанность в собаку. Твоя жизнь скудна, игемон, — и тут говорящий позволил себе улыбнуться.

Секретарь думал теперь только об одном, верить ли ему ушам своим или не верить. Приходилось верить. Тогда он постарался представить себе, в какую именно причудливую форму выльется гнев вспыльчивого прокуратора при этой неслыханной дерзости арестованного. И этого секретарь представить себе не мог, хотя и хорошо знал прокуратора.

Тогда раздался сорванный, хриповатый голос прокуратора, по-латыни сказавшего:

— Развяжите ему руки.

Один из конвойных легионеров стукнул копьем, передал его другому, подошел и снял веревки с арестанта. Секретарь поднял свиток, решил пока что ничего не записывать и ничему не удивляться.

— Сознайся, — тихо по-гречески спросил Пилат, — ты великий врач?

— Нет, прокуратор, я не врач, — ответил арестант, с наслаждением потирая измятую и опухшую багровую кисть руки.

Круто исподлобья Пилат буравил глазами арестанта, и в этих глазах уже не было мути, в них появились всем знакомые искры.

— Я не спросил тебя, — сказал Пилат, — ты, может быть, знаешь и латинский язык?

— Да, знаю, — ответил арестант.

Краска выступила на желтоватых щеках Пилата, и он спросил по-латыни:

— Как ты узнал, что я хотел позвать собаку?

— Это очень просто, — ответил арестант по-латыни, — ты водил рукой по воздуху, — и арестант повторил жест Пилата, — как будто хотел погладить, и губы...

— Да, — сказал Пилат.

Помолчали. Потом Пилат задал вопрос по-гречески:

— Итак, ты врач?

— Нет, нет, — живо ответил арестант, — поверь мне, я не врач.

— Ну, хорошо. Если хочешь это держать в тайне, держи. К делу это прямого отношения не имеет. Так ты утверждаешь, что не призывал разрушить... или поджечь, или каким-либо иным способом уничтожить храм?

— Я, игемон, никого не призывал к подобным действиям, повторяю. Разве я похож на слабоумного?

— О да, ты не похож на слабоумного, — тихо ответил прокуратор и улыбнулся какой-то страшной улыбкой, — так поклянись, что этого не было.

— Чем хочешь ты, чтобы я поклялся? — спросил, очень оживившись, развязанный.

— Ну, хотя бы жизнью твоею, — ответил прокуратор, — ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это.

— Не думаешь ли ты, что ты ее подвесил, игемон? — спросил арестант. — Если это так, ты очень ошибаешься.

Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:

— Я могу перерезать этот волосок.

— И в этом ты ошибаешься, — светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, — согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?

— Так, так, — улыбнувшись, сказал Пилат, — теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Ершалаиме ходили за тобою по пятам. Не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. Кстати, скажи: верно ли, что ты явился в Ершалаим через Сузские ворота верхом на осле, сопровождаемый толпою черни, кричавшей тебе приветствия как бы некоему пророку? — тут прокуратор указал на свиток пергамента.

Арестант недоуменно поглядел на прокуратора.

— У меня и осла-то никакого нет, игемон, — сказал он. — Пришел я в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении одного Левия Матвея, и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал.

— Не знаешь ли ты таких, — продолжал Пилат, не сводя глаз с арестанта, — некоего Дисмаса, другого — Гестаса и третьего — Вар-раввана?

— Этих добрых людей я не знаю, — ответил арестант.

— Правда?

— Правда.

— А теперь скажи мне, что это ты все время употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь?

— Всех, — ответил арестант, — злых людей нет на свете.

— Впервые слышу об этом, — сказал Пилат, усмехнувшись, — но, может быть, я мало знаю жизнь!.. Можете дальнейшее не записывать, — обратился он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал, и продолжал говорить арестанту: — В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом?

— Нет, я своим умом дошел до этого.

— И ты проповедуешь это?

— Да.

— А вот, например, кентурион Марк, его прозвали Крысобоем, — он — добрый?

— Да, — ответил арестант, — он, правда, несчастливый человек. С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил?

— Охотно могу сообщить это, — отозвался Пилат, — ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок, и, если бы не врубилась с фланга кавалерийская турма, а командовал ею я, — тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с Крысобоем. Это было в бою при Идиставизо, в Долине Дев.

— Если бы с ним поговорить, — вдруг мечтательно сказал арестант, — я уверен, что он резко изменился бы.

— Я полагаю, — отозвался Пилат, — что мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью, и первый, кто об этом позаботится, буду я.

В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка, сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль вить там гнездо.

В течение ее полета в светлой теперь и легкой голове прокуратора сложилась формула. Она была такова: игемон разобрал дело бродячего философа Иешуа, по кличке Га-Ноцри, и состава преступления в нем не нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, происшедшими в Ершалаиме недавно. Бродячий философ оказался душевнобольным. Вследствие этого смертный приговор Га-Ноцри, вынесенный Малым Синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, что безумные утопические речи Га-Ноцри могут быть причиною волнений в Ершалаиме, прокуратор удаляет Иешуа из Ершалаима и подвергнет его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора. Оставалось это продиктовать секретарю.

Крылья ласточки фыркнули над самой головой игемона, птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль.

— Всё о нем? — спросил Пилат у секретаря.

— Нет, к сожалению, — неожиданно ответил секретарь и подал Пилату другой кусок пергамента.

— Что еще там? — спросил Пилат и нахмурился.

Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу или случилось что-либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, а глаза как будто провалились.

Опять-таки виновата была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них, только у прокуратора что-то случилось со зрением. Так, померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец. На лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью. Запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Ершалаима вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг в густейшей зелени капрейских садов. И со слухом совершилось

что-то странное — как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: «Закон об оскорблении величества...»

Мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: «Погиб!..», потом: «Погибли!..» И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то бессмертии, причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тоску.

Пилат напрягся, изгнал видение, вернулся взором на балкон, и опять перед ним оказались глаза арестанта.

— Слушай, Га-Ноцри, — заговорил прокуратор, глядя на Иешуа как-то странно: лицо прокуратора было грозно, но глаза тревожны, — ты когда-либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или... не... говорил? — Пилат протянул слово «не» несколько больше, чем это полагается на суде, и послал Иешуа в своем взгляде какую-то мысль, которую как бы хотел внушить арестанту.

— Правду говорить легко и приятно, — заметил арестант.

— Мне не нужно знать, — придушенным, злым голосом отозвался Пилат, — приятно или неприятно тебе говорить правду. Но тебе придется ее говорить. Но, говоря, взвешивай каждое слово, если не хочешь не только неизбежной, но и мучительной смерти.

Никто не знает, что случилось с прокуратором Иудеи, но он позволил себе поднять руку, как бы заслоняясь от солнечного луча, и за этой рукой, как за щитом, послать арестанту какой-то намекающий взор.

— Итак, — говорил он, — отвечай, знаешь ли ты некоего Иуду из Кириафа и что именно ты говорил ему, если говорил, о кесаре?

— Дело было так, — охотно начал рассказывать арестант, — позавчера вечером я познакомился возле храма с одним молодым человеком, который назвал себя Иудой из города Кириафа. Он пригласил меня к себе в дом в Нижнем Городе и угостил...

— Добрый человек? — спросил Пилат, и дьявольский огонь сверкнул в его глазах.

— Очень добрый и любознательный человек, — подтвердил арестант, — он выказал величайший интерес к моим мыслям, принял меня весьма радушно...

— Светильники зажег... — сквозь зубы в тон арестанту проговорил Пилат, и глаза его при этом мерцали.

— Да, — немного удивившись осведомленности прокуратора, продолжал Иешуа, — попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. Его этот вопрос чрезвычайно интересовал.

— И что же ты сказал? — спросил Пилат. — Или ты ответишь, что ты забыл, что говорил? — но в тоне Пилата была уже безнадежность.

— В числе прочего я говорил, — рассказывал арестант, — что всякая власть является насилием над людьми и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть.

— Далее!

— Далее ничего не было, — сказал арестант, — тут вбежали люди, стали вязать меня и повели в тюрьму.

Секретарь, стараясь не проронить ни слова, быстро чертил на пергаменте слова.

— На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия! — сорванный и больной голос Пилата разросся.

Прокуратор с ненавистью почему-то глядел на секретаря и конвой.

— И не тебе, безумный преступник, рассуждать о ней! — Тут Пилат вскричал: — Вывести конвой с балкона! — И, повернувшись к секретарю, добавил: — Оставьте меня с преступником наедине, здесь государственное дело.

Конвой поднял копья и, мерно стуча подкованными калигами, вышел с балкона в сад, а за конвоем вышел и секретарь.

Молчание на балконе некоторое время нарушала только песня воды в фонтане. Пилат видел, как вздувалась над трубочкой водяная тарелка, как отламывались ее края, как падали струйками.

Первым заговорил арестант:

— Я вижу, что совершилась какая-то беда из-за того, что я говорил с этим юношей из Кириафа. У меня, игемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль.

— Я думаю, — странно усмехнувшись, ответил прокуратор, — что есть еще кое-кто на свете, кого тебе следовало бы пожалеть более, чем Иуду из Кириафа, и кому придется гораздо хуже, чем Иуде!.. Итак, Марк Крысобой, холодный и убежденный палач, люди, которые, как я вижу, — прокуратор указал на изуродованное лицо Иешуа, — тебя били за твои проповеди, разбойники Дисмас и Гестас, убившие со своими присными четырех солдат, и, наконец, грязный предатель Иуда — все они добрые люди?

— Да, — ответил арестант.

— И настанет царство истины?

— Настанет, игемон, —убежденно ответил Иешуа.

— Оно никогда не настанет! — вдруг закричал Пилат таким страшным голосом, что Иешуа отшатнулся. Так много лет тому назад в Долине Дев кричал Пилат своим всадникам слова: «Руби их! Руби их! Великан Крысобой попался!» Он еще повысил сорванный командами голос, выкликая слова так, чтобы их слышали в саду: — Преступник! Преступник! Преступник!

А затем, понизив голос, он спросил:

— Иешуа Га-Ноцри, веришь ли ты в каких-нибудь богов?

— Бог один, — ответил Иешуа, — в него я верю.

— Так помолись ему! Покрепче помолись! Впрочем... — тут голос Пилата сел, — это не поможет. Жены нет? — почему-то тоскливо спросил Пилат, не понимая, что с ним происходит.

— Нет, я один.

— Ненавистный город... — вдруг почему-то пробормотал прокуратор и передернул плечами, как будто озяб, а руки потер, как бы обмывая их, — если бы тебя зарезали перед твоим свиданием с Иудою из Кириафа, право, это было бы лучше.

— А ты бы меня отпустил, игемон, — неожиданно попросил арестант, и голос его стал тревожен, — я вижу, что меня хотят убить.

Лицо Пилата исказилось судорогой, он обратил к Иешуа воспаленные, в красных жилках белки глаз и сказал:

— Ты полагаешь, несчастный, что римский прокуратор отпустит человека, говорившего то, что говорил ты? О боги, боги! Или ты думаешь, что я готов занять твое место? Я твоих мыслей не разделяю! И слушай меня: если с этой минуты ты произнесешь хотя бы слово, заговоришь с кем-нибудь, берегись меня! Повторяю тебе: берегись!

— Игемон...

— Молчать! — вскричал Пилат и бешеным взором проводил ласточку, опять впорхнувшую на балкон. — Ко мне! — крикнул Пилат.

И когда секретарь и конвой вернулись на свои места, Пилат объявил, что утверждает смертный приговор, вынесенный в собрании Малого Синедриона преступнику Иешуа Га-Ноцри, и секретарь записал сказанное Пилатом.

Через минуту перед прокуратором стоял Марк Крысобой. Ему прокуратор приказал сдать преступника начальнику тайной службы и при этом передать ему распоряжение прокуратора о том, чтобы Иешуа Га-Ноцри был отделен от других осужденных, а также о том, чтобы команде тайной службы было под страхом тяжкой кары запрещено о чем бы то ни было разговаривать с Иешуа или отвечать на какие-либо его вопросы.

По знаку Марка вокруг Иешуа сомкнулся конвой и вывел его с балкона.

Затем перед прокуратором предстал светлобородый красавец с орлиными перьями в гребне шлема, со сверкающими на груди золотыми львиными мордами, с золотыми же бляшками на портупее меча, в зашнурованной до колен обуви на тройной подошве и в наброшенном на левое плечо багряном плаще. Это был командующий легионом легат.

Его прокуратор спросил о том, где сейчас находится себастийская когорта. Легат сообщил, что себастийцы держат оцепление на площади перед гипподромом, где будет объявлен народу приговор над преступниками.

Тогда прокуратор распорядился, чтобы легат выделил из римской когорты две кентурии. Одна из них, под командою Крысобоя, должна будет конвоировать преступников, повозки с приспособлениями для казни и палачей при отправлении на Лысую Гору, а при прибытии на нее войти в верхнее оцепление. Другая же должна быть сейчас же отправлена на Лысую Гору и начинать оцепление немедленно. Для этой же цели, то есть для охраны Горы, прокуратор попросил легата отправить вспомогательный кавалерийский полк — сирийскую алу.

Когда легат покинул балкон, прокуратор приказал секретарю пригласить во дворец президента Синедриона, двух членов его и начальника храмовой стражи Ершалаима, но при этом добавил, что просит устроить так, чтобы до совещания со всеми этими людьми он мог говорить с президентом раньше и наедине.

Приказание прокуратора было исполнено быстро и точно, и солнце, с какою-то необыкновенною яростью сжигавшее в эти дни Ершалаим, не успело еще приблизиться к своей наивысшей точке, когда на верхней террасе сада у двух мраморных белых львов, сторожившых лестницу, встретились прокуратор и исполняющий обязанности президента Синедриона первосвященник иудейский Иосиф Каифа.

В саду было тихо. Но, выйдя из-под колоннады на заливаемую солнцем верхнюю площадь сада с пальмами на чудовищных слоновых ногах, площадь, с которой перед прокуратором развернулся весь ненавистный ему Ершалаим с висячими мостами, крепостями и, самое главное, с не поддающейся никакому описанию глыбой мрамора с золотою драконовой чешуею вместо крыши — храмом Ершалаимским, — острым слухом уловил прокуратор далеко и внизу, там, где каменная стена отделяла нижние террасы дворцового сада от городской площади, низкое ворчание, над которым взмывали по временам слабенькие, тонкие не то стоны, не то крики.

Прокуратор понял, что там на площади уже собралась несметная толпа взволнованных последними беспорядками жителей Ершалаима, что эта толпа в нетерпении ожидает вынесения приговора и что в ней кричат беспокойные продавцы воды.

Прокуратор начал с того, что пригласил первосвященника на балкон, с тем чтобы укрыться от безжалостного зноя, но Кайфа вежливо извинился и объяснил, что сделать этого не может в канун праздника. Пилат накинул капюшон на свою чуть лысеющую голову и начал разговор. Разговор этот шел по-гречески.

Пилат сказал, что он разобрал дело Иешуа Га-Ноцри и утвердил смертный приговор.

Таким образом, к смертной казни, которая должна совершиться сегодня, приговорены трое разбойников: Дисмас, Гестас, Вар-равван и, кроме того, этот Иешуа Га-Ноцри. Первые двое, вздумавшие подбивать народ на бунт против кесаря, взяты с боем римскою властью, числятся за прокуратором, и, следовательно, о них здесь речь идти не будет. Последние же, Вар-равван и Га-Ноцри, схвачены местной властью и осуждены Синедрионом. Согласно закону, согласно обычаю, одного из этих двух преступников нужно будет отпустить на свободу в честь наступающего сегодня великого праздника пасхи.

Итак, прокуратор желает знать, кого из двух преступников намерен освободить Синедрион: Вар-раввана или Га-Ноцри?

Каифа склонил голову в знак того, что вопрос ему ясен, и ответил:

— Синедрион просит отпустить Вар-раввана.

Прокуратор хорошо знал, что именно так ему ответит первосвященник, но задача его заключалась в том, чтобы показать, что такой ответ вызывает его изумление.

Пилат это и сделал с большим искусством. Брови на надменном лице поднялись, прокуратор прямо в глаза поглядел первосвященнику с удивлением.

— Признаюсь, этот ответ меня поразил, — мягко заговорил прокуратор, — боюсь, нет ли здесь недоразумения.

Пилат объяснился. Римская власть ничуть не покушается на права духовной местной власти, первосвященнику это хорошо известно, но в данном случае налицо явная ошибка. И в исправлении этой ошибки римская власть, конечно, заинтересована.

В самом деле: преступления Вар-раввана и Га-Ноцри совершенно не сравнимы по тяжести. Если второй, явно сумасшедший человек, повинен в произнесении нелепых речей, смущавших народ в Ершалаиме и других некоторых местах, то первый отягощен гораздо значительнее. Мало того, что он позволил себе прямые призывы к мятежу, но он еще убил стража при попытках брать его. Вар-равван несравненно опаснее, нежели Га-Ноцри.

В силу всего изложенного прокуратор просит первосвященника пересмотреть решение и оставить на свободе того из двух осужденных, кто менее вреден, а таким, без сомнения, является Га-Ноцри. Итак?..

Каифа сказал тихим, но твердым голосом, что Синедрион внимательно ознакомился с делом и вторично сообщает, что намерен освободить Вар-раввана.

— Как? Даже после моего ходатайства? Ходатайства того, в лице которого говорит римская власть? Первосвященник, повтори в третий раз.

— И в третий раз сообщаю, что мы освобождаем Вар-раввана, — тихо сказал Каифа.

Все было кончено, и говорить более было не о чем. Га-Ноцри уходил навсегда, и страшные, злые боли прокуратора некому излечить; от них нет средства, кроме смерти. Но не эта мысль поразила сейчас Пилата. Все та же непонятная тоска, что уже приходила на балконе, пронизала все его существо. Он тотчас постарался ее объяснить, и объяснение было странное: показалось смутно прокуратору, что он чего-то не договорил с осужденным, а может быть, чего-то не дослушал.

Пилат прогнал эту мысль, и она улетела в одно мгновенье, как и прилетела. Она улетела, а тоска осталась необъясненной, ибо не могла же ее объяснить мелькнувшая, как молния, и тут же погасшая какая-то короткая другая мысль: «Бессмертие... пришло бессмертие...» Чье бессмертие пришло? Этого не понял прокуратор, но мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепеке.

— Хорошо, — сказал Пилат, — да будет так.

Тут он оглянулся, окинул взором видимый ему мир и удивился происшедшей перемене. Пропал отягощенный розами куст, пропали кипарисы, окаймляющие верхнюю террасу, и гранатовое дерево, и белая статуя в зелени, да и сама зелень. Поплыла вместо этого всего какая-то багровая гуща, в ней закачались водоросли и двинулись куда-то, а вместе с ними двинулся и сам Пилат. Теперь его уносил, удушая и обжигая, самый страшный гнев — гнев бессилия.

— Тесно мне, — вымолвил Пилат, — тесно мне!

Он холодною влажной рукой рванул пряжку с ворота плаща, и та упала на песок.

— Сегодня душно, где-то идет гроза, — отозвался Каифа, не сводя глаз с покрасневшего лица прокуратора и предвидя все муки, которые еще предстоят. «О, какой страшный месяц нисан в этом году!»

— Нет, — сказал Пилат, — это не оттого, что душно, а тесно мне стало с тобой, Каифа. — И, сузив глаза, Пилат улыбнулся и добавил: — Побереги себя, первосвященник.

Темные глаза первосвященника блеснули, и, не хуже, чем ранее прокуратор, он выразил на своем лице удивление.

— Что слышу я, прокуратор? — гордо и спокойно ответил Каифа. — Ты угрожаешь мне после вынесенного приговора, утвержденного тобою самим? Может ли это быть? Мы привыкли к тому, что римский прокуратор выбирает слова, прежде чем что-нибудь сказать. Не услышал бы нас кто-нибудь, игемон?

Пилат мертвыми глазами поглядел на первосвященника и, оскалившись, изобразил улыбку.

— Что ты, первосвященник! Кто же может услышать нас сейчас здесь? Разве я похож на юного бродячего юродивого, которого сегодня казнят? Мальчик ли я, Каифа? Знаю, что говорю и где говорю. Оцеплен сад, оцеплен дворец, так что мышь не проникнет ни в какую щель! Да не только мышь, не проникнет даже этот, как его... из города Кириафа. Кстати, ты знаешь такого, первосвященник? Да... если бы такой проник сюда, он горько пожалел бы себя, в этом ты мне, конечно, поверишь? Так знай же, что не будет тебе, первосвященник, отныне покоя! Ни тебе, ни народу твоему, — и Пилат указал вдаль направо, туда, где в высоте пылал храм, — это я говорю тебе — Пилат Понтийский, всадник Золотое Копье!

— Знаю, знаю! — бесстрашно ответил чернобородый Каифа, и глаза его сверкнули. Он вознес руку к небу и продолжал: — Знает народ иудейский, что ты ненавидишь его лютою ненавистью и много мучений ты ему причинишь, но вовсе ты его не погубишь! Защитит его Бог! Услышит нас, услышит всемогущий кесарь, укроет нас от губителя Пилата!

— О нет! — воскликнул Пилат, и с каждым словом ему становилось легче и легче: не нужно было больше притворяться, не нужно было подбирать слова. — Слишком много ты жаловался кесарю на меня, и настал теперь мой час, Каифа! Теперь полетит весть от меня, да не наместнику в Антиохию и не в Рим, а прямо на Капрею, самому императору, весть о том, как вы заведомых мятежников в Ершалаиме прячете от смерти. И не водою из Соломонова пруда, как хотел я для вашей пользы, напою я тогда Ершалаим! Нет, не водою! Вспомни, как мне пришлось из-за вас снимать щиты с вензелями императора со стен, перемещать войска, пришлось, видишь, самому приехать, глядеть, что у вас тут творится! Вспомни мое слово: увидишь ты здесь, первосвященник, не одну когорту в Ершалаиме, нет! Придет под стены города полностью легион Фульмината, подойдет арабская конница, тогда услышишь ты горький плач и стенания! Вспомнишь ты тогда спасенного Вар-раввана

и пожалеешь, что послал на смерть философа с его мирною проповедью!

Лицо первосвященника покрылось пятнами, глаза горели. Он, подобно прокуратору, улыбнулся, скалясь, и ответил:

— Веришь ли ты, прокуратор, сам тому, что сейчас говоришь? Нет, не веришь! Не мир, не мир принес нам обольститель народа в Ершалаим, и ты, всадник, это прекрасно понимаешь. Ты хотел его выпустить затем, чтобы он смутил народ, над верою надругался и подвел народ под римские мечи! Но я, первосвященник иудейский, покуда жив, не дам на поругание веру и защищу народ! Ты слышишь, Пилат? — И тут Каифа грозно поднял руку: — Прислушайся, прокуратор!

Каифа смолк, и прокуратор услыхал опять как бы шум моря, подкатывающего к самым стенам сада Ирода Великого. Этот шум поднимался снизу к ногам и в лицо прокуратору. А за спиною у него, там, за крыльями дворца, слышались тревожные трубные сигналы, тяжкий хруст сотен ног, железное бряцание, — тут прокуратор понял, что римская пехота уже выходит, согласно его приказу, стремясь на страшный для бунтовщиков и разбойников предсмертный парад.

— Ты слышишь, прокуратор? — тихо повторил первосвященник. — Неужели ты скажешь мне, что все это, — тут первосвященник поднял обе руки, и темный капюшон свалился с его головы, — вызвал жалкий разбойник Вар-равван?

Прокуратор тыльной стороной кисти руки вытер мокрый, холодный лоб, поглядел в землю, потом, прищурившись в небо, увидел, что раскаленный шар почти над самой его головой, а тень Каифы совсем съежилась у львиного хвоста, и сказал тихо и равнодушно:

— Дело идет к полудню. Мы увлеклись беседою, а между тем надо продолжать.

В изысканных выражениях извинившись перед первосвященником, он попросил его присесть на скамью в тени магнолии и обождать, пока он вызовет остальных лиц, нужных для последнего краткого совещания, и отдаст еще одно распоряжение, связанное с казнью.

Каифа вежливо поклонился, приложив руку к сердцу, и остался в саду, а Пилат вернулся на балкон. Там ожидавшему его секретарю он велел пригласить в сад легата легиона, трибуна когорты, а также двух членов Синедриона и начальника храмовой стражи, ожидавших вызова на нижней террасе сада в круглой беседке с фонтаном. К этому Пилат добавил, что он тотчас выйдет в сад и сам, и удалился внутрь дворца.

Пока секретарь собирал совещание, прокуратор в затененной от солнца темными шторами комнате имел свидание с каким-то человеком, лицо которого было наполовину прикрыто капюшоном, хотя в комнате лучи солнца и не могли его беспокоить. Свидание это было чрезвычайно кратко. Прокуратор тихо сказал человеку несколько слов, после чего тот удалился, а Пилат через колоннаду прошел в сад.

Там в присутствии всех, кого он желал видеть, прокуратор торжественно и сухо подтвердил, что он утверждает смертный приговор

Иешуа Га-Ноцри, и официально осведомился у членов Синедриона о том, кого из преступников угодно оставить в живых. Получив ответ, что это — Вар-равван, прокуратор сказал:

— Очень хорошо, — и велел секретарю тут же занести это в протокол, сжал в руке поднятую секретарем с песка пряжку и торжественно сказал: — Пора!

Тут все присутствующие тронулись вниз по широкой мраморной лестнице меж стен роз, источавших одуряющий аромат, спускаясь все ниже и ниже к дворцовой стене, к воротам, выводящим на большую, гладко вымощенную площадь, в конце которой виднелись колонны и статуи ершалаимского ристалища.

Лишь только группа, выйдя из сада на площадь, поднялась на обширный, царящий над площадью каменный помост, Пилат, оглядываясь сквозь прищуренные веки, разобрался в обстановке. То пространство, которое он только что прошел, то есть пространство от дворцовой стены до помоста, было пусто, но зато впереди себя Пилат площади уже не увидел — ее съела толпа. Она залила бы и самый помост и то очищенное пространство, если бы тройной ряд себастийских солдат по левую руку Пилата и солдат итурейской вспомогательной когорты по правую — не держал ее.

Итак, Пилат поднялся на помост, сжимая машинально в кулаке ненужную пряжку и щурясь. Щурился прокуратор не оттого, что солнце жгло ему глаза, нет! Он не хотел почему-то видеть группу осужденных, которых, как он это прекрасно знал, сейчас вслед за ним возводят на помост.

Лишь только белый плащ с багряной подбивкой возник в высоте на каменном утесе над краем человеческого моря, незрячему Пилату в уши ударила звуковая волна: «Га-а-а...» Она началась негромко, зародившись где-то вдали у гипподрома, потом стала громоподобной и, продержавшись несколько секунд, начала спадать. «Увидели меня», — подумал прокуратор. Волна не дошла до низшей точки и неожиданно стала опять вырастать и, качаясь, поднялась выше первой, и на второй волне, как на морском валу вскипает пена, вскипел свист и отдельные, сквозь гром различимые, женские стоны. «Это их ввели на помост... — подумал Пилат, — а стоны оттого, что задавили нескольких женщин, когда толпа подалась вперед».

Он выждал некоторое время, зная, что никакою силой нельзя заставить умолкнуть толпу, пока она не выдохнет все, что накопилось у нее внутри, и не смолкнет сама.

И когда этот момент наступил, прокуратор выбросил вверх правую руку, и последний шум сдуло с толпы.

Тогда Пилат набрал, сколько мог, горячего воздуху в грудь и закричал, и сорванный его голос понесло над тысячами голов:

— Именем кесаря императора!..

Тут в уши ему ударил несколько раз железный рубленый крик — в когортах, взбросив вверх копья и значки, страшно прокричали солдаты:

— Да здравствует кесарь!!

Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце. Под веками у него вспыхнул зеленый огонь, от него загорелся мозг, и над толпою полетели хриплые арамейские слова:

— Четверо преступников, арестованных в Ершалаиме за убийства, подстрекательства к мятежу и оскорбление законов и веры, приговорены к позорной казни — повешению на столбах! И эта казнь сейчас совершится на Лысой Горе! Имена преступников — Дисмас, Гестас, Вар-равван и Га-Ноцри. Вот они перед вами!

Пилат указал вправо рукой, не видя никаких преступников, но зная, что они там, на месте, где им нужно быть.

Толпа ответила длинным гулом как бы удивления или облегчения. Когда же он потух, Пилат продолжал:

— Но казнены из них будут только трое, ибо, согласно закону и обычаю, в честь праздника пасхи одному из осужденных, по выбору Малого Синедриона и по утверждению римской власти, великодушный кесарь император возвращает его презренную жизнь!

Пилат выкрикивал слова и в то же время слушал, как на смену гулу идет великая тишина. Теперь ни вздоха, ни шороха не доносилось до его ушей, и даже настало мгновенье, когда Пилату показалось, что все кругом вообще исчезло. Ненавидимый им город умер, и только он один стоит, сжигаемый отвесными лучами, упершись лицом в небо. Пилат еще придержал тишину, а потом начал выкрикивать:

— Имя того, кого сейчас при вас отпустят на свободу...

Он сделал еще одну паузу, задерживая имя, проверяя, все ли сказал, потому что знал, что мертвый город воскреснет после произнесения имени счастливца и никакие дальнейшие слова слышны быть не могут.

«Всё? — беззвучно шепнул себе Пилат. — Всё. Имя!»

И, раскатив букву «р» над молчащим городом, он прокричал:

— Вар-равван!

Тут ему показалось, что солнце, зазвенев, лопнуло над ним и залило ему огнем уши. В этом огне бушевали рев, визги, стоны, хохот и свист.

Пилат повернулся и пошел по помосту назад к ступеням, не глядя ни на что, кроме разноцветных шашек настила под ногами, чтобы не оступиться. Он знал, что теперь у него за спиной на помост градом летят бронзовые монеты, финики, что в воющей толпе люди, давя друг друга, лезут на плечи, чтобы увидеть своими глазами чудо — как человек, который уже был в руках смерти, вырвался из этих рук! Как легионеры снимают с него веревки, невольно причиняя ему жгучую боль в вывихнутых на допросе руках, как он, морщась и охая, все же улыбается бессмысленной сумасшедшей улыбкой.

Он знал, что в это же время конвой уже ведет к боковым ступеням трех со связанными руками, чтобы выводить их на дорогу, ведущую на запад, за город, к Лысой Горе. Лишь оказавшись за помостом, в тылу его, Пилат открыл глаза, зная, что он теперь в безопасности — осужденных он видеть уже не мог.

К стону начинавшей утихать толпы приметались и были различимы пронзительные выкрики глашатаев, повторявших одни на ара-

мейском, другие на греческом языках все то, что прокричал с помоста прокуратор. Кроме того, до слуха его долетел дробный, стрекочущий и приближающийся конский топот и труба, что-то коротко и весело прокричавшая. Этим звукам ответил сверлящий свист мальчишек с кровель домов улицы, выводящей с базара на гипподромскую площадь, и крики «берегись!».

Солдат, одиноко стоявший в очищенном пространстве площади со значком в руке, тревожно взмахнул им, и тогда прокуратор, легат легиона, секретарь и конвой остановились.

Кавалерийская ала, забирая все шире рыси, вылетела на площадь, чтобы пересечь ее в сторонке, минуя скопище народа, и по переулку под каменной стеной, по которой стлался виноград, кратчайшей дорогой проскакать к Лысой Горе.

Летящий рысью маленький, как мальчик, темный, как мулат, командир алы — сириец, равняясь с Пилатом, что-то тонко крикнул и выхватил из ножен меч. Злая вороная взмокшая лошадь шарахнулась, поднялась на дыбы. Вбросив меч в ножны, командир ударил плетью лошадь по шее, выровнял ее и поскакал в переулок, переходя в галоп. За ним по три в ряд полетели всадники в туче пыли, запрыгали кончики легких бамбуковых пик, мимо прокуратора понеслись казавшиеся особенно смуглыми под белыми тюрбанами лица с весело оскаленными, сверкающими зубами.

Поднимая до неба пыль, ала ворвалась в переулок, и мимо Пилата последним проскакал солдат с пылающей на солнце трубою за спиной.

Закрываясь от пыли рукой и недовольно морща лицо, Пилат двинулся дальше, устремляясь к воротам дворцового сада, а за ним двинулся легат, секретарь и конвой.

Было около десяти часов утра.

Глава 3 СЕДЬМОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

— Да, было около десяти часов утра, досточтимый Иван Николаевич, — сказал профессор.

Поэт провел рукою по лицу, как человек, только что очнувшийся, и увидел, что на Патриарших вечер.

Вода в пруде почернела, и легкая лодочка уже скользила по ней, и слышался плеск весла и смешки какой-то гражданки в лодочке. В аллеях на скамейках появилась публика, но опять-таки на всех трех сторонах квадрата, кроме той, где были наши собеседники.

Небо над Москвой как бы выцвело, и совершенно отчетливо была видна в высоте полная луна, но еще не золотая, а белая. Дышать стало гораздо легче, и голоса под липами теперь звучали мягче, по-вечернему.

«Как же это я не заметил, что он успел сплести целый рассказ?.. — подумал Бездомный в изумлении. — Ведь вот уже и вечер! А может быть, это и не он рассказывал, а просто я заснул и все это мне приснилось?»

Но надо полагать, что все-таки рассказывал профессор, иначе придется допустить, что то же самое приснилось и Берлиозу, потому что тот сказал, внимательно всматриваясь в лицо иностранца:

— Ваш рассказ чрезвычайно интересен, профессор, хотя он и совершенно не совпадает с евангельскими рассказами.

— Помилуйте, — снисходительно усмехнувшись, отозвался профессор, — уж кто-кто, а вы-то должны знать, что ровно ничего из того, что написано в Евангелиях, не происходило на самом деле никогда, и если мы начнем ссылаться на Евангелия как на исторический источник... — Он еще раз усмехнулся, и Берлиоз осекся, потому что буквально то же самое он говорил Бездомному, идя с тем по Бронной к Патриаршим прудам.

— Это так, — ответил Берлиоз, — но боюсь, что никто не может подтвердить, что и то, что вы нам рассказывали, происходило на самом деле.

— О нет! Это может кто подтвердить! — начиная говорить ломаным языком, чрезвычайно уверенно отозвался профессор и неожиданно таинственно поманил обоих приятелей к себе поближе.

Те наклонились к нему с обеих сторон, и он сказал, но уже без всякого акцента, который у него, черт знает почему, то пропадал, то появлялся:

— Дело в том... — тут профессор пугливо оглянулся и заговорил шепотом, — что я лично присутствовал при всем этом. И на балконе был у Понтия Пилата, и в саду, когда он с Каифой разговаривал, и на помосте, но только тайно, инкогнито, так сказать, так что прошу вас — никому ни слова и полнейший секрет!.. Тс!

Наступило молчание, и Берлиоз побледнел.

— Вы... вы сколько времени в Москве? — дрогнувшим голосом спросил он.

— А я только что сию минуту приехал в Москву, — растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый — пуст, черен и мертв.

«Вот тебе все и объяснилось! — подумал Берлиоз в смятении. — Приехал сумасшедший немец или только что спятил на Патриарших. Вот так история!»

Да, действительно, объяснилось все: и страннейший завтрак у покойного философа Канта, и дурацкие речи про подсолнечное масло и Аннушку, и предсказания о том, что голова будет отрублена, и все прочее, — профессор был сумасшедший.

Берлиоз тотчас сообразил, что следует делать. Откинувшись на спинку скамьи, он за спиною профессора замигал Бездомному — не противоречь, мол, ему, — но растерявшийся поэт этих сигналов не понял.

— Да, да, да, — возбужденно говорил Берлиоз, — впрочем, все это возможно!.. Даже очень возможно, и Понтий Пилат, и балкон, и тому подобное... А вы одни приехали или с супругой?

— Один, один, я всегда один, — горько ответил профессор.

— А где же ваши вещи, профессор? — вкрадчиво спрашивал Берлиоз. — В «Метрополе»? Вы где остановились?

— Я? Нигде, — ответил полоумный немец, тоскливо и дико блуждая зеленым глазом по Патриаршим прудам.

— Как? А... где же вы будете жить?

— В вашей квартире, — вдруг развязно ответил сумасшедший и подмигнул.

— Я... я очень рад, — забормотал Берлиоз, — но, право, у меня вам будет неудобно... А в «Метрополе» чудесные номера, это первоклассная гостиница...

— А дьявола тоже нет? — вдруг весело осведомился больной у Ивана Николаевича.

— И дьявола...

— Не противоречь! — одними губами шепнул Берлиоз, обрушиваясь за спину профессора и гримасничая.

— Нету никакого дьявола! — растерявшись от всей этой муры, вскричал Иван Николаевич не то, что нужно. — Вот наказание! Перестаньте вы психовать!

Тут безумный расхохотался так, что из липы над головами сидящих выпорхнул воробей.

— Ну, уж это положительно интересно, — трясясь от хохота, проговорил профессор, — что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет! — Он перестал хохотать внезапно и, что вполне понятно при душевной болезни, после хохота впал в другую крайность — раздражился и крикнул сурово: — Так, стало быть, так-таки и нету?

— Успокойтесь, успокойтесь, успокойтесь, профессор, — бормотал Берлиоз, опасаясь волновать больного, — вы посидите минуточку здесь с товарищем Бездомным, а я только сбегаю на угол, звякну по телефону, а потом мы вас и проводим, куда вы хотите. Ведь вы не знаете города...

План Берлиоза следует признать правильным: нужно было добежать до ближайшего телефона-автомата и сообщить в бюро иностранцев о том, что вот, мол, приезжий из-за границы консультант сидит на Патриарших прудах в состоянии явно ненормальном. Так вот, необходимо принять меры, а то получается какая-то неприятная чепуха.

— Позвонить? Ну что же, позвоните, — печально согласился больной и вдруг страстно попросил: — Но умоляю вас на прощанье, поверьте хоть в то, что дьявол существует! О большем я уж вас и не прошу. Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство, и уж самое надежное! И вам оно сейчас будет предъявлено.

— Хорошо, хорошо, — фальшиво-ласково говорил Берлиоз и, подмигнув расстроенному поэту, которому вовсе не улыбалась мысль караулить сумасшедшего немца, устремился к тому выходу с Патриарших, что находится на углу Бронной и Ермолаевского переулка.

А профессор тотчас же как будто выздоровел и посветлел.

— Михаил Александрович! — крикнул он вдогонку Берлиозу.

Тот вздрогнул, обернулся, но успокоил себя мыслью, что его имя и отчество известны профессору также из каких-нибудь газет. А профессор прокричал, сложив руки рупором:

— Не прикажете ли, я велю сейчас дать телеграмму вашему дяде в Киев?

И опять передернуло Берлиоза. Откуда же сумасшедший знает о существовании киевского дяди? Ведь об этом ни в каких газетах уж наверно ничего не сказано. Эге-ге, уж не прав ли Бездомный? А ну как документы эти липовые? Ах, до чего странный субъект... Звонить, звонить! Сейчас же звонить! Его быстро разъяснят!

И, ничего не слушая более, Берлиоз побежал дальше.

Тут у самого выхода на Бронную со скамейки навстречу редактору поднялся в точности тот самый гражданин, что тогда при свете солнца вылепился из жирного зноя.

Только сейчас он был уже не воздушный, а обыкновенный, плотский, и в начинающихся сумерках Берлиоз отчетливо разглядел, что усишки у него как куриные перья, глазки маленькие, иронические и полупьяные, а брючки клетчатые, подтянутые настолько, что видны грязные белые носки.

Михаил Александрович так и попятился, но утешил себя тем соображением, что это глупое совпадение и что вообще сейчас об этом некогда размышлять.

— Турникет ищете, гражданин? — треснувшим тенором осведомился клетчатый тип. — Сюда пожалуйте! Прямо и выйдете куда надо. С вас бы за указание на четверть литра... поправиться... бывшему регенту! — кривляясь, субъект наотмашь снял жокейский свой картузик.

Берлиоз не стал слушать попрошайку и ломаку регента, подбежал к турникету и взялся за него рукой. Повернув его, он уже собирался шагнуть на рельсы, как в лицо ему брызнул красный и белый свет: загорелась в стеклянном ящике надпись «Берегись трамвая!».

Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий по новопроложенной линии с Ермолаевского на Бронную. Повернув и выйдя на прямую, он внезапно осветился изнутри электричеством, взвыл и наддал.

Осторожный Берлиоз, хоть и стоял безопасно, решил вернуться за рогатку, переложил руку на вертушке, сделал шаг назад. И тотчас рука его скользнула и сорвалась, нога неудержимо, как по льду, поехала по булыжнику, откосом сходящему к рельсам, другую ногу подбросило, и Берлиоза выбросило на рельсы.

Стараясь за что-нибудь ухватиться, Берлиоз упал навзничь, несильно ударившись затылком о булыжник, и успел увидеть в высоте, но справа или слева — он уже не сообразил, — позлащенную луну. Он успел повернуться на бок, бешеным движением в тот же миг подтянув ноги к животу, и, повернувшись, разглядел несущееся на него с неудержимой силой совершенно белое от ужаса лицо женщины-вагоновожатой и ее алую повязку. Берлиоз не вскрикнул, но вокруг не-

го отчаянными женскими голосами завизжала вся улица. Вожатая рванула электрический тормоз, вагон сел носом в землю, после этого мгновенно подпрыгнул, и с грохотом и звоном из окон полетели стекла. Тут в мозгу у Берлиоза кто-то отчаянно крикнул: «Неужели?..» Еще раз, и в последний раз, мелькнула луна, но уже разваливаясь на куски, и затем стало темно.

Трамвай накрыл Берлиоза, и под решетку Патриаршей аллеи выбросило на булыжный откос круглый темный предмет. Скатившись с этого откоса, он запрыгал по булыжникам Бронной.

Это была отрезанная голова Берлиоза.

Глава 4 ПОГОНЯ

Утихли истерические женские крики, отсверлили свистки милиции, две санитарные машины увезли: одна — обезглавленное тело и отрезанную голову в морг, другая — раненную осколками стекла красавицу вожатую, дворники в белых фартуках убрали осколки стекол и засыпали песком кровавые лужи, а Иван Николаевич как упал на скамейку, не добежав до турникета, так и остался на ней.

Несколько раз он пытался подняться, но ноги его не слушались — с Бездомным приключилось что-то вроде паралича.

Поэт бросился бежать к турникету, как только услыхал первый вопль, и видел, как голова подскакивала на мостовой. От этого он до того обезумел, что, упавши на скамью, укусил себя за руку до крови. Про сумасшедшего немца он, конечно, забыл и старался понять только одно, как это может быть, что вот только что он говорил с Берлиозом, а через минуту — голова...

Взволнованные люди пробегали мимо поэта по аллее, что-то восклицая, но Иван Николаевич их слов не воспринимал.

Однако неожиданно возле него столкнулись две женщины, и одна из них, востроносая и простоволосая, закричала над самым ухом поэта другой женщине так:

— Аннушка, наша Аннушка! С Садовой! Это ее работа! Взяла она в бакалее подсолнечного масла да литровку-то о вертушку и разбей! Всю юбку изгадила... Уж она ругалась, ругалась! А он-то, бедный, стало быть, поскользнулся да и поехал на рельсы...

Из всего выкрикнутого женщиной в расстроенный мозг Ивана Николаевича вцепилось одно слово: «Аннушка»...

— Аннушка... Аннушка?.. — забормотал поэт, тревожно озираясь. — Позвольте, позвольте...

К слову «Аннушка» привязались слова «подсолнечное масло», а затем почему-то «Понтий Пилат». Пилата поэт отринул и стал вязать цепочку, начиная со слова «Аннушка». И цепочка эта связалась очень быстро и тотчас привела к сумасшедшему профессору.

Виноват! Да ведь он же сказал, что заседание не состоится, потому что Аннушка разлила масло. И, будьте любезны, оно не состоится! Этого мало: он прямо сказал, что Берлиозу отрежет голову женщина?! Да, да, да! Ведь вожатая-то была женщина! Что же это такое? А?

Не оставалось даже зерна сомнения в том, что таинственный консультант точно знал заранее всю картину ужасной смерти Берлиоза. Тут две мысли пронизали мозг поэта. Первая: «Он отнюдь не сумасшедший! Все это глупости!», и вторая: «Уж не подстроил ли он все это сам?!»

Но, позвольте спросить, каким образом?!

— Э, нет! Это мы узнаем!

Сделав над собой великое усилие, Иван Николаевич поднялся со скамьи и бросился назад, туда, где разговаривал с профессором. И оказалось, что тот, к счастью, еще не ушел.

На Бронной уже зажглись фонари, а над Патриаршими светила золотая луна, и в лунном, всегда обманчивом свете Ивану Николаевичу показалось, что тот стоит, держа под мышкою не трость, а шпагу.

Отставной втируша-регент сидел на том самом месте, где сидел еще недавно сам Иван Николаевич. Теперь регент нацепил себе на нос явно не нужное пенсне, в котором одного стекла вовсе не было, а другое треснуло. От этого клетчатый гражданин стал еще гаже, чем был тогда, когда указывал Берлиозу путь на рельсы.

С холодеющим сердцем Иван приблизился к профессору и, заглянув ему в лицо, убедился в том, что никаких признаков сумасшествия в этом лице нет и не было.

— Сознавайтесь, кто вы такой? — глухо спросил Иван.

Иностранец насупился, глянул так, как будто впервые видит поэта, и ответил неприязненно:

— Не понимай... русски говорить...

— Они не понимают! — ввязался со скамейки регент, хоть его никто и не просил объяснять слова иностранца.

— Не притворяйтесь! — грозно сказал Иван и почувствовал холод под ложечкой. — Вы только что прекрасно говорили по-русски. Вы не немец и не профессор! Вы — убийца и шпион! Документы! — яростно крикнул Иван.

Загадочный профессор брезгливо скривил и без того кривой рот и пожал плечами.

— Гражданин! — опять встрял мерзкий регент. — Вы что же это волнуете интуриста? За это с вас строжайше взыщется! —А подозрительный профессор сделал надменное лицо, повернулся и пошел от Ивана прочь.

Иван почувствовал, что теряется. Задыхаясь, он обратился к регенту:

— Эй, гражданин, помогите задержать преступника! Вы обязаны это сделать!

Регент чрезвычайно оживился, вскочил и заорал:

— Который преступник? Где он? Иностранный преступник? — глазки регента радостно заиграли. — Этот? Ежели он преступник,

то первым долгом следует кричать: «Караул!» А то он уйдет. А ну, давайте вместе! Разом! — и тут регент разинул пасть.

Растерявшийся Иван послушался штукаря-регента и крикнул «караул!», а регент его надул, ничего не крикнул.

Одинокий, хриплый крик Ивана хороших результатов не принес. Две каких-то девицы шарахнулись от него в сторону, и он услышал слово «пьяный!».

— А, так ты с ним заодно? — впадая в гнев, прокричал Иван. — Ты что же это, глумишься надо мной? Пусти!

Иван кинулся вправо, и регент — тоже вправо! Иван — влево, и тот мерзавец туда же.

— Ты нарочно под ногами путаешься? — зверея, закричал Иван. — Я тебя самого предам в руки милиции!

Иван сделал попытку ухватить негодяя за рукав, но промахнулся и ровно ничего не поймал. Регент как сквозь землю провалился.

Иван ахнул, глянул вдаль и увидел ненавистного неизвестного. Тот был уже у выхода в Патриарший переулок, и притом не один. Более чем сомнительный регент успел присоединиться к нему. Но это еще не все: третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот, громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усами. Тройка двинулась в Патриарший, причем кот тронулся на задних лапах.

Иван устремился за злодеями вслед и тотчас убедился, что догнать их будет очень трудно.

Тройка мигом проскочила по переулку и оказалась на Спиридоновке. Сколько Иван ни прибавлял шагу, расстояние между преследуемыми и им ничуть не сокращалось. И не успел поэт опомниться, как после тихой Спиридоновки очутился у Никитских ворот, где положение его ухудшилось. Тут уже была толчея, Иван налетел на койкого из прохожих, был обруган. Злодейская же шайка к тому же здесь решила применить излюбленный бандитский прием — уходить врассыпную.

Регент с великою ловкостью на ходу ввинтился в автобус, летящий к Арбатской площади, и ускользнул. Потеряв одного из преследуемых, Иван сосредоточил свое внимание на коте и видел, как этот странный кот подошел к подножке моторного вагона «А», стоящего на остановке, нагло отсадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень и даже сделал попытку всучить кондукторше гривенник через открытое по случаю духоты окно.

Поведение кота настолько поразило Ивана, что он в неподвижности застыл у бакалейного магазина на углу и тут вторично, но гораздо сильнее, был поражен поведением кондукторши. Та, лишь только увидела кота, лезущего в трамвай, со злобой, от которой даже тряслась, закричала:

— Котам нельзя! С котами нельзя! Брысь! Слезай, а то милицию позову!

Ни кондукторшу, ни пассажиров не поразила самая суть дела: не то, что кот лезет в трамвай, в чем было бы еще полбеды, а то, что он собирается платить!

Кот оказался не только платежеспособным, но и дисциплинированным зверем. При первом же окрике кондукторши он прекратил наступление, снялся с подножки и сел на остановке, потирая гривенником усы. Но лишь кондукторша рванула веревку и трамвай тронулся, кот поступил как всякий, кого изгоняют из трамвая, но которому все-таки ехать-то надо. Пропустив мимо себя все три вагона, кот вскочил на заднюю дугу последнего, лапой вцепился в какую-то кишку, выходящую из стенки, и укатил, сэкономив таким образом гривенник.

Занявшись паскудным котом, Иван едва не потерял самого главного из трех — профессора. Но, по счастью, тот не успел улизнуть. Иван увидел серый берет в гуще в начале Большой Никитской, или улицы Герцена. В мгновенье ока Иван и сам оказался там. Однако удачи не было. Поэт и шагу прибавлял, и рысцой начинал бежать, толкая прохожих, и ни на сантиметр не приблизился к профессору.

Как ни был расстроен Иван, все же его поражала та сверхъестественная скорость, с которой происходила погоня. И двадцати секунд не прошло, как после Никитских ворот Иван Николаевич был уже ослеплен огнями на Арбатской площади. Еще несколько секунд, и вот какой-то темный переулок с покосившимися тротуарами, где Иван Николаевич грохнулся и разбил колено. Опять освещенная магистраль — улица Кропоткина, потом переулок, потом Остоженка и еще переулок, унылый, гадкий и скупо освещенный. И вот здесь-то Иван Николаевич окончательно потерял того, кто был ему так нужен. Профессор исчез.

Иван Николаевич смутился, но ненадолго, потому что вдруг сообразил, что профессор непременно должен оказаться в доме № 13 и обязательно в квартире 47.

Ворвавшись в подъезд, Иван Николаевич взлетел на второй этаж, немедленно нашел эту квартиру и позвонил нетерпеливо. Ждать пришлось недолго: открыла Ивану дверь какая-то девочка лет пяти и, ни о чем не справляясь у пришедшего, немедленно ушла куда-то.

В громадной, до крайности запущенной передней, слабо освещенной малюсенькой угольной лампочкой под высоким, черным от грязи потолком, на стене висел велосипед без шин, стоял громадный ларь, обитый железом, а на полке над вешалкой лежала зимняя шапка, и длинные ее уши свешивались вниз. За одной из дверей гулкий мужской голос в радиоаппарате сердито кричал что-то стихами.

Иван Николаевич ничуть не растерялся в незнакомой обстановке и прямо устремился в коридор, рассуждая так: «Он, конечно, спрятался в ванной». В коридоре было темно. Потыкавшись в стены, Иван увидел слабенькую полоску света внизу под дверью, нашарил ручку и несильно рванул ее. Крючок отскочил, и Иван оказался именно в ванной и подумал о том, что ему повезло.

Однако повезло не так уж, как бы нужно было! На Ивана пахнуло влажным теплом, и, при свете углей, тлеющих в колонке, он разглядел большие корыта, висящие на стене, и ванну, всю в черных страшных пятнах от сбитой эмали. Так вот, в этой ванне стояла голая гражданка, вся в мыле и с мочалкой в руках. Она близоруко прищурилась

на ворвавшегося Ивана и, очевидно, обознавшись в адском освещении, сказала тихо и весело:

— Кирюшка! Бросьте трепаться! Что вы, с ума сошли?.. Федор Иванович сейчас вернется. Вон отсюда сейчас же! — и махнула на Ивана мочалкой.

Недоразумение было налицо, и повинен в нем был, конечно, Иван Николаевич. Но признаться в этом он не пожелал и, воскликнув укоризненно: «Ах, развратница!..» — тут же зачем-то очутился в кухне. В ней никого не оказалось, и на плите в полумраке стояло безмолвно около десятка потухших примусов. Один лунный луч, просочившись сквозь пыльное, годами не вытираемое окно, скупо освещал тот угол, где в пыли и паутине висела забытая икона, из-за киота которой высовывались концы двух венчальных свечей. Под большой иконой висела пришпиленная маленькая — бумажная.

Никому не известно, какая тут мысль овладела Иваном, но только, прежде чем выбежать на черный ход, он присвоил одну из этих свечей, а также и бумажную иконку. Вместе с этими предметами он покинул неизвестную квартиру, что-то бормоча, конфузясь при мысли о том, что он только что пережил в ванной, невольно стараясь угадать, кто бы был этот наглый Кирюшка и не ему ли принадлежит противная шапка с ушами.

В пустынном безотрадном переулке поэт оглянулся, ища беглеца, но того нигде не было. Тогда Иван твердо сказал самому себе:

— Ну конечно, он на Москве-реке! Вперед!

Следовало бы, пожалуй, спросить Ивана Николаевича, почему он полагает, что профессор именно на Москве-реке, а не где-нибудь в другом месте. Да горе в том, что спросить-то было некому. Омерзительный переулок был совершенно пуст.

Через самое короткое время можно было увидеть Ивана Николаевича на гранитных ступенях амфитеатра Москвы-реки.

Сняв с себя одежду, Иван поручил ее какому-то приятному бородачу, курящему самокрутку возле рваной белой толстовки и расшнурованных стоптанных ботинок. Помахав руками, чтобы остыть, Иван ласточкой кинулся в воду. Дух перехватило у него, до того была холодна вода, и мелькнула даже мысль, что не удастся, пожалуй, выскочить на поверхность. Однако выскочить удалось, и, отдуваясь и фыркая, с круглыми от ужаса глазами, Иван Николаевич начал плавать в пахнущей нефтью черной воде меж изломанных зигзагов береговых фонарей.

Когда мокрый Иван приплясал по ступеням к тому месту, где осталось под охраной бородача его платье, выяснилось, что похищено не только второе, но и первый, то есть сам бородач. Точно на том месте, где была груда платья, остались полосатые кальсоны, рваная толстовка, свеча, иконка и коробка спичек. Погрозив в бессильной злобе кому-то вдаль кулаком, Иван облачился в то, что было оставлено.

Тут его стали беспокоить два соображения: первое, это то, что исчезло удостоверение Массолита, с которым он никогда не расставался, и второе, удастся ли ему в таком виде беспрепятственно пройти

по Москве? Все-таки в кальсонах... Правда, кому какое дело, а все же не случилось бы какой-нибудь придирки или задержки.

Иван оборвал пуговицы с кальсон там, где те застегивались у щиколотки, в расчете на то, что, может быть, в таком виде они сойдут за летние брюки, забрал иконку, свечу и спички и тронулся, сказав самому себе:

— К Грибоедову! Вне всяких сомнений, он там.

Город уже жил вечерней жизнью. В пыли пролетали, бряцая цепями, грузовики, и на платформах их, на мешках, раскинувшись животами кверху, лежали какие-то мужчины. Все окна были открыты. В каждом из этих окон горел огонь под оранжевым абажуром, и из всех окон, из всех дверей, из всех подворотен, с крыш и чердаков, из подвалов и дворов вырывался хриплый рев полонеза из оперы «Евгений Онегин».

Опасения Ивана Николаевича полностью оправдались: прохожие обращали на него внимание и смеялись и оборачивались. Вследствие этого он принял решение покинуть большие улицы и пробираться переулочками, где не так назойливы люди, где меньше шансов, что пристанут к босому человеку, изводя его расспросами о кальсонах, которые упорно не пожелали стать похожими на брюки.

Иван так и сделал и углубился в таинственную сеть арбатских переулков и начал пробираться под стенками, пугливо косясь, ежеминутно оглядываясь, по временам прячась в подъездах и избегая перекрестков со светофорами, шикарных дверей посольских особняков.

И на всем его трудном пути невыразимо почему-то его мучил вездесущий оркестр, под аккомпанемент которого тяжелый бас пел о своей любви к Татьяне.

Глава 5 БЫЛО ДЕЛО В ГРИБОЕДОВЕ

Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в глубине чахлого сада, отделенного от тротуара кольца резною чугунною решеткой. Небольшая площадка перед домом была заасфальтирована, и в зимнее время на ней возвышался сугроб с лопатой, а в летнее время она превращалась в великолепнейшее отделение летнего ресторана под парусиновым тентом.

Дом назывался «Домом Грибоедова» на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя — Александра Сергеевича Грибоедова. Ну, владела или не владела — мы точно не знаем. Помнится даже, что, кажется, никакой такой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было... Однако дом так называли. Более того, один московский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в круглом зале с колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума»

этой самой тетке, раскинувшейся на софе. А впрочем, черт его знает, может быть, и читал, не важно это!

А важно то, что в настоящее время владел этим домом тот самый Массолит, во главе которого стоял несчастный Михаил Александрович Берлиоз до своего появления на Патриарших прудах.

С легкой руки членов Массолита никто не называл дом «Домом Грибоедова», а все говорили просто — «Грибоедов»: «Я вчера два часа протолкался у Грибоедова». — «Ну и как?» — «В Ялту на месяц добился». — «Молодец!» Или: «Пойди к Берлиозу, он сегодня от четырех до пяти принимает в Грибоедове...» и так далее.

Массолит разместился в Грибоедове так, что лучше и уютнее не придумать. Всякий, входящий в Грибоедова, прежде всего знакомился невольно с извещениями разных спортивных кружков и с групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов Массолита, коими (фотографиями) были увешаны стены лестницы, ведущей во второй этаж.

На дверях первой же комнаты в этом верхнем этаже виднелась крупная надпись «Рыбно-дачная секция», и тут же был изображен карась, попавшийся на уду.

На дверях комнаты № 2 было написано что-то не совсем понятное: «Однодневная творческая путевка. Обращаться к М.В.Подложной».

Следующая дверь несла на себе краткую, но уже вовсе не понятную надпись: «Перелыгино». Потом у случайного посетителя Грибоедова начинали разбегаться глаза от надписей, пестревших на ореховых теткиных дверях: «Запись в очередь на бумагу у Поклевкиной», «Касса. Личные расчеты скетчистов»...

Прорезав длиннейшую очередь, начинавшуюся уже внизу в швейцарской, можно было видеть надпись на двери, в которую ежесекундно ломился народ: «Квартирный вопрос».

За квартирным вопросом открывался роскошный плакат, на котором изображена была скала, а по гребню ее ехал всадник в бурке и с винтовкой за плечами. Пониже — пальмы и балкон, на балконе — сидящий молодой человек с хохолком, глядящий куда-то ввысь очень-очень бойкими глазами и держащий в руке самопишущее перо. Подпись: «Полнообъемные творческие отпуска от двух недель (рассказ-новелла) до одного года (роман, трилогия). Ялта, Суук-Су, Боровое, Цихидзири, Махинджаури, Ленинград (Зимний дворец)». У этой двери также была очередь, но не чрезмерная, человек в полтораста.

Далее следовали, повинуясь прихотливым изгибам, подъемам и спускам грибоедовского дома, — «Правление Массолита», «Кассы № 2, 3, 4 и 5», «Редакционная коллегия», «Председатель Массолита», «Бильярдная», различные подсобные учреждения и, наконец, тот самый зал с колоннадой, где тетка наслаждалась комедией гениального племянника.

Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедова, сразу же соображал, насколько хорошо живется счастливцам — членам Массолита, и черная зависть начинала немед-

ленно терзать его. И немедленно же он обращал к небу горькие укоризны за то, что оно не наградило его при рождении литературным талантом, без чего, естественно, нечего было и мечтать овладеть членским массолитским билетом, коричневым, пахнущим дорогой кожей, с золотой широкой каймой, — известным всей Москве билетом.

Кто скажет что-нибудь в защиту зависти? Это чувство дрянной категории, но все же надо войти и в положение посетителя. Ведь то, что он видел в верхнем этаже, было не все, и далеко еще не все. Весь нижний этаж теткиного дома был занят рестораном, и каким рестораном! По справедливости он считался самым лучшим в Москве. И не только потому, что размещался он в двух больших залах со сводчатыми потолками, расписанными лиловыми лошадьми с ассирийскими гривами, не только потому, что на каждом столике помещалась лампа, накрытая шалью, не только потому, что туда не мог проникнуть первый попавшийся человек с улицы, а еще и потому, что качеством своей провизии Грибоедов бил любой ресторан в Москве, как хотел, и что эту провизию отпускали по самой сходной, отнюдь не обременительной цене.

Поэтому ничего нет удивительного в таком хотя бы разговоре, который однажды слышал автор этих правдивейших строк у чугунной решетки Грибоедова:

— Ты где сегодня ужинаешь, Амвросий?

— Что за вопрос, конечно, здесь, дорогой Фока! Арчибальд Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки а натюрель. Виртуозная штучка!

— Умеешь ты жить, Амвросий! — со вздохом отвечал тощий, запущенный, с карбункулом на шее Фока румяногубому гиганту, золотистоволосому, пышнощекому Амвросию-поэту.

— Никакого уменья особенного у меня нету, — возражал Амвросий, — а обыкновенное желание жить по-человечески. Ты хочешь сказать, Фока, что судачки можно встретить и в «Колизее». Но в «Колизее» порция судачков стоит тринадцать рублей пятнадцать копеек, а у нас — пять пятьдесят! Кроме того, в «Колизее» судачки третьедневочные, и, кроме того, еще у тебя нет гарантии, что ты не получишь в «Колизее» виноградной кистью по морде от первого попавшего молодого человека, ворвавшегося с Театрального проезда. Нет, я категорически против «Колизея»! — гремел на весь бульвар гастроном Амвросий. — Не уговаривай меня, Фока!

— Я не уговариваю тебя, Амвросий, — пищал Фока. — Дома можно поужинать.

— Слуга покорный, — трубил Амвросий, — представляю себе твою жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке в общей кухне дома порционные судачки а натюрель! Ги-ги-ги!.. Оревуар, Фока! — И, напевая, Амвросий устремлялся к веранде под тентом.

Эх-хо-хо... Да, было, было!.. Помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова! Что отварные порционные судачки! Дешевка это, милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой? А яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках?

А филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями? Перепела по-генуэзски? Девять с полтиной! Да джаз, да вежливая услуга! А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные литературные дела держат в городе, — на веранде, в тени вьющегося винограда, в золотом пятне на чистейшей скатерти тарелочка супа-прентаньер? Помните, Амвросий? Ну что же спрашивать! По губам вашим вижу, что помните. Что ваши сижки, судачки! А дупеля, гаршнепы, бекасы, вальдшнепы по сезону, перепела, кулики? Шипящий в горле нарзан?! Но довольно, ты отвлекаешься, читатель! За мной!..

В половину одиннадцатого часа того вечера, когда Берлиоз погиб на Патриарших, в Грибоедове наверху была освещена только одна комната, и в ней томились двенадцать литераторов, собравшихся на заседание и ожидавших Михаила Александровича.

Сидящие на стульях, и на столах, и даже на двух подоконниках в комнате правления Массолита серьезно страдали от духоты. Ни одна свежая струя не проникала в открытые окна. Москва отдавала накопленный за день в асфальте жар, и ясно было, что ночь не принесет облегчения. Пахло луком из подвала теткиного дома, где работала ресторанная кухня, и всем хотелось пить, все нервничали и сердились.

Беллетрист Бескудников — тихий, прилично одетый человек с внимательными и в то же время неуловимыми глазами — вынул часы. Стрелка ползла к одиннадцати. Бескудников стукнул пальцем по циферблату, показал его соседу, поэту Двубратскому, сидящему на столе и от тоски болтающему ногами, обутыми в желтые туфли на резиновом ходу.

— Однако, — проворчал Двубратский.

— Хлопец, наверно, на Клязьме застрял, — густым голосом отозвалась Настасья Лукинишна Непременова, московская купеческая сирота, ставшая писательницей и сочиняющая батальные морские рассказы под псевдонимом «Штурман Жорж».

— Позвольте! — смело заговорил автор популярных скетчей Загривов. — Я и сам бы сейчас с удовольствием на балкончике чайку попил, вместо того чтобы здесь вариться. Ведь заседание-то назначено в десять?

— А сейчас хорошо на Клязьме, — подзудила присутствующих Штурман Жорж, зная, что дачный литераторский поселок Перелыгино на Клязьме — общее больное место. — Теперь уж соловьи, наверно, поют. Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной.

— Третий год вношу денежки, чтобы больную базедовой болезнью жену отправить в этот рай, да что-то ничего в волнах не видно, — ядовито и горько сказал новеллист Иероним Поприхин.

— Это уж как кому повезет, — прогудел с подоконника критик Абабков.

Радость загорелась в маленьких глазках Штурман Жоржа, и она сказала, смягчая свое контральто:

— Не надо, товарищи, завидовать. Дач всего двадцать две, и строится еще только семь, а нас в Массолите три тысячи.

— Три тысячи сто одиннадцать человек, — вставил кто-то из угла.

— Ну вот видите, — продолжала Штурман, — что же делать? Естественно, что дачи получили наиболее талантливые из нас...

— Генералы! — напрямик врезался в склоку Глухарев-сценарист.

Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты.

— Один в пяти комнатах в Перелыгине, — вслед ему сказал Глухарев.

— Лаврович один в шести, — вскричал Денискин, — и столовая дубом обшита!

— Э, сейчас не в этом дело, — прогудел Абабков, — а в том, что половина двенадцатого.

Начался шум, назревало что-то вроде бунта. Стали звонить в ненавистное Перелыгино, попали не в ту дачу, к Лавровичу, узнали, что Лаврович ушел на реку, и совершенно от этого расстроились. Наобум позвонили в комиссию изящной словесности по добавочному № 930 и, конечно, никого там не нашли.

— Он мог бы и позвонить! — кричали Денискин, Глухарев и Квант.

Ах, кричали они напрасно: не мог Михаил Александрович позвонить никуда. Далеко, далеко от Грибоедова, в громадном зале, освещенном тысячесвечовыми лампами, на трех цинковых столах лежало то, что еще недавно было Михаилом Александровичем.

На первом — обнаженное, в засохшей крови, тело с перебитой рукой и раздавленной грудной клеткой, на другом — голова с выбитыми передними зубами, с помутневшими открытыми глазами, которые не пугал резчайший свет, а на третьем — груда заскорузлых тряпок.

Возле обезглавленного стояли: профессор судебной медицины, патологоанатом и его прозектор, представители следствия и вызванный по телефону от больной жены заместитель Михаила Александровича Берлиоза по Массолиту — литератор Желдыбин.

Машина заехала за Желдыбиным и, первым долгом, вместе со следствием, отвезла его (около полуночи это было) на квартиру убитого, где было произведено опечатание его бумаг, а затем уж все поехали в морг.

Вот теперь стоящие у останков покойного совещались, как лучше сделать: пришить ли отрезанную голову к шее или выставить тело в грибоедовском зале, просто закрыв погибшего наглухо до подбородка черным платком?

Да, Михаил Александрович никуда не мог позвонить, и совершенно напрасно возмущались и кричали Денискин, Глухарев и Квант с Бескудниковым. Ровно в полночь все двенадцать литераторов покинули верхний этаж и спустились в ресторан. Тут опять про себя недобрым словом помянули Михаила Александровича: все столики на веранде, натурально, оказались уже занятыми, и пришлось оставаться ужинать в этих красивых, но душных залах.

И ровно в полночь в первом из них что-то грохнуло, зазвенело, посыпалось, запрыгало. И тотчас тоненький мужской голос отчаянно закричал под музыку: «Аллилуйя!!» Это ударил знаменитый гри-

боедовский джаз. Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда.

Заплясал Глухарев с поэтессой Тамарой Полумесяц, заплясал Квант, заплясал Жукопов-романист с какой-то киноактрисой в желтом платье. Плясали: Драгунский, Чердакчи, маленький Денискин с гигантской Штурман Жоржем, плясала красавица архитектор Семейкина-Галл, крепко схваченная неизвестным в белых рогожных брюках. Плясали свои и приглашенные гости, московские и приезжие, писатель Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, кажется режиссер, с лиловым лишаем во всю щеку, плясали виднейшие представители поэтического подраздела Массолита, то есть Павианов, Богохульский, Сладкий, Шпичкин и Адельфина Буздяк, плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом, с подбитыми ватой плечами, плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряло перышко зеленого лука, плясала с ним хилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шелковом измятом платьице.

Оплывая потом, официанты несли над головами запотевшие кружки с пивом, хрипло и с ненавистью кричали: «Виноват, гражданин!» Где-то в рупоре голос командовал: «Карский раз! Зубрик два! Фляки господарские!!» Тонкий голос уже не пел, а завывал: «Аллилуйя!» Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад.

И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой, во фраке и царственным взором окинул свои владения. Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукояти пистолетов, а его волосы воронова крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караибском море под его командой бриг под черным гробовым флагом с адамовой головой.

Но нет, нет! Лгут обольстители-мистики, никаких Караибских морей нет на свете, и не плывут в них отчаянные флибустьеры, и не гонится за ними корвет, не стелется над волною пушечный дым. Нет ничего, и ничего и не было! Вон чахлая липа есть, есть чугунная решетка и за ней бульвар... И плавится лед в вазочке, и видны за соседним столиком налитые кровью чьи-то бычьи глаза, и страшно, страшно... О боги, боги мои, яду мне, яду!..

И вдруг за столиком вспорхнуло слово: «Берлиоз!!» Вдруг джаз развалился и затих, как будто кто-то хлопнул по нему кулаком. «Что, что, что, что?!!» — «Берлиоз!!!» И пошли вскакивать, пошли вскрикивать...

Да, взметнулась волна горя при страшном известии о Михаиле Александровиче. Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее.

Но какую телеграмму, спросим мы, и куда? И зачем ее посылать? В самом деле, куда? И на что нужна какая бы то ни было телеграмма тому, чей расплющенный затылок сдавлен сейчас в резиновых руках прозектора, чью шею сейчас колет кривыми иглами профессор? Погиб он, и не нужна ему никакая телеграмма. Все кончено, не будем больше загружать телеграф.

Да, погиб, погиб... Но мы-то ведь живы!

Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать, и кой-кто уже вернулся к своему столику и — сперва украдкой, а потом и в открытую — выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетам де-воляй? Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодные останемся? Да ведь мы-то живы!

Натурально, рояль закрыли на ключ, джаз разошелся, несколько журналистов уехали в свои редакции писать некрологи. Стало известно, что приехал из морга Желдыбин. Он поместился в кабинете покойного наверху, и тут же прокатился слух, что он и будет замещать Берлиоза. Желдыбин вызвал к себе из ресторана всех двенадцать членов правления, и в срочно начавшемся в кабинете Берлиоза заседании приступили к обсуждению неотложных вопросов об убранстве колонного грибоедовского зала, о перевозе тела из морга в этот зал, об открытии доступа в него и о прочем, связанном с прискорбным событием.

А ресторан зажил своей обычной ночной жизнью и жил бы ею до закрытия, то есть до четырех часов утра, если бы не произошло нечто, уже совершенно из ряду вон выходящее и поразившее ресторанных гостей гораздо больше, чем известие о гибели Берлиоза.

Первыми заволновались лихачи, дежурившие у ворот грибоедовского дома. Слышно было, как один из них, приподнявшись на козлах, прокричал:

— Тю! Вы только поглядите!

Вслед за тем, откуда ни возьмись, у чугунной решетки вспыхнул огонечек и стал приближаться к веранде. Сидящие за столиками стали приподниматься и всматриваться и увидели, что вместе с огонечком шествует к ресторану белое привидение. Когда оно приблизилось к самому трельяжу, все как закостенели за столиками с кусками стерлядки на вилках и вытаращив глаза. Швейцар, вышедший в этот момент из дверей ресторанной вешалки во двор, чтобы покурить, затоптал папиросу и двинулся было к привидению с явной целью преградить ему доступ в ресторан, но почему-то не сделал этого и остановился, глуповато улыбаясь.

И привидение, пройдя в отверстие трельяжа, беспрепятственно вступило на веранду. Тут все увидели, что это никакое не привидение, а Иван Николаевич Бездомный — известнейший поэт.

Он был бос, в разодранной беловатой толстовке, к коей на груди английской булавкой была приколота бумажная иконка со стершимся изображением неизвестного святого, и в полосатых белых кальсонах. В руке Иван Николаевич нес зажженную венчальную свечу. Правая щека Ивана Николаевича была свеже изодрана. Трудно даже

измерить глубину молчания, воцарившегося на веранде. Видно было, как у одного из официантов пиво течет из покосившейся набок кружки на пол.

Поэт поднял свечу над головой и громко сказал:

— Здорово, други! — после чего заглянул под ближайший столик и воскликнул тоскливо: — Нет, его здесь нет!

Послышались два голоса. Бас сказал безжалостно:

— Готово дело. Белая горячка.

А второй, женский, испуганный, произнес слова:

— Как же милиция-то пропустила его по улицам в таком виде?

Это Иван Николаевич услыхал и отозвался:

— Дважды хотели задержать, в Скатертном и здесь, на Бронной, да я махнул через забор и, видите, щеку изорвал! — Тут Иван Николаевич поднял свечу и вскричал: — Братья во литературе! — Осипший голос его окреп и стал горячей. — Слушайте меня все! Он появился! Ловите же его немедленно, иначе он натворит неописуемых бед!

— Что? Что? Что он сказал? Кто появился? — понеслись голоса со всех сторон.

— Консультант! — ответил Иван. — И этот консультант сейчас убил на Патриарших Мишу Берлиоза.

Здесь из внутреннего зала повалил на веранду народ, вокруг Иванова огня сдвинулась толпа.

— Виноват, виноват, скажите точнее, — послышался над ухом Ивана Николаевича тихий и вежливый голос, — скажите, как это убил? Кто убил?

— Иностранный консультант, профессор и шпион! — озираясь, отозвался Иван.

— А как его фамилия? — тихо спросили на ухо.

— То-то фамилия! — в тоске крикнул Иван. — Кабы я знал фамилию! Не разглядел я фамилию на визитной карточке... Помню только первую букву «Ве», на «Ве» фамилия! Какая же это фамилия на «Ве»? — схватившись рукою за лоб, сам у себя спросил Иван и вдруг забормотал: — Ве, ве, ве... Ва... Во... Вагнер? Вагнер? Вайнер? Вегнер? Винтер? — волосы на голове Ивана стали ездить от напряжения.

— Вульф? — жалостно выкрикнула какая-то женщина.

Иван рассердился.

— Дура! — прокричал он, ища глазами женщину. — При чем тут Вульф? Вульф ни в чем не виноват! Во, во... Нет! Так не вспомню! Ну вот что, граждане: звоните сейчас же в милицию, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами, профессора ловить. Да не забудьте сказать, что с ним еще двое: какой-то длинный, клетчатый... пенсне треснуло... и кот черный, жирный. А я пока что обыщу Грибоедова... Я чую, что он здесь!

Иван впал в беспокойство, растолкал окружающих, начал размахивать свечой, заливая себя воском, и заглядывать под столы. Тут послышалось слово: «Доктора!» — и чье-то ласковое мясистое лицо, бритое и упитанное, в роговых очках, появилось перед Иваном.

— Товарищ Бездомный, — заговорило это лицо юбилейным голосом, — успокойтесь! Вы расстроены смертью всеми нами любимого

Михаила Александровича... нет, просто Миши Берлиоза. Мы все это прекрасно понимаем. Вам нужен покой. Сейчас товарищи проводят вас в постель, и вы забудетесь...

— Ты, — оскалившись, перебил Иван, — понимаешь ли, что надо поймать профессора? А ты лезешь ко мне со своими глупостями! Кретин!

— Товарищ Бездомный, помилуйте, — ответило лицо, краснея, пятясь и уже раскаиваясь, что ввязалось в это дело.

— Нет, уж кого-кого, а тебя-то я не помилую, — с тихой ненавистью сказал Иван Николаевич.

Судорога исказила его лицо, он быстро переложил свечу из правой руки в левую, широко размахнулся и ударил участливое лицо по уху.

Тут догадались броситься на Ивана — и бросились. Свеча погасла, и очки, соскочившие с лица, были мгновенно растоптаны. Иван испустил страшный боевой вопль, слышный, к общему соблазну, даже на бульваре, и начал защищаться. Зазвенела падающая со столов посуда, закричали женщины.

Пока официанты вязали поэта полотенцами, в раздевалке шел разговор между командиром брига и швейцаром.

— Ты видел, что он в подштанниках? — холодно спрашивал пират.

— Да ведь, Арчибальд Арчибальдович, — труся, отвечал швейцар, — как же я могу их не допустить, если они — член Массолита?

— Ты видел, что он в подштанниках? — повторял пират.

— Помилуйте, Арчибальд Арчибальдович, — багровея, говорил швейцар, — что же я могу поделать? Я сам понимаю, на веранде дамы сидят...

— Дамы здесь ни при чем, дамам это все равно, — отвечал пират, буквально сжигая швейцара глазами, — а это милиции не все равно! Человек в белье может следовать по улицам Москвы только в одном случае, если он идет в сопровождении милиции, и только в одно место — в отделение милиции! А ты, если ты швейцар, должен знать, что, увидев такого человека, ты должен, не медля ни секунды, начинать свистеть. Ты слышишь? Слышишь, что происходит на веранде?

Тут ополоумевший швейцар услыхал несущееся с веранды какое-то уханье, бой посуды и женские крики.

— Ну что с тобой сделать за это? — спросил флибустьер.

Кожа на лице швейцара приняла тифозный оттенок, а глаза помертвели. Ему померещилось, что черные волосы, теперь причесанные на пробор, покрылись огненным шелком. Исчезли пластрон и фрак, и за ременным поясом возникла ручка пистолета. Швейцар представил себя повешенным на фор-марса-рее. Своими глазами увидел он свой собственный высунутый язык и безжизненную голову, упавшую на плечо, и даже услыхал плеск волны за бортом. Колени швейцара подогнулись. Но тут флибустьер сжалился над ним и погасил свой острый взор.

— Смотри, Николай! Это в последний раз. Нам таких швейцаров в ресторане даром не надо. Ты в церковь сторожем поступи. — Проговорив это, командир скомандовал точно, ясно, быстро: — Панте-

лея из буфетной. Милиционера. Протокол. Машину. В психиатрическую. — И добавил: — Свисти!

Через четверть часа чрезвычайно пораженная публика не только в ресторане, но и на самом бульваре и в окнах домов, выходящих в сад ресторана, видела, как из ворот Грибоедова Пантелей, швейцар, милиционер, официант и поэт Рюхин выносили спеленатого, как куклу, молодого человека, который, заливаясь слезами, плевался, норовя попасть именно в Рюхина, и кричал на весь бульвар:

— Сволочь!.. Сволочь!..

Шофер грузовой машины со злым лицом заводил мотор. Рядом лихач горячил лошадь, бил ее по крупу сиреневыми вожжами, кричал:

— А вот на беговой! Я возил в психическую!

Кругом гудела толпа, обсуждая невиданное происшествие. Словом, был гадкий, гнусный, соблазнительный, свинский скандал, который кончился лишь тогда, когда грузовик унес на себе от ворот Грибоедова несчастного Ивана Николаевича, милиционера, Пантелея и Рюхина.

Глава 6 ШИЗОФРЕНИЯ, КАК И БЫЛО СКАЗАНО

Когда в приемную знаменитой психиатрической клиники, недавно отстроенной под Москвой на берегу реки, вышел человек с острой бородкой и облаченный в белый халат, была половина второго ночи. Трое санитаров не спускали глаз с Ивана Николаевича, сидящего на диване. Тут же находился и крайне взволнованный поэт Рюхин. Полотенца, которыми был связан Иван Николаевич, лежали грудой на том же диване. Руки и ноги Ивана Николаевича были свободны.

Увидев вошедшего, Рюхин побледнел, кашлянул и робко сказал:

— Здравствуйте, доктор

Доктор поклонился Рюхину, но, кланяясь, смотрел не на него, а на Ивана Николаевича. Тот сидел совершенно неподвижно, со злым лицом, сдвинув брови, и даже не шевельнулся при входе врача.

— Вот, доктор, — почему-то таинственным шепотом заговорил Рюхин, пугливо оглядываясь на Ивана Николаевича, — известный поэт Иван Бездомный... вот, видите ли... мы опасаемся, не белая ли горячка...

— Сильно пил? — сквозь зубы спросил доктор.

— Нет, выпивал, но не так, чтобы уж...

— Тараканов, крыс, чертиков или шмыгающих собак не ловил?

— Нет, — вздрогнув, ответил Рюхин, — я его вчера видел и сегодня утром. Он был совершенно здоров...

— А почему в кальсонах? С постели взяли?

— Он, доктор, в ресторан пришел в таком виде...

— Ага, ага, — очень удовлетворенно сказал доктор, — а почему ссадины? Дрался с кем-нибудь?

— Он с забора упал, а потом в ресторане ударил одного... и еще кое-кого...

— Так, так, так, — сказал доктор и, повернувшись к Ивану, добавил: — Здравствуйте!

— Здорово, вредитель! — злобно и громко ответил Иван.

Рюхин сконфузился до того, что не посмел поднять глаза на вежливого доктора. Но тот ничуть не обиделся, а привычным, ловким жестом снял очки, приподняв полу халата, спрятал их в задний карман брюк, а затем спросил у Ивана:

— Сколько вам лет?

— Подите вы все от меня к чертям, в самом деле! — грубо закричал Иван и отвернулся.

— Почему же вы сердитесь? Разве я сказал вам что-нибудь неприятное?

— Мне двадцать три года, — возбужденно заговорил Иван, — и я подам жалобу на вас всех. А на тебя в особенности, гнида! — отнесся он отдельно к Рюхину.

— А на что же вы хотите пожаловаться?

— На то, что меня, здорового человека, схватили и силой приволокли в сумасшедший дом! — в гневе ответил Иван.

Здесь Рюхин всмотрелся в Ивана и похолодел: решительно никакого безумия не было у того в глазах. Из мутных, как они были в Грибоедове, они превратились в прежние, ясные.

«Батюшки! — испуганно подумал Рюхин. — Да он и впрямь нормален? Вот чепуха какая! Зачем же мы, в самом деле, сюда-то его притащили? Нормален, нормален, только рожа расцарапана...»

— Вы находитесь, — спокойно заговорил врач, присаживаясь на белый табурет на блестящей ноге, — не в сумасшедшем доме, а в клинике, где вас никто не станет задерживать, если в этом нет надобности.

Иван Николаевич покосился недоверчиво, но все же пробурчал:

— Слава те господи! Нашелся наконец один нормальный среди идиотов, из которых первый — балбес и бездарность Сашка!

— Кто этот Сашка-бездарность? — осведомился врач.

— А вот он, Рюхин! — ответил Иван и ткнул грязным пальцем в направлении Рюхина.

Тот вспыхнул от негодования.

«Это он мне вместо спасибо! — горько подумал он. — За то, что я принял в нем участие! Вот уж, действительно, дрянь!»

— Типичный кулачок по своей психологии, — заговорил Иван Николаевич, которому, очевидно, приспичило обличать Рюхина, — и притом кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария. Посмотрите на его постную физиономию и сличите с теми звучными стихами, которые он сочинил к первому числу! Хе-хе-хе... «Взвейтесь!» да «развейтесь!»... а вы загляните к нему внутрь — что он там думает... вы ахнете! — И Иван Николаевич зловеще рассмеялся.

Рюхин тяжело дышал, был красен и думал только об одном, что он отогрел у себя на груди змею, что он принял участие в том, кто оказался на поверку злобным врагом. И главное, и поделать ничего нельзя было: не ругаться же с душевнобольным!

— А почему вас, собственно, доставили к нам? — спросил врач, внимательно выслушав обличения Бездомного.

— Да черт их возьми, олухов! Схватили, связали какими-то тряпками и поволокли в грузовике!

— Позвольте вас спросить, вы почему в ресторан пришли в одном белье?

— Ничего тут нету удивительного, — ответил Иван, — пошел я купаться на Москву-реку, ну и попятили мою одёжу, а эту дрянь оставили! Не голым же мне по Москве идти! Надел что было, потому что спешил в ресторан к Грибоедову.

Врач вопросительно поглядел на Рюхина, и тот хмуро пробормотал:

— Ресторан так называется.

— Ага, — сказал врач, — а почему так спешили? Какое-нибудь деловое свидание?

— Консультанта я ловлю, — ответил Иван Николаевич и тревожно оглянулся.

— Какого консультанта?

— Вы Берлиоза знаете? — спросил Иван многозначительно.

— Это... композитор?

Иван расстроился.

— Какой там композитор? Ах, да... Да нет! Композитор — это однофамилец Миши Берлиоза.

Рюхину не хотелось ничего говорить, но пришлось объяснить:

— Секретаря Массолита Берлиоза сегодня вечером задавило трамваем на Патриарших.

— Не ври ты, чего не знаешь! — рассердился на Рюхина Иван. — Я, а не ты был при этом! Он его нарочно под трамвай пристроил!

— Толкнул?

— Да при чем здесь «толкнул»? — сердясь на общую бестолковость, воскликнул Иван. — Такому и толкать не надо! Он такие штуки может выделывать, что только держись! Он заранее знал, что Берлиоз попадет под трамвай!

— А кто-нибудь, кроме вас, видел этого консультанта?

— То-то и беда, что только я и Берлиоз.

— Так. Какие же меры вы приняли, чтобы поймать этого убийцу? — Тут врач повернулся и бросил взгляд женщине в белом халате, сидящей за столом в сторонке. Та вынула лист и стала заполнять пустые места в его графах.

— Меры вот какие. Взял я на кухне свечечку...

— Вот эту? — спросил врач, указывая на изломанную свечку, лежащую на столе рядом с иконкой перед женщиной.

— Эту самую, и...

— А иконка зачем?

— Ну да, иконка... — Иван покраснел, — иконка-то больше всего их и испугала, — он опять ткнул пальцем в сторону Рюхина, — но дело

в том, что он, консультант, он... будем говорить прямо... с нечистой силой знается... и так просто его не поймаешь.

Санитары почему-то вытянули руки по швам и глаз не сводили с Ивана.

— Да, — продолжал Иван, — знается! Тут факт бесповоротный. Он лично с Понтием Пилатом разговаривал. Да нечего на меня так смотреть! Верно говорю! Все видел — и балкон и пальмы. Был, словом, у Понтия Пилата, за это я ручаюсь.

— Ну-те, ну-те...

— Ну вот, стало быть, я иконку на грудь пришпилил и побежал...

Тут вдруг часы ударили два раза.

— Эге-ге! — воскликнул Иван и поднялся с дивана. — Два часа, а я с вами время теряю! Я извиняюсь, где телефон?

— Пропустите к телефону, — приказал врач санитарам.

Иван ухватился за трубку, а женщина в это время тихо спросила у Рюхина:

— Женат он?

— Холост, — испуганно ответил Рюхин.

— Член профсоюза?

— Да.

— Милиция? — закричал Иван в трубку. — Милиция? Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Что? Заезжайте за мною, я сам с вами поеду... Говорит поэт Бездомный из сумасшедшего дома... Как ваш адрес? — шепотом спросил Бездомный у доктора, прикрывая трубку ладонью, а потом опять закричал в трубку: — Вы слушаете? Алло!.. Безобразие! — вдруг завопил Иван и швырнул трубку в стену. Затем он повернулся к врачу, протянул ему руку, сухо сказал «до свидания» и собрался уходить.

— Помилуйте, куда же вы хотите идти? — заговорил врач, вглядываясь в глаза Ивана. — Глубокой ночью, в белье... Вы плохо чувствуете себя, останьтесь у нас!

— Пропустите-ка, — сказал Иван санитарам, сомкнувшимся у дверей. — Пустите вы или нет? — страшным голосом крикнул поэт.

Рюхин задрожал, а женщина нажала кнопку в столике, и на его стеклянную поверхность выскочила блестящая коробочка и запаянная ампула.

— Ах так?! — дико и затравленно озираясь, произнес Иван. — Ну ладно же! Прощайте!! — и головою вперед он бросился в штору окна.

Грохнуло, довольно сильно, но стекло за шторой не дало ни трещины, и через мгновение Иван Николаевич забился в руках у санитаров. Он хрипел, пытался кусаться, кричал:

— Так вот вы какие стеклышки у себя завели!.. Пусти! Пусти!..

Шприц блеснул в руках у врача, женщина одним взмахом распорола ветхий рукав толстовки и вцепилась в руку с неженской силой. Запахло эфиром, Иван ослабел в руках четырех человек, и ловкий врач воспользовался этим моментом и вколол иглу в руку Ивану. Ивана подержали еще несколько секунд и потом опустили на диван.

— Бандиты! — прокричал Иван и вскочил с дивана, но был водворен на него опять. Лишь только его отпустили, он опять было вскочил, но обратно уже *сел* сам. Он помолчал, диковато озираясь, потом неожиданно зевнул, потом улыбнулся со злобой.

— Заточили все-таки, — сказал он, зевнул еще раз, неожиданно прилег, голову положил на подушку, кулак по-детски под щеку, забормотал уже сонным голосом, без злобы: — Ну и очень хорошо... сами же за все и поплатитесь. Я предупредил, а там как хотите!.. Меня же сейчас более всего интересует Понтий Пилат... Пилат... — тут он закрыл глаза.

— Ванна, сто семнадцатую отдельную и пост к нему, — распорядился врач, надевая очки. Тут Рюхин опять вздрогнул: бесшумно открылись белые двери, за ними стал виден коридор, освещенный синими ночными лампами. Из коридора выехала на резиновых колесиках кушетка, на нее переложили затихшего Ивана, и он уехал в коридор, и двери за ним замкнулись.

— Доктор, — шепотом спросил потрясенный Рюхин, — он, значит, действительно болен?

— О да, — ответил врач.

— А что же это такое с ним? — робко спросил Рюхин.

Усталый врач поглядел на Рюхина и вяло ответил:

— Двигательное и речевое возбуждение... бредовые интерпретации... случай, по-видимому, сложный... Шизофрения, надо полагать. А тут еще алкоголизм...

Рюхин ничего не понял из слов доктора, кроме того, что дела Ивана Николаевича, видно, плоховаты, вздохнул и спросил:

— А что это он все про какого-то консультанта говорит?

— Видел, наверно, кого-то, кто поразил его расстроенное воображение. А может быть, галлюцинировал...

Через несколько минут грузовик уносил Рюхина в Москву. Светало, и свет еще не погашенных на шоссе фонарей был уже не нужен и неприятен. Шофер злился на то, что пропала ночь, гнал машину что есть сил, и ее заносило на поворотах.

Вот и лес отвалился, остался где-то сзади, и река ушла куда-то в сторону, навстречу грузовику сыпалась разная разность: какие-то заборы с караульными будками и штабеля дров, высоченные столбы и какие-то мачты, а на мачтах нанизанные катушки, груды щебня, земля, исполосованная каналами, — словом, чувствовалось, что вот-вот она, Москва, тут же, вон за поворотом, и сейчас навалится и охватит.

Рюхина трясло и швыряло, какой-то обрубок, на котором он поместился, то и дело пытался выскользнуть из-под него. Ресторанные полотенца, подброшенные уехавшими ранее в троллейбусе милиционером и Пантелеем, ездили по всей платформе. Рюхин пытался было их собрать, но, прошипев почему-то со злобой: «Да ну их к черту! Что я, в самом деле, как дурак, верчусь?..» — отшвырнул их ногой и перестал на них глядеть.

Настроение духа у едущего было ужасно. Становилось ясным, что посещение дома скорби оставило в нем тяжелейший след. Рюхин

старался понять, что его терзает. Коридор с синими лампами, прилипший к памяти? Мысль о том, что худшего несчастья, чем лишение разума, нет на свете? Да, да, конечно, и это. Но это — так ведь, общая мысль. А вот есть что-то еще. Что же это? Обида, вот что. Да, да, обидные слова, брошенные Бездомным прямо в лицо. И горе не в том, что они обидные, а в том, что в них заключается правда.

Поэт не глядел уже по сторонам, а, уставившись в грязный трясущийся пол, стал что-то бормотать, ныть, глодая самого себя.

Да, стихи... Ему — тридцать два года! В самом деле, что же дальше? — И дальше он будет сочинять по нескольку стихотворений в год. — До старости? — Да, до старости. — Что же принесут ему эти стихотворения? Славу? «Какой вздор! Не обманывай-то хоть сам себя. Никогда слава не придет к тому, кто сочиняет дурные стихи. Отчего они дурны? Правду, правду сказал! — безжалостно обращался к самому себе Рюхин. — Не верю я ни во что из того, что пишу!..»

Отравленный взрывом неврастении, поэт покачнулся, пол под ним перестал трястись. Рюхин поднял голову и увидел, что он давно уже в Москве и, более того, что над Москвой рассвет, что облако подсвечено золотом, что грузовик его стоит, застрявши в колонне других машин у поворота на бульвар, и что близехонько от него стоит на постаменте металлический человек, чуть наклонив голову, и безразлично смотрит на бульвар.

Какие-то странные мысли хлынули в голову заболевшему поэту. «Вот пример настоящей удачливости... — Тут Рюхин встал во весь рост на платформе грузовика и руку поднял, нападая зачем-то на никого не трогающего чугунного человека. — Какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу, все обращалось к его славе! Но что он сделал? Я не постигаю... Что-нибудь особенное есть в этих словах: «Буря мглою...»? Не понимаю!.. Повезло, повезло! — вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся. — Стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие...»

Колонна тронулась. Совершенно больной и даже постаревший поэт не более чем через две минуты входил на веранду Грибоедова. Она уже опустела. В углу допивала какая-то компания, и в центре ее суетился знакомый конферансье в тюбетейке и с бокалом Абрау в руке.

Рюхин, обремененный полотенцами, был встречен Арчибальдом Арчибальдовичем приветливо и тотчас избавлен от проклятых тряпок. Не будь Рюхин так истерзан в клинике и на грузовике, он, наверно, получил бы удовольствие, рассказывая о том, как все было в лечебнице, и украшая этот рассказ выдуманными подробностями. Но сейчас ему было не до того, да и как ни мало был наблюдателен Рюхин, — теперь, после пытки в грузовике, он впервые остро вгляделся в пирата и понял, что тот хоть и задает вопросы о Бездомном и даже восклицает «ай-яй-яй!», но, по сути дела, совершенно равнодушен к судьбе Бездомного и ничуть его не жалеет. «И молодец! И правильно!» — с цинической, самоуничтожающей злобой подумал Рюхин и, оборвав рассказ о шизофрении, попросил:

— Арчибальд Арчибальдович, водочки бы мне...

Пират сделал сочувствующее лицо, шепнул:

— Понимаю... сию минуту... — и махнул официанту.

Через четверть часа Рюхин, в полном одиночестве, сидел, скорчившись над рыбцом, пил рюмку за рюмкой, понимая и признавая, что исправить в его жизни уже ничего нельзя, а можно только забыть.

Поэт истратил свою ночь, пока другие пировали, и теперь понимал, что вернуть ее нельзя. Стоило только поднять голову от лампы вверх к небу, чтобы понять, что ночь пропала безвозвратно. Официанты, торопясь, срывали скатерти со столов. У котов, шнырявших возле веранды, был утренний вид. На поэта неудержимо наваливался день.

Глава 7 НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Если бы в следующее утро Степе Лиходееву сказали бы так: «Степа! Тебя расстреляют, если ты сию минуту не встанешь!» — Степа ответил бы томным, чуть слышным голосом: «Расстреливайте, делайте со мною, что хотите, но я не встану».

Не то что встать, — ему казалось, что он не может открыть глаз, потому что, если только он это сделает, сверкнет молния и голову его тут же разнесет на куски. В этой голове гудел тяжелый колокол, между глазными яблоками и закрытыми веками проплывали коричневые пятна с огненно-зеленым ободком, и в довершение всего тошнило, причем казалось, что тошнота эта связана со звуками какого-то назойливого патефона.

Степа старался что-то припомнить, но припоминалось только одно — что, кажется, вчера и неизвестно где он стоял с салфеткой в руке и пытался поцеловать какую-то даму, причем обещал ей, что на другой день, и ровно в полдень, придет к ней в гости. Дама от этого отказывалась, говоря: «Нет, нет, меня не будет дома!» — а Степа упорно настаивал на своем: «А я вот возьму да и приду!»

Ни какая это была дама, ни который сейчас час, ни какое число и какого месяца — Степа решительно не знал и, что хуже всего, не мог понять, где он находится. Он постарался выяснить хотя бы последнее и для этого разлепил слипшиеся веки левого глаза. В полутьме что-то тускло отсвечивало. Степа наконец узнал трюмо и понял, что он лежит навзничь у себя на кровати, то есть на бывшей ювелиршиной кровати, в спальне. Тут ему так ударило в голову, что он закрыл глаз и застонал.

Объяснимся: Степа Лиходеев, директор театра Варьете, очнулся утром у себя в той самой квартире, которую он занимал пополам с покойным Берлиозом, в большом шестиэтажном доме, покоем расположенном на Садовой улице.

Надо сказать, что квартира эта — № 50 — давно уже пользовалась если не плохой, то, во всяком случае, странной репутацией. Еще два года назад владелицей ее была вдова ювелира де Фужере. Анна Францевна де Фужере, пятидесятилетняя почтенная и очень деловая дама, три комнаты из пяти сдавала жильцам: одному, фамилия которого была, кажется, Беломут, и другому — с утраченной фамилией.

И вот два года тому назад начались в квартире необъяснимые происшествия: из этой квартиры люди начали бесследно исчезать.

Однажды в выходной день явился в квартиру милиционер, вызвал в переднюю второго жильца (фамилия которого утратилась) и сказал, что того просят на минутку зайти в отделение милиции в чем-то расписаться. Жилец приказал Анфисе, преданной и давней домработнице Анны Францевны, сказать, в случае если ему будут звонить, что он вернется через десять минут, и ушел вместе с корректным милиционером в белых перчатках. Но не вернулся он не только через десять минут, а вообще никогда не вернулся. Удивительнее всего то, что, очевидно, с ним вместе исчез и милиционер.

Набожная, а откровеннее сказать — суеверная, Анфиса так напрямик и заявила очень расстроенной Анне Францевне, что это колдовство и что она прекрасно знает, кто утащил и жильца и милиционера, только к ночи не хочет говорить.

Ну, а колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уж его ничем не остановишь. Второй жилец исчез, помнится, в понедельник, а в среду как сквозь землю провалился Беломут, но, правда, при других обстоятельствах. Утром за ним заехала, как обычно, машина, чтобы отвезти его на службу, и отвезла, но назад никого не привезла и сама больше не вернулась.

Горе и ужас мадам Беломут не поддаются описанию. Но, увы, и то и другое было непродолжительно. В ту же ночь, вернувшись с Анфисой с дачи, на которую Анна Францевна почему-то спешно поехала, она не застала уже гражданки Беломут в квартире. Но этого мало: двери обеих комнат, которые занимали супруги Беломут, оказались запечатанными!

Два дня прошли кое-как. На третий же день страдавшая все это время бессонницей Анна Францевна опять-таки спешно уехала на дачу... Нужно ли говорить, что она не вернулась!

Оставшаяся одна Анфиса, наплакавшись вволю, легла спать во втором часу ночи. Что с ней было дальше, неизвестно, но рассказывали жильцы других квартир, что будто бы в № 50-м всю ночь слышались какие-то стуки и будто бы до утра в окнах горел электрический свет. Утром выяснилось, что и Анфисы нет!

Об исчезнувших и о проклятой квартире долго в доме рассказывали всякие легенды, вроде того, например, что эта сухонькая и набожная Анфиса будто бы носила на своей иссохшей груди в замшевом мешочке двадцать пять крупных бриллиантов, принадлежащих Анне Францевне. Что будто бы в дровяном сарае на той самой даче, куда спешно ездила Анна Францевна, обнаружились сами собой какие-то несметные сокровища в виде тех же бриллиантов, а также зо-

лотых денег царской чеканки... И прочее в этом же роде. Ну, чего не знаем, за то не ручаемся.

Как бы то ни было, квартира простояла пустой и запечатанной только неделю, а затем в нее вселились — покойный Берлиоз с супругой и этот самый Степа тоже с супругой. Совершенно естественно, что, как только они попали в окаянную квартиру, и у них началось черт знает что. Именно, в течение одного месяца пропали обе супруги. Но эти не бесследно. Про супругу Берлиоза рассказывали, что будто бы ее видели в Харькове с каким-то балетмейстером, а супруга Степы якобы обнаружилась на Боже домке, где, как болтали, директор Варьете, используя свои бесчисленные знакомства, ухитрился добыть ей комнату, но с одним условием, чтобы духу ее не было на Садовой улице...

Итак, Степа застонал. Он хотел позвать домработницу Груню и потребовать у нее пирамидону, но все-таки сумел сообразить, что это глупости, что никакого пирамидону у Груни, конечно, нет. Пытался позвать на помощь Берлиоза, дважды простонал: «Миша... Миша...», но, как сами понимаете, ответа не получил. В квартире стояла полнейшая тишина.

Пошевелив пальцами ног, Степа догадался, что лежит в носках, трясущейся рукою провел по бедру, чтобы определить, в брюках он или нет, и не определил. Наконец, видя, что он брошен и одинок, что некому ему помочь, решил подняться, каких бы нечеловеческих усилий это ни стоило.

Степа разлепил склеенные веки и увидел, что отражается в трюмо в виде человека с торчащими в разные стороны волосами, с опухшей, покрытой черной щетиною физиономией, с заплывшими глазами, в грязной сорочке с воротником и галстуком, в кальсонах и в носках.

Таким он увидел себя в трюмо, а рядом с зеркалом увидел неизвестного человека, одетого в черное и в черном берете.

Степа сел на кровать и сколько мог вытаращил налитые кровью глаза на неизвестного.

Молчание нарушил этот неизвестный, произнеся низким, тяжелым голосом и с иностранным акцентом следующие слова:

— Добрый день, симпатичнейший Степан Богданович!

Произошла пауза, после которой, сделав над собой страшнейшее усилие, Степа выговорил:

— Что вам угодно? — и сам поразился, не узнав своего голоса. Слово «что» он произнес дискантом, «вам» — басом, а «угодно» у него совсем не вышло.

Незнакомец дружелюбно усмехнулся, вынул большие золотые часы с алмазным треугольником на крышке, прозвонил одиннадцать раз и сказал:

— Одиннадцать! И ровно час, как я дожидаюсь вашего пробуждения, ибо вы назначили мне быть у вас в десять. Вот и я!

Степа нащупал на стуле рядом с кроватью брюки, шепнул:

— Извините... — надел их и хрипло спросил: — Скажите, пожалуйста, вашу фамилию?

Говорить ему было трудно. При каждом слове кто-то втыкал ему иголку в мозг, причиняя адскую боль.

— Как? Вы и фамилию мою забыли? — тут неизвестный улыбнулся.

— Простите... — прохрипел Степа, чувствуя, что похмелье дарит его новым симптомом: ему показалось, что пол возле кровати ушел куда-то и что сию минуту он головой вниз полетит к чертовой матери в преисподнюю.

— Дорогой Степан Богданович, — заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, — никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу — лечить подобное подобным. Единственно, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей закуской.

Степа был хитрым человеком и, как ни был болен, сообразил, что раз уж его застали в таком виде, нужно признаваться во всем.

— Откровенно сказать, — начал он, еле ворочая языком, — вчера я немножко...

— Ни слова больше! — ответил визитер и отъехал с креслом в сторону.

Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике. Особенно поразило Степу то, что графин запотел от холода. Впрочем, это было понятно — он помещался в полоскательнице, набитой льдом. Накрыто, словом, было чисто, умело.

Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени болезненной и ловко налил ему пол стопки водки.

— А вы? — пискнул Степа.

— С удовольствием!

Прыгающей рукой поднес Степа стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил содержимое своей стопки. Прожевывая кусок икры, Степа выдавил из себя слова:

— А вы что же... закусить?

— Благодарствуйте, я не закусываю никогда, — ответил незнакомец и налил по второй. Открыли кастрюльку — в ней оказались сосиски в томате.

И вот проклятая зелень перед глазами растаяла, стали выговариваться слова, и, главное, Степа кое-что припомнил. Именно, что дело вчера было на Сходне, на даче у автора скетчей Хустова, куда этот Хустов и возил Степу в таксомоторе. Припомнилось даже, как нанимали этот таксомотор у «Метрополя», был еще при этом какой-то актер не актер... с патефоном в чемоданчике. Да, да, да, это было на даче! Еще, помнится, выли собаки от этого патефона. Вот только дама, которую Степа хотел поцеловать, осталась неразъясненной... черт ее знает, кто она... кажется, в радио служит, а может быть, и нет.

Вчерашний день, таким образом, помаленьку высветлялся, но Степу сейчас гораздо более интересовал день сегодняшний и, в частности, появление в спальне неизвестного, да еще с закуской и водкой. Вот что недурно было бы разъяснить!

— Ну, что же, теперь, я надеюсь, вы вспомнили мою фамилию?

Но Степа только стыдливо улыбнулся и развел руками.

— Однако! Я чувствую, что после водки вы пили портвейн! Помилуйте, да разве это можно делать!

— Я хочу вас попросить, чтобы это осталось между нами, — заискивающе сказал Степа.

— О, конечно, конечно! Но за Хустова я, само собой разумеется, не ручаюсь.

— А вы разве знаете Хустова?

— Вчера в кабинете у вас я видел мельком этого индивидуума, но достаточно одного беглого взгляда на его лицо, чтобы понять, что он — сволочь, склочник, приспособленец и подхалим.

«Совершенно верно!» — подумал Степа, пораженный таким верным, точным и кратким определением Хустова.

Да, вчерашний день лепился из кусочков, но все-таки тревога не покидала директора Варьете. Дело в том, что в этом вчерашнем дне зияла преогромная черная дыра. Вот этого самого незнакомца в берете, воля ваша, Степа в своем кабинете вчера никак не видал.

— Профессор черной магии Воланд, — веско сказал визитер, видя Степины затруднения, и рассказал все по порядку.

Вчера днем он приехал из-за границы в Москву, немедленно явился к Степе и предложил свои гастроли в Варьете. Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию и вопрос этот согласовал (Степа побледнел и заморгал глазами), подписал с профессором Воландом контракт на семь выступлений (Степа открыл рот), условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в десять часов утра сегодня... Вот Воланд и пришел. Придя, был встречен домработницей Груней, которая объяснила, что сама она только что пришла, что она приходящая, что Берлиоза дома нет, а что если визитер желает видеть Степана Богдановича, то пусть идет к нему в спальню сам. Степан Богданович так крепко спит, что разбудить его она не берется. Увидев, в каком состоянии Степан Богданович, артист послал Груню в ближайший гастроном за водкой и закуской, в аптеку за льдом и...

— Позвольте с вами рассчитаться, — проскулил убитый Степа и стал искать бумажник.

— О, какой вздор! — воскликнул гастролер и слушать ничего больше не захотел.

Итак, водка и закуска стали понятны, и все же на Степу было жалко взглянуть: он решительно не помнил ничего о контракте и, хоть убейте, не видел вчера этого Воланда. Да, Хустов был, а Воланда не было.

— Разрешите взглянуть на контракт, — тихо попросил Степа.

— Пожалуйста, пожалуйста...

Степа глянул в бумагу и закоченел. Все было на месте. Во-первых, собственноручная Степина залихватская подпись! Косая надпись сбоку рукою финдиректора Римского с разрешением выдать артисту Воланду в счет следуемых ему за семь выступлений тридцати пяти тысяч рублей десять тысяч рублей. Более того: тут же расписка Воланда в том, что он эти десять тысяч уже получил!

«Что же это такое?!» — подумал несчастный Степа, и голова у него закружилась. Начинаются зловещие провалы в памяти?! Но, само собою, после того, как контракт был предъявлен, дальнейшие выражения удивления были бы просто неприличны. Степа попросил у гостя разрешения на минуту отлучиться и, как был в носках, побежал в переднюю к телефону. По дороге он крикнул в направлении кухни:

— Груня!

Но никто не отозвался. Тут он взглянул на дверь в кабинет Берлиоза, бывшую рядом с передней, и тут, как говорится, остолбенел. На ручке двери он разглядел огромнейшую сургучную печать на веревке. «Здравствуйте! — рявкнул кто-то в голове у Степы. — Этого еще недоставало!» И тут Степины мысли побежали уже по двойному рельсовому пути, но, как всегда бывает во время катастрофы, в одну сторону и вообще черт знает куда. Головную Степину кашу трудно даже передать. Тут и чертовщина с черным беретом, холодной водкой и невероятным контрактом, — а тут еще ко всему этому, не угодно ли, и печать на двери! То есть кому хотите сказать, что Берлиоз что-то натворил, — не поверит, ей-ей, не поверит! Однако печать, вот она! Да-с...

И тут закопошились в мозгу у Степы какие-то неприятнейшие мыслишки о статье, которую, как назло, недавно он всучил Михаилу Александровичу для напечатания в журнале. И статья, между нами говоря, дурацкая! И никчемная, и деньги-то маленькие...

Немедленно вслед за воспоминанием о статье прилетело воспоминание о каком-то сомнительном разговоре, происходившем, как помнится, двадцать четвертого апреля вечером тут же, в столовой, когда Степа ужинал с Михаилом Александровичем. То есть, конечно, в полном смысле слова разговор этот сомнительным назвать нельзя (не пошел бы Степа на такой разговор), но это был разговор на какую-то ненужную тему. Совершенно свободно можно было бы, граждане, его и не затевать. До печати, нет сомнений, разговор этот мог бы считаться совершеннейшим пустяком, но вот после печати...

«Ах, Берлиоз, Берлиоз! — вскипало в голове у Степы. — Ведь это в голову не лезет!»

Но горевать долго не приходилось, и Степа набрал номер в кабинете финдиректора Варьете Римского. Положение Степы было щекотливое: во-первых, иностранец мог обидеться на то, что Степа проверяет его после того, как был показан контракт, да и с финдиректором говорить было чрезвычайно трудно. В самом деле, ведь не спросишь же его так: «Скажите, заключал ли я вчера с профессором черной магии контракт на тридцать пять тысяч рублей?» Так спрашивать не годится!

— Да! — послышался в трубке резкий, неприятный голос Римского.

— Здравствуйте, Григорий Данилович, — тихо заговорил Степа, — это Лиходеев. Вот какое дело... гм... гм... у меня сидит этот... э... артист Воланд... Так вот... я хотел спросить, как насчет сегодняшнего вечера?..

— Ах, черный маг? — отозвался в трубке Римский. — Афиши сейчас будут.

— Ага, — слабым голосом сказал Степа, — ну, пока...

— А вы скоро придете? — спросил Римский.

— Через полчаса, — ответил Степа и, повесив трубку, сжал горячую голову руками. Ах, какая выходила скверная штука! Что же это с памятью, граждане? А?

Однако дольше задерживаться в передней было неудобно, и Степа тут же составил план: всеми мерами скрыть свою невероятную забывчивость, а сейчас первым долгом хитро выспросить у иностранца, что он, собственно, намерен сегодня показывать во вверенном Степе Варьете?

Тут Степа повернулся от аппарата и в зеркале, помещавшемся в передней и давно не вытираемом ленивой Груней, отчетливо увидел какого-то странного субъекта — длинного, как жердь, и в пенсне (ах, если бы здесь был Иван Николаевич! Он узнал бы этого субъекта сразу!). А тот отразился и тотчас пропал. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю, и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал.

У Степы оборвалось сердце, он пошатнулся. «Что же это такое? — подумал он. — Уж не схожу ли я с ума? Откуда эти отражения?!» Он заглянул в переднюю и испуганно закричал:

— Груня! Какой тут кот у нас шляется? Откуда он? И кто-то еще?!

— Не беспокойтесь, Степан Богданович, — отозвался голос, но не Грунин, а гостя из спальни. — Кот этот мой. Не нервничайте. А Груни нет, я услал ее в Воронеж. Она жаловалась, что вы у нее отпуск зажилили.

Слова эти были настолько неожиданны и нелепы, что Степа решил, что ослышался. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота.

Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден: усы-перышки, стеклышко пенсне поблескивает, а другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже: на ювелиршином пуфе в развязной позе развалился некто третий, именно — жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, в другой.

Свет, и так слабый в спальне, и вовсе начал меркнуть в глазах Степы. «Вот как, оказывается, сходят с ума!» — подумал он и ухватился за притолоку.

— Я вижу, вы немного удивлены, дражайший Степан Богданович? — осведомился Воланд у лязгающего зубами Степы. — А между тем удивляться нечему. Это моя свита.

Тут кот выпил водку, и Степина рука поползла по притолоке вниз.

— И свита эта требует места, — продолжал Воланд, — так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире. И мне кажется, что этот лишний — именно вы!

— Они, они! — козлиным голосом запел длинный клетчатый, во множественном числе говоря о Степе. — Вообще они в последнее время жутко свинячат. Пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки!

— Машину зря гоняет казенную! — наябедничал кот, жуя гриб.

И тут случилось четвертое, и последнее, явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевшей рукой царапал притолоку.

Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом еще огненно-рыжий.

— Я, — вступил в разговор этот новый, — вообще не понимаю, как он попал в директора, — рыжий гнусавил все больше и больше, — он такой же директор, как я архиерей!

— Ты не похож на архиерея, Азазелло, — заметил кот, накладывая себе сосисок на тарелку.

— Я это и говорю, — прогнусил рыжий и, повернувшись к Воланду, добавил почтительно: — Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы?

— Брысь!! — вдруг рявкнул кот, вздыбив шерсть.

И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолоку головой и, теряя сознание, подумал: «Я умираю...»

Но он не умер. Приоткрыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он раскрыл глаза как следует, он понял, что шумит море и что, даже больше того, — волна покачивается у самых его ног, что, короче говоря, он сидит на самом конце мола, что над ним голубое сверкающее небо, а сзади — белый город на горах.

Не зная, как поступают в таких случаях, Степа поднялся на трясущиеся ноги и пошел по молу к берегу.

На молу стоял какой-то человек, курил, плевал в море. На Степу он поглядел дикими глазами и перестал плевать.

Тогда Степа отколол такую штуку: стал на колени перед неизвестным курильщиком и произнес:

— Умоляю, скажите, какой это город?

— Однако! — сказал бездушный курильщик.

— Я не пьян, — хрипло ответил Степа, — со мной что-то случилось... я болен... Где я? Какой это город?

— Ну, Ялта...

Степа тихо вздохнул, повалился на бок, головою стукнулся о нагретый камень мола. Сознание покинуло его.

Глава 8 ПОЕДИНОК МЕЖДУ ПРОФЕССОРОМ И ПОЭТОМ

Как раз в то время, когда сознание покинуло Степу в Ялте, то есть около половины двенадцатого дня, оно вернулось к Ивану Николаевичу Бездомному, проснувшемуся после глубокого и продолжитель-

ного сна. Некоторое время он соображал, каким это образом он попал в неизвестную комнату с белыми стенами, с удивительным ночным столиком из какого-то светлого металла и с белой шторой, за которой чувствовалось солнце.

Иван тряхнул головой, убедился в том, что она не болит, и вспомнил, что он находится в лечебнице. Эта мысль потянула за собою воспоминание о гибели Берлиоза, но сегодня оно не вызвало у Ивана сильного потрясения. Выспавшись, Иван Николаевич стал поспокойнее и соображать начал яснее. Полежав некоторое время неподвижно в чистейшей, мягкой и удобной пружинной кровати, Иван увидел кнопку звонка рядом с собою. По привычке трогать предметы без надобности, Иван нажал ее. Он ожидал какого-то звона или явления вслед за нажатием кнопки, но произошло совсем другое.

В ногах Ивановой кровати загорелся матовый цилиндр, на котором было написано: «Пить». Постояв некоторое время, цилиндр начал вращаться до тех нор, пока не выскочила надпись: «Няня». Само собою разумеется, что хитроумный цилиндр поразил Ивана. Надпись «Няня» сменилась надписью «Вызовите доктора».

— Гм... — молвил Иван, не зная, что делать с этим цилиндром дальше. Но тут повезло случайно: Иван нажал кнопку второй раз на слове «Фельдшерица». Цилиндр тихо прозвенел в ответ, остановился, потух, и в комнату вошла полная симпатичная женщина в белом чистом халате и сказала Ивану:

— Доброе утро!

Иван не ответил, так как счел это приветствие в данных условиях неуместным. В самом деле, засадили здорового человека в лечебницу да еще делают вид, что это так и нужно!

Женщина же тем временем, не теряя благодушного выражения лица, при помощи одного нажима кнопки увела штору вверх, и в комнату через широкопетлистую и легкую решетку, доходящую до самого пола, хлынуло солнце. За решеткой открылся балкон, за ним берег извивающейся реки и на другом ее берегу—веселый сосновый бор.

— Пожалуйте ванну брать, — пригласила женщина, и под руками ее раздвинулась внутренняя стена, за которой оказалось ванное отделение и прекрасно оборудованная уборная.

Иван, хоть и решил с женщиной не разговаривать, не удержался и, видя, как вода хлещет в ванну широкой струей из сияющего крана, сказал с иронией:

— Ишь ты! Как в «Метрополе»!

— О нет, — с гордостью ответила женщина, — гораздо лучше. Такого оборудования нет нигде и за границей. Ученые и врачи специально приезжают осматривать нашу клинику. У нас каждый день интуристы бывают.

При слове «интурист» Ивану тотчас же вспомнился вчерашний консультант. Иван затуманился, поглядел исподлобья и сказал:

— Интуристы... До чего вы все интуристов обожаете! А среди них, между прочим, разные попадаются. Я, например, вчера с таким познакомился, что любо-дорого!

И чуть было не начал рассказывать про Понтия Пилата, но сдержался, понимая, что женщине эти рассказы ни к чему, что все равно помочь ему она не может.

Вымытому Ивану Николаевичу тут же было выдано решительно все, что необходимо мужчине после ванны: выглаженная рубашка, кальсоны, носки. Но этого мало: отворив дверь шкафика, женщина указала внутрь его и спросила:

— Что желаете надеть — халатик или пижамку?

Прикрепленный к новому жилищу насильственно, Иван едва руками не всплеснул от развязности женщины и молча ткнул пальцем в пижаму из пунцовой байки.

После этого Ивана Николаевича повели по пустому и беззвучному коридору и привели в громаднейших размеров кабинет. Иван, решив относиться ко всему, что есть в этом на диво оборудованном здании, с иронией, тут же мысленно окрестил кабинет «фабрикой-кухней».

И было за что. Здесь стояли шкафы и стеклянные шкафики с блестящими никелированными инструментами. Были кресла необыкновенно сложного устройства, какие-то пузатые лампы с сияющими колпаками, множество склянок, и газовые горелки, и электрические провода, и совершенно никому не известные приборы.

В кабинете за Ивана принялись трое — две женщины и один мужчина, все в белом. Первым долгом Ивана отвели в уголок, за столик, с явной целью кое-что у него повыспросить.

Иван стал обдумывать положение. Перед ним было три пути. Чрезвычайно соблазнял первый: кинуться на эти лампы и замысловатые вещицы и всех их к чертовой бабушке перебить, и таким образом выразить свой протест за то, что он задержан зря. Но сегодняшний Иван значительно уже отличался от Ивана вчерашнего, и первый путь показался ему сомнительным: чего доброго, они укоренятся в мысли, что он буйный сумасшедший. Поэтому первый путь Иван отринул. Был второй: немедленно начать повествование о консультанте и Понтии Пилате. Однако вчерашний опыт показывал, что этому рассказу не верят или понимают его как-то извращенно. Поэтому Иван и от этого пути отказался, решив избрать третий: замкнуться в гордом молчании.

Полностью этого осуществить не удалось и, волей-неволей, пришлось отвечать, хоть и скупо и хмуро, на целый ряд вопросов. И у Ивана выспросили решительно все насчет его прошлой жизни, вплоть до того, когда и как он болел скарлатиной, лет пятнадцать тому назад. Исписав за Иваном целую страницу, перевернули ее, и женщина в белом перешла к расспросам о родственниках Ивана. Началась какая-то канитель: кто умер, когда да отчего, не пил ли, не болел ли венерическими болезнями, и все в таком же роде. В заключение попросили рассказать о вчерашнем происшествии на Патриарших прудах, но очень не приставали, сообщению о Понтии Пилате не удивлялись.

Тут женщина уступила Ивана мужчине, и тот взялся за него поиному и ни о чем уже не расспрашивал. Он измерил температуру

Иванова тела, посчитал пульс, посмотрел Ивану в глаза, светя в них какою-то лампой. Затем на помощь мужчине пришла другая женщина, и Ивана кололи, но не больно, чем-то в спину, рисовали у него ручкой молоточка какие-то знаки на коже груди, стучали молоточками по коленям, отчего ноги Ивана подпрыгивали, кололи палец и брали из него кровь, кололи в локтевом сгибе, надевали на руки какие-то резиновые браслеты...

Иван только горько усмехался про себя и размышлял о том, как все это глупо и странно получилось. Подумать только! Хотел предупредить всех об опасности, грозящей от неизвестного консультанта, собирался его изловить, а добился только того, что попал в какой-то таинственный кабинет затем, чтобы рассказывать всякую чушь про дядю Федора, пившего в Вологде запоем. Нестерпимо глупо!

Наконец Ивана отпустили. Он был препровожден обратно в свою комнату, где получил чашку кофе, два яйца всмятку и белый хлеб с маслом.

Съев и выпив все предложенное, Иван решил дожидаться кого-то главного в этом учреждении и уж у этого главного добиться и внимания к себе и справедливости.

И он дождался его, и очень скоро, после своего завтрака. Неожиданно открылась дверь в комнату Ивана, и в нее вошло множество народа в белых халатах. Впереди всех шел тщательно, по-актерски обритый человек лет сорока пяти, с приятными, но очень пронзительными глазами и вежливыми манерами. Вся свита оказывала ему знаки внимания и уважения, и вход его получился поэтому очень торжественным. «Как Понтий Пилат!» — подумалось Ивану.

Да, это был, несомненно, главный. Он сел на табурет, а все остались стоять.

— Доктор Стравинский, — представился усевшийся Ивану и поглядел да него дружелюбно.

— Вот, Александр Николаевич, — негромко сказал кто-то в опрятной бородке и подал главному кругом исписанный Иванов лист.

«Целое дело сшили!» — подумал Иван. А главный привычными глазами пробежал лист, пробормотал: «Угу, угу...» — и обменялся с окружающими несколькими фразами на малоизвестном языке.

«И по-латыни, как Пилат, говорит...» — печально подумал Иван. Тут одно слово заставило его вздрогнуть, и это было слово «шизофрения» — увы, уже вчера произнесенное проклятым иностранцем на Патриарших прудах, а сегодня повторенное здесь профессором Стравинским.

«И ведь это знал!» — тревожно подумал Иван.

Главный, по-видимому, поставил себе за правило соглашаться со всем и радоваться всему, что бы ни говорили ему окружающие, и выражать это словами «славно, славно...».

— Славно! — сказал Стравинский, возвращая кому-то лист, и обратился к Ивану: — Вы — поэт?

— Поэт, — мрачно ответил Иван и впервые вдруг почувствовал какое-то необъяснимое отвращение к поэзии, и вспомнившиеся ему тут же собственные его стихи показались почему-то неприятными.

Морща лицо, он, в свою очередь, спросил у Стравинского:

— Вы — профессор?

На это Стравинский предупредительно-вежливо наклонил голову.

— И вы — здесь главный? — продолжал Иван.

Стравинский и на это поклонился.

— Мне с вами нужно говорить, — многозначительно сказал Иван Николаевич.

— Я для этого и пришел, — отозвался Стравинский.

— Дело вот в чем, — начал Иван, чувствуя, что настал его час, — меня в сумасшедшие вырядили, никто не желает меня слушать!..

— О нет, мы выслушаем вас очень внимательно, — серьезно и успокоительно сказал Стравинский, — и в сумасшедшие вас рядить ни в коем случае не позволим.

— Так слушайте же: вчера вечером я на Патриарших прудах встретился с таинственною личностью, иностранцем не иностранцем, который заранее знал о смерти Берлиоза и лично видел Понтия Пилата.

Свита безмолвно и не шевелясь слушала поэта.

— Пилата? Пилат, это — который жил при Иисусе Христе? — щурясь на Ивана, спросил Стравинский.

— Тот самый.

— Ага, — сказал Стравинский, — а этот Берлиоз погиб под трамваем?

— Вот же именно его вчера при мне и зарезало трамваем на Патриарших, причем этот самый загадочный гражданин...

— Знакомый Понтия Пилата? — спросил Стравинский, очевидно, отличавшийся большой понятливостью.

— Именно он, — подтвердил Иван, изучая Стравинского, — так вот он сказал заранее, что Аннушка разлила подсолнечное масло... А он и поскользнулся как раз на этом месте! Как вам это понравится? — многозначительно осведомился Иван, надеясь произвести большой эффект своими словами.

Но этого эффекта не последовало, и Стравинский очень просто задал следующий вопрос:

— А кто же эта Аннушка?

Этот вопрос немного расстроил Ивана, лицо его передернуло.

— Аннушка здесь совершенно не важна, — проговорил он, нервничая, — черт ее знает, кто она такая. Просто дура какая-то с Садовой. А важно то, что он заранее, понимаете ли, заранее знал о подсолнечном масле! Вы меня понимаете?

— Отлично понимаю, — серьезно ответил Стравинский и, коснувшись колена поэта, добавил: — Не волнуйтесь и продолжайте.

— Продолжаю, — сказал Иван, стараясь попасть в тон Стравинскому и зная уже по горькому опыту, что лишь спокойствие поможет ему, — так вот, этот страшный тип, а он врет, что он консультант, обладает какою-то необыкновенной силой... Например, за ним погонишься, а догнать его нет возможности. А с ним еще парочка, и тоже хороша, но в своем роде: какой-то длинный в битых стеклах и, кроме того, невероятных размеров кот, самостоятельно ездящий в трамвае. Кроме того, — никем не перебиваемый, Иван говорил все с большим жаром и убедительностью, — он лично был на

балконе у Понтия Пилата, в чем нет никакого сомнения. Ведь это что же такое? А? Его надо немедленно арестовать, иначе он натворит неописуемых бед.

— Так вот вы и добиваетесь, чтобы его арестовали? Правильно я вас понял? — спросил Стравинский.

«Он умен, — подумал Иван, — надо признаться, что среди интеллигентов тоже попадаются на редкость умные. Этого отрицать нельзя»,—и ответил:

— Совершенно правильно! И как же не добиваться, вы подумайте сами! А между тем меня силою задержали здесь, тычут в глаза лампой, в ванне купают, про дядю Федю чего-то расспрашивают!.. А его уж давно на свете нет! Я требую, чтобы меня немедленно выпустили.

— Ну что же, славно, славно! — отозвался Стравинский. — Вот все и выяснилось. Действительно, какой же смысл задерживать в лечебнице человека здорового? Хорошо-с. Я вас сейчас же выпишу отсюда, если вы мне скажете, что вы нормальны. Не докажете, а только скажете. Итак, вы нормальны?

Тут наступила полная тишина, и толстая женщина, утром ухаживавшая за Иваном, благоговейно поглядела на профессора, а Иван еще раз подумал: «Положительно умен».

Предложение профессора ему очень понравилось, однако, прежде чем ответить, он очень и очень подумал, морща лоб, и наконец сказал твердо:

— Я —нормален.

— Ну вот и славно, — облегченно воскликнул Стравинский, — а если так, то давайте рассуждать логически. Возьмем ваш вчерашний день, — тут он повернулся, и ему немедленно подали Иванов лист. — В поисках неизвестного человека, который отрекомендовался вам как знакомый Понтия Пилата, вы вчера произвели следующие действия, — тут Стравинский стал загибать длинные пальцы, поглядывая то в лист, то на Ивана, — повесили на грудь иконку. Было?

— Было, — хмуро согласился Иван.

— Сорвались с забора, повредили лицо. Так? Явились в ресторан с зажженной свечой в руке, в одном белье и в ресторане побили кого-то. Привезли вас сюда связанным. Попав сюда, вы звонили в милицию и просили прислать пулеметы. Затем сделали попытку выброситься из окна. Так? Спрашивается: возможно ли, действуя таким образом, кого-либо поймать или арестовать? И если вы человек нормальный, то вы сами ответите: никоим образом. Вы желаете уйти отсюда? Извольте-с. Но позвольте вас спросить, куда вы направитесь?

— Конечно, в милицию, — ответил Иван уже не так твердо и немного теряясь под взглядом профессора.

— Непосредственно отсюда?

— Угу.

— А на квартиру к себе не заедете? — быстро спросил Стравинский.

— Да некогда тут заезжать! Пока я по квартирам буду разъезжать, он улизнет!

— Так. А что же вы скажете в милиции в первую очередь?

— Про Понтия Пилата, — ответил Иван Николаевич, и глаза его подернулись сумрачной дымкой.

— Ну вот и славно! — воскликнул покоренный Стравинский и, обратившись к тому, что был с бородкой, приказал: — Федор Васильевич, выпишите, пожалуйста, гражданина Бездомного в город. Но эту комнату не занимать, постельное белье можно не менять. Через два часа гражданин Бездомный опять будет здесь. Ну что же, — обратился он к поэту, — успеха я вам желать не буду, потому что в успех этот ни на йоту не верю. До скорого свидания! — И он встал, а свита его шевельнулась.

— На каком основании я опять буду здесь? — тревожно спросил Иван.

Стравинский как будто ждал этого вопроса, немедленно уселся и заговорил:

— На том основании, что, как только вы явитесь в кальсонах в милицию и скажете, что виделись с человеком, лично знавшим Понтия Пилата, — вас моментально привезут сюда, и вы снова окажетесь в этой же самой комнате.

— При чем тут кальсоны? — растерянно оглядываясь, спросил Иван.

— Главным образом Понтий Пилат. Но и кальсоны также. Ведь казенное же белье мы с вас снимем и выдадим вам ваше одеяние. А доставлены вы были к нам в кальсонах. А между тем на квартиру к себе вы заехать отнюдь не собирались, хоть я и намекнул вам на это. Далее последует Пилат... и дело готово!

Тут что-то странное случилось с Иваном Николаевичем. Его воля как будто раскололась, и он почувствовал, что слаб, что нуждается в совете.

— Так что же делать? — спросил он на этот раз уже робко.

— Ну вот и славно! — отозвался Стравинский. — Это резоннейший вопрос. Теперь я скажу вам, что, собственно, с вами произошло. Вчера кто-то вас сильно напугал и расстроил рассказом про Понтия Пилата и прочими вещами. И вот вы, изнервничавшийся, издерганный человек, пошли по городу, рассказывая про Понтия Пилата. Совершенно естественно, что вас принимают за сумасшедшего. Ваше спасение сейчас только в одном — в полном покое. И вам непременно нужно остаться здесь.

— Но его необходимо поймать! — уже моляще воскликнул Иван.

— Хорошо-с, но самому-то зачем же бегать? Изложите на бумаге все ваши подозрения и обвинения против этого человека. Ничего нет проще, как переслать ваше заявление куда следует, и, если, как вы полагаете, мы имеем дело с преступником, все это выяснится очень скоро. Но только одно условие: не напрягайте головы и старайтесь поменьше думать о Понтии Пилате. Мало ли чего можно рассказать! Не всему же надо верить.

— Понял! — решительно заявил Иван. — Прошу выдать мне бумагу и перо.

— Выдайте бумагу и коротенький карандаш, — приказал Стравинский толстой женщине, а Ивану сказал так: — Но сегодня советую не писать.

— Нет, нет, сегодня же, непременно сегодня, — встревоженно вскричал Иван.

— Ну хорошо. Только не напрягайте мозг. Не выйдет сегодня, выйдет завтра.

— Он уйдет!

— О нет, — уверенно возразил Стравинский, — он никуда не уйдет, ручаюсь вам. И помните, что здесь у нас вам всемерно помогут, а без этого у вас ничего не выйдет. Вы меня слышите? — вдруг многозначительно спросил Стравинский и завладел обеими руками Ивана Николаевича. Взяв их в свои, он долго, в упор глядя в глаза Ивану, повторял: — Вам здесь помогут... вы слышите меня?.. Вам здесь помогут... Вы получите облегчение. Здесь тихо, все спокойно... Вам здесь помогут...

Иван Николаевич неожиданно зевнул, выражение лица его смягчилось.

— Да, да, — тихо сказал он.

— Ну вот и славно! — по своему обыкновению заключил беседу Стравинский и поднялся. — До свидания! — он пожал руку Ивану и, уже выходя, повернулся к тому, что был с бородкой, и сказал: — Да, а кислород попробуйте... и ванны.

Через несколько мгновений перед Иваном не было ни Стравинского, ни свиты. За сеткой в окне, в полуденном солнце, красовался радостный и весенний бор на другом берегу, а поближе сверкала река.

Глава 9 КОРОВЬЕВСКИЕ ШТУКИ

Никанор Иванович Босой, председатель жилищного товарищества дома № 302-бис по Садовой улице в Москве, где проживал покойный Берлиоз, находился в страшнейших хлопотах начиная с предыдущей ночи со среды на четверг.

В полночь, как мы уже знаем, приехала в дом комиссия, в которой участвовал Желдыбин, вызвала Никанора Ивановича, сообщила ему о гибели Берлиоза и вместе с ним отправилась в квартиру № 50.

Там было произведено опечатание рукописей и вещей покойного. Ни Груни, приходящей домработницы, ни легкомысленного Степана Богдановича в это время в квартире не было. Комиссия объявила Никанору Ивановичу, что рукописи покойного ею будут взяты для разборки, что жилплощадь его, то есть три комнаты (бывшие ювелиршины кабинет, гостиная и столовая), переходит в распоряжение жилтоварищества, а вещи подлежат хранению на указанной площади, впредь до объявления наследников.

Весть о гибели Берлиоза распространилась по всему дому с какою-то сверхъестественной быстротою, и с семи часов утра четвер-

га к Босому начали звонить по телефону, а затем и лично являться с заявлениями, в которых содержались претензии на жилплощадь покойного. И в течение двух часов Никанор Иванович принял таких заявлений тридцать две штуки.

В них заключались мольбы, угрозы, кляузы, доносы, обещания произвести ремонт на свой счет, указания на несносную тесноту и невозможность жить в одной квартире с бандитами. В числе прочего было потрясающее по своей художественной силе описание похищения пельменей, уложенных непосредственно в карман пиджака, в квартире № 31, два обещания покончить жизнь самоубийством и одно признание в тайной беременности.

Никанора Ивановича вызывали в переднюю его квартиры, брали за рукав, что-то шептали, подмигивали и обещали не остаться в долгу.

Мука эта продолжалась до начала первого часа дня, когда Никанор Иванович просто сбежал из своей квартиры в помещение управления у ворот, но когда увидел он, что и там его подкарауливают, убежал и оттуда. Кое-как отбившись от тех, что следовали за ним по пятам через асфальтовый двор, Никанор Иванович скрылся в шестом подъезде и поднялся в пятый этаж, где и находилась эта поганая квартира № 50.

Отдышавшись на площадке, тучный Никанор Иванович позвонил, но ему никто не открыл. Он позвонил еще раз и еще раз и начал ворчать и тихонько ругаться. Но и тогда не открыли. Терпение Никанора Ивановича лопнуло, и он, достав из кармана связку дубликатов ключей, принадлежащих домоуправлению, властной рукою открыл дверь и вошел.

— Эй, домработница! — прокричал Никанор Иванович в полутемной передней. — Как тебя? Груня, что ли? Тебя нету?

Никто не отозвался.

Тогда Никанор Иванович вынул из портфеля складной метр, затем освободил дверь кабинета от печати и шагнул в кабинет. Шагнуть-то он шагнул, но остановился в изумлении в дверях и даже вздрогнул.

За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджачке, в жокейской шапочке и в пенсне... ну, словом, тот самый.

— Вы кто такой будете, гражданин? — испуганно спросил Никанор Иванович.

— Ба! Никанор Иванович! — заорал дребезжащим тенором неожиданный гражданин и, вскочив, приветствовал председателя насильственным и внезапным рукопожатием. Приветствие это ничуть не обрадовало Никанора Ивановича.

— Я извиняюсь, — заговорил он подозрительно, — вы кто такой будете? Вы — лицо официальное?

— Эх, Никанор Иванович! — задушевно воскликнул неизвестный. — Что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет. Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное ли-

цо, а завтра, глядишь, официальное! А бывает и наоборот, и еще как бывает!

Рассуждение это ни в какой степени не удовлетворило председателя домоуправления. Будучи по природе вообще подозрительным человеком, он заключил, что разглагольствующий перед ним гражданин — лицо именно неофициальное, а пожалуй, и праздное.

— Да вы кто такой будете? Как ваша фамилия? — все суровее спрашивал председатель и даже стал наступать на неизвестного.

— Фамилия моя, — ничуть не смущаясь суровостью, отозвался гражданин, — ну, скажем, Коровьев. Да не хотите ли закусить, Никанор Иванович? Без церемоний! А?

— Я извиняюсь, — уже негодуя, заговорил Никанор Иванович, — какие тут закуски! — Нужно признаться, хоть это и неприятно, что Никанор Иванович был по натуре несколько грубоват. — На половине покойника сидеть не разрешается! Вы что здесь делаете?

— Да вы присаживайтесь, Никанор Иванович, — нисколько не теряясь, орал гражданин и начал юлить, предлагая председателю кресло.

Совершенно освирепев, Никанор Иванович отверг кресло и завопил:

— Да кто вы такой?

— Я, изволите ли видеть, состою переводчиком при особе иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире, — отрекомендовался назвавший себя Коровьевым и щелкнул каблуком рыжего нечищеного ботинка.

Никанор Иванович открыл рот. Наличность какого-то иностранца, да еще с переводчиком, в этой квартире явилась для него совершеннейшим сюрпризом, и он потребовал объяснений.

Переводчик охотно объяснился. Иностранный артист господин Воланд был любезно приглашен директором Варьете Степаном Богдановичем Лиходеевым провести время своих гастролей, примерно недельку, у него в квартире, о чем он еще вчера написал Никанору Ивановичу с просьбой прописать иностранца временно, покуда сам Лиходеев съездит в Ялту.

— Ничего он мне не писал, — в изумлении сказал председатель.

— А вы поройтесь у себя в портфеле, Никанор Иванович, — сладко предложил Коровьев.

Никанор Иванович, пожимая плечами, открыл портфель и обнаружил в нем письмо Лиходеева.

— Как же это я про него забыл? — тупо глядя на вскрытый конверт, пробормотал Никанор Иванович.

— То ли бывает, то ли бывает, Никанор Иванович! — затрещал Коровьев. — Рассеянность, рассеянность, и переутомление, и повышенное кровяное давление, дорогой наш друг Никанор Иванович! Я сам рассеян до ужаса. Как-нибудь за рюмкой я вам расскажу несколько фактов из моей биографии, вы обхохочетесь!

— Когда же Лиходеев едет в Ялту?!

— Да он уж уехал, уехал! — закричал переводчик. — Он, знаете ли, уж катит! Уж он черт знает где! — и тут переводчик замахал руками, как мельничными крыльями.

Никанор Иванович заявил, что ему необходимо лично повидать иностранца, но в этом получил от переводчика отказ: никак невозможно. Занят. Дрессирует кота.

— Кота, ежели угодно, могу показать, — предложил Коровьев.

От этого, в свою очередь, отказался Никанор Иванович, а переводчик тут же сделал председателю неожиданное, но весьма интересное предложение.

Ввиду того, что господин Воланд нипочем не желает жить в гостинице, а жить он привык просторно, то вот не сдаст ли жилтоварищество на недельку, пока будут продолжаться гастроли Воланда в Москве, ему всю квартиру, то есть и комнаты покойного?

— Ведь ему безразлично, покойнику, — шепотом сипел Коровьев, — ему теперь, сами согласитесь, Никанор Иванович, квартира эта ни к чему?

Никанор Иванович в некотором недоумении возразил, что, мол, иностранцам полагается жить в «Метрополе», а вовсе не на частных квартирах...

— Говорю вам, капризен как черт знает что! — зашептал Коровьев. — Ну не желает! Не любит он гостиниц! Вот они где у меня сидят, эти интуристы! — интимно пожаловался Коровьев, тыча пальцем в свою жилистую шею. — Верите ли, всю душу вымотали! Приедет... и или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами замучает: и то ему не так, и это не так!.. А вашему товариществу, Никанор Иванович, полнейшая выгода и очевидный профит. А за деньгами он не постоит. — Коровьев оглянулся, а затем шепнул на ухо председателю: — Миллионер!

В предложении переводчика заключался ясный практический смысл, предложение было очень солидное, но что-то удивительно несолидное было и в манере переводчика говорить, и в его одежде, и в этом омерзительном, никуда не годном пенсне. Вследствие этого что-то неясное томило душу председателя, и все-таки он решил принять предложение. Дело в том, что в жилтовариществе был, увы, преизрядный дефицит. К осени надо было закупать нефть для парового отопления, а на какие шиши — неизвестно. А с интуристовыми деньгами, пожалуй, можно было и вывернуться. Но деловой и осторожный Никанор Иванович заявил, что ему прежде всего придется увязать этот вопрос с интуристским бюро.

— Я понимаю! — вскричал Коровьев. — Как же без увязки! Обязательно! Вот вам телефон, Никанор Иванович, и немедленно увязывайте! А насчет денег не стесняйтесь, — шепотом добавил он, увлекая председателя в переднюю к телефону, — с кого же и взять, как не с него! Если б вы видели, какая у него вилла в Ницце! Да будущим летом, как поедете за границу, нарочно заезжайте посмотреть — ахнете!

Дело с интуристским бюро уладилось по телефону с необыкновенной, поразившей председателя быстротою. Оказалось, что там уже знают о намерении господина Воланда жить в частной квартире Лиходеева и против этого ничуть не возражают.

— Ну и чудно! — орал Коровьев.

Несколько ошеломленный его трескотней, председатель заявил, что жилтоварищество согласно сдать на неделю квартиру № 50 артисту Воланду с платой по... — Никанор Иванович замялся немножко и сказал:

— По пятьсот рублей в день.

Тут Коровьев окончательно поразил председателя. Воровски подмигнув в сторону спальни, откуда слышались мягкие прыжки тяжелого кота, он просипел:

— За неделю это, стало быть, выходит три с половиной тысячи?

Никанор Иванович подумал, что он прибавит к этому: «Ну и аппетитик же у вас, Никанор Иванович!» — но Коровьев сказал совсем другое:

— Да разве это сумма! Просите пять, он даст.

Растерянно ухмыльнувшись, Никанор Иванович и сам не заметил, как оказался у письменного стола покойника, где Коровьев с величайшей быстротой и ловкостью начертал в двух экземплярах контракт. После этого он слетал с ним в спальню и вернулся, причем оба экземпляра оказались уже размашисто подписанными иностранцем. Подписал контракт и председатель. Тут Коровьев попросил расписочку на пять...

— Прописью, прописью, Никанор Иванович!., тысяч рублей... — И со словами, как-то не идущими к серьезному делу: — Эйн, цвей, дрей! — выложил председателю пять новеньких банковских пачек.

Произошло подсчитывание, пересыпаемое шуточками и прибаутками Коровьева, вроде «денежка счет любит», «свой глазок — смотрок» и прочего в том же роде.

Пересчитав деньги, председатель получил от Коровьева паспорт иностранца для временной прописки, уложил его, и контракт, и деньги в портфель и, как-то не удержавшись, стыдливо попросил контрамарочку...

— Об чем разговор! — взревел Коровьев. — Сколько вам билетиков, Никанор Иванович, двенадцать, пятнадцать?

Ошеломленный председатель пояснил, что контрамарок ему нужна только парочка, ему и Пелагее Антоновне, его супруге.

Коровьев тут же выхватил блокнот и лихо выписал Никанору Ивановичу контрамарочку на две персоны в первом ряду. И эту контрамарочку переводчик левой рукой ловко всучил Никанору Ивановичу, а правой вложил в другую руку председателя толстую хрустнувшую пачку. Метнув на нее взгляд, Никанор Иванович густо покраснел и стал ее отпихивать от себя.

— Этого не полагается... — бормотал он.

— И слушать не стану, — зашептал в самое ухо его Коровьев, — у нас не полагается, а у иностранцев полагается. Вы его обидите, Никанор Иванович, а это неудобно. Вы трудились...

— Строго преследуется, — тихо-претихо прошептал председатель и оглянулся.

— А где же свидетели? — шепнул в другое ухо Коровьев. — Я вас спрашиваю, где они? Что вы?

И тут случилось, как утверждал впоследствии председатель, чудо: пачка сама вползла к нему в портфель. А затем председатель, какой-

то расслабленный и даже разбитый, оказался на лестнице. Вихрь мыслей бушевал у него в голове. Тут вертелась и эта вилла в Ницце, и дрессированный кот, и мысль о том, что свидетелей действительно не было, и что Пелагея Антоновна обрадуется контрамарке. Это были бессвязные мысли, но в общем приятные. И тем не менее где-то какая-то иголочка в самой глубине души покалывала председателя. Это была иголочка беспокойства. Кроме того, тут же на лестнице председателя, как удар, хватила мысль: «А как же попал в кабинет переводчик, если на дверях была печать?! И как он, Никанор Иванович, об этом не спросил?» Некоторое время председатель, как баран, смотрел на ступеньки лестницы, но потом решил плюнуть на это и не мучить себя замысловатым вопросом...

Лишь только председатель покинул квартиру, из спальни донесся низкий голос:

— Мне этот Никанор Иванович не понравился. Он выжига и плут. Нельзя ли сделать так, чтобы он больше не приходил?

— Мессир, вам стоит это приказать!.. — отозвался откуда-то Коровьев, но не дребезжащим, а очень чистым и звучным голосом.

И сейчас же проклятый переводчик оказался в передней, навертел там номер и начал почему-то очень плаксиво говорить в трубку:

— Алло! Считаю долгом сообщить, что наш председатель жилтоварищества дома номер триста два-бис по Садовой, Никанор Иванович Босой, спекулирует валютой. В данный момент в его квартире номер тридцать пять в вентиляции, в уборной, в газетной бумаге — четыреста долларов. Говорит жилец означенного дома из квартиры номер одиннадцать Тимофей Квасцов. Но заклинаю держать в тайне мое имя. Опасаюсь мести вышеизложенного председателя.

И повесил трубку, подлец!

Что дальше происходило в квартире № 50, неизвестно, но известно, что происходило у Никанора Ивановича. Запершись у себя в уборной на крючок, он вытащил из портфеля пачку, навязанную переводчиком, и убедился в том, что в ней четыреста рублей. Эту пачку Никанор Иванович завернул в обрывок газеты и засунул в вентиляционный ход.

Через пять минут председатель сидел за столом в своей маленькой столовой. Супруга его принесла из кухни аккуратно нарезанную селедочку, густо посыпанную зеленым луком. Никанор Иванович налил лафитничек водки, выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку три куска селедки... и в это время позвонили. А Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в ней, в гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в мире, — мозговая кость.

Проглотив слюну, Никанор Иванович заворчал, как пес:

— А чтоб вам провалиться! Поесть не дадут. Не пускай никого, меня нету, нету. Насчет квартиры скажи, чтобы перестали трепаться. Через неделю будет заседание...

Супруга побежала в переднюю, а Никанор Иванович разливательной ложкой поволок из огнедышащего озера — ее, кость, треснувшую вдоль. И в эту минуту в столовую вошли двое граждан, а с ними

почему-то очень бледная Пелагея Антоновна. При взгляде на граждан побелел и Никанор Иванович и поднялся.

— Где сортир? — озабоченно спросил первый, который был в белой косоворотке.

На обеденном столе что-то стукнуло (это Никанор Иванович уронил ложку на клеенку).

— Здесь, здесь, — скороговоркой ответила Пелагея Антоновна.

И пришедшие немедленно устремились в коридор.

— А в чем дело? — тихо спросил Никанор Иванович, следуя за пришедшими. — У нас ничего такого в квартире не может быть... А у вас документики... я извиняюсь...

Первый на ходу показал Никанору Ивановичу документик, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке в уборной, с рукою, засунутой в вентиляционный ход. В глазах у Никанора Ивановича потемнело. Газету сняли, но в пачке оказались не рубли, а неизвестные деньги, не то синие, не то зеленые, и с изображениями какого-то старика. Впрочем, все это Никанор Иванович разглядел неясно, перед глазами у него плавали какие-то пятна.

— Доллары в вентиляции, — задумчиво сказал первый и спросил Никанора Ивановича мягко и вежливо: — Ваш пакетик?

— Нет! — ответил Никанор Иванович страшным голосом. — Подбросили враги!

— Это бывает, — согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: — Ну что же, надо остальные сдавать.

— Нету у меня! Нету, богом клянусь, никогда в руках не держал! — отчаянно вскричал председатель.

Он кинулся к комоду, с грохотом вытащил ящик, а из него портфель, бессвязно при этом вскрикивая:

— Вот контракт... переводчик-гад подбросил... Коровьев... в пенсне!

Он открыл портфель, глянул в него, сунул в него руку, посинел лицом и уронил портфель в борщ. В портфеле ничего не было: ни Степиного письма, ни контракта, ни иностранцева паспорта, ни денег, ни контрамарки. Словом, ничего, кроме складного метра.

— Товарищи! — неистово закричал председатель. — Держите их! У нас в доме нечистая сила!

И тут уж неизвестно что померещилось Пелагее Антоновне, но только она, всплеснув руками, вскричала:

— Покайся, Иваныч! Тебе скидка выйдет!

С глазами, налитыми кровью, Никанор Иванович занес кулаки над головой жены, хрипя:

— У, дура проклятая!

Тут он ослабел и опустился на стул, очевидно, решив покориться неизбежному.

В это время Тимофей Кондратьевич Квасцов на площадке лестницы припадал к замочной скважине в дверях квартиры председателя то ухом, то глазом, изнывая от любопытства.

Через пять минут жильцы дома, находившиеся во дворе, видели, как председатель в сопровождении еще двух лиц проследовал прямо

к воротам дома. Рассказывали, что на Никаноре Ивановиче лица не было, что он пошатывался, проходя, как пьяный, и что-то бормотал.

А еще через час неизвестный гражданин явился в квартиру № 11, как раз в то время, когда Тимофей Кондратьевич рассказывал другим жильцам, захлебываясь от удовольствия, о том, как замели председателя, пальцем выманил из кухни Тимофея Кондратьевича в переднюю, что-то ему сказал и вместе с ним пропал.

Глава 10 ВЕСТИ ИЗ ЯЛТЫ

В то время как случилось несчастье с Никанором Ивановичем, недалеко от дома № 302-бис, на той же Садовой, в кабинете финансового директора Варьете Римского находились двое: сам Римский и администратор Варьете Варенуха.

Большой кабинет во втором этаже театра двумя окнами выходил на Садовую, а одним, как раз за спиною финдиректора, сидевшего за письменным столом, в летний сад Варьете, где помещались прохладительные буфеты, тир и открытая эстрада. Убранство кабинета, помимо письменного стола, заключалось в пачке старых афиш, висевших на стене, маленьком столике с графином воды, в четырех креслах и в подставке в углу, на которой стоял запыленный давний макет какого-то обозрения. Ну, само собой разумеется, что, кроме того, была в кабинете небольших размеров потасканная, облупленная несгораемая касса, по левую руку Римского, рядом с письменным столом.

Сидящий за столом Римский с самого утра находился в дурном расположении духа, а Варенуха, в противоположность ему, был очень оживлен и как-то особенно беспокойно деятелен. Между тем выхода его энергии не было.

Варенуха прятался сейчас в кабинете у финдиректора от контрамарочников, которые отравляли ему жизнь, в особенности в дни перемены программы. А сегодня как раз и был такой день.

Лишь только начинал звенеть телефон, Варенуха брал трубку и лгал в нее:

— Кого? Варенуху? Его нету. Вышел из театра.

— Позвони ты, пожалуйста, Лиходееву еще раз, — раздраженно сказал Римский.

— Да нету его дома. Я уж Карпова посылал. Никого нету в квартире.

— Черт знает что такое, — шипел Римский, щелкая на счетной машинке.

Дверь открылась, и капельдинер втащил толстую пачку только что напечатанных дополнительных афиш. На зеленых листах крупными красными буквами было напечатано:

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО В ТЕАТРЕ ВАРЬЕТЕ

СВЕРХ ПРОГРАММЫ:

ПРОФЕССОР ВОЛАНД

СЕАНСЫ ЧЕРНОЙ МАГИИ

С ПОЛНЫМ ЕЕ РАЗОБЛАЧЕНИЕМ

Варенуха, отойдя от афиши, наброшенной им на макет, полюбовался на нее и приказал капельдинеру немедленно пустить все экземпляры в расклейку.

— Хорошо, броско, — заметил Варенуха по уходе капельдинера.

— А мне до крайности не нравится эта затея, — злобно поглядывая на афишу сквозь роговые очки, ворчал Римский, — и вообще я удивляюсь, как ему разрешили это поставить!

— Нет, Григорий Данилович, не скажи, это очень тонкий шаг. Тут вся соль в разоблачении.

— Не знаю, не знаю, никакой тут соли нет, и всегда он придумает что-нибудь такое! Хоть бы показал этого мага. Ты-то его видел? Откуда он его выкопал, черт его знает!

Выяснилось, что Варенуха, так же как и Римский, не видел мага. Вчера Степа («как сумасшедший», по выражению Римского) прибежал к финдиректору с написанным уже черновиком договора, тут же велел его переписать и выдать деньги. И маг этот смылся, и никто его не видел, кроме самого Степы.

Римский вынул часы, увидел, что они показывают пять минут третьего, и совершенно остервенился. В самом деле! Лиходеев звонил примерно в одиннадцать часов, сказал, что придет через полчаса, и не только не пришел, но и из квартиры исчез!

— У меня же дело стоит! — уже рычал Римский, тыча пальцем в груду неподписанных бумаг.

— Уж не попал ли он, как Берлиоз, под трамвай? — говорил Варенуха, держа у уха трубку, в которой слышались густые, продолжительные и совершенно безнадежные сигналы.

— А хорошо бы было... — чуть слышно сквозь зубы сказал Римский.

В этот самый момент вошла в кабинет женщина в форменной куртке, в фуражке, в черной юбке и в тапочках. Из маленькой сумки на поясе женщина вынула беленький квадратик и тетрадь и спросила:

— Где тут Варьете? Сверхмолния вам. Распишитесь.

Варенуха черкнул какую-то закорючку в тетради у женщины и, лишь только дверь за той захлопнулась, вскрыл квадратик.

Прочитав телеграмму, он поморгал глазами и передал квадратик Римскому.

В телеграмме было напечатано следующее: «Ялты Москву Варьете Сегодня половину двенадцатого угрозыск явился шатен ночной сорочке брюках без сапог психический назвался Лиходеевым директором Варьете Молнируйте ялтинский розыск где директор Лиходеев».

— Здравствуйте, я ваша тетя! — воскликнул Римский и добавил: — Еще сюрприз!

— Лжедимитрий, — сказал Варенуха и заговорил в трубку телефона: — Телеграф? Счет Варьете. Примите сверхмолнию... Вы слушаете?.. «Ялта угрозыск... Директор Лиходеев Москве Финдиректор Римский»...

Независимо от сообщения об ялтинском самозванце, Варенуха опять принялся по телефону разыскивать Степу где попало и, натурально, нигде его не нашел.

Как раз тогда, когда Варенуха, держа в руках трубку, раздумывал о том, куда бы ему еще позвонить, вошла та самая женщина, что принесла и первую молнию, и вручила Варенухе новый конвертик. Торопливо вскрыв его, Варенуха прочитал напечатанное и свистнул.

— Что еще? — нервно дернувшись, спросил Римский.

Варенуха молча подал ему телеграмму, и финдиректор увидел в ней слова: «Умоляю верить брошен Ялту гипнозом Воланда молнируйте угрозыску подтверждение личности Лиходеев».

Римский и Варенуха, касаясь друг друга головами, перечитывали телеграмму, а перечитав, молча уставились друг на друга.

— Граждане! — вдруг рассердилась женщина. — Расписывайтесь, а потом уж будете молчать сколько угодно! Я ведь молнии разношу.

Варенуха, не спуская глаз с телеграммы, криво расчеркнулся в тетради, и женщина исчезла.

— Ты же с ним в начале двенадцатого разговаривал по телефону? — в полном недоумении заговорил администратор.

— Да смешно говорить! — пронзительно закричал Римский. — Разговаривал или не разговаривал, а не может он быть сейчас в Ялте! Это смешно!

— Он пьян... — сказал Варенуха.

— Кто пьян? — спросил Римский, и опять оба уставились друг на друга.

Что телеграфировал из Ялты какой-то самозванец или сумасшедший, в этом сомнений не было. Но вот что было странно: откуда же ялтинский мистификатор знает Воланда, только вчера приехавшего в Москву? Откуда он знает о связи между Лиходеевым и Воландом?

— «Гипнозом...» — повторял Варенуха слово из телеграммы. — Откуда ж ему известно о Воланде? — Он поморгал глазами и вдруг вскричал решительно: — Да нет, чепуха, чепуха, чепуха!

— Где он остановился, этот Воланд, черт его возьми? — спросил Римский.

Варенуха немедля соединился с интуристским бюро и, к полному удивлению Римского, сообщил, что Воланд остановился в квартире Лиходеева. Набрав после этого номер лиходеевской квартиры, Варенуха долго слушал, как густо гудит в трубке. Среди этих гудков откуда-то издалека послышался тяжкий, мрачный голос, пропевший: «...скалы, мой приют...» — и Варенуха решил, что в телефонную сеть откуда-то прорвался голос из радиотеатра.

— Не отвечает квартира, — сказал Варенуха, кладя трубку на рычаг, — попробовать разве позвонить еще...

Он не договорил. В дверях появилась все та же женщина, и оба, и Римский и Варенуха, поднялись ей навстречу, а она вынула из сумки уже не белый, а какой-то темный листок.

— Это уже становится интересно, — процедил сквозь зубы Варенуха, провожая взглядом поспешно уходящую женщину. Первый листком овладел Римский.

На темном фоне фотографической бумаги отчетливо выделялись черные писаные строки:

«Доказательство мой почерк моя подпись Молнируйте подтверждение установите секретное наблюдение Воландом Лиходеев».

За двадцать лет своей деятельности в театрах Варенуха видал всякие виды, но тут он почувствовал, что ум его застилается как бы пеленою, и он ничего не сумел произнести, кроме житейской и притом совершенно нелепой фразы:

— Этого не может быть!

Римский же поступил не так. Он поднялся, открыл дверь, рявкнул в нее курьерше, сидящей на табуретке:

— Никого, кроме почтальонов, не впускать! — и запер дверь на ключ.

Затем он достал из письменного стола кипу бумаг и начал тщательно сличать жирные, с наклоном влево, буквы в фотограмме с буквами в Степиных резолюциях и в его же подписях, снабженных винтовой закорючкой. Варенуха, навалившись на стол, жарко дышал в щеку Римского.

— Это его почерк, — наконец твердо сказал финдиректор, а Варенуха отозвался, как эхо:

— Его.

Вглядевшись в лицо Римского, администратор подивился перемене, происшедшей в этом лице. И без того худой финдиректор как будто еще более похудел и даже постарел, а глаза его в роговой оправе утратили свою обычную колючесть, и появилась в них не только тревога, но даже и печаль.

Варенуха проделал все, что полагается человеку в минуты великого изумления. Он и по кабинету пробежался, и дважды вздымал руки, как распятый, и выпил целый стакан желтоватой воды из графина, и восклицал:

— Не понимаю! Не понимаю! Не по-ни-маю!

Римский же смотрел в окно и напряженно о чем-то думал. Положение финдиректора было очень затруднительно. Требовалось тут же, не сходя с места, изобрести обыкновенные объяснения явлений необыкновенных.

Прищурившись, финдиректор представил себе Степу в ночной сорочке и без сапог влезающим сегодня около половины двенадцатого в какой-то невиданный сверхбыстроходный самолет, а затем его же, Степу, и тоже в половине двенадцатого, стоящим в носках на аэродроме в Ялте... Черт знает что такое!

Может быть, не Степа сегодня говорил с ним по телефону из собственной своей квартиры? Нет, это говорил Степа! Ему ли не знать Степиного голоса! Да если бы сегодня и не Степа говорил, то ведь не далее чем вчера, под вечер, Степа из своего кабинета явился в этот самый кабинет с этим дурацким договором и раздражал финдиректора своим легкомыслием. Как это он мог уехать или улететь, ниче-

го не сказав в театре? Да если бы и улетел вчера вечером, к полудню сегодняшнего дня не долетел бы. Или долетел бы?

— Сколько километров до Ялты? — спросил Римский.

Варенуха прекратил свою беготню и заорал:

— Думал! Уже думал! До Севастополя по железной дороге около полутора тысяч километров. Да до Ялты еще накинь восемьдесят километров. Ну, по воздуху, конечно, меньше.

Гм... Да... Ни о каких поездах не может быть и разговора. Но что же тогда? Истребитель? Кто и в какой истребитель пустит Степу без сапог? Зачем? Может быть, он снял сапоги, прилетев в Ялту? То же самое: зачем? Да и в сапогах в истребитель его не пустят! Да и истребитель тут ни при чем. Ведь писано же, что явился в угрозыск в половине двенадцатого дня, а разговаривал он по телефону в Москве... позвольте-ка... тут перед глазами Римского возник циферблат его часов... Он припоминал, где были стрелки. Ужас! Это было в двадцать минут двенадцатого. Так что же это выходит? Если предположить, что мгновенно после разговора Степа кинулся на аэродром и достиг его через пять, скажем, минут, что, между прочим, тоже немыслимо, то выходит, что самолет, снявшись тут же, в пять минут покрыл более тысячи километров? Следовательно, в час он покрывает более двенадцати тысяч километров!! Этого не может быть, а значит, его нет в Ялте.

Что же остается? Гипноз? Никакого такого гипноза, чтобы швырнуть человека за тысячу километров, на свете нет! Стало быть, ему мерещится, что он в Ялте? Ему-то, может быть, и мерещится, а ялтинскому угрозыску тоже мерещится?! Ну, нет, извините, этого не бывает!.. Но ведь телеграфируют они оттуда?

Лицо финдиректора было буквально страшно. Ручку двери снаружи в это время крутили и дергали, и слышно было, как курьерша за дверями отчаянно кричала:

— Нельзя! Не пущу! Хоть зарежьте! Заседание!

Римский, сколько мог, овладел собою, взял телефонную трубку и сказал в нее:

— Дайте сверхсрочный разговор с Ялтой.

«Умно!» — мысленно воскликнул Варенуха.

Но разговор с Ялтой не состоялся. Римский положил трубку и сказал:

— Как назло, линия испортилась.

Видно было, что порча линии его почему-то особенно сильно расстроила и даже заставила задуматься. Подумав немного, он опять взялся за трубку одною рукой, а другой стал записывать то, что говорил в трубку:

— Примите сверхмолнию. Варьете. Да. Ялта. Угрозыск. Да. «Сегодня около половины двенадцатого Лиходеев говорил мною телефону Москве, точка. После этого на службу не явился и разыскать его телефонам не можем, точка. Почерк подтверждаю, точка. Меры наблюдения указанным артистом принимаю Финдиректор Римский».

«Очень умно!» — подумал Варенуха, но не успел подумать как следует, как в голове у него пронеслись слова: «Глупо! Не может он быть в Ялте!»

Римский же тем временем сделал следующее: аккуратно сложил все полученные телеграммы и копию со своей в пачку, пачку вложил в конверт, заклеил его, надписал на нем несколько слов и вручил его Варенухе, говоря:

— Сейчас же, Иван Савельевич, лично отвези. Пусть там разбирают.

«А вот это действительно умно!» — подумал Варенуха и спрятал конверт в свой портфель. Затем он еще раз на всякий случай навертел на телефоне номер Степиной квартиры, прислушался и радостно и таинственно замигал и загримасничал. Римский вытянул шею.

— Артиста Воланда можно попросить? — сладко спросил Варенуха.

— Они заняты, — ответила трубка дребезжащим голосом, — а кто спрашивает?

— Администратор Варьете Варенуха.

— Иван Савельевич? — радостно вскричала трубка. — Страшно рад слышать ваш голос! Как ваше здоровье?

— Мерси, — изумленно ответил Варенуха, — а с кем я говорю?

— Помощник, помощник его и переводчик Коровьев, — трещала трубка, — весь к вашим услугам, милейший Иван Савельевич! Распоряжайтесь мною как вам будет угодно. Итак?

— Простите, что, Степана Богдановича Лиходеева сейчас нету дома?

— Увы, нету! Нету! — кричала трубка. — Уехал.

— А куда?

— За город кататься на машине.

— К... как? Ка... кататься?.. А когда же он вернется?

— А сказал, подышу свежим воздухом и вернусь!

— Так... — растерянно сказал Варенуха, — мерси. Будьте добры передать мосье Воланду, что выступление его сегодня в третьем отделении.

— Слушаю. Как же. Непременно. Срочно. Всеобязательно. Передам, — отрывисто стукала трубка.

— Всего доброго, — удивляясь, сказал Варенуха.

— Прошу принять, — говорила трубка, — мои наилучшие, наигорячейшие приветы и пожелания! Успехов! Удач! Полного счастья! Всего!

— Ну, конечно! Я же говорил! — возбужденно кричал администратор. — Никакая не Ялта, а он уехал за город!

— Ну, если это так, — бледнея от злобы, заговорил финдиректор, — то уж это действительно свинство, которому нет названия!

Тут администратор подпрыгнул и закричал так, что Римский вздрогнул:

— Вспомнил! Вспомнил! В Пушкине открылась чебуречная «Ялта»! Все понятно! Поехал туда, напился и теперь оттуда телеграфирует!

— Ну, уж это чересчур, — дергаясь щекой, ответил Римский, и в глазах его горела настоящая тяжелая злоба, — ну что ж, дорого ему эта прогулка обойдется!.. — Он вдруг споткнулся и нерешительно добавил: — Но как же, ведь угрозыск...

— Это вздор! Его собственные шуточки, — перебил экспансивный администратор и спросил: — А пакет-то везти?

— Обязательно, — ответил Римский.

И опять открылась дверь, и вошла та самая... «Она!» — почему-то с тоской подумал Римский. И оба встали навстречу почтальонше.

На этот раз в телеграмме были слова:

«Спасибо подтверждение срочно пятьсот угрозыск мне завтра вылетаю Москву Лиходеев».

— Он с ума сошел... — слабо сказал Варенуха.

Римский же позвенел ключом, вынул из ящика несгораемой кассы деньги, отсчитал пятьсот рублей, позвонил, вручил курьеру деньги и послал его на телеграф.

— Помилуй, Григорий Данилович, — не веря своим глазам, проговорил Варенуха, — по-моему, ты зря деньги посылаешь.

— Они придут обратно, — отозвался Римский тихо, — а вот он сильно ответит за этот пикничок. — И добавил, указывая на портфель Варенухи: — Поезжай, Иван Савельевич, не медли.

И Варенуха с портфелем выбежал из кабинета. Он спустился в нижний этаж, увидел длиннейшую очередь возле кассы, узнал от кассирши, что та через час ждет аншлага, потому что публика прямо валом пошла, лишь только увидела дополнительную афишу, велел кассирше загнуть и не продавать тридцать лучших мест в ложах и в партере, выскочив из кассы, тут же на ходу отбился от назойливых контрамарочников и нырнул в свой кабинетик, чтобы захватить кепку. В эту минуту затрещал телефон.

— Да! — крикнул Варенуха.

— Иван Савельевич? — осведомилась трубка препротивным гнусавым голосом.

— Его нету в театре! — крикнул было Варенуха, но трубка тотчас его перебила:

— Не валяйте дурака, Иван Савельевич, а слушайте. Телеграммы эти никуда не носите и никому не показывайте.

— Кто это говорит? — взревел Варенуха. — Прекратите, гражданин, эти штуки! Вас сейчас же обнаружат! Ваш номер?

— Варенуха, — отозвался все тот же гадкий голос, — ты русский язык понимаешь? Не носи никуда телеграммы.

— А, так вы не унимаетесь? — закричал администратор в ярости. — Ну смотрите же! Поплатитесь вы за это! — Он еще прокричал какую-то угрозу, но замолчал, потому что почувствовал, что в трубке его никто уже не слушает.

Тут в кабинетике как-то быстро стало темнеть. Варенуха выбежал, захлопнул за собою дверь и через боковой ход устремился в летний сад.

Администратор был возбужден и полон энергии. После наглого звонка он не сомневался в том, что хулиганская шайка проделывает скверные шуточки и что эти шуточки связаны с исчезновением Лиходеева. Желание изобличить злодеев душило администратора, и, как это ни странно, в нем зародилось предвкушение чего-то приятного. Так бывает, когда человек стремится стать центром внимания, принести куда-нибудь сенсационное сообщение.

В саду ветер дунул в лицо администратору и засыпал ему глаза песком, как бы преграждая путь, как бы предостерегая. Хлопнула во втором этаже рама так, что чуть не вылетели стекла, в вершинах кленов и лип тревожно прошумело. Потемнело и посвежело. Администратор протер глаза и увидел, что над Москвой низко ползет желтобрюхая грозовая туча. Вдали густо заворчало.

Как ни торопился Варенуха, неодолимое желание потянуло его забежать на секунду в летнюю уборную, чтобы на ходу проверить, одел ли монтер в сетку лампу.

Пробежав мимо тира, Варенуха попал в густую заросль сирени, в которой стояло голубоватое здание уборной. Монтер оказался аккуратным человеком, лампа под крышей в мужском отделении была уже обтянута металлической сеткой, но огорчило администратора то, что даже в предгрозовом потемнении можно было разобрать, что стены уже исписаны углем и карандашом.

— Ну что же это за!.. — начал было администратор и вдруг услышал за собою голос, мурлыкнувший:

— Это вы, Иван Савельевич?

Варенуха вздрогнул, обернулся и увидел перед собою какого-то небольшого толстяка, как показалось, с кошачьей физиономией.

— Ну я, — неприязненно ответил Варенуха.

— Очень, очень приятно, — писклявым голосом отозвался котообразный толстяк и вдруг, развернувшись, ударил Варенуху по уху так, что кепка слетела с головы администратора и бесследно исчезла в отверстии сиденья.

От удара толстяка вся уборная осветилась на мгновение трепетным светом, и в небе отозвался громовой удар. Потом еще раз сверкнуло, и перед администратором возник второй — маленький, но с атлетическими плечами, рыжий, как огонь, один глаз с бельмом, рот с клыком. Этот второй, будучи, очевидно, левшой, съездил администратора по другому уху. В ответ опять-таки грохнуло в небе, и на деревянную крышу уборной обрушился ливень.

— Что вы, товари... — прошептал ополоумевший администратор, сообразил тут же, что слово «товарищи» никак не подходит к бандитам, напавшим на человека в общественной уборной, прохрипел: — Гражда... — смекнул, что и этого названия они не заслуживают, и получил третий страшный удар неизвестно от кого из двух, так что кровь из носу хлынула на толстовку.

— Что у тебя в портфеле, паразит? — пронзительно прокричал похожий на кота. — Телеграммы? А тебя предупредили по телефону, чтобы ты их никуда не носил? Предупреждали, я тебя спрашиваю?

— Предупрежди... дали... дили... — задыхаясь, ответил администратор.

— А ты все-таки побежал? Дай сюда портфель, гад! — тем самым гнусавым голосом, что был слышен в телефоне, крикнул второй и выдрал портфель из трясущихся рук Варенухи.

И оба подхватили администратора под руки, выволокли его из сада и понеслись с ним по Садовой. Гроза бушевала с полной силой, во-

да с грохотом и воем низвергалась в канализационные отверстия, всюду пузырилось, вздувались волны, с крыш хлестало мимо труб, из подворотней бежали пенные потоки. Все живое смылось с Садовой, и спасти Ивана Савельевича было некому. Прыгая в мутных реках и освещаясь молниями, бандиты в одну секунду доволокли полуживого администратора до дома № 302-бис, влетели с ним в подворотню, где к стенке жались две босоногие женщины, свои туфли и чулки державшие в руках. Затем кинулись в шестой подъезд, и близкий к безумию Варенуха был вознесен в пятый этаж и брошен на пол в хорошо знакомой ему полутемной передней квартиры Степы Лиходеева.

Тут оба разбойника сгинули, а вместо них появилась в передней совершенно нагая девица — рыжая, с горящими фосфорическими глазами.

Варенуха понял, что это-то и есть самое страшное из всего, что приключилось с ним, и, застонав, отпрянул к стене. А девица подошла вплотную к администратору и положила ладони рук ему на плечи. Волосы Варенухи поднялись дыбом, потому что даже сквозь холодную, пропитанную водой ткань толстовки он почувствовал, что ладони эти еще холоднее, что они холодны ледяным холодом.

— Дай-ка я тебя поцелую, — нежно сказала девица, и у самых его глаз оказались сияющие глаза. Тогда Варенуха лишился чувств и поцелуя не ощутил.

Глава 11 РАЗДВОЕНИЕ ИВАНА

Бор на противоположном берегу реки, еще час назад освещенный майским солнцем, помутнел, размазался и растворился.

Вода сплошною пеленой валила за окном. В небе то и дело вспыхивали нити, небо лопалось, комнату больного заливало трепетным пугающим светом.

Иван тихо плакал, сидя на кровати и глядя на мутную, кипящую в пузырях реку. При каждом ударе грома он жалобно вскрикивал и закрывал лицо руками. Исписанные Иваном листки валялись на полу. Их сдуло ветром, влетевшим в комнату перед началом грозы.

Попытки поэта сочинить заявление насчет страшного консультанта не привели ни к чему. Лишь только он получил от толстой фельдшерицы, которую звали Прасковьей Федоровной, огрызок карандаша и бумагу, он деловито потер руки и торопливо пристроился к столику. Начало он вывел довольно бойко:

«В милицию. Члена Массолита Ивана Николаевича Бездомного. Заявление. Вчера вечером я пришел с покойным М.А.Берлиозом на Патриаршие пруды...»

И сразу поэт запутался, главным образом из-за слова «покойным». С места выходила какая-то безлепица: как это так — пришел с покойным? Не ходят покойники! Действительно, чего доброго, за сумасшедшего примут!

Подумав так, Иван Николаевич начал исправлять написанное. Вышло следующее: «...с М.А.Берлиозом, впоследствии покойным...» И это не удовлетворило автора. Пришлось применить третью редакцию, а та оказалась еще хуже первых двух: «...Берлиозом, который попал под трамвай...» — а здесь еще прицепился этот никому не известный композитор-однофамилец, и пришлось вписывать: «...не композитором...»

Намучившись с этими двумя Берлиозами, Иван все зачеркнул и решил начать сразу с чего-то очень сильного, чтобы немедленно привлечь внимание читающего, и написал, что кот садился в трамвай, а потом вернулся к эпизоду с отрезанной головой. Голова и предсказание консультанта привели его к мысли о Понтии Пилате, и для вящей убедительности Иван решил весь рассказ о прокураторе изложить полностью с того самого момента, как тот в белом плаще с кровавым подбоем вышел в колоннаду Иродова дворца.

Иван работал усердно, и перечеркивал написанное, и вставлял новые слова, и даже попытался нарисовать Понтия Пилата, а затем кота на задних лапах. Но и рисунки не помогли, и чем дальше — тем путанее и непонятнее становилось заявление поэта.

К тому времени, как появилась издалека пугающая туча с дымящимися краями и накрыла бор и дунул ветер, Иван почувствовал, что обессилел, что с заявлением ему не совладать, не стал поднимать разлетевшихся листков и тихо и горько заплакал.

Добродушная фельдшерица Прасковья Федоровна навестила поэта во время грозы, встревожилась, видя, что он плачет, закрыла штору, чтобы молнии не пугали больного, листки подняла с полу и с ними побежала за врачом.

Тот явился, сделал укол в руку Ивана и уверил его, что он больше плакать не будет, что теперь все пройдет, все изменится и все забудется.

Врач оказался прав. Вскоре заречный бор стал прежним. Он вырисовался до последнего дерева под небом, расчистившимся до прежней полной голубизны, а река успокоилась. Тоска начала покидать Ивана тотчас после укола, и теперь поэт лежал спокойно и глядел на радугу, раскинувшуюся по небу.

Так продолжалось до вечера, и он даже не заметил, как радуга растаяла и как загрустило и полиняло небо, как почернел бор.

Напившись горячего молока, Иван опять прилег и сам подивился тому, как изменились его мысли. Как-то смягчился в памяти проклятый бесовский кот, не пугала более отрезанная голова, и, покинув мысль о ней, стал размышлять Иван о том, что, по сути дела, в клинике очень неплохо, что Стравинский умница и знаменитость и что иметь с ним дело чрезвычайно приятно. Вечерний воздух к тому же и сладостен и свеж после грозы.

Дом скорби засыпал. В тихих коридорах потухли матовые белые лампы, и вместо них согласно распорядку зажглись слабые голубые ночники, и все реже за дверями слышались осторожные шажки фельдшериц на резиновых половиках коридора.

Теперь Иван лежал в сладкой истоме и поглядывал то на лампочку под абажуром, льющую с потолка смягченный свет, то на луну, выходящую из-за черного бора, и беседовал сам с собою.

— Почему, собственно, я так взволновался из-за того, что Берлиоз попал под трамвай? — рассуждал поэт. — В конечном счете, ну его в болото! Кто я, в самом деле, кум ему или сват? Если как следует провентилировать этот вопрос, то выходит, что я, в сущности, даже и не знал-то по-настоящему покойника. Действительно, что мне о нем было известно? Да ничего, кроме того, что он был лыс и красноречив до ужаса. И далее, граждане, — продолжал свою речь Иван, обращаясь к кому-то, — разберемся вот в чем: чего это я, объясните, взбесился на этого загадочного консультанта, мага и профессора с пустым и черным глазом? К чему вся нелепая погоня за ним в подштанниках и со свечечкой в руках, а затем и дикая петрушка в ресторане?

— Но-но-но, — вдруг сурово сказал где-то, не то внутри, не то над ухом, прежний Иван Ивану новому, — про то, что голову Берлиозу-то отрежет, ведь он все-таки знал заранее? Как же не взволноваться?

— О чем, товарищи, разговор! — возражал новый Иван ветхому, прежнему Ивану. — Что здесь дело нечисто, это понятно даже ребенку. Он личность незаурядная и таинственная на все сто. Но ведь в этом-то самое интересное и есть! Человек лично был знаком с Понтием Пилатом, чего же вам еще интереснее надобно? И вместо того, чтобы поднимать глупейшую бузу на Патриарших, не умнее ли было бы вежливо расспросить о том, что было далее с Пилатом и этим арестованным Га-Ноцри? А я черт знает чем занялся! Важное, в самом деле, происшествие — редактора журнала задавило! Да что от этого, журнал, что ли, закроется? Ну, что ж поделаешь? Человек смертен, и, как справедливо сказано было, внезапно смертен. Ну, царство небесное ему! Ну, будет другой редактор, и даже, может быть, еще красноречивее прежнего.

Подремав немного, Иван новый ехидно спросил у старого Ивана:

— Так кто же я такой выхожу в этом случае?

— Дурак! — отчетливо сказал где-то бас, не принадлежащий ни одному из Иванов и чрезвычайно похожий на бас консультанта.

Иван, почему-то не обидевшись на слово «дурак», но даже приятно изумившись ему, усмехнулся и в полусне затих. Сон крался к Ивану, и уже померещилась ему и пальма на слоновой ноге, и кот прошел мимо — не страшный, а веселый, и, словом, вот-вот накроет сон Ивана, как вдруг решетка беззвучно поехала в сторону, и на балконе возникла таинственная фигура, прячущаяся от лунного света, и погрозила Ивану пальцем.

Иван без всякого испуга приподнялся на кровати и увидел, что на балконе находится мужчина. И этот мужчина, прижимая палец к губам, прошептал:

— Тссс!

Маленький человек в дырявом желтом котелке и с грушевидным малиновым носом, в клетчатых брюках и лакированных ботинках выехал на сцену Варьете на обыкновенном двухколесном велосипеде. Под звуки фокстрота он сделал круг, а затем испустил победный вопль, от чего велосипед поднялся на дыбы. Проехавшись на одном заднем колесе, человечек перевернулся вверх ногами, ухитрился на ходу отвинтить переднее колесо и пустить его за кулисы, а затем продолжал путь на одном колесе, вертя педали руками.

На высокой металлической мачте с седлом наверху и с одним колесом выехала полная блондинка в трико и юбочке, усеянной серебряными звездами, и стала ездить по кругу. Встречаясь с ней, человечек издавал приветственные крики и ногой снимал с головы котелок.

Наконец прикатил малютка лет восьми со старческим лицом и зашнырял между взрослыми на крошечной двухколеске, к которой был приделан громадный автомобильный гудок.

Сделав несколько петель, вся компания под тревожную дробь барабана из оркестра подкатилась к самому краю сцены, и зрители первых рядов ахнули и откинулись, потому что публике показалось, что вся тройка со своими машинами грохнется в оркестр.

Но велосипеды остановились как раз в тот момент, когда передние колеса уже грозили соскользнуть в бездну — на головы музыкантам. Велосипедисты с громким криком «Ап!» соскочили с машин и раскланялись, причем блондинка посылала публике воздушные поцелуи, а малютка протрубил смешной сигнал на своем гудке.

Рукоплескания потрясли здание, голубой занавес пошел с двух сторон и закрыл велосипедистов, зеленые огни с надписью «Выход» у дверей погасли, и в паутине трапеций под куполом, как солнце, зажглись белые шары. Наступил антракт перед последним отделением.

Единственным человеком, которого ни в коей мере не интересовали чудеса велосипедной техники семьи Джулли, был Григорий Данилович Римский. В полном одиночестве он сидел в своем кабинете, кусая тонкие губы, и по лицу его то и дело проходила судорога. К необыкновенному исчезновению Лиходеева присоединилось совершенно непредвиденное исчезновение администратора Варенухи.

Римскому было известно, куда он ушел, но он ушел и... не пришел обратно! Римский пожимал плечами и шептал сам себе:

— Но за что?!

И, странное дело: такому деловому человеку, как финдиректор, проще всего, конечно, было позвонить туда, куда отправился Варенуха, и узнать, что с тем стряслось, а между тем он до десяти часов вечера не мог принудить себя сделать это.

В десять же, совершив над собою форменное насилие, Римский снял трубку с аппарата и тут убедится в том, что телефон его мертв.

Курьер доложил, что и остальные аппараты в здании испортились. Это, конечно, неприятное, но не сверхъестественное событие почему-то окончательно потрясло финдиректора, но в то же время и обрадовало: отвалилась необходимость звонить.

В то время как над головой финдиректора вспыхнула и замигала красная лампочка, возвещавшая начало антракта, вошел курьер и сообщил, что приехал иностранный артист. Финдиректора почему-то передернуло, и, став уж совсем мрачнее тучи, он отправился за кулисы, чтобы принимать гастролера, так как более принимать было некому.

В большую уборную из коридора, где уже трещали сигнальные звонки, под разными предлогами заглядывали любопытные. Тут были фокусники в ярких халатах и в чалмах, конькобежец в белой вязаной куртке, бледный от пудры рассказчик и гример.

Прибывшая знаменитость поразила всех своим невиданным по длине фраком дивного покроя и тем, что явилась в черной полумаске. Но удивительнее всего были двое спутников черного мага: длинный клетчатый в треснувшем пенсне и черный жирный кот, который, войдя в уборную на задних лапах, совершенно непринужденно сел на диван, щурясь на оголенные гримировальные лампионы.

Римский постарался изобразить на лице улыбку, от чего оно сделалось кислым и злым, и раскланялся с безмолвным магом, сидящим рядом с котом на диване. Рукопожатия не было. Зато развязный клетчатый сам отрекомендовался финдиректору, назвав себя «ихний помощник». Это обстоятельство удивило финдиректора, и опять-таки неприятно: в контракте решительно ничего не упоминалось ни о каком помощнике.

Весьма принужденно и сухо Григорий Данилович осведомился у свалившегося ему на голову клетчатого о том, где аппаратура артиста.

— Алмаз вы наш небесный, драгоценнейший господин директор, — дребезжащим голосом ответил помощник мага, — наша аппаратура всегда при нас. Вот она! Эйн, цвей, дрей! — И, повертев перед глазами Римского узловатыми пальцами, внезапно вытащил из-за уха у кота собственные Римского золотые часы с цепочкой, которые до этого были у финдиректора в жилетном кармане под застегнутым пиджаком и с продетой в петлю цепочкой.

Римский невольно ухватился за живот, присутствующие ахнули, а гример, заглядывающий в дверь, одобрительно крякнул.

— Ваши часики? Прошу получить, — развязно улыбаясь, сказал клетчатый и на грязной ладони подал растерянному Римскому его собственность.

— С таким в трамвай не садись, — тихо и весело шепнул рассказчик гримеру.

Но кот отмочил штуку почище номера с чужими часами. Неожиданно поднявшись с дивана, он на задних лапах подошел к подзеркальному столику, передней лапой вытащил пробку из графина, налил воды в стакан, выпил ее, водрузил пробку на место и гримировальной тряпкой вытер усы.

Тут никто даже и не ахнул, только рты раскрыли, а гример восхищенно шепнул:

— Ай, класс!

В это время в третий раз тревожно загремели звонки, и все, возбужденные и предвкушающие интересный номер, повалили из уборной вон.

Через минуту в зрительном зале погасли шары, вспыхнула и дала красноватый отблеск на низ занавеса рампа, и в освещенной щели занавеса предстал перед публикой полный, веселый, как дитя, человек с бритым лицом, в помятом фраке и несвежем белье. Это был хорошо знакомый всей Москве конферансье Жорж Бенгальский.

— Итак, граждане, — заговорил Бенгальский, улыбаясь младенческой улыбкой, — сейчас перед вами выступит... — Тут Бенгальский прервал сам себя и заговорил с другими интонациями: — Я вижу, что количество публики к третьему отделению еще увеличилось. У нас сегодня половина города! Как-то на днях встречаю я приятеля и говорю ему: «Отчего не заходишь к нам? Вчера у нас была половина города». А он мне отвечает: «А я живу в другой половине!» — Бенгальский сделал паузу, ожидая, что произойдет взрыв смеха, но так как никто не засмеялся, то он продолжал: — ...Итак, выступит знаменитый иностранный артист мосье Воланд с сеансом черной магии! Ну, мы-то с вами понимаем, — тут Бенгальский улыбнулся мудрой улыбкой, — что ее вовсе не существует на свете и что она не что иное, как суеверие, а просто маэстро Воланд в высокой степени владеет техникой фокуса, что и будет видно из самой интересной части, то есть разоблачения этой техники, а так как мы все как один и за технику, и за ее разоблачение, то попросим господина Воланда!

Произнеся вся эту ахинею, Бенгальский сцепил обе руки ладонь к ладони и приветственно замахал ими в прорез занавеса, отчего тот, тихо шумя, и разошелся в стороны.

Выход мага с его длинным помощником и котом, вступившим на сцену на задних лапах, очень понравился публике.

— Кресло мне, — негромко приказал Воланд, и в ту же секунду, неизвестно как и откуда, на сцене появилось кресло, в которое и сел маг. — Скажи мне, любезный Фагот, — осведомился Воланд у клетчатого гаера, носившего, по-видимому, и другое наименование, кроме «Коровьев», — как по-твоему, ведь московское народонаселение значительно изменилось?

Маг поглядел на затихшую, пораженную появлением кресла из воздуха публику.

— Точно так, мессир, — негромко ответил Фагот-Коровьев.

— Ты прав. Горожане сильно изменились... внешне, я говорю, как и сам город, впрочем. О костюмах нечего уж и говорить, но появились эти... как их... трамваи, автомобили...

— Автобусы, — почтительно подсказал Фагот.

Публика внимательно слушала этот разговор, полагая, что он является прелюдией к магическим фокусам. Кулисы были забиты артистами и рабочими сцены, и между их лицами виднелось напряженное, бледное лицо Римского.

Физиономия Бенгальского, приютившегося сбоку сцены, начала выражать недоумение. Он чуть-чуть приподнял бровь и, воспользовавшись паузой, заговорил:

— Иностранный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами, — тут Бенгальский дважды улыбнулся, сперва партеру, а потом галерее.

Воланд, Фагот и кот повернули головы в сторону конферансье.

— Разве я выразил восхищение? — спросил маг у Фагота.

— Никак нет, мессир, вы никакого восхищения не выражали, — ответил тот.

— Так что же говорит этот человек?

— А он попросту соврал! — звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: — Поздравляю вас, гражданин, соврамши!

С галереи плеснуло смешком, а Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза.

— Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочая...

— Аппаратура! — подсказал клетчатый.

— Совершенно верно, благодарю, — медленно говорил маг тяжелым басом, — сколько гораздо более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне?

— Да, это важнейший вопрос, сударь.

В кулисах стали переглядываться и пожимать плечами, Бенгальский стоял красный, а Римский был бледен. Но тут, как бы отгадав начинающуюся тревогу, маг сказал:

— Однако мы заговорились, дорогой Фагот, а публика начинает скучать. Покажи нам для начала что-нибудь простенькое.

Зал облегченно шевельнулся. Фагот и кот разошлись в разные стороны по рампе. Фагот щелкнул пальцами, залихватски крикнул:

— Три, четыре! — поймал из воздуха колоду карт, стасовал ее и лентой пустил коту. Кот ленту перехватил и пустил ее обратно. Атласная змея фыркнула, Фагот раскрыл рот, как птенец, и всю ее, карту за картой, заглотал.

После этого кот раскланялся, шаркнув правой задней лапой, и вызвал неимоверный аплодисмент.

— Класс! Класс! — восхищенно кричали за кулисами.

А Фагот тыкнул пальцем в партер и объявил:

— Колода эта таперича, уважаемые граждане, находится в седьмом ряду у гражданина Парчевского, как раз между трехрублевкой и повесткой о вызове в суд по делу об уплате алиментов гражданке Зельковой.

В партере зашевелились, начали привставать, и наконец какой-то гражданин, которого, точно, звали Парчевским, весь пунцовый от изумления, извлек из бумажника колоду и стал тыкать ею в воздух, не зная, что с нею делать.

— Пусть она останется у вас на память! — прокричал Фагот. — Недаром же вы говорили вчера за ужином, что кабы не покер, то жизнь ваша в Москве была бы совершенно несносна.

— Стара штука, — послышалось с галерки, — этот в партере из той же компании.

— Вы полагаете? — заорал Фагот, прищуриваясь на галерею. — В таком случае, и вы в одной шайке с нами, потому что колода у вас в кармане!

На галерке произошло движение, и послышался радостный голос:

— Верно! У него! Тут, тут... Стой! Да это червонцы!

Сидящие в партере повернули головы. На галерее какой-то смятенный гражданин обнаружил у себя в кармане пачку, перевязанную банковским способом и с надписью на обложке: «Одна тысяча рублей».

Соседи наваливались на него, а он в изумлении ковырял ногтем обложку, стараясь дознаться, настоящие ли это червонцы или какие-нибудь волшебные.

— Ей-богу, настоящие! Червонцы! — кричали с галерки радостно.

— Сыграйте и со мной в такую колоду, — весело попросил какой-то толстяк в средине партера.

— Авек плезир! — отозвался Фагот. — Но почему же с вами одним? Все примут горячее участие! — И скомандовал: — Прошу глядеть вверх!.. Раз! — В руке у него оказался пистолет, он крикнул: — Два! — Пистолет вздернулся кверху. Он крикнул: — Три! — Сверкнуло, бухнуло, и тотчас же из-под купола, ныряя между трапециями, начали падать в зал белые бумажки.

Они вертелись, их разносило в стороны, забивало на галерею, откидывало в оркестр и на сцену. Через несколько секунд денежный дождь, все густея, достиг кресел, и зрители стали бумажки ловить.

Поднимались сотни рук, зрители сквозь бумажки глядели на освещенную сцену и видели самые верные и праведные водяные знаки. Запах также не оставлял никаких сомнений: это был ни с чем по прелести не сравнимый запах только что отпечатанных денег. Сперва веселье, а потом изумление охватило весь театр. Всюду гудело слово «червонцы, червонцы», слышались вскрикивания «ах, ах!» и веселый смех. Кое-кто уже ползал в проходе, шаря под креслами. Многие стояли на сиденьях, ловя вертлявые, капризные бумажки.

На лицах милиции помаленьку стало выражаться недоумение, а артисты без церемонии начали высовываться из кулис.

В бельэтаже послышался голос: «Ты чего хватаешь? Это моя! Ко мне летела!» — и другой голос: «Да ты не толкайся, я тебя сам так толкану!» И вдруг послышалась плюха. Тотчас в бельэтаже появился шлем милиционера, из бельэтажа кого-то повели.

Вообще возбуждение возрастало, и неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы Фагот не прекратил денежный дождь, внезапно дунув в воздух.

Двое молодых людей, обменявшись многозначительным и веселым взглядом, снялись с мест и прямехонько направились в буфет. В театре стоял гул, у всех зрителей возбужденно блестели глаза. Да, да, неизвестно, во что бы все это вылилось, если бы Бенгальский не нашел в себе силы и не шевельнулся бы. Стараясь покрепче овладеть

собой, он по привычке потер руки и голосом наибольшей звучности заговорил так:

— Вот, граждане, мы с вами видели сейчас случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес и магии не существует. Попросим же маэстро Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти якобы денежные бумажки исчезнут так же внезапно, как и появились.

Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве, и на лице при этом у него играла уверенная улыбка, но в глазах этой уверенности отнюдь не было, и скорее в них выражалась мольба.

Публике речь Бенгальского не понравилась. Наступило полное молчание, которое было прервано клетчатым Фаготом.

— Это опять-таки случай так называемого вранья, — объявил он громким козлиным тенором, — бумажки, граждане, настоящие!

— Браво! — отрывисто рявкнул бас где-то в высоте.

— Между прочим, этот, — тут Фагот указал на Бенгальского, — мне надоел. Суется все время, куда его не спрашивают, ложными замечаниями портит сеанс! Что бы нам такое с ним сделать?

— Голову ему оторвать! — сказал кто-то сурово на галерке.

— Как вы говорите? Ась? — тотчас отозвался на это безобразное предложение Фагот. — Голову оторвать? Это идея! Бегемот! — закричал он коту. — Делай! Эйн, цвей, дрей!!

И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь Бенгальскому, а оттуда перескочил на голову. Урча, пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал эту голову с полной шеи.

Две с половиной тысячи человек в театре вскрикнули как один. Кровь фонтанами из разорванных артерий на шее ударила вверх и залила и манишку и фрак. Безглавое тело как-то нелепо загребло ногами и село на пол. В зале послышались истерические крики женщин. Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и голова эта отчаянно крикнула на весь театр:

— Доктора!

— Ты будешь в дальнейшем молоть всякую чушь? — грозно спросил Фагот у плачущей головы.

— Не буду больше! — прохрипела голова.

— Ради бога, не мучьте его! — вдруг, покрывая гам, прозвучал из ложи женский голос, и маг повернул в сторону этого голоса лицо.

— Так что же, граждане, простить его, что ли? — спросил Фагот, обращаясь к залу.

— Простить! Простить! — раздались вначале отдельные и преимущественно женские голоса, а затем они слились в один хор с мужскими.

— Как прикажете, мессир? — спросил Фагот у замаскированного.

— Ну что же, — задумчиво отозвался тот, — они — люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит день-

ги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны... ну, что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... В общем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их... — И громко приказал: — Наденьте голову.

Кот, прицелившись поаккуратнее, нахлобучил голову на шею, и она точно села на свое место, как будто никуда и не отлучалась. И главное, даже шрама на шее никакого не осталось. Кот лапами обмахнул фрак Бенгальского и пластрон, и с них исчезли следы крови. Фагот поднял сидящего Бенгальского на ноги, сунул ему в карман фрака пачку червонцев и выпроводил со сцены со словами:

— Катитесь отсюда! Без вас веселей.

Бессмысленно оглядываясь и шатаясь, конферансье добрел только до пожарного поста, и там с ним сделалось худо. Он жалобно вскрикнул:

— Голова моя, голова!

В числе прочих к нему бросился Римский. Конферансье плакал, ловил в воздухе что-то руками, бормотал:

— Отдайте мою голову! Голову отдайте! Квартиру возьмите, картины возьмите, только голову отдайте!

Курьер побежал за врачом. Бенгальского пробовали уложить на диван в уборной, но он стал отбиваться, сделался буен. Пришлось вызывать карету. Когда несчастного конферансье увезли, Римский побежал обратно на сцену и увидел, что на ней происходят новые чудеса. Да, кстати, в это ли время или немножко раньше, но только маг, вместе со своим полинялым креслом, исчез со сцены, причем надо сказать, что публика совершенно этого не заметила, увлеченная теми чрезвычайными вещами, которые развернул на сцене Фагот.

А Фагот, спровадив пострадавшего конферансье, объявил публике так:

— Таперича, когда этого надоедалу сплавили, давайте откроем дамский магазин!

И тотчас пол сцены покрылся персидскими коврами, возникли громадные зеркала, с боков освещенные зеленоватыми трубками, а меж зеркал — витрины, и в них зрители в веселом ошеломлении увидели разных цветов и фасонов парижские женские платья. Это в одних витринах. А в других появились сотни дамских шляп, и с перышками, и без перышек, и с пряжками, и без них, сотни же туфель — черных, белых, желтых, кожаных, атласных, замшевых, и с ремешками, и с камушками. Между туфель появились футляры духов, горы сумочек из антилоповой кожи, из замши, из шелка, а между ними — целые груды чеканных золотых продолговатых футлярчиков, в которых бывает губная помада.

Черт знает откуда взявшаяся рыжая девица в вечернем черном туалете, всем хорошая девица, кабы не портил ее причудливый шрам на шее, заулыбалась у витрин хозяйской улыбкой.

Фагот, сладко ухмыляясь, объявил, что фирма совершенно бесплатно производит обмен старых дамских платьев и обуви на париж-

ские модели и парижскую же обувь. То же самое он добавил относительно сумочек и прочего.

Кот начал шаркать задней лапой, передней в то же время выделывая какие-то жесты, свойственные швейцарам, открывающим дверь.

Девица хоть и с хрипотцой, но сладко запела, картавя, что-то малопонятное, но, судя по женским лицам в партере, очень соблазнительное:

— Герлэн, Шанель номер пять, Мицуко, Нарсис Нуар, вечерние платья, платья коктейль...

Фагот извивался, кот кланялся, девица открывала стеклянные витрины.

— Прошу! — орал Фагот. — Без всякого стеснения и церемоний!

Публика волновалась, но идти на сцену пока никто не решался. Наконец какая-то брюнетка вышла из десятого ряда партера и, улыбаясь так, что ей, мол, решительно все равно и в общем наплевать, прошла и по боковому трапу поднялась на сцену.

— Браво! — вскричал Фагот. — Приветствую первую посетительницу! Бегемот, кресло! Начнем с обуви, мадам!

Брюнетка села в кресло, и Фагот тотчас вывалил на ковер перед нею целую груду туфель. Брюнетка сняла свою правую туфлю, примерила сиреневую, потопала в ковер, осмотрела каблук.

— А они не будут жать? — задумчиво спросила она.

На это Фагот обиженно воскликнул:

— Что вы, что вы! — и кот от обиды мяукнул.

— Я беру эту пару, мосье, — сказала брюнетка с достоинством, надевая и вторую туфлю.

Старые туфли брюнетки были выброшены за занавеску, и туда же проследовала и сама она в сопровождении рыжей девицы и Фагота, несшего на плечиках несколько модельных платьев. Кот суетился, помогал и для пущей важности повесил себе на шею сантиметр.

Через минуту из-за занавески вышла брюнетка в таком платье, что по всему партеру прокатился вздох. Храбрая женщина, до удивительности похорошевшая, остановилась у зеркала, повела обнаженными плечами, потрогала волосы на затылке и изогнулась, стараясь заглянуть себе за спину.

— Фирма просит вас принять это на память, — сказал Фагот и подал брюнетке открытый футляр с флаконом.

— Мерси, — надменно ответила брюнетка и пошла по трапу в партер. Пока она шла, зрители вскакивали, прикасались к футляру.

И вот тут прорвало начисто, и со всех сторон на сцену пошли женщины. В общем возбужденном говоре, смешках и вздохах послышался мужской голос: «Я не позволяю тебе!» — и женский: «Деспот и мещанин! Не ломайте мне руку!» Женщины исчезали за занавеской, оставляли там свои платья и выходили в новых. На табуретках с золочеными ножками сидел целый ряд дам, энергично топая в ковер заново обутыми ногами. Фагот становился на колени, орудовал металлическим рожком, кот, изнемогая под грудами сумочек и туфель, таскался от витрины к табуреткам и обратно, девица с изуро-

дованной шеей то появлялась, то исчезала и дошла до того, что уж полностью стала тарахтеть по-французски, и удивительно было то, что ее с полуслова понимали все женщины, даже те из них, что не знали ни одного французского слова.

Общее изумление вызвал мужчина, затесавшийся на сцену. Он объявил, что у супруги его грипп и что поэтому он просит передать ей что-нибудь через него. В доказательство же того, что он действительно женат, гражданин готов был предъявить паспорт. Заявление заботливого мужа было встречено хохотом. Фагот проорал, что верит, как самому себе, и без паспорта, и вручил гражданину две пары шелковых чулок, кот от себя добавил футлярчик с помадой.

Опоздавшие женщины рвались на сцену, со сцены текли счастливицы в бальных платьях, в пижамах с драконами, в строгих визитных костюмах, в шляпочках, надвинутых на одну бровь.

Тогда Фагот объявил, что за поздним временем магазин закрывается до завтрашнего вечера ровно через одну минуту, и неимоверная суета поднялась на сцене. Женщины наскоро, без всякой примерки, хватали туфли. Одна, как буря, ворвалась за занавеску, сбросила там свой костюм и овладела первым, что подвернулось, — шелковым, в громадных букетах, халатом, и кроме того, успела подцепить два футляра духов.

Ровно через минуту грянул пистолетный выстрел, зеркала исчезли, провалились витрины и табуретки, ковер растаял в воздухе так же, как и занавеска. Последней исчезла высоченная гора старых платьев и обуви, и стала сцена опять строга, пуста и гола.

И вот здесь в дело вмешалось новое действующее лицо.

Приятный, звучный и очень настойчивый баритон послышался из ложи № 2:

— Все-таки желательно, гражданин артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов, в особенности фокус с денежными бумажками. Желательно также и возвращение конферансье на сцену. Судьба его волнует зрителей.

Баритон принадлежал не кому иному, как почетному гостю сегодняшнего вечера Аркадию Аполлоновичу Семплеярову, председателю Акустической комиссии московских театров.

Аркадий Аполлонович помещался в ложе с двумя дамами: пожилой, дорого и модно одетой, и другой — молоденькой и хорошенькой, одетой попроще. Первая из них, как вскоре выяснилось при составлении протокола, была супругой Аркадия Аполлоновича, а вторая — дальней родственницей его, начинающей и подающей надежды актрисой, приехавшей из Саратова и проживающей в квартире Аркадия Аполлоновича и его супруги.

— Пардон! — отозвался Фагот. — Я извиняюсь, здесь разоблачать нечего, все ясно.

— Нет, виноват! Разоблачение совершенно необходимо. Без этого ваши блестящие номера оставят тягостное впечатление. Зрительская масса требует объяснения.

— Зрительная масса, — перебил Семплеярова наглый гаер, — как будто ничего не заявляла? Но, принимая во внимание ваше глубоко-

уважаемое желание, Аркадий Аполлонович, я, так и быть, произведу разоблачение. Но для этого разрешите еще один крохотный номерок?

— Отчего же, — покровительственно ответил Аркадий Аполлонович, — но непременно с разоблачением!

— Слушаюсь, слушаюсь. Итак, позвольте вас спросить, где вы были вчера вечером, Аркадий Аполлонович?

При этом неуместном и даже, пожалуй, хамском вопросе лицо Аркадия Аполлоновича изменилось, и весьма сильно изменилось.

— Аркадий Аполлонович вчера вечером был на заседании Акустической комиссии, — очень надменно заявила супруга Аркадия Аполлоновича, — но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии.

— Уй, мадам! — подтвердил Фагот. — Натурально, вы не понимаете. Насчет же заседания вы в полном заблуждении. Выехав на упомянутое заседание, каковое, к слову говоря, и назначено-то вчера не было, Аркадий Аполлонович отпустил своего шофера у здания Акустической комиссии на Чистых прудах, — весь театр затих, — а сам в автобусе поехал на Елоховскую улицу в гости к артистке разъездного районного театра Милице Андреевне Покобатько и провел у нее в гостях около четырех часов.

— Ой! — страдальчески воскликнул кто-то в полной тишине.

Молодая же родственница Аркадия Аполлоновича вдруг расхохоталась низким и страшным смехом.

— Все понятно! — воскликнула она. — И я давно уже подозревала это. Теперь мне ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы!

И, внезапно размахнувшись, коротким и толстым лиловым зонтиком она ударила Аркадия Аполлоновича по голове.

Подлый же Фагот, и он же Коровьев, прокричал:

— Вот, почтенные граждане, один из случаев разоблачения, которого так назойливо добивался Аркадий Аполлонович!

— Как смела ты, негодяйка, коснуться Аркадия Аполлоновича? — грозно спросила супруга Аркадия Аполлоновича, поднимаясь в ложе во весь свой гигантский рост.

Второй короткий прилив сатанинского смеха овладел молодой родственницей.

— Уж кто-кто, — ответила она, хохоча, — а уж я-то смею коснуться! — и второй раз раздался сухой треск зонтика, отскочившего от головы Аркадия Аполлоновича.

— Милиция! Взять ее! — таким страшным голосом прокричала супруга Семплеярова, что у многих похолодели сердца.

А тут еще кот выскочил к рампе и вдруг рявкнул на весь театр человеческим голосом:

— Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш!!

Ополоумевший дирижер, не отдавая себе отчета в том, что делает, взмахнул палочкой, и оркестр не заиграл, и даже не грянул, и даже не хватил, а именно, по омерзительному выражению кота, урезал какой-то невероятный, ни на что не похожий по развязности своей, марш.

На мгновенье почудилось, что будто слышаны были некогда, под южными звездами, в кафешантане, какие-то малопонятные, полуслепые, но разудалые слова этого марша:

Его превосходительство
Любил домашних птиц
И брал под покровительство
Хорошеньких девиц!!!

А может быть, не было никаких этих слов, а были другие на эту же музыку, какие-то неприличные крайне. Важно не это, а важно то, что в Варьете после всего этого началось что-то вроде столпотворения вавилонского. К семплеяровской ложе бежала милиция, на барьер лезли любопытные, слышались адские взрывы хохота, бешеные крики, заглушаемые золотым звоном тарелок из оркестра.

И видно было, что сцена внезапно опустела и что надувало Фагот, равно как и наглый котяра Бегемот, растаяли в воздухе, исчезли, как раньше исчез маг в кресле с полинявшей обивкой.

Глава 13 ЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ

Итак, неизвестный погрозил Ивану пальцем и прошептал: «Тесс!»

Иван спустил ноги с постели и всмотрелся. С балкона осторожно заглядывал в комнату бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос человек примерно лет тридцати восьми.

Убедившись в том, что Иван один, и прислушавшись, таинственный посетитель осмелел и вошел в комнату. Тут увидел Иван, что пришедший одет в больничное. На нем было белье, туфли на босу ногу, на плечи наброшен бурый халат.

Пришедший подмигнул Ивану, спрятал в карман связку ключей, шепотом осведомился: «Можно присесть?» — и, получив утвердительный кивок, поместился в кресле.

— Как же вы сюда попали? — повинуясь сухому грозящему пальцу, шепотом спросил Иван. — Ведь балконные-то решетки на замках?

— Решетки-то на замках, — подтвердил гость, — но Прасковья Федоровна — милейший, но, увы, рассеянный человек. Я стащил у нее месяц тому назад связку ключей и, таким образом, получил возможность выходить на общий балкон, а он тянется вокруг всего этажа, и, таким образом, иногда навестить соседа.

— Раз вы можете выходить на балкон, то вы можете удрать. Или высоко? — заинтересовался Иван.

— Нет, — твердо ответил гость, — я не могу удрать отсюда не потому, что высоко, а потому, что мне удирать некуда. — И после паузы он добавил: — Итак, сидим?

— Сидим, — ответил Иван, вглядываясь в карие и очень беспокойные глаза пришельца.

— Да... — тут гость вдруг встревожился, — но вы, надеюсь, не буйный? А то я, знаете ли, не выношу шума, возни, насилий и всяких вещей в этом роде. В особенности ненавистен мне людской крик, будь то крик страдания, ярости или какой-нибудь иной крик. Успокойте меня, скажите, вы не буйный?

— Вчера в ресторане я одному типу по морде засветил, — мужественно признался преображенный поэт.

— Основание? — строго спросил гость.

— Да, признаться, без основания, — сконфузившись, ответил Иван.

— Безобразие, — осудил гость Ивана и добавил: — А кроме того, что это вы так выражаетесь: по морде засветил? Ведь неизвестно, что именно имеется у человека, морда или лицо. И пожалуй, ведь все-таки лицо. Так что, знаете ли, кулаками... Нет, уж это вы оставьте, и навсегда.

Отчитав таким образом Ивана, гость осведомился:

— Профессия?

— Поэт, — почему-то неохотно признался Иван.

Пришедший огорчился.

— Ох, как мне не везет! — воскликнул он, но тут же спохватился, извинился и спросил: — А как ваша фамилия?

— Бездомный.

— Эх, эх... — сказал гость, морщась.

— А вам что же, мои стихи не нравятся? — с любопытством спросил Иван.

— Ужасно не нравятся.

— А вы какие читали?

— Никаких я ваших стихов не читал! — нервно воскликнул посетитель.

— А как же вы говорите?

— Ну, что ж тут такого, — ответил гость, — как будто я других не читал? Впрочем... разве что чудо? Хорошо, я готов принять на веру. Хороши ваши стихи, скажите сами?

— Чудовищны! — вдруг смело и откровенно произнес Иван.

— Не пишите больше! — попросил пришедший умоляюще.

— Обещаю и клянусь! — торжественно произнес Иван.

Клятву скрепили рукопожатием, и тут из коридора донеслись мягкие шаги и голоса.

— Тсс, — шепнул гость и, выскочив на балкон, закрыл за собою решетку.

Заглянула Прасковья Федоровна, спросила, как Иван себя чувствует и желает ли он спать в темноте или со светом. Иван попросил свет оставить, и Прасковья Федоровна удалилась, пожелав больному спокойной ночи. И когда все стихло, вновь вернулся гость.

Он шепотом сообщил Ивану, что в 119-ю комнату привезли новенького, какого-то толстяка с багровой физиономией, все время

бормочущего про какую-то валюту в вентиляции и клянущегося, что у них на Садовой поселилась нечистая сила.

— Пушкина ругает на чем свет стоит и все время кричит: «Куролесов, бис, бис!» — говорил гость, тревожно дергаясь. Успокоившись, он сел, сказал: — А впрочем, бог с ним, — и продолжал беседу с Иваном: — Так из-за чего же вы попали сюда?

— Из-за Понтия Пилата, — хмуро глянув в пол, ответил Иван.

— Как?! — забыв осторожность, крикнул гость и сам себе зажал рот рукой. — Потрясающее совпадение! Умоляю, умоляю, расскажите!

Почему-то испытывая доверие к неизвестному, Иван, первоначально запинаясь и робея, а потом осмелев, начал рассказывать вчерашнюю историю на Патриарших прудах. Да, благодарного слушателя получил Иван Николаевич в лице таинственного похитителя ключей! Гость не рядил Ивана в сумасшедшие, проявил величайший интерес к рассказываемому и по мере развития этого рассказа, наконец, пришел в восторг. Он то и дело прерывал Ивана восклицаниями:

— Ну, ну, дальше, дальше, умоляю вас! Но только, ради всего святого, не пропускайте ничего!

Иван ничего и не пропускал, ему самому было так легче рассказывать, и постепенно добрался до того момента, как Понтий Пилат в белой мантии с кровавым подбоем вышел на балкон.

Тогда гость молитвенно сложил руки и прошептал:

— О, как я угадал! О, как я все угадал!

Описание ужасной смерти Берлиоза слушающий сопроводил загадочным замечанием, причем глаза его вспыхнули злобой:

— Об одном жалею, что на месте этого Берлиоза не было критика Латунского или литератора Мстислава Лавровича. — И исступленно, но беззвучно вскричал: — Дальше!

Кот, плативший кондукторше, чрезвычайно развеселил гостя, и он давился от тихого смеха, глядя, как взволнованный успехом своего повествования Иван тихо прыгал на корточках, изображая кота с гривенником возле усов.

— И вот, — рассказав про происшествие в Грибоедове, загрустив и затуманившись, Иван закончил: — я и оказался здесь.

Гость сочувственно положил руку на плечо бедного поэта и сказал так:

— Несчастный поэт! Но вы сами, голубчик, во всем виноваты. Нельзя было держать себя с ним столь развязно и даже нагловато. Вот вы и поплатились. И надо еще сказать спасибо, что все это обошлось вам сравнительно дешево.

— Да кто же он, наконец, такой? — в возбуждении потрясая кулаками, спросил Иван.

Гость вгляделся в Ивана и ответил вопросом:

— А вы не впадете в беспокойство? Мы все здесь люди ненадежные... Вызова врача, уколов и прочей возни не будет?

— Нет, нет! — воскликнул Иван. — Скажите, кто он такой?

— Ну хорошо, — ответил гость и веско и раздельно сказал: — Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной.

Иван не впал в беспокойство, как и обещал, но был все-таки сильнейшим образом ошарашен.

— Не может этого быть! Его не существует!

— Помилуйте! Уж кому-кому, но не вам это говорить. Вы были одним, по-видимому, из первых, кто от него пострадал. Сидите, как сами понимаете, в психиатрической лечебнице, а все толкуете о том, что его нет. Право, это странно!

Сбитый с толку Иван замолчал.

— Лишь только вы начали его описывать, — продолжал гость, — я уже стал догадываться, с кем вы вчера имели удовольствие беседовать. И, право, я удивляюсь Берлиозу! Ну вы, конечно, человек девственный, — тут гость опять извинился, — но тот, сколько я о нем слышал, все-таки хоть что-то читал! Первые же речи этого профессора рассеяли всякие мои сомнения. Его нельзя не узнать, мой друг! Впрочем, вы... вы меня опять-таки извините, ведь я не ошибаюсь, вы человек невежественный?

— Бесспорно, — согласился неузнаваемый Иван.

— Ну вот... ведь даже лицо, которое вы описывали... разные глаза, брови! Простите, может быть, впрочем, вы даже оперы «Фауст» не слыхали?

Иван почему-то страшнейшим образом сконфузился и с пылающим лицом что-то начал бормотать про какую-то поездку в санаторию в Ялту...

— Ну вот, ну вот... неудивительно! А Берлиоз, повторяю, меня поражает... Он человек не только начитанный, но и очень хитрый. Хотя в защиту его я должен сказать, что, конечно, Воланд может запорошить глаза и человеку похитрее.

— Как?!— в свою очередь крикнул Иван.

— Тише!

Иван с размаху шлепнул себя ладонью по лбу и засипел:

— Понимаю, понимаю. У него буква «В» была на визитной карточке. Ай-яй-яй, вот так штука! — Он помолчал некоторое время в смятении, всматриваясь в луну, плывущую за решеткой, и заговорил: — Так он, стало быть, действительно мог быть у Понтия Пилата? Ведь он уже тогда родился? А меня сумасшедшим называют! — прибавил Иван, в возмущении указывая на дверь.

Горькая складка обозначилась у губ гостя.

— Будем глядеть правде в глаза, — и гость повернул свое лицо в сторону бегущего сквозь облако ночного светила. — И вы и я — сумасшедшие, что отпираться! Видите ли, он вас потряс — и вы свихнулись, так как у вас, очевидно, подходящая для этого почва. Но то, что вы рассказываете, бесспорно было в действительности. Но это так необыкновенно, что даже Стравинский, гениальный психиатр, вам, конечно, не поверил. Он смотрел вас? — Иван кивнул. — Ваш собеседник был и у Пилата, и на завтраке у Канта, а теперь он навестил Москву.

— Да ведь он тут черт знает чего натворит! Как-нибудь его надо изловить? — не совсем уверенно, но все же поднял голову в новом Иване прежний, еще не окончательно добитый Иван.

— Вы уже попробовали, и будет с вас, — иронически отозвался гость, — другим тоже пробовать не советую. А что натворит, это уж будьте благонадежны. Ах, ах! Но до чего мне досадно, что встретились с ним вы, а не я! Хоть все и перегорело и угли затянулись пеплом, все же клянусь, что за эту встречу я отдал бы связку ключей Прасковьи Федоровны, ибо мне больше нечего отдавать. Я — нищий!

— А зачем он вам понадобился?

Гость долго грустил и дергался, но наконец заговорил:

— Видите ли, какая странная история, я сижу здесь из-за того же, что и вы, именно из-за Понтия Пилата. — Тут гость пугливо оглянулся и сказал: — Дело в том, что год тому назад я написал о Пилате роман.

— Вы — писатель? — с интересом спросил поэт.

Гость потемнел лицом и погрозил Ивану кулаком, потом сказал:

— Я — мастер, — он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой «М». Он надел эту шапочку и показался Ивану и в профиль и в фас, чтобы доказать, что он — мастер. — Она своими руками сшила ее мне, — таинственно добавил он.

— А как ваша фамилия?

— У меня нет больше фамилии, — с мрачным презрением ответил странный гость, — я отказался от нее, как и вообще от всего в жизни. Забудем о ней.

— Так вы хоть про роман-то скажите, — деликатно попросил Иван.

— Извольте-с. Жизнь моя, надо сказать, сложилась совсем обыкновенно, — начал гость.

...Историк по образованию, он еще два года тому назад работал в одном из московских музеев, а кроме того, занимался переводами...

— С какого языка? — с интересом спросил Иван.

— Я знаю пять языков, кроме родного, — ответил гость, — английский, французский, немецкий, латинский и греческий. Ну, немножко еще читаю по-итальянски.

— Ишь ты! — завистливо шепнул Иван.

Жил историк одиноко, не имея нигде родных и почти не имея знакомых в Москве. И, представьте, однажды выиграл сто тысяч рублей.

— Вообразите мое изумление, — шептал гость в черной шапочке, — когда я сунул руку в корзину с грязным бельем и смотрю: на ней тот же номер, что и в газете! Облигацию, — пояснил он, — мне в музее дали.

Выиграв сто тысяч, загадочный гость Ивана поступил так: купил книг, бросил свою комнату на Мясницкой...

— Уу, проклятая дыра! — прорычал он.

...и нанял у застройщика, в переулке близ Арбата, две комнаты в подвале маленького домика в садике. Службу в музее бросил и начал сочинять роман о Понтии Пилате.

— Ах, это был золотой век! — блестя глазами, шептал рассказчик. — Совершенно отдельная квартирка, и еще передняя, и в ней раковина с водой, — почему-то особенно горделиво подчеркнул он, — маленькие оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в четырех шагах, под забором, сирень, липа и клен. Ах, ах, ах! Зимою я очень редко видел в оконце чьи-нибудь черные ноги и слышал хруст снега под ними. И в печке у меня вечно пылал огонь! Но внезапно наступила весна, и сквозь мутные стекла увидел я сперва голые, а затем одевающиеся в зелень кусты сирени. И вот тогда-то, прошлою весной, случилось нечто гораздо более восхитительное, чем получение ста тысяч рублей. А это, согласитесь, громадная сумма денег!

— Это верно, — признал внимательно слушающий Иван.

— Я открыл оконца и сидел во второй, совсем малюсенькой комнате, — гость стал отмеривать руками, — так вот — диван, а напротив другой диван, а между ними столик, и на нем прекрасная ночная лампа, а к окошку ближе книги, тут маленький письменный столик, а в первой комнате — громадная комната, четырнадцать метров, — книги, книги и печка. Ах, какая у меня была обстановка! Необыкновенно пахнет сирень! И голова моя становилась легкой от утомления, и Пилат летел к концу...

— Белая мантия, красный подбой! Понимаю! — восклицал Иван.

— Именно так! Пилат летел к концу, к концу, и я уже знал, что последними словами романа будут: «...Пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат». Ну, натурально, я выходил гулять. Сто тысяч — громадная сумма, и у меня был прекрасный костюм. Или отправлялся обедать в какой-нибудь дешевый ресторан. На Арбате был чудесный ресторан, не знаю, существует ли он теперь.

Тут глаза гостя широко открылись, и он продолжал шептать, глядя на луну:

— Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы! Нехороший цвет. Она повернула с Тверской в переулок и тут обернулась. Ну, Тверскую вы знаете? По Тверской шли тысячи людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в глазах!

Повинуясь этому желтому знаку, я тоже свернул в переулок и пошел по ее следам. Мы шли по кривому, скучному переулку безмолвно, я по одной стороне, а она по другой. И не было, вообразите, в переулке ни души. Я мучился, потому что мне показалось, что с нею необходимо говорить, и тревожился, что я не вымолвлю ни одного слова, а она уйдет и я никогда ее более не увижу.

И, вообразите, внезапно заговорила она:

— Нравятся ли вам мои цветы?

Я отчетливо помню, как прозвучал ее голос, низкий довольно-таки, но со срывами, и, как это ни глупо, показалось, что эхо ударило

в переулке и отразилось от желтой грязной стены. Я быстро перешел на ее сторону и, подходя к ней, ответил:

— Нет.

Она поглядела на меня удивленно, а я вдруг, и совершенно неожиданно, понял, что я всю жизнь любил именно эту женщину! Вот так штука, а? Вы, конечно, скажете, сумасшедший?

— Ничего я не говорю, — воскликнул Иван и добавил: — Умоляю, дальше!

И гость продолжал:

— Да, она поглядела на меня удивленно, а затем, поглядев, спросила так:

— Вы вообще не любите цветов?

В голосе ее была, как мне показалось, враждебность. Я шел с нею рядом, стараясь идти в ногу, и, к удивлению моему, совершенно не чувствовал себя стесненным.

— Нет, я люблю цветы, только не такие, — сказал я.

— А какие?

— Я розы люблю.

Тут я пожалел о том, что это сказал, потому что она виновато улыбнулась и бросила свои цветы в канаву. Растерявшись немного, я все-таки поднял их и подал ей, но она, усмехнувшись, оттолкнула цветы, и я понес их в руках.

Так шли молча некоторое время, пока она не вынула у меня из рук цветы и бросила их на мостовую, затем продела свою руку в черной перчатке с раструбом в мою, и мы пошли рядом.

— Дальше, — сказал Иван, — и не пропускайте, пожалуйста, ничего!

— Дальше? — переспросил гость. — Что же, дальше вы могли бы и сами угадать. — Он вдруг вытер неожиданную слезу правым рукавом и продолжал: — Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож! Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы, конечно, друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя, и что она жила с другим человеком... и я там, тогда... с этой, как ее...

— С кем? — спросил Бездомный.

— С этой... ну... с этой... ну... — ответил гость и защелкал пальцами.

— Вы были женаты?

— Нуда, вот же я и щелкаю... На этой... Вареньке... Манечке... нет, Вареньке... еще платье полосатое, музей... Впрочем, я не помню.

Так вот, она говорила, что с желтыми цветами в руках она вышла в тот день, чтобы я наконец ее нашел, и что, если бы этого не произошло, она отравилась бы, потому что жизнь ее пуста.

Да, любовь поразила нас мгновенно. Я это знал в тот же день уже через час, когда мы оказались, не замечая города, у Кремлевской стены на набережной.

Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет. На другой день мы сговорились встретиться там же, на Москве-реке, и встретились. Майское солнце светило нам. И скоро, скоро стала эта женщина моею тайною женой.

Она приходила ко мне каждый день, а ждать ее я начинал с утра. Ожидание это выражалось в том, что я переставлял на столе предметы. За десять минут я садился к оконцу и начинал прислушиваться, не стукнет ли ветхая калитка. И как курьезно: до встречи моей с нею в наш дворик мало кто приходил, просто сказать, никто не приходил, а теперь мне казалось, что весь город устремился в него. Стукнет калитка, стукнет сердце, и, вообразите, на уровне моего лица за оконцем обязательно чьи-нибудь грязные сапоги. Точильщик. Ну, кому нужен точильщик в нашем доме? Что точить? Какие ножи?

Она входила в калитку один раз, а биений сердца до этого я испытывал не менее десяти, я не лгу. А потом, когда приходил ее час и стрелка показывала полдень, оно даже и не переставало стучать до тех пор, пока без стука, почти совсем бесшумно, не равнялись с окном туфли с черными замшевыми накладками-бантами, стянутыми стальными пряжками.

Иногда она шалила и, задержавшись у второго оконца, постукивала носком в стекло. Я в ту же секунду оказывался у этого окна, но исчезала туфля, черный шелк, заслонявший свет, исчезал, — я шел ей открывать.

Никто не знал о нашей связи, за это я вам ручаюсь, хотя так никогда и не бывает. Не знал ее муж, не знали знакомые. В стареньком особнячке, где мне принадлежал этот подвал, знали, конечно, видели, что приходит ко мне какая-то женщина, но имени ее не знали.

— А кто она такая? — спросил Иван, в высшей степени заинтересованный любовной историей.

Гость сделал жест, означавший, что он никогда и никому этого не скажет, и продолжал свой рассказ.

Ивану стало известным, что мастер и незнакомка полюбили друг друга так крепко, что стали совершенно неразлучны. Иван представлял себе ясно уже и две комнаты в подвале особнячка, в которых были всегда сумерки из-за сирени и забора. Красную потертую мебель, бюро, на нем часы, звеневшие каждые полчаса, и книги, книги от крашеного пола до закопченного потолка, и печку.

Иван узнал, что гость его и тайная жена уже в первые дни своей связи пришли к заключению, что столкнула их на углу Тверской и переулка сама судьба и что созданы они друг для друга навек.

Иван узнал из рассказа гостя, как проводили день возлюбленные. Она приходила, и первым долгом надевала фартук, и в узкой передней, где находилась та самая раковина, которой гордился почему-то бедный больной, на деревянном столе зажигала керосинку, и готовила завтрак, и накрывала его в первой комнате на овальном столе. Когда шли майские грозы и мимо подслеповатых окон шумно катилась в подворотню вода, угрожая залить последний приют, влюбленные растапливали печку и пекли в ней картофель. От картофеля валил пар, черная картофельная шелуха пачкала пальцы. В подвальчике слышался смех, деревья в саду сбрасывали с себя после дождя обломанные веточки, белые кисти.

Когда кончились грозы и пришло душное лето, в вазе появились долгожданные и обоими любимые розы. Тот, кто называл себя мас-

тером, работал лихорадочно над своим романом, и этот роман поглотил и незнакомку.

— Право, временами я начинал ревновать ее к нему, — шептал пришедший с лунного балкона ночной гость Ивану.

Запустив в волосы тонкие, с остро отточенными ногтями пальцы, она без конца перечитывала написанное, а перечитав, шила вот эту самую шапочку. Иногда она сидела на корточках у нижних полок или стояла на стуле у верхних и тряпкой вытирала сотни пыльных корешков. Она сулила славу, она подгоняла его и вот тут-то стала называть мастером. Она нетерпеливо дожидалась обещанных уже последних слов о пятом прокураторе Иудеи, нараспев и громко повторяла отдельные фразы, которые ей нравились, и говорила, что в этом романе — ее жизнь.

Он был дописан в августе месяце, был отдан какой-то безвестной машинистке, и та перепечатала его в пяти экземплярах. И наконец настал час, когда пришлось покинуть тайный приют и выйти в жизнь.

— И я вышел в жизнь, держа его в руках, и тогда моя жизнь кончилась, — прошептал мастер и поник головой, и долго качалась печальная черная шапочка с желтой буквой «М». Он повел дальше свой рассказ, но тот стал несколько бессвязен. Можно было понять только одно, что тогда с гостем Ивана случилась какая-то катастрофа.

— Я впервые попал в мир литературы, но теперь, когда все уже кончилось и гибель моя налицо, вспоминаю о нем с ужасом! — торжественно прошептал мастер и поднял руку. — Да, он чрезвычайно поразил меня, ах, как поразил!

— Кто? — чуть слышно шепнул Иван, опасаясь перебивать взволнованного рассказчика.

— Да редактор, я же говорю, редактор. Да, так он прочитал. Он смотрел на меня так, как будто у меня щека была раздута флюсом, как-то косился на угол и даже сконфуженно хихикал. Он без нужды мял манускрипт и крякал. Вопросы, которые он мне задавал, показались мне сумасшедшими. Не говоря ничего по существу романа, он спрашивал меня о том, кто я таков и откуда я взялся, давно ли пишу и почему обо мне ничего не было слышно раньше, и даже задал, с моей точки зрения, совсем идиотский вопрос: кто это меня надоумил сочинить роман на такую странную тему?

Наконец он мне надоел, и я спросил его напрямик, будет ли он печатать роман или не будет.

Тут он засуетился, начал что-то мямлить и заявил, что самолично решить этот вопрос он не может, что с моим произведением должны ознакомиться другие члены редакционной коллегии, именно критики Латунский и Ариман и литератор Мстислав Лаврович. Он просил меня прийти через две недели.

Я пришел через две недели и был принят какой-то девицей со скошенными к носу от постоянного вранья глазами.

— Это Лапшённикова, секретарь редакции, — усмехнувшись, сказал Иван, хорошо знающий тот мир, который так гневно описывал его гость.

— Может быть, — отрезал тот, — так вот, от нее я получил свой роман, уже порядочно засаленный и растрепанный. Стараясь не попадать своими глазами в мои, Лапшённикова сообщила мне, что редакция обеспечена материалом на два года вперед и что поэтому вопрос о напечатании моего романа, как она выразилась, «отпадает».

— Что я помню после этого? — бормотал мастер, потирая висок. — Да, осыпавшиеся красные лепестки на титульном листе и еще глаза моей подруги. Да, эти глаза я помню.

Рассказ Иванова гостя становился все путанее, все более наполнялся какими-то недомолвками. Он говорил что-то про косой дождь и отчаяние в подвальном приюте, о том, что ходил куда-то еще. Шепотом вскрикивал, что он ее, которая толкала его на борьбу, ничуть не винит, о нет, не винит!

Далее, как услышал Иван, произошло нечто внезапное и странное. Однажды герой развернул газету и увидел в ней статью критика Аримана, которая называлась «Вылазка врага» и где Ариман предупреждал всех и каждого, что он, то есть наш герой, сделал попытку протащить в печать апологию Иисуса Христа.

— А, помню, помню! — вскричал Иван. — Но я забыл, как ваша фамилия!

— Оставим, повторяю, мою фамилию, ее нет больше, — ответил гость. — Дело не в ней. Через день в другой газете за подписью Мстислава Лавровича обнаружилась другая статья, где автор ее предлагал ударить, и крепко ударить, по пилатчине и тому богомазу, который вздумал протащить (опять это проклятое слово!) ее в печать.

Остолбенев от этого неслыханного слова «пилатчина», я развернул третью газету. Здесь было две статьи: одна — Латунского, а другая — подписанная буквами «М.З.». Уверяю вас, что произведения Аримана и Лавровича могли считаться шуткою по сравнению с написанным Латунским. Достаточно вам сказать, что называлась статья Латунского «Воинствующий старообрядец». Я так увлекся чтением статей о себе, что не заметил, как она (дверь я забыл закрыть) предстала предо мною с мокрым зонтиком в руках и с мокрыми же газетами. Глаза ее источали огонь, руки дрожали и были холодны. Сперва она бросилась меня целовать, затем, хриплым голосом и стуча рукою по столу, сказала, что она отравит Латунского.

Иван как-то сконфуженно покряхтел, но ничего не сказал.

— Настали совершенно безрадостные дни. Роман был написан, больше делать было нечего, и мы оба жили тем, что сидели на коврике на полу у печки и смотрели в огонь. Впрочем, теперь мы больше расставались, чем раньше. Она стала уходить гулять. А со мной случилась оригинальность, как нередко бывало в моей жизни... У меня неожиданно завелся друг. Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. И — представьте себе, при этом обязательно ко мне проникает в душу кто-нибудь непредвиденный, неожиданный и внешне-то черт его знает на что похожий, и он-то мне больше всех и понравится.

Так вот в то проклятое время открылась калиточка нашего садика, денек еще, помню, был такой приятный, осенний. Ее не было дома. И в калиточку вошел человек, он прошел в дом по какому-то делу к моему застройщику, потом сошел в садик и как-то очень быстро свел со мной знакомство. Отрекомендовался он мне журналистом. Понравился он мне до того, вообразите, что я его до сих пор иногда вспоминаю и скучаю о нем. Дальше — больше, он стал заходить ко мне. Я узнал, что он холост, что живет рядом со мной примерно в такой же квартирке, что ему тесно там, и прочее. К себе как-то не звал. Жене моей он не понравился до чрезвычайности. Но я заступился за него. Она сказала: «Делай, как хочешь, но говорю тебе, что этот человек производит на меня впечатление отталкивающее».

Я рассмеялся. Да, но чем, собственно говоря, он меня привлек? Дело в том, что вообще человек без сюрприза внутри, в своем ящике, неинтересен. Такой сюрприз в своем ящике Алоизий (да, я забыл сказать, что моего нового знакомого звали Алоизий Могарыч) — имел. Именно, нигде до того я не встречал и уверен, что нигде не встречу человека такого ума, каким обладал Алоизий. Если я не понимал смысла какой-нибудь заметки в газете, Алоизий объяснял мне ее буквально в одну минуту, причем видно было, что объяснение это ему не стоило ровно ничего. То же самое с жизненными явлениями и вопросами. Но этого было мало. Покорил меня Алоизий своею страстью к литературе. Он не успокоился до тех пор, пока не упросил меня прочесть ему мой роман весь от корки до корки, причем о романе он отозвался очень лестно, но с потрясающей точностью, как бы присутствуя при этом, рассказал все замечания редактора, касающиеся этого романа. Он попадал из ста раз сто раз. Кроме того, он совершенно точно объяснил мне, и я догадывался, что это безошибочно, почему мой роман не мог быть напечатан. Он прямо говорил: глава такая-то идти не может...

Статьи, заметьте, не прекращались. Над первыми из них я смеялся. Но чем больше их появлялось, тем более менялось мое отношение к ним. Второй стадией была стадия удивления. Что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке этих статей, несмотря на их грозный и уверенный тон. Мне все казалось, — и я не мог от этого отделаться, — что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим. А затем, представьте себе, наступила третья стадия — страха. Нет, не страха этих статей, поймите, а страха перед другими, совершенно не относящимися к ним или к роману вещами. Так, например, я стал бояться темноты. Словом, наступила стадия психического заболевания. Мне казалось, в особенности когда я засыпал, что какой-то очень гибкий и холодный спрут своими щупальцами подбирается непосредственно и прямо к моему сердцу. И спать мне пришлось с огнем.

Моя возлюбленная очень изменилась (про спрута я ей, конечно, не говорил, но она видела, что со мной творится что-то неладное), похудела и побледнела, перестала смеяться и все просила меня простить ее за то, что она советовала мне напечатать отрывок. Она говорила, чтобы я, бросив все, уехал на юг к Черному морю, истратив на эту поездку все оставшиеся от ста тысяч деньги.

Она была очень настойчива, а я, чтобы не спорить (что-то подсказывало мне, что не придется уехать к Черному морю), обещал ей это сделать на днях. Но она сказала, что она сама возьмет мне билет. Тогда я вынул все свои деньги, то есть около десяти тысяч рублей, и отдал ей.

— Зачем так много? — удивилась она.

Я сказал что-то вроде того, что боюсь воров и прошу ее поберечь деньги до моего отъезда. Она взяла их, уложила в сумочку, стала целовать меня и говорить, что ей легче было бы умереть, чем покидать меня в таком состоянии одного, но что ее ждут, что она покоряется необходимости, что придет завтра. Она умоляла меня не бояться ничего.

Это было в сумерки, в половине октября. И она ушла. Я лег на диван и заснул, не зажигая лампы. Проснулся я от ощущения, что спрут здесь. Шаря в темноте, я еле сумел зажечь лампу. Карманные часы показывали два часа ночи. Я лег заболевающим, а проснулся больным. Мне вдруг показалось, что осенняя тьма выдавит стекла, вольется в комнату и я захлебнусь в ней, как в чернилах. Я встал человеком, который уже не владеет собой. Я вскрикнул, и у меня явилась мысль бежать к кому-то, хотя бы к моему застройщику наверх. Я боролся с собой как безумный. У меня хватило сил добраться до печки и разжечь в ней дрова. Когда они затрещали и дверца застучала, мне как будто стало немного легче. Я кинулся в переднюю и там зажег свет, нашел бутылку белого вина, откупорит ее и стал пить вино из горлышка. От этого страх притупился несколько — настолько, по крайней мере, что я не побежал к застройщику и вернулся к печке. Я открыл дверцу, так что жар начал обжигать мне лицо и руки, и шептал:

— Догадайся, что со мною случилась беда... Приди, приди, приди!..

Но никто не шел. В печке ревел огонь, в окна хлестал дождь. Тогда случилось последнее. Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их жечь. Это страшно трудно делать, потому что исписанная бумага горит неохотно. Ломая ногти, я раздирал тетради, стоймя вкладывал их между поленьями и кочергой трепал листы. Пепел по временам одолевал меня, душил пламя, но я боролся с ним, и роман, упорно сопротивляясь, все же погибал. Знакомые слова мелькали передо мной, желтизна неудержимо поднималась снизу вверх по страницам, но слова все-таки проступали и на ней. Они пропадали лишь тогда, когда бумага чернела и я кочергой яростно добивал их.

В это время в окно кто-то стал царапаться тихо. Сердце мое прыгнуло, и я, погрузив последнюю тетрадь в огонь, бросился отворять. Кирпичные ступеньки вели из подвала к двери на двор. Спотыкаясь, я подбежал к ней и тихо спросил:

— Кто там?

И голос, ее голос, ответил мне:

— Это я...

Не помня как, я совладал с цепью и ключом. Лишь только она шагнула внутрь, она припала ко мне, вся мокрая, с мокрыми щеками и развившимися волосами, дрожащая. Я мог произнести только слово:

— Ты... ты?.. — и голос мой прервался, и мы побежали вниз. Она освободилась в передней от пальто, и мы быстро вошли в первую комнату. Тихо вскрикнув, она голыми руками выбросила из печки на пол последнее, что там оставалось, пачку, которая занялась снизу. Дым наполнил комнату сейчас же. Я ногами затоптал огонь, а она повалилась на диван и заплакала неудержимо и судорожно.

Когда она утихла, я сказал:

— Я возненавидел этот роман, и я боюсь. Я болен. Мне страшно.

Она поднялась и заговорила:

— Боже, как ты болен. За что это, за что? Но я тебя спасу, я тебя спасу. Что же это такое?

Я видел ее вспухшие от дыму и плача глаза, чувствовал, как холодные руки гладят мне лоб.

— Я тебя вылечу, вылечу, — бормотала она, впиваясь мне в плечи, — ты восстановишь его. Зачем, зачем я не оставила у себя один экземпляр!

Она оскалилась от ярости, что-то еще говорила невнятное. Затем, сжав губы, она принялась собирать и расправлять обгоревшие листы. Это была какая-то глава из середины романа, не помню какая. Она аккуратно сложила листки, завернула их в бумагу, перевязала лентой. Все ее действия показывали, что она полна решимости и что она овладела собой. Она потребовала вина и, выпив, заговорила спокойнее.

— Вот как приходится платить за ложь, — говорила она, — и больше я не хочу лгать. Я осталась бы у тебя и сейчас, но мне не хочется это делать таким образом. Я не хочу, чтобы у него навсегда осталось в памяти, что я убежала от него ночью. Он не сделал мне никогда никакого зла... Его вызвали внезапно, у них на заводе пожар. Но он вернется скоро. Я объяснюсь с ним завтра утром, скажу, что я люблю другого, и навсегда вернусь к тебе. Ответь мне, ты, может быть, не хочешь этого?

— Бедная моя, бедная, — сказал я ей, — я не допущу, чтобы ты это сделала. Со мною будет нехорошо, и я не хочу, чтобы ты погибала вместе со мной.

— Только эта причина? — спросила она и приблизила свои глаза к моим.

— Только эта.

Она страшно оживилась, припала ко мне, обвивая мою шею, и сказала:

— Я погибаю вместе с тобою. Утром я буду у тебя.

И вот, последнее, что я помню в моей жизни, это — полоску света из моей передней, и в этой полосе света развившуюся прядь, ее берет и ее полные решимости глаза. Еще помню черный силуэт на пороге наружной двери и белый сверток.

— Я проводил бы тебя, но я уже не в силах идти один обратно, я боюсь.

— Не бойся. Потерпи несколько часов. Завтра утром я буду у тебя.

— Это и были ее последние слова в моей жизни... Тесс! — вдруг сам себя прервал больной и поднял палец. — Беспокойная сегодня лунная ночь.

Он скрылся на балконе. Иван слышал, как проехали колесики по коридору, кто-то всхлипнул или вскрикнул слабо.

Когда все затихло, гость вернулся и сообщил, что и 120-я комната получила жильца. Привезли кого-то, и он все просит вернуть ему голову. Оба собеседника помолчали в тревоге, но, успокоившись, вернулись к прерванному рассказу. Гость раскрыл было рот, но ночка, точно, была беспокойная. Голоса еще слышались в коридоре, и гость начал говорить Ивану на ухо так тихо, что то, что он рассказал, стало известно одному поэту только, за исключением первой фразы:

— Через четверть часа после того, как она покинула меня, ко мне в окно постучали...

То, о чем шептал больной на ухо Ивану, по-видимому, очень волновало его. Судороги то и дело проходили по его лицу. В глазах его плавал и метался страх и ярость. Рассказчик указывал рукою куда-то в сторону луны, которая давно уже ушла с балкона. Лишь тогда, когда перестали доноситься всякие звуки извне, гость отодвинулся от Ивана и заговорил погромче:

— Да, так вот, в половине января, ночью, в том же самом пальто, но с оборванными пуговицами, я жался от холода в моем дворике. Сзади меня были сугробы, скрывшие кусты сирени, а впереди меня и внизу — слабенько освещенные, закрытые шторами мои оконца. Я припал к первому из них и прислушался — в комнатах моих играл патефон. Это все, что я расслышал, но разглядеть ничего не мог. Постояв немного, я вышел за калитку в переулок. В нем играла метель. Метнувшаяся мне под ноги собака испугала меня, и я перебежал от нее на другую сторону. Холод и страх, ставший моим постоянным спутником, доводили меня до исступления. Идти мне было некуда, и проще всего, конечно, было бы броситься под трамвай на той улице, в которую выходил мой переулок. Издали я видел эти наполненные светом, обледеневшие ящики и слышал их омерзительный скрежет на морозе. Но, дорогой мой сосед, вся штука заключалась в том, что страх владел каждой клеточкой моего тела. И так же точно, как собаки, я боялся и трамвая. Да, хуже моей болезни в этом здании нет, уверяю вас.

— Но вы же могли дать знать ей, — сказал Иван, сочувствуя бедному больному, — кроме того, ведь у нее же ваши деньги? Ведь она их, конечно, сохранила?

— Не сомневайтесь в этом, конечно, сохранила. Но вы, очевидно, не понимаете меня. Или, вернее, я утратил бывшую у меня некогда способность описывать что-нибудь. Мне, впрочем, ее не очень жаль, так как она мне не пригодится больше. Перед нею, — гость благоговейно посмотрел в тьму ночи, —легло бы письмо из сумасшедшего дома. Разве можно посылать письма, имея такой адрес? Душевнобольной? Вы шутите, мой друг! Сделать ее несчастной? Нет, на это я не способен.

Иван не сумел возразить на это, но молчаливый Иван сочувствовал гостю, сострадал ему. А тот кивал от муки своих воспоминаний головою в черной шапочке и говорил так:

— Бедная женщина... Впрочем, у меня есть надежда, что она забыла меня...

— Но вы можете выздороветь... — робко сказал Иван.

— Я неизлечим, — спокойно ответил гость, — когда Стравинский говорит, что вернет меня к жизни, я ему не верю. Он гуманен и просто хочет утешить меня. Не отрицаю, впрочем, что мне теперь гораздо лучше. Да, так на чем, бишь, я остановился? Мороз, эти летящие трамваи... Я знал, что эта клиника уже открылась, и через весь город пешком пошел в нее. Безумие! За городом я, наверно, замерз бы, но меня спасла случайность. Что-то сломалось в грузовике, я подошел к шоферу, это было километрах в четырех за заставой, и, к моему удивлению, он сжалился надо мной. Машина шла сюда. И он повез меня. Я отделался тем, что отморозил пальцы на левой ноге. Но это вылечили. И вот четвертый месяц я здесь. И, знаете ли, нахожу, что здесь очень и очень неплохо. Не надо задаваться большими планами, дорогой сосед, право! Я вот, например, хотел объехать весь земной шар. Ну, что же, оказывается, это не суждено. Я вижу только незначительный кусок этого шара. Думаю, что это не самое лучшее, что есть на нем, но, повторяю, это не так уж худо. Вот лето идет к нам, на балконе завьется плющ, как обещает Прасковья Федоровна. Ключи расширили мои возможности. По ночам будет луна. Ах, она ушла! Свежеет. Ночь валится за полночь. Мне пора.

— Скажите мне, а что было дальше с Иешуа и Пилатом, — попросил Иван, — умоляю, я хочу знать.

— Ах нет, нет, — болезненно дернувшись, ответил гость, — я вспомнить не могу без дрожи мой роман. А ваш знакомый с Патриарших сделал бы это лучше меня. Спасибо за беседу. До свидания.

И раньше, чем Иван опомнился, закрылась решетка с тихим звоном, и гость скрылся.

Глава 14 СЛАВА ПЕТУХУ!

Не выдержали нервы, как говорится, и Римский не дождался окончания составления протокола и бежал в свой кабинет. Он сидел за столом и воспаленными глазами глядел на лежащие перед ним магические червонцы. У финдиректора ум заходил за разум. Снаружи несся ровный гул. Публика потоками выливалась из здания Варьете на улицу. До чрезвычайно обострившегося слуха финдиректора вдруг донеслась отчетливая милицейская трель. Сама по себе она уж никогда не сулит ничего приятного. А когда она повторилась и к ней на помощь вступила другая, более властная и продолжительная, а затем присоединился и явственно слышный гогот и даже какое-то улюлюкание, финдиректор сразу понял, что на улице совершилось еще что-то скандальное и пакостное. И что это, как бы ни хотелось от-

махнуться от него, находится в теснейшей связи с отвратительным сеансом, произведенным черным магом и его помощниками. Чуткий финдиректор нисколько не ошибся.

Лишь только он глянул в окно, выходящее на Садовую, лицо его перекосилось, и он не прошептал, а прошипел:

— Я так и знал!

В ярком свете сильнейших уличных фонарей он увидел на тротуаре внизу под собой даму в одной сорочке и панталонах фиолетового цвета. На голове у дамы, правда, была шляпка, а в руках зонтик.

Вокруг этой дамы, находившейся в состоянии полного смятения, то приседающей, то порывающейся бежать куда-то, волновалась толпа, издавая тот самый хохот, от которого у финдиректора проходил по спине мороз. Возле дамы метался какой-то гражданин, сдирающий с себя летнее пальто и от волнения никак не справляющийся с рукавом, в котором застряла рука.

Крики и ревущий хохот донеслись и из другого места — именно от левого подъезда, и, повернув туда голову, Григорий Данилович увидал вторую даму, в розовом белье. Та прыгнула с мостовой на тротуар, стремясь скрыться в подъезде, но вытекавшая публика преграждала ей путь, и бедная жертва своего легкомыслия и страсти к нарядам, обманутая фирмой поганого Фагота, мечтала только об одном — провалиться сквозь землю. Милиционер устремлялся к несчастной, буравя воздух свистом, а за милиционером поспешали какие-то развеселые молодые люди в кепках. Они-то и испускали этот самый хохот и улюлюканье.

Усатый худой лихач подлетел к первой раздетой и с размаху осадил костлявую разбитую лошадь. Лицо усача радостно ухмылялось.

Римский стукнул себя кулаком по голове, плюнул и отскочил от окна.

Он посидел некоторое время у стола, прислушиваясь к улице. Свист в разных точках достиг высшей силы, а потом стал спадать. Скандал, к удивлению Римского, ликвидировался как-то неожиданно быстро.

Наставала пора действовать, приходилось пить горькую чашу ответственности. Аппараты были исправлены во время третьего отделения, надо было звонить, сообщать о происшедшем, просить помощи, отвираться, валить все на Лиходеева, выгораживать самого себя и так далее. Тьфу ты, дьявол!

Два раза расстроенный директор клал руку на трубку и дважды ее снимал. И вдруг в мертвой тишине кабинета сам аппарат разразился звоном прямо в лицо финдиректора, и тот вздрогнул и похолодел. «Однако у меня здорово расстроились нервы», — подумал он и поднял трубку. Тотчас он отшатнулся от нее и стал белее бумаги. Тихий, в то же время вкрадчивый и развратный женский голос шепнул в трубку:

— Не звони, Римский, никуда, худо будет...

Трубка тут же опустела. Чувствуя мурашки в спине, финдиректор положил трубку и оглянулся почему-то на окно за своей спиной. Сквозь редкие и еще слабо покрытые зеленью ветви клена он увидел

луну, бегущую в прозрачном облачке. Почему-то приковавшись к ветвям, Римский смотрел на них, и чем больше смотрел, тем сильнее и сильнее его охватывал страх.

Сделав над собою усилие, финдиректор отвернулся наконец от лунного окна и поднялся. Никакого разговора о том, чтобы звонить, больше и быть не могло, и теперь финдиректор думал только об одном — как бы ему поскорее уйти из театра.

Он прислушался: здание театра молчало. Римский понял, что он давно один во всем втором этаже, и детский неодолимый страх овладел им при этой мысли. Он без содрогания не мог подумать о том, что ему придется сейчас идти одному по пустым коридорам и спускаться по лестницам. Он лихорадочно схватил со стола гипнотизерские червонцы, спрятал их в портфель и кашлянул, чтобы хоть чуточку подбодрить себя. Кашель вышел хриповатым, слабым.

И здесь ему показалось, что из-под двери кабинета потянуло вдруг гниловатой сыростью. Дрожь прошла по спине финдиректора. А тут еще ударили неожиданно часы и стали бить полночь. И даже бой вызвал дрожь в финдиректоре. Но окончательно его сердце упало, когда он услышал, что в замке двери тихонько поворачивается английский ключ. Вцепившись в портфель влажными, холодными руками, финдиректор чувствовал, что, если еще немного продлится этот шорох в скважине, он не выдержит и пронзительно закричит.

Наконец дверь уступила чьим-то усилиям, раскрылась, и в кабинет бесшумно вошел Варенуха. Римский как стоял, так и сел в кресло, потому что ноги его подогнулись. Набрав воздуху в грудь, он улыбнулся как бы заискивающей улыбкой и тихо молвил:

— Боже, как ты меня испугал...

Да, это внезапное появление могло испугать кого угодно, и тем не менее в то же время оно являлось большою радостью: высунулся хоть один кончик в этом запутанном деле.

— Ну, говори же скорей! Ну! Ну! — прохрипел Римский, цепляясь за этот кончик. — Что все это значит?!

— Прости, пожалуйста, — глухим голосом отозвался вошедший, закрывая дверь, — я думал, что ты уже ушел.

Й Варенуха, не снимая кепки, прошел к креслу и сел по другую сторону стола.

Надо сказать, что в ответе Варенухи обозначилась легонькая странность, которая сразу кольнула финдиректора, в чувствительности своей могущего поспорить с сейсмографом любой из лучших станций мира. Как же так? Зачем же Варенуха шел в кабинет финдиректора, ежели полагал, что его там нету? Ведь у него есть свой кабинет. Это — раз. А второе: из какого бы входа Варенуха ни вошел в здание, он неизбежно должен был встретить одного из ночных дежурных, а тем всем было объявлено, что Григорий Данилович на некоторое время задержится в своем кабинете.

Но долго по поводу этой странности финдиректор не стал размышлять. Не до того было.

— Почему же ты не позвонил? Что означает вся эта петрушка с Ялтой?

— Ну, то, что я и говорил, — причмокнув, как будто его беспокоил больной зуб, ответил администратор, — нашли его в трактире в Пушкине.

— Как в Пушкине?! Это под Москвой? А телеграммы из Ялты?!

— Какая там, к черту, Ялта! Напоил пушкинского телеграфиста, и начали оба безобразничать, в том числе посылать телеграммы с пометкой «Ялта».

— Ага... Ага... Ну ладно, ладно... — не проговорил, а как бы пропел Римский. Глаза его засветились желтеньким светом. В голове сложилась праздничная картина позорного снятия Степы с работы. Освобождение! Долгожданное освобождение финдиректора от этого бедствия в лице Лиходеева! А может, Степан Богданович добьется чего-нибудь и похуже снятия... — Подробности! — сказал Римский, стукнув пресс-папье по столу.

И Варенуха начал рассказывать подробности. Лишь только он явился туда, куда был отправлен финдиректором, его немедленно приняли и выслушали внимательнейшим образом. Никто, конечно, и мысли не допустил о том, что Степа может быть в Ялте. Все сейчас же согласились с предположением Варенухи, что Лиходеев, конечно, в пушкинской «Ялте».

— Где же он сейчас? — перебил администратора взволнованный финдиректор.

— Ну, где же ему быть, — ответил, криво ухмыльнувшись, администратор, — натурально, в вытрезвителе.

— Ну, ну! Ай, спасибо!

А Варенуха продолжал свое повествование. И чем больше он повествовал, тем ярче перед финдиректором разворачивалась длиннейшая цепь лиходеевских хамств и безобразий, и всякое последующее звено в этой цепи было хуже предыдущего. Чего стоила хотя бы пьяная пляска в обнимку с телеграфистом на лужайке перед пушкинским телеграфом под звуки какой-то праздношатающейся гармоники! Гонка за какими-то гражданками, визжащими от ужаса! Попытка подраться с буфетчиком в самой «Ялте»! Разбрасывание зеленого лука по полу той же «Ялты». Разбитие восьми бутылок белого сухого «Ай-Даниля». Поломка счетчика у шофера такси, не пожелавшего подать Степе машину. Угроза арестовать граждан, пытавшихся прекратить Степины паскудства... Словом, темный ужас!

Степа был хорошо известен в театральных кругах Москвы, и все знали, что человек этот не подарочек. Но все-таки то, что рассказывал администратор про него, даже и для Степы было чересчур. Да, чересчур. Даже очень чересчур...

Колючие глаза Римского через стол врезались в лицо администратора, и чем дальше тот говорил, тем мрачнее становились эти глаза. Чем жизненнее и красочнее становились те гнусные подробности, которыми уснащал свою повесть администратор, тем менее верил рассказчику финдиректор. Когда же Варенуха сообщил, что Степа распоясался до того, что пытался оказать сопротивление тем, кто приехал за ним, чтобы вернуть его в Москву, финдиректор уже твердо знал, что все, что рассказывает ему вернувшийся в полночь администратор, все — ложь! Ложь от первого до последнего слова.

Варенуха не ездил в Пушкино, и самого Степы в Пушкине тоже не было. Не было пьяного телеграфиста, не было разбитого стекла в трактире, Степу не вязали веревками... — ничего этого не было.

Лишь только финдиректор утвердился в мысли, что администратор ему лжет, страх пополз по его телу, начиная с ног, и дважды опять-таки почудилось финдиректору, что потянуло по полу гнилой малярийной сыростью. Ни на мгновение не сводя глаз с администратора, как-то странно корчившегося в кресле, все время стремящегося не выходить из-под голубой тени настольной лампы, как-то удивительно прикрывавшегося якобы от мешающего ему света лампочки газетой, — финдиректор думал только об одном, что же значит все это? Зачем так нагло лжет ему в пустынном и молчащем здании слишком поздно вернувшийся к нему администратор? И сознание опасности, неизвестной, но грозной опасности, начало томить душу финдиректора. Делая вид, что не замечает уверток администратора и фокусов его с газетой, финдиректор рассматривал его лицо, почти уже не слушая того, что плел Варенуха. Было кое-что, что представлялось еще более необъяснимым, чем неизвестно зачем выдуманный клеветнический рассказ о похождениях в Пушкине, и это что-то было изменением во внешности и в манерах администратора.

Как тот ни натягивал утиный козырек кепки на глаза, чтобы бросить тень на лицо, как ни вертел газетным листом, — финдиректору удалось рассмотреть громадный синяк с правой стороны лица у самого носа. Кроме того, полнокровный обычно администратор был теперь бледен меловой нездоровою бледностью, а на шее у него в душную ночь зачем-то было наверчено старенькое полосатое кашне. Если же к этому прибавить появившуюся у администратора за время его отсутствия отвратительную манеру присасывать и причмокивать, резкое изменение голоса, ставшего глухим и грубым, вороватость и трусливость в глазах, — можно было смело сказать, что Иван Савельевич Варенуха стал неузнаваем.

Что-то еще жгуче беспокоило финдиректора, но что именно, он не мог понять, как ни напрягал воспаленный мозг, сколько ни всматривался в Варенуху. Одно он мог утверждать, что было что-то невиданное, неестественное в этом соединении администратора с хорошо знакомым креслом.

— Ну, одолели наконец, погрузили в машину, — гудел Варенуха, выглядывая из-за листа и ладонью прикрывая синяк.

Римский вдруг протянул руку и как бы машинально ладонью, в то же время поигрывая пальцами по столу, нажал пуговку электрического звонка и обмер. В пустом здании непременно был бы слышен резкий сигнал. Но этого сигнала не последовало, и пуговка безжизненно погрузилась в доску стола. Пуговка была мертва, звонок испорчен.

Хитрость финдиректора не ускользнула от Варенухи, который спросил, передернувшись, причем в глазах его мелькнул явный злобный огонь:

— Ты чего звонишь?

— Машинально, — глухо ответил финдиректор, отдернул руку и, в свою очередь, нетвердым голосом спросил: — Что это у тебя на лице?

— Машину занесло, ударился об ручку двери, — ответил Варенуха, отводя глаза.

«Лжет!» — воскликнул мысленно финдиректор. И тут вдруг его глаза округлились и стали совершенно безумными, и он уставился в спинку кресла.

Сзади кресла, на полу, лежали две перекрещенные тени, одна погуще и почернее, другая слабая и серая. Отчетливо была видна на полу теневая спинка кресла и его заостренные ножки, но над спинкою на полу не было теневой головы Варенухи, равно как под ножками не было ног администратора.

«Он не отбрасывает тени!» — отчаянно мысленно вскричал Римский. Его ударила дрожь.

Варенуха воровато оглянулся, следуя безумному взору Римского, за спинку кресла и понял, что он открыт.

Он поднялся с кресла (то же сделал и финдиректор) и отступил от стола на шаг, сжимая в руках портфель.

— Догадался, проклятый! Всегда был смышлен, — злобно ухмыльнувшись совершенно в лицо финдиректору, проговорил Варенуха, неожиданно отпрыгнул от кресла к двери и быстро двинул вниз пуговку английского замка. Финдиректор отчаянно оглянулся, отступая к окну, ведущему в сад, и в этом окне, заливаемом луною, увидел прильнувшее к стеклу лицо голой девицы и ее голую руку, просунувшуюся в форточку и старающуюся открыть нижнюю задвижку. Верхняя уже была открыта.

Римскому показалось, что свет в настольной лампе гаснет и что письменный стол наклоняется. Римского окатило ледяной волной, но, к счастью для себя, он превозмог себя и не упал. Остатка его сил хватило на то, чтобы шепнуть, но не крикнуть:

— Помогите...

Варенуха, карауля дверь, подпрыгивал возле нее, подолгу застревая в воздухе и качаясь в нем. Скрюченными пальцами он махал в сторону Римского, шипел, чмокал, подмигивал девице в окне.

Та заспешила, всунула рыжую голову в форточку, вытянула сколько могла руку, ногтями начала царапать нижний шпингалет и потрясать раму. Рука ее стала удлиняться, как резиновая, и покрылась трупной зеленью. Наконец зеленые пальцы мертвой обхватили головку шпингалета, повернули ее, и рама стала открываться. Римский слабо вскрикнул, прислонился к стене и портфель выставил вперед, как щит. Он понимал, что пришла его гибель.

Рама широко распахнулась, но вместо ночной свежести и аромата лип в комнату ворвался запах погреба. Покойница вступила на подоконник. Римский отчетливо видел пятна тления на ее груди.

И в это время радостный неожиданный крик петуха долетел из сада, из того низкого здания за тиром, где содержались птицы, участвовавшие в программах. Горластый дрессированный петух трубил, возвещая, что к Москве с востока катится рассвет.

Дикая ярость исказила лицо девицы, она испустила хриплое ругательство, а Варенуха у дверей взвизгнул и обрушился из воздуха на пол.

Крик петуха повторился, девица щелкнула зубами, и рыжие ее волосы поднялись дыбом. С третьим криком петуха она повернулась и вылетела вон. И вслед за нею, подпрыгнув и вытянувшись горизонтально в воздухе, напоминая летящего купидона, выплыл медленно в окно через письменный стол Варенуха.

Седой как снег, без единого черного волоса, старик, который недавно еще был Римским, подбежал к двери, отстегнул пуговку, открыл дверь и кинулся бежать по темному коридору. У поворота на лестницу он, стеная от страха, нащупал выключатель, и лестница осветилась. На лестнице трясущийся, дрожащий старик упал, потому что ему показалось, что на него сверху мягко обрушился Варенуха.

Сбежав вниз, Римский увидел дежурного, заснувшего на стуле у кассы в вестибюле. Римский прокрался мимо него на цыпочках и выскользнул в главную дверь. На улице ему стало несколько легче. Он настолько пришел в себя, что, хватаясь за голову, сумел сообразить, что шляпа его осталась в кабинете.

Само собой разумеется, что за нею он не вернулся, а, задыхаясь, побежал через широкую улицу на противоположный угол у кинотеатра, возле которого маячил красноватый тусклый огонек. Через минуту он был уже возле него. Никто не успел перехватить машину.

— К курьерскому ленинградскому, дам на чай, — тяжело дыша и держась за сердце, проговорил старик.

— В гараж еду, — с ненавистью ответил шофер и отвернулся.

Тогда Римский расстегнул портфель, вытащил оттуда пятьдесят рублей и протянул их сквозь открытое переднее окно шоферу.

Через несколько мгновений дребезжащая машина, как вихрь, летела по кольцу Садовой. Седока трепало на сиденье, и в осколке зеркала, повешенного перед шофером, Римский видел то радостные шоферские глаза, то безумные свои.

Выскочив из машины перед зданием вокзала, Римский крикнул первому попавшемуся человеку в белом фартуке и с бляхой:

— Первую категорию, один, тридцать дам, — комкая, он вынимал из портфеля червонцы, — нет первой — вторую, если нету — бери жесткий.

Человек с бляхой, оглядываясь на светящиеся часы, рвал из рук у Римского червонцы.

Через пять минут из-под стеклянного купола вокзала исчез курьерский и начисто пропал в темноте. С ним вместе пропал и Римский.

Глава 15 СОН НИКАНОРА ИВАНОВИЧА

Нетрудно догадаться, что толстяк с багровой физиономией, которого поместили в клинике в комнате № 119, был Никанор Иванович Босой.

Попал он, однако, к профессору Стравинскому не сразу, а предварительно побывав в другом месте.

От другого этого места у Никанора Ивановича осталось в воспоминании мало чего. Помнился только письменный стол, шкаф и диван.

Там с Никанором Ивановичем, у которого перед глазами как-то мутилось от приливов крови и душевного возбуждения, вступили в разговор, но разговор вышел какой-то странный, путаный, а вернее сказать, совсем не вышел.

Первый же вопрос, который был задан Никанору Ивановичу, был таков:

— Вы Никанор Иванович Босой, председатель домкома номер триста два-бис по Садовой?

На это Никанор Иванович, рассмеявшись страшным смехом, ответил буквально так:

— Я Никанор, конечно, Никанор! Но какой же я к шуту председатель!

— То есть как? — спросили у Никанора Ивановича, прищуриваясь.

— А так, — ответил он, — что ежели я председатель, то я сразу должен был установить, что он нечистая сила! А то что же это? Пенсне треснуло... весь в рванине... Какой же он может быть переводчик у иностранца!

— Про кого говорите? — спросили у Никанора Ивановича.

— Коровьев! — вскричал Никанор Иванович. — В пятидесятой квартире у нас засел! Пишите: Коровьев. Его немедленно надо изловить! Пишите: шестое парадное, там он.

— Откуда валюту взял? — задушевно спросили у Никанора Ивановича.

— Бог истинный, бог всемогущий, — заговорил Никанор Иванович, — все видит, а мне туда и дорога. В руках никогда не держал и не подозревал, какая такая валюта! Господь меня наказует за скверну мою, — с чувством продолжал Никанор Иванович, то застегивая рубашку, то расстегивая, то крестясь, — брал! Брал, но брал нашими, советскими! Прописывал за деньги, не спорю, бывало. Хорош и наш секретарь Пролежнев, тоже хорош! Прямо скажем, все воры в домоуправлении. Но валюты я не брал!

На просьбу не валять дурака, а рассказать, как попали доллары в вентиляцию, Никанор Иванович стал на колени и качнулся, раскрывая рот, как бы желая проглотить паркетную шашку.

— Желаете, — промычал он, — землю буду есть, что не брал? А Коровьев — он черт!

Всякому терпению положен предел, и за столом уже повысили голос, намекнули Никанору Ивановичу, что ему пора заговорить на человеческом языке.

Тут комнату с этим самым диваном огласил дикий рев Никанора Ивановича, вскочившего с колен:

— Вон он! Вон он за шкафом! Вот ухмыляется! И пенсне его... Держите его! Окропить помещение!

Кровь отлила от лица Никанора Ивановича, он, дрожа, крестил воздух, метался к двери и обратно, запел какую-то молитву и, наконец, понес полную околесину.

Стало совершенно ясно, что Никанор Иванович ни к каким разговорам не пригоден. Его вывели, поместили в отдельной комнате, где он несколько поутих и только молился и всхлипывал.

На Садовую, конечно, съездили и в квартире № 50 побывали. Но никакого Коровьева там не нашли, и никакого Коровьева никто в доме не знал и не видел. Квартира, занимаемая покойным Берлиозом и уехавшим в Ялту Лиходеевым, была пуста, и в кабинете мирно висели никем не поврежденные сургучные печати на шкафах. С тем и уехали с Садовой, причем с уехавшими отбыл растерянный и подавленный секретарь домоуправления Пролежнев.

Вечером Никанор Иванович был доставлен в клинику Стравинского. Там он повел себя настолько беспокойно, что ему пришлось сделать впрыскивание по рецепту Стравинского, и лишь после полуночи Никанор Иванович уснул в 119-й комнате, изредка издавая тяжелое страдальческое мычание.

Но чем далее, тем легче становился его сон. Он перестал ворочаться и стонать, задышал легко и ровно, и его оставили одного.

Тогда Никанора Ивановича посетило сновидение, в основе которого, несомненно, были его сегодняшние переживания. Началось с того, что Никанору Ивановичу привиделось, будто бы какие-то люди с золотыми трубами в руках подводят его, и очень торжественно, к большим лакированным дверям. У этих дверей спутники сыграли будто бы туш Никанору Ивановичу, а затем гулкий бас с небес весело сказал:

— Добро пожаловать, Никанор Иванович! Сдавайте валюту!

Удивившись крайне, Никанор Иванович увидел над собою черный громкоговоритель.

Затем он почему-то очутился в театральном зале, где под золоченым потолком сияли хрустальные люстры, а на стенах кенкеты. Все было как следует, как в небольшом по размерам, но очень богатом театре. Имелась сцена, задернутая бархатным занавесом, по темно-вишневому фону усеянным, как звездочками, изображениями золотых увеличенных десяток, суфлерская будка и даже публика.

Удивило Никанора Ивановича то, что вся эта публика была одного пола — мужского, и вся почему-то с бородами. Кроме того, поражало, что в театральном зале не было стульев и вся эта публика сидела на полу, великолепно натертом и скользком.

Конфузясь в новом и большом обществе, Никанор Иванович, помявшись некоторое время, последовал общему примеру и уселся на паркете по-турецки, примостившись между каким-то рыжим здоровяком-бородачом и другим, бледным и сильно заросшим гражданином. Никто из сидящих не обратил внимания на новоприбывшего зрителя.

Тут послышался мягкий звон колокольчика, свет в зале потух, занавес разошелся, и обнаружилась освещенная сцена с креслом, столиком, на котором был золотой колокольчик, и с глухим черным бархатным задником.

Из кулис тут вышел артист в смокинге, гладко выбритый и причесанный на пробор, молодой и с очень приятными чертами лица. Публика в зале оживилась, и все повернулись к сцене. Артист подошел к будке и потер руки.

— Сидите? — спросил он мягким баритоном и улыбнулся залу.

— Сидим, сидим, — хором ответили ему из зала тенора и басы.

— Гм... — заговорил задумчиво артист, — и как вам не надоест, я не понимаю? Все люди как люди, ходят сейчас по улицам, наслаждаются весенним солнцем и теплом, а вы здесь на полу торчите в душном зале! Неужто программа такая интересная? Впрочем, что кому нравится, — философски закончил артист.

Затем он переменил и тембр голоса и интонации и весело и звучно объявил:

— Итак, следующим номером нашей программы — Никанор Иванович Босой, председатель домового комитета и заведующий диетической столовкой. Попросим Никанора Ивановича!

Дружный аплодисмент был ответом артисту. Удивленный Никанор Иванович вытаращил глаза, а конферансье, закрывшись рукою от света рампы, нашел его взором среди сидящих и ласково поманил его пальцем на сцену. И Никанор Иванович, не помня как, оказался на сцене. В глаза ему снизу и спереди ударил свет цветных ламп, отчего сразу провалился в темноту зал с публикой.

— Ну-с, Никанор Иванович, покажите нам пример, — задушевно заговорил молодой артист, — и сдавайте валюту.

Наступила тишина. Никанор Иванович перевел дух и тихо заговорил:

— Богом клянусь, что...

Но не успел он произнести эти слова, как весь зал разразился криками негодования. Никанор Иванович растерялся и умолк.

— Насколько я понял вас, — заговорил ведущий программу, — вы хотели поклясться богом, что у вас нет валюты? — И он участливо поглядел на Никанора Ивановича.

— Так точно, нету, — ответил Никанор Иванович.

— Так, — отозвался артист, — а простите за нескромность: откуда же взялись четыреста долларов, обнаруженные в уборной той квартиры, единственным обитателем коей являетесь вы с вашей супругой?

— Волшебные! — явно иронически сказал кто-то в темном зале.

— Так точно, волшебные, — робко ответил Никанор Иванович по неопределенному адресу, не то артисту, не то в темный зал, и пояснил: — Нечистая сила, клетчатый переводчик подбросил.

И опять негодующе взревел зал. Когда же настала тишина, артист сказал:

— Вот какие басни Лафонтена приходится мне выслушивать! Подбросили четыреста долларов! Вот вы все здесь — валютчики, обращаюсь к вам как к специалистам: мыслимое ли это дело?

— Мы не валютчики, — раздались отдельные обиженные голоса в театре, — но дело это немыслимое.

— Целиком присоединяюсь, — твердо сказал артист, — и спрошу вас: что могут подбросить?

— Ребенка! — крикнул кто-то из зала.

— Абсолютно верно, — подтвердил ведущий программу, — ребенка, анонимное письмо, прокламацию, адскую машину, мало ли что еще, но четыреста долларов никто не станет подбрасывать, ибо такого идиота в природе не имеется. — И, обратившись к Никанору Ивановичу, артист добавил укоризненно и печально: — Огорчили вы меня, Никанор Иванович! А я-то на вас надеялся. Итак, номер наш не удался.

В зале раздался свист по адресу Никанора Ивановича.

— Валютчик он! — выкрикивали в зале. — Из-за таких-то и мы невинно терпим!

— Не ругайте его, — мягко сказал конферансье, — он раскается. — И, обратив к Никанору Ивановичу полные слез голубые глаза, добавил: — Ну, идите, Никанор Иванович, на место.

После этого артист позвонил в колокольчик и громко объявил:

— Антракт, негодяи!

Потрясенный Никанор Иванович, неожиданно для себя ставший участником какой-то театральной программы, опять оказался на своем месте на полу. Тут ему приснилось, что зал погрузился в полную тьму и что на стенах выскочили красные горящие слова: «Сдавайте валюту!» Потом опять раскрылся занавес и конферансье пригласил:

— Попрошу на сцену Сергея Герардовича Дунчиль.

Дунчиль оказался благообразным, но сильно запущенным мужчиной лет пятидесяти.

— Сергей Герардович, — обратился к нему конферансье, — вот уже полтора месяца вы сидите здесь, упорно отказываясь сдать оставшуюся у вас валюту, в то время как страна нуждается в ней, а вам она совершенно ни к чему, а вы все-таки упорствуете. Вы — человек интеллигентный, прекрасно все это понимаете и все же не хотите пойти мне навстречу,

— К сожалению, ничего сделать не могу, так как валюты у меня больше нет, — спокойно ответил Дунчиль.

— Так нет ли, по крайней мере, бриллиантов? — спросил артист.

— И бриллиантов нет.

Артист повесил голову и задумался, а потом хлопнул в ладоши. Из кулисы вышла на сцену средних лет дама, одетая по моде, то есть в пальто без воротника и в крошечной шляпке. Дама имела встревоженный вид, а Дунчиль поглядел на нее, не шевельнув бровью.

— Кто эта дама? — спросил ведущий программу у Дунчиля.

— Это моя жена, — с достоинством ответил Дунчиль и посмотрел на длинную шею дамы с некоторым отвращением.

— Мы потревожили вас, мадам Дунчиль, — отнесся к даме конферансье, — вот по какому поводу: мы хотели вас спросить, есть ли еще у вашего супруга валюта?

— Он тогда все сдал, — волнуясь, ответила мадам Дунчиль.

— Так, — сказал артист, — ну, что же, раз так, то так. Если все сдал, то нам надлежит немедленно расстаться с Сергеем Герардовичем,

что же поделаешь! Если угодно, вы можете покинуть театр, Сергей Герардович, — и артист сделал царственный жест.

Дунчиль спокойно и с достоинством повернулся и пошел к кулисе.

— Одну минуточку! — остановил его конферансье. — Позвольте мне на прощанье показать вам еще один номер из нашей программы, — и опять хлопнул в ладоши.

Черный задний занавес раздвинулся, и на сцену вышла юная красавица в бальном платье, держащая в руках золотой подносик, на котором лежала толстая пачка, перевязанная конфетной лентой, и бриллиантовое колье, от которого во все стороны отскакивали синие, желтые и красные огни.

Дунчиль отступил на шаг, и лицо его покрылось бледностью. Зал замер.

— Восемнадцать тысяч долларов и колье в сорок тысяч золотом, — торжественно объявил артист, — хранил Сергей Герардович в городе Харькове в квартире своей любовницы Иды Геркулановны Ворс, которую мы имеем удовольствие видеть перед собою и которая любезно помогла обнаружить эти бесценные, но бесцельные в руках частного лица сокровища. Большое спасибо, Ида Геркулановна.

Красавица, улыбнувшись, сверкнула зубами, и мохнатые ее ресницы дрогнули.

— А под вашею полной достоинства личиной, — отнесся артист к Дунчилю, — скрывается жадный паук и поразительный охмуряло и врун. Вы извели всех за полтора месяца своим тупым упрямством. Ступайте же теперь домой, и пусть тот ад, который устроит вам ваша супруга, будет вам наказанием.

Дунчиль качнулся и, кажется, хотел повалиться, но чьи-то участливые руки подхватили его. Тут рухнул передний занавес и скрыл всех бывших на сцене.

Бешеные рукоплескания потрясли зал до того, что Никанору Ивановичу показалось, будто в люстрах запрыгали огни. А когда передний занавес ушел вверх, на сцене уже никого не было, кроме одинокого артиста. Он сорвал второй залп рукоплесканий, раскланялся и заговорил:

— В лице этого Дунчиля перед вами выступил в нашей программе типичный осел. Ведь я же имел удовольствие говорить вчера, что тайное хранение валюты является бессмыслицей. Использовать ее никто не может ни при каких обстоятельствах, уверяю вас. Возьмем хотя бы этого Дунчиля. Он получает великолепное жалованье и ни в чем не нуждается. У него прекрасная квартира, жена и красавица любовница. Так нет же! Вместо того чтобы жить тихо и мирно, без всяких неприятностей, сдав валюту и камни, этот корыстный болван добился все-таки того, что был разоблачен при всех и на закуску нажил крупнейшую семейную неприятность. Итак, кто сдает? Нет желающих? В таком случае следующим номером нашей программы — известный драматический талант, артист Куролесов Савва Потапович, специально приглашенный, исполнит отрывки из «Скупого рыцаря» поэта Пушкина.

Обещанный Куролесов не замедлил появиться на сцене и оказался рослым и мясистым бритым мужчиной во фраке и белом галстуке.

Без всяких предисловий он скроил мрачное лицо, сдвинул брови и заговорил ненатуральным голосом, косясь на золотой колокольчик:

— Как молодой повеса ждет свиданья с какой-нибудь развратницей лукавой...

И Куролесов рассказал о себе много нехорошего. Никанор Иванович слышал, как Куролесов признавался в том, что какая-то несчастная вдова, воя, стояла перед ним на коленях под дождем, но не тронула черствого сердца артиста.

Никанор Иванович до своего сна совершенно не знал произведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно и ежедневно по несколько раз произносил фразы вроде: «А за квартиру Пушкин платить будет?» или «Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?», «Нефть, стало быть, Пушкин покупать будет?»

Теперь, познакомившись с одним из его произведений, Никанор Иванович загрустил, представил себе женщину на коленях, с сиротами, под дождем, и невольно подумал: «А тип все-таки этот Куролесов!»

А тот, все повышая голос, продолжал каяться и окончательно запутал Никанора Ивановича, потому что вдруг стал обращаться к кому-то, кого на сцене не было, и за этого отсутствующего сам же себе и отвечал, причем называл себя то «государем», то «бароном», то «отцом», то «сыном», то на «вы», а то на «ты».

Никанор Иванович понял только одно, что помер артист злою смертью, прокричав: «Ключи! Ключи мои!» — повалившись после этого на пол, хрипя и осторожно срывая с себя галстук.

Умерев, Куролесов поднялся, отряхнул пыль с фрачных брюк, поклонился, улыбнувшись фальшивой улыбкой, и удалился при жидких аплодисментах. А конферансье заговорил так:

— Мы прослушали с вами в замечательном исполнении Саввы Потаповича «Скупого рыцаря». Этот рыцарь надеялся, что резвые нимфы сбегутся к нему и произойдет еще многое приятное в том же духе. Но, как видите, ничего этого не случилось, никакие нимфы не сбежались к нему, и музы ему дань не принесли, и чертогов он никаких не воздвиг, а наоборот, кончил очень скверно, помер к чертовой матери от удара на своем сундуке с валютой и камнями. Предупреждаю вас, что и с вами случится что-нибудь в этом роде, если только не хуже, ежели вы не сдадите валюту!

Поэзия ли Пушкина произвела такое впечатление или прозаическая речь конферансье, но только вдруг из зала раздался застенчивый голос:

— Я сдаю валюту.

— Милости прошу на сцену, — вежливо пригласил конферансье, всматриваясь в темный зал.

И на сцене оказался маленького роста белокурый гражданин, судя по лицу, не брившийся около трех недель.

— Виноват, как ваша фамилия? — осведомился конферансье.

— Канавкин Николай, — застенчиво отозвался появившийся.

— А! Очень приятно, гражданин Канавкин. Итак?

— Сдаю, — тихо сказал Канавкин.

— Сколько?

— Тысячу долларов и двадцать золотых десяток.

— Браво! Все, что есть?

Ведущий программу уставился прямо в глаза Канавкину, и Никанору Ивановичу даже показалось, что из этих глаз брызнули лучи, пронизывающие Канавкина насквозь, как бы рентгеновские лучи. В зале перестали дышать.

— Верю! — наконец воскликнул артист и погасил свой взор. — Верю! Эти глаза не лгут. Ведь сколько же раз я говорил вам, что основная ваша ошибка заключается в том, что вы недооцениваете значения человеческих глаз. Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда! Вам задают внезапный вопрос, вы даже не вздрагиваете, в одну секунду вы овладеваете собой и знаете, что нужно сказать, чтобы укрыть истину, и весьма убедительно говорите, и ни одна складка на вашем лице не шевельнется, но, увы, встревоженная вопросом истина со дна души на мгновение прыгает в глаза, и все кончено. Она замечена, а вы пойманы!

Произнеся, и с большим жаром, эту очень убедительную речь, артист ласково осведомился у Канавкина:

— Где же спрятаны?

— У тетки моей, Пороховниковой, на Пречистенке...

— А! Это... постойте... это у Клавдии Ильиничны, что ли?

- Да.

— Ах да, да, да, да! Маленький особнячок? Напротив еще палисадничек? Как же, знаю, знаю! А куда же вы их там засунули?

— В погребе, в коробке из-под Эйнема...

Артист всплеснул руками.

— Видали вы что-нибудь подобное? — вскричал он огорченно. — Да ведь они же там заплесневеют, отсыреют! Ну мыслимо ли таким людям доверить валюту? А? Чисто как дети, ей-богу!

Канавкин и сам понял, что нагробил и проштрафился, и повесил свою хохлатую голову.

— Деньги, — продолжал артист, — должны храниться в госбанке, в специальных сухих и хорошо охраняемых помещениях, а отнюдь не в теткином погребе, где их могут, в частности, попортить крысы! Право, стыдно, Канавкин! Ведь вы же взрослый человек.

Канавкин уж не знал, куда и деваться, и только колупал пальцем борт своего пиджачка.

— Ну ладно, — смягчился артист, — кто старое помянет... — И вдруг добавил неожиданно: — Да, кстати... за одним разом чтобы... чтоб машину зря не гонять... у тетки этой самой ведь тоже есть, а?

Канавкин, никак не ожидавший такого оборота дела, дрогнул, и в театре наступило молчание.

— Э, Канавкин, — укоризненно-ласково сказал конферансье, — а я-то еще похвалил его! На-те, взял да и засбоил ни с того ни с сего! Неле-

по это, Канавкин! Ведь я только что говорил про глаза. Ведь видно, что у тетки есть. Ну, чего вы нас зря терзаете?

— Есть! — залихватски крикнул Канавкин.

— Браво! — крикнул конферансье.

— Браво! — страшно взревел зал.

Когда утихло, конферансье поздравил Канавкина, пожал ему руку, предложил отвезти в город в машине домой и в этой же машине приказал кому-то в кулисах заехать за теткой и просить ее пожаловать в женский театр на программу.

— Да, я хотел спросить, тетка не говорила, где свои прячет? — осведомился конферансье, любезно предлагая Канавкину папиросу и зажженную спичку. Тот, закуривая, усмехнулся как-то тоскливо.

— Верю, верю, — вздохнув, отозвался артист, — эта старая сквалыга не то что племяннику — черту не скажет этого. Ну, что же, попробуем пробудить в ней человеческие чувства. Быть может, еще не все струны сгнили в ее ростовщичьей душонке. Всего доброго, Канавкин!

И счастливый Канавкин уехал. Артист осведомился, нет ли еще желающих сдать валюту, но получил в ответ молчание.

— Чудаки, ей-богу! — пожав плечами, проговорил артист, и занавес скрыл его.

Лампы погасли, некоторое время была тьма, и издалека в ней слышался нервный тенор, который пел: «Там груды золота лежат, и мне они принадлежат!»

Потом откуда-то глухо дважды донесся аплодисмент.

— В женском театре дамочка какая-то сдает, — неожиданно заговорил рыжий бородатый сосед Никанора Ивановича и, вздохнув, прибавил: — Эх, кабы не гуси мои!.. У меня, милый человек, бойцовые гуси в Лианозове... Подохнут они, боюсь, без меня. Птица боевая, нежная, ухода требует... Эх, кабы не гуси! Пушкиным-то меня не удивишь, — и он опять завздыхал.

Тут зал осветился ярко, и Никанору Ивановичу стало сниться, что из всех дверей в зал посыпались повара в белых колпаках и с разливными ложками в руках. Поварята втащили в зал чан с супом и лоток с нарезанным черным хлебом. Зрители оживились. Веселые повара шныряли между театралами, разливали суп в миски и раздавали хлеб.

— Обедайте, ребята, — кричали повара, — и сдавайте валюту! Чего вам зря здесь сидеть? Охота была эту баланду хлебать! Поехал домой, выпил как следует, закусил, хорошо!

— Ну, чего ты, например, засел здесь, отец? — обратился непосредственно к Никанору Ивановичу толстый, с малиновой шеей повар, протягивая ему миску, в которой в жидкости одиноко плавал капустный лист.

— Нету! Нету! Нету у меня! — страшным голосом прокричал Никанор Иванович. — Понимаешь, нету!

— Нету? — грозным басом взревел повар. — Нету? — женским ласковым голосом спросил он. — Нету, нету, — успокоительно забормотал он, превращаясь в фельдшерицу Прасковью Федоровну.

Та ласково трясла стонущего во сне Никанора Ивановича за плечо. Тогда растаяли повара и развалился театр с занавесом. Никанор Иванович сквозь слезы разглядел свою комнату в лечебнице и двух в белых халатах, но отнюдь не развязных поваров, сующихся к людям со своими советами, а доктора и все ту же Прасковью Федоровну, держащую в руках не миску, а тарелочку, накрытую марлей, с лежащим на ней шприцем.

— Ведь это что же, — горько говорил Никанор Иванович, пока ему делали укол, — нету у меня и нету! Пусть Пушкин им сдает валюту. Нету!

— Нету, нету, — успокаивала добросердечная Прасковья Федоровна, — а на нет и суда нет.

Никанору Ивановичу полегчало после впрыскивания, и он заснул без всяких сновидений.

Но благодаря его выкрикам тревога передалась в 120-ю комнату, где больной проснулся и стал искать свою голову, и в 118-ю, где забеспокоился неизвестный мастер и в тоске заломил руки, глядя на луну, вспоминая горькую, последнюю в жизни осеннюю ночь, полоску света из-под двери в подвале и развившиеся волосы.

Из 118-й комнаты тревога по балкону перелетела к Ивану, и он проснулся и заплакал.

Но врач быстро успокоил всех встревоженных, скорбных главою, и они стали засыпать. Позднее всех забылся Иван, когда над рекой уже светало. После лекарства, напоившего все его тело, успокоение пришло к нему, как волна, накрывшая его. Тело его облегчилось, а голову обдувала теплым ветерком дрема. Он заснул, и последнее, что он слышал наяву, было предрассветное щебетание птиц в лесу. Но они вскоре умолкли, и ему стало сниться, что солнце уже снижалось над Лысой Горой и была эта гора оцеплена двойным оцеплением...

Глава 16 КАЗНЬ

Солнце уже снижалось над Лысой Горой, и была эта гора оцеплена двойным оцеплением.

Та кавалерийская ала, что перерезала путь прокуратору около полудня, рысью вышла к Хевронским воротам города. Путь для нее уже был приготовлен. Пехотинцы каппадокийской когорты отдавили в стороны скопища людей, мулов и верблюдов, и ала, рыся и подымая до неба белые столбы пыли, вышла на перекресток, где сходились две дороги: южная, ведущая в Вифлеем, и северо-западная — в Яффу. Ала понеслась по северо-западной дороге. Те же каппадокийцы были рассыпаны по краям дороги, и заблаговременно они согнали с нее в стороны все караваны, спешившие на праздник в Ершала-

им. Толпы богомольцев стояли за каппадокийцами, покинув свои временные полосатые шатры, раскинутые прямо на траве. Пройдя около километра, ала обогнала вторую когорту Молниеносного легиона и первая подошла, покрыв еще один километр, к подножию Лысой Горы. Здесь она спешилась. Командир рассыпал алу на взводы, и они оцепили все подножие невысокого холма, оставив свободным только один подъем на него с Яффской дороги.

Через некоторое время за алой к холму пришла вторая когорта, поднялась на один ярус выше и венцом опоясала гору.

Наконец подошла кентурия под командой Марка Крысобоя. Она шла, растянутая двумя цепями по краям дороги, а между этими цепями, под конвоем тайной стражи, ехали в повозке трое осужденных с белыми досками на шее, на каждой из которых было написано «Разбойник и мятежник» на двух языках — арамейском и греческом.

За повозкой осужденных двигались другие, нагруженные свежеотесанными столбами с перекладинами, веревками, лопатами, ведрами и топорами. На этих повозках ехали шесть палачей. За ними верхом ехали кентурион Марк, начальник храмовой стражи Ершалаима и тот самый человек в капюшоне, с которым Пилат имел мимолетное совещание в затемненной комнате во дворце.

Замыкалась процессия солдатскою цепью, а за нею уже шло около двух тысяч любопытных, не испугавшихся адской жары и желавших присутствовать при интересном зрелище.

К этим любопытным из города присоединились теперь любопытные богомольцы, которых беспрепятственно пропускали в хвост процессии. Под тонкие выкрики глашатаев, сопровождавших колонну и кричавших то, что около полудня прокричал Пилат, она втянулась на Лысую Гору.

Ала пропустила всех во второй ярус, а вторая кентурия наверх пропустила только тех, кто имел отношение к казни, а затем, быстро маневрируя, рассеяла толпу вокруг всего холма, так что та оказалась между пехотным оцеплением вверху и кавалерийским внизу. Теперь она могла видеть казнь сквозь неплотную цепь пехотинцев.

Итак, прошло со времени подъема процессии на гору более трех часов, и солнце уже снижалось над Лысой Горой, но жар еще был невыносим, и солдаты в обоих оцеплениях страдали от него, томились от скуки и в душе проклинали трех разбойников, искренне желая им скорейшей смерти.

Маленький командир алы со взмокшим лбом и в темной от пота на спине белой рубахе, находившийся внизу холма у открытого подъема, то и дело подходил к кожаному ведру в первом взводе, черпал из него пригоршнями воду, пил и мочил свой тюрбан. Получив от этого некоторое облегчение, он отходил и вновь начинал мерить взад и вперед пыльную дорогу, ведущую на вершину. Длинный меч его стучал по кожаному шнурованному сапогу. Командир желал показать своим кавалеристам пример выносливости, но, жалея солдат, разрешил им из пик, воткнутых в землю, устроить пирамиды и набросить на них белые плащи. Под этими шалашами и скрывались от безжалостного солнца сирийцы. Ведра пустели быстро, и кавалерис-

ты из разных взводов по очереди отправлялись за водой в балку под горой, где в жидкой тени тощих тутовых дерев доживал свои дни на этой дьявольской жаре мутноватый ручей. Тут же стояли, ловя нестойкую тень, и скучали коноводы, державшие присмиревших лошадей.

Томление солдат и брань их по адресу разбойников были понятны. Опасения прокуратора насчет беспорядков, которые могли произойти во время казни в ненавидимом им городе Ершалаиме, по счастью, не оправдались. И когда побежал четвертый час казни, между двумя цепями, верхней пехотной и кавалерией у подножья, не осталось, вопреки всем ожиданиям, ни одного человека. Солнце сожгло толпу и погнало ее обратно в Ершалаим. За цепью двух римских кентурий оказались только две неизвестно кому принадлежащие и зачем-то попавшие на холм собаки. Но и их сморила жара, и они легли, высунув языки, тяжело дыша и не обращая никакого внимания на зеленоспинных ящериц, единственных существ, не боящихся солнца и шныряющих меж раскаленными камнями и какими-то вьющимися по земле растениями с большими колючками.

Никто не сделал попытки отбивать осужденных ни в самом Ершалаиме, наводненном войсками, ни здесь, на оцепленном холме, и толпа вернулась в город, ибо, действительно, ровно ничего интересного не было в этой казни, а там в городе уже шли приготовления к наступающему вечером великому празднику Пасхи.

Римская пехота во втором ярусе страдала еще больше кавалеристов. Кентурион Крысобой единственно что разрешил солдатам — это снять шлемы и накрыться белыми повязками, смоченными водой, но держал солдат стоя и с копьями в руках. Сам он в такой же повязке, но не смоченной, а сухой, расхаживал невдалеке от группы палачей, не сняв даже со своей рубахи накладных серебряных львиных морд, не сняв поножей, меча и ножа. Солнце било прямо в кентуриона, не причиняя ему никакого вреда, и на львиные морды нельзя было взглянуть, глаза выедал ослепительный блеск как бы вскипавшего на солнце серебра.

На изуродованном лице Крысобоя не выражалось ни утомления, ни неудовольствия, и казалось, что великан кентурион в силах ходить так весь день, всю ночь и еще день, — словом, столько, сколько будет надо. Все так же ходить, наложив руки на тяжелый, с медными бляхами пояс, все так же сурово поглядывая то на столбы с казнимыми, то на солдат в цепи, все так же равнодушно отбрасывая носком мохнатого сапога попадающиеся ему под ноги выбеленные временем человеческие кости или мелкие кремни.

Тот человек в капюшоне поместился невдалеке от столбов на трехногом табурете и сидел в благодушной неподвижности, изредка, впрочем, от скуки прутиком расковыривая песок.

То, что было сказано о том, что за цепью легионеров не было ни одного человека, не совсем верно. Один-то человек был, но просто не всем он был виден. Он поместился не на той стороне, где был открыт подъем на гору и с которой было удобнее всего видеть казнь, а в стороне северной, там, где холм был не отлог и доступен, а неро-

вен, где были и провалы и щели, там, где, уцепившись в расщелине за проклятую небом безводную землю, пыталось жить больное фиговое деревцо.

Именно под ним, вовсе не дающим никакой тени, и утвердился этот единственный зритель, а не участник казни, и сидел на камне с самого начала, то есть вот уже четвертый час. Да, для того чтобы видеть казнь, он выбрал не лучшую, а худшую позицию. Но все-таки и с нее столбы были видны, видны были за цепью и два сверкающих пятна на груди кентуриона, а этого, по-видимому, для человека, явно желавшего остаться малозамеченным и никем не тревожимым, было совершенно достаточно.

Но часа четыре тому назад, при начале казни, этот человек вел себя совершенно не так и очень мог быть замечен, отчего, вероятно, он и переменил теперь свое поведение и уединился.

Тогда, лишь только процессия вошла на самый верх за цепь, он и появился впервые, и притом как человек явно опоздавший. Он тяжело дышал и не шел, а бежал на холм, толкался и, увидев, что перед ним, как и перед всеми другими, сомкнулась цепь, сделал наивную попытку, притворившись, что не понимает раздраженных окриков, прорваться между солдатами к самому месту казни, где уже снимали осужденных с повозки. За это он получил тяжкий удар тупым концом копья в грудь и отскочил от солдат, вскрикнув, но не от боли, а от отчаяния. Ударившего легионера он окинул мутным и совершенно равнодушным ко всему взором, как человек, нечувствительный к физической боли.

Кашляя и задыхаясь, держась за грудь, он обежал кругом холма, стремясь на северной стороне найти какую-нибудь щель в цепи, где можно было бы проскользнуть. Но было уже поздно. Кольцо сомкнулось. И человек с искаженным от горя лицом вынужден был отказаться от своих попыток прорваться к повозкам, с которых уже сняли столбы. Эти попытки ни к чему не привели бы, кроме того, что он был бы схвачен, а быть задержанным в этот день никоим образом не входило в его планы.

И вот он ушел в сторону к расщелине, где было спокойнее и никто ему не мешал.

Теперь, сидя на камне, этот чернобородый, с гноящимися от солнца и бессонницы глазами человек тосковал. Он то вздыхал, открывая свой истасканный в скитаниях, из голубого превратившийся в грязно-серый таллиф, и обнажал ушибленную копьем грудь, по которой стекал грязный пот, то в невыносимой муке поднимал глаза в небо, следя за тремя стервятниками, давно уже плававшими в вышине большими кругами в предчувствии скорого пира, то вперял безнадежный взор в желтую землю и видел на ней полуразрушенный собачий череп и бегающих вокруг него ящериц.

Мучения человека были настолько велики, что по временам он заговаривал сам с собой.

— О, я глупец! — бормотал он, раскачиваясь на камне в душевной боли и ногтями царапая смуглую грудь. — Глупец, неразумная женщина, трус! Падаль я, а не человек!

Он умолкал, поникал головой, потом, напившись из деревянной фляги теплой воды, оживал вновь и хватался то за нож, спрятанный под таллифом на груди, то за кусок пергамента, лежащий перед ним на камне рядом с палочкой и пузырьком с тушью.

На этом пергаменте уже были набросаны записи:

«Бегут минуты, и я, Левий Матвей, нахожусь на Лысой Горе, а смерти все нет!»

Далее:

«Солнце склоняется, а смерти нет».

Теперь Левий Матвей безнадежно записал острой палочкой так:

«Бог! За что гневаешься на него? Пошли ему смерть».

Записав это, он бесслезно всхлипнул и опять ногтями изранил свою грудь.

Причина отчаяния Левия заключалась в той страшной неудаче, что постигла Иешуа и его, и, кроме того, в той тяжкой ошибке, которую он, Левий, по его мнению, совершил. Позавчера днем Иешуа и Левий находились в Вифании под Ершалаимом, где гостили у одного огородника, которому чрезвычайно понравились проповеди Иешуа. Все утро оба гостя проработали на огороде, помогая хозяину, а к вечеру собирались идти по холодку в Ершалаим. Но Иешуа почему-то заспешил, сказал, что у него в городе неотложное дело, и ушел около полудня один. Вот в этом-то и заключалась первая ошибка Левия Матвея. Зачем, зачем он отпустил его одного!

Вечером Матвею идти в Ершалаим не пришлось. Какая-то неожиданная и ужасная хворь поразила его. Его затрясло, тело его наполнилось огнем, он стал стучать зубами и поминутно просить пить. Никуда идти он не мог. Он повалился на попону в сарае огородника и провалялся на ней до рассвета пятницы, когда болезнь так же неожиданно отпустила Левия, как и напала на него. Хоть он был еще слаб и ноги его дрожали, он, томимый каким-то предчувствием беды, распростился с хозяином и отправился в Ершалаим. Там он узнал, что предчувствие его не обмануло. Беда случилась. Левий был в толпе и слышал, как прокуратор объявлял приговор.

Когда осужденных повезли на гору, Левий Матвей бежал рядом с цепью в толпе любопытных, стараясь каким-нибудь образом незаметно дать знать Иешуа хотя бы уж то, что он, Левий, здесь, с ним, что он не бросил его на последнем пути и что он молится о том, чтобы смерть Иешуа постигла как можно скорее. Но Иешуа, смотрящий вдаль, туда, куда его увозили, конечно, Левия не видел.

И вот, когда процессия прошла около полуверсты по дороге, Матвея, которого толкали в толпе у самой цепи, осенила простая и гениальная мысль, и тотчас же, по своей горячности, он осыпал себя проклятиями за то, что она не пришла ему раньше. Солдаты шли не тесною цепью. Между ними были промежутки. При большой ловкости и очень точном расчете можно было, согнувшись, проскочить между двумя легионерами, дорваться до повозки и вскочить на нее. Тогда Иешуа спасен от мучений.

Одного мгновения достаточно, чтобы ударить Иешуа ножом в спину, крикнув ему: «Иешуа! Я спасаю тебя и ухожу вместе с тобою! Я, Матвей, твой верный и единственный ученик!»

А если бы Бог благословил еще одним свободным мгновением, можно было бы успеть заколоться и самому, избежав смерти на столбе. Впрочем, последнее мало интересовало Левия, бывшего сборщика податей. Ему было безразлично, как погибать. Он хотел одного, чтобы Иешуа, не сделавший никому в жизни ни малейшего зла, избежал бы истязаний.

План был очень хорош, но дело заключалось в том, что у Левия ножа с собою не было. Не было у него и ни одной монеты денег.

В бешенстве на себя Левий выбрался из толпы и побежал обратно в город. В горящей его голове прыгала только одна горячечная мысль о том, как сейчас же, каким угодно способом, достать в городе нож и успеть догнать процессию.

Он добежал до городских ворот, лавируя в толчее всасывавшихся в город караванов, и увидел по левую руку от себя раскрытую дверь лавчонки, где продавали хлеб. Тяжело дыша после бега по раскаленной дороге, Левий овладел собой, очень степенно вошел в лавчонку, приветствовал хозяйку, стоявшую за прилавком, попросил ее снять с полки верхний каравай, который почему-то ему понравился больше других, и, когда та повернулась, молча и быстро взял с прилавка то, чего лучше и быть не может, — отточенный, как бритва, длинный хлебный нож, и тотчас кинулся из лавки вон.

Через несколько минут он вновь был на Яффской дороге. Но процессии уже не было видно. Он побежал. По временам ему приходилось валиться прямо в пыль и лежать неподвижно, чтобы отдышаться. И так он лежал, поражая проезжающих на мулах и шедших пешком в Ершалаим людей. Он лежал, слушая, как колотится его сердце не только в груди, но и в голове и в ушах. Отдышавшись немного, он вскакивал и продолжал бежать, но все медленнее и медленнее. Когда он наконец увидал пылящую вдали длинную процессию, она была уже у подножия холма.

— О Бог... — простонал Левий, понимая, что он опаздывает. И он опоздал.

Когда истек четвертый час казни, мучения Левия достигли наивысшей степени, и он впал в ярость. Поднявшись с камня, он швырнул на землю бесполезно, как он теперь думал, украденный нож, раздавил флягу ногою, лишив себя воды, сбросил с головы кефи, вцепился в свои жидкие волосы и стал проклинать себя.

Он проклинал себя, выкликая бессмысленные слова, рычал и плевался, поносил своего отца и мать, породивших на свет глупца.

Видя, что клятвы и брань не действуют и ничего от этого на солнцепеке не меняется, он сжал сухие кулаки, зажмурившись, вознес их к небу, к солнцу, которое сползало все ниже, удлиняя тени и уходя, чтобы упасть в Средиземное море, и потребовал у Бога немедленного чуда. Он требовал, чтобы Бог тотчас же послал Иешуа смерть.

Открыв глаза, он убедился в том, что на холме все без изменений, за исключением того, что пылавшие на груди кентуриона пятна по-

тухли. Солнце посылало лучи в спины казнимых, обращенных лицами к Ершалаиму. Тогда Левий закричал:

— Проклинаю тебя, Бог!

Осипшим голосом он кричал о том, что убедился в несправедливости Бога и верить ему более не намерен.

— Ты глух! — рычал Левий. — Если б ты не был глухим, ты услышал бы меня и убил его тут же.

Зажмуриваясь, Левий ждал огня, который упадет на него с неба и поразит его самого. Этого не случилось, и, не разжимая век, Левий продолжал выкрикивать язвительные и обидные речи небу. Он кричал о полном своем разочаровании и о том, что существуют другие боги и религии. Да, другой бог не допустил бы того, никогда не допустил бы, чтобы человек, подобный Иешуа, был сжигаем солнцем на столбе.

— Я ошибался! — кричал совсем охрипший Левий. — Ты бог зла! Или твои глаза совсем закрыл дым из курильниц храма, а уши твои перестали что-либо слышать, кроме трубных звуков священников? Ты не всемогущий Бог. Ты черный бог. Проклинаю тебя, бог разбойников, их покровитель и душа!

Тут что-то дунуло в лицо бывшему сборщику и что-то зашелестело у него под ногами. Дунуло еще раз, и тогда, открыв глаза, Левий увидел, что все в мире, под влиянием ли его проклятий или в силу каких-либо других причин, изменилось. Солнце исчезло, не дойдя до моря, в котором тонуло ежевечерне. Поглотив его, по небу с запада поднималась грозно и неуклонно грозовая туча. Края ее уже вскипали белой пеной, черное дымное брюхо отсвечивало желтым. Туча ворчала, и из нее время от времени вываливались огненные нити. По Яффской дороге, по скудной Гионской долине, над шатрами богомольцев, гонимые внезапно поднявшимся ветром, летели пыльные столбы.

Левий умолк, стараясь сообразить, принесет ли гроза, которая сейчас накроет Ершалаим, какое-либо изменение в судьбе несчастного Иешуа. И тут же, глядя на нити огня, раскраивающие тучу, стал просить, чтобы молния ударила в столб Иешуа. В раскаянии глядя в чистое небо, которое еще не пожрала туча и где стервятники ложились на крыло, чтобы уходить от грозы, Левий подумал, что безумно поспешил со своими проклятиями: теперь Бог не послушает его.

Обратив свой взор к подножию холма, Левий приковался к тому месту, где стоял, рассыпавшись, кавалерийский полк, и увидел, что там произошли значительные изменения. С высоты Левию удалось хорошо рассмотреть, как солдаты суетились, выдергивая пики из земли, как набрасывали на себя плащи, как коноводы бежали к дороге рысцой, ведя в поводу вороных лошадей. Полк снимался, это было ясно. Левий, защищаясь от бьющей в лицо пыли рукой, отплевываясь, старался сообразить, что бы это значило, что кавалерия собирается уходить? Он перевел взгляд повыше и разглядел фигурку в багряной военной хламиде, поднимающуюся к площадке казни. И тут от предчувствия радостного конца похолодело сердце бывшего сборщика.

Подымавшийся на гору в пятом часу страданий разбойников был командир когорты, прискакавший из Ершалаима в сопровождении ординарца. Цепь солдат по мановению Крысобоя разомкнулась, и кентурион отдал честь трибуну. Тот, отведя Крысобоя в сторону, что-то прошептал ему. Кентурион вторично отдал честь и двинулся к группе палачей, сидящих на камнях у подножий столбов. Трибун же направил свои шаги к тому, кто сидел на трехногом табурете, и сидящий вежливо поднялся навстречу трибуну. И ему что-то негромко сказал трибун, и оба они пошли к столбам. К ним присоединился и начальник храмовой стражи.

Крысобой, брезгливо покосившись на грязные тряпки, лежащие на земле у столбов, тряпки, бывшие недавно одеждой преступников, от которой отказались палачи, отозвал двух из них и приказал:

— За мною!

С ближайшего столба доносилась хриплая бессмысленная песенка. Повешенный на нем Гестас к концу третьего часа казни сошел с ума от мух и солнца и теперь тихо пел что-то про виноград, но головою, покрытой чалмой, изредка все-таки покачивал, и тогда мухи вяло поднимались с его лица и возвращались на него опять.

Дисмас на втором столбе страдал более двух других, потому что его не одолевало забытье, и он качал головой часто и мерно, то вправо, то влево, чтобы ухом ударять по плечу.

Счастливее двух других был Иешуа. В первый же час его стали поражать обмороки, а затем он впал в забытье, повесив голову в размотавшейся чалме. Мухи и слепни поэтому совершенно облепили его, так что лицо его исчезло под черной шевелящейся маской. В паху, и на животе, и под мышками сидели жирные слепни и сосали желтое обнаженное тело.

Повинуясь жестам человека в капюшоне, один из палачей взял копье, а другой принес к столбу ведро и губку. Первый из палачей поднял копье и постучал им сперва по одной, потом по другой руке Иешуа, вытянутым и привязанным веревками к поперечной перекладине столба. Тело с выпятившимися ребрами вздрогнуло. Палач провел концом копья по животу. Тогда Иешуа поднял голову, и мухи с гуденьем снялись, и открылось лицо повешенного, распухшее от укусов, с заплывшими глазами, неузнаваемое лицо.

Разлепив веки, Га-Ноцри глянул вниз. Глаза его, обычно ясные, теперь были мутноваты.

— Га-Ноцри! — сказал палач.

Га-Ноцри шевельнул вспухшими губами и отозвался хриплым разбойничьим голосом:

— Что тебе надо? Зачем подошел ко мне?

— Пей! — сказал палач, и пропитанная водою губка на конце копья поднялась к губам Иешуа. Радость сверкнула у того в глазах, он прильнул к губке и с жадностью начал впитывать влагу. С соседнего столба донесся голос Дисмаса:

— Несправедливость! Я такой же разбойник, как и он!

Дисмас напрягся, но шевельнуться не смог, руки его в трех местах на перекладине держали веревочные кольца. Он втянул живот, ног-

тями вцепился в концы перекладин, голову держал повернутой к столбу Иешуа, злоба пылала в глазах Дисмаса.

Пыльная туча накрыла площадку, сильно потемнело. Когда пыль унеслась, кентурион крикнул:

— Молчать на втором столбе!

Дисмас умолк. Иешуа оторвался от губки и, стараясь, чтобы голос его звучал ласково и убедительно, и не добившись этого, хрипло попросил палача:

— Дай попить ему.

Становилось все темнее. Туча залила уже полнеба, стремясь к Ершалаиму, белые кипящие облака неслись впереди напоенной черной влагой и огнем тучи. Сверкнуло и ударило над самым холмом. Палач снял губку с копья.

— Славь великодушного игемона! — торжественно шепнул он и тихонько кольнул Иешуа в сердце. Тот дрогнул, шепнул:

— Игемон...

Кровь побежала по его животу, нижняя челюсть судорожно дрогнула, и голова его повисла.

При втором громовом ударе палач уже поил Дисмаса и с теми же словами:

— Славь игемона! — убил и его.

Гестас, лишенный рассудка, испуганно вскрикнул, лишь только палач оказался возле него, но, когда губка коснулась его губ, прорычал что-то и вцепился в нее зубами. Через несколько секунд обвисло и его тело, сколько позволяли веревки.

Человек в капюшоне шел по следам палача и кентуриона, а за ним начальник храмовой стражи. Остановившись у первого столба, человек в капюшоне внимательно оглядел окровавленного Иешуа, тронул белой рукой ступню и сказал спутникам:

— Мертв.

То же повторилось и у двух других столбов. После этого трибун сделал знак кентуриону и, повернувшись, начал уходить с вершины вместе с начальником храмовой стражи и человеком в капюшоне. Настала полутьма, и молнии бороздили черное небо. Из него вдруг брызнуло огнем, и крик кентуриона: «Снимай цепь!» — утонул в грохоте. Счастливые солдаты кинулись бежать с холма, надевая шлемы.

Тьма закрыла Ершалаим.

Ливень хлынул внезапно и застал кентурии на полдороге на холме. Вода обрушилась так страшно, что, когда солдаты бежали книзу, им вдогонку уже летели бушующие потоки. Солдаты скользили и падали на размокшей глине, спеша на ровную дорогу, по которой — уже чуть видная в пелене воды — уходила в Ершалаим до нитки мокрая конница. Через несколько минут в дымном вареве грозы, воды и огня на холме остался только один человек.

Потрясая недаром украденным ножом, срываясь со скользких уступов, цепляясь за что попало, иногда ползя на коленях, он стремился к столбам. Он то пропадал в полной мгле, то вдруг освещался трепещущим светом.

Дорвавшись до столбов, уже по щиколотку в воде, он содрал с себя отяжелевший, пропитанный водою таллиф, остался в одной рубахе и припал к ногам Иешуа. Он перерезал веревки на голенях, поднялся на нижнюю перекладину, обнял Иешуа и освободил руки от верхних связей. Голое влажное тело Иешуа обрушилось на Левия и повалило его наземь. Левий тут же хотел взвалить его на плечи, но какая-то мысль остановила его. Он оставил на земле в воде тело с запрокинутой головой и разметанными руками и побежал на разъезжающихся в глиняной жиже ногах к другим столбам. Он перерезал веревки и на них, и два тела обрушились на землю.

Прошло несколько минут, и на вершине холма остались только эти два тела и три пустых столба. Вода била и поворачивала эти тела.

Ни Левия, ни тела Иешуа на верху холма в это время уже не было.

Глава 17 БЕСПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ

Утром в пятницу, то есть на другой день после проклятого сеанса, весь наличный состав служащих Варьете — бухгалтер Василий Степанович Ласточкин, два счетовода, три машинистки, обе кассирши, курьеры, капельдинеры и уборщицы, — словом, все, кто был в наличности, не находились при деле на своих местах, а все сидели на подоконниках окон, выходящих на Садовую, и смотрели на то, что делается под стеною Варьете. Под этой стеной в два ряда лепилась многотысячная очередь, хвост которой находился на Кудринской площади. В голове этой очереди стояло примерно два десятка хорошо известных в театральной Москве барышников.

Очередь держала себя очень взволнованно, привлекала внимание струившихся мимо граждан и занималась обсуждением зажигательных рассказов о вчерашнем невиданном сеансе черной магии. Эти же рассказы привели в величайшее смущение бухгалтера Василия Степановича, который накануне на спектакле не был. Капельдинеры рассказывали бог знает что, в том числе как после окончания знаменитого сеанса некоторые гражданки в неприличном виде бегали по улице, и прочее в том же роде. Скромный и тихий Василий Степанович только моргал глазами, слушая россказни обо всех этих чудесах, и решительно не знал, что ему предпринять, а между тем предпринимать нужно было что-то, и именно ему, так как он теперь оказался старшим во всей команде Варьете.

К десяти часам утра очередь жаждущих билетов до того взбухла, что о ней достигли слухи до милиции, и с удивительной быстротой были присланы как пешие, так и конные наряды, которые эту очередь и привели в некоторый порядок. Однако и стоящая в порядке змея длиною в километр сама по себе уже представляла великий соблазн и приводила граждан на Садовой в полное изумление.

Это было снаружи, а внутри Варьете тоже было очень неладно. С самого раннего утра начали звонить и звонили непрерывно телефоны в кабинете Лиходеева, в кабинете Римского, в бухгалтерии, в кассе и в кабинете Варенухи. Василий Степанович сперва отвечал что-то, отвечала и кассирша, бормотали что-то в телефон капельдинеры, а потом и вовсе перестали отвечать, потому что на вопросы, где Лиходеев, Варенуха, Римский, отвечать было решительно нечего. Сперва пробовали отделаться словами «Лиходеев на квартире», а из города отвечали, что звонили на квартиру и что квартира говорит, что Лиходеев в Варьете.

Позвонила взволнованная дама, стала требовать Римского, ей посоветовали позвонить к жене его, на что трубка, зарыдав, ответила, что она и есть жена и что Римского нигде нет. Начиналась какая-то чепуха. Уборщица уже всем рассказала, что, явившись в кабинет финдиректора убирать, увидела, что дверь настежь, лампы горят, окно в сад разбито, кресло валяется на полу и никого нету.

В одиннадцатом часу ворвалась в Варьете мадам Римская. Она рыдала и заламывала руки. Василий Степанович совершенно растерялся и не знал, что ей посоветовать. А в половине одиннадцатого явилась милиция. Первый же и совершенно резонный ее вопрос был:

— Что у вас тут происходит, граждане? В чем дело?

Команда отступила, выставив вперед бледного и взволнованного Василия Степановича. Пришлось называть вещи своими именами и признаться в том, что администрация Варьете, в лице директора, финдиректора и администратора, пропала и находится неизвестно где, что конферансье после вчерашнего сеанса был отвезен в психиатрическую лечебницу и что, коротко говоря, этот вчерашний сеанс был прямо скандальным сеансом.

Рыдающую мадам Римскую, сколько можно успокоив, отправили домой и более всего заинтересовались рассказом уборщицы о том, в каком виде был найден кабинет финдиректора. Служащих попросили отправиться к своим местам и заняться делом, и через короткое время в здании Варьете появилось следствие в сопровождении остроухой, мускулистой, цвета папиросного пепла собаки с чрезвычайно умными глазами. Среди служащих Варьете тотчас разнеслось шушуканье о том, что пес — не кто другой, как знаменитый Тузбубен. И точно, это был он. Поведение его изумило всех. Лишь только Тузбубен вбежал в кабинет финдиректора, он зарычал, оскалив чудовищные желтоватые клыки, затем лег на брюхо и с каким-то выражением тоски и в то же время ярости в глазах пополз к разбитому окну. Преодолев свой страх, он вдруг вскочил на подоконник и, задрав острую морду вверх, дико и злобно завыл. Он не хотел уходить с окна, рычал и вздрагивал и порывался прыгнуть вниз.

Пса вывели из кабинета и пустили его в вестибюль, оттуда он вышел через парадный ход на улицу и привел следовавших за ним к таксомоторной стоянке. Возле нее он след, по которому шел, потерял. После этого Тузабубен увезли.

Следствие расположилось в кабинете Варенухи, куда и стало по очереди вызывать тех служащих Варьете, которые были свидетеля-

ми вчерашних происшествий во время сеанса. Нужно сказать, что следствию на каждом шагу приходилось преодолевать непредвиденные трудности. Ниточка то и дело рвалась в руках.

Афиши-то были? Были. Но за ночь их заклеили новыми, и теперь ни одной нет, хоть убей! Откуда взялся этот маг-то самый? А кто ж его знает. Стало быть, с ним заключали договор?

— Надо полагать, — отвечал взволнованный Василий Степанович.

— А ежели заключали, так он должен был пройти через бухгалтерию?

— Всенепременно, — отвечал, волнуясь, Василий Степанович.

— Так где же он?

— Нету, — отвечал бухгалтер, все более бледнея и разводя руками. И действительно, ни в папках бухгалтерии, ни у финдиректора, ни у Лиходеева, ни у Варенухи никаких следов договора нет.

Как фамилия-то этого мага? Василий Степанович не знает, он не был вчера на сеансе. Капельдинеры не знают, билетная кассирша морщила лоб, морщила, думала, думала, наконец сказала:

— Во... Кажись, Воланд.

А может быть, и не Воланд? Может быть, и не Воланд. Может быть, Фаланд.

Выяснилось, что в бюро иностранцев ни о каком Воланде, а равно также и Фаланде, маге, ровно ничего не слыхали.

Курьер Карпов сообщил, что будто бы этот самый маг остановился на квартире у Лиходеева. На квартире, конечно, тотчас побывали. Никакого мага там не оказалось. Самого Лиходеева тоже нет. Домработницы Груни нету, и куда она девалась, никто не знает. Председателя правления Никанора Ивановича нету, Пролежнева нету!

Выходило что-то совершенно несусветимое: пропала вся головка администрации, вчера был странный скандальный сеанс, а кто его производил и по чьему наущению — неизвестно.

А дело тем временем шло к полудню, когда должна была открыться касса. Но об этом, конечно, не могло быть и разговора! На дверях Варьете тут же был вывешен громадный кусок картона с надписью: «Сегодняшний спектакль отменяется». В очереди началось волнение, начиная с головы ее, но, поволновавшись, она все-таки стала разрушаться, и через час примерно от нее на Садовой не осталось и следа. Следствие отбыло для того, чтобы продолжать свою работу в другом месте, служащих отпустили, оставив только дежурных, и двери Варьете заперли.

Бухгалтеру Василию Степановичу срочно предстояло выполнить две задачи. Во-первых, съездить в Комиссию зрелищ и увеселений облегченного типа с докладом о вчерашних происшествиях, а во-вторых, побывать в финзрелищном секторе для того, чтобы сдать вчерашнюю кассу 21 711 рублей.

Аккуратный и исполнительный Василий Степанович упаковал деньги в газетную бумагу, бечевкой перекрестил пакет, уложил его в портфель и, прекрасно зная инструкцию, направился, конечно, не к автобусу или трамваю, а к таксомоторной стоянке.

Лишь только шоферы трех машин увидели пассажира, спешащего на стоянку с туго набитым портфелем, как все трое из-под носа у него уехали пустыми, почему-то при этом злобно оглядываясь.

Пораженный этим обстоятельством бухгалтер долгое время стоял столбом, соображая, что бы это значило.

Минуты через три подкатила пустая машина, и лицо шофера сразу перекосилось, лишь только он увидел пассажира.

— Свободна машина? — изумленно кашлянув, спросил Василий Степанович.

— Деньги покажите, — со злобой ответил шофер, не глядя на пассажира.

Все более поражаясь, бухгалтер, зажав драгоценный портфель под мышкой, вытащил из бумажника червонец и показал его шоферу.

— Не поеду! — кратко сказал тот.

— Я извиняюсь... — начал было бухгалтер, но шофер его перебил:

— Трешки есть?

Совершенно сбитый с толку бухгалтер вынул из бумажника две трешки и показал шоферу.

— Садитесь, — крикнул тот и хлопнул по флажку счетчика так, что чуть не сломал его. Поехали.

— Сдачи, что ли, нету? — робко спросил бухгалтер.

— Полный карман сдачи! — заорал шофер, и в зеркальце отразились его наливающиеся кровью глаза. — Третий случай со мною сегодня. Да и с другими то же было. Дает какой-то сукин сын червонец, я ему сдачи — четыре пятьдесят... Вылез, сволочь! Минут через пять смотрю: вместо червонца бумажка с нарзанной бутылки! — Тут шофер произнес несколько непечатных слов. — Другой — за Зубовской. Червонец. Даю сдачи три рубля. Ушел! Я полез в кошелек, а оттуда пчела — тяп за палец! Ах ты!.. — шофер опять вклеил непечатные слова. — А червонца нету. Вчера в этом Варьете (непечатные слова) какая-то гадюка-фокусник сеанс с червонцами сделал (непечатные слова)...

Бухгалтер обомлел, съежился и сделал такой вид, как будто и самое слово «Варьете» он слышит впервые, а сам подумал: «Ну и ну!..»

Приехав куда нужно, расплатившись благополучно, бухгалтер вошел в здание и устремился по коридору туда, где находился кабинет заведующего, и уже по дороге понял, что попал не вовремя. Какая-то суматоха царила в канцелярии Зрелищной комиссии. Мимо бухгалтера пробежала курьерша со сбившимся на затылок платочком и с вытаращенными глазами.

— Нету, нету, нету, милые мои! — кричала она, обращаясь неизвестно к кому. — Пиджак и штаны тут, а в пиджаке ничего нету!

Она скрылась в какой-то двери, и тут же за ней послышались звуки битья посуды. Из секретарской комнаты выбежал знакомый бухгалтеру заведующий первым сектором комиссии, но был в таком состоянии, что бухгалтера не узнал, и скрылся бесследно.

Потрясенный всем этим бухгалтер дошел до секретарской комнаты, являвшейся преддверием кабинета председателя комиссии, и здесь окончательно поразился.

Из-за закрытой двери кабинета доносился грозный голос, несомненно принадлежащий Прохору Петровичу, председателю комиссии. «Распекает, что ли, кого?» — подумал смятенный бухгалтер и, оглянувшись, увидел другое: в кожаном кресле, закинув голову на спинку, безудержно рыдая, с мокрым платком в руке, лежала, вытянув ноги почти до середины секретарской, личный секретарь Прохора Петровича, красавица Анна Ричардовна.

Весь подбородок Анны Ричардовны был вымазан губной помадой, а по персиковым щекам ползли с ресниц черные потоки раскисшей краски.

Увидев, что кто-то вошел, Анна Ричардовна вскочила, кинулась к бухгалтеру, вцепилась в лацканы его пиджака, стала трясти бухгалтера и кричать:

— Слава богу! Нашелся хоть один храбрый! Все разбежались, все предали! Идемте, идемте к нему, я не знаю, что делать! — И, продолжая рыдать, она потащила бухгалтера в кабинет.

Попав в кабинет, бухгалтер первым долгом уронил портфель, и все мысли в его голове перевернулись кверху ногами. И надо сказать, было от чего.

За огромным письменным столом с массивной чернильницей сидел пустой костюм и не обмакнутым в чернила сухим пером водил по бумаге. Костюм был при галстуке, из кармашка костюма торчало самопишущее перо, но над воротником не было ни шеи, ни головы, равно как из манжет не выглядывали кисти рук. Костюм был погружен в работу и совершенно не замечал той кутерьмы, что царила кругом. Услыхав, что кто-то вошел, костюм откинулся в кресле, и над воротником прозвучал хорошо знакомый бухгалтеру голос Прохора Петровича:

— В чем дело? Ведь на дверях же написано, что я не принимаю.

Красавица секретарь взвизгнула и, ломая руки, вскричала:

— Вы видите? Видите?! Нету его! Нету! Верните его, верните!

Тут в дверь кабинета кто-то сунулся, охнул и вылетел вон. Бухгалтер почувствовал, что ноги его задрожали, и сел на краешек стула, но не забыл поднять портфель. Анна Ричардовна прыгала вокруг бухгалтера, терзая его пиджак, и вскрикивала:

— Я всегда, всегда останавливала его, когда он чертыхался! Вот и дочертыхался! — Тут красавица подбежала к письменному столу и музыкальным нежным голосом, немного гнусавым после плача, воскликнула: — Проша! Где вы?

— Кто вам тут «Проша»? — осведомился надменно костюм, еще глубже заваливаясь в кресле.

— Не узнаёт! Меня не узнаёт! Вы понимаете? — взрыдала секретарь.

— Попрошу не рыдать в кабинете! — уже злясь, сказал вспыльчивый костюм в полоску и рукавом подтянул к себе свежую пачку бумаг, с явной целью поставить на них резолюции.

— Нет, не могу видеть этого, нет, не могу! — закричала Анна Ричардовна и выбежала в секретарскую, а за нею как пуля вылетел и бухгалтер.

— Вообразите, сижу, — рассказывала, трясясь от волнения, Анна Ричардовна, снова вцепившись в рукав бухгалтера, — и входит кот. Черный, здоровый, как бегемот. Я, конечно, кричу ему «брысь!». Он — вон, а вместо него входит толстяк, тоже с какой-то кошачьей мордой, и говорит: «Это что же вы, гражданка, посетителям «брысь» кричите?» И прямо шасть к Прохору Петровичу. Я, конечно, за ним, кричу: «Вы с ума сошли?» А он, наглец, прямо к Прохору Петровичу и садится против него в кресло! Ну, тот... он — добрейшей души человек, но нервный. Вспылил! Не спорю. Нервозный человек, работает как вол, — вспылил. «Вы чего, говорит, без доклада влезаете?» А тот нахал, вообразите, развалился в кресле и говорит, улыбаясь. «А я, — говорит, — с вами по дельцу пришел потолковать». Прохор Петрович вспылил опять-таки: «Я занят!» А тот, подумайте только, отвечает: «Ничем вы не заняты...» А? Ну, тут уж, конечно, терпение Прохора Петровича лопнуло, и он вскричал: «Да что же это такое? Вывести его вон, черти б меня взяли!» А тот, вообразите, улыбнулся и говорит: «Черти чтоб взяли? А что ж, это можно!» И, трах, я не успела вскрикнуть, смотрю: нету этого с кошачьей мордой и си... сидит... костюм... Геее!.. — распялив совершенно потерявший всякие очертания рот, завыла Анна Ричардовна.

Подавившись рыданием, она перевела дух, но понесла что-то уж совсем несообразное:

— И пишет, пишет, пишет! С ума сойти! По телефону говорит! Костюм! Все разбежались, как зайцы!

Бухгалтер только стоял и трясся. Но тут судьба его выручила. В секретарскую спокойной деловой походкой входила милиция в числе двух человек. Увидев их, красавица зарыдала еще пуще, тыча рукою в дверь кабинета.

— Давайте не будем рыдать, гражданка, — спокойно сказал первый, а бухгалтер, чувствуя, что он здесь совершенно лишний, выскочил из секретарской и через минуту уже был на свежем воздухе. В голове у него был какой-то сквозняк, гудело, как в трубе, и в этом гудении слышались клочки капельдинерских рассказов о вчерашнем коте, который принимал участие в сеансе. «Э-ге-ге! Да уж не наш ли это котик?»

Не добившись толку в комиссии, добросовестный Василий Степанович решил побывать в филиале ее, помещавшемся в Ваганьковском переулке. И, чтобы успокоить себя немного, проделал путь до филиала пешком.

Городской зрелищный филиал помещался в облупленном от времени особняке в глубине двора и знаменит был своими порфировыми колоннами в вестибюле.

Но не колонны поражали в этот день посетителей филиала, а то, что происходило под ними.

Несколько посетителей стояли в оцепенении и глядели на плачущую барышню, сидевшую за столиком, на котором лежала специальная зрелищная литература, продаваемая барышней. В данный момент барышня никому ничего не предлагала из этой литературы и на участливые вопросы только отмахивалась, а в это время и свер-

ху, и снизу, и с боков, из всех отделов филиала сыпался телефонный звон по крайней мере двадцати надрывавшихся аппаратов.

Поплакав, барышня вдруг вздрогнула, истерически крикнула:

— Вот опять! — и неожиданно запела дрожащим сопрано:

Славное море, священный Байкал...

Курьер, показавшийся на лестнице, погрозил кому-то кулаком и запел вместе с барышней незвучным, тусклым баритоном:

Славен корабль, омулевая бочка!..

К голосу курьера присоединились дальние голоса, хор начал разрастаться, и наконец песня загремела во всех углах филиала. В ближайшей комнате № 6, где помещался счетно-проверочный отдел, особенно выделялась чья-то мощная, с хрипотцой октава. Аккомпанировал хору усиливавшийся треск телефонных аппаратов.

Гей, баргузин... пошевеливай вал!.. —

орал курьер на лестнице.

Слезы текли по лицу девицы, она пыталась стиснуть зубы, но рот ее раскрывался сам собою, и она пела на октаву выше курьера:

Молодцу быть недалечко!

Поражало безмолвных посетителей филиала то, что хористы, рассеянные в разных местах, пели очень складно, как будто весь хор стоял, не спуская глаз с невидимого дирижера.

Прохожие в Ваганьковском останавливались у решетки двора, удивляясь веселью, царящему в филиале.

Как только первый куплет пришел к концу, пение стихло внезапно, опять-таки как бы по жезлу дирижера. Курьер тихо выругался и скрылся.

Тут открылись парадные двери, и в них появился гражданин в летнем пальто, из-под которого торчали полы белого халата, а с ним милиционер.

— Примите меры, доктор, умоляю! — истерически крикнула девица.

На лестницу выбежал секретарь филиала и, видимо, сгорая от стыда и смущения, заговорил, заикаясь:

— Видите ли, доктор, у нас случай массового какого-то гипноза... Так вот, необходимо... — он не докончил фразы, стал давиться словами и вдруг запел тенором:

Шилка и Нерчинск...

— Дурак! — успела выкрикнуть девица, но не объяснила, кого ругает, а вместо этого вывела насильственную руладу и сама запела про Шилку и Нерчинск.

— Держите себя в руках! Перестаньте петь! — обратился доктор к секретарю.

По всему было видно, что секретарь и сам бы отдал что угодно, чтобы перестать петь, да перестать-то он не мог и вместе с хором донес до слуха прохожих в переулке весть о том, что в дебрях его не тронул прожорливый зверь и пуля стрелков не догнала!

Лишь только куплет кончился, девица первая получила порцию валерианки от врача, а затем он побежал за секретарем к другим — поить и их.

— Простите, гражданочка, — вдруг обратился Василий Степанович к девице, — кот к вам черный не заходил?..

— Какой там кот? — в злобе закричала девица. — Осел у нас в филиале сидит, осел! — И, прибавив к этому: — Пусть слышит! Я все расскажу, — действительно рассказала о том, что случилось.

Оказалось, что заведующий городским филиалом, «вконец разваливший облегченные развлечения» (по словам девицы), страдал манией организации всякого рода кружков.

— Очки втирал начальству! — орала девица.

В течение года заведующий успел организовать кружок по изучению Лермонтова, шахматно-шашечный, пинг-понга и кружок верховой езды. К лету угрожал организацией кружка гребли на пресных водах и кружка альпинистов.

И вот сегодня, в обеденный перерыв, входит он, заведующий...

— И ведет под руку какого-то сукина сына, — рассказывала девица, — неизвестно откуда взявшегося, в клетчатых брючонках, в треснутом пенсне и... рожа совершенно невозможная!

И тут же, по рассказу девицы, отрекомендовал его всем обедающим в столовой филиала как видного специалиста по организации хоровых кружков.

Лица будущих альпинистов помрачнели, но заведующий тут же призвал всех к бодрости, а специалист и пошутил, и поострил, и клятвенно заверил, что времени пение берет самую малость, а пользы от этого пения, между прочим, целый вагон.

Ну, конечно, как сообщила девица, первыми выскочили Фанов и Косарчук, известнейшие филиальские подхалимы, и объявили, что записываются. Тут остальные служащие убедились, что пения не миновать, пришлось записываться и им в кружок. Петь решили в обеденном перерыве, так как все остальное время было занято Лермонтовым и шашками. Заведующий, чтобы подать пример, объявил, что у него тенор, и далее все пошло как в скверном сне. Клетчатый специалист-хормейстер проорал:

— До-ми-соль-до! — вытащил наиболее застенчивых из-за шкафов, где они пытались спастись от пения, Косарчуку сказал, что у того абсолютный слух, заныл, заскулил, просил уважить старого регента-певуна, стукал камертоном по пальцам, умоляя грянуть «Славное море».

Грянули. И славно грянули. Клетчатый, действительно, понимал свое дело. Допели первый куплет. Тут регент извинился, сказал: «Я на минутку!» — и... исчез. Думали, что он действительно вернется

через минуту. Но прошло и десять минут, а его нету. Радость охватила филиальцев — сбежал.

И вдруг как-то сами собой запели второй куплет. Всех повел за собою Косарчук, у которого, может быть, и не было абсолютного слуха, но был довольно приятный высокий тенор. Спели. Регента нету! Двинулись по своим местам, но не успели сесть, как, против своего желания, запели. Остановиться — не тут-то было. Помолчат минуты три и опять грянут. Помолчат — грянут! Тут сообразили, что беда. Заведующий заперся у себя в кабинете от сраму.

Тут девицын рассказ прервался. Ничего валерьянка не помогла.

Через четверть часа к решетке в Ваганьковском подъехали три грузовика, и на них погрузился весь состав филиала во главе с заведующим.

Лишь только первый грузовик, качнувшись в воротах, выехал в переулок, служащие, стоящие на платформе и держащие друг друга за плечи, раскрыли рты, и весь переулок огласился популярной песней. Второй грузовик подхватил, а за ним и третий. Так и поехали. Прохожие, бегущие по своим делам, бросали на грузовики лишь беглый взгляд, ничуть не удивляясь и полагая, что это экскурсия едет за город. Ехали, действительно, за город, но только не на экскурсию, а в клинику профессора Стравинского.

Через полчаса совсем потерявший голову бухгалтер добрался до финзрелищного сектора, надеясь наконец избавиться от казенных денег. Уже ученый опытом, он прежде всего осторожно заглянул в продолговатый зал, где за матовыми стеклами с золотыми надписями сидели служащие. Никаких признаков тревоги или безобразия бухгалтер здесь не обнаружил. Было тихо, как и полагается в приличном учреждении.

Василий Степанович всунул голову в то окошечко, над которым было написано: «Прием сумм», — поздоровался с каким-то незнакомым ему служащим и вежливо попросил приходный ордерок.

— А вам зачем? — спросил служащий в окошечке.

Бухгалтер изумился.

— Хочу сдать сумму. Я из Варьете.

— Одну минутку, — ответил служащий и мгновенно закрыл сеткой дыру в стекле.

«Странно!» — подумал бухгалтер. Изумление его было совершенно естественно. Впервые в жизни он встретился с таким обстоятельством. Всем известно, как трудно получить деньги; к этому всегда могут найтись препятствия. Но в тридцатилетней практике бухгалтера не было случая, чтобы кто-нибудь, будь то юридическое или частное лицо, затруднялся бы принять деньги.

Но наконец сеточка отодвинулась, и бухгалтер опять прильнул к окошечку.

— А у вас много ли? — спросил служащий.

— Двадцать одна тысяча семьсот одиннадцать рублей.

— Ого! — почему-то иронически ответил служащий и протянул бухгалтеру зеленый листок.

Хорошо зная форму, бухгалтер мигом заполнил его и начал развязывать веревочку на пакете. Когда он распаковал свой груз, в глазах у него зарябило, он что-то промычал болезненно.

Перед глазами его замелькали иностранные деньги. Тут были пачки канадских долларов, английских фунтов, голландских гульденов, латвийских лат, эстонских крон...

— Вот он, один из этих штукарей из Варьете, — послышался грозный голос над онемевшим бухгалтером. И тут же Василия Степановича арестовали.

Глава 18 НЕУДАЧЛИВЫЕ ВИЗИТЕРЫ

В то самое время, как старательный бухгалтер несся в таксомоторе, чтобы нарваться на самопишущий костюм, из плацкартного мягкого вагона № 9 киевского поезда, пришедшего в Москву, в числе других вышел приличный пассажир с маленьким фибровым чемоданчиком в руке. Пассажир этот был не кто иной, как дядя покойного Берлиоза, Максимилиан Андреевич Поплавский, экономист-плановик, проживающий в Киеве на бывшей Институтской улице. Причиной приезда Максимилиана Андреевича в Москву была полученная им позавчера поздним вечером телеграмма следующего содержания:

«Меня только что зарезало трамваем на Патриарших.

Похороны пятницу, три часа дня. Приезжай. Берлиоз».

Максимилиан Андреевич считался, и заслуженно, одним из умнейших людей в Киеве. Но и самого умного человека подобная телеграмма может поставить в тупик. Раз человек телеграфирует, что его зарезало, то ясно, что его зарезало не насмерть. Но при чем же тогда похороны? Или он очень плох и предвидит, что умрет? Это возможно, но в высшей степени странна эта точность — откуда ж он так-таки и знает, что хоронить его будут в пятницу в три часа дня? Удивительная телеграмма!

Однако умные люди на то и умны, чтобы разбираться в запутанных вещах. Очень просто. Произошла ошибка, и депешу передали исковерканной. Слово «меня», без сомнения, попало сюда из другой телеграммы, вместо слова «Берлиоза», которое приняло вид «Берлиоз» и попало в конец телеграммы. С такой поправкой смысл телеграммы становился ясен, но, конечно, трагичен.

Когда утих взрыв горя, поразивший супругу Максимилиана Андреевича, тот немедленно стал собираться в Москву.

Надлежит открыть одну тайну Максимилиана Андреевича. Нет спору, ему было жаль племянника жены, погибшего в расцвете лет. Но, конечно, как человек деловой, он понимал, что никакой особенной надобности в его присутствии на похоронах нету. И тем не менее Максимилиан Андреевич очень спешил в Москву. В чем же было дело? В одном — в квартире. Квартира в Москве! Это серьезно. Неизвестно почему, но Киев не нравился Максимилиану Андреевичу, и мысль о переезде в Москву настолько точила его в последнее время, что он стал даже худо спать.

Его не радовали весенние разливы Днепра, когда, затопляя острова на низком берегу, вода сливалась с горизонтом. Его не радовал тот потрясающий по красоте вид, что открывался от подножия памятника князю Владимиру. Его не веселили солнечные пятна, играющие весною на кирпичных дорожках Владимирской горки. Ничего этого он не хотел, он хотел одного — переехать в Москву.

Объявления в газетах об обмене квартиры на Институтской улице в Киеве на меньшую площадь в Москве не давали никакого результата. Желающих не находилось, а если изредка они и отыскивались, то их предложения были недобросовестны.

Телеграмма потрясла Максимилиана Андреевича. Это был момент, который упустить было бы грешно. Деловые люди знают, что такие моменты не повторяются.

Словом, невзирая ни на какие трудности, нужно было суметь унаследовать квартиру племянника на Садовой. Да, это было сложно, очень сложно, но сложности эти нужно было во что бы то ни стало преодолеть. Опытный Максимилиан Андреевич знал, что для этого первым и непременным шагом должен быть следующий шаг: нужно было, хотя бы временно, прописаться в трех комнатах покойного племянника.

В пятницу днем Максимилиан Андреевич вошел в дверь комнаты, в которой помещалось домоуправление дома № 302-бис по Садовой улице в Москве.

В узенькой комнате, где на стене висел старый плакат, изображавший в нескольких картинках способы оживления утонувших в реке, за деревянным столом в полном одиночестве сидел средних лет небритый человек с встревоженными глазами.

— Могу ли я видеть председателя правления? — вежливо осведомился экономист-плановик, снимая шляпу и ставя свой чемоданчик на порожний стул.

Этот, казалось бы, простенький вопрос почему-то расстроил сидящего, так что он даже изменился в лице. Кося в тревоге глазами, он пробормотал невнятно, что председателя нету.

— Он на квартире у себя? — спросил Поплавский. — У меня срочнейшее дело.

Сидящий ответил опять-таки очень несвязно. Но все-таки можно было догадаться, что председателя на квартире нету.

— А когда он будет?

Сидящий ничего не ответил на это и с какою-то тоской поглядел в окно.

«Ага!» — сказал сам себе умный Поплавский и осведомился о секретаре.

Странный человек за столом даже побагровел от напряжения и сказал невнятно опять-таки, что секретаря тоже нету... когда он придет, неизвестно и... что секретарь болен...

«Ага!..» — сказал себе Поплавский.

— Но кто-нибудь же есть в правлении?

— Я, — слабым голосом отозвался человек.

— Видите ли, — внушительно заговорил Поплавский, — я являюсь единственным наследником покойного Берлиоза, моего племянни-

ка, погибшего, как вам известно, на Патриарших, и я обязан, согласно закону, принять наследство, заключающееся в нашей квартире номер пятьдесят...

— Не в курсе я, товарищ... — тоскливо перебил человек.

— Но, позвольте, — звучным голосом сказал Поплавский, — вы член правления и обязаны...

И тут в комнату вошел какой-то гражданин. При виде вошедшего сидящий за столом побледнел.

— Член правления Пятнажко? — спросил у сидящего вошедший.

— Я, — чуть слышно ответил тот.

Вошедший что-то пошептал сидящему, и тот, совершенно расстроенный, поднялся со стула, и через несколько секунд Поплавский остался один в пустой комнате правления.

«Эх, какое осложнение! И нужно ж было, чтоб их всех сразу...» — с досадой думал Поплавский, пересекая асфальтовый двор и спеша в квартиру № 50.

Лишь только экономист-плановик позвонил, дверь открыли, и Максимилиан Андреевич вошел в полутемную переднюю. Удивило его несколько то обстоятельство, что непонятно было, кто ему открыл: в передней никого не было, кроме громаднейшего черного кота, сидящего на стуле.

Максимилиан Андреевич покашлял, потопал ногами, и тогда дверь кабинета открылась и в переднюю вышел Коровьев. Максимилиан Андреевич поклонился ему вежливо, но с достоинством, и сказал:

— Моя фамилия Поплавский. Я являюсь дядей...

Но не успел он договорить, как Коровьев выхватил из кармана грязный платок, уткнулся в него носом и заплакал.

— ...покойного Берлиоза...

— Как же, как же, — перебил Коровьев, отнимая платок от лица — Я как только глянул на вас, догадался, что это вы! — Тут он затрясся от слез и начал вскрикивать: — Горе-то, а? Ведь это что же такое делается? А?

— Трамваем задавило? — шепотом спросил Поплавский.

— Начисто! — крикнул Коровьев, и слезы побежали у него из-под пенсне потоками. — Начисто! Я был свидетелем. Верите — раз! Голова — прочь! Правая нога — хрусть, пополам! Левая — хрусть, пополам! Вот до чего эти трамваи доводят! — И, будучи, видимо, не в силах сдержать себя, Коровьев клюнул носом в стену рядом с зеркалом и стал содрогаться в рыданиях.

Дядя Берлиоза был искренне поражен поведением неизвестного. «Вот, говорят, не бывает в наш век сердечных людей!» — подумал он, чувствуя, что у него самого начинают чесаться глаза. Однако в то же время неприятное облачко набежало на его душу, и тут же мелькнула змейкой мысль о том, что не прописался ли этот сердечный человек уже в квартире покойного, ибо и такие примеры в жизни бывали.

— Простите, вы были другом моего покойного Миши? — спросил он, утирая рукавом левый сухой глаз, а правым изучая потрясаемого печалью Коровьева. Но тот до того разрыдался, что ничего нельзя было понять, кроме повторяющихся слов «хрусть — и пополам!». Нарыдавшись вдоволь, Коровьев отлепился наконец от стенки и вымолвил:

— Нет, не могу больше! Пойду приму триста капель эфирной валерьянки!.. — И, повернув к Поплавскому совершенно заплаканное лицо, добавил: — Вот они, трамваи-то!

— Я извиняюсь, вы мне дали телеграмму? — спросил Максимилиан Андреевич, мучительно думая о том, кто бы мог быть этот удивительный плакса.

— Он! — ответил Коровьев и указал пальцем на кота.

Поплавский вытаращил глаза, полагая, что ослышался.

— Нет, не в силах, нет мочи, — шмыгая носом, продолжал Коровьев, — как вспомню: колесо по ноге... одно колесо пудов десять весит... Хрусть!.. Пойду лягу в постель, забудусь сном, — и тут он исчез из передней.

Кот же шевельнулся, спрыгнул со стула, стал на задние лапы, подбоченился, раскрыл пасть и сказал:

— Ну, я дал телеграмму. Дальше что?

У Максимилиана Андреевича сразу закружилась голова, руки и ноги отнялись, он уронил чемодан и сел на стул напротив кота.

— Я, кажется, русским языком спрашиваю, — сурово сказал кот, — дальше что?

Но Поплавский не дал никакого ответа.

— Паспорт! — тявкнул кот и протянул пухлую лапу.

Ничего не соображая и ничего не видя, кроме двух искр, горящих в кошачьих глазах, Поплавский выхватил из кармана паспорт, как кинжал. Кот снял с подзеркального стола очки в толстой черной оправе, надел их на морду, от чего сделался еще внушительнее, и вынул из прыгающей руки Поплавского паспорт.

«Вот интересно: упаду я в обморок или нет?» — подумал Поплавский. Издалека доносились всхлипывания Коровьева, вся передняя наполнилась запахом эфира, валерьянки и еще какой-то тошной мерзости.

— Каким отделением выдан документ? — спросил кот, всматриваясь в страницу. Ответа не последовало.

— Четыреста двенадцатым, — сам себе сказал кот, водя лапой по паспорту, который он держал кверху ногами, — ну да, конечно! Мне это отделение известно! Там кому попало выдают паспорта! А я б, например, не выдал такому, как вы! Нипочем не выдал бы! Глянул бы только раз в лицо и моментально отказал бы! — Кот до того рассердился, что швырнул паспорт на пол. — Ваше присутствие на похоронах отменяется, — продолжал кот официальным голосом, — потрудитесь уехать к месту жительства. — И рявкнул в дверь: — Азазелло!

На его зов в переднюю выбежал маленький, прихрамывающий, обтянутый черным трико, с ножом, засунутым за кожаный пояс, рыжий, с желтым клыком, с бельмом на левом глазу.

Поплавский почувствовал, что ему не хватает воздуху, поднялся со стула и попятился, держась за сердце.

— Азазелло, проводи! — приказал кот и вышел из передней.

— Поплавский, — тихо прогнусил вошедший, — надеюсь, уже все понятно?

Поплавский кивнул головой.

— Возвращайся немедленно в Киев, — продолжал Азазелло, — сиди там тише воды, ниже травы и ни о каких квартирах в Москве не мечтай, ясно?

Этот маленький, доводящий до смертного страха Поплавского своим клыком, ножом и кривым глазом, доходил экономисту только до плеча, но действовал энергично, складно и организованно.

Прежде всего он поднял паспорт и подал его Максимилиану Андреевичу, и тот принял книжечку мертвой рукой. Затем именуемый Азазелло одной рукой поднял чемодан, другой распахнул дверь и, взяв под руку дядю Берлиоза, вывел его на площадку лестницы. Поплавский прислонился к стене. Без всякого ключа Азазелло открыл чемодан, вынул из него громадную жареную курицу без одной ноги, завернутую в промаслившуюся газету, и положил ее на площадке. Затем вытащил две пары белья, бритвенный ремень, какую-то книжку и футляр и все это спихнул ногой в пролет лестницы, кроме курицы. Туда же полетел и опустевший чемодан. Слышно было, как он грохнулся внизу, и, судя по звуку, от него отлетела крышка.

Затем рыжий разбойник ухватил за ногу курицу и всей этой курицей плашмя, крепко и страшно так ударил по шее Поплавского, что туловище курицы отскочило, а нога осталась в руках Азазелло. Все смешалось в доме Облонских, как справедливо выразился знаменитый писатель Лев Толстой. Именно так и сказал бы он в данном случае. Да! Все смешалось в глазах у Поплавского. Длинная искра пронеслась у него перед глазами, затем сменилась какой-то траурной змеей, погасившей на мгновенье майский день, — и Поплавский полетел вниз по лестнице, держа в руке паспорт. Долетев до поворота, он выбил на следующей площадке ногою стекло в окне и сел на ступеньке. Мимо него пропрыгала безногая курица и свалилась в пролет. Оставшийся наверху Азазелло вмиг обглодал куриную ногу и кость засунул в боковой карманчик трико, вернулся в квартиру и с грохотом закрылся.

В это время снизу начали слышаться осторожные шаги подымающегося человека.

Пробежав еще один пролет, Поплавский сел на деревянный диванчик на площадке и перевел дух.

Какой-то малюсенький пожилой человек с необыкновенно печальным лицом, в чесунчовом старинном костюме и твердой соломенной шляпе с зеленой лентой, подымаясь вверх по лестнице, остановился возле Поплавского.

— Позвольте вас спросить, гражданин, — с грустью осведомился человечек в чесунче, — где квартира номер пятьдесят?

— Выше! — отрывисто ответил Поплавский.

— Покорнейше вас благодарю, гражданин, — так же грустно сказал человечек и пошел вверх, а Поплавский поднялся и побежал вниз.

Возникает вопрос, уж не в милицию ли спешил Максимилиан Андреевич жаловаться на разбойников, учинивших над ним дикое насилие среди бела дня? Нет, ни в коем случае, это можно сказать уверенно. Войти в милицию и сказать, что вот, мол, сейчас кот в очках читал мой паспорт, а потом человек в трико, с ножом... нет, граждане, Максимилиан Андреевич был действительно умным человеком!

Он был уже внизу и увидел у самой выходной двери дверь, ведущую в какую-то каморку. Стекло в этой двери было выбито. Поплавский спрятал паспорт в карман, оглянулся, надеясь увидеть выброшенные вещи. Но их не было и следа. Поплавский и сам подивился, насколько мало это его огорчило. Его занимала другая интересная и соблазнительная мысль — проверить на этом человечке еще раз проклятую квартиру. В самом деле: раз он справлялся о том, где она находится, значит, шел в нее впервые. Стало быть, он сейчас направлялся непосредственно в лапы к той компании, что засела в квартире № 50. Что-то подсказывало Поплавскому, что человечек этот очень скоро выйдет из этой квартиры. Ни на какие похороны никакого племянника Максимилиан Андреевич, конечно, уже не собирался, а до поезда в Киев времени было достаточно. Экономист оглянулся и нырнул в каморку.

В это время далеко наверху стукнула дверь. «Это он вошел...» — с замиранием сердца подумал Поплавский. В каморке было прохладно, пахло мышами и сапогами. Максимилиан Андреевич уселся на каком-то деревянном обрубке и решил ждать. Позиция была удобная, из каморки прямо была видна выходная дверь шестого парадного.

Однако ждать пришлось дольше, чем полагал киевлянин. Лестница все время была почему-то пустынна. Слышно было хорошо, и наконец в пятом этаже стукнула дверь. Поплавский замер. Да, его шажки. «Идет вниз». Открылась дверь этажом пониже. Шажки стихли. Женский голос. Голос грустного человечка... да, это его голос... Произнес что-то вроде «оставь, Христа ради...». Ухо Поплавского торчало в разбитом стекле. Это ухо уловило женский смех. Быстрые и бойкие шаги вниз; и вот мелькнула спина женщины. Эта женщина с клеенчатой зеленой сумкой в руках вышла из подъезда во двор. А шажки того человечка возобновились. «Странно! Он назад возвращается в квартиру! Уж не из этой ли шайки он сам? Да, возвращается. Вон опять наверху открыли дверь. Ну что ж, подождем еще».

На этот раз пришлось ждать недолго. Звуки двери. Шажки. Шажки стихли. Отчаянный крик. Мяуканье кошки. Шажки быстрые, дробные, вниз, вниз, вниз!

Поплавский дождался. Крестясь и что-то бормоча, пролетел печальный человечек, без шляпы, с совершенно безумным лицом, исцарапанной лысиной и в совершенно мокрых штанах. Он начал рвать за ручку выходную дверь, в страхе не соображая, куда она открывается — наружу или внутрь, — наконец совладал с нею и вылетел на солнце во двор.

Проверка квартиры была произведена. Не думая больше ни о покойном племяннике, ни о квартире, содрогаясь при мысли о той опасности, которой он подвергался, Максимилиан Андреевич, шепча только два слова: «Все понятно! Все понятно!» — выбежал во двор. Через несколько минут троллейбус уносил экономиста-плановика по направлению к Киевскому вокзалу.

С маленьким же человечком, пока экономист сидел в каморке внизу, приключилась неприятнейшая история. Человечек был буфетчиком в Варьете и назывался Андрей Фокич Соков. Пока шло

следствие в Варьете, Андрей Фокич держался в сторонке от всего происходящего, и замечено было только одно, что он стал еще грустнее, чем был всегда вообще, и, кроме того, что он справлялся у курьера Карпова о том, где остановился приезжий маг.

Итак, расставшись на площадке с экономистом, буфетчик добрался до пятого этажа и позвонил в квартиру № 50.

Ему открыли немедленно, но буфетчик вздрогнул, попятился и вошел не сразу. Это было понятно. Открыла дверь девица, на которой ничего не было, кроме кокетливого кружевного фартучка и белой наколки на голове. На ногах, впрочем, были золотые туфельки. Сложением девица отличалась безукоризненным, и единственным дефектом в ее внешности можно было считать багровый шрам на шее.

— Ну что ж, входите, раз звонили! — сказала девица, уставив на буфетчика зеленые распутные глаза.

Андрей Фокич охнул, заморгал глазами и шагнул в переднюю, снимая шляпу. В это время как раз в передней зазвенел телефон. Бесстыжая горничная, поставив одну ногу на стул, сняла трубку с рычажка и сказала в нее:

— Алло!

Буфетчик не знал, куда девать глаза, переминался с ноги на ногу и думал: «Ай да горничная у иностранца! Тьфу ты, пакость какая!» И, чтобы спастись от пакости, стал коситься по сторонам.

Вся большая и полутемная передняя была загромождена необычными предметами и одеянием. Так, на спинку стула наброшен был траурный плащ, подбитый огненной материей, на подзеркальном столике лежала длинная шпага с поблескивающей золотой рукоятью. Три шпаги с рукоятями серебряными стояли в углу так же просто, как какие-нибудь зонтики или трости. А на оленьих рогах висели береты с орлиными перьями.

— Да, — говорила горничная в телефон, — как? Барон Майгель? Слушаю. Да! Господин артист сегодня дома. Да, будет рад вас видеть. Да, гости... Фрак или черный пиджак. Что? К двенадцати ночи. — Закончив разговор, горничная положила трубку и обратилась к буфетчику: — Вам что угодно?

— Мне необходимо видеть гражданина артиста.

— Как? Так-таки его самого?

— Его, — ответил буфетчик печально.

— Спрошу, — сказала, видимо, колеблясь, горничная и, приоткрыв дверь в кабинет покойного Берлиоза, доложила: — Рыцарь, тут явился маленький человек, который говорит, что ему нужен мессир.

— А пусть войдет, — раздался из кабинета разбитый голос Коровьева.

— Пройдите в гостиную, — сказала девица так просто, как будто была одета по-человечески, приоткрыла дверь в гостиную, а сама покинула переднюю.

Войдя туда, куда его пригласили, буфетчик даже про дело свое позабыл, до того его поразило убранство комнаты. Сквозь цветные стекла больших окон (фантазия бесследно пропавшей ювелирши) лился необыкновенный, похожий на церковный свет. В старинном громадном камине, несмотря на жаркий весенний день, пылали дро-

ва. А жарко между тем нисколько не было в комнате, и даже наоборот, входящего охватывала какая-то погребная сырость. Перед камином на тигровой шкуре сидел, благодушно жмурясь на огонь, черный котище. Был стол, при взгляде на который богобоязненный буфетчик вздрогнул: стол был покрыт церковной парчой. На парчовой скатерти стояло множество бутылок — пузатых, заплесневевших и пыльных. Между бутылками поблескивало блюдо, и сразу было видно, что это блюдо из чистого золота. У камина маленький рыжий, с ножом за поясом, на длинной стальной шпаге жарил куски мяса, и сок капал в огонь, и в дымоход уходил дым. Пахло не только жареным, но еще какими-то крепчайшими духами и ладаном, отчего у буфетчика, уже знавшего из газет о гибели Берлиоза и о месте его проживания, мелькнула мысль о том, что уж не служили ли, чего доброго, по Берлиозу церковную панихиду, каковую мысль, впрочем, он тут же отогнал от себя как заведомо нелепую.

Ошеломленный буфетчик неожиданно услышал тяжелый бас:

— Ну-с, чем я вам могу быть полезен?

Тут буфетчик и обнаружил в тени того, кто был ему нужен.

Черный маг раскинулся на каком-то необъятном диване, низком, с разбросанными на нем подушками. Как показалось буфетчику, на артисте было только черное белье и черные же востроносые туфли.

— Я, — горько заговорил буфетчик, — являюсь заведующим буфетом театра Варьете-

Артист вытянул вперед руку, на пальцах которой сверкали камни, как бы заграждая уста буфетчику, и заговорил с большим жаром:

— Нет, нет, нет! Ни слова больше! Ни в каком случае и никогда! В рот ничего не возьму в вашем буфете! Я, почтеннейший, проходил вчера мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета, это вас кто-то обманул. Ей полагается быть белой. Да, а чай? Ведь это же помои! Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девушка подливала из ведра в ваш громадный самовар сырую воду, а чай между тем продолжали разливать. Нет, милейший, так невозможно!

— Я извиняюсь, — заговорил ошеломленный этим внезапным нападением Андрей Фокич, — я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем.

— То есть как это ни при чем, если она испорчена!

— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик.

— Голубчик, это вздор!

— Чего вздор?

— Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!

— Я извиняюсь... — начал было опять буфетчик, не зная, как отделаться от придирающегося к нему артиста.

— Извинить не могу, — твердо сказал тот.

— Я не по этому делу пришел, — совсем расстраиваясь, проговорил буфетчик.

— Не по этому? — удивился иностранный маг. — А какое же еще дело могло вас привести ко мне? Если память не изменяет мне, из лиц, близких вам по профессии, я знался только с одною маркитанткой, но и то давно, когда вас еще не было на свете. Впрочем, я рад. Азазелло! Табурет господину заведующему буфетом!

Тот, что жарил мясо, повернулся, причем ужаснул буфетчика своими клыками, и ловко подал ему один из темных дубовых низеньких табуретов. Других сидений в комнате не было.

Буфетчик вымолвил:

— Покорнейше благодарю, — и опустился на скамеечку. Задняя ее ножка тотчас с треском подломилась, и буфетчик, охнув, пребольно ударился задом об пол. Падая, он поддел ногой другую скамеечку, стоявшую перед ним, и с нее опрокинул себе на брюки полную чашу красного вина.

Артист воскликнул:

— Ай! Не ушиблись ли вы?

Азазелло помог буфетчику подняться, подал другое сидение. Полным горя голосом буфетчик отказался от предложения хозяина снять штаны и просушить их перед огнем и, чувствуя себя невыносимо неудобно в мокром белье и платье, сел на другую скамеечку с опаской.

— Я люблю сидеть низко, — заговорил артист, — с низкого не так опасно падать. Да, итак, мы остановились на осетрине? Голубчик мой! Свежесть, свежесть и свежесть, вот что должно быть девизом всякого буфетчика. Да вот, не угодно ли отведать...

Тут в багровом свете от камина блеснула перед буфетчиком шпага, и Азазелло выложил на золотую тарелку шипящий кусок мяса, полил его лимонным соком и подал буфетчику золотую двузубую вилку.

— Покорнейше... я...

— Нет, нет, попробуйте!

Буфетчик из вежливости положил кусочек в рот и сразу понял, что жует что-то действительно очень свежее и, главное, необыкновенно вкусное. Но, прожевывая душистое, сочное мясо, буфетчик едва не подавился и не упал вторично. Из соседней комнаты влетела большая темная птица и тихонько задела крылом лысину буфетчика. Сев на каминную полку рядом с часами, птица оказалась совой. «Господи боже мой! — подумал нервный, как все буфетчики, Андрей Фокич. — Вот квартирка!»

— Чашу вина? Белое, красное? Вино какой страны вы предпочитаете в это время дня?

— Покорнейше... я не пью...

— Напрасно! Так не прикажете ли партию в кости? Или вы любите другие какие-нибудь игры? Домино, карты?

— Не играю, — уже утомленный, отозвался буфетчик.

— Совсем худо, — заключил хозяин, — что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих. Правда, возможны исключения. Среди лиц, садившихся со мною за пиршественный

стол, попадались иногда удивительные подлецы! Итак, я слушаю ваше дело.

— Вчера вы изволили фокусы делать...

— Я? — воскликнул в изумлении маг. — Помилосердствуйте. Мне это даже как-то не к лицу!

— Виноват, — сказал опешивший буфетчик, — да ведь... сеанс черной магии...

— Ах, ну да, ну да! Дорогой мой! Я открою вам тайну: я вовсе не артист, а просто мне хотелось повидать москвичей в массе, а удобнее всего это было сделать в театре. Ну вот моя свита, — он кивнул в сторону кота, — и устроила этот сеанс, я же лишь сидел и смотрел на москвичей. Но не меняйтесь в лице, а скажите, что же в связи с этим сеансом привело вас ко мне?

— Изволите ли видеть, в числе прочего бумажки слетели с потолка... — буфетчик понизил голос и конфузливо оглянулся, — ну, их все и похватали. И вот заходит ко мне в буфет молодой человек, дает червонец, я сдачи ему восемь с полтиной... Потом другой...

— Тоже молодой человек?

— Нет, пожилой. Третий, четвертый... Я всё даю сдачи. А сегодня стал проверять кассу, глядь, а вместо денег — резаная бумага. На сто девять рублей наказали буфет.

— Ай-яй-яй! — воскликнул артист. — Да неужели же они думали, что это настоящие бумажки? Я не допускаю мысли, чтобы они это сделали сознательно.

Буфетчик как-то криво и тоскливо оглянулся, но ничего не сказал.

— Неужели мошенники? — тревожно спросил у гостя маг. — Неужели среди москвичей есть мошенники?

В ответ буфетчик так горько улыбнулся, что отпали всякие сомнения: да, среди москвичей есть мошенники.

— Это низко! — возмутился Воланд. — Вы человек бедный... Ведь вы — человек бедный?

Буфетчик втянул голову в плечи, так что стало видно, что он человек бедный.

— У вас сколько имеется сбережений?

Вопрос был задан участливым тоном, но все-таки такой вопрос нельзя не признать неделикатным. Буфетчик замялся.

— Двести сорок девять тысяч рублей в пяти сберкассах, — отозвался из соседней комнаты треснувший голос, — и дома под полом двести золотых десяток.

Буфетчик как будто прикипел к своему табурету.

— Ну, конечно, это не сумма, — снисходительно сказал Воланд своему гостю, — хотя, впрочем, и она, собственно, вам не нужна. Вы когда умрете?

Тут уж буфетчик возмутился.

— Это никому не известно и никого не касается, — ответил он.

— Ну да, неизвестно, — послышался все тот же дрянной голос из кабинета, — подумаешь, бином Ньютона! Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года, от рака печени в клинике Первого МГУ, в четвертой палате.

Буфетчик стал желт лицом.

— Девять месяцев, — задумчиво считал Воланд, — двести сорок девять тысяч... Это выходит круглым счетом двадцать семь тысяч в месяц? Маловато, но при скромной жизни хватит... Да еще эти десятки...

— Десятки реализовать не удастся, — ввязался все тот же голос, леденя сердце буфетчика, — по смерти Андрея Фокича дом немедленно сломают, и десятки будут отправлены в Госбанк.

— Да я и не советовал бы вам ложиться в клинику, — продолжал артист, — какой смысл умирать в палате под стоны и хрипы безнадежных больных. Не лучше ли устроить пир на эти двадцать семь тысяч и, приняв яд, переселиться под звуки струн, окруженным хмельными красавицами и лихими друзьями?

Буфетчик сидел неподвижно и очень постарел. Темные кольца окружили его глаза, щеки обвисли, и нижняя челюсть отвалилась.

— Впрочем, мы замечтались, — воскликнул хозяин, — к делу. Покажите вашу резаную бумагу.

Буфетчик, волнуясь, вытащил из кармана пачку, развернул ее и остолбенел. В обрывке газеты лежали червонцы.

— Дорогой мой, вы действительно нездоровы, — сказал Воланд, пожимая плечами.

Буфетчик, дико улыбаясь, поднялся с табурета.

— А, — заикаясь, проговорил он, — а если они опять того...

— Гм... — задумался артист, — ну, тогда приходите к нам опять. Милости просим! Рад нашему знакомству.

Тут же выскочил из кабинета Коровьев, вцепился в руку буфетчику, стал ее трясти и упрашивать Андрея Фокича всем, всем передать поклоны. Плохо что-либо соображая, буфетчик тронулся в переднюю.

— Гелла, проводи! — кричал Коровьев.

Опять-таки эта рыжая нагая в передней! Буфетчик протиснулся в дверь, пискнул «до свидания» и пошел, как пьяный. Пройдя немного вниз, он остановился, сел на ступеньки, вынул пакет, проверил, — червонцы были на месте. Тут из квартиры, выходящей на эту площадку, вышла женщина с зеленой сумкой. Увидев человека, сидящего на ступеньке и тупо глядящего на червонцы, улыбнулась и сказала задумчиво:

— Что за дом у нас такой... И этот с утра пьяный. Стекло выбили опять на лестнице! — Всмотревшись повнимательнее в буфетчика, она добавила: — Э, да у вас, гражданин, червонцев-то куры не клюют! Ты бы со мной поделился, а?

— Оставь ты меня, Христа ради, — испугался буфетчик и проворно спрятал деньги. Женщина рассмеялась:

— Да ну тебя к лешему, скаред! Я пошутила... — и пошла вниз.

Буфетчик медленно поднялся, поднял руку, чтобы поправить шляпу, и убедился, что ее на голове нету. Ужасно ему не хотелось возвращаться, но шляпы было жалко. Немного поколебавшись, он все-таки вернулся и позвонил.

— Что вам еще? — спросила его проклятая Гелла.

— Я шляпочку забыл, — шепнул буфетчик, тыча себе в лысину. Гелла повернулась, буфетчик мысленно плюнул и закрыл глаза. Когда он их открыл, Гелла подавала ему его шляпу и шпагу с темной рукоятью.

— Не мое, — шепнул буфетчик, отпихивая шпагу и быстро надевая шляпу.

— Разве вы без шпаги пришли? — удивилась Гелла.

Буфетчик что-то буркнул и быстро пошел вниз. Голове его было почему-то неудобно и слишком тепло в шляпе; он снял ее и, подпрыгнув от страха, тихо вскрикнул. В руках у него был бархатный берет с петушьим потрепанным пером. Буфетчик перекрестился. В то же мгновение берет мяукнул, превратился в черного котенка и, вскочив обратно на голову Андрею Фокичу, всеми когтями впился в его лысину. Испустив крик отчаяния, буфетчик кинулся бежать вниз, а котенок свалился с головы и брызнул вверх по лестнице.

Вырвавшись на воздух, буфетчик рысью пробежал к воротам и навсегда покинул чертов дом № 302-бис.

Превосходно известно, что с ним было дальше. Вырвавшись из подворотни, буфетчик диковато оглянулся, как будто что-то ища. Через минуту он был на другой стороне улицы в аптеке. Лишь только он произнес слова: «Скажите, пожалуйста...» — как женщина за прилавком воскликнула:

— Гражданин! У вас же вся голова изрезана!..

Минут через пять буфетчик был перевязан марлей, узнал, что лучшими специалистами по болезни печени считаются профессора Вернадский и Кузьмин, спросил, кто ближе, загорелся от радости, когда узнал, что Кузьмин живет буквально через двор в маленьком беленьком особнячке, и минуты через две был в этом особнячке.

Помещеньице было старинное, но очень, очень уютное. Запомнилось буфетчику, что первая попалась ему навстречу старенькая нянька, которая хотела взять у него шляпу, но так как шляпы у него не оказалось, то нянька, жуя пустым ртом, куда-то ушла.

Вместо нее оказалась у зеркала и, кажется, под какой-то аркой женщина средних лет и тут же сказала, что можно записаться только на девятнадцатое, не раньше. Буфетчик сразу смекнул, в чем спасение. Заглянув угасающим глазом за арку, где в какой-то явной передней дожидались три человека, он шепнул:

— Смертельно больной...

Женщина недоуменно поглядела на забинтованную голову буфетчика, поколебалась, сказала:

— Ну что ж... — и пропустила буфетчика за арку.

В то же мгновенье противоположная дверь открылась, в ней блеснуло золотое пенсне, женщина в халате сказала:

— Граждане, этот больной пойдет вне очереди.

И не успел буфетчик оглянуться, как он оказался в кабинете профессора Кузьмина. Ничего страшного, торжественного и медицинского не было в этой продолговатой комнате.

— Что с вами? — спросил приятным голосом профессор Кузьмин и несколько тревожно поглядел на забинтованную голову.

— Сейчас из достоверных рук узнал, — ответил буфетчик, одичало поглядывая на какую-то фотографическую группу за стеклом, — что в феврале будущего года умру от рака печени. Умоляю остановить.

Профессор Кузьмин как сидел, так и откинулся на высокую кожаную готическую спинку кресла.

— Простите, не понимаю вас... вы что, были у врача? Почему у вас голова забинтована?

— Какого там врача?.. Видали бы вы этого врача!.. — ответил буфетчик и вдруг застучал зубами. — А на голову не обращайте внимания, не имеет отношения. На голову плюньте, она здесь ни при чем. Рак печени, прошу остановить.

— Да позвольте, кто вам сказал?

— Верьте ему! — пламенно попросил буфетчик. — Уж он знает!

— Ничего не понимаю, — пожимая плечами и отъезжая с креслом от стола, говорил профессор. — Как же он может знать, когда вы помрете? Тем более что он не врач!

— В четвертой палате, — ответил буфетчик.

Тут профессор посмотрел на своего пациента, на его голову, на сырые брюки и подумал: «Вот еще не хватало! Сумасшедший!» Спросил:

— Вы пьете водку?

— Никогда не прикасался, — ответил буфетчик.

Через минуту он был раздет, лежал на холодной клеенчатой кушетке, и профессор мял его живот. Тут, надо сказать, буфетчик значительно повеселел. Профессор категорически утверждал, что сейчас, по крайней мере в данный момент, никаких признаков рака у буфетчика нет. Но что раз так... раз он боится и какой-то шарлатан его напугал, то нужно сделать все анализы...

Профессор строчил на листках бумаги, объясняя, куда пойти, что отнести. Кроме того, дал записку к профессору-невропатологу Буре, объясняя буфетчику, что нервы у него в полном беспорядке.

— Сколько вам платить, профессор? — нежным и дрожащим голосом спросил буфетчик, вытаскивая толстый бумажник.

— Сколько хотите, — отрывисто и сухо ответил профессор.

Буфетчик вынул тридцать рублей и выложил их на стол, а затем неожиданно мягко, как будто кошачьей лапкой оперируя, положил сверх червонцев звякнувший столбик в газетной бумажке.

— А это что такое? — спросил Кузьмин и подкрутил ус.

— Не брезгуйте, гражданин профессор, — прошептал буфетчик, — умоляю — остановите рак.

— Уберите сейчас же ваше золото, — сказал профессор, гордясь собой, — вы бы лучше за нервами смотрели. Завтра же дайте мочу на анализ, не пейте много чаю и ешьте без соли совершенно.

— Даже суп не солить? — спросил буфетчик.

— Ничего не солить, — приказал Кузьмин.

— Эхх!.. — тоскливо воскликнул буфетчик, умиленно глядя на профессора, забирая десятки и задом пятясь к двери.

Больных в тот вечер у профессора было немного, и с приближением сумерек ушел последний. Снимая халат, профессор глянул на

то место, где буфетчик оставил червонцы, и увидел, что никаких червонцев там нет, а лежат три этикетки с бутылок Абрау-Дюрсо.

— Черт знает что такое! — пробормотал Кузьмин, волоча полу халата по полу и ощупывая бумажки. — Он, оказывается, не только шизофреник, но и жулик! Но я не могу понять, что ему понадобилось от меня? Неужели записка на анализ мочи? О! Он украл пальто! — И профессор кинулся в переднюю, опять-таки в халате на один рукав. — Ксения Никитишна! — пронзительно закричал он в дверях передней. — Посмотрите, пальто целы?

Выяснилось, что все пальто целы. Но зато, когда профессор вернулся к столу, содрав наконец с себя халат, он как бы врос возле стола в паркет, приковавшись взглядом к своему столу. На том месте, где лежали этикетки, сидел черный котенок-сирота с несчастливой мордочкой и мяукал над блюдечком с молоком.

— Эт-то что же такое, позвольте?! Это уже... — Кузьмин почувствовал, как у него похолодел затылок.

На тихий и жалобный крик профессора прибежала Ксения Никитишна и совершенно его успокоила, сразу сказав, что это, конечно, кто-нибудь из пациентов подбросил котенка, что это нередко бывает у профессоров.

— Живут, наверно, бедно, — объясняла Ксения Никитишна, — ну, а у нас, конечно...

Стали думать и гадать, кто бы мог подбросить. Подозрение пало на старушку с язвой желудка.

— Она, конечно, — говорила Ксения Никитишна, — она думает так: мне все равно помирать, а котеночка жалко.

— Но позвольте! — закричал Кузьмин. — А что же молоко?! Она тоже принесла? Блюдечко-то, а?

— Она в пузыречке принесла, здесь вылила в блюдечко, — пояснила Ксения Никитишна.

— Во всяком случае, уберите и котенка и блюдечко, — сказал Кузьмин и сам сопровождал Ксению Никитишну до двери. Когда он вернулся, обстановка изменилась.

Вешая халат на гвоздик, профессор услыхал во дворе хохот, выглянул, натурально оторопел. Через двор пробегала в противоположный флигелек дама в одной рубашке. Профессор даже знал, как ее зовут, — Марья Александровна. Хохотал мальчишка.

— Что такое? — презрительно сказал Кузьмин.

Тут за стенкой, в комнате дочери профессора, заиграл патефон фокстрот «Аллилуйя», и в то же мгновенье послышалось воробьиное чириканье за спиной у профессора. Он обернулся и увидел на столе у себя крупного прыгающего воробья.

«Гм... спокойно... — подумал профессор, — он влетел, когда я отходил от окна. Всё в порядке!» — приказал себе профессор, чувствуя, что всё в полном беспорядке, и, конечно, главным образом из-за этого воробья. Присмотревшись к нему, профессор сразу убедился, что этот воробей — не совсем простой воробей. Паскудный воробушек припадал на левую лапку, явно кривлялся, волоча ее, работал синкопами, одним словом — приплясывал фокстрот под звуки пате-

фона, как пьяный у стойки. Хамил, как умел, поглядывая на профессора нагло.

Рука Кузьмина легла на телефон, и он собрался позвонить своему однокурснику Буре, чтобы спросить, что означают такого рода воробушки в шестьдесят лет, да еще когда вдруг кружится голова?

Воробушек же тем временем сел на подаренную чернильницу, нагадил в нее (я не шучу!), затем взлетел вверх, повис в воздухе, потом с размаху будто стальным клювом клюнул в стекло фотографии, изображающей полный университетский выпуск 94-го года, разбил стекло вдребезги и затем уже улетел в окно.

Профессор переменил номер на телефоне и вместо того, чтобы позвонить Буре, позвонил в бюро пиявок, сказал, что говорит профессор Кузьмин и что он просит сейчас же прислать ему пиявок на дом.

Положив трубку на рычажок, опять-таки профессор повернулся к столу и тут же испустил вопль. За столом этим сидела в косынке сестры милосердия женщина с сумочкой, с надписью на ней «Пиявки». Вопил профессор, вглядевшись в ее рот. Он был мужской, кривой, до ушей, с одним клыком. Глаза у сестры были мертвые.

— Денежки я приберу, — мужским басом сказала сестра, — нечего им тут валяться. — Сгребла птичьей лапой этикетки и стала таять в воздухе.

Прошло часа два. Профессор Кузьмин сидел в спальне на кровати, причем пиявки висели у него на висках, за ушами и на шее. В ногах у Кузьмина, на шелковом стеганом одеяле, сидел седоусый профессор Буре, соболезнующе глядел на Кузьмина и утешал его, что все это вздор. В окне уже была ночь.

Что дальше происходило диковинного в Москве в эту ночь, мы не знаем и доискиваться, конечно, не станем, — тем более что настает пора переходить нам ко второй части этого правдивого повествования. За мной, читатель!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 19 МАРГАРИТА

За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!

За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь!

Нет! Мастер ошибался, когда с горечью говорил Иванушке в больнице в тот час, когда ночь переваливалась через полночь, что она позабыла его. Этого быть не могло. Она его, конечно, не забыла.

Прежде всего откроем тайну, которой мастер не пожелал открыть Иванушке. Возлюбленную его звали Маргаритой Николаевной. Все, что мастер говорил о ней бедному поэту, было сущей правдой. Он описал свою возлюбленную верно. Она была красива и умна. К этому надо добавить еще одно: с уверенностью можно сказать, что многие женщины все что угодно отдали бы за то, чтобы променять свою жизнь на жизнь Маргариты Николаевны. Бездетная тридцатилетняя Маргарита была женою очень крупного специалиста, к тому же сделавшего важнейшее открытие государственного значения. Муж ее был молод, красив, добр, честен и обожал свою жену. Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата. Очаровательное место! Всякий может в этом убедиться, если пожелает направиться в этот сад. Пусть обратится ко мне, я скажу ему адрес, укажу дорогу — особняк цел еще до сих пор.

Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Николаевна могла купить все, что ей понравится. Среди знакомых ее мужа попадались интересные люди. Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной квартире. Словом... она была счастлива? Ни одной минуты! С тех пор, как девятнадцатилетней она вышла замуж и попала в особняк, она не знала счастья. Боги, боги мои! Что же нужно было этой женщине?! Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек? Что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда весною мимозами? Не знаю. Мне неизвестно. Очевидно, она говорила правду, ей нужен был он, мастер, а вовсе не готический особняк, и не отдельный сад, и не деньги. Она любила его, она говорила правду.

Даже у меня, правдивого повествователя, но постороннего человека, сжимается сердце при мысли о том, что испытала Маргарита, когда пришла на другой день в домик мастера, по счастью, не успев переговорить с мужем, который не вернулся в назначенный срок, и узнала, что мастера уже нет. Она сделала все, чтобы разузнать что-нибудь о нем, и, конечно, не разузнала ровно ничего. Тогда она вернулась в особняк и зажила на прежнем месте.

Но лишь только исчез грязный снег с тротуаров и мостовых, лишь только потянуло в форточки гниловатым беспокойным ветром весны, Маргарита Николаевна затосковала пуще, чем зимой. Она плакала часто втайне долгим и горьким плачем. Она не знала, кого она любит: живого или мертвого? И чем дальше шли отчаянные дни, тем чаще, и в особенности в сумерки, ей приходила мысль о том, что она связана с мертвым.

Нужно было или забыть его, или самой умереть. Ведь нельзя же влачить такую жизнь. Нельзя! Забыть его, чего бы ни стоило — забыть! Но он не забывается, вот горе в чем.

— Да, да, да, такая же самая ошибка! — говорила Маргарита, сидя у печки и глядя в огонь, зажженный в память того огня, что горел тогда, когда он писал Понтия Пилата. — Зачем я тогда ночью ушла от него? Зачем? Ведь это же безумие! Я вернулась на другой день, честно, как обещала, но было уже поздно. Да, я вернулась, как несчастный Левий Матвей, слишком поздно!

Все эти слова были, конечно, нелепы, потому что, в самом деле, что изменилось бы, если бы она в ту ночь осталась у мастера? Разве она спасла бы его? Смешно! — воскликнули бы мы, но мы этого не сделаем перед доведенной до отчаяния женщиной.

В тот самый день, когда происходила всякая нелепая кутерьма, вызванная появлением черного мага в Москве, в пятницу, когда был изгнан обратно в Киев дядя Берлиоза, когда арестовали бухгалтера и произошло еще множество других глупейших и непонятных вещей, Маргарита проснулась около полудня в своей спальне, выходящей фонарем в башню особняка.

Проснувшись, Маргарита не заплакала, как это бывало часто, потому что проснулась с предчувствием, что сегодня наконец что-то произойдет. Ощутив это предчувствие, она стала его подогревать и растить в своей душе, опасаясь, чтобы оно ее не покинуло.

— Я верую! — шептала Маргарита торжественно. — Я верую! Что-то произойдет! Не может не произойти, потому что за что же, в самом деле, мне послана пожизненная мука? Сознаюсь в том, что я лгала и обманывала и жила тайною жизнью, скрытой от людей, но все же нельзя за это наказывать так жестоко. Что-то случится непременно, потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось вечно. А кроме того, мой сон был вещий, за это я ручаюсь.

Так шептала Маргарита Николаевна, глядя на пунцовые шторы, наливающиеся солнцем, беспокойно одеваясь, расчесывая перед тройным зеркалом короткие завитые волосы.

Сон, который приснился в эту ночь Маргарите, был действительно необычен. Дело в том, что во время своих зимних мучений она

никогда не видела во сне мастера. Ночью он оставлял ее, и мучилась она только в дневные часы. А тут приснился.

Приснилась неизвестная Маргарите местность — безнадежная, унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-то корявый мостик, под ним мутная весенняя речонка. Безрадостные, нищенские полуголые деревья. Одинокая осина, а далее, меж деревьев, за каким-то огородом, бревенчатое зданьице, не то оно — отдельная кухня, не то баня, не то черт его знает что. Неживое все кругом какое-то и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака и ни живой души. Вот адское место для живого человека!

И вот, вообразите, распахивается дверь этого бревенчатого здания, и появляется он. Довольно далеко, но отчетливо виден. Оборван он, не разберешь, во что он одет. Волосы всклокочены, небрит. Глаза больные, встревоженные. Манит ее рукой, зовет. Захлебываясь в неживом воздухе, Маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась.

«Сон этот может означать только одно из двух, — рассуждала сама с собой Маргарита Николаевна, — если он мертв и поманил меня, то это значит, что он приходил за мною, и я скоро умру. Это очень хорошо, потому что мучениям тогда настает конец. Или он жив, тогда сон может означать только одно, что он напоминает мне о себе! Он хочет сказать, что мы еще увидимся. Да, мы увидимся очень скоро!»

Находясь все в том же возбужденном состоянии, Маргарита оделась и стала внушать себе, что, в сущности, все складывается очень удачно, а такие удачные моменты надо уметь ловить и пользоваться ими. Муж уехал в командировку на целых три дня. В течение трех суток она предоставлена самой себе, никто не помешает ей думать о чем угодно, мечтать о том, что ей нравится. Все пять комнат в верхнем этаже особняка, вся эта квартира, которой в Москве позавидовали бы десятки тысяч людей, в ее полном распоряжении.

Однако, получив свободу на целых три дня, из всей этой роскошной квартиры Маргарита выбрала далеко не самое лучшее место. Напившись чаю, она ушла в темную, без окон, комнату, где хранились чемоданы и разное старье в двух больших шкафах. Присев на корточки, она открыла нижний ящик первого из них и из-под груды шелковых обрезков достала то единственно ценное, что имела в жизни. В руках у Маргариты оказался старый альбом коричневой кожи, в котором была фотографическая карточка мастера, книжка сберегательной кассы со вкладом в десять тысяч на его имя, распластанные между листками папиросной бумаги лепестки засохшей розы и часть тетради в целый лист, исписанной на машинке и с обгоревшим нижним краем.

Вернувшись с этим богатством к себе в спальню, Маргарита Николаевна установила на трехстворчатом зеркале фотографию и просидела около часу, держа на коленях испорченную огнем тетрадь, перелистывая ее и перечитывая то, в чем после сожжения не было ни

начала, ни конца: «...Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете...»

Маргарите хотелось читать дальше, но дальше ничего не было, кроме неровной угольной бахромы.

Утирая слезы, Маргарита Николаевна оставила тетрадь, локти положила на подзеркальный столик и, отражаясь в зеркале, долго сидела, не спуская глаз с фотографии. Потом слезы высохли. Маргарита аккуратно сложила свое имущество, и через несколько минут оно было опять погребено под шелковыми тряпками, и со звоном в темной комнате закрылся замок.

Маргарита Николаевна надевала в передней пальто, чтобы идти гулять. Красавица Наташа, ее домработница, осведомилась о том, что сделать на второе, и, получив ответ, что это безразлично, чтобы развлечь самое себя, вступила со своей хозяйкой в разговор и стала рассказывать бог знает что, вроде того, что вчера в театре фокусник такие фокусы показывал, что все ахнули, всем раздавал по два флакона заграничных духов и чулки бесплатно, а потом, как сеанс кончился, публика вышла на улицу, и — хвать — все оказались голые! Маргарита Николаевна повалилась на стул под зеркалом в передней и захохотала.

— Наташа! Ну как вам не стыдно, — говорила Маргарита Николаевна, — вы грамотная, умная девушка; в очередях врут черт знает что, а вы повторяете!

Наташа залилась румянцем и с большим жаром возразила, что ничего не врут и что она сегодня сама лично в гастрономе на Арбате видела одну гражданку, которая пришла в гастроном в туфлях, а как стала у кассы платить, туфли у нее с ног исчезли и она осталась в одних чулках. Глаза вылупленные, на пятке дыра! А туфли эти волшебные, с того самого сеанса.

— Так и пошла?

— Так и пошла! — вскрикивала Наташа, все больше краснея оттого, что ей не верят. — Да вчера, Маргарита Николаевна, милиция человек сто ночью забрала. Гражданки с этого сеанса в одних панталонах бежали по Тверской.

— Ну, конечно, это Дарья рассказывала, — говорила Маргарита Николаевна, — я давно уже за ней замечала, что она страшная врунья.

Смешной разговор закончился приятным сюрпризом для Наташи. Маргарита Николаевна пошла в спальню и вышла оттуда, держа в руках пару чулок и флакон одеколону. Сказав Наташе, что она тоже хочет показать фокус, Маргарита Николаевна подарила ей и чулки и склянку и сказала, что просит ее только об одном — не бегать в одних чулках по Тверской и не слушать Дарью. Расцеловавшись, хозяйка и домработница расстались.

Откинувшись на удобную, мягкую спинку кресла в троллейбусе, Маргарита Николаевна ехала по Арбату и то думала о своем, то прислушивалась к тому, о чем шепчутся двое граждан, сидящие впереди нее.

А те, изредка оборачиваясь с опаской, не слышит ли кто, перешептывались о какой-то ерунде. Здоровенный, мясистый, с бойкими свиными глазками, сидящий у окна, тихо говорил маленькому своему соседу о том, что пришлось закрыть гроб черным покрывалом...

— Да не может быть! — поражаясь, шептал маленький. — Это что-то неслыханное... А что же Желдыбин предпринял?

Среди ровного гудения троллейбуса слышались слова от окошка:

— Уголовный розыск... скандал... ну, прямо мистика.

Из этих отрывочных кусочков Маргарита Николаевна кое-как составила что-то связное. Граждане шептались о том, что у какого-то покойника, а какого — они не называли, сегодня утром из гроба украли голову! Вот из-за этого Желдыбин этот самый так и волнуется теперь. А двое, что шепчутся в троллейбусе, тоже имеют какое-то отношение к обокраденному покойнику.

— Поспеем ли за цветами заехать? — беспокоился маленький. — Кремация, ты говоришь, в два?

Наконец Маргарите Николаевне надоело слушать эту таинственную трепотню про украденную из гроба голову, и она обрадовалась, что ей пора выходить.

Через несколько минут Маргарита Николаевна уже сидела под Кремлевской стеной на одной из скамеек, поместившись так, что ей был виден манеж.

Маргарита щурилась на яркое солнце, вспоминала свой сегодняшний сон, вспоминала, как ровно год, день в день и час в час, на этой же самой скамье она сидела рядом с ним. И точно так же, как и тогда, черная сумочка лежала рядом с нею на скамейке. Его не было рядом в этот день, но разговаривала мысленно Маргарита Николаевна все же с ним: «Если ты сослан, то почему же ты не даешь знать о себе? Ведь дают же люди знать. Ты разлюбил меня? Нет, я почему-то этому не верю. Значит, ты был сослан и умер... Тогда, прошу тебя, отпусти меня, дай мне наконец свободу жить, дышать воздухом!» Маргарита Николаевна сама отвечала себе за него: «Ты свободна... Разве я держу тебя?» Потом возражала ему: «Нет, что же это за ответ? Нет, ты уйди из моей памяти, тогда я стану свободна».

Люди проходили мимо Маргариты Николаевны. Какой-то мужчина покосился на хорошо одетую женщину, привлеченный ее красотою и одиночеством. Он кашлянул и присел на кончик той же скамьи, на которой сидела Маргарита Николаевна. Набравшись духу, он заговорил:

— Определенно хорошая погода сегодня...

Но Маргарита так мрачно поглядела на него, что он поднялся и ушел.

«Вот и пример, — мысленно говорила Маргарита тому, кто владел ею, — почему, собственно, я прогнала этого мужчину? Мне скучно, а в этом ловеласе нет ничего дурного, разве только что глупое слово

«определенно»? Почему я сижу, как сова, под стеной одна? Почему я выключена из жизни?»

Она совсем запечалилась и понурилась. Но тут вдруг та самая утренняя волна ожидания и возбуждения толкнула ее в грудь. «Да, случится!» Волна толкнула ее вторично, и тут она поняла, что это волна звуковая. Сквозь шум города все отчетливее слышались приближающиеся удары барабана и звуки немного фальшивящих труб.

Первым показался шагом едущий мимо решетки сада конный милиционер, а за ним три пеших. Затем медленно едущий грузовик с музыкантами. Далее — медленно двигающаяся похоронная новенькая открытая машина, на ней гроб весь в венках, а по углам площадки — четыре стоящих человека: трое мужчин, одна женщина.

Даже на расстоянии Маргарита разглядела, что лица стоящих в похоронной машине людей, сопровождающих покойника в последний путь, какие-то странно растерянные. В особенности это было заметно в отношении гражданки, стоявшей в левом заднем углу автодрог. Толстые щеки этой гражданки как будто изнутри распирало еще больше какою-то пикантной тайной, в заплывших глазках играли двусмысленные огоньки. Казалось, что вот-вот, еще немного, и гражданка, не вытерпев, подмигнет на покойника и скажет: «Видали вы что-либо подобное? Прямо мистика!» Столь же растерянные лица были и у пеших провожающих, которые, в количестве человек трехсот примерно, медленно шли за похоронной машиной.

Маргарита провожала глазами шествие, прислушиваясь к тому, как затихает вдали унылый турецкий барабан, выделывающий одно и то же «бумс, бумс, бумс», и думала: «Какие странные похороны... И какая тоска от этого «бумса»! Ах, право, дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет?.. Интересно знать, кого это хоронят с такими удивительными лицами?»

— Берлиоза Михаила Александровича, — послышался рядом несколько носовой мужской голос, — председателя Массолита.

Удивленная Маргарита Николаевна повернулась и увидела на своей скамейке гражданина, который, очевидно, бесшумно подсел в то время, когда Маргарита загляделась на процессию и, надо полагать, в рассеянности вслух задала свой последний вопрос.

Процессия тем временем стала приостанавливаться, вероятно, задерживаемая впереди светофорами.

— Да, — продолжал неизвестный гражданин, — удивительное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова!

— Какая голова? — спросила Маргарита, вглядываясь в неожиданного соседа. Сосед этот оказался маленького роста, пламенно-рыжий, с клыком, в крахмальном белье, в полосатом добротном костюме, в лакированных туфлях и с котелком на голове. Галстух был яркий. Удивительно было то, что из кармашка, где обычно мужчины носят платочек или самопишущее перо, у этого гражданина торчала обглоданная куриная кость.

— Да, изволите ли видеть, — объяснил рыжий, — сегодня утром в грибоедовском зале голову у покойника стащили из гроба.

— Как же это может быть? — невольно спросила Маргарита, в то же время вспомнив шепот в троллейбусе.

— Черт его знает как! — развязно ответил рыжий. — Я, впрочем, полагаю, что об этом Бегемота не худо бы спросить. До ужаса ловко сперли. Такой скандалище! И, главное, непонятно, кому и на что она нужна, эта голова!

Как ни была занята своим Маргарита Николаевна, ее все же поразили странные враки неизвестного гражданина.

— Позвольте! — вдруг воскликнула она. — Какого Берлиоза? Это что в газетах сегодня...

— Как же, как же...

— Так это, стало быть, литераторы за гробом идут? — спросила Маргарита и вдруг оскалилась.

— Ну, натурально, они!

— А вы их знаете в лицо?

— Всех до единого, — ответил рыжий.

— Скажите, — заговорила Маргарита, и голос ее стал глух, — среди них нету критика Латунского?

— Как же его может не быть? — ответил рыжий. — Вон он с краю в четвертом ряду.

— Это блондин-то? — щурясь, спросила Маргарита.

— Пепельного цвета... Видите, он глаза вознес к небу.

— На патера похож?

— Во-во!

Больше Маргарита ничего не спросила, всматриваясь в Латунского.

— А вы, как я вижу, — улыбаясь, заговорил рыжий, — ненавидите этого Латунского.

— Я еще кой-кого ненавижу, — сквозь зубы ответила Маргарита, — но об этом неинтересно говорить.

Процессия в это время двинулась дальше, за пешими потянулись большею частью пустые автомобили.

— Да уж, конечно, чего тут интересного, Маргарита Николаевна!

Маргарита удивилась:

— Вы меня знаете?

Вместо ответа рыжий снял котелок и взял его на отлет.

«Совершенно разбойничья рожа!» — подумала Маргарита, вглядываясь в своего уличного собеседника.

— А я вас не знаю, — сухо сказала Маргарита.

— Откуда ж вам меня знать? А между тем я к вам послан по дельцу.

Маргарита побледнела и отшатнулась.

— С этого прямо и нужно было начинать, — заговорила она, — а не молоть черт знает что про отрезанную голову! Вы меня хотите арестовать?

— Ничего подобного, — воскликнул рыжий, — что это такое: раз заговорил, так уж непременно арестовать! Просто есть к вам дело.

— Ничего не понимаю, какое дело?

Рыжий оглянулся и сказал таинственно:

— Меня прислали, чтобы вас сегодня вечером пригласить в гости.

— Что вы бредите, какие гости?

— К одному очень знатному иностранцу, — значительно сказал рыжий, прищурив глаз.

Маргарита очень разгневалась.

— Новая порода появилась: уличный сводник! — поднимаясь, чтобы уходить, сказала она.

— Вот спасибо за такие поручения! — обидевшись, воскликнул рыжий и проворчал в спину уходящей Маргарите: — Дура!

— Мерзавец! — отозвалась та, оборачиваясь, и тут же услышала за собой голос рыжего:

— Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней... Пропал Ершалаим, великий город, как будто не существовал на свете... Так пропадите же вы пропадом с вашей обгоревшей тетрадкой и сушеной розой! Сидите здесь на скамейке одна и умоляйте его, чтобы он отпустил вас на свободу, дал дышать воздухом, ушел бы из памяти!

Побелев лицом, Маргарита вернулась к скамейке. Рыжий глядел на нее, прищурившись.

— Я ничего не понимаю, — тихо заговорила Маргарита Николаевна, — про листки еще можно узнать... проникнуть, подсмотреть... Наташа подкуплена, да? Но как вы могли узнать мои мысли? — Она страдальчески сморщилась и добавила: — Скажите мне, кто вы такой? Из какого вы учреждения?

— Вот скука-то, — проворчал рыжий и заговорил громче: — Простите, ведь я сказал вам, что ни из какого я не из учреждения! Сядьте, пожалуйста.

Маргарита беспрекословно повиновалась, но все-таки, садясь, спросила еще раз:

— Кто вы такой?

— Ну хорошо, зовут меня Азазелло, но ведь все равно вам это ничего не говорит.

— А вы мне не скажете, откуда вы узнали про листки и про мои мысли?

— Не скажу, — сухо ответил Азазелло.

— Но вы что-нибудь знаете о нем? — моляще шепнула Маргарита.

— Ну, скажем, знаю.

— Молю, скажите только одно: он жив? Не мучьте!

— Ну, жив, жив, — неохотно отозвался Азазелло.

— Боже!

— Пожалуйста, без волнений и вскрикиваний, — нахмурясь, сказал Азазелло.

— Простите, простите, — бормотала покорная теперь Маргарита, — я, конечно, рассердилась на вас. Но, согласитесь, когда на улице приглашают женщину куда-то в гости... У меня нет предрассудков, я вас уверяю, — Маргарита невесело усмехнулась, — но я никогда не вижу никаких иностранцев, общаться с ними у меня нет никакой охоты... и кроме того, мой муж... Моя драма в том, что я живу с тем, кого я не люблю, но портить ему жизнь считаю делом недостойным. Я от него ничего не видела, кроме добра...

Азазелло с видимой скукой выслушал эту бессвязную речь и сказал сурово:

— Попрошу вас минутку помолчать.

Маргарита покорно замолчала.

— Я приглашаю вас к иностранцу совершенно безопасному. И ни одна душа не будет знать об этом посещении. Вот уж за это я вам ручаюсь.

— А зачем я ему понадобилась? — вкрадчиво спросила Маргарита.

— Вы об этом узнаете позже.

— Понимаю... Я должна ему отдаться, — сказала Маргарита задумчиво.

На это Азазелло как-то надменно хмыкнул и ответил так:

— Любая женщина в мире, могу вас уверить, мечтала бы об этом, — рожу Азазелло перекосило смешком, — но я разочарую вас, этого не будет.

— Что за иностранец такой?! — в смятении воскликнула Маргарита так громко, что на нее обернулись проходившие мимо скамейки. — И какой мне интерес идти к нему?

Азазелло наклонился к ней и шепнул многозначительно:

— Ну, интерес-то очень большой... Вы воспользуетесь случаем...

— Что? — воскликнула Маргарита, и глаза ее округлились. — Если я вас правильно понимаю, вы намекаете на то, что я там могу узнать о нем?

Азазелло молча кивнул головой.

— Еду! — с силой воскликнула Маргарита и ухватила Азазелло за руку. — Еду куда угодно!

Азазелло, облегченно отдуваясь, откинулся на спинку скамейки, закрыв спиной крупно вырезанное на ней слово «Нюра», и заговорил иронически:

— Трудный народ эти женщины! — он засунул руки в карманы и далеко вперед вытянул ноги. — Зачем, например, меня послали по этому делу? Пусть бы ездил Бегемот, он обаятельный...

Маргарита заговорила, криво и горько улыбаясь:

— Перестаньте вы меня мистифицировать и мучить вашими загадками... Я ведь человек несчастный, и вы пользуетесь этим. Лезу я в какую-то странную историю, но, клянусь, только из-за того, что вы поманили меня словами о нем! У меня кружится голова от всех этих непонятностей...

— Без драм, без драм, — гримасничая, отозвался Азазелло, — в мое положение тоже нужно входить. Надавать администратору по морде, или выставить дядю из дому, или подстрелить кого-нибудь, или какой-нибудь еще пустяк в этом роде, это моя прямая специальность, но разговаривать с влюбленными женщинами — слуга покорный! Ведь я вас полчаса уже уламываю. Так едете?

— Еду, — просто ответила Маргарита Николаевна.

— Тогда потрудитесь получить, — сказал Азазелло и, вынув из кармана круглую золотую коробочку, протянул ее Маргарите со словами: — Да прячьте же, а то прохожие смотрят. Она вам пригодится, Маргарита Николаевна, вы порядочно постарели от горя за послед-

ние полгода. — Маргарита вспыхнула, но ничего не ответила, а Азазелло продолжал: — Сегодня вечером, ровно в половину десятого, потрудитесь, раздевшись донага, натереть этой мазью лицо и все тело. Дальше делайте, что хотите, но не отходите от телефона. В десять я вам позвоню и все, что нужно, скажу. Вам ни о чем не придется заботиться, вас доставят куда нужно, и вам не причинят никакого беспокойства. Понятно?

Маргарита помолчала, потом ответила:

— Понятно. Эта вещь из чистого золота, видно по тяжести. Ну что же, я прекрасно понимаю, что меня подкупают и тянут в какую-то темную историю, за которую я очень поплачусь.

— Это что же такое, — почти зашипел Азазелло, — вы опять?..

— Нет, погодите!

— Отдайте обратно крем!

Маргарита крепче зажала в руке коробку и продолжала:

— Нет, погодите... Я знаю, на что иду. Но иду на все из-за него, потому что ни на что в мире больше надежды у меня нет. Но я хочу вам сказать, что, если вы меня погубите, вам будет стыдно! Да, стыдно! Я погибаю из-за любви! — и, стукнув себя в грудь, Маргарита глянула на солнце.

— Отдайте обратно, — в злобе закричал Азазелло, — отдайте обратно, и к черту все это! Пусть посылают Бегемота!

— О нет! — воскликнула Маргарита, поражая проходящих. — Согласна на все, согласна проделать эту комедию с натиранием мазью, согласна идти к черту на кулички! Не отдам!

— Ба! — вдруг заорал Азазелло и, вылупив глаза на решетку сада, стал указывать куда-то пальцем.

Маргарита повернулась туда, куда указывал Азазелло, но ничего особенного там не обнаружила. Тогда она обернулась к Азазелло, желая получить объяснение этому нелепому «Ба!», но давать это объяснение было некому: таинственный собеседник Маргариты Николаевны исчез.

Маргарита быстро сунула руку в сумочку, куда перед этим криком спрятала коробочку, и убедилась, что она там. Тогда, ни о чем не размышляя, Маргарита торопливо побежала из Александровского сада вон.

Глава 20 КРЕМ АЗАЗЕЛЛО

Луна в вечернем чистом небе висела полная, видная сквозь ветви клена. Липы и акации разрисовали землю в саду сложным узором пятен. Трехстворчатое окно в фонаре, открытое, но задернутое шторой, светилось бешеным электрическим светом. В спальне Маргариты Николаевны горели все огни и освещали полный беспорядок в комнате.

На кровати на одеяле лежали сорочки, чулки и белье, скомканное же белье валялось просто на полу рядом с раздавленной в волнении коробкой папирос. Туфли стояли на ночном столике рядом с недопитой чашкой кофе и пепельницей, в которой дымил окурок. На спинке стула висело черное вечернее платье. В комнате пахло духами. Кроме того, в нее доносился откуда-то запах раскаленного утюга.

Маргарита Николаевна сидела перед трюмо в одном купальном халате, наброшенном на голое тело, и в замшевых черных туфлях. Золотой браслет с часиками лежал перед Маргаритой Николаевной рядом с коробочкой, полученной от Азазелло, и Маргарита не сводила глаз с циферблата. Временами ей начинало казаться, что часы сломались и стрелки не движутся. Но они двигались, хотя и очень медленно, как будто прилипая, и наконец длинная стрелка упала на двадцать девятую минуту десятого. Сердце Маргариты страшно стукнуло, так что она не смогла даже сразу взяться за коробочку. Справившись с собою, Маргарита открыла ее и увидела в коробочке жирный желтоватый крем. Ей показалось, что он пахнет болотной тиной. Кончиком пальца Маргарита выложила небольшой мазочек крема на ладонь, причем сильнее запахло болотными травами и лесом, и затем ладонью начала втирать крем в лоб и щеки.

Крем легко мазался и, как показалось Маргарите, тут же испарялся. Сделав несколько втираний, Маргарита глянула в зеркало и уронила коробочку прямо на стекло часов, от чего оно покрылось трещинами. Маргарита закрыла глаза, потом глянула еще раз и буйно расхохоталась.

Ощипанные по краям в ниточку пинцетом брови сгустились и черными ровными дугами легли над зазеленевшими глазами. Тонкая вертикальная морщинка, перерезавшая переносицу, появившаяся тогда, в октябре, когда пропал мастер, бесследно исчезла. Исчезли и желтенькие тени у висков, и две чуть заметные сеточки у наружных углов глаз. Кожа щек налилась ровным розовым цветом, лоб стал бел и чист, а парикмахерская завивка волос развилась.

На тридцатилетнюю Маргариту из зеркала глядела от природы кудрявая черноволосая женщина лет двадцати, безудержно хохочущая, скалящая зубы.

Нахохотавшись, Маргарита выскочила из халата одним прыжком и широко зачерпнула легкий жирный крем и сильными мазками начала втирать его в кожу тела. Оно сейчас же порозовело и загорелось. Затем мгновенно, как будто из мозга выхватили иголку, утих висок, нывший весь вечер после свидания в Александровском саду, мускулы рук и ног окрепли, а затем тело Маргариты потеряло вес.

Она подпрыгнула и повисла в воздухе невысоко над ковром, потом ее медленно потянуло вниз, и она опустилась.

— Ай да крем! Ай да крем! — закричала Маргарита, бросаясь в кресло.

Втирания изменили ее не только внешне. Теперь в ней во всей, в каждой частице тела, вскипала радость, которую она ощутила, как пузырьки, колющие все ее тело. Маргарита ощутила себя свободной,

свободной от всего. Кроме того, она поняла со всей ясностью, что именно случилось то, о чем еще утром говорило предчувствие, и что она покидает особняк и прежнюю свою жизнь навсегда. Но от этой прежней жизни все же откололась одна мысль о том, что нужно исполнить только один последний долг перед началом чего-то нового, необыкновенного, тянущего ее наверх, в воздух. И она, как была нагая, из спальни, то и дело взлетая на воздух, перебежала в кабинет мужа и, осветив его, кинулась к письменному столу. На вырванном из блокнота листе она без помарок быстро и крупно карандашом написала записку:

«Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Мне пора. Прощай.

Маргарита».

С совершенно облегченной душой Маргарита прилетела в спальню, и следом за нею туда же вбежала Наташа, нагруженная вещами. И тотчас все эти вещи: деревянные плечики с платьем, кружевные платки, синие шелковые туфли на распялках и поясок — все это посыпалось на пол, и Наташа всплеснула освободившимися руками.

— Что, хороша? — громко крикнула охрипшим голосом Маргарита Николаевна.

— Как же это? — шептала Наташа, пятясь. — Как вы это делаете, Маргарита Николаевна?

— Это крем! Крем, крем! — ответила Маргарита, указывая на сверкающую золотую коробку и поворачиваясь перед зеркалом.

Наташа, забыв про валяющееся на полу мятое платье, подбежала к трюмо и жадными, загоревшимися глазами уставилась на остаток мази. Губы ее что-то шептали. Она опять повернулась к Маргарите и проговорила с каким-то благоговением:

— Кожа-то, а? Кожа-то, Маргарита Николаевна, ведь ваша кожа светится! — Но тут она опомнилась, подбежала к платью, подняла и стала отряхивать его.

— Бросьте! Бросьте! — кричала ей Маргарита. — К черту его, все бросьте! Впрочем, нет, берите его себе на память. Говорю, берите на память. Все забирайте, что есть в комнате!

Как будто ополоумев, неподвижная Наташа некоторое время смотрела на Маргариту, потом повисла у нее на шее, целуя и крича:

— Атласная! Светится! Атласная! А брови-то, брови!

— Берите все тряпки, берите духи и волоките к себе в сундук, прячьте, — кричала Маргарита, — но драгоценностей не берите, а то вас в краже обвинят!

Наташа сгребла в узел, что ей попало под руку, платья, туфли, чулки и белье, и побежала вон из спальни.

В это время откуда-то с другой стороны переулка, из открытого окна, вырвался и полетел громовой виртуозный вальс и послышалось пыхтение подъехавшей к воротам машины.

— Сейчас позвонит Азазелло! — воскликнула Маргарита, слушая сыплющийся в переулке вальс. — Он позвонит! А иностранец безопасен. Да, теперь я понимаю, что он безопасен!

Машина зашумела, удаляясь от ворот. Стукнула калитка, и на плитках дорожки послышались шаги.

«Это Николай Иванович, по шагам узнаю, — подумала Маргарита, — надо будет сделать на прощание что-то очень смешное и интересное».

Маргарита рванула штору в сторону и села на подоконник боком, охватив колено руками. Лунный свет лизнул ее с правого бока. Маргарита подняла голову к луне и сделала задумчивое и поэтическое лицо. Шаги стукнули еще раза два и затем внезапно стихли. Еще полюбовавшись на луну, вздохнув для приличия, Маргарита повернула голову в сад и действительно увидела Николая Ивановича, проживающего в нижнем этаже этого самого особняка. Луна ярко заливала Николая Ивановича. Он сидел на скамейке, и по всему было видно, что он опустился на нее внезапно. Пенсне на его лице как-то перекосилось, а свой портфель он сжимал в руках.

— А, здравствуйте, Николай Иванович, — грустным голосом сказала Маргарита, — добрый вечер! Вы из заседания?

Николай Иванович ничего не ответил на это.

— А я, — продолжала Маргарита, побольше высовываясь в сад, — сижу одна, как видите, скучаю, гляжу на луну и слушаю вальс.

Левою рукою Маргарита провела по виску, поправляя прядь волос, потом сказала сердито:

— Это невежливо, Николай Иванович! Все-таки я дама, в конце концов! Ведь это хамство не отвечать, когда с вами разговаривают!

Николай Иванович, видный в луне до последней пуговки на серой жилетке, до последнего волоска в светлой бородке клинышком, вдруг усмехнулся дикой усмешкой, поднялся со скамейки и, очевидно, не помня себя от смущения, вместо того чтобы снять шляпу, махнул портфелем в сторону и ноги согнул, как будто собирался пуститься вприсядку.

— Ах, какой вы скучный тип, Николай Иванович! — продолжала Маргарита. — Вообще вы все мне так надоели, что я выразить вам этого не могу, и так я счастлива, что с вами расстаюсь! Ну вас к чертовой матери!

В это время за спиной Маргариты в спальне грянул телефон. Маргарита сорвалась с подоконника и, забыв про Николая Ивановича, схватила трубку.

— Говорит Азазелло, — сказали в трубке.

— Милый, милый Азазелло! — вскричала Маргарита.

— Пора! Вылетайте, — заговорил Азазелло в трубке, и по тону его было слышно, что ему приятен искренний, радостный порыв Маргариты, — когда будете пролетать над воротами, крикните: «Невидима!» Потом полетайте над городом, чтобы попривыкнуть, а затем на юг, вон из города, и прямо на реку. Вас ждут!

Маргарита повесила трубку, и тут в соседней комнате что-то деревянно заковыляло и стало биться в дверь. Маргарита распахнула ее, и половая щетка, щетиной вверх, танцуя, влетела в спальню. Концом своим она выбивала дробь на полу, лягалась и рвалась в окно. Маргарита взвизгнула от восторга и вскочила на щетку верхом. Тут

только у наездницы мелькнула мысль о том, что она в этой суматохе забыла одеться. Она галопом подскочила к кровати и схватила первое попавшееся, какую-то голубую сорочку. Взмахнув ею, как штандартом, она вылетела в окно. И вальс над садом ударил сильнее.

С окошка Маргарита скользнула вниз и увидела Николая Ивановича на скамейке. Тот как бы застыл на ней и в полном ошеломлении прислушивался к крикам и грохоту, доносящимся из освещенной спальни верхних жильцов.

— Прощайте, Николай Иванович! — закричала Маргарита, приплясывая перед Николаем Ивановичем.

Тот охнул и пополз по скамейке, перебирая по ней руками и сбив наземь свой портфель.

— Прощайте навсегда! Я улетаю! — кричала Маргарита, заглушая вальс. Тут она сообразила, что рубашка ей ни к чему не нужна, и, зловеще захохотав, накрыла ею голову Николая Ивановича. Ослепленный Николай Иванович грохнулся со скамейки на кирпичи дорожки.

Маргарита обернулась, чтобы в последний раз глянуть на особняк, где так долго она мучилась, и увидела в пылающем окне искаженное от изумления лицо Наташи.

— Прощай, Наташа! — прокричала Маргарита и вздернула щетку. — Невидима! Невидима! — еще громче крикнула она и между ветвями клена, хлестнувшими ее по лицу, перелетев ворота, вылетела в переулок. И вслед ей полетел совершенно обезумевший вальс.

Глава 21 ПОЛЕТ

Невидима и свободна! Невидима и свободна! Пролетев по своему переулку, Маргарита попала в другой, пересекавший первый под прямым углом. Этот заплатанный, заштопанный, кривой и длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки, где кружками продают керосин и жидкость от паразитов во флаконах, она перерезала в одно мгновение и тут усвоила, что, даже будучи совершенно свободной и невидимой, все же и в наслаждении нужно быть хоть немного благоразумной. Только каким-то чудом затормозившись, она не разбилась насмерть о старый покосившийся фонарь на углу. Увернувшись от него, Маргарита покрепче сжала щетку и полетела медленнее, вглядываясь в электрические провода и вывески, висящие поперек тротуара.

Третий переулок вел прямо к Арбату. Здесь Маргарита совершенно освоилась с управлением щеткой, поняла, что та слушается малейшего прикосновения рук или ног и что, летя над городом, нужно быть очень внимательной и не очень буйствовать. Кроме того, совершенно ясно стало уже в переулке, что прохожие летунью не ви-

дят. Никто не задирал головы, не кричал «гляди, гляди!», не шарахался в сторону, не визжал и не падал в обморок, диким смехом не хохотал.

Маргарита летела беззвучно, очень медленно и невысоко, примерно на уровне второго этажа. Но и при медленном лете, у самого выхода на ослепительно освещенный Арбат, она немного промахнулась и плечом ударилась о какой-то освещенный диск, на котором была нарисована стрела. Это рассердило Маргариту. Она осадила послушную щетку, отлетела в сторону, а потом, бросившись на диск внезапно, концом щетки разбила его вдребезги. Посыпались с грохотом осколки, прохожие шарахнулись, где-то засвистели, а Маргарита, совершив этот ненужный поступок, расхохоталась. «На Арбате надо быть еще поосторожнее, — подумала Маргарита, — тут столько напутано всего, что и не разберешься». Она принялась нырять между проводами. Под Маргаритой плыли крыши троллейбусов, автобусов и легковых машин, а по тротуарам, как казалось сверху Маргарите, плыли реки кепок. От этих рек отделялись ручейки и вливались в огненные пасти ночных магазинов.

«Э, какое месиво! — сердито подумала Маргарита. — Тут повернуться нельзя». Она пересекла Арбат, поднялась повыше, к четвертым этажам, и мимо ослепительно сияющих трубок на угловом здании театра проплыла в узкий переулок с высокими домами. Все окна в них были открыты, и всюду слышалась в окнах радиомузыка. Из любопытства Маргарита заглянула в одно из них. Увидела кухню. Два примуса ревели на плите, возле них стояли две женщины с ложками в руках и переругивались.

— Свет надо тушить за собой в уборной, вот что я вам скажу, Пелагея Петровна, — говорила та женщина, перед которой была кастрюля с какой-то снедью, от которой валил пар, — а то мы на выселение на вас подадим!

— Сами вы хороши, — отвечала другая.

— Обе вы хороши, — звучно сказала Маргарита, переваливаясь через подоконник в кухню. Обе ссорящиеся повернулись на голос и замерли с грязными ложками в руках. Маргарита осторожно протянула руку между ними, повернула краны в обоих примусах и потушила их. Женщины охнули и открыли рты. Но Маргарита уже соскучилась в кухне и вылетела в переулок.

В конце его ее внимание привлекла роскошная громада восьмиэтажного, видимо, только что построенного дома. Маргарита пошла вниз и, приземлившись, увидела, что фасад дома выложен черным мрамором, что двери широкие, что за стеклом их виднеется фуражка с золотым галуном и пуговицы швейцара и что над дверьми золотом выведена надпись: «Дом Драмлита».

Маргарита щурилась на надпись, соображая, что бы могло означать слово «Драмлит». Взяв щетку под мышку, Маргарита вошла в подъезд, толкнув дверью удивленного швейцара, и увидела рядом с лифтом на стене черную громадную доску, а на ней выписанные белыми буквами номера квартир и фамилии жильцов. Венчающая список надпись «Дом Драматурга и Литератора» заставила Маргариту

испустить хищный задушенный вопль. Поднявшись в воздухе повыше, она жадно начала читать фамилии: Хустов, Двубратский, Квант, Бескудников, Латунский...

— Латунский! — завизжала Маргарита. — Латунский! Да ведь это же он... Это он погубил мастера!

Швейцар у дверей, выкатив глаза и даже подпрыгивая от удивления, глядел на черную доску, стараясь понять такое чудо: почему это завизжал внезапно список жильцов.

А Маргарита в это время уже поднималась стремительно вверх по лестнице, повторяя в каком-то упоении:

— Латунский — восемьдесят четыре... Латунский — восемьдесят четыре...

Вот налево — 82, направо — 83, еще выше, налево — 84. Здесь! Вот и карточка — «О.Латунский».

Маргарита соскочила со щетки, и разгоряченные ее подошвы приятно охладила каменная площадка. Маргарита позвонила раз, другой. Но никто не открывал. Маргарита стала посильнее жать кнопку и сама слышала трезвон, который поднялся в квартире Латунского. Да, по гроб жизни должен быть благодарен покойному Берлиозу обитатель квартиры № 84 в восьмом этаже за то, что председатель Массолита попал под трамвай, и за то, что траурное заседание назначили как раз на этот вечер. Под счастливой звездой родился критик Латунский. Она спасла его от встречи с Маргаритой, ставшей ведьмой в эту пятницу.

Никто не открывал. Тогда во весь мах Маргарита понеслась вниз, отсчитывая этажи, долетела донизу, вырвалась на улицу и, глядя вверх, отсчитала и проверила этажи снаружи, соображая, какие именно окна квартиры Латунского. Несомненно, что это были пять темных окон на углу здания, в восьмом этаже. Уверившись в этом, Маргарита поднялась в воздухе и через несколько секунд сквозь открытое окно входила в неосвещенную комнату, в которой серебрилась только узенькая дорожка от луны. По ней пробежала Маргарита, нашарила выключатель. Через минуту вся квартира была освещена. Щетка стояла в углу. Удостоверившись, что дома никого нету, Маргарита открыла дверь на лестницу и проверила, тут ли карточка. Карточка была на месте, Маргарита попала туда, куда нужно было.

Да, говорят, что и до сих пор критик Латунский бледнеет, вспоминая этот страшный вечер, и до сих пор с благоговением произносит имя Берлиоза. Совершенно неизвестно, какою темной и гнусной уголовщиной ознаменовался бы этот вечер, — по возвращении из кухни Маргариты в руках у нее оказался тяжелый молоток.

Нагая и невидимая летунья сдерживала и уговаривала себя, руки ее тряслись от нетерпения. Внимательно прицелившись, Маргарита ударила по клавишам рояля, и по всей квартире пронесся первый жалобный вой. Исступленно кричал ни в чем не повинный беккеровский кабинетный инструмент. Клавиши в нем проваливались, костяные накладки летели во все стороны. Инструмент гудел, выл, хрипел, звенел. Со звуком револьверного выстрела лопнула под ударом молотка верхняя лированная дека. Тяжело дыша, Маргарита

рвала и мяла молотком струны. Наконец, уставши, отвалилась, бухнулась в кресло, чтобы отдышаться.

В ванной страшно гудела вода и в кухне также. «Кажется, уже полилось на пол...» — подумала Маргарита и добавила вслух:

— Однако рассиживаться нечего.

Из кухни в коридор уже бежал поток. Шлепая босыми ногами в воде, Маргарита ведрами носила из кухни воду в кабинет критика и выливала ее в ящики письменного стола. Потом, разломав молотком двери шкафа в этом же кабинете, бросилась в спальню. Разбив зеркальный шкаф, она вытащила из него костюм критика и утопила его в ванне. Полную чернильницу чернил, захваченную в кабинете, она вылила в пышно взбитую двуспальную кровать в спальне. Разрушение, которое она производила, доставляло ей жгучее наслаждение, но при этом ей все время казалось, что результаты получаются какие-то мизерные. Поэтому она стала делать что попало. Она била вазоны с фикусами в той комнате, где был рояль. Не докончив этого, возвращалась в спальню и кухонным ножом резала простыни, била застекленные фотографии. Усталости она не чувствовала, и только пот тек по ней ручьями.

В это время в квартире № 82, под квартирой Латунского, домработница драматурга Кванта пила чай в кухне, недоумевая по поводу того, что сверху доносится какой-то грохот, беготня и звон. Подняв голову к потолку, она вдруг увидела, что он на глазах у нее меняет свой белый цвет на какой-то мертвенно-синеватый. Пятно расширялось на глазах, и вдруг на нем взбухли капли. Минуты две сидела домработница, дивясь такому явлению, пока наконец из потолка не пошел настоящий дождь и не застучал по полу. Тут она вскочила, подставила под струи таз, что нисколько не помогло, так как дождь расширился и стал заливать и газовую плиту и стол с посудой. Тогда, вскрикнув, домработница Кванта выбежала из квартиры на лестницу, и тотчас же в квартире Латунского начались звонки.

— Ну, зазвонили... Пора собираться, — сказала Маргарита. Она села на щетку, прислушиваясь к тому, как женский голос кричит в скважину двери:

— Откройте, откройте! Дуся, открой! У вас, что ль, вода течет? Нас залило.

Маргарита поднялась на метр вверх и ударила по люстре. Две лампочки разорвало, и во все стороны полетели подвески. Крики в скважине прекратились, на лестнице послышался топот. Маргарита выплыла в окно, оказалась снаружи окна, размахнулась несильно и молотком ударила в стекло. Оно всхлипнуло, и по облицованной мрамором стене каскадом побежали вниз осколки. Маргарита поехала к следующему окну. Далеко внизу забегали люди по тротуару, из двух стоявших у подъезда машин одна загудела и отъехала.

Покончив с окнами Латунского, Маргарита поплыла к соседней квартире. Удары стали чаще, переулок наполнился звоном и грохотом. Из первого подъезда выбежал швейцар, поглядел вверх, немного поколебался, очевидно, не сообразив сразу, что ему предпринять, всунул в рот свисток и бешено засвистел. С особенным азартом под

этот свист рассадив последнее стекло в восьмом этаже, Маргарита спустилась к седьмому и начала крушить стекла в нем.

Измученный долгим бездельем за зеркальными дверями подъезда, швейцар вкладывал в свист всю душу, причем точно следовал за Маргаритой, как бы аккомпанируя ей. В паузах, когда она перелетала от окна к окну, он набирал духу, а при каждом ударе Маргариты, надув щеки, заливался, буравя ночной воздух до самого неба.

Его усилия, в соединении с усилиями разъяренной Маргариты, дали большие результаты. В доме шла паника. Целые еще стекла распахивались, в них появлялись головы людей и тотчас же прятались, открытые же окна, наоборот, закрывались. В противоположных домах в окнах на освещенном фоне возникали темные силуэты людей, старавшихся понять, почему без всякой причины лопаются стекла в новом здании Драмлита.

В переулке народ бежал к дому Драмлита, а внутри его по всем лестницам топотали мечущиеся без всякого толка и смысла люди. Домработница Кванта кричала бегущим по лестнице, что их залило, а к ней вскоре присоединилась домработница Хустова из квартиры № 80, помещавшейся под квартирой Кванта. У Хустовых хлынуло с потолка и в кухне и в уборной. Наконец, у Квантов в кухне обрушился громадный пласт штукатурки с потолка, разбив всю грязную посуду, после чего пошел уж настоящий ливень: из клеток обвисшей мокрой драни хлынуло как из ведра. Тогда на лестнице первого подъезда начались крики. Пролетая мимо предпоследнего окна четвертого этажа, Маргарита заглянула в него и увидела человека, в панике напялившего на себя противогаз. Ударив молотком в его стекло, Маргарита вспугнула его, и он исчез из комнаты.

И неожиданно дикий разгром прекратился. Скользнув к третьему этажу, Маргарита заглянула в крайнее окно, завешенное легонькой темной шторкой. В комнате горела слабенькая лампочка под колпачком. В маленькой кровати с сеточными боками сидел мальчик лет четырех и испуганно прислушивался. Взрослых никого не было в комнате. Очевидно, все выбежали из квартиры.

— Стекла бьют, — проговорил мальчик и позвал: — Мама!

Никто не отозвался, и тогда он сказал:

— Мама, я боюсь.

Маргарита откинула шторку и влетела в окно.

— Я боюсь, — повторил мальчик и задрожал.

— Не бойся, не бойся, маленький, — сказала Маргарита, стараясь смягчить свой осипший на ветру, преступный голос, — это мальчишки стекла били.

— Из рогатки? — спросил мальчик, переставая дрожать.

— Из рогатки, из рогатки, — подтвердила Маргарита, — а ты спи!

— Это Ситник, — сказал мальчик, — у него есть рогатка.

— Ну конечно, он!

Мальчик поглядел лукаво куда-то в сторону и спросил:

— А ты где, тетя?

— А меня нету, — ответила Маргарита, — я тебе снюсь.

— Я так и думал, — сказал мальчик.

— Ты ложись, — приказала Маргарита, — подложи руку под щеку, а я тебе буду сниться.

— Ну, снись, снись, — согласился мальчик и тотчас улегся и руку подложил под щеку.

— Я тебе сказку расскажу, — заговорила Маргарита и положила разгоряченную руку на стриженую голову. — Была на свете одна тетя. И у нее не было детей, и счастья вообще тоже не было. И вот она сперва долго плакала, а потом стала злая... — Маргарита умолкла, сняла руку — мальчик спал.

Маргарита тихонько положила молоток на подоконник и вылетела из окна. Возле дома была кутерьма. По асфальтированному тротуару, усеянному битым стеклом, бегали и что-то выкрикивали люди. Между ними уже мелькали милиционеры. Внезапно ударил колокол, и с Арбата в переулок вкатила красная пожарная машина с лестницей...

Но дальнейшее уже не интересовало Маргариту. Прицелившись, чтоб не задеть за какой-нибудь провод, она покрепче сжала щетку и во мгновение оказалась выше злополучного дома. Переулок под нею покосился набок и провалился вниз. Вместо него одного под ногами у Маргариты возникло скопище крыш, под углами перерезанное сверкающими дорожками. Все оно неожиданно поехало в сторону, и цепочки огней смазались и слились.

Маргарита сделала еще один рывок, и тогда все скопище крыш провалилось сквозь землю, а вместо него появилось внизу озеро дрожащих электрических огней, и это озеро внезапно поднялось вертикально, а затем появилось над головой у Маргариты, а под ногами блеснула луна. Поняв, что она перекувыркнулась, Маргарита приняла нормальное положение и, обернувшись, увидела, что и озера уже нет, а что там, сзади за нею, осталось только розовое зарево на горизонте. И оно исчезло через секунду, и Маргарита увидела, что она наедине с летящей над нею и слева луною. Волосы Маргариты давно уже стояли копной, а лунный свет со свистом омывал ее тело. По тому, как внизу два ряда редких огней слились в две непрерывные огненные черты, по тому, как быстро они пропали сзади, Маргарита догадалась, что она летит с чудовищной скоростью, и поразилась тому, что она не задыхается.

По прошествии нескольких секунд далеко внизу, в земной черноте, вспыхнуло новое озеро электрического света и подвалилось под ноги летящей, но оно тут же завертелось винтом и провалилось в землю. Еще несколько секунд — такое же точно явление.

— Города! Города! — прокричала Маргарита.

После этого раза два или три она видела под собою тускло отсвечивающие какие-то сабли, лежащие в открытых черных футлярах, и сообразила, что это реки.

Поворачивая голову вверх и влево, летящая любовалась тем, что луна несется над нею, как сумасшедшая, обратно в Москву и в то же время странным образом стоит на месте, так что отчетливо виден на ней какой-то загадочный, темный — не то дракон, не то конек-горбунок, острой мордой обращенный к покинутому городу.

Тут Маргаритой овладела мысль, что, по сути дела, она зря столь исступленно гонит щетку. Что она лишает себя возможности что-либо как следует рассмотреть, как следует упиться полетом. Ей что-то подсказывало, что там, куда она летит, ее подождут и что незачем ей скучать от такой безумной быстроты и высоты.

Маргарита наклонила щетку щетиной вперед, так что хвост ее поднялся кверху, и, очень замедлив ход, пошла к самой земле. И это скольжение, как на воздушных салазках, вниз принесло ей наибольшее наслаждение. Земля поднялась к ней, и в бесформенной до этого черной гуще ее обозначились ее тайны и прелести во время лунной ночи. Земля шла к ней, и Маргариту уже обдавало запахом зеленеющих лесов. Маргарита летела над самыми туманами росистого луга, потом над прудом. Под Маргаритой хором пели лягушки, а где-то вдали, почему-то очень волнуя сердце, шумел поезд. Маргарита вскоре увидела его. Он полз медленно, как гусеница, сыпя в воздух искры. Обогнав его, Маргарита прошла еще над одним водным зеркалом, в котором проплыла под ногами вторая луна, еще более снизилась и пошла, чуть-чуть не задевая ногами верхушки громадных сосен.

Тяжкий шум вспарываемого воздуха послышался сзади и стал настигать Маргариту. Постепенно к этому шуму чего-то летящего, как снаряд, присоединился слышный на много верст женский хохот. Маргарита оглянулась и увидела, что ее догоняет какой-то сложный темный предмет. Настигая Маргариту, он все более обозначался, стало видно, что кто-то летит верхом. А наконец он и совсем обозначился: замедляя ход, Маргариту догнала Наташа.

Она, совершенно нагая, с летящими по воздуху растрепанными волосами, летела верхом на толстом борове, зажимавшем в передних копытцах портфель, а задними ожесточенно молотящем воздух. Изредка поблескивающее в луне, а потом потухающее пенсне, свалившееся с носа, летело рядом с боровом на шнуре, а шляпа то и дело наезжала борову на глаза. Хорошенько всмотревшись, Маргарита узнала в борове Николая Ивановича, и тогда хохот ее загремел над лесом, смешавшись с хохотом Наташи.

— Наташка! — пронзительно закричала Маргарита. — Ты намазалась кремом?

— Душенька! — будя своими воплями заснувший сосновый лес, отвечала Наташа. — Королева моя французская, ведь я и ему намазала лысину, и ему!

— Принцесса! — плаксиво проорал боров, галопом неся всадницу.

— Душенька! Маргарита Николаевна! — кричала Наташа, скача рядом с Маргаритой. — Сознаюсь, взяла крем! Ведь и мы хотим жить и летать! Простите меня, повелительница, а я не вернусь, нипочем не вернусь! Ах, хорошо, Маргарита Николаевна!.. Предложение мне делал, — Наташа стала тыкать пальцем в шею сконфуженно пыхтящего борова, — предложение! Ты как меня называл, а? — кричала она, наклоняясь к уху борова.

— Богиня! — завывал тот. — Не могу я так быстро лететь! Я бумаги могу важные растерять. Наталья Прокофьевна, я протестую.

— Да ну тебя к черту с твоими бумагами! — дерзко хохоча, кричала Наташа.

— Что вы, Наталья Прокофьевна! Нас услышит кто-нибудь! — моляще орал боров.

Летя галопом рядом с Маргаритой, Наташа с хохотом рассказывала ей о том, что произошло в особняке после того, как Маргарита Николаевна улетела через ворота.

Наташа созналась в том, что, не прикоснувшись более ни к каким подаренным вещам, она сбросила с себя одежду и кинулась к крему и немедленно им намазалась. И с нею произошло то же, что с ее хозяйкой. В то время как Наташа, хохоча от радости, упивалась перед зеркалом своей волшебною красой, дверь открылась, и перед Наташей явился Николай Иванович. Он был взволнован, в руках он держал сорочку Маргариты Николаевны и собственную свою шляпу и портфель. Увидев Наташу, Николай Иванович обомлел. Несколько справившись с собою, весь красный как рак, он объявил, что счел долгом поднять рубашечку, лично принести ее...

— Что говорил, негодяй! — визжала и хохотала Наташа. — Что говорил, на что сманивал! Какие деньги сулил! Говорил, что Клавдия Петровна ничего не узнает. Что, скажешь, вру? — кричала Наташа борову, и тот только сконфуженно отворачивал морду.

Расшалившись в спальне, Наташа мазнула кремом Николая Ивановича и сама оторопела от удивления. Лицо почтенного нижнего жильца свело в пятачок, а руки и ноги оказались с копытцами. Глянув на себя в зеркало, Николай Иванович отчаянно и дико завыл, но было уже поздно. Через несколько секунд он, оседланный, летел куда-то к черту из Москвы, рыдая от горя.

— Требую возвращения моего нормального облика! — вдруг не то исступленно, не то моляще прохрипел и захрюкал боров. — Я не намерен лететь на незаконное сборище! Маргарита Николаевна, вы обязаны унять вашу домработницу!

— Ах, так я тебе теперь домработница? Домработница? — вскрикивала Наташа, нащипывая ухо борову. — А была богиня? Ты меня как называл?

— Венера! — плаксиво отвечал боров, пролетая над ручьем, шумящим меж камней, и копытцами задевая шорохом за кусты орешника.

— Венера! Венера! — победно прокричала Наташа, подбоченившись одной рукой, а другую простирая к луне. — Маргарита! Королева! Упросите за меня, чтоб меня ведьмой оставили! Вам всё сделают, вам власть дана!

И Маргарита отозвалась:

— Хорошо, я обещаю.

— Спасибо! — прокричала Наташа и вдруг закричала резко и както тоскливо: — Гей! Гей! Скорей! Скорей! А ну-ка, надбавь! — Она сжала пятками похудевшие в безумной скачке бока борова, и тот рванул так, что опять распороло воздух, и через мгновение Наташа уже была видна впереди, как черная точка, а потом и совсем пропала, и шум ее полета растаял.

Маргарита летела по-прежнему медленно в пустынной и неизвестной местности, над холмами, усеянными редкими валунами, лежащими меж отдельных громадных сосен. Маргарита летела и думала о том, что она, вероятно, где-то очень далеко от Москвы. Щетка летела не над верхушками сосен, а уже между их стволами, с одного бока посеребренными луной. Легкая тень летящей скользила по земле впереди — теперь луна светила в спину Маргарите.

Маргарита чувствовала близость воды и догадывалась, что цель близка. Сосны разошлись, и Маргарита тихо подъехала по воздуху к меловому обрыву. За этим обрывом внизу, в тени, лежала река. Туман висел и цеплялся за кусты внизу вертикального обрыва, а противоположный берег был плоский, низменный. На нем, под одинокой группой каких-то раскидистых деревьев, метался огонечек от костра и виднелись какие-то движущиеся фигурки. Маргарите показалось, что оттуда доносится какая-то зудящая веселенькая музыка. Далее, сколько хватало глаз, на посеребренной равнине не виделось никаких признаков ни жилья, ни людей.

Маргарита прыгнула с обрыва вниз и быстро спустилась к воде. Вода манила ее после воздушной гонки. Отбросив от себя щетку, она разбежалась и кинулась в воду вниз головой. Легкое ее тело, как стрела, вонзилось в воду, и столб воды выбросило почти до самой луны. Вода оказалась теплой, как в бане, и, вынырнув из бездны, Маргарита вдоволь наплавалась в полном одиночестве ночью в этой реке.

Рядом с Маргаритой никого не было, но немного подальше за кустами слышались всплески и фырканье, там тоже кто-то купался.

Маргарита выбежала на берег. Тело ее пылало после купанья. Усталости никакой она не ощущала и радостно приплясывала на влажной траве. Вдруг она перестала танцевать и насторожилась. Фырканье стало приближаться, и из-за ракитовых кустов вылез какой-то голый толстяк в черном шелковом цилиндре, заломленном на затылок. Ступни его ног были в илистой грязи, так что казалось, будто купальщик в черных ботинках. Судя по тому, как он отдувался и икал, был он порядочно выпивши, что, впрочем, подтверждалось и тем, что река вдруг стала издавать запах коньяку.

Увидев Маргариту, толстяк стал вглядываться, а потом радостно заорал:

— Что такое? Ее ли я вижу? Клодина, да ведь это ты, неунывающая вдова! И ты здесь? — тут он полез здороваться.

Маргарита отступила и с достоинством ответила:

— Пошел ты к чертовой матери. Какая я тебе Клодина? Ты смотри, с кем разговариваешь, — и, подумав мгновение, она прибавила к своей речи длинное непечатное ругательство. Все это произвело на легкомысленного толстяка отрезвляющее действие.

— Ой! — тихо воскликнул он и вздрогнул. — Простите великодушно, светлая королева Марго! Я обознался. А виноват коньяк, будь он проклят! — Толстяк опустился на одно колено, цилиндр отнес в сторону, сделал поклон и залопотал, мешая русские фразы с французскими, какой-то вздор про кровавую свадьбу своего друга

в Париже Гессара, и про коньяк, и про то, что он подавлен грустной ошибкой.

— Ты бы брюки надел, сукин сын, — сказала, смягчаясь, Маргарита.

Толстяк радостно осклабился, видя, что Маргарита не сердится, и восторженно сообщил, что оказался без брюк в данный момент лишь потому, что по рассеянности оставил их на реке Енисее, где купался перед тем, но что он сейчас же летит туда, благо это рукой подать, и затем, поручив себя расположению и покровительству, начал отступать задом и отступал до тех пор, пока не поскользнулся и навзничь не упал в воду. Но и падая, сохранил на окаймленном небольшими бакенбардами лице улыбку восторга и преданности.

Маргарита же пронзительно свистнула и, оседлав подлетевшую щетку, перенеслась над рекой на противоположный берег. Тень меловой горы сюда не достигала, и весь берег заливала луна.

Лишь только Маргарита коснулась влажной травы, музыка под вербами ударила сильнее и веселее взлетел сноп искр из костра. Под ветвями верб, усеянными нежными, пушистыми сережками, видными в луне, сидели в два ряда толстомордые лягушки и, раздуваясь, как резиновые, играли на деревянных дудочках бравурный марш. Светящиеся гнилушки висели на ивовых прутиках перед музыкантами, освещали ноты, на лягушачьих мордах играл мятущийся свет от костра.

Марш игрался в честь Маргариты. Прием ей оказан был самый торжественный. Прозрачные русалки остановили свой хоровод над рекою и замахали Маргарите водорослями, и над пустынным зеленоватым берегом простонали далеко слышные их приветствия. Нагие ведьмы, выскочив из-за верб, выстроились в ряд и стали приседать и кланяться придворными поклонами. Кто-то козлоногий подлетел и припал к руке, раскинул на траве шелк, осведомился о том, хорошо ли купалась королева, предложил прилечь и отдохнуть.

Маргарита так и сделала. Козлоногий поднес ей бокал с шампанским, она выпила его, и сердце ее сразу согрелось. Осведомившись о том, где Наташа, она получила ответ, что Наташа уже выкупалась и полетела на своем борове вперед, в Москву, чтобы предупредить о том, что Маргарита скоро будет, и помочь приготовить для нее наряд.

Короткое пребывание Маргариты под вербами ознаменовалось одним эпизодом. В воздухе раздался свист, и черное тело, явно промахнувшись, обрушилось в воду. Через несколько мгновений перед Маргаритой предстал тот самый толстяк-бакенбардист, что так неудачно представился на том берегу. Он успел, по-видимому, смотаться на Енисей, ибо был во фрачном наряде, но мокр с головы до ног. Коньяк подвел его вторично: высаживаясь, он все-таки угодил в воду. Но улыбки своей он не утратил и в этом печальном случае и был смеющеюся Маргаритой допущен к руке.

Затем все стали собираться. Русалки доплясали свой танец в лунном свете и растаяли в нем. Козлоногий почтительно осведомится у Маргариты, на чем она прибыла на реку. Узнав, что она явилась верхом на щетке, сказал:

— О, зачем же, это неудобно, — мигом соорудил из двух сучков какой-то подозрительный телефон и потребовал у кого-то сию же минуту прислать машину, что и исполнилось, действительно, в одну минуту. На остров обрушилась буланая открытая машина, только на шоферском месте сидел не обычного вида шофер, а черный длинноносый грач в клеенчатой фуражке и в перчатках с раструбами. Островок пустел. В лунном пылании растворились улетевшие ведьмы. Костер догорал, и угли затягивало седою золой.

Бакенбардист и козлоногий подсадили Маргариту, и она опустилась на широкое заднее сиденье. Машина взвыла, прыгнула и поднялась почти к самой луне, остров пропал, пропала река, Маргарита понеслась в Москву.

Глава 22 ПРИ СВЕЧАХ

Ровное гудение машины, летящей высоко над землей, убаюкивало Маргариту, а лунный свет ее приятно согревал. Закрыв глаза, она отдала лицо ветру и думала с какой-то грустью о покинутом ею неизвестном береге реки, которую, как она чувствовала, она никогда более не увидит. После всех волшебств и чудес сегодняшнего вечера она уже догадывалась, к кому именно в гости ее везут, но это не пугало ее. Надежда на то, что там ей удастся добиться возвращения своего счастья, сделала ее бесстрашной. Впрочем, долго мечтать в машине об этом счастье ей не пришлось. Грач ли хорошо знал свое дело, машина ли была хороша, но только вскоре Маргарита, открыв глаза, увидела под собою не лесную тьму, а дрожащее озеро московских огней. Черная птица-шофер на лету отвинтил правое переднее колесо, а затем посадил машину на каком-то совершенно безлюдном кладбище в районе Дорогомилова.

Высадив ни о чем не спрашивающую Маргариту возле одного из надгробий вместе с ее щеткой, грач запустил машину, направив ее прямо в овраг за кладбищем. В него она с грохотом обрушилась и в нем погибла. Грач почтительно козырнул, сел на колесо верхом и улетел.

Тотчас из-за одного из памятников показался черный плащ. Клык сверкнул при луне, и Маргарита узнала Азазелло. Тот жестом пригласил Маргариту сесть на щетку, сам вскочил на длинную рапиру, оба взвились и никем не замеченные через несколько секунд высадились около дома № 302-бис на Садовой улице.

Когда, неся под мышкой щетку и рапиру, спутники проходили подворотню, Маргарита заметила томящегося в ней человека в кепке и высоких сапогах, кого-то, вероятно, поджидавшего. Как ни были легки шаги Азазелло и Маргариты, одинокий человек их услыхал и беспокойно дернулся, не понимая, кто их производит.

Второго, до удивительности похожего на первого, человека встретили у шестого подъезда. И опять повторилась та же история. Шаги... Человек беспокойно обернулся и нахмурился. Когда же дверь открылась и закрылась, кинулся вслед за невидимыми входящими, заглянул в подъезд, но ничего, конечно, не увидел.

Третий, точная копия второго, а стало быть, и первого, дежурил на площадке третьего этажа. Он курил крепкие папиросы, и Маргарита раскашлялась, проходя мимо него. Курящий, как будто его кольнули, вскочил со скамейки, на которой сидел, начал беспокойно оглядываться, подошел к перилам, глянул вниз. Маргарита со своим провожатым в это время уже была у дверей квартиры № 50. Звонить не стали, Азазелло бесшумно открыл дверь своим ключом.

Первое, что поразило Маргариту, это та тьма, в которую она попала. Было темно, как в подземелье, так что она невольно уцепилась за плащ Азазелло, опасаясь споткнуться. Но тут вдалеке и вверху замигал огонек какой-то лампадки и начал приближаться. Азазелло на ходу вынул у Маргариты из-под мышки щетку, и та исчезла без всякого звука в темноте. Тут стали подниматься по каким-то широким ступеням, и Маргарите начало казаться, что конца им не будет. Ее поражало, как в передней обыкновенной московской квартиры может поместиться эта необыкновенная невидимая, но хорошо ощущаемая бесконечная лестница. Но подъем кончился, и Маргарита поняла, что она стоит на площадке. Огонек приблизился вплотную, и Маргарита увидела освещенное лицо мужчины, длинного и черного, держащего в руке эту самую лампадку. Те, кто имел уже несчастье в эти дни попасться на его дороге, даже при этом слабом свете язычка в лампадке, конечно, тотчас же узнали бы его. Это был Коровьев, он же Фагот.

Правда, внешность Коровьева весьма изменилась. Мигающий огонек отражался не в треснувшем пенсне, которое давно пора было бы выбросить на помойку, а в монокле, правда, тоже треснувшем. Усишки на наглом лице были подвиты и напомажены, а чернота Коровьева объяснялась очень просто — он был во фрачном наряде. Белела только его грудь.

Маг, регент, чародей, переводчик или черт его знает кто на самом деле — словом, Коровьев — раскланялся и, широко поведя лампадой по воздуху, пригласил Маргариту следовать за ним. Азазелло исчез.

«Удивительно странный вечер, — думала Маргарита, — я всего ожидала, но только не этого! Электричество, что ли, у них потухло? Но самое поразительное — размеры этого помещения. Каким образом все это может втиснуться в московскую квартиру? Просто-напросто никак не может!»

Как ни мало давала свету коровьевская лампадка, Маргарита поняла, что она находится в совершенно необъятном зале, да еще с колоннадой, темной и по первому впечатлению бесконечной. Возле какого-то диванчика Коровьев остановился, поставил свою лампадку на какую-то тумбу, жестом предложил Маргарите сесть, а сам поместился подле в живописной позе — облокотившись на тумбу.

— Разрешите мне представиться вам, — заскрипел Коровьев, — Коровьев. Вас удивляет, что нет света? Экономия, как вы, конечно,

подумали? Ни-ни-ни! Пусть первый попавшийся палач, хотя бы один из тех, которые сегодня, немного позже, будут иметь честь приложиться к вашему колену, на этой же тумбе оттяпает мне голову, если это так! Просто мессир не любит электрического света, и мы дадим его в самый последний момент. И тогда, поверьте, недостатка в нем не будет. Даже, пожалуй, хорошо было бы, если б его было поменьше.

Коровьев понравился Маргарите, и трескучая его болтовня подействовала на нее успокоительно.

— Нет, — ответила Маргарита, — более всего меня поражает, где все это помещается. — Она повела рукой, подчеркивая этим необъятность зала.

Коровьев сладко ухмыльнулся, отчего тени шевельнулись в складках у его носа.

— Самое несложное из всего! — ответил он. — Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам более, уважаемая госпожа, до черт знает каких пределов! Я, впрочем, — продолжал болтать Коровьев, — знавал людей, не имевших никакого представления не только о пятом измерении, но вообще ни о чем не имевших никакого представления и тем не менее проделывавших совершеннейшие чудеса в смысле расширения своего помещения. Так, например, один горожанин, как мне рассказывали, получив трехкомнатную квартиру на Земляном Валу, без всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум, мгновенно превратил ее в четырехкомнатную, разделив одну из комнат пополам перегородкой.

Засим эту он обменял на две отдельных квартиры в разных районах Москвы — одну в три и другую в две комнаты. Согласитесь, что их стало пять. Трехкомнатную он обменял на две отдельных по две комнаты и стал обладателем, как вы сами видите, шести комнат, правда, рассеянных в полном беспорядке по всей Москве. Он уже собирался произвести последний и самый блистательный вольт, поместив в газете объявление, что меняет шесть комнат в разных районах Москвы на одну пятикомнатную квартиру на Земляном Валу, как его деятельность, по не зависящим от него причинам, прекратилась. Возможно, что он сейчас и имеет какую-нибудь комнату, но только смею вас уверить, что не в Москве. Вот-с каков проныра, а вы изволите толковать про пятое измерение!

Маргарита, хоть и не толковала вовсе про пятое измерение, а толковал о нем сам Коровьев, весело рассмеялась, прослушав рассказ о похождениях квартирного проныры. Коровьев же продолжал:

— Но к делу, к делу, Маргарита Николаевна. Вы женщина весьма умная и, конечно, уже догадались о том, кто наш хозяин.

Сердце Маргариты стукнуло, и она кивнула головой.

— Ну, вот-с, вот-с, — говорил Коровьев, — мы враги всяких недомолвок и таинственностей. Ежегодно мессир дает один бал. Он называется весенним балом полнолуния, или балом ста королей. Народу!.. — Тут Коровьев ухватился за щеку, как будто у него заболел зуб. — Впрочем, я надеюсь, вы сами в этом убедитесь. Так вот-с: мессир хо-

лост, как вы, конечно, сами понимаете. Но нужна хозяйка, — Коровьев развел руками, — согласитесь сами, без хозяйки...

Маргарита слушала Коровьева, стараясь не проронить ни слова, под сердцем у нее было холодно, надежда на счастье кружила ее голову.

— Установилась традиция, — говорил далее Коровьев, — хозяйка бала должна непременно носить имя Маргариты, во-первых, а во-вторых, она должна быть местной уроженкой. А мы, как изволите видеть, путешествуем и в данное время находимся в Москве. Сто двадцать одну Маргариту обнаружили мы в Москве, и, верите ли, — тут Коровьев с отчаянием хлопнул себя по ляжке, — ни одна не подходит! И, наконец, счастливая судьба...

Коровьев выразительно ухмыльнулся, наклоняя стан, и опять похолодело сердце Маргариты.

— Короче! — вскричал Коровьев. — Совсем коротко: вы не откажетесь принять на себя эту обязанность?

— Не откажусь, — твердо ответила Маргарита.

— Кончено! — сказал Коровьев и, подняв лампаду, добавил: — Прошу за мной.

Они пошли между колоннами и наконец выбрались в какой-то другой зал, в котором почему-то сильно пахло лимонами, где слышались какие-то шорохи и где что-то задело Маргариту по голове. Она вздрогнула.

— Не пугайтесь, — сладко успокоил Коровьев, беря Маргариту под руку, — бальные ухищрения Бегемота, ничего более. И вообще я позволю себе смелость посоветовать вам, Маргарита Николаевна, никогда и ничего не бояться. Это неразумно. Бал будет пышный, не стану скрывать от вас этого. Мы увидим лиц, объем власти которых в свое время был чрезвычайно велик. Но, право, как подумаешь о том, насколько микроскопически малы их возможности по сравнению с возможностями того, в чьей свите я имею честь состоять, становится смешно и даже, я бы сказал, грустно... Да и притом вы сами — королевской крови.

— Почему королевской крови? — испуганно шепнула Маргарита, прижимаясь к Коровьеву.

— Ах, королева, — игриво трещал Коровьев, — вопросы крови — самые сложные вопросы в мире! И если бы расспросить некоторых прабабушек и в особенности тех из них, что пользовались репутацией смиренниц, удивительнейшие тайны открылись бы, уважаемая Маргарита Николаевна. Я ничуть не погрешу, если, говоря об этом, упомяну о причудливо тасуемой колоде карт. Есть вещи, в которых совершенно недействительны ни сословные перегородки, ни даже границы между государствами. Намекну: одна из французских королев, жившая в шестнадцатом веке, надо полагать, очень изумилась бы, если бы кто-нибудь сказал ей, что ее прелестную прапрапраправнучку я по прошествии многих лет буду вести под руку в Москве по бальным залам. Но мы пришли!

Тут Коровьев задул свою лампаду, и она пропала у него из рук, и Маргарита увидела лежащую на полу перед нею полоску света под

какою-то темною дверью. И в эту дверь Коровьев тихо стукнул. Тут Маргарита взволновалась настолько, что у нее застучали зубы и по спине прошел озноб.

Дверь раскрылась. Комната оказалась очень небольшой. Маргарита увидела широкую дубовую кровать со смятыми и скомканными грязными простынями и подушками. Перед кроватью стоял дубовый, на резных ножках стол, на котором помещался канделябр с гнездами в виде когтистых птичьих лап. В этих семи золотых лапах горели толстые восковые свечи. Кроме этого, на столике была большая шахматная доска с фигурками, необыкновенно искусно сделанными. На маленьком вытертом коврике стояла низенькая скамеечка. Был еще один стол с какой-то золотой чашей и другим канделябром, ветви которого были сделаны в виде змей. В комнате пахло серой и смолой. Тени от светильников перекрещивались на полу.

Среди присутствующих Маргарита сразу узнала Азазелло, теперь уже одетого во фрак и стоящего у спинки кровати. Принарядившийся Азазелло уже не походил на того разбойника, в виде которого являлся Маргарите в Александровском саду, и поклонился он Маргарите чрезвычайно галантно.

Нагая ведьма, та самая Гелла, что так смущала почтенного буфетчика Варьете, и, увы, та самая, которую, к великому счастью, вспугнул петух в ночь знаменитого сеанса, сидела на коврике на полу у кровати, помешивая в кастрюле что-то, от чего валил серный пар.

Кроме этих, был еще в комнате сидящий на высоком табурете перед шахматным столиком громаднейший черный котище, держащий в правой лапе шахматного коня.

Гелла приподнялась и поклонилась Маргарите. То же сделал и кот, соскочивши с табурета. Шаркая правой задней лапой, он уронил коня и полез за ним под кровать.

Все это замирающая от страху Маргарита разглядела в коварных тенях от свечей кое-как. Взор ее притягивала постель, на которой сидел тот, кого еще совсем недавно бедный Иван на Патриарших убеждал в том, что дьявола не существует. Этот несуществующий и сидел на кровати.

Два глаза уперлись Маргарите в лицо. Правый, с золотою искрой на дне, сверлящий любого до дна души, и левый — пустой и черный, вроде как узкое игольное ухо, как вход в бездонный колодец всякой тьмы и теней. Лицо Воланда было скошено на сторону, правый угол рта оттянут книзу, на высоком облысевшем лбу были прорезаны глубокие, параллельные острым бровям морщины. Кожу на лице Воланда как будто бы навеки сжег загар.

Воланд широко раскинулся на постели, был одет в одну ночную длинную рубашку, грязную и заплатанную на левом плече. Одну голую ногу он поджал под себя, другую вытянул на скамеечку. Колено этой темной ноги и натирала какою-то дымящейся мазью Гелла.

Еще разглядела Маргарита на раскрытой безволосой груди Воланда искусно из темного камня вырезанного жука на золотой цепочке и с какими-то письменами на спинке. Рядом с Воландом на постели,

на тяжелом постаменте, стоял странный, как будто живой и освещенный с одного бока солнцем, глобус.

Несколько секунд длилось молчание. «Он изучает меня», — подумала Маргарита и усилием воли постаралась сдержать дрожь в ногах.

Наконец Воланд заговорил, улыбнувшись, отчего его искристый глаз как бы вспыхнул:

— Приветствую вас, королева, и прошу меня извинить за мой домашний наряд.

Голос Воланда был так низок, что на некоторых слогах давал оттяжку в хрип.

Воланд взял с постели длинную шпагу, наклонившись, пошевелил ею под кроватью и сказал:

— Вылезай! Партия отменяется. Прибыла гостья.

— Ни в каком случае, — тревожно свистнул по-суфлерски над ухом Маргариты Коровьев.

— Ни в каком случае... — начала Маргарита.

— Мессир... — дохнул Коровьев в ухо.

— Ни в каком случае, мессир, — справившись с собой, тихо, но ясно ответила Маргарита и, улыбнувшись, добавила: — Я умоляю вас не прерывать партии. Я полагаю, что шахматные журналы заплатили бы недурные деньги, если б имели возможность ее напечатать.

Азазелло тихо и одобрительно крякнул, а Воланд, внимательно поглядев на Маргариту, заметил как бы про себя:

— Да, прав Коровьев. Как причудливо тасуется колода! Кровь!

Он протянул руку и поманил к себе Маргариту. Та подошла, не чувствуя пола под босыми ногами. Воланд положил свою тяжелую, как будто каменную, и в то же время горячую, как огонь, руку на плечо Маргариты, дернул ее к себе и посадил на кровать рядом с собою.

— Ну, уж если вы так очаровательно любезны, — проговорил он, — а я другого ничего и не ожидал, так будем без церемоний. — Он опять наклонился к краю кровати и крикнул: — Долго будет продолжаться этот балаган под кроватью? Вылезай, окаянный Ганс!

— Коня не могу найти, — задушенным и фальшивым голосом отозвался из-под кровати кот, — ускакал куда-то, а вместо него какая-то лягушка попадается.

— Не воображаешь ли ты, что находишься на ярмарочной площади? — притворяясь рассерженным, спрашивал Воланд. — Никакой лягушки не было под кроватью! Оставь эти дешевые фокусы для Варьете. Если ты сейчас же не появишься, мы будем считать, что ты сдался, проклятый дезертир.

— Ни за что, мессир! — заорал кот и в ту же секунду вылез из-под кровати, держа в лапе коня.

— Рекомендую вам... — начал было Воланд и сам себя перебил: — Нет, я видеть не могу этого шута горохового. Посмотрите, во что он себя превратил под кроватью!

Стоящий на задних лапах и выпачканный пылью кот тем временем раскланивался перед Маргаритой. Теперь на шее у кота оказался

белый фрачный галстух бантиком, а на груди перламутровый дамский бинокль на ремешке. Кроме того, усы кота были вызолочены.

— Ну что же это такое! — воскликнул Воланд. — Зачем ты позолотил усы? И на какой черт тебе нужен галстух, если на тебе нет штанов?

— Штаны коту не полагаются, мессир, — с большим достоинством ответил кот. — Уж не прикажете ли вы мне надеть и сапоги? Кот в сапогах бывает только в сказках, мессир. Но видели ли вы когда-либо кого-нибудь на балу без галстуха? Я не намерен оказаться в комическом положении и рисковать тем, что меня вытолкают в шею! Каждый украшает себя, чем может. Считайте, что сказанное относится и к биноклю, мессир!

— Но усы?..

— Не понимаю, — сухо возражал кот, — почему, бреясь сегодня, Азазелло и Коровьев могли посыпать себя белой пудрой, и чем она лучше золотой? Я напудрил усы, вот и всё! Другой разговор был бы, если б я побрился! Бритый кот — это действительно уж безобразие, тысячу раз согласен признать это. Но вообще, — тут голос кота обидчиво дрогнул, — я вижу, что ко мне применяют кое-какие придирки, и вижу, что передо мною стоит серьезная проблема — быть ли мне вообще на балу? Что скажете вы мне на это, мессир?

И кот от обиды так раздулся, что казалось, еще секунда, и он лопнет.

— Ах, мошенник, мошенник, — качая головой, говорил Воланд, — каждый раз, как партия его в безнадежном положении, он начинает заговаривать зубы, подобно самому последнему шарлатану на мосту. Садись немедленно и прекрати эту словесную пачкотню.

— Я сяду, — ответил кот, садясь, — но возражу относительно последнего. Речи мои представляют отнюдь не пачкотню, как вы изволите выражаться в присутствии дамы, а вереницу прочно упакованных силлогизмов, которые оценили бы по достоинству такие знатоки, как Секст Эмпирик, Марциан Капелла, а то, чего доброго, и сам Аристотель.

— Шах королю, — сказал Воланд.

— Пожалуйста, пожалуйста, — отозвался кот и стал в бинокль смотреть на доску.

— Итак, — обратился к Маргарите Воланд, — рекомендую вам, донна, мою свиту. Этот валяющий дурака — кот Бегемот. С Азазелло и Коровьевым вы уже познакомились, служанку мою Геллу рекомендую. Расторопна, понятлива, и нет такой услуги, которую она не сумела бы оказать.

Красавица Гелла улыбалась, обратив к Маргарите свои с зеленью глаза, не переставая зачерпывать пригоршней мазь и накладывать ее на колено.

— Ну, вот и все, — закончил Воланд и поморщился, когда Гелла особенно сильно сжала его колено, — общество, как вы видите, небольшое, смешанное и бесхитростное. — Он умолк и стал поворачивать перед собою свой глобус, сделанный столь искусно, что синие

океаны на нем шевелились, а шапка на полюсе лежала как настоящая, ледяная и снежная.

На доске тем временем происходило смятение. Совершенно расстроенный король в белой мантии топтался на клетке, в отчаянии вздымая руки. Три белых пешки-ландскнехты с алебардами растерянно глядели на офицера, размахивающего шпагой и указывающего вперед, где в смежных клетках, белой и черной, виднелись черные всадники Воланда на двух горячих, роющих копытами клетки конях.

Маргариту чрезвычайно заинтересовало и поразило то, что шахматные фигурки были живые.

Кот, отставив от глаз бинокль, тихонько подпихнул своего короля в спину. Тот в отчаянии закрыл лицо руками.

— Плоховато дельце, дорогой Бегемот, — тихо сказал Коровьев ядовитым голосом.

— Положение серьезное, но отнюдь не безнадежное, — отозвался Бегемот, — больше того: я вполне уверен в конечной победе. Стоит хорошенько проанализировать положение.

Этот анализ он начал производить довольно странным способом, именно, стал кроить какие-то рожи и подмигивать своему королю.

— Ничего не помогает, — заметил Коровьев.

— Ай! — вскричал Бегемот. — Попугаи разлетелись, что я и предсказывал!

Действительно, где-то вдали послышался шум многочисленных крыльев. Коровьев и Азазелло бросились вон.

— А, черт вас возьми с вашими бальными затеями! — буркнул Воланд, не отрываясь от своего глобуса.

Лишь только Коровьев и Азазелло скрылись, мигание Бегемота приняло усиленные размеры. Белый король наконец догадался, чего от него хотят. Он вдруг стащил с себя мантию, бросил ее на клетку и убежал с доски. Офицер брошенное королевское одеяние накинул на себя и занял место короля.

Коровьев и Азазелло вернулись.

— Враки, как и всегда, — ворчал Азазелло, косясь на Бегемота.

— Мне послышалось, — ответил кот.

— Ну, что же, долго это будет продолжаться? — спросил Воланд. — Шах королю.

— Я, вероятно, ослышался, мой мэтр, — ответил кот, — шаха королю нет и быть не может.

— Повторяю, шах королю.

— Мессир, — тревожно-фальшивым голосом отозвался кот, — вы переутомились: нет шаха королю!

— Король на клетке г-два, — не глядя на доску, сказал Воланд.

— Мессир, я в ужасе! — завыл кот, изображая ужас на своей морде. — На этой клетке нет короля!

— Что такое? — в недоумении спросил Воланд и стал глядеть на доску, где стоявший на королевской клетке офицер отворачивался и закрывался рукой.

— Ах ты подлец, — задумчиво сказал Воланд.

— Мессир! Я вновь обращаюсь к логике, — заговорил кот, прижимая лапы к груди. — Если игрок объявляет шах королю, а короля между тем уже и в помине нет на доске, шах признается недействительным.

— Ты сдаешься или нет? — прокричал страшным голосом Воланд.

— Разрешите подумать, — смиренно ответил кот, положил локти на стол, уткнул уши в лапы и стал думать. Думал он долго и наконец сказал: — Сдаюсь.

— Убить упрямую тварь, — шепнул Азазелло.

— Да, сдаюсь, — сказал кот, — но сдаюсь исключительно потому, что не могу играть в атмосфере травли со стороны завистников! — Он поднялся, и шахматные фигурки полезли в ящик.

— Гелла, пора, — сказал Воланд, и Гелла исчезла из комнаты. — Нога разболелась, а тут этот бал... — продолжал Воланд.

— Позвольте мне, — тихо попросила Маргарита.

Воланд пристально поглядел на нее и пододвинул к ней колено.

Горячая, как лава, жижа обжигала руки, но Маргарита, не морщась, стараясь не причинять боли, втирала ее в колено.

— Приближенные утверждают, что это ревматизм, — говорил Воланд, не спуская глаз с Маргариты, — но я сильно подозреваю, что эта боль в колене оставлена мне на память одной очаровательной ведьмой, с которой я близко познакомился в тысяча пятьсот семьдесят первом году в Брокенских горах, на Чертовой Кафедре.

— Ах, может ли это быть! — сказала Маргарита.

— Вздор! Лет через триста это пройдет. Мне посоветовали множество лекарств, но я по старинке придерживаюсь бабушкиных средств. Поразительные травы оставила в наследство поганая старушка, моя бабушка! Кстати, скажите, а вы не страдаете ли чем-нибудь? Быть может, у вас есть какая-нибудь печаль, отравляющая душу тоска?

— Нет, мессир, ничего этого нет, — ответила умница Маргарита, — а теперь, когда я у вас, я чувствую себя совсем хорошо.

— Кровь — великое дело, — неизвестно к чему весело сказал Воланд и прибавил: — Я вижу, что вас интересует мой глобус.

— О да, я никогда не видела такой вещицы.

— Хорошая вещица. Я, откровенно говоря, не люблю последних новостей по радио. Сообщают о них всегда какие-то девушки, невнятно произносящие названия мест. Кроме того, каждая третья из них немного косноязычна, как будто таких нарочно подбирают. Мой глобус гораздо удобнее, тем более что события мне нужно знать точно. Вот, например, видите этот кусок земли, бок которого моет океан? Смотрите, вот он наливается огнем. Там началась война. Если вы приблизите глаза, вы увидите и детали.

Маргарита наклонилась к глобусу и увидела, что квадратик земли расширился, многокрасочно расписался и превратился как бы в рельефную карту. А затем она увидела и ленточку реки, и какое-то селение возле нее. Домик, который был размером в горошину, разросся и стал как спичечная коробка. Внезапно и беззвучно крыша этого дома взлетела наверх вместе с клубом черного дыма, а стенки рухну-

ли, так что от двухэтажной коробочки ничего не осталось, кроме кучечки, от которой валил черный дым. Еще приблизив свой глаз, Маргарита разглядела маленькую женскую фигурку, лежащую на земле, а возле нее в луже крови разметавшего руки маленького ребенка.

— Вот и всё, — улыбаясь, сказал Воланд, — он не успел нагрешить. Работа Абадонны безукоризненна.

— Я не хотела бы быть на той стороне, против которой этот Абадонна, — сказала Маргарита, — на чьей он стороне?

— Чем дальше говорю с вами, — любезно отозвался Воланд, — тем больше убеждаюсь в том, что вы очень умны. Я успокою вас. Он на редкость беспристрастен и равно сочувствует обеим сражающимся сторонам. Вследствие этого и результаты для обеих сторон бывают всегда одинаковы. Абадонна! — негромко позвал Воланд, и тут из стены появилась фигура какого-то худого человека в темных очках. Эти очки произвели на Маргариту такое сильное впечатление, что она, тихонько вскрикнув, уткнулась лицом в ногу Воланда. — Да перестаньте! — крикнул Воланд. — До чего нервозны современные люди! — Он с размаху шлепнул Маргариту по спине, так что по ее телу прошел звон. — Ведь видите же, что он в очках. Кроме того, никогда не было случая, да и не будет, чтобы Абадонна появился перед кем-нибудь преждевременно. Да и, наконец, я здесь. Вы у меня в гостях! Я просто хотел вам его показать.

Абадонна стоял неподвижно.

— А можно, чтобы он снял очки на секунду? — спросила Маргарита, прижимаясь к Воланду и вздрагивая, но уже от любопытства.

— А вот этого нельзя, — серьезно ответил Воланд и махнул рукой Абадонне, и того не стало. — Что ты хочешь сказать, Азазелло?

— Мессир, — ответил Азазелло, — разрешите мне сказать. У нас двое посторонних: красавица, которая хнычет и умоляет, чтобы ее оставили при госпоже, и, кроме того, с ней, прошу прощения, ее боров.

— Странно ведут себя красавицы, — заметил Воланд.

— Это Наташа, Наташа! — воскликнула Маргарита.

— Ну, оставить при госпоже. А борова — к поварам.

— Зарезать? — испуганно вскрикнула Маргарита. — Помилуйте, мессир, это Николай Иванович, нижний жилец. Тут недоразумение, она, видите ли, мазнула его кремом...

— Да позвольте, — сказал Воланд, — на кой черт и кто станет его резать? Пусть посидит вместе с поварами, вот и всё! Не могу же, согласитесь, я его пустить в бальный зал!

— Да уж... — добавил Азазелло и доложил: — Полночь приближается, мессир.

— А, хорошо. — Воланд обратился к Маргарите: — Итак, прошу вас... Заранее благодарю вас. Не теряйтесь и ничего не бойтесь. Ничего не пейте, кроме воды, а то вы разомлеете и вам будет трудно. Пора!

Маргарита поднялась с коврика, и тогда в дверях возник Коровьев.

Полночь приближалась, пришлось спешить. Маргарита смутно видела окружающее. Запомнились свечи и самоцветный какой-то бассейн. Когда Маргарита стала на дно этого бассейна, Гелла и помогающая ей Наташа окатили Маргариту какой-то горячей, густой и красной жидкостью. Маргарита ощутила соленый вкус на губах и поняла, что ее моют кровью. Кровавая мантия сменилась другою — густой, прозрачной, розоватой, и у Маргариты закружилась голова от розового масла. Потом Маргариту бросили на хрустальное ложе и до блеска стали растирать какими-то большими зелеными листьями. Тут ворвался кот и стал помогать. Он уселся на корточки у ног Маргариты и стал натирать ей ступни с таким видом, как будто чистил сапоги на улице.

Маргарита не помнит, кто сшил ей из лепестков бледной розы туфли и как эти туфли сами собой застегнулись золотыми пряжками. Какая-то сила вздернула Маргариту и поставила перед зеркалом, и в волосах у нее блеснул королевский алмазный венец. Откуда-то явился Коровьев и повесил на грудь Маргариты тяжелое, в овальной раме изображение черного пуделя на тяжелой цепи. Это украшение чрезвычайно обременило королеву. Цепь сейчас же стала натирать шею, изображение тянуло ее согнуться. Но кое-что вознаградило Маргариту за те неудобства, которые ей причиняла цепь с черным пуделем. Это — та почтительность, с которою стали относиться к ней Коровьев и Бегемот.

— Ничего, ничего, ничего! — бормотал Коровьев у дверей комнаты с бассейном. — Ничего не поделаешь, надо, надо, надо... Разрешите, королева, вам дать последний совет. Среди гостей будут различные, ох, очень различные, но никому, королева Марго, никакого преимущества! Если кто-нибудь и не понравится... я понимаю, что вы, конечно, не выразите этого на своем лице... Нет, нет, нельзя подумать об этом! Заметит, заметит в то же мгновение! Нужно полюбить его, полюбить, королева! Сторицей будет вознаграждена за это хозяйка бала. И еще: не пропустить никого! Хоть улыбочку, если не будет времени бросить слово, хоть малюсенький поворот головы. Все что угодно, но только не невнимание. От этого они захиреют...

Тут Маргарита в сопровождении Коровьева и Бегемота шагнула из бассейной в полную темноту.

— Я, я, — шептал кот, — я дам сигнал!

— Давай! — ответил в темноте Коровьев.

— Бал! — пронзительно визгнул кот, и тотчас Маргарита вскрикнула и на несколько секунд закрыла глаза. Бал упал на нее сразу в виде света, вместе с ним — звука и запаха. Уносимая под руку Коровьевым, Маргарита увидела себя в тропическом лесу. Красногрудые зеленохвостые попугаи цеплялись за лианы, перескакивали по ним и оглушительно кричали: «Я восхищен!» Но лес быстро кончился, и его банная духота тотчас сменилась прохладою бального зала с ко-

лоннами из какого-то желтоватого искрящегося камня. Этот зал, так же как и лес, был совершенно пуст, и лишь у колонн неподвижно стояли обнаженные негры в серебряных повязках на головах. Лица их стали грязно-бурыми от волнения, когда в зал влетела Маргарита со своею свитой, в которой откуда-то взялся Азазелло. Тут Коровьев выпустил руку Маргариты и шепнул:

— Прямо на тюльпаны!

Невысокая стена белых тюльпанов выросла перед Маргаритой, а за нею она увидела бесчисленные огни в колпачках и перед ними белые груди и черные плечи фрачников. Тогда Маргарита поняла, откуда шел бальный звук. На нее обрушился рев труб, а вырвавшийся из-под него взмыв скрипок окатил ее тело, как кровью. Оркестр человек в полтораста играл полонез.

Возвышавшийся перед оркестром человек во фраке, увидев Маргариту, побледнел, заулыбался и вдруг взмахом рук поднял весь оркестр. Ни на мгновение не прерывая музыки, оркестр, стоя, окатывал Маргариту звуками. Человек над оркестром отвернулся от него и поклонился низко, широко разбросив руки, и Маргарита, улыбаясь, помахала ему рукой.

— Нет, мало, мало, — зашептал Коровьев, — он не будет спать всю ночь. Крикните ему: «Приветствую вас, король вальсов!»

Маргарита крикнула это и подивилась тому, что ее голос, полный, как колокол, покрыл вой оркестра. Человек от счастья вздрогнул и левую руку приложил к груди, правой продолжая махать оркестру белым жезлом.

— Мало, мало, — шептал Коровьев, — глядите налево, на первые скрипки, и кивните так, чтобы каждый думал, что вы его узнали в отдельности. Здесь только мировые знаменитости. Вот этому, за первым пультом, — это Вьетан. Так, очень хорошо. Теперь — дальше!

— Кто дирижер? — отлетая, спросила Маргарита.

— Иоганн Штраус! — закричал кот. — И пусть меня повесят в тропическом лесу на лиане, если на каком-нибудь балу когда-либо играл такой оркестр! Я приглашал его! И, заметьте, ни один не заболел и ни один не отказался.

В следующем зале не было колонн, вместо них стояли стены красных, розовых, молочно-белых роз с одной стороны, а с другой — стена японских махровых камелий. Между этими стенами уже били, шипя, фонтаны, и шампанское вскипало пузырями в трех бассейнах, из которых был первый — прозрачно-фиолетовый, второй — рубиновый, третий — хрустальный. Возле них метались негры в алых повязках, серебряными черпаками наполняя из бассейнов плоские чаши. В розовой стене оказался пролом, и в нем на эстраде кипятился человек в красном, с ласточкиным хвостом, фраке. Перед ним гремел нестерпимо громко джаз. Лишь только дирижер увидел Маргариту, он согнулся перед нею так, что руками коснулся пола, потом выпрямился и пронзительно вскричал:

— Аллилуйя!

Он хлопнул себя по коленке раз, потом накрест по другой — два, вырвал из рук у крайнего музыканта тарелку, ударил ею по колонне.

Улетая, Маргарита видела только, что виртуоз-джазбандист, борясь с полонезом, который дул Маргарите в спину, бьет по головам джазбандистов своей тарелкой и те приседают в комическом ужасе.

Наконец вылетели на площадку, где, как поняла Маргарита, ее во тьме встречал Коровьев с лампадкой. Теперь на этой площадке глаза слепли от света, льющегося из хрустальных виноградных гроздьев. Маргариту установили на место, и под левой рукой у нее оказалась низкая аметистовая колонка.

— Руку можно будет положить на нее, если станет очень трудно, — шептал Коровьев.

Какой-то чернокожий подкинул под ноги Маргарите подушку с вышитым на ней золотым пуделем, и на нее она, повинуясь чьим-то рукам, поставила, согнув в колене, свою правую ногу.

Маргарита попробовала оглядеться. Коровьев и Азазелло стояли возле нее в парадных позах. Рядом с Азазелло — еще трое молодых людей, смутно чем-то напомнивших Маргарите Абадонну. В спину веяло холодом. Оглянувшись, Маргарита увидела, что из мраморной стены сзади нее бьет шипящее вино и стекает в ледяной бассейн. У левой ноги она чувствовала что-то теплое и мохнатое. Это был Бегемот.

Маргарита была в высоте, и из-под ног ее вниз уходила грандиозная лестница, крытая ковром. Внизу, так далеко, как будто бы Маргарита смотрела обратным способом в бинокль, она видела громаднейшую швейцарскую с совершенно необъятным камином, в холодную и черную пасть которого мог свободно въехать пятитонный грузовик. Швейцарская и лестница, до боли в глазах залитая светом, были пусты. Трубы теперь доносились до Маргариты издалека. Так простояли неподвижно около минуты.

— Где же гости? — спросила Маргарита у Коровьева.

— Будут, королева, будут, сейчас будут. В них недостатка не будет. И, право, я предпочел бы рубить дрова, вместо того чтобы принимать их здесь на площадке.

— Что рубить дрова, — подхватил словоохотливый кот, — я хотел бы служить кондуктором в трамвае, а уж хуже этой работы нет ничего на свете!

— Все должно быть готово заранее, королева, — объяснял Коровьев, поблескивая глазом сквозь испорченный монокль. — Ничего не может быть гаже, чем когда приехавший первым гость мыкается, не зная, что ему предпринять, а его законная мегера шепотом пилит его за то, что они приехали раньше всех. Такие балы надо выбрасывать на помойку, королева.

— Определенно на помойку, — подтвердил кот.

— До полночи не более десяти секунд, — добавил Коровьев, — сейчас начнется.

Эти десять секунд показались Маргарите чрезвычайно длинными. По-видимому, они истекли уже, и ровно ничего не произошло. Но тут вдруг что-то грохнуло внизу в громадном камине, и из него выскочила виселица с болтающимся на ней полурассыпавшимся прахом. Этот прах сорвался с веревки, ударился об пол, и из него выскочил черноволосый красавец во фраке и в лакированных туфлях.

Из камина выбежал полуистлевший небольшой гроб, крышка его отскочила, и из него вывалился другой прах. Красавец галантно подскочил к нему и подал руку калачиком, второй прах сложился в нагую вертлявую женщину в черных туфельках и с черными перьями на голове, и тогда оба, и мужчина и женщина, заспешили вверх по лестнице.

— Первые! — воскликнул Коровьев. — Господин Жак с супругой. Рекомендую вам, королева, один из интереснейших мужчин. Убежденный фальшивомонетчик, государственный изменник, но очень недурной алхимик. Прославился тем, — шепнул на ухо Маргарите Коровьев, — что отравил королевскую любовницу. А ведь это не с каждым случается! Посмотрите, как красив!

Побледневшая Маргарита, раскрыв рот, глядела вниз и видела, как исчезают в каком-то боковом ходу швейцарской и виселица и гроб.

— Я в восхищении! — заорал прямо в лицо поднявшемуся по лестнице господину Жаку кот.

В это время внизу из камина появился безголовый, с оторванной рукою скелет, ударился оземь и превратился в мужчину во фраке.

Супруга господина Жака уже становилась перед Маргаритой на одно колено и, бледная от волнения, целовала колено Маргариты.

— Королева... — бормотала супруга господина Жака.

— Королева в восхищении! — кричал Коровьев.

— Королева... — тихо сказал красавец, господин Жак.

— Мы в восхищении, — завывал кот.

Молодые люди, спутники Азазелло, улыбаясь безжизненными, но приветливыми улыбками, уже теснили господина Жака с супругой в сторону, к чашам с шампанским, которые негры держали в руках. По лестнице поднимался вверх бегом одинокий фрачник.

— Граф Роберт, — шепнул Маргарите Коровьев, — по-прежнему интересен. Обратите внимание, как смешно, королева, — обратный случай: этот был любовником королевы и отравил свою жену.

— Мы рады, граф, — вскричал Бегемот.

Из камина подряд один за другим вывалились, лопаясь и распадаясь, три гроба, затем кто-то в черной мантии, которого следующий выбежавший из черной пасти ударил в спину ножом. Внизу послышался сдавленный крик. Из камина выбежал совсем почти разложившийся труп. Маргарита зажмурилась, и чья-то рука поднесла к ее носу флакон с белой солью. Маргарите показалось, что это рука Наташи. Лестница стала заполняться. Теперь уже на каждой ступеньке оказались, издали казавшиеся совершенно одинаковыми, фрачники и нагие женщины с ними, отличавшиеся друг от друга только цветом перьев на головах и туфель.

К Маргарите приближалась, ковыляя, в странном деревянном сапоге на левой ноге, дама с монашески опущенными глазами, худенькая, скромная и почему-то с широкой зеленой повязкой на шее.

— Какая зеленая? — машинально спросила Маргарита.

— Очаровательнейшая и солиднейшая дама, — шептал Коровьев, — рекомендую вам: госпожа Тофана. Была чрезвычайно популярна среди молодых очаровательных неаполитанок, а также житель-

ниц Палермо, и в особенности тех, которым надоели их мужья. Ведь бывает же так, королева, чтобы надоел муж...

— Да, — глухо ответила Маргарита, в то же время улыбаясь двум фрачникам, которые один за другим склонились перед нею, целуя колено и руку.

— Ну вот, — ухитрялся шептать Коровьев Маргарите и в то же время кричать кому-то: — Герцог! Бокал шампанского! Я восхищен!.. Да, так вот-с, госпожа Тофана входила в положение этих бедных женщин и продавала им какую-то воду в пузырьках. Жена вливала эту воду в суп супругу, тот его съедал, благодарил за ласку и чувствовал себя превосходно. Правда, через несколько часов ему начинало очень сильно хотеться пить, затем он ложился в постель, и через день прекрасная неаполитанка, накормившая своего мужа супом, была свободна, как весенний ветер.

— А что это у нее на ноге? — спрашивала Маргарита, не уставая подавать руку гостям, обогнавшим ковыляющую госпожу Тофану. — И зачем эта зелень на шее? Блеклая шея?

— Я в восхищении, князь! — кричал Коровьев и в это же время шептал Маргарите: — Прекрасная шея, но с ней непонятность случилась в тюрьме. На ноге у нее, королева, испанский сапожок, а лента вот отчего: когда тюремщики узнали, что около пятисот неудачно выбранных мужей покинули Неаполь и Палермо навсегда, они сгоряча удавили госпожу Тофану в тюрьме.

— Как я счастлива, черная королева, что мне выпала высокая честь, — монашески шептала Тофана, пытаясь опуститься на колено. Испанский сапог мешал ей. Коровьев и Бегемот помогли Тофане подняться.

— Я рада, — ответила ей Маргарита, в то же время подавая руку другим.

Теперь по лестнице снизу вверх подымался поток. Маргарита перестала видеть то, что делается в швейцарской. Она механически поднимала и опускала руку и, однообразно скалясь, улыбалась гостям. В воздухе на площадке уже стоял гул, из покинутых Маргаритой бальных зал, как море, слышалась музыка.

— А вот это — скучная женщина, — уже не шептал, а громко говорил Коровьев, зная, что в гуле голосов его уже не расслышат, — обожает балы, все мечтает пожаловаться на свой платок.

Маргарита поймала взглядом среди подымавшихся ту, на которую указывал Коровьев. Это была молодая женщина лет двадцати, необыкновенного по красоте сложения, но с какими-то беспокойными и назойливыми глазами.

— Какой платок? — спросила Маргарита.

— К ней камеристка приставлена, — пояснял Коровьев, — и тридцать лет кладет ей на ночь на столик носовой платок. Как она проснется, так платок уже тут. Она уж и сжигала его в печи и топила его в реке, но ничего не помогает.

— Какой платок? — шептала Маргарита, подымая и опуская руку.

— С синей каемочкой платок. Дело в том, что, когда она служила в кафе, хозяин как-то ее зазвал в кладовую, а через девять месяцев

она родила мальчика, унесла его в лес и засунула ему в рот платок, а потом закопала мальчика в земле. На суде она говорила, что ей нечем кормить ребенка.

— А где же хозяин этого кафе? — спросила Маргарита.

— Королева, — вдруг заскрипел снизу кот, — разрешите мне спросить вас: при чем же здесь хозяин? Ведь он не душил младенца в лесу!

Маргарита, не переставая улыбаться и качать правой рукой, острые ногти левой запустила в Бегемотово ухо и зашептала ему:

— Если ты, сволочь, еще раз позволишь себе впутаться в разговор...

Бегемот как-то не по-бальному вспискнул и захрипел:

— Королева... ухо вспухнет... Зачем же портить бал вспухшим ухом?.. Я говорил юридически... с юридической точки... Молчу, молчу... Считайте, что я не кот, а рыба, только оставьте ухо.

Маргарита выпустила ухо, и назойливые, мрачные глаза оказались перед ней.

— Я счастлива, королева-хозяйка, быть приглашенной на великий бал полнолуния.

— А я, — ответила ей Маргарита, — рада вас видеть. Очень рада. Любите ли вы шампанское?

— Что вы изволите делать, королева?! — отчаянно, но беззвучно вскричал на ухо Маргарите Коровьев. — Получится затор!

— Я люблю, — моляще говорила женщина и вдруг механически стала повторять: — Фрида, Фрида, Фрида! Меня зовут Фрида, о королева!

— Так вы напейтесь сегодня пьяной, Фрида, и ни о чем не думайте, — сказала Маргарита.

Фрида протянула обе руки Маргарите, но Коровьев и Бегемот очень ловко подхватили ее под руки, и ее затерло в толпе.

Теперь снизу уже стеною шел народ, как бы штурмуя площадку, на которой стояла Маргарита. Голые женские тела подымались между фрачными мужчинами. На Маргариту наплывали их смуглые, и белые, и цвета кофейного зерна, и вовсе черные тела. В волосах рыжих, черных, каштановых, светлых, как лен, — в ливне света играли и плясали, рассыпали искры драгоценные камни. И как будто кто-то окропил штурмующую колонну мужчин капельками света, — с грудей брызгали светом бриллиантовые запонки. Теперь Маргарита ежесекундно ощущала прикосновение губ к колену, ежесекундно вытягивала вперед руку для поцелуя, лицо ее стянуло в неподвижную маску привета.

— Я в восхищении, — монотонно пел Коровьев, — мы в восхищении... Королева в восхищении...

— Королева в восхищении... — гнусил за спиною Азазелло.

— Я восхищен, — вскрикивал кот.

— Маркиза... — бормотал Коровьев, — отравила отца, двух братьев и двух сестер из-за наследства... Королева в восхищении!.. Госпожа Минкина... Ах, как хороша! Немного нервозна. Зачем же было жечь горничной лицо щипцами для завивки? Конечно, при этих условиях зарежут... Королева в восхищении!.. Королева, секунду внимания!

Император Рудольф, чародей и алхимик... Еще алхимик, — повешен... Ах, вот и она! Ах, какой чудесный публичный дом был у нее в Страсбурге!.. Мы в восхищении!.. Московская портниха, мы все ее любим за неистощимую фантазию... держала ателье и придумала страшно смешную штуку: провертела две круглые дырочки в стене...

— А дамы не знали? — спросила Маргарита.

— Все до одной знали, королева, — отвечал Коровьев. — Я в восхищении!.. Этот двадцатилетний мальчуган с детства отличался странными фантазиями, мечтатель и чудак. Его полюбила одна девушка, а он взял и продал ее в публичный дом...

Снизу текла река. Конца этой реке не было видно. Источник ее, громадный камин, продолжал ее питать. Так прошел час и пошел второй час. Тут Маргарита стала замечать, что цепь ее сделалась тяжелее, чем была. Что-то странное произошло и с рукой. Теперь перед тем, как поднять ее, Маргарите приходилось морщиться. Интересные замечания Коровьева перестали занимать Маргариту. И раскосые монгольские лица, и лица белые и черные сделались безразличными, по временам сливались, а воздух между ними почему-то начинал дрожать и струиться. Острая боль, как от иглы, вдруг пронизала правую руку Маргариты, и, стиснув зубы, она положила локоть на тумбу. Какой-то шорох, как бы крыльев по стенам, доносился теперь сзади из залы, и было понятно, что там танцуют неслыханные полчища гостей, и Маргарите казалось, что даже массивные мраморные, мозаичные и хрустальные полы в этом диковинном зале ритмично пульсируют.

Ни Гай Кесарь Калигула, ни Мессалина уже не заинтересовали Маргариту, как не заинтересовал ни один из королей, герцогов, кавалеров, самоубийц, отравительниц, висельников и сводниц, тюремщиков и шулеров, палачей, доносчиков, изменников, безумцев, сыщиков, растлителей. Все их имена спутались в голове, лица слепились в одну громадную лепешку, и только одно мучительно сидело в памяти лицо, окаймленное действительно огненной бородой, лицо Малюты Скуратова. Ноги Маргариты подгибались, каждую минуту она боялась заплакать. Наихудшие страдания ей причиняло правое колено, которое целовали. Оно распухло, кожа на нем посинела, несмотря на то что несколько раз рука Наташи появлялась возле этого колена с губкой и чем-то душистым обтирала его. В конце третьего часа Маргарита глянула вниз совершенно безнадежными глазами и радостно дрогнула: поток гостей редел.

— Законы бального съезда одинаковы, королева, — шептал Коровьев, — сейчас волна начнет спадать. Клянусь, что мы терпим последние минуты. Вон группа брокенских гуляк. Они всегда приезжают последними. Ну да, это они. Два пьяных вампира... все? Ах нет, вот еще один. Нет, двое!

По лестнице подымались двое последних гостей.

— Да это кто-то новенький, — говорил Коровьев, щурясь сквозь стеклышко. — Ах да, да. Как-то раз Азазелло навестил его и за коньяком нашептал ему совет, как избавиться от одного человека, разоблачений которого он чрезвычайно опасался. И вот он велел своему

знакомому, находившемуся от него в зависимости, обрызгать стены кабинета ядом.

— Как его зовут? — спросила Маргарита.

— А, право, я сам еще не знаю, — ответил Коровьев, — надо спросить у Азазелло.

— А кто с ним?

— А вот этот самый исполнительный его подчиненный. Я восхищен! — прокричал Коровьев последним двум.

Лестница опустела. Из осторожности подождали еще немного. Но из камина более никто не выходил.

Через секунду, не понимая, как это случилось, Маргарита оказалась в той же комнате с бассейном и там, сразу заплакав от боли в руке и ноге, повалилась прямо на пол. Но Гелла и Наташа, утешая ее, опять повлекли ее под кровавый душ, опять размяли ее тело, и Маргарита вновь ожила.

— Еще, еще, королева Марго, — шептал появившийся рядом Коровьев, — надо облететь залы, чтобы почтенные гости не чувствовали себя брошенными.

И Маргарита вновь вылетела из комнаты с бассейном,

На эстраде за тюльпанами, где играл оркестр короля вальсов, теперь бесновался обезьяний джаз. Громадная, в лохматых бакенбардах горилла с трубой в руке, тяжело приплясывая, дирижировала. В один ряд сидели орангутанги, дули в блестящие трубы. На плечах у них верхом поместились веселые шимпанзе с гармониями. Два гамадрила в гривах, похожих на львиные, играли на роялях, и этих роялей не было слышно в громе, и писке, и буханьях саксофонов, скрипок и барабанов в лапах гиббонов, мандрилов и мартышек. На зеркальном полу несчитанное количество пар, словно слившись, поражая ловкостью и чистотой движений, вертясь в одном направлении, стеною шло, угрожая все смести на своем пути. Живые атласные бабочки ныряли над танцующими полчищами, с потолков сыпались цветы. В капителях колонн, когда погасало электричество, загорались мириады светляков, а в воздухе плыли болотные огни.

Потом Маргарита оказалась в чудовищном по размерам бассейне, окаймленном колоннадой. Гигантский черный Нептун выбрасывал из пасти широкую розовую струю. Одуряющий запах шампанского подымался из бассейна. Здесь господствовало непринужденное веселье. Дамы, смеясь, сбрасывали туфли, отдавали сумочки своим кавалерам или неграм, бегающим с простынями в руках, и с криком ласточкой бросались в бассейн. Пенные столбы взбрасывало вверх. Хрустальное дно бассейна горело нижним светом, пробивавшим толщу вина, и в нем видны были серебристые плавающие тела. Выскакивали из бассейна совершенно пьяными. Хохот звенел под колоннами и гремел, как в бане.

Во всей этой кутерьме запомнилось одно совершенно пьяное женское лицо с бессмысленными, но и в бессмысленности умоляющими глазами, и вспомнилось одно слово — «Фрида»!

Голова Маргариты начала кружиться от запаха вина, и она уже хотела уходить, как кот устроил в бассейне номер, задержавший Мар-

гариту. Бегемот наколдовал чего-то у пасти Нептуна, и тотчас с шипением и грохотом волнующаяся масса шампанского ушла из бассейна, а Нептун стал извергать неиграющую, непенящуюся волну темно-желтого цвета. Дамы с визгом и воплем:

— Коньяк! — кинулись от краев бассейна за колонны. Через несколько секунд бассейн был полон, и кот, трижды перевернувшись в воздухе, обрушился в колыхающийся коньяк. Вылез он, отфыркиваясь, с раскисшим галстухом, потеряв позолоту с усов и свой бинокль. Примеру Бегемота решилась последовать только одна, та самая затейница-портниха, и ее кавалер, неизвестный молодой мулат. Оба они бросились в коньяк, но тут Коровьев подхватил Маргариту под руку, и они покинули купальщиков.

Маргарите показалось, что она пролетела где-то, где видела в громадных каменных прудах горы устриц. Потом она летела над стеклянным полом с горящими под ним адскими топками и мечущимися между ними дьявольскими белыми поварами. Потом где-то она, уже переставая что-либо соображать, видела темные подвалы, где горели какие-то светильники, где девушки подавали шипящее на раскаленных углях мясо, где пили из больших кружек за ее здоровье. Потом она видела белых медведей, игравших на гармониках и пляшущих камаринского на эстраде. Фокусника-саламандру, не сгоравшего в камине... И во второй раз силы ее стали иссякать.

— Последний выход, — прошептал ей озабоченно Коровьев, — и мы свободны.

Она в сопровождении Коровьева опять оказалась в бальном зале, но теперь в нем не танцевали, и гости несметной толпой теснились между колоннами, оставив свободной середину зала. Маргарита не помнила, кто помог ей подняться на возвышение, появившееся посередине этого свободного пространства зала. Когда она взошла на него, она, к удивлению своему, услышала, как где-то бьет полночь, которая давным-давно, по ее счету, истекла. С последним ударом неизвестно откуда слышавшихся часов молчание упало на толпы гостей.

Тогда Маргарита опять увидела Воланда. Он шел в окружении Абадонны, Азазелло и еще нескольких похожих на Абадонну черных и молодых. Маргарита теперь увидела, что напротив ее возвышения было приготовлено другое возвышение для Воланда. Но он им не воспользовался. Поразило Маргариту то, что Воланд вышел в этот последний великий выход на балу как раз в том самом виде, в каком был в спальне. Все та же грязная заплатанная сорочка висела на его плечах, ноги были в стоптанных ночных туфлях. Воланд был со шпагой, но этой обнаженной шпагой он пользовался как тростью, опираясь на нее.

Прихрамывая, Воланд остановился возле своего возвышения, и сейчас же Азазелло оказался перед ним с блюдом в руках, и на этом блюде Маргарита увидела отрезанную голову человека с выбитыми передними зубами. Продолжала стоять полнейшая тишина, и ее прервал только один раз далеко послышавшийся, непонятный в этих условиях звонок, как бывает с парадного хода.

— Михаил Александрович, — негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргари-

та, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. — Все сбылось, не правда ли? — продолжал Воланд, глядя в глаза головы. — Голова отрезана женщиной, заседание не состоялось, и живу я в вашей квартире. Это — факт. А факт — самая упрямая в мире вещь. Но теперь нас интересует дальнейшее, а не этот уже совершившийся факт. Вы всегда были горячим проповедником той теории, что по отрезании головы жизнь в человеке прекращается, он превращается в золу и уходит в небытие. Мне приятно сообщить вам, в присутствии моих гостей, хотя они и служат доказательством совсем другой теории, о том, что ваша теория и солидна и остроумна. Впрочем, все теории стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно которой каждому будет дано по его вере. Да сбудется же это! Вы уходите в небытие, а мне радостно будет из чаши, в которую вы превращаетесь, выпить за бытие!

Воланд поднял шпагу. Тут же покровы головы потемнели и съежились, потом отвалились кусками, глаза исчезли, и вскоре Маргарита увидела на блюде желтоватый, с изумрудными глазами и жемчужными зубами, на золотой ноге, череп. Крышка черепа откинулась на шарнире.

— Сию секунду, мессир, — сказал Коровьев, заметив вопросительный взгляд Воланда, — он предстанет перед вами. Я слышу в этой гробовой тишине, как скрипят его лакированные туфли и как звенит бокал, который он поставил на стол, последний раз в этой жизни выпив шампанское. Да вот и он.

Направляясь к Воланду, вступал в зал новый одинокий гость. Внешне он ничем не отличался от многочисленных остальных гостей-мужчин, кроме одного: гостя буквально шатало от волнения, что было видно даже издали. На его щеках горели пятна, и глаза бегали в полной тревоге. Гость был ошарашен, и это было вполне естественно: его поразило все, и главным образом, конечно, наряд Воланда.

Однако встречен был гость отменно ласково.

— А, милейший барон Майгель, — приветливо улыбаясь, обратился Воланд к гостю, у которого глаза вылезали на лоб, — я счастлив рекомендовать вам, — обратился Воланд к гостям, — почтеннейшего барона Майгеля, служащего Зрелищной комиссии в должности ознакомителя иностранцев с достопримечательностями столицы.

Тут Маргарита замерла, потому что узнала вдруг этого Майгеля. Он несколько раз попадался ей в театрах Москвы и в ресторанах. «Позвольте... — подумала Маргарита, — он, стало быть, что ли тоже умер?» Но дело тут же разъяснилось.

— Милый барон, — продолжал Воланд, радостно улыбаясь, — был так очарователен, что, узнав о моем приезде в Москву, тотчас позвонил ко мне, предлагая свои услуги по своей специальности, то есть по ознакомлению с достопримечательностями. Само собою разумеется, что я был счастлив пригласить его к себе.

В это время Маргарита видела, как Азазелло передал блюдо с черепом Коровьеву.

— Да, кстати, барон, — вдруг интимно понизив голос, проговорил Воланд, — разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. Говорят, что она, в соединении с вашей не менее развитой разго-

ворчивостью, стала привлекать общее внимание. Более того, злые языки уже уронили слово — наушник и шпион. И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь, воспользовавшись тем обстоятельством, что вы напросились ко мне в гости именно с целью подсмотреть и подслушать все, что можно.

Барон стал бледнее, чем Абадонна, который был исключительно бледен по своей природе, а затем произошло что-то странное. Абадонна оказался перед бароном и на секунду снял свои очки. В тот же момент что-то сверкнуло огнем в руках Азазелло, что-то негромко хлопнуло как в ладоши, барон стал падать навзничь, алая кровь брызнула у него из груди и залила крахмальную рубашку и жилет. Коровьев подставил чашу под бьющуюся струю и передал наполнившуюся чашу Воланду. Безжизненное тело барона в это время уже было на полу.

— Я пью ваше здоровье, господа, — негромко сказал Воланд и, подняв чашу, прикоснулся к ней губами.

Тогда произошла метаморфоза. Исчезла заплатанная рубаха и стоптанные туфли. Воланд оказался в какой-то черной хламиде со стальной шпагой на бедре. Он быстро приблизился к Маргарите, поднес ей чашу и повелительно сказал:

— Пей!

У Маргариты закружилась голова, ее шатнуло, но чаша оказалась уже у ее губ, и чьи-то голоса, а чьи — она не разобрала, шепнули в оба уха:

— Не бойтесь, королева... Не бойтесь, королева, кровь давно ушла в землю. И там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья.

Маргарита, не раскрывая глаз, сделала глоток, и сладкий ток пробежал по ее жилам, в ушах начался звон. Ей показалось, что кричат оглушительные петухи, что где-то играют марш. Толпы гостей стали терять свой облик. И фрачники и женщины распались в прах. Тление на глазах Маргариты охватило зал, над ним потек запах склепа. Колонны распались, угасли огни, все съежилось, и не стало никаких фонтанов, тюльпанов и камелий. А просто было, что было — скромная гостиная ювелирши, и из приоткрытой в нее двери выпадала полоска света. И в эту приоткрытую дверь и вошла Маргарита.

Глава 24 ИЗВЛЕЧЕНИЕ МАСТЕРА

В спальне Воланда все оказалось, как было до бала. Воланд в сорочке сидел на постели, и только Гелла не растирала ему ногу, а на столе, там, где раньше играли в шахматы, накрывала ужин. Коровьев и Азазелло, сняв фраки, сидели у стола, и рядом с ними, конечно, помещался кот, не пожелавший расстаться со своим галстухом, хоть он

и превратился в совершеннейшую грязную тряпку. Маргарита, шатаясь, подошла к столу и оперлась на него. Тогда Воланд поманил ее, как и тогда, к себе и показал, чтобы она села рядом.

— Ну что, вас очень измучили? — спросил Воланд.

— О нет, мессир, — ответила Маргарита, но чуть слышно.

— Ноблесс оближ, — заметил кот и налил Маргарите какой-то прозрачной жидкости в лафитный стакан.

— Это водка? — слабо спросила Маргарита.

Кот подпрыгнул на стуле от обиды.

— Помилуйте, королева, — прохрипел он, — разве я позволил бы себе налить даме водки? Это — чистый спирт!

Маргарита улыбнулась и сделала попытку отодвинуть от себя стакан.

— Смело пейте, — сказал Воланд, и Маргарита тотчас взяла стакан в руки. — Гелла, садись, — приказал Воланд и объяснил Маргарите: — Ночь полнолуния — праздничная ночь, и я ужинаю в тесной компании приближенных и слуг. Итак, как чувствуете вы себя? Как прошел этот утомительный бал?

— Потрясающе! — затрещал Коровьев. — Все очарованы, влюблены, раздавлены! Сколько такта, сколько умения, обаяния и шарма!

Воланд молча поднял стакан и чокнулся с Маргаритой. Маргарита покорно выпила, думая, что тут же ей и будет конец от спирта. Но ничего плохого не произошло. Живое тепло потекло по ее животу, что-то мягко стукнуло в затылок, вернулись силы, как будто она встала после долгого освежающего сна, кроме того, почувствовался волчий голод. И при воспоминании о том, что она не ела ничего со вчерашнего утра, он еще более разгорелся. Она стала жадно глотать икру.

Бегемот обрезал кусок ананаса, посолил его, поперчил, съел и после этого так залихватски тяпнул вторую стопку спирта, что все зааплодировали.

После второй стопки, выпитой Маргаритой, свечи в канделябрах разгорелись поярче, и в камине прибавилось пламени. Никакого опьянения Маргарита не чувствовала. Кусая белыми зубами мясо, Маргарита упивалась текущим из него соком и в то же время смотрела, как Бегемот намазывает горчицей устрицу.

— Ты еще винограду сверху положи, — тихо сказала Гелла, пихнув в бок кота.

— Попрошу меня не учить, — ответил Бегемот, — сиживал за столом, не беспокойтесь, сиживал!

— Ах, как приятно ужинать вот этак, при камельке, запросто, — дребезжал Коровьев, — в тесном кругу...

— Нет, Фагот, — возражал кот, — бал имеет свою прелесть и размах.

— Никакой прелести в нем нет и размаха также, а эти дурацкие медведи, а также и тигры в баре своим ревом едва не довели меня до мигрени, — сказал Воланд.

— Слушаю, мессир, — сказал кот, — если вы находите, что нет размаха, и я немедленно начну держаться того же мнения.

— Ты смотри! — ответил на это Воланд.

— Я пошутил, — со смирением сказал кот, — а что касается тигров, то я их велю зажарить.

— Тигров нельзя есть, — сказала Гелла.

— Вы полагаете? Тогда прошу послушать, — отозвался кот и, жмурясь от удовольствия, рассказал о том, как однажды он скитался в течение девятнадцати дней в пустыне и единственно, чем питался, это мясом убитого им тигра. Все с интересом прослушали это занимательное повествование, а когда Бегемот кончил его, все хором воскликнули:

— Вранье!

— И интереснее всего в этом вранье то, — сказал Воланд, — что оно — вранье от первого до последнего слова.

— Ах так? Вранье? — воскликнул кот, и все подумали, что он начнет протестовать, но он только тихо сказал: — История рассудит нас.

— А скажите, — обратилась Марго, оживившаяся после водки, к Азазелло, — его застрелили, этого бывшего барона?

— Натурально, — ответил Азазелло, — как же его не застрелить? Его обязательно надо застрелить.

— Я так взволновалась! — воскликнула Маргарита. — Это случилось так неожиданно.

— Ничего в этом нет неожиданного, — возразил Азазелло, а Коровьев завыл и заныл:

— Как же не взволноваться? У меня у самого поджилки затряслись! Бух! Раз! Барон на бок!

— Со мной едва истерика не сделалась, — добавил кот, облизывая ложку с икрой.

— Вот что мне непонятно, — говорила Маргарита, и золотые искры от хрусталя прыгали у нее в глазах, — неужели снаружи не было слышно музыки и вообще грохота этого бала?

— Конечно, не было слышно, королева, — объяснял Коровьев, — это надо делать так, чтобы не было слышно. Это поаккуратнее надо делать.

— Ну да, ну да... А то ведь дело в том, что этот человек на лестнице... Вот когда мы проходили с Азазелло... И другой у подъезда... Я думаю, что он наблюдал за вашей квартирой...

— Верно, верно! — кричал Коровьев. — Верно, дорогая Маргарита Николаевна! Вы подтверждаете мои подозрения! Да, он наблюдал за квартирой! Я сам было принял его за рассеянного приват-доцента или влюбленного, томящегося на лестнице. Но нет, нет! Что-то сосало мое сердце! Ах, он наблюдал за квартирой! И другой у подъезда тоже! И тот, что был в подворотне, то же самое!

— А вот интересно, если вас придут арестовывать? — спросила Маргарита.

— Непременно придут, очаровательная королева, непременно! — отвечал Коровьев. — Чует сердце, что придут. Не сейчас, конечно, но в свое время обязательно придут. Но полагаю, что ничего интересного не будет.

— Ах, как я взволновалась, когда этот барон упал, — говорила Маргарита, по-видимому, до сих пор переживая убийство, которое она видела впервые в жизни. — Вы, наверное, хорошо стреляете?

— Подходяще, — ответил Азазелло.

— А на сколько шагов? — задала Маргарита Азазелло не совсем ясный вопрос.

— Во что, смотря по тому, — резонно ответил Азазелло, — одно дело попасть молотком в стекло критику Латунскому, и совсем другое дело — ему же в сердце.

— В сердце! — восклицала Маргарита, почему-то берясь за свое сердце. — В сердце! — повторила она глухим голосом.

— Что это за критик Латунский? — спросил Воланд, прищурившись на Маргариту.

Азазелло, Коровьев и Бегемот как-то стыдливо потупились, а Маргарита ответила, краснея:

— Есть такой один критик. Я сегодня вечером разнесла всю его квартиру.

— Вот тебе раз! А зачем же?

— Он, мессир, — объяснила Маргарита, — погубил одного мастера.

— А зачем же было самой-то трудиться? — спросил Воланд.

— Разрешите мне, мессир! — вскричал радостно кот, вскакивая.

— Да сиди ты, — буркнул Азазелло, вставая, — я сам сейчас съезжу...

— Нет! — воскликнула Маргарита. — Нет, умоляю вас, мессир, не надо этого!

— Как угодно, как угодно, — ответил Воланд, а Азазелло сел на свое место.

— Так на чем мы остановились, драгоценная королева Марго? — говорил Коровьев. — Ах да, сердце. В сердце он попадает, — Коровьев вытянул свой длинный палец по направлению Азазелло, — по выбору, в любое предсердие сердца или в любой из желудочков.

Маргарита не сразу поняла, а поняв, воскликнула с удивлением:

— Да ведь они же закрыты!

— Дорогая, — дребезжал Коровьев, — в том-то и штука, что закрыты! В этом-то вся и соль! А в открытый предмет может попасть каждый!

Коровьев вынул из ящика стола семерку пик, предложил ее Маргарите, попросив наметить ногтем одно из очков. Маргарита наметила угловое верхнее правое. Гелла спрятала карту под подушку, крикнув:

— Готово!

Азазелло, который сидел отвернувшись от подушки, вынул из кармана фрачных брюк черный автоматический пистолет, положил дуло его на плечо и, не поворачиваясь к кровати, выстрелил, вызвав веселый испуг в Маргарите. Из-под простреленной подушки вытащили семерку. Намеченное Маргаритой очко было пробито.

— Не желала бы я встретиться с вами, когда у вас в руках револьвер, — кокетливо поглядывая на Азазелло, сказала Маргарита.

У нее была страсть ко всем людям, которые делают что-либо первоклассно.

— Драгоценная королева, — пищал Коровьев, — я никому не рекомендую встретиться с ним, даже если у него и не будет никакого револьвера в руках! Даю слово чести бывшего регента и запевалы, что никто не поздравил бы этого встретившегося.

Кот сидел насупившись во время опыта со стрельбой и вдруг объявил:

— Берусь перекрыть рекорд — с семеркой.

Азазелло в ответ на это что-то прорычал. Но кот был упорен и потребовал не один, а два револьвера. Азазелло вынул второй револьвер из второго заднего кармана брюк и вместе с первым, презрительно кривя рот, протянул хвастуну. Наметили два очка на семерке. Кот долго приготовлялся, отвернувшись от подушки. Маргарита сидела, заткнув пальцами уши, и глядела на сову, дремавшую на каминной полке. Кот выстрелил из обоих револьверов, после чего сейчас же взвизгнула Гелла, убитая сова упала с камина и разбитые часы остановились. Гелла, у которой одна рука была окровавлена, с воем вцепилась в шерсть коту, а он ей в ответ в волосы, и они, свившись в клубок, покатились по полу. Один из бокалов упал со стола и разбился.

— Оттащите от меня взбесившуюся чертовку! — завывал кот, отбиваясь от Геллы, сидевшей на нем верхом. Дерущихся разняли, Коровьев подул на простреленный палец Геллы, и тот зажил.

— Я не могу стрелять, когда под руку говорят! — кричал Бегемот и старался приладить на место выдранный у него из спины громадный клок шерсти.

— Держу пари, — сказал Воланд, улыбаясь Маргарите, — что проделал он эту штуку нарочно. Он стреляет порядочно.

Гелла с котом помирились, и в знак этого примирения они поцеловались. Достали из-под подушки карту, проверили. Ни одно очко, кроме того, что было прострелено Азазелло, не было затронуто.

— Этого не может быть, — утверждал кот, глядя сквозь карту на свет канделябра.

Веселый ужин продолжался. Свечи оплывали в канделябрах, по комнате волнами распространялось сухое, душистое тепло от камина. Наевшуюся Маргариту охватило чувство блаженства. Она глядела, как сизые кольца от сигары Азазелло уплывают в камин и как кот ловит их на конец шпаги. Ей никуда не хотелось уходить, хотя и было, по ее расчетам, уже поздно. Судя по всему, время подходило к шести утра. Воспользовавшись паузой, Маргарита обратилась к Воланду и робко сказала:

— Пожалуй, мне пора... Поздно...

— Куда же вы спешите? — спросил Воланд вежливо, но суховато. Остальные промолчали, делая вид, что увлечены сигарными дымными кольцами.

— Да, пора, — совсем смутившись от этого, повторила Маргарита и обернулась, как будто ища накидку или плащ. Ее нагота вдруг стала стеснять ее. Она поднялась из-за стола. Воланд молча снял с кровати

свой вытертый и засаленный халат, а Коровьев набросил его Маргарите на плечи.

— Благодарю вас, мессир, — чуть слышно сказала Маргарита и вопросительно поглядела на Воланда. Тот в ответ улыбнулся ей вежливо и равнодушно. Черная тоска как-то сразу подкатила к сердцу Маргариты. Она почувствовала себя обманутой. Никакой награды за все ее услуги на балу никто, по-видимому, ей не собирался предлагать, как никто ее и не удерживал. А между тем ей совершенно ясно было, что идти ей отсюда больше некуда. Мимолетная мысль о том, что придется вернуться в особняк, вызвала в ней внутренний взрыв отчаяния. Попросить, что ли, самой, как искушающе советовал Азазелло в Александровском саду? «Нет, ни за что!» — сказала она себе.

— Всего хорошего, мессир, — произнесла она вслух, а сама подумала: «Только бы выбраться отсюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».

— Сядьте-ка, — вдруг повелительно сказал Воланд.

Маргарита изменилась в лице и села.

— Может быть, что-нибудь хотите сказать на прощанье?

— Нет, ничего, мессир, — с гордостью ответила Маргарита, — кроме того, что если я еще нужна вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и очень веселилась на балу. Так что, если бы он и продолжался еще, я охотно бы предоставила мое колено для того, чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц. — Маргарита глядела на Воланда как сквозь пелену, глаза ее наполнялись слезами.

— Верно! Вы совершенно правы! — гулко и страшно прокричал Воланд. — Так и надо!

— Так и надо! — как эхо, повторила свита Воланда.

— Мы вас испытывали, — сказал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут. Садитесь, гордая женщина. — Воланд сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним на постели. — Итак, Марго, — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — чего вы хотите за то, что сегодня были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал нагой? Во что цените ваше колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали висельниками? Говорите! И теперь уж говорите без стеснения, ибо предложил я.

Сердце Маргариты застучало, она тяжело вздохнула, стала соображать что-то.

— Ну, что же, смелее! — поощрял Воланд. — Будите свою фантазию, пришпоривайте ее! Уж одно присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя — барона стоит того, чтобы человека наградили, в особенности если этот человек — женщина. Ну-с ?

Дух перехватило у Маргариты, и она уже хотела выговорить заветные и приготовленные в душе слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «Фрида! Фрида! Фрида! — прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. — Меня зовут Фрида!» И Маргарита, спотыкаясь на словах, заговорила:

— Так я, стало быть... могу попросить... об одной вещи?

— Потребовать, потребовать, моя донна, — отвечал Воланд, понимающе улыбаясь, — потребовать одной вещи.

Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты, — «одной вещи»!

Маргарита вздохнула еще раз и сказала:

— Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ребенка.

Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накрученное на балу ухо.

— Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами взятки от этой дуры Фриды совершенно, конечно, исключена — ведь это было бы несовместимо с вашим королевским достоинством, — я уж не знаю, что и делать. Остается, пожалуй, одно — обзавестись тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни!

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита, выслушав эти действительно непонятные слова.

— Совершенно с вами согласен, мессир, — вмешался в разговор кот, — именно тряпками! — и в раздражении кот стукнул лапой по столу.

— Я о милосердии говорю, — объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного глаза. — Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узенькие щелки. Вот я и говорю о тряпках.

— И я об этом же говорю! — воскликнул кот и на всякий случай отклонился от Маргариты, прикрыв вымазанными в розовом креме лапами свои острые уши.

— Пошел вон, — сказал ему Воланд.

— Я еще кофе не пил, — ответил кот, — как же это я уйду? Неужели, мессир, в праздничную ночь гостей за столом разделяют на два сорта? Одни — первой, а другие, как выражался этот грустный скупердяй-буфетчик, второй свежести?

— Молчи, — приказал ему Воланд и, обратившись к Маргарите, спросил: — Вы, судя по всему, человек исключительной доброты? Высокоморальный человек?

— Нет, — с силой ответила Маргарита, — я знаю, что с вами можно разговаривать только откровенно, и откровенно вам скажу: я легкомысленный человек. Я попросила вас за Фриду только потому, что имела неосторожность подать ей твердую надежду. Она ждет, мессир, она верит в мою мощь. И если она останется обманутой, я попаду в ужасное положение. Я не буду иметь покоя всю жизнь. Ничего не поделаешь! Так уж вышло.

— А, — сказал Воланд, — это понятно.

— Так вы сделаете это? — тихо спросила Маргарита.

— Ни в коем случае, — ответил Воланд, — дело в том, дорогая королева, что тут произошла маленькая путаница. Каждое ведомство должно заниматься своими делами. Не спорю, наши возможности довольно велики, они гораздо больше, чем полагают некоторые, не очень зоркие люди...

— Да, уж гораздо больше, — не утерпел и вставил кот, видимо, гордящийся этими возможностями.

— Молчи, черт тебя возьми! — сказал ему Воланд и продолжал, обращаясь к Маргарите: — Но просто какой смысл в том, чтобы сделать то, что полагается делать другому, как я выразился, ведомству? Итак, я этого делать не буду, а вы сделаете сами.

— А разве по-моему исполнится?

Азазелло иронически скосил кривой глаз на Маргариту и незаметно покрутил рыжей головой и фыркнул.

— Да делайте же, вот мучение, — пробормотал Воланд и, повернув глобус, стал всматриваться в какую-то деталь на нем, по-видимому, занимаясь и другим делом во время разговора с Маргаритой.

— Ну, Фрида... — подсказал Коровьев.

— Фрида! — пронзительно крикнула Маргарита.

Дверь распахнулась, и растрепанная, нагая, но уже без всяких признаков хмеля женщина с исступленными глазами вбежала в комнату и простерла руки к Маргарите, а та сказала величественно:

— Тебя прощают. Не будут больше подавать платок.

Послышался вопль Фриды, она упала на пол ничком и простерлась крестом перед Маргаритой. Воланд махнул рукой, и Фрида пропала из глаз.

— Благодарю вас, прощайте, — сказала Маргарита и поднялась.

— Ну что ж, Бегемот, — заговорил Воланд, — не будем наживаться на поступке непрактичного человека в праздничную ночь, — он повернулся к Маргарите, — итак, это не в счет, я ведь ничего не делал. Что вы хотите для себя?

Наступило молчание, и прервал его Коровьев, который зашептал в ухо Маргарите:

— Алмазная донна, на сей раз советую вам быть поблагоразумнее! А то ведь фортуна может и ускользнуть.

— Я хочу, чтобы мне сейчас же, сию секунду, вернули моего любовника, мастера, — сказала Маргарита, и лицо ее исказилось судорогой.

Тут в комнату ворвался ветер, так что пламя свечей в канделябрах легло, тяжелая занавеска на окне отодвинулась, распахнулось окно, и в далекой высоте открылась полная, но не утренняя, а полночная луна. От подоконника на пол лег зеленоватый платок ночного света, и в нем появился ночной Иванушкин гость, называющий себя мастером. Он был в своем больничном одеянии — в халате, туфлях и черной шапочке, с которой не расставался. Небритое лицо его дергалось гримасой, он сумасшедше-пугливо косился на огни свечей, а лунный поток кипел вокруг него.

Маргарита сразу узнала его, простонала, всплеснула руками и подбежала к нему. Она целовала его в лоб, в губы, прижималась к колючей щеке, и долго сдерживаемые слезы теперь бежали ручьями по ее лицу. Она произносила только одно слово, бессмысленно повторяя его:

— Ты... ты... ты...

Мастер отстранил ее от себя и глухо сказал:

— Не плачь, Марго, не терзай меня. Я тяжко болен. — Он ухватился за подоконник рукою, как бы собираясь вскочить на него и бежать, оскалил зубы, всматриваясь в сидящих, и закричал: — Мне страшно, Марго! У меня опять начались галлюцинации...

Рыдания душили Маргариту она шептала, давясь словами:

— Нет, нет, нет... не бойся ничего... я с тобою... я с тобою...

Коровьев ловко и незаметно подпихнул к мастеру стул, и тот опустился на него, а Маргарита бросилась на колени, прижалась к боку больного и так затихла. В своем волнении она не заметила, что нагота ее как-то внезапно кончилась, на ней теперь был шелковый черный плащ. Больной опустил голову и стал смотреть в землю угрюмыми, больными глазами.

— Да, — заговорил после молчания Воланд, — его хорошо отделали. — Он приказал Коровьеву: — Дай-ка, рыцарь, этому человеку чего-нибудь выпить.

Маргарита упрашивала мастера дрожащим голосом:

— Выпей, выпей! Ты боишься? Нет, нет, верь мне, что тебе помогут!

Больной взял стакан и выпил то, что было в нем, но рука его дрогнула, и опустевший стакан разбился у его ног.

— К счастью! К счастью! — зашептал Коровьев Маргарите. — Смотрите, он уже приходит в себя.

Действительно, взор больного стал уже не так дик и беспокоен.

— Но это ты, Марго? — спросил лунный гость.

— Не сомневайся, это я, — ответила Маргарита.

— Еще! — приказал Воланд.

После того как мастер осушил второй стакан, его глаза стали живыми и осмысленными.

— Ну вот, это другое дело, — сказал Воланд, прищуриваясь, — теперь поговорим. Кто вы такой?

— Я теперь никто, — ответил мастер, и улыбка искривила его рот.

— Откуда вы сейчас?

— Из дома скорби. Я — душевнобольной, — ответил пришелец.

Этих слов Маргарита не вынесла и заплакала вновь. Потом, вытерев глаза, она вскричала:

— Ужасные слова! Ужасные слова! Он мастер, мессир, я вас предупреждаю об этом! Вылечите его, он стоит этого!

— Вы знаете, с кем вы сейчас говорите, — спросил у пришедшего Воланд, — у кого вы находитесь?

— Знаю, — ответил мастер, — моим соседом в сумасшедшем доме был этот мальчик, Иван Бездомный. Он рассказал мне о вас.

— Как же, как же, — отозвался Воланд, — я имел удовольствие встретиться с этим молодым человеком на Патриарших прудах. Он едва самого меня не свел с ума, доказывая мне, что меня нету! Но вы-то верите, что это действительно я?

— Приходится верить, — сказал пришелец, — но, конечно, гораздо спокойнее было бы считать вас плодом галлюцинации. Извините меня, — спохватившись, прибавил мастер.

— Ну, что же, если спокойнее, то и считайте, — вежливо ответил Воланд.

— Нет, нет! — испуганно говорила Маргарита и трясла мастера за плечо. — Опомнись! Перед тобою действительно он!

Кот ввязался и тут:

— А я действительно похож на галлюцинацию. Обратите внимание на мой профиль в лунном свете. — Кот полез в лунный столб и хотел что-то еще говорить, но его попросили замолчать, и он, ответив: — Хорошо, хорошо, готов молчать. Я буду молчаливой галлюцинацией, — замолчал.

— А скажите, почему Маргарита вас называет мастером? — спросил Воланд.

Тот усмехнулся и сказал:

— Это простительная слабость. Она слишком высокого мнения о том романе, который я написал.

— О чем роман?

— Роман о Понтии Пилате.

Тут опять закачались и запрыгали язычки свечей, задребезжала посуда на столе, Воланд рассмеялся громовым образом, но никого не испугал и смехом этим не удивил. Бегемот почему-то зааплодировал.

— О чем, о чем? О ком? — заговорил Воланд, перестав смеяться. — Вот теперь? Это потрясающе! И вы не могли найти другой темы? Дайте-ка посмотреть, — Воланд протянул руку ладонью кверху.

— Я, к сожалению, не могу этого сделать, — ответил мастер, — потому что я сжег его в печке.

— Простите, не поверю, — ответил Воланд, — этого быть не может. Рукописи не горят. — Он повернулся к Бегемоту и сказал: — Ну-ка, Бегемот, дай сюда роман.

Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей. Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду. Маргарита задрожала и закричала, волнуясь вновь до слез:

— Вот она, рукопись! Вот она!

Она кинулась к Воланду и восхищенно добавила:

— Всесилен! Всесилен!

Воланд взял в руки поданный ему экземпляр, повернул его, отложил в сторону и молча, без улыбки уставился на мастера. Но тот неизвестно отчего впал в тоску и беспокойство, поднялся со стула, заломил руки и, обращаясь к далекой луне, вздрагивая, начал бормотать:

— И ночью при луне мне нет покоя... Зачем потревожили меня? О боги, боги...

Маргарита вцепилась в больничный халат, прижалась к нему и сама начала бормотать в тоске и в слезах:

— Боже, почему же тебе не помогает лекарство?

— Ничего, ничего, ничего, — шептал Коровьев, извиваясь возле мастера, — ничего, ничего... Еще стаканчик, и я с вами за компанию...

И стаканчик подмигнул, блеснул в лунном свете, и помог этот стаканчик. Мастера усадили на место, и лицо больного приняло спокойное выражение.

— Ну, теперь все ясно, — сказал Воланд и постучал длинным пальцем по рукописи.

— Совершенно ясно, — подтвердил кот, забыв свое обещание стать молчаливой галлюцинацией, — теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь. Что ты говоришь, Азазелло? — обратился он к молчащему Азазелло.

— Я говорю, — прогнусил тот, — что тебя хорошо было бы утопить.

— Будь милосерден, Азазелло, — ответил ему кот, — и не наводи моего повелителя на эту мысль. Поверь мне, что всякую ночь я являлся бы тебе в таком же лунном одеянии, как и бедный мастер, и кивал бы тебе, и манил бы тебя за собою. Каково бы тебе было, о Азазелло?

— Ну, Маргарита, — опять вступил в разговор Воланд, — говорите же все, что вам нужно?

Глаза Маргариты вспыхнули, и она умоляюще обратилась к Воланду:

— Позвольте мне с ним пошептаться?

Воланд кивнул головой, и Маргарита, припав к уху мастера, что-то пошептала ему. Слышно было, как тот ответил ей:

— Нет, поздно. Ничего больше не хочу в жизни. Кроме того, чтобы видеть тебя. Но тебе опять советую — оставь меня. Ты пропадешь со мной.

— Нет, не оставлю, — ответила Маргарита и обратилась к Воланду: — Прошу опять вернуть нас в подвал в переулке на Арбате, и чтобы лампа загорелась, и чтобы все стало, как было.

Тут мастер засмеялся и, обхватив давно развившуюся кудрявую голову Маргариты, сказал:

— Ах, не слушайте бедную женщину, мессир. В этом подвале уже давно живет другой человек, и вообще не бывает так, чтобы все стало, как было. — Он приложил щеку к голове своей подруги, обнял Маргариту и стал бормотать: — Бедная, бедная...

— Не бывает, вы говорите? — сказал Воланд. — Это верно. Но мы попробуем. — И он сказал: — Азазелло!

Тотчас с потолка обрушился на пол растерянный и близкий к умоисступлению гражданин в одном белье, но почему-то с чемоданом в руках и в кепке. От страху этот человек трясся и приседал.

— Могарыч? — спросил Азазелло у свалившегося с неба.

— Алоизий Могарыч, — ответил тот, дрожа.

— Это вы, прочитав статью Латунского о романе этого человека, написали на него жалобу с сообщением о том, что он хранит у себя нелегальную литературу? — спросил Азазелло.

Новоявившийся гражданин посинел и залился слезами раскаяния.

— Вы хотели переехать в его комнаты? — как можно задушевнее прогнусил Азазелло.

Шипение разъяренной кошки послышалось в комнате, и Маргарита, завывая:

— Знай ведьму, знай! — вцепилась в лицо Алоизия Могарыча ногтями.

Произошло смятение.

— Что ты делаешь? — страдальчески прокричал мастер. — Марго, не позорь себя!

— Протестую, это не позор! — орал кот.

Маргариту оттащил Коровьев.

— Я ванну пристроил... — стуча зубами, кричал окровавленный Могарыч и в ужасе понес какую-то околесину: — одна побелка... купорос...

— Ну, вот и хорошо, что ванну пристроил, — одобрительно сказал Азазелло, — ему надо брать ванны. — И крикнул: — Вон!

Тогда Могарыча перевернуло кверху ногами и вынесло из спальни Воланда через открытое окно.

Мастер вытаращил глаза, шепча:

— Однако это будет, пожалуй, почище того, что рассказывал Иван! — Совершенно потрясенный, он оглядывался и наконец сказал коту: — А простите... это ты... это вы... — он сбился, не зная, как обращаться к коту, — вы — тот самый кот, что садились в трамвай?

— Я, — подтвердил польщенный кот и добавил: — Приятно слышать, что вы так вежливо обращаетесь с котом. Котам обычно почему-то говорят «ты», хотя ни один кот никогда ни с кем не пил брудершафта.

— Мне кажется почему-то, что вы не очень-то кот... — нерешительно ответил мастер. — Меня все равно в больнице хватятся, — робко добавил он Воланду.

— Ну, чего они будут хвататься! — успокоил Коровьев, и какие-то бумаги и книги оказались у него в руках. — История болезни вашей?

-Да.

Коровьев швырнул историю болезни в камин.

— Нет документа, нет и человека, — удовлетворенно говорил Коровьев, — а это — домовая книга вашего застройщика?

— Да-а...

— Кто прописан в ней? Алоизий Могарыч? — Коровьев дунул в страницу домовой книги. — Раз, и нету его, и, прошу заметить, — не было. А если застройщик удивится, скажите, что ему Алоизий снился. Могарыч? Какой такой Могарыч? Никакого Могарыча не было. — Тут прошнурованная книга испарилась из рук Коровьева. — И вот она уже в столе у застройщика.

— Вы правильно сказали, — говорил мастер, пораженный чистотою работы Коровьева, — что раз нет документа, нету и человека. Вот именно меня-то и нет, у меня нет документа.

— Я извиняюсь, — вскричал Коровьев, — это именно галлюцинация, вот он, ваш документ, — и Коровьев подал мастеру документ. Потом он завел глаза и сладко прошептал Маргарите: — А вот и ваше имущество, Маргарита Николаевна, — и он вручил Маргарите тетрадь с обгоревшими краями, засохшую розу, фотографию и, с особенной бережностью, сберегательную книжку, — десять тысяч, как вы изволили внести, Маргарита Николаевна. Нам чужого не надо.

— У меня скорее лапы отсохнут, чем я прикоснусь к чужому, — напыжившись, воскликнул кот, танцуя на чемодане, чтобы умять в него все экземпляры злополучного романа.

— И ваш документик также, — продолжал Коровьев, подавая Маргарите документ, и затем, обратившись к Воланду, почтительно доложил: — Всё, мессир!

— Нет, не всё, — ответил Воланд, отрываясь от глобуса. — Куда прикажете, моя дорогая донна, девать вашу свиту? Мне она лично не нужна.

Тут в открытую дверь вбежала Наташа, как была нагая, всплеснула руками и закричала Маргарите:

— Будьте счастливы, Маргарита Николаевна! — Она закивала головой мастеру и опять обратилась к Маргарите: — Я ведь все знала, куда вы ходите.

— Домработницы все знают, — заметил кот, многозначительно поднимая лапу, — это ошибка думать, что они слепые.

— Что ты хочешь, Наташа? — спросила Маргарита. — Возвращайся в особняк.

— Душенька, Маргарита Николаевна, — умоляюще заговорила Наташа и стала на колени, — упросите их, — она покосилась на Воланда, — чтоб меня ведьмой оставили. Не хочу я больше в особняк! Ни за инженера, ни за техника не пойду! Мне господин Жак вчера на балу сделали предложение. — Наташа разжала кулак и показала какие-то золотые монеты.

Маргарита обратила вопросительный взор к Воланду. Тот кивнул головой. Тогда Наташа кинулась на шею Маргарите, звонко ее расцеловала и, победно вскрикнув, улетела в окно.

На месте Наташи оказался Николай Иванович. Он приобрел свой прежний человеческий облик, но был чрезвычайно мрачен и даже, пожалуй, раздражен.

— Вот кого с особенным удовольствием отпущу, — сказал Воланд, с отвращением глядя на Николая Ивановича, — с исключительным удовольствием, настолько он здесь лишний.

— Я очень прошу выдать мне удостоверение, — заговорил, дико оглядываясь, Николай Иванович, но с большим упорством, — о том, где я провел предыдущую ночь.

— На какой предмет? — сурово спросил кот.

— На предмет представления милиции и супруге, — твердо сказал Николай Иванович.

— Удостоверений мы обычно не даем, — ответил кот, насупившись, — но для вас, так и быть, сделаем исключение.

И не успел Николай Иванович опомниться, как голая Гелла уже сидела за машинкой, а кот диктовал ей:

— Сим удостоверяю, что предъявитель сего Николай Иванович провел упомянутую ночь на балу у сатаны, будучи привлечен туда в качестве перевозочного средства... поставь, Гелла, скобку! В скобке пиши «боров». Подпись — Бегемот.

— А число? — пискнул Николай Иванович.

— Чисел не ставим, с числом бумага станет недействительной, — отозвался кот, подмахнул бумагу, откуда-то добыл печать, по всем правилам подышал на нее, оттиснул на бумаге слово «уплочено» и вручил бумагу Николаю Ивановичу. После этого Николай Ивано-

вич бесследно исчез, а на месте его появился новый, неожиданный человек.

— Это еще кто? — брезгливо спросил Воланд, рукой заслоняясь от света свечей.

Варенуха повесил голову, вздохнул и тихо сказал:

— Отпустите обратно. Не могу быть вампиром. Ведь я тогда Римского едва насмерть с Геллой не уходил! А я не кровожадный. Отпустите.

— Это что еще за бред? — спросил, морща лицо, Воланд. — Какой такой Римский? Что это еще за чепуха?

— Не извольте беспокоиться, мессир, — отозвался Азазелло и обратился к Варенухе: — Хамить не надо по телефону. Лгать не надо по телефону. Понятно? Не будете больше этим заниматься?

От радости все помутилось в голове у Варенухи, лицо его засияло, и он, не помня, что говорит, забормотал:

— Истинным... то есть я хочу сказать, ваше ве... сейчас же после обеда... — Варенуха прижимал руки к груди, с мольбой глядел на Азазелло.

— Ладно, домой, — ответил тот, и Варенуха растаял.

— Теперь все оставьте меня одного с ними, — приказал Воланд, указывая на мастера и на Маргариту.

Приказание Воланда было исполнено мгновенно. После некоторого молчания Воланд обратился к мастеру:

— Так, стало быть, в арбатский подвал? А кто же будет писать? А мечтания, вдохновение?

— У меня больше нет никаких мечтаний и вдохновения тоже нет, — ответил мастер, — ничто меня вокруг не интересует, кроме нее, — он опять положил руку на голову Маргариты, — меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал.

— А ваш роман? Пилат?

— Он мне ненавистен, этот роман, — ответил мастер, — я слишком много испытал из-за него.

— Я умоляю тебя, — жалобно попросила Маргарита, — не говори так. За что же ты меня терзаешь? Ведь ты знаешь, что я всю жизнь вложила в эту твою работу. — Маргарита добавила еще, обратившись к Воланду: — Не слушайте его, мессир, он слишком замучен.

— Но ведь надо же что-нибудь описывать? — говорил Воланд. — Если вы исчерпали этого прокуратора, ну, начните изображать хотя бы этого Алоизия.

Мастер улыбнулся.

— Этого Лапшённикова не напечатает, да кроме того, это и неинтересно.

— А чем же вы будете жить? Ведь придется нищенствовать.

— Охотно, охотно, — ответил мастер, притянул к себе Маргариту, обнял ее за плечи и прибавил: — Она образумится, уйдет от меня...

— Не думаю, — сквозь зубы сказал Воланд и продолжал: — Итак, человек, сочинивший историю Понтия Пилата, уходит в подвал, в намерении расположиться там у лампы и нищенствовать?

Маргарита отделилась от мастера и заговорила очень горячо:

— Я сделала все, что могла, и я нашептала ему самое соблазнительное. А он отказался от этого.

— То, что вы ему нашептали, я знаю, — возразил Воланд, — но это не самое соблазнительное. А вам скажу, — улыбнувшись, обратился он к мастеру, — что ваш роман вам принесет еще сюрпризы.

— Это очень грустно, — ответил мастер.

— Нет, нет, это не грустно, — сказал Воланд, — ничего страшного уже не будет. Ну-с, Маргарита Николаевна, все сделано. Имеете ли вы ко мне какую-нибудь претензию?

— Что вы, о, что вы, мессир!

— Так возьмите же это от меня на память, — сказал Воланд и вынул из-под подушки небольшую золотую подкову, усыпанную алмазами.

— Нет, нет, нет, с какой же стати!

— Вы хотите со мной поспорить? — улыбнувшись, спросил Воланд.

Маргарита, так как в плаще у нее не было кармана, уложила подкову в салфетку и затянула ее узлом. Тут что-то ее изумило. Она оглянулась на окно, в котором сияла луна, и сказала:

— А вот чего я не понимаю… Что же это — все полночь да полночь, а ведь давно уже должно быть утро?

— Праздничную полночь приятно немного и задержать, — ответил Воланд. — Ну, желаю вам счастья!

Маргарита молитвенно протянула обе руки к Воланду, но не посмела приблизиться к нему и тихо воскликнула:

— Прощайте! Прощайте!

— До свидания, — сказал Воланд.

И Маргарита в черном плаще, мастер в больничном халате вышли в коридор ювелиршиной квартиры, в котором горела свеча и где их дожидалась свита Воланда. Когда пошли из коридора, Гелла несла чемодан, в котором был роман и небольшое имущество Маргариты Николаевны, а кот помогал Гелле. У дверей квартиры Коровьев раскланялся и исчез, а остальные пошли провожать по лестнице. Она была пуста. Когда проходили площадку третьего этажа, что-то мягко стукнуло, но на это никто не обратил внимания. У самых выходных дверей шестого парадного Азазелло дунул вверх, и только что вышли во двор, в который не заходила луна, увидели спящего на крыльце, и, по-видимому, спящего мертвым сном, человека в сапогах и в кепке, а также стоящую у подъезда большую черную машину с потушенными фарами. В переднем стекле смутно виднелся силуэт грача.

Уже собирались садиться, как Маргарита в отчаянии негромко воскликнула:

— Боже, я потеряла подкову!

— Садитесь в машину, — сказал Азазелло, — и подождите меня. Я сейчас вернусь, только разберу, в чем тут дело. — И он ушел в парадное.

Дело же было вот в чем: за некоторое время до выхода Маргариты и мастера с их провожатыми, из квартиры № 48, помещавшейся

под ювелиршиной, вышла на лестницу сухонькая женщина с бидоном и с сумкой в руках. Это была та самая Аннушка, что в среду разлила, на горе Берлиоза, подсолнечное масло у вертушки.

Никто не знал, да, наверное, и никогда не узнает, чем занималась в Москве эта женщина и на какие средства она существовала. Известно о ней было лишь то, что видеть ее можно было ежедневно то с бидоном, то с сумкой, а то и с сумкой и с бидоном вместе или в нефтелавке, или на рынке, или под воротами дома, или на лестнице, а чаще всего в кухне квартиры № 48, где и проживала эта Аннушка. Кроме того и более всего было известно, что где бы ни находилась или ни появлялась она — тотчас же в этом месте начинался скандал, и кроме того, что она носила прозвище «Чума».

Чума-Аннушка вставала почему-то чрезвычайно рано, а сегодня что-то подняло ее совсем ни свет ни заря, в начале первого. Повернулся ключ в двери, Аннушкин нос высунулся в нее, а затем высунулась она и вся целиком, захлопнула за собою дверь и уже собиралась тронуться куда-то, как на верхней площадке грохнула дверь, кто-то покатился вниз по лестнице и, налетев на Аннушку, отбросил ее в сторону так, что она ударилась затылком об стену.

— Куда ж тебя черт несет в одних подштанниках? — провизжала Аннушка, ухватившись за затылок. Человек в одном белье, с чемоданом в руках и в кепке, с закрытыми глазами ответил Аннушке диким сонным голосом:

— Колонка! Купорос! Одна побелка чего стоила. — И, заплакав, рявкнул: — Вон!

Тут он бросился, но не дальше, вниз по лестнице, а обратно — вверх, туда, где было выбитое ногой экономиста стекло в окне, и через это окно кверху ногами вылетел во двор. Аннушка даже про затылок забыла, охнула и сама устремилась к окну. Она легла животом на площадку и высунула голову во двор, ожидая увидеть на асфальте, освещенном дворовым фонарем, насмерть разбившегося человека с чемоданом. Но ровно ничего на асфальте во дворе не было.

Оставалось предположить, что сонная и странная личность улетела из дому, как птица, не оставив по себе никакого следа. Аннушка перекрестилась и подумала: «Да, уж действительно квартирка номер пятьдесят! Недаром люди говорят!.. Ай да квартирка!..»

Не успела она этого додумать, как дверь наверху опять хлопнула, и второй кто-то побежал сверху. Аннушка прижалась к стене и видела, как какой-то довольно почтенный гражданин с бородкой, но с чуть-чуть поросячьим, как показалось Аннушке, лицом шмыгнул мимо нее и, подобно первому, покинул дом через окно, тоже опять-таки и не думая разбиваться на асфальте. Аннушка забыла уже про цель своего похода и осталась на лестнице, крестясь, охая и сама с собою разговаривая.

Третий, без бородки, с круглым бритым лицом, в толстовке, выбежал сверху через короткое время и точно так же упорхнул в окно.

К чести Аннушки надо сказать, что она была любознательна и решила еще подождать, не будет ли каких новых чудес. Дверь наверху вновь открыли, и теперь сверху стала спускаться целая компания,

но не бегом, а обыкновенно, как все люди ходят. Аннушка отбежала от окна, спустилась вниз к своей двери, быстрехонько открыла ее, спряталась за нею, и в оставленной ею щелке замерцал ее исступленный от любопытства глаз.

Какой-то не то больной, не то не больной, а странный, бледный, обросший бородой, в черной шапочке и в каком-то халате спускался вниз нетвердыми шагами. Его бережно вела под руку какая-то дамочка в черной рясе, как показалось Аннушке в полутьме. Дамочка не то босая, не то в каких-то прозрачных, видно заграничных, в клочья изодранных туфлях. Тьфу ты! Что в туфлях! Да ведь дамочка-то голая! Ну да, ряса накинута прямо на голое тело! «Ай да квартирка!» В душе у Аннушки все пело от предвкушения того, что она будет рассказывать завтра соседям.

За странно одетой дамочкой следовала совершенно голая дамочка с чемоданчиком в руке, а возле чемоданчика мыкался черный громадный кот. Аннушка едва вслух что-то не пискнула, протирая глаза.

Замыкал шествие маленького роста прихрамывающий иностранец с кривым глазом, без пиджака, в белом фрачном жилете и при галстухе. Вся эта компания мимо Аннушки проследовала вниз. Тут что-то стукнуло на площадке.

Услышав, что шаги стихают, Аннушка, как змея, выскользнула из-за двери, бидон поставила к стенке, пала животом на площадку и стала шарить. В руках у нее оказалась салфеточка с чем-то тяжелым. Глаза у Аннушки полезли на лоб, когда она развернула сверточек. Аннушка к самым глазам подносила драгоценность, и глаза эти горели совершенно волчьим огнем. В голове у Аннушки образовалась вьюга: «Знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю!.. К племяннику? Или распилить ее на куски?.. Камушки-то можно выковырять... И по одному камушку: один на Петровку, другой на Смоленский... И — знать ничего не знаю и ведать ничего не ведаю!»

Аннушка спрятала находку за пазуху, ухватила бидон и уже собиралась скользнуть обратно в квартиру, отложив свое путешествие в город, как перед нею вырос, дьявол его знает откуда взявшийся, тот самый с белой грудью без пиджака и тихо шепнул:

— Давай подковку и салфеточку.

— Какую такую салфеточку-подковку? — спросила Аннушка, притворяясь весьма искусно. — Никакой я салфеточки не знаю. Что вы, гражданин, пьяный, что ли?

Белогрудый твердыми, как поручни автобуса, и столь же холодными пальцами, ничего более не говоря, сжал Аннушкино горло так, что совершенно прекратил всякий доступ воздуха в ее грудь. Бидон вывалился из рук Аннушки на пол. Подержав некоторое время Аннушку без воздуху, беспиджачный иностранец снял пальцы с ее шеи. Хлебнув воздуху, Аннушка улыбнулась.

— Ах, подковочку? — заговорила она. — Сию минуту! Так это ваша подковочка? А я смотрю, лежит в салфеточке... Я нарочно прибрала, чтобы кто не поднял, а то потом поминай как звали!

Получив подковочку и салфеточку, иностранец начал расшаркиваться перед Аннушкой, крепко пожимать ей руку и горячо благодарить в таких выражениях, с сильнейшим заграничным акцентом:

— Я вам глубочайше признателен, мадам. Мне эта подковочка дорога как память. И позвольте вам за то, что вы ее сохранили, вручить двести рублей. — И он тотчас вынул из жилетного кармана деньги и вручил их Аннушке.

Та, отчаянно улыбаясь, только вскрикивала:

— Ах, покорнейше вас благодарю! Мерси! Мерси!

Щедрый иностранец в один мах проскользнул через целый марш лестницы вниз, но прежде чем смыться окончательно, крикнул снизу, но без акцента:

— Ты, старая ведьма, если когда-нибудь еще поднимешь чужую вещь, в милицию ее сдавай, а за пазуху не прячь!

Чувствуя в голове звон и суматоху от всех этих происшествий на лестнице, Аннушка еще долго по инерции продолжала кричать:

— Мерси! Мерси! Мерси! — а иностранца уже давно не было.

Не было и машины во дворе. Вернув Маргарите подарок Воланда, Азазелло распрощался с нею, спросил, удобно ли ей сидеть, а Гелла сочно расцеловалась с Маргаритой, кот приложился к ее руке, провожатые помахали руками безжизненно и неподвижно завалившемуся в угол сидения мастеру, махнули грачу и тотчас растаяли в воздухе, не считая нужным утруждать себя подъемом по лестнице. Грач зажег фары и выкатил в ворота мимо мертво спящего человека в подворотне. И огни большой черной машины пропали среди других огней на бессонной и шумной Садовой.

Через час в подвале маленького домика в одном из арбатских переулков, в первой комнате, где было все так же, как было до страшной осенней ночи прошлого года, за столом, накрытым бархатной скатертью, под лампой с абажуром, возле которой стояла вазочка с ландышами, сидела Маргарита и тихо плакала от пережитого потрясения и счастья. Тетрадь, исковерканная огнем, лежала перед нею, а рядом возвышалась стопка нетронутых тетрадей. Домик молчал. В соседней маленькой комнате на диване, укрытый больничным халатом, лежал в глубоком сне мастер. Его ровное дыхание было беззвучно.

Наплакавшись, Маргарита взялась за нетронутые тетради и нашла то место, что перечитывала перед свиданием с Азазелло под Кремлевской стеной. Маргарите не хотелось спать. Она гладила рукопись ласково, как гладят любимую кошку, и поворачивала ее в руках, оглядывая со всех сторон, то останавливаясь на титульном листе, то открывая конец. На нее накатила вдруг ужасная мысль, что это все колдовство, что сейчас тетради исчезнут из глаз, что она окажется в своей спальне в особняке и что, проснувшись, ей придется идти топиться. Но это была последняя страшная мысль, отзвук долгих переживаемых ею страданий. Ничто не исчезало, всесильный Воланд был действительно всесилен, и сколько угодно, хотя бы до самого рассвета, могла Маргарита шелестеть листами тетрадей, разглядывать их и целовать и перечитывать слова:

— Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город... Да, тьма...

Глава 25 КАК ПРОКУРАТОР ПЫТАЛСЯ СПАСТИ ИУДУ ИЗ КИРИАФА

Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней, опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом, Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды... Пропал Ершалаим — великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Ершалаиме и его окрестностях. Странную тучу принесло со стороны моря к концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана.

Она уже навалилась своим брюхом на Лысый Череп, где палачи поспешно кололи казнимых, она навалилась на храм в Ершалаиме, сползла дымными потоками с холма его и залила Нижний Город. Она вливалась в окошки и гнала с кривых улиц людей в дома. Она не спешила отдавать свою влагу и отдавала только свет. Лишь только дымное черное варево распарывал огонь, из кромешной тьмы взлетала вверх великая глыба храма со сверкающим чешуйчатым покровом. Но он угасал во мгновение, и храм погружался в темную бездну. Несколько раз он вырастал из нее и опять проваливался, и каждый раз этот провал сопровождался грохотом катастрофы.

Другие трепетные мерцания вызывали из бездны противостоящий храму на западном холме дворец Ирода Великого, и страшные безглазые золотые статуи взлетали к черному небу, простирая к нему руки. Но опять прятался небесный огонь, и тяжелые удары грома загоняли золотых идолов во тьму.

Ливень хлынул неожиданно, и тогда гроза перешла в ураган. В том самом месте, где около полудня, близ мраморной скамьи в саду, беседовали прокуратор и первосвященник, с ударом, похожим на пушечный, как трость, переломило кипарис. Вместе с водяною пылью и градом на балкон под колонны несло сорванные розы, листья магнолий, маленькие сучья и песок. Ураган терзал сад.

В это время под колоннами находился только один человек, и этот человек был прокуратор.

Теперь он не сидел в кресле, а лежал на ложе у низкого небольшого стола, уставленного яствами и вином в кувшинах. Другое ложе, пустое, находилось с другой стороны стола. У ног прокуратора простиралась неубранная красная, как бы кровавая, лужа и валялись осколки разбитого кувшина. Слуга, перед грозою накрывавший для прокуратора стол, почему-то растерялся под его взглядом, взволновался от-

того, что чем-то не угодил, и прокуратор, рассердившись на него, разбил кувшин о мозаичный пол, проговорив:

— Почему в лицо не смотришь, когда подаешь? Разве ты что-нибудь украл?

Черное лицо африканца посерело, в глазах его появился смертельный ужас, он задрожал и едва не разбил и второй кувшин, но гнев прокуратора почему-то улетел так же быстро, как и прилетел. Африканец кинулся было подбирать осколки и затирать лужу, но прокуратор махнул ему рукою, и раб убежал. А лужа осталась.

Теперь африканец во время урагана прятался возле ниши, где помещалась статуя белой нагой женщины со склоненной головой, боясь показаться не вовремя на глаза и в то же время опасаясь и пропустить момент, когда его может позвать прокуратор.

Лежащий на ложе в грозовом полумраке прокуратор сам наливал себе вино в чашу, пил долгими глотками, по временам притрагивался к хлебу, крошил его, глотал маленькими кусочками, время от времени высасывал устрицы, жевал лимон и пил опять.

Если бы не рев воды, если бы не удары грома, которые, казалось, грозили расплющить крышу дворца, если бы не стук града, молотившего по ступеням балкона, можно было бы расслышать, что прокуратор что-то бормочет, разговаривая сам с собой. И если бы нестойкое трепетание небесного огня превратилось бы в постоянный свет, наблюдатель мог бы видеть, что лицо прокуратора с воспаленными последними бессонницами и вином глазами выражает нетерпение, что прокуратор не только глядит на две белые розы, утонувшие в красной луже, и постоянно поворачивает лицо к саду навстречу водяной пыли и песку, что он кого-то ждет, нетерпеливо ждет.

Прошло некоторое время, и пелена воды перед глазами прокуратора стала редеть. Как ни был яростен ураган, он ослабевал. Сучья больше не трещали и не падали. Удары грома и блистания становились реже. Над Ершалаимом плыло уже не фиолетовое с белой опушкой покрывало, а обыкновенная серая арьергардная туча. Грозу сносило к Мертвому морю.

Теперь уже можно было расслышать в отдельности и шум дождя, и шум воды, низвергающейся по желобам и прямо по ступеням той лестницы, по которой днем прокуратор шел для объявления приговора на площади. А наконец зазвучал и заглушённый доселе фонтан. Светлело. В серой пелене, убегавшей на восток, появились синие окна.

Тут издали, прорываясь сквозь стук уже совсем слабенького дождика, донеслись до слуха прокуратора слабые звуки труб и стрекотание нескольких сот копыт. Услышав это, прокуратор шевельнулся, и лицо его оживилось. Ала возвращалась с Лысой Горы. Судя по звуку, она проходила через ту самую площадь, где был объявлен приговор.

Наконец услышал прокуратор и долгожданные шаги, и шлепанье на лестнице, ведущей к верхней площадке сада перед самым балконом. Прокуратор вытянул шею, и глаза его заблистали, выражая радость.

Между двух мраморных львов показалась сперва голова в капюшоне, а затем и совершенно мокрый человек в облепившем тело плаще. Это был тот самый человек, что перед приговором шептался с прокуратором в затемненной комнате дворца и который во время казни сидел на трехногом табурете, играя прутиком.

Не разбирая луж, человек в капюшоне пересек площадку сада, вступил на мозаичный пол балкона и, подняв руку, сказал высоким приятным голосом:

— Прокуратору здравствовать и радоваться! — Пришедший говорил по-латыни.

— Боги! — воскликнул Пилат. — Да ведь на вас нет сухой нитки! Каков ураган? А? Прошу вас немедленно пройти ко мне. Переоденьтесь, сделайте мне одолжение.

Пришедший откинул капюшон, обнаружив совершенно мокрую, с прилипшими ко лбу волосами голову, и, выразив на своем бритом лице вежливую улыбку, стал отказываться переодеться, уверяя, что дождик не может ему ничем повредить.

— Не хочу слушать, — ответил Пилат и хлопнул в ладоши. Этим он вызвал прячущихся от него слуг и велел им позаботиться о пришедшем, а затем немедленно подавать горячее блюдо. Для того чтобы высушить волосы, переодеться, переобуться и вообще привести себя в порядок, пришедшему к прокуратору понадобилось очень мало времени, и вскорости он появился на балконе в сухих сандалиях, в сухом багряном военном плаще и с приглаженными волосами.

В это время солнце вернулось в Ершалаим и, прежде чем уйти и утонуть в Средиземном море, посылало прощальные лучи ненавидимому прокуратором городу и золотило ступени балкона. Фонтан совсем ожил и распелся во всю мочь, голуби выбрались на песок, гулькали, перепрыгивали через сломанные сучья, клевали что-то в мокром песке. Красная лужа была затерта, убраны черепки, на столе дымилось мясо.

— Я слушаю приказания прокуратора, — сказал пришедший, подходя к столу.

— Но ничего не услышите, пока не сядете и не выпьете вина, — любезно ответил Пилат и указал на другое ложе.

Пришедший прилег, слуга налил в его чашу густое красное вино. Другой слуга, осторожно наклоняясь над плечом Пилата, наполнил чашу прокуратора. После этого тот жестом удалил обоих слуг.

Пока пришедший пил и ел, Пилат, прихлебывая вино, поглядывал прищуренными глазами на своего гостя. Явившийся к Пилату человек был средних лет, с очень приятным округлым и опрятным лицом, с мясистым носом. Волосы его были какого-то неопределенного цвета. Сейчас, высыхая, они светлели. Национальность пришельца было бы трудно установить. Основное, что определяло его лицо, это было, пожалуй, выражение добродушия, которое нарушали, впрочем, глаза, или, вернее, не глаза, а манера пришедшего глядеть на собеседника. Обычно маленькие глаза свои пришелец держал под прикрытыми, немного странноватыми, как будто припухшими, веками. Тогда в щелочках этих глаз светилось незлобное лукавство. Надо по-

лагать, что гость прокуратора был склонен к юмору. Но по временам, совершенно изгоняя поблескивающий этот юмор из щелочек, теперешний гость прокуратора широко открывал веки и взглядывал на своего собеседника внезапно и в упор, как будто с целью быстро разглядеть какое-то незаметное пятнышко на носу у собеседника. Это продолжалось одно мгновение, после чего веки опять опускались, суживались щелочки, и в них начинало светиться добродушие и лукавый ум.

Пришедший не отказался и от второй чаши вина, с видимым наслаждением проглотил несколько устриц, отведал вареных овощей, съел кусок мяса.

Насытившись, он похвалил вино:

— Превосходная лоза, прокуратор, но это не «Фалерно»?

— «Цекуба», тридцатилетнее, — любезно отозвался прокуратор.

Гость приложил руку к сердцу, отказался что-либо еще есть, объявил, что сыт. Тогда Пилат наполнил свою чашу, гость поступил так же. Оба обедающие отлили немного вина из своих чаш в блюдо с мясом, и прокуратор произнес громко, поднимая чашу:

— За нас, за тебя, кесарь, отец римлян, самый дорогой и лучший из людей!

После этого допили вино, и африканцы убрали со стола яства, оставив на нем фрукты и кувшины. Опять-таки жестом прокуратор удалил слуг и остался со своим гостем один под колоннадой.

— Итак, — заговорил негромко Пилат, — что можете вы сказать мне о настроении в этом городе?

Он невольно обратил свой взор туда, где за террасами сада, внизу, догорали и колоннады и плоские кровли, позлащаемые последними лучами.

— Я полагаю, прокуратор, — ответил гость, — что настроение в Ершалаиме теперь удовлетворительное.

— Так что можно ручаться, что беспорядки более не угрожают?

— Ручаться можно, — ласково поглядывая на прокуратора, ответил гость, — лишь за одно в мире — за мощь великого кесаря.

— Да пошлют ему боги долгую жизнь, — тотчас же подхватил Пилат, — и всеобщий мир. — Он помолчал и продолжал: — Так что вы полагаете, что войска теперь можно увести?

— Я полагаю, что когорта Молниеносного может уйти, — ответил гость и прибавил: — Хорошо бы было, если бы на прощанье она продефилировала по городу.

— Очень хорошая мысль, — одобрил прокуратор, — послезавтра я ее отпущу и сам уеду, и — клянусь вам пиром двенадцати богов, ларами клянусь — я отдал бы многое, чтобы сделать это сегодня!

— Прокуратор не любит Ершалаима? — добродушно спросил гость.

— Помилосердствуйте, — улыбаясь, воскликнул прокуратор, — нет более безнадежного места на земле. Я не говорю уже о природе! Я бываю болен всякий раз, как мне приходится сюда приезжать. Но это бы еще полгоря. Но эти праздники — маги, чародеи, волшебники, эти стаи богомольцев... Фанатики, фанатики! Чего стоил один

этот мессия, которого они вдруг стали ожидать в этом году! Каждую минуту только и ждешь, что придется быть свидетелем неприятнейшего кровопролития. Все время тасовать войска, читать доносы и ябеды, из которых к тому же половина написана на тебя самого! Согласитесь, что это скучно. О, если бы не императорская служба!..

— Да, праздники здесь трудные, — согласился гость.

— От всей души желаю, чтобы они скорее кончились, — энергично добавил Пилат. — Я получу возможность наконец вернуться в Кесарию. Верите ли, это бредовое сооружение Ирода, — прокуратор махнул рукою вдоль колоннады, так что стало ясно, что он говорит о дворце, — положительно сводит меня с ума. Я не могу ночевать в нем. Мир не знал более странной архитектуры!.. Да, но вернемся к делам. Прежде всего, этот проклятый Вар-равван вас не тревожит?

Тут гость и послал свой особенный взгляд в щеку прокуратора. Но тот скучающими глазами глядел вдаль, брезгливо сморщившись и созерцая часть города, лежащую у его ног и угасающую в предвечерье. Угас и взгляд гостя, и веки его опустились.

— Надо думать, что Вар стал теперь безопасен, как ягненок, — заговорил гость, и морщинки появились на круглом лице. — Ему неудобно бунтовать теперь.

— Слишком знаменит? — спросил Пилат, усмехнувшись.

— Прокуратор, как всегда, тонко понимает вопрос!

— Но, во всяком случае, — озабоченно заметил прокуратор, и тонкий, длинный палец с черным камнем перстня поднялся вверх, — надо будет...

— О, прокуратор может быть уверен в том, что, пока я в Иудее, Вар не сделает ни шагу без того, чтобы за ним не шли по пятам.

— Теперь я спокоен, как, впрочем, и всегда спокоен, когда вы здесь.

— Прокуратор слишком добр!

— А теперь прошу сообщить мне о казни, — сказал прокуратор.

— Что именно интересует прокуратора?

— Не было ли со стороны толпы попыток выражения возмущения? Это главное, конечно.

— Никаких, — ответил гость.

— Очень хорошо. Вы сами установили, что смерть пришла?

— Прокуратор может быть уверен в этом.

— А скажите... напиток им давали перед повешением на столбы?

— Да. Но он, — тут гость закрыл глаза, — отказался его выпить.

— Кто именно? — спросил Пилат.

— Простите, игемон! — воскликнул гость. — Я не назвал? Га-Ноцри.

— Безумец! — сказал Пилат, почему-то гримасничая. Под левым глазом у него задергалась жилка. — Умирать от ожогов солнца! Зачем же отказываться от того, что предлагается по закону? В каких выражениях он отказался?

— Он сказал, — опять закрывая глаза, ответил гость, — что благодарит и не винит за то, что у него отняли жизнь.

— Кого? — глухо спросил Пилат.

— Этого он, игемон, не сказал.

— Не пытался ли он проповедовать что-либо в присутствии солдат?

— Нет, игемон, он не был многословен на этот раз. Единственное, что он сказал, это что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость.

— К чему это было сказано? — услышал гость внезапно треснувший голос.

— Этого нельзя было понять. Он вообще вел себя странно, как, впрочем, и всегда.

— В чем странность?

— Он все время пытался заглянуть в глаза то одному, то другому из окружающих и все время улыбался какой-то растерянной улыбкой.

— Больше ничего? — спросил хриплый голос.

— Больше ничего.

Прокуратор стукнул чашей, наливая себе вина. Осушив ее до самого дна, он заговорил:

— Дело заключается в следующем: хотя мы и не можем обнаружить — в данное время, по крайней мере, — каких-либо его поклонников или последователей, тем не менее ручаться, что их совсем нет, нельзя.

Гость внимательно слушал, наклонив голову.

— И вот, во избежание каких-нибудь сюрпризов, — продолжал прокуратор, — я прошу вас немедленно и без всякого шума убрать с лица земли тела всех трех казненных и похоронить их в тайне и в тишине, так, чтобы о них больше не было ни слуху ни духу.

— Слушаю, игемон, — сказал гость и встал, говоря: — Ввиду сложности и ответственности дела разрешите мне ехать немедленно.

— Нет, присядьте еще, — сказал Пилат, жестом останавливая своего гостя, — есть еще два вопроса. Первый — ваши громадные заслуги на труднейшей работе в должности начальника тайной службы при прокураторе Иудеи дают мне приятную возможность доложить об этом в Риме.

Тут лицо гостя порозовело, он встал и поклонился прокуратору, говоря:

— Я лишь исполняю свой долг на императорской службе!

— Но я хотел бы просить вас, — продолжал игемон, — если вам предложат перевод отсюда с повышением, отказаться от него и остаться здесь. Мне ни за что не хотелось бы расстаться с вами. Пусть вас наградят каким-нибудь иным способом.

— Я счастлив служить под вашим начальством, игемон.

— Мне это очень приятно. Итак, второй вопрос. Касается он этого, как его... Иуды из Кириафа.

Тут гость и послал прокуратору свой взгляд и тотчас, как полагается, угасил его.

— Говорят, что он, — понижая голос, продолжал прокуратор, — деньги будто бы получил за то, что так радушно принял у себя этого безумного философа.

— Получит, — тихонько поправил Пилата начальник тайной службы.

— А велика ли сумма?

— Этого никто не может знать, игемон.

— Даже вы? — своим изумлением выражая похвалу, сказал игемон.

— Увы, даже я, — спокойно ответил гость. — Но что он получит эти деньги сегодня вечером, это я знаю. Его сегодня вызывают во дворец Каифы.

— Ах, жадный старик из Кириафа, — улыбаясь, заметил прокуратор. — Ведь он старик?

— Прокуратор никогда не ошибается, но на сей раз ошибся, — любезно ответил гость, — человек из Кириафа — молодой человек.

— Скажите! Характеристику его вы можете мне дать? Фанатик?

— О нет, прокуратор.

— Так. А еще что-нибудь?

— Очень красив.

— А еще? Имеет, может быть, какую-нибудь страсть?

— Трудно знать так уж точно всех в этом громадном городе, прокуратор...

— О нет, нет, Афраний! Не преуменьшайте своих заслуг.

— У него есть одна страсть, прокуратор. — Гость сделал крохотную паузу. — Страсть к деньгам.

— А он чем занимается?

Афраний поднял глаза кверху, подумал и ответил:

— Он работает в меняльной лавке у одного из своих родственников.

— Ах так, так, так, так. — Тут прокуратор умолк, оглянулся, нет ли кого на балконе, и потом сказал тихо: — Так вот в чем дело — я получил сегодня сведения о том, что его зарежут этой ночью.

Здесь гость не только метнул свой взгляд на прокуратора, но даже немного задержал его, а после этого ответил:

— Вы, прокуратор, слишком лестно отзывались обо мне. По-моему, я не заслуживаю вашего доклада. У меня этих сведений нет.

— Вы достойны наивысшей награды, — ответил прокуратор, — но сведения такие имеются.

— Осмелюсь спросить, от кого же эти сведения?

— Позвольте мне пока этого не говорить, тем более что они случайны, темны и недостоверны. Но я обязан предвидеть все. Такова моя должность, а пуще всего я обязан верить своему предчувствию, ибо никогда еще оно меня не обманывало. Сведения же заключаются в том, что кто-то из тайных друзей Га-Ноцри, возмущенный чудовищным предательством этого менялы, сговаривается со своими сообщниками убить его сегодня ночью, а деньги, полученные за предательство, подбросить первосвященнику с запиской: «Возвращаю проклятые деньги».

Больше своих неожиданных взглядов начальник тайной службы на игемона не бросал и продолжал слушать его, прищурившись, а Пилат продолжал:

— Вообразите, приятно ли будет первосвященнику в праздничную ночь получить подобный подарок?

— Не только не приятно, — улыбнувшись, ответил гость, — но я полагаю, прокуратор, что это вызовет очень большой скандал.

— И я сам того же мнения. Вот поэтому я прошу вас заняться этим делом, то есть принять все меры к охране Иуды из Кириафа.

— Приказание игемона будет исполнено, — заговорил Афраний, — но я должен успокоить игемона: замысел злодеев чрезвычайно трудно выполним. Ведь подумать только, — гость, говоря, обернулся и продолжал: — выследить человека, зарезать, да еще узнать, сколько получил, да ухитриться вернуть деньги Каифе, и все это в одну ночь? Сегодня?

— И тем не менее его зарежут сегодня, — упрямо повторил Пилат, —у меня предчувствие, говорю я вам! Не было случая, чтобы оно меня обмануло, — тут судорога прошла по лицу прокуратора, и он коротко потер руки.

— Слушаю, — покорно отозвался гость, поднялся, выпрямился и вдруг спросил сурово: — Так зарежут, игемон?

— Да, — ответил Пилат, — и вся надежда только на вашу изумляющую всех исполнительность.

Гость поправил тяжелый пояс под плащом и сказал:

— Имею честь, желаю здравствовать и радоваться.

— Ах да, — негромко вскричал Пилат, — я ведь совсем и забыл! Ведь я вам должен!..

Гость изумился.

— Право, прокуратор, вы мне ничего не должны.

— Ну как же нет! При въезде моем в Ершалаим, помните, толпа нищих... я еще хотел швырнуть им деньги, а у меня не было, и я взял у вас.

— О прокуратор, это какая-нибудь безделица!

— И о безделице надлежит помнить.

Тут Пилат обернулся, поднял плащ, лежащий на кресле сзади него, вынул из-под него кожаный мешок и протянул его гостю. Тот поклонился, принимая его, и спрятал под плащ.

— Я жду, — заговорил Пилат, — доклада о погребении, а также и по этому делу Иуды из Кириафа сегодня же ночью, слышите, Афраний, сегодня. Конвою будет дан приказ будить меня, лишь только вы появитесь. Я жду вас.

— Имею честь, — сказал начальник тайной службы и, повернувшись, пошел с балкона. Слышно было, как он хрустел, проходя по мокрому песку площадки, потом послышался стук его сапог по мрамору меж львов, потом срезало его ноги, туловище, и наконец пропал и капюшон. Тут только прокуратор увидел, что солнца уже нет и пришли сумерки.

Глава 26 ПОГРЕБЕНИЕ

Может быть, эти сумерки и были причиною того, что внешность прокуратора резко изменилась. Он как будто на глазах постарел, сгорбился и, кроме того, стал тревожен. Один раз он оглянулся и по-

чему-то вздрогнул, бросив взгляд на пустое кресло, на спинке которого лежал плащ. Приближалась праздничная ночь, вечерние тени играли свою игру, и, вероятно, усталому прокуратору померещилось, что кто-то сидит в пустом кресле. Допустив малодушие — пошевелив плащ, прокуратор оставил его и забегал по балкону, то потирая руки, то подбегая к столу и хватаясь за чашу, то останавливаясь и начиная бессмысленно глядеть в мозаику пола, как будто пытаясь прочесть в ней какие-то письмена.

За сегодняшний день уже второй раз на него пала тоска. Потирая висок, в котором от адской утренней боли осталось только тупое, немного ноющее воспоминание, прокуратор все силился понять, в чем причина его душевных мучений. И быстро он понял это, но постарался обмануть себя. Ему ясно было, что сегодня днем он что-то безвозвратно упустил и теперь он упущенное хочет исправить какими-то мелкими и ничтожными, а главное, запоздавшими действиями. Обман же самого себя заключался в том, что прокуратор старался внушить себе, что действия эти, теперешние, вечерние, не менее важны, чем утренний приговор. Но это очень плохо удавалось прокуратору.

На одном из поворотов он круто остановился и свистнул. В ответ на этот свист в сумерках загремел низкий лай, и из сада выскочил на балкон гигантский остроухий пес серой шерсти, в ошейнике с золочеными бляшками.

— Банга, Банга, — слабо крикнул прокуратор.

Пес поднялся на задние лапы, а передние опустил на плечи своему хозяину, так что едва не повалил на пол, и лизнул его в щеку. Прокуратор сел в кресло, Банга, высунув язык и часто дыша, улегся у ног хозяина, причем радость в глазах пса означала, что кончилась гроза, единственное в мире, чего боялся бесстрашный пес, а также и то, что он опять тут, рядом с тем человеком, которого любил, уважал и считал самым могучим в мире, повелителем всех людей, благодаря которому и самого себя пес считал существом привилегированным, высшим и особенным. Но, улегшись у ног и даже не глядя на своего хозяина, а глядя в вечереющий сад, пес сразу понял, что хозяина его постигла беда. Поэтому он переменил позу, поднялся, зашел сбоку и передние лапы и голову положил на колени прокуратору, вымазав полы плаща мокрым песком. Вероятно, действия Банги должны были означать, что он утешает своего хозяина и несчастье готов встретить вместе с ним. Это он пытался выразить и в глазах, скашиваемых к хозяину, и в насторожившихся навостренных ушах. Так оба они, и пес и человек, любящие друг друга, встретили праздничную ночь на балконе.

В это время гость прокуратора находился в больших хлопотах. Покинув верхнюю площадку сада перед балконом, он по лестнице спустился на следующую террасу сада, повернул направо и вышел к казармам, расположенным на территории дворца. В этих казармах и были расквартированы те две кентурии, которые пришли вместе с прокуратором на праздники в Ершалаим, а также тайная стража прокуратора, командовал которой этот самый гость. Гость провел в казармах

немного времени, не более десяти минут, но по прошествии этих десяти минут со двора казарм выехали три повозки, нагруженные шанцевым инструментом и бочкой с водою. Повозки сопровождали пятнадцать человек в серых плащах, верховые. В сопровождении их повозки выехали с территории дворца через задние ворота, взяли на запад, вышли из ворот в городской стене и пошли по тропинке сперва на Вифлеемскую дорогу, а потом по ней на север, дошли до перекрестка у Хевронских ворот и тогда двинулись по Яффской дороге, по которой днем проходила процессия с осужденными на казнь. В это время уже было темно и на горизонте показалась луна.

Вскорости после того, как уехали повозки с сопровождающей их командой, отбыл с территории дворца верхом и гость прокуратора, переодевшийся в темный поношенный хитон. Гость направился не за город, а в город. Через некоторое время его можно было видеть подъезжающим к крепости Антония, расположенной на севере и в непосредственной близости от великого храма. В крепости гость также пробыл очень недолго, а затем след его обнаружился в Нижнем Городе, в кривых его и путаных улицах. Сюда гость приехал уже верхом на муле.

Хорошо знавший город гость легко разыскал ту улицу, которая ему была нужна. Она носила название Греческой, так как на ней помещалось несколько греческих лавок, в том числе одна, в которой торговали коврами. Именно у этой лавки гость остановил своего мула, слез и привязал его к кольцу у ворот. Лавка была уже заперта. Гость вошел в калитку, находившуюся рядом со входом в лавку, и попал в квадратный небольшой дворик, покоем обставленный сараями. Повернув во дворе за угол, гость оказался у каменной террасы жилого дома, увитой плющом, и осмотрелся. И в домике и в сараях было темно, еще не зажигали огня. Гость негромко позвал:

— Низа!

На зов этот заскрипела дверь, и в вечернем полумраке на терраске появилась молодая женщина без покрывала. Она склонилась над перилами терраски, тревожно всматриваясь, желая узнать, кто пришел. Узнав пришельца, она приветливо заулыбалась ему, закивала головой, махнула рукой.

— Ты одна? — негромко по-гречески спросил Афраний.

— Одна, — шепнула женщина на террасе. — Муж утром уехал в Кесарию. — Тут женщина оглянулась на дверь и шепотом добавила: — Но служанка дома. — Тут она сделала жест, означающий — «входите». Афраний оглянулся и вступил на каменные ступени. После этого и женщина и он скрылись внутри домика.

У этой женщины Афраний пробыл совсем уже недолго — никак не более минут пяти. После этого он покинул дом и террасу, пониже опустил капюшон на глаза и вышел на улицу. В домах в это время уже зажигали светильники, предпраздничная толчея была еще очень велика, и Афраний на своем муле потерялся в потоке прохожих и всадников. Дальнейший путь его никому не известен.

Женщина же, которую Афраний называл Низа, оставшись одна, начала переодеваться, причем очень спешила. Но как ни трудно бы-

ло ей разыскивать нужные ей вещи в темной комнате, светильника она не зажгла и служанку не вызывала. Лишь после того, как она была готова и на голове у нее уже было темное покрывало, в домике послышался ее голос:

— Если меня кто-нибудь спросит, скажи, что я ушла в гости к Энанте.

Послышалось ворчание старой служанки в темноте:

— К Энанте? Ох уж эта Энанта! Ведь запретил же муж ходить к ней! Сводница она, твоя Энанта! Вот скажу мужу...

— Ну, ну, ну, замолчи, — отозвалась Низа и, как тень, выскользнула из домика. Сандалии Низы простучали по каменным плитам дворика. Служанка с ворчанием закрыла дверь на террасу. Низа покинула свой дом.

В это самое время из другого переулка в Нижнем Городе, переулка изломанного, уступами сбегавшего к одному из городских прудов, из калитки неприглядного дома, слепой своей стороной выходящего в переулок, а окнами во двор, вышел молодой, с аккуратно подстриженной бородкой человек в белом чистом кефи, ниспадавшем на плечи, в новом праздничном голубом таллифе с кисточками внизу и в новеньких скрипящих сандалиях. Горбоносый красавец, принарядившийся для великого праздника, шел бодро, обгоняя прохожих, спешащих домой к праздничной трапезе, смотрел, как загоралось одно окно за другим. Молодой человек направлялся по дороге, ведущей мимо базара ко дворцу первосвященника Каифы, расположенному у подножия храмового холма.

Через некоторое время его можно было видеть входящим в ворота двора Каифы. А через некоторое время еще — покидающим этот двор.

После посещения дворца, в котором уже пылали светильники и факелы, в котором шла праздничная суета, молодой человек пошел еще бодрее, еще радостнее и заспешил обратно в Нижний Город. На том самом углу, где улица вливалась в базарную площадь, в кипении и толчее его обогнала как бы танцующей походкой идущая легкая женщина в черном покрывале, накинутом на самые глаза. Обгоняя молодого красавца, эта женщина на мгновение откинула покрывало повыше, метнула в сторону молодого человека взгляд, но не только не замедлила шага, а ускорила его, как будто бы пытаясь скрыться от того, кого она обогнала.

Молодой человек не только заметил эту женщину, нет, он узнал ее, а узнав, вздрогнул, остановился, в недоумении глядя ей в спину, и тотчас же пустился ее догонять. Едва не сбив с ног какого-то прохожего с кувшином в руках, молодой человек догнал женщину и, тяжело дыша от волнения, окликнул ее:

— Низа!

Женщина повернулась, прищурилась, причем на лице ее выразилась холодная досада, и сухо ответила по-гречески:

— Ах, это ты, Иуда? А я тебя не узнала сразу. Впрочем, это хорошо. У нас есть примета, что тот, кого не узнают, станет богатым...

Волнуясь до того, что сердце стало прыгать, как птица под черным покрывалом, Иуда спросил прерывающимся шепотом, опасаясь, чтобы не услышали прохожие:

— Куда же ты идешь. Низа?

— А зачем тебе это знать? — ответила Низа, замедляя шаг и надменно глядя на Иуду.

Тогда в голосе Иуды послышались какие-то детские интонации, он зашептал растерянно:

— Но как же?.. Ведь мы же условились. Я хотел зайти к тебе. Ты сказала, что весь вечер будешь дома...

— Ах нет, нет, — ответила Низа и капризно выставила вперед нижнюю губу, отчего Иуде показалось, что ее лицо, самое красивое лицо, какое он когда-либо видел в жизни, стало еще красивее, — мне стало скучно. У вас праздник, а что же прикажешь делать мне? Сидеть и слушать, как ты вздыхаешь на террасе? И бояться к тому же, что служанка расскажет об этом мужу? Нет, нет, и я решила уйти за город слушать соловьев.

— Как за город? — спросил растерявшийся Иуда. — Одна?

— Конечно, одна, — ответила Низа.

— Позволь мне сопровождать тебя, — задыхаясь, попросил Иуда. Мысли его помутились, он забыл про все на свете и смотрел молящими глазами в голубые, а теперь казавшиеся черными глаза Низы.

Низа ничего не ответила и прибавила шагу.

— Что же ты молчишь, Низа? — жалобно спросил Иуда, ровняя по ней свой шаг.

— А мне не будет скучно с тобой? — вдруг спросила Низа и остановилась. Тут мысли Иуды совсем смешались.

— Ну, хорошо, — смягчилась наконец Низа, — пойдем.

— А куда, куда?

— Погоди... зайдем в этот дворик и условимся, а то я боюсь, что кто-нибудь из знакомых увидит меня и потом скажут, что я была с любовником на улице.

И тут на базаре не стало Низы и Иуды. Они шептались в подворотне какого-то двора.

— Иди в масличное имение, — шептала Низа, натягивая покрывало на глаза и отворачиваясь от какого-то человека, который с ведром входил в подворотню, — в Гефсиманию, за Кедрон, понял?

— Да, да, да.

— Я пойду вперед, — продолжала Низа, — но ты не иди по моим пятам, а отделись от меня. Я уйду вперед... Когда перейдешь поток... ты знаешь, где грот?

— Знаю, знаю...

— Пройдешь мимо масличного жома вверх и поворачивай к гроту. Я буду там. Но только не смей идти сейчас же за мной, имей терпение, подожди здесь. — И с этими словами Низа вышла из подворотни, как будто и не говорила с Иудой.

Иуда простоял некоторое время один, стараясь собрать разбегающиеся мысли. В числе их была мысль о том, как он объяснит свое отсутствие на праздничной трапезе у родных. Иуда стоял и придумы-

вал какую-то ложь, но в волнении ничего как следует не обдумал и не приготовил, и его ноги сами без его воли вынесли его из подворотни вон.

Теперь он изменил свой путь, он не стремился уже в Нижний Город, а повернул обратно к дворцу Каифы. Праздник уже вошел в город. Вокруг Иуды в окнах не только сверкали огни, но уже слышались славословия. Последние опоздавшие гнали осликов, подхлестывали их, кричали на них. Ноги сами несли Иуду, и он не заметил, как мимо него пролетели мшистые страшные башни Антония, он не слышал трубного рева в крепости, никакого внимания не обратил на конный римский патруль с факелом, залившим тревожным светом его путь.

Пройдя башню, Иуда, повернувшись, увидел, что в страшной высоте над храмом зажглись два гигантских пятисвечия. Но и их Иуда разглядел смутно, ему показалось, что над Ершалаимом засветились десять невиданных по размерам лампад, спорящих со светом единственной лампады, которая все выше подымалась над Ершалаимом, — лампады луны.

Теперь Иуде ни до чего не было дела, он стремился к Гефсиманским воротам, он хотел скорее покинуть город. По временам ему казалось, что впереди него, среди спин и лиц прохожих, мелькает танцующая фигурка, ведет его за собой. Но это был обман — Иуда понимал, что Низа значительно обогнала его. Иуда пробежал мимо меняльных лавок, попал наконец к Гефсиманским воротам. В них, горя от нетерпения, он все-таки вынужден был задержаться. В город входили верблюды, вслед за ними въехал военный сирийский патруль, который Иуда мысленно проклял...

Но все кончается. Нетерпеливый Иуда был уже за городскою стеной. По левую руку от себя Иуда увидел маленькое кладбище, возле него несколько полосатых шатров богомольцев. Пересекши пыльную дорогу, заливаемую луной, Иуда устремился к кедронскому потоку, с тем чтобы его пересечь. Вода тихо журчала у Иуды под ногами. Перепрыгивая с камня на камень, он наконец выбрался на противоположный гефсиманский берег и с великой радостью увидел, что дорога под садами здесь пуста. Невдалеке уже виднелись полуразрушенные ворота масличного имения.

После душного города Иуду поразил одуряющий запах весенней ночи. Из сада через ограду выливалась волна запаха миртов и акаций с гефсиманских полян.

Ворота никто не охранял, никого в них не было, и через несколько минут Иуда уже бежал под таинственною тенью развесистых громадных маслин. Дорога вела в гору. Иуда подымался, тяжело дыша, по временам попадая из тьмы в узорчатые лунные ковры, напомнившие ему те ковры, что он видел в лавке у ревнивого мужа Низы. Через некоторое время мелькнул по левую руку от Иуды, на поляне, масличный жом с тяжелым каменным колесом и груда каких-то бочек. В саду никого не было. Работы закончились на закате, и теперь над Иудой гремели и заливались хоры соловьев.

Цель Иуды была близка. Он знал, что направо в темноте сейчас начнет слышать тихий шепот падающей в гроте воды. Так и случилось, он услыхал его. Становилось все прохладнее.

Тогда он замедлил шаг и негромко крикнул:

— Низа!

Но вместо Низы, отлепившись от толстого ствола маслины, на дорогу выпрыгнула мужская коренастая фигура, и что-то блеснуло у нее в руке и тотчас потухло. Иуда, слабо вскрикнув, бросился назад, но второй человек преградил ему путь.

Первый, что был впереди, спросил Иуду:

— Сколько получил сейчас? Говори, если хочешь сохранить жизнь!

Надежда вспыхнула в сердце Иуды, и он отчаянно вскричал:

— Тридцать тетрадрахм! Тридцать тетрадрахм! Все, что получил, с собою. Вот деньги! Берите, но отдайте жизнь!

Человек спереди мгновенно выхватил из рук Иуды кошель. И в тот же миг за спиной у Иуды взлетел нож и, как молния, ударил влюбленного под лопатку. Иуду швырнуло вперед, и руки со скрюченными пальцами он выбросил в воздух. Передний человек поймал Иуду на свой нож и по рукоять всадил его в сердце Иуды.

— Ни... за... — не своим, высоким и чистым молодым голосом, а голосом низким и укоризненным проговорил Иуда и больше не издал ни одного звука. Тело его так сильно ударилось об землю, что она загудела.

Тогда третья фигура появилась на дороге. Этот третий был в плаще с капюшоном.

— Не медлите, — приказал он. Убийцы быстро упаковали кошель вместе с запиской, поданной третьим, в кожу и перекрестили ее веревкой. Второй засунул сверток за пазуху, и затем оба убийцы бросились с дороги в стороны, и тьма их съела между маслинами. Третий же присел на корточки возле убитого и заглянул ему в лицо. В тени оно представилось смотрящему белым, как мел, и каким-то одухотворенно красивым.

Через несколько секунд никого из живых на дороге не было. Бездыханное тело лежало с раскинутыми руками. Левая ступня попала в лунное пятно, так что отчетливо был виден каждый ремешок сандалии. Весь Гефсиманский сад в это время гремел соловьиным пением. Куда направились двое зарезавших Иуду, не знает никто, но путь третьего человека в капюшоне известен. Покинув дорожку, он устремился в чащу масличных деревьев, пробираясь к югу. Он перелез через ограду сада вдалеке от главных ворот, в южном углу его, там, где вывалились верхние камни кладки. Вскоре он был на берегу Кедрона. Тогда он вошел в воду и пробирался некоторое время по воде, пока не увидел вдали силуэты двух лошадей и человека возле них. Лошади также стояли в потоке. Вода струилась, омывая их копыта. Коновод сел на одну из лошадей, человек в капюшоне вскочил на другую, и медленно они оба пошли в потоке, и слышно было, как хрустели камни под копытами лошадей. Потом всадники выехали из воды, выбрались на ершалаимский берег и пошли шагом под стеною

города. Тут коновод отделился, ускакал вперед и скрылся из глаз, а человек в капюшоне остановил лошадь, слез с нее на пустынной дороге, снял свой плащ, вывернул его наизнанку, вынул из-под плаща плоский шлем без оперения, надел его. Теперь на лошадь вскочил человек в военной хламиде и с коротким мечом на бедре. Он тронул поводья, и горячая кавалерийская лошадь пошла рысью, потряхивая всадника. Путь был недалек — всадник подъезжал к южным воротам Ершалаима.

Под аркою ворот танцевало и прыгало беспокойное пламя факелов. Караульные солдаты из второй кентурии Молниеносного легиона сидели на каменных скамьях, играя в кости. Увидев въезжающего военного, солдаты вскочили с мест, военный махнул им рукой и въехал в город.

Город был залит праздничными огнями. Во всех окнах играло пламя светильников, и отовсюду, сливаясь в нестройный хор, звучали славословия. Изредка заглядывая в окна, выходящие на улицу, всадник мог видеть людей за праздничным столом, на котором лежало мясо козленка, стояли чаши с вином меж блюд с горькими травами. Насвистывая какую-то тихую песенку, всадник неспешной рысью пробирался по пустынным улицам Нижнего Города, направляясь к Антониевой башне, изредка поглядывая на нигде не виданные в мире пятисвечия, пылающие над храмом, или на луну, которая висела еще выше пятисвечий.

Дворец Ирода Великого не принимал никакого участия в торжестве пасхальной ночи. В подсобных покоях дворца, обращенных на юг, где разместились офицеры римской когорты и легат легиона, светились огни, там чувствовалось какое-то движение и жизнь. Передняя же часть, парадная, где был единственный и невольный жилец дворца — прокуратор, — вся, со своими колоннадами и золотыми статуями, как будто ослепла под ярчайшей луной. Тут, внутри дворца, господствовали мрак и тишина. И внутрь прокуратор, как и говорил Афранию, уйти не пожелал. Он велел постель приготовить на балконе, там же, где обедал, а утром вел допрос. Прокуратор лег на приготовленное ложе, но сон не пожелал прийти к нему. Оголенная луна висела высоко в чистом небе, и прокуратор не сводил с нее глаз в течение нескольких часов.

Примерно в полночь сон наконец сжалился над игемоном. Судорожно зевнув, прокуратор расстегнул и сбросил плащ, снял опоясывающий рубаху ремень с широким стальным ножом в ножнах, положил его в кресло у ложа, снял сандалии и вытянулся. Банга тотчас поднялся к нему на постель и лег рядом, голова к голове, и прокуратор, положив собаке руку на шею, закрыл наконец глаза. Только тогда заснул и пес.

Ложе было в полутьме, закрываемое от луны колонной, но от ступеней крыльца к постели тянулась лунная лента. И лишь только прокуратор потерял связь с тем, что было вокруг него в действительности, он немедленно тронулся по светящейся дороге и пошел по ней вверх, прямо к луне. Он даже рассмеялся во сне от счастья, до того все сложилось прекрасно и неповторимо на прозрачной голубой до-

роге. Он шел в сопровождении Банги, а рядом с ним шел бродячий философ. Они спорили о чем-то очень сложном и важном, причем ни один из них не мог победить другого. Они ни в чем не сходились друг с другом, и от этого их спор был особенно интересен и нескончаем. Само собою разумеется, что сегодняшняя казнь оказалась чистейшим недоразумением — ведь вот же философ, выдумавший столь невероятно нелепую вещь вроде того, что все люди добрые, шел рядом, следовательно, он был жив. И конечно, совершенно ужасно было бы даже помыслить о том, что такого человека можно казнить. Казни не было! Не было! Вот в чем прелесть этого путешествия вверх по лестнице луны.

Свободного времени было столько, сколько надобно, а гроза будет только к вечеру, и трусость, несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа Га-Ноцри. Нет, философ, я тебе возражаю: это самый страшный порок!

Вот, например, не трусил же теперешний прокуратор Иудеи, а бывший трибун в легионе, тогда, в Долине Дев, когда яростные германцы чуть не загрызли Крысобоя-Великана. Но, помилуйте меня, философ! Неужели вы, при вашем уме, допускаете мысль, что из-за человека, совершившего преступление против кесаря, погубит свою карьеру прокуратор Иудеи?

— Да, да, — стонал и всхлипывал во сне Пилат.

Разумеется, погубит. Утром бы еще не погубил, а теперь, ночью, взвесив все, согласен погубить. Он пойдет на все, чтобы спасти от казни решительно ни в чем не виноватого безумного мечтателя и врача!

— Мы теперь будем всегда вместе, — говорил ему во сне оборванный философ-бродяга, неизвестно каким образом ставший на дороге всадника с золотым копьем. — Раз один — то, значит, тут же и другой! Помянут меня — сейчас же помянут и тебя! Меня — подкидыша, сына неизвестных родителей, и тебя — сына короля-звездочета и дочери мельника, красавицы Пилы.

— Да, уж ты не забудь, помяни меня, сына звездочета, — просил во сне Пилат. И, заручившись во сне кивком идущего рядом с ним нищего из Эн-Сарида, жестокий прокуратор Иудеи от радости плакал и смеялся во сне.

Все это было хорошо, но тем ужаснее было пробуждение игемона. Банга зарычал на луну, и скользкая, как бы укатанная маслом, голубая дорога перед прокуратором провалилась. Он открыл глаза, и первое, что вспомнил, это что казнь была. Первое, что сделал прокуратор, это привычным жестом вцепился в ошейник Банги, потом больными глазами стал искать луну и увидел, что она немного отошла в сторону и посеребрилась. Ее свет перебивал неприятный, беспокойный свет, играющий на балконе перед самыми глазами. В руках у кентуриона Крысобоя пылал и коптил факел. Держащий его со страхом и злобой косился на опасного зверя, приготовившегося к прыжку.

— Не трогать, Банга, — сказал прокуратор больным голосом и кашлянул. Заслоняясь от пламени рукою, он продолжал: — И ночью,

и при луне мне нет покоя. О боги! У вас тоже плохая должность, Марк. Солдат вы калечите...

В величайшем изумлении Марк глядел на прокуратора, и тот опомнился. Чтобы загладить напрасные слова, произнесенные со сна, прокуратор сказал:

— Не обижайтесь, кентурион. Мое положение, повторяю, еще хуже. Что вам надо?

— К вам начальник тайной стражи, — спокойно сообщил Марк.

— Зовите, зовите, — прочищая горло кашлем, приказал прокуратор и стал босыми ногами нашаривать сандалии. Пламя заиграло на колоннах, застучали калиги кентуриона по мозаике. Кентурион вышел в сад.

— И при луне мне нет покоя, — скрипнув зубами, сам себе сказал прокуратор.

На балконе вместо кентуриона появился человек в капюшоне.

— Банга, не трогать, — тихо сказал прокуратор и сдавил затылок пса.

Прежде чем начать говорить, Афраний, по своему обыкновению, оглянулся и ушел в тень и, убедившись, что, кроме Банги, лишних на балконе нет, тихо сказал:

— Прошу отдать меня под суд, прокуратор. Вы оказались правы. Я не сумел уберечь Иуду из Кириафа, его зарезали. Прошу суд и отставку.

Афранию показалось, что на него глядят четыре глаза — собачьи и волчьи.

Афраний вынул из-под хламиды заскорузлый от крови кошель, запечатанный двумя печатями.

— Вот этот мешок с деньгами подбросили убийцы в дом первосвященника. Кровь на этом мешке — кровь Иуды из Кириафа.

— Сколько там, интересно? — спросил Пилат, наклоняясь к мешку.

— Тридцать тетрадрахм.

Прокуратор усмехнулся и сказал:

— Мало.

Афраний молчал.

— Где убитый?

— Этого я не знаю, — со спокойным достоинством ответил человек, никогда не расстававшийся со своим капюшоном, — сегодня утром начнем розыск.

Прокуратор вздрогнул, оставил ремень сандалии, который никак не застегивался.

— Но вы наверно знаете, что он убит?

На это прокуратор получил сухой ответ:

— Я, прокуратор, пятнадцать лет на работе в Иудее. Я начал службу при Валерии Грате. Мне не обязательно видеть труп для того, чтобы сказать, что человек убит, и вот я вам докладываю, что тот, кого именовали Иуда из города Кириафа, несколько часов тому назад зарезан.

— Простите меня, Афраний, — ответил Пилат, — я еще не проснулся как следует, отчего и сказал это. Я сплю плохо, — прокуратор усмехнулся, — и все время вижу во сне лунный луч. Так смешно, вооб-

разите. Будто бы я гуляю по этому лучу. Итак, я хотел бы знать ваши предположения по этому делу. Где вы собираетесь его искать? Садитесь, начальник тайной службы.

Афраний поклонился, пододвинул кресло поближе к кровати и сел, брякнув мечом.

— Я собираюсь его искать недалеко от масличного жома в Гефсиманском саду.

— Так, так. А почему именно там?

— Игемон, по моим соображениям, Иуда убит не в самом Ершалаиме и не где-нибудь далеко от него. Он убит под Ершалаимом.

— Считаю вас одним из выдающихся знатоков своего дела. Я не знаю, впрочем, как обстоит дело в Риме, но в колониях равного вам нет. Объясните, почему?

— Ни в коем случае не допускаю мысли, — говорил негромко Афраний, — о том, чтобы Иуда дался в руки каким-нибудь подозрительным людям в черте города. На улице не зарежешь тайно. Значит, его должны были заманить куда-нибудь в подвал. Но служба уже искала его в Нижнем Городе и, несомненно, нашла бы. Но его нет в городе, за это вам ручаюсь. Если бы его убили вдалеке от города, этот пакет с деньгами не мог бы быть подброшен так скоро. Он убит вблизи города. Его сумели выманить за город.

— Не постигаю, каким образом это можно было сделать.

— Да, прокуратор, это самый трудный вопрос во всем деле, и я даже не знаю, удастся ли мне его разрешить.

— Действительно загадочно! В праздничный вечер верующий уходит неизвестно зачем за город, покинув пасхальную трапезу, и там погибает. Кто и чем мог его выманить? Не сделала ли это женщина? — вдруг вдохновенно спросил прокуратор.

Афраний отвечал спокойно и веско:

— Ни в коем случае, прокуратор. Эта возможность совершенно исключена. Надлежит рассуждать логически. Кто был заинтересован в гибели Иуды? Какие-то бродячие фантазеры, какой-то кружок, в котором прежде всего не было никаких женщин. Чтобы жениться, прокуратор, требуются деньги, чтобы произвести на свет человека, нужны они же, но чтобы зарезать человека при помощи женщины, нужны очень большие деньги, и ни у каких бродяг их нету. Женщины не было в этом деле, прокуратор. Более того скажу, такое толкование убийства может лишь сбивать со следу, мешать следствию и путать меня.

— Я вижу, что вы совершенно правы, Афраний, — говорил Пилат, — и я лишь позволил себе высказать свое предположение.

— Оно, увы, ошибочно, прокуратор.

— Но что же, что же тогда? — воскликнул прокуратор, с жадным любопытством всматриваясь в лицо Афрания.

— Я полагаю, что это все те же деньги.

— Замечательная мысль! Но кто и за что мог предложить ему деньги ночью за городом?

— О нет, прокуратор, не так. У меня есть единственное предположение, и если оно неверно, то других объяснений я, пожалуй,

не найду. — Афраний наклонился поближе к прокуратору и шепотом договорил: — Иуда хотел спрятать свои деньги в укромном, одному ему известном месте.

— Очень тонкое объяснение. Так, по-видимому, дело и обстояло. Теперь я вас понимаю: его выманили не люди, а его собственная мысль. Да, да, это так.

— Так. Иуда был недоверчив. Он прятал деньги от людей.

— Да, вы сказали, в Гефсимании. А вот почему именно там вы намерены искать его — этого я, признаюсь, не пойму.

— О, прокуратор, это проще всего. Никто не будет прятать деньги на дорогах, в открытых и пустых местах. Иуда не был ни на дороге в Хеврон, ни на дороге в Вифанию. Он должен был быть в защищенном, укромном месте с деревьями. Это так просто. А таких других мест, кроме Гефсимании, под Ершалаимом нет. Далеко он уйти не мог.

— Вы совершенно убедили меня. Итак, что же делать теперь?

— Я немедленно начну искать убийц, которые выследили Иуду за городом, а сам тем временем, как я уже докладывал вам, пойду под суд.

— За что?

— Моя охрана упустила его вечером на базаре после того, как он покинул дворец Каифы. Как это произошло, не постигаю. Этого еще не было в моей жизни. Он был взят в наблюдение тотчас же после нашего разговора. Но в районе базара он переложился куда-то, сделал такую странную петлю, что бесследно ушел.

— Так. Объявляю вам, что я не считаю нужным отдавать вас под суд. Вы сделали все, что могли, и никто в мире, — тут прокуратор улыбнулся, — не сумел бы сделать больше вашего! Взыщите с сыщиков, потерявших Иуду. Но и тут, предупреждаю вас, я не хотел бы, чтобы взыскание было хоть сколько-нибудь строгим. В конце концов, мы сделали все для того, чтобы позаботиться об этом негодяе! Да, я забыл спросить, — прокуратор потер лоб, — как же они ухитрились подбросить деньги Каифе?

— Видите ли, прокуратор... Это не особенно сложно. Мстители прошли в тылу дворца Каифы, там, где переулок господствует над задним двором. Они перебросили пакет через забор.

— С запиской?

— Да, точно так, как вы и предполагали, прокуратор. Да, впрочем, — тут Афраний сорвал печать с пакета и показал его внутренность Пилату.

— Помилуйте, что вы делаете, Афраний, ведь печати-то, наверное, храмовые!

— Прокуратору не стоит беспокоить себя этим вопросом, — ответил Афраний, закрывая пакет.

— Неужели все печати есть у вас? — рассмеявшись, спросил Пилат.

— Иначе быть не может, прокуратор, — без всякого смеха, очень сурово ответил Афраний.

— Воображаю, что было у Каифы!

— Да, прокуратор, это вызвало очень большое волнение. Меня они пригласили немедленно.

Даже в полутьме было видно, как сверкают глаза Пилата.

— Это интересно, интересно...

— Осмеливаюсь возразить, прокуратор, это не было интересно. Скучнейшее и утомительнейшее дело. На мой вопрос, не выплачивались ли кому деньги во дворце Каифы, мне сказали категорически, что этого не было.

— Ах так? Ну, что же, не выплачивались — стало быть, не выплачивались. Тем труднее будет найти убийц.

— Совершенно верно, прокуратор.

— Да, Афраний, вот что внезапно мне пришло в голову: не покончил ли он сам с собой?

— О нет, прокуратор, — даже откинувшись от удивления в кресле, ответил Афраний, — простите меня, но это совершенно невероятно!

— Ах, в этом городе все вероятно! Я готов спорить, что через самое короткое время слухи об этом поползут по всему городу.

Тут Афраний метнул в прокуратора свой взгляд, подумал и ответил:

— Это может быть, прокуратор.

Прокуратор, видимо, все не мог расстаться с этим вопросом об убийстве человека из Кириафа, хотя и так уж все было ясно, и сказал даже с некоторой мечтательностью:

— А я желал бы видеть, как они убивали его.

— Убит он с чрезвычайным искусством, прокуратор, — ответил Афраний, с некоторой иронией поглядывая на прокуратора.

— Откуда же вы это-то знаете?

— Благоволите обратить внимание на мешок, прокуратор, — ответил Афраний, — я вам ручаюсь за то, что кровь Иуды хлынула волной. Мне приходилось видеть убитых, прокуратор, на своем веку!

— Так что он, конечно, не встанет?

— Нет, прокуратор, он встанет, — ответил, улыбаясь философски, Афраний, — когда труба Мессии, которого здесь ожидают, прозвучит над ним. Но ранее он не встанет.

— Довольно, Афраний! Этот вопрос ясен. Перейдем к погребению.

— Казненные погребены, прокуратор.

— О Афраний, отдать вас под суд было бы преступлением. Вы достойны наивысшей награды. Как было?

Афраний начал рассказывать и рассказал, что в то время, как он сам занимался делом Иуды, команда тайной стражи, руководимая его помощником, достигла холма, когда наступил вечер. Одного тела на верхушке она не обнаружила. Пилат вздрогнул, сказал хрипло:

— Ах, как же я этого не предвидел!

— Не стоит беспокоиться, прокуратор, — сказал Афраний и продолжал повествовать.

Тела Дисмаса и Гестаса с выклеванными хищными птицами глазами подняли и тотчас же бросились на поиски третьего тела. Его обнаружили в очень скором времени. Некий человек...

— Левий Матвей, — не вопросительно, а скорее утвердительно сказал Пилат.

— Да, прокуратор...

Левий Матвей прятался в пещере на северном склоне Лысого Черепа, дожидаясь тьмы. Голое тело Иешуа Га-Ноцри было с ним. Когда стража вошла в пещеру с факелом, Левий впал в отчаяние и злобу. Он кричал о том, что не совершил никакого преступления и что всякий человек, согласно закону, имеет право похоронить казненного преступника, если пожелает. Левий Матвей говорил, что не хочет расстаться с этим телом. Он был возбужден, выкрикивал что-то бессвязное, то просил, то угрожал и проклинал...

— Его пришлось схватить? — мрачно спросил Пилат.

— Нет, прокуратор, нет, — очень успокоительно ответил Афраний, —дерзкого безумца удалось успокоить, объяснив, что тело будет погребено.

Левий, осмыслив сказанное, утих, но заявил, что он никуда не уйдет и желает участвовать в погребении. Он сказал, что он не уйдет, даже если его начнут убивать, и даже предлагал для этой цели хлебный нож, который был с ним.

— Его прогнали? — сдавленным голосом спросил Пилат.

— Нет, прокуратор, нет. Мой помощник разрешил ему участвовать в погребении.

— Кто из ваших помощников руководил этим? — спросил Пилат.

— Толмай, — ответил Афраний и прибавил в тревоге: — Может быть, он допустил ошибку?

— Продолжайте, — ответил Пилат, — ошибки не было. Я вообще начинаю немного теряться, Афраний, я, по-видимому, имею дело с человеком, который никогда не делает ошибок. Этот человек — вы.

— Левия Матвея взяли в повозку вместе с телами казненных и часа через два достигли пустынного ущелья к северу от Ершалаима. Там команда, работая посменно, в течение часа выкопала глубокую яму и в ней похоронила всех трех казненных.

— Обнаженными?

— Нет, прокуратор, — команда взяла с собой для этой цели хитоны. На пальцы погребаемым были надеты кольца. Иешуа с одной нарезкой, Дисмасу с двумя и Гестасу с тремя. Яма закрыта, завалена камнями. Опознавательный знак Толмаю известен.

— Ах, если б я мог предвидеть! — морщась, заговорил Пилат. — Ведь мне нужно было бы повидать этого Левия Матвея...

— Он здесь, прокуратор.

Пилат, широко расширив глаза, глядел некоторое время на Афрания, а потом сказал так:

— Благодарю вас за все, что сделано по этому делу. Прошу вас завтра прислать мне Толмая, объявить ему заранее, что я доволен им, а вас, Афраний, — тут прокуратор вынул из кармана пояса, лежащего на столе, перстень и подал его начальнику тайной службы, — прошу принять это на память.

Афраний поклонился, молвил:

— Большая честь, прокуратор.

— Команде, производившей погребение, прошу выдать награды. Сыщикам, упустившим Иуду, выговор. А Левия Матвея сейчас ко мне. Мне нужны подробности по делу Иешуа.

— Слушаю, прокуратор, — отозвался Афраний и стал отступать и кланяться, а прокуратор хлопнул в ладоши и закричал:

— Ко мне, сюда! Светильник в колоннаду!

Афраний уже уходил в сад, а за спиною Пилата в руках слуг уже мелькали огни. Три светильника на столе оказались перед прокуратором, и лунная ночь тотчас отступила в сад, как будто бы Афраний увел ее с собою. Вместо Афрания на балкон вступил неизвестный маленький и тощий человек рядом с гигантом кентурионом. Этот второй, поймав взгляд прокуратора, тотчас отступил в сад и скрылся.

Прокуратор изучал пришедшего человека жадными и немного испуганными глазами. Так смотрят на того, о ком слышали много, о ком и сами думали и кто наконец появился.

Пришедший человек, лет под сорок, был черен, оборван, покрыт засохшей грязью, смотрел по-волчьи, исподлобья. Словом, он был очень неприглядно и скорее всего походил на городского нищего, каких много толчется на террасах храма или на базарах шумного и грязного Нижнего Города.

Молчание продолжалось долго, и нарушено оно было странным поведением приведенного к Пилату. Он изменился в лице, шатнулся и, если бы не ухватился грязной рукой за край стола, упал бы.

— Что с тобой? — спросил его Пилат.

— Ничего, — ответил Левий Матвей и сделал такое движение, как будто что-то проглотил. Тощая, голая, грязная шея его взбухла и опять опала.

— Что с тобою, отвечай, — повторил Пилат.

— Я устал, — ответив Левий и мрачно поглядел в пол.

— Сядь, — молвил Пилат и указал на кресло.

Левий недоверчиво поглядел на прокуратора, двинулся к креслу, испуганно покосился на золотые ручки и сел не в кресло, а рядом с ним, на пол.

— Объясни, почему не сел в кресло? — спросил Пилат.

— Я грязный, я его запачкаю, — сказал Левий, глядя в землю.

— Сейчас тебе дадут поесть.

— Я не хочу есть, — ответил Левий.

— Зачем же лгать? — спросил тихо Пилат. — Ты ведь не ел целый день, а может быть, и больше. Ну, хорошо, не ешь. Я призвал тебя, чтобы ты показал мне нож, который был у тебя.

— Солдаты отняли его у меня, когда вводили сюда, — ответил Левий и добавил мрачно: — Вы мне его верните, мне его надо отдать хозяину, я его украл.

— Зачем?

— Чтобы веревки перерезать, — ответил Левий.

— Марк! — крикнул прокуратор, и кентурион вступил под колонны. — Нож его мне дайте.

Кентурион вынул из одного из двух чехлов на поясе грязный хлебный нож и подал его прокуратору, а сам удалился.

— А у кого взял нож?

— В хлебной лавке у Хевронских ворот, как войдешь в город, сейчас же налево.

Пилат поглядел на широкое лезвие, попробовал пальцем, остер ли нож, зачем-то и сказал:

— Насчет ножа не беспокойся, нож вернут в лавку. А теперь мне нужно второе: покажи хартию, которую ты носишь с собой и где записаны слова Иешуа.

Левий с ненавистью поглядел на Пилата и улыбнулся столь недоброй улыбкой, что лицо его обезобразилось совершенно.

— Все хотите отнять? И последнее, что имею? — спросил он.

— Я не сказал тебе — отдай, — ответил Пилат, — я сказал — покажи.

Левий порылся за пазухой и вынул свиток пергамента. Пилат взял его, развернул, расстелил между огнями и, щурясь, стал изучать малоразборчивые чернильные знаки. Трудно было понять эти корявые строчки, и Пилат морщился и склонялся к самому пергаменту, водил пальцем по строчкам. Ему удалось все-таки разобрать, что записанное представляет собою несвязную цепь каких-то изречений, каких-то дат, хозяйственных заметок и поэтических отрывков. Кое-что Пилат прочел: «Смерти нет... Вчера мы ели сладкие весенние баккуроты...»

Гримасничая от напряжения, Пилат щурился, читал: «Мы увидим чистую реку воды жизни... Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл...»

Тут Пилат вздрогнул. В последних строчках пергамента он разобрал слова: «...большего порока... трусость».

Пилат свернул пергамент и резким движением подал его Левию.

— Возьми, — сказал он и, помолчав, прибавил: — Ты, как я вижу, книжный человек, и незачем тебе, одинокому, ходить в нищей одежде без пристанища. У меня в Кесарии есть большая библиотека, я очень богат и хочу взять тебя на службу. Ты будешь разбирать и хранить папирусы, будешь сыт и одет.

Левий встал и ответил:

— Нет, я не хочу.

— Почему? — темнея лицом, спросил прокуратор. — Я тебе неприятен, ты меня боишься?

Та же плохая улыбка исказила лицо Левия, и он сказал:

— Нет, потому что ты будешь меня бояться. Тебе не очень-то легко будет смотреть в лицо мне после того, как ты его убил.

— Молчи, — ответил Пилат, — возьми денег.

Левий отрицательно покачал головой, а прокуратор продолжал:

— Ты, я знаю, считаешь себя учеником Иешуа, но я тебе скажу, что ты не усвоил ничего из того, чему он тебя учил. Ибо, если б это было так, ты обязательно взял бы у меня что-нибудь. Имей в виду, что он перед смертью сказал, что он никого не винит, — Пилат значительно поднял палец, лицо Пилата дергалось. — И сам он непременно взял бы что-нибудь. Ты жесток, а тот жестоким не был. Куда ты пойдешь?

Левий вдруг приблизился к столу, уперся в него обеими руками и, глядя горящими глазами на прокуратора, зашептал ему:

— Ты, игемон, знай, что я в Ершалаиме зарежу одного человека. Мне хочется тебе это сказать, чтобы ты знал, что кровь еще будет.

— Я тоже знаю, что она еще будет, — ответил Пилат, — своими словами ты меня не удивил. Ты, конечно, хочешь зарезать меня?

— Тебя мне зарезать не удастся, — ответил Левий, оскалившись и улыбаясь, — я не такой глупый человек, чтобы на это рассчитывать, но я зарежу Иуду из Кириафа, я этому посвящу остаток жизни.

Тут наслаждение выразилось в глазах прокуратора, и он, поманив к себе пальцем поближе Левия Матвея, сказал:

— Это тебе сделать не удастся, ты себя не беспокой. Иуду этой ночью уже зарезали.

Левий отпрыгнул от стола, дико озираясь, и выкрикнул:

— Кто это сделал?

— Не будь ревнив, — скалясь, ответил Пилат и потер руки, — я боюсь, что были поклонники у него и кроме тебя.

— Кто это сделал? — шепотом повторил Левий.

Пилат ответил ему:

— Это сделал я.

Левий открыл рот, уставился на прокуратора, а тот сказал тихо:

— Это, конечно, немного сделано, но все-таки это сделал я. — И прибавил: — Ну, а теперь возьмешь что-нибудь?

Левий подумал, смягчился и наконец сказал:

— Вели мне дать кусок чистого пергамента.

Прошел час. Левия не было во дворце. Теперь тишину рассвета нарушал только тихий шум шагов часовых в саду. Луна быстро выцветала, на другом краю неба было видно беловатое пятнышко утренней звезды. Светильники давным-давно погасли. На ложе лежал прокуратор. Подложив руку под щеку, он спал и дышал беззвучно. Рядом с ним спал Банга.

Так встретил рассвет пятнадцатого нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат.

Глава 27 КОНЕЦ КВАРТИРЫ № 50

Когда Маргарита дошла до последних слов главы: «...Так встретил рассвет пятнадцатого нисана пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат», — наступило утро.

Слышно было, как во дворике в ветвях ветлы и липы вели веселый, возбужденный утренний разговор воробьи.

Маргарита поднялась с кресла, потянулась и только теперь ощутила, как изломано ее тело и как хочет она спать. Интересно отметить, что душа Маргариты находилась в полном порядке. Мысли ее не были в разброде, ее совершенно не потрясало то, что она провела ночь сверхъестественно. Ее не волновали воспоминания о том,

что она была на балу у сатаны, что каким-то чудом мастер был возвращен к ней, что из пепла возник роман, что опять все оказалось на своем месте в подвале в переулке, откуда был изгнан ябедник Алоизий Могарыч. Словом, знакомство с Воландом не принесло ей никакого психического ущерба. Все было так, как будто так и должно быть.

Она пошла в соседнюю комнату, убедилась в том, что мастер спит крепким и спокойным сном, погасила ненужную настольную лампу и сама протянулась под противоположной стеной на диванчике, покрытом старой разорванной простыней. Через минуту она спала, и никаких снов в то утро она не видела. Молчали комнаты в подвале, молчал весь маленький домишко застройщика, и тихо было в глухом переулке.

Но в это время, то есть на рассвете субботы, не спал целый этаж в одном из московских учреждений, и окна в нем, выходящие на залитую асфальтом большую площадь, которую специальные машины, медленно разъезжая с гудением, чистили щетками, светились полным светом, прорезавшим свет восходящего солнца.

Весь этаж был занят следствием по делу Воланда, и лампы всю ночь горели в десяти кабинетах.

Собственно говоря, дело стало ясно уже со вчерашнего дня, пятницы, когда пришлось закрыть Варьете вследствие исчезновения его администрации и всяких безобразий, происшедших накануне во время знаменитого сеанса черной магии. Но дело в том, что все время и непрерывно поступал в бессонный этаж все новый и новый материал.

Теперь следствию по этому странному делу, отдающему совершенно явственной чертовщиной, да еще с примесью каких-то гипнотических фокусов и совершенно отчетливой уголовщины, надлежало все разносторонние и путаные события, происшедшие в разных местах Москвы, слепить в единый ком.

Первый, кому пришлось побывать в светящемся электричеством бессонном этаже, был Аркадий Аполлонович Семплеяров, председатель Акустической комиссии.

После обеда в пятницу в квартире его, помещающейся в доме у Каменного моста, раздался звонок, и мужской голос попросил к телефону Аркадия Аполлоновича. Подошедшая к аппарату супруга Аркадия Аполлоновича ответила мрачно, что Аркадий Аполлонович нездоров, лег почивать и подойти к аппарату не может. Однако Аркадию Аполлоновичу подойти к аппарату все-таки пришлось. На вопрос о том, откуда спрашивают Аркадия Аполлоновича, голос в телефоне очень коротко ответил откуда.

— Сию секунду... сейчас... сию минуту... — пролепетала обычно очень надменная супруга председателя Акустической комиссии и как стрела полетела в спальню подымать Аркадия Аполлоновича с ложа, на котором тот лежал, испытывая адские терзания при воспоминании о вчерашнем сеансе и ночном скандале, сопровождавшем изгнание из квартиры саратовской его племянницы.

Правда, не через секунду, но даже и не через минуту, а через четверть минуты Аркадий Аполлонович, в одной туфле на левой ноге, в одном белье, уже был у аппарата, лепеча в него:

— Да, это я... Слушаю, слушаю...

Супруга его, на эти мгновения забывшая все омерзительные преступления против верности, в которых несчастный Аркадий Аполлонович был уличен, с испуганным лицом высовывалась в дверь коридора, тыкала туфлей в воздух и шептала:

— Туфлю надень, туфлю... Ноги простудишь, — на что Аркадий Аполлонович, отмахиваясь от жены босой ногой и делая ей зверские глаза, бормотал в телефон:

— Да, да, да, как же, я понимаю... Сейчас выезжаю...

Весь вечер Аркадий Аполлонович провел в том самом этаже, где велось следствие. Разговор был тягостный, неприятнейший был разговор, ибо пришлось с совершеннейшей откровенностью рассказывать не только об этом паскудном сеансе и драке в ложе, но попутно, что было действительно необходимо, и про Милицу Андреевну Покобатько с Елоховской улицы, и про саратовскую племянницу, и про многое еще, о чем рассказы приносили Аркадию Аполлоновичу невыразимые муки.

Само собой разумеется, что показания Аркадия Аполлоновича, интеллигентного и культурного человека, бывшего свидетелем безобразного сеанса, свидетеля толкового и квалифицированного, который прекрасно описал и самого таинственного мага в маске, и двух его негодяев-помощников, который прекрасно запомнил, что фамилия мага именно Воланд, — значительно подвинули следствие вперед. Сопоставление же показаний Аркадия Аполлоновича с показаниями других, в числе которых были некоторые дамы, пострадавшие после сеанса (та, в фиолетовом белье, поразившая Римского, и, увы, многие другие), и курьер Карпов, который был посылаем в квартиру № 50 на Садовую улицу, — собственно, сразу установило то место, где надлежит искать виновника всех этих приключений.

В квартире № 50 побывали, и не раз, и не только осматривали ее чрезвычайно тщательно, но и выстукивали стены в ней, осматривали каминные дымоходы, искали тайников. Однако все эти мероприятия никакого результата не дали, и ни в один из приездов в квартиру в ней никого обнаружить не удалось, хотя и совершенно понятно было, что в квартире кто-то есть, несмотря на то что все лица, которым так или иначе надлежало ведать вопросами о прибывающих в Москву иностранных артистах, решительно и категорически утверждали, что никакого черного мага Воланда в Москве нет и быть не может.

Решительно нигде он не зарегистрировался при приезде, никому не предъявлял своего паспорта или иных каких-либо бумаг, контрактов и договоров, и никто о нем ничего не слыхал! Заведующий программным отделением Зрелищной комиссии Китайцев клялся и божился, что никакой программы представления никакого Воланда пропавший Степа Лиходеев ему на утверждение не присылал и ничего о приезде такого Воланда Китайцеву не телефонировал. Так

что ему, Китайцеву, совершенно непонятно и неизвестно, каким образом в Варьете Степа мог допустить подобный сеанс. Когда же говорили, что Аркадий Аполлонович своими глазами видел этого мага на сеансе, Китайцев только разводил руками и поднимал глаза к небу. И уж по глазам Китайцева можно было видеть и смело сказать, что он чист, как хрусталь.

Тот самый Прохор Петрович, председатель главной Зрелищной комиссии...

Кстати: он вернулся в свой костюм немедленно после того, как милиция вошла в его кабинет, к исступленной радости Анны Ричардовны и к великому недоумению зря потревоженной милиции. Еще кстати: вернувшись на свое место, в свой серый полосатый костюм, Прохор Петрович совершенно одобрил все резолюции, которые костюм наложил во время его кратковременного отсутствия.

...так вот, тот самый Прохор Петрович решительнейшим образом ничего не знал ни о каком Воланде.

Выходило что-то, воля ваша, несусветимое: тысячи зрителей, весь состав Варьете, наконец, Семплеяров Аркадий Аполлонович, наиобразованнейший человек, видели этого мага, равно как и треклятых его ассистентов, а между тем нигде его найти никакой возможности нету. Что же, позвольте вас спросить: он провалился, что ли, сквозь землю тотчас после своего отвратительного сеанса или же, как утверждают некоторые, вовсе не приезжал в Москву? Но если допустить первое, то несомненно, что, проваливаясь, он прихватил с собою всю головку администрации Варьете, а если второе, то не выходит ли, что сама администрация злосчастного театра, учинив предварительно какую-то пакость (вспомните только разбитое окно в кабинете и поведение Тузабубен!), бесследно скрылась из Москвы.

Надо отдать справедливость тому, кто возглавлял следствие. Пропавшего Римского разыскали с изумляющей быстротой. Стоило только сопоставить поведение Тузабубен у таксомоторной стоянки возле кинематографа с некоторыми датами времени, вроде того, когда кончился сеанс и когда именно мог исчезнуть Римский, чтобы немедленно дать телеграмму в Ленинград. Через час пришел ответ (к вечеру пятницы), что Римский обнаружен в номере четыреста двенадцатом гостиницы «Астория», в четвертом этаже, рядом с номером, где остановился заведующий репертуаром одного из московских театров, гастролировавших в то время в Ленинграде, в том самом номере, где, как известно, серо-голубая мебель с золотом и прекрасное ванное отделение.

Обнаруженный прячущимся в платяном шкафу четыреста двенадцатого номера «Астории» Римский был немедленно арестован и допрошен в Ленинграде же. После чего в Москву пришла телеграмма, извещающая о том, что финдиректор Варьете оказался в состоянии невменяемости, что на вопросы он путных ответов не дает или не желает давать и просит только об одном, чтобы его спрятали в бронированную камеру и приставили к нему вооруженную охрану. Из Москвы телеграммой было приказано Римского под охраною до-

ставить в Москву, вследствие чего Римский в пятницу вечером и выехал под такой охраной с вечерним поездом.

К вечеру же пятницы нашли и след Лиходеева. Во все города были разосланы телеграммы с запросами о Лиходееве, и из Ялты был получен ответ, что Лиходеев был в Ялте, но вылетел на аэроплане в Москву.

Единственно, чей след не удалось поймать, это след Варенухи. Известный всей решительно Москве знаменитый театральный администратор канул как в воду.

Тем временем пришлось возиться с происшествиями и в других местах Москвы, вне театра Варьете. Пришлось разъяснять необыкновенный случай с поющими «Славное море» служащими (кстати: профессору Стравинскому удалось их привести в порядок в течение двух часов времени путем каких-то впрыскиваний под кожу), с лицами, предъявлявшими другим лицам или учреждениям под видом денег черт знает что, а также с лицами, пострадавшими от таких предъявлений.

Как само собой понятно, самым неприятным, самым скандальным и неразрешимым из всех этих случаев был случай похищения головы покойного литератора Берлиоза прямо из гроба в грибоедовском зале, произведенного среди бела дня.

Двенадцать человек осуществляли следствие, собирая, как на спицу, окаянные петли этого сложного дела, разбросавшиеся по всей Москве.

Один из следователей прибыл в клинику профессора Стравинского и первым долгом попросил предъявить ему список тех лиц, которые поступили в клинику в течение последних трех дней. Таким образом, были обнаружены Никанор Иванович Босой и несчастный конферансье, которому отрывали голову. Ими, впрочем, занимались мало. Теперь уже легко было установить, что эти двое стали жертвами одной и той же шайки, возглавляемой этим таинственным магом. Но вот Иван Николаевич Бездомный следователя заинтересовал чрезвычайно.

Дверь Иванушкиной комнаты № 117-й отворилась под вечер пятницы, и в комнату вошел молодой, круглолицый, спокойный и мягкий в обращении человек, совсем не похожий на следователя и тем не менее один из лучших следователей Москвы. Он увидел лежащего на кровати, побледневшего и осунувшегося молодого человека, с глазами, в которых читалось отсутствие интереса к происходящему вокруг, с глазами, то обращающимися куда-то вдаль, поверх окружающего, то внутрь самого молодого человека.

Следователь ласково представился и сказал, что зашел к Ивану Николаевичу потолковать о позавчерашних происшествиях на Патриарших прудах.

О, как торжествовал бы Иван, если бы следователь явился к нему пораньше, хотя бы, скажем, в ночь на четверг, когда Иван буйно и страстно добивался того, чтобы выслушали его рассказ о Патриарших прудах. Теперь сбылось его мечтание помочь поймать консультанта, ему не нужно было ни за кем уже бегать, к нему самому при-

шли именно затем, чтобы выслушать его повесть о том, что произошло в среду вечером.

Но, увы, Иванушка совершенно изменился за то время, что прошло с момента гибели Берлиоза. Он был готов охотно и вежливо отвечать на все вопросы следователя, но равнодушие чувствовалось и во взгляде Ивана, и в его интонациях. Поэта больше не трогала судьба Берлиоза.

Перед приходом следователя Иванушка дремал лежа, и перед ним проходили некоторые видения. Так, он видел город странный, непонятный, несуществующий, с глыбами мрамора, источенными колоннадами, со сверкающими на солнце крышами, с черной мрачной и безжалостной башней Антония, со дворцом на западном холме, погруженным до крыш почти в тропическую зелень сада, с бронзовыми, горящими в закате статуями над этой зеленью, он видел идущие под стенами древнего города римские, закованные в броню, кентурии.

В дремоте перед Иваном являлся неподвижный в кресле человек, бритый, с издерганным желтым лицом, человек в белой мантии с красной подбивкой, ненавистно глядящий в пышный и чужой сад. Видел Иван и безлесый желтый холм с опустевшими столбами с перекладинами.

А происшедшее на Патриарших прудах поэта Ивана Бездомного более не интересовало.

— Скажите, Иван Николаевич, а вы-то сами как далеко были от турникета, когда Берлиоз свалился под трамвай?

Чуть заметная равнодушная усмешка почему-то тронула губы Ивана, и он ответил:

— Я был далеко.

— А этот клетчатый был возле самого турникета?

— Нет, он сидел на скамеечке невдалеке.

— Вы хорошо помните, что он не подходил к турникету в тот момент, когда Берлиоз упал?

— Помню. Не подходил. Он развалившись сидел.

Эти вопросы были последними вопросами следователя. После них он встал, протянул руку Иванушке, пожелал скорее поправиться и выразил надежду, что вскорости вновь будет читать его стихи.

— Нет, — тихо ответил Иван, — я больше стихов писать не буду.

Следователь вежливо усмехнулся, позволил себе выразить уверенность в том, что поэт сейчас в состоянии некоторой депрессии, но что скоро это пройдет.

— Нет, — отозвался Иван, глядя не на следователя, а вдаль, на гаснущий небосклон, — это у меня никогда не пройдет. Стихи, которые я писал, — плохие стихи, и я теперь это понял.

Следователь ушел от Иванушки, получив весьма важный материал. Идя по нитке событий с конца к началу, наконец удалось добраться до того истока, от которого пошли все события. Следователь не сомневался в том, что эти события начались с убийства на Патриарших. Конечно, ни Иванушка, ни этот клетчатый не толкали под трамвай несчастного председателя Массолита, физически, так сказать, его падению под колеса не способствовал никто. Но следова-

тель был уверен в том, что Берлиоз бросился под трамвай (или свалился под него), будучи загипнотизированным.

Да, материалу было уже много, и было известно уже, кого и где ловить. Да дело-то в том, что поймать-то никаким образом нельзя было. В трижды проклятой квартире № 50, несомненно, надо повторить, кто-то был. По временам эта квартира отвечала то трескучим, то гнусавым голосом на телефонные звонки, иногда в квартире открывали окно, более того, из нее слышались звуки патефона. А между тем всякий раз, как в нее направлялись, решительно никого в ней не оказывалось. А были там уже не раз, и в разное время суток. И мало этого, по квартире проходили с сетью, проверяя все углы. Квартира была давно уже под подозрением. Охраняли не только тот путь, что вел во двор через подворотню, но и черный ход; мало этого, на крыше у дымовых труб была поставлена охрана. Да, квартира № 50 пошаливала, а поделать с этим ничего нельзя было.

Так дело тянулось до полуночи с пятницы на субботу, когда барон Майгель, одетый в вечернее платье и лакированные туфли, торжественно проследовал в квартиру № 50 в качестве гостя. Слышно было, как барона впустили в квартиру. Ровно через десять минут после этого, без всяких звонков, квартиру посетили, но не только хозяев в ней не нашли, а, что было уж совсем диковинно, не обнаружили в ней и признаков барона Майгеля.

Так вот, как и было сказано, дело тянулось таким образом до субботнего рассвета. Тут прибавились новые и очень интересные данные. На московском аэродроме совершил посадку шестиместный пассажирский самолет, прилетевший из Крыма. Среди других пассажиров из него высадился один странный пассажир. Это был молодой гражданин, дико заросший щетиной, дня три не мывшийся, с воспаленными и испуганными глазами, без багажа и одетый несколько причудливо. Гражданин был в папахе, в бурке поверх ночной сорочки и синих ночных кожаных новеньких, только что купленных туфлях. Лишь только он отделился от лесенки, по которой спускались из кабины самолета, к нему подошли. Этого гражданина уже ждали, и через некоторое время незабвенный директор Варьете, Степан Богданович Лиходеев, предстал перед следствием. Он подсыпал новых данных. Теперь стало ясно, что Воланд проник в Варьете под видом артиста, загипнотизировав Степу Лиходеева, а затем ухитрился выбросить этого же Степу вон из Москвы за бог знает какое количество километров. Материалу, таким образом, прибавилось, но легче от этого не стало, а, пожалуй, стало даже чуть-чуть потяжелее, ибо очевидным становилось, что овладеть такою личностью, которая проделывает штуки вроде той, жертвой которой стал Степан Богданович, будет не так-то легко. Между прочим, Лиходеев, по собственной его просьбе, был заключен в надежную камеру, и перед следствием предстал Варенуха, только что арестованный на своей квартире, в которую он вернулся после безвестного отсутствия в течение почти двух суток.

Несмотря на данное Азазелло обещание больше не лгать, администратор начал именно со лжи. Хотя, впрочем, за это очень строго

его судить нельзя. Ведь Азазелло запретил ему лгать и хамить по телефону, а в данном случае администратор разговаривал без содействия этого аппарата. Блуждая глазами, Иван Савельевич заявлял, что днем в четверг он у себя в кабинете в Варьете в одиночку напился пьяным, после чего куда-то пошел, а куда — не помнит, где-то еще пил старку, а где — не помнит, где-то валялся под забором, а где — не помнит опять-таки. Лишь после того, как администратору сказали, что он своим поведением, глупым и безрассудным, мешает следствию по важному делу и за это, конечно, будет отвечать, Варенуха разрыдался и зашептал дрожащим голосом и озираясь, что он врет исключительно из страха, опасаясь мести воландовской шайки, в руках которой он уже побывал, и что он просит, молит, жаждет быть запертым в бронированную камеру.

— Тьфу ты черт! Вот далась им эта бронированная камера! — проворчал один из ведущих следствие.

— Их сильно напугали эти негодяи, — сказал тот следователь, что побывал у Иванушки.

Варенуху успокоили, как умели, сказали, что охранят его и без всякой камеры, и тут уже выяснилось, что никакой старки он под забором не пил, а что били его двое, один клыкастый и рыжий, а другой толстяк...

— Ах, похожий на кота?

— Да, да, да, — шептал, замирая от страху и ежесекундно оглядываясь, администратор и выкладывал дальнейшие подробности того, как он просуществовал около двух дней в квартире № 50 в качестве вампира-наводчика, едва не ставшего причиною гибели финдиректора Римского...

В это время вводили Римского, привезенного в ленинградском поезде. Однако этот трясущийся от страху, психически расстроенный седой старик, в котором очень трудно было узнать прежнего финдиректора, ни за что не хотел говорить правду и оказался в этом смысле очень упорен. Римский утверждал, что никакой Геллы в окне у себя в кабинете ночью он не видел, равно как и Варенухи, а просто ему сделалось дурно и в беспамятстве он уехал в Ленинград. Нечего и говорить, что свои показания больной финдиректор закончил просьбой о заключении его в бронированную камеру.

Аннушка была арестована в то время, когда производила попытку вручить кассирше в универмаге на Арбате десятидолларовую бумажку. Рассказ Аннушки о вылетающих из окна дома на Садовой людях и о подковке, которую Аннушка, по ее словам, подняла для того, чтобы предъявить в милицию, был выслушан внимательно.

— Подковка действительно была золотая с бриллиантами? — спрашивали Аннушку.

— Мне ли бриллиантов не знать, — отвечала Аннушка.

— Но дал-то он вам червонцы, как вы говорите?

— Мне ли червонцев не знать, — отвечала Аннушка.

— Ну, а когда же они в доллары-то превратились?

— Ничего не знаю, какие такие доллары, и не видела я никаких долларов, — визгливо отвечала Аннушка, — мы в своем праве! Нам да-

ли награду, мы на нее ситец покупаем... — и тут понесла околесину о том, что она не отвечает за домоуправление, которое завело в пятом этаже нечистую силу, от которой житья нету.

Тут следователь замахал на Аннушку пером, потому что она порядком всем надоела, и написал ей пропуск вон на зеленой бумажке, после чего, к общему удовольствию, Аннушка исчезла из здания.

Потом вереницей пошел целый ряд людей, и в числе их Николай Иванович, только что арестованный исключительно по глупости своей ревнивой супруги, давшей знать в милицию под утро о том, что ее муж пропал. Николай Иванович не очень удивил следствие, выложив на стол шутовское удостоверение о том, что он провел время на балу у сатаны. В своих рассказах, как он возил по воздуху на себе голую домработницу Маргариты Николаевны куда-то ко всем чертям на реку купаться и о предшествующем этому появлении в окне обнаженной Маргариты Николаевны, Николай Иванович несколько отступил от истины. Так, например, он не счел нужным упомянуть о том, что он явился в спальню с выброшенной сорочкой в руках и что называл Наташу Венерой. По его словам выходило, что Наташа вылетела из окна, оседлала его и повлекла вон из Москвы...

— Повинуясь насилию, вынужден был подчиниться, — рассказывал Николай Иванович и закончил свои россказни просьбой ни словом не сообщать об этом его супруге. Что и было ему обещано.

Показание Николая Ивановича дало возможность установить, что Маргарита Николаевна, а равно также и ее домработница Наташа исчезли без всякого следа. Были приняты меры к тому, чтобы их разыскать.

Так не прекращающимся ни на секунду следствием и ознаменовалось утро субботнего дня. В городе в это время возникали и расплывались совершенно невозможные слухи, в которых крошечная доля правды была изукрашена пышнейшим враньем. Говорили о том, что был сеанс в Варьете, после коего все две тысячи зрителей выскочили на улицу в чем мать родила, что накрыли типографию фальшивых бумажек волшебного типа на Садовой улице, что какая-то шайка украла пятерых заведующих в секторе развлечений, но что милиция их сейчас же всех нашла, и многое еще, чего даже повторять не хочется.

Между тем время приближалось к обеду, и тогда там, где велось следствие, раздался телефонный звонок. С Садовой сообщали, что проклятая квартира опять подала признаки жизни в ней. Было сказано, что в ней открывали окна изнутри, что доносились из нее звуки пианино и пения и что в окне видели сидящего на подоконнике и греющегося на солнце черного кота.

Около четырех часов жаркого дня большая компания мужчин, одетых в штатское, высадилась из трех машин, несколько не доезжая до дома № 302-бис по Садовой улице. Тут приехавшая большая группа разделилась на две маленьких, причем одна прошла через подворотню дома и двор прямо в шестое парадное, а другая открыла обычно заколоченную маленькую дверку, ведущую на черный ход, и обе стали подниматься по разным лестницам к квартире № 50.

В это время Коровьев и Азазелло, причем Коровьев в обычном своем наряде, а вовсе не во фрачном праздничном, сидели в столовой квартиры, доканчивая завтрак. Воланд, по своему обыкновению, находился в спальне, а где был кот — неизвестно. Но судя по грохоту кастрюль, доносившемуся из кухни, можно было допустить, что Бегемот находится именно там, валяя дурака, по своему обыкновению.

— А что это за шаги такие на лестнице? — спросил Коровьев, поигрывая ложечкой в чашке с черным кофе.

— А это нас арестовывать идут, — ответил Азазелло и выпил стопочку коньяку.

— А-а, ну-ну, — ответил на это Коровьев.

Подымающиеся по парадной лестнице тем временем уже были на площадке третьего этажа. Там двое каких-то водопроводчиков возились с гармоникой парового отопления. Шедшие обменялись с водопроводчиками выразительным взглядом.

— Все дома, — шепнул один из водопроводчиков, постукивая молотком по трубе.

Тогда шедший впереди откровенно вынул из-под пальто черный маузер, а другой, рядом с ним, — отмычки. Вообще, шедшие в квартиру № 50 были снаряжены как следует. У двух из них в карманах были тонкие, легко разворачивающиеся шелковые сети. Еще у одного — аркан, еще у одного — марлевые маски и ампулы с хлороформом.

В одну секунду была открыта парадная дверь в квартиру № 50, и все шедшие оказались в передней, а хлопнувшая в это время в кухне дверь показала, что вторая группа с черного хода подошла также своевременно.

На этот раз если и не полная, то все же какая-то удача была налицо. По всем комнатам мгновенно рассыпались люди и нигде никого не нашли, но зато в столовой обнаружили остатки только что, по-видимому, покинутого завтрака, а в гостиной на каминной полке, рядом с хрустальным кувшином, сидел громадный черный кот. Он держал в своих лапах примус.

В полном молчании вошедшие в гостиную созерцали этого кота в течение довольно долгого времени.

— М-да... действительно здорово... — шепнул один из пришедших.

— Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, — недружелюбно насупившись, проговорил кот, — и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.

— Исключительно чистая работа, — шепнул один из вошедших, а другой сказал громко и отчетливо:

— Ну-с, неприкосновенный чревовещательский кот, пожалуйте сюда!

Развернулась и взвилась шелковая сеть, но бросавший ее, к полному удивлению всех, промахнулся и захватил ею только кувшин, который со звоном тут же и разбился.

— Ремиз! — заорал кот. — Ура! — и тут он, отставив в сторону примус, выхватил из-за спины браунинг. Он мигом навел его на ближайшего к нему стоящего, но у того раньше, чем кот успел выстрелить,

в руке полыхнуло огнем, и вместе с выстрелом из маузера кот шлепнулся вниз головой с каминной полки на пол, уронив браунинг и бросив примус.

— Все кончено, — слабым голосом сказал кот и томно раскинулся в кровавой луже, — отойдите от меня на секунду, дайте мне попрощаться с землей. О мой друг Азазелло! — простонал кот, истекая кровью. — Где ты? — Кот завел угасающие глаза по направлению к двери в столовую. — Ты не пришел ко мне на помощь в момент неравного боя. Ты покинул бедного Бегемота, променяв его на стакан — правда, очень хорошего — коньяку! Ну что же, пусть моя смерть ляжет на твою совесть, а я завещаю тебе мой браунинг...

— Сеть, сеть, сеть, — беспокойно зашептали вокруг кота. Но сеть, черт знает почему, зацепилась у кого-то в кармане и не полезла наружу.

— Единственно, что может спасти смертельно раненного кота, — проговорил кот, — это глоток бензина... — И, воспользовавшись замешательством, он приложился к круглому отверстию в примусе и напился бензину. Тотчас кровь из-под верхней левой лапы перестала струиться. Кот вскочил живой и бодрый, ухватив примус под мышку, сиганул с ним обратно на камин, а оттуда, раздирая обои, полез по стене и через секунды две оказался высоко над вошедшими, сидящим на металлическом карнизе.

Вмиг руки вцепились в гардину и сорвали ее вместе с карнизом, отчего солнце хлынуло в затененную комнату. Но ни жульнически выздоровевший кот, ни примус не упали вниз. Кот, не расставаясь с примусом, ухитрился махнуть по воздуху и вскочить на люстру, висящую в центре комнаты.

— Стремянку! — крикнули снизу.

— Вызываю на дуэль! — проорал кот, пролетая над головами на качающейся люстре, и тут опять в лапах у него оказался браунинг, а примус он пристроил между ветвями люстры. Кот прицелился и, летая, как маятник, над головами пришедших, открыл по ним стрельбу. Грохот потряс квартиру. На пол посыпались хрустальные осколки из люстры, треснуло звездами зеркало на камине, полетела штукатурная пыль, запрыгали по полу отработанные гильзы, полопались стекла в окнах, из простреленного примуса начало брызгать бензином. Теперь уж не могло идти речи о том, чтобы взять кота живым, и пришедшие метко и бешено стреляли ему в ответ из маузеров в голову, в живот, в грудь и в спину. Стрельба вызвала панику на асфальте во дворе.

Но длилась эта стрельба очень недолго и сама собою стала затихать. Дело в том, что ни коту, ни пришедшим она не причинила никакого вреда. Никто не оказался не только убит, но даже ранен; все, в том числе и кот, остались совершенно невредимыми. Кто-то из пришедших, чтобы это окончательно проверить, выпустил штук пять в голову окаянному животному, и кот бойко ответил целой обоймой. И то же самое — никакого впечатления ни на кого это не произвело. Кот покачивался в люстре, размахи которой все уменьшались, дуя зачем-то в дуло браунинга и плюя себе

на лапу. У стоящих внизу в молчании на лицах появилось выражение полного недоумения. Это был единственный, или один из единственных, случай, когда стрельба оказывалась совершенно недействительной. Можно было, конечно, допустить, что браунинг кота — какой-нибудь игрушечный, но о маузерах пришедших этого уж никак нельзя было сказать. Первая же рана кота, в чем уж, ясно, не было ни малейшего сомнения, была не чем иным, как фокусом и свинским притворством, равно как и питье бензина.

Сделали еще одну попытку добыть кота. Был брошен аркан, он зацепился за одну из свечей, люстра сорвалась. Удар ее потряс, казалось, весь корпус дома, но толку от этого не получилось. Присутствующих окатило осколками, а кот перелетел по воздуху и уселся высоко под потолком на верхней части золоченой рамы каминного зеркала. Он никуда не собирался удирать и даже, наоборот, сидя в сравнительной безопасности, завел еще одну речь.

— Я совершенно не понимаю, — говорил он сверху, — причин такого резкого обращения со мной...

И тут эту речь в самом начале перебил неизвестно откуда послышавшийся тяжелый низкий голос:

— Что происходит в квартире? Мне мешают заниматься.

Другой, неприятный и гнусавый, голос отозвался:

— Ну, конечно, Бегемот, черт его возьми!

Третий, дребезжащий, голос сказал:

— Мессир! Суббота. Солнце склоняется. Нам пора.

— Извините, не могу больше беседовать, — сказал кот с зеркала, — нам пора. — Он швырнул свой браунинг и выбил оба стекла в окне. Затем он плеснул вниз бензином, и этот бензин сам собою вспыхнул, выбросив волну пламени до самого потолка.

Загорелось как-то необыкновенно быстро и сильно, как не бывает даже при бензине. Сейчас же задымились обои, загорелась сорванная гардина на полу и начали тлеть рамы в разбитых окнах. Кот спружинился, мяукнул, перемахнул с зеркала на подоконник и скрылся за ним вместе со своим примусом. Снаружи раздались выстрелы. Человек, сидящий на железной противопожарной лестнице на уровне ювелиршиных окон, обстрелял кота, когда тот перелетал с подоконника на подоконник, направляясь к угловой водосточной трубе дома, построенного, как было сказано, покоем. По этой трубе кот взобрался на крышу. Там его, к сожалению, также безрезультатно обстреляла охрана, стерегущая дымовые трубы, и кот смылся в заходящем солнце, заливавшем город.

В квартире в это время вспыхнул паркет под ногами пришедших, и в огне, на том месте, где валялся с притворной раной кот, показался, все более густея, труп бывшего барона Майгеля с задранным кверху подбородком, со стеклянными глазами. Вытащить его уже не было возможности.

Прыгая по горящим шашкам паркета, хлопая ладонями по дымящимся плечам и груди, бывшие в гостиной отступали в кабинет и переднюю. Те, что были в столовой и спальне, выбежали через кори-

дор. Прибежали и те, что были в кухне, бросились в переднюю. Гостиная уже была полна огнем и дымом. Кто-то на ходу успел набрать телефонный номер пожарной части, коротко крикнуть в трубку:

— Садовая, триста два-бис!

Больше задерживаться было нельзя. Пламя выхлестнуло в переднюю. Дышать стало трудно.

Лишь только из разбитых окон заколдованной квартиры выбило первые струйки дыма, во дворе послышались отчаянные человеческие крики:

— Пожар! Пожар! Горим!

В разных квартирах дома люди стали кричать в телефоны:

— Садовая! Садовая, триста два-бис!

В то время как на Садовой послышались пугающие сердце колокольные удары на быстро несущихся со всех частей города красных длинных машинах, мечущиеся во дворе люди видели, как вместе с дымом из окна пятого этажа вылетели три темных, как показалось, мужских силуэта и один силуэт обнаженной женщины.

Глава 28 ПОСЛЕДНИЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОРОВЬЕВА И БЕГЕМОТА

Были ли эти силуэты или они только померещились пораженным страхом жильцам злосчастного дома на Садовой, конечно, с точностью сказать нельзя. Если они были, куда они непосредственно отправились, также не знает никто. Где они разделились, мы также не можем сказать, но мы знаем, что примерно через четверть часа после начала пожара на Садовой у зеркальных дверей Торгсина на Смоленском рынке появился длинный гражданин в клетчатом костюме и с ним черный крупный кот.

Ловко извиваясь среди прохожих, гражданин открыл наружную дверь магазина. Но тут маленький, костлявый и крайне недоброжелательный швейцар преградил ему путь и раздраженно сказал:

— С котами нельзя!

— Я извиняюсь, — задребезжал длинный и приложил узловатую руку к уху, как тугоухий, — с котами, вы говорите? А где же вы видите кота?

Швейцар выпучил глаза, и было отчего: никакого кота у ног гражданина уже не оказалось, а из-за плеча его вместо этого уже высовывался и порывался в магазин толстяк в рваной кепке, действительно немного смахивающий рожей на кота. В руках у толстяка имелся примус.

Эта парочка посетителей почему-то не понравилась швейцару-мизантропу.

— У нас только на валюту, — прохрипел он, раздраженно глядя из-под лохматых, как бы молью изъеденных сивых бровей.

— Дорогой мой, — задребезжал длинный, сверкая глазом из разбитого пенсне, — а откуда ж вам известно, что ее у меня нет? Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого, драгоценнейший страж! Вы можете ошибиться, и притом весьма крупно. Перечтите еще раз хотя бы историю знаменитого калифа Гарун-аль-Рашида. Но в данном случае, откидывая эту историю временно в сторону, я хочу сказать вам, что я нажалуюсь на вас заведующему и порасскажу ему о вас таких вещей, что не пришлось бы вам покинуть ваш пост между сверкающими зеркальными дверями.

— У меня, может быть, полный примус валюты, — запальчиво встрял в разговор и котообразный толстяк, так и прущий в магазин.

Сзади уже напирала и сердилась публика. С ненавистью и сомнением глядя на диковинную парочку, швейцар посторонился, и наши знакомые, Коровьев и Бегемот, очутились в магазине. Здесь они первым долгом осмотрелись, и затем звонким голосом, слышным решительно во всех углах, Коровьев объявил:

— Прекрасный магазин! Очень, очень хороший магазин!

Публика от прилавков обернулась и почему-то с изумлением поглядела на говорившего, хотя хвалить магазин у того были все основания.

Сотни штук ситцу богатейших расцветок виднелись в полочных клетках. За ними громоздились миткали и шифоны и сукна фрачные. В перспективу уходили целые штабеля коробок с обувью, и несколько гражданок сидели на низеньких стульчиках, имея правую ногу в старой, потрепанной туфле, а левую — в новой сверкающей лодочке, которой они и топали озабоченно в коврик. Где-то в глубине за углом пели и играли патефоны.

Но, минуя все эти прелести, Коровьев и Бегемот направились прямо к стыку гастрономического и кондитерского отделений. Здесь было очень просторно, гражданки в платочках и беретиках не напирали на прилавки, как в ситцевом отделении.

Низенький, совершенно квадратный человек, бритый до синевы, в роговых очках, в новешенькой шляпе, не измятой и без подтеков на ленте, в сиреневом пальто и лайковых рыжих перчатках, стоял у прилавка и что-то повелительно мычал. Продавец в чистом белом халате и синей шапочке обслуживал сиреневого клиента. Острейшим ножом, очень похожим на нож, украденный Левием Матвеем, он снимал с жирной плачущей розовой лососины ее похожую на змеиную, с серебристым отливом шкуру.

— И это отделение великолепно, — торжественно признал Коровьев, — и иностранец симпатичный, — он благожелательно указал пальцем на сиреневую спину.

— Нет, Фагот, нет, — задумчиво ответил Бегемот, — ты, дружочек, ошибаешься. В лице сиреневого джентльмена чего-то не хватает, помоему.

Сиреневая спина вздрогнула, но, вероятно, случайно, ибо не мог же иностранец понять то, что говорили по-русски Коровьев и его спутник.

— Кароши? — строго спрашивал сиреневый покупатель.

— Мировая! — отвечал продавец, кокетливо ковыряя острием ножа под шкурой.

— Кароши люблю, плохой — нет, — сурово говорил иностранец.

— Как же! — восторженно отвечал продавец.

Тут наши знакомые отошли от иностранца с его лососиной к краю кондитерского прилавка.

— Жарко сегодня, — обратился Коровьев к молоденькой краснощекой продавщице и не получил от нее никакого ответа на это. — Почем мандарины? — осведомился тогда у нее Коровьев.

— Тридцать копеек кило, — ответила продавщица.

— Все кусается, — вздохнув, заметив Коровьев, — эх, эх... — Он немного еще подумал и пригласил своего спутника: — Кушай, Бегемот.

Толстяк взял свой примус под мышку, овладел верхним мандарином в пирамиде и, тут же со шкурой сожравши его, принялся за второй.

Продавщицу обуял смертельный ужас.

— Вы с ума сошли! — вскричала она, теряя свой румянец. — Чек подавайте! Чек! — и она уронила конфетные шипцы.

— Душенька, милочка, красавица, — засипел Коровьев, переваливаясь через прилавок и подмигивая продавщице, — не при валюте мы сегодня... ну что ты поделаешь! Но, клянусь вам, в следующий же раз, и уж никак не позже понедельника, отдадим все чистоганом! Мы здесь недалеко, на Садовой, где пожар...

Бегемот, проглотив третий мандарин, сунул лапу в хитрое сооружение из шоколадных плиток, выдернул одну нижнюю, отчего, конечно, все рухнуло, и проглотил ее вместе с золотой оберткой.

Продавцы за рыбным прилавком как окаменели со своими ножами в руках, сиреневый иностранец повернулся к грабителям, и тут же обнаружилось, что Бегемот неправ: у сиреневого не не хватало чего-то в лице, а, наоборот, скорее было лишнее — висящие щеки и бегающие глаза.

Совершенно пожелтев, продавщица тоскливо прокричала на весь магазин:

— Палосич! Палосич!

Публика из ситцевого отделения повалила на этот крик, а Бегемот отошел от кондитерских соблазнов и запустил лапу в бочку с надписью «Сельдь керченская отборная», вытащил парочку селедок и проглотил их, выплюнув хвосты.

— Палосич! — повторился отчаянный крик за прилавком кондитерского, а за рыбным прилавком гаркнул продавец в эспаньолке:

— Ты что же это делаешь, гад?!

Павел Иосифович уже спешил к месту действия. Это был представительный мужчина в белом чистом халате, как хирург, и с карандашом, торчащим из кармана. Павел Иосифович, видимо, был опытным человеком. Увидев во рту у Бегемота хвост третьей селедки, он вмиг оценил положение, все решительно понял и, не вступая ни в какие пререкания с нахалами, махнул вдаль рукой, скомандовав:

— Свисти!

На угол Смоленского из зеркальных дверей вылетел швейцар и залился зловещим свистом. Публика стала окружать негодяев, и тогда в дело вступил Коровьев.

— Граждане! — вибрирующим тонким голосом прокричал он. — Что же это делается? Ась? Позвольте вас об этом спросить! Бедный человек, — Коровьев подпустил дрожи в свой голос и указал на Бегемота, немедленно скроившего плаксивую физиономию, — бедный человек целый день починяет примуса; он проголодался... а откуда же ему взять валюту?

Павел Иосифович, обычно сдержанный и спокойный, крикнул на это сурово:

— Ты это брось! — и махнул вдаль уже нетерпеливо. Тогда трели у дверей загремели повеселее.

Но Коровьев, не смущаясь выступлением Павла Иосифовича, продолжал:

— Откуда? — задаю я всем вопрос! Он истомлен голодом и жаждой! Ему жарко. Ну, взял на пробу горемыка мандарин. И вся-то цена этому мандарину три копейки. И вот они уж свистят, как соловьи весной в лесу, тревожат милицию, отрывают ее от дела. А ему можно? А? — и тут Коровьев указал на сиреневого толстяка, отчего у того на лице выразилась сильнейшая тревога. — Кто он такой? А? Откуда он приехал? Зачем? Скучали мы, что ли, без него? Приглашали мы его, что ли? Конечно, — саркастически кривя рот, во весь голос орал бывший регент, — он, видите ли, в парадном сиреневом костюме, от лососины весь распух, он весь набит валютой, а нашему-то, нашему-то?! Горько мне! Горько! Горько! — завыл Коровьев, как шафер на старинной свадьбе.

Вся эта глупейшая, бестактная и, вероятно, политически вредная речь заставила гневно содрогаться Павла Иосифовича, но, как это ни странно, по глазам столпившейся публики видно было, что в очень многих людях она вызвала сочувствие! А когда Бегемот, приложив грязный продранный рукав к глазу, воскликнул трагически:

— Спасибо, верный друг, заступился за пострадавшего! — произошло чудо. Приличнейший тихий старичок, одетый бедно, но чистенько, старичок, покупавший три миндальных пирожных в кондитерском отделении, вдруг преобразился. Глаза его сверкнули боевым огнем, он побагровел, швырнул кулечек с пирожными на пол и крикнул:

— Правда! — детским тонким голосом. Затем он выхватил поднос, сбросив с него остатки погубленной Бегемотом шоколадной эйфелевой башни, взмахнул им, левой рукой сорвал с иностранца шляпу, а правой с размаху ударил подносом плашмя иностранца по плешивой голове. Прокатился такой звук, какой бывает, когда с грузовика сбрасывают на землю листовое железо. Толстяк, белея, повалился навзничь и сел в кадку с керченской сельдью, выбив из нее фонтан селедочного рассола. Тут же стряслось и второе чудо. Сиреневый, провалившись в кадку, на чистом русском языке, без признаков какого-либо акцента, вскричал:

— Убивают! Милицию! Меня бандиты убивают! — очевидно, вследствие потрясения внезапно овладев до тех пор неизвестным ему языком.

Тогда прекратился свист швейцара, и в толпах взволнованных покупателей замелькали, приближаясь, два милицейских шлема. Но коварный Бегемот, как из шайки в бане окатывают лавку, окатил из примуса кондитерский прилавок бензином, и он вспыхнул сам собой. Пламя ударило кверху и побежало вдоль прилавка, пожирая красивые бумажные ленты на корзинах с фруктами. Продавщицы с визгом кинулись бежать из-за прилавка, и лишь только они выскочили из-за него, вспыхнули полотняные шторы на окнах и на полу загорелся бензин. Публика, сразу подняв отчаянный крик, шарахнулась из кондитерского назад, смяв более ненужного Павла Иосифовича, а из-за рыбного гуськом со своими отточенными ножами рысью побежали к дверям черного хода продавцы. Сиреневый гражданин, выдравшись из кадки, весь в селедочной жиже, перевалился через семгу на прилавке и последовал за ними. Зазвенели и посыпались стекла в выходных зеркальных дверях, выдавленные спасающимися людьми, а оба негодяя — и Коровьев и обжора Бегемот — куда-то девались, а куда — нельзя было понять. Потом уж очевидцы, присутствовавшие при начале пожара в Торгсине на Смоленском, рассказывали, что будто бы оба хулигана взлетели вверх под потолок и там будто бы лопнули оба, как воздушные детские шары. Это, конечно, сомнительно, чтобы дело было именно так, но чего не знаем, того не знаем.

Но знаем, что ровно через минуту после происшествия на Смоленском и Бегемот и Коровьев уже оказались на тротуаре бульвара, как раз у дома грибоедовской тетки. Коровьев остановился у решетки и заговорил:

— Ба! Да ведь это писательский дом! Знаешь, Бегемот, я очень много хорошего и лестного слышал про этот дом. Обрати внимание, мой друг, на этот дом. Приятно думать о том, что под этой крышей скрывается и вызревает целая бездна талантов.

— Как ананасы в оранжереях, — сказал Бегемот и, чтобы получше полюбоваться на кремовый дом с колоннами, влез на бетонное основание чугунной решетки.

— Совершенно верно, — согласился со своим неразлучным спутником Коровьев, — и сладкая жуть подкатывает к сердцу, когда думаешь о том, что в этом доме сейчас поспевает будущий автор «Дон-Кихота», или «Фауста», или, черт меня побери, «Мертвых душ»! А?

— Страшно подумать, — подтвердил Бегемот.

— Да, — продолжал Коровьев, — удивительных вещей можно ожидать в парниках этого дома, объединившего под своею кровлей несколько тысяч подвижников, решивших отдать беззаветно свою жизнь на служение Мельпомене, Полигимнии и Талии. Ты представляешь себе, какой поднимется шум, когда кто-нибудь из них для начала преподнесет читающей публике «Ревизора» или, на самый худой конец, «Евгения Онегина»!

— И очень просто, — опять-таки подтвердил Бегемот.

— Да, — продолжал Коровьев и озабоченно поднял палец, — но! Но, говорю я и повторяю это — но! Если на эти нежные тепличные растения не нападет какой-нибудь микроорганизм, не подточит их в корне, если они не загниют! А это бывает с ананасами! Ой-ой-ой, как бывает!

— Кстати, — осведомился Бегемот, просовывая свою круглую голову через дыру в решетке, — что это они делают на веранде?

— Обедают, — объяснил Коровьев, — добавлю к этому, дорогой мой, что здесь очень недурной и недорогой ресторан. А я, между тем, как и всякий турист перед дальнейшим путешествием, испытываю желание закусить и выпить большую ледяную кружку пива.

— И я тоже, — ответил Бегемот, и оба негодяя зашагали по асфальтовой дорожке под липами прямо к веранде не чуявшего беды ресторана.

Бледная и скучающая гражданка в белых носочках и белом же беретике с хвостиком сидела на венском стуле у входа на веранду с угла, там, где в зелени трельяжа было устроено входное отверстие. Перед нею на простом кухонном столе лежала толстая, конторского типа книга, в которую гражданка, неизвестно для каких причин, записывала входящих в ресторан. Этой именно гражданкой и были остановлены Коровьев и Бегемот.

— Ваши удостоверения? — она с удивлением глядела на пенсне Коровьева, а также и на примус Бегемота и на разорванный Бегемотов локоть.

— Приношу вам тысячу извинений, какие удостоверения? — спросил Коровьев, удивляясь.

— Вы — писатели? — в свою очередь спросила гражданка.

— Безусловно, — с достоинством ответил Коровьев.

— Ваши удостоверения? — повторила гражданка.

— Прелесть моя... — начал нежно Коровьев.

— Я не прелесть, — перебила его гражданка.

— О, как это жалко, — разочарованно сказал Коровьев и продолжал: — Ну, что ж, если вам не угодно быть прелестью, что было бы весьма приятно, можете не быть ею. Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский — писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых пять страниц из любого его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было! Как ты думаешь? — обратился Коровьев к Бегемоту.

— Пари держу, что не было, — ответил тот, ставя примус на стол рядом с книгой и вытирая пот рукою на закопченном лбу.

— Вы — не Достоевский, — сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым.

— Ну, почем знать, почем знать, — ответил тот.

— Достоевский умер, — сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.

— Протестую! — горячо воскликнул Бегемот. — Достоевский бессмертен!

— Ваши удостоверения, граждане, — сказала гражданка.

— Помилуйте, это, в конце концов, смешно, — не сдавался Коровьев, — вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет! Почем вы знаете, какие замыслы роятся в моей голове? Или в этой голове? - и о н указал на голову Бегемота, с которой тот тотчас снял кепку, как бы для того, чтобы гражданка могла получше осмотреть ее.

— Пропустите, граждане, — уже нервничая, сказала она.

Коровьев и Бегемот посторонились и пропустили какого-то писателя в сером костюме, в летней, без галстуха белой рубашке, воротник которой широко лежал на воротнике пиджака, и с газетой под мышкой. Писатель приветливо кивнул гражданке, на ходу поставил в подставленной ему книге какую-то закорючку и проследовал на веранду.

— Увы, не нам, не нам, — грустно заговорил Коровьев, — а ему достанется эта ледяная кружка пива, о которой мы, бедные скитальцы, так мечтали с тобой. Положение наше печально и затруднительно, и я не знаю, как быть.

Бегемот только горько развел руками и надел кепку на круглую голову, поросшую густым волосом, очень похожим на кошачью шерсть. И в этот момент негромкий, но властный голос прозвучал над головой гражданки:

— Пропустите, Софья Павловна.

Гражданка с книгой изумилась; в зелени трельяжа возникла белая фрачная грудь и клинообразная борода флибустьера. Он приветливо глядел на двух сомнительных оборванцев и, даже более того, делал им пригласительные жесты. Авторитет Арчибальда Арчибальдовича был вещью, серьезно ощутимой в ресторане, которым он заведовал, и Софья Павловна покорно спросила у Коровьева:

— Как ваша фамилия?

— Панаев, — вежливо ответил тот. Гражданка записала эту фамилию и подняла вопросительный взор на Бегемота.

— Скабичевский, — пропищал тот, почему-то указывая на свой примус. Софья Павловна записала и это и пододвинула книгу посетителям, чтобы они расписались в ней. Коровьев против фамилии «Панаев» написал «Скабичевский», а Бегемот против Скабичевского написал «Панаев».

Арчибальд Арчибальдович, совершенно поражая Софью Павловну, обольстительно улыбаясь, повел гостей к лучшему столику в противоположном конце веранды, туда, где лежала самая густая тень, к столику, возле которого весело играло солнце в одном из прорезов трельяжной зелени. Софья же Павловна, моргая от изумления, долго изучала странные записи, сделанные неожиданными посетителями в книге.

Официантов Арчибальд Арчибальдович удивил не менее, чем Софью Павловну. Он лично отодвинул стул от столика, приглашая Коровьева сесть, мигнул одному, что-то шепнул другому, и два официанта засуетились возле новых гостей, из которых один свой примус поставил рядом со своим порыжевшим ботинком на пол.

Немедленно исчезла со столика старая скатерть в желтых пятнах, в воздухе, хрустя крахмалом, взметнулась белейшая, как бедуинский

бурнус, другая, а Арчибальд Арчибальдович уже шептал тихо, но очень выразительно, склоняясь к самому уху Коровьева:

— Чем буду потчевать? Балычок имею особенный... у архитекторского съезда оторвал...

— Вы... э... дайте нам вообще закусочку... э... — благожелательно промычал Коровьев, раскидываясь на стуле.

— Понимаю, — закрывая глаза, многозначительно ответил Арчибальд Арчибальдович.

Увидев, как обращается с весьма сомнительными посетителями шеф ресторана, официанты оставили всякие сомнения и принялись за дело серьезно. Один уже подносил спичку Бегемоту, вынувшему из кармана окурок и всунувшему его в рот, другой подлетел, звеня зеленым стеклом и выставляя у приборов рюмки, лафитники и тонкостенные бокалы, из которых так хорошо пьется нарзан под тентом... нет, забегая вперед, скажем: пился нарзан под тентом незабвенной грибоедовской веранды.

— Филейчиком из рябчика могу угостить, — музыкально мурлыкал Арчибальд Арчибальдович. Гость в треснувшем пенсне полностью одобрял предложения командира брига и благосклонно глядел на него сквозь бесполезное стеклышко.

Обедающий за соседним столиком беллетрист Петраков-Суховей с супругой, доедающей свиной эскалоп, со свойственной всем писателям наблюдательностью заметил ухаживания Арчибальда Арчибальдовича и очень и очень удивлялся. А супруга его, очень почтенная дама, просто даже приревновала пирата к Коровьеву и даже ложечкой постучала... — что же это, дескать, нас задерживают... пора и мороженое подавать! В чем дело?

Однако, послав Петраковой обольстительную улыбку, Арчибальд Арчибальдович направил к ней официанта, а сам не покинул своих дорогих гостей. Ах, умен был Арчибальд Арчибальдович! А уж наблюдателен, пожалуй, не менее, чем и сами писатели. Арчибальд Арчибальдович знал и о сеансе в Варьете, и о многих других происшествиях этих дней, слышал, но, в противоположность другим, мимо ушей не пропустил ни слова «клетчатый», ни слова «кот». Арчибальд Арчибальдович сразу догадался, кто его посетители. А догадавшись, натурально, ссориться с ними не стал. А вот Софья Павловна хороша! Ведь это надо же выдумать — преграждать этим двум путь на веранду! А впрочем, что с нее спрашивать.

Надменно тыча ложечкой в раскисающее сливочное мороженое, Петракова недовольными глазами глядела, как столик перед двумя одетыми какими-то шутами гороховыми как бы по волшебству обрастает яствами. До блеска вымытые салатные листья уже торчали из вазы со свежей икрой... миг, и появилось на специально пододвинутом отдельном столике запотевшее серебряное ведерко...

Лишь убедившись в том, что все сделано по чести, лишь тогда, когда в руках официантов прилетела закрытая сковорода, в которой что-то ворчало, Арчибальд Арчибальдович позволил себе покинуть двух загадочных посетителей, да и то предварительно шепнув им:

— Извините! На минутку! Лично пригляжу за филейчиками.

Он отлетел от столика и скрылся во внутреннем ходе ресторана. Если бы какой-нибудь наблюдатель мог проследить дальнейшие действия Арчибальда Арчибальдовича, они, несомненно, показались бы ему несколько загадочными.

Шеф отправился вовсе не в кухню наблюдать за филейчиками, а в кладовую ресторана. Он открыл ее своим ключом, закрылся в ней, вынул из ларя со льдом осторожно, чтобы не запачкать манжет, два увесистых балыка, запаковал их в газетную бумагу, аккуратно перевязал веревочкой и отложил в сторону. Затем в соседней комнате проверил, на месте ли его летнее пальто на шелковой подкладке и шляпа, и лишь после этого проследовал в кухню, где повар старательно разделывал обещанные гостям пиратом филейчики.

Нужно сказать, что странного или загадочного во всех действиях Арчибальда Арчибальдовича вовсе не было и странными такие действия мог бы счесть лишь наблюдатель поверхностный. Поступки Арчибальда Арчибальдовича совершенно логически вытекали из всего предыдущего. Знание последних событий, а главным образом феноменальное чутье Арчибальда Арчибальдовича подсказывали шефу грибоедовского ресторана, что обед его двух посетителей будет хотя и обилен и роскошен, но крайне непродолжителен. И чутье, никогда не обманывающее бывшего флибустьера, не подвело его и на сей раз.

В то время как Коровьев и Бегемот чокались второй рюмкой прекрасной холодной московской двойной очистки водки, появился на веранде потный и взволнованный хроникер Боба Кандалупский, известный в Москве своим поразительным всеведением, и сейчас же подсел к Петраковым. Положив свой разбухший портфель на столик, Боба немедленно всунул свои губы в ухо Петракову и зашептал в него какие-то очень соблазнительные вещи. Мадам Петракова, изнывая от любопытства, и свое ухо подставила к пухлым масленым губам Бобы. А тот, изредка воровски оглядываясь, все шептал и шептал, и можно было расслышать отдельные слова, вроде таких:

— Клянусь вам честью! На Садовой, на Садовой, — Боба еще больше снизил голос, — не берут пули! Пули... пули... бензин... пожар... пули...

— Вот этих бы врунов, которые распространяют гадкие слухи, — в негодовании несколько громче, чем хотел бы Боба, загудела контральтовым голосом мадам Петракова, — вот их бы следовало разъяснить! Ну, ничего, так и будет, их приведут в порядок! Какие вредные враки!

— Какие же враки, Антонида Порфирьевна! — воскликнул огорченный неверием супруги писателя Боба и опять засвистел: — Говорю вам, пули не берут... А теперь пожар... Они по воздуху... по воздуху, — Боба шипел, не подозревая того, что те, о ком он рассказывает, сидят рядом с ним, наслаждаясь его свистом.

Впрочем, это наслаждение скоро прекратилось. Из внутреннего хода ресторана на веранду стремительно вышли трое мужчин с туго перетянутыми ремнями талиями, в крагах и с револьверами в руках. Передний крикнул звонко и страшно:

— Ни с места! — И тотчас все трое открыли стрельбу на веранде, целясь в голову Коровьеву и Бегемоту. Оба обстреливаемые сейчас же растаяли в воздухе, а из примуса ударил столб огня прямо в тент. Как бы зияющая пасть с черными краями появилась в тенте и стала расползаться во все стороны. Огонь, проскочив сквозь нее, поднялся до самой крыши грибоедовского дома. Лежащие на окне второго этажа папки с бумагами в комнате редакции вдруг вспыхнули, а за ними схватило штору, и тут огонь, гудя, как будто кто-то его раздувал, столбами пошел внутрь теткиного дома.

Через несколько секунд по асфальтовым дорожкам, ведущим к чугунной решетке бульвара, откуда в среду вечером пришел не понятый никем первый вестник несчастья Иванушка, теперь бежали недообедавшие писатели, официанты, Софья Павловна, Боба, Петракова, Петраков.

Заблаговременно вышедший через боковой ход, никуда не убегая и никуда не спеша, как капитан, который обязан покинуть горящий бриг последним, стоял спокойный Арчибальд Арчибальдович в летнем пальто на шелковой подкладке, с двумя балыковыми бревнами под мышкой.

Глава 29 СУДЬБА МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ ОПРЕДЕЛЕНА

На закате солнца высоко над городом на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве, здания, построенного около полутораста лет назад, находились двое: Воланд и Азазелло. Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми вазами и гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев.

Воланд сидел на складном табурете, одетый в черную свою сутану. Его длинная и широкая шпага была воткнута между двумя рассекшимися плитами террасы вертикально, так что получились солнечные часы. Тень шпаги медленно и неуклонно удлинялась, подползая к черным туфлям на ногах сатаны. Положив острый подбородок на кулак, скорчившись на табурете и поджав одну ногу под себя, Воланд не отрываясь смотрел на необъятное сборище дворцов, гигантских домов и маленьких, обреченных на слом лачуг.

Азазелло, расставшись со своим современным нарядом, то есть пиджаком, котелком, лакированными туфлями, одетый, как и Воланд, в черное, неподвижно стоял невдалеке от своего повелителя, так же, как и он, не спуская глаз с города.

Воланд заговорил:

— Какой интересный город, не правда ли?

Азазелло шевельнулся и ответил почтительно:

— Мессир, мне больше нравится Рим.

— Да, это дело вкуса, — ответил Воланд.

Через некоторое время опять раздался его голос:

— А отчего этот дым там, на бульваре?

— Это горит Грибоедов, — ответил Азазелло.

— Надо полагать, что это неразлучная парочка, Коровьев и Бегемот, побывала там?

— В этом нет никакого сомнения, мессир.

Опять наступило молчание, и оба находящиеся на террасе глядели, как в окнах, повернутых на запад, в верхних этажах громад зажигалось изломанное ослепительное солнце. Глаз Воланда горел точно так же, как одно из таких окон, хотя Воланд был спиною к закату.

Но тут что-то заставило Воланда отвернуться от города и обратить свое внимание на круглую башню, которая была у него за спиною на крыше. Из стены ее вышел оборванный, выпачканный в глине мрачный человек в хитоне, в самодельных сандалиях, чернобородый.

— Ба! — воскликнул Воланд, с насмешкой глядя на вошедшего. — Менее всего можно было ожидать тебя здесь! Ты с чем пожаловал, незваный, но предвиденный гость?

— Я к тебе, дух зла и повелитель теней, — ответил вошедший, исподлобья недружелюбно глядя на Воланда.

— Если ты ко мне, то почему же ты не поздоровался со мной, бывший сборщик податей? — заговорил Воланд сурово.

— Потому что я не хочу, чтобы ты здравствовал, — ответил дерзко вошедший.

— Но тебе придется примириться с этим, — возразил Воланд, и усмешка искривила его рот, — не успел ты появиться на крыше, как уже сразу отвесил нелепость, и я тебе скажу, в чем она, — в твоих интонациях. Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп.

— Я не буду с тобою спорить, старый софист, — ответил Левий Матвей.

— Ты и не можешь со мной спорить, по той причине, о которой я уже упомянул: ты глуп, — ответил Воланд и спросил: — Ну, говори кратко, не утомляя меня, зачем появился?

— Он прислал меня.

— Что же он велел передать тебе, раб?

— Я не раб, — все более озлобляясь, ответил Левий Матвей, — я его ученик.

— Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда, — отозвался Воланд, — но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. Итак?..

— Он прочитал сочинение мастера, — заговорил Левий Матвей, — и просит тебя, чтобы ты взял с собою мастера и наградил его покоем. Неужели это трудно тебе сделать, дух зла?

— Мне ничего не трудно сделать, — ответил Воланд, — и тебе это хорошо известно. — Он помолчал и добавил: — А что же вы не берете его к себе, в свет?

— Он не заслужил света, он заслужил покой, — печальным голосом проговорил Левий.

— Передай, что будет сделано, — ответил Воланд и прибавил, причем глаз его вспыхнул: — И покинь меня немедленно.

— Он просит, чтобы ту, которая любила и страдала из-за него, вы взяли бы тоже, — в первый раз моляще обратился Левий к Воланду.

— Без тебя бы мы никак не догадались об этом. Уходи.

Левий Матвей после этого исчез, а Воланд подозвал к себе Азазелло и приказал ему:

— Лети к ним и все устрой.

Азазелло покинул террасу, и Воланд остался один.

Но одиночество его не было продолжительным. Послышался на плитах террасы стук шагов и оживленные голоса, и перед Воландом предстали Коровьев и Бегемот. Но теперь примуса при толстяке не было, а нагружен он был другими предметами. Так, под мышкой у него находился небольшой ландшафтик в золотой раме, через руку был перекинут поварской, наполовину обгоревший халат, а в другой руке он держал цельную семгу в шкуре и с хвостом. От Коровьева и Бегемота несло гарью, рожа Бегемота была в саже, а кепка наполовину обгорела.

— Салют, мессир! — прокричала неугомонная парочка, и Бегемот замахал семгой.

— Очень хороши, — сказал Воланд.

— Мессир, вообразите, — закричал возбужденно и радостно Бегемот, — меня за мародера приняли!

— Судя по принесенным тобою предметам, — ответил Воланд, поглядывая на ландшафтик, — ты и есть мародер.

— Верите ли, мессир... — задушевным голосом начал Бегемот.

— Нет, не верю, — коротко ответил Воланд.

— Мессир, клянусь, я делал героические попытки спасти все, что было можно, и вот все, что удалось отстоять.

— Ты лучше скажи, отчего Грибоедов загорелся? — спросил Воланд.

Оба, и Коровьев и Бегемот, развели руками, подняли глаза к небу, а Бегемот вскричал:

— Не постигаю! Сидели мирно, совершенно тихо, закусывали...

— И вдруг — трах, трах! — подхватил Коровьев. — Выстрелы! Обезумев от страха, мы с Бегемотом кинулись бежать на бульвар, преследователи за нами, мы кинулись к Тимирязеву!..

— Но чувство долга, — вступил Бегемот, — поборло наш постыдный страх, и мы вернулись.

— Ах, вы вернулись? — сказал Воланд. — Ну, конечно, тогда здание сгорело дотла.

— Дотла! — горестно подтвердил Коровьев. — То есть буквально, мессир, дотла, как вы изволили метко выразиться. Одни головешки!

— Я устремился, — рассказывал Бегемот, — в зал заседаний, — это который с колоннами, мессир, — рассчитывая вытащить что-нибудь ценное. Ах, мессир, моя жена, если б только она у меня была, двадцать раз рисковала остаться вдовой! Но, по счастью, мессир, я не женат, и скажу вам прямо — счастлив, что не женат. Ах, мессир, можно ли променять холостую свободу на тягостное ярмо!

— Опять началась какая-то чушь, — заметил Воланд.

— Слушаю и продолжаю, — ответил кот, — да-с, вот ландшафтик. Более ничего невозможно было унести из зала, пламя ударило мне в лицо. Я побежал в кладовку, спас семгу. Я побежал в кухню, спас халат. Я считаю, мессир, что я сделал все, что мог, и не понимаю, чем объясняется скептическое выражение на вашем лице.

— А что делал Коровьев в то время, когда ты мародерствовал? — спросил Воланд.

— Я помогал пожарным, мессир, — ответил Коровьев, указывая на разорванные брюки.

— Ах, если так, то, конечно, придется строить новое здание.

— Оно будет построено, мессир, — отозвался Коровьев, — смею уверить вас в этом.

— Ну, что ж, остается пожелать, чтобы оно было лучше прежнего, — заметил Воланд.

— Так и будет, мессир, — сказал Коровьев.

— Уж вы мне верьте, — добавил кот, — я форменный пророк.

— Во всяком случае, мы явились, мессир, — докладывал Коровьев, — и ждем ваших распоряжений.

Воланд поднялся со своего табурета, подошел к балюстраде и долго молча, один, повернувшись спиной к своей свите, глядел вдаль. Потом он отошел от края, опять опустился на свой табурет и сказал:

— Распоряжений никаких не будет — вы исполнили все, что могли, и более в ваших услугах я пока не нуждаюсь. Можете отдыхать. Сейчас придет гроза, последняя гроза, она довершит все, что нужно довершить, и мы тронемся в путь.

— Очень хорошо, мессир, — ответили оба гаера и скрылись где-то за круглой центральной башней, расположенной в середине террасы.

Гроза, о которой говорил Воланд, уже скоплялась на горизонте. Черная туча поднялась на западе и до половины отрезала солнце. Потом она накрыла его целиком. На террасе посвежело. Еще через некоторое время стало темно.

Эта тьма, пришедшая с запада, накрыла громадный город. Исчезли мосты, дворцы. Все пропало, как будто этого никогда не было на свете. Через все небо пробежала одна огненная нитка. Потом город потряс удар. Он повторился, и началась гроза. Воланд перестал быть видим в ее мгле.

— Ты знаешь, — говорила Маргарита, — как раз когда ты заснул вчера ночью, я читала про тьму, которая пришла со Средиземного моря... и эти идолы, ах, золотые идолы! Они почему-то мне все время не дают покоя. Мне кажется, что и сейчас будет дождь. Ты чувствуешь, как свежеет?

— Все это хорошо и мило, — отвечал мастер, куря и разбивая рукой дым, — и эти идолы, бог с ними... но что дальше получится, уж решительно непонятно!

Разговор этот шел на закате солнца, как раз тогда, когда к Воланду явился на террасе Левий Матвей. Окошко подвала было открыто, и если бы кто-нибудь заглянул в него, он удивился бы тому, насколько странно выглядят разговаривающие. На Маргарите прямо на голое тело был накинут черный плащ, а мастер был в своем больничном белье. Происходило это оттого, что Маргарите решительно нечего было надеть, так как все ее вещи остались в особняке, и хоть этот особняк был очень недалеко, конечно, нечего было и толковать о том, чтобы пойти туда и взять там свои вещи. А мастер, у которого все костюмы нашли в шкафу, как будто мастер никуда и не уезжал, просто не желал одеваться, развивая перед Маргаритой ту мысль, что вот-вот начнется какая-то совершеннейшая чепуха. Правда, он был выбрит впервые, считая с той осенней ночи (в клинике бородку ему подстригали машинкой).

Комната также имела странный вид, и что-нибудь понять в хаосе ее было очень трудно. На ковре лежали рукописи, они же были и на диване. Валялась какая-то книжка горбом в кресле. А на круглом столе был накрыт обед, и среди закусок стояло несколько бутылок. Откуда взялись все эти яства и напитки, было неизвестно и Маргарите и мастеру. Проснувшись, они все это застали уже на столе.

Проспав до субботнего заката, и мастер и его подруга чувствовали себя совершенно окрепшими, и только одно давало знать о вчерашних приключениях — у обоих немного ныл левый висок. Со стороны же психики изменения в обоих произошли очень большие, как убедился бы всякий, кто мог бы подслушать разговор в подвальной квартире. Но подслушивать было решительно некому. Дворик-то этот тем был и хорош, что всегда был пуст. С каждым днем все сильнее зеленеющие липы и ветла за окном источали весенний запах, и начинающийся ветерок заносил его в подвал.

— Фу-ты, черт! — неожиданно воскликнул мастер. — Ведь это, подумать только... — он затушил окурок в пепельнице и сжал голову руками. — Нет, послушай, ты же умный человек и сумасшедшей не была... Ты серьезно уверена в том, что мы вчера были у сатаны?

— Совершенно серьезно, — ответила Маргарита.

— Конечно, конечно, — иронически сказал мастер, — теперь, стало быть, налицо вместо одного сумасшедшего двое! И муж, и жена. —

Он воздел руки к небу и закричал: — Нет, это черт знает что такое, черт, черт, черт!

Вместо ответа Маргарита обрушилась на диван, захохотала, заболтала босыми ногами и потом уж вскричала:

— Ой, не могу! Ой, не могу! Ты посмотри только, на что ты похож!

Отхохотавшись, пока мастер стыдливо поддергивал больничные кальсоны, Маргарита стала серьезной.

— Ты сейчас невольно сказал правду, — заговорила она, — черт знает, что такое, и черт, поверь мне, все устроит! — Глаза ее вдруг загорелись, она вскочила, затанцевала на месте и стала вскрикивать: — Как я счастлива, как я счастлива, что вступила с ним в сделку! О дьявол, дьявол!.. Придется вам, мой милый, жить с ведьмой! — После этого она кинулась к мастеру, обхватила его шею и стала его целовать в губы, в нос, в щеки. Вихры неприглаженных черных волос прыгали на мастере, и щеки и лоб его разгорались под поцелуями.

— А ты действительно стала похожей на ведьму.

— А я этого и не отрицаю, — ответила Маргарита, — я ведьма и очень этим довольна.

— Ну, хорошо, — говорил мастер, — ведьма так ведьма. Очень славно и роскошно! Меня, стало быть, похитили из лечебницы... Тоже очень мило! Вернули сюда, допустим и это... Предположим даже, что нас не хватятся... Но скажи ты мне ради всего святого, чем и как мы будем жить? Говоря это, я забочусь о тебе, поверь мне!

В этот момент в оконце показались тупоносые ботинки и нижняя часть брюк в жилочку. Затем эти брюки согнулись в колене, и дневной свет заслонил чей-то увесистый зад.

— Алоизий, ты дома? — спросил голос где-то вверху над брюками, за окном.

— Вот, начинается, — сказал мастер.

— Алоизий? — спросила Маргарита, подходя ближе к окну. — Его арестовали вчера. А кто его спрашивает? Как ваша фамилия?

В то же мгновение колени и зад пропали, и слышно было, как стукнула калитка, после чего все пришло в норму. Маргарита повалилась на диван и захохотала так, что слезы покатились у нее из глаз. Но когда она утихла, лицо ее сильнейшим образом изменилось, она заговорила серьезно и, говоря, сползла с дивана, подползла к коленям мастера и, глядя ему в глаза, стала гладить голову.

— Как ты страдал, как ты страдал, мой бедный! Об этом знаю только я одна. Смотри, у тебя седые нити в голове и вечная складка у губ! Мой единственный, мой милый, не думай ни о чем! Тебе слишком много пришлось думать, и теперь буду думать я за тебя. И я ручаюсь тебе, ручаюсь, что все будет ослепительно хорошо!

— Я ничего и не боюсь, Марго, — вдруг ответил ей мастер и поднял голову и показался ей таким, каким был, когда сочинял то, чего никогда не видал, но о чем наверно знал, что оно было, - и н е боюсь, потому что я все уже испытал. Меня слишком пугали и ничем более напугать не могут. Но мне жалко тебя, Марго, вот в чем фокус, вот почему я и твержу об одном и том же. Опомнись! Зачем тебе ломать

свою жизнь с больным и нищим? Вернись к себе! Жалею тебя, потому это и говорю.

— Ах, ты, ты, — качая растрепанной головой, шептала Маргарита, — ах, ты, маловерный, несчастный человек. Я из-за тебя всю ночь вчера тряслась нагая, я потеряла свою природу и заменила ее новой, несколько месяцев я сидела в темной каморке и думала только про одно — про грозу над Ершалаимом, я выплакала все глаза, а теперь, когда обрушилось счастье, ты меня гонишь? Ну что ж, я уйду, я уйду, но знай, что ты жестокий человек! Они опустошили тебе душу!

Горькая нежность поднялась к сердцу мастера, и, неизвестно почему, он заплакал, уткнувшись в волосы Маргариты. Та, плача, шептала ему, и пальцы ее прыгали на висках мастера.

— Да, нити, нити... на моих глазах покрывается снегом голова... ах, моя, моя много страдавшая голова! Смотри, какие у тебя глаза! В них пустыня... А плечи, плечи с бременем... Искалечили, искалечили... — Речь Маргариты становилась бессвязной, Маргарита содрогалась от плача.

Тогда мастер вытер глаза, поднял с колен Маргариту, встал и сам и сказал твердо:

— Довольно! Ты меня пристыдила. Я никогда больше не допущу малодушия и не вернусь к этому вопросу, будь покойна. Я знаю, что мы оба жертвы своей душевной болезни, которую, быть может, я передал тебе... Ну что же, вместе и понесем ее.

Маргарита приблизила губы к уху мастера и прошептала:

— Клянусь тебе твоею жизнью, клянусь угаданным тобою сыном звездочета, все будет хорошо.

— Ну и ладно, ладно, — отозвался мастер и, засмеявшись, добавил: — Конечно, когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы! Ну что ж, согласен искать там.

— Ну вот, ну вот, теперь ты прежний, ты смеешься, — отвечала Маргарита, — и ну тебя к черту с твоими учеными словами. Потусторонняя или не потусторонняя — не все ли это равно? Я хочу есть.

И она потащила за руку мастера к столу.

— Я не уверен, что эта еда не провалится сейчас сквозь землю или не улетит в окно, — говорил тот, совершенно успокоившись.

— Она не улетит!

И в этот самый момент в оконце послышался носовой голос:

— Мир вам.

Мастер вздрогнул, а привыкшая уже к необыкновенному Маргарита вскричала:

— Да это Азазелло! Ах, как это мило, как это хорошо! — И, шепнув мастеру: — Вот видишь, видишь, нас не оставляют! — бросилась открывать.

— Ты хоть запахнись, — крикнул ей вслед мастер.

— Плевала я на это, — ответила Маргарита уже из коридорчика.

И вот уж Азазелло раскланивался, здоровался с мастером, сверкал ему своим кривым глазом, а Маргарита восклицала:

— Ах, как я рада! Я никогда не была так рада в жизни! Но простите, Азазелло, что я голая!

Азазелло просил не беспокоиться, уверял, что он видел не только голых женщин, но даже женщин с начисто содранной кожей, охотно подсел к столу, предварительно поставив в угол у печки какой-то сверток в темной парче.

Маргарита налила Азазелло коньяку, и он охотно выпил его. Мастер, не спуская с него глаз, изредка под столом тихонько щипал себе кисть левой руки. Но щипки эти не помогали. Азазелло не растворялся в воздухе, да, сказать по правде, в этом не было никакой надобности. Ничего страшного в рыжеватом, маленького роста человеке не было, разве что вот глаз с бельмом, но ведь это бывает и без всякого колдовства, разве что одежда не совсем обыкновенная — какая-то ряса или плащ, — опять-таки, если строго вдуматься, и это попадается. Коньяк он тоже ловко пил, как и все добрые люди, целыми стопками и не закусывая. От этого самого коньяку у мастера зашумело в голове, и он стал думать:

«Нет, Маргарита права! Конечно, передо мною сидит посланник дьявола. Ведь я же сам не далее как ночью позавчера доказывал Ивану, что тот встретил на Патриарших именно сатану, а теперь почему-то испугался этой мысли и начал что-то болтать о гипнотизерах и галлюцинациях. Какие тут к черту гипнотизеры!»

Он стал присматриваться к Азазелло и убедился в том, что в глазах у того виднеется что-то принужденное, какая-то мысль, которую тот до поры до времени не выкладывает. «Он не просто с визитом, а появился он с каким-то поручением», — думал мастер.

Наблюдательность ему не изменила.

Выпив третью стопку коньяку, который на Азазелло не производил никакого действия, визитер заговорил так:

— А уютный подвальчик, черт меня возьми! Один только вопрос возникает, чего в нем делать, в этом подвальчике?

— Про то же самое я и говорю, — засмеявшись, ответил мастер.

— Зачем вы меня тревожите, Азазелло? — спросила Маргарита. — Как-нибудь!

— Что вы, что вы! — вскричал Азазелло. — Я и в мыслях не имел вас тревожить. Я и сам говорю — как-нибудь. Да! Чуть было не забыл... Мессир передавал вам привет, а также велел сказать, что приглашает вас сделать с ним небольшую прогулку, если, конечно, вы пожелаете. Так что ж вы на это скажете?

Маргарита под столом толкнула ногою мастера.

— С большим удовольствием, — ответил мастер, изучая Азазелло, а тот продолжал:

— Мы надеемся, что и Маргарита Николаевна не откажется от этого?

— Я-то уж наверное не откажусь, — сказала Маргарита, и опять ее нога проехалась по ноге мастера.

— Чудеснейшая вещь! — воскликнул Азазелло. — Вот это я люблю! Раз-два и готово! Не то что тогда, в Александровском саду.

— Ах, не напоминайте мне, Азазелло! Я была глупа тогда. Да, впрочем, меня и нельзя строго винить за это — ведь не каждый же день встречаешься с нечистой силой!

— Еще бы, — подтверждал Азазелло, — если б каждый день, это было бы приятно!

— Мне и самой нравится быстрота, — говорила Маргарита возбужденно, — нравится быстрота и нагота... Как из маузера — раз! Ах, как он стреляет! — вскричала Маргарита, обращаясь к мастеру. — Семерка под подушкой, и любое очко! — Маргарита начинала пьянеть, отчего глаза у нее разгорелись.

— И опять-таки забыл, — прокричал Азазелло, хлопнув себя по лбу, — совсем замотался! Ведь мессир прислал вам подарок, — тут он отнесся именно к мастеру, — бутылку вина. Прошу заметить, это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи. Фалернское вино.

Вполне естественно, что такая редкость вызвала большое внимание и Маргариты и мастера. Азазелло извлек из куска темной гробовой парчи совершенно заплесневевший кувшин. Вино нюхали, налили в стаканы, глядели сквозь него на исчезающий перед грозою свет в окне. Видели, как все окрашивается в цвет крови.

— Здоровье Воланда! — воскликнула Маргарита, поднимая свой стакан.

Все трое приложились к стаканам и сделали по большому глотку. Тотчас предгрозовой свет начал гаснуть в глазах у мастера, дыхание его перехватило, он почувствовал, что настает конец. Он еще видел, как смертельно побледневшая Маргарита, беспомощно простирая к нему руки, роняет голову на стол, а потом сползает на пол.

— Отравитель... —успел еще крикнуть мастер. Он хотел схватить нож со стола, чтобы ударить Азазелло им, но рука его беспомощно соскользнула со скатерти, все окружавшее мастера в подвале окрасилось в черный цвет, а потом и вовсе пропало. Он упал навзничь и, падая, рассек себе кожу на виске об угол доски бюро.

Когда отравленные затихли, Азазелло начал действовать. Первым долгом он бросился в окно и через несколько мгновений был в особняке, в котором жила Маргарита Николаевна. Всегда точный и аккуратный, Азазелло хотел проверить, все ли исполнено, как нужно. И все оказалось в полном порядке. Азазелло видел, как мрачная, дожидающаяся возвращения мужа женщина вышла из своей спальни, внезапно побледнела, схватилась за сердце и, крикнув беспомощно:

— Наташа! Кто-нибудь... ко мне! — упала на пол в гостиной, не дойдя до кабинета.

— Всё в порядке, — сказал Азазелло. Через мгновение он был возле поверженных любовников. Маргарита лежала, уткнувшись лицом в коврик. Своими железными руками Азазелло повернул ее, как куклу, лицом к себе и вгляделся в нее. На его глазах лицо отравленной менялось. Даже в наступавших грозовых сумерках видно было, как исчезало ее временное ведьмино косоглазие и жестокость и буйность черт. Лицо покойной посветлело и, наконец, смягчилось, и оскал ее стал не хищным, а просто женственным страдальческим оскалом. Тогда Азазелло разжал ее белые зубы и влил в рот несколько капель того самого вина, которым ее и отравил. Маргарита вздохнула, стала подниматься без помощи Азазелло, села и слабо спросила:

— За что, Азазелло, за что? Что вы сделали со мною?

Она увидела лежащего мастера, содрогнулась и прошептала:

— Этого я не ожидала... убийца!

— Да нет же, нет, — ответил Азазелло, — сейчас он встанет. Ах, зачем вы так нервны!

Маргарита поверила ему сразу, настолько убедителен был голос рыжего демона. Она вскочила, сильная и живая, и помогла напоить лежащего вином. Открыв глаза, тот глянул мрачно и с ненавистью повторил свое последнее слово:

— Отравитель...

— Ах! Оскорбление является обычной наградой за хорошую работу, — ответил Азазелло. — Неужели вы слепы? Но прозрейте же скорей!

Тут мастер поднялся, огляделся взором живым и светлым и спросил:

— Что же означает это новое?

— Оно означает, — ответил Азазелло, — что нам пора. Уже гремит гроза, вы слышите? Темнеет. Кони роют землю, содрогается маленький сад. Прощайтесь с подвалом, прощайтесь скорее.

— А, понимаю, — сказал мастер, озираясь, — вы нас убили, мы мертвы. Ах, как это умно! Как это вовремя! Теперь я понял все.

— Ах, помилуйте, — ответил Азазелло, — вас ли я слышу? Ведь ваша подруга называет вас мастером, ведь вы мыслите, как же вы можете быть мертвы? Разве для того, чтобы считать себя живым, нужно непременно сидеть в подвале, имея на себе рубашку и больничные кальсоны? Это смешно!

— Я понял все, что вы говорили, — вскричал мастер, — не продолжайте! Вы тысячу раз правы!

— Великий Воланд, — стала вторить ему Маргарита, — великий Воланд! Он выдумал гораздо лучше, чем я. Но только роман, роман, — кричала она мастеру, — роман возьми с собою, куда бы ты ни летел!

— Не надо, — ответил мастер, — я помню его наизусть.

— Но ты ни слова... ни слова из него не забудешь? — спрашивала Маргарита, прижимаясь к любовнику и вытирая кровь на его рассеченном виске.

— Не беспокойся! Я теперь ничего и никогда не забуду, — ответил тот.

— Тогда огонь! — вскричал Азазелло. — Огонь, с которого все началось и которым мы все заканчиваем.

— Огонь! — страшно прокричала Маргарита. Оконце в подвале хлопнуло, ветром сбило штору на сторону. В небе прогремело весело и коротко. Азазелло сунул руку с когтями в печку, вытащил дымящуюся головню и поджег скатерть на столе. Потом поджег пачку старых газет на диване, а за нею рукопись и занавеску на окне.

Мастер, уже опьяненный будущей скачкой, выбросил с полки какую-то книгу на стол, вспушил ее листы в горящей скатерти, и книга вспыхнула веселым огнем.

— Гори, гори, прежняя жизнь!

— Гори, страдание! — кричала Маргарита.

Комната уже колыхалась в багровых столбах, и вместе с дымом выбежали через двери трое, поднялись по каменной лестнице вверх

и оказались во дворике. Первое, что они увидели там, это сидящую на земле кухарку застройщика; возле нее валялся рассыпавшийся картофель и несколько пучков луку. Состояние кухарки было понятно. Трое черных коней храпели у сарая, вздрагивали, взрывали фонтанами землю. Маргарита вскочила первая, за нею Азазелло, последним мастер. Кухарка, простонав, хотела поднять руку для крестного знамения, но Азазелло грозно закричал с седла:

— Отрежу руку! — Он свистнул, и кони, ломая ветви лип, взвились и вонзились в низкую черную тучу. Тотчас из окошечка подвала повалил дым. Снизу донесся слабый, жалкий крик кухарки:

— Горим!..

Кони уже неслись над крышами Москвы.

— Я хочу попрощаться с городом, — прокричал мастер Азазелло, который скакал впереди. Гром съел окончание фразы мастера. Азазелло кивнул головою и пустил своего коня галопом. Навстречу летящим стремительно летела туча, но еще не брызгала дождем.

Они летели над бульваром, видели, как фигурки людей разбегаются, прячась от дождя. Падали первые капли. Они пролетели над дымом — всем, что осталось от Грибоедова. Они пролетели над городом, который уже заливала темнота. Над ними вспыхивали молнии. Потом крыши сменились зеленью. Тогда только хлынул дождь и превратил летящих в три огромных пузыря в воде.

Маргарите уже было знакомо ощущение полета, а мастеру — нет, и он подивился тому, как быстро они оказались у цели, у того, с кем он хотел попрощаться, потому что больше ему не с кем было прощаться. Он узнал сразу в пелене дождя здание клиники Стравинского, реку и очень хорошо изученный им бор на другом берегу. Они снизились в роще на поляне, недалеко от клиники.

— Я подожду вас здесь, — прокричал Азазелло, сложив руки щитком, то освещаясь молниями, то пропадая в серой пелене, — прощайтесь, но скорее!

Мастер и Маргарита соскочили с седел и полетели, мелькая, как водяные тени, через клинический сад. Еще через мгновение мастер привычной рукой отодвигал балконную решетку в комнате № 117-й. Маргарита следовала за ним. Они вошли к Иванушке, невидимые и незамеченные, во время грохота и воя грозы. Мастер остановился возле кровати.

Иванушка лежал неподвижно, как и тогда, когда в первый раз наблюдал грозу в доме своего отдохновения. Но он не плакал, как в тот раз. Когда он всмотрелся как следует в темный силуэт, ворвавшийся к нему с балкона, он приподнялся, протянул руки и сказал радостно:

— А, это вы! А я все жду, жду вас. Вот и вы, мой сосед.

На это мастер ответил:

— Я здесь! Но вашим соседом, к сожалению, больше быть не могу. Я улетаю навсегда и пришел к вам лишь с тем, чтобы попрощаться.

— Я это знал, я догадался, — тихо ответил Иван и спросил: — Вы встретили его?

— Да, — сказал мастер, — я пришел попрощаться с вами, потому что вы были единственным человеком, с которым я говорил в последнее время.

Иванушка посветлел и сказал:

— Это хорошо, что вы сюда залетели. Я ведь слово свое сдержу, стишков больше писать не буду. Меня другое теперь интересует, — Иванушка улыбнулся и безумными глазами поглядел куда-то мимо мастера, — я другое хочу написать. Я тут пока лежал, знаете ли, очень многое понял.

Мастер взволновался от этих слов и заговорил, присаживаясь на край Иванушкиной постели:

— А вот это хорошо, это хорошо. Вы о нем продолжение напишите!

Иванушкины глаза вспыхнули.

— А вы сами не будете разве? — Тут он поник головой и задумчиво добавил: — Ах да... что же это я спрашиваю, — Иванушка покосился в пол, посмотрел испуганно.

— Да, — сказал мастер, и голос его показался Иванушке незнакомым и глухим, — я уже больше не буду писать о нем. Я буду занят другим.

Шум грозы прорезал дальний свист.

— Вы слышите? — спросил мастер.

— Шумит гроза...

— Нет, это меня зовут, мне пора, — пояснил мастер и поднялся с постели.

— Постойте! Еще одно слово, — попросил Иван, — а вы ее нашли? Она вам осталась верна?

— Вот она, — ответил мастер и указал на стену. От белой стены отделилась темная Маргарита и подошла к постели. Она смотрела на лежащего юношу, и в глазах ее читалась скорбь.

— Бедный, бедный, — беззвучно шептала Маргарита и наклонилась к постели.

— Какая красивая, — без зависти, но с грустью и с каким-то тихим умилением проговорил Иван, — вишь ты, как у вас все хорошо вышло. А вот у меня не так. — Тут он подумал и задумчиво прибавил: — А впрочем, может быть, и так...

— Так, так, — прошептала Маргарита и совсем склонилась к лежащему, — вот я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо... в этом вы уж мне поверьте, я все уже видела, все знаю.

Лежащий юноша охватил ее шею руками, и она поцеловала его.

— Прощай, ученик, — чуть слышно сказал мастер и стал таять в воздухе. Он исчез, с ним вместе исчезла и Маргарита. Балконная решетка закрылась.

Иванушка впал в беспокойство. Он сел на постели, оглянулся тревожно, даже простонал, заговорил сам с собой, поднялся. Гроза бушевала все сильнее и, видимо, растревожила его душу. Волновало его также то, что за дверью он своим, уже привыкшим к постоянной тишине, слухом уловил беспокойные шаги, глухие голоса за дверью. Он позвал, нервничая уже и вздрагивая:

— Прасковья Федоровна!

Прасковья Федоровна уже входила в комнату, вопросительно и тревожно глядя на Иванушку.

— Что? Что такое? — спрашивала она. — Гроза волнует? Ну, ничего, ничего... Сейчас вам поможем. Сейчас я доктора позову

— Нет, Прасковья Федоровна, не надо доктора звать, — сказал Иванушка, беспокойно глядя не на Прасковью Федоровну, а в стену, — со мною ничего особенного такого нет. Я уж разбираюсь теперь, вы не бойтесь. А вы мне лучше скажите, — задушевно попросил Иван, — а что там рядом, в сто восемнадцатой комнате сейчас случилось?

— В восемнадцатой? — переспросила Прасковья Федоровна, и глаза ее забегали. — А ничего там не случилось. — Но голос ее был фальшив, Иванушка тотчас это заметил и сказал:

— Э, Прасковья Федоровна! Вы такой человек правдивый... Вы думаете, я бушевать стану? Нет, Прасковья Федоровна, этого не будет. А вы лучше прямо говорите. Я ведь через стену все чувствую.

— Скончался сосед ваш сейчас, — прошептала Прасковья Федоровна, не будучи в силах преодолеть свою правдивость и доброту, и испуганно поглядела на Иванушку, вся одевшись светом молнии. Но с Иванушкой ничего не произошло страшного. Он только многозначительно поднял палец и сказал:

— Я так и знал! Я уверяю вас, Прасковья Федоровна, что сейчас в городе еще скончался один человек. Я даже знаю кто, — тут Иванушка таинственно улыбнулся, — это женщина.

Глава 31 НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ

Грозу унесло без следа, и, аркой перекинувшись через всю Москву, стояла в небе разноцветная радуга, пила воду из Москвы-реки. На высоте, на холме, между двумя рощами виднелись три темных силуэта. Воланд, Коровьев и Бегемот сидели на черных конях в седлах, глядя на раскинувшийся за рекою город с ломаным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад, на пряничные башни Девичьего монастыря.

В воздухе зашумело, и Азазелло, у которого в черном хвосте его плаща летели мастер и Маргарита, опустился вместе с ними возле группы дожидающихся.

— Пришлось вас побеспокоить, Маргарита Николаевна и мастер, — заговорил Воланд после некоторого молчания, — но вы не будьте на меня в претензии. Не думаю, чтоб вы об этом пожалели. Ну, что же, — обратился он к одному мастеру, — попрощайтесь с городом. Нам пора, — Воланд указал рукою в черной перчатке с раструбом туда, где бесчисленные солнца плавили стекло за рекою, где над этими солнцами стоял туман, дым, пар раскаленного за день города.

Мастер выбросился из седла, покинул сидящих и побежал к обрыву холма. Черный плащ тащился за ним по земле. Мастер стал смотреть на город. В первые мгновения к сердцу подкралась щемящая грусть, но очень быстро она сменилась сладковатой тревогой, бродячим цыганским волнением.

— Навсегда! Это надо осмыслить, — прошептал мастер и лизнул сухие, растрескавшиеся губы. Он стал прислушиваться и точно отмечать все, что происходит в его душе. Его волнение перешло, как ему показалось, в чувство глубокой и кровной обиды. Но та была нестойкой, пропала и почему-то сменилась горделивым равнодушием, а оно — предчувствием постоянного покоя.

Группа всадников дожидалась мастера молча. Группа всадников смотрела, как черная длинная фигура на краю обрыва жестикулирует, то поднимает голову, как бы стараясь перебросить взгляд через весь город, заглянуть за его края, то вешает голову, как будто изучая истоптанную чахлую траву под ногами.

Прервал молчание соскучившийся Бегемот.

— Разрешите мне, мэтр, — заговорил он, — свистнуть перед скачкой на прощание.

— Ты можешь испугать даму, — ответил Воланд, — и, кроме того, не забудь, что все твои сегодняшние безобразия уже закончились.

— Ах нет, нет, мессир, — отозвалась Маргарита, сидящая в седле, как амазонка, подбоченившись и свесив до земли острый шлейф, — разрешите ему, пусть он свистнет. Меня охватила грусть перед дальней дорогой. Не правда ли, мессир, она вполне естественна, даже тогда, когда человек знает, что в конце этой дороги его ждет счастье? Пусть посмешит он нас, а то я боюсь, что это кончится слезами, и все будет испорчено перед дорогой!

Воланд кивнул Бегемоту, тот очень оживился, соскочил с седла наземь, вложил пальцы в рот, надул щеки и свистнул. У Маргариты зазвенело в ушах. Конь ее взбросился на дыбы, в роще посыпались сухие сучья с деревьев, взлетела целая стая ворон и воробьев, столб пыли понесло к реке, и видно было, как в речном трамвае, проходившем мимо пристани, снесло у пассажиров несколько кепок в воду.

Мастер вздрогнул от свиста, но не обернулся, а стал жестикулировать еще беспокойнее, поднимая руку к небу, как бы грозя городу. Бегемот горделиво огляделся.

— Свистнуто, не спорю, — снисходительно заметил Коровьев, — действительно свистнуто, но, если говорить беспристрастно, свистнуто очень средне!

— Я ведь не регент, — с достоинством и надувшись, ответил Бегемот и неожиданно подмигнул Маргарите.

— А дай-кось я попробую по старой памяти, — сказал Коровьев, потер руки, подул на пальцы.

— Но ты смотри, смотри, — послышался суровый голос Воланда с коня, — без членовредительских штук!

— Мессир, поверьте, — отозвался Коровьев и приложил руку к сердцу, — пошутить, исключительно пошутить... — Тут он вдруг вытянулся вверх, как будто был резиновый, из пальцев правой руки устроил какую-то хитрую фигуру, завился, как винт, и затем, внезапно раскрутившись, свистнул.

Этого свиста Маргарита не услыхала, но она его увидела в то время, как ее вместе с горячим конем бросило саженей на десять в сторону. Рядом с нею с корнем вырвало дубовое дерево, и земля покры-

лась трещинами до самой реки. Огромный пласт берега, вместе с пристанью и рестораном, высадило в реку. Вода в ней вскипела, взметнулась, и на противоположный берег, зеленый и низменный, выплеснуло целый речной трамвай с совершенно невредимыми пассажирами. К ногам храпящего коня Маргариты швырнуло убитую свистом Фагота галку.

Мастера вспугнул этот свист. Он ухватился за голову и побежал обратно к группе дожидавшихся его спутников.

— Ну что же, — обратился к нему Воланд с высоты своего коня, — все счеты оплачены? Прощание совершилось?

— Да, совершилось, — ответил мастер и, успокоившись, поглядел в лицо Воланду прямо и смело.

Тут вдалеке за городом возникла темная точка и стала приближаться с невыносимой быстротой. Два-три мгновения, точка эта сверкнула, начала разрастаться. Явственно послышалось, что всхлипывает и ворчит воздух.

— Эге-ге, — сказал Коровьев, — это, по-видимому, нам хотят намекнуть, что мы излишне задержались здесь. А не разрешите ли мне, мессир, свистнуть еще раз?

— Нет, — ответил Воланд, — не разрешаю. — Он поднял голову, всмотрелся в разрастающуюся с волшебной быстротою точку и добавил: — У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще все кончено здесь. Нам пора!

В этот момент аэроплан, ослепительно сверкая, ревел уже над Девичьим монастырем. В воздухе прокатился стук. Вокруг Маргариты подняло тучу пыли. Сквозь нее Маргарита видела, как мастер вскакивает в седло. Тут все шестеро коней рванулись вверх и поскакали на запад. Маргариту понесло карьером, и мастер скакал у нее на левой руке, а Воланд — на правой. Маргарита чувствовала, как ее бешеный конь грызет и тянет мундштук. Плащ Воланда вздуло над головами всей кавалькады, этим плащом начало закрывать вечереющий небосвод. Когда на мгновение черный покров отнесло в сторону, Маргарита на скаку обернулась и увидела, что сзади нет не только разноцветных башен с разворачивающимся над ними аэропланом, но нет уже давно и самого города, который ушел в землю и оставил по себе только туман.

Глава 32 ПРОЩЕНИЕ И ВЕЧНЫЙ ПРИЮТ

Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинственны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе непосильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожаления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна...

Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всадников медленно, и неизбежная ночь стала их догонять. Чуя ее за своею спиной, притих даже неугомонный Бегемот и, вцепившись в седло когтями, летел молчаливый и серьезный, распушив свой хвост.

Ночь начала закрывать черным платком леса и луга, ночь зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу, теперь уже не интересные и не нужные ни Маргарите, ни мастеру, чужие огоньки. Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то там, то тут в загрустившем небе белые пятнышки звезд.

Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как меняется облик всех летящих к своей цели. Когда же навстречу им из-за края леса начала выходить багровая и полная луна, все обманы исчезли, свалилась в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда.

Вряд ли теперь узнали бы Коровьева-Фагота, самозваного переводчика при таинственном и не нуждающемся ни в каких переводах консультанте, в том, кто теперь летел непосредственно рядом с Воландом по правую руку подруги мастера. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотою цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не интересовался землею, он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом.

— Почему он так изменился? — спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда.

— Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, — ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо с тихо горящим глазом, — его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл!

Ночь оторвала и пушистый хвост у Бегемота, содрала с него шерсть и расшвыряла ее клочья по болотам. Тот, кто был котом, потешавшим князя тьмы, теперь оказался худеньким юношей, демоном-пажом, лучшим шутом, какой существовал когда-либо в мире. Теперь притих и он и летел беззвучно, подставив свое молодое лицо под свет, льющийся от луны.

Сбоку всех летел, блистая сталью доспехов, Азазелло. Луна изменила и его лицо. Исчез бесследно нелепый безобразный клык, и кривоглазие оказалось фальшивым. Оба глаза Азазелло были одинаковые, пустые и черные, а лицо белое и холодное. Теперь Азазелло летел в своем настоящем виде, как демон безводной пустыни, демон-убийца.

Себя Маргарита видеть не могла, но она хорошо видела, как изменился мастер. Волосы его белели теперь при луне и сзади собрались в косу, и она летела по ветру. Когда ветер отдувал плащ от ног мастера, Маргарита видела на ботфортах его то потухающие, то загорающиеся звездочки шпор. Подобно юноше-демону, мастер летел,

не сводя глаз с луны, но улыбался ей, как будто знакомой хорошо и любимой, и что-то, по приобретенной в комнате № 118-й привычке, сам себе бормотал.

И наконец, Воланд летел тоже в своем настоящем обличье. Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что возможно, что это лунные цепочки, и самый конь — только глыба мрака, и грива этого коня — туча, а шпоры всадника — белые пятна звезд.

Так летели в молчании долго, пока и сама местность внизу не стала меняться. Печальные леса утонули в земном мраке и увлекли за собою и тусклые лезвия рек. Внизу появились и стали отблескивать валуны, а между ними зачернели провалы, в которые не проникал свет луны.

Воланд осадил своего коня на каменистой безрадостной плоской вершине, и тогда всадники двинулись шагом, слушая, как кони их подковами давят кремни и камни. Луна заливала площадку зелено и ярко, и Маргарита скоро разглядела в пустынной местности кресло и в нем белую фигуру сидящего человека. Возможно, что этот сидящий был глух или слишком погружен в размышление. Он не слыхал, как содрогалась каменистая земля под тяжестью коней, и всадники, не тревожа его, приблизились к нему.

Луна хорошо помогала Маргарите, светила лучше, чем самый лучший электрический фонарь, и Маргарита видела, что сидящий, глаза которого казались слепыми, коротко потирает свои руки и эти самые незрячие глаза вперяет в диск луны. Теперь уж Маргарита видела, что рядом с тяжелым каменным креслом, на котором блестят от луны какие-то искры, лежит темная, громадная остроухая собака и так же, как ее хозяин, беспокойно глядит на луну. У ног сидящего валяются черепки разбитого кувшина и простирается невысыхающая черно-красная лужа.

Всадники остановили своих коней.

— Ваш роман прочитали, — заговорил Воланд, поворачиваясь к мастеру, — и сказали только одно, что он, к сожалению, не окончен. Так вот, мне хотелось показать вам вашего героя. Около двух тысяч лет сидит он на этой площадке и спит, но когда приходит полная луна, как видите, его терзает бессонница. Она мучает не только его, но его верного сторожа, собаку. Если верно, что трусость — самый тяжкий порок, то, пожалуй, собака в нем не виновата. Единственно, чего боялся храбрый пес, это грозы. Ну что ж, тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.

— Что он говорит? — спросила Маргарита, и совершенно спокойное ее лицо подернулось дымкой сострадания.

— Он говорит, — раздался голос Воланда, — одно и то же. Он говорит, что и при луне ему нет покоя и что у него плохая должность. Так говорит он всегда, когда не спит, а когда спит, то видит одно и то же — лунную дорогу, и хочет пойти по ней и разговаривать с арестантом Га-Ноцри, потому что, как он утверждает, он чего-то не договорил тогда, давно, четырнадцатого числа весеннего месяца нисана. Но, увы, на эту дорогу ему выйти почему-то не удается, и к нему ни-

кто не приходит. Тогда, что же поделаешь, приходится разговаривать ему с самим собою. Впрочем, нужно же какое-нибудь разнообразие, и к своей речи о луне он нередко прибавляет, что более всего в мире ненавидит свое бессмертие и неслыханную славу. Он утверждает, что он охотно бы поменялся своею участью с оборванным бродягой Левием Матвеем.

— Двенадцать тысяч лун за одну луну когда-то, не слишком ли это много? — спросила Маргарита.

— Повторяется история с Фридой? — сказал Воланд. — Но, Маргарита, здесь не тревожьте себя. Все будет правильно, на этом построен мир.

— Отпустите его! — вдруг пронзительно крикнула Маргарита так, как когда-то кричала, когда была ведьмой, и от этого крика сорвался камень в горах и полетел по уступам в бездну, оглашая горы грохотом. Но Маргарита не могла сказать, был ли это грохот падения или грохот сатанинского смеха. Как бы то ни было, Воланд смеялся, поглядывая на Маргариту, и говорил:

— Не надо кричать в горах, он все равно привык к обвалам, и это его не встревожит. Вам не надо просить за него, Маргарита, потому что за него уже попросил тот, с кем он так стремится разговаривать. — Тут Воланд опять повернулся к мастеру и сказал: — Ну что же, теперь ваш роман вы можете кончить одною фразой!

Мастер как будто бы этого ждал уже, пока стоял неподвижно и смотрел на сидящего прокуратора. Он сложил руки рупором и крикнул так, что эхо запрыгало по безлюдным и безлесым горам:

— Свободен! Свободен! Он ждет тебя!

Горы превратили голос мастера в гром, и этот же гром их разрушил. Проклятые скалистые стены упали. Осталась только площадка с каменным креслом. Над черной бездной, в которую ушли стены, загорелся необъятный город с царствующими над ним сверкающими идолами поверх пышно разросшегося за много тысяч этих лун сада. Прямо к этому саду протянулась долгожданная прокуратором лунная дорога, и первым по ней кинулся бежать остроухий пес. Человек в белом плаще с кровавым подбоем поднялся с кресла и что-то прокричал хриплым, сорванным голосом. Нельзя было разобрать, плачет ли он или смеется и что он кричит. Видно было только, что вслед за своим верным стражем по лунной дороге стремительно побежал и он.

— Мне туда, за ним? — спросил беспокойно мастер, тронув поводья.

— Нет, — ответил Воланд, — зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?

— Так, значит, туда? — спросил мастер, повернулся и указал назад, туда, где соткался в тылу недавно покинутый город с монастырскими пряничными башнями, с разбитым вдребезги солнцем в стекле.

— Тоже нет, — ответил Воланд, и голос его сгустился и потек над скалами. — Романтический мастер! Тот, кого так жаждет видеть выдуманный вами герой, которого вы сами только что отпустили, прочел ваш роман. — Тут Воланд повернулся к Маргарите: — Маргарита Николаевна! Нельзя не поверить в то, что вы старались выдумать для

мастера наилучшее будущее, но, право, то, что я предлагаю вам, и то, о чем просил Иешуа за вас же, за вас, — еще лучше. Оставьте их вдвоем, — говорил Воланд, склоняясь со своего седла к седлу мастера и указывая вслед ушедшему прокуратору, — не будем им мешать. И может быть, до чего-нибудь они договорятся, — тут Воланд махнул рукой в сторону Ершалаима, и он погас.

— И там тоже, — Воланд указал в тыл, — что делать вам в подвальчике? — Тут потухло сломанное солнце в стекле. — Зачем? — продолжал Воланд убедительно и мягко. — О трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своею подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели же вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда! Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет. По этой дороге, мастер, по этой! Прощайте! Мне пора.

— Прощайте! — одним криком ответили Воланду Маргарита и мастер. Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Ершалаима не стало вокруг. Пропали и черные кони. Мастер и Маргарита увидели обещанный рассвет. Он начинался тут же, непосредственно после полуночной луны. Мастер шел со своею подругой в блеске первых утренних лучей через каменистый мшистый мостик. Они пересекли его. Ручей остался позади верных любовников, и они шли по песчаной дороге.

— Слушай беззвучие, — говорила Маргарита мастеру, и песок шуршал под ее босыми ногами, — слушай и наслаждайся тем, чего тебе не давали в жизни, — тишиной. Смотри, вон впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно и вьющийся виноград, он подымается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе, ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи. Ты будешь засыпать, надевши свой засаленный и вечный колпак, ты будешь засыпать с улыбкой на губах. Сон укрепит тебя, ты станешь рассуждать мудро. А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я.

Так говорила Маргарита, идя с мастером по направлению к вечному их дому, и мастеру казалось, что слова Маргариты струятся так же, как струился и шептал оставленный позади ручей, и память мастера, беспокойная, исколотая иглами память стала потухать. Кто-то отпускал на свободу мастера, как сам он только что отпустил им созданного героя. Этот герой ушел в бездну, ушел безвозвратно, прощенный в ночь на воскресение сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат.

ЭПИЛОГ

Но все-таки, что же было дальше-то в Москве после того, как в субботний вечер на закате Воланд покинул столицу, исчезнув вместе со своей свитой с Воробьевых гор?

О том, что в течение долгого времени по всей столице шел тяжелый гул самых невероятных слухов, очень быстро перекинувшихся и в отдаленные и глухие места провинции, и говорить не приходится. Слухи эти даже тошно повторять.

Пишущий эти правдивые строки сам лично, направляясь в Феодосию, слышал в поезде рассказ о том, как в Москве две тысячи человек вышли из театра нагишом в буквальном смысле слова и в таком виде разъехались по домам в таксомоторах.

Шепот «Нечистая сила...» слышался в очередях, стоявших у молочных, в трамваях, в магазинах, в квартирах, в кухнях, в поездах, и дачных и дальнего следования, на станциях и полустанках, на дачах и на пляжах.

Наиболее развитые и культурные люди в этих рассказах о нечистой силе, навестившей столицу, разумеется, никакого участия не принимали и даже смеялись над ними и пытались рассказчиков образумить. Но факт все-таки, как говорится, остается фактом, и отмахнуться от него без объяснений никак нельзя: кто-то побывал в столице. Уж одни угольки, оставшиеся от Грибоедова, да и многое другое слишком красноречиво это подтверждали.

Культурные люди стали на точку зрения следствия: работала шайка гипнотизеров и чревовещателей, великолепно владеющая своим искусством.

Меры к ее поимке, как в Москве, так и за пределами ее, были, конечно, приняты немедленные и энергичные, но, к великому сожалению, результатов не дали. Именующий себя Воландом со всеми своими присными исчез и ни в Москву более не возвращался и нигде вообще не появился и ничем себя не проявил. Совершенно естественно, что возникло предположение о том, что он бежал за границу, но и там нигде он не обозначился.

Следствие по его делу продолжалось долго. Ведь как-никак, а дело это было чудовищно! Не говоря уже о четырех сожженных домах и о сотнях сведенных с ума людей, были и убитые. О двух это можно сказать точно: о Берлиозе и об этом злосчастном служащем в Бюро

по ознакомлению иностранцев с достопримечательностями Москвы, бывшем бароне Майгеле. Ведь они-то были убиты. Обгоревшие кости второго были обнаружены в квартире № 50 по Садовой улице, после того как потушили пожар. Да, были жертвы, и эти жертвы требовали следствия.

Но были и еще жертвы, и уже после того, как Воланд покинул столицу, и этими жертвами стали, как это ни грустно, черные коты.

Штук сто примерно этих мирных, преданных человеку и полезных ему животных были застрелены или истреблены иными способами в разных местах страны. Десятка полтора котов, иногда в сильно изуродованном виде, были доставлены в отделения милиции в разных городах. Например, в Армавире один из ни в чем не повинных зверей был приведен каким-то гражданином в милицию со связанными передними лапами.

Подкараулил этого кота гражданин в тот момент, когда животное с вороватым видом (что же поделаешь, что у котов такой вид? Это не оттого, что они порочны, а оттого, что они боятся, чтобы кто-либо из существ более сильных, чем они, — собаки и люди, — не причинили им какой-нибудь вред или обиду. И то и другое очень нетрудно, но чести в этом, уверяю, нет никакой. Да, нет никакой!), да, так с вороватым видом кот собирался устремиться зачем-то в лопухи.

Навалившись на кота и срывая с шеи галстух, чтобы вязать его, гражданин ядовито и угрожающе бормотал:

— Ага! Стало быть, теперь к нам, в Армавир, пожаловали, господин гипнотизер? Ну, здесь вас не испугались. Да вы не притворяйтесь немым. Нам уже понятно, что вы за гусь!

Вел кота в милицию гражданин, таща бедного зверя за передние лапы, скрученные зеленым галстухом, и добиваясь легкими пинками, чтобы кот непременно шел на задних лапах.

— Вы, — кричал гражданин, сопровождаемый свистящими мальчишками, — бросьте, бросьте дурака валять! Не выйдет это! Извольте идти, как все ходят!

Черный кот только заводил мученические глаза. Лишенный природой дара слова, он ни в чем не мог оправдаться. Спасением своим бедный зверь обязан в первую очередь милиции, а кроме того, своей хозяйке, почтенной старушке-вдове. Лишь только кот был доставлен в отделение, там убедились, что от гражданина сильнейшим образом пахнет спиртом, вследствие чего в показаниях его тотчас же усомнились. А тем временем старушка, узнавшая от соседей, что ее кота замели, кинулась бежать в отделение и поспела вовремя. Она дала самые лестные рекомендации коту, объяснила, что знает его пять лет, с тех пор, как он был котенком, ручается за него, как за самое себя, доказала, что он ни в чем плохом не замечен и никогда не ездил в Москву. Как родился он в Армавире, так в нем и вырос и учился ловить мышей.

Кот был развязан и возвращен владелице, хлебнув, правда, горя: узнав на практике, что такое ошибка и клевета.

Кроме котов, некоторые незначительные неприятности постигли кое-кого из людей. Произошло несколько арестов. В числе других

задержанными на короткое время оказались: в Ленинграде — граждане Вольман и Вольпер, в Саратове, Киеве и Харькове — трое Володиных, в Казани — Волох, а в Пензе, и уж совершенно неизвестно почему, — кандидат химических наук Ветчинкевич. Правда, тот был огромного роста, очень смуглый брюнет.

Попались в разных местах, кроме того, девять Коровиных, четыре Коровкина и двое Караваевых.

Некоего гражданина сняли с севастопольского поезда связанным на станции Белгород. Гражданин этот вздумал развлечь едущих с ним пассажиров карточными фокусами.

В Ярославле, как раз в обеденную пору, в ресторан явился гражданин с примусом в руках, который он только что взял из починки. Двое швейцаров, лишь только увидели его в раздевалке, бросили свои посты и бежали, а за ними бежали из ресторана все посетители и служащие. При этом у кассирши непонятным образом пропала вся выручка.

Было еще многое, всего не вспомнишь. Было большое брожение умов.

Еще и еще раз нужно отдать справедливость следствию. Все было сделано не только для того, чтобы поймать преступников, но и для того, чтобы объяснить все то, что они натворили. И все это было объяснено, и объяснения эти нельзя не признать и толковыми и неопровержимыми.

Представители следствия и опытные психиатры установили, что члены преступной шайки или, может быть, один из них (преимущественно подозрение в этом падало на Коровьева) являлись невиданной силы гипнотизерами, могущими показывать себя не в том месте, где они на самом деле находились, а на позициях мнимых, смещенных. Помимо этого, они свободно внушали столкнувшимся с ними, что некие вещи или люди находятся там, где на самом деле их не было, и наоборот, удаляли из поля зрения те вещи или людей, которые действительно в этом поле зрения имелись.

В свете таких объяснений решительно все понятно, и даже наиболее волновавшая граждан, ничем, казалось бы, не объяснимая неуязвимость кота, обстрелянного в квартире № 50, при попытках взять его под стражу.

Никакого кота на люстре, натурально, не было, никто и не думал отстреливаться, стреляли по пустому месту, в то время как Коровьев, внушивший, что кот безобразничает на люстре, мог свободно находиться за спиной стрелявших, кривляясь и наслаждаясь своею громадной, но преступно использованной способностью внушать. Он же, конечно, и поджег квартиру, разлив бензин.

Ни в какую Ялту, конечно, Степа Лиходеев не улетал (такая штука не под силу даже Коровьеву) и телеграмм оттуда не посылал. После того как он упал в обморок в ювелиршиной квартире, испуганный фокусом Коровьева, показавшего ему кота с маринованным грибом на вилке, он пролежал в ней до тех пор, пока Коровьев, издеваясь над ним, не напялил на него войлочную шляпу и не отправил его на московский аэродром, внушив предварительно встречавшим Степу

представителям угрозыска, что Степа вылезет из аэроплана, прилетевшего из Севастополя.

Правда, угрозыск Ялты утверждал, что он принимал босого Степу и телеграммы насчет Степы в Москву посылал, но ни одной копии этих телеграмм в делах никак не обнаружилось, из чего был сделан печальный, но совершенно несокрушимый вывод, что гипнотизерская банда обладает способностью гипнотизировать на громадном расстоянии, и притом не только отдельных лиц, но и целые группы их. При этих условиях преступники могли свести с ума людей с самой стойкой психической организацией.

Что там говорить о таких пустяках, как колода карт в чужом кармане в партере, или исчезнувшие дамские платья, или мяукающий берет и прочее в этом же роде! Такие штуки может отколоть любой профессионал-гипнотизер средней силы на любой сцене, в том числе и нехитрый фокус с оторванием головы у конферансье. Говорящий кот — тоже сущий вздор. Для того чтобы предъявить людям такого кота, достаточно владеть первыми основами чревовещания, а вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что искусство Коровьева шло значительно дальше этих основ.

Да, дело тут вовсе не в колодах карт, не в фальшивых письмах в портфеле Никанора Ивановича. Это все пустяки! Это он, Коровьев, погнал под трамвай Берлиоза на верную смерть. Это он свел с ума бедного поэта Ивана Бездомного, он заставлял его грезить и видеть в мучительных снах древний Ершалаим и сожженную солнцем безводную Лысую Гору с тремя повешенными на столбах. Это он и его шайка заставили исчезнуть из Москвы Маргариту Николаевну и ее домработницу, красавицу Наташу. Кстати: этим делом следствие занималось особенно внимательно. Требовалось выяснить, были ли похищены эти женщины шайкой убийц и поджигателей или же бежали вместе с преступной компанией добровольно? Основываясь на нелепых и путаных показаниях Николая Ивановича и приняв во внимание странную и безумную записку Маргариты Николаевны, оставленную мужу, записку, в которой она пишет, что уходит в ведьмы, учтя то обстоятельство, что Наташа исчезла, оставив все свои носильные вещи на месте, — следствие пришло к заключению, что и хозяйка и домработница были загипнотизированы, подобно многим другим, и в таком виде похищены бандой. Возникла и, вероятно, совершенно правильная мысль, что преступников привлекла красота обеих женщин.

Но вот что осталось совершенно неясным для следствия — это побуждение, заставившее шайку похитить душевнобольного, именующего себя мастером, из психиатрической клиники. Этого установить не удалось, как не удалось добыть и фамилию похищенного больного. Так и сгинул он навсегда под мертвой кличкой: «Номер сто восемнадцатый из первого корпуса».

Итак, почти все объяснилось, и кончилось следствие, как вообще все кончается.

Прошло несколько лет, и граждане стали забывать и Воланда, и Коровьева, и прочих. Произошли многие изменения в жизни тех,

кто пострадал от Воланда и его присных, и как бы ни были мелки и незначительны эти изменения, все же следует их отметить.

Жорж, например, Бенгальский, проведя в лечебнице три месяца, поправился и вышел, но службу в Варьете вынужден был покинуть, и в самое горячее время, когда публика валом шла за билетами, — память о черной магии и ее разоблачениях оказалась очень живуча. Бросил Бенгальский Варьете, ибо понимал, что представать ежевечерне перед двумя тысячами человек, быть неизбежно узнаваемым и всеконечно подвергаться глумливым вопросам о том, как ему лучше: с головой или без головы? — слишком мучительно.

Да, кроме того, утратил конферансье значительную дозу своей веселости, которая столь необходима при его профессии. Осталась у него неприятная, тягостная привычка каждую весну в полнолуние впадать в тревожное состояние, внезапно хвататься за шею, испуганно оглядываться и плакать. Припадки эти проходили, но все же при наличности их прежним делом нельзя было заниматься, и конферансье ушел на покой и начал жить на свои сбережения, которых, по его скромному подсчету, должно было хватить ему на пятнадцать лет.

Он ушел и никогда больше не встречался с Варенухой, приобретшим всеобщую популярность и любовь за свою невероятную, даже среди театральных администраторов, отзывчивость и вежливость. Контрамарочники, например, его иначе не называли, как отец-благодетель. В какое бы время, кто бы ни позвонил в Варьете, всегда слышался в трубке мягкий, но грустный голос: «Я вас слушаю», — а на просьбу позвать к телефону Варенуху тот же голос поспешно отвечал: «Я к вашим услугам». Но зато и страдал же Иван Савельевич от своей вежливости!

Степе Лиходееву больше не приходится разговаривать по телефону в Варьете. Немедленно после выхода из клиники, в которой Степа провел восемь дней, его перебросили в Ростов, где он получил назначение на должность заведующего большим гастрономическим магазином. Ходят слухи, что он совершенно перестал пить портвейн и пьет только водку, настоянную на смородиновых почках, отчего очень поздоровел. Говорят, что стал молчалив и сторонится женщин.

Удаление Степана Богдановича из Варьете не доставило Римскому ту радости, о которой он так жадно мечтал в продолжение нескольких лет. После клиники и Кисловодска старенький-престаренький, с трясущейся головой, финдиректор подал заявление об уходе из Варьете. Интересно то, что это заявление привезла в Варьете супруга Римского. Сам Григорий Данилович не нашел в себе силы даже днем побывать в том здании, где видел он залитое луной треснувшее стекло в окне и длинную руку, пробирающуюся к нижней задвижке.

Уволившись из Варьете, финдиректор поступил в театр детских кукол в Замоскворечье. В этом театре ему уже не пришлось сталкиваться по делам акустики с почтеннейшим Аркадием Аполлоновичем Семплеяровым. Того в два счета перебросили в Брянск и назна-

чили заведующим грибозаготовочным пунктом. Едят теперь москвичи соленые рыжики и маринованные белые, и не нахвалятся ими, и до чрезвычайности радуются этой переброске. Дело прошлое, и можно сказать, что не клеились у Аркадия Аполлоновича дела с акустикой, и сколько ни старался он улучшить ее, она какая была, такая и осталась.

К числу лиц, порвавших с театром, помимо Аркадия Аполлоновича, надлежит отнести и Никанора Ивановича Босого, хоть тот и не был ничем связан с театрами, кроме любви к даровым билетам. Никанор Иванович не только не ходит ни в какой театр ни за деньги, ни даром, но даже меняется в лице при всяком театральном разговоре. В не меньшей, а в большей степени возненавидел он, помимо театра, поэта Пушкина и талантливого артиста Савву Потаповича Куролесова. Того — до такой степени, что в прошлом году, увидев в газете окаймленное черным объявление о том, что Савву Потаповича в самый расцвет его карьеры хватил удар, — Никанор Иванович побагровел до того, что сам чуть не отправился вслед за Саввой Потаповичем, и взревел: «Так ему и надо!» Более того, в тот же вечер Никанор Иванович, на которого смерть популярного артиста навеяла массу тягостных воспоминаний, один, в компании только с полной луной, освещающей Садовую, напился до ужаса. И с каждой рюмкой удлинялась перед ним проклятая цепь ненавистных фигур, и были в этой цепи и Дунчиль Сергей Герардович, и красотка Ида Геркулановна, и тот рыжий владелец бойцовых гусей, и откровенный Канавкин Николай.

Ну, а с теми-то что же случилось? Помилуйте! Ровно ничего с ними не случилось, да и случиться не может, ибо никогда в действительности не было их, как не было и симпатичного артиста-конферансье, и самого театра, и старой сквалыги Пороховниковой тетки, гноящей валюту в погребе, и уж, конечно, золотых труб не было и наглых поваров. Все это только снилось Никанору Ивановичу под влиянием поганца Коровьева. Единственный живой, влетевший в этот сон, именно и был Савва Потапович — артист, и ввязался он в это только потому, что врезался в память Никанору Ивановичу благодаря своим частым выступлениям по радио. Он был, а остальных не было.

Так, может быть, не было и Алоизия Могарыча? О нет! Этот не только был, но и сейчас существует, и именно в той должности, от которой отказался Римский, то есть в должности финдиректора Варьете.

Опомнившись, примерно через сутки после визита к Воланду, в поезде, где-то под Вяткой, Алоизий убедился в том, что, уехав в помрачении ума зачем-то из Москвы, он забыл надеть брюки, но зато непонятно для чего украл совсем ненужную ему домовую книгу застройщика. Уплатив колоссальные деньги проводнику, Алоизий приобрел у него старую и засаленную пару штанов и из Вятки повернул обратно. Но домика застройщика он, увы, уже не нашел. Ветхое барахло начисто слизнуло огнем. Но Алоизий был человеком чрезвычайно предприимчивым. Через две недели он уже жил в прекрас-

ной комнате в Брюсовском переулке, а через несколько месяцев уже сидел в кабинете Римского. И как раньше Римский страдал из-за Степы, так теперь Варенуха мучился из-за Алоизия. Мечтает Иван Савельевич только об одном, чтобы этого Алоизия убрали из Варьете куда-нибудь с глаз долой, потому что, как шепчет иногда Варенуха в интимной компании, «такой сволочи, как этот Алоизий, он будто бы никогда не встречал в жизни и что будто бы от этого Алоизия он ждет всего чего угодно».

Впрочем, может быть, администратор и пристрастен. Никаких темных дел за Алоизием не замечено, как и вообще никаких дел, если не считать, конечно, назначения на место буфетчика Сокова какого-то другого. Андрей же Фокич умер от рака печени в клинике Первого МГУ месяцев через девять после появления Воланда в Москве...

Да, прошло несколько лет, и затянулись правдиво описанные в этой книге происшествия и угасли в памяти. Но не у всех, но не у всех!

Каждый год, лишь только наступает весеннее праздничное полнолуние, под вечер появляется под липами на Патриарших прудах человек лет тридцати или тридцати с лишним. Рыжеватый, зеленоглазый, скромно одетый человек. Это — сотрудник Института истории и философии, профессор Иван Николаевич Понырев.

Придя под липы, он всегда садится на ту самую скамейку, на которой сидел в тот вечер, когда давно позабытый всеми Берлиоз в последний раз в своей жизни видел разваливающуюся на куски луну.

Теперь она, цельная, в начале вечера белая, а затем золотая, с темным коньком-драконом, плывет над бывшим поэтом, Иваном Николаевичем, и в то же время стоит на одном месте в своей высоте.

Ивану Николаевичу все известно, он все знает и понимает. Он знает, что в молодости он стал жертвой преступных гипнотизеров, лечился после этого и вылечился. Но знает он также, что кое с чем он совладать не может. Не может он совладать с этим весенним полнолунием. Лишь только оно начинает приближаться, лишь только начинает разрастаться и наливаться золотом светило, которое когда-то висело выше двух пятисвечий, становится Иван Николаевич беспокоен, нервничает, теряет аппетит и сон, дожидается, пока созреет луна. И когда наступает полнолуние, ничто не удержит Ивана Николаевича дома. Под вечер он выходит и идет на Патриаршие пруды.

Сидя на скамейке, Иван Николаевич уже откровенно разговаривает сам с собой, курит, щурится то на луну, то на хорошо памятный ему турникет.

Час или два проводит так Иван Николаевич. Затем снимается с места и всегда по одному и тому же маршруту, через Спиридоновку, с пустыми незрячими глазами идет в арбатские переулки.

Он проходит мимо нефтелавки, поворачивает там, где покосившийся старый газовый фонарь, и подкрадывается к решетке, за которой он видит пышный, но еще не одетый сад, а в нем — окрашен-

ный луною с того боку, где выступает фонарь с трехстворчатым окном, и темный с другого — готический особняк.

Профессор не знает, что влечет его к решетке и кто живет в этом особняке, но знает, что бороться ему с собою в полнолуние не приходится. Кроме того, он знает, что в саду за решеткой он неизбежно увидит одно и то же.

Он видит сидящего на скамеечке пожилого и солидного человека с бородкой, в пенсне и с чуть-чуть поросячьими чертами лица. Иван Николаевич всегда застает этого обитателя особняка в одной и той же мечтательной позе, со взором, обращенным к луне. Ивану Николаевичу известно, что, полюбовавшись луной, сидящий непременно переведет глаза на окна фонаря и упрется в них, как бы ожидая, что сейчас они распахнутся и появится на подоконнике что-то необыкновенное.

Все дальнейшее Иван Николаевич знает наизусть. Тут надо непременно поглубже схорониться за решеткой, ибо вот сейчас сидящий начнет беспокойно вертеть головой, блуждающими глазами ловить что-то в воздухе, восторженно улыбаться, а затем он вдруг всплеснет руками в какой-то сладостной тоске, а затем уж и просто и довольно громко будет бормотать:

— Венера! Венера!.. Эх я, дурак!..

— Боги, боги! — начнет шептать Иван Николаевич, прячась за решеткой и не сводя разгорающихся глаз с таинственного неизвестного. — Вот еще одна жертва луны... Да, это еще одна жертва, вроде меня.

А сидящий будет продолжать свои речи:

— Эх я, дурак! Зачем, зачем я не улетел с нею? Чего я испугался, старый осел! Бумажку выправил! Эх, терпи теперь, старый кретин!

Так будет продолжаться до тех пор, пока не стукнет в темной части особняка окно, не появится в нем что-то беловатое и не раздастся неприятный женский голос:

— Николай Иванович, где вы? Что это за фантазии? Малярию хотите подцепить? Идите чай пить!

Тут, конечно, сидящий очнется и ответит голосом лживым:

— Воздухом, воздухом хотел подышать, душенька моя! Воздух уж очень хорош!

И тут он поднимется со скамейки, украдкой погрозит кулаком закрывающемуся внизу окну и поплетется в дом.

— Лжет он, лжет! О боги, как он лжет! — бормочет, уходя от решетки, Иван Николаевич. — Вовсе не воздух влечет его в сад, он что-то видит в это весеннее полнолуние на луне и в саду, в высоте. Ах, дорого бы я дал, чтобы проникнуть в его тайну, чтобы знать, какую такую Венеру он утратил и теперь бесплодно шарит руками в воздухе, ловит ее?

И возвращается домой профессор уже совсем больной. Его жена притворяется, что не замечает его состояния, и торопит его ложиться спать. Но сама она не ложится и сидит у лампы с книгой, смотрит горькими глазами на спящего. Она знает, что на рассвете Иван Николаевич проснется с мучительным криком, начнет плакать и ме-

таться. Поэтому и лежит перед нею на скатерти под лампой заранее приготовленный шприц в спирту и ампула с жидкостью густого чайного цвета.

Бедная женщина, связанная с тяжко больным, теперь свободна и без опасений может заснуть. Иван Николаевич после укола будет спать до утра со счастливым лицом и видеть неизвестные ей, но какие-то возвышенные и счастливые сны.

Будит же ученого и доводит его до жалкого крика в ночь полнолуния одно и то же. Он видит неестественного безносого палача, который, подпрыгнув и как-то ухнув голосом, колет копьем в сердце привязанного к столбу и потерявшего разум Гестаса. Но не столько страшен палач, сколько неестественное освещение во сне, происходящее от какой-то тучи, которая кипит и наваливается на землю, как это бывает только во время мировых катастроф.

После укола все меняется перед спящим. От постели к окну протягивается широкая лунная дорога, и на эту дорогу поднимается человек в белом плаще с кровавым подбоем и начинает идти к луне. Рядом с ним идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с обезображенным лицом. Идущие о чем-то разговаривают с жаром, спорят, хотят о чем-то договориться.

— Боги, боги! — говорит, обращая надменное лицо к своему спутнику, тот человек в плаще. — Какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи, — тут лицо из надменного превращается в умоляющее, — ведь ее не было! Молю тебя, скажи, не было?

— Ну, конечно, не было, — отвечает хриплым голосом спутник, — это тебе померещилось.

— И ты можешь поклясться в этом? — заискивающе просит человек в плаще.

— Клянусь! — отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются.

— Больше мне ничего не нужно! — сорванным голосом вскрикивает человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего спутника. За ними идет спокойный и величественный гигантский остроухий пес.

Тогда лунный путь вскипает, из него начинает хлестать лунная река и разливается во все стороны. Луна властвует и играет, луна танцует и шалит. Тогда в потоке складывается непомерной красоты женщина и выводит к Ивану за руку пугливо озирающегося, обросшего бородой человека. Иван Николаевич сразу узнает его. Это — тот номер сто восемнадцатый, его ночной гость. Иван Николаевич во сне протягивает к нему руки и жадно спрашивает:

— Так, стало быть, этим и кончилось?

— Этим и кончилось, мой ученик, — отвечает номер сто восемнадцатый, а женщина подходит к Ивану и говорит:

— Конечно, этим. Все кончилось, и все кончается... И я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо.

Она наклоняется к Ивану и целует его в лоб, и Иван тянется к ней и всматривается в ее глаза, но она отступает, отступает и уходит вместе со своим спутником к луне...

Тогда луна начинает неистовствовать, она обрушивает потоки света прямо на Ивана, она разбрызгивает свет во все стороны, в комнате начинается лунное наводнение, свет качается, поднимается выше, затопляет постель. Вот тогда и спит Иван Николаевич со счастливым лицом.

Наутро он просыпается молчаливым, но совершенно спокойным и здоровым. Его исколотая память затихает, и до следующего полнолуния профессора не потревожит никто: ни безносый убийца Гестаса, ни жестокий пятый прокуратор Иудеи всадник Понтий Пилат.

1929-1940

Комментарии

Заглавие.

н явился. Пришествие. Церк

г. Конь о константа.

что о каждом с

будут ходить, а Лен

собираются на пуск

супруг. Сказали, что х

умрут, а ходят.

И предупреждаю того у

которые убиваются люди все

не положить на чай.

Черный маг

Черновики романа

Тетрадь 1 1928—1929 гг.

Из сохранившихся рукописей (автографов) романа эта — самая ранняя. Судя по количеству глав и их содержанию, можно предположить, что это первая черновая редакция произведения. Из подготовительных, которые несомненно были, практически ничего не сохранилось (если не считать нескольких авторских записей в самой тетради с текстом.

Значение этой редакции, даже в виде фрагментов и обрывков текста, трудно переоценить. К сожалению, некоторые части текста уничтожены полностью (как правило, наиболее важные в политическом отношении: например, допрос Иешуа у Каиафы). Когда и как были уничтожены рукописи романа (большая их часть) — остается тайной, ибо ни Л.Е.Белозерская, ни Е.С.Булгакова (вторая и третья жены писателя) ничего вразумительного по этому поводу в своих воспоминаниях и дневниках не сказали (скорее всего, писатель не посвятил их в эту тайну). В последних редакциях романа Булгаков довольно подробно описал эпизод с уничтожением рукописи произведения (и черновика, и беловика), а еще раньше, в письме к правительству 28 марта 1930 г., он перечислил произведения, которые бросил в печку: «...черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа "Театр"». Однако и авторские свидетельства нельзя полностью принимать на веру, поскольку несколько тетрадей черновика романа сохранилось, но большая часть листов внутри них оборвана (можно предположить, что писатель это сделал с двоякой целью: а) в случае изъятия этих рукописей политическим сыском прочитать текст было практически невозможно; б) сам же автор по этим обрывкам легко мог бы его восстановить). Можно констатировать один лишь неоспоримый факт: история создания и уничтожения первых редакций романа остается невыясненной, темной. И ее затемнению способствовали не только сам автор, но и те лица, которым был доступен архив писателя (трудно поверить, например, что сам Булгаков специально уничтожал листы с датами написания произведения или подрезал ножницами «под ноль» оставшиеся обрывки текста).

Из сохранившихся обрывков можно понять, что роман был пронизан политическими мотивами и что он был ответом Булгакова на ту травлю, которая осуществлялась против него в 1926—1928 гг. При этом писатель, верный испробованным им приемам аллегорического изображения современной ему действительности («Роковые яйца», «Собачье сердце» и др.), ярко раскрыл жизнь (главным образом ее теневые стороны и пороки) «красной столицы» под видом известных событий, происходивших в древнем Ершалаиме. Этот авторский первоначальный замысел всегда нужно иметь в виду, чтобы не впасть в соблазн неверного истолкования романа при прочтении последних его редакций. Первые черновые варианты романа выполняют функцию

своеобразного путеводителя к более ясному пониманию его сущности. И в этом их несомненное значение.

С. 23. **Черновики романа. Тетрадь 1. 1928—1929.** — Роман начинался с предисловия, имеющего несколько вариантов. Сохранилась часть первого слова из названия предисловия «Божеств[енная]...» (может быть, следующее слово — «комедия»?). Рассказ ведется от первого лица и начинается словами: «Клянусь честью...» Из обрывков текста можно понять, что автора заставило взяться за перо какое-то чудовищное происшествие и связано оно с посещением «красной столицы» (а в другом варианте текста — и других городов Союза Республик, в том числе Ленинграда) «гражданином Азазелло».

Первая глава имела несколько названий: «Шестое доказательство», «Доказательство [инженера]», «Пролог»... По содержанию похожа на будущую главу «Никогда не разговаривайте с неизвестными», но насыщена многими подробностями, которые в дальнейшем были опущены. Например, указано время действия — июнь 1935 г. Детально описаны внешность, приметы и одежда героев — Берлиоза и Иванушки, что имеет немаловажное значение для установления их прототипов. Очень подробно рассказано о журнале «Богоборец» и о материалах, помещаемых в нем. Видимо, для Булгакова это было столь важно, что он в мельчайших подробностях описал жуткий карикатурный рисунок на Иисуса Христа, «к какову... Берлиоз и просил Безродного приписать антирелигиозные стишки». Описание появившегося «незнакомца» взято автором повествования из следственного дела «115-го [отделения] рабоче-крестьянской милиции», в котором была рубрика «Приметы». И приметы эти составляют 15 (!) страниц булгаковского текста. Любопытно также, что «незнакомец», прежде чем подойти к беседующей паре, покатался по воде на лодочке. Текст главы реконструировать полностью невозможно, поскольку десять листов подрезано под корешок тетради.

Вторую главу принято называть «Евангелие от Воланда», но это неточное название. В разметке первых глав, помещенной на одной из страниц, записано: «Евангелие от д[ьявола]». Но и это не первое название главы. Установить полностью название главы трудно, поскольку сохранилось лишь его последнее слово: «...нисане...», крупно написанное красными чернилами, так же, как и следующая глава. Сохранились и обрывки текста из плана этой главы: «История у [Каиафы] в ночь с 25 на 2[6]... 1) Разбудили Каи[афу]... 2) У Каиа[фы]... 3) Утро...» Характерно, что над всем этим текстом Булгаков крупными буквами написал: «Delatores — доносчики».

Глава начинается с рассказа «незнакомца», который «прищурившись... вспоминал», как Иисуса Христа привели «прямо к Анне» (Анна — тесть Каиафы, низложенный ранее первосвященник, обладавший реальной властью. — *В.Л.).* По обрывкам слов можно понять, что Иисус подвергся допросу, при этом его обвиняли в самозванстве. В ответ Иисус улыбался... Затем состоялось заседание Синедриона, но в этом месте пять листов с убористым почерком обрезаны почти под корешок. Можно лишь предположить, что этот текст имел чрезвычайно важное значение для понимания реальной обстановки, сложившейся вокруг писателя в конце 20-х гг., поскольку исторические главы прежде всего и имели скрытый подтекст. Видимо, в уничтоженном варианте просматривались реальные фигуры того времени.

Перед самым обрывом текста легко прочитывается фраза: «Я его ненавижу...» Скорее всего, эти слова принадлежат Иванушке, выразившему (очевидно, мысленно) свое отношение к незнакомцу, ведущему рассказ. Что касается реакции Берлиоза на рассказ Воланда, то он, «не сводя [взора с иностранца, спросил] вежливо: — Ну-с... поволокли его...»

Из текста, следующего после обрыва листов, можно легко разобрать, что Синедрион принял решение казнить самозванца, а убийцу Варраввана выпустить на свободу. Это свое решение Синедрион и передал Пилату.

Реакция Пилата была ужасной. Воланд продолжал свой рассказ:

«Впервые в жизни... я видел, как надменный прокуратор [Пилат] не сумел... сдержать себя... [Он] резко двинул рукой... [и опроки]нул чашу с ординарным вином. Вино] при этом расхле[сталось по полу, чаша разбилась] вдребезги и руки [Пилата обагрились]...

— Ага-а, — про[говорил]... Берлиоз, с велич[айшим] вниманием слушавший] этот [рассказ].

— Да-с, — продол [жал]... незнакомец. — Я слышал, к[ак Пилат] прошипел:

— О, gens scele [ratissi]ma, taeterrima [gens!]* — Затем повернулся [лицом к] Иешуа и [сказал, гневно сверк]нув глазами:

— [Благодари т]вой язык, друг, а [не ужасного] человека председателя Синедриона] Иосифа Каиафу...»

Далее описывалась известная сцена вынесения Пилатом приговора Иешуа. Воланд резюмировал это трагическое событие так:

«Таким образом, Пилат [вынес] себе ужасающий пр[иговор]...

— Я содрогнулся, — пр[одолжал незнакомец]... все покатилось...»

Далее Воланд поведал о Веронике, которая пыталась во время тяжкого шествия на Лысый Череп утереть лицо Христу, и о сапожнике, помогавшем Иисусу нести тяжелый крест, и о самой казни. То есть во второй главе первой редакции сконцентрированы все те события, которые впоследствии были «разнесены» автором по нескольким «историческим» главам. В более поздние редакции романа не вошел ряд важных эпизодов главы (заседание Синедриона, шествие Иисуса Христа на казнь и некоторые другие).

Глава третья имеет четкое название — «Доказательство инженера». В ней иностранец наконец представляется друзьям-писателям, назвав себя профессором Вельяром Вельяровичем Воландом. Действует он по-прежнему в одиночестве, без помощников. Выступая как дьявол-искуситель, он своими провокационными выпадами против наивного Иванушки доводит последнего до состояния безумия, и тот разметает им же нарисованное на песке изображение Христа. Но Воланд тем самым испытывает не столько Иванушку, сколько Берлиоза, которого призывает остановить своего приятеля. Но Берлиоз, понимая суть происходящего, уклоняет от вмешательства и позволяет Иванушке совершить роковой шаг. За что, собственно, и поплатился. Смерть Берлиоза описана в деталях, с жуткими подробностями. Не мог Булгаков простить писательской «элите» полного духовного падения.

Четвертая и пятая главы в названии имели первым словом «Интермедия...». В разметке глав — «Интермедия в...» (возможно, в «Шалаше» или в «Хижине»). Но для четвертой главы более подходит название «На вед[ьминой квартире]», которое дано автором в подзаголовке. В этой небольшой главе рассказывается о некоей поэтессе Степаниде Афанасьевне, которая все свое время делила «между ложем и телефоном» и разносила по Москве всевозможные небылицы и сплетни. Именно она распространила весть о гибели Берлиоза и о сумасшествии Иванушки. Исследователи, очевидно справедливо, полагают, что Булгаков намечал «разместить» Воланда именно в квартире Степаниды Афанасьевны, поэтому и глава названа «На ведьминой квартире». Но затем творческий замысел писателя несколько изменился, в результате чего и сама глава бесследно исчезла.

Пятая же глава, которую условно можно назвать «Интермедия в Шалаше Грибоедова», по содержанию незначительно отличается от последующих редакций. Но в первой редакции совершенно иной финал главы. Дежурившие в больнице санитары заметили убегающего черного пуделя «в шесть аршин». Это был Иванушка Бездомный. Более подробно с содержанием этих двух глав

* О племя греховнейшее, отвратительнейшее племя! *(лат.)*

можно ознакомиться в «Литературном обозрении» (1991. № 5), где читателям предложена попытка реконструкции этого текста, подготовленная М.О.Чудаковой.

Следующая, шестая глава «Марш фюнебров» («Марш похоронщиков») больше не встречается в других редакциях, хотя в ней рассказывается о довольно значительном событии — похоронах Берлиоза. Бежавший из больницы Иванушка появляется на процессии в виде трубочиста, внеся в ее ряды дикую сумятицу. Затем, овладев повозкой и телом друга, он мчится по Москве, сея вокруг ужас и панику. От такой езды покойник «вылез из гроба», и у очевидцев сложилось впечатление, что он «управляет колесницей». В конечном итоге колесница вместе с гробом сваливается с Крымского моста в Москва-реку, но Иванушка упав до этого с козел чудом остается жив. В мозгу его смешивается реальная действительность и рассказанные Воландом события, из уст его то и дело выскакивают «мудреные» словечки: «Понтийский Пилат», «синедрион»... Как выяснится в других главах, Иванушку вновь водворяют в лечебницу.

Главы седьмая—десятая соответствуют будущим главам «Волшебные деньги», «Степа Лиходеев», «В кабинете Римского» и «Белая магия и ее разоблачение». Правда, от лица потусторонней силы по-прежнему выступает один Воланд, а герои имеют иные имена. Так, председателем жилищного товарищества является Никодим Гаврилыч Поротый; Варьете возглавляет Гарася Педулаев, его помощники — Цупилиоти и Нютон, а Воланд отрывает голову Осипу Григорьевичу Благовесту. Весьма примечательны и некоторые фразы. Так, Воланд именует Гарасю Педулаева «алмазнейшим», а когда тот, вытаращив глаза, не может сообразить, кто же все-таки перед ним, заявляет: «Я — Воланд!.. Воланд я!..» Но неискушенный в литературе и мистике Гарася так и не может распознать своего собеседника. Кое-что он, видимо, начал соображать, когда вдруг оказался над крышей своего дома, а через мгновение очутился во Владикавказе.

Весьма важное значение имеет глава одиннадцатая, которая, к сожалению, плохо прочитывается, поскольку многие листы в ней обрезаны под корешок. Видимо, это было сделано не автором, а в значительно более позднее время. Главный герой главы — некий специалист по демонологии Феся, плохо говорящий по-русски, но владеющий имением в Подмосковье. После революции этот специалист многие годы читал лекции в Художественных мастерских до того момента, пока в одной из газетных статей не появилось сообщение о том, что Феся в бытность свою помещиком измывался над мужиками. Это сообщение Феся опроверг довольно убедительно, заявив, что русского мужика он в глаза ни разу не видел. Сохранился полностью отрывок конца главы. Приводим его ниже:

«...в Охотных рядах покупал капусты. В треухе. Но он не произвел на меня впечатления зверя.

Через некоторое время Феся развернул иллюстрированный журнал и увидел своего знакомого мужика, правда, без треуха. Подпись под стариком была такая: «Граф Лев Николаевич Толстой».

Феся был потрясен.

— Клянусь Мадонной, — заметил он, — Россия — необыкновенная страна! Графы в ней — вылитые мужики!

Таким образом, Феся не солгал».

К сожалению, этот многообещающий образ в последующих редакциях романа развития не получил. Правда, большая часть второй редакции была уничтожена автором, и поэтому мы не можем сказать, включалась в нее эта глава или нет.

О следующих четырех заключительных главах редакции, почти полностью сохранившихся, можно лишь сказать, что они не являются центральны-

ми и, возможно, потому остались нетронутыми. Именно эти главы публикуются в данном издании. Отметим лишь одну важную деталь: в главе тринадцатой «Якобы деньги» в окружении Воланда появляются новые персонажи — рожа с вытекшим глазом и провалившимся носом, маленький человечишко в черном берете, рыжая голая девица, два кота... В главе пока лишь намечалась их грандиозная деятельность в «красной столице».

С. 25. **...гражданин Поротый...** — Он же Никанор Иванович Босой.

С. 28. **...троцкистских прокламаций самого омерзительного содержания.** — Писатель иронизирует по поводу бушевавшей в ту пору «борьбы с троцкизмом», но заодно пользуется случаем еще раз нелестно высказаться в адрес некогда грозного пролетарского вождя.

С. 29. **Второй кот оказался в странном месте...** — Второй кот появляется и в следующей редакции романа. Видимо, писатель предполагал расширить свиту Воланда, включив в нее еще одного кота, но впоследствии от этого замысла отказался.

...на коей были вышиты кресты, но только кверху ногами. — Перевернутый крест — кощунственное отношение к распятию — символизирует радость лукавого.

...и **нос** вынужден **был заткнуть...** — На этом слове текст обрывается. Следующий лист оборван наполовину. Из сохранившегося текста можно понять, что Воланд высказал свое неудовольствие по поводу несвежей осетрины. Буфетчика же волновало другое — фальшивые деньги, он пытался выразить свои претензии по этому поводу. В ответ послышался возглас Воланда: «Бегемот!» — и далее по тексту.

С. 33. **Тут Суковский и Нютон...** — Суковский — он же Библейский, Робинский, Близнецов, Римский. Нютон — он же Благовест, Внучата, Варенуха.

С. 34. **...отравил жизнь Осипу Григорьевичу... — В** последующих редакциях в этой роли выступил конферансье Мелунчи, он же Мелузи, Чембукчи, Жорж Бенгальский.

..Аполлона Павловича выбросили... — В следующих редакциях — Аркадий Аполлонович Семплеяров.

Педулаев. — В следующих редакциях — Степа Лиходеев.

С. 36. **«...черные скалы, вот мой покой...»** — Близко к тексту романса Ф.Шуберта «Приют» на слова Релыытаба.

Копыто инженера

Черновики романа

Тетрадь 2 1928—1929 гг.

Если черновики романа, содержащиеся в первой тетради, принять за первоначальный его текст, то вторая тетрадь (или несколько тетрадей) является второй его редакцией. Отличие второй тетради от первой состоит прежде всего в том, что она включает не все главы сочинения, а лишь часть. Продолжение текста романа было в другой (или других) тетради (сохранилось несколько кусочков текста из нее). По уцелевшим отрывкам из первой (первая редакция) и второй (вторая редакция) тетрадей (при их сопоставлении) ясно видно, что текст второй редакции более отработан автором и уже близок

к беловику. Несмотря на то что во второй тетради сохранились лишь части двух глав (одну из них мы условно назовем «Евангелие от Воланда»; вторая имеет полное авторское название «Шестое доказательство»), ясно, что они уже несут в себе то содержание, которое затем, в последующих редакциях, преобразовалось в несколько самостоятельных глав, которые сам автор назвал «древними». В этом — исключительно важное значение сохранившихся текстов из второй редакции романа. Исследуя текстологию «древних глав» из последних редакций «закатного» романа, мы всегда можем обратиться к первоисточнику, который по счастью (а может быть, по мудрой авторской предусмотрительности и недосмотру последующих владельцев архива) уцелел и продолжает удивлять поклонников писателя своей оригинальностью, глубиной и смелостью.

С. 38. **Черновики романа. Тетрадь 2. 1928—1929.** — Глава первая — «Пристают на Патриарш[их]» — к сожалению, не сохранила ни одного целого листа с текстом, все оборваны. Но из оставшихся обрывков видно, что это — расширенный вариант той же главы первой редакции, но без предисловия. Вновь повествование идет от имени автора, пускающегося иногда в любопытнейшие сравнения. Так, записанные в деле № 7001 отделения рабоче-крестьянской милиции «приметы» появившегося на прудах «иностранца» («нос обыкновенный... далее — особых [примет нет]...») никак не удовлетворяют рассказчика, и он начинает обыгрывать «особые» приметы свои и своих друзей («У меня, у Николая [Николаевича], у Павла Сергеевича...»), которые, конечно, отличаются «необыкновенностью». Вероятно, прочтение этих мест романа в кругу близких знакомых на Пречистенке вызывало веселье, и особенно у друзей писателя — Николая Николаевича Лямина и Павла Сергеевича Попова, подвергшихся столь пристальному изучению на предмет выявления у них «особых примет». Заметим попутно, что этот кусочек текста мгновенно воскрешает в памяти «особые приметы» главного героя пьесы Булгакова «Батум», поступившие из учреждения розыска: «Джугашвили. Телосложение среднее. Голова обыкновенная. Голос баритональный. На левом ухе родинка... Наружность... никакого впечатления не производит...»

Появление «незнакомца» на Патриарших прудах совпало с моментом ехидного обсуждения писателями изображения нарисованного Иванушкой Иисуса Христа. Вышел незнакомец из Ермолаевского переулка... И «нос у него был... все-таки горбатый». Рассказ Воланда о давно происшедших событиях начинается в этой же главе, причем особый интерес у незнакомца вызвал Иванушкин рисунок...

Глава вторая названия не сохранила: первый лист с текстом обрезан под корешок. К счастью, значительная часть листов с текстом этой главы уцелела. Из сохранившегося текста можно понять, что глава начинается с рассказа Воланда о заседании Синедриона. Мелькают имена Каиафы, Иуды, Иоанна. Иуда Искариот совершает предательство. Каиафа благодарит Иуду за «предупреждение» и предостерегает его — «бойся Толмая». Примечательно, что сначала было написано «бойся фурибунды» (фурибунда — от лат. ярость), но затем Булгаков зачеркнул слово «фурибунда» и написал сверху «Толмая». Значит, судьба предателя Иуды была предрешена писателем уже в начале работы над романом.

Из других частей полууничтоженного текста можно воспроизвести сцену движения процессии на Лысый Череп. Булгаков, создавая эту картину, словно перебрасывал мостик к современности, показывая, что человек, выбравший путь справедливости, всегда подвергается гонениям. Замученный вконец под тяжестью креста, Иешуа упал, а упав, «зажмурился», ожидая, что его начнут бить. Но «взводный» (!), шедший рядом, «покосился на упавшего» и молвил: «Сел, брат?»

Подробно описывается сцена с Вероникой, которая, воспользовавшись оплошностью охранников, подбежала к Иешуа с кувшином, разжала «пальцами его рот» и напоила водой.

В заключение своего рассказа о страданиях Иешуа Воланд, обращаясь к собеседникам и указывая на изображение Иисуса Христа, говорит с иронией: «Вот этот са[мый]... но без пенсне...» Следует заметить, что некоторые фрагменты текста, даже не оборванного, расшифровываются с трудом, ибо правлены они автором многократно, в результате чего стали «трехслойными». Но зато расшифровка зачеркнутых строк иногда позволяет прочитать любопытнейшие тексты.

Не исключено, что в первых редакциях романа в образе Пилата проявились некоторые черты Сталина. Дело в том, что вождь, навещая Художественный театр, иногда в беседах с его руководством сетовал на то, что ему трудно сдерживать натиск ортодоксальных революционеров и деятелей пролетарской культуры, выступающих против МХАТа и его авторов. Разумеется, Булгакову содержание этих бесед передавалось. Возникали иллюзии, которые стали рассеиваться позже. Так вот, ряд зачеркнутых фрагментов и отдельные фразы подтверждают: Булгаков действительно верил в снисходительное отношение к нему со стороны вождя. Приведем наиболее характерные куски восстановленного авторского текста: «Слушай, Иешуа Га-Ноцри, ты, кажется, себя убил сегодня... Слушай, можно вылечить от мигрени, я понимаю: в Египте учат и не таким вещам. Но ты сделай сейчас другую вещь, покажи, как ты выберешься из петли, потому что, сколько бы я ни тянул тебя за ноги из нее — такого идиота, — я не сумею этого сделать, потому что объем моей власти ограничен. Ограничен, как всё на свете... Ограничен!! — истерически кричал Пилат».

Очевидно, понимая, что такой текст звучит слишком откровенно, Булгаков подредактировал его, несколько сгладив острые углы, но сохранив основную мысль о зависимости правителя от его окружения.

Таким образом, вторая глава существенно переработана автором в сравнении с ее первым вариантом. К сожалению, название ее так и не удалось выяснить.

Название третьей главы сохранилось — «Шестое доказательство» (по-видимому, «цензоров» этот заголовок удовлетворил). Эта глава менее других подверглась уничтожению, но все же в нескольких местах листы из тетради вырваны. Почти под корешок обрезаны листы, рассказывающие о о том, как действует Толмай по заданию Пилата. Но даже по небольшим обрывкам текста можно понять: Толмай не смог предотвратить «несчастье» — «не уберег» Иуду.

Немалый интерес представляют некоторые зачеркнутые автором фразы. Так, в том месте, где Воланд рассуждает о толпе, сравнивая ее с чернью, Булгаков зачеркнул следующие его слова: «Единственный вид шума толпы, который признавал Пилат, это крики: «Да здравствует император!» Это был серьезный мужчина, уверяю вас». Тут же напрашивается сопоставление этой фразы Воланда с другой, сказанной им перед отлетом из «красной столицы» (из последней редакции): «У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, и вообще все кончено здесь. Нам пора!» Эта загадочная реплика Воланда, видимо, относилась к правителю той страны, которую он покидал. В устах сатаны она приобретала особый смысл. Следует заметить, что этот фрагмент текста до настоящего времени так и не вошел ни в одну публикацию романа, в том числе и в пятитомное собрание сочинений Булгакова. В нынешней публикации мы восстанавливаем его.

К сожалению, конец главы также оборван, но лишь наполовину, поэтому смысл написанного достаточно легко воспроизвести. Весьма любопытно по-

ведение Воланда после гибели Берлиоза (в других редакциях этот текст уже не повторяется). Его глумлению над обезумевшим от ужаса и горя Иванушкой, кажется, нет предела.

«—Ай, яй, яй, — вскричал [Воланд, увидев] Иванушку, — Иван Николаевич, такой ужас!..

— Нет, — прерывисто [заговорил Иванушка], — нет! Нет... стойте...»

Воланд выразил на лице притворное удивление, а Иванушка, придя в бешенство, стал обвинять иностранца в причастности к убийству Берлиоза и вопить: «Признавайтесь!» В ответ Воланд предложил Иванушке выпить валерьяновых капель и, продолжая издеваться, проговорил:

«— Горе помутило [ваш разум], пролетарский поэт... У меня слабость... Не могу выносить... ауфвидерзеен.

— [Зло]дей, [вот] кто ты! — глухо и [злобно прохрипел

Иванушка]... — К Кондрату [Васильевичу вас следует отправить]. Там разберут, [будь] покоен!

— [Какой] ужас, — беспомощно... и плаксиво заныл Воланд... — Молодой человек... некому даже [сообщить], не разбираю здесь...»

И тогда Иванушка бросается на Воланда, чтобы сдать его в ГПУ.

«Тот тяжелой рукой [сдавил] Иванушкину кисть, и... он попал как бы в [капкан], рука стала наливаться... [об]висла, колени [задрожали]...

— Брысь, брысь отс[юда, — проговорил] Воланд, — да и... чего ты торчишь здесь... Не подают здесь... Божий человек... — [В голове] завертелось от таких [слов у] Иванушки, и он сел... И представились ему вокруг пальмы...»

Четвертая глава «Мания фурибунда» представляет собой отредактированный вариант главы «Интермедия в Шалаше Грибоедова» из первой редакции. Булгаков подготовил эту главу для публикации в редакции сборников «Недра» и сдал ее 8 мая 1929 г. Это единственная точная дата, помогающая установить приблизительно время работы над двумя первыми редакциями романа.

Сохранилось также окончание седьмой главы (обрывки листов с текстом), которая в первой редакции называлась «Разговор по душам».

Можно с уверенностью сказать, что вторая редакция включала по крайней мере еще одну тетрадь с текстом, поскольку чудом сохранились узкие обрывки листов, среди которых есть начало главы пятнадцатой, называвшейся «Исналитуч...». Следовательно, были и другие главы. Видимо, именно эти тетради были сожжены Булгаковым в марте 1930 **г.**

С. 41. **Евангелие от Воланда.** — Условное название второй главы второй черновой редакции романа, поскольку лист текста с названием главы вырезан ножницами.

— Гм, — сказал секретарь. — С этой фразы начинается текст второй главы романа. До этого, как видно из сохранившихся обрывков вырванных листов, описывалось заседание Синедриона, на котором Иуда давал показания против Иешуа. Вероятно, Булгаков использовал при этом различные исторические источники, но из рабочих материалов сохранились лишь отдельные записи. Очевидно, они были уничтожены вместе с рукописями. Существуют более поздние записи писателя, касающиеся заседания Синедриона, решающего судьбу Иешуа: «...был приведен в синедрион, но не в Великий, а в Малый, состоявший из 23 человек, где председательствовал первосвященник Иосиф Каиафа». Эта выписка была сделана Булгаковым из книги Г.Древса «История евреев от древнейших времен до настоящего» (Одесса, 1905. Т. 4. С. 226).

— Вы хотели в Ершалаиме царствовать? — спросил Пилат по-римски. — Смысл вопроса соответствует евангельским повествованиям: «Иисус же стал перед правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский?» (Мф, 27:11). Согласно Евангелиям от Матфея, Марка и Луки, Иисус Христос на допросе Пилата молчал. Однако в повествованиях Евангелия от Иоанна

Иисус Христос отвечал на вопросы Пилата. Булгаков при описании данного сюжета взял за основу именно Евангелие от Иоанна, но трактовал его вольно, сообразуясь со своими творческими идеями.

Слова он знал плохо. — Добиваясь точности в изложении исторических деталей, Булгаков уделяет большое внимание языкам, на которых говорили в те времена в Иудее. В черновых материалах можно прочесть, например, такие записи: «Какими языками владел Иешуа?», «Спаситель, вероятно, говорил на греческом языке...» (Ф а р р а р Ф.В. Жизнь Иисуса Христа. М., 1888. С. 111), «Мало также вероятно, что Иисус знал по-гречески» (Р е н а н Ж.Э. Жизнь Иисуса. СПб.: Изд-во Н.Глаголева. С. 88), «На Востоке роль распространителя алфавита играл арамейский язык...», «Арамейский язык... во времена Христа был народным языком, и на нем были написаны некоторые отрывки из Библии...». Поскольку официальным языком в римских провинциях была латынь, Пилат (речь идет о ранней редакции романа) начинает допрос на латыни, однако, убедившись, что Иисус плохо владеет ею, переходит на греческий, который также использовался римскими чиновниками в Иудее. В позднейших редакциях романа Пилат, выясняя грамотность арестованного, обращается к нему сначала на арамейском, через некоторое время переходит на греческий и наконец, убедившись в блестящей эрудиции допрашиваемого, использует латынь.

Иешуа (в других редакциях Ешуа) — сокращенная форма имени Иегошуа, которое означает «Яхве есть спасение». Иисус — грецизированная форма имени Иешуа.

...тысяча девятьсот лет пройдет... — В следующей редакции: «...две тысячи лет пройдет, ранее... (он подумал еще) да, именно две тысячи, пока люди разберутся в том, насколько напутали, записывая за мной». В последней редакции: «Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время».

...ходит он с записной книжкой и пишет... этот симпатичный... — В материалах к роману есть весьма любопытная выписка: «Левий Матвей и Мария. Также последователем был богатый мытарь, которого источники называют то Матфеем, то Леви и в доме которого Иешуа постоянно жил и вернулся с товарищами из самого презренного класса. К его последователям принадлежали и женщины сомнительной репутации, из которых наиболее известна Мария Магдалина (из города Магдалы — Торихен близ Тивериады)... Гретц. История евреев. Том IV. С. 217».

С. 42. **О, Канафа...** — Иосиф Каиафа (у Булгакова в окончательной редакции — Кайфа) — первосвященник с 18 г. н.э. (по другим сведениям, с 25 г. н.э.). В 36 г. н.э. смещен с должности сирийским легатом Вителлием.

Quid est Veritas? — Далее в черновике:

«— Ты все, игемон, сидишь в кресле во дворце, — сказал арестант, — и оттого у тебя мигрени, а у меня как раз свободный день, и я тебе предлагаю — пойдем со мной на луга, я тебе расскажу подробно про истину, и ты сразу поймешь...

В зале уж не только молчали, но даже не шевелились. После паузы Пилат сказал так:

— Спасибо, дружок, за приглашение, но у меня нет времени, к сожалению... К сожалению, — повторил Пилат. — Великий Кесарь будет недоволен, если я начну ходить по лугам... Черт возьми! — воскликнул Пилат.

— А я тебе, игемон, — сказал Иешуа участливо, — посоветовал бы поменьше употреблять слово «черт».

— Не буду, — сказал Пилат, — черт возьми, не буду...»

С. 43. — **Супруга его превосходительства Клавдия Прокула... — В** Евангелии от Матфея: «Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его по-

слала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него» (27:19). За ходатайство перед судом прокуратора Клавдия Прокула была причислена греческой, коптской и эфиопской церквами к лику святых.

...и вам, ротмистр, следует знать... — Ротмистр — офицерское звание в дореволюционной русской кавалерии, соответствовало званию капитана в пехоте.

...в Кесарии Филипповой при резиденции прокуратора... — Кесария Филиппова — город на севере Палестины, в тетрархии Ирода Филиппа, который построил его в честь кесаря Тиберия. О Кесарии Филипповой в Евангелии от Матфея сказано: «Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» (16:13).

Если в 1929 г. Булгаков полагал, что резиденция Пилата находилась в Кесарии Филипповой, то в последующие годы он стал сомневаться в этом, о чем есть следующая запись в тетради: «В какой Кесарии жил прокуратор? Отнюдь не в Кесарии Филипповой, а в Кесарии Палестинской или же Кесарии со Стратоновой башней, на берегу Средиземного моря». И в окончательной редакции романа Пилат уже говорит о «Кесарии Стратоновой на Средиземном море».

С. 44. **«Корван, корван»...** — Очевидно, имеется в виду иудейский термин «корвана» — один из видов жертвоприношения, по-арамейски «жертвенный дар».

Но термин этот имел и другие значения. Так, у Ф.В.Фаррара читаем: «По-вашему, вместо того, чтобы почитать отца и мать, достаточно человеку внести в сокровищницу сумму, назначенную на их содержание, и сказать: это корван, т.е. дар Богу, и этим избавиться от всяких обязательств по отношению к родителям» (**Ф а р р а р Ф.В.** С. 221).

С. 45. **...в двадцать пять лет такое легкомыслие!** — В рукописи-автографе было сначала «тридцать лет». В Евангелии от Луки говорится: «Иисус, начиная Свое служение, был лет тридцати...» (3:23). В последней редакции романа Иисусу Христу двадцать семь лет.

С. 47. **...страшный нисан выдался...** — Нисанну, нисан — по вавилонскому календарю, которым пользовались тогда в Палестине, весенний месяц, соответствующий марту — апрелю.

...помнишь, как я хотел напоить водою Ершалаим из Соломоновых прудов? — Видимо, Булгаков опирается на следующее замечание Фаррара: «Иерусалим, по-видимому, всегда, а особенно в то время страдал от недостатка воды. Чтобы помочь этому, Пилат предпринял устройство водопровода, посредством которого вода могла бы быть проведена из «прудов Соломоновых». Считая это предприятие делом общественной пользы, он дал распоряжение, чтобы часть расходов уплачивалась из «корвана», или священной сокровищницы. Но народ, узнав об этом распоряжении, пришел в ярость и восстал против употребления священного фонда на гражданское дело. Раздраженный оскорблениями и угрозами толпы, Пилат выслал в эту толпу переодетых в еврейские одежды римских воинов с мечами и кинжалами, скрытыми под платьем, которые по данному сигналу должны были наказать вожаков мятежной толпы.

После того как иудеи отказались разойтись, сигнал был дан, воины, не щадя ни правого, ни виновного, принялись с таким усердием исполнять свое дело, что множество людей было ранено и убито, а еще более задавлено...» (Ф а р р а р Ф.В. Жизнь Иисуса Христа. С. 441).

Пилат напоминает первосвященнику об этом побоище иудеев, угрожая его повторить с еще большей силой.

— Он [другое] услышит, Каиафа! — Далее в черновике: «Полетит сегодня телеграмма (так в тексте. — *В.Л.),* да не в Рим, а прямо на Капри. Я! Пон-

тий! Подниму тревогу. И хлебнешь ты у меня, Кая фа, хлебнет город Ершалаим уж не воды Соломоновой, священник...

— Знаю тебя, всадник Понтий, — сказал Каяфа. — Только не осторожен ты...

— Ну ладно, — молвил Пилат. — Кстати, первосвященник, агентура у тебя очень хороша. В особенности мальчуган этот, сыщик из Кериот. Здоров ли он? Ты его береги, смотри.

— Другого наймем, — с полуслова понимавший наместника, молвил Каяфа.

— O gens sceleratissima, taeterrima gens! — вскричал Пилат. — O foetor judaicus!

— Уйду, всадник, если ты еще одно слово оскорбительное произнесешь, и не выйду на лифостротон, — и стал Каяфа бледен как мрамор.

Пилат возвел взор и увидел раскаленный шар в небе».

С. 48. **...не выйду на гаввафу.** — Гаввафа — еврейское название лифостротона (каменного помоста, возвышения).

...и слова его греческие полетели над несметной толпой. — Далее в черновике: «...за что и будет Га-Ноцри казнен сегодня! Я утвердил приговор великого Синедриона.

Гул прошел над толпой, но наместник вновь поднял руку, и стало слышно до последнего звука. И опять над сверкающим золотом и над разожженным Ершалаимом полетели слова:

— Второму преступнику, осужденному вчера за такое же преступление, как и первый, именно — Вар-Равван, по неизреченной милости Кесаря всемогущего, согласно закону, возвращается жизнь в честь Пасхи, чтимой Кесарем.

И опять взорвало ревом толпу... И опять рука потушила рев:

— Командиры манипулов, к приговору!

И запели голоса взводных в манипулах, стеной отделяющих гаввафу от толпы:

— Смирно!

И тотчас вознеслись в копейном лесу охапки сена и римские, похожие на ворон, орлы».

С. 49. **...и в нем пропал.** — В этом месте вырвано шесть листов. По сохранившимся «корешкам» с текстом можно установить, что далее описывается путь Иешуа на Лысый Череп.

С. 51. **...маленькая черная лошадь мчит из Ершалаима к Черепу...** — Череп, или Лысый Череп, — Голгофа, что значит по-арамейски «череп». Латинское название «кальвариум» происходит от слова calvus («лысый»). Голгофа — гора к северо-западу от Иерусалима. В рабочей тетради Булгакова замечено: «Лысая Гора, Череп, к северо-западу от Ершалаима. Будем считать в расстоянии 10 стадий от Ершалаима. Стадия! 200 стадий — 36 километров».

С. 52. **...травильный дог Банга...** — Л.Е.Белозерская в своих воспоминаниях пишет, что ее домашнее прозвище было Банга.

С. 53. — **Здравствуйте, Толмай...** — В последующих редакциях — Афраний.

С. 54. ...у **подножия Иродова дворца...** — Дворец в Иерусалиме, построенный Иродом Великим на западной границе города. Был вместе с тем и сильной крепостью.

...Владимир Миронович... — он же Михаил Александрович Берлиоз.

— Кстати, некоторые главы из вашего евангелия я бы напечатал в моем «Богоборце»... — Такого журнала не существовало, но Союз воинствующих безбожников, образовавшийся в 1925 г., имел такие периодические издания, как газета «Безбожник», журналы «Безбожник», «Антирелигиозник», «Воинствующий атеизм», «Безбожнику станка», «Деревенский безбожник», «Юные безбожники» и др.

С. 57. **...наступите ногой на этот портрет, — он указал острым пальцем на изображение Христа на песке.** — Эпизод этот был одним из главных в ро-

мане. Но по цензурным соображениям писателю пришлось его изъять. Булгаков не сомневался, конечно, в способностях «цензоров» и «критиков» быстренько отыскать истинный смысл, заключенный в предложении консультанта (с копытом!) разметать рисунок на песке. Для этого им достаточно было вспомнить содержание рассказа довольно популярного писателя-мистика Н.П.Вагнера («Кот-Мурлыка») — «Мирра». И тогда поединок «иностранца» с Иванушкой предстал бы перед ними в более ясных очертаниях. Мы указываем на это сочинение Н.П.Вагнера не только потому, что оно является ключом к разгадыванию важнейшего эпизода в романе, но и потому, что многие произведения этого писателя занимали видное место в творческой лаборатории Булгакова. И вновь подчеркнем: исследователи-булгаковеды практически не касались этой важнейшей темы.

С. 58. **...и дочь ночи Мойра допряла свою нить.** — В древнегреческой мифологии мойры — три богини судьбы, дочери Зевса и Фемиды (в мифах архаической эпохи считались дочерьми богини Ночи). Клото пряла нить жизни, Лахесис проводила ее через все превратности судьбы, Атропос в назначенный час обрезала жизненную нить.

С. 59. **«Симпатяга этот Пилат, — подумал Иванушка, — псевдоним Варлаам Собакин»...** — В послании Ивана Грозного игумену Кирилло-Белозерского монастыря Козме с братией, написанном по поводу грубого нарушения устава сосланными в монастырь боярами, есть слова: «Есть у вас Анна и Каиафа — Шереметев и Хабаров, и есть Пилат — Варлаам Собакин, и есть Христос распинаемый — чудотворцево предание презираемое». Шереметев и Хабаров — опальные бояре, Варлаам — в миру окольничий (2-й чин Боярской думы) Собакин Василий Меньшой Степанович.

...а из храма выходил страшный грешный человек: исполу — царь, исполу — монах. — Иван Васильевич Грозный (1530—1584), с 1533 г. — великий князь, с 1547 г. — первый русский царь.

С. 61. **Над Храмом в это время** зажглась **звезда...** — Первоначально было: «Над Храмом в это время зажглась рогатая луна, и в лунном свете побрел Иванушка...» Страшные и пророческие слова писателя, предвидевшего судьбу храма Христа Спасителя.

Вечер страшной субботы

Черновые наброски к роману.
1929—1931 гг.

Черновики 1929—1931 гг. написаны в разное время, но скорее всего уже после жесточайшей травли, обращения к правительству и телефонного разговора со Сталиным в апреле 1930 г. (возможно, несколько набросков сделано в 1929 г., а остальной текст написан в последующее время). По текстам видно, что Булгаков пытался «восстановить форму» и продолжить работу над романом, но у него уже не было для этого достаточных физических сил, времени и психологического настроя. В письме писателя к Сталину (май 1931 г.) об этом сказано предельно ясно и откровенно: «С конца 1930 года я хвораю тяжелой формой нейрастении с припадками страха и предсердечной тоски, и в настоящее время я прикончен... Во мне есть замыслы, но физических сил нет никаких... Причина моей болезни — многолетняя затравленность, а затем молчание... За последний год я сделал следующее (далее

идет подробный перечень сделанной работы. — *В.Л.)*... А по ночам стал писать (речь идет, конечно, о попытках возобновить роман. — *В.Л.)*... Но надорвался... Я переутомлен... замыслы повиты черным... Привита психология заключенного».

Но при всем при том в черновиках, написанных в столь тяжелое для писателя время, содержится много новой и чрезвычайно важной информации. Это и «полет Воланда», и появление главного героя — будущего поэта, Фауста, а затем и *мастера,* от лица которого и ведется повествование, и появление *Маргариты* — подруги мастера, и возникновение *Бегемота с Фаготом...* А в совокупности все это означает, что в начале 1931 г. у Булгакова уже сложилось цельное представление о романе, которое в последующие годы будет целенаправленно воплощаться.

Появление мастера и его подруги значительно расширило границы романа, однако усложнило раскрытие политической подоплеки произведения и основных его образов — героев сочинения. Так, если в ранних редакциях образ Иешуа отличается цельностью, ибо прототип его очевиден — сам писатель, то в последующих редакциях воплощение пережитых автором потрясений (травля в прессе, обыски, допросы, преследования и слежки, доносы и прочие «прелести» тех лет) в двух образах — Иешуа и мастера — не могло не сказаться отрицательно прежде всего на полноте этих образов. И стремление автора представить Иешуа и мастера как единый образ едва ли можно признать осуществленным.

И еще об одном важном факте (на наш взгляд, самом главном) свидетельствуют черновые наброски. Предваряя один из текстов, Булгаков написал (на том месте, где обычно помещаются эпиграфы): *«Помоги, Господи, кончить роман! 1931 г.»*.

Такие записи писатель делал крайне редко, и только в состоянии особого духовного напряжения. Эта запись ярко и неоспоримо свидетельствует о том, что у Булгакова были твердые намерения при описании «чертовщины» и похождений «шайки Воланда» не выходить за те рамки приемлемого и дозволенного (с христианской точки зрения), при игнорировании которых очень легко можно скатиться в вязкую трясину дуализма.

С. 65. **В вечер той страшной субботы, 14 июня 1943 года... — В** рабочей тетради Булгакова есть интересная запись: «Нострадамус Михаил, род. 1503 г. Конец света 1943 г.».

С. 66. **...гипсовый поэт Александр Иванович Житомирский... — В** одном из черновиков читаем: «Сад молчал, и молчал гипсовый поэт Александр Иванович Житомирский — в позапрошлом году полетевший в Кисловодск на аэроплане и разбившийся под Ростовом».

Исследователи справедливо указали на поэта Александра Ильича Безыменского (1898—1973) как на прототипа Александра Ивановича Житомирского (Безыменский родился в Житомире). Напомним, что Безыменский был одним из злейших травителей Булгакова.

И родилось видение... прошел человек во фраке... — Одним из прототипов Арчибальда Арчибальдовича, по справедливому мнению Б.С.Мягкова, разделяемому другими исследователями, послужил директор писательского ресторана в «Доме Герцена» Яков Данилович Розенталь — фигура колоритная, привлекавшая внимание посетителей этого заведения.

С. 67. **Поэт же Рюхин...** — Персонаж, вобравший в себя черты многих писателей и поэтов того времени.

...впал в правый уклон. — В конце 20-х гг. Булгаков оказался одной из жертв кампании против правого уклона в искусстве и литературе. «В области театра у нас налицо правая опасность, — отмечалось в редакционной статье журнала «Новый зритель» 25 ноября 1928 г. — Под этим знаком мы боро-

лись... против чеховского большинства в МХТ-И, против «Дней Турбиных»... Ближайшие месяцы, несомненно, пройдут под знаком контрнаступления левого сектора в театре». В феврале 1929 г. один из руководителей Главреперткома В.И.Блюм выступил со статьей «Правая опасность и театр», которая почти полностью была посвящена разбору пьесы «Дни Турбиных» как наиболее яркого и «опасного» произведения, проповедующего идеи побежденного класса, то есть буржуазии (Экран. 1929. 17 февраля). В первом номере журнала «Советский театр» за 1930 г. вновь склоняется имя Булгакова в связи с борьбой против правого уклона. «Именно театр, — подчеркивалось в передовой статье, — оказался наиболее удобной позицией для обстрела политических и культурных завоеваний рабочего класса. Злобные политические памфлеты и пародии на пролетарскую революцию прежде всего нашли свое место на театральных подмостках («Зойкина квартира», «Багровый остров»). Именно на театр направлено главное внимание врагов». А в статье «Начало итогов» (автор — Р.Пикель) прямо отмечалось, что важнейшим фактором, «подтверждающим укрепление классовых позиций на театре, является очищение репертуара от булгаковских пьес».

...не в правый уклон, а, скорее, в левый загиб. — Писатель в данном случае обыгрывает текст статьи «Искусство и правый уклон», помещенной в газете «Вечерняя Москва» от 2 марта 1929 г. В ней говорилось: «Никто [из комсомольцев] не спорил по существу — о правом уклоне в художественной литературе... Следовало бы, пожалуй, говорить не только о правом, но и о левом уклоне в области художественной политики... О «левом» вывихе докладчик почему-то умолчал».

С. 69. — **Нет, не помилую... — В** первой редакции:

«— Бейте, граждане, арамея! — вдруг взвыл Иванушка и высоко поднял левой рукой четверговую свечечку, правой засветил неповинному... чудовищную плюху...

Вот тогда только на Иванушку догадались броситься... Воинственный Иванушка забился в руках.

— Антисемит! — истерически прокричал кто-то.

— Да что вы, — возразил другой, — разве не видите, в каком состоянии человек! Какой он антисемит! С ума сошел человек!

— В психиатрическую скорей звоните! — кричали всюду».

С. 76. **...и тем больше темной злобы на Пушкина и на судьбу рождалось в душе... — В** черновиках имеется и другой вариант главы, который публикуется ниже:

ДЕЛО БЫЛО В ГРИБОЕДОВЕ

В вечер той страшной субботы, 14 июня 1935 года, когда пылающее солнце упало за излучиной Москвы-реки, а кровь несчастного Антона Антоновича смешалась с постным маслом на мостовой, писательский ресторан «Шалаш Грибоедова» был полон.

Почему такое дикое название? Дело вот какого рода: когда количество писателей в Союзе, неуклонно возрастая из году в год, выразилось наконец в угрожающем численном знаке — 5011 человек, из коих 5003 проживали в Москве, один в Крыму, а семь в Ленинграде, соответствующее ведомство, озабоченное судьбой служителей муз, отвело им в Москве дом.

Сей дом помещался в глубине двора за садом и, по словам беллетриста Поплавкова, некогда не то принадлежал тетке Грибоедова, не то в этом доме проживала племянница автора знаменитой комедии.

Заранее предупреждаю, что ни здесь, ни впредь никакой ответственности за слова Поплавкова я на себя не беру. Талантливейший парнище, но жуткий

лгун. Кажется, ни малейшей тетки у Грибоедова не было, равно как и племянницы. Впрочем, желающие могут справиться. Во всяком случае, дом назывался Грибоедовским.

Заимев славный двухэтажный дом с колоннами, Всеобщее содружество писателей, объединившее все пять тысяч, прежде всего отремонтировало его, а затем разместилось в нем.

Весь верхний этаж отошел под кабинет правления Вседруписа, канцелярию, бухгалтерию и редакции журналов; зал, где якобы тетка, гордясь своим племянником, слушала черновые наброски монологов Чацкого (ах, сукин сын Поплавков), пошел под заседания и конференции, а в полуподвале открылся ресторан.

В вечер открытия его Поплавков глянул на расписанные бледными цветами сводчатые потолки и сказал:

— Симпатичнейший шалаш!

И с того самого момента и вплоть до сего дня, когда дом этот стал перед воспаленным взором моим в виде обуглившихся развалин, название — Шалаш Грибоедова — прилипло к белому зданию и в историю перейдет. В последнем вас могу заверить.

Так вот: упало солнце за Садовую, и истомленный и страшный город начала покрывать ночь со звездами. И никто, никто из нас не подозревал, что ждет нас!

Столики на асфальтовой веранде под тентом заполнились уже к восьми часам вечера. Город дышал тяжко, стены отдавали накопленный за день жар, трамваи на бульваре визжали омерзительно, электричество горело плохо, почему-то казалось, что наступает сочельник тревожного праздника, всякому человеку хотелось ледяного боржома. Но боржом был теплый, сомнительный. После него хотелось шницеля, шницель гнал к водке, водка к селедке, опять боржом лез из бутылки, шипел, в международный бы вагон, где блестящие медные скобки, открыть окно, чтоб задувало в него...

За столиками пошел говорок, и тихо звенели бокалы, когда до них дотрагивались вилкой. Сад молчал, и молчал гипсовый поэт Александр Иванович Житомирский — в позапрошлом году полетевший в Кисловодск на аэроплане и разбившийся под Ростовом. Ныне в гипсовом виде во весь рост поэт осужден был стоять под чахлыми деревьями, вечно с книгой в одной руке и шпагой в другой. За два года поэт покрылся зеленой слизью и от шпаги уцелела лишь рукоять.

Тем, кто явился позже, места на веранде под тентом не хватило, и им приходилось спускаться вниз в зимнее помещение и располагаться под сводами за скатертями, усеянными неприятного вида желтыми пятнами, под сенью абажуров.

Представляется невероятным, а тем не менее это так, что в течение целого часа с того момента, как голову председателя Вседруписа выбросило из-под трамвайного колеса, никто из пришедших в ресторан не знал о смерти, несмотря на то, что из всех телефонных станций Москвы во все телефоны текло слово Берлиоз, Берлиоз.

Очевидно, все, кто наполнял Шалаш, от восьми до девяти вечера были в пути, шли и ехали в трамваях, висели на ремнях, рвались в переполненные автобусы или, стуча и гремя, неслись в такси из Покровского-Стрешнева, из Сокольников в Шалаш.

В служебном кабинете самого покойного, в кабинете, помещавшемся как раз над рестораном, звонок на настольном телефоне уже с половины девятого работал непрерывно. Десятки людей звонили сюда, хотели что-то узнать, что-то сообщить, но кабинет был заперт на ключ, некому было ответить, сам хозяин кабинета был неизвестно где, но во всяком случае там, где не слышны телефонные звонки, и забытая лампа освещала исписанную номерами теле-

фонов промокашку с крупной надписью «Сонька дрянь». Молчал теткин верхний этаж.

В девять часов в ресторане ударил первый рояльный аккорд, и от него сердце тоскливо скатилось в живот.

Первым снялся из-за столика некто в коротких до колен штанах рижского материала лошадиного цвета, в клетчатых чулках, в очках, как извозчичьи колеса, с жирными черными волосами. Обхватив крепко тонкую женщину с потертым лицом, он пошел меж столами и завилял выкормленным шницелями и судаками по-польски задом. Пошел вторым известный беллетрист Копейко, рыжий, крупный мальчуган лет тридцати пяти, затем, уронив вилку, очень заросший, беззубый, с зеленым луком в бороде.

В громе и звоне он крикнул тоскливо: «Да не умею я!» — но прибавил: «Эх!» И прижал к себе девочку лет семнадцати, и стал топтать ее ножки в лакированных туфлях без каблуков.

Девочка страдала от запаха луку и спирту, отворачивала личико, скалила зубы, шла задом.

Лакеи высоко подняли блестящие блюда с крышками, заметались с искаженными давнишней застарелой злобой лицами, заворчали... «виноват, позвольте»... В трубу гулко кричал кто-то: «Пожарские р-раз!» Маленький, истощенный, бледный пианист бил ручонками по клавишам, играл виртуозно. Где-то подпели «Халлелуйа! Ах, халлелуйа, тебя...» Кто-то рассмеялся тоскливо, кто-то кому-то пообещал дать в рожу, но не дал. И наступил ад. И давно я понял, что в дымном подвале, сидя у лилового абажура, в первую из цепи страшных московских ночей я видел ад.

В нем родилось видение. В лета и дни, когда никто в столице уже не носил фрака, прошел меж столиков гордый человек во фраке и вышел на веранду. Был час десятый субботы, когда он сделал это. Он стал, гордо глядя на тихо гудевшую веранду, где не танцевали. Синие тени лежали у него под глазами, черная остроконечная борода была выхолена, сверкали запонки, сверкали кольца на пальцах, и вся веранда поклонилась ему, и многие приветствовали его, и многие улыбались ему. И гордо, и мудро он осмотрел владение свое.

Мне говорил Поплавков, что он пришел в Шалаш прямо из океана, где командовал пиратским бригом, ходившим у Багамских островов. Вероятно, неправду говорит Козобьев-Поплавков! Ах, давно, давно не ходят у Караибского моря разбойничьи бриги и не гонятся за ними с пушечным громом быстроходные английские корветы! Да и нет на свете никаких Багамских островов, нет солнца и волн, ничего нет. Нехорошо у меня на душе, нехорошо от поплавковского вранья!

В аду плясали. Пар, дым плыл под потолком. Плясал Прусевич, Куплиямов, Лучесов, Эндузизи, плясал самородок Евпл Бошкадиларский из Таганрога, плясал Карма, Каротояк, Крупилина-Краснопальцева, плясал нотариус, плясали одинокие женщины в платьях с хвостами, плясал один в косоворотке, плясал художник Рогуля с женой, бывший регент Пороков, плясали молодые люди без фамилий, не художники и не писатели, не нотариусы и не адвокаты, в хороших костюмах, чисто бритые, с очень страдальческими и беспокойными глазами, плясали женщины на потолке и пели — «Аллилуйя!» Плясала полная, лет шестидесяти, Секлетея Гиацинтовна Непременова, некогда богатейшая купеческая дочка, ныне драматургесса, подписывающая свои полные огня произведения псевдонимом «Жорж-Матрос».

И был час десятый.

И в этот час незримый ток прошел меж танцующими. В аду еще не поняли, не услышали, а на веранде уж вставали и слышалось: «Что? Что? Что? Как? Не может быть!!»

Тут голова пирата склонилась к пианисту, и тот услышал шепот:

— Прошу прекратить фокстрот!

Пианист вздрогнул, спросил изумленно:

— На каком основании, Арчибальд Арчибальдович?

Тогда сказал пират:

— Председатель Вседруписа Антон Антонович Берлиоз сейчас убит трамваем на Патриарших прудах.

И мгновенно музыка прекратилась. И тут застыл весь Шалаш.

Не обошлось, конечно, и без чепухи, без которой, как известно, ни одно событие не обходится. Так, кто-то сгоряча предложил почтить память покойного вставанием. Во-первых, все и так стояли, кой-кто и не расслышал, кто-то в изумлении стал подниматься, кто-то наоборот, увидел перед собой застывающую в сале свиную отбивную котлету. Словом — нехорошо.

Поэт же Рюхин и вовсе нагробил. Бог его знает чем обуреваемый, он вдруг неприятным высоким баритоном из-за острова на стрежень предложил спеть «Вечную память». Его, впрочем, уняли тотчас же. И справедливо. Вечная память благое дело, но, согласитесь, не в Шалаше же ее исполнять!

Кто-то предложил тотчас послать какую-то коллективную телеграмму: «Тут же, сейчас же, товарищи, составить...», — кто-то посоветовал ехать в морг, двое зачем-то побежали из ресторана в верхний этаж открывать кабинет Берлиоза. Все это, конечно, было ни к чему. Кому телеграмму? О чем? Зачем? Что? К чему какая-то телеграмма, когда человек лежит обнаженный на цинковом столе, а его голова, ступня левая и кисть правая отдельно лежат на другом столе.

И тут прибыл Ухобьев. И сейчас же соблазнительная версия о самоубийстве расплылась по ресторану. Первое: несчастная любовь к акушерке Кандалаки (Ухобьев — это чума, а не человек!). Второе (коллективное творчество Куплиянова и Жорж-Матроса): покойник впал в правый уклон. Прямо и точно сообщаю, что все это вранье. Не только никакой акушерки Кандалаки Берлиоз не любил, но и вовсе никакой акушерки Кандалаки в Москве нет и не было, а есть Кондалини, ни-ни, женщина-статистик в Югсевкино, а муж у нее, верно, акушер.

Насчет правого уклона и вовсе ерунда. Если бы уж и впал Антон, то ни в коем случае не в правый уклон, а, скорее, в левый загиб. Но мне-то уж лучше известно, чем Ухобьеву, — никуда он решительно не впадал!

Пока на веранде и в аду гудела толпа, перебрасываясь словами: «Берлиоз», «Кондалини», «морг», «уклон»... — произошло то, чего еще никогда не происходило. Именно: синекафтанные извозчики, как шакалы ожидающие разъезда из Шалаша у чугунной решетки, вдруг полезли на нее. Кто-то из них крикнул: «Тю!», кто-то свистнул.

Затем показался маленький тепленький огонечек, а с огоньком от решетки отделилось белое привидение.

Оно последовало быстро по асфальтовой дороге мимо сада, затем мимо веранды, прямо за угол к зимнему входу в Шалаш, не вызвав никакого изумления. Из-за плюща плохо разглядели — думали, что прошел официант. Однако через две минуты в Шалаше наступило молчание, затем это молчание перешло в возбужденный говор, а затем привидение, минуя стойку, где разливают водку по графинчикам, вышло из ада на веранду. И вся веранда умолкла с открытыми ртами.

Привидение оказалось не привидением, а знаменитым, известным всему СССР поэтом Иваном Покинутым, и Иван имел в руке зажженную церковную свечу зеленого воску. Буйные и похожие на войлок волосы Иванушки не были прикрыты никаким убором, под левым глазом вспух гигантский синяк, а правая щека была расцарапана.

На Иванушке была надета ночная грязная рубашка, кальсоны с тесемками, а на коже груди была приколота бумажная иконка, изображающая Иисуса, и кровь запеклась на уколах.

Молчание на веранде продолжалось весьма долго, и во время его изнутри Шалаша на веранду валил народ и лакеи.

Иванушка огляделся тоскливо, поклонился низко и сказал:

— Здорово, православные.

Молчание вследствие такого приветствия усилилось.

Затем Иванушка наклонился под стол, на котором стояла вазочка с зернистой икрой и торчащими из нее зелеными листьями, посветил под скатерть, вздохнул.

— Нет его, нет и здесь! — сказал он.

Бас бесчеловечный и паскудный сказал:

— Готово дело. Делириум тременс.

А добрый тенор встревожился:

— Не понимаю, как милиция в таком виде его по улицам пропустила?

Иван пугливо передернул плечами и отозвался:

— А я переулочками, переулочками!.. Из Безбожного в Банный, из Банного в Барабанный, из Барабанного в Бальный (?), по Верхней Болвановке в Грачевские земли, в Астрадамский тупик! Мильтоны вздумали было ловить, но я их закрестил и скрылся через забор.

И тут все увидели, что были у Иванушки еще недавно приличные зеленые глаза, а стали молочные.

— Друзья! — вскричал Иван, и голос его стал горяч и звучен. — Друзья, слушайте! Он появился!

И Иванушка значительно поднял свечу и указал в тьму июньской ночи.

— Он появился, люди московские! Ловите его немедленно, иначе погибнет Москва!

— Кто появился? — страдальчески отозвался женский голос.

— Инженер! — хрипло крикнул Иван. — И этот инженер убил сегодня Антошу Берлиоза на Патриарших прудах!

Толпа тут двинулась, и вокруг Ивана замкнулось кольцо, и видно было, как в дверях официант льет пиво себе на фартух.

— Виноват. Пардон. Скажите точнее. Как? — и тут у самого уха Ивана появилось внимательное бритое лицо.

— Неизвестный консультант, — заговорил Иван, травленно озираясь в кольце, — сегодня, на закате, в шесть часов пятьдесят [минут] явился на Патриаршие пруды и первого ухлопал Антошу Берлиоза.

— Пардон. Как его фамилия? Виноват, — и над вторым ухом Ивана выявилось второе лицо с очень беспокойными глазами.

Задние теперь уже напирали на передних и лезли к ним на плечи.

— То-то фамилия! — тоскливо заговорил Иван. — Ах, я! Не разглядел я на визитной карточке его фамилию!

— Товарищ Покинутый, — вежливо сказали над ухом, — не зайти ли нам в кабинет?..

Но Иван отстранил кого-то и продолжал:

— На букву Ве фамилия. На букву Ве! Граждане, помогите вспомнить фамилию, а то будет беда! Красной столице угрожает опасность! Во... Ву... Влу... — забормотал Иван, и волосы от напряжения стали ездить у него на голове.

— Вульф? — крикнул женский голос.

— Почему Вульф? — с необыкновенным раздражением ответил Иван. — Почему Вульф, дура? И какой Вульф может проделать то, что этот проделал?! Граждане! Не могу вспомнить! — отчаянно закричал Иван, и глаза его наполнились кровью. — Граждане! Вот чего: я сейчас кинусь дальше искать, а вы спосылайте кого-нибудь на лихаче в Кремль в верхний коммутатор, скажите, чтоб тотчас сажали бы стрельцов с пулеметами на мотоциклетки и — в раз-

ных направлениях инженера ловить! Приметы его: зубы платиновые, воротнички белые крахмальные, ужасного роста. Ресторан объявляю закрытым на три дня!

Тут Иван стал размахивать огнем, продираясь сквозь окружение. Тут загудели кругом и послышалось слово «доктора»...

И приятное лицо, мясистое, в очках в фальшивой оправе, участливо появилось у Иванушкина лица.

— Товарищ Покинутый, — заговорило лицо юбилейным голосом, — вы расстроены смертью всеми нами любимого и уважаемого Антона... нет, я выражусь так — Антоши Берлиоза. И мы это отлично понимаем. Возьмите покой. Сейчас кто-нибудь из товарищей проводит вас домой, в постельку.

— Ты, — заговорил Иван и стукнул зубами, — ты понимаешь, что Берлиоза у-би-ли? И-ди-от.

— Товарищ Покинутый, помилуйте, — слабо сказало лицо, меняясь в лице...

С. 76. **...счастливо вскричала Маргарита...** — Эта черновая запись свидетельствует о многом. Прежде всего она ясно указывает на то, что имя главной героини романа было определено писателем на самой ранней стадии его написания. Косвенно эта запись подтверждает также высказывания Л.Е.Белозерской и С.А.Ермолинского о том, что Булгаков читал им в 1929 г. законченный роман в машинописном виде. Наконец, весьма к месту будет сказано и о том, что основные идеи романа, отчетливо проявившиеся в последних его редакциях, вызрели у писателя также в 20-е гг. В связи с именем героини и с некоторыми сюжетными линиями романа следует упомянуть одну любопытную переводную книжонку, появившуюся в Москве в 1927 г.: Пьер Мак Орлан. Ночная Маргарита (Библиотека «Огонек». № 282). Главные ее герои — Георг Фауст, восьмидесятилетний профессор, продавший душу лукавому и вследствие этого превратившийся в обаятельного молодца, и рыжая красавица Маргарита, ночная обитательница злачных мест. Полюбив Фауста, Маргарита решила освободить его от дьявольских пут, добровольно согласившись исполнять все условия договора, заключенного между Фаустом и лукавым. При этом она надеялась таким же образом переуступить свои обязанности по договору кому-то другому, отягощенному старостью. Но тщетно: продать свою душу за молодость (временную, конечно!) никто не желал. На глазах великолепного Фауста Маргарита стала превращаться в ужасную старуху... Многие эпизоды этой повести вспоминаются при прочтении булгаковского романа. К сожалению, исследователи-булгаковеды прошли мимо этого важнейшего литературного источника, в значительной степени определившего структуру «закатного романа».

Великий канцлер

Полная рукописная редакция

Значение рукописи под названием «Великий канцлер» состоит прежде всего в том, что это, по существу, первая, наиболее полно сохранившаяся черновая рукописная редакция романа. Правда, в ней отсутствуют «древние главы» (существеннейший недостаток!): видимо, Булгаков считал их в основе своей проработанными. Хотя некоторые главы носят «тезисный» характер, по со-

держанию они более откровенны и остры, нежели их последующие редакции. Важно также отметить, что Воланд творит расправы в «красном Ершалаиме» по согласованию с высшими силами света (или по указанию): у Булгакова их расстановка строго регламентирована — «силы тьмы» жестко подчинены «силам света». Однако герои романа (земные) уже утратили всякие надежды на справедливость в этом мире и обратили свои взоры в сторону Воланда (именно с ним они связывают свои надежды обрести покой в ином мире). В пору написания этой редакции Булгаков определяет свое положение в стране как «узника». Настроение писателя отразилось в романе вполне определенно: мастер обретает «защитника» в лице Воланда. Тем самым прочерчивается линия к полному отчаянию героя романа и его автору.

С. 81. **Никогда не разговаривайте с неизвестными.** — Это более позднее название главы, сначала она имела другое название — «Первые жертвы». Перемена в названии, видимо, связана с нежеланием автора «с порога» раскрывать основную идею романа.

Интересные сведения о выборе **Патриарших прудов** как начального места действия в романе находим в воспоминаниях Е.С.Булгаковой. В феврале 1961 г. она писала своему брату: «На днях будет еще один 32-летний юбилей — день моего знакомства с Мишей. Это было на масленой, у одних общих знакомых... Словом, мы встречались каждый день, и наконец я взмолилась и сказала, что никуда не пойду, хочу выспаться, и чтобы Миша не звонил мне сегодня. И легла рано, чуть ли не в девять часов. Ночью (было около трех, как оказалось потом) Оленька, которая всего этого не одобряла, конечно, разбудила меня: иди, тебя твой Булгаков зовет к телефону... Я подошла. «Оденьтесь и выйдите на крыльцо», — загадочно сказал Миша и, не объясняя ничего, только повторял эти слова... Под Оленькино ворчанье я оделась... и вышла на крылечко, луна светит страшно ярко, Миша белый в ее свете стоит у крыльца. Взял под руку и на все мои вопросы и смех — прикладывает палец ко рту и молчит как пень. Ведет через улицу, приводит на Патриаршие пруды, доводит до одного дерева и говорит, показывая на скамейку: здесь они увидели его в первый раз. — И опять — палец у рта, опять молчание...»

...Михаил Александрович Берлиоз... — В настоящей и в других редакциях этот герой романа именуется также Мирцевым, Крицким, Цыганским... Михаилом Яковлевичем, Антоном Антоновичем, Антоном Мироновичем, Владимиром Антоновичем, Владимиром Мироновичем, Марком Антоновичем, Борисом Петровичем, Григорием Александровичем... При доработке последней редакции Булгаков даже пытался именовать этого героя... Чайковским... Но все-таки самое первое наименование героя — Берлиоз — оказалось и самым прочным: в последние месяцы жизни писатель вернулся к нему вновь. Безусловно, не случайно совпадение фамилии героя романа с фамилией композитора Гектора Берлиоза. Последний прославился своей «Фантастической симфонией», в которой тема адского шабаша раскрыта с исключительной выразительностью.

Высказывается множество предположений относительно прототипа этого героя. Следует заметить, что таковых много, ибо в те времена «богоборцы» в сфере культуры доминировали. Можно назвать лишь наиболее «выдающихся» представителей из этой когорты, которые были помечены Булгаковым в его «списке врагов». Это Л.Л.Авербах и М.Е.Кольцов.

Зловещий образ Берлиоза незначительно изменялся в процессе работы над романом.

...Всемиописа... — Писательское объединение именуется в романе и всемирным, и всесоюзным, и московским... Сокращения его также разнообразны: Всемиопис, Вседрупис, Миолит, Массолит...

...Иван Николаевич Попов... под псевдонимом Бездомный. — Он же — Безродный, Беспризорный, Покинутый, Понырев, Тешкин... Собирательный образ, хотя в первых редакциях романа явно просматриваются черты Демьяна Бедного (Кузякина Н.Б. Михаил Булгаков и Демьян Бедный // М.А.Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 392—410). В архиве писателя сохранилась папка с «сочинениями» Д.Бедного (вырезки из газет со стихотворными пасквилями).

Цыганские Грузины — район Большой и Малой Грузинских улиц.

С. 82. ...большую антирелигиозную поэму... — Антирелигиозная пропаганда, которая велась средствами массовой информации в 20-е гг., вызывала у Булгакова чувство негодования и брезгливости к ее инициаторам и исполнителям. Можно себе представить, какое чувство вызвало у Булгакова появление в печати весной 1925 г. («Правда», апрель—май) «Нового завета без изъяна евангелиста Демьяна». См. об этом подробно во вступ. статье.

С. 86. ...мания фурибунда. — Неистовая, яростная мания *(лат.).*

С. 88. ...у Понтия Пилата... — Пятый римский прокуратор, управлявший Иудеей с 26 по 36 г. н.э. По Евангелиям и апокрифам, был вынужден против своей воли дать согласие на казнь Иисуса Христа. В коптских и эфиопских святцах 25 июня значится как день св. Понтия Пилата.

С. 90. Погоня. — В первой разметке глав иное название: «Иванушка гонится за Воландом».

С. 92. ...к Ермолаевскому переулку. — Ермолаевский переулок в 1961 г. был переименован в улицу Жолтовского.

С. 93. ...в Савеловском переулке. — С 1922 г. переулок стал называться Савельевским.

С. 94. Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть. — Один из самых близких друзей Булгакова Н.НЛямин, филолог, жил в Савеловском переулке в доме № 12, в большой коммунальной квартире. Эту квартиру Булгаков прекрасно знал, поскольку здесь он читал друзьям почти все свои произведения: «Белую гвардию», «Зойкину квартиру», «Багровый остров», «Кабалу святош». К Лямину Булгаков многие годы ходил играть в шахматы.

Боря — вероятно, Борис Валентинович Шапошников (1890—1956), художник; он познакомился с Булгаковым у Лямина в 1925 г. и с тех пор дружил с писателем многие годы.

С. 96. ...в так называемом доме Грибоедова... — Имеется в виду Дом Герцена (Тверской бул., д. 25). До 1933 г. в нем размещались Всероссийский Союз писателей и различные литературные организации, затем — Литературный институт им. А.М.Горького.

Народ этот отличался необыкновенной разношерстностью. — Видимо, Булгакову доставляло удовольствие поиздеваться над писательским цехом. В черновых тетрадях писателя сохранился небольшой отрывок на эту тему из главы, которая была уничтожена:

«— Дант?! Да что же это такое, товарищи дорогие?! Кто? Дант! Ка-ккая Дант! Товарищи! Безобразие! Мы не допустим!

Взревело так страшно, что председатель изменился в лице. Жалобно тенькнул колокольчик, но ничего не помог.

В проход к эстраде прорвалась женщина. Волосы ее стояли дыбом, изо рта торчали золотые зубы. Она то заламывала костлявые руки, то била себя в изможденную грудь. Она была страшна и прекрасна. Она была та самая женщина, после появления которой и первых исступленных воплей толпа бросается на дворцы и зажигает их, сшибает трамвайные вагоны, раздирает мостовую и выпускает тучу камней, убивая...

Председатель, впрочем, был человек образованный и понял, что случилась беда.

— Я! — закричала женщина, страшно раздирая рот. — Я — Караулина, детская писательница! Я! Я! Я! Мать троих детей! Мать! Я! Написала, — пена хлынула у нее изо рта, — тридцать детских пьес! Я! Написала пять колхозных романов! Я шестнадцать лет не покладая рук... Окна выходят в сортир, товарищи, и сумасшедший с топором гоняется за мной по квартире. И я! Я! Не попала в список! Товарищи!

Председатель даже не звонил. Он стоял, а правление лежало, откинувшись на спинки стула.

— Я! И кто же? Кто? Дант. Учившаяся на зубоврачебных курсах. Дант, танцующая фокстрот, попадает в список одной из первых. Товарищи! — закричала она тоскливо и глухо, возведя глаза к потолку, обращаясь, очевидно, к тем, кто уже покинул волчий мир скорби и забот. — Где же справедливость?!

И тут такое случилось, чего не бывало ни на одном собрании никогда. Товарищ Караулина, детская писательница, закусив кисть правой руки, на коей сверкало обручальное кольцо, завалилась набок и покатилась по полу в проходе, как бревно, сброшенное с платформы. Зал замер, но затем чей-то голос грозно рявкнул:

— Вон из списка!

— Вон! Вон! — загремел зал так страшно, что у председателя застыла в жилах кровь.

— Вон! В Гепеу этот список! — взмыл тенор.

— В Эркаи!

Караулину подняли и бросили на стул, где она стала трястись и всхрипывать. Кто-то полез на эстраду, причем все правление шарахнулось, но выяснилось, что он лез не драться, а за графином. И он же облил Караулиной кофточку, пытаясь ее напоить.

— Стоп, товарищи! — прокричал кто-то властно, и бушующая масса стихла.

— Организованно, — продолжал голос.

Голос принадлежал плечистому парню, вставшему в седьмом ряду. Лицо выдавало в нем заводилу, типичного бузотера, муристого парня. Кроме того, на лице этом было написано, что в списке этого лица нет.

— Товарищ председатель, — играя змеиными переливами, заговорил бузотер, — не откажите информировать собрание: к какой писательской организации принадлежит гражданка Беатриче Григорьевна Дант? Р-раз. Какие произведения написала упомянутая Дант? Два. Где означенные произведения напечатаны? Три. И каким образом она попала в список?

«Говорил я Перштейну, что этому сукиному сыну надо дать комнату», — тоскливо подумал председатель. Вслух же спросил бодро:

— Все? — и неизвестно зачем позвонил в колокольчик.

— Товарищ Беатриче Григорьевна Дант, — продолжал он, — долгое время работала в качестве машинистки и помощника секретаря в кабинете имени Грибоедова.

Зал ответил на это сатанинским хохотом.

— Товарищи! — продолжал председатель. — Будьте же сознательны! — Он завел угасающие глаза на членов правления и убедился, что те его предали.

— Покажите хоть эту Дант! — рявкнул некто. — Дайте полюбоваться!

— Вот она, — глухо сказал председатель и ткнул пальцем в воздух.

И тут многие встали и увидели в первом ряду необыкновенной красоты женщину. Змеиные косы были уложены корзинкой на царственной голове. Профиль у нее был античный, так же как и фас. Цвет кожи был смертельно бледный. Глаза были открыты, как черные цветы. Платье — кисейное желтое. Руки ее дрожали.

— Товарищ Дант, товарищи, — говорил председатель, — входит в одно из прямых колен известного писателя Данте, — и тут же подумал: «Господи, что же это я отмочил такое?!»

Вой, грохот потряс зал. Что-нибудь разобрать было трудно, кроме того, что Данте не Григорий, какие-то мерзости про колено и один вопль:

— Издевательство!

И крик:

— В Италию!!

— Товарищи! — закричал председатель, когда волна откатилась. — Товарищ Дант работает над биографией мадам Севинье.

— Вон!

— Товарищи! — кричал председатель безумно. — Будьте благоразумны. Она — беременна!

И почувствовал, что и сам утонул, и Беатриче утопил.

Но тут произошло облегчение. Аргумент был так нелеп, так странен, что на несколько мгновений зал закоченел с открытыми ртами. Но только на мгновения.

А затем — вой звериный:

— В родильный дом!

Тогда председатель понял, что не миновать открыть козырную карту.

— Товарищи! — вскричал он. — Товарищ Дант получила солидную авторитетную рекомендацию.

— Вот как! — прокричал кто-то...»

С. 97. **И часы эти показали...** — В этом месте вырван лист.

С. 98. **Писательский ресторан...** — О писательском ресторане написано много злых слов (достаточно вспомнить стихотворение В.В.Маяковского «Дом Герцена»). Печальная его слава в те годы докатилась и до зарубежья. Вот что писала, например, рижская газета «Сегодня» 2 апреля 1928 г., пересказывая материалы нашей прессы:

«Подвал дома Герцена напоминает кафе в Париже. Стены и занавески размалеваны угловатыми павлинами и попугаями... Высохшая фигура неизвестной поэтессы, бессмысленные глаза, несомненное знакомство с наркотиками, жирный затылок, невероятные шевелюры, вчера выкупленный из таможни английский костюм и рядом засаленная толстовка.

Великолепен метрдотель Яков Данилович, и его борода приводит многих в дикий восторг!

Здесь много молодежи, молодежь шумно разговаривает, шумно и много пьет...

Кто-то уже судорожно трясется над клавишами рояля. Чарльстон. Ножами по тарелкам бьют в такт танцующим, начинается вой выкриков, свист и... модное:

Алли-луйя-а-а!

Между столиками на руках с акробатической ловкостью ходит поэт Иван П. Ему бурно аплодируют.

У ограды дома извозчики подхватывают пары, стадо разъезжается...»

...кто-то спел «Аллилуйя»... — Фокстрот «Аллилуйя!» был написан американским композитором Винсентом Юмансом (русский текст П.Германа), что, в сущности, является кощунством. Не случайно эта музыка звучит на «великом бале у сатаны».

С. 99. **Степа Лиходеев.** — Вариант названия главы: «Степа».

С. 100. **Степа Бомбеев был красным директором...** — В последующих редакциях слово «красный» было Булгаковым изъято, фамилия Бомбеев изменена на Лиходеева.

С. 103. — **Доктор Волаид...** — Исследователи-булгаковеды полагают, что имя Воланд взято Булгаковым из «Вальпургиевой ночи» Гёте (из возгласа Ме-

фистофеля: «Junker Voland commt»). Но у Булгакова Воланд не «слуга великого Люцифера», каковым является Мефистофель, но сам Люцифер, занимающий самую высокую ступень в иерархии сил ада. Некоторые исследователи считают, что образ Воланда закодирован Булгаковым дважды: первый раз — «еврейско-сатанинским» кодом, второй раз — западноевропейским, «фаустовским», носящим откровенно маскировочный характер (Золотоносов М. Сатана в нестерпимом блеске... // Литературное обозрение. **1991.** № 5. С. 107).

...специалист по белой магии... — В следующей рукописной редакции: «— Профессор черной магии Фаланд, — представился он...»

С. 107. — **Это — город Владикавказ.** — Во Владикавказе Степа оказался не случайно. В жизни Булгакова этот город сыграл особую роль: здесь он оказался после разгрома белогвардейских частей на Кубани и Северном Кавказе, здесь он провалялся несколько месяцев в тяжелом тифу, здесь началась его литературная и театральная деятельность. И позже, живя в Москве, Булгаков навещал этот город: слишком многое с ним было связано. И тем более не случайно название горы — Столовая. «Столовая гора» — так назывался роман Юрия Слезкина (1922, другое название — «Девушка с гор»). Булгаков познакомился с Ю.Л.Слезкиным, к тому времени уже довольно известным писателем, в 1920 г. во Владикавказе, еще при белых. Затем, при советской власти, они сотрудничали в подотделе искусств. В романе «Столовая гора» Слезкин не только отразил владикавказские события, но и вывел Булгакова в образе писателя Алексея Васильевича.

Волшебные деньги. — Вариант названия главы: «Арест Босого».

С. 108. **...скажем... Коровьев.** — О происхождении имени этого героя написано очень много, но к единому мнению исследователи так и не пришли. Заслуживает внимания точка зрения Н.Б.Кузякиной. Она пишет: «Должно быть, номера «Безбожника» за 1925 год неоднократно шокировали Булгакова. Первый номер назывался «Безбожник. Коровий». И редакция объясняла: «Журнал наш — журнал крестьянский. Прежде всего хотим, чтоб был он для крестьян полезен и интересен... Поэтому и пишем мы в этом номере «Безбожника» и о коровьем здоровье, и о том, как знахари и попы людей морочат и скот губят...» И вполне можно предположить, что потрясение Булгакова «коровьим» «Безбожником» отразилось впоследствии в фамилии Фагот-Коровьев». (Кузякина Н.Б. Михаил Булгаков и Демьян Бедный // М.А.Булгаков-драматург и художественная культура его времени. С. 406).

Фагот — помимо названия музыкального инструмента означает также на французском языке «нелепость», а на итальянском — «неуклюжий человек». Булгаков его еще называет гаером, шутом и т.д.

Некоторые исследователи предполагают, что в образе Коровьева-Фагота мог быть запечатлен и Данте Алигьери, который в начале 34-й песни «Ада» (первый стих) использовал текст католического «Гимна кресту» («Vexilla regis prodeunt», то есть «Близятся знамена владыки»), но добавил к нему одно слово — inferni (ада), и в результате этой «шутки» получилось искажение церковного гимна. Булгаков, прекрасно знавший творчество Данте, не мог не заметить, как он «пошутил», а также реакцию на это богословов (Маргулов А. Товарищ Дант и бывший регент // Литературное обозрение. 1991. № 5. С. 70-74).

С. 111. — **Идем завтракать, Азазелло...** — Азазел — у древних евреев дух пустыни. В Талмуде Азазел — падший ангел, у некоторых христианских сект — имя сатаны, у мусульман — злого духа. В некоторых ранних редакциях Булгаков этим именем называл Воланда, а затем дал это имя другому персонажу — Фиелло. В рабочей тетради писателя записано: «Азазел — демон безводных мест».

...Прокопа Ивановича. — Он же Никанор Иванович, Никифор Иванович Босой.

С. 119. **...семья Рибби...** — В последующих редакциях семья Джулли. Возможно, прототипом послужила семья циркачей-велофигуристов Подрезковых, выступавших под псевдонимом Польди.

С. 121. **Это был конферансье Мелузи.** — Он же Мелунчи, Чембукчи, Жорж Бенгальский.

...знаменитый немецкий маг Во ланд. — В рукописной редакции под названием «Князь тьмы»: «...знаменитый иностранный маг герр Фаланд».

С. 122. **— Скажи мне, рыцарь...** — В более поздних редакциях Воланд обращается к своему ассистенту — «любезный Фагот».

С. 126. — **Милосердие еще не вовсе вытравлено из их сердец... — В** последующих редакциях Булгаков несколько смягчает «резюме» Воланда о «московском народонаселении». Приведем варианты этой реплики Воланда.

«— Ну что же, все в порядке, — тихо проговорил замаскированный, — узнаю их! И алчны, и легкомысленны, но милосердие все-таки стучится в их сердце...»

«— Ну что ж, — задумчиво и тихо отозвался тот, — я считаю твои опыты интересными. По-моему, они люди как люди. Любят деньги, что всегда, впрочем, отличало человечество...»

С. 127. — **Будьте покойны...** — Далее текст уничтожен.

С. 128. ...был **ли бы** он... — Далее текст уничтожен.

Поцелуй Внучаты. — В последующих редакциях: «Бойтесь возвращающихся», «Слава петуху!». Внучата — он же Варенуха.

С. 130. —- **Пришлю к тебе гонца, — сказала дальняя женщина, — берегись, Римский, чтобы он не поцеловал тебя! — В** другом варианте этой же редакции:

«Голос женский хриплый развратный и веселый ответил директору:

— С каким наслаждением, о Римский, я поцеловала бы тебя в твои тонкие и бледные уста! Пусть мой гонец передаст тебе этот поцелуй!»

В следующей редакции:

«Тихий и в одно время и вкрадчивый и развратный женский голос шепнул в трубке:

— Не звони, Римский, худо будет».

С. 133. **...Внучата приобрел мерзкую манеру как-то не то причмокивать, не то присвистывать губами.** — Булгаков прекрасно знал творчество А.К.Толстого и, конечно, его знаменитый рассказ «Упырь» (СПб., 1894). Вот некоторые выдержки из него:

«Но вы спрашиваете, каким образом узнавать упырей? Заметьте только, как они, встречаясь друг с другом, щелкают языком. Это по-настоящему не щелканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узнают и приветствуют» (с. 4). «Семен Семенович Теляев ничего не говорил, а только... щелкал губами и сосал попеременно» (с. 34). Кстати, именитого упыря С.С.Теляева (не созвучен ли он Коровьеву?) величают также рыцарем Амвросием (с. 84). «Прасковья Андреевна обхватила его холодными костлявыми руками, и он упал на подушки, лишенный чувств» (с. 86). «В то же время заметил на шее у Даши маленький шрам, — как будто от недавно зажившей ранки» (с. 107). Сочинения А.К.Толстого Булгаков использовал и при работе над другими своими произведениями, в частности в пьесе «Бег».

С. 134. **...и внезапными вспышками буйства...** — Начало главы (несколько листов) уничтожено автором.

С. 135. **...специально возили в Барскую рощу показывать им все эти чудеса.** — Исследователи предполагают, что Булгаков описывает больницу же-

лезнодорожников в Покровском-Стрешневе. В уничтоженном автором черновике романа (глава «Доказательство инженера») сохранилась часть фразы о лечебнице, в которую попал Иванушка: «...психиатрическая лечебница имени товарища Семашко».

С. 160. **Отец Аркадий вдруг привычным профессиональным жестом поправил длинные волосы...** — Далее текст уничтожен.

Лишь только в Москве растаял и исчез снег... — Булгаков многократно переписывал эту главу. В одном из вариантов данной редакции она начиналась так: «В Москве не бывает весны. Человек, который занят чем-нибудь всю зиму, так и не заметит, что весна пришла. Разве что потянет иногда гниловатым воздухом в форточку».

С. 161. **...бросились бы в особняк на ..... и поселились, и сочли бы себя счастливейшими в мире.** — Булгаков не указал в данном случае место расположения особняка, оставив пробел. Но последующий текст он (если, конечно, это сделал сам Булгаков!) уничтожил. В тетради вырезано восемнадцать (!) страниц текста. В результате читатели, очевидно, никогда не узнают историю любви мастера и Маргариты и те сложности, которые пришлось им преодолеть. Характерно, что в последующих редакциях Булгаков не возвращался к этому вопросу и лишь незадолго перед смертью продиктовал Елене Сергеевне не очень большой текст, начинающийся словами:

«Прежде всего откроем тайну, которой мастер не пожелал открыть Иванушке...»

С. 169. **...Маргарита покинула Арбат и повернула в Плотников переулок. Здесь... — В** этом месте вырвано пять листов (десять страниц) с текстом. Очевидно, это было сделано Булгаковым по причине слишком откровенных и активных действий Маргариты по отношению к врагам своего возлюбленного. Но и в следующей рукописной редакции полет Маргариты над Арбатом описан весьма откровенно, с прозрачными намеками на преследователей мастера. Поэтому при подготовке окончательного варианта текста автор внес в него существенные изменения, сгладив многие острые углы.

С. 172. **Отвратительный климат в вашем городе...** — Булгаков и в этом эпизоде остается верен себе, обыгрывая одну из частых тем бесед в семье и в кругу друзей. Это — московский климат. За многие годы пребывания в Москве он так и не смог привыкнуть к нему. Осень и зима 1933 г. были особенно неприятными, к тому же Булгаков часто болел. Приведем несколько записей из дневника Елены Сергеевны за то время, когда Булгаков работал над главой «Шабаш». 9 ноября: «Холодно... Вьюга». 17 ноября: «Мороз. С трудом уговорили шофера подвезти...» 4 декабря: «У Миши внезапная боль в груди...» 7 декабря: «Вечером у нас доктор... Нашел у М.А сильнейшее переутомление». 12 декабря: «Днем попытались с Мишей выйти на лыжах. Прошли поперек пруда у Ново-Девичьего и вернулись — дикий ледяной ветер». 15 декабря: «Большой мороз. Но пошла проводила М.А. в Театр...» А в письме В.В.Вересаеву 6 марта 1934 г. Булгаков жаловался: «Господи! Хоть бы скорее весна. О, какая длинная, утомительная была эта зима... Устал, устал я».

С. 173. — **Это великая честь для меня...** — В этом месте вырван лист с очень важным текстом, поскольку после беседы Маргариты с Воландом начинался суд над покойниками. Но как Иванушка ослеп и перешел в иной мир — мы не знаем. И был ли Иванушка первым у Воланда — тоже неизвестно. Но совершенно ясно: Булгаков вырывал и уничтожал наиболее острые места в тексте. Елена Сергеевна фиксировала иногда в дневнике факты уничтожения Булгаковым частей рукописи. Так, 12 декабря 1933 г. она записала: «Утром звонок Оли (Бокшанской. — *В.Л.)*: арестованы Николай Эрдман и Масс. Говорят, что за какие-то сатирические басни. Миша нахмурился... Ночью М.А. сжег часть своего романа».

...на тысячу первый раз... я открою тебе глаза. — В этом эпизоде Булгаков подтверждает одну из своих главных мыслей: слепота вследствие невежества не может служить оправданием неправедным поступкам. Лишенный истинного знания в детстве и в юношестве, ослепленный берлиозами, Иван тем не менее подвергается суровому наказанию.

...на блюде оказалась мертвая голова с косым шрамом... **в запекшейся крови на шее...** — Далее несколько листов вырвано — вновь, видимо, с чрезвычайно острым содержанием.

...а курьершу все-таки грызть не следовало... — Возможно, был еще один вариант данной главы, где Внучата проявил свои гнусные наклонности.

...в городе имеется один человек, который... стремится стать покойником вне очереди... Некий... фон-Майзен. — Если предположить (а для этого есть все основания), что прототипом фон-Майзена является бывший барон Б.С.Штейгер, то выясняется любопытная ситуация: Булгаков 30 декабря 1933 г. предугадал судьбу бывшего барона, «зарезав» его на одной из страниц своего романа. Б.С.Штейгер состоял в те годы на службе в коллегии Наркомпроса РСФСР по внешним связям и подчинялся непосредственно небезызвестному деятелю — Авелю Сафроновичу Енукидзе, члену этой коллегии. Бывший барон, выходец из Швейцарии, прекрасно знал иностранные языки и принимал участие в обслуживании дипломатического корпуса и иностранных гостей. Булгаков же его именовал в романе «служащим коллегии по ознакомлению иностранцев с достопримечательностями столицы».

Вероятно, Булгаков был хорошо осведомлен о «деликатной» деятельности барона, поскольку достаточно часто соприкасался с А.С.Енукидзе, возглавлявшим комиссию по руководству Художественным и Большим театрами и решавшим многие театральные дела, в том числе касавшиеся самого Булгакова (разрешение или запрещение его пьес, рассмотрение заявлений писателя на выезд за границу и т.д.). Во всяком случае, едва ли писатель стал бы в романе выносить смертный приговор человеку, которого плохо знал.

«Казнив» барона в романе, Булгаков затем часто встречался с ним на приемах в американском посольстве, в ресторанах и других местах. Это видно и из записей в дневнике Е.С.Булгаковой. 23 апреля 1935 г.: «С нами в машину сел (при отъезде из американского посольства. — *В.Л.)* незнакомый нам, но известный всей Москве и всегда бывший среди иностранцев — кажется, Штейгер. Он — с шофером, мы — сзади». 3 мая: «У Уайли (сотрудница американского посольства. — *В.Л.)* было человек тридцать, среди них турецкий посол, какой-то французский писатель... и, конечно, Штейгер». Запись того же дня: «Вчера днем заходил Жуховицкий (журналист, тоже занимавшийся «обслуживанием» иностранцев. — *В.Л.)*... Очень плохо отзывался о Штейгере, сказал, что ни за что не хотел бы с ним встретиться у нас». 18 октября: «Позвонили из американского посольства, зовут на... прием у Буллита... Пришли... Посол необыкновенно приветлив. Мы поздоровались. Миша отошел к роялю. Буллит подошел к нему и очень долго с ним разговаривал... К ним подходил Афиногенов. Только двое и было русских. Впрочем, еще Штейгер. Тот проявлял величайшее беспокойство, но околачивался вдали...» 7 января 1936 г.: «После театра... поехали в шашлычную... Там были американцы и, конечно, неизбежный барон Ш[тейгер]...»

О реальной смерти барона Штейгера Булгаков мог узнать 20 декабря 1937 г. В этот день в прессе был опубликован приговор Военной коллегии Верховного суда СССР по делу об измене Родине и шпионаже в пользу одного из иностранных государств. Обвинялись А.С.Енукидзе, Л.М.Карахан, другие высокопоставленные лица и... Б.С.Штейгер. Все были приговорены к расстрелу. Сообщалось, что приговор приведен в исполнение.

Небезызвестный М.П.Фриновский, первый заместитель наркома внутренних дел Н.И.Ежова, предварил в «Правде» приговор Военной коллегии поясняющей заметкой, в которой о Штейгере было сказано так: «Б.Штейгер — бывший барон, обманным путем при содействии врагов народа проникший на советскую службу, — наймит иностранной разведки. С 1918 г. Штейгер вел активную шпионскую работу».

После столь трагической развязки у писателя была возможность изменить свое суровое решение, ибо основная работа над романом была еще впереди. Но Булгаков оставил свой «приговор» в силе, изменив лишь способ смертной казни: вместо ножа барон получил пулю. Нож писатель припас для Иуды Искариота.

Впрочем, некоторые исследователи полагают, что прототипами барона фон-Майзена (фон Майгель — в последней редакции) могли быть и другие личности. Представляет интерес мнение М.Золотоносова, который считает, что за образом фон Майгеля скрывается известный в те годы литературовед М.Г.Майзель. «В сочинениях... М.Г.Майзеля, — пишет М.Золотоносов, — Булгаков неизменно характеризовался как представитель «новобуржуазного направления», художественного «шульгинизма». Именно М.Г.Майзель использовал применительно к Булгакову слово «апология» («апология чистой белогвардейщины»)... Возможно, что писатель что-то знал о доносительстве (в прямом смысле слова) Майзеля, если назначил на роль доносчика именно его... Знал, вероятно, Булгаков и об аресте Майзеля в период «большого террора» (убит 4 ноября 1937 г.)».

Не исключено, что в бароне фон-Майзене (фон Майгеле) нашли отражение черты нескольких ненавистных писателю лиц.

С. 174. **...комната преобразилась в гостиную.** — Уже в этих преображениях просматривается будущий «Великий бал у сатаны».

...барон Маргарите был известен... — Еще одно свидетельство, подтверждающее, что прототипом фон-Майзена был Б.С.Штейгер, как, впрочем, и замечание, что «деток никогда у барона не было».

С. 175. **...милый барон, скажите...** — Отточие авторское.

Видимо, в вопросе Воланда подразумевался интерес к «специальности» барона. Далее часть текста уничтожена.

...и еще раз все преобра... — **В** этом месте вырван лист с текстом.

С. 176. — А за... — Обрыв текста.

Тут Фие... — И вновь обрыв текста, в котором описывалось вызволение поэта из мест не столь отдаленных.

Весь в грязи, руки израненны... — В последующих редакциях мастер появляется не из заключения, а из психиатрической лечебницы.

С. 180. **...у дверей торгсина...** — В начале 30-х гг. были открыты специальные магазины для торговли на иностранную валюту, боны, драгоценности. Торгсин — аббревиатура, означающая «торговля с иностранцами», от разговорного сокращения названия Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами. Булгаковы иногда пользовались этими магазинами. Вот некоторые записи из дневника Е.С.Булгаковой. 29 марта 1935 г.: «Во время нашего отсутствия принесли конверт из американского посольства. Приглашает нас посол на 23 апреля. Приписка внизу золотообрезного картона: фрак или черный пиджак. Надо будет заказать М.А. черный костюм, у него нет. Какой уж фрак». Запись следующего дня: «Сегодня с М.А. ... пошли в Торгсин. Купили английскую хорошую материю по восемь рублей золотом метр. Приказчик уверял — фрачный материал... Купили черные туфли, черные шелковые носки». Так что Булгаков описывал торгсины «с натуры».

С. 183. **...крича: «Пожар!»** — Этот фрагмент текста Булгаков писал 1 февраля 1934 г. А вот что произошло за несколько дней до этого. Запись Елены Сергеевны от 23 января 1934 г.:

«Ну и ночь была. М.А. нездоровилось. Он лежа диктовал мне главу из романа — пожар в Берлиозовой квартире. Диктовка закончилась во втором часу ночи. Я пошла в кухню — насчет ужина, Маша стирала. Была злая и очень рванула таз с керосинки, та полетела со стола, в угол, где стоял бидон и четверть с керосином — не закрытые. Вспыхнул огонь. Я закричала: «Миша!!» Он, как был, в одной рубахе, босой, примчался и застал уже кухню в огне. Эта идиотка Маша не хотела выходить из кухни, так как у нее в подушке были зашиты деньги!..

Я разбудила Сережку, одела его и вывела во двор, вернее — выставила окно и выпрыгнула, и взяла его. Потом вернулась домой. М.А., стоя по щиколотки в воде, с обожженными руками и волосами, бросал на огонь все, что мог: одеяла, подушки и все выстиранное белье. В конце концов он остановил пожар. Но был момент, когда и у него поколебалась уверенность и он крикнул мне: «Вызывай пожарных!»

Пожарные приехали, когда дело было кончено. С ними — милиция. Составили протокол. Пожарные предлагали: давайте из шланга польем всю квартиру! Миша, прижимая руку к груди, отказывался».

Ленинград, июль, 1934 г. — Перерыв в работе над романом оказался вынужденным. Переезд на новую квартиру, болезнь Елены Сергеевны, срочная работа над комедией «Блаженство», а затем — подготовка к поездке за границу — все это заставило Булгакова отложить рукопись романа о дьяволе до лучших времен. Возобновил он работу в тяжелом состоянии, когда нервное и физическое переутомление достигло предела. В это время, 11 июля, он писал В.В.Вересаеву: «Хочу рассказать Вам о необыкновенных моих весенних приключениях... Ну-с, в конце апреля сочинил заявление о том, что прошусь на два месяца во Францию и в Рим с Еленой Сергеевной... Послал... Первое известие: «Заявление передано в ЦК». 17 мая... Звонок по телефону: «Вы подавали? Поезжайте... Заполняйте анкету Вашу и Вашей жены». К четырем часам дня анкеты были заполнены... Наступило состояние блаженства... Вы верите ли, я сел размечать главы книги!.. 19-го паспортов нет. 23-го — на 25-е, 25-го — на 27-е... Ждем терпеливо... Самые трезвые люди на свете — это наши мхатчики... Вообразите, они уверовали в то, что Булгаков едет. Значит же, дело серьезно! Настолько уверовали, что в список мхатчиков, которые должны были получить паспорта... включили и меня с Еленой Сергеевной. Дали список курьеру — катись за паспортами.

Он покатился и прикатился... Словом, он привез паспорта всем, а мне беленькую бумажку — М.А.Булгакову отказано... Впечатление? Оно было грандиозно, клянусь русской литературой! Пожалуй, правильней всего все происшедшее сравнить с крушением курьерского поезда... Выбрался я из-под обломков в таком виде, что неприятно было глянуть на меня... 13 июня я все бросил и уехал в Ленинград...»

С. 184. — **Сейчас в Гнездниковском загорится!.. — В** начале 20-х гг. в этом переулке, в доме Нирензее, находилась московская редакция газеты «Накануне» (главная редакция была в Берлине), потом там размещался уголовный розыск.

С. 185. **На плоской террасе здания...** — Перед текстом Булгаков сделал обширные прочерки, поскольку несколько предыдущих глав он уничтожил.

Булгаков описывает знаменитый дом Пашкова, построенный в 1784—1786 гг. выдающимся русским архитектором В.И.Баженовым. В 1862—1925 гг. в нем размещался Румянцевский музей, затем — отдел рукописей Российской государственной библиотеки.

До некоторой степени это напоминает мне пожар Рима. — Имеется в виду грандиозный пожар Рима в 64 г. н.э. Из 13 районов города уцелело только 3. По одной из версий, город был подожжен по приказу императора

Нерона (правил 54—68 гг. н.э.). Пожар Москвы Булгаков обозначил сначала 1943-м, а затем 1945 г. См. коммент. к с. 65.

С. 186. **...в Ваганьковский переулок...** — С 1922 г. — Староваганьковский, а с 1926 г. — часть улицы Маркса и Энгельса.

С. 187—188. **...в огромнейший трехсветный зал...** — Имеется в виду общий читальный зал. Булгаков прекрасно ориентировался в помещениях дома Пашкова, ибо часто посещал его в качестве читателя в конце 20-х — начале 30-х гг. В его архиве сохранились читательские билеты на посещение библиотеки.

С. 191. **Между... — В** этом месте обрыв текста. Очевидно, вырваны листы, содержащие картины пожара в Москве.

...и фиолетовый всадник соскочил... — В следующей рукописной редакции этот важнейший эпизод опущен автором. При перепечатке текста в 1938 г. эпизод был восстановлен в иной редакции.

С. 192. — **Мир вам, — сказал гнусавый голос.** — Здесь Азазелло кощунственно обыгрывает слова воскресшего Иисуса Христа, произнесенные Им перед апостолами: «...мир вам» (Лк, 24:36). Более того, в следующей рукописной редакции Азазелло, увидев обрадовавшуюся ему голую Наташу, стал раскланиваться и повторять: «Мир вам!»

...даже дам с содранной кожей... — Булгаков, видимо, намекает на страшный киевский период 1918—1919 гг., когда он был очевидцем подобных редчайших зверств, которые творили сменявшие друг друга власти.

С. 193. — **С ней, — глухо сказал он, — с ней. А иначе не поеду.** — Эту главу романа Булгаков писал в сентябре 1934 г., когда свежи еще были в памяти печальные события лета — отказ властей в поездке за границу. На Булгаковых отказ произвел сильнейшее впечатление, и они долго после этого не могли оправиться. Характерно, что Булгаков настаивал на совместной с Еленой Сергеевной поездке. В жалобе на имя Сталина, написанной после отказа 10—11 июня 1934 г., Булгаков мотивировал совместную поездку тем, что страдает истощением нервной системы и боязнью одиночества, и это полностью соответствовало действительности. Но был и другой принципиальный момент — Булгаков хотел знать, доверяют ли ему или по-прежнему считают человеком неблагонадежным. Об этом запись в дневнике Е.С.Булгаковой от 3 января 1934 г.:

«...М.А., при бешеном ликовании Жуховицкого, подписал соглашение на Турбиных с Лайонсом (американский журналист. — *В.Л.).*

— Вот поедете за границу, — возбужденно стал говорить Жуховицкий. — Только без Елены Сергеевны!..

— Вот крест! — тут Миша истово перекрестился — почему-то католическим крестом, — что без Елены Сергеевны не поеду! Даже если мне в руки паспорт вложат.

— Но почему?!

— Потому что привык по заграницам с Еленой Сергеевной ездить. А кроме того, принципиально не хочу быть в положении человека, которому нужно оставлять заложников за себя».

С. 195. **Первый пожар подплыл под ноги поэту на Волхонке.** — Волхонка — улица, на которой был расположен грандиозный храм Христа Спасителя, взорванный в декабре 1931 г. (ныне восстановлен).

С. 196. **...бледнея от злобы, поднял... — В** этом месте вырваны листы.

— Я уж давно жду этого восклицания, мастер. — Впервые за семь лет работы над романом его главный герой назван мастером.

С. 200. **Я никогда ничего не видел. Я провел свою жизнь заключенным. Я слеп и нищ.** — Сравним с фразой из письма Булгакова Сталину от 30 мая 1931 г.: «...мне закрыт горизонт, у меня отнята высшая писательская школа, я лишен возможности решить для себя громадные вопросы. Привита психология заключенного».

С. 201. ...над гигантским городом. — Возможно, это Париж — город, в который Булгаков стремился много лет, а в 1934 г. цель была совсем близка... Писатель приводит весьма характерную деталь — «прямые, как стрелы, бульвары». На одном из таких бульваров жил его брат — Николай Афанасьевич.

...после рязанских страданий... — Сначала в тексте было «ваших страданий». Но затем Булгаков зачеркнул слово «ваших» и надписал сверху «рязанских».

— А здесь вы не собираетесь быть?.. — В свое время навестим. — Весьма многозначительный вопрос и не менее интересный ответ. Возможно, по мысли писателя, отлично понимавшего ту зловещую роль, которую сыграли внешние силы в подготовке и осуществлении «социальной революции» в России, возмездие наступит и для них.

Фантастический роман

Главы романа, дописанные
и переписанные в 1934—1936 гг.

Дописанные и переписанные в 1934—1936 гг. главы могут рассматриваться, на наш взгляд, лишь как дополнения и уточнения к «Великому канцлеру». Особенно важными представляются четыре главы: «Гроза и радуга», «Полночное явление» (эти две главы составляют неразрывное целое, и они определяют новую сюжетную линию: встречу Иванушки и мастера в психиатрической клинике — с дальнейшим развитием), «На Лысой Горе» (впервые подробно описана казнь Иешуа) и «Последний полет» (совершенно новый финал романа). При соединении глав собственно «Великого канцлера» с новыми главами получается первая полная (составная) рукописная редакция романа. Автору предстояло «переписать» (фактически же написать заново) еще несколько глав, прежде всего «древних». Вчерне роман был написан, однако замыслы писателя были обширны и они часто изменялись под влиянием жизненных обстоятельств. Поэтому Булгаков рассматривал написанное как черновой материал к будущей работе.

С. 223. **Белая магия и ее разоблачение. — В** таком виде глава появилась в ноябре 1934 г., о чем есть запись в дневнике Е.С.Булгаковой от 8 ноября: «М.А. диктовал мне роман — сцену в кабаре».

С. 230. **И здесь вмешался в дело Аркадий Аполлонович Семплеяров.** — От фр. «simple» — заурядный, глупый. Собирательный образ. А.В.Луначарский, несомненно, представитель этого «собрания». За фигурой Семплеярова угадывается также и А.С.Енукидзе. Хотя фамилия Семплеярова как предполагаемого персонажа романа упоминается в черновиках 1931 г., в качестве действующего лица введена в конце 1934 г. И это не случайно. Как мы уже отмечали, в июне этого года Булгакову было отказано в поездке в Париж и Рим. Заявление же на выезд писатель подавал через Енукидзе. Видимо, Булгаков полагал, что Енукидзе не оказал необходимую помощь в этом деле.

С. 231. **...про солнечный размах... писали?** — Булгаков вновь возвращается к одной из центральных тем романа — к призванию писателя. Лицемерие и фальшь в писательском деле он рассматривал как духовное падение человека, не имеющее оправдания. Наиболее ярко эту мысль Булгаков выразил в образе «писателя» Пончика-Непобеды (пьеса «Адам и Ева»). Приведем ниже фрагмент из знаменитого монолога Пончика-Непобеды:

«Господи! Господи!.. Прости меня за то, что я сотрудничал в «Безбожнике». Прости, дорогой Господи! Перед людьми я мог бы отпереться, так как подписывался псевдонимом, но Тебе не совру — это был именно я! Я сотрудничал в „Безбожнике» по легкомыслию... Матерь Божия, но на колхозы Ты не в претензии?.. Ну что особенного? Ну мужики были порознь, ну а теперь будут вместе. Какая разница, Господи? Не пропадут они, окаянные! Воззри, о Господи, на погибающего раба Твоего Пончика-Непобеду, спаси его! Я православный, Господи, и дед мой служил в консистории...»

С. 232. — **Я — мастер... — В** 1937—1938 гг. Булгаков возвращается к теме глав «Гроза и радуга» и «Полночное явление».

С. 233. **...не успел он дописать свой роман до половины, как...** — Далее идет авторское многоточие. Эту часть текста Булгаков дописал во второй полной редакции.

Настал самый мучительный час шестой. — В последующих редакциях: «Солнце уже снижалось над Лысой Горой...» В публикуемой редакции Булгаков придерживается евангельского повествования.

С. 234. **...громадный щит с надписью на... языке «Разбойники»...** — Булгаков не написал, на каком языке. Видимо, еще размышлял и не пришел к определенному решению. В следующей редакции: «...ехала повозка, нагруженная тремя дубовыми столбами с перекладинами, веревками и таблицами с надписями на трех языках — латинском, греческом и еврейском». То есть Булгаков повторил то, что записано в Евангелиях от Луки (23:38) и от Иоанна (19:20). Однако в последней редакции писатель вновь отошел от евангельских повествований и изменил текст. Теперь он звучал так: «...ехали в повозке трое осужденных с белыми досками на шее, на каждой из которых было написано «Разбойник и мятежник» на двух языках — арамейском и греческом».

С. 236. **...и поднял с земли ноле. Но он не успел ударить себя. — В** следующей редакции безумное отчаяние Левия Матвея доведено писателем до крайней точки. Несомненно, в тексте отразилось и нарастающее год от года бессильное отчаяние самого автора.

С. 240. **Что снилось Босому.** — Эта глава имела несколько названий: «Разговор по душам», «Необыкновенные приключения Босого», «Московские ночи».

С. 241. **Сдавайте валюту!** — Некоторые исследователи полагают, что у описанной Булгаковым сцены вымогательства валюты был «литературный прототип». Так, Г.А.Лесскис в комментарии к этой главе (см.: Булгаков М.А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М., 1990. С. 652) пишет: «...у этой неправдоподобной сцены был литературный прототип — книга немецкого писателя-антифашиста Л.Фейхтвангера «Москва. 1937»... В этой книге описывался инсценированный Сталиным судебный процесс над Радеком, Пятаковым и др. партийными руководителями... Фейхтвангер пытался уверить весь мир, будто обвиняемые... действительно совершали те преступления, в которых их обвиняли, а все это «походило больше на дискуссию, которую ведут в тоне беседы образованные люди...». Но следует заметить, что Булгаков, отрицательно относившийся к данному произведению Л.Фейхтвангера, главу «Что снилось Босому» написал в 1933—1935 гг.! Как раз в это время заканчивалась вторая волна по насильственному изъятию валюты у населения.

С. 243. **...Сергея Герардовича...** — Сначала в тексте было «Сергея Бухарыча», а затем Булгаков исправил на Герардовича, но не везде.

С. 245. **И опять наступил антракт, ознаменов... — В** этом месте вырван лист с текстом.

С. 246. **Пречистенка, 2-й Лимонный...** — Лимонный переулок выдуман писателем. По-видимому, подразумевался Померанцев переулок, соединявший Пречистенку с Остоженкой. Померанец — горький апельсин, дерево из группы цитрусовых. Переулок был переименован в 1922 г. из Троицкого в По-

меранцев в честь одного из участников Октябрьских боев в Москве — А.А. Померанцева. Возможно, Булгаков, игнорировавший переименования улиц, в данном случае обыгрывает это новое наименование.

С. 248. **История костюма и прочее.** — Другие названия главы: «Странный день», «Безумный день».

Золотое Копье

Незавершенная рукопись

Незавершенная рукопись романа ценна прежде всего второй главой — «Золотое Копье». Это наиболее важная из «древних» глав, и она явилась основой для последующих ее редакций. Характерно, что в следующей редакции романа под названием «Князь тьмы» писатель обозначил эту главу лишь первыми фразами, не переписывая ее заново.

С. 260. **Христос был изображен во фраке, с моноклем в глазу и с револьвером в руках.** — Булгаков специально приобрел комплект журнала «Безбожник» и частенько лицезрел глумливые рисунки на его страницах. А рисунки были просто чудовищные. Некоторые из них постараемся описать.

Один из рисунков имел заголовок: «Примите, ядите сие есть тело Мое...» И куча людей действительно пожирает нарисованного Иисуса Христа: откусили руку, прогрызли живот и с аппетитом поедают кишки, вгрызаются в различные части тела...

На другом рисунке Иисус Христос шествует во главе колонны. По обе стороны от Него белогвардейские офицеры. Чуть поодаль — свалка только что расстрелянных людей. Бог добродушно-доволен, офицеры подобострастны и спокойны, ибо Иисус Христос их лично благословил на это деяние...

Или вот еще рисунок... Иисус Христос на нем показан обманщиком-мошенником, поборником богатств и покровителем сильных мира сего.

Так что Булгаков нисколько не сгустил краски, описывая богоборческую работу берлиозов. Что же касается описанного писателем рисунка, то он выбрал его, видимо, потому, что самого Булгакова карикатуристы очень часто изображали во фраке и с моноклем в глазу. Правда, без револьвера в руках.

С. 266. **...рукописи Мирандолы и Рейхлина...** — Пико делла Мирандола (1463—1494) — знаменитый итальянский философ, теолог и каббалист. Поражал современников своим ранним развитием — к десяти годам от роду был уже известным мыслителем и поэтом. Знал более двадцати языков, довольно быстро постиг «все тайны» европейской науки. Особое внимание уделял изучению каббалы, в оригинале читал Ветхий Завет и Коран, написал мистический комментарий к Библии. В 1486 г. опубликовал «900 тезисов», которые вызвался защищать перед учеными христианского мира. «Тезисы» были осуждены папской курией. В ответ мыслитель обнародовал «Апологию» осужденных тезисов (1489). И лишь в 1493 г. Папа Александр VI снял с них запрещение. Автор трактатов «Гептаплус», «О Бытии и Едином». Большой интерес вызвало его сочинение «Против предсказующей астрологии», которое вышло уже после его смерти (1495).

Заметим, что в списке авторов трудов по демонологии, который составил для себя Булгаков, Мирандола стоит в числе первых.

Иоганн Рейхлин (1455—1522) — известный немецкий гуманист и гебраист. Интерес к еврейскому языку и каббале особенно проявился у него после встречи с Пико делла Мирандолой в 1490 г. во Флоренции. Считался в Германии лучшим знатоком древних языков, и Лютер называл его своим отцом. Обвинялся в ереси. В 1509 г. был вызван на спор евреем-перекрещенцем Пфефферкорном, который видел в иудаизме один вред и потому предлагал уничтожить все еврейские книги. Диспут продолжался много лет, сопровождался публикацией ряда сочинений спорящих сторон, которые сохранили свое значение и до настоящего времени.

С. 267. **Прокуратор** — заведующий доходами в императорской провинции. Прокуратор римской провинции Иудеи, в состав которой входили собственно Иудея, Самария и Идумея, назначался самим императором, но находился в подчинении наместника Сирии.

Кордегардия — помещение для военного караула, а также для содержания арестованных под стражей.

Легион — военный отряд первоначально из 6000, а позже из 3600 солдат. Состоял из 10 когорт, что равнялось 30 манипулам, или 60 центуриям.

Манипул — отряд солдат, состоящий из двух центурий, что составляло 120 человек, если отряд состоял из велитов (легковооруженных воинов), или гастатов (копьеносцев), или принципов (тяжеловооруженных бойцов), и 60 человек, если состоял из триариев (самых опытных солдат).

Таллиф — особая белая одежда, имеющая вид продолговатого четырехугольного платка с круглым прорезом в середине для головы.

С. 268. **Кентурион** (центурион) — командующий кентурией (центурией) — отрядом солдат из 100 человек, а впоследствии из 60.

Игемон — дословно по-гречески — вождь, предводитель. Употреблялось в те времена в значении «правитель», «господин».

С. 269. **Левий Матвей** — один из 12 апостолов, в прошлом мытарь (сборщик податей и пошлин). До разрушения римлянами Иерусалима (70 г. н.э.) проповедовал в Палестине, а затем — в Эфиопии, Малой Азии, Македонии. Принял мученическую смерть в Гиераполе во Фригии, по другой версии — в Персии. Гиерапольский епископ Палий (ум. ок. 165 г.) в своей работе «Изъяснение изречений Господа» отмечал, что при жизни Иисуса Христа за Ним записывал лишь апостол Матфей. Позже эти записи с арамейского языка переводили кто как мог.

Из Эн-Назира... — Булгаков почерпнул эти сведения из книги английского историка и богослова Ф.В.Фаррара «Жизнь Иисуса Христа». Сохранилась короткая выписка: «Назарет. Этот городок есть Эн-Назира, Назарет...»

— **Я — сириец.** — Галилею нередко в просторечии называли языческой, т.к. население ее было не чисто иудейским, а смешанным, и около половины всех городских жителей составляли греки, сирийцы, римляне. Булгаков и в этом случае отходит от библейской традиции. На него не могли не повлиять описания внешности Христа, данные Фарраром, Штраусом и др.

С. 270. **...пребывание на нем принесет тебе, по моему разумению, несчастия впоследствии.** — В 36 г. Понтий Пилат по жалобе самарян был отозван сирийским легатом Вителлием и послан в Рим для суда. Затем Пилат был сослан в ссылку в Виенну (Галлия), где, согласно христианским преданиям, лишил себя жизни в царствование Калигулы (37—41 гг.). По другим сведениям, он умер в ссылке в Галии своей смертью. Но Иешуа намекает и на внеземные несчастья для Пилата.

С. 271. — **Ты был в Египте?** — В Талмуде рассказывается, что Иешуа Назарет и Иешуа бен Перахая ездили вместе в Александрию Египетскую, где Иешуа Назарет якобы научился колдовству и, вернувшись в Иудею, «свел Израиля с пути».

...не будем сотрясать воздух пустыми и бессмысленными клятвами. — **В** Нагорной проповеди Христа говорится: «Еще слышали вы, что сказано древним: «Не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: «да, да»; «нет, нет»; а что сверх того, то от лукавого» (Мф, 5:33-37).

...в бою при Идиставизо. — **В** долине Идиставизо в 16 г. н.э. римский полководец Германик (племянник императора Тиберия) нанес поражение германским племенам херусков, возглавляемых Арминием (Германом).

Так ты называ... — Часть листа вырвана.

С. 272. **Синедрион** — совет старейшин в Иерусалиме, высшее государственное учреждение и судилище евреев в III—I вв. до н.э.; в период римского господства — верховный суд Иудеи. Состоял из 71 члена, включая главу Синедриона — первосвященника. Римляне ограничили власть Синедриона, отобрав право меча и право смерти: Синедрион мог выносить смертные приговоры, но для их исполнения требовалось утверждение римского наместника.

...по имени Иуда, он из Кернота... — Иуда из Кериота (Искариот) — прозвище Иуды чаще всего объясняется как Иш-Кариот — «человек из Кариота», или Кериота. Но так как ни города, ни местности с таким названием нет, то Кариот отождествляют с Кириафом, городом в колене Иудином, находящимся к северо-западу от Иерусалима, по дороге в Лидду.

...лицо арестанта исчезло и заменилось другим... — Имеется в виду Тиберий Клавдий Нерон (42 г. до н.э. — 37 г. н.э.), пасынок Августа, римский император с 14 г. н.э., отличавшийся мнительностью и жестокостью. Уже с 15 г. н.э. в Риме начинаются процессы об оскорблении величества, участившиеся после 23 г. н.э., а после разгрома заговора Сеяна (31 г.) последовала волна террора, продолжавшаяся до конца правления Тиберия. Известно, что Тиберий неоднократно судил наместников, злоупотреблявших в провинциях своей властью.

...возникла каприйская зелень в саду... — Островок Капреи (соврем. Капри) в южной части Неаполитанского залива был любимым местом пребывания императора Тиберия. За свое пристрастие к острову был прозван Каприneем. Страдал проказой.

С. 274. **...двое — за Синедрионом — Варраван Иисус...** — Варраван Иисус — в Евангелиях упоминается как Варавва, что в переводе с арамейского означает «сын Отца» — один из мессианских титулов. Не случайно совпадение имени Христа и Вараввы — Иисус. По-видимому, Варавва провозгласил себя Мессией и призывал к мятежу против римской власти. «Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство» (Лк, 23:19). В Евангелии от Матфея он назван «известным узником» (27:16). Выбирая, кого из двух «мессий» предать казни, Синедрион, зная, что идеи — самое сильное оружие, счел Христа с Его мирной проповедью более опасным, чем бунтовщик и убийца Варавва.

С. 280. **Приходит Карл Радек...** — Карл Радек принадлежал к тому ряду государственных лиц (Троцкий, Ягода и прочие), к которым Булгаков испытывал особые чувства. Радек участвовал в травле писателя. Это хорошо видно из воспоминаний В.САрдова, который писал: «Роман («Белая гвардия») был встречен несправедливой бранью... Особенно усердствовал в осуждении «Дней Турбиных» театральный критик В.И.Блюм. Он занимал должность начальника отдела драматических театров Реперткома. По его протесту и обрушились на спектакль критики и начальники разных рангов. Театр апеллировал в ЦК партии.

Помню, я был в зале МХАТа на том закрытом спектакле, когда специальная комиссия, выделенная ЦК, смотрела «Дни Турбиных». Помню, как в антракте Карл Радек — член этой комиссии — говорил кому-то из своих друзей, делая неправильные ударения почти во всяком слове — так говорят по-русски уроженцы Галиции:

— Я считаю, что цензура права!»

Кстати, Радек еще в студенческие годы получил кличку Крадек, так как однажды был уличен в краже часов и других предметов у своих товарищей.

Анекдоты про Радека ходили в обществе.

Князь тьмы

Роман. Первые тринадцать глав

Значение этой незавершенной редакции романа заключается в текстологических и фактических нюансах, раскрывающих творческую лабораторию писателя. Разночтений с предыдущими и последующими редакциями — огромное множество. Так, Берлиоз именуется Мирцевым, Бездомный — Понырevым, а Воланд — Фаландом... Однако политическая напряженность и острота в сравнении с ранними редакциями резко снижены. Тексты подвергались самоцензуре в связи с желанием автора представить законченный роман официально. Писатель, конечно, мало верил в такую возможность, но роман он решил завершить в кратчайшие сроки. Эти тринадцать глав были одной из таких попыток.

С. 285. **...не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз... — В** третьей главе Берлиоз «превращен» Булгаковым в Михаила Мирцева (прозрачный намек на Михаила Ефимовича Кольцова (Фридлянда), редактора «Огонька», «Чудака», «Крокодила», главу Журнально-газетного объединения, фельетониста и очеркиста «Правды»), а в пятой главе — в Александра Александровича Мирцева.

Заметим, кстати, что некоторые исследователи, отмечая совпадение инициалов М.А.Булгакова и М.А.Берлиоза, упорно ищут параллели между героем романа и его автором, привлекая в «союзники» и композитора Гектора Берлиоза. Так, О.Кушлина и Ю.Смирнов пишут: «...совпадение инициалов Михаила Александровича Берлиоза и Михаила Афанасьевича Булгакова <...> и «мистического композитора» <...> заставляет увидеть в выборе этого имени особый смысл.

Сходство имеется уже в биографиях. И тот и другой получили медицинское образование и оставили врачебное поприще ради искусства... <...> Но главные параллели проходят через их творчество. Булгаков пишет «роман о дьяволе», в который включена и тема Фауста, и тема Христа, и тема шабаша. Основные сочинения Берлиоза: восемь снов из «Фауста», ораториальная трилогия «Детство Христа», опера-оратория «Осуждение Фауста» и самое известное его произведение «Фантастическая симфония»... <...> Гектор Берлиоз гораздо ближе М.А.Булгакову, чем к персонажу его романа — М.А.Берлиозу. <...> Возможно, что Берлиоз — это в какой-то степени сатира писателя на самого себя, модель преуспевающего Булгакова, пожертвовавшего чистотой помыслов и твердостью убеждений для карьеры» (Кушлина О., Смирнов Ю. Некоторые вопросы поэтики романа «Мастер и Маргарита» // М.А.Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 302). О сомнительности подобных заключений свидетельствует хотя бы

тот факт, что в различных редакциях романа Берлиоз именуется Мирцевым, Крицким, Цыганским, Чайковским... Михаилом Яковлевичем, Антоном Антоновичем, Антоном Мироновичем, Владимиром Антоновичем, Марком Антоновичем, Борисом Петровичем, Григорием Александровичем...

Но Берлиозом персонаж романа (кстати, один из самых не любимых Булгаковым) назван, видимо, действительно не случайно. Скорее всего писателю для характеристики воинствующего атеиста-богоборца более всего подходили черты композитора Гектора Берлиоза, который сочинял «антирелигиозную» музыку, доходя до шутовских пародий в «Фантастической симфонии».

С. 286. **...в речи его появлялись имена не только Эрнеста Ренана и Штрауса...** — Жозеф Эрнест Ренан (1823—1892) — французский писатель и историк, филолог-востоковед, автор сочинений по истории христианства. В «Истории происхождения христианства» и «Истории израильского народа» высказывал предположения об историчности Иисуса Христа. Булгаков в течение ряда лет изучал труды Ренана и делал многочисленные выписки из работ ученого.

Давид Фридрих Штраус (1808—1874) — немецкий теолог, философ. Отрицал достоверность евангельских преданий, рассматривал их как мифы, но Иисуса считал исторической личностью. Его работу «Жизнь Иисуса» (Лейпциг; СПб., 1907) Булгаков изучал еще в конце 20-х гг. По Штраусу писатель уточнял те или иные исторические факты, предания, легенды. Интересна, например, следующая его запись: «Причиною тьмы, которую один Лука определяет более точным образом, как затмение солнца, не могло быть естественное затмение: в то время было пасхальное полнолуние... То же самое получилось с солнцем... во время убийства Цезаря... (Штраус Д. Жизнь Иисуса. Т. **И.** С. 250)».

Филон Александрийский (ок. 25 г. до н.э. — ок. 50 г. н.э.) — иудейско-эллинистический теолог и философ-мистик. В своих сочинениях соединял догмы иудаизма с греческой философией, на этой основе разработал метод аллегорического толкования Библии. Считается одним из отцов христианства. В тетрадях Булгакова имеется такая лаконичная запись: «Филон (30-е гг. Р. Х.) упоминает Пилата» (НИОР РГБ. Ф. 562. К. 8. Ед. хр. 1. Л. 22).

Иосиф Флавий (37 г. — после 100 г.) — иудейско-римский историк, автор сочинений «Иудейская война», «Иудейские древности», «Жизнь», содержащих сведения об условиях возникновения христианства.

Публий Корнелий Тацит (ок. 58 г. — ок. 117 г.) — римский историк, автор сочинений «Анналы», «История» и др. В одной из тетрадей Булгакова записано: «"Auctor nomiais Iesus Christos, Tiberio imperante, per procuratoren Pontium Pilatum supplicio affectus erat..." (Корнелий Тацит. Анналы. Кн. 15. Гл. 44)» (НИОР РГБ. Ф. 562. К. 8. Ед. хр. 1. Л. 9). В переводе с латинского: «Виновник этого названия (речь идет о секте христиан. — *В.Л.)* Христос в царствование Тиберия прокуратором Понтием Пилатом был предан казни». Эту цитату из сочинения Тацита Булгаков почти дословно использовал в первой редакции «романа о дьяволе» («Черный маг»), изменив лишь время глагола («erat» — был предан казни, «erit» — будет казнен) и употребив иное смысловое значение слова «imperante» (в царствование Тиберия — по приказанию Тиберия): Понтий Пилат, выйдя к иудейской толпе, произносит страшный приговор: «Iesus Nazarenus, Tiberio imperante, per procuratorem Pontium Pilatum supplicio affectus erit!» («Иисус Назарей, по приказанию Тиберия, прокуратором Понтием Пилатом будет казнен!»)

С. 293. **...вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат...** — Пилат, или Понтийский Пилат, — римский прокуратор («правитель», «игемон»), управлявший Палестиной как частью римской провинции Сирии во время земной жизни Иисуса Христа. Прокуратором был около десяти лет (26—36). Изучая огромный материал о Понтиии Пилате, Булгаков делал многочисленные записи,

выписки, пометки, подробно указывая использованные источники. В его рабочих тетрадях разного времени есть, например, такие записи: «Понтий Пилат вступил в должность прокуратора Иудеи в 26 г. нашей эры, сменив Валерия Грата (Лука, гл. III; Иосиф Флавий, иудейский историк, кн. 18, гл. 2); прокуратор был подчинен наместнику (легату) Сирии; Атус — король и дочь мельника Пила. Pila-Atus... Понт Пятый! Прокуратор!.. Гора Пилата. Гора Pilatus...» «Он был преемником Валерия Грата и 6-м! прокуратором Иудеи» (Брок[гауз] 46, 595); «Пятый! прокуратор Иудеи не составлял исключения в этом отношении...» (Маккавейский Н.К. Археология истории страданий Господа Иисуса Христа // Тр. Киевской Духовной Академии. 1891. № 2. С. 211); «...он сделался шестым (?!) прокуратором Иудеи...» (Ф а р р а р Ф.В. С. 734); мог ли Пилат есть устрицы? В какой Кесарии жил Прокуратор? Отнюдь не в Кесарии Филипповой, а в Кесарии Палестинской или Кесарии со Стратоновой башней... на берегу Средиземного моря» (НИОР РГБ. **Ф.** 562. К. 8. Ед. хр. 1).

С. 300. — **В третий раз прошу за Варравана, — отозвал...** — В этом месте два листа в рукописи вырваны. Соханились лишь узкие полоски бумаги с обрывками слов.

С. 304. **...поверьте хоть в то, что дьявол существует!** — Не будучи человеком воцерковленным, но воспитанный в семье профессора Духовной академии, в атмосфере истинной интеллигентности и глубокой образованности, Булгаков остро реагировал на захлестнувшую в 20-е гг. страну антирелигиозную пропаганду, на кощунственное разрушение храмов. Подобное проявление духовного невежества, пренебрежение многовековыми нравственными устоями оценивались Булгаковым однозначно как преступление.

И наверное, не случайно в черновике «романа о дьяволе» редактор «Безбожника» Владимир Миронович Берлиоз предлагает Воланду напечатать в журнале главы из его евангелия. На это предложение Воланд отвечает: «Сотрудничать у вас я счел бы счастьем». Тем самым Булгаков относит «безбожную» литературу к разряду «сатанинской».

С. 305. **...и Мирцев оказался лежащим на рельсах.** — Булгаков несколько раз переписывал сцену гибели Берлиоза, во всех вариантах она показана натуралистически и без тени сочувствия к гибнущему редактору-атеисту.

С. 308. — **Не путай ты меня, — зарычал на него поэт...** — В черновике: «— Застрелю! — завыл Иванушка. — С дороги, арамей!»

С. 309. **...Иван оказался на громадном гранитном амфитеатре, спускающемся к воде. — В** черновике: «...Иванушка скаканул и выскочил на набережной храма Христа Спасителя...» В 1929 г., когда был закончен черновой вариант романа, храм Христа Спасителя еще не был уничтожен.

С. 313. **...по поводу сплетни, пущенной Храмкиной и Избердеем...** — В черновике далее: «...впал в правый уклон. Прямо и точно сообщаю, что все это вранье... Насчет правого уклона категорически заявляю — неправда. Если уж и впал бы Антон Антонович (имеется в виду Берлиоз. — *В.Л.)*, то ни в коем случае не в правый уклон, а скорее в левый загиб. Но он никуда не впал».

С. 323. **...решила поправить свои нервы и для этого съездить на два месяца в Париж к сестре.** — В этом эпизоде просматриваются реальные события из жизни Булгакова, происшедшие в мае—июне 1934 г., когда писателем было подано «прошение о двухмесячной заграничной поездке» вместе с Е.С.Булгаковой. Но в данном тексте есть, на наш взгляд, одно немаловажное место, которое раскрывает главную причину стремления Булгакова побывать в Париже: «Ежедневно много звонила по телефону, много ездила по Москве, в естественном и радостном волнении, *что вскоре увидит и обнимет сестру, с которой не виделась 14 лет»* (выделено нами. — *В.Л.).* В 1934 г. исполнилось 14 лет, как Булгаков последний раз видел своих младших братьев — Николая и Ивана, совсем еще юнцами попавших в Добровольческую армию и вместе с ее частями прошедших

весь путь отступления и эвакуации. После труднейших испытаний они обосновались в Париже, не имея ни малейшей возможности для встречи с родными. Мысли об их судьбе, пока не были получены известия от них, наверное, были тревожны и мучительны для Булгакова, а желание увидеть их — огромно. Многократные же попытки его «прорвать блокаду» и добиться разрешения на поездку за границу кончались отказами, все более утверждавшими чувство «узника» в душе писателя. И не случайно в дневнике Е.С.Булгаковой появилась такая запись 12 февраля 1937 г.: «Больное место М.А.: "Я узник... меня никогда не выпустят отсюда... Я никогда не увижу света"». Так же горько звучат слова мастера, сказанные им во время ночного полета с Воландом над землей: «Я никогда ничего не видел. Я провел всю жизнь заключенным. Я слеп и нищ».

С. 362. **Явление героя.** — Ранее глава называлась более скромно: «Полночное явление».

...человек, лет 38-ми примерно, худой и бритый, с висящим темным клоком волос и длинным острым носом. — Булгаков нарочито наделяет героя внешними гоголевскими чертами. Ранее в «Полночном явлении» герой — «человек лет 35 примерно, худой и бритый блондин...».

...всматриваясь в живые карие глаза... — В «Полночном явлении»: «...всматриваясь в живые зеленые глаза...» Так менялись портретные черты героя: сначала — блондин с зелеными глазами, затем — темноволосый с карими глазами. Сохранилась лишь живость взгляда.

...не люблю драк, шума и всяких таких вещей. — В окончательной редакции Булгаков эту мысль развивает: «...не выношу шума, возни, насилий и всяких вещей в этом роде... Ненавистен мне людской крик...» И хотя некоторые исследователи увязывают это высказывание героя со словами профессора Вагнера из «Фауста»: «Но от забав простонародья // Держусь я, доктор, в стороне...» — думается, подобные сравнения в данном случае неуместны. Для Булгакова, страдавшего после контузии мучительными головными болями, всякого рода суета, резкие, раздражающие звуки были настоящим бедствием. Еще в автобиографической «Красной короне» (1922) он писал: «Больше всего я ненавижу... громкие человеческие голоса... и стук». И в «Самогонном озере» (1923): «В блаженной тишине родилась у меня жгучая мысль о том, что исполнилось мое мечтанье и бабка Павловна, торгующая папиросами, умерла. Решил я это потому, что из комнаты Павловны не доносилось криков истязуемого ее сына Шурки... О, миг блаженный, светлый час!..» Из повести «Был май» (1934): «...машины отчаянно кричали разными голосами, и каждый раз, как они кричали, сердце падало и подгибались ноги.

— Вот когда-нибудь крикнет так машина, а я возьму и умру...»

И одна из многих записей Е.С.Булгаковой на эту тему (1938): «М.А. ненавидит всякую суету в квартире».

Более Булгакова ненавидел суету, крики и резкие звуки, видимо, только Иван Васильевич, вычеркнувший из текста пьесы так необходимый там выстрел. Но это — в «Театральном романе»...

С. 363. — О, **как я угадал!** — Нечто подобное писал Булгаков Елене Сергеевне 6—7 августа 1938 г.: «Я случайно напал на статью о фантастике Гофмана. Я берегу ее для тебя, зная, что она поразит тебя так же, как и меня. Я прав в «Мастере и Маргарите»! Ты понимаешь, чего стоит это сознание — я прав!»

Речь шла о статье И.В.Миримского «Социальная фантастика Гофмана» (Литературная учеба. 1938. №5). Приведем лишь два небольших отрывка из статьи, подчеркнутых Булгаковым (таких подчеркиваний было много):

«...цитируются с научной серьезностью подлинные сочинения знаменитых магов и демонолатров, которых сам Гофман знал только понаслышке. В результате к имени Гофмана прикрепляются и получают широкое хождение прозвания вроде спирит, теософ, экстатик... Сам Гофман, обладавший,

как известно, необыкновенно трезвым и практическим умом, предвидел кривотолки своих будущих критиков...»

«Он превращает искусство в боевую вышку, с которой как художник творит сатирическую расправу над действительностью».

— Эх, жаль, что на месте Мирцева не было критика Латунского! — Критиков, громивших Булгакова в прессе, было много. Но среди них было несколько, кто сыграл особую роль в травле писателя. К ним, несомненно, относится О.С.Литовский (1892—1971), председатель Главреперткома, театральный критик и драматург. Приведем несколько отрывков из его «критических» статей и выступлений разных лет против Булгакова.

Из выступления на диспуте в Доме печати под названием «Суд над "Белой гвардией"» 19 октября 1926 г.: «Пьеса лжива и тенденциозна в сторону симпатий к белым. Это попытка задним числом оправдать белое движение» (НИОР РГБ. Ф. 562. К. 27. Ед. хр. 2. Л. 76).

Из статьи «Тридцать лет Художественного театра» (Комсомольская правда. 1928. 27 октября):

«Булгаковщина всех видов или полнокровная советская тематика — так станет вопрос перед МХТ сегодня, в день его тридцатилетней годовщины.

От того, как театр решит этот вопрос, зависит — сумеет ли он стать равноправным участником в общей семье строителей новой культуры».

Этот фрагмент текста Булгаков подчеркнул жирно красным карандашом, а фамилию О.Литовского — синим.

Из статьи «На переломе» (Известия. 1929. 20 июня):

«Общее обострение классовой борьбы нашло свое отражение и в театре... Разве борьба за постановку «Бега» не есть отражение мелкобуржуазного натиска на театр? И не есть ли попытка протащить на сцену «Карамазовых» явление реакционного порядка?

Наконец, в этом году мы имели одну постановку, представляющую собою злостный пасквиль на Октябрьскую революцию, целиком сыгравшую на руку враждебным нам силам: речь идет о "Багровом острове"».

Из статьи «Советская драматургия к Всесоюзному съезду писателей» (Театр и драматургия. 1934. № 6):

«За три с лишним года, прошедших со времени XVI съезда нашей партии, советская драматургия прошла путь, измеряемый десятилетиями. Для того чтобы понять значительность этого пути, достаточно вспомнить состояние нашего репертуара к концу 1929 года... Советская драматургия имела в своем пассиве такие пьесы, как троцкистский «Партбилет» Завалишина, как клеветнически изображающий Октябрьскую революцию «Багровый остров» Булгакова... До этого с воинственной декларацией выступило сменовеховство в «Днях Турбиных» и в «Беге» Булгакова».

И наконец, О.Литовский один из первых выступил с требованием запретить «Мольера». После генеральных репетиций пьесы 5 и 9 февраля 1936 г. О .Литовский тут же опубликовал в «Советском искусстве» (11 февраля) резко отрицательную рецензию, в которой, в частности, говорилось: «Самый материал пьесы настолько недостоверный, что все усилия мхатовцев создать спектакль социально страстный не могли увенчаться успехом... «Кровосмесительная» версия никем в пьесе не опровергается, придает ей сугубо мещанский характер... Булгакову нельзя отказать в драматургическом таланте и сценической опытности. Эта опытность не спасает автора от примитива...»

Вскоре пьеса «Мольер» была снята со сцены.

Если Булгаков был постоянно на «прицеле» у Литовского, то и писатель пристально следил за деятельностью этой личности. Все «критические» залпы Литовского фиксировались и собирались в специальном альбоме, ему посвящены многие страницы в романе (и какие страницы!); нельзя не привести

хотя бы несколько записей из дневника Е.С.Булгаковой (цитируем по неопубликованной редакции ее дневника). 7 февраля 1934 г.: «Театральные сплетни: ...Литовского выгоняют из Главреперткома. [М.А.]: "Не радуйся, следующий будет еще хуже. Дело не в Литовском, а в Реперткоме"». 11 февраля 1936 г.: «Сегодня Литовский, пользуясь своим положением, поместил в «Советском искусстве» статью о «Мольере». Злобой пышет! Он даже не пытается скрывать ее. Так ясно понимаешь, что это продиктовано личной ненавистью его к Михаилу Афанасьевичу». 30 апреля 1937 г.: «...встретили Тренева. Он рассказывал, что на собрании драматургов вытащили к ответу Литовского. «Зачем протаскивал всячески пьесы Киршона и Афиногенова?!» Этот негодяй, Литовский, вертелся как на огне и даже кричал что-то вроде — не я один!» 5 июня: «В «Советском искусстве» сообщение, что Литовский уволен с поста председателя Главреперткома. Литовский — один из самых гнусных гадин, каких я только знала по литературной Мишиной жизни» (Булгаков образ Маргариты иногда лепил с натуры! — *В.Л.).* 6 сентября: «Вечером Смирнов... рассказывал, что арестован Литовский. Правда ли это, не знаю» (во второй редакции: «Ну, уж это было бы слишком хорошо»). 28 сентября 1938 г.: «Пришли Марков и Виленкин, старались доказать, что сейчас все по-иному — плохие пьесы никого не удовлетворяют, у всех желание настоящей вещи. Надо Мише именно сейчас написать пьесу. Миша отвечал, что раз Литовский опять всплыл, опять получил место и чин — все будет по-старому. Литовский — это символ!»

Но надо все-таки отдать должное Литовскому: он, в отличие от многих критиков, прижавших впоследствии хвосты и заговоривших по-иному, и в последующие годы утверждал свое: «Произведения Булгакова, начиная от его откровенно контрреволюционной прозы — «Дьяволиада», «Роковые яйца» — и кончая «Мольером», занимают место не в художественной, а в политической истории нашей страны как наиболее яркое и выразительное проявление внутренней эмиграции, хорошо известной под нарицательным именем "булгаковщины"» (Литовский О.С. Так и было. М., 1958. С. 205).

С мнением одного из ведущих «оппонентов» Булгакова нельзя не согласиться, если несколько изменить его формулировку: произведения Булгакова занимают ведущее место в художественной литературе и в политической истории нашей страны как наиболее яркое и выразительное проявление патриотически настроенной русской интеллигенции.

С. 364. **...что женщина умная, замечательная...** — На этом обрывается текст романа. На несколько месяцев Булгаков как бы отстранился от своего любимого детища. Возвращение состоялось в конце 1937 — начале 1938 г., но не к отложенной рукописи («Князь тьмы»), а к новой редакции.

Мастер и Маргарита

Роман. 1928—1937.
Полная рукописная редакция

С. 375. **Золотое Копье.** — Ранние редакции этой главы были написаны в 1928—1929 гг. (их названия, к сожалению, сохранились лишь частично). В последующие годы автор вносил существенные изменения и дополнения в текст главы (отдельные ее части переносились в другие главы), но основная

структурная и содержательная канва не менялась. Настоящий текст корректировался (и корректировка эта была обширнейшей) при его перепечатке в мае—июне 1938 г. О том, что эта работа была непростой, свидетельствует письмо Булгакова к Елене Сергеевне от 27 мая 1938 г., в котором были такие слова: «Ночью — Пилат. Ах, какой трудный, путаный материал!»

Можно предположить, что трудности материала заключались прежде всего в том, что с введением в действие романа мастера и его подруги «древние» его главы стали отражать не только скрытые красноершалаимские мотивы (в ранних редакциях романа мастера и его подруги не существовало и в образе Иешуа сразу узнавались черты московского праведника), но и великие события древности, которые требовали от писателя осторожного и взвешенного подхода. В этой ситуации автору грозило «раздвоение» в описании подлинных ершалаимских и подлинных красноершалаимских событий. Булгаков работал как виртуоз, стремясь в одном тексте отразить события двух эпох, но избежать «раздвоенности» он так и не смог (это было и невозможно сделать).

Заметим при этом, что Булгаков не ставил себе задачей написать «новое Евангелие», как это делали многие его современники, начиная с печально знаменитого Демьяна Бедного. Ему важно было показать всю трагичность событий, происходивших в «красной столице», и отразить печальную судьбу честного писателя, существующего в условиях нравственного и духовного закабаления.

В белом плаще с кровавым генеральским подбоем... — В этом тексте видно «смешение» двух эпох. Звание «генерала» прокуратор, конечно, никак не мог носить, это «анахронизм» ранних редакций, где встречались и «ротмистр», и «адъютант», и «взводный», и Пилат мог послать Тиберию «телеграмму». В следующей редакции (при перепечатке текста) «генеральские» отличия прокуратора, разумеется, исчезли.

Что же касается «кровавого подбоя», то у исследователей сложилось единое мнение о том, что белый плащ с кровавым подбоем является как бы символом невинно пролитой крови. Б.В.Соколов соотносит даже булгаковскую задумку с произведением Г.Флобера «Иродиада», где римский наместник Сирии Вителлий носит льняную тогу с пересекающейся пурпурной перевязью (см.: Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. Комментарий. М., 1989. С. 502). Очевидно, можно было бы привести и другие примеры литературных произведений, в которых их герои носят подобную или похожую одежду. Но нам представляется, что исходная мысль Булгакова о невинно пролитой Пилатом крови появилась у писателя после прочтения им романтической легенды под названием «Последние дни жизни Пилата, осудившего Христа на смерть» (издана в Киеве в 1881 г.). Эта легенда была одним из основных литературных источников при создании романа «О Христе, Пилате и дьяволе» (так он иногда значился в дневниках Е.С.Булгаковой). Характерная ее особенность заключается в том, что повествование в ней ведется от лица Пилата. По сути, это своеобразное «евангелие от Пилата», которое, конечно, не могло быть не замечено и не оценено по достоинству Булгаковым. Так вот, в «евангелии от Пилата» есть такой удивительный фрагмент:

«Остался я сам один, и в своем растерзанном сердце чувствовал, что то, что теперь совершается, более относится к кругу Божиих велений, нежели человеческих действий. Ужасный шум из Голгофы доносился до моих ушей, ветерок, казалось, несет ко мне чувство смертной борьбы, в какой не оканчивал жизни ни один из смертных. Черное облако покрыло башню храма, распространилось над городом и покрыло его черным покрывалом. Везде на земле эти страшные небесные знамения, почему, как говорят, Дионисий Ареопагит воскликнул: «Или творец мира страдает, или портится целая машина

вселенной». В первом часу ночи, одетый плащом, я шел в город и... направился к Голгофе. Там нашел я жертву уже оконченную — жертву, которая так недавно была принесена человеческою злобою... Молча, наклонив голову к земле, со стыдом возвращался народ в Иерусалим, потому что виденное наполнило их души страхом и сокрушением. Стража римская прошла около меня также в молчании, хорунжий закрыл своего орла в знак печали...

С обеспокоенною душою воротился я в преториум. Приблизившись к лестнице, я, *при блеске молнии, увидел себя запятнанным кровию назарянина...»* (с. 25—26; здесь и далее выделено мною. — *В.Л.).*

Отметим также, что во вступлении к легенде имеются такие слова: «История страданий Господа нашего показывает, что Пилат не принадлежал к числу заклятых врагов Спасителя... Он осудил Христа невиновного, против своей совести. *И вот она никогда не дает ему покоя»* (с. 3—4).

Из недальних казарм за дворцом... — При редактировании текста писатель стремился убрать все, что явно напоминало современность. В следующей редакции: «От флигелей, стоящих в тылу дворца...»

С. 376. **...ужасная болезнь — гемикрания...** — Гемикрания, от *греч.* hemikrania (половина черепа). Непроходящая головная боль в «половине головы». В России привилось французское ее название — мигрень. Булгаков многие годы страдал от этой болезни, поэтому «со знанием дела» описывал ее свойства и действие.

...вложил в нее дощечку. — В следующей редакции Булгаков исправил на более правильное: «... вложил в эту руку кусок пергамента».

С. 378. **...все перепутали, что я говорил... они неверно записывают за мной.** — Булгаков затрагивает вопрос о «противоречиях», якобы имеющихся в Евангелиях. Противники христианства поднимали этот вопрос во все века, пытаясь посеять сомнения в отношении текстов евангельских повествований. В 20-е гг. богоборцы всех мастей вновь стали оспаривать достоверность евангельских текстов. Часто проводились диспуты на эту тему. С удовольствием в них участвовали, например А.В.Луначарский и митрополит обновленческой «церкви» А.И.Введенский. Один из таких диспутов между ними был опубликован в брошюре: Луначарский А.В. Личность Христа в современной науке и литературе М.: Безбожник, 1928. Эта брошюра была тщательно изучена Булгаковым. Мы приведем из нее отрывок, который привлек внимание писателя.

«Введенский. ...Я ...должен попытаться реабилитировать Евангелия от некоторого, я бы сказал, обывательского взгляда на учение церкви о слове Божием. Оно боговдохновенно, следовательно, вы себе так представляете, что Бог, на манер лектора, диктовал, а стенографы, в виде святых апостолов, записывали...

Луначарский. Это была бы, пожалуй, лучшая техника.

Введенский. Но, обращаясь хотя бы к нашим стенографам (пардон, мадам), меня так много записывали, что я знаю, что и наши человеческие силы не всегда хорошо записывают человеческую речь. Так что даже если подходить к апостолам как к стенографам, очень может быть, что на них не следует сетовать более, чем на многих стенографов наших дней. Но апостолы никогда не хотели выступать в лице стенографов. Или вы думаете, что Христос шествовал по Галилее, а апостолы, в виде милиционеров истории, тотчас же в протоколе фиксировали... Дело вот в чем: у нас читается: Евангелие от Иоанна, от Матфея, от Луки, от Марка, а по-гречески стоят четыре буквы — «Ката». По-гречески это значит «по»: Евангелие по Марку, по Луке, по Матфею, по Иоанну. Вы видите, как церковь предупреждает — не стенограмма, не протокол, не мемуары... Не результат чрезвычайной следственной исторической комиссии написан. Нет! Это поистине «по», то есть как апостолы

пишут, исходя из своей психологии. Они записывали Евангелие как воспоминания. И в Евангелиях нет противоречий, а есть субъективное восприятие. Евангелие божественно по своему духу, а не по букве» (с. 37—38).

Есть много работ, авторы которых более убедительно, нежели А.И.Введенский, доказывают, что в Евангелиях нет противоречий (см., например, того же Фаррара). Однако по Булгакову получается, что в Евангелиях все-таки «путаница» есть, и продолжаться она будет, по его мнению, весьма продолжительное время. Если принимать всерьез «евангелие от Воланда» как попытку писателя ревизовать основы христианства, то можно констатировать отход Булгакова от евангельских повествований. Но если рассматривать «евангелие от Воланда» как автобиографические зарисовки писателя, то все получается логично. Общеизвестно, что политический сыск проявлял колоссальный интерес ко всему, что было написано Булгаковым или продиктовано (рассказано) им кому-либо. Дневники и некоторые рукописи писателя были изъяты органами ГПУ, а за ним самим «записывали» везде, где он только появлялся: на различных литературных чтениях («Никитинские субботники» и проч.) и кружках («Зеленая лампа» и др.), в «Гудке», в театре, на вечеринках и даже в собственной квартире. Вот только один пример (лояльно-профессорский) из многочисленных записей (от 14 марта 1936 г.):

«Статья в «Правде» и последовавшее за ней снятие с репертуара пьесы М.А.Булгакова «Мольер» особенно усилили как разговоры на эту тему, так и растерянность. Сам Булгаков сейчас находится в очень подавленном состоянии (у него вновь усилилась его боязнь ходить по улице одному), хотя внешне он старается ее скрыть. Кроме огорчения от того, что его пьеса, которая репетировалась четыре с половиной года, снята после семи представлений, его пугает его дальнейшая судьба как писателя... В разговорах о причинах снятия пьесы он все время спрашивает: «Неужели это действительно плохая пьеса?» — и обсуждает отзывы о ней в газетах, совершенно не касаясь той идеи, какая в этой пьесе заключена (подавление поэта властью). Когда моя жена сказала ему, что на его счастье рецензенты обходят молчанием политический смысл его пьесы, он с притворной наивностью (намеренно) спросил: «А разве в «Мольере» есть политический смысл?» — и дальше этой темы не развивал... В театре ему предлагали написать декларативное письмо, но это он сделать боится, видимо, считая, что это «уронит» его как независимого писателя и поставит на одну плоскость с «кающимися» и подхалимствующими. Возможно, что тактичный разговор в ЦК партии мог бы пробудить его сейчас отказаться от его постоянной темы — противопоставления свободного творчества писателя и насилия со стороны власти, темы, которой он в большой мере обязан своему провинциализму и оторванности от большого русла текущей жизни» («Я не шепотом в углу выражал эти мысли». С. 37—39).

«Записанное» — собиралось и систематизировалось в ОГПУ в «деле Булгакова». Туда же иногда попадали и «записи», которые имели совершенно другое предназначение. Например, там могли оказаться заметки П.С.Попова о Булгакове, поскольку Попов также находился «под колпаком». В архиве писателя сохранилась тетрадочка, в которой есть такая любопытная запись Н.Н.Лямина: «У меня есть чудный друг — Патя Попов, он мой старый знакомый и приятель... пишет разную галиматью (Макину биографию, например). Уже дошел до «самых корней» его происхождения...» (ОР РГБ. Ф. 562. К. 17. Ед. хр. 19). Именно «корни» более всего и интересовали «специалистов на Лубянке.

Пятнадцать лет (!) ходили за Булгаковым «добрые люди» и «записывали» каждое его слово, создавая своеобразное «евангелие от Булгакова», отрывки из которого появились в печати совсем недавно. Писатель прекрасно знал,

что многие из окружения принимают участие (вольно или невольно) в создании его «евангелия», и боялся «искажений», «вранья» и «путаницы». Кстати, в последней редакции романа речь уже идет не о многих «тысячелетиях», в течение которых будет продолжаться «путаница», а лишь о «долгом времени». Эта поправка весьма симптоматична.

Добавим к сказанному, что многие факты свидетельствуют о том, что примерно в 1928 — начале 1929 гг. на Булгакова был написан донос, произведший на писателя сильнейшее впечатление (пока он не опубликован, но о его содержании можно судить по другим доносам этого страшного для писателя времени, в которых, например, были такие сведения: «О «Никитинских субботниках» Булгаков высказал уверенность, что они — агентура ГПУ. Об Агранове Булгаков говорил, что он друг Пильняка, что он держит в руках «судьбы русских литераторов», что писатели, близкие к Пильняку и верхушкам Федерации, всецело в поле зрения Агранова, причем ему даже не надо видеть писателя, чтобы знать его мысли»). С этого времени тема предательства и доносительства стала одной из главных в творчестве Булгакова.

Так что фразу Иешуа о «путанице» в записях «добрых людей» следует отнести не к древнейшим легендарным временам, а к временам сравнительно недавним, происходившим в «красном Ершалаиме».

С. 381. **...перерезать, уж наверно, может лишь тот, кто подвесил.** — Это один из ключевых эпизодов не только данной главы, но и всего романа. Он, конечно, многозначен. Но нельзя не обратить внимания еще на один фрагмент из «евангелия от Пилата», который непосредственно связан с мыслью о волоске, на котором подвешена жизнь героя:

«Юноша, — сказал я, — доселе просил я тебя, теперь слушай моих приказаний. Спокойствие вверенной мне провинции требует этого; умеряй свои слова. Берегись преступить мое приказание, понимаешь меня, иди и будь счастлив!»

«Наместник Римский! — сказал он. — Что приношу я народам, не есть война, но любовь и милосердие. Я родился в тот день, когда кесарь Август даровал покой римскому миру, из-за меня война не произойдет, напротив, ее произведут другие, а когда приблизится страдание, удаляться от него не буду, покорюсь ему из послушания воли Отца моего, Который указал мне путь. Твой практический совет не осмыслен! *Не в твоей силе удержать жертву, которая идет на алтарь»* (Последние дни жизни Пилата... С. 20). Пилат в данном случае рассказывает о своей беседе с Иисусом Христом, состоявшейся до трагических событий.

А вот свидетельство из Евангелия от Иоанна уже о времени событий: «Я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? И Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было тебе дано свыше...» (19:10-11).

С. 384. — **Ты думаешь, несчастный, что римский прокуратор может отпустить человека, говорившего то, что говорил ты? Безумец!** — Это вопрос, который был одним из определяющих для писателя и с точки зрения правды «исторической», и с точки зрения современной действительности. По общему свидетельству евангелистов (в том числе и апокрифического евангелия Никодима), Пилат не сомневался в невинности Подсудимого и утверждал, что «предали его из зависти». Он же неоднократно обращался к иудеям с предложением отпустить Узника. И лишь после того, как он услышал угрозы послать жалобу кесарю на его действия, Пилат резко изменился и фактически немотивированно предал на смерть невинного.

Но для Булгакова нужны были более аргументированные причины «трусости» Пилата. И он их нашел в ряде источников. Сошлемся хотя бы на книгу того же Маккавейского. По поводу «трусости» Пилата в ней сказано: «Ке-

сарь в эпоху греко-римского государства сосредотачивал в своих руках все должности и почести, которые прежде были распределены между главными сановниками и представителями государства. Он был президентом законодательного собрания; он был постоянным главою национальной религии, несменяемым pontifex maximus. Его личность была священною и неприкосновенною... Он стал постоянным консулом, или верховным сановником, над всем римским миром. Наконец, кесарь сделался и императором, или военным главою, которому присягал каждый солдат в легионе. Таким образом, в этом одном человеке сосредотачивалось теперь все государство; потому измена ему была равна измене против государства; «противник кесарю» должно было звучать как «противник величеству римского государства». Пилат был amicus Caesaris, который, соединяясь с высшими должностями — легата, префекта, проконсула и др., указывал на близкие отношения к императору. Перестать быть «другом кесаря», в чем обвиняла его толпа, значило сделаться изменником императору, а вместе с тем и целому государству.

Легко понять после этого, как могли подействовать на Пилата немногие, но страшные слова, так смело брошенные ему в лицо...» (с. 157—158).

Не менее сильно об этом же сказано у Фаррара:

«Пилат задрожал при страшном имени кесаря. Это было заклятое имя, и оно было выше всего. Он вспомнил о страшном обвинении в оскорблении величества... обвинении, при котором бледнели все прочие, которое приводило к конфискации имения, к пытке и было причиною страшных кровопролитий на улицах Рима... Пораженный страхом, неправедный судья, подчиняясь собственным своим опасностям, сознательно предал неповинную жертву на муки смерти» (с. 455). И еще: «Пилату представлялся великолепный случай показать величие кесарского правления и объявить Иисуса невинным, совершенно освободить Его. Но в этом-то он и начал колебаться и медлить... Он стал действовать нерешительно, чтобы только не возбуждать опасных фанатиков. Чтобы явно не высказать, что считает все их обвинения пустыми, он решил наказать публично Иисуса бичеванием, чтобы таким образом обесславить Его, опорочив в глазах народа, и сделать Его притязания смешными, а потом уже отпустить Его на свободу... Но над Пилатом тяготело сознание прежнего преступления; это сознание рождало трусость, а трусость уже есть слабость...» (с. 448). Именно это место в сочинении Фаррара более всего привлекало Булгакова, ибо оно, как на ладони, раскрывало ситуацию, сложившуюся вокруг писателя в 1929—1930 гг.

С. 387. **...настал теперь мой час... Полетит весть... самому императору...** — Из многих легенд, сложившихся о Пилате, особый интерес представляют так называемые «Письма Пилата» императору Тиберию (в нескольких вариантах). Мы приведем одно из них, напечатанное в книге Н.Маккавейского «Археология истории страданий Господа Иисуса Христа» (Киев, 1991. С. 163).

«Понтий Пилат Клавдию. Недавно случилось, чему я сам свидетель, что иудеи через свою зависть жестоко наказали себя и своих потомков. Именно, — как имели отцы их обещание, что Бог их пошлет им с неба Святого своего, который по достоинству будет называться их царем, и Он обещал, что пошлет Его на землю через Деву: так в мое наместничество, когда Бог евреев послал Того в Иудею и увидели, что Он слепым дает зрение, прокаженных очищает, расслабленных исцеляет, демонов изгоняет из людей, даже мертвых воскрешает, повелевает ветрам, сухими ногами путешествует по волнам моря и делает многое другое, когда весь народ иудейский уверовал, что Он Сын Божий, — начальники иудейские воспылали завистью к Нему и схватили Его и передали мне, и многое лжесвидетельствовали мне о Нем, говоря, что Он волшебник и поступает против их закона. Я поверил, что это так, и предал Его в их волю для бичевания. Они же распяли Его и над погребен-

ным держали стражу. На третий день, в то время как воины мои стояли на страже, Он воскрес: злоба же иудеев возгорелась до того, что они дали деньги солдатам, говоря: скажите, что ученики Его украли Его тело. Но они, хотя взяли деньги, однако не могли умолчать о том, что случилось. Ибо засвидетельствовали, что они видели, как Он воскрес и что взяли деньги у иудеев. — Об этом же доношу, чтобы кто не налгал, иначе и ты не вздумал бы верить лжи иудеев».

С. 458. **Явление героя.** — Ранее глава называлась более скромно: «Полночное явление».

...мужчина лет тридцати восьми... — Булгаков нарочито наделяет героя внешними гоголевскими чертами. Ранее, в «Полночном явлении», герой — «человек лет 35 примерно, худой и бритый блондин...»

С. 462. **—Я мастер...** — Фраза, вызвавшая множество толкований и споров у исследователей. Напомним, что в черновой рукописи, датированной автором «7/1. 1934», перед Воландом предстает, вызволенный из тюремного лагеря его помощниками Бегемотом и Фиелло, любовник Маргариты — безымянный Поэт. Это соответствовало замыслу автора, записавшего в тетради осенью 1933 г.: «Встреча поэта с Воландом». Но вот 15 сентября 1934 г. в рукописи герой впервые назван «мастером» (Азазелло, «сменивший» Фиелло, обращается к герою: «Я уж давно жду этого восклицания, мастер»).

Вполне понятно, что Булгаков придавал особое значение понятию «мастер» и мог наделить своего героя (то есть автора романа) этим ко многому обязывающим эпитетом при твердом убеждении в том, что герой действительно достиг в своем творчестве высочайшего мастерства. И события осени 1934 г. как нельзя лучше способствовали тому, чтобы писатель утвердился в этом убеждении.

Возвратившийся из-за границы Станиславский тепло приветствовал Булгакова («...увидел М.А. — поцеловались. К.С. обнял М.А. за плечи и так пошли») и пожелал ставить «Мольера». Писатель, кстати, ждал возвращения Станиславского с нетерпением.

Другие театры изъявили желание ставить «Мольера», и в связи с этим возник вопрос об отзыве на эту пьесу Горького. Е.С.Булгакова зафиксировала в дневнике 8 сентября этот горьковский отзыв: «О пьесе Булгакова «Мольер» я могу сказать, что — на мой взгляд — это очень хорошая, искусстно (так в тексте, т.е. мастерски. — *В.Л.)* сделанная вещь... Автору удалось многое, что еще раз утверждает общее мнение о его талантливости и его способности драматурга. Он отлично написал портрет Мольера на склоне его дней... Так же хорошо, смело и — я бы сказал — красиво дан Король-Солнце, да и вообще все роли хороши... Отличная пьеса...» Надо полагать, этот отзыв был писателю приятен.

В это же время Булгаков был принят в Союз писателей. Вроде бы положительно решился вопрос с «Бегом». Предложения на экранизацию «Ревизора», «Мертвых душ» сыпались со всех сторон. Писатель принял ответственное решение о создании пьесы «Александр Пушкин»...

Но, быть может, самым главным событием этих дней (во всяком случае, в плане психологическом) было огромное внимание к Булгакову со стороны американцев. В Москву прибыла группа американских актеров, ставивших у себя в США «Дни Турбиных». Они посетили МХАТ и посмотрели пьесу в исполнении уже прославленных русских актеров (любопытно, что в это же время в зале находилась и группа актеров из Чехии, также поставивших у себя на родине «Дни Турбиных»). Внимание к американо-советскому «контакту» было столь велико, что посол СССР в США А.А.Трояновский обратился к американским актерам с приветствием: «Ваша постановка «Дней Турбиных» Михаила Булгакова будет, я уверен, вехой в культурном и художественном сближении наших двух стран».

Булгаков многократно встречался с американцами; они были в восторге от пьесы и ее автора и пригласили его посетить США. Посол США в СССР У.Буллит стал настоящим поклонником таланта писателя. Запись Е.С.Булгаковой 6 сентября: «...Буллит опять подошел к нам. Он сказал, что смотрит пьесу в пятый раз, всячески хвалил ее...» Уже позже, в 1936 г., Е.С.Булгакова зафиксирует слова Буллита о Булгакове («необычайно хвалебно говорил о пьесе, о М.А. вообще, называл его мастером»), но эти же слова посол мог сказать писателю и в сентябре 1934 г.

Таким образом, причиной замены наименования героя (и автора!) романа стала, на наш взгляд, совокупность важных событий вокруг Булгакова и ощущение им своего творческого потенциала.

Необходимо также отметить, что новое наименование героя придавало ему больше таинственности и загадочности, что также отвечало авторскому замыслу.

...в переулок близ Пречистенки, в две комнаты в подвале маленького домика в садике. — Мнения относительно помещения («квартиры мастера»), которое описано у Булгакова, расходятся: Л.Е.Белозерская указывает на жилище друзей писателя П.С.Попова и А.И.Толстой по Плотникову пер., д. 10, «на Арбате, в подвальчике, впоследствии воспетом в романе «Мастер и Маргарита». Уж не знаю, чем так приглянулся подвальчик Булгакову. Одна комната в два окна была, правда, пригляднее, чем другая, узкая как кишка...» (Белозерская Л.Е. Воспоминания. М., 1989. С. 110); Б.С.Мягков полагает, что в романе описана небольшая усадьба в Мансуровском пер., д. 9, где проживали другие друзья — Топлениковы (см.: Мягков Б.С. Булгаковская Москва. М., 1993. С. 168—175). Но мы хотели бы обратить внимание на следующий фрагмент письма П.С.Попова Е.С.Булгаковой от 27 декабря 1940 г.: «Я думал, что наш плотниковский подвальчик Миша так энергично выдрал из тетрадки (речь, видимо, идет о рисунке «подвальчика» в тетради П.С.Попова. — *В.Л.),* рассердившись на меня за что-то. Это, может быть, и так, но изъял это место Миша, конечно, по другой причине — ведь *наш подвальчик Миша использовал для описания квартиры мастера...* (выделено мною. — *В.Л.).* Словом, уступаю свою прежнюю квартиру» (см.: Булгаков М. Письма. Жизнеописание в документах. М., 1989. С. 533). Очевидно, исследователям необходимо все-таки присоединиться к мнениям Л.Е.Белозерской и П.С.Попова, особенно к последнему, ибо «хозяин дома» никак не мог ошибиться в данном случае.

Но тут я увидел ее... Она несла... желтые цветы. — Вопрос о прототипе Маргариты не столь уж прост, как кажется на первый взгляд. В том, что Елена Сергеевна Булгакова является основным прототипом главной героини романа, — у нас нет никаких сомнений. Но нет никаких сомнений и в том, что образ этот — собирательный. К сожалению, глубоких исследований на эту тему пока не было, хотя тема эта — благодатнейшая и многообещающая. Мы лишь отметим, что свидетельства М.П.Смирновой (Смирнова М.П. Встреча с мастером // Сахаров Вс. Михаил Булгаков. М., 2000. С. 403—418) не могут быть выдуманными и представляют немалый интерес. Тем более что в одном из черновиков романа героиня названа «Маргаритой Петровной» (имя и отчество Смирновой). Но были и другие прототипы героини, не менее интересные и своеобразные.

С. 465. **...критики Латунский и Ариман и литератор Мстислав Лаврович.** — Следует заметить, что Булгаков не оставлял без внимания ни одной критической статьи в свой адрес. Он вырезал их из газет и журналов, надписывал и вклеивал в альбом, который со временем превратился в толстенную книгу. Кроме того, он составлял список авторов этих статей. Так, один из списков имеет следующий заголовок: «Список врагов М.Булгакова по "Турбиным"». Среди десятков фамилий — известные имена: А.В.Луначарский,

Ф.Ф.Раскольников, М.Е.Кольцов, В.М.Киршон, А.А.Фадеев, А.И.Безыменский, В.В.Алперс, Р.Пикель и многие другие.

За фигурами критиков Аримана и Латунского узнаются активнейшие гонители Булгакова Л.Л.Авербах (1903—1939) — генеральный секретарь пресловутого РАППа, редактор ряда журналов, критик и публицист, и О.С.Литовский. А за именем Мстислава Лавровича просматривается Всеволод Вишневский, нередко обрушивавшийся с критикой на произведения Булгакова.

С. 466. **...сделал попытку протащить в печать апологию Иисуса Христа.** — Во многих «ругательных» статьях Л.Л.Авербаха и других критиков, направленных против «Дней Турбиных» и «Бега», употреблялись подобные выражения, только речь шла не о религии, а о Белом движении. Так, в статье И.Бачелиса «Бег назад должен быть приостановлен» (Комсомольская правда. 1928. 23 октября) говорилось, что МХАТ делает «попытку протащить *булгаковскую апологию белогвардейщины* в советский театр, на советскую сцену, показать эту написанную *посредственным богомазом* (выделено мною. — *В.Л.)* икону белогвардейских великомучеников советскому зрителю».

...крепко ударить по пилатчине и тому богомазу, который вздумал ее протащить... — В конце 20-х гг. в газетах нередко мелькали такие заголовки: «Ударим по булгаковщине!», «На посту против булгаковщины», «Против булгаковщины» и т.п. «Булгаковщина всех видов или полнокровная советская тематика? — так встанет вопрос перед МХТ сегодня, в день его тридцатилетней годовщины», — писал О.СЛитовский в «Комсомольской правде» 27 октября 1928 г.

...называлась статья Латунского «Воинствующий старообрядец». — Этим названием Булгаков как бы обобщил совокупность лживых статей, которых были десятки. Так, Р.Пикель в статье «Начало итогов» (Советский театр. 1930. № 1) писал: «Имя Булгакова было синонимом неприкрытого сменовеховства, устряловщины и мелкобуржуазной политической реакции на театре и одновременно знаменем и целой программой для ретроградных и консервативных группировок...»

С. 468. **...Я тебя вылечу, не дам тебе сдаться...** — Здесь Булгаков воспроизводит слова Елены Сергеевны, часто произносившиеся ею в тяжелые для писателя времена. 14 января 1933 г. Михаил Афанасьевич писал своему брату Николаю в Париж: «Силы мои истощились... Елена Сергеевна носится с мыслью поправить меня в течение полугода. Я в это ни в какой мере не верю, но за компанию готов смотреть розово на будущее».

С. 469—470. — **Я стоял в том же самом пальто, но с оторванными пуговицами... заросший громадной бородой, в дырявых валенках...** — Писатель недвусмысленно намекает, что герой был арестован и несколько месяцев находился в «местах не столь отдаленных».

С. 471. **Слава петуху!** — Согласно многим легендам и народным преданиям, петух — символ света и солнца; его крик символизирует уходящую тьму и наступающий рассвет, всякая нечисть с этого момента начинает терять свою силу. У Булгакова образ петуха буквально пронизывает все его творчество.

А.И.Куприн однажды описал поведение «нансеновского петуха», попавшего на борту «Фрама» в заполярную ночь: «Он так привык к тому, чтобы вслед за его звонким криком послушно всходило великолепное солнце, что в первый раз, когда оно не выкатилось из-за горизонта, Петух гневно ударил шпорой и уже приготовился сказать, подобно своему знаменитому тезке:

— Мне кажется, что я ждал?

Но солнце не появилось даже с опозданием. Петуху пришлось повторить свой возглас еще раз, и еще, и еще. Солнце не повиновалось. Через несколько ужасных дней Петух сошел с ума...»

И далее Куприн сравнил этого несчастного петуха с русским зарубежьем, с Россией, с русским народом, утратившим «понятие о месте и времени выхо-

да солнца» (К у п р и н А.И. Нансеновские петухи // Общее дело. Париж. 1921. 2 мая).

С. 476. **...присасывать и причмокивать, резкие изменения голоса...** — При создании образа Варенухи писатель использовал рассказ А.К.Толстого «Упырь».

С. 477. **Варенуха не отбрасывал тени.** — Булгаков, очевидно, был знаком с книгой А.Шамиссо (1781—1838) «История Петера Шлемеля» (1814), герой которой продает свою тень нечистой силе. Продавший свою тень (или утративший ее по какой-то другой причине) уже не отбрасывает ее и числится в договоре с нечистой силой. Позже этот мотив был использован писателями при описании «демонических» явлений (А.К.Толстой и др.).

С. 478. **Сон Никанора Ивановича.** — Одна из самых острых в политическом отношении глав романа. При публикации романа в журнале «Москва» (1966—1967) эта глава была почти полностью запрещена цензурой. И это несмотря на то, что автор построил ее в иронически-сатирическом плане, без видимой жалости и сочувствия к пострадавшим.

Дело в том, что Булгаков затрагивал одну из самых зловещих тем в истории прошедшего века — периодически проводимых реквизиций у населения (и у церковных учреждений) в пользу государства. На самом же деле изъятия ценностей проводились чаще всего (особенно в годы Гражданской войны и в начале 20-х гг.) без оформления самой элементарной учетной документации, и у руководителей изъятия имелись неограниченные возможности для присвоения этих ценностей. Автор этих строк познакомился с материалами «муниципализации торговли» в Москве в 1919 г., которая проводилась Каменевым и Гроссбергом. Редчайшие ценности вывозились из «Мюр и Мерилиза» и множества других магазинов сотнями возов без составления какой-либо документации. Грабеж был колоссальным, невиданным. Участники грабежа в один день становились богатейшими людьми. Сколько из общего количества изъятых ценностей оставалось у государства — никто, конечно, сказать не может.

Изъятия золота и валюты в последующие годы проводились более организованно и сопровождались жестокостями чрезвычайными, ибо в руках ВЧК (ОПТУ, НКВД) были сосредоточены, по сути, все виды власти. Как писал в свое время В.Г.Короленко, «революция чрезвычаек сразу подвинула нас на столетия назад в отношении отправления правосудия». Зато новые сановники обогащались несметно. Об этом очень часто писали газеты русского зарубежья. Так, 3 февраля 1928 г. в газете «Возрождение» была помещена злая заметка известного публициста Александра Яблоновского под названием «Луначарочки». На сей раз в публикации говорилось не о гареме Луначарского и ему подобных и не о «грехопадении луначарочек», а об одежде и украшениях, которые им раздаривают нарком просвещения и другие сановники из различных «источников»: бриллианты, диадемы из жемчуга и пр.

Булгаков, конечно, был в курсе всех этих безобразий и отвечал на них так, как и мог ответить: сатирой и презрением.

С. 479. **Прямо скажем, все воры...** — Вот так ненавязчиво, в диалоге Булгаков раскрывает «страшные черты» русского народа (см. его письмо правительству от 28 марта 1930 г.).

С. 486. **Пушкиным-то меня не удивишь...** — В ранней редакции конец главы более эффектный и острый — с проповедью священника о необходимости сдачи валюты: «...Божие Богу, но кесарево... принадлежит кесарю», то есть существующей власти.

С. 487. **На Лысой Горе.** — Многое еще в романе остается тайной. И проясняться оно будет по мере более глубокого изучения жизненного пути писателя, в том числе и во время Гражданской войны. Вполне понятно, что и в Киеве в 1918—1919 гг., и на Кавказе в 1919—1920 гг. Булгаков был свидетелем

(вольным или невольным) многих жутких сцен, о которых он, по вполне понятным причинам, ничего не говорил. Но он, несомненно, использовал свои впечатления для описания тех или иных событий в своих художественных произведениях. Лексика и зарисовки Гражданской войны встречаются и в главе «На Лысой Горе». Здесь действуют «взводы» и «эскадроны», «солдаты» и «офицеры»...

Нет смысла в усердном сопоставлении описанной им казни Иешуа с казнью Иисуса Христа, поскольку Булгаков, обладая чувством меры, использовал лишь некоторые эпизоды из евангельских повествований, чтобы создать видимость «похожести» в этих двух описаниях казни. На самом деле в романе распинается именно «Иешуа», которому суждено было жить и творить в «красном Ершалаиме» в двадцатые-тридцатые годы. И «игемон», и «Каифа» — совершенно прозрачны, поскольку также действуют в те же годы в том же месте. Загадочен лишь «Левий», с такой редчайшей преданностью относящийся к Иешуа (Е.С.Булгакова очень любила этот образ, находя в нем кое-какие свои черты; но Левий Матвей был сотворен писателем в 1928—1929 годах!). И не случайно «толпа» и «чернь» фактически не играют никакой роли в судьбе Иешуа (в первых редакциях романа Воланд, отвечая на вопрос Берлиоза об участии толпы в подстрекательстве к казни Иешуа, говорит: «Помилуйте! Желал бы я видеть, как какая-нибудь толпа могла вмешаться в суд, чинимый прокуратором, да еще таким, как Пилат!.. Да и зачем она станет завывать? Решительно ей все равно, повесят ли кого или расстреляют. Толпа, Владимир Миронович, во все времена толпа — чернь...»). Судьбу Иешуа решают Каиафа и Пилат. Причем надо заметить, что в процессе работы над романом (от редакции к редакции) писатель роль Каиафы, выражающего интересы кабба-лы, сужает, а роль (и вину!) прокуратора в гибели Иешуа поднимает.

С. 488. **...и таблицами с надписями на трех языках...** — И ни слова не говорится о том, что же было написано на этих таблицах. В позднейшей редакции Булгаков добавляет: «...на каждой из которых было написано "Разбойник и мятежник"».

В данном случае писатель совершенно сознательно отходит от важнейшего евангельского события, как бы подчеркивая, что речь идет совсем о других временах и других лицах. Сравним с описанием этого события в книге Фаррара «Жизнь Иисуса Христа» (одном из основных литературных источников для Булгакова):

«Когда крест был поставлен, иудейские начальники в первый раз ясно заметили смертельное себе оскорбление, в котором Пилат выразил свое негодование. Раньше, по своей слепоте и самоуверенности, они воображали, что распятие Христа будет поруганием только Его Самого. Но теперь, когда они увидели Его висящим среди двух разбойников, на кресте более высоком, им внезапно пришло на мысль, что тут была публичная насмешка и над ними. Потому что на белой, выкрашенной известкой, деревянной доске (эту деталь Булгаков в последней редакции ввел в текст — осужденные у него с «белыми досками на шее». — *В.Л.),* видимой так ясно над головой Иисуса Христа на кресте, имелась черными буквами изображенная надпись на трех самых распространенных языках древнего мира, из которых один несомненно был известен каждому в этой собравшейся толпе: на официальном латинском, ходячем греческом и народном арамейском. Надпись гласила, что Человек, преданный таким образом позорной рабской смерти, Этот Человек, распятый между двух разбойников, на виду у всего мира, был - ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ» (с. 771-772).

Булгаков извлекал из святых повествований только то, что могло быть приложено к судьбе «красноершалаимского» праведника, который в глазах власти был «разбойником и мятежником» (в пьесе «Кабала святош» он именовался «сволочью» и «каторжником»).

С. 490. **Причина отчаяния Левия заключалась в той тяжкой ошибке, которую он совершил...** — Образ Левия Матвея настолько неоднозначен, что исследователи пока лишь теряются в догадках, не предлагая ничего вразумительного для его разъяснения. Очевидно одно: Левий Матвей имеет мало общего с евангелистом Матфеем, и искать его прототип нужно вроде бы среди персонажей «красного Ершалаима». Но при этом возникает вопрос: как соотнести, например, столь трагически яркое и психологически верное описание «поведения» Левия Матвея во время казни Иешуа с московскими реалиями и ближайшим окружением писателя? Едва ли тут возможно провести параллели (не с точки зрения обстоятельств и условий «казни», а с точки зрения обретения столь отважного и преданного соратника и товарища, каковым представлен Левий Матвей). Скорее всего, образ Левия Матвея создавался Булгаковым как образ-мечта, ибо в самые отчаянные дни своей жизни, в январе 1930 г., он писал своему брату: «Я обречен... Защиты и помощи у меня нет».

Но нам удалось выяснить (отчасти), как создавался образ Левия Матвея (на примере именно описания жизни Иешуа). Среди легенд о Пилате выделяется очерк о его жизни под названием «Понтий Пилат. Рассказ из первых времен христианства» (СПб., 1893. Пер. с нем.). Особенность этой легенды заключается в том, что в ней дано полное «жизнеописание» Пилата — от детских лет и до смерти. Писатель многое использовал из этого очерка при создании не только образа Пилата, но и других героев романа. Описанная Булгаковым трагедия Левия Матвея также вытекает из этого легендарного источника. Чтобы было видно, как писатель творчески переработал привлекший его внимание текст, приведем обширную цитату из этого «Рассказа». При этом поясним читателю, что действие происходит в Германии, где родился и жил Пилат, которого в то время звали Ингомар. Не послушав предостережения сестры, он попал в плен к римлянам.

«В середине кружка стояла женщина. Трепещущая, с разорванною красною одеждою, спутанными волосами и окровавленными руками, старалась она защитить себя от слишком наглого военного, который хотел тащить ее далее. То была его мать!.. Достаточно было для Ингомара одного взгляда, чтобы узнать ее в оскорбленной женщине. Вероятно, и она, подобно сестре, отважилась на попытку спасти его. Как молния, пролетела эта мысль в голове Ингомара. Чувство раскаяния, о котором говорила в эту ночь его сестра, шевельнулось в его душе.

Но вот один солдат сорвал с головы его матери золотой венец и с насмешливой улыбкой передал своим товарищам...

Теперь уже Ингомар не мог более удержаться от овладевшего им гнева. Исступленный, бросился он в толпу, работая около себя вправо и влево кулаками, чтобы силою пробить дорогу к матери... Но это ему не удалось. Один из солдат грубо толкнул его в грудь, отчего он зашатался и упал навзничь, ударившись головою об острый камень: из глубокой раны тотчас же потекла обильная кровь. В глазах у него потемнело, и только неясно видел он, как они потащили мать его к хижине. После этого он потерял сознание.

Когда он пришел в себя, он уже не видел ее и все казалось ему сном. Однако только на короткое время он мог поддаться этому обману, потому что скоро он услышал из хижины жалобные вопли ужаса. Мать, очевидно, там заперли; в то же время он заметил, что дверь к ней крепко была притворена. Что же с нею хотят делать? В это время один из солдат притащил головню и положил ее на сухую соломенную крышу, которую вслед за тем охватил огонь. С быстротою молнии Ингомар понял намерение римских солдат. Стиснув губы от бешенства, он энергично вскочил на ноги... Но он опять сильным толчком был отброшен назад и, когда стал отчаянно защищаться,

его руки и ноги были схвачены, т.е. цепочка (которую ему подарили воины за ловкое метание копья. — *В.Л.)* сделалась цепью, как предупреждала его сестра. И вот теперь он лежал в нескольких шагах от хижины, где горело самое дорогое для него, что он до сих пор имел и что спасти он все-таки был бессилен. С часто задерживаемым дыханием он прислушивался к воплям матери, которая должна была умереть такою ужасною смертью... Сопровождаемый по сторонам воинами, он вместе с другими принужден был оставить место своей родины...

— Альбруна! — шепнул он в отчаянии. — Зачем я не послушал тебя!...

И слеза упала на его скованные руки» (с. 17—19).

Встретив через несколько лет сестру, Пилат, теперь уже видный военачальник, услышал от нее такой рассказ:

«Помнишь ли ты ту ночь в римском лагере? Тогда ты не послушался. И знаешь ли ты, какие были последствия твоего тогдашнего упрямства? Если ты еще имеешь сердце, то ты не забыл горящей хижины и ужасных воплей нашей матери... *Я все тогда видела с дуба* (здесь и далее выделено мною. — *В.Л.).* Я хотела спасти мать, когда вы ушли, но было уже поздно. *Во всю жизнь я никогда не забуду мучительных часов, которые я тогда провела на дереве.* Быть близко к ней и в то же время так далеко. И все это, Ингомар, было наказанием за то, что ты, в своей привязанности к римскому блеску, пренебрег моим первым предупреждением... Это проклятие твоей первой трусости, твоего первого безумного поступка...» (с. 65—66).

Можно только подивиться тому, как Булгаков умел читать источники, находить в них самое сокровенное, а затем использовать найденное в своих уже тщательно продуманных сюжетах. В данном случае описание в легенде попыток Пилата и его сестры спасти в безнадежной ситуации свою мать послужило основой для создания главы «Казнь» и раскрытия образа Левия Матвея.

С. 494. — **Что тебе надо? Зачем подошел ко мне? Что ты хочешь еще от меня?** — Совершенно немыслимые для евангельских повествований слова. Но они находятся в полной гармонии с отчаянным криком царевича Алексея из чернового варианта «Петра Великого» (Булгаков работал над либретто к опере «Петр Великий» в одно время с «закатным романом» и потому «переклички» естественны): «О, признак страшный, роковой, повсюду гонится за мной, гнетет меня и давит! Нет, никогда меня он не оставит!»

— **Игемон...** — Это последнее слово Иешуа перед смертью (последним словом Иисуса Христа было: «Свершилось!»). И писатель оказался трагически гениальным провидцем, ибо в последние часы своей жизни, находясь в полузабытьи, он повторял: «Я хочу, чтобы разговор шел... о... Я разговор перед Сталиным не могу вести...» И далее, многократно: «Ответил бы!... Ответил бы непременно! Я ответил бы!»

Булгаков умирал с мыслью о несправедливом «игемоне»...

С. 496. **Надо сказать правду, все мы люди!** — Эти авторские «лирические отступления» в окончательной редакции были сняты.

С. 497. ...пес... Тузбубен... — Типичная булгаковская шутка, основанная на игре слов. В дореволюционные годы известна была полицейская разыскная собака Треф. Будучи карточным игроком, Булгаков без труда придумал собаке более звучную кличку.

С. 499. **А может, и Фаланд.** — В редакции под названием «Князь тьмы» действует не Воланд, а Фаланд (der Voland означает то же, что и der Faland, — черт).

С. 501. **...красавица Сусанна Ричардовна Брокар.** — В окончательной редакции «Анна Ричардовна».

С. 502. **...до Ваганьковского переулка...** — Переулок, соединяющий Воздвиженку со Знаменкой, на углу его расположен Дом Пашкова.

С. 503. **Второе отделение… помещалось во дворе, в... особняке…** — По всем приметам («...у решетки в переулке...», «...и жители трехэтажного дома, выходившего сбоку...») — это дом № 17, в котором, по иронии судьбы, разместилась бухгалтерия Российской государственной библиотеки.

С. 507. **...дядя покойного Берлиоза — Александр Максимилианович Радужный...** — В ранней редакции «Максим Максимович Латунский», в позднейшей — «Максимилиан Андреевич Поплавский».

...пятьсот штук книг... — Скрытая характеристика «новых гениев», на самом деле представлявших собой молодых людей, наспех напичканных коекакими знаниями и не имевших даже солидной библиотеки.

Квартира в Москве! Это серьезно. — Приехав в Москву, Булгаков писал матери в Киев 17 ноября 1921 г.: «Пишу это все еще с той целью, чтобы показать, в каких условиях мне приходится осуществлять свою idee-fixe. А заключается она в том, чтоб в три года восстановить норму — квартиру, одежду, пищу и книги. Удастся ли — увидим». Спустя два года, 30 сентября 1923 г., он записал в дневнике: «Если отбросить мои воображаемые и действительные страхи жизни, можно признаться, что в жизни моей теперь крупный дефект только один — отсутствие квартиры».

Его не радовали ни весенние разливы Днепра... — Незадолго перед этим (текст писался в 1937 г.), в июне 1936 г., Булгаков делился своим желанием в письме С.А.Ермолинскому: «Киев настолько ослепителен, что у меня родилось желание покинуть Москву, переселиться, чтобы дожить жизнь над Днепром».

С. 514. **Фрак... Впрочем, если угодно, пиджак...** — Булгаков обыгрывает разговор, состоявшийся у него 31 марта 1937 г. с женой американского дипломата Дж.Кеннана. Е.С.Булгакова зафиксировала его в своем дневнике:

«А днем... пришло приглашение на бал-маскарад в американском посольстве, устраивает дочь посла.

До чего же это не вяжется с нашим настроением!

Вечером М.А. позвонил жене Кеннана, а потом я с ней говорила. Она страшно уговаривает прийти:

— Какой-нибудь оригинальный костюм!

— А мужчины будут во фраках?

Она отвечает (с сильным акцентом):

— Нет, я думаю, можно смокинг тоже. Но костюм лучше! Маски даются там.

А где, какой смокинг? Где туфли лакированные? Рубахи, воротнички?..»

С. 516. **...шарахнулась большая темная птица, задев крыльями лысину буфетчика. Она... оказалась совой.** — Согласно народным преданиям, если сова пролетит над головой человека или, что еще хуже, заденет его, то этот человек вскоре должен умереть.

С. 518. **— Марта, проводи!.. — В** следующей редакции — «Гелла».

С. 521. **Я вернулась, как несчастный Левий, слишком поздно.** — Далее три листа в тетради вырвано.

С. 526. **...а Аримана не видите? — Ариман с другой стороны… вон мелькает лысина...** — Из этого «намекающего» текста совершенно ясно, что речь идет о Л.Авербахе, обладателе большой лысины. В следующей редакции этот фрагмент был снят. В дневнике Е.С.Булгаковой имеется запись от 21 апреля 1937 г.: «Слухи о том, что с Киршоном и Афиногеновым что-то неладно. Говорят, что арестован Авербах. Неужели пришла судьба и для них?»

С. 527. **Где Мстислав Лавровский?** — Он же, ранее, Мстислав Лаврович. Запись Е.С.Булгаковой от 11 апреля 1937 г.: «Мише рассказывали на днях, что Вишневский выступал (а где — черт его знает!) и говорил, что «мы зря потеряли такого драматурга, как Булгаков».

А Киршон говорил (тоже, видимо, на этом собрании), что время показало, что «Турбины» — хорошая пьеса.

Оба — чудовищные фигуры! Это были одни из главных травителей Миши. У них нет ни совести, ни собственного мнения».

Кто подписывается «З.М.»? — В другом месте было: «М.З.». Скорее всего, речь идет о М.Б.Загорском, который был включен Булгаковым в список своих «врагов». Запись Е.С.Булгаковой от 15 февраля 1936 г.: «Генеральная прошла чудесно (речь идет о пьесе «Мольер». — *В.Л.)...* <...> Но зато у критиков, особенно у критиков-драматургов, лица страшные. Марков в антракте рассказывал, что Крути, Фельдман и Загорский ругали пьесу. Причины понятны».

...вон Лавровский!., мелькнули смутно широкое лицо и белый китель. — Совершенно определенное указание на Вс.Вишневского, которое было снято в следующей редакции.

С. 532. **...Маргарита... уехала... к одной даме, занимающейся маникюром н приведением женских лиц в порядок.** — Эту автобиографическую для Е.С.Булгаковой черту писатель не мог не отразить в романе, поскольку для нее походы к маникюрше, массажисткам и парикмахерам были своеобразным ритуальным действом. Вот некоторые ее записи в дневнике: «Сегодня суетливый день. Массаж...»; «Суматошный день... Елисавета Карповна — массаж...»; «...мне нездоровится, я дома. Маникюрша. Был портной...»; «Днем — **я** в парикмахерской...»; «Я вернулась домой от косметички утром...»; «Массируемся ежедневно...»; «Вечером была Анна... Мы с Мишей привели себя в порядок — прическа, стрижка, маникюр»; «М.А. пошел днем в Большой, а я в парикмахерскую...» и т.д.

С. 536. **...кривой и длинный переулок с покосившейся дверью нефтелавки...** — Н.Шапошникова в очерке «Булгаков и пречистенцы» (Архитектура **и** строительство Москвы. 1990. № 5. С. 23) пишет: «Не существовало химчисток, прачечных в том смысле слова, в каком мы привыкли понимать теперь... Шерстяные вещи... мыли в «бензине» — специальной жидкости, продававшейся в керосиновых лавках — прежних хозяйственных магазинах, — Булгаков именует их «нефтелавками» на более старинный лад». В данном случае Булгаков, по всей видимости, упоминает нефтелавку, которая находилась в доме № 22 по Сивцеву Вражку.

С. 537. **Приятно разрушение, но безнаказанность, соединенная с ним, вызывает в человеке исступленный восторг.** — Эти строки Булгаков писал **в** 1937 г., **и** понятно, что в последующих редакциях они были сняты автором.

— Царствую над улицей! — прокричала Маргарита... — Булгаков развивает все тот же мотив безнаказанного самовластия. Эти слова, естественно, также были исключены автором при корректировке текста.

С. 547. **...про кровавую свадьбу какого-то своего друга Гессара...** — Речь идет о свадьбе Маргариты Валуа, дочери французского короля Генриха II и Екатерины Медичи, с Генрихом Наваррским, закончившейся величайшим кровопролитием — Варфоломеевской ночью. На свадьбу в Париж съехались гугенотская аристократия и рядовые дворяне из южных провинций. 18 августа 1572 г. была отпразднована свадьба, в ночь на 24 августа, в канун дня Св. Варфоломея, ударил набат и началась резня гугенотов. В рабочих материалах к роману имеется такая запись: «Маргарита Валуа (1553—1615). Варфоломеевская ночь, кровавая свадьба». Имя Маргарита Булгаков жирно подчеркнул чернилами и красным карандашом.

Гессар — издатель писем Маргариты Валуа в Париже в 1842 г.

С. 549. **...на каком-то кладбище в районе Дорогомилова.** — Одно из старых кладбищ, которое было ликвидировано при застройке Москвы.

...на цыпочках подошел к перилам, глянул вниз. — В дневнике Е.С.Булгаковой (в первой неопубликованной редакции) есть любопытная запись от

8 ноября 1935 г.: «...решили идти в «Националь»... Сидим. Еда вкусная. Вдруг молодой человек, дурно одетый, вошел как к себе домой, пошептался с нашим официантом, спросил бутылку пива, но пить ее не стал, сидел, не спуская с нас глаз. Миша говорит: «По мою душу». И вдруг нас осенило. Шофер сказал, что отвезет, этот не сводит глаз, — конечно, за Мишей следят. Дальше лучше. Я доедаю мороженое, молодой человек спросил счет. Мы стали выходить. Оборачиваемся на лестнице, видим — молодой человек, свесившись, стоит на верхней площадке и совершенно уж беззастенчиво следит за нами. Мы на улицу, он без шапки, без пальто мимо нас, мимо швейцара, шепнув ему что-то. Сообразили — вышел смотреть, не сядем ли мы в какую-нибудь иностранную машину. Ехали в метро, хохотали».

С. 551. **...весенним балом полнолуния...** — Не исключено, что мысли о весеннем бале полнолуния были навеяны посещениями американского посольства весной 1935 г. и присутствием на фантастических по богатству балах.

С. 553. **Воланд сидел... в одной ночной рубашке, грязной...** — Об одеяниях персонажей из царства тьмы см.: Орлов М.А. История сношений человека с дьяволом. СПб., 1904. С. 32.

...разглядела... жука на золотой цепочке и с какими-то письменами на спинке. — Скарабей — языческий амулет в Древнем Египте, символизировавший зло, порождающее добро.

С. 554. **...окаянный Ганс!**—Здесь—«дурак» или «дурачок» от *нем.* die Gans—дура

С. 555. **...такие знатоки, как Секст Эмпирик, Марциал Капелла...** — Секст Эмпирик (кон. II — нач. III в.) — древнегреческий философ и ученый, представитель скептицизма, историк логики. Марциал Капелла (V в.) — африканский неоплатоник, писатель, автор энциклопедии, написанной в форме романа.

...неслышно вскользнул тот траурный... Абадонна. — В Апокалипсисе упомянут ангел бездны, имя которого по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион (губитель). В рабочей тетради писателя помечено: «Абадонна — ангел смерти». В романе «Белая гвардия» Аваддоном назван Л.Д.Троцкий.

С. 557. **...боль в колене оставлена мне... ведьмой, с которой я близко познакомился в 1571 году в Брокенских горах...** — Брокен — самая высокая гора в горной цепи Гарц (Северная Германия), на которой, по преданиям, в Вальпургиеву ночь (на 1 мая) устраивался бесовский шабаш. Это же место использовано Гёте в «Фаусте» при описании Вальпургиевой ночи.

С. 558. **Там началась война.** — По описаниям страны («квадратный кусок, бок которого моет океан»...) можно предположить, что речь идет об Испании.

С. 561. — **Бал! — пронзительно визгнул кот...** — Булгаков и в более ранних редакциях пытался превратить сцену шабаша в грандиозное зрелище. Тут ему помогли посещения американского посольства в Москве в 1935 г. Особенно яркое впечатление произвел на писателя колоссальный бал, устроенный американским послом У.Буллитом 22 апреля 1935 г. Очень интересно сравнить записи в дневнике Елены Сергеевны, сделанные на следующий день после этого события, с некоторыми эпизодами «великого бала у сатаны»: «Бал у американского посла. М.А. в черном костюме. У меня вечернее платье исчерна-синее с бледно-розовыми цветами. Поехали к двенадцати часам. Все во фраках, было только несколько смокингов и пиджаков... В зале с колоннами танцуют, с хор — прожектора разноцветные. За сеткой — птицы — масса — порхают. Оркестр, выписанный из Стокгольма. М.А. пленился больше всего фраком дирижера — до пят.

Ужин в специально пристроенной для этого бала к посольскому особняку столовой, на отдельных столиках. В углу столовой — выгоны небольшие, на них — козлята, овечки, медвежата. По стенкам — клетки с петухами. Часа в три заиграли гармоники и петухи запели. Стиль рюсс.

Масса тюльпанов, роз — из Голландии.

В верхнем этаже — шашлычная. Красные розы, красное французское вино. Внизу — всюду шампанское, сигареты.

Хотели уехать часа в три, американцы не пустили — и секретари, и Файмонвилл (атташе), и Уорд все время были с нами. Около шести мы сели в их посольский «кадиллак» и поехали домой. Привезла домой громадный букет тюльпанов от Боолена».

Не менее интересны в дневнике записи от того же числа, которые Елена Сергеевна опустила в дальнейшем при редактировании. «Я никогда в жизни не видела такого бала. Посол стоял наверху на лестнице, встречал гостей... Ужинали в зале, где стол с блюдами был затянут прозрачной зеленой материей и освещен изнутри... Нас принимали очень приветливо, я танцевала со многими знакомыми. Отношение к Мише очень лестное...»

Вьетан за первым пультом! — Вьётан Анри (1820—1881) — бельгийский скрипач, композитор и педагог. В середине XIX в. концертировал и преподавал в России.

Далее перечисляются известные скрипачи, композиторы и дирижеры разных стран и времен.

— **Иоганн Штраус!..** — Запись в рабочей тетради Булгакова: «Штраус Иоганн (1825—1899). Король вальсов. "An der schonen blauen Dunai"» («На прекрасном голубом Дунае» — *нем.).* И тут же вторая запись: «Лист Ференц... Мефисто-вальс». Видимо, Ференц Лист был второй кандидатурой на «роль» дирижера оркестра.

С. 563. — **Господин Жак Ле-Кёр с супругой...** — Жак Ле-Кёр (1400—1456) — купец из Буржа, казначей французского короля Карла VII. В рабочей тетради писателя отмечено: «Фальшивомонетчик, алхимик и государственный изменник. Интереснейшая личность. Отравил королевскую любовницу». С небольшими изменениями Булгаков вкладывает эту характеристику Ле-Кёра в уста Коровьева. Королевская любовница — Агнесса Сорель, фаворитка Карла VII в 1444—1450 гг.

С. 564. — **Граф Роберт Лейчестер...** — Роберт Дэдли Лейстер (1532—1588) был любовником английской королевы Елизаветы I, подозревался в отравлении своей жены Леди Робсарт.

...госпожа Тофана. — В рабочей тетради Булгакова имеется список (предварительный) участников великого бала у сатаны, в котором упоминается «аква Тофана» («вода Тофаны») — яд, которым пользовалась отравительница.

С. 565. — **Как рады мы, граф!..** — Запись в рабочей тетради писателя: «Калиостро, 1743—1795, родился в Палермо. Граф Александр Иосиф Бальзалло Калиостро-Феникс».

С. 566. — **Фрида...** — Исследователи установили, что история Фриды взята Булгаковым из книги швейцарского психиатра О.Фореля «Половой вопрос» (1905). Подтверждением тому является следующая запись писателя в рабочей тетради: «Дело Фриды Келлер (Форель. С. 421)».

С. 567. **Маркиза де Бренвиллье... Отравила отца... Господин де Годен...** — Это злодеяние маркиза де Бренвиллье осуществила вместе со своим любовником Жан-Батистом де Годеном де Сен-Круа.

Минкина. — Минкина Настасья Федоровна — фаворитка графа А.А.Аракчеева, известна своей жестокостью, доходившей до садизма, по отношению к прислуге и дворовым, которыми и была убита в 1825 г.

...вот и император Рудольф... — Речь идет о Рудольфе II (1552—1612), императоре Священной Римской империи в 1576—1612 гг. Отличался последовательностью в насаждении католицизма на обширной территории империи, занимался алхимией.

С. 568. **Гай Цезарь Калигула** — римский император (37—41 гг. н.э.), вошел в историю под прозвищем Калигула. Жестокость его не знала пределов. Римский историк Светоний пишет, что проницательный император Тиберий «не раз предсказывал, что Калигула живет на погибель себе и всем и что в его лице вскармливается змея для римского народа и для всего мира».

Мессалина. — Валерия Мессалина, третья жена римского императора Клавдия. Отличалась фантастически развратным поведением, ее имя стало нарицательным. Убита в 48 г. н.э.

С. 569. ...эмпузы, **мормолика...** — Среди мифических существ, которыми греки пугали своих детей, были Емпуса (страшное привидение) и Мормо (или Мормон, от *греч.* мормоликетон — страшилище, пугало).

...господина Гёте и... господина Шарля Гуно... — Присутствие этих персонажей на балу объясняется тем, что первый создал трагедию «Фауст», а второй написал музыку к одноименной опере. Булгаков подчеркивает их особое положение на балу.

— Новый знакомый... он велел своему секретарю обрызгать стены кабинета... ядом. — Новые знакомые на балу — бывший нарком внутренних дел СССР Генрих Ягода и его личный секретарь Павел Буланов, расстрелянные по приговору Военной коллегии Верховного суда 15 марта 1938 г. В газете «Правда» от 30 марта 1938 г. было опубликовано заключение медицинской экспертизы по делу об отравлении Н.И.Ежова. В нем говорилось: «На основании предъявленных материалов химических анализов ковра, гардин, обивки мебели и воздуха рабочего кабинета тов. Н.И.Ежова... следует считать абсолютно доказанным, что было организовано и выполнено отравление тов. Н.И.Ежова ртутью через дыхательные пути...» А вот признание Павла Буланова: «Когда он (Ягода. — *В.Л.) был* снят с должности наркома внутренних дел, он предпринял уже прямое отравление кабинета. <...> Он дал мне лично прямое распоряжение подготовить яд, а именно взять ртуть и растворить ее кислотой... Это было 28 сентября 1936 года. Это поручение Ягоды я выполнил, раствор сделал. Опрыскивание кабинета, в котором должен был сидеть Ежов... было произведено Саволайненом в присутствии меня и Ягоды...» (Судебный отчет по делу антисоветского «правотроцкистского блока». М., 1938. С. 241).

С. 573. **Александр Александрович** — Берлиоз.

С. 577. **...вранье это от первого до последнего слова... — В** письме к Е.С.Булгаковой от 22 июня 1938 г. Булгаков, отвечая на ее вопрос о достоверности фактов, приводимых О.С.Бокшанской в письмах к Елене Сергеевне, полушутливо заметил: «Ты недоумеваешь — когда S (то есть Sister — сестра *(англ.)* — так Булгаков называл свояченицу, сестру Е.С.Булгаковой О.С.Бокшанскую. — *В.Л.)* говорит правду? Могу тебе помочь в этом вопросе: она никогда не говорит правды. В частном данном случае вранье заключается в письмах. Причем это вранье вроде рассказа Бегемота о съеденном тигре, то есть вранье от первого до последнего слова».

С. 583. **...на толстой пачке рукописей, в нескольких экземплярах.** — Булгаков вновь подчеркивает, что существовал роман о дьяволе (или о Понтии Пилате) в завершенном виде.

С. 586. **— Поплавского до смерти я напугал...** — Поплавский — он же Римский.

С. 612. **...помещающейся у Каменного моста...** — Имеется в виду знаменитый громадный серый и мрачный «Дом правительства» на Берсеневской набережной, напротив храма Христа Спасителя.

С. 613. **...Доставляло Аркадию Аполлоновичу невыразимые мучения...** — Далее часть текста уничтожена.

С. 614. **...в гостинице «Астория» в № 412-м, том самом, что рядом с лифтом и в котором серо-голубая мебель с золотом.** — Булгаков, приезжая в Ле-

нинград, чаще всего останавливался в «Астории» и поэтому прекрасно помнил расположение номеров.

С. 615. **...снимающего руки с поручней, без воды умывающего их.** — Этот очень важный фрагмент текста был затем автором снят, ибо проницательные читатели могли легко соотнести Пилата с известным персонажем «красного Ершалаима».

С. 617. **...одетый причудливо. В папахе, в бурке...** — Изменив место «высылки» Лиходеева (Ялта вместо Владикавказа), Булгаков не успел внести поправки в его кавказскую одежду.

С. 620. **...знаменитый гипнотизер Фаррах-Адэ...** — В окончательной редакции этот текст опущен.

С. 621. **Ремиз! — крикнул кот...** — «Ремиз» в карточной игре означает недобор. В данной ситуации: мимо, недолет, перелет.

С. 624. **...историю знаменитого калифа Гарун-аль-Рашида.** — Гарун-аль-Рашид (Харун ар-Рашид) (763/766—809), халиф из династии Аббасидов, воспетый в сказках «Тысяча и одна ночь».

С. 629. **Панаев, Скабичевский.** — Видимо, речь идет о писателе и журналисте Панаеве Иване Ивановиче (1812—1862), соиздателе журнала «Современник» (вместе с Н.А.Некрасовым), и Скабичевском Александре Михайловиче (1838—1910), критике и публицисте. Очевидно, Бегемот с Коровьевым решили, что таланты этих литераторов соизмеримы с талантами постоянных завсегдатаев писательского ресторана.

С. 642. **Гелла летела, как ночь, улетавшая в ночь.** — Во вступительной статье к пятитомному собранию сочинений Булгакова В.Я.Лакшин, совершенно справедливо говоря о некоторой незавершенности романов писателя (в частности, «Мастера и Маргариты») и о возможной их доработке и шлифовке, будь Булгаков жив и здоров, замечает: «Однажды я передал Елене Сергеевне вопрос молодого читателя: в последнем полете свиты Воланда среди всадников, летящих в молчании, нет одного лица. Куда пропала Гелла? Елена Сергеевна взглянула на меня растерянно и вдруг воскликнула с незабываемой экспрессией: "Миша забыл Геллу!!!"»

И действительно, в опубликованных вариантах романа Геллы в последнем полете Воланда среди его свиты нет. Более того, в последний раз она упоминается в главе 27-й «Конец квартиры № 50», и то лишь в завершающей ее части — как «силуэт обнаженной женщины», вылетевшей из окна пятого этажа.

Анализ последних рукописных и машинописных редакций и вариантов романа показал, что «исчезла» Гелла при перепечатке рукописного текста в мае—июне 1938 г. Но предположить, что произошло это случайно, из-за забывчивости автора, — все-таки нельзя.

Как известно, текст перепечатывался О.С.Бокшанской под диктовку писателя. Диктовка не была «механической», одновременно Булгаков многое изменял, дополнял, сокращал, писал заново (это легко устанавливается при сравнении рукописного и машинописного экземпляров, прочитывается в его майско-июньских письмах Елене Сергеевне в Лебедянь). Можно предположить, что Булгаков наметил для себя (либо в процессе диктовки, либо позже) такой сюжетный вариант, при котором Гелла исчезает, как исчезла, например, Наташа, и, имея это в виду, просто не успел довести эту линию до конца.

Возможно, судьба Геллы была определена Булгаковым в тексте тех дополнений и изменений, которые надиктовывал писатель Елене Сергеевне незадолго до смерти.

Еще одним доказательством того, что Булгаков не забыл о Гелле, может послужить следующее. И в рукописном, и в последующем машинописном вариантах Булгаков указывает точное число всадников, отлетающих с Воробьевых гор. В рукописи их семь: «Кони рванулись, и пятеро всадников и две всад-

ницы поднялись вверх и поскакали». Диктуя на машинку, Булгаков называет другую цифру — шесть и делает это, скорее всего, сознательно, ибо ему судьба Геллы, вероятно, уже ясна: «В воздухе прокатился стук. Вокруг Маргариты подняло тучи пыли. Сквозь нее Маргарита видела, как мастер вскакивает в седло. Тут все шестеро коней рванулись вверх и поскакали на запад».

С. 643. **Сидящий был или глух, или слишком погружен в размышления.** — Булгаков при работе над заключительными главами романа использовал уже упоминавшиеся легенды о пятом прокураторе Иудеи. Приведем некоторые фрагменты из легенды «Понтий Пилат», рассказывающие о страданиях бывшего прокуратора в период его пребывания в Галлии (в Альпах):

«Почти непрерывно сверкала молния на небе Галлии, покрывшемся тяжелыми, мрачными облаками, и на мгновение освещала дикую лесную площадку с большими елями... С воем проносился бурный ветер... К этому примешивался глухой гул, раздававшийся от плеска волн...

Но ни на что не обращал внимания человек, который в глубокой задумчивости сидел на пне разрушенного бурею дерева, тяжело подперев голову рукою... Мрачно смотрел он перед собою... Целый день бродил он в лесах и горах... думая только о своем несчастии... И затем наступал час, когда он, утомленный, опускался на пень дерева или камень, или даже на голую землю, подпирая голову рукою и, охваченный диким отчаянием, мрачно смотрел перед собою...» (С. 95—96).

С. 644. — **Свободен! Иди, он ждет тебя! — В** «Евангелии от Пилата» и в послесловии к нему смерть бывшего прокуратора Иудеи описана в романтических тонах:

«Мое донесение о смерти Иисуса, читанное в сенате, произвело сильное впечатление. Изображение Назорянина с божескою почестию было помещено в храме императорского дворца. Враги мои, которых я имел между придворными, соединились против меня, а поэтому, спустя несколько лет после смерти Иисуса Назорянина, я теперь изгнан сюда в этот город [Виену], где мои дни будут гаснуть в скорби и тревоге. Мне кажется, что я более несчастлив, чем виноват».

Старец замолк...

— Слуги твои? — отозвался Альбин. — Ты не имеешь слуг, они оставили тебя, кроме старого воина, который один остался тебе верным.

— Ах, это Лонгин! По этому поступку узнаю его...

Когда Лонгин явился, Пилат сказал ему:

— Твоя преданность мне, Лонгин, достойна похвалы; ты не пошел за твоими товарищами. Знаешь, Альбин, что сделал этот воин? Он стоял на Голгофе при кресте, на котором висел Назорянин; жаль ему было борющегося со смертию. Чтобы прекратить ему эту борьбу, он пробил ему бок. Лонгин умрет как христианин. Запасся ли ты своим мечом, старый воин, мой последний и единственный друг?...

Час спустя после этого оба мужа дошли до половины горы, возвышающейся над городом Виеной; глаза Пилата были устремлены на мрачный овраг... Взор Пилата отдыхал на этой пропасти и, находясь в последней степени отчаяния, залившись слезами, Пилат сказал своему другу: помни смерть Назорянина, среди несчастий умирающего спокойно; сохрани твой меч, Лонгин, не требую уже я твоей услуги, и без тебя я сумею найти смерть. Твоя рука не должна быть запачкана моею кровию, потому что на нее стекла кровь священнейшая. Так, Лонгин, тот мудрец, который умер на Голгофе, сошел с неба, — эту веру ты сохраняй в твоем сердце. Все, принявшие участие в его смерти, несчастно погибли. Вспомни Ирода и Каиафу! Сам Тиверий в Капре [на Капри] был удушен в своей постели, я один только их пережил, ты теперь будешь свидетелем моей кончины...

С этими словами Пилат бросился в пропасть...

Так скончался Пилат, при котором страдал Христос на кресте!» (Последние дни жизни Пилата... С. 27—30).

Идите же и вы к нему! — Финал романа переписывался Булгаковым несколько раз. И при этом не какие-то детали уточнялись, а изменялись важнейшие мировоззренческие подходы к роману в целом, ибо по финалу можно судить о главных идеях произведения.

Очень многое зависело от психологического состояния писателя. А оно ухудшалось с каждым годом и с каждым месяцем. Безысходность и тоска стали почти постоянными спутниками его жизни.

Как видим, в финале, написанном в ночь с 22 на 23 мая 1938 г., прощенный Пилат бросился по указанной ему дороге за Иешуа Га-Ноцри. Эта же дорога указана и романтическому мастеру с его подругой.

Но вот в финале окончательной редакции на вопрос мастера: «Мне туда, за ним?» — Воланд отвечает: «Нет, зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?»

Мастер и Маргарита

Окончательная редакция

Мастер и Маргарита. — Установить точно, когда за романом окончательно закрепилось это название, мы пока не можем. Г.А.Лесскис в комментариях к «Мастеру и Маргарите» пишет: «Это название... появилось в записи Е.С.Булгаковой 12 ноября 1937 г.; оно знаменовало окончательное переосмысление всего произведения, изменение «удельного веса» и значения его персонажей: Воланд уступает место мастеру, сатирическое разоблачение — всечеловеческой трагедии» (С. 64). Б.С.Мягков высказывает иную точку зрения: «...роман получил свое окончательное название весной 1938 года...» (См.: Булгаков М. Избр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1997. С. 806).

Ближе к истине, на наш взгляд, Б.С.Мягков. Однако в этом важном вопросе необходима точность.

Действительно, 12 ноября 1937 г. Е.С.Булгакова сделала в дневнике следующую запись (цит. по подлиннику): «Вечером М.А. работал над романом о Мастере и Маргарите». Запись эта чрезвычайно важна, поскольку до того о романе (названия еще не было) встречаются такие записи: «роман о дьяволе», «роман о Христе», «роман о Христе и дьяволе», «роман о Воланде» и др. И вот появилась новая запись: «работал над романом о Мастере и Маргарите». Но это еще не название романа, а лишь вариант его: новый, но вариант! Таких намерений у писателя было много. И доказательством тому служат дальнейшие записи в дневнике. 26 декабря: «Вечером у нас Дмитриев, Вильямсы и Борис и Николай Эрдманы. М.А. читал из романа главы: "Никогда не разговаривайте с неизвестными", "Золотое копье" и "Цирк". 1 января 1938 г.: «Вечером были у Вильямсов. Был Коля Эрдман. Просили М.А. почитать из романа. Он читал главу "Дело было в Грибоедове"; 9 февраля: «Миша урывками... правит роман о Воланде» (вроде бы возвращение к старым вариантам названия); 16 февраля: «Вечером Миша, урывками — к роману, а я — к этой записи»; 23 февраля: «Вечером Миша читал мне черновую главу из романа, на меня — сильнейшее впечатление»; 1 марта: «Миша днем у Ангарского, сговариваются почитать начало романа. Теперь, кажется, установилось у Миши

название «Мастер и Маргарита». Печатание его, конечно, безнадежно. Теперь Миша по ночам правит его и гонит вперед, в марте хочет кончить. Работает по ночам».

Во второй редакции дневника (отредактирован в 50-е г.) запись от 1 марта выглядит несколько иначе: «У М.А. установилось название для романа — "Мастер и Маргарита"».

Итак, окончательное название романа определилось к 1 марта 1938 г.

С. 647. ...так кто ж ты, наконец?.. — Эпиграф к роману взят Булгаковым из «Фауста» Гёте. Это и закономерно, поскольку «Фауст» сопровождает все творчество Булгакова. Но в «Мастере и Маргарите» это не только дань любимому литературному (и музыкальному) произведению, но и камертон ко всему роману: своеобразная идея о «диалектической» взаимосвязи добра и зла. Булгаков понимал, конечно, что идея эта весьма далека от христианского толкования добра и зла, о чем свидетельствует тот факт, что в черновой рукописной редакции романа на великом балу у сатаны присутствуют «директор театра и доктор прав господин Гёте» и «известный композитор Шарль Гуно».

Существует немало переводов «Фауста» на русский язык. Так, в переводе А.Л.Соколовского (СПб., 1902; книга находилась в личной библиотеке писателя, и в ней много булгаковских помет) данный эпиграф звучит так:

...который ты из них?
Я частица той силы, которая постоянно стремится
делать зло, а совершает только благо.

А, например, в переводе Б.Пастернака — несколько иначе:

Ты кто?
Часть силы той, что без числа
Творит добро, всему желая зла.

Булгаков сам делал перевод этого текста, используя, конечно, другие переводы, но ориентируясь прежде всего на перевод Д.С.Мережковского, приведенный в его книге «Иисус Неизвестный» (1932):

Я — часть той Силы,
Что вечно делает добро, желая зла.

В книге Мережковского был приведен и немецкий оригинал этого места из «Фауста»:

Ein Teil von jener Kraft
Die stets das Boese will und stets das Gute schafft.

В подготовительных материалах 1938 г. Булгаков выписал именно эти немецкие слова. При этом в предшествующей редакции текст несколько отличался от окончательного:

...Итак, кто же ты?
— Я часть той силы, что всегда желает зла
И всегда творит добро.

Гёте. «Фауст».

Изменения в текст эпиграфа писатель внес 24 июня 1938 г.

Написан эпиграф Булгаковым на титульном листе после названия романа. В издании 1973 г. он ошибочно дан после обозначения «Часть первая» перед первой главой и тем самым как бы отнесен к книге первой, а не ко всему роману.

В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан. — Начало романа многократно переписывалось. По сохранившимся рукописям очень трудно определить, на каком именно варианте Булгаков остановился. И поэтому при подготовке романа к печати после смерти Е.С.Булгаковой (издание 1973 г.) было допущено множество разночтений с текстом, подготовленным Еленой Сергеевной в 1940 г. — сразу же, по свежим следам совместной работы с писателем. В издании 1973 г. начало оказалось следующим: «Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина».

Вопрос этот носит принципиальный характер, и его необходимо рассмотреть подробно.

В предшествующей ред. было: «Весною, в среду, в час жаркого заката на Патриарших прудах появилось двое граждан».

Затем автор зачеркнул чернилами первые два слова, вставил новое слово «весеннего», и предложение приобрело следующий вид: «В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан».

Нетрудно заметить, что именно этот вариант выбрала Е.С.Булгакова при подготовке окончательного текста (в нем рукою Елены Сергеевны было также вставлено «небывалого», но зачеркнуто).

Но на этом же листе основной рукописи рукою автора чернилами, ясным почерком вписано: «Однажды, на закате небывало знойного весеннего дня на Патриарших прудах появилось (сначала было «оказалось», но зачеркнуто автором. — *В.Л.)* двое граждан».

В тетради с поправками к тексту романа, которую М.Булгаков озаглавил «Роман. Отделка» (не путать с тетрадью дополнений к роману), начало романа переписано автором четырежды, и три раза первые строки полностью совпадают с вариантом, выбранным Е.С.Булгаковой: «В час жаркого весеннего заката...» Четвертый же вариант несколько отличается: «Однажды, на закате небывало знойного весеннего дня по лип...» (текст обрывается).

Дальнейшая работа над текстом романа отразилась в тетради дополнений к роману, на первой странице которой рукою Е.С.Булгаковой записано: «Писано мною под диктовку М.А. во время его болезни 1939 года. Окончательный текст. Начало 4 октября 1939 года. Елена Булгакова».

Так вот, в этой тетради роман начинается так: «В час небывало жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появились два гражданина».

Затем рукою автора синим карандашом сделаны две вставки — в самом начале: «Однажды» и после «заката» добавлено: «в Москве». Простым карандашом зачеркнуто и окончание предложения: «появились два гражданина» (это чрезвычайно важно отметить, поскольку Булгакова никак не устраивало это «новшество» Е.С.Булгаковой: во множестве прежних вариантов Булгакова твердо установилось: «появилось двое...»). На этой стадии начало романа приобрело следующий вид: «Однажды, в час небывало жаркого весеннего заката, в Москве, на Патриарших прудах...»

Однако в текст были внесены еще две поправки (чернилами): после «Однажды» добавлено «весною», и, соответственно, прилагательное «весеннего» оказалось лишним и было зачеркнуто.

Совершенно очевидно, что начальный текст романа в тетради дополнений не получил завершающего вида, особенно если учесть, что зачеркнутое «появились два гражданина» не было заменено другим текстом. Издатели подошли к тексту формально, рассматривая указанный фрагмент как последнюю волю писателя и «не замечая» зачеркнутое окончание предложения. В резуль-

тате «появились два гражданина» было присовокуплено к остальному тексту, и все вместе составило начало романа.

На чем основывалось решение Е.С.Булгаковой выбрать известный уже всем вариант начала романа — нам пока неясно, но можно предположить, что она твердо знала окончательное авторское решение (не исключено, что оно было зафиксировано Еленой Сергеевной в другой какой-либо тетради дополнений к роману). Кроме того, нельзя забывать, что на основной рукописи романа (два тома правленой машинописи) имеется чрезвычайно важная запись Е.С.Булгаковой: «Экземпляр с поправками во время болезни (1939—1940) — под диктовку М.А.Булгакова мне».

Необходимо также отметить еще одно важное обстоятельство, непосредственно связанное с текстологией романа. В обширном архиве писателя, значительную часть которого составляют материалы Е.С.Булгаковой, совершенно отсутствуют документы, связанные с историей ее работы над окончательным текстом романа! Более того, в архиве писателя отсутствует и сам текст романа, подготовленный ею в 1940 г. Исследователи обнаружили его лишь в конце 80-х гг. в архиве друга и биографа писателя П.С.Попова.

Много внимания уделяют исследователи и вопросу о *времени* действия романа. Но Булгаков сам неоднократно указывал: действие происходит накануне православной Пасхи и начинается с Великой среды. Что же касается года, то его писатель специально прямо не указывает, чтобы не быть связанным конкретными событиями.

Название *Патриарших прудов* восходит к XVII в., когда на этом месте находилась слобода патриарха Филарета. Его более древнее название — Козье болото. Конечно, Булгаков прекрасно знал историю этого места и в его названии увидел своеобразное сочетание божественного и противоположного ему.

Первый из них — приблизительно сорокалетний... — И эти строки многократно переписывались и передиктовывались писателем, который стремился отметить в своих персонажах наиболее характерное. Как уже указывалось, прототипом *ДДЯ* образа Берлиоза послужили ЛЛАвербах или М.Е.Кольцов. В тетради дополнений к роману текст был таким: «Первый из них (далее следовала вставка: «среднего возраста», но зачеркнуто. — *В.Л.),* одетый в летнюю (было: «приличную». — *В.Л.)* серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, и на выбритом до синевы лице имел сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе». Затем часть текста была откорректирована и получила следующий вид: «... и на хорошо выбритом лице его помещались...»

Е.С.Булгакова остановилась на варианте текста, который был написан ею карандашом на полях основной рукописи. При этом в него были внесены некоторые поправки. В карандашной записи герой «черноволос», а не «темноволос» и лицо его выбрито «гладко», а не «аккуратно».

Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек... — **В** предшествующей ред.: «Второй, двадцатитрехлетний, был в синей блузе, измятых белых брюках и в кепке».

За время работы над романом прототипы Бездомного менялись. Уходили в прошлое Демьян Бедный, Александр Безыменский... Появлялись Иван Приблудный, Александр Жаров и др.

...Михаил Александрович Берлиоз... — В тетради дополнений этот текст начинался так: «Читатель уже, конечно, догадался по этим точным описаниям, что первый был...» Но затем пояснение это было снято.

Любопытно, что при первой правке предшествовавшей (машинописной) редакции Булгаков «преобразовал» (и сделал это решительно почти по всему тексту) Александра Александровича Берлиоза в Григория Александровича (а затем в Бориса Петровича) Чайковского. Через некоторое время писатель отказался от этого.

...поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный. — В предшествующей ред.: «...а молодой спутник его поэт-самородок Иван Николаевич Бездомный, входивший в большую славу».

При первой правке машинописного текста Булгаков записал: «...молодой спутник его поэт Иван Николаевич Палашов, пишущий под псевдонимом Безбрежный». В тетради с поправками к тексту романа имеется и такая запись: «Понырев, Палашов, Пушкарев».

С. 648. **...редактора нисколько не удовлетворил.** — В рукописной вставке (рукою Е.С.Булгаковой) после этого следовало: «Отношение Бездомного к Иисусу Христу надо признать отрицательным и даже резко отрицательным». При последующей корректировке текста эти строки были сняты.

...но Иисус у него получился... — Здесь и до конца абзаца текст сильно отличается от оригинала (тетрадь дополнений). В рукописи: «...но Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающей к себе персоной». Возможно, Елена Сергеевна переписала этот текст из источника, который пока исследователями не выявлен.

С. 651. **...как же быть с доказательствами бытия Божия...** — Вопрос этот чрезвычайно волновал Булгакова и в юношеские годы (была попытка отказаться от православной веры), но особенно привлекал его внимание в период яростного богоборчества, который начался сразу же после Октябрьского переворота и продолжался многие годы.

В данном случае писатель обыгрывает содержание статьи Владимира Соловьева о Канте, помещенной в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона. В ней Кант назван создателем пятого по счету доказательства бытия Божия — нравственного (до него насчитывали четыре доказательства: космологическое, теологическое, онтологическое и историческое). Воланд называет пятое доказательство Канта шестым. В одной из ранних редакций романа Воланд, убеждая Берлиоза и Иванушку в существовании дьявола, говорит им: «Имейте в виду, что на это существует седьмое доказательство!»

С. 652. **...саркома легкого...** — В тетради дополнений: «...рак пищевода...»

С. 653. **«Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла...»** — Воланд дает астрологический «расчет» грядущей смерти Берлиоза: «...вечер — семь...» (седьмой дом — дом смерти), но на самом деле он глумится над незадачливым Берлиозом, ибо еще раньше он «открытым текстом» определил ему скоротечную кончину.

С. 654. **...Аннушка уже купила подсолнечное масло... и разлила.** — Прототипом ставшей легендарной Аннушки, многократно появляющейся в сочинениях Булгакова, послужила соседка Булгаковых, проживавшая с ними в доме на Садовой улице в «проклятой квартире № 50». Писатель задыхался в окружении аннушек, управдомов и прочей «сволочи». Выразительна его дневниковая запись от 29 октября 1923 г.: «Сегодня впервые затопили. Я весь вечер потратил на замазывание окон (по свидетельству самого Булгакова, в их квартире температура зимой никогда не превышала двенадцати градусов. — *В.Л.).* Первая топка ознаменовалась тем, что знаменитая Аннушка оставила на ночь окно в кухне настежь открытым. Я положительно не знаю, что делать со сволочью, что населяет эту квартиру».

С. 655. ...двойное «В» — «W». — Ни в основной рукописи (последней прижизненной редакции романа), ни в перепечатанном Е.С.Булгаковой в 1940 г. окончательном тексте произведения нет буквы W. Появляется она лишь в журнальном варианте текста (Москва. 1966. № 11. С. 14). Как уже указывалось, в некоторых предыдущих редакциях главный герой романа именуется Фаландом. Так, в шестой рукописной редакции читаем: «...поэт успел разглядеть на карточке слово "Professor" и начальную букву фамилии, опять-таки "F". Но в третьей редакции, под названием «Великий канцлер»: «Иностранец вытащил из кармана

пиджака колоссальных размеров золотой портсигар, на коем была составлена из крупных алмазов буква "W" (подробнее об этом см.: Яновская Л. Треугольник Воланда. Киев, 1992. С. 65-70).

...подлинные рукописи чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века. - Речь идет о Сильвестре II (940-1003), Римском Папе (999-1003). О его «чернокнижестве» распространялось множество слухов, в основе которых лежала страстная любовь Сильвестра П к собиранию рукописей и книг. Кстати, в стремлении Воланда «разобрать» рукописи 1ёрберта Аврилакского нет ничего фантастического, ибо **в** Государственной библиотеке (бывшем Румянцевском музее) хранились рукописи не только десятого века, но и более раннего времени.

С. 656. **«О, боги, боги, за что вы наказываете меня?..» — В** седьмой, предпоследней ред. и в окончательном тексте этой фразой завершается предыдущий абзац. Перенесена она была в следующий абзац (и совершенно справедливо) при подготовке журнального варианта текста.

— Подследственный из Галилеи? К тетрарху дело посылали? — В предшествующей ред. вопрос этот звучит так: «Он из Галилеи? У тетрарха дело было?» Булгаков только в этой редакции вводит в действие тетрарха (правителя четвертой части и «четверовластника») Ирода Антипу (4 г. до н.э. — 39 г. н.э.), который и должен был рассматривать судебное дело Иисуса Христа как жителя Галилеи. В Евангелии от Луки сказано: «Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве Он Галилеянин? И, узнав, что Он из области Иродовой, послал Его к Ироду, который **в** эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его, потому что много слышал о Нем, и надеялся увидеть от Него какое-нибудь чуцо, и предлагал Ему многие вопросы, но Он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усильно обвиняли Его. Но Ирод со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись над Ним, одел Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату» (Лк, 23:7—12). Н.Маккавейский поясняет: «Великолепная одежда такого цвета у иудеев облекала царей и вельмож... В Риме такую великолепную одежду носили также только очень знатные люди... Ирод верно рассчитал, что эта злая и тонкая насмешка не останется непонятною для римлянина Пилата» (Археология истории страданий Господа Иисуса Христа. С. 142—143). В «Евангелии от Пилата»: «Иисуса привлекли на суц и осудили на смерть, а чтобы оказать мне подчиненность, первосвященник Каиафа прислал осужденного ко мне, чтобы я подтвердил и исполнил приговор. Я ответил ему, что Иисус как галилеянин не подлежит мне и отослал узника к Ироду. Коварный четверовластник, представляясь покорным, утверждал, что соглашается с судом императорского наместника и предает судьбу этого человека в мои руки...» («Последние дни жизни Пилата...». С. 23).

С. 657. — **Добрый человек!..** — Булгаков, видимо, использовал следующее место **в** книге И.Грецa «Иисус Христос и происхождение христианства» (СПб., 1906. С. 20): «Когда кто-то обратился к нему со словами "добрый учитель", Иисус заметил: "Не называй меня добрым; один только добр: мой небесный Отец"». Изучая соответствующую избранной теме литературу, Булгаков «отбирал» из нее то, что подходило к его замыслам, при этом не особенно считаясь с историческими фактами. К тому же сам И.Грецъ весьма вольно относился к евангельским текстам, ибо в Евангелии от Матфея сказано: «И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог» (19:17—18). Своеобразное «переиначивание» понравившегося текста (из того или иного источника) — любимый художественный прием писателя.

С. 658. — **Из города Гамалы, — ответил арестант, головой показывая, что там, где-то далеко, направо от него, на севере, есть город Гамала.** — В предыдущей ред.: «— Из Эн-Сарида, — ответил арестант, головой показывая, что там где-то, за спиной у него, на севере есть Эн-Сарид».

Гамала — городок, расположенный к востоку от Тивериадского озера. Эн-Сарид — арабское название Назарета.

С. 662. **...и никто мне ничего не кричал, так как никто меня тогда в Ершалаиме не знал. — В** предшествующей ред. этого текста не было (дописан рукою Е.С.Булгаковой и подчеркнут красным карандашом Булгаковым).

С. 664. **...о каком-то бессмертии, причем бессмертие почему-то вызвало нестерпимую тоску.** — Слова о «каком-то бессмертии» Булгаков подчеркнул дважды синим карандашом, а на полях, после двух больших вопросительных знаков, записал: «(о каком-то долженствующем непременно быть — и с кем? — бессмертии...)». Видимо, писатель предполагал в дальнейшем вернуться к этой мысли, но не успел выполнить свой замысел.

...попросил меня высказать свой взгляд на государственную власть. — Этот эпизод допроса Пилатом Иешуа писатель описал «по Грецу» (см.: Г р е ц И. Иисус Христос и происхождение христианства. С. 28—31). И.Грец в своей антихристианской книге пытался все свести к вопросам политики, что, разумеется, противоречило евангельским повествованиям. Но Булгакову, описывавшему события современной ему эпохи, такой подход немецкого автора к евангельским повествованиям вполне импонировал. Вот некоторые фрагменты из книги И.Греца:

«Как же можно было узнать тайну некоторого кружка лиц и удостовериться, в каком смысле Иисус понимал слова «сын Божий»? Для этого требовался предатель из этого самого круга... Суд, для того чтобы обвинить Иисуса как лжепророка или как лже-Мессию, требовал двух свидетелей, которые бы слышали из его уст инкриминируемые слова. Предатель должен был заставить его высказаться на данную тему, так чтобы два свидетеля, тайно подслушивавшие, могли отчетливо запомнить каждое слово...»

«Когда Иисуса привели к Пилату, он спросил о политической стороне его деятельности, выступал ли он, как Мессия, в качестве царя иудейского? Иисус ответил ему двусмысленно: «Ты сказал это». Тогда Пилат присоединился к приговору синедриона...

Рассказы о том, что Пилат считал Иисуса невинным и хотел спасти его, но что иудеи требовали смерти Иисуса, лишены всяких оснований — Иисусу, как бунтовщику и государственному преступнику, была присуждена смерть не еврейским синедрионом, а римским наместником».

С. 669. **...тесно мне стало с тобой, Каифа.** — В предыдущей ред. Пилат и Кайфа обращаются друг к другу на «вы», хотя в ранних редакциях чаще присутствует обращение «ты». При корректировке машинописного текста писатель весь диалог Пилата с Каифой разметил на части, пытаясь указать, где следует оставить обращение «вы», а где исправить на «ты». Но затем, не завершив правку, написал на полях: «на "ты"». При подготовке окончательного текста Елена Сергеевна строго следовала этому указанию автора.

С. 704. **Но он не умер. Приоткрыв слегка глаза... — В** предыдущей ред. Степа Лиходеев оказывается не в Ялте, а во Владикавказе. Не желая, видимо, привлекать внимание к месту своих бывших скитаний, писатель заменил по тексту Владикавказ на Ялту.

С. 706. **После этого Ивана Николаевича повели... — В** предыдущей ред. в этом месте два абзаца зачеркнуты писателем красным карандашом: предполагалась, видимо, переработка текста. Но поскольку сделать это не удалось, Елена Сергеевна оставила этот текст в неизменном виде.

С. 716. **...Тимофей Квасцов.** — В предыдущей ред.: «Тимофей Перелыгин».

С. 722. **До Севастополя по железной дороге...** — В предыдущей ред.: «До Минеральных Вод по воздуху тысяча шестьсот километров! А до Владикавказа и еще больше». На полях (л. 134) карандашная запись Булгакова: «Узнать по путеводителю».

С. 732. ...изменились ли эти горожане внутренне? — Здесь писатель поставил красным карандашом галочку — видимо, предполагая развить эту мысль (или, напротив, затушевать ее), но оставил все как есть.

С. 738. — **Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш!!** — В первой тетради дополнений имеется следующая запись, продиктованная писателем:

«В цирке, в конце главы, после слов «Маэстро, урежьте марш!» — «Его превосходительство любил домашних птиц и брал под покровительство хорошеньких девиц».

Ни его, это превосходительство, ни какие птицы, ни почему он любил — никто этого не знал, но это был чудовищный, невыносимый марш!»

С. 741. — **О, как я угадал! О, как я все угадал!** — На полях машинописного листа Булгаков красным карандашом написал: «Делать сцену восхищения своей работой». Но замысел не был реализован.

С. 743. **...и нанял у застройщика, в переулке близ Арбата, две комнаты...** — На полях машинописного текста имеется следующая любопытная запись: «— Вы знаете, что такое — застройщики? — спросил гость у Ивана и тут же пояснил: — Это немногочисленная группа жуликов, которая каким-то образом уцелела в Москве, и т.д. (развить)». В связи с этим на память приходит дневниковая запись Елены Сергеевны от 2 ноября 1933 г. (это было время, когда Булгаковы с тревогой и нетерпением ждали получения квартиры): «Очень мешает жить Зельдович, которому наша застройщица... продала на корню нашу квартиру. М.А. ходит почти каждый день на стройку, нервничает».

С. 745. **...и я понес их в руках.** — Далее в предыдущей ред. следовал исключительно важный фрагмент текста, снятый автором:

«Из кривого переулка мы вышли в прямой и широкий, молча, и на углу она беспокойно огляделась. Я в недоумении посмотрел в ее темные глаза, а она ответила так:

— Это опасный переулочек, ох, до чего опасный, — и, видя мое изумление, пояснила: — Здесь может проехать машина, а в ней один человечек...

— Ага, — сказал я, — так, стало быть, надо уйти отсюда.

И мы быстро пересекли опасный переулок, где может проехать какой-то человечек в машине.

— А вы боитесь этого человека?

Она усмехнулась и поступила так: вынула у меня из рук цветы, бросила их на мостовую... затем продела свою руку в черной перчатке с раструбом в мою, и мы пошли рядом».

Булгаков при первой правке текста оставил этот фрагмент, но внес, на первый взгляд незначительную, поправку: в машине мог проехать уже не «человечек», а — «человек». При второй правке писатель решил этого «человека» из текста изъять вовсе.

С. 746. **...в высшей степени заинтересованный любовной историей.** — **В** предыдущей ред. на обороте листа запись: «...в высшей степени интересуясь этой...» И далее несколько строк тщательно зачеркнуты чернилами, причем во всех экземплярах машинописи.

С. 748. — **Настали совершенно безрадостные дни. Роман был написан, больше делать было нечего, и мы оба жили тем, что сидели на коврике на полу у печки и смотрели в огонь.** — Вся история знакомства мастера и Алоизия Могарыча была перечеркнута Булгаковым (или Еленой Сергеевной по его просьбе) красным карандашом, а новый вариант этого эпизода так и не был вписан, поскольку это произошло во время последней стадии болезни писателя. Булгаков не имел уже сил ни писать, ни диктовать. 5 марта 1940 г. Е.С.Булгакова записала в дневнике: «Приход Фадеева. Разговор продолжался сколько мог. Мне: "Он мне друг". Сергею Ермолинскому: "Предал он меня или не предал? Нет, не предал? Нет, не предал Г В описании знакомства с Могарычем было много деталей, указывавших на реальное знакомство Булгакова с его другом драматургом

Сергеем Александровичем Ермолинским. Очевидно, в последние дни жизни Булгаков отказался от подозрений против Ермолинского, но уже не смог написать новую историю Могарыча. В беседе с литературоведом С.Н.Семаковым в 1969 г. Елена Сергеевна повторила этот предсмертный вопрос Булгакова: «Друг ли Ермолинский?» Впоследствии Е.С.Булгакова не стала восстанавливать текст о Могарыче, хотя ряд других зачеркнутых мест восстановила. В окончательной редакции она дала следующий текст из более ранней, второй полной рукописной редакции: «—Настали безрадостные осенние дни, — продолжал гость, — чудовищная неудача с этим романом как бы вынула у меня часть души. По существу говоря, мне больше нечего было делать, и жил я от свидания к свиданию. И вот в это время случилось что-то со мною. Черт знает что, в чем Стравинский, наверное, давно бы уже разобрался. Именно, нашла на меня тоска, и появились какие-то предчувствия». По всей вероятности, Е.С.Булгакова не хотела публиковать историю Могарыча, чтобы не ставить в неудобное положение С.А.Ермолинского. 17 ноября 1967 г. она записала в дневнике свой разговор с Ермолинским по поводу его воспоминаний о Булгакове: «Если ты хочешь, чтобы я приняла твою статью целиком, переведи прямую речь Миши в косвенную. Ты не передаешь его интонации, его манеры, его слова. Я слышу, как говорит Ермолинский, но не Булгаков. И, говоря откровенно, мне определенно не нравятся две сцены, одна — это разговор (якобы ты журналист), а вторая — игра в палешан». Здесь имелся в виду, в частности, эпизод в мемуарах Ермолинского, где он берет шуточное интервью у Булгакова под видом журналиста. А Могарыч в романе назван журналистом (подробнее см.: С о к о л о в Б.В. Расшифрованный Булгаков: Тайны «Мастера и Маргариты». М., 2005. С. 167—182). По всей видимости, наиболее оправданным текстологическим решением является включение эпизода с Могарычем в условно-канонический текст романа. Ведь Булгаков собирался наделить этого героя биографией, а это — единственный сохранившийся вариант ее. Впервые он был включен в текст романа, изданный в 1973 г., и затем присутствовал во всех изданиях романа вплоть до 1989 г.

С. 920. **...поглядел в лицо Воланду прямо и смело.** — После этих слов в первом экземпляре машинописи дальнейший текст со слов «Тут вдалеке за городом...» и кончая словами «а Воланд — на правой» изъят кем-то (оторвано пол-листа), а во втором экземпляре он, к счастью, сохранился. И в настоящем издании впервые восстанавливается подлинный текст романа.

Текста же, вписанного позже Е.С.Булгаковой в окончательную редакцию и затем публиковавшегося во всех изданиях «Мастера и Маргариты»:

«И тогда над горами прокатился, как трубный голос, страшный голос Воланда:

— Пора! — и резкий свист и хохот Бегемота.

Кони рванулись, и всадники поднялись вверх и поскакали», — ни в одном экземпляре машинописи нет. Понятно, что эта позднейшая вставка имела вынужденный, цензурный характер, поскольку Воланд у Булгакова одобрительно отзывался о деятельности Сталина — *сатана* хвалил генсека! Что не осталось не замечено первыми слушателями романа. Е.С.Булгакова записала в дневнике 15 мая 1939 г., на следующий день после завершения чтения романа Булгаковым друзьям: «Последние главы слушали, почему-то закоченев. Все их испугало. Паша (П.А.Марков. — *В.Л.)* в коридоре меня испуганно уверял, что ни в коем случае подавать нельзя — ужасные последствия могут быть...»

...он отдается с легким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна... — Писатель не закончил эту фразу, или, быть может, Елена Сергеевна ее не дописала во время диктовки текста. Во всяком случае, при подготовке окончательной редакции Елена Сергеевна закончила фразу так: «...только она одна успокоит его».

С. 922. **...сидящий был глух или слишком погружен в размышление.** — Булгаков при работе над заключительными главами романа использовал уже

упоминавшиеся легенды о пятом прокураторе Иудеи. Приведем некоторые фрагменты из легенды «Понтий Пилат», рассказывающие о страданиях бывшего прокуратора в период его пребывания в Галлии (в Альпах):

«Почти непрерывно сверкала молния на небе Галлии, покрывшемся тяжелыми, мрачными облаками, и на мгновение освещала дикую лесную площадку с большими елями... С воем проносился бурный ветер... К этому примешивался глухой гул, раздававшийся от плеска волн...

Но ни на что не обращал внимания человек, который в глубокой задумчивости сидел на пне разрушенного бурею дерева, тяжело подперев голову рукою... Мрачно смотрел он перед собою... Целый день бродил он в лесах и горах... думая только о своем несчастии... И затем наступал час, когда он, утомленный, опускался на пень дерева, или камень, или даже на голую землю, подпирая голову рукою, и, охваченный диким отчаянием, мрачно смотрел перед собою...» («Понтий Пилат...». С. 95—96).

С. 924. **Так говорила Маргарита...** — Абзац этот не должен был войти в окончательную редакцию, поскольку Булгаков снял его во время правки текста в мае 1939 г., заменив эпилогом. Но Елена Сергеевна, для которой эти строки были очень дороги, сохранила их в тексте.

Виктор Лосев

Литературно-художественное издание

Булгаков Михаил Афанасьевич

«Мой бедный, бедный мастер...»

Полное собрание редакций и вариантов
романа «Мастер и Маргарита»

Редактор
В.П.Кочетов

Младший редактор
Д.З.Хасанова

Художественный редактор
Т.Н.Костерина

Технолог
С.С.Басипова

Оператор компьютерной верстки
М.Е.Басипова

Оператор компьютерной верстки переплета
В.М.Драновский

Корректоры
И.Н.Волохова, Л.М.Кочетова, Н.В.Семенова

Подписано в печать 22.01.2007.
Формат 70×108 $^{1}/_{16}$. Бумага писчая. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 88,2. Тираж 5000 экз.
Заказ № 926.

ЗАО «Вагриус»
107150, Москва. ул. Ивантеевская, д. 4, корп. 1
E-mail: vagrius@vagrius.com

Отпечатано в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620041, ГСП-148, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
http://www.uralprint.ru
e-mail:book@uralprint.ru